



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

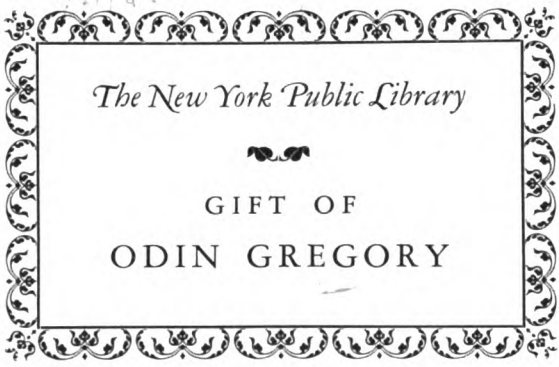
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



3 3433 06996450 4

5/1/45

10101



The New York Public Library



GIFT OF

ODIN GREGORY

* Q D B

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ГОГОЛЯ.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

Н. В. ГОГОЛЯ

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ ЕГО НАСЛѢДНИКОВЪ



41

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

Арабски. — Журнальныя статьи. — Тарасъ Вульба (въ первоначальномъ видѣ). — Острица. — Начальныя повѣсти. — Похождение Чичикова или Мертвыя души, томъ второй (въ первоначальномъ видѣ). — Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. — Авторская исповѣдь.

МОСКВА

Типографія Т. И. Гагенъ, Большая Лувинка, домъ князя Голицына

1880.

1907
1908
1909

АРАБЕСКИ.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
478764 A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1933 L

Собрание это составляют піесы, писанныя мною въ разныя времена, въ разныя эпохи моей жизни. Я не писалъ ихъ по заказу. Онѣ высказывались отъ души, и предметомъ избиралъ я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, безъ сомнѣнія, найдутъ много молодаго. Признаюсь, нѣкоторыхъ піесъ я бы, можетъ-быть, не допустилъ вовсе въ это собраніе, еслибъ издавалъ его годомъ прежде, когда я былъ болѣе строгъ къ своимъ старымъ трудамъ. Но, вмѣсто того, чтобы строго судить свое *прошедшее*, гораздо лучше быть неумолимымъ къ своимъ занятіямъ *настоящимъ*. Истреблять прежде написанное нами, кажется, такъ же не справедливо, какъ позабывать минувшіе дни своей юности. Притомъ, если сочиненіе заключаетъ въ себѣ двѣ-три еще не сказанныя истины, то уже авторъ не въ правѣ скрывать его отъ читателя, и за двѣ-три вѣрныя мысли можно простить несовершенство цѣлаго.

Я долженъ сказать о самомъ изданіи: когда я читалъ отпечатанные листы, меня самого испугали во многихъ мѣстахъ неисправности въ слогѣ, излишности и пропуски, происшедшіе отъ моей неосмотрительности. Но недосугъ и обстоятельства, иногда не очень пріятныя, не позволяли мнѣ пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и потому смѣю надѣяться, что читатели великодушно извинятъ меня.

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА.

Благодарность Зидителю мириадъ за благость и состраданіе къ людямъ! Три чудныя сестры посланы Имъ украсить и усладить міръ: безъ нихъ онъ бы былъ пустыня и безъ пѣнія катил-ся бы по своему пути. Дружнѣ, союзнѣ сдвинемъ наши желанія и первый кубокъ за здравіе скульптуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посѣтила землю. Она — мгновенное явленіе. Она — оставшійся слѣдъ того народа, который весь заключился въ ней, со всѣмъ своимъ духомъ и жизнію; она — ясный призракъ того свѣтлаго, греческаго міра, который ушелъ отъ насъ въ глубокое удаленіе вѣковъ, скрылся уже туманомъ и до котораго достигаетъ одна только мысль поэта. Міръ, увитый виноградными гроздіями и масличными лозами, гармоническимъ вымысломъ и роскошнымъ язычествомъ; міръ, несущійся въ стройной пляскѣ, при звукѣ тимпановъ, въ порывѣ вакхическихъ движеній, гдѣ чувство красоты проникло всюду: въ хижину бѣдняка, подъ вѣтви платана, подъ мраморъ колоннъ, на площадь, кипящую живымъ своеоравнымъ народомъ, въ рельефъ, украшающій чашу пиршества, изображающій всю вьющуюся вереницу граціозной мифологіи, гдѣ изъ пѣны волнъ стыдливо выходитъ богиня красоты, тритоны несутся, ударяя въ ладони, Посейдонъ выходитъ изъ глубины своей прекрасной стихіи — серебрянный и бѣлый; міръ, гдѣ вся религія заключалась въ красотѣ, въ красотѣ человѣческой, въ богоподобной красотѣ женщины, — этотъ міръ весь остался въ ней, въ этой нѣжной скульптурѣ; ничто кромѣ ея не могло такъ живо выразить его свѣтлое существованіе. Бѣлая, млечная, дышущая въ прозрачномъ мраморѣ

морѣ красотой, нѣгой и сладострастіемъ, она сохранила одну идею, одну мысль — красоту, гордую красоту человѣка. Въ какомъ бы ни было пылу страсти, въ какомъ бы ни было сильнымъ порывѣ, но всегда въ ней человѣкъ является прекраснымъ, гордымъ и вольно становится атлетическимъ, свободнымъ своимъ положеніемъ. Все въ ней слилось въ красоту и чувственность: съ ея страдающими группами не сливаешь страдающій вопль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самымъ ихъ страданіемъ, — такъ чувство красоты пластической, спокойной, пересиливаетъ въ ней стремленіе духа. Она никогда не выражала долгаго, глубокаго чувства, она создавала только быстрыя движенія: свирѣпый гнѣвъ, мгновенный вопль страданія; ужасъ, испугъ при внезапности, слезы, гордость и презрѣніе и, наконецъ, красоту, погруженную саму въ себя. Она обращаетъ всё чувства зрителя въ одно наслажденіе, въ наслажденіе спокойное, ведущее за собою нѣгу и самодовольство языческаго міра. Въ ней нѣтъ тѣхъ тайныхъ, бездѣльныхъ чувствъ, которыя влекутъ за собою безконечныя мечтанія. Въ ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясеній и переворотовъ жизни. Она прекрасна, мгновенна, какъ красавица, глянувшая въ зеркало, усмѣхнувшаяся, видя свое изображеніе, и уже бѣгущая, влача съ торжествомъ за собою толпу гордыхъ юношей. Она очаровательна, какъ жизнь, какъ міръ, какъ чувственная красота, которой она служитъ алтаремъ. Она родилась вмѣстѣ съ языческимъ, ясно образовавшимся міромъ, выразила его — и умерла вмѣстѣ съ нимъ. Напрасно хотѣли изобразить ея высокія явленія христіанства: она такъ же отдѣлялась отъ него, какъ самая языческая вѣра. Никогда возвышенныя, стремительныя мысли не могли улечься на ея мраморной, сладострастной наружности. Онѣ поглощались въ ней чувственностью.

Не таковы двѣ сестры ея, живопись и музыка, которыхъ христіанство воздвигнуло изъ ничтожества и превратило въ исповѣдское. Его порывомъ онѣ развились и исторгнулись изъ границъ чувственнаго міра. Миѣ жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но.... свѣтлѣ сіяя покаяш мой въ моей смиренной вельѣ, и да здравствуетъ живопись! Возвышенная, прекрасная,

какъ осень въ богатомъ своемъ убранствѣ, мелькающая сквозь переплетъ окна увитаго виноградомъ, смиренная и обширная, какъ вселенная, яркая музыка очей — ты прекрасна! Никогда скульптура не смѣла выразить твоихъ небесныхъ откровеній. Никогда не были развиты по ней тѣ тонкія, тѣ таинственно-земныя черты, вглядываясь въ которыя слышишь, какъ наполняетъ душу небо, и чувствуешь невыразимое. Вотъ мелькаютъ, какъ въ облачномъ туманѣ, длинныя галереи, гдѣ изъ старинныхъ, позолоченныхъ рамъ выказываешь ты себя живую и темную отъ неумолимаго времени, и передъ тобою стоитъ, сложивши на-крестъ руки, безмолвный зритель, и уже нѣтъ въ его лицѣ наслажденія, — взоръ его дышетъ наслажденіемъ не здѣшнимъ. Ты не была выраженіемъ жизни какой-нибудь націи, — нѣтъ, ты была выше: ты была выраженіемъ всего того, что имѣетъ таинственно-высокій міръ христіанскій. Взгляните на нее задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою голову: какъ вдохновененъ и дологъ ясный взоръ ея! Она не схватываетъ одного только быстрого мгновенія, какое выражаетъ мраморъ: она длитъ это мгновеніе, она продолжаетъ жизнь за границы чувственнаго, она покидаетъ явленія изъ другаго, безграничнаго міра, для названія которыхъ нѣтъ словъ. Все неопредѣленное, что не въ силахъ выразить мраморъ, разсѣкаемый могучимъ молотомъ скульптора, опредѣляется вдохновенною ея кистью. Она также выражаетъ страсти, понятныя всякому, но чувственность уже не такъ властвуетъ въ нихъ: духовное невольно проникаетъ все. Страданіе выражается живѣе и вызываетъ состраданіе, и вся она требуетъ сочувствія, а не наслажденія. Она беретъ уже не одного человѣка, — ея границы шире: она заключаетъ въ себѣ весь міръ; всѣ прекрасныя явленія, окружающія человѣка, въ ея власти; вся тайная гармонія и связь человѣка съ природою — въ ней одной. Она соединяетъ чувственное съ духовнымъ.

Но сильнѣе шипи третій покалъ мой! Ярче сверкай и брызгай по золотымъ краямъ его звонкая пѣна, — ты сверкаешь въ честь музыки. Она восторженнѣе, она стремительнѣе обѣихъ сестеръ своихъ. Она вся — порывъ; она вдругъ за однимъ разомъ отрываетъ человѣка отъ земли его, оглушаетъ его громомъ могу-

чихъ звуковъ и разомъ погружаетъ его въ свой міръ. Она властительно ударяетъ, какъ по клавишамъ, по его нервамъ, по всему его существованію и обращаетъ его въ одинъ трепетъ. Онъ уже не наслаждается, онъ не сострадаетъ, — онъ самъ превращается въ страданіе; душа его не созерцаетъ непостижимаго явленія, но сама живетъ, живетъ своею жизнію, живетъ порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь міръ, развилась и дышетъ въ тысячѣ разныхъ образовъ. Она томительна и мятежна, но могущественнѣе и восторженнѣе подъ безконечными, темными сводами катедраля, гдѣ тысячи поверженныхъ на колѣни молельщиковъ стремить она въ одно согласное движеніе, обнажаетъ до глубины сердечныя ихъ помышленія, кружить и несетъ съ ними горѣ, оставляя послѣ себя долгое безмолвіе и долго исчезающій звукъ, трепещущій въ углубленіи остроконечной башни.

Какъ сравнить васъ между собою, три прекрасныя царицы міра? Чувственная, плѣнительная скульптура внушаетъ наслажденіе, живопись — тихій восторгъ и мечтаніе, музыка — страсть и смятеніе души. Разсматривая мраморное произведеніе скульптуры, духъ невольно погружается въ упоеніе; разсматривая произведеніе живописи, онъ превращается въ созерцаніе; слыша музыку, — въ болѣзненный вопль, какъ бы душою овладѣло только одно желаніе вырваться изъ тѣла. Она — наша! она — принадлежность новаго міра! она осталась намъ, когда оставили насъ и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы такъ порывовъ, воздвигающихъ духъ, какъ въ нынѣшнее время, когда наступаетъ на насъ и давить вся дробь прихотей и наслажденій, надъ выдумками которыхъ ломаетъ голову нашъ XIX вѣкъ. Все составляетъ заговоръ противъ насъ; вся эта соблазнительная цѣпь утонченныхъ изобрѣтеній роскоши сильнѣе и сильнѣе порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждемъ спаси нашу бѣдную душу, убѣжать отъ этихъ страшныхъ оболстителей и — бросились въ музыку. О, будь же нашимъ хранителемъ, спасителемъ, музыка! не-оставляй насъ! буди чаще наши меркантильныя души! ударяй рѣзче своими звуками по дремлющимъ нашимъ чувствамъ! волну, раз-

рываѣ ихъ и гони, хотя на мгновеніе, этотъ холодно-ужасный эгонизмъ, силащійся овладѣть нашимъ міромъ. Пусть, при могущественномъ ударѣ смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствуетъ, хотя на мигъ, угрызеніе совѣсти, спекуляторъ растеряетъ свои расчеты, безстыдство и наглость невольно выронятъ слезу предъ созданіемъ таланта. О, не оставляй насъ, божество наше! Великій Зиждитель міра повергъ насъ въ нѣмлющее безмолвіе своею глубокою мудростью. Дикому, еще не развернувшемуся человѣку, Онъ уже вдвинулъ мысль о зодчествѣ. Простыми, безъ помощи механизма, силами, онъ ворочаетъ гранитную гору, высокимъ обрывомъ громоздитъ ее къ небу и повергается ницъ передъ безобразнымъ ея величіемъ. Древнему, ясному, чувственному міру послалъ Онъ прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту, — и весь древній міръ обратился въ ошіамъ красоты. Эстетическое чувство красоты слило его въ одну гармонію и удержало отъ грубыхъ наслажденій. Вѣкамъ неспокойнымъ и темнымъ, гдѣ часто сила и неправда торжествовали, гдѣ демонъ суевѣрія и нетерпимости изгонялъ все радужное въ жизни, далъ онъ вдохновенную живопись, показавшую міру неземныя явленія, небесныя наслажденія угодниковъ. Но въ нашъ юный и дряхлый вѣкъ ниспослалъ Онъ могущественную музыку — стремительно обращать насъ къ Нему. Но если и музыка насъ оставитъ, что будетъ тогда съ нашимъ міромъ?

1831.

О СРЕДНИХЪ ВѢКАХЪ *).

Никогда исторія міра не принимаетъ такой важности и значительности, никогда не показываетъ она такого множества индивидуальныхъ явленій, какъ въ средніе вѣки. Всѣ событія міра, приближаясь къ этимъ вѣкамъ, послѣ долгой неподвижности, текутъ съ усиленною быстротой какъ въ пучину, какъ въ мятежный водоворотъ, и, закружившись въ немъ, перемѣшавшись, переродившись, выходятъ свѣжими волнами. Въ нихъ совершилось великое преобразование всего міра: они составляютъ узелъ, связывающій міръ древній съ новымъ; имъ можно назначить то же самое мѣсто въ исторіи человѣчества, какое занимаетъ въ устройствѣ человѣческаго тѣла сердце, къ которому текутъ и отъ котораго исходятъ всѣ жилы. Какъ совершилось это всемірное преобразование? какія удержались въ немъ старыя стихіи? что прибавлено новаго? какимъ образомъ онѣ смѣшались? что произошло отъ этого смѣшенія? какъ образовалось величественное, стройное зданіе вѣковъ новыхъ? — Это такіе вопросы, которымъ равные по важности едва ли найдутся во всей исторіи. Все, что мы имѣемъ, чѣмъ пользуемся, чѣмъ можемъ похвалиться передъ другими вѣками, все устройство и искусное сложеніе нашихъ административныхъ частей, всѣ отношенія разныхъ сословій между собою, самыя даже сословія, наша религія, наши права

*) Статья эта была первоначально помѣщена въ „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ (Ч. 3-я, сентябрь 1834 г.). Извѣстно, что она составляла вступительную лекцію, читанную Н. В. Гоголемъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ, въ качествѣ адъюнкты-профессора по кафедрѣ всеобщей исторіи. *Прим. Н. Трушковскаго.*

и привилегіи, нравы; обычаи, самыя знанія, совершившія такой быстрый прогрессивный ходъ, — все это или получило начало и зародышъ, или даже развилось и образовалось въ темные, закрытыя для насъ средніе вѣка. Въ нихъ первоначальныя стихіи и фундаментъ всего новаго; безъ глубокаго и внимательнаго изслѣдованія ихъ не ясна, не удовлетворительна, не полна новая исторія, и слушатели ея похожи на посѣтителей фабрики, которые изумляются быстрой отдѣлкѣ издѣлій, совершающейя почти передъ глазами ихъ, но позабываютъ заглянуть въ темное подземелье, гдѣ скрыты первыя всемогущія колеса, дающія толчокъ всему: такая исторія похожа на статую художника, не изучившаго анатоміи человѣка.

Отчего же, несмотря на всю важность этихъ необыкновенныхъ вѣковъ, всегда какъ-то неохотно ими занимались? Отчего, приближаясь къ нимъ, всегда спѣшили скорѣе пройти ихъ и отдѣлаться отъ нихъ, и рѣдкіе, очень рѣдкіе, пораженные величіемъ предмета, возлагали на себя трудъ разрѣшить нѣкоторые изъ приведенныхъ вопросовъ? — Мнѣ кажется, это происходитъ отъ того, что средней исторіи назначали самое низшее мѣсто. Время ея дѣйствія считали слишкомъ варварскимъ, слишкомъ невѣжественнымъ, и отъ того-то оно и въ самомъ дѣлѣ сдѣлалось для насъ темнымъ, раскрытое не вполне, оцѣненное не по справедливости, представленное не въ геніальномъ величіи. Невѣжественнымъ можно назвать развѣ только одно начало, но это невѣжественное время уже имѣетъ въ себѣ то, что должно родить въ насъ величайшее любопытство. Самый процессъ сліянія двухъ жизней, древняго міра и новаго, это рѣзкое противорѣчіе ихъ образовъ и свойствъ, эти дряхлыя, умирающія стихіи стараго міра, которыя тнются по новому пространству, какъ рѣки, впавшія въ море, но долго еще не сливающія своихъ прѣсныхъ водъ съ солеными волнами: эти дикія, мощныя стихіи новаго, упорно не допускающія въ себѣ чуждаго вліянія, но, наконецъ, невольно принимающія его; это стараніе, съ какими европейскіе дикари кроютъ по-своему римское просвѣщеніе; эти отрывки или, лучше сказать, клочки римскихъ формъ, законовъ, среди новыхъ, еще не опредѣленныхъ, не получив-

шихъ ни образа, ни границъ, ни порядка; самый этотъ хаосъ, въ которомъ бродятъ разложенныя начала страшнаго величія нынѣшней Европы и тысячелѣтней силы ея, — они всё для насъ занимательнѣе и болѣе возбуждаютъ любопытства, нежели неподвижное время всесвѣтной Римской имперіи подъ управленіемъ ея безсильныхъ императоровъ.

Другая причина, почему неохотно занимались исторіей среднихъ вѣковъ, это — мнимая сухость, которую привыкли сливать съ понятіемъ о ней. На нее глядѣли какъ на кучу происшествій нестройныхъ, разнородныхъ, какъ на толпу раздробленныхъ и бессмысленныхъ движеній, не имѣющихъ главной нити, которая бы совокупляла ихъ въ одно цѣлое. Въ самомъ дѣлѣ, ея страшная, необыкновенная сложность съ перваго раза не можетъ не показаться тѣмъ-то хаоснымъ; но разсматривайте внимательнѣе и глубже, и вы найдете и связь, и цѣль, и направленіе. Я однако же не отрицаю, что, для самаго умѣнья найти все это, нужно быть одарену тѣмъ чутьемъ, которымъ обладаютъ немногіе историки. Этимъ немногимъ предоставленъ завидный даръ увидѣть и представить все въ изумительной ясности и стройности. Послѣ ихъ волшебнаго прикосновенія происшествіе оживляется и пріобрѣтаетъ свою собственность, свою занимательность; безъ нихъ оно долго представляется для всякаго сухимъ и бессмысленнымъ. Все, что было и происходило, все занимательно, если только о немъ сохранились вѣрныя лѣтописи, исключая развѣ совершенное безстрастіе народовъ; вездѣ есть нить (какъ во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бываетъ заткана уткомъ; какъ въ лучистомъ камнѣ есть невидимый свѣтъ, который онъ отливаетъ, будучи обращенъ къ солнцу): она исчезаетъ только съ утратою извѣстій. Такъ и въ первоначальныхъ вѣкахъ средней исторіи, сквозь всю кучу происшествій, невидимую нитью тянется постепенное возрастаніе папской власти и развивается феодализмъ. Казалось, событія происходили совершенно отдѣльно и блескомъ своимъ затемняли уединеннаго, еще скромнаго римскаго первосвященника; дѣйствовалъ сильный государь или его вассалъ, и дѣйствовалъ лично для себя, а между тѣмъ существенныя выгоды

незамѣтно текли въ Римъ. И все, что ни происходило, казалось, нарочно происходило для папы. Гильдебрандъ только отдернулъ занавѣсъ и показалъ власть, уже давно приобрѣтенную папами.

Исторія среднихъ вѣковъ менѣе всего можетъ назваться скучною. Нигдѣ нѣтъ такой пестроты, такого живаго дѣйствія, такихъ рѣзкихъ противоположностей, такой странной яркости, какъ въ ней: ее можно сравнить съ огромнымъ строеніемъ, въ фундаментѣ котораго улегся сѣвѣйшій, крѣпкій, какъ вѣчность, гранитъ, а толстыя стѣны выведены изъ различнаго, стараго и новаго, матеріала, такъ что на одномъ кирпичѣ видны готскія руны, на другомъ блеститъ римская позолота; арабская рѣзба, греческій карнизъ, готическое окно — все слѣпилось въ немъ и составило самую пеструю башню. Но яркость, можно сказать, только вѣншній признакъ событій среднихъ вѣковъ; внутреннее же ихъ достоинство есть колоссальность исполненія, почти чудесная, — отвага, свойственная одному только возрасту юности, и оригинальность, дѣлающая ихъ единственными, не встрѣчающими себѣ подобія и повторенія ни въ древнія, ни въ новыя времена.

Бросимъ взглядъ на тѣ изъ событій, которыя произвели сильное вліяніе. Главный сюжетъ средней исторіи есть папа. Онъ — могущественный обладатель этихъ молодыхъ вѣковъ, онъ движетъ всѣми силами ихъ и, какъ громовержецъ, однимъ мановеніемъ своимъ править ихъ судьбою. Словомъ, вся средняя исторія есть исторія папы. Его непреодолимое желаніе властвовать, его постоянныя средства, исполненныя проникательности и мудрости, слѣдствія старческаго возраста; его деспотизмъ и деспотизмъ безчисленныхъ легионовъ его могущественнаго духовенства — ревностныхъ подданныхъ духовнаго монарха, наложившихъ свои желѣзныя оковы на всѣ углы міра, куда ни проникло знаменіе креста, — представляютъ явленіе единственное, колоссальное и не повторявшееся никогда. Не стану говорить о злоупотребленіи и о тяжести оковъ духовнаго деспота. Проникнувъ болѣе въ это великое событіе, увидимъ изумительную мудрость Провидѣнія; не схвати эта всемогущая власть всего въ свои руки, не двигай и не устремляй по своему жела-

нію народы — и Европа разсыпалась бы, связи бы не было; нѣкоторые государства поднялись бы, можетъ-быть, вдругъ и вдругъ бы развратились; другія сохранили бы дѣбось свою на гибель сосѣдямъ; образованіе и духъ народный разлились бы неровно: въ одномъ уголку выказывалось бы образованіе, въ другомъ бы чернѣлъ мракъ варварства; Европа не устоялась бы, не сохранила того равновѣсія, которое такъ удивительно ее содержитъ; она бы болѣе была въ хаосѣ, она бы не слилась желѣзною силою энтузіазма въ одну стѣну, устранившую свою крѣпостью восточныхъ завоевателей и, можетъ-быть, безъ этого великаго явленія, Европа уступила бы ихъ напору, и магометанская луна горделиво вознеслась бы надъ нею, вмѣсто креста. Невольно преклонишь колѣна, слѣдя чудные пути Провидѣнія: власть папамъ какъ будто нарочно дана была для того, чтобы въ продолженіи этого времени юныя государства окрѣпили и возмужали; чтобы они повиновались прежде, нежели достигнуть возраста повелѣвать другими; чтобы сообщить имъ энергію, безъ которой жизнь народовъ безцвѣтна и бессильна. И какъ только народы достигли состоянія управлять собою, власть папы, какъ исполнившая уже свое предназначеніе, какъ болѣе уже ненужная, вдругъ поколебалась и стала разрушаться, несмотря на всѣ сильныя мѣры, на все желаніе удержать гибнувшія силы свои. Власть ихъ въ этомъ отношеніи была то же, что подмостки и лѣсъ для постройки зданія: вначалѣ они выше и кажутся значительнѣе самого строенія; но какъ только строеніе достигло настоящей высоты, они, какъ ненужные, принимаются прочь.

Съ мыслию о среднихъ вѣкахъ невольно сливается мысль о крестовныхъ походахъ — необыкновенномъ событіи, которое стоитъ какъ исполнѣ въ срединѣ другихъ, тоже чудесныхъ и необыкновенныхъ. Гдѣ, въ какое время было когда-нибудь равное ему своею оригинальностію и величіемъ? Это не какая нибудь война за похищенную жену, не порожденіе ненависти двухъ непримиримыхъ націй, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями за корону или за клочокъ земли, даже не война за свободу и народную независимость, — нѣтъ, ни одна изъ страстей, ни одно собственное желаніе, ни одна личная выгода не

входятъ сюда: всѣ проникнуты одною мыслию — освободить гробъ Божественнаго Спасителя! Народы текутъ съ крестами со всѣхъ сторонъ Европы; короли, графы — въ простыхъ власникахъ; монахи, препоясанные оружіемъ, становятся въ ряды воиновъ; епископы, пустынники, съ крестами въ рукахъ, предводятъ несметными толпами — и всѣ текутъ освободить свою вѣру. Владычество одной мысли объемлетъ всѣ народы. Нѣтъ ли чего-то великаго въ этой мысли? И напрасно крестовые походы называются безразсуднымъ предпріятіемъ. Не странно ли было бы, еслибъ отрокъ заговорилъ словами разсудительнаго мужа? Они были порожденіе тогдашняго духа и времени. Предпріятіе это — дѣло юноши, но такого юноши, которому опредѣлено быть гениемъ. А какія безчисленныя, какія удивительныя и непредвидѣнныя слѣдствія крестовыхъ походовъ! Нужно было всю массу образованную и воспитанную, дать ей увидѣть свѣтъ, который часто заслоняло духовенство, и вся масса для этого извергается въ другую часть свѣта, гдѣ потухающее арабійское просвѣщеніе силится передать ей свой пламень, и вся Европа волежитъ по Азіи. Не въ правѣ ли мы изумляться? Обыкновенно, какой-нибудь выходецъ изъ земли образованной одинъ приноситъ просвѣщеніе и первыя свѣдѣнія въ неизвѣстную страну и постепенно образуетъ дикарей; но образованіе это тянется медленно, неровно. Здѣсь же, напротивъ, народы сами, всею своею массою приходятъ за образованіемъ и, несмотря на долгое пребываніе, не сливаются съ своими учителями, ничего не перенимаютъ у нихъ роскошнаго и развратнаго, удерживаютъ свою самобытность, при всемъ заимствованіи множества азіятскихъ обыкновеній, и возвращаются въ Европу Европейцами, а не Азіятцами. Я уже не говорю о тѣхъ слѣдствіяхъ, тѣхъ переменахъ въ феодальномъ правленіи, для которыхъ нужно было временное удаленіе многихъ сильныхъ.

Но бросимъ взглядъ на другіе происшествія, наполняющія среднюю исторію. Они хотя, въ сравненіи съ крестовыми походами, могутъ почестъся второстепенными, но тѣмъ не менѣе всѣ исполнены чудесности, сообщающей среднимъ вѣкамъ какой-то фантастическій свѣтъ, всѣ — порожденіе юношества прекраснаго, исполненнаго самыхъ сильныхъ и великихъ надеждъ, часто

безразсуднаго, но плѣнительнаго и въ самой безразсудности. Разсмотримъ ихъ по порядку времени.

Возьмемъ то блестящее время, когда появились Аравитяне, краса народовъ восточныхъ, — и одному только человѣку и созданной имъ религіи, роскошной какъ ночи и вечера востока, пламенной какъ природа близкая къ Индѣйскому морю, важной и размышляющей, какую только могли внушить великія пустыни Азіи, — обязаны они всёми своимъ блестящимъ, радужнымъ существованіемъ! Съ непостижимою быстротою они, эти смуглые чамоносцы, воздвигаютъ свои калифаты съ трехъ сторонъ Средиземнаго моря. И воображеніе ихъ, умъ и всё способности, которыми природа такъ чудно одарила Араба, развиваются въ виду изумленнаго Запада, отпечатываясь со всею роскошью на ихъ дворцахъ, мечетяхъ, садахъ, фонтанахъ, и такъ же внезапно, какъ въ ихъ сказкахъ, кипящихъ изумрудами и перлами восточной поэзіи. Вѣкъ впередъ, — и уже онъ исчезъ, этотъ необыкновенный народъ, такъ что въ раздумьи спрашиваешь себя: точно ли онъ жилъ и существовалъ, или онъ — самое прекрасное созданіе нашего воображенія?

Какъ чудесно и какой сильной исполнено противоположности появленіе Норманновъ, народа, котораго гнѣвный Сѣверъ свирѣпо выбросилъ изъ ледяныхъ нѣдръ своихъ! Горсть людей дерзкихъ, за которыми какъ будто гонятся по пятамъ мрачный ихъ Одинъ и снѣговныя горы Скандинавіи, наводитъ паническій страхъ на обширныя государства! По Сѣверному океану плывутъ ихъ движущіяся королевства подъ начальствомъ морскихъ своихъ королей, и все падаетъ ницъ предъ этими малолюдными пришлецами, воспитанными бурей, морями, страшною бѣдностью Скандинавіи и дикою религіей.

Колоссальныя завоеванія и распространеніе Монголовъ были также дѣломъ почти сверхъестественнымъ. Необъятная внутренность Азіи, которая была скрыта отъ глазъ всёхъ народовъ, освѣтилась вдругъ въ самомъ страшномъ величіи. Эти степи, которымъ нѣтъ конца, озера и пустыни исполинскаго размѣра, гдѣ все раздалось въ ширину и безпредѣльную равнину, гдѣ человекъ встрѣчается какъ будто для того, чтобы собою увеличить

еще болѣе окружающее пространство; степи, шумящія хлѣбомъ, нѣкъмъ не сѣяннымъ и не собираемымъ, травою, почти равняющеюся ростомъ съ деревьями; степи, гдѣ пасутся табуны и стада, которыхъ отъ вѣка никто не считалъ, и владѣльцы не знаютъ настоящаго количества, — эти степи увидѣли среди себя Чингисъ-Хана, давшаго обѣтъ предъ толпами своихъ узкоглазыхъ, плосколицыхъ, широкоплечихъ, малорослыхъ Монголовъ, завоевать міръ — и многолюдный Певинъ горитъ цѣлый мѣсяцъ, милліонъ народа выстрѣливается монгольскими стрѣлами, государь тунгусскій гибнетъ съ сотнями тысячъ подданныхъ на замершемъ озерѣ, стада пригоняются къ границамъ Индіи, табуны кипятъ при Волгѣ. Словомъ, какъ будто на завоеваніяхъ ихъ отразилась колоссальность Азіи. Такого быстрого распространенія тоже не видала ни древняя, ни новая исторія.

Я уже ничего не говорю о важной торговлѣ Венеціи, этого небольшого лоскутка земли, которую всю занималъ одинъ городъ, и городъ безъ государства, выжималъ золото со всего міра и коего царственные купцы, своими кораблями, горделиво обошедшими всѣ моря, и дворцами при Адриатическомъ морѣ, далеко превосходили многихъ монарховъ. Этого явленія я не считаю единственнымъ и необыкновеннымъ. Оно повторяется въ исторіи міра часто, хотя въ другихъ формахъ и съ разными измѣненіями. Несравненно оригинальнѣе жизнь Европы во время и послѣ крестовыхъ походовъ, когда въ ней все еще темны и неопредѣленны границы государствъ; когда еще государь звучитъ однимъ именемъ своимъ и вмѣсто того милліоны владѣльцевъ, изъ которыхъ каждый — маленькій императоръ въ своей землѣ, когда вся Европа облекается въ неприступныя замки съ башнями и зубцами, и твердыя крѣпости усѣваютъ ея поверхность; когда воспитанная взаимнымъ страхомъ и битвами сила рыцарей дѣлается почти львиною и заковывается съ ногъ до головы въ желѣзо, тяжести котораго еще не выносилъ человѣкъ, и грубо, независимо развивается самостоятельная гордость души. Казалось, эта дикая храбрость должна бы совершенно закалить ихъ и сдѣлать такъ же безчувственными, какъ непроницаемыя ихъ латы. Но какъ удивительно они были укрощены, и такимъ явленіемъ, которое представляетъ

совершенную противоположность съ ихъ нравами! это — всеобщее безпредѣльное уваженіе къ женщинамъ. Женщина среднихъ вѣковъ является божествомъ: для нея турниры, для нея ломаются копыя, ея розовая или голубая лента вьется на шлемахъ и латахъ и вливаетъ сверхъестественныя силы, для нея суровый рыцарь удерживаетъ свои страсти такъ же мощно, какъ арабскаго бѣгуна своего, налагаетъ на себя обѣты изумительныя и неподражаемыя по своей строгости къ себѣ, и все для того, чтобы быть достойнымъ повергнуться къ ногамъ своего божества. Если эта возвышенная любовь изумительна, то вліяніе ея на нравы и того болѣе. Все благородство въ характерѣ Европейцевъ было ея слѣдствіемъ. А вся эта странническая жизнь, которая обратила Европу въ какую-то движущуюся столицу, доставившая тысячи опытовъ и приключеній каждому и произведшая въ послѣдствіи въ Европейцахъ жажду къ открытію новыхъ земель! Какъ самыя ихъ взаимныя брани и битвы, вѣчно неспокойное положеніе, вмѣсто того, чтобы ослабить всеобщій духъ и напряженіе, какъ то обыкновенно дѣлается въ періоды исторіи, когда роскошь раздѣдаетъ раны нравственной болѣзни народовъ, и алчность выгодо личныхъ выводитъ за собою низость, лесть и способность устремиться на всѣ утонченныя пороки, — вмѣсто этого, они только укрѣпили и развили ихъ! Пороки народовъ образованныхъ не смѣли коснуться рыцарства Европы. Казалось, Провидѣніе бодрствовало надъ нимъ неуспынно и съ заботливостью преданнаго наставника берегло его. Едва только возникли улучшенія для жизни, которыя подносила Венеція и Ганза, и начали отдѣлять рыцарей отъ ихъ обѣтовъ и строгой жизни, подогрѣвать желаніе наслажденій и уменьшать энтузіазмъ религіозный, какъ появившіяся чудныя, небывалыя никогда дотоѣ общества стали грозными соглядатаями, неумолимою совѣстью предъ народами Европы. Никогда исторія не представляла обществъ, связанныхъ такими неразрывными узами, какъ эти духовныя ордена рыцарей. Ничего для своей пользы или для своего существованія, что всегда составляло цѣль обществъ! Уничтожить все, что составляетъ желаніе человѣка, и жить для всего человѣчества; жить, чтобы быть грозными хранителями міра, чтобы носить въ себѣ одно — защиту

вѣры Христовой; все принести ей въ жертву и отказаться отъ всего, что отзывается выгодною жизни — не чудесно ли это явленіе! Эта энергія и сила для него могла быть только вычерпнута изъ среднихъ вѣковъ. И какъ только ордена рыцарскіе стали уклоняться отъ своей дѣли и обращать глаза на другія, какъ только начали заражаться желаніемъ добычи и корысти, и роскошь заставляла ихъ живѣе привязываться къ собственной жизни, и они стали походить сами на тѣхъ, за которыми наложили на себя сами же смотрѣніе, — какъ возникаютъ страшные тайные суды, неумолимые, неотразимые, какъ высшія предопредѣленія, являющіяся уже не совѣстью передъ вѣтренымъ міромъ, но страшнымъ изображеніемъ смерти и казни. Ни сила, ни обширныя земли, ни даже самая корона не спасаютъ и не отмѣняютъ произнесеннаго ими приговора. Незнаемые, невидимые какъ судьба, гдѣ-нибудь въ глуши лѣсовъ, подъ сырмъ сводомъ глубокаго подземелья, они взвѣшивали и разбирали всю жизнь и дѣла того, которому, посреди необъятныхъ своихъ земель и сотни покорныхъ вассалловъ, и въ мысль не приходило, есть ли гдѣ въ мірѣ власть выше его. И если эти подземные суды разъ произносили обвиняющее слово, — все кончено. Напрасно властитель грозою могущества своего затрудняетъ къ себѣ приближеніе, напрасно его золото залѣпляетъ уста и заставляетъ всѣхъ прославлять его — неумолимый кинжалъ настагаетъ его на концѣ міра, крадется мимо пышной толпы и разитъ его изъ-за плеча друга. Не составляетъ ли это чудесности почти сказочной? Только тамъ такъ неотразимо, такъ сверхъестественно, такъ неправильно дѣйствуетъ человекъ, оторванный отъ общества, лишенный покрова законной власти, не знающей, что такое слово „невозможность.“

А самый образъ занятій, царствовавшій въ срединѣ и концѣ среднихъ вѣковъ — это всеобщее устремленіе всѣхъ къ чудесной наукѣ, это желаніе выпытать и узнать таинственную силу въ природѣ, эта алчность, съ какою всѣ ударились въ волшебство и чародѣйственныя науки, на которыхъ ясно кипитъ признакъ европейскаго любопытства, безъ котораго науки никогда бы не развились и не достигли нынѣшняго совершенства! Самая даже простодушная вѣра ихъ въ духовъ и обвиненія въ сообщеніи

съ ними имѣють для насъ уже необыкновенную занимательность. А занятія алхиміей, считавшеюся ключомъ ко всѣмъ познаніямъ, въѣнцомъ учености среднихъ вѣковъ, въ которой заключилось дѣтское желаніе открыть совершеннѣйшій металлъ, который бы доставилъ человѣку все! Представьте себѣ какой-нибудь германскій городъ въ средніе вѣки, эти узенькія, неправильныя улицы, высокіе, пестрые готическіе домики и среди ихъ какой-нибудь ветхій, почти валящійся, считаемый необитаемымъ, по растреснувшимся стѣнамъ котораго лѣпится мохъ и старость, окна глухо заколочены — это жилище алхимика. Ничто не говоритъ въ немъ о присутствіи живущаго, но въ глухую ночь голубоватый дымъ, вылетая изъ трубы, докладываетъ о неусыпномъ бодрствованіи старца, уже посѣдѣвшаго въ своихъ исканіяхъ, но все еще неразлучнаго съ надеждою, — и благочестивый ремесленникъ среднихъ вѣковъ со страхомъ бѣжитъ отъ жилища, гдѣ, по его мнѣнію, духи основали пріютъ свой, и гдѣ, вмѣсто духовъ, основало жилище неугасимое желаніе, непреборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже отъ неудачи — первоначальная стихія всего европейскаго духа, — которое напрасно преслѣдуетъ инквизиція, проникая во всѣ тайны мышленія человѣка: оно вырывается мимо и, облеченное страхомъ, еще съ большимъ наслажденіемъ предается своимъ занятіямъ.

А самая инквизиція? Какое мрачное и ужасное явленіе! инквизиція свирѣпая, слѣпая, владѣвшая безчисленными сводами и подземельями монастырей, не вѣрящая ничему, кромѣ своихъ ужасныхъ пытокъ, на которыхъ человѣкъ показалъ адскую изобрѣтательность; инквизиція, выпускавшая изъ-подъ монашескихъ мантий свои желѣзные когти, хватавшіе всѣхъ безъ различія, кто только ни предавался страннымъ и необыкновеннымъ занятіямъ; подтвердившая великую истину, что если можетъ физическая природа человѣка, доведенная муками, заглушить голосъ души, то въ общей массѣ всего человѣчества душа всегда торжествуетъ надъ тѣломъ.

Не единственныя ли всѣ эти явленія? Не дають ли они права назвать средніе вѣка вѣками чудесными? Чудесное прорывается

при каждомъ шагѣ и властвуетъ вездѣ, во все теченіе этихъ юныхъ десяти вѣковъ, — юныхъ потому, что въ нихъ дѣйствуетъ все молодое, кипящее отвагою, порывы и мечты, не думавшіе о слѣдствіяхъ, не призывавшіе на помощь холоднаго соображенія, еще не имѣвшіе прошедшаго, чтобъ оглянуться. Все было въ нихъ — поэзія и безотчетность. Вы вдругъ почувствуете переломъ, когда вступите въ область исторіи новой. Пережѣвна слишкомъ ощутительна, и состояніе души вашей будетъ похоже на волны моря, прежде воздымавшіяся неправильными, высокими буграми, но послѣ улегшіяся и всею своею необозримою равниною мѣрно и стройно совершающія правильное теченіе. Дѣйствія человѣка въ среднихъ вѣкахъ кажутся совершенно безотчетны; самыя великія происшествія представляютъ совершенные контрасты между собою и противорѣчатъ во всемъ другъ другу. Но совокупленіе ихъ всѣхъ вмѣстѣ въ цѣлое являетъ изумительную мудрость. Если можно сравнить жизнь одного человѣка съ жизнію цѣлаго человѣчества, то средніе вѣка будутъ то же, что время воспитанія человѣка въ школѣ: дни его текутъ незамѣтно для свѣта, дѣянія его не такъ крѣпки и зрѣлы, какъ нужно для міра, о нихъ никто не знаетъ; но за то они всѣ — слѣдствіе порыва и обнажаютъ за однимъ разомъ всѣ внутреннія движенія человѣка, и безъ нихъ не состоялась бы будущая его дѣятельность въ кругу общества.

Теперь разсмотрите, между какими колоссальными событіями заключается время среднихъ вѣковъ! Великая имперія, повелѣвавшая міромъ, двѣнадцативѣковая нація, дряхлая, истощенная, падаетъ, съ нею валится полсвѣта, съ нею валится весь древній міръ съ полуязыческимъ образомъ мыслей, безвкусными писателями, гладиаторами, статуями, тяжестью роскоши и утонченностью разврата. Это ихъ начало. Оканчиваются средніе вѣка тоже самымъ огромнымъ событіемъ — всеобщимъ взрывомъ, подымающимъ не воздухъ все и обращающимъ въ ничто всѣ страшныя власти, такъ деспотически ихъ обнявшія. Власть папы подрывается и падаетъ, власть невѣжества подрывается, сокровища и всемірная торговля Венеціи подрываются, и когда всеобщій хаосъ переворота очищается и проясняется, передъ изум-

ленными очами являются: монархи, держащие мощною рукою свои скипетры; корабли, расширеннымъ взмахомъ несущіеся по волнамъ необъятнаго океана мимо Средиземнаго моря; въ рукахъ у Европейцевъ, вмѣсто безсильнаго оружія, огонь; печатные листы разлетаются по всѣмъ концамъ міра, — и все это результаты среднихъ вѣковъ. Сильный напоръ и усиленный гнетъ властей, казалось, были для того только, чтобы сильнѣе произвести всеобщій взрывъ. Ужь человѣка, задвинутый крѣпкою толщею, не могъ иначе прорваться, какъ собравши всѣ свои усилія, всего себя. И оттого-то, можетъ-быть, ни одинъ вѣкъ не представляетъ такихъ гигантскихъ открытій, какъ XV, — вѣкъ, которымъ такъ блистательно оканчиваются средніе вѣка, величественные, какъ колоссальный готическій храмъ, темные, мрачные, какъ его пересѣкаемые одинъ другимъ своды, пестрые, какъ разноцвѣтныя его окна и куча изузоривающихъ его украшеній, возвышенные, исполненные порывовъ, какъ его летящіе къ небу столпы и стѣны, оканчивающіеся мелькающимъ въ облакахъ шпигелемъ.

ГЛАВА ИЗЪ ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА *)

Между тѣмъ посланникъ нашъ переѣхалъ границу, отдѣляющую нынѣ Пирятинскій повѣтъ отъ Лубенскаго. Общихъ ѣздовыхъ дорогъ тогда не было въ Малороссіи, но почти каждому извѣстна была какая-нибудь проселочная, по мнѣнію его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь отъ ровной поверхности, проскальзывала въ рытвины, царапалась по косогору, вѣшалась надъ провалами, и одинъ неровный, слегка протоптанный подковою коня слѣдъ означалъ ея уклоненія. Достаточно было только выѣхать въ дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлеговъ. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленнаго съ мѣстами, было то, что онъ долженъ былъ, на разстояніи 25 или 30 ружейныхъ выстрѣловъ, вывѣдывать и спрашивать пути у жителей, которыхъ показанія всегда почти разногласили.

Пустивъ поводъ и наклонивъ голову, всадникъ нашъ давно уже погруженъ былъ въ раздумье, и только изрѣдка попадавшіяся кочки и пни срубленныхъ деревьевъ, заставляя спотыкаться вѣрнаго его товарища, борзаго коня, перерывали разомъ его думы, которыя снова обычнымъ ожерельемъ низались въ головѣ

*) Изъ романа подъ заглавіемъ: „Гетьманъ.“ Первая часть его была написана и сожжена, потому что самъ авторъ не былъ ею доволенъ; двѣ главы, напечатанныя въ періодическихъ изданіяхъ, помѣщаются въ этомъ собраніи.

Прим. Гоголя.

Глава эта была сперва помѣщена въ альманахѣ „Сѣверные Цвѣты“ на 1831 годъ. Подъ нею выставлены буквы: оооо, потому, какъ полагаютъ, что буква о встрѣчается четыре раза въ имени и фамиліи сочинителя.

Прим. Н. Трушковскаго.

его. Въ первый разъ еще случилось ему выполнять такое порученіе: ѣхать, Богъ знаетъ куда, въ незаселенныя степи Украйны! И кто этотъ Глѣчикъ?... Какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшаго себя полковникомъ Миргородскаго полка?... Ему не объявлено было ничего удовлетворительнаго ни о характерѣ, ни о силѣ его, ни о томъ, какія онъ имѣетъ сношенія и съ кѣмъ.... Къ чему же эта осторожность, какую нужно было имѣть въ рѣчахъ съ нимъ? Зачѣмъ перелетать такую даль, чтобы только доставить ему свѣдѣнія о событіяхъ, волновавшихъ Варшаву? И чѣмъ могъ быть полезенъ такой отдаленный союзникъ?... Мысленно досадовалъ онъ на себя, что не вывѣдалъ обстоятельно объ этомъ отъ Бригитты; ей, безъ сомнѣнія, сколько-нибудь были извѣстны причины такого страннаго посольства.

Солнце медленно прощалось съ землею. Живописныя облака, обхваченныя по краямъ огненными лучами, поминутно мѣняясь и разрываясь, летѣли по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тѣнь свою и притворяли мало-по-малу ставни окошекъ, освѣщавшихъ свѣтлый Божій міръ. Въ это время путникъ напѣ, послѣ долгаго степнаго странствованія, вѣхалъ въ лѣсъ. Раздѣтыя безжалостною осенью деревья сквозили какъ рѣшето и, казалось, дрожали отъ вечерняго холода. Желтые листья, какъ объѣдки и битые ковши отъ недавнаго пиршества, валялись не прибранные, и одинъ только шелестъ ихъ, ходя по лѣсу, давалъ знать о присутствіи въ немъ нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину лѣса темнѣло небо; рѣзкій вѣтеръ подымался съ поля и мчалъ заунывные свои вопли въ гущу лѣса.

Путникъ по-неволѣ задумался и остановилъ коня своего въ нерѣшимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла и передъ нимъ торчалъ одинъ только лѣсъ да неизвѣстность; какъ вдругъ громкій голосъ: „цобъ, цобъ!“ поразилъ слухъ его; тяжело нагруженный возъ заскрипѣлъ, и пара воловъ показалась изъ-за деревьевъ. Надобно вообразить себя на мѣстѣ путешественника, чтобы вполне почувствовать радость такой встрѣчи. Луна въ это время вырѣзалась на небѣ. Серебряный свѣтъ, перепутанный тѣнью отъ деревъ, палъ рѣшеткою на зе-

млю, освѣтивъ далеко окрестность, и Лапчинскій увидѣлъ передъ собою дужаго пожилаго селянина. Сѣдме, закрученные внизъ усы его гордо покоились на смугломъ, означенномъ рѣзкими мускулами лицѣ, которое такъ простодушно отвѣчала какая-то азіятская безпечность. По чернымъ бровямъ серебрилась сѣдина, огонь вылеталъ изъ небольшихъ карихъ глазъ, и въ огнѣ томъ вневѣчивались попережвнно то хитрость, то простодушіе. На головѣ у него была черная козацкая шапка съ синимъ верхомъ. Коротенькій нагольный тулупъ, затянутый яркоцвѣтнымъ поясомъ, служилъ непроницаемыми латами отъ холода; сверхъ этого одѣянія, въ добавку, накинута былъ обыкновенный кобенякъ изъ толстаго смурого сукна, который и понинѣ носятъ малороссійскіе мужики. Изъ-за пояса торчала пицаль и изогнутая татарская сабля, — оружіе, которое въ тогдашнія смутныя времена всякой козакъ, ратникъ и селянинъ почиталъ необходимою всегда имѣть при себѣ.

— Помогай Боже! сказалъ онъ, остановивъ воловъ и обнаживъ увѣчанную только на верхушкѣ кистью волосъ голову, въ знакъ того уваженія, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратнымъ людямъ. Надобно припомнить, что Лапчинскій, въ избѣжаніе непріятностей, какимъ бы онъ неминуемо подвергнулся отъ жителей, не терпѣвшихъ всего, что только носило названіе Ляха, или принадлежало Ляхамъ, принужденъ былъ пережвнить щегольской костюмъ свой на скромное одѣянье козацкаго десятника.

Всадникъ нашъ отвѣчалъ легкимъ наклоненьемъ головы на сіе привѣтствіе.

— Не знаешь ли, землякъ, молвилъ онъ съ ласковымъ видомъ: — далеко ли отсюда до Ромодановскаго шляху?

— Не съумѣю, добродію, сказать вдругъ; повремените немножко. — Тутъ принялся онъ высчитывать, что выражали машинально сгибаемые имъ пальцы. — До Ромодановскаго шляху.... какъ бы вамъ сказать?... оно не такъ, чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронесъ слухъ, что все шляхетство собирается къ намъ на Сулу въ гости. Спихватились съ дуру и разломали мосты; такъ вамъ до-

брѣдію, чтобъ не пришлось давать большихъ объѣздовъ. Впрочемъ Богъ его знаетъ, я говорю это потому, что другіе говорятъ... такъ, можетъ-быть, выберется и короткій путь; только знаете, теперь время осеннее... то станется, что и далеко... Только опять же, какъ подумаешь, то кажется, что и близко. Вотъ другое дѣло, еслибы были поставлены столбы по дорогѣ, какіе, безъ сомнѣнія, сами добрѣдію, если бывали въ Польшѣ, встрѣчали по тамошнимъ дорогамъ.

Не должно удивляться противорѣчіямъ, испестрявшимъ монологъ нашего поселяннина. Кромѣ дѣйствительной неизвѣстности, Малороссіяне любили поусомниться и въ самомъ знакомомъ имъ дѣлѣ. Малороссіянинъ и до нынѣ ничего не скажетъ наобумъ, но разъ десять поправитъ себя, а иногда съ умысломъ запутаетъ своего слушателя такъ, что тотъ, къ изумленію своему, видитъ, что до такого-то мѣста и далеко, и близко.

— Куда же, по крайней мѣрѣ, мнѣ теперь держать путь? спросилъ странникъ, вперивъ испытующій взоръ на своего наставника.

Тутъ селянинъ нашъ осмотрѣлъ его хорошенько съ головы до ногъ.

— А вы, добрѣдію, хотите теперь ѣхать?

— Почему же не теперь?

— Богъ съ вами! теперь и нашъ братъ, здѣшній, уже сильно подумавши развѣ поѣдетъ. Знаешь, мосьпане, вѣдь намъ стоитъ только проѣхать такое время, въ какое добрый мужикъ успѣетъ вымолотить полкопны жита, чтобы слышать собачій лай съ моего двора. Все бы лучше опочить въ теплой хатѣ, а завтра хоть и съ Богомъ!

Отъ такого предложенія нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидалъ.

— А куда, спросилъ дорогою поселяннинъ нашъ своего будущего гостя, — лежитъ путь вамъ, мосьпане?

— Ёду-то я далеко, на ту сторону Ворскла, къ Миргородскому полковнику Глечуку. Чтѣ, землякъ, не знаешь ли и ты его?

— Какъ не знать этой старой собаки! А изъ какихъ мѣстъ Богъ несетъ?

— Изъ великой станицы, что подъ Лохвицею.

— Какъ же это, добродію, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была подъ Лохвицею?—Тутъ вонзиль онъ въ него острый взоръ свой, который, казалось, хотѣлъ выпытать его душу. — И то сказать, гдѣ ужъ мужику знать все про войсковыя дѣла: до нашего захоlustья еще и слухи не дошли объ этомъ.

Посланникъ нашъ спохватился, что не нужно бросать осторожности въ розсказняхъ и съ простымъ селяниномъ, и потому, собравшись немного съ мыслями, продолжалъ: — То-есть, вотъ видишь, землякъ, навѣрное я еще не могу сказать. Въ самой-то станицѣ я не былъ, а встрѣтившійся подъ Лохвицею запорожскій сотникъ Шляйко, узнавъ, что я ѣду въ эти мѣста, далъ мнѣ грамотку къ миргородскому полковнику. Летѣлъ онъ, какъ угорѣлый; изъ разспросовъ его я ничего не могъ узнать навѣрное. Недавно предъ тѣмъ возвратился я изъ Варшавы.... Видишь, онъ, можетъ-быть, имѣлъ причины недовѣрять мнѣ.... то есть.... онъ.... ты, думаю, понимаешь меня.

— Что вы говорите, добродію! Развѣ мужикъ пойметъ то, что толкуютъ паны? Ей Богу, нѣтъ! гдѣ намъ понять! у насъ и голова не такъ сдѣлана, какъ у пановъ: чортъ знаетъ, что такое; больше на капусту похоже, чѣмъ на голову.

„О, да ты штука!“ подумалъ про себя Лапчинскій и положилъ себѣ быть какъ можно осторожнѣе въ словахъ.

Онъ во все это время ѣхалъ шагомъ, уравнивая легкую поступь своего гордаго коня съ лѣнливою выступкою тяжелыхъ воловъ, впереди которыхъ съ флегматическою важностью шель селянинъ, помахивая батогомъ и потягивая коротенькую люльку *). Дымъ отъ нея обнималъ облаками смуглое лицо его, которое, освѣщаясь иногда вспыхивавшимъ огонькомъ, казалось лицомъ какого-нибудь упыря, выказывавшимся по временамъ изъ непробуднаго болотнаго тумана и сѣявшимъ искры чуднаго огня. Это заставляло Лапчинскаго чаще всматриваться ему въ глаза, чтобы удостовѣриться, точно ли то былъ его товарищъ.

Но селянинъ нашъ самъ отгонялъ всякое насчетъ его со-

*) Трубку.

мѣніе, не давая минуты задуматься своему гостю. „Слышали-ль вы, добродію, про такое диво? говорилъ онъ, не выпуская изъ рта своей трубки. — Видишь ли сосну, вонъ далеко-далеко чернѣетъ предъ нами?“

И путникъ, въ удивленію своему, точно увидѣлъ сосну. Какимъ образомъ зашла она сюда, когда во всей почти этой сторонѣ Малороссіи, на разстояніи, можетъ-быть, по сту верстъ во всѣ стороны, взоръ не отыскивалъ этой суровой жилицы сѣвера! Невольно вперилъ онъ на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженнаго лѣса сохранила, казалось, жизнь, но жизнь ли это? Это была мумія, которую съ изумленіемъ отыскиваютъ между голыми скелетами, одну, не сокрушенную тлѣніемъ. Въ ней видны тѣ же черты, та же прекрасная форма человѣка объемлетъ ее; но, Боже, въ какомъ видѣ! Неотразимое, непонятное чувство тоски врывается въ душу при взглядѣ на жалкій обманъ, которымъ суетное искусство силится выхватить и удержать что-то похожее на жизнь.

— „Это еще небольшое диво, что сосна, а вотъ чтò диво. Лѣтъ за пятьдесятъ передъ тѣмъ, какъ мы балагуримъ съ вами, жилъ, чуть ли не на вотъ этомъ мѣстѣ, въ хоромахъ великій панъ. Воевода ли онъ былъ, сотникъ ли какой, или просто панъ, этого я не умѣю сказать; знаю только, что онъ былъ Ляхъ и не нашей вѣры. Жилъ онъ, какъ всѣ нечистые польскіе паны живутъ: домъ съ утра до вечера ходенемъ ходилъ отъ вина да отъ пѣсенъ, и далече прохватывала дрожь крещенаго человѣка, когда онъ слышалъ раздававшіеся изъ лѣсу крики. Хлдицы изъ двора его то и дѣло что наѣздничали по хуторамъ да обирали бѣдныхъ жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое дѣлали... врагъ съ ними! не хочу и говорить, чтò такое. Побить бы ихъ всѣхъ, добродію, такъ нельзя, потому что двора одной у нихъ было, можетъ, съ полторы сотни, да и на каждого бердыши, самопалы и вся збруя ратная. Вотъ и вызвался одинъ дьяконъ, — какъ уже его звали и изъ какого приходу онъ былъ, ей Богу, добродію, не знаю, — вызвался и пришелъ въ лѣсъ. Еслибы теперь не ночь и не засыпало листьемъ, то я, можетъ-статься, показалъ бы вамъ ос-

татки этого дьявольскаго гнѣзда. На ту пору, — такъ, видно самъ Богъ уже хотѣлъ, — былъ у нихъ какой-то окаянный праздникъ. Дьяконъ шель уже на-пропало, сказалъ: „Господи благослови!“ и, сколько доставало духу, толкнулся въ ворота, запертыя толпившимся народомъ. Цымбалы и бандуры бречали и гудѣли, словно на свадьбѣ, а пьяные паны и дворня изъ всей силы отдирали краковякъ. Какъ только завидѣли дьякона, такъ, добродію, и закричали: „Зачѣмъ сюда принесло попа?“ А панъ говорить: „Гей хлопцы! налейте-ка попу водки: пусть его танцуетъ съ нами, добрыми христіанами, краковякъ, да подгоняйте его хорошенько ботожьемъ!“ Дьяконъ, исполнившись, видно, Святого Духа, началъ представлять нечестивымъ весь грѣхъ беззаконнаго житья ихъ, и какія на томъ свѣтѣ будутъ имъ муки, и какъ будутъ они плясать въ пеклѣ *), только не по своей волѣ, а подгоняемые горячими вилами чертей. „А, такъ ты еще и проповѣдь читаешь! Гей, хлопцы, поднимите попа на крылосѣ, а чтобъ не застудилъ горла, накиньте ему галстугъ на шею!“ И тутъ же челядь, съ нечеловѣчьимъ смѣхомъ и гиваньемъ, встщила несчастнаго дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежитъ намъ путь. Позвольте, добродію, тутъ-то и исторія. Сосна эта какъ разъ стояла передъ хоромами и какъ нарочно еще передъ самыми окошками панской свѣтлицы. Вотъ, какъ ночь уже разогнала всѣхъ — кого на лавку, кого подъ лавку, пану нашему чудится, что на него каплетъ что-то холодное. „Что за нечистый!“ подумалъ панъ: „отъ чего это каплетъ!“ Всталъ съ постели, глядитъ: колючія вѣтви сосны царапаются къ нему сквозь стѣну и, будто живыя, вытягиваются длиннѣе и какъ разъ достаютъ до него. Перекрестился, можетъ-быть, въ первый разъ отъ роду нашъ панъ, когда увидѣлъ, что изъ нихъ каплетъ человѣчья кровь, сначала холодная какъ ледъ, а потомъ жжетъ да и только! Къ окну — такъ и ноги подкосились: сосна вся посинѣла, какъ мертвецъ, и страшно биваетъ ему черною, всклокоченною бородою. Сначала было думалъ панъ, не хмѣлъ ли бродить у него въ голо-

*) Въ адѣ.

вѣ; такъ на слѣдующую ночь то же диво, и вся дворя въ одинъ голосъ, что по лѣсу то и дѣло, что отиѣвають усопшаго такимъ страшнымъ голосомъ, что всякого морозъ драль по кожѣ, и волосы щетиною поднимались на головѣ. Чего ужъ не дѣлали: и погребли съ честью тѣло дьякона, и принимались было рубить сосну, такъ сѣкира не беретъ: что ни ударять, топоръ вызубрится, а дерево стонеть, будто дитя некрещенное. Рѣшились наконецъ бросить это окаянное мѣсто. Вотъ каждый день и соберется вся челядь, осѣдлаютъ коней, заберутъ все съ собою и выѣдутъ, еще черти не бьются на кулачки; ѣдутъ, ѣдутъ, до самаго вечера; кажись, Богъ знаетъ куда заѣхали; остановятся почевать — смотреть, знакомыя все мѣста: опять тотъ же дикій лѣсъ, тѣ же хоромы, а проклятая сосна, протягивая вѣтви, словно руки, хватаетъ пана и обдаетъ его кровавыми каплями, а черная, всклокоченная борода такъ же жутко киваетъ ему....“

Тутъ рассказчикъ нашъ стремительно ударилъ въ слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не безъ удовольствія замѣтилъ въ немъ впечатлѣнныя, произведенное его рассказомъ. Дѣйствительно, путникъ нашъ не могъ не ощутить какого-то тайно врывавагоса въ душу страха и съ безпокойствомъ посматривалъ вокругъ.

Въ это время поравнялись они съ сосной. Серебряный свѣтъ подалъ на печальныя вѣтви ея, и отбрасывавшіяся отъ нихъ тѣни, будто продолженіе ихъ, переламываясь о встрѣчныя деревья, ложились безконечною лѣстницей на землю. Вѣтеръ слегка покачивалъ вершину, и когда путникъ, немного проѣхавъ, оглянулся назадъ, то ему показалось, что какой-нибудь непріязненный духъ, принявъ дикій, величественный образъ, медленно слѣдовалъ за нимъ, печально покачивая угрюмой бородою и раскидывая темнозеленыя объятія свои, въ намѣреніи схватить его.

— Что же далѣе случилось? спросилъ онъ умелшаго рассказчика, стараясь подавить невольную робость.

— Что? Круто пришлось пану: распустилъ всю свою дворню, сталъ схимникомъ и, какъ отправилъ пятьдесятъ двѣ панихиды

за упокой души дьякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же дѣлся послѣ того схимникъ, этого никто не скажетъ вамъ. Дня за три до Купала каплетъ съ этого дерева, день и ночь, роса. Говорятъ еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лѣсу. Теща рассказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встрѣтила однажды въ лѣсу дьявола въ красномъ жупанѣ, въ какомъ ходилъ и покойный панъ. Цобъ, цобъ, цобе! гей! Вотъ мы, добродію, и пріѣхали.

Лапчинскій увидѣлъ дѣйствительно передъ собою низенькія ворота, рѣдко убитыя впоперекъ положенными досками, какія и теперь можно видѣть почти у каждаго малороссійскаго поселенина. Лай собакъ залился по лѣсу, и старая женщина, въ накинутомъ на плеча тулупѣ, вышла отворить ворота. Глазамъ нашего путника представился небольшой дворикъ, обнесенный заборомъ изъ болотнаго тростника, нѣсколько сараевъ и хлѣбовъ, укрытыхъ такимъ же тростникомъ, и обыкновенная малороссійская хата. На дворѣ наваленъ былъ ворохъ ульевъ, изъ которыхъ многіе развѣшаны были на деревьяхъ, нагибавшихъ со всѣхъ сторонъ любопытныя вѣтви свои во дворъ, какъ будто низкая буквлическая жизнь его могла доставить имъ, величественнымъ, занимательное зрѣлище. Позади двора тянулось еще какое-то строеніе, котораго за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имѣніе сіе принадлежало слишкомъ зажиточному козаку: въ тогдашнія времена не у всякого могло найтись подобное великолѣпіе.

Пока хозяинъ занимался выгрузкою своего вьюка, Лапчинскому было довольно времени разсмотрѣть внутренность этого обиталища. Все въ немъ было почти такъ же, какъ и нынѣ у простолюдиновъ Малороссіи: противъ дверей нѣсколько оконъ, передъ ними столъ, на которомъ замѣтилъ онъ ржаной хлѣбъ и соль, не снимавшіяся съ него никогда, въ знакъ того, что гость во всякое время можетъ найти радушный пріемъ себѣ. Всю комнату обходили липовыя широкія и узкія лавки; у дверей громоздилась печь, съ отверстіемъ внизу, заслоненнымъ частою рѣшеткою, изъ-за которой выглядывали куры, гуси, индѣйки и домашніе кролики. Каждый изъ сихъ безсловесныхъ жильцовъ

суетился по-своему: пицаль, кудахтаь, гоготаль и даваль знать, что онъ ни мало не послѣднее изъ твореній. На полу мальчишка лѣтъ четырехъ колотилъ огромнымъ подосолнечникомъ по опрокинутому горшку, между тѣмъ какъ другой, годовжъ постарѣе, душилъ за горло kota, напѣвая какую-то пѣсню, которую, вѣрно, отъ частаго повторенія его матери, заучилъ навѣки. Передъ большимъ, окованнымъ сундукомъ сидѣла дѣвочка лѣтъ одиннадцати, держа на рукахъ груднаго ребенка, плакавшаго изо всѣхъ силъ, несмотря на то, что она, желая забавить его, побрякивала огромнымъ замкомъ и стращала малютку вошедшимъ гостемъ. На стѣнѣ висѣли: серпъ, сабля, ружье, котораго замокъ былъ развинченъ и лежалъ близъ него на полкѣ, вѣроятно, отложенный для починки, сѣкира, турецкій пистолеть, еще ружье, не отпущенная коса и коротенькая нагайка, — орудія, съ незапамятныхъ временъ вѣчно враждовавшія между собою и которыя непонятный человѣкъ заставляетъ мириться, несмотря на несходныя ихъ свойства.

— Прошу не погнѣваться, добродію, что заставилъ васъ ждать немного! сказалъ вошедшій хозяинъ: — такъ проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сихъ поръ въ головѣ базаръ ходить. Счастье еще, что старухи моей нѣтъ дома, а то бы она вымыла мнѣ голову. Дома только насъ: я да теща.

При семь словъ вошла та самая старуха, которая отворяла ворота. Съ какимъ-то грустнымъ чувствомъ разсматривалъ ее путникъ. Казалось, передъ нимъ стояла жертва могилы, въ которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человѣку всю ничтожность долголѣтія, въ коему такъ жадно стремится его желанія. Могильное равнодушіе разливалось на усѣянныхъ морщинами чертахъ ея. Ни искры какой-нибудь живости въ глазахъ: мутные, они устремлялись порой на него; но тотъ бы обманулся, кто прочиталъ бы въ нихъ что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядѣли; имъ все казалось смутно, какъ не совсѣмъ проснувшемуся человѣку.

Покажѣсть предавался онъ такимъ чувствамъ, старуха отпиралась на печь, всегдашнее свое жилище, весь міръ свой, который такъ же казался ей просторенъ и люденъ, какъ и всякой

другой; а хозяинъ обратился къ дѣтямъ своимъ. — Ай да Федотъ! говорилъ онъ, поднимая одною рукою подъ потолокъ мальчика съ подсолнечникомъ: — гдѣ ты взялъ такой страшный солнечникъ *)? Да этимъ ты какъ-нибудь человѣка убьешь! Ты что тамъ дѣлаешь, Карпо? вота душишь? Какой же я тебѣ гостинецъ привезъ! Ступай же, собачій сынъ! что-жь ты стоишь и ротъ разинулъ? Вотъ, какъ видите, добродію, сто разъ толкую, что я его батько; до сихъ поръ не вѣрять, ледача дѣтина *)! А ты, плакса, долго будешь реветъ? А подайте мнѣ батога, вотъ я его! Давай его сюда, Маруся: я сейчасъ за окошко: пусть тамъ съѣдятъ его волки, либо Ляхи....

— Тебя-таки, землякъ, Богъ надѣлилъ дѣтьми! сказалъ гость нашъ своему хозяину.

— Да, не безъ того, мосьпане! всѣхъ-то ихъ у меня семеро. Два уже поженились на чужой сторонѣ, только чортъ знаетъ какое приданое взяли за невѣстами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кромѣ полныи и бурьяну. Что-жь ты, Федотъ, не скажешь спасибо? панъ даѣтъ пряникъ, а онъ и не поклонится. Не извольте цѣловать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мнѣ съ нимъ порядочныя хлопоты. Услышалъ, что ѣду на ярмарку. „Возьми и меня, тѣту!“ — „Да куда я тебя дѣну? тамъ тебя задавятъ!“ — „Нѣтъ, не задавятъ, возьми, да и возьми!“ — „Да тамъ теперь столько цыгановъ, что еще украдутъ тебя, и тогда поминай какъ звали.“ — „Возьми да и только!“ Что станешь дѣлать? плачу такого натворилъ, что Боже упаси. Насилу унялъ его общаніемъ привезти медоваго коня съ золотою головой. Ну, Маруся, матери не за чѣмъ дожидаться: давай-ка намъ вечерять; баба ужъ, вѣрно, спить! Такъ до кого, добродію, продолжалъ онъ, вдругъ оборотаясь къ гостю и садясь за столъ, — говоришь ты, ѣдешь? у меня подъ старость голова какъ дырявое ведро: сколько ни лей воды въ него, — все пусто; сколько ни толкуй умныхъ рѣчей, — все позабудеть.

— Какъ, землякъ! развѣ я не сказалъ тебѣ, что до Глечи-

*) Подсолнечникъ, по малороссійскому произношенію.

**) Негодный ребенокъ.

ка? отвѣчалъ гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

— До миргородскаго полковника? такъ нечего тебѣ и забираться такъ далеко: не кто другой, какъ онъ, сидитъ передъ тобою, мосьпане!

Еслибы въ это время пуля пролетѣла мимо ушей Лалчинскаго, онъ былъ бы менѣе удивленъ. Такъ внезапно, такъ неожиданно напасть на него въ-расплохъ, когда всѣ мысли его разбрелись.... когда.... нѣтъ, не можетъ быть, онъ ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, какъ бы жалая удостовѣриться въ живости того, о чемъ донесъ ему слухъ его.

1830.

О ПРЕПОДАВАНІИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ *).

I.

Всеобщая исторія, въ истинномъ ея значеніи, не есть собраніе частныхъ исторій всѣхъ народовъ и государствъ безъ общей связи, безъ общаго плана, безъ общей цѣли, куча происшествій безъ порядка, въ безжизненномъ и сухомъ видѣ, въ какомъ очень часто ее представляютъ. Предметъ ея великъ: она должна обнять вдругъ и въ полной картинѣ все человѣчество, какимъ образомъ оно изъ своего первоначальнаго, бѣднаго младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконецъ, достигло нынѣшней эпохи. Показать весь этотъ великій процессъ, который выдержалъ свободный духъ человѣка кровавыми трудами, борясь отъ самой колыбели съ невѣжествомъ, природой и исполненскими препятствіями, вотъ цѣль всеобщей исторіи! Она должна собрать въ одно всѣ народы міра, разрозненные временемъ, случаемъ, горами, морями, и соединить ихъ въ одно стройное цѣлое, изъ нихъ составить одну величественную полную поэму. Происшествіе, не произведшее вліянія на міръ, не имѣетъ права войти сюда. Всѣ событія міра должны быть такъ тѣсно связаны между собою и цѣпляться одно за другое, какъ кольца въ цѣпи. Если одно кольцо будетъ вырвано, то цѣпь разрывается. Связь эту не должно принимать въ буквальномъ смыслѣ: она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связы-

*) Статья эта была сперва помѣщена въ „Журналъ Мин. Народ. Просв.“ подъ названіемъ: „планъ преподаванія Всеобщей Исторіи“ (Ч. 1-я, 1834).

Прим. Н. Трушковскаю.

вають происшествія, или система, создающаяся въ головѣ независимо отъ фактовъ, и къ которой, послѣ, своевольно притягиваютъ событія міра; связь эта должна заключаться въ одной общей мысли, въ одной неразрывной исторіи человѣчества, передъ которою и государства и событія — временныя формы и образы. Міръ долженъ быть представленъ въ томъ же колоссальномъ величіи, въ какомъ онъ являлся, проникнутый тѣми же таинственными путями Промысла, которые такъ непостижимо на немъ означались. Интересъ необходимо долженъ быть доведенъ до высочайшей степени такъ, чтобы слушателя мучило желаніе узнать далѣе; чтобъ онъ не въ состояніи былъ закрыть книгу или не дослушать, но еслибъ и сдѣлалъ это, то развѣ съ тѣмъ только, чтобы начать съизнова чтеніе; чтобы очевидно было, какъ одно событіе рождаетъ другое, и какъ безъ первоначального не было бы послѣдующаго. Только такимъ образомъ должна быть создана исторія!

II.

Все, что ни является въ исторіи — народы, событія — должно быть непремѣнно живо и какъ бы находиться предъ глазами слушателей или читателей, чтобы каждый народъ, каждое государство сохраняли свой міръ, свои краски, чтобы народъ, со всѣми своими подвигами и вліяніемъ на міръ, пронеслся ярко, въ такомъ же точно видѣ и костюмѣ, въ какомъ былъ онъ въ минувшія времена. Для того нужно собрать не многія черты, но такія, которыя бы высказывали много, — черты самыя оригинальныя, самыя рѣзкія, какія только имѣлъ изображаемый народъ. Для того, чтобъ извлечь эти черты, нуженъ умъ, сильный схватить всѣ незамѣтные для простаго глаза отбѣнки, нужно терпѣніе перерыть множество иногда самыхъ неинтересныхъ книгъ. Но чтъ уже одинъ узналъ, то другимъ передается легко, и потому слушатели должны узнать это, не роясь въ архивахъ.

III.

Преподаватель долженъ призвать въ помощь географію, но не въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ ее часто принимаютъ, т. е. для того только, чтобы показать мѣсто, гдѣ что произошло. Нѣтъ, географія должна разгадать многое, безъ нея неизяснимое въ исторіи. Она должна показать, какъ положеніе земли имѣло вліяніе на цѣлыя націи; какъ оно дало особенный характеръ имъ; какъ часто гора, вѣчная граница, взгроможденная природою, дала другое направленіе событіямъ, измѣнила видъ міра, преградивъ великое разлитіе опустошительнаго народа, или заключивши въ неприступной своей крѣпости народъ малочисленный; какъ это могучее положеніе земли дало одному народу всю дѣятельность жизни, между тѣмъ какъ другой осудило на неподвижность; такимъ образомъ оно имѣло вліяніе на нравы, обычаи, правленіе, законы. Здѣсь-то они должны увидѣть, какъ образуется правленіе; что его не люди совершенно устанавливаютъ, но нечувствительно устанавливаетъ и развиваетъ самое положеніе земли; что формы его отъ того священны, и измѣненіе ихъ неминуемо должно навлечь несчастіе на народъ.

IV.

Событія и эпохи великія, всемірныя, должны быть означены ярею, сильно, должны выдвигаться на первомъ планѣ со всѣми своими слѣдствіями, измѣнившими міръ, не такъ, какъ дѣлаютъ иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то происшествіе есть великое, тѣмъ и отдѣлываются, или приводятъ близорукія слѣдствія въ видѣ отрубленныхъ вѣтвей, тогда какъ должно развить его во всемъ пространствѣ, вывести наружу всѣ тайныя причины его явленія и показать, какимъ образомъ слѣдствія отъ него, какъ широкія вѣтви, распростираются по грядущимъ вѣкамъ, болѣе и болѣе развѣтвляются на едва замѣтные стирьски, слабѣютъ и наконецъ совершенно исчезаютъ, или глухо

отдаются даже въ нынѣшнія времена, подобно сильному звуку въ горномъ ущельи, который вдругъ умираетъ послѣ рожденія, но долго еще отзывается въ своемъ эхѣ. Эти событія должно показать въ такомъ видѣ, чтобы всѣ видѣли ясно, что они великіе маяки всеобщей исторіи, что на нихъ она держится, какъ земля держится на первозданныхъ гранитахъ, какъ животное на своемъ скелетѣ.

V.

Теперь объ образѣ преподаванія. Слогъ профессора долженъ быть увлекательный, огненный. Онъ долженъ въ высочайшей степени овладѣть вниманіемъ слушателей. Если хоть одинъ изъ нихъ можетъ предаться во время лекціи постороннимъ мыслямъ, то вся вина падаетъ на профессора: онъ не умѣлъ быть такъ занимателенъ, чтобы покорить своей волѣ даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное вліяніе происходитъ отъ того, если слогъ профессора вялъ, сухъ и не имѣетъ той живости, которая не даетъ мыслямъ ни на минуту разсыпаться. Тогда не спасетъ его самая ученость: его не будутъ слушать; тогда никакія истины не произведутъ на слушателей вліянія, потому что ихъ возрастъ есть возрастъ энтузіазма и сильныхъ потрясеній; тогда происходитъ то, что самыя ложныя мысли, слышимыя ими стороною, но выраженныя блестящимъ и привлекательнымъ языкомъ, мгновенно увлекаютъ ихъ и дадутъ имъ совершенно ложное направленіе. Что же тогда, когда профессоръ еще сверхъ того облеченъ школьною методою, схоластическими мертвыми правилами и не имѣетъ даже умственныхъ силъ доказать ихъ; когда юный, развертывающійся умъ слушателей, начиная понимать уже выше его, пріучается презирать его? Тогда даже справедливыя замѣчанія возбуждаютъ внутренній смѣхъ и желаніе дѣйствовать и умствовать наперекоръ; тогда самыя священныя слова въ ушахъ его, какъ-то: преданность къ религіи и привязанность къ отечеству и государю, превращаются для нихъ въ мнѣнія ничтожныя. Какія изъ этого бываютъ ужасныя слѣд-

ствія, это видимъ, къ сожалѣнію, не рѣдко. И потому-то не должно упускать изъ вниманія, что возрастъ слушателей есть возрастъ сильныхъ впечатлѣній; и потому нужно имѣть всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этотъ энтузіазмъ ихъ на прекрасное и благородное, чтобы разсказъ профессора дышалъ самъ энтузіазмомъ. Его убѣжденія должны быть такъ сильны, такъ выведены изъ самой природы, такъ естественны, чтобы слушатели сами увидѣли истину еще прежде, нежели онъ совершенно укажетъ на нее. Разсказъ профессора долженъ дѣлаться по временамъ возвышенъ, долженъ сыпать и возбуждать высокія мысли, но вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ быть простъ и понятенъ для всякаго. Истинно высокое одѣто величественною простотою: гдѣ величіе, тамъ и простота. Онъ не долженъ довольствоваться тѣмъ, что его нѣкоторые понимаютъ: его должны понимать всѣ. Чтобы дѣлаться доступнѣе, онъ не долженъ быть скупъ на сравненія. Какъ часто понятное еще болѣе поясняется сравненіемъ, и потому эти сравненія онъ долженъ всегда брать изъ предметовъ самыхъ знакомыхъ слушателямъ: тогда и идеальное и отвлеченное становится понятнымъ. Онъ не долженъ говорить слишкомъ много, потому что этимъ утомляется вниманіе слушателей и потому что многосложность и большое обиліе предметовъ не дадутъ возможности удержать все въ мысляхъ. Каждая лекція профессора непременно должна имѣть цѣльность и казаться оконченною, чтобы въ умѣ слушателей она представлялась стройною поэмою, чтобы они видѣли въ началѣ, что она должна заключать въ себѣ и что заключаетъ: чрезъ это они сами въ своемъ разсказѣ всегда будутъ соблюдать цѣль и цѣлость. А это необходимѣе всего въ исторіи, гдѣ ни одно событіе не брошено безъ цѣли.

VI.

Планъ же для преподаванія, послѣ многихъ наблюденій, испытаній себя и слушателей, я полагаю лучшимъ слѣдующій:

Прежде всего почитаю необходимымъ представить слушателямъ эскизъ всей исторіи человѣчества, въ немногихъ, но силь-

нихъ словахъ и въ нераздѣльной связи, чтобъ они вдругъ обняли все то, о чемъ будутъ слышать; иначе они не такъ скоро и не въ такой ясности постигнуть весь механизмъ исторіи, — все равно, какъ нельзя узнать совершенно городъ, исхоливши всѣ его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное мѣсто, откуда бы онъ видѣнъ былъ весь, какъ на ладони. Я набрасываю здѣсь эскизъ для того, чтобы показать вмѣстѣ, въ какой связи должна быть исторія.

Прежде всего я долженъ представить, какимъ образомъ чело-вѣчество началось Востокомъ. Я долженъ изобразить Востокъ съ его древними патріархальными царствами, съ религіями, облеченными въ глубокую таинственность, такъ непонятную для простаго народа, кромѣ религіи Евреевъ, между коими сохранилось чистое, первобытное вѣдѣніе истиннаго Бога; какъ эти древнія государства оградилась другъ отъ друга, будто неприступною стѣною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; какъ одинъ только народъ финикійскій, первые мореплаватели древняго міра, приводилъ невольно своею промышленностью въ сообщеніе эти почти неподвижныя государства, и какимъ образомъ первый всемірный завоеватель, Киръ, съ свѣжимъ и сильнымъ народомъ, Персами, подвергъ весь Востокъ своей власти и насильно соединилъ разнохарактерные народы; но нравы, религія, формы правленія остались въ государствахъ тѣ же, цари только обратились въ сатраповъ и весь Востокъ видѣлъ надъ собою одну верховную власть царя царей, персидскаго повелителя; какъ постепенно, отъ взаимнаго сообщенія, эти народы теряли свою особенность и національность и, вмѣстѣ съ своимъ царемъ царей, почти богомъ, невидимымъ для народа, поверглись въ азіатскую роскошь. — Здѣсь я останавливаюсь и обращаюсь къ другой части древняго міра, къ Европѣ. Я долженъ изобразить, какъ возникъ въ ней этотъ цвѣтъ его, народъ Греческій, съ живымъ, любопытнымъ умомъ, республиканскимъ духомъ, совершенно противоположными формами правленія, поэтическою религіей, ясными, живыми идеями, такъ противоборствующими важной таинственности Востока; какъ развернулось у нихъ просвѣщеніе въ такомъ необыкновенномъ блескѣ, и какъ, наконецъ, одинъ често-

любивый Грекъ подвергъ ихъ своей монархической власти; какъ этотъ великій Грекъ задумалъ гигантское дѣло: соединить Востокъ съ Европою и разнести вездѣ греческое просвѣщеніе. И вотъ, чтобы связать тѣснѣе три части свѣта, строится городъ Александрія; герой умираетъ, всесвѣтная монархія надаетъ вмѣстѣ съ нимъ. Но подвиги его живы, плоды зрѣютъ: настаетъ знаменитый Александрійскій вѣкъ, когда весь древній міръ толпится у гавани Александрійской, когда греческіе ученые во всѣхъ городахъ, — и національность опять исчезаетъ, народы опять смѣшиваются. А между тѣмъ въ Италіи, почти невидимо отъ всѣхъ, созрѣваетъ желѣзная сила Римлянъ.

Я долженъ сообразить, какъ этотъ суровый, воинственный народъ покоряетъ одно за другимъ государства, обогащается награбленными богатствами, поглощаетъ весь Востокъ. Легіоны его проникаютъ въ тѣ земли Европы, гдѣ владѣніе уже не доставляетъ ничего нужнаго для человѣка. Уже Цезарь заноситъ ногу въ Британію, римскіе орлы на скалахъ Албіона.... между тѣмъ невѣдомыя степи Средней Азіи извергаютъ толпу невѣдомыхъ народовъ, которые тѣснятъ и гонятъ предъ собою другихъ, вгоняютъ ихъ въ Европу, сами несутся по пятамъ ихъ и грозно останавливаются на сѣверѣ, какъ зловѣщая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые отъ Римлянъ германскими лѣсами и непроходимыми болотами. А между тѣмъ, уже ни одного не остается независимаго царства. Весь міръ раздѣленъ на римскія провинціи. Римляне перенимаютъ все у побѣжденныхъ народовъ — сначала пороки, потомъ просвѣщеніе. Все мѣшается опять. Всѣ дѣлаются Римлянами, и ни одного настоящаго Римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрѣлищъ тиранствуютъ надъ міромъ, въ нѣдрахъ его непримѣтно совершается великое событіе: въ ветхомъ мірѣ зарождается новій, воплощается неузнанный міромъ Божественный Спаситель его, и вѣчное Слово, не понятое властелинами, раздается въ темницахъ и пустыняхъ, таинственно выжидая новыхъ народовъ. Наконецъ на весь древній міръ непостижимо находятъ летаргическій сонъ, та страшная неподвижность, то ужасное оживленіе жизни, когда просвѣщеніе не дви-

гаются ни впередъ, ни назадъ, сила и характеръ исчезаютъ, все обращается въ мелкій, ничтожный этикетъ, жалкую, развратную безхарактерность. А въ Азіи, между тѣмъ, новый толчокъ, какъ электрическая искра, пробѣгаетъ по всей цѣпи: одинъ народъ тѣснитъ и гонитъ предъ собою другой, который въ свою очередь сгоняетъ третій, и самые крайніе появляются уже на римскихъ границахъ, тогда какъ жалкіе побѣдители міра употребляютъ всѣ усилія спасти себя; сначала откупаются золотомъ, потомъ изъ нихъ же составляютъ себѣ войско защитниковъ, потомъ отдаютъ имъ одну за другою всѣ свои провинціи, наконецъ передаютъ имъ Римъ, и тѣ, которые сохраняли еще слабые остатки познаній, бѣгутъ на Востокъ; прочіе, невѣжественные и слабые, исчезаютъ въ сильныхъ толпахъ новаго народа.

Я долженъ изобразить, какъ начинается новая жизнь въ Европѣ, какъ основываются и принимаютъ крещеніе дикія государства въ границахъ, назначенныхъ природою, съ феодальными правами, съ вассальными владѣніями, и какъ могущественный нападъ, прежде только римскій первосвященникъ, дѣлается государемъ, незамѣтно присоединяетъ къ своей сильной религіозной власти свѣтскую. Между тѣмъ, на Востокъ остатки Римлянъ тѣсняются и покоряются новымъ сильнымъ народомъ, мгновенно, какъ бы фантастически, возродившимся на своемъ каменномъ Аравійскомъ полуостровѣ, подвигнутымъ до иступленія религіей, совершенно восточной, основанной полупомѣшаннымъ энтузіастомъ, Магометомъ. Какъ этотъ народъ, съ азіатскою саблей въ рукахъ, распространилъ магометанство на мѣсто прежнихъ остатковъ греческаго просвѣщенія, и какъ изумительно, быстро, этотъ чудесный народъ изъ завоевателей дѣлается просвѣтителемъ, развертывается во всеобщій блескъ, съ своей роскошною фантазіей, глубокими мыслями и поэзіей жизни, и какъ онъ вдругъ мерзнетъ и затѣвается выходцами изъ-за моря Каспійскаго, которымъ оставляетъ въ наслѣдство одно магометанство; какъ почти въ то же время, въ Европѣ корсары сѣверныхъ морей, Норманны, съ неслыханною дерзостью, въ маломъ числѣ, грабятъ и овладѣваютъ цѣлыми государствами, наконецъ перемѣняютъ дикую религію свою на христіанство и

прибавляютъ Европѣ свою силу и нравы; а между тѣмъ папа мало-по-малу дѣлается неограниченнымъ монархомъ всей Европы, и самый императоръ нѣмецкій, котораго уважали всѣ народы, не смѣетъ противустать ему, и какъ, по мановенію его, цѣлыя народы, вассалы, короли, оставляютъ свои земли, богатства, кладутъ пламенный крестъ на рамена и спѣшатъ съ энтузіазмомъ въ Палестину. Какъ вся Европа, двинувшись съ мѣстъ, валится въ Азію, Востокъ спшбается съ Западомъ, и двѣ грозныя силы, христіанство съ магометанствомъ; какъ это великое событіе порождаетъ рыцарство, обнявшее всю Европу; какъ возникли орденскія общества, осудившія себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть вѣрными одной цѣли, и произошелъ самый сильно-религіозный христіанскій вѣвъ; какъ энтузіазмъ къ вѣрѣ перешелъ потомъ границы, начертанныя десницею Божественнаго Спасителя, и какъ въ то же время, невидимо отъ всей Европы, совершается великій эпизодъ всемірной исторіи — создается безпримѣрная по величинѣ монархія Чингизханова, поглотившая всѣ азіятскія земли, неизвѣстныя Европейцамъ. Въ Европѣ одни только монастыри имѣютъ землю и осѣдность; все обратилось въ рыцарство, все кочуетъ, все неспокойно: каждый вмѣстѣ и воинъ, и полководецъ, и вассалъ, и повелитель, и слушается и не слушается, — вѣкъ величайшаго разъединенія и вмѣстѣ единства! Каждый управляется своей волей, и между тѣмъ всѣ согласны въ одной цѣли и мысляхъ. Бѣдные поселяне, вытерпѣвъ чашу бѣдъ, наконецъ рѣшаются соединиться, независимо отъ своихъ повелителей, въ города. Возникаетъ среднее сословіе гражданъ, города начинаютъ богатѣть, и на сѣверѣ Европы, въ отпоръ рыцарямъ, образуется Ганзейскій союзъ, связывающій всю сѣверную Европу своею торговлей. Между тѣмъ на югѣ возникаетъ порожденіе крестовыхъ походовъ — страшная торговля Венеціа, эта царица морей, эта чудная республика, съ такимъ замысловатымъ и необыкновенно устроеннымъ правленіемъ. Всѣ богатства Европы и Азіи невидимо перешли въ ея руки, и какъ папа религіозною властью, такъ Венеціа непомѣрнымъ богатствомъ повелѣвала Европою. Духовный деспотъ употреблялъ всѣ силы убить ея торговлю, но все было напрасно, пока наконецъ генуэзскій

гражданинъ не убилъ ее открытiемъ новаго свѣта. Наконецъ, я долженъ представить, какъ вдругъ расширился кругъ дѣйствiй, какъ пала торговля Средиземнаго моря. Европейцы съ жадностью сѣбшати въ Америку и вывозятъ кучи золота: Атлантическiй и Восточный океаны въ ихъ власти, и въ то же время папскiя миссии проникають въ сѣверо-восточную Азiю и Африку, — и миръ открывается почти вдругъ во всей своей обширности. Между тѣмъ въ Европѣ понемногу сомнѣваются въ справедливости папской власти, и какъ прежде торговлю Венеции убилъ бѣдный Генуэзецъ, такъ власть папы сокрушилъ августинскiй монахъ Лютеръ. Какъ образовалась эта мысль въ головѣ смиреннаго монаха, какъ сильно и упрямо защищалъ онъ свои положенiя, какъ, при паденiи своемъ, нападъ становился грознѣе и изобрѣтательнѣе: ввелъ ужасную инквизицию и страшный невидимую силою орденъ Иезуитскiй, который вдругъ разсыпался по всему свѣту, проникъ во все, прошелъ вездѣ и тайно сообщался между собою на двухъ разныхъ концахъ мiра. Но чѣмъ грознѣе становился папа, тѣмъ сильнѣе противъ него работали типографскiе станки. Вся Европа раздѣлилась на двѣ партiи, и эти партiи наконецъ схватились за оружье, и война жестокая, внутри и внѣ государствъ, долгая, обхватила вдругъ всю Европу. Но уже не копьями и не стрѣлами производилась она, — нѣтъ, пушками, ядрами, громомъ и огнемъ, ужаснымъ и благодѣтельнымъ изобрѣтенiемъ монаха-алхимика, разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государи становятся сильнѣе. Я долженъ изобразить, какъ измѣнилась Европа послѣ этихъ войнъ. Государства, народы, сливаются плотнѣе въ нераздѣльныя массы. Нѣтъ того разъединенiя власти, какъ въ среднiе вѣка. Она сосредоточивается болѣе въ одномъ лицѣ. И какъ отъ того сильныя характеры становятся виднѣе, кругъ государей, министровъ, полководцевъ обширнѣе! Самъ собою, невольно, звязывается въ Европѣ политическiй союзъ, полагающiй защищать оружемъ неприкосновенность каждаго государства. А между тѣмъ неутомимые купцы-Голландцы, вырвавши свою землю у моря, овладѣвають островами Восточнаго океана, берутъ миллионы за разводимыя на нихъ плантацiи драгоцѣнныхъ растений юга и, какъ

прежде Венеція, схватываютъ торговлю всего міра, пока одинъ необыкновенный государь не подрываетъ ее и не покушается на неприкосновенность государствъ. Я долженъ изобразить блестящій вѣкъ, произведенный этимъ государемъ (Людвикомъ XIV), когда Франція закинула издѣліями роскоши, фабриками, писателями, когда Парижъ сдѣлался всемірной столицей, куда съѣзжались со всей Европы, и французскій языкъ, французскіе нравы, французскій этикетъ и обычаи распространились во всей Европѣ. Но, нарушивши неприкосновенность чужихъ владѣній, этотъ честолюбивый король хотя и разстроиваетъ торговлю Голландцевъ, но вмѣстѣ раззоряетъ свое государство и самъ убиваетъ свое величіе. Какъ быстро пользуются этимъ островитяне Британскіе, которые до того медленно, но вѣрно, близились къ своей цѣли, наконецъ очутились почти вдругъ обладателями торговли всего міра: ворочаютъ милліонами въ Индіи, собираютъ дань съ Америки, и, гдѣ только море, тамъ британскій флагъ. Итъ преграждаетъ путь исполнѣ XIX вѣка, Наполеонъ, и уже дѣйствуетъ другимъ орудіемъ — совершенно военнымъ деспотизмомъ: своими быстрыми движеніями оглушаетъ Европу и налагаетъ на нее желѣзное свое протѣкторство. Напрасно гремитъ противъ него въ англійскомъ парламентѣ Питтъ и составляетъ страшные союзы. Ничто не имѣетъ духа ему противиться, пока онъ самъ не набѣгаетъ на гибель свою, вторгнувшись въ Россію, гдѣ невѣдомыя ему пространства, лютость климата и войска, образованныя суворовскою тактикою, погубляютъ его. И Россія, сокрушившая этого исполина о неприступныя твердыни свои, останавливается въ грозномъ величій на своемъ огромномъ сѣверо-востокѣ. Освобожденныя государства получаютъ прежній видъ и прежнія формы, утверждаютъ снова союзъ и неприкосновенность владѣній. Просвѣщеніе, не останавливаемое ничѣмъ, начинаетъ разливать даже между низшимъ классомъ народа; паровыя машины доводятъ мануфактурность до изумительнаго совершенства; будто невидимые духи помогаютъ во всемъ человѣку и дѣлаютъ силу его еще ужаснѣе и благодѣтельнѣе, — и онъ, въ священномъ треметѣ, видитъ, какъ Слово изъ Назарета обтекло наконецъ весь міръ.

Когда исторія міра будетъ удержана въ такомъ краткомъ, но полномъ эскизѣ и происшествія будутъ такъ связаны между собою, тогда ничто не улетитъ изъ головы слушателей и въ умѣ ихъ невольно составится цѣлое. Наконецъ, этотъ эскизъ, развившись въ великомъ объемѣ, составитъ полную исторію человѣчества.

VII.

Послѣ изложенія полной исторіи человѣчества, я долженъ разработать отдѣльно исторію всѣхъ государствъ и народовъ, составляющихъ великій механизмъ всеобщей исторіи. Натурально, та же полнота, та же цѣлость должна быть видна и здѣсь въ обзорѣннѣи каждаго порознь. Я долженъ объять его вдругъ, съ начала до конца: какъ оно основалось, когда было въ силѣ и блескѣ, когда и отчего пало (если только пало), и какимъ образомъ достигло того вида, въ какомъ находится нынѣ; если же народъ стерся съ лица земли, то какимъ образомъ на мѣсто его образовался новый и что принялъ отъ прежняго.

VIII.

Чтобъ еще глубже все сказанное вошло въ память по окончаніи курса, необходимы повторительные обзоры. Но чтобы повтореніе было услѣшиѣе, нужно стараться давать ему интересъ и занимательность новизны. Послѣ исторіи всего міра и отдѣльно каждой земли и народа, не мѣшаетъ сдѣлать обзоръ каждой части свѣта и тутъ показать все отличіе какъ ихъ, такъ и народовъ, въ нихъ находящихся, чтобы слушатели сами могли вывести результатъ.

Во-первыхъ, объ Азіи, этой обширной колыбели младенчающаго человѣчества, землѣ великихъ переворотовъ, гдѣ вдругъ возрастаютъ въ страшномъ величій народы и вдругъ стираются другими; гдѣ столько націй неозвратно пронесли одна за дру-

гою, а между тѣмъ формы правленія, духъ народовъ — одни и тѣ же: все такъ же важень, такъ же гордь Азіятець, такъ же быстро воспламеняется и кипить страстями, такъ же скоро предается лѣни и бездѣйственной роскоши. И вмѣстѣ съ симъ эта часть свѣта есть земля разительныхъ противоположностей и какого-то великаго безпорядка: еще одинъ народъ кочуетъ беззаботно въ необозримоъ многолюдствѣ съ необозримыми табунами, а между тѣмъ на другомъ концѣ, гдѣ-нибудь въ пустынѣ, изступленный изувѣръ, изнуряя себя безконечнымъ постомъ, замышляетъ новую религію, которая впоследствии обхватитъ всю Азію, одѣнетъ народъ, какъ непроницаемой броней, своимъ изступленнымъ вдохновеніемъ и поведетъ его на разрушеніе; и тутъ же, можетъ-быть, недалеко отъ него, находится народъ, уже перешедшій въ эти явленія и кризисы, уже погруженный въ роскошь, утомленный азіатскимъ пресыщеніемъ. Только здѣсь можетъ находиться та странная противоположность, которой дивимся въ деревѣ юга, гдѣ на одной вѣткѣ, въ одно время, одинъ плодъ цвѣтетъ, между тѣмъ какъ другой наливается, третій зрѣетъ, четвертый, переспѣлый, валится на землю.

Потомъ о Европѣ, исторія которой означена совершенно противоположною характерностью, гдѣ существованіе народовъ, напротивъ, долго и мощно; гдѣ все, напротивъ, порядокъ и стройность: народы разомъ подвигаются тактъ въ тактъ, какъ регулярныя европейскія войска; государства всѣ почти въ одно время растутъ и совершенствуются; при всѣхъ характерныхъ отличіяхъ націй, въ нихъ видно общее единство, и каждая изъ нихъ такъ чудно запутана съ другими, что становится совершенно понятною только въ соединеніи со всей Европою, и вся Европа кажется однимъ государствомъ. И въ этой небольшой части свѣта рѣшилась долгая тяжба: человекъ сталъ выше природы, а природа обратилась въ искусство; самая бѣдность и скупость ея вызвали наружу все безграничный міръ, скрывавшійся въ человекѣ, дали ему почувствовать, во сколько онъ выше замнаго, и превратили всю страну въ вѣчную жизнь ума. Въ этой одной только части свѣта могущественно развился высокій геній христіанства, и необъятная мысль, осѣненная

небеснымъ знаменіемъ креста, витаетъ надъ нею, какъ надъ отчизною.

Потомъ объ Африкѣ, представляющей, въ противоположность Европѣ, смерть ума, гдѣ природа всегда деспотически властвовала надъ человѣкомъ; гдѣ она во всеи своемъ царственномъ величїи и всегда почти возвращала его въ первобытное состояніе, въ жизнь чувственную, гдѣ ни одинъ коренной туземный народъ не прожилъ мощною жизнью и не отбросилъ отъ себя яркихъ лучей на мїръ; гдѣ даже переселенцы съ другихъ земель напрасно вступали въ борьбу съ палящею природою африканскою: чѣмъ далѣе погружались они въ Африку, тѣмъ глубже повергались въ чувственность.

Наконецъ объ Америкѣ, этой всемирной колонїи, вавилонскомъ смѣшенїи націй, гдѣ столкнулись три противорѣчащїя части свѣта, смѣшались, но еще не слились въ одно, и потому еще не имѣющей покажѣтъ никакого единства, даже единства религїи; не взирая на частную характерность, не получившей общаго характера, несмотря на огромную массу, все еще состоящей изъ первоначальныхъ стихїй, разложенныхъ началъ; несмотря на независимыя государства, все еще похожей на колонїю.

Быстрый обзоръ исторїи каждой части свѣта во всей ея рѣзкой характерности, не поверхностный, но глубокой результатъ вѣковъ и событїй, потому необходимъ, что онъ наводитъ на мысли и заставляетъ слушателей думать. Умъ тогда быстрѣе развивается, когда самъ предлагаетъ себѣ великій и поэтической вопросъ. Этотъ обзоръ каждой части тѣмъ болѣе еще необходимъ, что показываетъ часто съ новой стороны тѣ же предметы. А для полнаго уразумѣнїя нужно, чтобы предметъ былъ освѣщенъ со всѣхъ сторонъ. Только тогда вы знаете хорошо исторїю, говорить Шлецеръ, когда знаете ее и вдоль и поперекъ, и въсь и во всѣхъ направленїяхъ.

IX.

И для того, въ видѣ эпилога, послѣ окончанїя курса, хорошо разсмотрѣть за однимъ разомъ весь мїръ по столѣтїямъ.

Тогда всеобщая исторія представить у меня великую лѣстницу вѣковъ. Я долженъ непременно показать, чѣмъ ознаменовано начало, середина и конецъ cadaго столѣтія, потому — духъ и отличительныя черты его. Чтобы лучше опредѣлить каждый вѣкъ и избѣгнуть монотонности числъ, я назову его именемъ того народа или лица, который сталъ въ немъ выше другихъ и ярче дѣйствовалъ на поприщѣ міра. Эта лѣстница столѣтій есть лучшее средство къ утверженію въ памяти слушателей современности событій, лицъ и явленій.

Х.

Мнѣ кажется, что такой образъ преподаванія будетъ дѣйствительнѣе и ближе къ истинѣ. По крайней мѣрѣ глубоко понимающій величіе исторіи увидитъ, что онъ не произведеніе мгновенной фантазіи, но плодъ долгихъ соображеній и опыта; что ни одинъ эпитетъ, ни одно слово не брошено здѣсь для красоты и мишурнаго блеска, но ихъ породило долговременное чтеніе лѣтописей міра; что составитъ эскизъ общій, полный, исторіи всего человѣчества, хотя даже столь краткій, какъ здѣсь, можно не иначе, какъ когда узнаешь и постигнешь самыя тонкія и запутанныя нити исторіи, и что одна любовь къ наукѣ, составляющей для меня наслажденіе, понудила меня объявить мои мысли; что цѣль моя — образовать сердца юныхъ слушателей той основательною опытностію, которую развертываетъ исторія, понимаемая въ ея истинномъ величій, — сдѣлать ихъ твердыми, мужественными въ своихъ правилахъ, чтобы никакой легкомысленный фанатизмъ и никакое минутное волненіе не могло поколебать ихъ, — сдѣлать ихъ кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками великаго государя, чтобы ни въ счастіи, ни въ несчастіи не измѣнили они своему долгу, своей вѣрѣ, своей благородной чести и своей клятвѣ — быть вѣрными отечеству и государю.

П О Р Т Р Е Т Ъ .

П О В Ъ С Т Ъ .

(Въ первоначальномъ видѣ).

§ 1.

Нигдѣ столько не останавливалось народа, какъ передъ картинною лавочкою на Шукиномъ дворѣ. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собраніе диковинокъ: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темнозеленымъ лакомъ, въ темножелтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ бѣлыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожій на зарево пожара, фламандскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болѣе на индѣйскаго пѣтуха въ манжетахъ, нежели на человѣка — вотъ обыкновенные ихъ сюжеты. Къ этому нужно присовокупить нѣсколько гравированныхъ изображеній: портретъ Хозрева-Мирзы въ бараньей шапкѣ, портреты какихъ-то генераловъ въ треугольныхъ шляпахъ, съ кривыми носами. Двери такой лавочки обыкновенно бываютъ увѣшаны связками тѣхъ картинъ, которыя свидѣтельствуютъ самородное дарованіе русскаго человѣка. На одной изъ нихъ была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другой — городъ Іерусалимъ, по домамъ и церквамъ котораго безъ церемоніи прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двухъ молящихся русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновенно немного, но за то зрителей — куча: какой-нибудь забудыга-лакей уже, вѣрно, зѣваетъ передъ ними, держа въ рукѣ судки съ обѣдомъ изъ трактира для своего бари-

на, который, безъ сомнѣнія, будетъ хлѣбать супъ не слишкомъ горячій. Передъ ними, вѣрно, уже стоитъ солдатъ, этотъ кавалеръ толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торговка изъ Охты, съ коробкою, наполненною бапшаками. Всякій восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкаютъ пальцами; кавалеры разсматриваютъ серьезно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые сибьются и дразнятъ другъ друга нарисованными карриатурами; старыя лакеи въ фризovýchъ шинеляхъ смотрятъ потому только, чтобы гдѣ-нибудь позѣвать, а торговки, молодыя русскія бабы, сибьшатъ по инстинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотрѣть, на что онъ смотритъ.

Въ это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ Чертковъ. Старая шинель и не щегольское платье показывали въ немъ того человѣка, который съ самоотверженіемъ преданъ былъ своему труду и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядѣ, всегда имѣющемъ таинственную привлекательность для молодежи. Онъ остановился передъ лавкою и сперва внутренно смѣялся надъ этими уродливыми картинками; наконецъ невольно овладѣло имъ размышленіе: онъ сталъ думать о томъ, кому бы нужны были эти произведенія. Что русскій народъ заглядывается на *Еруслановъ Лазаревичей*, на *обзѣдалъ* и *опивалъ*, на *Оому* и *Ерему* — это ему не казалось удивительнымъ: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но гдѣ покупатели этихъ пестрыхъ, грязныхъ, масляныхъ малеваній? кому нужны эти фламандскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показываютъ какое-то притязаніе на нѣсколько уже высшій шагъ искусства, но въ которыхъ выразилось все глубокое его униженіе? Еслибы это были труды ребенка, поворяющагося одному невольному желанію, еслибы они совсѣмъ не имѣли никакой правильности, не сохранили даже первыхъ условій механическаго рисованія, еслибы въ нихъ было все въ карикатурномъ видѣ, — но въ этомъ карикатурномъ видѣ просвѣчивалось бы хотя какое-нибудь стараніе, какой-нибудь порывъ произвести подобное природѣ, — но ничего этого нельзя было отыскать въ нихъ.

Какое-то тупоуміе старости, какая-то бессмысленная охота, или, лучше сказать, неволя водила рукою ихъ творцовъ. Кто трудился надъ ними? И трудился; безъ сомнѣнія, одинъ и тотъ же, потому что тѣ же краски, та же мажера, та же набившаяся, пріобыкшая рука, принадлежавшая скорѣе грубо сдѣланному автомату, нежели человѣку.

Онъ все такъ же стоялъ передъ этими грязными картинами и глядѣлъ на нихъ, но уже совершенно не глядя, между тѣмъ какъ содержатель этого живописнаго магазина, сѣренній человѣкъ, лѣтъ пятидесяти, во фризовой шинели, съ давно небритымъ подбородкомъ, рассказывалъ ему, что „картины *самой первой сорты* и только что получены съ биржи, еще и лакъ не высохъ и въ рамки не вставлены. Смотрите сами, честию увѣряю, что останетесь довольны.“ Всѣ эти заманчивыя рѣчи летѣли мимо ушей Черткова. Наконецъ, чтобы немного ободрить хозяина, онъ поднималъ съ полу нѣсколько запылившихся картинъ. Это были старые фамилльные портреты, которыхъ потомки врядъ ли бы отыскались. Почти машинально началъ онъ съ одного изъ нихъ стирать пыль. Легкая краска вспыхнула на лицѣ его, — краска, которая означаетъ тайное удовольствіе при чемъ-нибудь неожиданномъ. Онъ сталъ нетерпѣливо тереть рукою и скоро увидѣлъ портретъ, на которомъ ясно была видна мастерская кисть, хотя краски казались нѣсколько мутными и почернѣвшими.

Это былъ старикъ съ какимъ-то безпокойнымъ и даже злобнымъ выраженіемъ лица; въ устахъ его была улыбка, рѣзкая, язвительная, и вмѣстѣ какой-то страхъ; румянецъ болѣзни былъ тонко разлитъ по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы, но вмѣстѣ съ этимъ въ нихъ была замѣтна какая-то странная живость. Казалось, этотъ портретъ изображалъ какого-нибудь скрагу, проведшаго жизнь надъ сундукомъ, или одного изъ тѣхъ несчастныхъ, которыхъ всю жизнь мучить счастье другихъ. Лицо вообще сохраняло яркій отпечатокъ южной физиогноміи. Смуглота, черныя, какъ смоль, волосы, съ пробившеюся просѣдью — все это не попадается у жителей сѣверныхъ губерній. Во всемъ портретѣ была

видна какая-то неокончателность; но еслиб онъ приведенъ былъ въ совершенное исполненіе, то знатокъ потерялъ бы голову въ догадкахъ, какииъ образомъ совершеннѣйшее твореніе Вандика очутилось въ Россіи и зашло въ лавочку на Щукинъ дворъ.

Съ бѣющимъ сердцемъ, молодой художникъ, отложивши его въ сторону, началъ перебирать другіе, не найдется ли еще чего подобнаго; но все прочее составляло совершенно другой міръ и показывало только, что этотъ гость глупымъ счастьемъ попалъ между нихъ. Наконецъ Чертковъ спросилъ о цѣнѣ.

Пронырливый купецъ, замѣтивъ по его вниманію, что портретъ чего-нибудь стоитъ, почесалъ за ухомъ и сказалъ: „да что? вѣдь десять рублей будетъ за него маловато.“

Чертковъ протянулъ руку въ карманъ.

— Я дамъ одиннадцать! раздалось позади его.

Онъ обратился и увидѣлъ, что народу собралась куча и что одинъ господинъ въ плащѣ долго, подобно ему, стоялъ передъ картиною. Сердце у него сильно забилось и губы тихо задрожали, какъ у человѣка, который чувствуетъ, что у него хотятъ отнять предметъ его исканій. Осмотрѣвши внимательно новаго покупателя, онъ нѣсколько утѣшился, замѣтивъ на немъ костюмъ, ни мало не уступавшій его собственному, и произнесъ дрожащимъ голосомъ: „я дамъ тебѣ двѣнадцать рублей, картина моя.“

— Хозяинъ! картина за мною, вотъ тебѣ пятнадцать рублей! произнесъ покупатель.

Лицо Черткова судорожно вдрогнуло, духъ захватился, и онъ невольно выговорилъ: „двадцать рублей.“

Купецъ потиралъ руки отъ удовольствія, видя, что покупщики сами торгуются въ его пользу. Народъ гуще обступилъ покупающихъ, услышавъ носомъ, что обыкновенная продажа превратилась въ аукціонъ, всегда имѣющій сильный интересъ даже для постороннихъ. Цѣну наконецъ набили до пятидесяти рублей. Почти отчаянно закричалъ Чертковъ: „пятьдесятъ.“ вспомнивши, что у него вся сумма въ пятидесяти рубляхъ, изъ которыхъ онъ долженъ хотя часть заплатить за квартиру и, кромя того купить красокъ и еще кое-какихъ необходимыхъ вещей. Противникъ въ это время отступилъ: сумма, казалось,

превосходила также его состояніе, и картина осталась за Чертковымъ. Вынувши изъ кармана ассигнацію, онъ бросилъ ее въ лицо купцу и ухватился съ жадностью за картину, но вдругъ отскочилъ отъ нея, пораженный страхомъ.

Темные глаза нарисованнаго старика глядѣли такъ живо и виѣстѣ мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, въ нихъ неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были чловѣческіе глаза. Они были неподвижны, но, вѣрно, не были бы такъ ужасны, еслибы двигались. Какое-то дикое чувство — не страхъ, но то неизъяснимое ощущеніе, которое мы чувствуемъ при появленіи странности, представляющей безпорядокъ природы, или, лучше сказать, какое-то сумасшествіе природы, — это самое чувство заставило вскрикнуть почти всѣхъ. Съ трепетомъ провелъ Чертковъ рукою по полотну, но полотно было гладко. Дѣйствіе, произведенное портретомъ, было всеобщее: народъ съ какимъ-то ужасомъ отхлынулъ отъ лавки; покушникъ, вошедшій съ нимъ въ соперничество, боязливо удался. Сумерки въ это время сгустились, казалось, для того, чтобы сдѣлать еще болѣе ужаснымъ это непостижимое явленіе. Чертковъ не въ силахъ былъ оставаться болѣе. Не смѣя и думать о томъ, чтобы взять его съ собою, онъ выбѣжалъ на улицу.

Свѣжій воздухъ, громъ мостовой, говоръ народа, казалось, на минуту освѣжилъ его, но душа была все еще сжата какимъ-то тягостнымъ чувствомъ. Сколько ни обращалъ онъ глазъ по сторонамъ на окружающіе предметы, но мысли его были заняты однимъ необыкновеннымъ явленіемъ. „Что это?“ думалъ онъ самъ про себя: „искусство, или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законовъ природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для чловѣка есть такая черта, до которой доводить высшее познаніе, и чрезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ чловѣка, онъ вырываетъ что-то живое изъ жизни, одушевляющей оригиналь. Отъ чего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ, слѣдуетъ наконецъ дѣйствительность, та ужасная дѣйствитель-

ность, на которую соскакиваетъ воображеніе съ своей оси какимъ-то постороннимъ толчкомъ, — та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ея тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка? Непостижима такая изумительная, такая ужасная живость! Или черезчуръ близкое подражаніе природѣ такъ же приторно, какъ блюдо, имѣющее черезчуръ сладкій вкусъ?“

Съ такими мыслями вошелъ онъ въ свою маленькую комнатку въ небольшомъ деревянномъ домѣ, на Васильевскомъ островѣ, въ 15 линіи, въ которой лежали разбросанные во всѣхъ углахъ ученическіе его начатки, копіи съ антиковъ, тщательныя, точныя, показывавшія въ художникѣ стараніе постигнуть фундаментальныя законы и внутренній размѣръ природы. Долго разсматривалъ онъ ихъ, и наконецъ мысли его потянулись одна за другою и стали выражаться почти словами: такъ живо чувствовалъ онъ то, о чемъ размышлялъ!

„И вотъ годъ, какъ я тружусь надъ этимъ сухимъ, скелетнымъ трудомъ! стараюсь всѣми силами узнать то, что такъ чудно дается великимъ творцамъ и кажется плодомъ минутнаго, быстрого вдохновенія! Только тронуть они кистью, и уже является у нихъ человѣкъ вольный, свободный, таковъ, какимъ онъ созданъ природою; движенія его живы, непринужденны. Имъ это дано вдругъ, а мнѣ должно трудиться всю жизнь, всю жизнь изслѣдовать скучныя начала и стихіи, всю жизнь отдать безцвѣтной, не отвѣчающей на чувства работѣ. Вотъ мои мараны! Они вѣрны, схожи съ оригиналами; но захоти я произвести свое — и у меня выйдетъ совсѣмъ не то: нога не станетъ такъ вѣрно и непринужденно; рука не подыметься такъ легко и свободно; поворотъ головы у меня вовѣки не будетъ такъ естественъ, какъ у нихъ, а мысль, а тѣ невыразимыя явленія.... Нѣтъ, я не буду никогда великимъ художникомъ!“

Размышленія его прерваны были вошедшимъ его камердинеромъ, парнемъ лѣтъ осьмнадцати, въ русской рубашкѣ, съ розовымъ лицомъ и рыжими волосами. Онъ безъ церемоніи началъ стягивать съ Черткова сапоги, который былъ погруженъ въ свои

размышленія. Этотъ паренъ, въ красной рубашкѣ, былъ его лакей, натурщикъ, чистилъ ему сапоги, зѣвалъ въ маленькой его передней, теръ краски и пачкалъ грязными ногами его полъ. Взявши сапоги, онъ бросилъ ему халатъ и выходилъ уже изъ комнаты, какъ вдругъ оборотилъ голову назадъ и произнесъ громко: „баринъ, свѣчу зажигать, или нѣтъ?“

— Зажги, отвѣчалъ разсѣянно Чертковъ.

— Да еще хозяинъ приходилъ, промолвилъ встати грязный камердинеръ, слѣдуя похвальному обычаю всѣхъ людей его званія, упоминать въ P. S. о томъ, что поважнѣе, — хозяинъ приходилъ и сказалъ, что если не заплатите денегъ, то вышвырнуть всѣ ваши картины за окошко вмѣстѣ съ кроватью.

— Скажи хозяину, чтобы не беспокоился о деньгахъ, отвѣчалъ Чертковъ: — я досталъ деньги.

При этомъ онъ обратился къ карману фрака, но вдругъ вспомнилъ, что всѣ деньги свои оставилъ за портретъ у лавочника. Мысленно началъ онъ укорять себя въ безразсудности, что выбѣжалъ безъ всякой причины изъ лавки, испугавшись ничтожнаго случая, и не взялъ съ собою ни денегъ, ни портрета. Завтра же рѣшился онъ идти къ купцу и взять деньги, почитая себя совершенно вправѣ отказать отъ такой покунки, тѣмъ болѣе, что его домашнія обстоятельства не позволяли сдѣлать никакой лишней издержки.

Свѣтъ луны яркимъ, бѣлымъ окномъ ложился на его полъ, захватывая часть кровати и оканчиваясь на стѣнѣ. Всѣ предметы и картины, висѣвшія въ его комнатѣ, какъ-то улыбались, захвативши иногда краями своими часть этого вѣчно-прекраснаго сіянія. Въ эту минуту какъ-то нечаянно онъ взглянулъ на стѣну и увидѣлъ на ней тотъ же самый странный портретъ, такъ поразившій его въ лавкѣ. Легкая дрожь невольно пробѣжала по его тѣлу. Первымъ дѣломъ его было позвать своего камердинера, натурщика, и разспросить, какимъ образомъ и кто принесъ къ нему портретъ; но камердинеръ-натурщикъ влялся, что никто не приходилъ, выключая хозяина, который былъ еще поутру и, кромѣ ключа, ничего не имѣлъ въ своихъ рукахъ. Чертковъ чувствовалъ, что волосы его зашевелились на головѣ.

Оѣвши возлѣ окна, онъ силился себя увѣрить, что здѣсь не могло ничего быть сверхъестественнаго, что мальчиѣ его могъ въ это время заснуть, что хозяинъ портрета могъ его прислать, узнавши какимъ-нибудь особеннымъ случаемъ его квартиру... Коротче, онъ началъ приводить всѣ тѣ плоскія изъясненія, которыя мы употребляемъ, когда хотимъ, чтобы случившееся случилось непременно такъ, какъ мы думаемъ. Онъ положилъ себѣ не смотрѣть на портретъ, но голова его невольно къ нему обращалась, и взглядъ, казалось, прилипалъ къ странному изображенію: неподвижный взглядъ старика былъ нестерпимъ; глаза совершенно свѣтились, вбирая въ себя лунный свѣтъ, и живость ихъ до такой степени была страшна, что Чертковъ невольно закрылъ свои глаза рукою. Казалось, слеза дрожала на рѣсницахъ старика; свѣтлыя сумерки, въ которыя владычица-луна превратила ночь, увеличивала дѣйствіе: полотно пропадало, и страшное лицо старика выдвинулось и глядѣло изъ рамъ, какъ будто изъ окошка.

Приписывая это сверхъестественное дѣйствіе лунѣ, чудесный свѣтъ которой имѣетъ въ себѣ тайное свойство придавать предметамъ часть звуковъ и красокъ другаго міра, онъ приказалъ подать скорѣе свѣчу, около которой копался его лакей, но выраженіе портрета ничуть не уменьшилось: лунный свѣтъ, слившись съ сіяніемъ свѣчи, придалъ ему еще болѣе непостижимой и вмѣстѣ странной живости. Схвативши простыню, онъ началъ закрывать портретъ, свернулъ ее втрое, чтобъ онъ не могъ съвозъ нее просвѣчивать; но при всемъ томъ — или это было слѣдствіе сильно потревоженнаго воображенія, или собственные глаза его, утомленные сильнымъ напряженіемъ, получили какую-то бѣглую, движущуюся сноровку, только ему долго казалось, что взоръ старика сверкалъ съвозъ полотно. Наконецъ онъ рѣшился погасить свѣчу и лечь въ постель, которая была заставлена ширмами, скрывавшими отъ него портретъ. Напрасно ожидалъ онъ сна: мысли самыя неутѣшительныя прогоняли то спокойное состояніе, которое ведетъ за собою сонъ: тоска, досада, хозяинъ, требующій денегъ, недоконченныя картины — созданія безсильныхъ порывовъ, бѣдность — все это двигалось передъ нимъ и смѣнялось одно другимъ. И когда на минуту удавалось ему прогнать ихъ,

то чудный портретъ властительно втѣснялся въ его воображеніе, и, казалось, сквозь щелку въ ширмахъ сверкали его убійственные глаза. Никогда не чувствовалъ онъ на душѣ своей такого тяжелаго гнета. Свѣтъ луны, который содержитъ въ себѣ столько музыки, когда вторгается въ одинокую спальню поэта и приносить младенчески-очаровательные полусны надъ его изголовьемъ, этотъ свѣтъ луны не наводилъ на него музыкальныхъ мечтаній, — его мечтанія были болѣзненны. Наконецъ впалъ онъ не въ сонъ, но въ какое-то полузабвеніе, въ то тягостное состояніе, когда однимъ глазомъ видишь приступающія грезн сновидѣній, а другимъ — въ неясномъ облакѣ окружающіе предметы.

Онъ видѣлъ, какъ поверхность старика отдѣлялась и сходила съ портрета такъ же, какъ снимается съ кипящей жидкости верхняя пѣна, подымалась на воздухъ и неслась къ нему ближе и ближе, наконецъ приближалась къ самой его кровати. Чертковъ чувствовалъ занимавшееся дыханіе, силился приподняться; но руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горѣли и вперились въ него всею магнитной своею силой.

— Не бойся, говорилъ странный старикъ, и Чертковъ замѣтилъ у него на губахъ улыбку, которая, казалось, жалила его своимъ ослабленіемъ и яркою живостью освѣтила тусклія морщины его лица. — Не бойся меня, говорило странное явленіе: — мы съ тобою никогда не разлучимся. Ты задумалъ весьма глупое дѣло: что тебѣ за охота цѣлне вѣки коршѣть за азбукою, когда ты давно можешь читать по верхамъ? Ты думаешь, что долгими усиліями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь (при этомъ лицо его странно исковеркалось и какой-то неподвижный смѣхъ выразился на всѣхъ его морщинахъ), — ты получишь завидное право кинуться съ Исакиевского моста въ Неву или, завязавши шею платкомъ, повѣситься на первомъ попавшемся гвоздѣ; а труды твои первый маляръ, накупивши ихъ на рубль, замажетъ грунтомъ, чтобы нарисовать на немъ какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все дѣлается въ свѣтѣ для пользы. Бери же скорѣе кисть и рисуй портреты со всего города! бери все, что ни закажутъ; но не влюбляйся въ свою работу, не сиди надъ

нею дни и ночи: время летитъ скоро, и жизнь не останавливается. Чѣмъ болѣе смастеришь ты въ день своихъ картинъ, тѣмъ больше въ карманѣ будетъ у тебя денегъ и славы. Брось этотъ чердакъ и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и потому даю тебѣ такіе совѣты; я тебѣ и денегъ дамъ, только приходи ко мнѣ.

При этомъ старикъ опять выразилъ на лицѣ своемъ тотъ же неподвижный, страшный смѣхъ.

Непостижимая дрожь проняла Черткова и выступила холоднымъ потомъ на его лицѣ. Собравши всѣ свои усилія, онъ приподнял руку и, наконецъ, привсталъ съ кровати. Но образъ старика сдѣлался тусклымъ, и онъ только замѣтилъ, какъ онъ ушелъ въ свои рамы. Чертковъ всталъ съ безпокойствомъ и началъ ходить по комнатѣ. Чтобы немного освѣжить себя, онъ приблизился къ окну. Лунное сіяніе лежало все еще на крышахъ и бѣлыхъ стѣнахъ домовъ, хотя небольшія тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изрѣдка долетало до слуха отдаленное дребезжаніе дрожекъ извозчика, который гдѣ-нибудь въ невидимомъ переулкѣ спалъ, убаюкиваемый своею лѣнивою клячею, поджидая запоздалаго сѣдока. Чертковъ увѣрился, наконецъ, что воображеніе его слишкомъ разстроено и представило ему во снѣ твореніе его же возмущенныхъ мыслей. Онъ подошелъ еще разъ къ портрету. Простыня его совершенно скрывала отъ взоровъ, и, казалось, только маленькая искра сквозила изрѣдка сквозь нее. Наконецъ, онъ заснулъ и проспалъ до самаго утра.

Проснувшись, онъ долго чувствовалъ въ себѣ то непріятное состояніе, которое овладѣваетъ человѣкомъ послѣ утара: голова его непріятно болѣла. Въ комнатѣ было тускло, непріятная мокрота сѣялась въ воздухъ и проходила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами или натянутымъ грунтомъ.

Скоро у дверей раздался стукъ, и вошелъ хозяинъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго появленіе для людей мелкихъ такъ же непріятно, какъ для богатыхъ умильное лицо просителя. Хозяинъ небольшого дома, въ которомъ жилъ Чертковъ, былъ одно изъ тѣхъ твореній, какими обыкновенно бываютъ владѣтели домовъ въ пятнадцатой линіи Васильевскаго острова, на Петербургской сторонѣ или въ отдаленномъ углу Коломны, — твореніе,

какихъ очень много на Руси и которыхъ характеръ такъ же трудно опредѣлить, какъ цвѣтъ изношеннаго сюртука. Въ молодости своей онъ былъ и капитанъ, и крикунъ, употреблялся и по штатскимъ дѣламъ, мастеръ былъ хорошо высѣчь, былъ и расторопный, и щеголь, и глупъ; но въ старости своей онъ слилъ въ себѣ всѣ эти рѣзкія особенности въ какую-то тусклую неопредѣленность. Онъ былъ уже вдовъ, былъ уже въ отставкѣ, уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался; любилъ только пить чай и болтать за нимъ всякой вздоръ, ходилъ по своей комнатѣ, поправлялъ сальный огарокъ, аккуратно, по истеченіи каждаго мѣсяца, навѣдывался къ своимъ жильцамъ за деньгами, выходилъ на улицу съ ключомъ въ рукѣ, для того, чтобы посмотрѣть на крышу своего дома; выгонялъ нѣсколько разъ дворника изъ его кануры, куда онъ запрятывался спать, — однимъ словомъ, былъ человекъ въ отставкѣ, которому, послѣ всей забубенной жизни и тряски на перекладной, остаются однѣ пошлыя привычки.

— Извольте сами глядѣть, сказалъ хозяинъ, обращаясь къ квартальному и разставляя руки, — извольте распорядиться и объявить ему.

— Я долженъ вамъ объявить, сказалъ квартальный надзиратель, заложивши руку за петлю своего мундира, — что вы должны непременно заплатить должныя вами уже за три мѣсяца квартирныя деньги.

— Я бы радъ заплатить, но что же дѣлать, когда нечѣмъ? сказалъ хладнокровно Чертковъ.

— Въ такомъ случаѣ хозяинъ долженъ взять себѣ вашу движимость, равностоящую суммѣ квартирныхъ денегъ, а вамъ должно немедленно сегодня же выѣхать.

— Берите все, что хотите, отвѣчалъ почти безчувственно Чертковъ.

— Картины многія не безъ искусства сдѣланы, продолжалъ квартальный, перебирая изъ нихъ нѣкоторыя. — Жаль только, что не кончены, и краски-то не такъ живы... Вѣрно, недостатокъ въ деньгахъ не позволялъ вамъ купить ихъ? А это что за картина, завернутая въ холстину?

При этомъ квартальный, безъ церемоніи подошедши къ картинѣ, сдернулъ съ нея простыню, потому что эти господа всегда позволяютъ себѣ маленькую вольность тамъ, гдѣ видятъ совершенную беззащитность или бѣдность. Портретъ, казалось, изумилъ его, потому что необыкновенная живость глазъ производила на всѣхъ равное дѣйствіе. Разсматривая картину, онъ нѣсколько крѣпко сжалъ ея рамы, и такъ какъ руки у полицейскихъ служителей всегда нѣсколько отягиваются тупорною работой, то рамка вдругъ лопнула, небольшая дощечка упала на полъ вмѣстѣ съ брякнувшимъ на землю сверткомъ золота, и нѣсколько блестящихъ кружковъ покатилося во всѣ стороны. Чертковъ съ жадностью бросился подбирать, и вырвалъ изъ полицейскихъ рукъ нѣсколько поднятыхъ имъ червонцевъ.

— Какъ же вы говорите, что не имѣете чѣмъ заплатить, заимѣтилъ квартальный, пріятно улыбаясь, — а между тѣмъ у васъ столько золотой монеты!

— Эти деньги для меня священны! вскричалъ Чертковъ, опасаясь искусныхъ рукъ полицейскаго. — Я долженъ ихъ хранить, онѣ ввѣрены мнѣ покойнымъ отцомъ. Впрочемъ, чтобы васъ удовлетворить, вотъ вамъ за квартиру! — При этомъ онъ бросилъ нѣсколько червонцевъ хозяину дома.

Физиономія и приемы въ одну минуту измѣнились у хозяина и достойнаго блюстителя за правами пьяныхъ извозчиковъ.

Полицейскій сталъ извиняться и увѣрять, что онъ только исполнялъ предписанную форму, а впрочемъ никакъ не имѣлъ права его принудить; а чтобы болѣе въ этомъ увѣрить Чертова, онъ предложилъ ему призъ табаку. Хозяинъ дома увѣрялъ, что онъ только пошутилъ, и увѣрялъ съ такою божбой и безсовѣстностію, съ какою, обыкновенно, увѣряетъ купецъ въ гостинномъ дворѣ.

Но Чертковъ выбѣжалъ вонъ и не рѣшился болѣе оставаться на прежней квартирѣ. Онъ не имѣлъ даже времени подумать о стражности этого происшествія. Осмотрѣвши свертокъ, онъ увидѣлъ въ немъ болѣе сотни червонцевъ. Первымъ дѣломъ его было нанять щегольскую квартиру. Квартира, попавшаяся ему, была какъ-нарочно для него приготовлена: четыре въ рядъ вы-

сокія комнаты, большія окна, всё выгоды и удобства для художника! Лежа на турецкомъ диванѣ и глядя въ цѣльныя окна на растушія и мелькающія волны народа, онъ былъ погруженъ въ какое-то самодовольное забвеніе и дивился самъ своей судьбѣ, еще вчера пресмыкавшейся съ нимъ на чердакѣ. Недовонченныя и олонченныя картины развѣсались по стройнымъ колоссальнымъ стѣнамъ; между ними висѣлъ таинственный портретъ, который достался ему такимъ единственнымъ образомъ.

Онъ опять сталъ думать о причинѣ необыкновенной живости его глазъ. Мысли его обратились къ видимому имъ полусновидѣнію, наконецъ къ чудному кладу, скрывавшемуся въ его рамкахъ. Все привело его къ тому, что какая-нибудь исторія соединена съ существованіемъ портрета, и что даже, можетъ-быть, его собственное бытіе связано съ этимъ портретомъ. Онъ вскочилъ съ своего дивана и началъ его внимательно разсматривать: въ рамѣ находился ящикъ, прикрытый тоненькою дощечкой, но такъ искусно задѣланной и заглаженной съ поверхностью, что никто бы не могъ узнать о его существованіи, еслибы тяжелый палецъ квартальнаго не продавилъ дощечки. Онъ поставилъ его на мѣсто и еще разъ на него посмотрѣлъ. Живость глазъ уже не казалась ему такъ страшною среди яркаго свѣта, наполнявшаго его комнату сквозь огромныя окна, и многолюднаго шума улицы, громившаго его слухъ; но она заключала въ себѣ что-то непріятное, такъ что онъ постарался скорѣе отъ него отворотиться.

Въ это время зазвенѣлъ звонокъ у дверей, и вошла къ нему почтенная дама пожилыхъ лѣтъ съ талиєю въ рюмочку, въ сопровожденіи молоденькой, лѣтъ осьмнадцати; лакей въ богатой ливреѣ отворилъ имъ дверь и остановился въ передней.

— Я къ вамъ съ просьбою, произнесла дама ласковымъ тономъ, съ какииъ обыкновенно онѣ говорятъ съ художниками, французскими парикмахерами и прочими людьми, рожденными для удовольствія другихъ. — Я слышала о вашихъ дарованіяхъ... (Чертковъ удивился такой скорой своей славы). Мнѣ хочется, чтобы вы сняли портретъ съ моей дочери.

При этомъ блѣдное личико дочери обратилось къ художнику,

который, еслибы былъ знатокъ сердца, то вдругъ бы прочелъ на немъ немноготомную исторію ея: ребяческая страсть къ баламъ, тоска и скука продолжительнаго времени до обѣда и послѣ обѣда, желаніе побѣгать въ платьѣ послѣдней моды на многолюдномъ гуляньи, нетерпѣливость увидать свою пріятельницу для того, чтобы ей сказать: „Ахъ, милая, какъ я скучала“, или объявить, какую мадамъ Сихлеръ сдѣлала уборку къ платью княгини В... Вотъ все, что выражало лицо молодой посѣтительницы, блѣдное, почти безъ выраженія, съ оттѣнкомъ какой-то болѣзненной желтизны.

— Я бы желала, чтобы вы теперь же принялись за работу, продолжала дама: — мы можемъ вамъ дать часть. — Чертковъ бросился къ краскамъ и кистямъ, взявъ уже готовый натянутый грунтъ и устроился, какъ слѣдуетъ.

— Я васъ должна нѣсколько предупредить, говорила дама, — на счетъ моей Анетъ, и этимъ облегчить нѣсколько вашу трудъ. Въ глазахъ ея и даже во всѣхъ чертахъ лица всегда была замѣтна томность; моя Анетъ очень чувствительна, и признаюсь, я никогда не даю ей читать новыхъ романовъ (Художникъ смотрѣлъ въ оба и не замѣтилъ никакой томности). Мнѣ бы хотѣлось, чтобы вы изобразили ее просто въ семейномъ кругу, или, еще лучше, одну на чистомъ воздухѣ, въ зеленой тѣни, чтобы ничто не показывало, будто она ѣдетъ на балъ. Наши балы, должно признаться, такъ скучны и такъ убиваютъ душу, что, право, я не понимаю удовольствія бывать на нихъ.

Но на лицѣ дочери и даже самой почтенной дамы было написано рѣзкими чертами, что онѣ не пропускали ни одного бала.

Чертковъ былъ минуту въ размышленіи, какъ согласить эти небольшія противоположности, наконецъ рѣшился избрать благоразумную средину. Притомъ его прельщало желаніе побѣдить трудности и восторжествовать искусствомъ, согласивъ двусмысленное выраженіе портрета. Кисть бросила на полотно первый туманъ, художническій хаосъ: изъ него начали дѣлиться и выходить медленно образующіяся черты. Онъ принявъ весь къ своему оригиналу и уже началъ уловлять тѣ неуловимыя черты, которыя самому безцвѣтному оригиналу придаютъ, въ правдивой

копій, какой-то характеръ, составляющій высокое торжество истины. Какой-то сладкій трепетъ началъ имъ одолювать, когда онъ чувствовалъ, что наконецъ подмѣтилъ и, можетъ-быть, выразить то, что очень рѣдко удается выразить. Это наслажденіе, неизяснимое и прогрессивно возвышающееся, извѣстно только таланту. Подъ кистью его лицо портрета какъ будто невольно пріобрѣтало тотъ колоритъ, который былъ для него самого внезапнымъ открытіемъ; но оригиналъ началъ такъ сильно вертѣться и зѣвать передъ нимъ, что художнику, еще неопытному, трудно было ловить урывками и мгновеньями постоянное его выраженіе.

— Мнѣ кажется, на первый разъ довольно, произнесла почтенная дама.

Боже, какъ это ужасно! А душа и силы разохотились и хотѣли разгуляться. Повѣсивши голову и бросивши палитру, стоялъ онъ передъ своею картиною.

— Мнѣ, однавожь, сказали, что вы въ два сеанса оканчиваете совершенно портретъ, произнесла дама, подходя къ картинѣ, — а у васъ до сихъ поръ еще только почти одинъ абрисъ. Мы прійдемъ къ вамъ завтра въ это же время.

Молчаливо выпроводилъ своихъ гостей художникъ и остался въ непріятномъ размышленіи: въ его тѣсномъ чердакѣ никто не перебивалъ его, когда онъ сидѣлъ надъ своею незаказною работою. Съ досадою отодвинулъ онъ начатый портретъ и хотѣлъ заняться другими недоконченными работами. Но какъ будто можно мысль и чувства, проникнувшія уже до души, замѣстить новыми, въ которыя еще не успѣло влюбиться наше воображеніе. Бросивши кисть, онъ вышелъ изъ дому.

Юность счастлива тѣмъ, что передъ нею бѣжитъ множество разныхъ дорогъ, что ея живая, свѣжая душа доступна тысячѣ разныхъ наслажденій, и потому Чертковъ разсѣялся почти въ одну минуту. Нѣсколько червонцевъ въ карманѣ — и что не во власти исполненной силъ юности! Притомъ русскій человѣкъ, а особливо дворянинъ, или художникъ, имѣетъ странное свойство: какъ только завелся у него въ карманѣ грошъ — ему все триньтрава и море по волю. У него оставалось еще отъ денегъ, запла-

ченнхъ впередъ за квартиру, около тридцати червонцевъ, и всё эти тридцать червонцевъ онъ спустилъ въ одинъ вечеръ. Прежде всего онъ приказалъ себѣ подать обѣдъ отличнѣйшій, выпилъ двѣ бутылки вина и не захотѣлъ взять сдачи, нанялъ щегольскую карету, чтобы только съѣздить въ театръ, находившійся въ двухъ шагахъ отъ его квартиры, угостилъ въ кондитерской трехъ своихъ пріятелей, зашелъ еще кое-куда и возвратился домой безъ копѣйки въ карманѣ. Бросившись въ кровать, онъ уснулъ крѣпко, но сновидѣнія его были также несвязны, и грудь, какъ и въ первую ночь, сжималась, какъ будто чувствовала на себѣ что-то тяжелое. Онъ увидѣлъ сквозь шелку своихъ ширмъ, что изображеніе старика отдѣлилось отъ полотна и съ выраженіемъ безпокойства пересчитывало кучи денегъ; золото сыпалось изъ его рукъ... Глаза Черткова горѣли; казалось, его чувства узнали въ золотѣ ту неизъяснимую прелесть, которая дотолѣ ему не была понятна. Старикъ его манилъ пальцемъ и показывалъ ему цѣлую гору червонцевъ. Чертковъ судорожно протянулъ руку и проснулся. Проснувшись, онъ подошелъ къ портрету, трясъ его, изрѣзалъ ножомъ всё его рамы, но нигдѣ не находилъ запряженныхъ денегъ; наконецъ махнулъ рукой и рѣшился работать, далъ себѣ слово не сидѣть долго и не увлекаться заманчивою кистью.

Въ это время пріѣхала вчерашняя дама съ своею блѣдною Анетю. Художникъ поставилъ на станокъ свой портретъ, и на этотъ разъ кисть его неслась быстрѣе. Солнечный день, ясное освѣщеніе, дали какое-то особенное выраженіе оригиналу, и открылось множество дотолѣ незамѣченныхъ тонкостей. Душа его загорѣлась опять напряженіемъ. Онъ силился схватить мельчайшую точку, или черту, даже самую желтизну и неровное измѣненіе болорита въ лицѣ вѣвавшей и изнуренной красавицы съ тою точностію, съ которою позволяютъ себѣ опытные артисты, воображающіе, что истина можетъ нравиться такъ же и другимъ, какъ нравится имъ самимъ. Кисть его только-что хотѣла схватить одно общее выраженіе всего цѣлаго, какъ досадное „довольно“ раздавалось надъ его ушами, и дама подошла къ его портрету.

— Ахъ, Боже мой! что это вы нарисовали! вскрикнула она

съ досадою: — Анеть у васъ желта; у ней подъ глазами какія-то темныя пятна; она какъ будто приняла нѣсколько стѣлянокъ микстуры. Нѣтъ, ради Бога, исправьте вашъ портретъ: это совсѣмъ не ея лицо. Мы къ вамъ будемъ завтра въ это же время.

Чертковъ съ досадою бросилъ кисть; онъ проблиналъ и себя, и палитру, и ласковую даму, и дочь ея, и весь міръ. Голодный, просидѣлъ онъ въ своей великолѣпной комнатѣ и не имѣлъ силъ приняться ни за одну картину. На другой день, вставши рано, онъ схватилъ первую попавшуюся ему работу: это была давно начатая имъ Психея, поставилъ ее на станокъ, съ намѣреніемъ насильно продолжать: въ это время вошла вчерашняя дама.

— Ахъ, Анеть, посмотри, посмотри сюда! вскричала дама съ радостнымъ видомъ. — Ахъ какъ похожа! прелесть, прелесть! и носъ, и ротъ, и брови! Чѣмъ васъ благодарить за этотъ прекрасный сюрпризъ! Какъ это мило! Какъ хорошо, что эта рука немного приподнята! Я вижу, что вы точно тотъ великій художникъ, о которомъ мнѣ говорили.

Чертковъ стоялъ какъ оторопѣлый, увидѣвши, что дама приняла его Психею за портретъ своей дочери. Съ застѣнчивостью новичка онъ началъ увѣрять, что этимъ слабымъ эскизомъ хотѣлъ изобразить Психею; но дочь приняла это себѣ за комплиментъ и довольно мило улыбнулась; улыбку раздѣлила мать. Адская мысль блеснула въ головѣ художника, чувство досады и злости подерѣжили ее, и онъ рѣшился этимъ воспользоваться.

— Позвольте мнѣ попросить васъ сегодня посидѣть немного подолѣе, произнесъ онъ, обратясь къ довольной на этотъ разъ блондинѣ. — Вы видите, что платье я еще не дѣлалъ вовсе, потому что хотѣлъ все съ большею точностію рисовать съ натуры. — Быстро онъ одѣлъ Психею въ костюмъ XIX вѣка; тронулъ слегка глаза, губы, просвѣтилъ слегка волосы и отдалъ портретъ своимъ посѣтительницамъ. Пукъ ассигнацій и ласковая улыбка благодарности были ему наградю.

Но художникъ стоялъ, какъ прикованный къ одному мѣсту. Его грызла совѣсть; имъ овладѣла та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношею, носящимъ въ душѣ благородство таланта, которая заставляетъ

если не истреблять, то по крайней мѣрѣ скрывать отъ свѣта произведенія, которыхъ онъ самъ видѣлъ несовершенство, которая заставляетъ скорѣе вытерпѣть презрѣніе всей толпы, нежели презрѣніе истиннаго цѣнителя. Ему казалось, что уже стоитъ передъ его картиною грозный судія и, качая головою, укоряетъ его въ безстыдствѣ и бездарности. Чего бы онъ не далъ, чтобъ возвратить только ее назадъ! Уже онъ хотѣлъ бѣжать вслѣдъ за дамою, вырвать портретъ изъ рукъ ея, разорвать и растоптать его ногами, но какъ это сдѣлать? Куда идти? Онъ не зналъ даже фамиліи его посѣтительницы.

Съ этого времени, однакожь, произошла въ жизни его счастливая перемена. Онъ ожидалъ, что безславіе покроетъ его имя, но вышло совершенно напротивъ. Дама, заказывавшая портретъ, рассказала съ восторгомъ о необыкновенномъ художникѣ, и мастерская нашего Черткова наполнилась посѣтителями, желавшими удвоить и, если можно, удесятерить свое изображеніе. Но свѣжій, еще невинный, чувствующій въ душѣ недостойнымъ себя къ принятію такого подвига, Чертковъ, чтобы сколько-нибудь загладить и искупить свое преступленіе, рѣшился заняться со всевозможнымъ стараніемъ своею работою, рѣшился удвоить напряженіе своихъ силъ, которое одно производитъ чудеса.

Но намѣренія его встрѣтили непредвидѣнные препятствія: посѣтители его, съ которыхъ онъ рисовалъ портреты, были большею частію народъ нетерпѣливый, занятый, торопящійся и потому, едва только кисть его начинала творить что-нибудь не совсѣмъ обыкновенное, какъ уже вваливался новый посѣтитель, переважно выставялъ свою голову, горя желаніемъ увидѣть ее скорѣе на полотнѣ, и художникъ спѣшилъ скорѣе оканчивать свою работу. Время его, наконецъ, было такъ разобрано, что онъ ни на одну минуту не могъ предаться размышленію, и вдохновеніе, безпрестанно истребляемое при самомъ рожденіи своемъ, наконецъ отвыкло навѣщать его. Наконецъ, чтобъ ускорять свою работу, онъ началъ заключаться въ извѣстныя, опредѣленныя, однообразныя, давно изношенныя формы. Скоро портреты его были похожи на тѣ фамильныя изображенія старыхъ художниковъ, которыя такъ часто можно встрѣтить во всѣхъ краяхъ

Европы и даже во всѣхъ углахъ міра, гдѣ дамы изображены съ сложенными на груди руками и держащими цвѣтокъ въ рукѣ, а кавалеры — въ мундирѣ, съ заложеною за пуговицу рукою. Иногда желалъ онъ дать новое, еще не избитое положеніе, отличающееся бы оригинальностью и непринужденностью, но, увы, все непринужденное и легкое у поэта и художника достается слишкомъ принужденно и есть плодъ великихъ усилій. Для того, чтобы дать новое, смѣлое выраженіе, постигнуть новую тайну въ живописи, для этого нужно было ему долго думать, отвративши глаза отъ всего окружающаго, унести отъ всего мірскаго и жизни. Но на это у него не оставалось времени, и притомъ онъ слишкомъ былъ изнуренъ дневною работою, чтобы быть въ готовности принять вдохновеніе; міръ же, съ котораго онъ рисовалъ свои произведенія, былъ слишкомъ обыкновененъ и однообразенъ, чтобы вызвать и возмутить воображеніе. Глубокозамышляющее и вмѣстѣ неподвижное лицо директора департамента, красивое, но вѣчно на одну мѣрку лицо уланскаго ротмистра, блѣдное, съ натянутою улыбкою, петербургской красавицы и множество другихъ, уже чрезчуръ обыкновенныхъ — вотъ все, что каждый день мѣнялось передъ нашими живописцемъ. Базалось, кисть его сама приобрѣла наконецъ ту безцвѣтность и отсутствіе энергіи, которою означались его оригиналы!

Безпрестанно мелькавшія передъ нимъ ассигнаціи и золото наконецъ усыпили дѣвственныя движенія души его. Отъ безстыдно воспользовался слабостью людей, которые, за лишнюю черту красоты, прибавленную художникомъ къ ихъ изображеніямъ, готовы простить ему всѣ недостатки, хотя бы эта красота была во вредъ самому сходству.

Чертьковъ, наконецъ, сдѣлался совершенно моднымъ живописцемъ. Вся столица обратилась къ нему; его портреты видны были во всѣхъ кабинетахъ, спальняхъ, гостинныхъ и будуарахъ. Истинные художники пожимали плечами, глядя на произведенія этого баловня могущественнаго случая. Напрасно силились они отыскать въ немъ хотя одну черту вѣрной истины, брошенную жаркимъ вдохновеніемъ: это были правильныя лица, почти всегда недурныя собою, потому что понятіе красоты удержалось еще въ

художникѣ, но никакого знанія сердца, страстей, или хотя привычекъ человѣка, — ничего такого, что бы отзывалось сильнымъ развитіемъ тонкаго вкуса. Нѣкоторые же, знавшіе Черткова, удивлялись этому странному событію, потому что видѣли въ первыхъ его началахъ присутствіе таланта, и старались разрѣшить непостижимую загадку: какъ можетъ дарованіе угаснуть въ цвѣтѣ силъ, вмѣсто того, чтобы развиться въ полномъ блескѣ?

Но этихъ толковъ не слышалъ самодовольный художникъ и величался всеобщю славою, потряхивая червонцами своими и начиная вѣрить, что все въ свѣтѣ обыкновенно и просто, что откровенія свыше въ мірѣ не существуютъ, и все необходимо должно быть подведено подъ строгій порядокъ аккуратности и однообразія. Уже жизнь его коснулась тѣхъ лѣтъ, когда все дышащее порывомъ сжимается въ человѣкѣ, когда могущественный смычокъ слабѣе доходитъ до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновеніе красоты уже не превращаетъ дѣвственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всё отгорѣвшія чувства становятся доступнѣе къ звуку золота, вслушиваются внимательнѣе въ его заманчивую музыку и мало помалу, нечувствительно, позволяютъ ей совершенно усыпить себя. Слава не можетъ насытить и дать наслажденія тому, который укралъ ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный трепетъ только въ достойномъ ея. И потому всё чувства и порывы его обратились къ золоту. Золото едѣвалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденіемъ, цѣлю. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ его, и, какъ всякой, которому достается этотъ страшный даръ, онъ началъ становиться скучнымъ, недоступнымъ ко всему и равнодушнымъ ко всему. Казалось, онъ готовъ былъ превратиться въ одно изъ тѣхъ странныхъ существъ, которыя иногда падаютъ въ мірѣ, на которыхъ съ ужасомъ глядитъ исполненный энергіи и страсти человѣкъ, и которому они кажутся живыми тѣлами, заключающими въ себѣ мертвеца. Но однакоже одно событіе сильно потрясло его и дало совершенно другое направленіе его жизни.

Въ одинъ день онъ увидѣлъ на столѣ своемъ записку, въ которой академія художествъ просила его, какъ достойнаго ея чле-

на, пріѣхать дать сужденіе свое о новомъ, присланномъ изъ Ита-
ліи произведеніи усовершенствовавшагося тамъ русскаго худож-
ника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей,
который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себѣ страсть къ искусству,
съ пламенною силою труженика погрязъ въ ней всею душою своею
и для негѣ, оторвавшись отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ
привычекъ, бросился, безъ всякихъ пособій, въ неизвѣстную зем-
лю; терпѣлъ бѣдность, униженіе, даже голодъ, но съ рѣдкимъ
самоотверженіемъ, презрѣвши все, былъ безчувственъ ко всему,
кромя своего милаго искусства.

Вошедши въ залу, нашелъ онъ толпу посѣтителей, собравших-
ся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое рѣдко бываетъ
между многолюдными цѣнителями, на этотъ разъ царствовало
всюду. Чертковъ, принявши значительную фізіономію знатока,
приблизился къ картинѣ; но, Боже, что онъ увидѣлъ!

Чистое, непорочное, прекрасное какъ невѣста, стояло передъ
нимъ произведеніе художника. И хоть бы какое-нибудь видно
было въ немъ желаніе блеснуть, хотя бы даже извинительное
тщеславіе, хотя бы мысль о томъ, чтобы показаться черни, —
никакой, никакихъ! Оно возносилось скромно; оно было про-
сто, невинно, божественно, какъ талантъ, какъ геній. Изуми-
тельно прекрасныя фігуры группировались непринужденно,
свободно, не касаясь полотна, и, изумленныя столькими устрем-
ленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили пре-
красныя рѣсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали тѣ
тайныя явленія, которыхъ душа не умѣетъ, не знаетъ переска-
зать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ, — и
все это было наброшено такъ легко, такъ скромно-свободно,
что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника,
вдругъ осѣнившею его мысли. Вся картина была — мгновеніе,
но то мгновеніе, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно
приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по
лицамъ посѣтителей, окружавшихъ картину. Казалось, всѣ вку-
сы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ ка-
кой-то безмолвный гимнъ божественному произведенію.

Неподвижно, съ открытымъ ртомъ стоялъ Чертковъ передъ

картиною и, наконецъ, когда мало-по-малу посѣтители и знатоки зашумѣли и начали разсуждать о достоинствѣ произведенія, и когда, наконецъ, обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришелъ въ себя, хотѣлъ принять равнодушный, обыкновенный видъ, хотѣлъ сказать обыкновенное пошлое сужденіе зачерствѣлыхъ художниковъ, что произведеніе хорошо, и въ художникѣ видѣнъ талантъ, но желательно чтобы во многихъ мѣстахъ лучше была выполнена мысль и отдѣлка, — но рѣчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отвѣтъ, и онъ, какъ безумный, выбѣжалъ изъ залы.

Съ минуту, неподвижный и безчувственный, стоялъ онъ среди своей великолѣпной мастерской. Весь составъ, вся жизнь его была разбуждена въ одно мгновеніе, какъ будто молодость возвратилась къ нему, какъ будто потухшія искры таланта вспыхнули снова. Боже! и погубить такъ безжалостно всѣ лучшіе годы своей юности; истребить, погасить искру огня, можетъ-быть, теплѣвшагося въ груди, можетъ-быть, развившагося бы теперь въ величіи и красотѣ, можетъ-быть, также исторгнувшего бы слезы изумленія и благодарности! И погубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ будто въ эту минуту ожили въ душѣ его тѣ напряженія и порывы, которые нѣкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступилъ на его лицо, весь образъ мыслию: ему хотѣлось изобразить отпадшаго ангела. Эта идея была болѣе всего согласна съ состояніемъ его души; но, увы, фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и изображеніе слишкомъ уже заключились въ одну мѣрку, и бессильный порывъ преступить границы и оковы, имъ самимъ на себя наброшенные, уже отзывался неправильностію и ошибкою. Онъ пренебрегъ утомительную, длинную лѣстницу постепенныхъ свѣдѣній и первыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Въ досадѣ онъ принялъ прочь изъ своей комнаты всѣ труды свои, означенные жертвою блѣдностію поверхностной моды, заперъ дверь, не ве-

лѣлъ никого впускать къ себѣ и занялся, какъ жаркій юноша, своей работой. Но, увы, на каждомъ шагѣ онъ былъ останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой, незначащій механизмъ охлаждалъ весь порывъ и стоялъ непрескочимымъ порогомъ для воображенія. Иногда осѣнялъ его внезапный призракъ великой мысли, воображеніе видѣло въ темной перспективѣ что-то такое, что, схвативши и бросивши на полотно, можно было сдѣлать необыкновеннымъ и вмѣстѣ доступнымъ для всякой души; какая-то звѣзда чудеснаго сверкала въ неясномъ его туманѣ, потому что онъ точно носилъ въ себѣ призракъ таланта; но, Боже, какое-нибудь незначащее условіе, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило — и мысль замирала, порывъ безсильнаго воображенія цѣпенѣлъ, не рассказанный, не изображенный; кисть его невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ заученный манеръ, голова не смѣла сдѣлать необыкновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотѣли повиноваться и драпироваться на незнакомомъ положеніи тѣла. И онъ чувствовалъ и видѣлъ это самъ! Потъ катился съ него градомъ, губы дрожали, и послѣ долгой паузы, во время которой бунтовали внутри его всѣ чувства, онъ принимался снова; но въ тридцать слишкомъ лѣтъ труднѣе изучать скучную лѣстницу трудовъ, правилъ и анатоміи, еще труднѣе достигнуть, то, влукъ, что развивается медленно и дается жене. Наконецъ, онъ узналъ ту ужасную муку, которая, какъ паразитическое исключеніе, является иногда въ природѣ, когда талантъ слабый силится выказаться въ превышающемъ его размѣрѣ и не можетъ выказаться, — ту муку, которая въ юношѣ рождаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ бесплодную жажду, — ту страшную муку, которая дѣлаетъ человѣка способнымъ на ужасныя злодѣянія.

Имъ владѣла ужасная зависть, зависть до бѣшенства. Желчь проступала у него на лицѣ, когда онъ видѣлъ произведеніе, носившее печать таланта. Онъ скрежеталъ зубами и пожиралъ его взоромъ василиска. Наконецъ, въ душѣ его возродилось самое

адское нажѣреніе, какое когда-либо питалъ человѣкъ, и съ бѣшеною силой бросился онъ приводить его въ исполненіе. Онъ началъ скушать все лучшее, что только производило искусство. Купивши картину дорогою цѣной, осторожно приносилъ въ свою комнату и съ бѣшенствомъ тигра на нее кидался, рвалъ, разрывалъ ее, изрѣзывалъ на куски и топталъ ногами, сопровождая ужаснымъ свѣхомъ адскаго наслажденія. Едва появлялось гдѣ-нибудь свѣжее произведеніе, дышущее огнемъ новаго таланта, онъ употреблялъ всѣ усилія купить его во что бы то ни стало. Безчисленныя собранія имъ богатства доставляли ему всѣ средства удовлетворять этому адскому желанію. Онъ развязалъ всѣ свои золотыя мѣшки и раскрылъ сундуки. Никогда ни одно чудовище невѣжества не истребило столько прекрасныхъ произведеній, сколько истребилъ этотъ свирѣпый жетитель. И люди, носившіе въ себѣ искру божественнаго познанія, жадные одного великаго, были безжалостно, безчеловѣчно лишены тѣхъ святыхъ, прекрасныхъ произведеній, въ которыхъ великое искусство приподняло покровъ съ неба и показало человѣку часть исполненнаго звуковъ и священнѣхъ тайнъ его внутренняго міра. Нигдѣ, ни въ какомъ уголкѣ не могли они сокрыться отъ его хищной власти, не знавшей никакой пощады. Его зоркій, огненный глазъ проникалъ всюду и находилъ даже въ заброшенной пыли слѣдъ художественной кисти. На всѣхъ аукціонахъ, куда только показывался онъ, всякой заранѣе отчаявался въ приобрѣтеніи художественнаго созданія. Казалось, какъ будто разгнѣванное него ~~нео~~ ^{нео} ~~исключило~~ ^{исключило} ~~до~~ ^{до} ~~доставило~~ ^{доставило} желая отнять то страшный колоритъ на его лицѣ: на немъ всегда почти была разлита желчь; глаза сверкали почти безумно; нависнувшія брови и вѣчно перерѣзанный морщинами лобъ придавали ему какое-то дикое выраженіе и отдѣляли его совершенно отъ спокойныхъ обитателей земли.

Къ счастью міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размѣръ страстей былъ слишкомъ неправиленъ и колоссаленъ для слабыхъ силъ ея. Припадки бѣшенства и безумія начали оказываться чаще, и,

наконецъ, все это обратилось въ самую ужасную болѣзнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткой, овладѣла имъ такъ свирѣпо, что въ три дня оставалась отъ него одна тѣнь только. Къ этому присоединились всѣ признаки безнадежнаго сумасшествія. Иногда нѣсколько человѣкъ не могли удерживать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза обыкновеннаго портрета, и тогда бѣшенство его было ужасно. Всѣ люди, окружавшіе его постель, казались ему ужасными портретами. Портретъ этотъ двоился, четверился въ его глазахъ, и, наконецъ, ему чудилось, что всѣ стѣны были увѣшаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядѣли на него съ потолка, съ полу, и, въ добавокъ, онъ видѣлъ, какъ комната расширялась и продолжалась пространнѣе, чтобы болѣе вмѣстить этихъ неподвижныхъ глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязанность его лечить и уже нѣсколько слышавшійся о странной его исторіи, старался всѣми силами отыскать тайное отношеніе между грезившимися ему привидѣніями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успѣть. Больной ничего не понималъ и не чувствовалъ, кромѣ своихъ терзаній, и пронзительнымъ, невыразимо-раздирающимъ голосомъ кричалъ и молилъ, чтобы приняли отъ него неотразимый портретъ съ живыми глазами, котораго мѣсто онъ описывалъ съ странными для безумнаго подробностями. Напрасно употребляли всѣ старанія, чтобы отыскать этотъ чудный портретъ. Все было перерыто въ домѣ, но портретъ не отыскивался. Тогда начали описывать его мѣсто съ такою точностью, которая показывала присутствіе яснаго и пронзительнаго ума; но всѣ поиски были тщетны. Наконецъ докторъ заключилъ, что это было больше ничего, какъ особенное явленіе безумія. Скоро жизнь его прервалась въ послѣднемъ, уже безгласномъ порывѣ страданія. Трупъ его былъ страшенъ. Ничего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ, но, увидѣвши изрѣзанные куски тѣхъ высокихъ произведеній искусства, которыхъ цѣна превышала милліоны, поняли ужасное ихъ употребленіе.

§ 2.

Множество каретъ, дрожекъ и колясокъ стояло передъ подъездомъ дома, въ которомъ производилась аукціонная продажа вещей одного изъ тѣхъ богатыхъ любителей искусствъ, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры и амуры, которые невинно прослыли Меценатами и простодушно издержали для этого милліоны, накопленные ихъ основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою посѣтителей, налѣтѣвшихъ, какъ хищныя птицы, на неприбранное тѣло. Тутъ была цѣлая флотилія русскихъ купцовъ изъ гостиннаго двора и даже толкучаго рынка въ смнскихъ шуртукахъ. Видъ ихъ и фізіономія были здѣсь какъ-то тверже, вольгѣе и не начались тою приторною услужливостію, которая такъ видна въ русскомъ купцѣ. Они вовсе не чинились, несмотря на то, что въ этой же залѣ находилось множество тѣхъ значительныхъ аристократовъ, передъ которыми они въ другомъ мѣстѣ готовы были своими поклонами снести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здѣсь они были совершенно развязны, щупали безъ церемоніи книги и картины, желая узнать доброту товара, и смѣло перебивали цѣну, набавляемую графами-знатоками. Здѣсь были многіе необходимыя посѣтители аукціоновъ, постановившіе каждый день бывать въ немъ вмѣсто завтрака; аристократы-знатоки, почитающіе обязанностію не упустить случая умножить свою коллекцію и не находившіе другаго занятія отъ 12 до 1-го часа; наконецъ, тѣ благородные господа, которыхъ платья и карманы чрезвычайно худы, которые являюся ежедневно безъ всякой корыстолюбивой цѣли, но единственно, чтобы посмотреть, чѣмъ что кончится: кто будетъ давать больше, кто меньше, кто кого перебьетъ и за кѣмъ что останется. Множество картинъ разбросано было совершенно безъ всякаго толку; съ ними были перекишаны и мебели и книги съ вензелями прежняго владѣтеля, который, вѣрно, не имѣлъ похвальнаго любопытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовъ,

новья и старинныя мебели съ выгнутыми линиями, съ грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченныя и безъ позолоты, люстры, кенкеты — все было навалено и вовсе не въ такомъ порядкѣ, какъ въ магазинахъ. Все представляло какой-то хаосъ искусствъ. Вообще ощущаемое нами чувство при видѣ аукціонна странно: въ немъ все отзывается чѣмъ-то похожимъ на погребальную процессію. Залъ, въ которомъ онъ производится, всегда какъ-то мраченъ; окна, загроможденныя мебелью и картинами, скупо изливаютъ свѣтъ; безмолвіе, разлитое на лицахъ всѣхъ, и голоса: „сто рублей, рубль и двадцать копѣекъ! четыреста рублей пятьдесятъ копѣекъ,“ протяжно вырывающіеся изъ устъ, какъ-то дико для слуха. Но еще болѣе производитъ впечатлѣніе погребальный голосъ аукціониста, постукивающего молоткомъ и отпѣвающего панихиду бѣднымъ, такъ странно встрѣтившимся здѣсь, искусствамъ.

Однакоже аукціонъ еще не начинался, посѣтители разсматривали разныя вещи, набросанныя горою на полу. Между тѣмъ небольшая толпа остановилась передъ однимъ портретомъ: на немъ былъ изображенъ старикъ съ такою странною живостью глазъ, что невольно приволакъ къ себѣ ихъ вниманіе. Въ художникѣ нельзя было не признать истиннаго таланта; произведеніе хотя было не окончено, но однакоже носило на себѣ рѣзкій признакъ могущественной кисти; но при всемъ томъ эта сверхъестественная живость глазъ возбуждала какой-то невольный упрекъ художнику. Они чувствовали, что это верхъ истины, что изобразить ее въ такой степени можетъ только геній, но что этотъ геній уже слишкомъ дерзко перешагнулъ границы воли человѣка.

Вниманіе ихъ прервало внезапное восклицаніе одного, уже нѣсколько пожилыхъ лѣтъ, посѣтителя. „Ахъ, это онъ!“ вскрикнулъ онъ въ сильномъ движеніи и неподвижно вверилъ глаза на портретъ. Такое восклицаніе натурально зажгло во всѣхъ любопытство, и нѣкоторые изъ разсматривавшихъ никакъ не утерпѣли, чтобы не сказать, оборотившись къ нему: „Вамъ, вѣрно, извѣстно что-нибудь объ этомъ портретѣ?“

„Вы не ошиблись,“ отвѣчалъ сдѣлавшій невольное восклицаніе. „Точно, мнѣ болѣе нежели кому другому извѣстна исто-

рія этого портрета. Все увѣряетъ меня, что онъ долженъ быть тотъ самый, о которомъ я хочу говорить. Такъ какъ я замѣчаю, что васъ всѣхъ интересуетъ о немъ узнать, то я теперь же готовъ нѣсколько удовлетворить васъ. " Посѣтители наклоненіемъ головы изъявили свою благодарность и съ большою внимательностію приготовились слушать.

„Безъ сомнѣнія, не многимъ изъ васъ,“ такъ началъ онъ, „извѣстна хорошо та часть города, которую называютъ Коломною. Характеристика ея отличается рѣзкою особенностью отъ другихъ частей города. Нравы, занятія, состоянія, привычки жителей, совершенно отличны отъ прочихъ. Здѣсь ничто не похоже на столицу, но вмѣстѣ съ этимъ не похоже и на провинціальныя городокъ, потому что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизованной жизни проникла и сюда и оказалась въ такихъ тонкихъ мелочахъ, какія можетъ только родить многолюдная столица. Тутъ совершенно другой свѣтъ, и, въѣхавши въ уединенныя коломенскія улицы, вы, кажется, слышите, какъ оставляютъ васъ молодыя желанія и порывы. Сюда не заглядываетъ живительное, радужное будущее. Здѣсь — все тишина и отставка. Здѣсь все, что обѣло отъ движенія столицы. И въ самомъ дѣлѣ, сюда переѣзжаютъ отставные чиновники, которыхъ пенсію не превышаетъ пяти сотъ рублей въ годъ; вдовы, жившія прежде мужними трудами; небогатые люди, имѣющіе пріятное знакомство съ сенаторомъ и потому осудившіе себя здѣсь на цѣлую жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цѣлый день на рынкахъ, болтающія вздоръ съ мужикомъ въ мелочной лавкѣ и забирающія каждый день на 5 копѣекъ кофею и на 4 копѣйки сахару; наконецъ, весь тотъ разрядъ людей, который я назову пепельнымъ, которые, съ своимъ платьемъ, лицомъ, волосами, имѣютъ какую-то тусклую, пепельную наружность. Они похожи на сѣреный день, когда солнце не слѣнитъ своимъ яркимъ блескомъ, когда тоже буря не свищетъ, сопровождаемая громомъ, дождемъ и градомъ, но просто, когда на небѣ бываетъ ни се, ни то; свѣтятся туманъ и отнимаетъ всю рѣзкость у предметовъ. Лица этихъ людей бывають какъ-то изъ-красна-рыжеватыя, волосы тоже красноватыя; глаза почти всегда безъ

блеска; платье ихъ тоже совершенно матовое и представляетъ тотъ мутный цвѣтъ, который происходитъ, когда смѣшаешь всѣ краски вмѣстѣ, и, вообще, вся ихъ наружность совершенно матовая. Къ этому разряду можно причислить отставныхъ театральныхъ капельдинеровъ, уволенныхъ пятидесятилѣтнихъ титулярныхъ совѣтниковъ, отставныхъ питомцевъ Марса съ 200 рублевымъ пенсіономъ, выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: имъ все тринь-трава; идутъ они, совершенно не обращая вниманія ни на какіе предметы; молчатъ, совершенно не думая ни о чемъ. Въ комнатахъ ихъ только кровать и штофъ чистой, русской водки, которую они однообразно сосутъ весь день, безъ всякаго смѣлаго прилива къ головѣ, возбуждаемаго сильнымъ пріемомъ, какой обыкновенно любить задавать себѣ по воскреснымъ днямъ молодой нѣмецкій ремесленникъ, этотъ студентъ Мѣщанской улицы, одинъ владѣющій тротуаромъ за двѣнадцать часовъ ночи.

„Жизнь въ Коломнѣ всегда однообразна: рѣдко гремитъ въ мирныхъ улицахъ карета, кромѣ развѣ той, въ которой ѣздятъ актеры и которая звономъ, громомъ и бряканьемъ своимъ смущаетъ всеобщую тишину. Здѣсь всѣ почти — пѣшеходы. Извозчикъ рѣдко, лѣниво, и почти всегда безъ сѣдока, волочитъ, таща вмѣстѣ съ собою сѣно для своей скромной клячи. Цѣна квартиръ рѣдко достигаетъ тысячи рублей; ихъ больше отъ 15 до 20 и 30 руб. въ мѣсяцъ, не считая множества угловъ, которые отдаются съ отопленіемъ и кофеемъ за четыре съ половиною въ мѣсяцъ. Вдовы-чиновницы, получающія пенсіонъ, — самыя солидныя обитательницы этой части. Они ведутъ себя очень хорошо, метутъ довольно чисто свою комнату и говорятъ съ своими сосѣдками и пріятельницами о дороговизнѣ говядины, картофеля и капусты; при нихъ находится очень часто молоденькая дочь, молчаливое, безгласное существо, впрочемъ иногда довольно миловидное; при нихъ находится также довольно гадкая собачонка и старинные часы съ печально постукивающимъ маятникомъ. Эти-то чиновницы занимаютъ лучшія отдѣленія отъ двадцати до тридцати, а иногда и до сорока рублей. За ними слѣдуютъ актеры, которымъ жалованье не позволяетъ выѣхать изъ Ко-

люди. Этотъ народъ свободный, какъ всѣ артисты, живущіе для наслажденія. Они, сидя въ своихъ халатахъ, или вытаскиваютъ изъ кости какія-нибудь бездѣлки, или починиваютъ пистолеть, или клеятъ изъ картона какія-нибудь полезныя для дома вещи, или играютъ съ пришедшимъ пріятелемъ въ шашки, или карты, и такъ проводятъ утро; то же дѣлаютъ ввечеру, пригѣшивая къ этому часто пуншъ. Послѣ этихъ тузовъ, этого аристократства Коломны, слѣдуетъ необыкновенная дробь и мелочь, и для наблюдателя такъ же трудно сдѣлать перечень всѣмъ лицамъ, занимающимъ разные углы и закоулки одной комнаты, какъ поименовать все то множество насѣкомыхъ, которое зарождается въ старомъ укусѣ. Какого народа вы тамъ не встрѣтите! Старухи, которыя молятся; старухи, которыя пьянствуютъ; старухи, которыя пьянствуютъ и молятся вмѣстѣ; старухи, которыя перебиваются непостижимыми средствами, какъ муравьи таскаютъ съ собою старыя тряпье и бѣлье отъ Калинкина моста до толкучаго рынка съ тѣмъ, чтобы продать его тамъ за пятнадцать копѣекъ. Словомъ, весь жалкій и несчастный осадокъ челоуѣчества.

„Естественное дѣло, что этотъ народъ терпитъ иногда большой недостатокъ, не дающій возможности вести ихъ обыкновенную, бѣдную жизнь: они должны часто дѣлать экстренные займы, чтобы выпутаться изъ своихъ обстоятельствъ. Тогда находятся между ними такіе люди, которые носятъ громкое названіе капиталистовъ и могутъ снабжать за разные проценты, всегда почти непошѣрные, суммою отъ двадцати до ста рублей. Эти люди мало-по-малу составляютъ состояніе, которое позволяетъ завестись иногда собственнымъ домикомъ. Но на этихъ ростовщиковъ вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилію Петромихали. Былъ ли онъ грекъ, или армянинъ, или молдаванъ — этого никто не зналъ, но по крайней мѣрѣ черты лица его были совершенно южныя. Ходилъ онъ всегда въ широкомъ азіатскомъ платьѣ, былъ высокаго роста, лицо его было темно-оливковаго цвѣта, нависнувшія черныя съ просѣдью брови и такіе же усы придавали ему нѣсколько странный видъ. Никакого выраженія нельзя было замѣтить на его

лицѣ: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контрастъ своею южною рѣзкою фізіономіей съ пепельными обитателями Коломны. Петромихали вовсе не былъ похожъ на помянутыхъ ростовщиковъ этой уединенной части города. Онъ могъ выдать сумму, какую бы только отъ него ни потребовали, натурально, что за то и проценты были тоже необыкновенны. Ветхій домъ его со множествомъ пристроекъ былъ на Козьмьѣ Болотѣ. Онъ былъ бы не такъ дряхль, еслибы владѣлецъ его сколько-нибудь разорился на починку, но Петромихали не дѣлалъ рѣшительно никакихъ издержекъ. Всѣ комнаты его, выключая небольшой лачужки, которую онъ занималъ самъ, были холодныя кладовыя, въ которыхъ кучами были набросаны фарфоровыя, золотыя, яшмовыя вазы, всякой хламъ, даже мебели, которыя приносили ему въ залогъ разныхъ чиновъ и званій должники, потому что Петромихали не пренебрегалъ ничѣмъ, и, несмотря на то, что давалъ по сотнѣ тысячъ, онъ также готовъ былъ служить суммою, непревышавшею рубля. Старое негодное бѣлье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги — все готовъ онъ былъ принять въ свои кладовыя, и нищій смѣло адресовался къ нему съ узелкомъ въ рукѣ. Дорогіе жемчуги, обвивавшіе, можетъ-быть, прелестнѣйшую шею въ мірѣ, заключались въ его грязномъ сундукѣ, вмѣстѣ съ старинною табакеркою пятидесятилѣтней дамы, вмѣстѣ съ діадемою, возвышавшеюся надъ алебастровымъ лбомъ красавицы, и брилліантовымъ перстнемъ бѣднаго чиновника, получившаго его въ награду неутомимыхъ своихъ трудовъ. Но нужно замѣтить, что одна только слишкомъ крайняя нужда заставляла обращаться къ нему. Его условія были такъ тягостны, что отбивали всякое желаніе. Но страннѣе всего, что съ перваго раза проценты казались не очень велики. Онъ посредствомъ своихъ странныхъ и необыкновенныхъ выкладокъ расположилъ такимъ непонятнымъ образомъ, что они росли у него страшною прогрессіей, и даже контрольные чиновники не могли проникнуть этого непостижимаго правила, тѣмъ болѣе, что оно казалось основаннымъ на законахъ строгой математической истины; они видѣли явно преувеличеніе итога, но видѣли тоже, что въ этихъ вычетахъ нѣтъ

никакой ошибки. Жалость, какъ и всѣ другія страсти чувствующаго человѣка, никогда не достигала къ нему, и никакія мольбы не могли преклонить его къ отсрочкѣ или къ уменьшенію платежа. Нѣсколько разъ находили у дверей его оскотенѣвшихъ отъ холода несчастныхъ старухъ, которыхъ посинѣвшія лица, замерзнувшіе члены и мертвыя вытянутыя руки, казалось, и по смерти еще молили его о милости. Это возбуждало часто всеобщее негодованіе, и полиція нѣсколько разъ хотѣла разобрать внимательнѣе поступки этого страннаго человѣка, но квартальные надзиратели всегда умѣли подъ какими-нибудь предлогами уклонить и представить дѣло въ другомъ видѣ, несмотря на то, что они гроша не получали отъ него. Но богатство имѣетъ такую странную силу, что ему вѣрять, какъ государственной ассигнаціи. Оно, не показываясь, можетъ невидимо двигать всѣми, какъ раболѣпными слугами. Это странное существо сидѣло, поджавши подъ себя ноги, на почернѣвшемъ диванѣ, принимая недвижно просителей, слегка только мигнувши бровью въ знакъ поклона, и ничего не можно было отъ него услышать лишняго или посторонняго. Носились, однакожь, слухи, что будто бы онъ иногда давалъ деньги даромъ, не требуя возврата, но только такое предлагалъ условіе, что всѣ бѣжали отъ него съ ужасомъ, и даже самыя болтливыя хозяйки не имѣли силъ пошевелить губами, чтобы пересказать ихъ другимъ. Тѣ же, которые имѣли духъ принять даваемые имъ деньги, желтѣли, чахли и умирали, не смѣя отереть тайны.

„Въ этой части города имѣлъ небольшой домикъ одинъ художникъ, славившійся въ тогдашнее время своими дѣйствительно прекрасными произведеніями. Этотъ художникъ былъ отецъ мой. Я могу вамъ показать нѣсколько работъ его, выказывающихъ рѣшительный талантъ. Жизнь его была самая безмятежная. Это былъ тотъ скромный, набожный живописецъ, какіе только жили во времена религиозныхъ среднихъ вѣковъ. Онъ могъ бы имѣть большую извѣстность и нажить большое состояніе, еслибы рѣшился заняться множествомъ работъ, которыя предлагали ему со всѣхъ сторонъ; но онъ любилъ болѣе заниматься предметами религиозными и за небольшую цѣну взялся росписать весь иконо-

стась приходской церкви. Часто случалось ему нуждаться въ деньгахъ, но никогда не рѣшался онъ прибѣгнуть къ ужасному ростовщику, хотя имѣлъ всегда впереди возможность уплатить долгъ, потому что ему стоило только присѣсть и написать нѣсколько портретовъ — и деньги были бы въ его карманѣ. Но ему такъ жалко было оторваться отъ своихъ занятій, такъ грустно было разлучиться, хотя на время, съ любимой мыслью, что онъ лучше готовъ былъ нѣсколько дней просидѣть голоднымъ въ своей комнатѣ, и на что бы онъ всегда рѣшился, еслибы не имѣлъ страстно любимой имъ жены и двухъ дѣтей, изъ которыхъ одного вы видите теперь передъ собою. Однакоже разъ крайность его такъ увеличилась, что онъ готовъ уже былъ идти къ Греку, какъ вдругъ внезапно распространилась вѣсть, что ужасный ростовщикъ находился при смерти. Это происшествіе его поразило, и онъ уже готовъ былъ признать его нарочно посланнымъ свыше для воспрепятствованія его намѣренію, какъ встрѣтилъ въ сѣняхъ своихъ запыхавшуюся старуху, исправлявшую при ростовщикѣ три разныя должности: кухарки, дворника и камердинера. Старуха, совершенно отвыкшая говорить, находясь при своемъ странномъ господинѣ, глухо пробормотала нѣсколько несвязныхъ, отрывистыхъ словъ, изъ которыхъ отецъ мой могъ только узнать, что господинъ ея имѣетъ въ немъ крайнюю нужду и просилъ его взять съ собою краски и кисти. Отецъ мой не могъ придумать, на что бы онъ могъ быть ему нуженъ въ такое время и притомъ еще съ красками и кистями, но, побуждаемый любопытствомъ, схватилъ свой ящикъ съ живописнымъ приборомъ и отправился за старухою.

„Онъ насилу могъ продаться сквозь толпу нищихъ, обступившихъ жилище умиравшаго ростовщика и питавшихъ себя надеждою, что авось-либо наконецъ, передъ смертію, раскается этотъ грѣшникъ и раздастъ малую часть изъ безчисленнаго своего богатства. Онъ вошелъ въ небольшую комнату и увидѣлъ протянувшееся почти во всю длину ея тѣло азіятца, которое онъ принялъ было за умершее, — такъ оно вытянулось и было неподвижно. Наконецъ высохшая голова его приподнялась, и глаза его такъ страшно устремились, что отецъ мой задрожалъ. Петро-

михали сдѣлать глухое восклицаніе и наконецъ произнесъ: „Нарисуй съ меня портретъ!“ Отецъ мой изумился такому странному желанію, онъ началъ представлять ему, что теперь уже не время объ этомъ думать, что онъ долженъ отвергнуть всякое земное желаніе, что уже немного минутъ осталось жить ему и потому пора помыслить о прежнихъ своихъ дѣлахъ и принести покаяніе Всевышнему. „Я не хочу ничего: нарисуй съ меня портретъ!“ произнесъ твердымъ голосомъ Петромихали, при чемъ лицо его покрылось такими конвульсіями, что отецъ мой вѣрно бы ушелъ, еслибы чувство, весьма извинительное въ художникѣ, пораженномъ необыкновеннымъ предметомъ для кисти, не остановило его. Лицо ростовщика именно было одно изъ тѣхъ, которыя составляютъ кладъ для артиста. Со страхомъ и вмѣстѣ съ какимъ-то тайнымъ желаніемъ поставилъ онъ холстъ, за неимѣніемъ станка, къ себѣ на колѣни и началъ рисовать. Мысль употребить послѣ это лицо въ своей картинѣ, гдѣ хотѣлъ онъ изобразить одержимаго бѣсами, которыхъ изгоняетъ могущественное слово Спасителя, — эта мысль заставила его усилить свое рвеніе. Съ поспѣшностію набросалъ онъ абрисъ и первыя тѣни, опасаясь каждую минуту, что жизнь ростовщика вдругъ перервется, потому что смерть уже, казалось, носилась на устахъ его. Изрѣдка только онъ издавалъ хрипѣніе и съ безпокойствомъ устремлялъ страшный взглядъ свой на картину; наконецъ, что-то подобное радости мелькнуло въ его глазахъ, при видѣ, какъ черты его ложились на полотно. Опасаясь ежеминутно за жизнь его, отецъ мой прежде рѣшился заняться окончательною отдѣлкою глазъ. Это былъ предметъ самый трудный, потому что чувство, въ нихъ изображавшееся, было совершенно необыкновенно и невыразимо. Около часа трудился онъ возлѣ нихъ и наконецъ совершенно схватилъ тотъ огонь, который уже потухалъ въ его оригиналѣ. Съ тайнымъ удовольствіемъ онъ отошелъ немного подалѣе отъ картины, чтобы лучше рассмотреть ее, и съ ужасомъ отскочилъ отъ нея, увидѣвъ живые, глядящіе на него глаза. Непостижимый страхъ овладѣлъ имъ въ такой степени, что онъ, швырнувъ палитру и краски, бросился къ дверямъ; но страшное, почти полумертвое тѣло ростовщика приподнялось съ своей кровати и схватило его тощею рукою,

приказывая продолжать работу. Отец мой клялся и крестился, что не станет продолжать. Тогда это ужасное существо повалилось съ своей кровати, такъ что его кости застучали, собрало всё свои силы, глаза его блеснули живостью, руки обхватили ноги моего отца, и онъ, ползая, цѣловаль полы его платья и умоляль дорисовать портретъ. Но отецъ былъ неумолимъ и дивился только силѣ его воли, перемогшей самое приближеніе смерти. Наконецъ, отчаянный Петромихали выдвинулъ съ необыкновенною силою изъ-подъ кровати сундукъ, и страшная куча золота гранула къ ногамъ моего отца. Видя и тутъ его непреклонность, онъ повалился ему въ ноги и цѣлнй потокъ заклинаній полился изъ его молчаливыхъ дотолѣ устъ. Невозможно было не чувствовать какого-то ужаснаго и даже, если можно сказать, отвратительнаго состраданія. „Добрый человекъ! Божій человекъ! Христовъ человекъ!“ говорилъ съ выраженіемъ отчаянія этотъ живой скелеть, — „заклинаю тебя маленькими дѣтьми твоими, прекрасною женою, гробомъ отца твоего, кончи портретъ съ меня! еще одинъ часъ только посиди за нимъ! Слушай, я тебѣ объявлю одну тайну...“ При этомъ смертная блѣдность начала сильнѣе проступать на лицѣ его. „Но тайны этой некому не объявляй — ни женѣ, ни дѣтямъ твоимъ, а не то и ты умрешь, и они умрутъ, и всё вы будете несчастны. Слушай, если ты теперь не сжалишься, то уже больше не стану просить. Послѣ смерти я долженъ идти къ тому, въ которому бы я не хотѣлъ идти. Тамъ я долженъ вытерпѣть муки, о какихъ тебѣ и во снѣ не снилось, но я могу долго еще не идти къ нему, до тѣхъ поръ, повуда стоитъ земля наша, если ты только докончишь портретъ мой. Я узналъ, что половина жизни моей перейдетъ въ мой портретъ, если только онъ будетъ сдѣланъ искуснымъ живописцемъ. Ты видишь, что уже въ глазахъ осталась часть жизни; она будетъ и во всѣхъ чертахъ, когда ты докончишь. И хотя тѣло мое сгибнетъ, но половина жизни моей останется на землѣ, и я убѣгу надолго еще отъ мукъ. Дорисуй! дорисуй! дорисуй!...“ кричало раздирающимъ и умирающимъ голосомъ это странное существо. Ужасъ еще болѣе овладѣлъ моимъ отцомъ. Онъ слышалъ, какъ поднялись его волосы отъ этой ужасной тайны, и выронилъ кисть, которую было уже поднмалъ, тро-

нутый его мольбами. — „А, такъ ты не хочешь дорисовать меня?“ произнесъ хрипящимъ голосомъ Петромихали. — „Такъ возьми же себѣ портретъ мой: я тебѣ его дарю.“ При сихъ словахъ что-то въ родѣ страшнаго смѣха выразилось на устахъ его; жизнь, казалось, еще разъ блеснула въ его чертахъ, и чрезъ минуту предъ нимъ остался синій трупъ. Отецъ не хотѣлъ притронуться къ кистямъ и краскамъ, рисовавшимъ эти богоотступныя черты, и выбѣжалъ изъ комнаты.

„Чтобы развлечь непріятныя мысли, нанесенныя этимъ происшествіемъ, онъ долго ходилъ по городу и ввечеру возвратился домой. Первый предметъ, попавшійся ему въ мастерской его, былъ писанный имъ портретъ ростовщика. Онъ обратился къ женѣ, къ женщинѣ, прислуживавшей на кухнѣ, къ дворнику, но всѣ дали рѣшительный отвѣтъ, что никто не приноситъ портрета и даже не приходилъ во время его отсутствія. Это заставило его минуту задуматься. Онъ приблизился къ портрету и невольно отвратилъ глаза свои, проникнутый отвращеніемъ къ собственной работѣ. Онъ приказалъ его снять и вынести на чердакъ, но при всемъ томъ чувствовалъ какую-то странную тягость, присутствіе такихъ мыслей, которыхъ самъ пугался. Но болѣе всего поразило его, когда уже онъ легъ въ постель, слѣдующее, почти невѣроятное происшествіе: онъ видѣлъ ясно, какъ вошелъ въ его комнату Петромихали и остановился передъ его кроватью. Долго глядѣлъ онъ на него своими живыми глазами, наконецъ началъ предлагать ему такія ужасныя предложенія, такое адское направленіе хотѣлъ дать его искусству, что отецъ мой съ болѣзненнымъ стономъ схватился съ кровати, проникнутый холоднымъ потомъ, нестерпимую тяжестью на душѣ и вмѣстѣ самымъ пламеннымъ негодованіемъ. Онъ видѣлъ, какъ чудное изображеніе умершаго Петромихали ушло въ раму портрета, который висѣлъ снова предъ нимъ на стѣнѣ. Онъ рѣшился въ тотъ же день сжечь это проклятое произведеніе рукъ своихъ. Какъ только затопленъ былъ каминъ, онъ бросилъ его въ разгорѣвшійся огонь и съ тайнымъ наслажденіемъ видѣлъ, какъ лопались рамы, на которыхъ натянутъ былъ холстъ, какъ шпѣли еще не высохшія краски; наконецъ вуча золы одна только осталась отъ его существованія.

И когда начала она улетать легкой пылью въ трубу, казалось, какъ будто неясный образъ Петромихали улетѣлъ вмѣстѣ съ нею. Онъ почувствовалъ на душѣ какое-то облегченіе. Съ чувствомъ выздоровѣвшаго отъ продолжительной болѣзни оборотился онъ къ углу комнаты, гдѣ висѣлъ писанный имъ образъ, чтобы принести чистое покаяніе, и съ ужасомъ увидѣлъ, что предъ нимъ стоялъ тотъ же портретъ Петромихали, котораго глаза, казалось, еще болѣе получили живости, такъ что даже дѣти испустили крикъ, взглянувши на него. Это чрезвычайно поразило моего отца. Онъ рѣшился открыться во всемъ священнику нашего прихода и просить у него совѣта, какъ поступить въ этомъ необыкновенномъ дѣлѣ. Священникъ былъ разсудительный человѣкъ и кромѣ того преданный съ теплою любовью своей должности. Онъ немедленно явился по первому призыву къ моему отцу, котораго уважалъ, какъ достойнѣйшаго прихожанина. Отецъ не считалъ даже нужнымъ отводить его въ сторону и рѣшился тутъ же, при матери моей и дѣтяхъ, рассказать ему это непостижимое происшествіе. Но едва только произнесъ онъ первое слово, какъ мать моя вдругъ глухо вскрикнула и упала безъ чувствъ на полъ. Лицо ея покрылось страшною блѣдностію, уста остались неподвижны, открыты, и всѣ черты ея исковеркались судорогами. Отецъ и священникъ подбѣжали къ ней и съ ужасомъ увидѣли, что она нечаянно проглотила десятокъ иголокъ, которыя держала во рту. Пришедшій докторъ объявилъ, что это было неизлѣчимо: иголки остановились у нея въ горлѣ, другія прошли въ желудокъ и во внутренность, и мать моя скончалась ужасною смертію.

„Это происшествіе произвело сильное вліяніе на всю жизнь моего отца. Съ этого времени какая-то мрачность овладѣла его душою. Рѣдко онъ чѣмъ-нибудь занимался, всегда почти оставался безмолвнымъ и убѣгалъ всякаго сообщества. Но между тѣмъ ужасный образъ Петромихали, съ его живыми глазами, сталъ преслѣдовать его неотлучнѣе, и часто отецъ мой чувствовалъ приливъ такихъ отчаянныхъ, свирѣпыхъ мыслей, которыхъ невольно содрагался самъ. Все то, что улегается, какъ черный осадокъ во глубинѣ человѣка, истребляется и выгоняется воспитаніемъ, благородными подвигами и лицеэрвіемъ прекраснаго, — все это онъ

чувствовалъ возмущавшимся и безпрестанно силившимся выйти наружу и развиться во всеобщее порочное совершенство. Мрачное состояніе души его именно было таково, чтобы заставить его ухватиться за эту черную сторону челоуѣка. Но я долженъ замѣтить, что сила характера отца моего была безпримѣрна: власть, которую онъ бралъ надъ собою и надъ страстями, была непостижима; его убѣжденія были тверже гранита, и чѣмъ сильнѣе было искушеніе, тѣмъ онъ болѣе рвался противопоставить ему несокрушимую силу души своей. Наконецъ, обезсилѣвъ отъ этой борьбы, онъ рѣшился излить и обнажить всего себя, въ изображеніи всей повѣсти своихъ страданій, тому же священнику, который всегда почти доставлялъ ему исцѣленіе размышляющими своими рѣчами. Это было въ началѣ осени; день былъ прекрасный; солнце сіяло какимъ-то свѣжимъ осеннимъ свѣтомъ; окна нашихъ комнатъ были отворены; отецъ мой сидѣлъ съ достойнымъ священникомъ въ мастерской; мы играли съ братомъ въ комнатѣ, которая была рядомъ съ нею. Обѣ эти комнаты были во второмъ этажѣ, составлявшемъ антресоли нашего маленькаго дома. Дверь въ мастерской была нѣсколько растворена; я, какъ-то нечаянно, заглянулъ въ отверстіе, видѣлъ, что отецъ мой придвинулся ближе къ священнику и слышалъ даже, какъ онъ сказалъ ему: „Наконецъ я открою всю эту тайну“.... Вдругъ мгновенный крикъ заставилъ меня оборотиться: брата моего не было. Я подошелъ къ окну и — Боже! я никогда не могу забыть этого происшествія: на мостовой лежалъ облитый кровью трупъ моего брата. Играя, онъ вѣрно какъ-нибудь неосторожно перегнулся черезъ окошко и упалъ, безъ сомнѣнія, головою внизъ, потому что она вся была разможжена. Я никогда не позабуду этого ужаснаго случая. Отецъ мой стоялъ неподвиженъ передъ окномъ, сложа на-крестъ руки и поднявъ глаза къ небу. Священникъ былъ проникнутъ страхомъ, вспомнивъ объ ужасной смерти моей матери, и самъ требовалъ отъ отца моего, чтобы онъ хранилъ эту ужасную тайну.

Послѣ этого отецъ мой отдалъ меня въ корпусъ, гдѣ я провелъ все время своего воспитанія, а самъ удалился въ монастырь одного уединеннаго городка, окруженнаго пустынею, гдѣ бѣдный

сѣверъ уже представлялъ только дикую природу, и торжественно принялъ санъ монашескій. Всѣ тяжкія обязанности этого званія онъ несъ съ такою покорностью и смиреніемъ, всю труженическую жизнь свою онъ велъ съ такимъ смиреніемъ, соединеннымъ съ энтузіазмомъ и пламенемъ вѣры, что, повидимому, преступное не имѣло воли коснуться къ нему. Но страшный, имъ же начертанный образъ съ живыми глазами преслѣдовалъ его и въ этомъ почти гробовомъ уединеніи. Игумень, узнавши о необыкновенномъ талантѣ отца моего въ живописи, поручилъ ему украсить церковь нѣкоторыми образами. Нужно было видѣть, съ какими высокими религіознымъ смиреніемъ, трудился онъ надъ своею работою: въ строгомъ постѣ и молитвѣ, въ глубокомъ размышленіи и уединеніи души приуготовлялся онъ къ своему подвигу. Неотлучно проводилъ ночи надъ своими священными изображеніями, и отъ того, можетъ-быть, рѣдко найдете вы произведенія, даже значительныхъ художниковъ, которыя носили бы на себѣ печать такихъ истинно-христіанскихъ чувствъ и мыслей. Въ его праведникахъ было такое небесное спокойствіе, въ его кающихся такое душевное сокрушеніе, какія я очень рѣдко встрѣчалъ даже въ картинахъ извѣстныхъ художниковъ. Наконецъ, всѣ мысли и желанія его устремились къ тому, чтобы изобразить Божественную Матерь, кротко простирающую руки надъ молящимся народомъ. Надъ этимъ произведеніемъ трудился онъ съ такимъ самоотверженіемъ и съ такимъ забвеніемъ себя и всего міра, что часть спокойствія, разлитого его кистью въ чертахъ Божественной Покровительницы міра, казалось, перешла въ собственную его душу. По крайней мѣрѣ, страшный образъ ростовщика пересталъ навѣщать его, и портретъ пропалъ неизвѣстно куда.

„Между тѣмъ воспитаніе мое въ корпусѣ окончилось. Я былъ выпущенъ офицеромъ, но, къ величайшему сожалѣнію, обстоятельства не позволили мнѣ видѣть моего отца. Насъ отправили тогда же въ дѣйствующую армію, которая, по поводу объявленной войны Турками, находилась на границѣ. Не буду надобѣдать вамъ разсказами о жизни, проведенной мною среди походовъ, бивакъ и жаркихъ схватокъ; довольно сказать, что труды, опасности и жаркій климатъ измѣнили меня совершенно, такъ что

знавшіе меня прежде не узнавали вовсе. Загорѣвшее лицо, огромные усы и хриплый, крикливый голосъ придали мнѣ совершенно другую фізіономію. Я былъ весельчакъ, не думалъ о завтрашнемъ, любилъ выпорожнить лишнюю бутылку съ товарищемъ, болтать вадоръ съ смазливенькими дѣвчонками, отпустить с проста глупость, — словомъ, былъ военный безпечный человѣкъ. Однакожь, какъ только окончилась кампанія, я почелъ первымъ долгомъ навѣстить отца.

„Когда подѣхалъ я къ уединенному монастырю, мною овладѣло странное чувство, какого прежде я никогда не испытывалъ: я чувствовалъ, что я еще связанъ съ однимъ существомъ, что есть еще что-то неполное въ моеѣ состояніи. Уединенный монастырь посреди природы блѣдной, обнаженной, навелъ на меня какое-то пѣтическое забвеніе и далъ странное, неопредѣленное направленіе моимъ мыслямъ, какое обыкновенно мы чувствуемъ въ глубокую осень, когда листья шумятъ подъ нашими ногами, надъ головами ни листа, черныя вѣтви сквозятъ рѣдею съѣтью, вороны кареартъ въ далекой вышинѣ, и мы невольно ускоряемъ свой шагъ, какъ бы стараѣсь собрать разсѣявшіяся мысли. Множество деревянныхъ почернѣвшихъ пристроекъ окружали каменное строеніе. Я вступилъ подъ длинныя, мѣстами прогнившія, позеленѣвшія мохомъ галереи, находившіяся вокругъ келій, и спросилъ монаха, отца Григорія. Это было имя, которое отецъ мой принялъ по вступленіи въ монашеское званіе. Мнѣ указали его келью.

„Никогда не позабуду произведеннаго имъ на меня впечатлѣнія. Я увидѣлъ старца, на блѣдномъ, изнуренномъ лицѣ котораго не присутствовало, казалось, ни одной черты, ни одной мысли о земномъ. Глаза его, привыкшіе быть устремленными къ небу, получили тотъ безстрастный, проникнутый невѣдшимъ огнемъ видъ, который въ минуту только вдохновенія освѣняетъ художника. Онъ сидѣлъ передо мною неподвижно, какъ святой, глядящій съ полотна, на которое перенесла его рука художника, на молящійся народъ; онъ, казалось, вовсе не замѣтилъ меня, хотя глаза его были обращены къ той сторонѣ, откуда я вошелъ къ нему. Я не хотѣлъ еще открыться и потому попросилъ у него

просто благословенія, какъ путешествующій молещикъ; но каково было мое удивленіе, когда онъ произнесъ: „Здравствуй, сынъ мой, Леонъ!“ Меня это изумило: я десяти лѣтъ еще разстался съ нимъ; притомъ меня не узнавали даже тѣ, которые меня видѣли не такъ давно. „Я зналъ, что ты ко мнѣ придешь,“ продолжалъ онъ. Я просилъ объ этомъ Пречистую Дѣву и Св. Угодника и ожидалъ тебя съ часу на часъ, потому что чувствую близкую кончину и хочу тебѣ открыть важную тайну. Пойдемъ, сынъ мой, со мною и прежде помолимся!“ Мы вошли въ церковь и онъ подвелъ меня къ большой картинѣ, изображавшей Божию Матерь, благословляющую народъ. Я былъ пораженъ глубокимъ выраженіемъ божественности въ Ея лицѣ. Долго лежалъ онъ, повергшись передъ изображеніемъ, и наконецъ, послѣ долгаго молчанія и размышленія, вышелъ вмѣстѣ со мною.

„Послѣ того отецъ мой разсказалъ мнѣ все то, что вы сейчасъ отъ меня слышали. Въ истину его я вѣрилъ, потому что самъ былъ свидѣтелемъ многихъ печальныхъ случаевъ нашей жизни.

„Теперь я разскажу тебѣ, сынъ мой,“ прибавилъ онъ послѣ этой исторіи, „то, что мнѣ открылъ видѣнный мною святой, неузнанный среди многолюднаго народа никѣмъ, кромѣ меня, котораго милосердый Создатель сподобилъ такой неизглаголанной своей благости.“ При этомъ отецъ мой сложилъ руки и устремилъ глаза къ небу, весь отданный ему всеѣмъ своимъ бытіемъ. И я наконецъ услышалъ то, что сейчасъ готовлюсь разсказать вамъ. Вы не должны удивляться странности его рѣчей: я видѣлъ, что онъ находился въ томъ состояніи души, которое овладѣваетъ человѣкомъ, когда онъ испытываетъ сильныя, нестерпимыя несчастія; когда, желая собрать всю силу, всю желѣзную силу души, и не находя ее довольно мощною, весь повергается въ религію; и чѣмъ сильнѣе гнетъ его несчастій, тѣмъ пламеннѣе его духовныя созерцанія и молитвы. Онъ уже не походитъ на того тихаго размышляющаго отшельника, который, какъ къ желанной пристани, причалилъ къ своей пустынѣ, съ желаніемъ отдохнуть отъ жизни и съ христіанскимъ смиреніемъ молиться Тому, къ Которому онъ сталъ ближе и доступнѣе; напротивъ того, онъ становится чѣмъ то исполинскимъ. Въ немъ не угас-

нулъ пылъ души, но, напротивъ, стремится и вырывается съ большею силою. Онъ тогда весь обратился въ религіозный пламень. Его голова вѣчно наполнена чудными снами. Онъ видитъ на каждомъ шагѣ видѣнія и слышитъ откровенія; мысли его раскалены; глазъ его уже не видитъ ничего, принадлежащаго землѣ; всѣ движенія, слѣдствія вѣчнаго устремленія къ одному, исполнены энтузіазма. Я съ перваго раза замѣтилъ въ немъ это состояніе и упоминаю о немъ потому, чтобы вамъ не казались слишкомъ удивительными тѣ рѣчи, которыя я отъ него услышалъ. „Сынъ мой!“ сказалъ онъ мнѣ послѣ долгаго, почти неподвижнаго устремленія глазъ своихъ къ небу. „Уже скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человѣческаго, антихристъ, родится въ міръ. Ужасно будетъ это время: оно будетъ передъ концомъ міра. Онъ промчится на конѣ-гигантѣ, и великія потерпѣть муки тѣ, которые останутся вѣрными Христу. Слушай, сынъ мой: уже давно хочетъ родиться антихристъ, но не можетъ, потому что долженъ родиться сверхъ-естественнымъ образомъ; а въ мірѣ нашемъ всѣ устроено Всемогущимъ такъ, что совершается все въ естественномъ порядкѣ, и потому ему никакія силы, сынъ мой, не помогутъ прорваться въ міръ. Но земля наша — прахъ передъ Создателемъ. Она по его законамъ должна разрушиться, и съ каждымъ днемъ законы природы будутъ становиться слабѣе, и отъ того границы, удерживающія сверхъ-естественное, приступятъ. Онъ уже и теперь нарождается, но только нѣкоторая часть его порывается показаться въ міръ. Онъ избираетъ для себя жилищемъ самого человѣка и показывается въ тѣхъ людяхъ, отъ которыхъ уже, кажется, при самомъ рожденіи, отшатнулся ангель, и они заклеены страшною ненавистью къ людямъ и ко всему, что есть созданіе Творца. Таковъ-то былъ тотъ дивный ростовщикъ, котораго дерзнулъ я, окаянный, изобразить преступною своею кистью. Это онъ, сынъ мой, это былъ самъ антихристъ. Еслибы моя преступная рука не дерзнула его изобразить, онъ бы удалился и исчезнулъ, потому что не могъ жить долѣе того тѣла, въ которомъ заключилъ себя. Въ этихъ отвратительныхъ живыхъ глазахъ удержалось бѣсовское чувство. Дивись, сынъ мой, ужасному могуществу бѣса. Онъ во все си-

лится проникнуть: въ наши дѣла, въ наши мысли и даже въ самое вдохновеніе художника. Безчисленны будутъ жертвы этого адскаго духа, живущаго невидимо безъ образа на землѣ. Это тотъ черный духъ, который врывается къ намъ даже въ минуту самыхъ чистыхъ и святыхъ помысловъ. О, еслибы моя кисть не остановила своей адской работы, онъ бы еще болѣе надѣлалъ зла, и нѣтъ силъ человѣческихъ противустать ему, потому что онъ именно выбираетъ то время, когда величайшія несчастія постигаютъ насъ. Горе, сынъ мой, бѣдному человѣчеству! Но слушай что мнѣ открыла въ часъ святаго видѣнія сама Божія Матерь. Когда я трудился надъ изображеніемъ пречистаго лица Дѣвы Маріи, лилъ слезы покаянія о моей протекшей жизни и долго пребывалъ въ постѣ и молитвѣ, чтобы быть достойнѣе изобразить божественныя черты Ея, я былъ посѣщенъ, сынъ мой, вдохновеніемъ, я чувствовалъ, что высшая сила осѣнила меня и ангель возносилъ мою грѣшную руку, — я чувствовалъ, какъ шевелились на мнѣ волоса мои и душа вся трепетала. О, сынъ мой! за эту минуту я бы тысячи взялъ мукъ на себя. И я самъ дивился тому, что изобразила кисть моя. Тогда же предсталъ мнѣ во снѣ пречистый ликъ Дѣвы, и я узналъ, что въ награду моихъ трудовъ и молитвъ сверхъ-естественное существованіе этого демона въ портретѣ будетъ невѣчно, что если кто торжественно объявить его исторію по истеченіи пятидесяти лѣтъ въ первое новолуніе, то сила его погаснетъ и разсѣется, яко прахъ, и что я могу тебѣ передать это передъ моею смертію. Уже тридцать лѣтъ, какъ онъ съ того времени живетъ; двадцать впереди, помолимся, сынъ мой!“ При этомъ онъ повергнулся на колѣни и весь превратился въ молитву. Признаюсь, я внутренно всѣ эти слова приписывалъ распаленному его воображенію, воздвигнутому безпрестаннымъ постомъ и молитвами, и потому изъ уваженія не хотѣлъ дѣлать какого-нибудь замѣчанія или соображенія. Но когда я увидѣлъ, какъ онъ поднялъ къ небу изсохшія свои руки, съ какимъ глубокимъ сокрушеніемъ молчалъ онъ, уничтоженный въ себѣ самою, съ какимъ невыразимымъ умиленіемъ молилъ о тѣхъ, которые не въ силахъ были противиться адскому обольстителю и погубили все возвышенное души своей, съ какою пламен-

ною скорбію простерся онъ, и по лицу его лились горячія слезы, и во всѣхъ чертахъ его выразилось одно безмолвное рыданіе, — о, тогда я не въ силахъ былъ предаться холодному размышленію и разбирать слова его! Нѣсколько лѣтъ прошло послѣ его смерти. Я не вѣрилъ этой исторіи и даже мало думалъ о ней; но никогда не могъ ее никому пересказать. Я не знаю, отъ чего это было, но только я чувствовалъ всегда что-то удерживавшее меня отъ того. Сегодня безъ всякой цѣли зашелъ я на аукціонъ и въ первый разъ рассказалъ исторію этого необыкновеннаго портрета, такъ что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуніе, о которомъ говорилъ отецъ мой, потому что дѣйствительно съ того времени прошло уже 20 лѣтъ.“

Тутъ рассказывавшій остановился, и слушатели, внимавшіе ему съ неразвлекаемымъ участіемъ, невольно обратили глаза свои къ странному портрету и, къ удивленію своему, замѣтили, что глаза его вовсе не сохраняли той странной живости, которая такъ поразила ихъ сначала. Удивленіе еще болѣе увеличилось, когда черты страннаго изображенія почти нечувствительно начали исчезать, какъ исчезаетъ дыханіе съ чистой стали. Что-то мутное осталось на полотнѣ. И когда подошли къ нему ближе, то увидѣли какой-то незначущій пейзажъ, такъ что посѣтители, уже уходя, долго недоумѣвали, дѣйствительно ли они видѣли таинственный портретъ, или это была мечта и представилась мгновенно глазамъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваніемъ старинныхъ картинъ.

ВЗГЛЯДЪ НА СОСТАВЛЕНІЕ МАЛОРОССІИ *)

I. Какое ужасно-ничтожное время представляет для Россіи XIII вѣкъ! Сотни мелкихъ государствъ единовѣрныхъ, одноплеменныхъ, одноязычныхъ, означенныхъ однимъ общимъ характеромъ и которыхъ, казалось, противъ воли соединяло родство, — эти мелкія государства такъ были между собою разъединены, какъ рѣдко случается съ разнохарактерными народами. Они были разъединены — не ненавистью (сильныя страсти не достигали сюда), не постоянною политикою, слѣдствіемъ непреклоннаго ума и познанія жизни: это былъ хаосъ браней за временное, за минутное, браней разрушительныхъ, потому что онѣ мало-по-малу извели народный характеръ, едва начинавшій принимать отличительную фізіогномію при сильныхъ норманскихъ князьяхъ. Религія, которая болѣе всего связываетъ и образуетъ народы, мало на нихъ дѣйствовала. Религія не срослась тогда тѣсно съ законами, съ жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившіеся въ свои кельи и закрывшіе глаза для міра; молившіеся за всѣхъ, но не знавшіе, какъ схватить съ помощью своего сильнаго оружія, вѣры, — власть надъ народомъ и возжечь этою вѣрой пламень и ревность до энтузіазма, который одинъ властенъ соединить младенчествуящіе народы и настроить ихъ къ великому. Здѣсь была совершенная противоположность Западу, гдѣ самодержавный папа, какъ будто невидимую паутиною опуталъ всю Европу своею ре-

*) Эскизъ этотъ составлялъ введеніе къ Исторіи Малороссіи; но такъ какъ вся первая часть Исторіи Малороссіи переделана вовсе, то онъ остался заштатнымъ и помѣщается здѣсь какъ совершенно отдѣльная статья.

лигіозною властью, гдѣ его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, гдѣ угроза страшнаго проклятiя обуздывала страсти и полудикiе народы. Здѣсь монастыри были убѣжищемъ тѣхъ людей, которые кротостью и незлобіемъ составляли исключеніе изъ общаго характера и вѣка. Нерѣдко пастыри, изъ пещеръ и монастырей, увѣщевали удѣльныхъ князей; но ихъ увѣщанiя были напрасны: князья умѣли только поститься и строить церкви, думая, что исполняютъ этимъ всѣ обязанности христіанской религіи, а не умѣли считать ее закономъ и покоряться ей вѣлнiямъ. Самыя ничтожныя причины рождали между ними безконечныя войны. Это были не споры королей съ васалами, — нѣтъ, это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцомъ и дѣтьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала ихъ, — нѣтъ, братъ брата рѣзалъ за клочокъ земли или просто, чтобы показать удалство. Примѣръ ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двухъ сосѣднихъ удѣловъ, родственники между собою, готовы были каждую минуту возстать другъ противъ друга съ яростью волковъ. Ихъ не подвигала на это наслѣдственная вражда, потому что кто былъ сегодня другъ, тотъ завтра дѣлался непріателемъ. Народъ пріобрѣлъ хладнокровное звѣрство, потому что онъ рѣзалъ, самъ не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство, ни фанатизмъ, ни суевѣріе, ни даже предразсудокъ. Отъ того, казалось, умерли въ немъ почти всѣ чловѣческія сильныя благородныя страсти, и еслибъ явился какой-нибудь гонимый, который бы закотѣлъ тогда съ этимъ народомъ совершить великое, онъ бы не нашелъ въ немъ ни одной струны, за которую бы могъ ухватиться и потрясти безчувственный составъ его, выключая развѣ физической желѣзной силы. Тогда исторiя, казалось, застыла и превратилась въ географію: однообразная жизнь, шевелившаяся въ частяхъ и неподвижная въ цѣломъ, могла почестъся географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествіе. Изъ Азіи, изъ средины ея, изъ степей, выбросившихъ столько народовъ въ Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершив-

пшій столько завоеваній, сколько до него не производилъ никто. Ужасные Монголы, съ многочисленными, никогда дотолѣ невиданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россію, освѣтивши путь свой пламенемъ и пожарами — прямо азіятскимъ буйнымъ наслажденіемъ. Это нашествіе наложило на Россію двухъ-вѣковое рабство и скрыло ее отъ Европы. Было ли оно спасеніемъ для нея, сберегли ли ее для независимости, потому что удѣльные князья не сохранили бы ее отъ литовскихъ завоевателей, или оно было наказаніемъ за тѣ непрерывныя брани, — какъ бы то ни было, но это страшное событіе произвело великія слѣдствія: оно наложило иго на сѣверныя и среднія русскія княженія, но дало между тѣмъ происхожденіе новому славянскому поколѣнію въ южной Россіи, котораго вся жизнь была борьба и котораго исторію я взялся представить.

III. Южная Россія болѣе всего пострадала отъ Татаръ. Выжженные города и степи, обгорѣлые лѣса, древній, разрушенный Кіевъ, безлюдье и пустыня — вотъ что представляла эта несчастная страна! Испуганные жители разбѣжались или въ Польшу, или въ Литву; множество бояръ и князей выѣхало въ сѣверную Россію. Еще прежде народонаселеніе начало замѣтно уменьшаться въ этой сторонѣ. Кіевъ давно уже не былъ столицею; значительныя владѣнія были гораздо сѣвернѣе. Народъ, какъ бы понимая самъ свою ничтожность, оставлялъ тѣ мѣста, гдѣ разнообразная природа начинаетъ становиться изобрѣтательницею, гдѣ она раскинула степи прекрасныя, вольныя, съ безчисленнымъ множествомъ травъ почти гигантскаго роста, часто неожиданно среди нихъ опрокинула косогоръ, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю въ цвѣтахъ, и по всѣмъ вьющимся лентамъ рѣкъ разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днѣпръ съ ненасытными порогами, съ величественными гористыми берегами и неизмѣримыми лугами — и все это согрѣла умѣреннымъ дыханіемъ юга. Онъ оставлялъ эти мѣста и столплялся въ той части Россіи, гдѣ мѣстоположеніе, однообразно-гладкое и ровное, вездѣ почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движенія, но какое-то про-

зѣбеніе, поражающее душу мыслящаго. Какъ будто бы этимъ подтвердилось правило, что только народъ сильный жизнью и характеромъ ищетъ мощныхъ мѣстоположеній, или что только смѣлыя и поразительныя мѣстоположенія образуютъ смѣлый, страстный, характерный народъ.

IV. Когда первый страхъ прошелъ, тогда мало-по-малу выходцы изъ Польши, Литвы, Россіи начали селиться въ этой землѣ, настоящей отчизнѣ Славянъ, землѣ древнихъ Полянъ, Сѣверянъ, чистыхъ славянскихъ племенъ, которыя въ Великой Россіи начинали уже смѣшиваться съ народами финскими, но здѣсь сохранялись въ прежней чѣлности, со всѣми языческими повѣрьями, дѣтскими предрасудками, пѣснями, сказками, славянскою мнѣологіей, такъ простодушно у нихъ смѣшавшейся съ христіанствомъ. Возвращавшіеся на свои мѣста прежніе жители привели по слѣдамъ своимъ и выходцевъ изъ другихъ земель, съ которыми отъ долговременнаго пребыванія составили связи. Это населеніе производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народъ былъ не за горами: ихъ раздѣляли или, лучше сказать, соединяли однѣ степи. Несмотря на пестроту населенія, здѣсь не было тѣхъ браней междоусобныхъ, которыя не переставали во глубинѣ Россіи: опасность со всѣхъ сторонъ не давала возможности заняться ими. Кіевъ, древняя мать городовъ русскихъ, сильно разрушенный страшными обладателями табуновъ, долго оставался бѣденъ и едва ли могъ сравниться со многими, даже не слишкомъ значительными городами сѣверной Россіи. Всѣ оставили его, даже монахи-лѣтописцы, для которыхъ онъ всегда былъ священъ. Извѣстія о немъ разомъ прервались и, несмотря на то, что тамъ оставалась еще отрасль князей русскихъ, ничто не спасло его отъ полулѣтковаго забвенія. Изрѣдка только, какъ будто сквозь сонъ, говорятъ лѣтописцы, что онъ былъ страшно раззоренъ, что въ немъ были ханскіе баскаки, — и потомъ онъ отъ нихъ задернулся какъ бы непроницаемою завѣсою.

V. Между тѣмъ какъ Россія была повергнута Татарами въ бездѣйствіе и оцѣпенѣніе, великій язычникъ, Гедиминъ, вывелъ на сцену тогдашней исторіи новый народъ, народъ бѣдный и

жизнью, и средствами для жизни, населявшій дикіе сосновые лѣса нынѣшней Бѣлоруссіи, еще носившій звѣриную кожу вмѣсто одежды, еще боготворившій Перуна и поклонявшійся древнему огню въ нетроганныхъ топоромъ рощахъ, платившій прежде дань русскимъ князьямъ, извѣстный подъ именемъ Литовцевъ. И этотъ народъ при своемъ князѣ Гедиминѣ сдѣлался самымъ виднымъ на огромномъ сѣверо-востокѣ Европы! Тогда города, княжества и народы на западѣ Россіи были какіе-то отрывки, обрѣзки, оставшіеся за гранью татарскаго порабоженія. Они не составляли ничего цѣлаго, и потому литовскій завоеватель почти однимъ движеніемъ языческихъ войскъ своихъ, совершенно созданныхъ имъ, подвергъ своей власти весь промежутокъ между Польшей и татарскою Россіей. Потомъ двинулъ онъ войска свои на югъ, во владѣнія волынскихъ князей. Весьма естественно, что успѣхъ сопровождалъ его вездѣ. Въ Луцкѣ, однакожь, князь Левъ сильно сопротивлялся, но не въ силахъ былъ отстоять земель своихъ. Гедиминъ, назначивъ старостъ и начальниковъ, шелъ далѣе на югъ, къ самому сердцу южной Россіи, къ Кіеву. Убѣжавшій луцкій князь Левъ успѣлъ кое-какъ уговорить кіевскаго князя Станислава выйти съ своими немногочисленными дружинами на встрѣчу грозному побѣдителю; дружины были усилены союзниками-Татарами; но все бѣжало передъ мощнымъ Литовцемъ. Гедиминъ, сильно поразивъ ихъ при рѣкѣ Ирпети, вступилъ съ торжествомъ въ Кіевъ, носившій на себѣ свѣжую печать татарскаго посѣщенія, и постановилъ въ немъ правителемъ князя Миндова Ольшанскаго, принявшаго греческую вѣру. Итакъ, литовскій завоеватель у самыхъ Татаръ вырвалъ почти предъ глазами ихъ находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедиминъ былъ человекъ ума крѣпкаго, былъ политикъ, несмотря на видимую свою дикость и свое невѣжественное время. Онъ умѣлъ сохранить дружбу съ Татарами, владѣя отнятыми у нихъ землями и не платя никакой дани. Этотъ дикій политикъ, не знавшій письма и поклонявшійся языческому богу, ни у одного изъ покоренныхъ имъ народовъ не измѣнилъ обычаевъ и древняго правленія; все оставилъ по-прежнему, под-

твердилъ всё привилегіи и старшинамъ строго приказалъ уважать народныя права, нигдѣ даже не означилъ пути своего опустошеніемъ. Совершенная ничтожность окружавшихъ его народовъ и прямо историческихъ лицъ придаютъ ему какой-то исполинскій размѣръ. Онъ умеръ въ 1340 году, мертвый былъ посаженъ на коня съ своимъ оруженосцемъ, съ охотничьими собаками, соколами и сожженъ по языческому обычаю Литовцевъ. Вслѣдъ за нимъ такіе же два сильные характера, Ольгердъ и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику съ присоединенными народами.

VI. И вотъ южная Россія, подъ могущественнымъ покровительствомъ литовскихъ князей, совершенно отдѣлилась отъ сѣверной. Всякая связь между ними разорвалась; составились два государства, называвшіяся одинакимъ именемъ — Русью, одно подъ татарскимъ игомъ, другое подъ однимъ скипетромъ съ Литовцами. Но уже сношеній между ними не было: другіе законы, другіе обычаи, другая цѣль, другія связи, другіе подвиги составили на время два совершенно различные характера. Какимъ образомъ это произошло — составляетъ цѣль нашей исторіи. Но прежде всего нужно бросить взглядъ на географическое положеніе этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо отъ вида земли зависитъ образъ жизни и даже характеръ народа. Многое въ исторіи разрѣшаетъ географія.

Эта земля, получившая послѣ названье Украины, простирающаяся на сѣверъ не далѣе 50° широты, болѣе ровна, нежели гориста. Небольшія возвышенности встрѣчаются очень часто, но ни одной гористой цѣпи. Сѣверная ея часть перемежается лѣсами, содержавшими прежде въ себѣ цѣлыя шайбы медвѣдей и дикихъ кабановъ; южная вся открыта, вся изъ степей, кипѣвшихъ плодородіемъ, но только изрѣдка засѣвавшихся хлѣбомъ. Дѣвственная и могучая почва ихъ своевольно произращала безчисленное множество травъ. Эти степи кипѣли стадами сайгъ, оленей и дикихъ лошадей, бродившихъ табунами. Съ сѣвера на югъ проходитъ великій Днѣпръ, опутанный вѣтвями впадающихъ въ него рѣкъ. Правый берегъ его гористъ и представляетъ плѣнительныя и вмѣстѣ дерзкія мѣстоположенія; лѣвый —

весь изъ луговъ, покрытыхъ рощами, потоплявшимися водою. Двѣнадцать пороговъ, выросшихъ изъ дна рѣки скаль, недалеко отъ впаденія его въ море, преграждаютъ теченіе и дѣлаютъ плаваніе по немъ чрезвычайно опаснымъ. Около пороговъ водился родъ дикихъ козъ, *суаки* съ бѣлыми лоснящимися рогами, съ мягкою, атласною шерстью. Прежде воды въ Днѣпрѣ были выше, разливался онъ шире и далѣе потоплялъ луга свои. Когда воды начинаютъ опадать, тогда видъ поразителенъ: всѣ возвышенности выходятъ и кажутся безчисленными зелеными островами среди необозримаго океана воды. Въ Днѣпрѣ впадаетъ только одна судоходная рѣка, Десна, проходящая въ сѣверной Украинѣ, съ лѣсистыми берегами, почти съ обѣихъ сторонъ потопляемыми водою, но и эта рѣка только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ судоходна. Кромѣ того, на сѣверѣ Остеръ и часть Сейма, на югѣ Сула, Псель, съ цѣпью видовъ, Хороль и другія, но ни одна изъ нихъ не судоходна. Сообщенія никакого нѣтъ, произведенія не могли взаимно развѣиваться — и потому здѣсь не могъ и возникнуть торговый народъ. Всѣ рѣки развѣтвляются посредникъ, ни одна изъ нихъ не протекала на рубежѣ и не служила естественною гранью съ сосѣдственными народами. Къ сѣверу ли съ Россіей, къ востоку ли съ Кипчакскими Татарами, къ югу ли съ Крымскими, къ западу ли съ Польшей, — вездѣ она граничила полемъ, вездѣ равнина, со всѣхъ сторонъ открытое мѣсто. Будь хотя съ одной стороны естественная граница изъ горъ или моря, — и народъ, поселившійся здѣсь, удержалъ бы политическое бытіе свое, составилъ бы отдѣльное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошеній и набѣговъ, — мѣстомъ, гдѣ спшибались три враждующія націи, унавожена костями, утучнена кровью. Одинъ татарскій наѣздъ разрушалъ весь трудъ земледѣльца; луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкія жилища сносины до основанія, обитатели разгоняемы или угоняемы въ плѣнъ вмѣстѣ съ скотомъ. Это была земля страха; и потому въ ней могъ образоваться только народъ воинственный, сильный своимъ соединеніемъ, — народъ отчаянный, котораго вся жизнь была бы повита и взлелѣяна войною. И вотъ выходцы вольные

и невольные, бездомные, тѣ, которымъ нечего было терять, которымъ жизнь — копейка, которыхъ буйная воля не могла терпѣть законовъ и власти, которымъ вездѣ грозила висѣлица, — расположились и выбрали самое опасное мѣсто въ виду азіатскихъ завоевателей, Татаръ и Турковъ. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила цѣлый народъ, набросившій свой характеръ и, можно сказать, колоритъ на всю Украину, сдѣлавшій чудо — превратившій мирныя славянскія поколѣнія въ воинственные, извѣстный подъ именемъ козаковъ, народъ, составляющій одно изъ замѣчательныхъ явленій европейской исторіи, которое, можетъ быть, одно сдержало это опустошительное разлитіе двухъ магометанскихъ народовъ, грозившихъ поглотить Европу.

VII. Если не концу XIII, то къ началу XIV вѣка можно отнести появленіе козачества, въ тѣмъ вѣкѣ, когда святая, сильная ревность къ религіи еще не остыла въ Европѣ, когда почти вдругъ во всѣхъ концахъ безпрестанно образовывались братства и ордена рыцарскіе, составлявшіе странную противоположность съ тогдашнимъ разъединеніемъ, съ изумительнымъ самоотверженіемъ разрушившіе и отвергнувшіе условія обыкновенной жизни, безбрачныя, суровыя, неотразимыя соглядатаи дѣлъ міра, желѣзные поборники вѣры Христовой. Чѣмъ слабѣе была связь тогдашнихъ государствъ, тѣмъ сильнѣе росла ужасная сила этихъ обществъ. Разлитіе магометанства и магометанскихъ новыхъ сильныхъ народовъ, уже врывавшихся въ Европу, увеличивало ихъ еще болѣе. Духъ этихъ братствъ распространился вездѣ и не между рыцарями, и не для подобныхъ предназначеній. Въ это время явился близъ пороговъ городокъ или острогъ, Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя котораго звучитъ обителями Кавказа, котораго даже построение многіе приписываютъ имъ, и гдѣ было главное сборище и мѣстопробываніе козаковъ. Вначалѣ частыя нападенія Татаръ на сѣверную часть Украины заставляли жителей спасаться бѣгствомъ, приставать къ козакамъ и увеличивать ихъ общество. Это было пестрое сборище самыхъ отчаянныхъ людей пограничныхъ націй. Дикій горець, ограбленный Россіянинъ, убѣжавшій отъ деспотизма пановъ польскій холопъ, даже бѣглець исла-

мизма Татаринъ, можетъ-быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днѣпра, въ послѣдствіи постановившему цѣлью, подобно орденскимъ рыцарямъ, вѣчную войну съ невѣрными. Это скопище людей не имѣло никакихъ укрѣпленій, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники въ днѣпровскихъ утесахъ, часто подъ водою, на днѣпровскихъ островахъ, въ гущѣ степной травы, служили имъ укрытіемъ для себя и для награбленныхъ богатствъ. Гнѣздо этихъ хищниковъ было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назадъ. Они поворотили противъ Татаръ ихъ же образъ войны, тѣ же азіятскіе набѣги. Какъ жизнь ихъ опредѣлена была на вѣчный страхъ, такъ точно съ своей стороны они рѣшились быть страхомъ для сосѣдей. Татары и Турки должны были всякой часъ ожидать этихъ неумолимыхъ обитателей пороговъ. Магометанскій сосѣдь не зналъ, какъ назвать этотъ ненавистный народъ. Если кто хотѣлъ къ кому выразить величайшее презрѣніе, то называлъ его козакомъ.

VIII. Большая часть этого общества состояла однакожъ изъ первобытныхъ, коренныхъ обитателей южной Россіи. Доказательство въ языкѣ, который, несмотря на принятіе множества татарскихъ и польскихъ словъ, имѣлъ всегда чисто-славянскую южную фizioгномію, приближавшую его къ тогдашнему русскому, и въ вѣрѣ, которая всегда была греческая. Всякой имѣлъ полную волю приставать къ этому обществу, но онъ долженъ былъ непременно принять греческую религію. Это общество сохраняло всѣ тѣ черты, которыми рисуютъ шайку разбойниковъ, но, бросивши взглядъ глубже, можно было увидѣть въ немъ зародышъ политическаго тѣла, основаніе характернаго народа, уже въ началѣ имѣвшаго одну главную цѣль — воевать съ невѣрными и сохранять чистоту религіи своей. Это однакожъ не были строгіе рыцари католическіе: они не налагали на себя никакихъ обѣтовъ, никакихъ постовъ; не обуздывали себя воздержаніемъ и умерщвленіемъ плоти; были неукротимы, какъ ихъ днѣпровскіе пороги, и въ своихъ неистовыхъ пиршествахъ и бражничествахъ позабывали весь міръ. То же тѣсное братство, которое сохраняется въ разбойничьихъ шайкахъ,

связывало ихъ между собою. Все было у нихъ общее — вино, пехины, жилища. Вѣчный страхъ, вѣчная опасность, внушали имъ какое-то презрѣніе къ жизни. Козакъ больше заботился о доброй мѣрѣ вина, нежели о своей участи. Но въ нападеніяхъ видна была вся гибкость, вся смѣтливость ума, все умѣнье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видѣть этого обитателя пороговъ въ полу-татарскожь, въ полу-польскомъ костюмѣ, на которомъ такъ рѣзко отпечаталась пограничность земли, азіятски мчавшагося на конѣ, пропадавшаго въ густой травѣ, бросавшагося съ быстротою тигра изъ непримѣтныхъ тайниковъ своихъ, или вылѣзавшаго внезапно изъ рѣки или болота, обвѣшаннаго тиною и грязью, казавшагося страшилищемъ бѣгущему Татарину. Этотъ же самый козакъ, послѣ набѣга, когда гулялъ и бражничалъ съ своими товарищами, сорилъ и разбрасывалъ награбленныя сокровища, былъ бессмысленно пьянъ и безпеченъ до новаго набѣга, если только не предупреждали ихъ Татары, не разгоняли ихъ пьяныхъ и безпечныхъ и не разрывали до основанія городка ихъ, который, какъ будто чудомъ, строился вновь, и опустошительный, ужасный набѣгъ былъ отмщеніемъ. Послѣ чего снова та же безпечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существованіе этого народа было вѣчно. Онъ никогда не уменьшался: выбывшіе, убитые, потонувшіе, замѣнились новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый въ свою очередь стремился быть дѣйствующимъ лицомъ, а не зрителемъ. Это скопленіе мало-по-малу получило совершенно одинъ общій характеръ и національность, и, чѣмъ ближе къ концу XV вѣка, тѣмъ болѣе увеличивалось приходившими вновь. Наконецъ цѣлыя деревни и села начали поселяться съ домами и семействами около этого грознаго оплота, чтобы пользоваться его защитой, съ условіемъ за то нѣкоторыхъ повинностей. И такимъ образомъ, мѣста около Кіева начали пустѣть, а между тѣмъ по ту сторону Днѣпра люднѣли. Семейные и женатые мало-по-малу отъ обращенія и сношенія съ ними получали тотъ же воинственный характеръ. Сабля и плугъ сдружились между собою и были у всякого селянина. Между

тѣмъ разгульные холостяки, вмѣстѣ съ червонцами, цехинами и лошадьми, стали похищать татарскихъ женъ и дочерей и жениться на нихъ. Отъ этого смѣшенія черты лица ихъ, въ началѣ разнохарактерныя, получили одну общую физиогномію, болѣе азіатскую. И вотъ составился народъ, по вѣрѣ и мѣсту жительства принадлежавшій Европѣ, но, между тѣмъ, по образу жизни, обычаямъ, костюму, совершенно азіатскій народъ, въ которомъ такъ странно столкнулись двѣ противоположныя части свѣта, двѣ разнохарактерныя стихіи: европейская осторожность и азіатская безпечность, простодушіе и хитрость, сильная дѣятельность и величайшая лѣнь и нѣга, стремленіе къ развитію и усовершенствованію — и между тѣмъ желаніе казаться пренебрегающимъ всякое совершенствованіе *).

1832.

*) Гоголь, собираясь написать исторію Малороссіи, въ 1834 году напечатавъ слѣдующіе объ явленіи *объ изданіи исторіи Малороссійскихъ Козаковъ* („Сѣверная Пчела, 1834 г., № 34. „Молва“ 1834 г. и „Московскій Телеграфъ“ 1834 г., № 3).

„До сихъ поръ еще нѣтъ у насъ полной, удовлетворительной исторіи Малороссіи и народа. Я не называю исторіями многихъ компіляцій (впрочемъ полезныхъ, какъ матеріалы), составленныхъ изъ разныхъ лѣтописей, безъ строгаго критическаго взгляда, безъ общаго плана и цѣли, болшею частію неопытныхъ и не указавшихъ донныя этому народу мѣста въ исторіи міра. Я рѣшился принять на себя этотъ трудъ и представить сколько можно обстоятельнѣе, какимъ образомъ отдѣлилась эта часть Россіи, какое получила она политическое устройство, находясь подъ чуждымъ владѣніемъ; какъ образовался въ ней воинственный народъ, означенный совершенною оригинальностью характера и подвигамъ; какимъ образомъ онъ три вѣка съ оружіемъ въ рукахъ добывалъ права свои и упорно отстаивалъ свою религію; какъ, наконецъ, навсегда присоединился къ Россіи; какъ исчезало воинственное бытіе его и превращалось въ земледѣльческое; какъ мало-по-малу вся страна получила новыя, въ замѣнъ прежнихъ, права, и наконецъ совершенно слилась въ одно съ Россіей. Около пяти лѣтъ собиралъ я съ большимъ стараніемъ матеріалы, относящіяся къ исторіи этого края. Половина моей исторіи уже почти готова, но я медлю выдавать въ свѣтъ первые томы, подозрѣвая существованіе многихъ источниковъ, можетъ-быть мнѣ неизвѣстныхъ, которые, безъ сомнѣнія, хранятся гдѣ-нибудь въ частныхъ рукахъ. И потому, обращая ко всѣмъ, усерднѣе прошу (и нельзя, чтобы просвѣщенные соотечественники отказали въ моей просьбѣ) имѣющихъ какіе бы то ни было матеріалы, лѣтописи, записки, пѣсни, повѣсти бандуристовъ, дѣловыя бумаги (особенно относящіяся до первобытной Малороссіи), прислать мнѣ ихъ, если нельзя въ оригиналахъ, то по крайней мѣрѣ въ копіяхъ.“

Но предпріятіе это ограничилось однимъ объявленіемъ (по крайней мѣрѣ въ бумагахъ хранящихся у насъ, не находится никакихъ матеріаловъ для этого труда), да небольшимъ отрывкомъ, помѣщеннымъ здѣсь, который сперва былъ напечатанъ въ „Журналѣ Мин. Народ. Просв.“ (Ч. 2-я, № IV. 1834 г.) подъ заглавіемъ: *„Отрывокъ изъ исторіи Малороссіи. Томъ I, книга I, глава I,“* гдѣ между прочимъ сдѣлана выписка: „Авторъ избралъ первую главу исторіи Малороссіи для помѣщенія въ журналъ, потому что она представляетъ нѣчто цѣлое и вмѣстѣ служитъ введеніемъ въ самую исторію. Приложенія и ссылки отлагаются за недостаткомъ мѣста.“

Прим. Н. Трушковскаго.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ПУШКИНѢ.

При имени Пушкина тотчасъ осязаетъ мысль о русскомъ національномъ поэтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болѣе назваться національнымъ; это право рѣшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ-быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человекъ въ его развитіи, въ какомъ онъ можетъ-быть явится чрезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ той же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому, иногда позабывшись, стремится Русскій и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ. Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдѣ границы Россіи отличаются рѣзкою, величавою характерностью, гдѣ гладкая неизмѣримость Россіи прерывается подоблачными горами и обвѣвается югомъ. Исполинскій, покрытый вѣчнымъ снѣгомъ Кавказъ, среди знойныхъ долинъ, поразилъ его; онъ, можно сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ послѣднія цѣпи, которыя еще тяготѣли на свободныхъ мысляхъ. Его плѣнила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набѣги; и съ этихъ поръ кисть его приобрѣла тотъ широкій раз-

махъ, ту быстроту и смѣлость, которая такъ дивила и поражала только-что начинавшую читать Россію. Рисуетъ ли онъ боевую схвату Чеченца съ казакомъ, — слогъ его молнія; онъ такъ же блещетъ, какъ сверкающія сабли, и летитъ быстрѣ самой битвы. Онъ одинъ только пѣвецъ Кавказа: онъ влюбленъ въ него всею душою и чувствами; онъ проникнуть и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великолѣпными крымскими ночами и садами. Можетъ-быть, отъ того и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламеннѣ тамъ, гдѣ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означилъ всю силу свою, и отъ того произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имѣли чудную, магическую силу: имъ изумлялись даже тѣ, которые не имѣли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смѣлое болѣе всего доступно, сильнѣе и просторнѣе раздвигаетъ душу, а особливо юности, которая вся еще жаждетъ одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэтъ въ Россіи не имѣлъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ничья слава не распространялась такъ быстро. Всѣ кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя имѣло въ себѣ что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ твореніи, уже оно расходилось повсюду *).

Онъ при самомъ началѣ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они

*) Подъ именемъ Пушкина разсѣивалось множество самыхъ негѣпыхъ стиховъ. Это обыкновенная участь таланта, пользующагося сильною извѣстностью. Это вначалѣ смѣшить, но послѣ бываетъ досадно, когда наконецъ выходишь изъ молодости и видишь эти глупости не прекращающимися. Такимъ образомъ начали наконецъ Пушкину приписывать: Лѣкарство отъ холеры, Первую ночь и тому подобныя.

сами. Если должно сказать о тѣхъ достоинствахъ, которыя составляютъ принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротѣ описанія и въ необыкновенномъ искусствѣ немногими чертами означить весь предметъ. Его эпитетъ такъ отчетливъ и смѣлъ, что иногда одинъ замѣняетъ цѣлое описаніе; кисть его летаетъ. Его небольшая піеса всегда стоитъ цѣлой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой піесѣ вмѣщалось столько величія, простоты и силы сколько у Пушкина.

Но послѣднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всеѣмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно-возносящеюся изъ-за облаковъ вершиною, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изслѣдованію жизни и нравовъ своихъ соотечественниковъ и захотѣлъ быть вполне національнымъ поэтомъ, — его поэмы уже не всеѣхъ поразили тою яркостью и ослѣпительной смѣлостью, какими дышетъ у него все, гдѣ ни являютя Эльбрусъ, горы, Крымъ и Грузія.

Явленіе это, кажется, не такъ трудно разрѣшить. Будучи пораженъ смѣлостью его кисти и волшебствомъ картинъ, все читатели его, образованные и необразованные, требовали непрерывъ, чтобы отечественныя и историческія происшествія сдѣлались предметомъ его поэзіи, позабывая, что нельзя тѣми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болѣе спокойный и гораздо менѣ исполненный страстей бытъ русской. Масса публики, представляющая въ лицѣ своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: „изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинѣ, представь дѣла нашихъ предковъ въ такомъ видѣ, какъ они были.“ Но попробуй поэтъ, послушный ея велѣнію, изобразить все въ совершенной истинѣ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: „это вяло, это слабо, это нехорошо, это ни мало не похоже на то, что было.“ Масса народа похожа въ этомъ случаѣ на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если

онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ! Русская исторія только со времени послѣдняго ея направленія при императорахъ пріобрѣтаетъ яркую живость; до того, характеръ народа болѣею частію былъ безцвѣтенъ, разнообразіе страстей ему мало было извѣстно. Поэтъ не виноватъ; но и въ народѣ тоже весьма извинительное чувство придать большій размѣръ дѣламъ своихъ предковъ. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что само по себѣ не сохраняетъ сильнаго жара, тогда толпа почитателей, толпа народа — на его сторонѣ, а вмѣстѣ съ нимъ и деньги; или быть вѣрну одной истинѣ; быть высокими тамъ, гдѣ высокъ предметъ, быть рѣзкими и смѣлыми, гдѣ истинно-рѣзкое и смѣлое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдѣ не кипитъ происшествіе. Но въ этомъ случаѣ прощай толпа! ея не будетъ у него, развѣ когда самый предметъ, изображенный имъ, ужъ такъ великъ и рѣзокъ, что не можетъ не произвести всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избралъ поэтъ, потому что хотѣлъ остаться поэтомъ, и потому что у всякого, кто только чувствуетъ въ себѣ искру святаго призванія, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талантъ такимъ средствомъ. Никто не станетъ спорить, что дикій горецъ въ своемъ воинственномъ костюмѣ, вольный какъ воля, самъ себѣ и судія и господинъ, гораздо ярче какого-нибудь засѣдателя и, несмотря на то, что онъ зарѣзалъ своего врага, притаился въ ущельи, или выжегъ цѣлую деревню, однакоже онъ болѣе поражаетъ, сильнѣе возбуждаетъ въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракѣ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ посредствомъ справокъ и выправокъ пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. — Но тотъ и другой, они оба — явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имѣть право на наше вниманіе, хотя по естественной причинѣ то, что мы рѣже видимъ, всегда сильнѣе поражаетъ наше воображеніе, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, какъ не рассчитать поэта — не рассчитать передъ его многочисленною публикою, а не передъ собою. Онъ ничуть не теряетъ своего достоинства, даже, можетъ-быть,

еще болѣе приобретаетъ его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цѣнителей. Мнѣ пришло на память одно происшествіе изъ моего дѣтства. Я всегда чувствовалъ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнѣ; знатоки и судьи мои были окружныя сосѣди. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головой и сказалъ: „хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свѣжіе, хорошо растущее, а не сухое.“ Въ дѣтствѣ мнѣ казалось досадно слышать такой судъ, но послѣ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпѣ. Сочиненія Пушкина, гдѣ дышетъ у него русская природа, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понимать тотъ, чья душа носить въ себѣ чисто-русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нѣжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пѣсни и русскій духъ; потому что чѣмъ предметъ обыкновеннѣе, тѣмъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочимъ совершенная истина. По справедливости ли оцѣнены послѣднія его поэмы? Опредѣлили ли, поняли ли кто Бориса Годунова, это высокое, глубокое произведеніе, заключенное во внутренней, непреступной поэзіи, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мѣрѣ печатно нигдѣ не произнеслась итъ вѣрная оцѣнка, и они остались донынѣ не тронуты.

Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ, этой прелестной антологіи, Пушкинъ разностороненъ необыкновенно и является еще обширнѣе, виднѣе, нежели въ поэмахъ. Нѣкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ рѣзко-ослѣпительны, что ихъ способенъ понимать всякой, но за то большая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучшихъ, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать ихъ, нужно имѣть слишкомъ тонкое обоняніе, нуженъ вкусъ выше того, который можетъ понимать только однѣ слишкомъ рѣзкія и крупныя черты.

Для этого нужно быть въ нѣкоторомъ отношеніи сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ѣсть птичку не болѣе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсѣмъ неопредѣленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности, — привыкшему глотать издѣлія крѣпостнаго повара. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній — рядъ самыхъ ослѣпительныхъ картинъ. Это тотъ самый міръ, который такъ дышетъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струѣ какой-нибудь серебряной рѣки, въ которомъ быстро и ярко мелькають ослѣпительныя плечи или бѣлыя руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздія винограда, или мирты, и древесная сѣнь, созданная для жизни. Тутъ все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругъ объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здѣсь нѣтъ этого каскада краснорѣчія, увлекающаго только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаетъ паденіемъ всей массы, но если отдѣлить ее, она становится слабою и безсильною. Здѣсь нѣтъ краснорѣчія, здѣсь одна поэзія: никакого наружнаго блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается не вдругъ; все лаконизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Словъ немного, но они такъ точны, что обозначаютъ все. Въ каждомъ словѣ бездна пространства; каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходитъ то, что эти мелкія сочиненія перечитываешь нѣсколько разъ, тогда какъ достоинства этого не имѣетъ сочиненіе, въ которомъ слишкомъ просвѣчиваетъ одна главная идея.

Мнѣ всегда было странно слушать сужденія о нихъ многихъ, слывающихъ знатоками и литераторами, которымъ я болѣе довѣрялъ, пока мѣсть еще не слышалъ ихъ толковъ объ этомъ предметѣ. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ можно испытывать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика. Непостижимое дѣло! казалось, какъ бы имъ не быть доступными всѣмъ! Они такъ просто-возвышенны, такъ ярки, такъ пламенны, такъ сладострастны и, вмѣстѣ,

такъ дѣтски чисты — какъ бы не понимать ихъ! Но, увы, это неотразимая истина: что чѣмъ болѣе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болѣе изображаетъ онъ чувства, знакомыя поэтамъ, тѣмъ замѣтнѣе уменьшается кругъ обступившей его толпы, и наконецъ, такъ становится тѣсенъ, что онъ можетъ перечесть по пальцамъ всѣхъ своихъ истинныхъ цѣнителей.

1832.

ОБЪ АРХИТЕКТУРЪ НЫНѢШНЯГО ВРЕМЕНИ.

Мнѣ всегда становится грустно, когда я гляжу на новыя зданія, непрерывно строящіяся, на которыя брошены миллионы и изъ которыхъ рѣдкія останавливаютъ изумленный глазъ величествомъ рисунка или своевольной дерзостью воображенія, или даже роскошью и ослѣпительною пестротою украшеній. Невольно стѣсняется мысль: неужели прошелъ невозвратно вѣкъ архитектуры? неужели величіе и геніальность больше не посѣтятъ насъ, или онѣ — принадлежность народовъ юныхъ, полныхъ одного энтузіазма и энергіи и чуждыхъ усыпляющей, безстрастной образованности? Отъ чего же тѣ народы, передъ которыми мы такъ самодовольно гордимся, которымъ едва даемъ мѣсто въ исторіи міра, — отъ чего они такъ возвышаются передъ нами созданіями своего темнаго, не освѣщеннаго дробью познаній, ума? Отъ чего же колоссальные памятники Индусовъ такъ величавы и неизмѣримы, отъ чего аравійскіе такъ роскошны и очаровательны? отъ чего у насъ въ Европѣ въ средніе вѣка такъ много воздвиглось ихъ въ изумительномъ величіи?

Не хотѣлось бы убѣдиться въ этой грустной мысли, но все говорить, что она истина. Они прошли тѣ вѣка, когда вѣра, пламенная, жаркая вѣра, устремляла всѣ мысли, всѣ умы, всѣ дѣйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился вознести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался и передъ нимъ, почти въ виду его, благоговѣнно подымалъ молящуюся свою руку. Зданіе его летѣло къ небу; узкія окна, столпы, своды тянулись нескончаемо въ вышину; прозрачный, почти кружевной шпигль, какъ дымъ сквозилъ надъ ними, и величествен-

ный храмъ такъ бывалъ великъ, какъ велики требованія души нашей передъ требованіями тѣла.

Была архитектура необыкновенная, христіанская, національная для Европы — и мы ее оставили, забыли, какъ будто чужую, пренебрегли, какъ неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три вѣка протекло, и Европа, которая жадно бросалась на все, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудесамъ древнимъ, римскимъ и византійскимъ, или уродовала ихъ по своимъ формамъ, — Европа не знала, что среди ея находятся чуда, передъ которыми было ничто все ею видѣнное, что въ нѣдрахъ ея находятся миланскій и кельнскій соборы, еще и донынѣ чернѣютъ кирпичи не доконченной башни страсбургскаго Мюнстера.

Готическая архитектура, та готическая архитектура, которая образовалась предъ окончаніемъ среднихъ вѣковъ, есть явленіе такое, какого еще никогда не производилъ вкусъ и воображеніе человѣка. Ее напрасно производятъ отъ арабской: она заимствовала только одно искусство сообщать тяжелой массѣ зданія роскошь украшеній и легкость, но самая эта роскошь украшеній вылилась у ней совершенно въ другую форму. — Она обширна и возвышенна, какъ христіанство. Въ ней все соединено вмѣстѣ: этотъ стройный и высоко возносящійся надъ головою лѣсъ сводовъ, окна огромныя, узкія, съ безчисленными измѣненіями и переплетами, присоединеніе къ этой ужасающей колоссальности массы самыхъ мелкихъ, пестрыхъ украшеній; эта легкая паутина рѣзьбы, опутывающая его своею сѣтью, обвивающая его отъ подножія до конца шпица и улетающая вмѣстѣ съ нимъ на небо; величіе и вмѣстѣ красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость — это такія достоинства, которыхъ никогда, кромѣ этого времени, не вмѣщала въ себѣ архитектура. Вступая въ священный храмъ этого храма, сквозь который фантастически глядитъ разноцвѣтный цвѣтъ оконъ; поднявши глаза къ верху, гдѣ теряются, пересѣкаясь, стрѣльчатые своды одинъ надъ другимъ, и имъ конца нѣтъ, — весьма естественно ощутить въ душѣ невольный ужасъ присутствія святыни, которой не смѣетъ и коснуться дерзновенный умъ человѣка.

Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Какъ только

энтузіазмъ среднихъ вѣковъ угасъ и мысль человѣка раздробилась и устремилась на множество разныхъ цѣлей, какъ только единство и цѣлость одного исчезли, — вмѣстѣ съ тѣмъ исчезло и величіе. Силы его, раздробившись, сдѣлались малыми; онъ произвелъ вдругъ во всѣхъ родахъ множество удивительныхъ вещей, но истинно великаго, исполинскаго уже не было. Византійцы, убѣжавши изъ своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкусъ европейцевъ и колоссальную ихъ архитектуру. Византійцы давно уже не имѣли древняго аттическаго вкуса; они уже не имѣли и первоначальнаго византійскаго и принесли только испорченные остатки его. Они языческія, круглыя, плѣнительныя, сладострастныя формы куполовъ и колоннъ тѣшили примѣнить къ христіанству, и примѣнили такъ же неудачно, какъ неудачно примѣнили христіанство къ своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свѣжести. Куполь вытянулся вверхъ и сдѣлался почти угловатымъ; стройныя линіи, фронтоны какъ-то странно изломались и произвели ничтожныя формы. Въ такомъ видѣ получили эту архитектуру европейцы, которые, съ своей стороны, измѣнили ее еще болѣе, потому что въ душѣ своей еще носили первоначальный образъ готическій и мысль совершенно противоположную разслабленной многосторонности Грековъ. Тогда произошли тяжелые дворцы съ колоннами, полуколоннами безъ всякой цѣли. Все это было робко, мелко. Это была не роскошь, но искаженность простоты. Множество миеологическихъ головъ и украшеній безъ смысла, облѣпивъ тяжелую массу, не придали ей никакой легкости, не смягчили крѣпкихъ чертъ ея нѣжными и не выразили никакой идеи. Стремленіе въ высоту, сообщавшее величіе и легкость самымъ тяжелымъ массамъ, исчезло; вмѣсто того они развѣхались въ ширину.

Но церкви, строенныя въ XVII и началъ XVIII вѣка, еще менѣе выражаютъ идею своего назначенія. Глядя на нихъ, кажется, чувствуешь то же, какъ еслибы человѣкъ грубый началъ поддѣлываться подъ свѣтскую утонченность. Въ нихъ прямая линія безъ всякаго условія вкуса соединялась съ выгнутою и кривою; при полу-готической формѣ всей массы, онѣ ничего не имѣютъ въ себѣ готическаго, окна мелкія, сбитыя въ кучу, или

раскиданныя безъ всякой гармоніи, пилястры, не тянувшіеся во всю длину зданія, но приклеенныя иногда вверху подъ куполомъ, иногда на серединѣ, коротенькіе, неуклюжіе, сверхъ которыхъ часто находился другой этажъ такихъ же колоннъ, маленькихъ, некрасивыхъ; крыша изъ ломанныхъ линій; при этомъ часто удерживался и готическій шпиць, но уже не тотъ легкій и прозрачный, который подъ рукою художника среднихъ вѣковъ принималъ такую воздушность, но тяжелый, массивный, который уже вовсе не летѣлъ къ небу. Все, что только отзывалось высокими, устремленными къ верху готическими деталями, было оставлено, какъ безвкусное.

Хотя въ продолженіе XVIII вѣка вкусъ нѣсколько улучшился, но изъ этого не выиграли мы ровно ничего: онъ улучшился въ веригахъ чужихъ формъ. Тяжесть готическая была справедливо изгнана совершенно, потому что она въ греческой формѣ была уже до невозможности безобразна. Тогда еще съ большимъ рвеніемъ стали изучать древнія формы, но изучали такъ, какъ робкіе ученики, копирующие съ точностью мелочныя подробности оригинала и позабывающіе объ идеѣ цѣлаго. Брала части и съ необыкновеннымъ излишествомъ лѣпили въ огромную массу, показавшую еще никогда дотолѣ небывалое разъединеніе въ цѣломъ. Колонны и куполъ, больше всего прельстившіе насъ, начали представлять къ зданію безъ всякой мысли и во всякомъ мѣстѣ; они уже не были главною идеею строенія, а только части, или, лучше, украшеніями его. Размѣръ самаго строенія мы увеличили гораздо болѣе, а размѣръ купола въ отношеніи къ строенію уменьшили. Мы не посмотрѣли въ увеличительное стекло на строеніе, которое избрали моделью, не взглянули на него, отошедши на извѣстное разстояніе, но смотрѣли вблизи. Куполъ сдѣлался ничтожнымъ, малымъ. Видя его пустынную и одиночество на верху зданія, прибавили къ нему нѣсколько другихъ, возвысили для этого надъ ними башни — и куполы стали походить на грибы. И куполъ, это лучшее, прелестнѣйшее твореніе вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который долженъ былъ обнять все строеніе и роскошно отдыхать на всей его массѣ бѣлою, облачною своей поверхностью, исчезъ совершенно. Я люблю куполъ, тотъ пре-

красный, огромный, легковыпуклый куполь, который возродил роскошный вкус Грековъ въ александрійскій вѣкъ и позже, въ вѣкъ наслажденій и эгоизма, вѣкъ утонченнаго раздробленія жизни, вѣкъ антологіи, легкой, душистой, дышащей сладострастіемъ, лѣнью и роскошью, когда каждый принадлежалъ себѣ, жилъ для себя, а не для общества, когда на великолѣпныхъ роскошныхъ баняхъ вездѣ былъ видѣнъ этотъ, смѣло-выпуклый, какъ небесный сводъ куполь. Ничто не можетъ такъ сладостратно, такъ плѣнительно украсить массу домовъ, какъ такой куполь. Но для этого онъ долженъ быть помѣщенъ только на томъ зданіи, которое неизмѣримо своею шириною и какъ можно болѣе захватываетъ пространства; онъ долженъ лечь на всей обширной его платформѣ; онъ долженъ быть свѣтлѣ самого зданія и лучше, если онъ весь бѣлый. Ослѣпительная бѣлизна сообщаетъ неизъяснимую очаровательность и полноту его легко выпуклой формѣ, — онъ тогда лучше, роскошнѣе и облачнѣе круглится на небѣ. И до нынѣ города сирійскіе и антиохійскіе имѣютъ необыкновенную прелесть черезъ то, что удержали нѣкоторое подобіе этихъ куполовъ; и до нынѣ на Востокѣ можно встрѣтить ихъ въ величавомъ и огромномъ видѣ.

Портикъ съ колоннами, это ясное произведеніе аттическаго стройнаго вкуса, который не терпѣлъ надъ собою никакихъ надстроекъ, у насъ тоже пропалъ: ему не догадались дать колоссальнаго размѣра, раздвинуть во всю ширину зданія, возвысить во всю вышину его. Его не развили, не увеличили, но стали употреблять въ обыкновенномъ видѣ. Удивительно ли, что зданія, которыя требовались огромныя, казались пусты, потому что фронтоны съ колоннами лѣпились только надъ крыльцами ихъ. Грозимыя надъ ними въ церквахъ, дворцахъ, башни и массы, вовсе ему не отвѣчавшія, подавили и уничтожили его совершенно. Такимъ самымъ образомъ поэтъ, неизмѣющій обширнаго генія, всегда недоволенъ однимъ простымъ сюжетомъ и, вмѣсто того, чтобы развить его и сдѣлать огромнымъ, онъ привязываетъ къ нему множество другихъ; его поэма обременяется пестротой разныхъ предметовъ, но не имѣетъ одной господствующей мысли и не выражаетъ одного цѣлаго.

Въ началѣ XIX столѣтія вдругъ распространилась мысль объ аттической простотѣ и такъ же, какъ обыкновенно бываетъ, обратилась въ моду и отразилась вдругъ на всемъ, начиная съ дамскихъ костюмовъ, преобразовавшихся въ небрежное, легкое одѣяніе гетеръ. Казалось, еще ближе примотрѣлись къ древнимъ, еще глубже изучали ихъ духъ; но все, что ни строили по ихъ образцу, все носило отпечатокъ мелкости и миниатюрности: узнали искусство болѣе связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величіе всему цѣлому и опредѣлить ему размѣръ, способный вызвать изумленіе. Это новое стремленіе рѣшительно было издержано на мелочныя бесѣдки, павильоны въ садахъ и подобныя небольшія игрушки. Онѣ носили въ себѣ много аттическаго, но ихъ нужно было разсматривать въ микроскопъ. Въ огромныхъ же публичныхъ зданіяхъ не считали за нужное ими руководствоваться; они сдѣлались наконецъ просты до плоскости. Самое вредное направленіе архитектурѣ внушила мысль о соразмѣрности, не о той соразмѣрности, которая должна быть въ строеніи въ отношеніи къ нему самому, но просто о соразмѣрности въ отношеніи къ окружающимъ его зданіямъ. Это все равно, еслибы геній сталъ удерживаться отъ оригинальнаго и необыкновеннаго, потому только, что передъ нимъ будутъ слишкомъ уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмѣрность состояла еще въ томъ, чтобы строеніе какъ бы велико ни было въ своемъ объемѣ, но непременно чтобы казалось малымъ: Его стали уединять и помѣщать на такой огромной и обширной площади, что оно казалось еще болѣе ничтожнымъ. Какъ будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое совсѣмъ не велико. Какъ будто бы насильно старались истребить въ душѣ благоговѣніе и сдѣлать челоуѣка равнодушнымъ ко всему.

Во всемъ строеніямъ городскимъ стали давать совершенно плоскую, простую форму. Дома старались дѣлать какъ можно болѣе похожими одинъ на другой; но они болѣе были похожи на сарай или казармы, нежели на веселыя жилища людей. Совершенно гладкая ихъ форма ничуть не принимала живости отъ маленькихъ правильныхъ оконъ, которыя въ отношеніи ко всему

строенію были похожи на зажмуренные глаза. И эту архитектуру мы еще недавно тщеславились, какъ совершенствомъ вкуса, и настроили цѣлые города въ ея духъ! Осмѣлился бы кто-нибудь даже теперь, среди этой гладко-однообразной кучи, воздвигнуть зданіе, носившее бы на себѣ печать особенной, рѣзкой архитектуры, осмѣлился бы кто-нибудь возлѣ строенія въ аттическомъ вкусѣ непосредственно воздвигнуть готическое, — его бы сочли едва ли не сумасшедшимъ! Отъ того новыя города не имѣютъ никакого вида: они такъ правильны, такъ гладки, такъ монотонны, что прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься отъ желанія заглянуть въ другую. Это рядъ стѣнъ и больше ничего. Напрасно ищетъ взгляды чтобъ одна изъ этихъ непрерывныхъ стѣнъ, въ какомъ-нибудь мѣстѣ, вдругъ возрела и выбросилась на воздухъ смѣлымъ переломленнымъ сводомъ или изверглась какою-нибудь башней-гигантомъ. Старинный германскій городокъ съ узенькими улицами, съ пестрыми домиками и высокими колокольнями имѣетъ видъ несравненно болѣе говорящій нашему воображенію. Даже видъ какаго-нибудь восточнаго города, съ высокими тонкими минаретами, съ восточными пестрыми куполами, потонувшими въ садахъ, имѣетъ болѣе характера, болѣе дышетъ поэзіей и воображеніемъ, нежели наши европейскіе города позднѣйшей архитектуры.

Башни огромныя, колоссальныя необходимы въ городѣ, не говоря уже о важности ихъ назначенія для христіанскихъ церквей. Кромѣ того, что онѣ составляютъ видъ и украшеніе, онѣ нужны для сообщенія городу рѣзкихъ примѣтъ, чтобы служить маякомъ, указывавшимъ бы путь всякому, не допуская сбиться съ пути. Онѣ еще болѣе нужны въ столицахъ для наблюденія надъ окрестностями. У насъ обыкновенно ограничиваются высотой, дающею возможность оглядѣть одинъ только городъ. Между тѣмъ какъ для столицы необходимо видѣть, по крайней мѣрѣ, на полтора-два верста во всѣ стороны, и для этого, можетъ-быть, одинъ только или два этажа лишніе — и все измѣнится. Объемъ кругозора по мѣрѣ возвышенія распространяется необыкновенною прогрессіей. Столица получаетъ существенную

выгоду, обозрѣвая провинціи и заранѣе предвидя все; зданіе, сдѣлавшись немного выше обыкновеннаго, уже пріобрѣтаетъ величіе; художникъ выигрываетъ, будучи болѣе настроенъ колоссальностію зданія къ вдохновенію и сильнѣе чувствуя въ себѣ напряженіе.

Это направленіе архитектуры старалось какъ будто нарочно скрывать свое величіе, вмѣсто того, чтобы какъ можно болѣе выказывать его пространство. Нѣтъ, не таковъ законъ великаго: строеніе должно неизмѣримо возвышаться почти надъ головою зрителя, чтобы онъ сталъ пораженный внезапнымъ удивленіемъ, едва будучи въ состояніи окинуть глазами его вершину. И потому строеніе всегда лучше, если стоитъ на тѣсной площади. Къ нему можетъ идти улица, показывающая его въ перспективѣ, издали, но оно должно имѣть поражающее величіе вблизи, чтобы дорога проходила мимо его, чтобы кареты гремѣли у самаго его подножія, чтобы люди лѣпились подъ нимъ и своею малостью увеличивали его величіе. Дайте человѣку большое разстояніе — и онъ уже будетъ глядѣть выше, гордо, на находящіеся предъ нимъ предметы; ему покажется все малымъ. Мы такъ непостижимо устроены, наши нервы такъ странно связаны, что только внезапное, оглушающее съ перваго взгляда производитъ на насъ потрясеніе. И потому вышину строенія подымайте въ соразмѣрности съ площадью, на которой оно стоитъ. Если оно съ послѣдняго края площади кажется малымъ и зритель не ощущаетъ изумленія, но долженъ для этого близко подходить къ нему, то зданіе пропало, а вмѣстѣ съ нимъ пропали труды и издержки, употребленные на сооруженіе его.

Но возвращаясь къ простотѣ архитектуры, которая заразила насъ XIX вѣкъ. Сами Греки чувствовали, что однѣ прямыя линіи и совершенная простота строеній будутъ казаться уже чересчуръ плоскими, особливо если множество такого рода строеній соединятся вмѣстѣ. Они чувствовали, что строгая правильность и гладкость строенія должна непремѣнно имѣть воздѣ себя какую-нибудь противоположность, чтобы быть болѣе оригинальною и замѣтною, и потому простирали надъ ними навѣсъ древесный. Вблизина прямолинейной стѣны или стройнаго съ колоннами

фронтонна, выказываясь изъ-за темной гущи зелени, дѣйстви- тельно хороша, потому что составляетъ контрастъ съ облачнымъ расположеніемъ дерева, почти всегда неправильно, но красиво раскидывающаго свои вѣтви. Какъ только зданіе ихъ окружа- лось другими и находилось среди города, они чувствовали из- лишнюю простоту его и старались придать сколько можно болѣе игры. Мысль о деревнѣ и о природѣ прежде всего приходила имъ въ голову. Но въ городѣ дерево — драгоцѣнность; тогда они чаще начали употреблять не гладкія дорическія колонны, но болѣею частію коринтскія съ капителю изъ завитыхъ листьевъ. Вообще убирать строенія листьями, вьющимися гроздьями ви- нограда, или украшеніями, носящими неясный образъ вѣтвей дерева, было инстинктомъ у всѣхъ народовъ. Они невольно, слѣпо, слѣдовали тайному внушенію своего вкуса. Въ готической архитектурѣ болѣе всего замѣтенъ отпечатокъ, хотя неясный, тѣсно сплетеннаго лѣса, мрачнаго, величественнаго, гдѣ топоръ не звучалъ отъ вѣка. Эти стремящіяся нескончаемыми линіями украшенія и сѣти сквозной рѣзбы не что другое, какъ темное воспоминаніе о стволѣ, вѣтвяхъ и листьяхъ древесныхъ. И по- тому смѣло возлѣ готическаго строенія ставьте греческое, испол- ненное стройности и простоты: оно будетъ стоять между ними, какъ между величественными, прекрасными деревьями, и готи- ческое и греческое получаютъ отъ этого двойную прелесть. Истин- ный эффектъ заключенъ въ рѣзкой противоположности; красота никогда не бываетъ такъ ярка и видна, какъ въ контрастѣ. Контрастъ тогда только бываетъ дуренъ, когда располагается грубымъ вкусомъ или, лучше сказать, совершеннымъ отсутствіемъ вкуса, но находясь во власти тонкаго, высокаго вкуса, онъ пер- вое условіе всего и дѣйствуетъ равно на всѣхъ. Разныя части его гармонируютъ между собою по тѣмъ же законамъ, по кото- рымъ цвѣтъ палевый гармонируетъ съ синимъ, бѣлый съ голу- бимъ, розовый съ зеленымъ, и такъ далѣе. Все зависитъ отъ вкуса и отъ умѣнья расположить. Не мѣшайте только въ одномъ зданіи множество разныхъ вкусовъ и родовъ архитектуры. Пусть каждая носитъ въ себѣ что-то цѣлое и самобытное, но пусть про- тивоположность между этими самобытными, въ отношеніи ихъ

другъ къ другу, будетъ рѣзка и сильна. Чѣмъ болѣе въ городѣ памятниковъ разныхъ родовъ зодчества, тѣмъ онъ интереснѣе, тѣмъ чаще заставляеть осматривать себя, останавливаться съ наслажденіемъ на каждомъ шагѣ. Неужели было бы хорошо, если бы въ англійскомъ саду, вмѣсто непрерывныхъ, неожиданныхъ видовъ, гуляющій находилъ ту же самую дорожку, или по крайней мѣрѣ такъ похожую своими окрестностями на видѣнную имъ прежде, что она кажется давно извѣстною?

Терпимость намъ нужна; безъ нея ничего не будетъ для художества. Всѣ роды хороши, когда они хороши въ своемъ родѣ. Какая бы ни была архитектура — гладкая массивная египетская, огромная ли пестрая Индусовъ, роскошная ли Мавровъ, вдохновенная ли и мрачная готическая, граціозная ли греческая, — всѣ онѣ хороши, когда приспособлены къ назначенію строенія; всѣ онѣ будутъ величественны, когда только истинно постигнуты.

Еслибы однакожъ потребовалось отдать рѣшительное преимущество которой-нибудь изъ этихъ архитектуръ, то я всегда отдамъ его готической. Она чисто-европейская, созданіе европейскаго духа и потому болѣе всего прилична намъ. Чудное ея величіе и красота превосходитъ всѣ другія. Но изъ милости, изъ состраданія, не ломайте, не коверкайте ея! Глядите чаще на знаменитый кельнскій соборъ — тамъ все ея совершенство и величіе. Лучшаго памятника никогда не производили ни древніе, ни новыя вѣка. Я предпочитаю потому еще готическую архитектуру, что она болѣе даетъ разгула художнику. Воображеніе живѣе и пламеннѣе стремится въ высоту, нежели въ ширину; и потому готическую архитектуру нужно употреблять только въ церквахъ и строеніяхъ, высоко возносящихся. Линіи и безкарнизныя готическія пиластры, узко одна отъ другой, должны летѣть черезъ все строеніе. Горе, если онѣ отстоятъ далеко другъ отъ друга, если строеніе не перевысило по крайней мѣрѣ вдвое своей ширины, если не втрое! Оно тогда уничтожилось само въ себѣ. Возносите его такимъ, какимъ оно быть должно: чтобы выше, выше, сколько можно выше, поднимались его стѣны, чтобы гуще, какъ стрѣлы, какъ тополи, какъ сосны, окружали ихъ безчисленные, угольные столбы! никакого перерѣза или перелома,

или карниза, давшего бы другое направлѣніе или уменьшившаго бы размѣръ строенія! чтобы они были равны отъ основанія до самой вершины! Огромнѣе окна, разнообразнѣе ихъ форму, колоссальнѣе ихъ высоту! воздушнѣе, легче шпицъ! чтобы все, чѣмъ болѣе подымалось къ верху, тѣмъ болѣе бы летѣло и сквозило. И помните самое главное: никакого сравненія высоты съ шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здѣсь одна законодательная идея — высота.

Я увѣренъ, что нѣкоторые будутъ утверждать, что постройка зданія, слишкомъ высокаго, бесполезна, потому что намъ нужно больше мѣста, что высота ни къ чему не служитъ и даромъ истрачиваетъ матеріалы. Но я вовсе не совѣтую этотъ готическій образъ строеній употреблять на театры, на биржи, на какіе-нибудь комитеты и вообще на зданія, назначаемыя для собраній веселящагося, или торгующаго, или работающаго народа. Со мною согласится всякій, что нѣтъ величественнѣе, возвышеннѣе и приличнѣе архитектуры для зданія христіанскому Богу, какъ готическая. И что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? — Величественнаго, колоссальнаго, при взглядѣ на которое мысли устремляются къ одному и отрываютъ молещница отъ низкой его хижины. Весьма не мѣшаетъ вспомнить великую старую истину, что народъ не въ силахъ понять религіи въ такой же самой чистотѣ и безтѣлесности, какъ получившіе высшее образованіе; что на него болѣе всего производятъ впечатлѣніе видимые предметы; что чѣмъ меньше этотъ видимый предметъ на него дѣйствуетъ, тѣмъ слабѣе его энтузіазмъ и простая вѣра. Великолѣпнѣе повергаетъ простолюдина въ какое то онѣмѣніе, и оно-то единственная пружина, двигающая дикимъ человѣкомъ. Необыкновенное поражаетъ всякого, но тогда только, когда оно смѣло, рѣзко и разомъ бросается въ глаза. Здѣсь уже прочь всякое скражничество и расчетъ.

Въ противномъ случаѣ этотъ расчетъ будетъ не расчетъ, и выгода, возникшая изъ него, будетъ выгода одного человѣка передъ выгодою цѣлаго человѣчества.

Вальтеръ-Скоттъ первый отряхнулъ пылъ съ готической архитектуры и показалъ свѣту все ея достоинство. Съ того време-

ни она быстро распространилась. Въ Англіи всё новня церкви строятъ въ готическомъ вкусѣ. Онѣ очень милы, очень пріятны для глазъ, но, увы! истиннаго величія, дышущаго въ великихъ зданіяхъ старина, въ нихъ нѣтъ. Онѣ, несмотря на стрѣльчатныя окна и шпицы, не сохраняютъ въ цѣломъ истинно-готическаго вкуса и уклонились отъ образцовъ. Во-первыхъ, онѣ сами по себѣ вовсе не огромны — великій недостатокъ готическаго строенія! во-вторыхъ, весь этотъ лѣсъ четырехгранныхъ тонкихъ столбовъ и линий, союзна стремящихся чрезъ все строеніе, позабытъ или отвергнутъ вовсе, — оставшаяся чрезъ это гладкость нечувствительно даетъ имъ совершенно другое выраженіе.

Могущественнымъ словомъ Вальтеръ-Скотта вкусъ къ готическому распространился быстро вездѣ и проникнулъ во все. Еще не сдѣлавшись великимъ, онъ уже сдѣлался мелкимъ: сельскіе домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — все обратилось въ готическое. И эти величественныя, прекрасныя украшенія употреблены были на игрушки. Вѣкъ нашъ такъ мелокъ, желанія такъ разбросаны по всему, знанія наши такъ энциклопедичны, что мы никакъ не можемъ усредоточить на одномъ какомъ-нибудь предметѣ нашихъ помысловъ и оттого по неволѣ раздробляемъ всё наши произведенія на мелочи и на прелестныя игрушки. Мы имѣемъ чудный даръ дѣлать все ничтожнымъ. Египетскую архитектуру, которой весь эффектъ въ колоссальности, мы издерживаемъ на небольшіе мостики, на ворота, вершину которыхъ проѣзжающій кучеръ можетъ достать рукою. Изъ готической мы дѣлаемъ серги, футляры для часовъ; греческую мы употребляемъ въ бесѣдкахъ. Въ публичныхъ же и огромныхъ зданіяхъ показываемъ такую архитектуру, которую врядъ ли можно признать особеннымъ родомъ. Въ ней столько безсмыслія, такое негармоническое соединеніе частей, такое отсутствіе всякаго воображенія, что не достаётъ силъ назвать ее имѣющею свой характеръ архитектуру.

Есть рудникъ, о которомъ едва только знаютъ, что онъ существуетъ; есть мѣръ совершенно особенный, отдѣльный, изъ котораго менѣе всего черпала Европа. Это — архитектура восточная, архитектура, которая создана однимъ только воображеніемъ.

ежь, воображеніемъ восточнымъ, горячимъ, чудеснымъ, облекшимся въ гиперболу и аллегорію, пролетѣвшимъ мимо жизни и прозаическихъ нуждъ ея. Жизнь Азіятцевъ никогда не имѣла такого многосторонняго развитія, какъ Европейцевъ: никогда потребности ихъ не были такъ разнообразны и безчисленны, какъ наши, и потому очень естественно, что обыкновенныя жилища ихъ лишены пестроты, ясности и стройности; они уединенны, однообразны, такъ же скучны отсутствіемъ всякой мысли, какъ самый Азіятець во время своего покоя. Но за то вездѣ, куда ни проникала только азіятская роскошь, огромная, великолѣпная, — та роскошь, которая блещетъ въ ихъ волшебныхъ сказкахъ; вездѣ, куда ни проникала эта увѣшанная ожерельями дочь восточнаго воображенія: тамъ стоятъ донинѣ дворцы, великолѣпіе которыхъ изумительно. Строеіе ихъ захватывало цѣлыя вѣки; цѣлый народъ, цѣлая нація, надъ нимъ трудились, и предки вѣрили, какъ въ неотразимое предопредѣленіе, что зданіе будетъ окончено ихъ потомками. Вездѣ, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь, или дикій энтузіазмъ первоначальной ихъ религіи, вездѣ громоздились памятники, ужасные своею огромностію, передъ которыми мысль нѣмѣетъ отъ изумленія, когда вспомнишь, какъ бѣдны были ихъ средства и познанія, какъ ничтожны ихъ машины для поднятія и укрѣпленія этихъ страшныхъ массъ. Еще болѣе изумленіе овладѣваетъ духомъ, когда видишь, какъ почти дикій, неразвившійся челоувѣкъ развился внезапно на этомъ гигантскомъ зданіи; какъ былъ онъ проникнутъ и восторженъ мыслью о божествѣ, что неволью показало разоблаченіе своего генія и упредилъ медленные годы вѣковаго образованія.

Взгляните на этотъ массивный, величественный Триченгурскій храмъ у Индусовъ, едвали не одно изъ первыхъ зданій по величинѣ своей! Это пирамидальное склоненіе массы къ верху, постепенное уменьшеніе этажей, бездна индійскихъ портиковъ, облѣпывающихъ ихъ стѣны, пилястры, громоздящіяся надъ пилястрами, колонны надъ колоннами, какъ-будто ступающія одна на другую, чтобы скорѣе достать вершины этой массы — все это явленіе совершенно оригинальнаго вкуса. Но если Тричен-

гурскій храмъ слишкомъ уже тяжелъ и дышетъ язычествомъ, взгляните на стройный, прекрасный Кутубъ-Минаръ, которымъ по справедливости славятся Дельги. Я не знаю въ мирѣ башни, которая бы, при простотѣ почти аттической, столько дышала глубиной красоты, гдѣ бы воображеніе вылилось такъ чисто и величаво. Если этотъ родъ не можетъ быть совершенно усвоенъ нами, то Европейцы вообще могутъ заимствовать съ пользою это пирамидальное или конусообразное устремленіе къ верху — рѣзкое отличіе индійскаго стиля.

Восточная архитектура дворцовъ представляетъ совершенно противоположный родъ; здѣсь царство азіатской роскоши. Строепіе раздается пространіе въ ширину. Огромный восточный куполь, или совершенно круглый, или выгибающійся какъ сладострастная ваза, опрокинутая внизъ, или въ видѣ шара, или обремененный, облѣпленный рѣзбою и украшеніями, какъ богатая митра, патриархально властвуетъ надъ всѣмъ зданіемъ: внизу, у самаго подножія строенія, небольшіе куполы цѣлою оградю обходятъ его пространныя стѣны, какъ покорные рабы; со всѣхъ сторонъ летятъ тонкіе минареты, представляющіе самый очаровательный контрастъ своею легкою веселою турнюрою съ важнымъ величественнымъ видомъ всего зданія. Такъ величественный магометанинъ, въ широкомъ, убранномъ золотомъ и каменьями платьѣ, возлежитъ среди гурій стройныхъ, обнаженныхъ, ослѣпительныхъ своею бѣлизною.

Нигдѣ зодчество не принимало столько разнообразныхъ формъ, какъ на Востокѣ. Тамъ каждое зданіе выливалось, можно сказать, всегда мимо прежнихъ условій или, лучше сказать, оно выливалось, облеченное новыми условіями собственнаго предчувствія, сходствовавшими съ прежними развѣ только въ самомъ отдаленномъ началѣ религіозномъ или національномъ. Вся Индія усѣяна прекрасными зданіями. Каждое изъ нихъ сохраняетъ свое рѣзкое отличіе, свой особый отпечатокъ, до такой степени, что ихъ совершенно нельзя подвести подъ одну категорію. Множество разныхъ куполовъ всѣхъ возможныхъ формъ, вовсе непохожихъ одинъ на другаго, украшеній и убранствъ, совсѣмъ отличныхъ и всегда новыхъ — все говоритъ о необыкновенномъ воображеніи

ихъ, которое не стѣснялось никакими правилами. Впрочемъ, причиною этого разнообразія, можетъ-быть, было безчисленное множество сектъ, наполняющихъ Индію, производившихъ вѣчную оппозицію, вѣчную раздражительность воображенія. Но болѣе исполнены роскоши очаровательной, которою говоритъ восточная природа, тѣ зданія, которыхъ коснулся вкусъ Аравитянъ. Въ Азіи, во время этихъ разрушительныхъ встрѣчъ новыхъ и старыхъ народовъ, особенно магометанъ, произошло необыкновенное смѣшеніе архитектуръ, произошли самыя дерзкія отступленія. Но никогда, нигдѣ не соединялось смѣлое съ такою прекрасною роскошью, какъ у Аравитянъ. Они заимствовали отъ природы все то, что есть въ ней верхъ прекраснѣйшаго. Ихъ архитектура не носитъ на себѣ печати дремучихъ лѣсовъ; она вся состоитъ изъ цвѣтовъ. Она убрана цвѣтами, она потоплена цѣлымъ моремъ цвѣтовъ, прекрасныхъ, роскошныхъ, какими убрана нѣжная долина Кашемира. Ихъ узорныя колонны увѣнчаны тюльпаномъ; ихъ рѣзба въ видѣ незабудокъ и цвѣтовъ съ четырьмя лепестками, или развивающихся розъ; ихъ галереи похожи на вѣтви пальмъ, вершинами своими образующихъ своды. Все отозвалось необыкновенной роскошью цвѣтистаго ихъ вкуса. Эта архитектура какъ-то именно создавалась для жизни, отданной наслажденіямъ, для веселыхъ, свѣтлыхъ жилищъ человѣка. Она рѣшительно изгнала изъ себя все мрачное. Зданіе такъ прелестно, очаровательно, какъ восточная красавица съ черными, яркими какъ молнія глазами, въ пестромъ своемъ убранствѣ и драгоценныхъ ожерельяхъ.

Восточная архитектура имѣетъ у себя то, чего никогда еще не употребляли Европейцы. Это колонны, не гладкія, но расщепленныя украшеніями отъ шедестала до капители. Иногда эти колонны бываютъ совершенно сквозныя и прозрачныя; рѣзба проникаетъ ихъ насквозь. Онѣ составляютъ плѣнительнѣйшее изобрѣтеніе восточнаго вкуса. Зданіе, какъ бы ни было громоздко, но съ такими колоннами кажется воздушно. Почему бы, казалось, намъ не перенести ихъ на свою почву? Но умъ и вкусъ человѣка представляютъ странное явленіе: прежде нежели достигнетъ истины, онъ столько дастъ объѣздовъ, столько надѣ-

ласть несообразностей, неправильностей, ложнаго, что послѣ самъ дивится своей недогадливости. Обо всѣхъ сихъ памятникахъ Европа и не заботилась. Одинъ только вкусъ Китайцевъ, который можно назвать самымъ мелкимъ, самымъ ничтожнымъ изъ всѣхъ восточныхъ народовъ, какимъ-то повѣтріемъ занесся къ намъ въ концѣ XVIII столѣтія. Хорошо, что Европейцы по обыкновенію своему тотчасъ обратили его на мостики, павильоны, вазы, камни, а не вздумали приспособить къ большимъ строениямъ. Этотъ вкусъ точно былъ недуренъ въ бездѣлкахъ, потому что Европейцы его тотчасъ усовершенствовали по-своему и дали ему прелесть, которой онъ самъ въ себѣ не имѣетъ, также какъ и его народъ не имѣетъ энергіи, несмотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный родъ архитектуры, совершенно отличный отъ всего, доселѣ показаннаго мною. Это архитектура каткомбъ индійскихъ и египетскихъ, гдѣ эти два народа такъ удивительно сошлись между собою и дали поводъ подозрѣвать древнее между ними родство. Главный характеръ ея — тяжесть. Здѣсь все должно соединиться въ массу и толщу: зданіе тяжело ступаетъ, какъ на слоновыхъ пядяхъ, на короткихъ, тяжелыхъ колоннахъ, которыхъ ширина своимъ діаметромъ равняется почти съ высотой. Здѣсь уже совершенно все ширина и масса. На ней какъ будто отпечаталась тяжесть земли, внутри которой она скрываетъ тяжелое свое величіе. То, что порокъ въ другихъ родахъ ея, то здѣсь достоинство. Эта подземная архитектура имѣетъ что-то также величавое, хотя внушаетъ совершенно другія мысли. Здѣсь тяжесть не безобразна, а величественна, потому что составляетъ главную идею всего зданія. Если художникъ предположилъ создать тяжелое и массивное и выполнилъ это, его твореніе вѣрно будетъ хорошо; но когда начерталъ онъ планъ тяжелаго, а изъ него вышло вовсе не тяжелое, или, на оборотъ, когда онъ замыслилъ произвести легкое, а вышло тяжелое, то это рѣшительно дурно. Зданіе это, когда съ него сбрасывали землю и оно выходило на свѣтъ, представляло всегда странный и вмѣстѣ страшный видъ, — какъ будто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, какъ

будто бы мракъ очутился вдругъ среди яркаго свѣта, — мракъ, только освѣщаемый свѣтомъ, а не прогоняемый имъ, какъ египетская урна или мертвая голова среди пиршествъ. Мнѣ кажется, напрасно эту архитектуру вгоняютъ въ землю: показавшись вдругъ, нечаянно, среди свѣтлыхъ, легкихъ домиковъ, она должна непременно поразить всякого и произвести свой эффектъ. Одно такого рода строеніе среди многолюднаго города было бы прелесть, но только одно, не болѣе. Въ строеніяхъ такого рода всѣ части состоятъ изъ тяжестей, но при всемъ томъ отношенія ихъ между собою исполнены какой-то внутренней, нѣсколько страшной гармоніи, и создать въ этомъ родѣ совершенное весьма не легко.

Египетская архитектура надземная составляетъ совершенно другой родъ: она массивна тоже, но стройность и простота въ высшей степени съ нею неразлучны; главный же ея характеръ — колоссальность. Чѣмъ она глаже снизу доверху, безъ всякихъ раздѣленій и рѣзкихъ украшеній, тѣмъ лучше. Но не употребляйте ее на небольшіе мостики: безъ колоссальности эта архитектура менѣе нежели ничто. Еще разъ повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены всѣ ея условія и если она выбрана совершенно согласно назначенію строенія. Безъ этой благонамѣренной, безпристрастной терпимости не будетъ ни истинныхъ талантовъ, ни истинно величественныхъ произведеній. Прочь этотъ схоластизмъ, предписывающій строенія ранжировать подъ одну мѣрку и строить по одному вкусу! Городъ долженъ состоятъ изъ разнообразныхъ массъ, если хотимъ, чтобъ онъ доставлялъ удовольствіе взорамъ. Пусть въ немъ совокупится болѣе различныхъ вкусовъ. Пусть въ одной и той же улицѣ возвышается: и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшеній восточное, и колоссальное египетское, и пронизанное стройнымъ размѣромъ греческое. Пусть въ немъ будутъ видны: и легко выпуклый млечный куполь, и религиозный безконечный шпигль, и восточная митра, и плоская крыша итальянская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелискъ. Пусть какъ можно рѣже дома сливаются въ одну ровную, одно-

образную стѣну, но клонятся то вверхъ, то внизъ. Пусть разныхъ родовъ башни какъ можно чаще разнообразяютъ улицы. Неужели найдется такой смѣльчакъ или, лучше сказать, несмѣльчакъ, который бы ровное мѣсто въ природѣ осмѣлился сравнить съ видомъ утесовъ, обрывовъ, холмовъ, выходящихъ одинъ изъ-за другаго?

Архитекторъ-творецъ долженъ имѣть глубокое познаніе во всѣхъ родахъ зодчества. Онъ менѣе всего долженъ пренебрегать вкусомъ тѣхъ народовъ, которыми мы въ отношеніи художествъ обыкновенно оказываемъ презрѣніе. Онъ долженъ быть всеобъемлющъ, изучить и вмѣстѣ въ себѣ всѣ безчисленныя измѣненія ихъ; но самое главное — долженъ изучить все въ идеалѣ, а не въ мелочной наружной формѣ и частяхъ. Но для того, чтобъ изучить въ идеѣ, нужно быть ему гениемъ и поэтомъ.

Но обратимся къ архитектурѣ городовъ. Городъ нужно строить такимъ образомъ, чтобы каждая часть, каждая отдѣльно взятая масса домовъ представляла живой пейзажъ. Нужно толпѣ домовъ придать игру, чтобъ она, если можно такъ выразиться, заиграла рѣзкостями, чтобъ она вдругъ врѣзалась въ память и преслѣдовала бы воображеніе. Есть такіе виды, которые вѣкъ помнишь, и есть такіе, которыхъ, при всѣхъ усиліяхъ, не можешь замѣтить въ памяти. Зодчество грубѣе и вмѣстѣ колоссальнѣе другихъ искусствъ, какъ-то: живописи, скульптуры и музыки, и потому эффектъ его — въ эффектѣ. Масса города имѣетъ уже тѣмъ выгоду, что ее вдругъ можно измѣнить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строеніе среди ея — и она совершенно измѣняетъ видъ свой, принимаетъ другое выраженіе, такъ, какъ всякой рисунокъ ученика вдругъ оживляется подъ кистью или карандашомъ его учителя, который въ одномъ мѣстѣ подкрѣпляетъ, въ другомъ отдѣляетъ, въ третьемъ только тронетъ, — и все уже не то. При томъ, самыя ошибки уже подають идею о томъ, какъ избѣжать ихъ: безхарактерное подають мысль о характерномъ, мелкое и плоское вызываетъ въ противоположность дерзкое и необыкновенное, углубленіе внизъ подають идею о возвышеніи вверхъ, и наоборотъ. Гений — богачъ страшный, предъ которымъ ничто весь міръ и всѣ сокровища.

При построении городовъ нужно обращать вниманіе на положеніе земли. Города строятся или на возвышеніи и холмахъ, или на равнинахъ. Городъ на возвышеніи менѣе требуетъ искусства, потому что тамъ природа работаетъ уже сама, то подымаетъ дома на величественныхъ холмахъ своихъ и ваетъ ихъ великанами изъ-за другихъ домовъ, то опускаетъ ихъ внизъ, чтобы дать видъ другимъ. Въ такомъ городѣ можно менѣе употреблять разнообразія. Въ немъ можно болѣе употреблять гладкихъ и одинаковыхъ домовъ, потому что неровное положеніе земли уже даетъ имъ нѣкоторымъ образомъ разнообразіе, помѣщая ихъ въ разныхъ мѣстоположеніяхъ. Нужно наблюдать только, чтобы дома показывали свою вышину одинъ изъ-за другаго, такъ чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядитъ двадцатитажная масса. Тамъ мало нужно искусства, гдѣ природа одолеваетъ искусство; тамъ искусство только для того, чтобы украсить ее. Но гдѣ положеніе земли гладко совершенно, гдѣ природа спитъ, тамъ должно работать искусство во всей силѣ. Оно должно пронестрять, если можно сказать, изрыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здѣсь однообразіе и простота домовъ будетъ большая погрѣшность. Здѣсь архитектура должна быть какъ можно своеобразнѣе: принимать суровую наружность, показывать веселое выраженіе, дышать древностью, блестѣть новостью, обдавать ужасомъ, сверкать красотою, быть то мрачной, какъ день обхваченный грозой съ громовыми облаками, то ясною, какъ утро въ солнечномъ сіяніи. Архитектура — тоже лѣтопись міра: она говоритъ тогда, когда уже молчатъ и пѣсни и преданія, и когда уже ничто не говоритъ о погибшемъ народѣ. Пусть же она, хоть отрывками, является среди нашихъ городовъ въ такомъ видѣ, въ какомъ она была при отжившемъ уже народѣ, чтобы при взглядѣ на нее осѣнила насъ мысль о минувшей его жизни и погрузила бы насъ въ его бытъ, въ его привычки и степень пониманія, и вызвала бы у насъ благодарность за его существованіе, бывшее ступенью нашего собственнаго возвышенія *).

*) Мнѣ прежде приходила очень странная мысль: я думалъ, что весьма не мѣшало бы имѣть въ городѣ одну такую улицу, которая бы вмѣщала въ себя

Неужели, однакоже, не возможно созданіе (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежнихъ условій? Когда дикій и малоразвившійся человѣкъ, которому одна природа, еще грубо имъ понимаемая, служить руководствомъ и вдохновеніемъ, создаетъ твореніе, въ которомъ является и красота, и тайный инстинктъ вкуса, — отъ чего же мы, которыхъ всѣ способности такъ обширно развились, которые болѣе видимъ и понимаемъ природу во всѣхъ ея тайныхъ явленіяхъ, — отъ чего же мы не производимъ ничего совершенно проникнутаго такимъ богатствомъ нашего познанія? Идея для зодчества вообще была черпана изъ природы, но тогда, когда человѣкъ сильно чувствовалъ на себѣ ея вліяніе; теперь же искусство поставилъ онъ выше самой природы, — развѣ не можетъ онъ черпать своихъ идей изъ самаго искусства или, лучше сказать, изъ гармоническаго сліянія природы съ искусствомъ? Рассмотрите только, какую страшную изобрѣтательность показалъ онъ на мелкихъ издѣліяхъ утонченной роскоши; рассмотрите всѣ эти модныя бездѣлицы, которыя каждый день являются и гибнутъ, рассмотрите ихъ, хотя въ микроскопъ, если такъ онѣ не останавливаютъ вашего вниманія, — какого онѣ исполнены тонкаго вкуса! какія принимаютъ онѣ совершенно небывалыя прелестныя формы! Онѣ создаются въ такомъ особенномъ родѣ, который еще никогда не встрѣчался. Рѣзба и тонкая отдѣлка ихъ такъ не заимствованы и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ

архитектурную лѣтопись, чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, прошедши которыя зритель видѣлъ бы съ двухъ сторонъ возвышающіяся величественныя зданія первобытнаго дикаго вкуса, общаго первоначальнымъ народамъ; потомъ постепенное намѣненіе ея въ разные виды: высокое преображеніе въ колоссальную, исполненную простоты египетскую, потомъ въ красавицу греческую, потомъ въ сладострастную александрійскую и византійскую съ плоскими куполами, потомъ въ римскую съ арками въ нѣсколько рядовъ, даѣе вновь нисходящую къ дикимъ временамъ и вдругъ потомъ подывшуюся до необыкновенной роскоши — аравійскую; потомъ дикою готическою, потомъ готико-арабскою, потомъ чисто-готическою, въцѣмъ искусства, дышащею въ кельнскомъ соборѣ, потомъ страшнымъ смѣшеніемъ архитектуръ, произшедшимъ отъ обращенія къ византійской, потомъ древнею греческою въ новомъ костюмѣ, и наконецъ, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы въ себѣ стихіи новаго вкуса. Эта улица сдѣлалась бы тогда въ нѣкоторомъ отношеніи исторіею развитія вкуса, и кто лѣнивъ перевертывать толстыя томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все.

хороши, что мы иногда долго любуемся ими и, увы! вовсе не ощущаемъ жалости при видѣ, какъ гибнетъ вкусъ человѣка въ ничтожномъ и временномъ, тогда какъ онъ былъ бы замѣтенъ въ неподвижномъ и вѣчномъ. Развѣ мы не можемъ эту раздробленную мелочь искусства превратить въ великое? Неужели все то, что встрѣчается въ природѣ, должно быть непременно только колонна, куполь и арка? Сколько другихъ еще образовъ нами вовсе не тронуты! Сколько прямая линия можетъ ломаться и измѣнять направленіе, сколько кривая выгибаться, сколько новыхъ можно ввести украшеній, которыхъ еще ни одинъ архитекторъ не вносилъ въ свой кодексъ! — Въ нашемъ вѣкѣ есть такія пріобрѣтенія и такія новыя, совершенно ему принадлежащія стихіи, изъ которыхъ бездну можно заимствовать никогда прежде не воздвигаемыхъ зданій. Возьмемъ, на примѣръ, тѣ висящія украшенія, которыя начали появляться недавно. Покажемъ висящая архитектура только показывается въ лоджахъ, балконахъ и въ небольшихъ мостикахъ. Но если цѣлые этажи повиснутъ, если перекинутся смѣлыя арки, если цѣлыя массы вмѣсто тяжелыхъ колоннъ очутятся на сквозныхъ чугунныхъ подпорахъ, если дождь обвѣсится снизу до верху балконами съ узорными чугунными перилами, и отъ нихъ висящія чугунныя украшенія въ тысячахъ разнообразныхъ видовъ облекутъ его своею легкою сѣтью, и онъ будетъ глядѣть сквозь нихъ, какъ сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунныя сквозныя украшенія, обвитыя около круглой, прекрасной башни, полетятъ вмѣстѣ съ нею на небо, — какую легкость, какую эстетическую воздушность пріобрѣтутъ тогда дома наши! Но какое множество есть разбросанныхъ на всемъ намѣковъ, могущихъ зародить совершенно необыкновенную живую идею въ головѣ архитектора, если только этотъ архитекторъ творецъ и поэтъ *).

1831.

*) Статья эта писана давно. Въ послѣднее время вкусъ въ Европѣ улучшился и особенно въ нашей любезной Россіи. Многие архитекторы уже ей дѣлають честь; изъ нихъ должно упомянуть о Брюловѣ, котораго зданія исполнены истиннаго вкуса и оригинальности.

АЛ-МАМУНЪ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Ни одинъ государь не принималъ правленія въ такую блестящую эпоху своего государства, какъ Ал-Мамунъ. Грозный калифъ величественно возвышался на классической землѣ древняго міра. Онъ обнималъ на востокъ всю цвѣтущую югозападную Азію и замыкался Индією; на западѣ онъ простирался по берегамъ Африки до Гибралтара. Сильный флотъ покрывалъ Средиземное море. Багдадъ, столица этого новаго чудеснаго міра, видѣлъ повелѣнія свои исполняющимися въ отдаленныхъ краяхъ провинціи; Бассора, Нигабуръ и Куфа зрѣли новообращенную Азію, стекающуюся въ свои блестящія школы. Дамаскъ могъ одѣть всѣхъ сластолюбцевъ дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, и Арабъ уже думалъ, какъ бы осуществить на землѣ рай Магомета: создавалъ водопроводы, дворцы, цѣлые лѣса пальмъ, гдѣ сладострастно били фонтаны и дымились благовонія Востока. И къ такому развитію роскоши еще не успѣла привиться ни одна нравственная болѣзнь политическаго общества. Всѣ части этой великой имперіи, этого магометанскаго міра, были связаны довольно сильно, и связь эта укрѣплена была волею необыкновеннаго Гаруна, который постигнулъ всѣ разнообразныя способности своего народа. Онъ не былъ исключительно государь-философъ, государь-политикъ, государь-воинъ, или государь-литераторъ, онъ соединялъ въ себѣ все, умѣлъ равно разлить свои дѣйствія на все и не доставить перевѣса ни одной отрасли надъ другою. Просвѣщеніе чужеземное онъ прививалъ къ своей націи.

въ такой только степени, чтобы помочь развитію ея собственнаго. Уже Арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваній, но все еще были исполнены энтузіазма, и огненные страницы Корана перелистывались съ тѣмъ же благоговѣніемъ, исполнялись такъ же раболѣпно. Гарунъ умѣлъ ускорить весь административный государственный ходъ и исполненіе повелѣній страхомъ своей вездѣсущности. Намѣстники и эмиры, изъ которыхъ каждый обыкновенно стремится быть деспотомъ, опасались встрѣтить всезрящаго, переодѣтаго калифа — и правленіе безъ законовъ двигалось крѣпко и опредѣленно. Въ такомъ видѣ принялъ государство Ал-Мамунъ, государь, котораго Царьградъ назвалъ великодушнымъ покровителемъ наукъ, котораго имя исторія внесла въ число благодѣтелей человѣческаго рода, и который замыслилъ государство политическое превратить въ государство музъ. Онъ былъ одаренъ всею живостію и способностію къ долгому изученію. Его характеръ исполненъ былъ благородства. Желаніе истины было его девизомъ. Онъ былъ влюбленъ въ науку, и влюбленъ совершенно безкорыстно: онъ любилъ науку для нея же самой, не думая о ея цѣли и примѣненіи. Онъ предался ей съ исключительною страстью. Тогда Аравитяне только-что открыли Аристотеля. Многообъемлющій и точный философъ Греціи не могъ сойтись съ ихъ воображеніемъ, слишкомъ стремительнымъ, слишкомъ колоссальнымъ и восточнымъ, но арабскіе ученые, занимаясь долгое время копотливою работой, уже нѣсколько привыкнули къ точности и формальности, и отъ того принялись за него съ ученымъ энтузіазмомъ. Эти безконечные выводы, это облеченіе въ видимость и порядокъ того, что они прежде чувствовали въ душѣ пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашнихъ ученыхъ. Воспитанный подъ ихъ вліяніемъ, Ал-Мамунъ, исполненный истинной жажды просвѣщенія, употреблялъ всѣ старанія ввести въ свое государство этотъ чуждый дотогѣ греческій міръ. Багдадъ распростеръ дружелюбныя длани всему ученому тогдашнему свѣту. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежалъ къ какому бы то ни было званію, какой бы ни былъ онъ религіи, какихъ бы ни былъ исполненъ противорѣчащихъ началъ. Естественно, что тогда болѣе всего приносили свои познанія въ Баг-

дадь тѣ, которые еще сохраняли въ душѣ своей образъ политизма, облеченнаго христіанскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммонія Саккаса, Плотина и другихъ послѣдователей новоплатонизма, которые уже не находили поля для своихъ ученыхъ ристаній въ Царьградѣ, слишкомъ занятомъ спорами о догматахъ христіанства. Багдадъ превратился въ республику разнородныхъ отраслей познаній и мнѣній. Вѣнценосный Арабъ вслушивался внимательно въ усыпительную музыку ученыхъ толкованій и тонкостей. Правители государственныхъ мѣстъ не могли не увлечься примѣромъ государя, и тогда высшія ступени государства обняла какая-то литературная мономанія. Визиря и эмиры старались окружить свой дворъ учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была какъ будто чѣмъ-то второстепеннымъ, что правители должны были многое, относящееся къ управленію, повѣрять усмотрѣнію своихъ секретарей и любимцевъ, что эти любимцы были иногда вовсе невѣжды, часто получали пронырствами мѣста, что все это должно было отозваться на народѣ и въ послѣдствіи времени обрушиться на самихъ правителей. Толпа теоретическихъ философовъ и поэтовъ, занявшихъ правительственныя мѣста, не можетъ доставить государству твердаго правленія. Ихъ сфера совершенно отдѣльна; они пользуются верховнымъ покровительствомъ и текутъ по своей дорогѣ. Отсюда исключаются тѣ великіе поэты, которые соединяютъ въ себѣ и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человѣка, проникли минувшее и прозрѣли будущее, которыхъ глаголь слышится всѣмъ народамъ. Они великіе жрецы. Мудрые властители чествуютъ ихъ своею бесѣдою, берегутъ ихъ драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многостороннею дѣятельностью правителя. Ихъ призываютъ только въ важныя государственныя совѣщанія, какъ вѣдателей глубины человѣческаго сердца.

Благородный Ал-Мамунъ истинно желалъ сдѣлать счастливыми своихъ подданныхъ. Онъ зналъ, что вѣрный путеводитель къ тому — науки, влоняющіяся къ развитію человѣка. Онъ всѣми силами заставлялъ подданныхъ принимать вводимое имъ просвѣщеніе. Но просвѣщеніе, вводимое Ал-Мамуномъ, менѣе

всего отвѣчало природнымъ элементамъ и колоссальности воображенія Арабовъ. Лишенные энергій начала политеизма, обратившіяся въ кучу словъ, дерзко обезображенныя идеи христіанства, странно озарившія тогдашнія науки, не слившіяся съ ними, но, можно сказать, уничтожившія ихъ своимъ преобладаніемъ, — представляли совершенный контрастъ пламенной природѣ Араба, у котораго воображеніе слишкомъ потопляло тощіе выводы холоднаго ума. Этотъ чудный народъ не шелъ, а летѣлъ къ своему развитію. Геній его вдругъ оказывался въ войнѣ, торговлѣ, искусствахъ, мануфактурахъ и роскошной поэзіи Востока. Его доселѣ небывалыя въ исторіи человѣчества стихіи вспыхнули богато, ярко, странно и совершенно оригинально. Казалось, этотъ народъ обѣщаль дотолѣ невиданное совершенство націи. Но Ал-Мамунъ не понялъ его. Онъ упустилъ изъ вида великую истину, что образованіе черпается изъ самого же народа, что просвѣщеніе наносное должно быть въ такой степени заимствовано, сколько можетъ оно помогать собственному развитію, но что развиваться народъ долженъ изъ своихъ же національныхъ стихій. Но для Араба поле подвиговъ было заграждено этимъ бесплоднымъ чужестраннымъ просвѣщеніемъ. Самый космополитизмъ Ал-Мамуна, открывшаго входъ въ государство ученымъ всѣхъ партій, уже зашелъ нѣсколько далеко. Выгоды, которыя въ государствѣ получали христіане, не могли не возродить въ собственныхъ его подданныхъ ненависти, а вмѣстѣ и презрѣнія къ самымъ даже полезнымъ ихъ учрежденіямъ, — и народъ уже терялъ любовь къ своему калифу. Въ правленіи Ал-Мамунъ былъ уже больше философъ-теоретикъ, нежели философъ-практикъ, какимъ бы долженъ быть государь. Онъ зналъ жизнь своего народа изъ описаній и разсказовъ другихъ, а не извѣдалъ самъ, какъ очевидецъ, какъ извѣдалъ его великій Гарунъ. Въ азіятскихъ образахъ правленія, не имѣющихъ опредѣленныхъ законовъ, вся административная часть падаетъ на самого монарха, и потому дѣятельность его должна быть необыкновенна, вниманіе его должно быть вѣчно напряжено; онъ не можетъ ввѣриться совершенно никому, и глазъ его долженъ имѣть многосторонность Аргуса:

минутою засни онъ — и его полномочные наместники вдругъ возрастаютъ, и государство наполняется милліонами деспотовъ. Но Ал-Мамунъ въ своемъ Багдадѣ жилъ какъ въ государствѣ музъ, и въ немъ же самимъ созданномъ и совершенно отдѣльномъ отъ міра политическаго. Христіане, которые стали наконецъ вмѣшиваться въ административныя должности, не могли узнать народнаго духа и обычаевъ земли. Притомъ самое иновѣрство ихъ было невыносимо для Араба, еще сохранявшаго энтузіазмъ и нетерпимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось на устахъ ученыхъ тогдашняго вѣка, когда его гостепріимство привлекало пестрые флаги къ берегамъ сирійскимъ, — власть его внутри государства становилась между тѣмъ слабѣе. Жители провинцій, никогда не видавшіе своего калифа, мало дорожили его именемъ. Военная сила ослабла. Просвѣщеніе обыкновенно стремилось изъ Багдада, какъ изъ центра, уменьшаясь и угасая по мѣрѣ приближенія къ отдаленнымъ границамъ. На границахъ Арабы еще сохраняли свой первый періодъ. На границахъ стояли войска, еще полныя фанатизма, еще стремившіяся огнемъ и мечомъ водружать вѣру Магомета. Сильные эмиры ихъ, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамунъ уже при жизни своей видѣлъ отторженіе Персіи, Индіи и дальнихъ провинцій Африки. Но, можетъ-быть, все это невѣрное направленіе администраціи было бы еще исправимое зло, еслибъ Ал-Мамунъ не простеръ уже слишкомъ далеко своей любви къ истинѣ. Онъ захотѣлъ быть религіознымъ реформаторомъ своей націи. Исполненный ума чисто-теоретическаго, будучи выше суевѣрій и предрасудковъ, будучи ближе ознакомленъ съ нѣкоторыми догмами христіанства, нежели его предшественники, онъ не могъ не видѣть всѣхъ безчисленныхъ противорѣчій, пламенныхъ недѣлностей, которыя вырывались всемѣстно въ постановленіяхъ изступленнаго творца Корана. Онъ рѣшился очистить и преобразовать священную книгу магометанъ, и въ то самое время, когда еще всѣ низшія государственныя ступени, вся чернь была увѣрена, что она принесена съ неба, и когда усомниться въ маловажномъ постановленіи ея уже считалось величайшимъ преступленіемъ, полу-греческій образъ мыслей Ал-Мамуна чуж-

дался совершенно слѣпому энтузіазму его подданныхъ. Первымъ шагомъ къ образованію своего народа онъ почиталъ истребленіе энтузіазма, того энтузіазма, который составилъ существованіе народа аравійскаго, — того энтузіазма, которому онъ обязанъ былъ всѣмъ своимъ развитіемъ и блестящею эпохою, подорвать который значило подорвать политическій составъ всего государства. Ему нелѣпѣе, несообразнѣе всего казался магометовъ рай, куда Арабъ переносилъ всю чувственную земную жизнь свою, жизнь назначенную для наслажденія и сладострастія. Но Ал-Мамунъ не принялъ въ соображеніе того, что это постановленіе изверглось изъ огненнаго аравійскаго климата, изъ огненной природы Араба, что этотъ рай для магометанина есть великій оазисъ среди пустыни его жизни, что надежда на этотъ рай одна только заставляла чувственнаго Араба терпѣливо сносить бѣдность, притѣсненіе, подавлять въ душѣ своей зависть при видѣ утопающаго въ роскоши сибарита. Мысль, что и онъ будетъ наконецъ находиться среди гурій, среди роскоши, превышающей роскошь земныхъ владыкъ, — одна могла быть доступна для такой чувственности и цвѣтистости воображенія, какими природа надѣлила Араба, и можетъ-быть, съ дальнѣйшимъ только развитіемъ его, могла нечувствительно очиститься его вѣра. Ал-Мамунъ и не постигалъ азіатской природы своихъ подданныхъ.

Можно себѣ представить силу негодованія многочисленнаго класса народа, когда распространились вѣсти о преобразованіяхъ калифовыхъ. Какъ долженъ былъ принять это народъ, который уже за одно покровительство христіанамъ и привязанность къ иностранцамъ обвинялъ гласно калифа въ мотализмъ, или ереси! Грубая толпа прежнихъ, точныхъ исполнителей Корана жестокимъ упорствомъ своимъ, наконецъ, заставила калифа взяться за оружіе. И благородный, великодушный Ал-Мамунъ, проникнутый истинною любовію къ человѣчеству, явился гонителемъ своихъ подданныхъ. Гоненіемъ своимъ онъ воскресилъ опять въ Арабахъ дикій фанатизмъ, но уже не тотъ фанатизмъ, который сдвинулъ прежде кочевыхъ обитателей Аравіи въ одну массу, — онъ произвелъ оппозиціонный фанатизмъ, который растерзалъ

массу, который посѣялъ плевелы въ нѣдрахъ государства, который разбудилъ дикія страсти Араба, который далъ ножъ и ядъ ненависти въ руки изступленныхъ послѣдователей ислама, который произвелъ множество ослѣпленныхъ сектъ и ужаснѣе всего секту карматіановъ, долго еще свирѣпствовавшую подъ именемъ сирійскихъ убійцъ, во время крестовыхъ походовъ. Среди волнений, оказавшихся въ разныхъ концахъ государства, среди смуть и партій, разсыпая одною рукою благодѣянія и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою неповорныхъ, изступленныхъ подданныхъ, умеръ благородный Ал-Мамунъ, — умеръ, не понявъ своего народа, не понятый своимъ народомъ. Во всякомъ случаѣ, онъ далъ поучительный урокъ. Онъ показалъ собою государя, который при всемъ желаніи блага, при всей кротости сердца, при самоотверженіи и необыкновенной страсти къ наукамъ, былъ между прочимъ невольно одною изъ главныхъ причинъ, ускорившихъ паденіе государства.

АРАБЕСКИ.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Ж И З Н Ъ.

Вѣдному сыну пустыни снился сонъ:

Лежить и разстиляется великое Средиземное море и съ трехъ разныхъ сторонъ глядятъ въ него: палящіе берега Африки съ тонкими пальмами, сирійскія голая пустыни и многолюдный, весь изрытый моремъ, берегъ Европы.

Стоитъ въ углу надъ неподвижнымъ моремъ древній Египетъ. Пирамида надъ пирамидою; граниты глядятъ сѣрыми очами, обтесанные въ сфинксовъ; идутъ безчисленныя ступени. Стоитъ онъ величавый, питаемый великимъ Ниломъ, весь убранный таинственными знаками и священными звѣрями. Стоитъ и неподвиженъ, какъ очарованный, какъ мумія, несокрушимая тлѣніемъ.

Раскинула вольныя колоніи веселая Греція. Кишатъ на Средиземномъ морѣ острова, потопленные зелеными рощами; кинамонъ, виноградныя лозы, смоковницы помагають облитыми медомъ вѣтвями; колонны, бѣлыя какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ; мраморъ страстный дышетъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо любитъ свою прекрасною наготою; увитая гроздіями, съ тирсами и чашами въ рукахъ, она остановилась въ шумной пляскѣ. Жрицы, молодыя и стройныя, съ разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черныя очи. Тростникъ, связанный въ цѣвницу, тимпаны, мусикійскія орудія мелькають, перевитыя плющемъ. Корабли какъ мухи толпятся близъ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающійся флагъ дыханію вѣтра. И все стоитъ неподвижно, какъ бы въ окаменѣломъ величіи.

Стоить и распростирается желѣзный Римъ, устремляя лѣсъ копій и сверкая грозною сталью мечей, вперивъ на все завистливыя очи и протянувъ свою жилистую десницу. Но онъ неподвиженъ, какъ и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздухъ небеснаго океана висѣлъ сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнется, какъ будто бы царства предстали всѣ на страшный судъ передъ кончиною міра.

И говоритъ Египетъ, помавая тонкими пальмами, жилищами его равнинъ, и устремляя иглы своихъ обелисковъ. „Народы, слушайте! я одинъ постигъ и проникъ тайну жизни и тайну человѣка. Все тлѣно. Низки искусства, жалки наслажденія, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвуетъ надъ міромъ и человѣкомъ! Все пожираетъ смерть, все живетъ для смерти! Далекъ, далекъ до воскресенія! Да и будетъ ли когда воскресеніе? Прочь желанія и наслажденія! Выше строй пирамиду, бѣдный человѣкъ, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бѣдное существованіе.“

И говоритъ ясный какъ небо, какъ утро, какъ юность, свѣтлый міръ Грековъ, и, казалось, вмѣсто словъ, слышалось дыханіе цѣвницы: „Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вмѣстѣ съ нею ея наслажденія. Все неси ему. Гляди, какъ выпукло и прекрасно все въ природѣ, какъ дышетъ все согласіемъ. Все въ мірѣ; все, чѣмъ ни владѣютъ боги, все въ немъ; умѣй находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель міра, вѣнчай дубомъ и лавромъ прекрасное чело свое! мчись на колесницѣ проворно, правя конями на блистательныхъ играхъ! Далѣе корысть и жадность отъ вольной и гордой души! Рѣзецъ, палитра и цѣвница созданы быть властителями міра, а властительницею ихъ — красота. Увивай плющемъ и гроздіемъ свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для наслажденія, — умѣй быть достойнымъ наслажденія!“

И говоритъ покрытый желѣзомъ Римъ, потрясая блестящимъ лѣсомъ копій: „Я постигнулъ тайну жизни человѣка. Низко спокойствіе для человѣка: оно уничтожаетъ его въ самомъ себѣ. Малъ для души размѣръ искусствъ и наслажденій. Наслажденіе

въ гигантскомъ желаніи. Презрѣнна жизнь народовъ и человѣка безъ громкихъ подвиговъ. Славы, славы жаждай, человѣкъ! Въ порывѣ неразсказаннаго веселія, оглушенный звукомъ желѣза, несись на сомнутыхъ щитахъ бранноносныхъ легионовъ! Слышишь ли, какъ у ногъ твоихъ собрался весь міръ и, потрясая копьями, слился въ одно восклицаніе? Слышишь ли, какъ твоимъ замираетъ страхомъ на устахъ племень живущихъ на краю міра? Все, что ни объемлетъ взоръ твой, наполняй своимъ именемъ. Стремись вѣчно: нѣтъ границъ міру — нѣтъ границъ и желанію. Дикій и суровый, далѣе и далѣе захватывай міръ, — ты завоюешь наконецъ небо.“

Но остановился Римъ и вперилъ орлиныя очи свои на востокъ. Къ востоку обратила и Греція свои влажныя отъ наслажденія, прекрасныя очи; къ востоку обратилъ Египетъ свои мутныя, безцвѣтныя очи.

Камениста земля; презрѣнъ народъ; немногочисленная весь прислонилась къ обнаженнымъ холмамъ, изрѣдка, неровно отгнаннымъ изсохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоитъ ослица. Въ деревянныхъ ясляхъ лежитъ младенецъ; надъ нимъ склонилась непорочная мать и глядитъ на него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко въ небѣ стоитъ звѣзда и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ.

Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижая ниже своя пирамиды; безповойно глянула прекрасная Греція; опустили очи Римъ на желѣзныя свои копья; приникла ухомъ великая Азія съ народами-пастырями; нагнулся Араратъ, древній прапращуръ земли....

1831.

ШЛЕЦЕРЪ, МИЛЛЕРЪ И ГЕРДЕРЪ.

Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ были великіе зодчіе всеобщей исторіи. Мысль о ней была ихъ любимомъ мыслью и не оставляла ихъ во все время разнообразнаго ихъ поприща. Шлецеръ, можно сказать, первый почувствовалъ идею объ одномъ великомъ цѣломъ, объ одной единицѣ, къ которой должны быть приведены и въ которую должны слиться всѣ времена и народы. Онъ хотѣлъ однимъ взглядомъ обнять весь міръ, все живущее. Казалось, какъ будто бы онъ сидѣлъ имѣть сто аргусовыхъ глазъ, для того, чтобы разомъ видѣть сбывающееся во всѣхъ отдаленныхъ углахъ міра. Его слогъ — молнія, почти вдругъ блестящая то тамъ, то здѣсь, и освѣщающая предметы въ одно мгновеніе, но за то въ ослѣпительной ясности. Я не знаю, исполнилъ ли бы онъ въ самомъ дѣлѣ то, что рѣзко показывалъ другимъ; но по крайней мѣрѣ никто такъ сильно не пораженъ былъ самъ своимъ предметомъ, какъ онъ. Онъ имѣлъ достоинство въ высшей степени сжимать все въ малообъемный фокусъ и двумя, тремя яркими чертами, часто даже однимъ эпитетомъ, обозначать вдругъ событіе и народъ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся плодомъ одной счастливой минуты, одного внезапнаго вдохновенія, и такъ исполнены рѣзкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на умъ опредѣлившему себя на долгое, глубокое изслѣдованіе, выключая только, если этотъ изслѣдователь будетъ самъ Шлецеръ. Онъ не былъ историкъ, и я думаю даже, что онъ не могъ быть историкомъ. Его мысли слишкомъ отрывисты, слишкомъ горячи, чтобы улечься

въ гармоническую, стройную текучесть повѣствованія. Онъ анализировалъ міръ и всё отжившіе и живущіе народы, а не описывалъ ихъ; онъ разсѣкалъ весь міръ анатомическимъ ножомъ, рѣзалъ и дѣлилъ на массивныя части, располагалъ и отдѣлялъ народы такимъ же образомъ, какъ ботаникъ распредѣляетъ растенія по извѣстнымъ ему признакамъ. И оттого начертаніе его исторіи, казалось бы, должно быть слишкомъ скелетнымъ и сухимъ; но, къ удивленію, все у него сверкаетъ такими рѣзкими чертами, могущественный ударъ его глаза такъ вѣренъ, что, читая этотъ сжатый эскизъ міра, замѣчаешь съ изумленіемъ, что собственное воображеніе горитъ, расширяется и дополняетъ все по такому же самому закону, который опредѣлилъ Шлецеръ однимъ всемогущимъ словомъ; иногда оно стремится еще далѣе, потому что ему указана смѣлая дорога. Будучи однимъ изъ первыхъ тревожныхъ мыслей о величіи и истинной цѣли всеобщей исторіи, онъ долженствовалъ быть непремѣнно гениемъ оппозиціоннымъ. Это положеніе сообщило ему сильную энергію, жаръ и даже досаду на близорукость предшественниковъ, прорывающіеся очень часто въ его сочиненіяхъ. Онъ уничтожаетъ ихъ однимъ громовымъ словомъ, и въ этомъ одномъ словѣ соединяется наслажденіе, и сардоническая усмѣшка надъ пораженнымъ, и вмѣстѣ несокрушимая правда; его, справедливѣе нежели Канта, можно назвать все сокрушающимъ. Всегда дѣйствующіе въ оппозиціонномъ духѣ слишкомъ увлекаются своимъ положеніемъ и въ энтузіастическомъ порывѣ держатся только одного правила — противорѣчить всему прежнему. Въ этомъ случаѣ нельзя упрекнуть Шлецера: германскій духъ его сталъ неколебимъ на своемъ мѣстѣ. Онъ — какъ строгій, всезрящій судія; его сужденія рѣзки, коротки и справедливы. Можетъ-быть, нѣкоторымъ покажется страннымъ, что я говорю о Шлецерѣ, какъ о великомъ зодчемъ всеобщей исторіи, тогда какъ его мысли и труды по этой части улеглись въ небольшой книжкѣ, изданной имъ для студентовъ; но эта маленькая книжка принадлежитъ къ числу тѣхъ, читая которыя, кажется, читаешь цѣлые томы; ее можно сравнить съ небольшимъ окошкомъ, къ которому приставивши глазъ поближе можно увидѣть весь міръ. Онъ вдругъ осѣняетъ

свѣтомъ и показывается, какъ нужно понять, и тогда самъ собою наконецъ видишь все.

Миллеръ представляетъ собою историка совершенно въ другомъ родѣ. Спокойный, тихій, размышляющій, онъ представляетъ противоположность Шлецеру. Онъ съ какою-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слогъ не блеститъ тѣмъ рѣзкимъ отличіемъ, какимъ означенъ слогъ Шлецера; нѣтъ тѣхъ порывовъ, того мѣткого лаконизма, какими исполненъ Шлецеръ. Онъ не схватываетъ вдругъ, за однимъ взглядомъ, всего и не сжимаетъ его мощною рукою, но онъ изслѣдываетъ все, находящееся въ мірѣ, спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и поспѣшности, съ какою выражается авторъ, опасаясь, чтобъ у него не перехватилъ кто-нибудь мысли и не предупредилъ его. Слово „изслѣдованіе“ весьма идетъ къ его стилю; его повѣствованіе именно изслѣдовательное. Какъ человѣкъ государственный, онъ болѣе всего занимается изложеніемъ формъ правленія и законовъ существующихъ и минувшихъ государствъ, но онъ не предпочитаетъ эту сторону до такой степени, чтобъ оставить совершенно въ тѣни всѣ другія, къ чему способенъ бываетъ историкъ односторонній и чего не могъ избѣжать и Геренъ; напротивъ того, онъ обращаетъ вниманіе и на все сопредѣльное. Все, чтѣ не ясно въ исторіи, что менѣе разоблачено, все это болѣе другого подвергается его изслѣдованію. Замѣтно даже, что онъ охотнѣе занимается временами первобытными и вообще тѣми эпохами, когда народъ еще не былъ подверженъ образованности и порокамъ, сохранялъ свои простые нравы и независимость. Это время изображаетъ онъ съ ясною подробностію, съ тихимъ жаромъ, какъ будто позабываясь и воображая видѣть себя среди своихъ добрыхъ Швейцарцевъ. Главный результатъ, царствующій въ его исторіи, есть тотъ, что народъ тогда только достигаетъ своего счастья, когда сохраняетъ свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость. Вездѣ въ немъ видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь къ свободѣ проникаетъ все его твореніе. Мысль о единствѣ и нераздѣльной цѣлости не служитъ такою цѣлью,

къ которой бы явно устремлялось его повѣствованіе; онъ даже никогда не говоритъ о немъ, но единство чувствуется въ цѣломъ твореніи, несмотря на то, что онъ, кажется, забываетъ вовсе дѣла всего міра, занявшись однимъ народомъ. Исторія его не состоитъ изъ непрерывной движущейся цѣпи происшествій; драматическаго искусства въ немъ нѣтъ; вездѣ видѣнъ размышляющій мудрецъ. Онъ не высказываетъ слишкомъ ярко своихъ мыслей: онъ у него таятся такъ скромно, иногда въ такомъ незамѣтномъ угольѣ, что не ищущій не найдетъ ихъ никогда; но зато онъ такъ высоки и глубоки, что открывшему ихъ открывается, по выраженію Вагнера въ Фаустѣ, на землѣ небо. Этотъ скромный, незамѣтный слогъ его и отсутствіе ослѣпляющей яркости производятъ въ душѣ невольное сожалѣніе: чрезъ него Миллеръ очень мало извѣстенъ, или, лучше сказать, не такъ извѣстенъ, какъ долженъ бы быть. Одни сильно проникнутые мыслью о исторіи и способные къ тонкому развитію могутъ только вполне понимать его, другимъ же онъ кажется легкимъ и неглубокомысленнымъ.

Гердеръ представляетъ совершенно отличный образъ возрѣнія. Онъ видитъ уже совершенно духовными глазами. У него владычество идея вовсе поглощаетъ осязательныя формы. Вездѣ онъ видитъ одного человѣка, какъ представителя всего человечества. Онъ выпытываетъ глубоко, вдохновенно, какъ браминъ природы, — названіе, которое придаютъ ему Нѣмцы. У него крупнѣе группируются событія, его мысли всё высоки, глубоки и всемірны. Онъ у него являются мало соединенными съ видимою природою и какъ-будто извлеченными изъ одного только чистаго ея горнила. Отъ того онъ у него не имѣютъ исторической осязательности и видимости. Если событіе колоссально и заключается въ идеѣ, — оно у него развертывается все, со всеми своими сокровенными явленіями; но если слишкомъ коснулось жизни и прагматическаго, оно у него не получаетъ опредѣленнаго колорита. Если онъ нисходитъ до частныхъ лицъ и дѣятелей исторіи, они у него не такъ ярки, какъ общія группы, они принимаютъ слишкомъ общую физиогномію; они у него или добрые, или злые; всё безчисленные оттѣнки характеровъ, все смѣ-

шеніе и разнообразіе качествъ, познаніе которыхъ достается въ удѣлъ взирающему съ недовѣрчивостью на другихъ, всѣ эти отгѣнки у него исчезли. Онъ мудрецъ въ познаніи идеальнаго человѣка и человѣчества, но младенецъ въ познаніи человѣка, по весьма естественному ходу вещей, какъ всегда мудрецъ бываетъ великъ въ своихъ мысляхъ и невѣжда въ мелочныхъ занятіяхъ жизни. Какъ поэтъ, онъ выше Шлецера и Миллера. Какъ поэтъ, онъ все создаетъ и перевариваетъ въ себѣ, въ своемъ уединенномъ кабинетѣ, полный высшаго откровенія, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. Не высокое и прекрасное вырываются часто изъ низкой и презрѣнной жизни, или же вызываются натискомъ тѣхъ безчисленныхъ и разнохарактерныхъ явленій, которыя безпрестанно пестрятъ жизнь человѣческую, и которыхъ познаніе рѣдко дается отвлеченному отъ жизни мудрецу. Стиль его болѣе нежели у кого другаго исполненъ живописи и широкаго размѣра, потому что онъ поэтъ и этимъ рѣзко отличается отъ Миллера, философа-законодателя, всегда спокойнаго и размышляющаго, и Шлецера, философа-критика, всегда почти рѣзкаго и недовольнаго.

Мнѣ кажется, что еслибы глубокость результатовъ Гердера, нисходящихъ до самаго начала человѣчества, соединить съ быстрымъ, огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательною, расторопною мудростію Миллера, тогда бы вышелъ такой историкъ, который бы могъ написать всеобщую исторію. Но при всемъ томъ, ему бы еще много кое-чего не доставало: ему бы недоставало высокаго драматическаго искусства, котораго не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумѣю, однакожь, подъ словомъ драматическаго искусства не то искусство, которое состоитъ въ умѣнни вести разговоръ, но въ драматическомъ интересѣ всего творенія, который сообщилъ бы ему неодолимую увлекательность, тотъ интересъ, который иногда дышетъ въ историческихъ отрывкахъ Шиллера и особенно въ *Тридцатимѣтной Войнѣ*, и который отличается почти всякое немногосложное происшествіе. Я бы къ этому присоединилъ еще въ нѣкоторой степени занимательность разсказа Вальтера-Скотта и его умѣнне замѣчать

самые тонкіе оттѣнки: къ этому присоединилъ бы шекспировское искусство развѣивать крупныя черты характеровъ въ тѣсныхъ границахъ, и тогда бы, мнѣ кажется, составилъ такой историкъ, какого требуетъ всеобщая исторія. Но до того времени Миллеръ, Шлецеръ и Гердеръ долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много освѣтили всеобщую исторію, и если въ нынѣшнее время мы имѣемъ нѣсколько замѣчательныхъ сочиненій, то этимъ обязаны имъ однимъ.

1832.



НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ.

П О В Ъ С Т Ъ .

Нѣтъ ничего лучше Невскаго проспекта, по крайней мѣрѣ въ Петербургѣ: для него онъ составляетъ все. Чѣмъ не блеститъ эта улица-красавица нашей столицы? Я знаю, что ни одинъ изъ блѣдныхъ и чиновныхъ ея жителей не промѣняетъ на всѣ блага Невскаго проспекта. Не только, кто имѣетъ двадцать пять лѣтъ отъ роду, прекрасные усы и удивительно шитый сюртукъ, но даже тотъ, у кого на подбородкѣ высказываютъ бѣлые волосы и голова гладка, какъ серебряное блюдо, и тотъ въ восторгѣ отъ Невскаго проспекта. А дамы? О, дамамъ еще больше пріятенъ Невскій проспектъ! Да и кому же онъ непріятенъ. Едва только взойдешь на Невскій проспектъ, какъ уже пахнетъ однимъ гуляньемъ. Хотя бы имѣлъ какое-нибудь нужное, необходимое дѣло, но, взошедши на него, вѣрно позабудешь о всякомъ дѣлѣ. Здѣсь единственное мѣсто, гдѣ показываются люди не по необходимости, куда не загнала ихъ надобность и меркантильный интересъ, объемлющій весь Петербургъ. Кажется, человѣкъ, встрѣченный на Невскомъ проспектѣ, менѣе эгоистъ, нежели въ Морской, Гороховой, Литейной, Мѣщанской и другихъ улицахъ, гдѣ жадность, и корысть, и надобность, выражаются на идущихъ и летящихъ въ каретахъ и на дрожкахъ. Невскій проспектъ есть всеобщая коммуникація Петербурга. Здѣсь житель Петербургской, или Выборгской части, нѣсколько лѣтъ не бывавшій у своего пріятеля на Пескахъ, или у Московской заставы, можетъ быть увѣренъ, что встрѣтится съ нимъ непре-

гъбно. Никакой адресъ-календарь и справочное мѣсто не до-
 ставять такого вѣрнаго извѣстія, какъ Невскій проспектъ. Все-
 могущій Невскій проспектъ! Единственное развлеченіе бѣднаго
 на гулянье Петербурга! Какъ чисто подметены его тротуары,
 и, Боже, сколько ногъ оставило на немъ слѣды свои! И неуклю-
 жій грязный сапогъ отставнаго солдата, подъ тяжестью котораго
 кажется, трескается самый гранитъ, и миниатюрный, легкій какъ
 дымъ, башмачокъ молоденькой дамы, обращающей свою головку
 въ блестящимъ окнамъ магазина, какъ подсолнечникъ въ солнцу,
 и гремящая сабля исполненнаго надеждъ прапорщика, прово-
 дящая по немъ рѣзкую царапину — все вымѣщаетъ на немъ мо-
 гущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совер-
 шается на немъ фантазмагорія въ теченіе одного только дня!
 Сколько вытерпитъ онъ перемѣнъ въ теченіе однихъ сутокъ!
 Начнемъ съ самаго ранняго утра, когда весь Петербургъ пахнетъ
 горячими, только-что выпеченными хлѣбами и наполненъ стару-
 хаи въ изодранныхъ платьяхъ и салопахъ, совершающихъ свои
 набѣды на цѣркви и на сострадательныхъ прохожихъ.

Тогда Невскій проспектъ пустъ: плотные содержатели мага-
 зиновъ и ихъ комми еще спятъ въ своихъ голландскихъ рубаш-
 кахъ, или мылятъ свою благородную щеку и пьютъ кофе; ни-
 щіе собираются у дверей кандитерскихъ, гдѣ сонный ганимедъ,
 летавшій вчера какъ муха съ шеколадомъ, вылѣзаетъ съ метлой
 въ рукѣ, безъ галстука и швыряетъ имъ черствые пироги и объ-
 ѣдки. По улицамъ плетется нужный народъ; иногда переходятъ
 ее русскіе мужики, спѣшащіе на работу, въ сапогахъ, запачкан-
 ныхъ известью, которыхъ Екатерининскій каналъ, извѣстный
 своею чистотою, не въ состояніи бы былъ обмыть. Въ это время
 обыкновенно неприлично ходить дамамъ, потому что русскій на-
 родъ любитъ изъясняться такими рѣзкими выраженіями, какихъ
 онъ, вѣрно, не услышать даже въ театрѣ. Иногда сонный чи-
 новникъ проплетется съ портфелемъ подъ мышкою, если черезъ
 Невскій проспектъ лежитъ ему дорога въ департаментъ. Можно
 сказать рѣшительно, что въ это время, т. е. до 12 часовъ, Нев-
 скій проспектъ не составляетъ ни для кого цѣли, онъ служитъ
 только средствомъ: онъ постепенно наполняется лицами, имѣю-

щими свои занятія, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о немъ. Русскій мужикъ говоритъ о гривнѣ, или о семи грошахъ мѣди, старики и старухи размахиваютъ руками или говорятъ сами съ собою, иногда съ довольно разительными жестами, но никто ихъ не слушаетъ и не смѣется надъ ними, выключая только развѣ мальчишекъ въ пестрядевыхъ халатахъ, съ пустыми штофами, или готовыми сапогами въ рукахъ, бѣгущихъ молніями по Невскому проспекту. Въ это время, что бы вы на себя ни надѣли, хотя бы даже вмѣсто шляпы картузь былъ у васъ на головѣ, хотя бы воротнички слишкомъ далеко высунулись изъ вашего галстуха, — никто этого не замѣтитъ.

Въ 12 часовъ на Невскій проспектъ дѣлаютъ набѣги гувернеры всѣхъ націй съ своими питомцами въ батистовыхъ воротничкахъ. Англійскіе джонсы и французскіе боки идутъ подъ руку съ ввѣренными ихъ родительскому попеченію питомцами и съ приличною солидностію изясняютъ имъ, что вывѣски надъ магазинами дѣлаются для того, чтобы можно было посредствомъ ихъ узнать, что находится въ самыхъ магазинахъ. Гувернантки, блѣдныя миссы и розовыя Славянки идутъ величаво позади своихъ легенькихъ, вертлявыхъ дѣвчонокъ, приказывая имъ поднимать нѣсколько выше плечо и держаться прямѣе; короче сказать, въ это время Невскій проспектъ — педагогическій Невскій проспектъ.

Но чѣмъ ближе къ двумъ часамъ, тѣмъ уменьшается число гувернеровъ-педагоговъ и дѣтей: они, наконецъ, вытѣсняются нѣжными ихъ родителями, идущими подъ руку съ своими сестрами, разноцвѣтными, слабонервными подругами. Мало-по-малу присоединяются къ ихъ обществу всѣ окончившіе довольно важныя домашнія занятія, какъ то: поговорившіе съ своимъ докторомъ о погодѣ и о небольшомъ прыщикѣ, вскочившемъ на носу, узнавшіе о здоровьи лошадей и дѣтей своихъ, впрочемъ показывающихъ большія дарованія, прочитавшіе афишу и важную статью въ газетахъ о пріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ, наконецъ выпившихъ чашку кофею и чаю; къ нимъ присоединяются и тѣ, которыхъ завидная судьба надѣлила благословеннымъ званіемъ чиновниковъ по особымъ порученіямъ; къ нимъ присоединяются и тѣ, которые служатъ въ иностранной коллегіи и

отличаются благородством своихъ занятій и привычекъ. Боже, какія есть прекрасныя должности и службы! какъ онѣ возвышаютъ и улаживаютъ душу! Но, увы, я не служу и лишень удовольствія видѣть тонкое обращеніе съ собою начальниковъ. Все, что вы ни встрѣтите на Невскомъ проспектѣ, все исполнено приличія: мужчины въ длинныхъ сюртукахъ съ заложёнными въ карманы руками, дамы въ розовыхъ, бѣлыхъ и блѣдно-голубыхъ атласныхъ рединготахъ и шляпкахъ. Вы здѣсь встрѣтите баккенбарды единственныя, пропущенныя съ необыкновеннымъ и изумительнымъ искусствомъ подъ галстухъ, баккенбарды бархатныя, атласныя, черныя какъ соболь или уголь, но, увы, принадлежащія только одной иностранной коллегіи. Служащимъ въ другихъ департаментахъ Провидѣніе отказало въ черныхъ баккенбардахъ; они должны, къ величайшей несправедливости своей, носить рыжія. Здѣсь вы встрѣтите усы чудныя, никакимъ перомъ, никакою кистью неизобразимыя; усы, которымъ посвящена лучшая половина жизни, предметъ долгихъ бдѣній во время дня и ночи; усы, на которые излились восхитительнѣйшіе духи и ароматы и которыхъ умастили всѣ драгоцѣннѣйшіе и рѣдчайшіе сорта помады; усы, которые заворачиваются на ночь тонкою велевовой бумагою; усы, къ которымъ дышетъ самая трогательная привязанность ихъ посессоровъ, и которымъ завидуютъ проходящіе. Тысячи сортовъ шляпокъ, платевъ, платковъ, пестрыхъ, легкихъ, къ которымъ иногда въ теченіи цѣлыхъ двухъ дней сохраняется привязанность ихъ владѣтельница, ослѣплять хоть кого на Невскомъ проспектѣ. Кажется, какъ будто цѣлое море мотыльковъ поднялось вдругъ со стеблей и волнуется блестящею тучею надъ черными жуками мужскаго пола. Здѣсь вы встрѣтите такія таліи, какія даже вамъ не снились никогда: тоненькія, узенькія, таліи никакъ не толще бутылочной шейки, встрѣтаясь съ которыми вы почтительно отойдете къ сторонѣ, чтобы какъ-нибудь неосторожно не толкнуть невѣжливымъ локтемъ; сердцемъ вашимъ овладѣетъ робость и страхъ, чтобы какъ-нибудь, отъ неосторожнаго даже дыханія вашего не переломилось прелестнѣйшее произведеніе природы и искусства. А какіе встрѣтите вы дамскіе рукава на Невскомъ проспектѣ! Ахъ, какая

прелесть! Они нѣсколько похожи на два воздухоплавательные шара, такъ что дама вдругъ бы поднялась на воздухъ, еслибы не поддерживалъ ее мужчина; потому что даму также легко и пріятно поднять на воздухъ, какъ подносимый ко рту бокалъ, наполненный шампанскимъ. Нигдѣ при взаимной встрѣчѣ не раскланиваются такъ благородно и непринужденно, какъ на Невскомъ проспектѣ. Здѣсь вы встрѣтите улыбку единственную, улыбку верхъ искусства, иногда такую, что можно растаять отъ удовольствія, иногда такую, что увидите себя вдругъ ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейскаго шпица и поднимете ее вверхъ. Здѣсь вы встрѣтите разговаривающихъ о концертѣ, или о погодѣ, съ необыкновеннымъ благородствомъ и чувствомъ собственнаго достоинства. Тутъ вы встрѣтите тысячу непостижимыхъ характеровъ и явленій. Создатель! какіе странные характеры встрѣчаются на Невскомъ проспектѣ! Есть множество такихъ людей, которые, встрѣтившись съ вами, непременно посмотрятъ на сапоги ваши и, если вы пройдете, они оборотятся назадъ, чтобы посмотрѣть на ваши фалды. Я до сихъ поръ не могу понять, отчего это бываетъ. Сначала я думалъ, что они сапожники, но однабоже ничуть не бывало: они большею частію служатъ въ разныхъ департаментахъ; многіе изъ нихъ превосходнымъ образомъ могутъ написать отношеніе изъ одного казеннаго мѣста въ другое, или же люди, занимающіеся прогулками, чтеніемъ газетъ по кандитерскимъ, — словомъ, большею частью все порядочные люди. Въ это благословенное время отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ по полудни, которое можетъ называться движущеюся столицей Невского проспекта, происходитъ главная выставка всѣхъ лучшихъ произведеній чловѣка. Одинъ показываетъ щегольской сюртукъ съ лучшимъ бобримъ, другой греческій прекрасный носъ, третій несетъ превосходныя бакенбарды, четвертая пару хорошихъ глазокъ и удивительную шляпку, пятый перстень съ талисманомъ на щегольскомъ мизинцѣ, шестая ножку въ очаровательномъ башмакѣ, седьмой — галстухъ, возбуждающій удивленіе, осьмой — усы, повергающіе въ изумленіе. Но бѣтъ три часа, и выставка оканчивается, толпа рѣдѣетъ.

Въ три часа новая перемена. На Невскомъ проспектѣ вдругъ настаетъ весна: онъ покрывается весь чиновниками въ зеленыхъ вицъ-мундирахъ. Голодные титулярные, надворные и прочіе совѣтники стараются всѣми силами ускорить свой ходъ. Молодые коллежскіе регистраторы, губернскіе и коллежскіе секретари спѣшатъ еще воспользоваться временемъ и пройтися по Невскому проспекту съ осанкою, показывавшею, что они вовсе не сидѣли 6 часовъ въ присутствіи. Но старые коллежскіе секретари, титулярные и надворные совѣтники идутъ скоро, потупивши голову: имъ не до того, чтобы заниматься разсматриваньемъ прохожихъ; они еще не вполне оторвались отъ заботъ своихъ; въ ихъ головѣ ералашь и цѣлый архивъ начатыхъ и неоконченныхъ дѣлъ; имъ долго вмѣсто вывѣски показывается картонка съ бумагами, или полное лицо правителя канцеляріи.

Съ четырехъ часовъ Невскій проспектъ пустъ, и врядъ ли вы встрѣтите на немъ хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея изъ магазина перебѣжитъ чрезъ Невскій проспектъ съ коробкою въ рукахъ; какая-нибудь жалкая добыча челолюбиваго повятчика, пущенная по міру во фризовой шинели; какой-нибудь завязшій чудакъ, которому всѣ часы равны; какая-нибудь длинная, высокая Англичанка съ ридикюлемъ и книжкою въ рукахъ; какой-нибудь артельщикъ, русскій челоубъ, въ дешкотоновомъ сюртукѣ съ таміей на спинѣ, съ узенькою бородакой, живущій всю жизнь на живую нитку, въ которомъ все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда онъ учтиво проходитъ по тротуару; иногда низкій ремесленникъ, — больше никого не встрѣтите вы на Невскомъ проспектѣ.

Но какъ только сумерки упадутъ на дома и улицы, и будочникъ, накрывшись рогожею, вскарабкается на лѣстницу зажигать фонарь, а изъ низенькихъ окошекъ магазиновъ выглянутъ тѣ эстампы, которые не смѣютъ показаться среди дня, тогда Невскій проспектъ опять оживаетъ и начинаетъ шевелиться. Тогда настаетъ то таинственное время, когда лампы даютъ всему какой-то заманчивый, чудесный свѣтъ. Вы встрѣтите очень много молодыхъ людей, большею частію холостыхъ, въ теплыхъ сюртукахъ и шинеляхъ. Въ это время чувствуется какая-то цѣль, или,

лучше, что-то похожее на цѣль, что-то чрезвычайное, шаги всѣхъ ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тѣни мелькаютъ по стѣнамъ и мостовой и чуть не достигаютъ головами Полицейскаго моста. Молодые губернскіе регистраторы, губернскіе и коллежскіе секретари, очень долго прохаживаются; но старые коллежскіе регистраторы, титулярные и надворные совѣтники большею частію сидятъ дома, или потому, что этотъ народъ женатый, или потому, что имъ очень хорошо готовятъ кушанье живущія у нихъ въ домахъ кухарки Нѣмки. Здѣсь вы встрѣтите почтенныхъ стариковъ, которые съ такою важностью и съ такимъ удивительнымъ благородствомъ прогуливались въ два часа по Невскому проспекту. Вы ихъ видите бѣгущими такъ же, какъ молодые коллежскіе регистраторы, съ тѣмъ чтобы заглянуть подъ шляпку издали завидѣнной дамы, которой толстыя губы и щеки наштукатуренныя румянами такъ нравятся многимъ гуляющимъ, а болѣе всего сидѣльцамъ, артельщикамъ, купцамъ — всегда, въ нѣмецкихъ сюртукахъ, гуляющихъ цѣлою толпой и обыкновенно подъ руку.

— Стой! закричалъ въ это время поручикъ Пироговъ, дернувъ шедшаго съ нимъ молодаго человѣка во фракъ и плащъ. — Видѣлъ?

— Видѣлъ! чудная, совершенно Перуджинова Біанка.

— Да ты о комъ говоришь?

— Объ ней, о той чтѣ съ темными волосами... И какіе глаза, Боже, какіе глаза! все положеніе и контура, и окладъ лица — чудеса!

— Я говорю тебѣ о блондинкѣ, чтѣ прошла за ней въ ту сторону. Что-жь ты нейдешь за брюнетвою, когда она такъ тебѣ понравилась?

— О, какъ можно! воскликнулъ покраснѣвшій молодой человѣкъ во фракъ. — Какъ будто она изъ тѣхъ, которыя ходятъ ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, продолжалъ онъ, вздохнувши: — одинъ плащъ на ней стоитъ рублей восемьдесятъ!

— Простакъ! закричалъ Пироговъ, насильно толкнувши его въ ту сторону, гдѣ развѣвался яркій плащъ ея: — ступай, про-

стофиля, прозѣваешь! а я пойду за блондинкою. — Оба пріятели разошлись.

„Знаемъ мы васъ всѣхъ,“ думалъ про-себя съ самодовольною и самонадѣянною улыбкой Пироговъ, увѣренный, что нѣтъ красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человѣкъ во фракѣ и плащѣ робкимъ и трепетнымъ шагомъ пошелъ въ ту сторону, гдѣ развѣвался вдали пестрый плащъ, то откидывавшійся яркимъ блескомъ, по мѣрѣ приближенія къ свѣту фонаря, то мгновенно покрывавшійся тьмою по удаленіи отъ него. Сердце его билось, и онъ невольно ускорялъ шагъ свой. Онъ не смѣлъ и думать о томъ, чтобы получить какое-нибудь право на вниманіе улетавшей вдали красавицы, тѣмъ болѣе допустить такую черную мысль, о какой намекалъ ему поручикъ Пироговъ; но ему хотѣлось только видѣть домъ, зажитить, гдѣ имѣеть жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетѣло съ неба прямо на Невскій проспектъ и, вѣрно, улетитъ неизвѣстно куда. Онъ летѣлъ такъ скоро, что сталкивалъ безпрестанно съ тротуара солидныхъ господъ съ сѣдлыми бабенбардами.

Этотъ молодой человѣкъ принадлежалъ къ тому классу, который составляетъ у насъ довольно странное явленіе и столько же принадлежитъ къ гражданамъ Петербурга, сколько лицо, являющееся намъ въ сновидѣніи, принадлежитъ къ существенному міру. Это исключительное сословіе очень необыкновенно въ томъ городѣ, гдѣ все или чиновники, или купцы, или мастеровые Нѣмцы. Это былъ художникъ. Не правда ли, странное явленіе? Художникъ Петербургскій? художникъ въ землѣ снѣговъ, художникъ въ странѣ Финновъ, гдѣ все мокро, гладко, ровно, блѣдно, сѣро, туманно! Эти художники вовсе не похожи на художниковъ итальянскихъ: гордыхъ, горячихъ, какъ Италия и ея небо; напротивъ того, это большею частію добрый, кроткій народъ, застѣнчивый, безпечный, любящій тихо свое искусство, пьющій чай съ двумя пріятелями своими въ маленькой комнатѣ, скромно толкующій о любимомъ предметѣ и вовсе не брегущій объ излишнемъ. Онъ вѣчно зазоветъ къ себѣ какую-нибудь нищую старуху и заставитъ ее просидѣть битыхъ часовъ шесть съ тѣмъ, чтобы перевести на по-

лотно ея жалкую, безчувственную мину. Онъ рисуетъ перспективу своей комнаты, въ которой является всякій художественный вздоръ: гипсовыя руки и ноги, сдѣлавшіяся кофейными отъ времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, пріятель играющій на гитарѣ, стѣны запачканныя красками съ раствореннымъ окномъ, сѣвозъ которое мелькаютъ блѣдная Нева и бѣдные рыбаки въ красныхъ рубашкахъ. У нихъ всегда почти на всемъ сѣренькій, мутный колоритъ — неизгладимая печать сѣвера. При всемъ томъ, они съ истиннымъ наслажденіемъ трудятся надъ своею работою. Они часто питаютъ въ себѣ истинный талантъ, и еслибы только дунуль на нихъ свѣжій воздухъ Италіи, онъ бы вѣрно развился такъ же вольно, широко и ярею, какъ растеніе, которое выносятъ наконецъ изъ комнаты на чистый воздухъ. Они вообще очень робки; звѣзда и толстый эполетъ приводятъ ихъ въ такое замѣшательство, что они невольно понижаютъ цѣну своихъ произведеній. Они любятъ иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на нихъ слишкомъ рѣзкимъ и нѣсколько походить на заплату. На нихъ встрѣтите вы иногда отличный фракъ и запачканный плащъ, дорогой бархатный жилетъ и сюртукъ весь въ краскахъ. Такимъ же самымъ образомъ, какъ на неоконченномъ ихъ пейзажѣ, увидите вы иногда нарисованную внизъ головою нимфу, которую онъ, не найдя другаго мѣста, набросалъ на запачканномъ грунтѣ прежняго своего произведенія, когда-то писаннаго имъ съ наслажденіемъ. Онъ никогда не глядитъ вамъ прямо въ глаза; если же глядитъ, то какъ-то мутно, неопредѣленно; онъ не вонзаетъ въ васъ ястребинаго взора наблюдателя, или соколиного взгляда кавалерійскаго офицера. Это происходитъ отъ того, что онъ въ одно и то же время видитъ и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсоваго Геркулеса, стоящаго въ его комнатѣ, или ему представляется его же собственная картина, которую онъ еще думалъ произвести. Отъ этого онъ отвѣчаетъ часто несвязно, иногда невпопадъ, и мѣшающіеся въ его головѣ предметы еще болѣе увеличиваютъ его робость.

Въ такому роду принадлежалъ описанный нами молодой человекъ, художникъ Пискаревъ, застѣнчивый, робкій, но въ душѣ

своей носившей искры чувства, готовая при удобномъ случаѣ превратиться въ пламя. Съ тайнымъ трепетомъ спѣшилъ онъ за своимъ предметомъ, такъ сильно его поразившимъ, и, казалось, дивился самъ своей дерзости. Незнакомое существо, къ которому такъ прильнули его глаза, мысли и чувства, вдругъ повертило голову и взглянуло на него. Боже, какія божественныя черты! Ослѣпительной бѣлизны прелестнѣйшій лобъ осяненъ былъ прекрасными, какъ агаты, волосами. Они вились эти чудные локоны, и часть ихъ, падая изъ-подъ шляпки, касалась щеки, тронутой тонкимъ, свѣжимъ румянцемъ, проступившимъ отъ вечерняго холода. Уста были замкнуты цѣлымъ роємъ прелестнѣйшихъ грезъ. Все, что остается отъ воспоминанія о дѣтствѣ, что даетъ мечтаніе и тихое вдохновеніе при свѣтящейся лампадѣ, — все это, казалось, совокупилося, слилося и отразилось въ ея гармоническихъ устахъ. Она взглянула на Пискарева, и при этомъ взглядѣ затрепетало его сердце; она взглянула сурово: чувство негодованія проступило у ней на лицѣ при видѣ такого наглого преслѣдованія; но на этомъ прекрасномъ лицѣ и самый гнѣвъ былъ обворожителенъ. Постигнутый стыдомъ и робостью, онъ остановился, потупивъ глаза; но какъ утратить это божество и не узнать даже той святыни, гдѣ оно опустилось гостить! Такія мысли пришли въ голову молодому мечтателю, и онъ рѣшился преслѣдовать. Но, чтобы не дать этого замѣтить, онъ отдалился на дальнее разстояніе, безопасно глядѣлъ по сторонамъ и разсматривалъ вывѣски, а между тѣмъ не упускалъ изъ виду ни одного шага незнакомки. Проходящія рѣже начали мелькать, улица становилась тише, красавица оглянулась, и ему показалось, какъ будто легкая улыбка сверкнула на губахъ ея. Онъ весь задрожалъ и не вѣрилъ своимъ глазамъ. Нѣтъ, это фонарь обманчивымъ свѣтомъ своимъ выразилъ на лицѣ ея подобіе улыбки; нѣтъ, это собственныя мечты смѣются надъ нимъ! Но дыханіе занялось въ его груди, все въ немъ обратилось въ неопредѣленный трепетъ, всѣ чувства его горѣли и все предъ нимъ окунулось какимъ-то туманомъ. Тротуаръ несея подъ нимъ, кареты со скачущими лошадьми казались недвижны, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка ва-

лилась къ нему на встрѣчу, и алебарда часоваго, вмѣстѣ съ золотыми словами вывѣски и нарисованными ножницами, блестя, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ. И все это произвелъ одинъ взглядъ, одинъ поворотъ хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, онъ несея по легкимъ слѣдамъ прекрасныхъ ножекъ, стараясь самъ умѣрить быстроту своего шага, летѣвшаго подъ тактъ сердца. Иногда овладѣвало имъ сомнѣнiе, точно ли выраженiе лица ея было такъ благосклонно, и тогда онъ на минуту останавливался, но сердечное бiенiе, непреодолимая сила и тревога всѣхъ чувствъ стремила его впередъ. Онъ даже не замѣтилъ, какъ вдругъ возвысился предъ нимъ четырехъ-этажный домъ, всѣ четыре ряда оконъ, свѣтившіеся огнемъ, гляннули на него разомъ и перилы у подъѣзда противупоставили ему желѣзныи толчокъ свой. Онъ видѣлъ, какъ незнакомецъ летѣла по лѣстницѣ, оглянулась, положила на губы палецъ и дала знакъ слѣдовать за собою. Колѣни его дрожали; чувства, мысли горѣли; молнiя радости нестерпимымъ остриемъ вонзилась въ его сердце. Нѣтъ, это уже не мечта! Боже, столько счастья въ одинъ мигъ! такая чудесная жизнь въ двухъ минутахъ!

Но не во снѣ ли это все? ужели та, за одинъ небесный взглядъ которой онъ готовъ бы былъ отдать всю жизнь, приблизиться къ жилищу которой уже онъ почиталъ за неизъяснимое блаженство, — ужели та была сейчасъ такъ благосклонна и внимательна къ нему? Онъ взлетѣлъ на лѣстницу. Онъ не чувствовалъ никакой земной мысли; онъ не былъ разогрѣтъ пламенемъ земной страсти, — нѣтъ, онъ былъ въ эту минуту чистъ и непороченъ, какъ дѣвственный юноша, еще дышущій неопредѣленною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы въ развратномъ человѣкѣ дерзкія помышленiя, то самое, напротивъ, еще болѣе освятило ихъ. Это довѣрiе, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это довѣрiе возложило на него обѣтъ строгости рыцарской, обѣтъ рабски исполнять всѣ повелѣнiя ея. Онъ только желалъ, чтобъ эти велѣнiя были какъ можно болѣе трудны и неудобноисполняемы, чтобы съ большимъ напряженiемъ силъ летѣть преодолевать ихъ. Онъ не сомнѣвался, что какое-нибудь тайное и вмѣстѣ важное происшествiе заставило знаком-

ку ему вѣрится; что отъ него, вѣрно, будутъ требоваться значительныя услуги, и онъ чувствовалъ уже въ себѣ силу и рѣшимость на все.

Лѣстница вилась, и вмѣстѣ съ нею вились его быстрыя мечты. „Идите осторожнѣе!“ зазвучалъ, какъ арфа, голосъ и наполнилъ всѣ жилы его новымъ трепетомъ. Въ темной вышинѣ четвертаго этажа незнакома постучала въ дверь; она отворилась, и они вошли вмѣстѣ. Женщина довольно недурной наружности встрѣтила ихъ со свѣчою въ рукѣ, но такъ странно и нагло посмотрѣла на Пискарева, что онъ опустилъ невольно свои глаза. Они вошли въ комнату. Три женскія фигуры въ разныхъ углахъ представились его глазамъ. Одна раскладывала карты; другая сидѣла за фортепіаномъ и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобіе стариннаго полонеза; третья сидѣла предъ зеркаломъ, расчесывая гребнемъ свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входѣ незнакомаго лица. Какой-то неприятный безпорядокъ, который можно встрѣтить только въ безпечной комнатѣ холостяка, царствовалъ во всемъ. Мебели, довольно хорошия, были покрыты пылью; паукъ застилалъ своєю паутиной лѣбною карнизъ; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестѣлъ сапогъ со шпорой и краснѣла выпушка мундира; громкій мужской голосъ и женскій смѣхъ раздавались безъ всякаго принужденія.

Боже, куда зашелъ онъ! Сначала онъ не хотѣлъ вѣрить и началъ пристальнѣе всматриваться въ предметы, наполнявшіе комнату; но голыя стѣны и окна безъ занавѣсъ не показывали никакого присутствія заботливой хозяйки; изношенныя лица этихъ жалкихъ созданій, изъ которыхъ одна сѣла почти передъ его носомъ и такъ же спокойно его разсматривала, какъ пятно на чужомъ платьѣ, все это увѣрило его, что онъ зашелъ въ тотъ отвратительный пріютъ, гдѣ осповалъ свое жилище жалкій развратъ, порожденный мишурною образованностію и страшнымъ многолюдствомъ столицы, — тотъ пріютъ, гдѣ человѣкъ свято-татствено подавилъ и посмѣялся надъ всѣмъ чистымъ и святымъ, украшающимъ жизнь, гдѣ женщина, эта красавица міра, вѣнецъ творенія, обратилась въ какое-то странное, двусмысленное суще-

ство, гдѣ она виѣтъ съ чистотою души лишилась всего женскаго и отвратительно присвоила себѣ ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тѣмъ слабымъ, тѣмъ прекраснымъ и такъ отличнымъ отъ насъ существомъ. Пискаревъ жѣрилъ ее съ ногъ до головы изумленными глазами, какъ бы еще желая увѣриться, та ли это, которая такъ околдовала и унесла его на Невскомъ проспектѣ. Но она стояла передъ нимъ такъ же хороша; волосы ея были такъ же прекрасны; глаза ея казались все еще небесными. Она была свѣжа; ей было только 17 лѣтъ; видно было, что еще недавно достигнувъ ее ужасный развратъ. Онъ еще не смѣлъ коснуться къ ея щекамъ, онѣ были свѣжи и легко оттѣнены тонкимъ румянцемъ, — она была прекрасна.

Онъ неподвижно стоялъ передъ нею и уже готовъ былъ такъ простодушно позабыться, какъ позабылся прежде. Но красавица наскучила такимъ долгимъ молчаніемъ и значительно улыбнулась, глядя ему прямо въ глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости: она такъ была странна и такъ же шла къ ея лицу, какъ идетъ выраженіе набожности рожѣ вяточника, или бухгалтерская книга поэту. Онъ содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькія уста и стала говорить что-то, но все это было такъ глупо, такъ пошло.... Какъ будто виѣтъ съ непорочною оставляетъ и умъ человѣка. Онъ уже ничего не хотѣлъ слышать. Онъ былъ чрезвычайно смѣшонъ и простъ, какъ дитя. Въмѣсто того, чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вмѣсто того, чтобы обрадоваться такому случаю, какому, безъ сомнѣнія, обрадовался бы на его мѣстѣ всякой другой, онъ бросился со всѣхъ ногъ, какъ дикая коза, и выбѣжалъ на улицу.

Повѣсивши голову и опустивши руки, сидѣлъ онъ въ своей комнатѣ, какъ ѣдникъ, нашедшій безцѣнную жемчужину и тут же выронивши ее въ море. „Такая красавица, такія божественныя черты и гдѣ же? въ какомъ мѣстѣ!“... Вотъ все, что онъ могъ выговорить.

Въ самомъ дѣлѣ, никогда жалость такъ сильно не овладѣваетъ нами, какъ при видѣ красоты, тронутой тлетворнымъ дыханіемъ разврата. Пусть бы еще безобразіе дружилось съ нимъ, но красота, красота вѣжная.... она только съ одной непороч-

ностью и чистотой сливается въ нашихъ мысляхъ. Красавица, такъ околдовавшая бѣднаго Пискарева, была дѣйствительно чудесное необыкновенное явленіе. Ея пребываніе въ этомъ презрѣнномъ кругу еще болѣе казалось необыкновеннымъ. Всѣ черты ея были такъ чисто образованы, все выраженіе прекраснаго лица ея было означено такимъ благородствомъ, что никакъ нельзя было думать, чтобы развратъ распустилъ надъ нею страшныя свои когти. Она бы составила неоцѣненный перлъ, весь міръ, весь рай, все богатство страстнаго супруга; она была бы прекрасной, тихой звѣздой въ незамѣтномъ семейномъ кругу и однимъ движеніемъ прекрасныхъ устъ своихъ давала бы сладкія приказанія. Она бы составила божество въ многолюдномъ залѣ, на свѣтломъ паркетѣ при блескѣ свѣчей, при безмолвномъ благоговѣніи толпы поверженныхъ у ногъ ея поклонниковъ; но, увы, она была какою-то ужасною волей адскаго духа, жаждущаго разрушить гармонію жизни, брошена съ хохотомъ въ свою пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидѣлъ онъ передъ нагорѣвшею свѣчою. Уже и полночь давно минула, колоколъ башни билъ половину перваго, а онъ сидѣлъ, неподвижный, безъ сна, безъ дѣятельнаго бдѣнія. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, одинъ только огонь свѣчи просвѣчивалъ сквозь одолевавшія его грезы, какъ вдругъ стукъ у дверей заставилъ его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошелъ лакей въ богатой ливреѣ. Въ его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, при томъ въ такое необыкновенное время.... Онъ недоумѣвалъ и съ нетерпѣливымъ любопытствомъ смотрѣлъ на пришедшаго лакея.

— Та барыня, произнесъ съ учтивымъ поклономъ лакей, — у которой вы изволили за нѣсколько часовъ передъ симъ быть, приказала просить васъ къ себѣ и прислала за вами карету.

Пискаревъ стоялъ въ безмолвномъ удивленіи: карету, лакей въ ливреѣ!... Нѣтъ, здѣсь, вѣрно, есть какая-нибудь ошибка...

— Послушайте, любезный, произнесъ онъ съ робостью, — вы, вѣрно, не туда изволили зайти. Васъ барыня, безъ сомнѣнія, прислала за кѣмъ-нибудь, а не за мною.

— Нѣтъ, сударь, я не ошибся. Вѣдь вы изволили проводить барыню пѣшкомъ къ дому, что въ Литейной, въ комнату четвертаго этажа?

— Я.

— Ну, такъ пожалуйста поскорѣе, барыня непремѣнно желаетъ видѣть васъ и проситъ васъ уже пожаловать прямо къ нимъ на домъ.

Пискаревъ сбѣжалъ съ лѣстницы. На дворѣ точно стояла карета. Онъ сѣлъ въ нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремѣли подъ колесами и копытами — и освѣщенная перспектива домовъ съ яркими вывѣсками понеслась мимо каретныхъ оконъ. Пискаревъ думалъ во всю дорогу и не зналъ, какъ разрѣшить это приключеніе. Собственный домъ, карета, лакей въ богатой ливреѣ... все это онъ никакъ не могъ согласить съ комнатою въ четвертомъ этажѣ, пыльными окнами и разстроеннымъ фортепіаномъ. Карета остановилась передъ ярко-освѣщеннымъ подъѣздомъ, и его разомъ поразили: рядъ экипажей, говоръ кучеровъ, ярко освѣщенный окна и звуки музыки. Лакей въ богатой ливреѣ высадилъ его изъ кареты и почтительно проводилъ въ сѣни съ мраморными колоннами, съ облитымъ золотомъ швейцаромъ, съ разбросанными плащами и шубами, съ яркою лампою. Воздушная лѣстница съ блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверхъ. Онъ уже былъ на ней, уже взошелъ въ первую залу, испугавшись и понятившись съ первымъ шагомъ отъ ужаснаго многолюдства.

Необыкновенная пестрота лицъ привела его въ совершенное замѣшательство; ему казалось, что какой-то демонъ искрошилъ весь міръ на множество разныхъ кусковъ, и всѣ эти куски безъ смысла, безъ толку, смѣшались вмѣстѣ. Сверкающія дамскія плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящія газы, эфирныя ленты и толстый контра-басъ, выглядывавшій изъ-за перилъ великолѣпныхъ хоръ, все было для него блистательно. Онъ увидѣлъ за однимъ разомъ столько почтенныхъ стариковъ и полустариковъ со звѣздами на фракахъ, дамъ такъ легко, гордо и граціозно выстунавшихъ по паркету, или сидѣвшихъ рядами, онъ слышалъ столько словъ французскихъ и англійскихъ; къ

тому же молодые люди въ черныхъ фракахъ были исполнены такого благородства, съ такимъ достоинствомъ говорили и молчали, такъ не умѣли сказать ничего лишняго, такъ величаво шутили, такъ почтительно улыбались, такія превосходныя носили бакенбарды, такъ искусно умѣли показывать отличныя руки, поправляя галстукъ, дамы такъ были воздушны, такъ погружены въ совершенное самодовольство и упоеніе, такъ очаровательно потупляли глаза, — что.... Но одинъ уже смиренный видъ Пискарева, прислонившагося съ боязнію къ колоннѣ, показывалъ, что онъ растерялся вовсе.

Въ это время толпа обступила танцующую группу. Онѣ неслись, увитыя прозрачнымъ созданиемъ Парижа, въ платьяхъ, сотканныхъ изъ самаго воздуха; небрежно касались онѣ блестящими ножками паркета и были болѣе эфирны, нежели еслибы вовсе его не касались. Но одна между ними всѣхъ лучше, роскошнѣе и блистательнѣе одѣта. Невыразимое, самое тонкое сочетаніе вкуса разлилось во всея ея уборѣ, и при всея томъ она, казалось, вовсе о немъ не заботилась, и оно вылилось невольно само собою. Она и глядѣла, и не глядѣла на обступившую толпу зрителей, прекрасныя длинныя рѣсницы опустились равнодушно, и сверкающая бѣлизна лица ея еще ослѣпительнѣе бросилась въ глаза, когда легкая тѣнь осѣнила, при наклонѣ головы, очаровательный лобъ ея.

Пискаревъ употребилъ всѣ усилія, чтобы раздвинуть толпу и разсмотрѣть ее; но къ величайшей досадѣ какая-то огромная голова, съ темными курчавыми волосами, заслоняла ее безпрестанно; притомъ толпа его притиснула такъ, что онъ не смѣлъ податься впередъ, не смѣлъ попятиться назадъ, опасаясь толкнуть какижъ-нибудь образомъ какого-нибудь тайнаго совѣтника. Но вотъ онъ продрался-таки впередъ и взглянулъ на свое платье, желая прилично оправиться. Творецъ Небесный, что это! на немъ былъ сюртукъ и весь запачканный красками! слыша ѣхать, онъ позабылъ даже переодѣться въ пристойное платье. Онъ покраснѣлъ до ушей и, потупивъ голову, хотѣлъ провалиться, но провалиться рѣшительно было некуда: камеръ-юнкеры въ блестящемъ костюмѣ сдвинулись позади его совершенною стѣною. Онъ

уже желалъ быть какъ можно подалѣе отъ красавицы съ прекраснымъ лбомъ и рѣсницами. Со страхомъ поднялъ глаза посмотреть, не глядитъ ли она на него. Боже! она стоитъ передъ нимъ.... Но что это? что это? — Это она! вскрикнулъ онъ почти во весь голосъ. Въ самомъ дѣлѣ, это была она, та самая, которую встрѣтилъ онъ на Невскомъ и которую проводилъ къ ея жилищу.

Она подняла между тѣмъ свои рѣсницы и глянула на всѣхъ своимъ яснымъ взглядомъ. „Ай, ай, ай, какъ хороша!...“ могъ только выговорить онъ съ захватившимся дыханіемъ. Она обвела своими глазами весь кругъ, на-перерывъ жаждавшій остановить ея вниманіе, но съ какимъ-то утомленіемъ и невниманіемъ она скоро отвратила ихъ и встрѣтилась съ глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, Создатель, перенести это, жизнь не вмѣститъ его, онъ разрушить и унести душу! Она подала знакъ, но не рукою, не наклоненіемъ головы, нѣтъ, въ ея сокрушительныхъ глазахъ выразился этотъ знакъ такимъ тонкимъ, незамѣтнымъ выраженіемъ, что никто не могъ его видѣть, но онъ видѣлъ, онъ понялъ его. Танецъ длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала и опять вырывалась, визжала и грѣбѣла; наконецъ — конецъ! Она сѣла, грудь ея воздымалась подъ тонкимъ дымомъ газа; рука ея (Создатель, какая чудесная рука!) упала на колѣни, сжала подъ собою ея воздушное платье, и платье подъ нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкій сиреневый цвѣтъ его еще видѣе означилъ яркую бѣлизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ея — и ничего больше! никакихъ другихъ желаній, — они всѣ дерзки.... Онъ стоялъ у нея за стуломъ, не смѣя говорить, не смѣя дышать. — Вамъ было скучно? произнесла она: — я также скучала. Я замѣчаю, что вы меня ненавидите.... прибавила она, потупивъ свои длинныя рѣсницы.

— Васъ ненавидѣть? мнѣ?... я.... хотѣлъ было произнести совершенно потерявшійся Пискаревъ и наговорилъ бы вѣрно кучу самыхъ несвязныхъ словъ, но въ это время подошелъ камергеръ съ острыми и пріятными замѣчаніями, съ прекраснымъ завитымъ на головѣ хохломъ. Онъ довольно пріятно показывалъ рядъ до-

вольно недурныхъ зубовъ и каждою остротою своею вбивалъ острый гвоздь въ его сердце. Наконецъ кто-то изъ постороннихъ, къ счастью, обратился къ камергеру съ какимъ-то вопросомъ.

— Какъ это несносно! сказала она, поднявъ на него свои небесные глаза. — Я сяду на другомъ концѣ зала; будьте тамъ! Она проскользнула между толпою и исчезла. Онъ, какъ помѣшанный, растолкалъ толпу и былъ уже тамъ.

Такъ, это она! она сидѣла какъ царица, всѣхъ лучше, всѣхъ прекраснѣе, и искала его глазами.

— Вы здѣсь? произнесла она тихо. — Я буду откровенна предъ вами: вамъ, вѣрно, странными показались обстоятельства нашей встрѣчи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать къ тому презрѣнному классу твореній, въ которомъ вы встрѣтили меня? Вамъ кажутся странными мои поступки, но я вамъ открою тайну. Будете ли вы въ состояніи, произнесла она, устремивъ пристально на него глаза свои, — никогда не измѣнить ей?

— О, буду! буду! буду!....

Но въ это время подошелъ довольно пожилой человѣкъ, заговорилъ съ ней на какомъ-то непонятномъ для Пискарева языкѣ и подаль ей руку. Она умоляющимъ взглядомъ посмотрѣла на Пискарева и дала знакъ остаться на своемъ мѣстѣ и ожидать ея прихода, но въ принадлежнѣ нетерпѣнія онъ не въ силахъ былъ слушать никакихъ приказаній, даже изъ ея устъ. Онъ отправился вслѣдъ за нею, но толпа раздѣлила ихъ. Онъ уже не видѣлъ сиреневаго платья, съ безпокойствомъ проходилъ онъ изъ комнаты въ комнату и толкалъ безъ милосердія всѣхъ встрѣчныхъ, но во всѣхъ комнатахъ все сидѣли тузы за вистомъ, погруженные въ мертвое молчаніе. Въ углу комнаты спорило нѣсколько пожилыхъ людей о преимуществѣ военной службы предъ статскою; въ другомъ люди, въ превосходныхъ фракахъ, бросали легкія замѣчанія о многотомныхъ трудахъ поэта-труженика. Пискаревъ чувствовалъ, что одинъ пожилой человѣкъ, съ почтенною наружностью, схватилъ за пуговицу его фрака и представлялъ на его сужденіе одно весьма справедливое его замѣчаніе, но онъ грубо оттолкнулъ его, даже не замѣтивши, что у него на шеѣ былъ довольно значительный орденъ. Онъ перебѣ-

жалъ въ другую комнату — и тамъ нѣтъ ея. Въ третью — тоже нѣтъ. „Гдѣ же она? дайте ее мнѣ! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мнѣ хочется выслушать, что она хотѣла сказать!“ но всѣ поиски его остались тщетными. Безпокойный, утомленный, онъ прижался къ углу и смотрѣлъ на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все въ какомъ-то неясномъ видѣ. Наконецъ ему начали явственно показываться стѣны его комнаты. Онъ поднялъ глаза; предъ нимъ стоялъ подсвѣчникъ съ огнемъ, почти потухавшимъ въ глубинѣ его; вся свѣча истаяла; сало было налито на столъ его.

Такъ это онъ спалъ! Боже, какой сонъ! и зачѣмъ было просыпаться? зачѣмъ было одной минуты не подождать: она бы вѣрно опять явилась! Досадный свѣтъ неприятнымъ своимъ тусклымъ сіяніемъ глядѣлъ въ его окна. Комната въ такомъ сѣромъ, такомъ мутномъ беспорядкѣ.... О, какъ отвратительна дѣйствительность! Что она противъ мечты! Онъ раздѣлся наскоро и легъ въ постель, закутавшись одѣяломъ, желая на мигъ призвать улетѣвшее сновидѣніе. Сонъ точно не замедлилъ къ нему явиться, но представлялъ ему вовсе не то, что бы желалъ онъ видѣть: то поручикъ Пироговъ являлся съ трубкою, то академическій сторожъ, то дѣйствительный статскій совѣтникъ, то голова чухонки, съ которой онъ когда-то рисовалъ портретъ и тому подобная чепуха.

До самаго полудня пролежалъ онъ въ постелѣ, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасныя черты свои, хотя бы на минуту зашумѣла ея легкая походка, хотя бы ея обнаженная, яркая, какъ заоблачный снѣгъ, рука мелькнула передъ нимъ!

Все откинувши, все позабывши, сидѣлъ онъ съ сокрушеннымъ, съ безнадежнымъ видомъ, полный только одного сновидѣнія. Ни къ чему не думалъ онъ притронуться; глаза его безъ всякаго участія, безъ всякой живни, глядѣли въ окно, обращенное во дворъ, гдѣ грязный водовозъ лилъ воду, мерзнувшую на воздухъ, и козлиный голосъ разнощика дребезжалъ: *старая платя продатъ*. Вседневное и дѣйствительное странно поражало его слухъ. Такъ просидѣлъ онъ до самаго вечера и съ жад-

ностию бросился въ постель. Долго боролся онъ съ бессонницею, наконецъ пересилилъ ее. Опять какой-то сонъ, какой-то пошлый, гадкій сонъ. Боже, умилосерди́сь, хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее! Онъ опять ожидалъ вечера, опять заснулъ, опять снился какой-то чиновникъ, который былъ вмѣстѣ и чиновникъ и фаготъ. О, это нестерпимо! Наконецъ она явилась! ея головка и локоны... она глядитъ... О, какъ не надолго! опять туманъ, опять какое-то глупое сновидѣніе.

Наконецъ сновидѣнія сдѣлались его жизнію, и съ этого времени вся жизнь его приняла странный оборотъ: онъ, можно сказать спалъ на яву и бодрствовалъ во снѣ. Еслибъ его кто-нибудь видѣлъ сидящимъ безмолвно предъ пустымъ столомъ, или шедшимъ по улицѣ, то, вѣрно бы, принялъ его за лунатика, или разрушеннаго крѣпкими напитками: взглядъ его былъ вовсе безъ всякаго значенія, природная разсѣянность наконецъ развилась и властительно изгоняла на лицѣ его всѣ чувства, всѣ движенія. Онъ оживлялся только при наступленіи ночи.

Такое состояніе разстроило его силы, и самымъ ужаснымъ мученіемъ было для него то, что наконецъ сонъ началъ его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, онъ употреблялъ всѣ средства возстановить его. Онъ слышалъ, что есть средство возстановить сонъ — для этого нужно принять только опиумъ. Но гдѣ достать этого опиума? Онъ вспомнилъ про одного персіянина, содержавшаго магазинъ шалей, который всегда почти, когда ни встрѣчалъ его, просилъ нарисовать ему красавицу. Онъ рѣшился отправиться къ нему, предполагая, что у него, безъ сомнѣнія, есть этотъ опиумъ.

Персіянинъ принялъ его, сидя на диванѣ и поджавши подъ себя ноги. — На чтѣ тебѣ опиумъ? спросилъ онъ его.

Пискаревъ разсказалъ ему про свою бессонницу.

— Хорошо, я дамъ тебѣ опиума, только нарисуй мнѣ красавицу. Чтобъ хорошая была красавица! чтобы брови были черныя и очи большія, какъ маслины; а я сама, чтобы лежала возлѣ нея и курила трубку! Слышишь, чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискаревъ обѣщалъ все: Персіянинъ на минуту вышелъ и

возвратился съ баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ея въ другую баночку, и далъ Пискареву съ наставленіемъ употреблять не больше, какъ по семи капель въ водѣ. Съ жадностію схватилъ онъ эту драгоценную баночку, которую не отдалъ бы за груды золота, и опрометью побѣжалъ домой.

Пришедши домой, онъ отлил нѣсколько капель въ стаканъ съ водою и, проглотивъ, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она, но уже совершенно въ другомъ видѣ! О, какъ хорошо сидитъ она у окна деревенскаго свѣтлаго домика! нарядъ ея дышетъ такою простотою, въ какую только облекается мысль поэта. Прическа на головѣ... Создатель, какъ проста эта прическа и какъ она идетъ къ ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ея шейкѣ; все въ ней скромно, все въ ней тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Какъ мила ея граціозная походка! какъ музыкаленъ шумъ ея шаговъ и простенькаго платья! какъ хороша рука ея, стиснутая волосянымъ браслетомъ. Она говоритъ ему со слезою на глазахъ: „Не презирайте меня, я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнѣе и скажите: развѣ я способна къ тому, что вы думаете?“ — „О, нѣтъ, нѣтъ! пусть тотъ, кто осмѣлится подумать, пусть тотъ...“

Но онъ проснулся, растроганный, растерзанный, со слезами на глазахъ. „Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила въ мірѣ, а была бы созданіе вдохновеннаго художника! Я бы не отходилъ отъ холста, я бы вѣчно глядѣлъ на тебя и цѣловалъ бы тебя. Я бы жилъ и дышалъ тобою, какъ прекраснѣйшею мечтою, и я бы былъ тогда счастливъ. Никакихъ бы желаній не простиралъ далѣе. Я бы призывалъ тебя, какъ ангела-хранителя, предъ сномъ и бдѣніемъ, и тебя ждалъ я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! что пользы въ томъ, что она живетъ? Развѣ жизнь сумасшедшаго пріятна его родственникамъ и друзьямъ, нѣкогда его любившимъ? Боже, что за жизнь наша! — вѣчный раздоръ мечты съ существенностію!“ Почти такія мысли занимали его безпрестанно. Ни о чемъ онъ не думалъ, даже почти ничего не ѣлъ и съ

нетерпѣніемъ, со страстію любовника, ожидалъ вечера и желаннаго видѣнія. Безпрестанное устремленіе мыслей къ одному наконецъ взяло такую власть надъ всѣмъ бытіемъ его и воображеніемъ, что желанный образъ являлся ему почти каждый день, всегда въ положеніи противоположномъ дѣйствительности, потому что мысли его были совершенно чисты, какъ мысли ребенка. Черезъ эти сновидѣнія самый предметъ какъ-то болѣе дѣлался чистымъ и вовсе преображался.

Приемы опіума еще болѣе раскалили его мысли, и если былъ когда-нибудь влюбленный до послѣдняго градуса безумія, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этотъ несчастный былъ онъ.

Изъ всѣхъ сновидѣній одно было радостнѣе для него всѣхъ. Ему представилась его мастерская! Онъ такъ былъ веселъ, съ такимъ наслажденіемъ сидѣлъ съ палитрою въ рукахъ. И она тутъ же. Она была уже его женою. Она сидѣла возлѣ него, облокотившись прелестнымъ локоткомъ своимъ на спинку его стула, и смотрѣла на его работу. Въ ея глазахъ, томныхъ, усталыхъ, написано было бремя блаженства: все въ комнатахъ его дышало раемъ; было такъ свѣтло, такъ убрано. Создатель! она склонилась къ нему на грудь прелестную свою голову.... Лучшаго сна онъ еще никогда не видывалъ. Онъ всталъ послѣ него какъ-то свѣжѣе и менѣе разсѣянный, нежели прежде. Въ головѣ его родились странныя мысли: „Можетъ-быть“, думалъ онъ, „она вовлечена какимъ-нибудь невольнымъ, ужаснымъ случаемъ въ развратъ; можетъ-быть, движенія души ея склонны къ раскаянію; можетъ-быть, она желала бы сама вырваться изъ ужаснаго состоянія своего. И неужели равнодушно допустить ея гибель и притомъ тогда, когда только стѣитъ подать руку, чтобы спасти ее отъ потопленія.“ Мысли его простирались еще далѣе. „Меня никто не знаетъ“, говорилъ онъ самъ себѣ, „да и кому какое до меня дѣло, да и мнѣ тоже нѣтъ до нихъ дѣла. Если она изъяснитъ чистое раскаяніе и перемѣнитъ жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я долженъ на ней жениться и вѣрно сдѣлаю гораздо лучше, нежели многіе, которые женятся на своихъ ключницахъ и даже часто на самыхъ презрѣнныхъ тваряхъ. Но мой подвигъ

будеть безкорыстенъ и можетъ быть даже великимъ. Я возвращу міру прекраснѣйшее его украшеніе!“

Составивши такой легкомысленный планъ, онъ почувствовалъ краску, вспыхнувшую на его лицѣ; онъ подошелъ къ зеркалу и испугался самъ впаыхъ щекъ и блѣдности своего лица. Тщательно началъ онъ принаряжаться; пріумылся, пригладилъ волосы, надѣлъ новыи фракъ, щегольской жилетъ, набросилъ плащъ и вышелъ на улицу. Онъдохнулъ свѣжимъ воздухомъ и почувствовалъ свѣжесть на сердцѣ, какъ выздоравливающій, рѣшившійся выйти въ первый разъ послѣ продолжительной болѣзни. Сердце его билось, когда онъ подходилъ къ той улицѣ, на которой нога его не была со времени роковой встрѣчи.

Долго онъ искалъ дома; казалось, память ему измѣнила. Онъ два раза прошелъ улицу и не зналъ, передъ которымъ остановиться. Наконецъ, одинъ показался ему похожимъ. Онъ быстро вбѣжалъ на лѣстницу, постучалъ въ дверь: дверь отворилась, и кто же вышелъ къ нему на встрѣчу? Его идеаль, его таинственный образъ, оригиналь мечтательныхъ картинъ, — та, которую онъ жилъ такъ ужасно, такъ страдательно, такъ сладко жилъ, — она сама стояла передъ нимъ. Онъ затрепеталъ, онъ едва могъ удержаться на ногахъ отъ слабости обхваченный порывомъ радости. Она стояла передъ нимъ такъ же прекрасна, хотя глаза ея были заспаны, хотя блѣдность кралась на лицѣ ея, уже не такъ свѣжемъ, но она все была прекрасна.

— А! вскрикнула она, увидавши Пискарева и протирая глаза свои. Тогда было уже два часа. — Зачѣмъ вы убѣжали тогда отъ насъ?

Онъ въ изнеможеніи сѣлъ на стулъ и глядѣлъ на нее.

— А я только-что теперъ проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра. Я была совсѣмъ пьяна, прибавила она съ улыбкой.

О, лучше бы ты была нѣма и лишена вовсе языка, чѣмъ произносить такія рѣчи! Она вдругъ показала ему, какъ въ панорамахъ, всю жизнь ея. Однакожь, несмотря на это, скрѣпившись сердцемъ, рѣшился попробовать онъ, не будутъ ли имѣть надъ нею дѣйствія его увѣщанія. Собравшись съ духомъ, онъ дрожащимъ и вмѣстѣ пламеннымъ голосомъ началъ представлять ей ужасное

ея положеніе. Она слушала его со внимательнымъ видомъ и съ тѣмъ чувствомъ удивленія, которое мы изъясняемъ при видѣ чего-нибудь неожиданнаго и страннаго. Она взглянула, легко улыбувшись, на сидѣвшую въ углу свою пріятельницу, которая, оставивши вычищать гребешокъ, тоже слушала со вниманіемъ новаго проповѣдника.

— Правда, я бѣденъ, сказалъ наконецъ послѣ долгаго и поучительнаго увѣщанія Пискаревъ, — но мы станемъ трудиться, мы постараемся, наперерывъ одинъ передъ другимъ, улучшить нашу жизнь. Нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ быть обязану во всемъ самому себѣ. Я буду сидѣть за картинами, ты будешь, сидя возлѣ меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другимъ рукодѣліемъ, и мы ни въ чемъ не будемъ имѣть недостатка.

— Какъ можно! прервала она рѣчь съ выраженіемъ какого-то презрѣнія. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! въ этихъ словахъ выразилась вся низкая, вся презрѣнная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, вѣрныхъ спутниковъ разврата.

— Женитесь на мнѣ! подхватила съ наглýmъ видомъ молчавшая дотогѣ въ углу ея пріятельница. — Если я буду женою, я буду сидѣть вотъ какъ! — При этомъ она сдѣлала какую-то глупую мину на жалкомъ лицѣ своемъ, которою чрезвычайно разсмѣшила красавицу.

О, это уже слишкомъ! этого нѣтъ силъ перенести! Онъ бросился вонъ, потерявши и чувства, и мысли. Умъ его помутился: глупо, безъ цѣли, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродилъ онъ весь день. Никто не могъ знать, ночевалъ онъ гдѣ-нибудь или нѣтъ; на другой только день какимъ-то глухимъ инстинктомъ зашелъ онъ на свою квартиру, блѣдный, съ ужаснымъ видомъ, съ растрепанными волосами, съ признаками безумія на лицѣ. Онъ заперся въ свою комнату и никого не впускалъ, ничего не требовалъ. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконецъ прошла недѣля, и комната все такъ же была заперта. Бросились къ дверямъ, начали звать его, но никакого не было отвѣта; наконецъ выломали

дверь и нашли бездыханный трупъ его съ перерѣзаннымъ горломъ. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутымъ рукамъ и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была невѣрна, и что онъ долго еще мучился, прежде нежели грѣшная душа его оставила тѣло.

Такъ погибъ, жертва безумной страсти, бѣдный Пискаревъ, тихій, робкій, скромный, дѣтски-простодушный, носившій въ себѣ искру таланта, быть-можетъ, со временемъ бы вспыхнувшего широко и ярко! Никто не заплакалъ надъ нимъ; никого не видно было воцлѣ его бездушнаго трупа, кромѣ обыкновенной фигуры квартальнаго надзирателя и равнодушной мины городского лѣвчара. Гробъ его тихо, даже безъ обрядовъ религіи, повезли на Охту; за нимъ, идучи, плакалъ одинъ только солдатъ-сторожъ, и то потому, что выпилъ лишній штофъ водки. Даже поручикъ Пироговъ не пришелъ посмотрѣть на трупъ несчастнаго бѣдняка, которому онъ при жизни оказывалъ свое высокое покровительство. Впрочемъ, ему было вовсе не до того: онъ былъ занятъ чрезвычайнымъ произшествіемъ. Но обратимся къ нему. Я не люблю труповъ и покойниковъ, и мнѣ всегда не пріятно, когда переходить мою дорогу длинная погребальная процессія и инвалидный солдатъ, одѣтый какимъ-то капуциномъ, нюхаетъ лѣвою рукою табакъ, потому что правая занята факеломъ. Я всегда чувствую на душѣ досаду при видѣ богатаго катафалка и бархатнаго гроба, но досада моя смѣшивается съ грустью, когда я вижу, какъ ломовой извозчикъ тащитъ красный, ничѣмъ не покрытый гробъ бѣдняка, и только одна какаля-нибудь нищая, встрѣтившись на перекресткѣ, плетется за нимъ, не имѣя другого дѣла.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на томъ, какъ онъ разстался съ бѣднымъ Пискаревымъ и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное созданье. Она останавливалась передъ каждымъ магазиномъ и заглядывалась на выставленные въ окнахъ кушаки, косынки, серьги, перчатки и другія бездѣлушки, безпрестанно вертѣлась во всѣ стороны и оглядывалась назадъ. „Ты, голубушка, моя!“ — говорилъ съ самоувѣренностію Пироговъ, продолжая свое пре-

слѣдованіе и закутавши лицо свое воротникомъ шинели, чтобы не встрѣтить кого-нибудь изъ знакомыхъ. Но не мѣшаетъ извѣстить читателей, кто таковъ былъ поручикъ Пироговъ.

Но прежде, нежели мы скажемъ, кто таковъ былъ поручикъ Пироговъ, не мѣшаетъ кое-что рассказать о томъ обществѣ, въ которому принадлежалъ Пироговъ. Есть офицеры, составляющіе въ Петербургѣ какой-то средній классъ общества. На вечерѣ, на обѣдѣ у статскаго совѣтника или у дѣйствительнаго статскаго, который выслужилъ этотъ чинъ сороколѣтними трудами, вы всегда найдете одного изъ нихъ. Нѣсколько блѣдныхъ, совершенно безцвѣтныхъ, какъ Петербургъ, дочерей, изъ которыхъ инныя перезрѣли, чайный столикъ, фортепіано, домашніе танцы — все это бываетъ нераздѣльно съ свѣтлымъ эполетомъ, который блестятъ при лампѣ между благонаправной блондинкой и чернымъ фракомъ брата или домашняго знакомаго. Этихъ хладнокровныхъ дѣвицъ чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смѣяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совѣтъ не имѣть никакого искусства. Нужно говорить такъ, чтобы не было ни слишкомъ умно, ни слишкомъ смѣшно, чтобы во всежъ была та мелочь, которую любятъ женщины. Въ этомъ надобно отдать справедливость означеннымъ господамъ. Они имѣютъ особенный даръ заставлять смѣяться и слушать этихъ безцвѣтныхъ красавицъ. Восклицанія, задушаемныя смѣхомъ: „Ахъ, перестаньте! не стыдно ли вамъ такъ смѣшиться!“ бываютъ имъ часто лучшею наградою. Въ высшемъ классѣ они попадаютъ рѣдко или, лучше, никогда. Оттуда они совершенно вытѣснены тѣмъ, что называютъ въ этомъ обществѣ аристократами; впрочемъ, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любятъ потолковать о литературѣ; хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ. Они не пропускаютъ ни одной публичной лекціи, будь она о бухгалтеріи или даже о лѣсоводствѣ. Въ театрѣ, какаѣ бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного изъ нихъ, выключая развѣ, если уже играютъ какія-нибудь „филатки,“ которыми очень оскорбляется ихъ разборчивый вкусъ. Въ театрѣ они безсмѣнно. Это самые выгодные люди для театральной ди-

рекции. Они особенно любятъ въ піесѣ хорошіе стихи, также очень любятъ громко вызывать актеровъ; многіе изъ нихъ, преподавая въ казенныхъ заведеніяхъ, или приготовляя къ казеннымъ заведеніямъ, заводятся наконецъ кабриолетомъ и парю лошадей. Тогда кругъ ихъ становится обширнѣе; они достигаютъ наконецъ до того, что женятся на купеческой дочери, умѣющей играть на фортепіано, съ сотнею тысячъ, или около того, наличныхъ и кучею бородатой родни. Однакожь этой чести они не прежде могутъ достигнуть, какъ выслуживши, по крайней мѣрѣ, до полковничьяго чина, потому что русскія бородки, несмотря на то, что отъ нихъ еще нѣсколько отзывается капустой, никакимъ образомъ не хотятъ видѣть дочерей своихъ ни за кѣмъ, кромѣ генераловъ или, по крайней мѣрѣ, полковниковъ.

Таковы главныя черты этого сорта молодыхъ людей. Но поручикъ Пироговъ имѣлъ множество талантовъ, собственно ему принадлежавшихъ. Онъ превосходно декламировалъ стихи изъ „Дмитрія Донскаго“ и „Горе отъ ума,“ имѣлъ особенное искусство пускать изъ трубки дымъ кольцами, такъ удачно, что вдругъ могъ нанизать ихъ около десяти одно на другое. Умѣлъ очень пріятно рассказать анекдотъ о томъ, что пушка сама по себѣ, а единорогъ самъ по себѣ. Впрочемъ, оно нѣсколько трудно перечесть всѣ таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Онъ любилъ поговорить объ актрисѣ и танцовщицѣ, но уже не такъ рѣзко, какъ обыкновенно изъясняется объ этомъ предметѣ молодой прапорщикъ. Онъ былъ очень доволенъ своимъ чиномъ, въ который былъ произведенъ недавно, и хотя иногда, ложась на диванъ, онъ говорилъ: „Охъ, охъ! суета, все суета; чтò изъ этого, что я поручикъ?“ но въ тайнѣ его очень льстило это новое достоинство; онъ въ разговорѣ часто старался намекнуть о немъ обинякомъ и одинъ разъ, когда попался ему на улицѣ какой-то писарь, показавшійся ему невѣжливымъ, онъ немедленно остановилъ его и въ немногихъ, но рѣзкихъ словахъ далъ замѣтить ему, что передъ нимъ стоялъ поручикъ, а не другой какой офицеръ, — тѣмъ болѣе старался онъ изложить это краснорѣчивѣе, что тогда проходили мимо его двѣ весьма недурныя дамы. Пироговъ вообще показывалъ страсть ко всему изящному и по-

ощрялъ художника Пискарева; впрочемъ, это происходило, можетъ-быть, отъ того, что ему весьма жалалось видѣть мужественную физиогномію свою на портретѣ. Но довольно о качествахъ Пирогова. Человѣкъ такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдругъ всѣхъ его достоинствъ, и чѣмъ болѣе въ него всматриваешься, тѣмъ болѣе является новыхъ особенностей, и описаніе ихъ было бы бесконечно.

Итакъ, Пироговъ не переставалъ преслѣдовать незнакомку, отъ времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвѣчала рѣзко, отрывисто и какими-то недсными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами въ Мѣщанскую улицу, улицу табачныхъ и мелочныхъ лавокъ, Нѣмецъ — ремесленниковъ и чухонскихъ нимфъ. Блондинка бѣжала скорѣе и впорхнула въ ворота одного довольно запачканнаго дома. Пироговъ за нею. Она взбѣжала по узенькой темной лѣстницѣ и вошла въ дверь, въ которую тоже смѣло пробрался Пироговъ. Онъ увидѣлъ себя въ большой комнатѣ съ черными стѣнами, съ закопченнымъ потолкомъ. Куча желѣзныхъ винтовъ, слесарныхъ инструментовъ, блестящихъ кофейниковъ и подсвѣчниковъ была на столѣ: полъ былъ засоренъ мѣдными и желѣзными опилками. Пироговъ тотчасъ смекнулъ, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далѣе въ боковую дверь. Онъ было на минуту задумался, но, слѣдуя русскому правилу, рѣшился идти впередъ. Онъ вошелъ въ комнату, вовсе непохожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяинъ былъ Нѣмецъ. Онъ былъ пораженъ необыкновенно страннымъ видомъ.

Передъ нимъ сидѣлъ Шиллеръ, не тотъ Шиллеръ, который написалъ „Вильгельма Теля“ и „Исторію тридцати-лѣтней войны,“ но извѣстный Шиллеръ, жестяныхъ дѣлъ мастеръ въ Мѣщанской улицѣ. Возлѣ Шиллера стоялъ Гофманъ, не писатель Гофманъ, но довольно хорошій сапожникъ съ Офицерской улицы, большой пріятель Шиллера. Шиллеръ былъ пьянъ и сидѣлъ на стулѣ, топая ногою и говоря что-то съ жаромъ. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положеніе фигуръ. Шиллеръ сидѣлъ, выставивъ свой довольно толстый носъ и поднявши вверхъ голову; а Гофманъ держалъ

его за этотъ носъ двумя пальцами и вертѣлъ лезвеемъ своего сапожническаго ножа на самой его поверхности. Обѣ особы говорили на нѣмецкомъ языкѣ и потому поручикъ Пироговъ, который зналъ по-нѣмецки только „гутъ-моргенъ,“ ничего не понялъ изъ всей этой исторіи. Впрочемъ слова Шиллера заключались вотъ въ чемъ.

„Я не хочу, мнѣ не нуженъ носъ!“ говорилъ онъ, размахивая руками. „У меня на одинъ носъ выходитъ три фунта табаку въ мѣсяць. И я плачу въ русскій скверный магазинъ, потому что нѣмецкій магазинъ не держитъ русскаго табаку, а плачу въ русскій скверный магазинъ за каждый фунтъ по 40 копѣекъ; это будетъ рубль двадцать копѣекъ — это будетъ четырнадцать рублей сорокъ копѣекъ. Слышишь, другъ мой Гофманъ? на одинъ носъ четырнадцать рублей сорокъ копѣекъ! Да по праздникамъ я нюхаю Рапё, потому что я не хочу нюхать по праздникамъ русскій скверный табакъ. Въ годъ я нюхаю два фунта Рапё, по два рубля фунтъ. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорокъ копѣекъ на одинъ табакъ! Это разбой! я спрашиваю тебя, мой другъ Гофманъ, не такъ ли?“ Гофманъ, который самъ былъ пьянъ, отвѣчалъ утвердительно. — „Двадцать рублей сорокъ копѣекъ! Я швабскій Нѣмецъ; у меня есть король въ Германіи. Я не хочу носа! рѣжь мнѣ носъ! вотъ мой носъ!“

И еслибы не внезапное появленіе поручика Пирогова, то безъ всякаго сомнѣнія Гофманъ отрѣзалъ бы ни за что ни про-что Шиллеру носъ, потому что онъ уже привелъ ножъ свой въ такое положеніе, какъ бы хотѣлъ кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдругъ незнакомое, непрошенное лицо такъ некстати ему помѣшалось. Онъ, несмотря на то, что былъ въ упительномъ чаду пива и вина, чувствовалъ, что нѣсколько неприлично въ такомъ видѣ и при такомъ дѣйствіи находиться въ присутствіи посторонняго свидѣтеля. Между тѣмъ Пироговъ слегка наклонился и съ свойственною ему пріятностію сказалъ: „Вы извините меня....“

— Пошелъ вонъ! отвѣчалъ протяжно Шиллеръ.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращеніе ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его

лицѣ, вдругъ пропала. Съ чувствомъ огорченнаго достоинства онъ сказалъ: „Мнѣ странно, милостивый государь... вы, вѣрно, не замѣтили... я офицеръ....“

— Что такое офицеръ?! Я — швабскій Нѣмецъ. Мой самъ (при этомъ Шиллеръ ударилъ кулакомъ по столу) будетъ офицеръ: полтора года юнкеръ, два года поручикъ, и я завтра сейчасъ офицеръ. Но я не хочу служить. Я съ офицеромъ сдѣлаеть такъ: фу!

При этомъ Шиллеръ поставилъ ладонь и фукнулъ на нее.

Поручикъ Пироговъ увидѣлъ, что ему больше ничего не оставалось, какъ только удалиться; однакожь такое обхожденіе, вовсе неприличное его званію, ему было непріятно. Онъ нѣсколько разъ останавливался на лѣстницѣ, какъ бы желая собраться съ духомъ, и подумалъ о томъ, какимъ бы образомъ дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконецъ разсудилъ, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивомъ; въ тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и онъ рѣшился предать это забвенію. На другой день поручикъ Пироговъ рано поутру явился въ мастерской жестяныхъ дѣлъ мастера. Въ передней комнатѣ встрѣтила его хорошенькая блондинка и довольно суровымъ голосомъ, который очень шелъ къ ея личику, спросила: „Что вамъ угодно?“

— А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какіе хорошенькіе глаза!

При этомъ поручикъ Пироговъ хотѣлъ очень мило поднять пальцемъ ея подбородокъ; но блондинка произнесла пугливое восклицаніе и съ тою же суровостію спросила: „Что вамъ угодно?“

— Васъ видѣть, больше ничего мнѣ не угодно, произнесъ поручикъ Пироговъ, довольно пріятно улыбаясь и подступая ближе; но, замѣтивъ, что пугливая блондинка хотѣла проскользнуть въ дверь, прибавилъ: „Мнѣ нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мнѣ сдѣлать шпоры? хотя для того, чтобы любить васъ, вовсе не нужно шпоръ, а скорѣе бы уздечку. Какія миленькія ручки!“

Поручикъ Пироговъ всегда бывалъ очень любезенъ въ изясненіяхъ подобнаго рода.

— Я сейчас позову моего мужа, вскрикнула Нѣмка и ушла, и черезъ нѣсколько минутъ Пироговъ увидѣлъ Шиллера, выходявшаго съ заспанными глазами, едва очнувшася отъ вчерашняго похмѣлья. Взглянувши на офицера, онъ припомнилъ, какъ въ смутномъ снѣ, происшествіе вчерашняго дня. Онъ ничего не помнилъ въ такомъ видѣ, въ какомъ было, но почувствовалъ, что сдѣлалъ какую-то глупость, и потому принялъ офицера съ очень суровымъ видомъ. „Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей,“ произнесъ онъ, желая отдѣлаться отъ Пирогова, потому что ему, какъ честному Нѣмцу, очень совѣстно было смотрѣть на того, кто видѣлъ его въ неприличномъ положеніи. Шиллеръ любилъ пить совершенно безъ свидѣтелей, съ двумя-тремя пріятелями, и запирался на это время даже отъ своихъ работниковъ.

— Зачѣмъ же такъ дорого? ласково сказали Пироговъ.

— Нѣмецкая работа, хладнокровно произнесъ Шиллеръ, поглаживая подбородокъ.—Русскій возмется сдѣлать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я васъ люблю и желаю съ вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей!

Шиллеръ минуту оставался въ размышленіи: ему, какъ честному Нѣмцу, сдѣлалось немного совѣстно. Желая самъ отклонить его отъ заказыванія, онъ объявилъ, что раньше двухъ недѣль не можетъ сдѣлать. Но Пироговъ безъ всякаго прекословія изъявилъ совершенное согласіе.

Нѣмецъ задумался и сталъ размышлять о томъ, какъ бы лучше сдѣлать свою работу, чтобы она дѣйствительно стоила пятнадцати рублей.

Въ это время блондинка вошла въ мастерскую и начала рыться на столѣ, уставленномъ кофейниками. Поручикъ воспользовался задумчивостью Шиллера, подступилъ къ ней и пожалъ ей ручку, обнаженную до самаго плеча.

Это Шиллеру очень не понравилось. „Мейнъ фрау!“ закричалъ онъ.

— Васъ волени дохъ? отвѣчала блондинка.

— Гензи на кухня! — Блондинка удалилась.

— Такъ черезъ двѣ недѣли? сказалъ Пироговъ.

— Да, черезъ двѣ недѣли, отвѣчалъ въ размышленіи Шиллеръ: — у меня теперь очень много работы.

— До свиданія, я къ вамъ зайду!

— До свиданія, отвѣчалъ Шиллеръ, запирая за нимъ дверь.

Поручикъ Пироговъ рѣшился не оставлять своихъ исканій, несмотря на то, что Нѣмка оказала явный отпоръ. Онъ не могъ понять, что можно было ему противиться, тѣмъ болѣе, что любовь его и блестящій чинъ давали полное право на вниманіе. Надобно однакоже сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочемъ, глупость составляетъ особенную прелесть въ хорошенькой женѣ. По крайней мѣрѣ я зналъ много мужей, которые въ восторгѣ отъ глупости своихъ женъ и видятъ въ ней всѣ признаки младенческой невинности. Красота производитъ совершенныя чудеса. Всѣ душевные недостатки въ красавицѣ, вмѣсто того, чтобы произвести отвращеніе, становятся какъ-то необыкновенно привлекательны; самый порокъ дышетъ въ нихъ миловидностью; но исчезни она — и женщинѣ нужно быть въ двадцать разъ умнѣе мужчины, чтобы внушить къ себѣ, если не любовь, то по крайней мѣрѣ уваженіе. Впрочемъ, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда вѣрна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успѣть въ смѣломъ своемъ предпріятіи; но съ побѣдою препятствій всегда соединяется наслажденіе, и блондинка становилась для него интереснѣе день ото дня. Онъ началъ довольно часто освѣдомляться о шпорахъ, такъ что Шиллеру это наконецъ наскучило. Онъ употреблялъ усилія, чтобы окончить скорѣе начатныя шпоры; наконецъ шпоры были готовы.

— Ахъ, какая отличная работа! закричалъ поручикъ Пироговъ, увидѣвши шпоры. — Господи, какъ это хорошо сдѣлано! У нашего генерала нѣтъ эдакихъ шпоръ!

Чувство самодовольствія распустилось по душѣ Шиллера. Глаза его начали глядѣть довольно весело и онъ совершенно примирился съ Пироговымъ. „Русскій офицеръ — умный человекъ,“ думалъ онъ самъ про себя.

— Такъ вы, стало-быть, можете сдѣлать и оправу, напри-
мѣръ, къ кинжалу или другимъ вещамъ?

— О, очень могу! сказалъ Шиллеръ съ улыбкою.

— Такъ сдѣлайте мнѣ оправу къ кинжалу. Я вамъ принесу, у меня очень хорошій турецкій кинжалъ, но мнѣ бы хотѣлось оправу къ нему сдѣлать другую.

Шиллера это какъ бомбоюхватило. Лобъ его вдругъ наморщился. „Вотъ тебѣ на!“ подумалъ онъ про-себя, внутренно ругая себя за то, что накликалъ самъ работу. Отказаться онъ почиталъ уже безчестнымъ; притомъ же русскій офицеръ похвалялъ его работу. — Онъ, нѣсколько покачавши головою, изъявилъ свое согласіе; но поцѣлуй, который, уходя, Пироговъ вѣлпилъ нахально въ самыя губки хорошенькой блондинки, повергъ его въ совершенное недоумѣніе.

Я почитаю не излишнимъ познакомить читателя нѣсколько покороче съ Шиллеромъ. Шиллеръ былъ совершенный Нѣмецъ, въ полномъ смыслѣ всего этого слова. Еще съ двадцати-лѣтняго возраста, съ того счастливаго времени, которое Русскій живетъ на фуфу, уже Шиллеръ размѣрилъ всю свою жизнь и никакого ни въ какомъ случаѣ не дѣлалъ исключенія. Онъ положилъ вставать въ семь часовъ, обѣдать въ два, быть точнымъ во всемъ и быть пьянымъ каждое воскресенье. Онъ положилъ себѣ, въ теченіе 10 лѣтъ составить капиталъ изъ пятидесяти тысячъ, и уже это было такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели Нѣмецъ рѣшится перемѣнить свое слово. Ни въ какомъ случаѣ не увеличивалъ онъ своихъ издержекъ, и если цѣна на картофель слишкомъ поднималась противъ обыкновеннаго, онъ не прибавлялъ ни одной копѣйки, но уменьшалъ только количество, и хотя оставался иногда нѣсколько голоднымъ, но однакоже привыкалъ къ этому. Аккуратность его простиралась до того, что онъ положилъ цѣловать жену свою въ сутки не болѣе двухъ разъ, а чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, онъ никогда не клалъ перцу болѣе одной ложечки въ свой супъ; впрочемъ въ воскресный день это правило не такъ строго исполнялось, потому что Шиллеръ выпивалъ тогда двѣ бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую однакоже онъ всегда бранилъ. Пилъ онъ вовсе не такъ,

какъ Англичанинъ, который тотчасъ послѣ обѣда запираетъ дверь на крючокъ и нарѣзывается одинъ. Напротивъ, онъ, какъ Нѣмецъ, пилъ всегда вдохновенно, или съ сапожникомъ Гофманомъ, или со столяромъ Кунцомъ, тоже Нѣмцомъ и большимъ пьяницею. Таковъ былъ характеръ благороднаго Шиллера, который наконецъ былъ приведенъ въ чрезвычайно затруднительное положеніе. Хотя онъ былъ флегматикъ и Нѣмецъ, однакожь поступки Пирогова возбудили въ немъ что-то похожее на ревность. Онъ ломалъ голову и не могъ придумать, какимъ образомъ ему избавиться отъ этого русскаго офицера. Между тѣмъ, Пироговъ, куря трубку въ кругу своихъ товарищей, потому что ужъ такъ Провидѣніе устроило, что гдѣ офицеры, тамъ и трубки, — куря трубку въ кругу своихъ товарищей, намекалъ значительно и съ пріятною улыбкою объ интрижкѣ съ хорошенькою Нѣмкою, съ которою, по словамъ его, онъ уже совершенно былъ накороткѣ и которую онъ на самомъ дѣлѣ едва ли не терялъ уже надежды превлорить на свою сторону.

Въ одинъ день прохаживался онъ по Мѣщанской, поглядывая на домъ, на которомъ красовалась вывѣска Шиллера съ кофейниками и самоварами; къ величайшей радости своей увидѣлъ онъ головку блондинки, свѣсившуюся въ окошко и разглядывавшую прохожихъ. Онъ остановился, сдѣлалъ ей ручкою и сказалъ *гуть моренъ*. Блондинка поклонилась ему какъ знакомому.

— Чтò, вашъ мужъ дома?

— Дома, отвѣчала блондинка.

— А когда онъ не бываетъ дома?

— Онъ по воскресеньямъ не бываетъ дома, сказала глупенькая блондинка.

„Это недурно,“ подумалъ про себя Пироговъ; „этимъ можно воспользоваться“ — и въ слѣдующее воскресенье, какъ снѣгъ на голову, явился предъ блондинкою. Шиллера дѣйствительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пироговъ поступилъ на этотъ разъ довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показалъ всю красоту своего гибкаго перетянутого стана. Онъ очень пріятно и учтиво шу-

тилъ, но глупенькая Нѣмка отвѣчала на все односложными словами. Наконецъ, заходявши со всѣхъ сторонъ и видя, что ничто не можетъ занять ее, онъ предложилъ ей танцевать. Нѣмка согласилась въ одну минуту, потому что Нѣмки всегда охотницы до танцевъ. На этомъ Пироговъ очень много основывалъ свою надежду: во-первыхъ, это уже доставляло ей удовольствіе; во-вторыхъ, это могло показать его турнюру и ловкость; въ третьихъ, въ танцахъ ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую Нѣмку и положить начало всему; короче, онъ выводилъ изъ этого совершенный успѣхъ. Онъ началъ какой-то гавоть, зная, что Нѣмкамъ нужна постепенность. Хорошенькая Нѣмка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положеніе такъ восхитило Пирогова, что онъ бросился ее цѣловать. Нѣмка начала кричать и этимъ еще болѣе увеличила свою прелесть въ глазахъ Пирогова. Онъ ее засыпалъ поцѣлуями. Какъ вдругъ дверь отворилась и вошелъ Шиллеръ съ Гофманомъ и столяромъ Кунцомъ. Всѣ эти достойные ремесленники были пьяны, какъ сапожники.

Но я представляю самимъ читателямъ судить о гнѣвѣ и негодованіи Шиллера.

— Грубіянь! закричалъ онъ въ величайшемъ негодованіи; — какъ ты смѣешь цѣловать мою жену? Ты подлець, а не русскій офицеръ. Чортъ побери, мой другъ Гофманъ, я Нѣмецъ, а не русская свинья (Гофманъ отвѣчалъ утвердительно). О! я не хочу имѣть роги! бери его, мой другъ Гофманъ, за воротникъ, я не хочу, — продолжалъ онъ, сильно размахивая руками, при чемъ лицо его было похоже на красное сукно его жилета. — Я восемь лѣтъ живу въ Петербургѣ, у меня въ Швабіи мать моя, и дядя мой въ Нюренбергѣ, я Нѣмецъ, а не рогатая говядина! Прочь съ него все, мой другъ Гофманъ! держи его за рука и нога, камратъ мой Кунцъ!

И Нѣмцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился онъ отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжій народъ изъ всѣхъ петербургскихъ Нѣмцевъ и поступили съ нимъ такъ грубо и невѣжливо, что, признаюсь, я никакъ не нахожу словъ въ изображенію этого печальнаго событія.

Я увѣренъ, что Шиллеръ на другой день былъ въ сильной лихорадкѣ, что онъ дрожалъ какъ листъ, ожидая съ минуты на минуту прихода полиціи, что онъ Богъ знаетъ чего бы не далъ, чтобы все происходившее вчера было во снѣ. Но что уже было, того нельзя перемѣнить. Ничто не могло сравниться съ гнѣвомъ и негодованіемъ Пирогова. Одна мысль о такомъ ужасномъ оскорбленіи приводила его въ бѣшенство. Сибирь и плети онъ почиталъ самымъ малымъ наказаніемъ для Шиллера. Онъ лѣтъ пять былъ дома, чтобы, одѣвшись, оттуда идти прямо къ генералу, описать ему самыми разительными красками буйство нѣмецкихъ ремесленниковъ. Онъ разомъ хотѣлъ подать и письменную просьбу въ Главный Штабъ: если же назначеніе наказанія будетъ неудовлетворительно, тогда идти дальше и дальше.

Но все это какъ-то странно кончилось: по дорогѣ онъ зашелъ въ кондитерскую, съѣлъ два слоеныхъ пирожка, прочиталъ кое-что изъ „Сѣверной Пчелы“ и вышелъ уже не въ столь гнѣвномъ расположеніи. Притомъ, довольно пріятный прохладный вечеръ заставилъ его нѣсколько пройтись по Невскому проспекту, къ 9 часамъ онъ успокоился и нашелъ, что въ воскресенье не хорошо беспокоить генерала; притомъ онъ, безъ сомнѣнія, куда-нибудь отозванъ, и потому онъ отправился на вечеръ къ одному правителю Контрольной Коллегіи, гдѣ было очень пріятное собраніе чиновниковъ и офицеровъ. Тамъ съ удовольствіемъ провелъ вечеръ и такъ отличился въ мазуркѣ, что привелъ въ восторгъ не только дамъ, но даже и кавалеровъ.

„Дивно устроенъ свѣтъ нашъ!“ думалъ я, идя третьяго дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествія. — „Какъ странно, какъ непостижимо играетъ нами судьба наша: получаемъ ли мы когда-нибудь то, чего желаемъ? Достигаемъ ли мы того, къ чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходитъ наоборотъ. Тому судьба дала прекраснѣйшихъ лошадей, и онъ равнодушно катается на нихъ, вовсе не замѣчая ихъ красоты, тогда какъ другой, котораго сердце горитъ лошадиною страстью, идетъ пѣшкомъ и довольствуется только тѣмъ, что пощелкаетъ языкомъ, когда мимо его проводятъ рысака. Тотъ имѣетъ отличнаго повара, но, къ сожалѣнію, такой малень-

кій ротъ, что больше двухъ кусочковъ никакъ не можетъ пропустить; другой имѣеть ротъ величиною въ арку Главнаго Штаба, но, увы, долженъ довольствоваться какимъ-нибудь нѣмецкимъ обѣдомъ изъ картофеля. Какъ странно играетъ нами судьба наша!“

Но страннѣ всего происшествія, случаются на Невскомъ проспектѣ. О, не вѣрьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрѣпче плащомъ своимъ, когда иду по немъ, и стараюсь вовсе не глядѣть на встрѣчающіеся предметы. Все обманъ, все мечта, все не то, чѣмъ кажется. Вы думаете, что этотъ господинъ, который гуляетъ въ отлично сшитомъ сюртучкѣ, очень богатъ, — ничуть не бывало: онъ весь состоитъ изъ своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившіеся передъ строящеюся церковью, судятъ объ архитектурѣ ея, — совсѣмъ нѣтъ: они говорятъ о томъ, какъ странно сѣли двѣ вороны одна противъ другой. Вы думаете, что этотъ энтузіастъ, размахивающій руками, говоритъ о томъ, какъ жена его бросила изъ окна шарикомъ въ незнакомаго ему вовсе офицера, — совсѣмъ нѣтъ: онъ говорилъ о Лафаэтѣ. Вы думаете, что эти дамы.... но дамамъ меньше всего вѣрьте. Менѣе заглядывайте въ окна магазиновъ: бездѣлушки, въ нихъ выставленныя, прекрасны, но пахнутъ страшнымъ количествомъ ассигнацій. Но Боже васъ сохрани заглядывать дамамъ подъ шляпки. Какъ ни развѣивайся вдали плащъ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далѣе, ради Бога далѣе отъ фонаря! и скорѣе, сколько можно скорѣе проходите мимо! Это счастье еще, если отдѣлаетесь тѣмъ, что онъ зальетъ щегольской сюртукъ вашъ вонючимъ своимъ масломъ. Но и кромѣ фонаря все дышетъ обманомъ. Онъ лжетъ во всякое время, этотъ Невскій проспектъ, но болѣе всего тогда, когда ночь сгущенною массой наляжетъ на него и отдѣлитъ бѣлыя и палевыя стѣны домовъ, когда весь городъ превратится въ громъ и блескъ, міриады каретъ валяются съ мостовъ, форейторы кричатъ и прыгаютъ на лошадяхъ, и когда самъ демонъ зажигаетъ лампы для того только, чтобы показать все не въ настоящемъ видѣ.

О МАЛОРОССІЙСКИХЪ ПѢСНЯХЪ *).

Только въ послѣдніе годы, въ эти времена стремленія къ са-
мобытности и собственной народной поэзіи, обратили на себя
вниманіе малороссійскія пѣсни, бывшія до того скрытыми отъ
образованнаго общества и державшіяся въ одномъ народѣ. До
того времени одна только очаровательная музыка ихъ изрѣдка
заносила въ высшій кругъ, слова же оставались безъ вниманія
и почти ни въ комъ не возбуждали любопытства. Даже музыка
ихъ не появлялась никогда вполнѣ. Бездарный композиторъ без-
жалостно разрывалъ ее и клеилъ въ свое безчувственное, дере-
вянное созданіе **). Но лучшія пѣсни и голоса слышали только
однѣ украинскія степи. Только тамъ, подъ сѣнью низенькихъ
глиняныхъ хатъ, увѣнчанныхъ шелковицами и черешнями, при
блескѣ утра, полудня и вечера, при лимонной желтизнѣ падаю-
щихъ колосьевъ пшеницы, онѣ раздаются, прерываемыя однѣми
степными чайками, вереницами жаворонковъ и стелющимися ивол-
гами.

Я не распространяюсь о важности народныхъ пѣсень. Это на-
родная исторія, живая, ярая, исполненная красокъ, истины,
обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была дѣятельна,
разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтическаго, и онъ
при всей многосторонности ея не получилъ высшей цивилизаціи,

*) Статья эта была первоначально помѣщена въ „Журналѣ Мин. Народ. Просв.“,
(ч. 1-я 1834 г.).

Прим. Грушковскаго.

**) Впрочемъ, любители музыки и поэзіи могутъ нѣсколько утѣшиться: недавно
издано прекрасное собраніе пѣсень Максимовичемъ, и при немъ голоса, перело-
женные Алябьевымъ.

Прим. Гоголя.

то весь пылъ, все сильное, юное бытіе его выливается въ народныхъ пѣсняхъ. Онѣ — надгробный памятникъ былого, болѣе нежели надгробный памятникъ: камень съ краснорѣчивымъ рельефомъ, съ историческою надписью — ничто противъ этой живой, говорящей, звучащей о прошедшемъ лѣтописи. Въ этомъ отношеніи пѣсни для Малороссіи — все: и поэзія, и исторія, и отцовская могила. Кто не проникнулъ въ нихъ глубоко, тотъ ничего не узнаетъ о прошедшемъ бытѣ этой цвѣтущей части Россіи. Историкъ не долженъ искать въ нихъ показанія дня и числа битвы или точнаго объясненія мѣста, вѣрной реляціи; въ этомъ отношеніи немногія пѣсни помогутъ ему. Но когда онъ захочетъ узнать вѣрный бытъ, стихіи характера, всѣ изгибы и оттѣнки чувствъ, волненій, страданій, веселій изображаемаго народа, когда захочетъ выпытать духъ минувшаго вѣка, общій характеръ всего цѣлаго и порознь каждаго частнаго, тогда онъ будетъ удовлетворенъ вполне: исторія народа разоблачится предъ нимъ въ ясномъ величіи.

Пѣсни малороссійскія могутъ вполне назваться историческими, потому что онѣ не отрываются ни на мигъ отъ жизни и всегда вѣрны тогдашней минутѣ и тогдашнему состоянію чувствъ. Вездѣ проникаетъ ихъ, вездѣ въ нихъ дышетъ эта широкая воля козацкой жизни. Вездѣ видна та сила, радость, могущество, съ какою козакъ бросаетъ тишину и безпечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзію битвъ, опасностей и разгульнаго пиршества съ товарищами. Ни чернобровая подруга, пылающая свѣжестью, съ карими очами, съ ослѣпительнымъ блескомъ зубовъ, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарѣлая мать, разливающаяся какъ ручей слезами, которой всѣмъ существованіемъ завладѣло одно материнское чувство — ничто не въ силахъ удержать его. Упрямый, непреклонный, онъ спѣшитъ въ степи, въ вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьевъ, — все замѣняетъ ватага гульливыхъ рыцарей набѣговъ. Узы этого братства для него выше всего, сильнѣе любви. Сверкаетъ Черное море; вся чудесная, неизмѣримая степь отъ Тамани до Дуная — дикій океанъ цвѣтовъ колыхнется однимъ налетомъ вѣтра; въ безпредѣльной глубинѣ неба тонуть

лебеди и журавли; умирающій козакъ лежитъ среди этой свѣжести дѣвственной природы и собираетъ всѣ силы, чтобъ не умереть, не взглянувъ еще разъ на своихъ товарищей.

То ще добре козацька голова знала,
Що безъ війска козацького не вмирала.

Увидѣвши ихъ, онъ насыщается и умираетъ. Выступаетъ ли козацкое войско въ походъ съ тишиною и повиновеніемъ, извергается ли изъ самопаловъ потоппъ дыма и пуль, кружится ли вольно медъ, вино, описывается ли ужасная казнь гетьмана, отъ которой дыбомъ подымается волосъ, мщеніе ли козаконъ, видъ ли убитаго козака, съ широко-раскинутыми руками на травѣ, съ разметаннымъ чубомъ, влекты ли орловъ въ небѣ, спорящихъ о томъ, кому изъ нихъ выдирать козацкія очи — все это живетъ въ пѣсняхъ и окинуто смѣлыми красками. Остальная половина пѣсней изображаетъ другую половину жизни народа: въ нихъ разбросаны черты быта домашняго; здѣсь во всемъ совершенная противоположность. Тамъ одни козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здѣсь, напротивъ, одинъ женскій міръ, нѣжный, тоскливый, дышащій любовью. Эти два пола видѣлись между собою самое короткое время и потомъ разлучались на цѣлые годы. Годы эти были проводимы женщинами въ тоскѣ, въ ожиданіи своихъ мужей, любовниковъ, мелькнувшихъ предъ ними въ своемъ пышномъ военномъ убранствѣ, какъ сновидѣніе, какъ мечта. Отъ того любовь ихъ дѣлается чрезвычайно поэтической. Свѣжая, невинная, какъ голубка, молодая супруга вдругъ узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ея, проведенное съ этимъ мощнымъ, вольнымъ питомцемъ войны, столпило для нея радость всей жизни въ одно быстро мелькнувшее мгновеніе. Противъ него ничто вся остальная жизнь; она живетъ однимъ этимъ мгновеніемъ. Тоскуя, ждетъ она съ утра до вечера возврата своего черноброваго супруга.

Ой чорныи бровенята!
Ляхо мині зъ вами:
Не хочете ночовати
Ні ніченьки сами?

Она вся живётъ воспоминаніемъ. Все, на что они глядѣли вмѣстѣ, куда они вмѣстѣ ходили, что вмѣстѣ говорили — все это припоминаетъ она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видитъ въ природѣ, дышащей жизнью, и даже къ безчувственнымъ предметамъ, и всѣмъ имъ говорить и жалуется. И какъ просто, какъ поэтически-просто ея исполненныя души рѣчи! Ко всему примѣняетъ она состояние свое и не можетъ наговориться, потому что человѣкъ многорѣчивъ всегда, когда въ его груди заключается тайная сладость. Наконецъ, съ тихимъ, но безнадежнымъ отчаяніемъ говоритъ она:

Да вже-жъ мині не ходіти,
Куды я ходѣла!
Да вже-жъ мині не любіти,
Кого я любѣла!
Да вже-жъ мині не ходіти
Ранкомъ по-підъ замкомъ!
Да вже-жъ мині не стоіти
Изъ моімъ коханкомъ!
Да вже-жъ мині не ходіти
Въ ліски по орішки!
Да вже-жъ мині мишулися
Дивоцькні смішки!

Чтобы сколько-нибудь сдѣлать доступною для незнающихъ малороссійскаго языка глубину чувствъ, разсыпанныхъ въ этихъ пѣсняхъ, привожу одну изъ нихъ въ переводѣ.

Разсердился, разгнѣвался на меня мой милый! Вотъ онъ сѣдлаетъ своего вороного коня и ѣдетъ далеко-далеко отъ меня.

Куда же ты, мой милый, голубчикъ мой сивый, куда ты уѣзжаешь? Кому ты меня беззащитную, молодую, кому оставляешь?

„Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь изъ далекой дороги.“

О, еслибъ я знала, еслибъ видѣла, откуда будетъ ѣхать мой милый, я бы ему по всей дорогѣ мостила мосты изъ зеленого тростника и все бы ждала его въ гости.

Боже всемогущий! выровнай всѣ долины и горы, чтобы вездѣ было ровно, чтобы оттолѣ ему до самаго дома было хорошо ѣхать.

Чу! луга шумятъ, берега звенятъ, по дорогѣ зеленѣетъ трава—это онъ! это мой милый ѣдетъ!

Чу! луга шумятъ, берега звенятъ, расцвѣтаетъ калина — вѣрно, гдѣ-нибудь мой милый, голубчикъ мой сивый, съ другой разговариваетъ.

Зачѣмъ же ты не пріѣхалъ, зачѣмъ не прілетѣлъ, какъ я тебѣ говорила? Коня ли не имѣлъ, дороги ли не зналъ, или мать не велѣла тебѣ?

„Я коня имѣю; я и дорогу знаю, и мать еще вчера съ вечера велѣла мнѣ сѣлать коня.“

„Но только лишь сяду на коня, только лишь выйду за ворота, какъ уже бѣжитъ за мною другая и такъ жалко стонетъ, такъ плачетъ, что тоска ея хватаетъ за самое сердце.“

Можно привести до тысячи подобныхъ пѣсень, можетъ-быть, даже гораздо лучшихъ. Всѣ онѣ благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Вездѣ новыя краски, вездѣ простота и невыразимая нѣжность чувствъ. Гдѣ же мысли въ нихъ коснулись религіознаго, тамъ онѣ необыкновенно поэтически. Онѣ не изумляются колоссальнымъ созданіемъ вѣчнаго Творца: это изумленіе принадлежитъ уже ступившему на высшую ступень самопознанія; но ихъ вѣра такъ невинна, такъ трогательна; такъ непорочна, какъ непорочна душа младенца. Онѣ обращаются къ Богу, какъ дѣти къ отцу; онѣ вводятъ Его часто въ бытїе своей жизни съ такою невинною простотою, что безъискусственное Его изображеніе становится у нихъ величественнымъ въ самой простотѣ своей. Отъ этого самыя обыкновенныя предметы въ пѣсняхъ ихъ облекаются невыразимою поэзіей, чему еще болѣе помогаютъ остатки обрядовъ древней славянской мифологіи, которые онѣ покорили христіанству. Часто тоскующая дѣва умоляетъ Бога, чтобъ Онъ засвѣтилъ на небѣ восковую свѣчку, пока ея милый перебредетъ чрезъ рѣку Дунай. На всемъ печать чистаго, первоначальнаго младенчества, стало-быть — и высокой поэзіи. Изложеніе пѣсней ихъ, какъ женскихъ такъ и козацкихъ, почти всегда драматическое — признакъ развитія народнаго духа и дѣятельной, безповойной жизни, долго обнимавшей народъ. Пѣсни ихъ почти никогда не обращаются въ описательныя и не занимаются долго изображеніемъ природы. Природа у нихъ едва только скользитъ въ куплетѣ, но тѣмъ не менѣе черты ея такъ новы, тонки, рѣзки что представляютъ весь предметъ. Впрочемъ, къ нимъ прибѣгаютъ для того только, чтобы сильнѣе выразить чувства души, и потому явленія природы послушно влекутся у нихъ за явленіями чувства. Тоже самое у нихъ представляется разомъ и во внѣшнемъ, и во внутреннемъ мірѣ. Часто, вмѣсто цѣлаго внѣшняго, находится только одна рѣзкая черта, одна часть его. Въ нихъ нигдѣ нельзя найти подобной фразы: *быль вечеръ*; но вмѣсто этого говорится то, что бываетъ вечеромъ, напр.

Ишли коровы из дубровы, а овечки съ поля.
Выплакала карі очи, край милого стѣя.

Отъ того весьма многіе, не понявъ, считали подобныя обороты безсмыслицей. Чувство у нихъ выражается вдругъ, сильно, рѣзко, и никогда не охлаждается длиннымъ періодомъ. Во многіхъ пѣсняхъ нѣтъ одной мысли, такъ что онѣ походятъ на рядъ куплетовъ, изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себѣ отдѣльную мысль. Иногда онѣ кажутся совершенно беспорядочными, потому что сочиняются мгновенно, и такъ какъ взглядъ народа живъ, то обыкновенно тѣ предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помѣщаются и въ пѣсни. Но за то изъ этой пестрой кучи вышибаются такіе куплеты, которые поражаютъ самую очаровательную безотчетностию поэзіи. Самая яркая и вѣрная живопись и самая звонкая звучность словъ разомъ соединяются въ нихъ. Пѣсня сочиняется не съ перомъ въ рукѣ, не на бумагѣ, не съ строгимъ расчетомъ, но въ вихрѣ, въ забвеніи, когда душа звучитъ и всѣ члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положеніе, становятся свободнѣе, руки вольно вскидываются на воздухъ и дикія волны веселья уносятъ его отъ всего. Это примѣчается даже въ самыхъ заунывныхъ пѣсняхъ, которыхъ раздрающіе звуки съ болью касаются сердца. Онѣ никогда не могли излиться изъ души человѣка въ обыкновенномъ состояніи, при настоящемъ возрѣніи на предметъ. Только тогда, когда вино перемѣшаетъ и разрушитъ весь прозаическій порядокъ мыслей, когда мысли непостижимо-странно въ разногласіи звучатъ внутреннимъ согласіемъ, — въ такомъ-то разгулѣ, торжественномъ, больше нежели веселомъ, душа, въ непостижимой загадкѣ, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдѣніе! Весь таинственный составъ его требуетъ звуковъ. Отъ того поэзія въ пѣсняхъ неуловима, очаровательна, граціозна, какъ музыка. Поэзія мыслей болѣе доступна каждому, нежели поэзія звуковъ или, лучше сказать, поэзія поэзіи. Ее одинъ только избранный, одинъ истинный въ душѣ поэтъ понимаетъ; и потому-то часто самая лучшая пѣсня остается незамѣченной, тогда какъ незавидная выигрываетъ своимъ содержаніемъ.

Стихосложеніе малороссійское самое выгодное для пѣсенъ: въ

нежь соединяются вмѣстѣ и размѣръ, и тоника, и рѣзма. Паде-
ніе звуковъ въ нихъ скоро, быстро; отъ того строка никогда
почти не бываетъ слишкомъ длинна; если же это и случается,
то цезура по срединѣ съ звонкою рѣзмой перерѣзываетъ ее.
Чистые, протяжные ямбы рѣдко попадаютъ. Большою частію
быстрые хорей, дактили, амфибрахій летятъ шибко, одинъ за
другимъ, прихотливо и вольно мѣшаются между собою, произво-
дятъ новыя размѣры и разнообразятъ ихъ до чрезвычайности.
Рѣзмы звучатъ и сшибаются одна съ другою, какъ серебряныя
подковы танцующихъ. Вѣрность и музыкальность уха — общая
принадлежность ихъ. Часто вся строка созвукивается съ другою,
несмотря, что иногда у обѣихъ даже рѣзмы нѣтъ. Близость рѣзмъ
изумительна. Часто строка два раза терпитъ цезуру и два раза
рѣзмуется до замыкающей рѣзмы, которой сверхъ того даетъ
отвѣтъ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на срединѣ.
Иногда встрѣчается такая рѣзма, которую по видимому нельзя
назвать рѣзмой, но она такъ вѣрна своимъ отголоскомъ звуковъ,
что нравится иногда болѣе, нежели рѣзма, и никогда бы не при-
шла въ голову поэту съ перомъ въ рукѣ.

Характеръ музыки нельзя опредѣлять однимъ словомъ: она
необыкновенно разнообразна. Во многихъ пѣсняхъ она легка,
граціозна, едва только касается земли и, кажется, шалить, рѣз-
вится звуками. Иногда звуки ея принимаютъ мужественную фи-
зіогномію; становятся сильны, могучи, крѣпки; стопы тяжело
ударяютъ въ землю, и, кажется, какъ будто бы подъ нихъ мож-
но плясать одного только гопака. Иногда же звуки ея становятся
чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантскіе, силіящіеся обхва-
тить бездну пространства, вслушиваясь въ которые танцующій
чувствуетъ себя исполиномъ: душа его и все существованіе раздви-
гается, расширяется до безпредѣльности. Онъ отдѣляется вдругъ
отъ земли, чтобы ударить въ нее блестящими подковами и взнес-
тись опять на воздухъ. Что же касается до музыки грусти, то
она нигдѣ не слышна такъ, какъ у нихъ. Тоска ли это о прер-
ванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это
на безпріютное положеніе тогдашней Малороссіи... но звуки ея
живутъ, жгутъ, раздражаютъ душу. Русская заунывная музыка

выражать, какъ справедливо замѣтилъ М. Максимовичъ, забвеніе жизни: она стремится уйти отъ нея и заглушить всеневныя нужды и заботы; но въ малороссійскихъ пѣсняхъ она слилась съ жизнью: звуки ея такъ живы, что, кажется, не звучать, а говорить, говорятъ словами, выговариваютъ рѣчи, и каждое слово этой яркой рѣчи проходитъ душу. Взвизги ея иногда такъ похожи на крикъ сердца, что оно вдругъ и внезапно вздрагиваетъ, какъ будто бы коснулось къ нему острое жалѣзо. Безотрадное, равнодушное отчаяніе иногда слышится въ ней такъ сильно, что заслушавшійся забывается и чувствуетъ, что надежда давно улетѣла изъ міра. Въ другомъ мѣстѣ отрывистыя стenanія, вопли, такіе яркіе, живые, что съ трепетомъ спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирѣпое насилие вырываетъ младенца, чтобы съ звѣрскимъ смѣхомъ расшибить его о камень. Ничто не можетъ быть сильнѣе народной музыки, если только народъ имѣлъ поэтическое расположеніе, разнообразіе и дѣятельность жизни; если натиски насилій и непреодолимыхъ вѣчныхъ препятствій не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали изъ него жалобы, и если эти жалобы не могли иначе и нигдѣ выразиться, какъ только въ его пѣсняхъ. Такова была беззащитная Малороссія въ ту годину, когда хищно ворвалась въ нее унія. По нимъ, по этимъ звукамъ, можно догадываться объ ея минувшихъ страданіяхъ, такъ точно, какъ о бывшей бурѣ съ градомъ и проливнымъ дождемъ можно узнать по бриллиантовымъ слезамъ, унизывающимъ снизу до вершины освѣженныхъ деревья, когда солнце мечетъ вечерній лучъ, разрѣженный воздухъ чистъ, вдали звонко дребезжитъ мычаніе стадъ, голубоватый дымъ, вѣстникъ деревенскаго ужина и довольства, несется свѣтлыми кольцами къ небу, и вечеръ тихій, ясный вечеръ обнимаетъ упокоенную землю.

1833.

МЫСЛИ О ГЕОГРАФИИ

ДЛЯ ДѢТСКАГО ВОЗРАСТА *).

Велика и поразительна область географіи! Край, гдѣ кипитъ югъ и каждое твореніе бьется двойною жизнью, и край, гдѣ въ искаженныхъ чертахъ природы прочитывается ужасъ и земля превращается въ оледенѣлый трупъ; исполины — горы, парящія въ небо, наброшенный, дышущій всею роскошью растительной силы и разнообразія, видъ, и раскаленные пустыни и степи; оторванный кусокъ земли посреди безграничнаго моря, люди и искусство, и предѣлъ всего живущаго — гдѣ найдутся предметы, сильнѣе говорящіе юному воображенію! Какая другая наука можетъ быстрѣе возвысить поэзію младенческой души ихъ! И не больно ли, если показываютъ имъ, вмѣсто всего этого, какой-то безжизненный, сухой скелетъ, холодно говоря: „Вотъ земля, на которой живемъ мы; вотъ тотъ прекрасный міръ, подаренный намъ непостижимымъ его Зодчимъ!“ Этого мало: его совершенно скрываютъ отъ нихъ и даютъ имъ вмѣсто того грызть политическое тѣло, превышающее міръ ихъ понятій и несвязное даже для ума, обладающаго высшими идеями. — Невольно при этомъ

*) Статья эта была сперва помѣщена въ „Литературной Газетѣ“ за 1831 г. подъ заглавіемъ: „Нѣсколько мыслей о преподаваніи дѣтямъ географіи.“ Въ концѣ статьи выписка: „Просимъ читателей смотрѣть на предложенную здѣсь статью какъ на одно только начало. Автору, который совершенно посвятилъ себя юнымъ питомцамъ своимъ, болѣе всего желательно знать о семъ предметѣ мнѣніе ученыхъ нашихъ преподавателей. Въ послѣдующихъ за симъ мысляхъ читатели встрѣтятъ, можетъ-быть, болѣе новаго, болѣе относящагося къ облегченію науки и приведенію оной въ ясность для дѣтей.

Подписано. Г. Яновъ.

Прим. Н. Трушковскаго.

приходить на мысль: неужели великій Гумбольдтъ и тѣ отважные изслѣдователи, принесшіе такъ много свѣдѣній въ область науки, истолковавшіе дивные іероглифы, коими покрытъ міръ нашъ, — должны быть доступны немногому числу ученыхъ, а возрастъ, болѣе другихъ нуждающійся въ ясности и опредѣлительности, долженъ видѣть передъ собою одни непонятныя изображенія?

Дѣтскій возрастъ есть еще одна жажда, одна безотчетное стремленіе къ познанію. Онъ всего требуетъ, все хочетъ узнать. Его болѣе всего интересуютъ отдаленныя земли: какъ тамъ? что тамъ такое? какіе тамъ люди? какъ живутъ? Эти вопросы стремятся у него толпою и всѣ они относятся къ физической географіи, и потому міръ, въ его физическомъ состояніи, величественный, роскошный, грозный, плѣнительный — долженъ болѣе и обширнѣе занять его.

Во многихъ заведеніяхъ нашихъ, по невозможности воспитанникамъ узнать въ одинъ годъ всей географіи, читаютъ ее въ двухъ и даже въ трехъ классахъ. Это хорошо, и географія стоитъ, чтобъ ее проходили не въ одномъ классѣ; но преподаватели впадаютъ въ большую ошибку: размежевываютъ земной шаръ на двѣ или, смотря по классамъ, на три части и самому начальному классу достается Европа, рассматриваемая обыкновенно въ политическомъ отношеніи съ подробнѣйшими подробностями, тогда какъ высшіе классы блуждаютъ по степямъ и пескамъ африканскимъ и бесѣдуютъ съ дикарями. Не говоря уже о безразсудности и странной формѣ такого преподаванія, нужно имѣть необыкновенную память, чтобъ удержать въ ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феноменъ въ природѣ, то въ головѣ этого феномена никогда не удержится одно прекрасное цѣлое. — Это будутъ тщательно отдѣланныя разрозненныя части, которыми не управляетъ одна мощная жизнь, бьющая ровнымъ пульсомъ по всѣмъ жиламъ. Это народъ, созданный для монархическаго правленія и утратившій его въ бурѣ политическихъ потрясеній.

Гораздо лучше, если воспитанникъ будетъ проходить географію въ два разные періода своего возраста. Въ первомъ онъ дол-

жень узнать одинъ только великій очеркъ всего міра, но очеркъ такой, который бы пробудилъ всю внимательность, который бы показалъ всю обширность и колоссальность географическаго міра. Въ этотъ курсъ должны ниспослать отъ себя дань и естественная исторія, и физика, и статистика, и все, что только соприкасается къ міру, чтобы міръ составилъ одну яркую, живописную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему всё концы его. Ничего въ подробности: но только однѣ рѣзкія черты, но только, чтобы онъ чувствовалъ, гдѣ стужа, гдѣ болѣе растительность, гдѣ выше мануфактурность, гдѣ глубже невѣжество, гдѣ ниже земля, гдѣ стремительнѣе горы. Во второмъ періодѣ его возраста этотъ міръ долженъ быть передъ нимъ раздвинуть. Онъ долженъ разсмотрѣть въ микроскопъ тѣ предметы, которые доселѣ видѣлъ простымъ глазомъ. Тогда уже онъ узнаетъ всё исключенія и переходы, менѣе рѣзкіе и болѣе исполненные тонкаго отличія.

Воспитанникъ не долженъ имѣть вовсе у себя книги. Она, какая бы ни была, будетъ сжимать его и умерщвлять воображеніе: передъ нимъ должна быть одна только карта. Ни одного географическаго явленія не нужно объяснять, не укрѣпивши на мѣстѣ, хотя бы это было только яркое, живописное описаніе, чтобы воспитанникъ, внимая ему, глядѣлъ на мѣсто въ своей картѣ, и чтобы эта маленькая точка какъ бы раздвигалась передъ нимъ и выѣстила бы въ себѣ эти картины, которыя онъ видитъ въ рѣчахъ преподавателя. Тогда можно быть увѣреннымъ, что онъ останется въ памяти его вѣчно, и, взглянувши на скелетный очеркъ земли, онъ его вмигъ наполнитъ красками.

Фигура земли прежде всего должна удержаться въ его памяти. Черченіе картъ, надъ которыми заставляютъ воспитанниковъ трудиться, мало приноситъ пользы. Множество мелкихъ подробностей, множество отдѣльныхъ государствъ можетъ только въ головѣ ихъ уничтожиться одно другимъ. Гораздо лучше дать имъ прежде сильную, рѣзкую идею о видѣ земли: для этого я бы совѣтывалъ сдѣлать всю воду бѣлою и всю землю черною, чтобы онѣ совершенно отдѣлились, рѣзкостью своею невольно вторгнулись въ мысли ихъ и преслѣдовали бы ихъ неотступно

неправильною своею фигурою. Послѣ этого будетъ имѣть гораздо легче начертить видъ земли, но никакъ не допускать до подробностей, т. е. означать всѣ мелкіе мысы и искривленія береговъ. Пусть лучше они вначалѣ совсѣмъ не знаютъ ихъ, но за то удержатъ общій видъ земли.

Гораздо лучше проходить вначалѣ разомъ весь міръ, глядѣть разомъ на всѣ части свѣта: чрезъ это очевидно будутъ ихъ взаимныя противоположности. Замѣтивши ихъ въ общей массѣ, они могутъ погрузиться глубже въ каждую часть свѣта. Но въ порядкѣ частей свѣта я бы совѣтовалъ лучше слѣдовать за постепеннымъ развитіемъ человѣка, стало-быть, вмѣстѣ и за постепеннымъ открытіемъ земли: начать съ Азіи, съ ея колыбели, съ ея младенчества, перейти въ Африку, въ ея пламенное и вмѣстѣ грубое юношество, обратиться къ Европѣ, къ ея быстрому разоблаченію и зрѣлости ума, шагнуть вмѣстѣ съ нимъ въ Америку, гдѣ, развитый и властительный, встрѣтился онъ съ первообразнымъ и чувственнымъ, и окончить разрозненными по необозримому океану островами.

Такое раздѣленіе, мнѣ кажется, будетъ гораздо естественнѣе. Прежде всего воспитанникъ долженъ составить себѣ общее характеристическое понятіе о каждой изъ нихъ. Во-первыхъ объ Азіи, гдѣ люди такъ важны, такъ холодны съ вида, и вдругъ кипятъ неуверотимыми страстями; при дѣтскомъ умѣ своею думаютъ, что они умнѣе всѣхъ; гдѣ все гордость и рабство; гдѣ все одѣвается и вооружается легко и свободно, все наѣздничаетъ, гдѣ Турокъ радъ просидѣть цѣлый вѣкъ, поджавъ ноги и кура кальянъ свой, и гдѣ Бедуинъ какъ вихорь мчится по пустынѣ; гдѣ вѣра переходитъ въ фанатизмъ и вся страна — страна вѣроисповѣданій, разлившихся отсюда по всему міру. Объ Африкѣ, гдѣ солнце жжетъ, и океаны песчаныхъ степей растягиваются на неизмѣримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и человѣкъ, мало чѣмъ разнящійся наружностью и своими чувственными наклонностями отъ обезьянъ, кочующихъ по ней ордами, и т. далѣе.

Начертивъ видъ части свѣта, воспитанникъ указываетъ всѣ высочайшія и низменныя мѣста на ней, рассказываетъ, какъ раз-

вѣтвяются по ней горы и протягиваютъ свои длинныя, безобразныя цѣпи. Въ этомъ смыслѣ можно съ пользою употреблять Риттерова барельефное изображеніе Европы, хотя оно не совсѣмъ еще удобно для дѣтей, по причинѣ неяснаго отдѣленія свѣта отъ тѣней. Всего бы лучше на этотъ случай отлить изъ крѣпкой глины, или изъ металла, настоящій барельефъ. Тогда воспитанику стоило бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда въ памяти всѣ высокія и низменныя мѣста.

Такъ какъ горы сообщили форму всей землѣ, то познаніе ихъ должно составить, такъ сказать, начало всей географіи. Показавъ развѣтвленіе ихъ по лицу земли, должно показать видъ ихъ, форму, составъ, образованіе и наконецъ характеръ и отличіе каждой цѣпи, — все это не сухо, не съ подробною ученостью, но такъ, чтобы онъ зналъ, что такая-то цѣпь изъ темныхъ и твердыхъ гранитовъ, что внутренность другой бѣлая, известковая или глинистая: рыхлая, желтая, темная, красная или наконецъ, самыхъ яркихъ цвѣтовъ земель и камней. Можно даже рассказать, какъ въ нихъ лежатъ металлы и руды и въ какомъ видѣ, и можно рассказать занимательно. Что же касается до поверхности ихъ, то само собою разумѣется, что нужно показать высочайшія точки, примѣчательныя явленія на нихъ, и высоту, до которой поднялся человѣкъ.

Не мѣшало бы коснуться слегка подземной географіи. Мнѣ кажется, нѣтъ предмета болѣе поэтическаго, какъ она, хотя совершенно понять ее можетъ только возрастъ высокій. Тутъ всѣ явленія и факты дышутъ исполинскою колоссальностью. Здѣсь встрѣчаются цѣлыя массы. Тутъ на всемъ отпечатокъ величественныхъ потрясеній земли; душа сильнѣе чувствуетъ великія дѣла Творца. Тутъ лежатъ погребенными цѣлыя цѣпи подземныхъ лѣсовъ. Тутъ лежитъ въ грубокожѣ уединеніи раковина, и уже превращается въ мраморъ. Тутъ дышутъ вѣчные огни, и отъ взрыва ихъ измѣняется поверхность земли. Часть этихъ явленій, будучи слегка открыта юному воспитанику, нельзя чтобы не тронула его воображенія.

Процессъ и раселеніе растительной силы по землѣ должно показать на картѣ лѣстницею градусовъ: гдѣ растеніе юга —

хозяинъ, куда перешло оно какъ гость, подъ какии градусомъ умираеть, гдѣ начинается растеніе сѣвера, гдѣ и оно наконецъ гибнетъ, прозябаніе прекращается, природа обмираеть въ объятіяхъ студенаго океана, и чудный полюсъ закутывается недоступными для человѣка льдами. Такии же образомъ и расселеніе животныхъ. Но почва требуетъ другого раздѣленія земли по полосамъ, изъ которыхъ каждая должна заключать въ себѣ особенный видъ ея.

Произведенія искусства вообще являются доселѣ у географовъ отрывисто. Перехода нѣтъ никакого отъ природы къ произведеніямъ человѣка. Они отрублены какъ топоромъ отъ своего источника. Я уже не говорю о томъ, что у нихъ не представленъ во все этотъ брачный союзъ человѣка съ природою, отъ котораго рождается мануфактурность. И такъ, прежде нежели воспитанникъ приступитъ къ обзорѣнню мануфактуръ и произведеній рукъ человѣка, нужно, чтобъ онъ былъ приуготовленъ къ тому произведеніямъ земли, чтобъ онъ самъ собою могъ вывести, какія мануфактуры должны быть въ такомъ-то государствѣ; если же встрѣтится исключеніе, тогда необходимо показать, отъ чего оно произошло: можетъ-быть, безпечный характеръ народа, можетъ, стороннія обстоятельства, или излишнее богатство сосѣдей, или невозможность дальнѣйшихъ сообщеній, или другія подобныя имъ — воспрепятствовали. Приуготовивши себя мануфактурностью, онъ можетъ уже переходить къ торговлѣ, которая безъ того будетъ тоже незанимательна и непонятна.

При исчисленіи народовъ, преподаватель необходимо обязанъ показать каждаго физиогномію и тѣ отпечатки, которые принялъ его характеръ, такъ сказать, отъ географическихъ причинъ. Всѣ народы міра онъ долженъ сгруппировать въ большія семейства и представить прежде общія черты каждой группы, потомъ уже развѣтвленіе ихъ. И потомъ физическую ихъ исторію, т. е. исторію измѣненія ихъ характера, чтобъ объяснилось, отъ чего, напримеръ, Тевтонское племя среди своей Германіи означено твердостью флегматическаго характера, и отъ чего оно, перейдя Альпы, напротивъ, принимаетъ всю игривость характера легкаго.

Весьма полезны для дѣтей карты, изображающія расселеніе

просвѣщенія по земному шару. Эта польза превращается въ необходимость, когда проходить они Европу. Но какъ у насъ нѣтъ такихъ картъ, то преподавателю небольшого труда стоитъ сдѣлать онѣя самому. Мѣста, гдѣ просвѣщеніе достигло высочайшей степени, означать свѣтомъ и бросать легкія тѣни, гдѣ оно ниже. Тѣни сіи становятся тѣмъ далѣе, тѣмъ крѣпче, и наконецъ превращаются въ мракъ, по мѣрѣ того какъ природа дичаетъ, и человѣкъ оканчивается бездушнымъ Эскимосомъ.

Величину земель, государствъ, никогда нельзя заучивать исчисленіемъ квадратныхъ миль. Нужно только смотрѣть на карту — вотъ одно средство узнать ее. Не мѣшало бы вырѣзать каждое государство особенно, такъ чтобъ оно составляло отдѣльный кусокъ и, будучи сложено съ другими, составило бы часть міра. Тогда будетъ видима и величина ихъ и форма.

При изображеніи каждаго города непрестанно должно означить рѣзко его мѣстоположеніе: подымается ли онъ на горѣ, опрокинутъ ли внизъ; его жизнь, его значительность, его средства — и, вообще, сильными и немногими чертами обозначить характеръ его. Преподаватель обязанъ исторгнуть изъ обширнаго матеріала все, что бросаетъ на городъ отличіе и отбѣняетъ его отъ множества другихъ. Пусть воспитанникъ знаетъ, что такое Римъ, и Парижъ, что Петербургъ. Пусть не мѣряетъ своимъ масштабомъ, составившимся въ его понятіяхъ при видѣ Петербурга, другихъ городовъ Европы. Все общее городамъ должно быть исключено въ опредѣленіи отдѣльно каждаго города. Во многихъ нашихъ географіяхъ и до сихъ поръ еще въ опредѣленіяхъ губернскаго города разсказывается: въ немъ есть гимназія, соборная церковь; уѣзднаго, — что въ немъ есть уѣздное училище и т. п. Къ чему? Воспитанику довольно сказать сначала, что у насъ гимназіи во всѣхъ губернскихъ городахъ, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Палерояля, Фальонетова Петра, Киевопечерской лавры, Кингъ-Бенча — нѣтъ другихъ въ мірѣ. О нихъ дитя, вѣрно, потребуетъ подробнаго свѣдѣнія. Не нужно заниматься ничтожнымъ и скучнымъ для воспитанника вычисленіемъ числа домовъ, церквей, развѣ только въ такомъ случаѣ, когда оно, по своей величинѣ или отрица-

тельно, выходить изъ категоріи обыкновеннаго. Въмѣсто этого, можно занять его архитектурой города, — въ какомъ веусѣ онъ выстроенъ, колоссальны ли, прекрасны ли его строенія. Если онъ древній, то какъ величественна даже въ самой странности своей его старинная, цовитая столѣтіями и на чудо взлелѣванная самими потрясеніями архитектура, и какъ, напротивъ того, легка и изящна архитектура другого города, созданнаго однимъ столѣтіемъ. При мысли о какомъ-нибудь германскомъ городкѣ, ученикъ тотчасъ долженъ представить себѣ тѣсныя улицы, небольшіе, узенькіе и высокіе домики, гдѣ все такъ просто, мило, такъ букволично, и рядомъ съ ними угловатые, просѣкающіе остріемъ воздухъ, шпицы церквей. При мысли о Римѣ, гдѣ глухо отозвался весь канувшій въ пучину столѣтій древній міръ, у него должна быть неразлучна съ тѣмъ мысль о зданіяхъ-исполинахъ, которыя, свободно поднявшись отъ земли и опершись на стройныя портики и гигантскія колонны, дряхлѣютъ, какъ бы размышляя объ утекшихъ событіяхъ великой своей юности. Для этого не мѣшаетъ чаще показывать фасады примѣчательнѣйшихъ зданій: тогда необыкновенный видъ ихъ врѣжется въ памяти; притомъ это послужитъ невольно и нечувствительно къ образованію юнаго веуса.

Исторія изрѣдка должна только озарять воспоминаніями географическій міръ ихъ. Протекшее должно быть слишкомъ разительно, и развѣ уже происходитъ изъ чисто географическихъ причинъ, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанникъ проходить въ это время и исторію, тогда ему необходимо показать область ея дѣйствія: тогда географія сливается и составляетъ одно тѣло съ исторіей.

Слогъ преподавателя долженъ быть увлекающій, живописный: всѣ поразительныя мѣстоположенія, великія явленія природы — должны быть окутаны яркими красками. Что дѣйствуетъ сильно на воображеніе, то не скоро выбѣется изъ головы. Слогъ его долженъ болѣе подходить къ слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не можетъ удержаться въ головѣ отрока, особливо если она распространена въ мелочахъ. Дитя тогда только удерживаетъ систему, когда не видитъ ея глазами, когда

она искусно скрыта отъ него. Его система — интересъ, нить произшествій или нить описаній. Все, что истинно-нужно, что болѣе относится къ нашей жизни, что болѣе можемъ мы впоследствии приспособить къ себѣ, все это уже интересно. Да впрочемъ, что не интересно въ географіи? Она такое глубокое море, такъ раздвигаетъ наши самыя дѣйствія, и, несмотря на то, что показываетъ границы каждой земли, такъ скрываетъ свои собственныя, что даже для взрослого представляетъ философически-увлекательный предметъ. Короче, нужно стараться познакомить сколько можно болѣе съ міромъ, со всѣмъ безчисленнымъ разнообразіемъ его, но чтобы это никакъ не обременило памяти, а представлялось бы свѣтло-нарисованною картиною. Богатый для сего запасъ заключается въ описаніяхъ путешественниковъ, которыхъ множество и изъ которыхъ, кажется, донныѣ, въ этошъ отношеніи, мало умѣли извлекать пользы.

Лѣтность и непонятливость воспитанника обращаются въ вину педагога и суть только вывѣски его собственнаго нерадѣнія: онъ не умѣлъ, онъ не хотѣлъ овладѣть вниманіемъ своихъ юныхъ слушателей; онъ заставилъ ихъ съ отвращеніемъ принимать горькія свои пилюли. Совершенною неспособності невозможно предполагать въ дитяти. Мнѣ часто случалъ съ быть свидѣтелемъ, какъ ребенокъ, признанный за неспособнаго ни къ чему, обиженнаго природою, слушалъ съ неразвлекаемымъ вниманіемъ страшную сказку, и на лицѣ его, почти бездушномъ, не оживляемомъ до того никакимъ чувствомъ участія, попережѣнно прорывались черты безпокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого вниманія въ пользу науки?

1829.

ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ.

КАРТИНА ВРЮЛОВА.

Картина Брюлова—одно изъ яркихъ явленій XIX вѣка. Это свѣтлое воскресеніе живописи, пребывавшей долгое время въ какомъ-то полудетаргическомъ состояніи. Не стану говорить о причинѣ этого необыкновеннаго застоя, хотя оно представляетъ занимательный предметъ для изслѣдованія; замѣчу только, что если конецъ XVIII столѣтія и начало XIX ничего не произвели полнаго и колоссальнаго въ живописи, то за то они много разработали ея части. Она распалась на безчисленные атомы и части. Каждый изъ этихъ атомовъ развитъ и достигнутъ несравненно глубже, нежели въ прежнія времена. Замѣтили такія тайныя явленія, какихъ прежде никто не подозрѣвалъ. Вся та природа, которую чаще видитъ человѣкъ, которая его окружаетъ и живетъ съ нимъ, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великіе художники, — достигли изумительной истины и совершенства. Всѣ наперерывъ старались замѣтить тотъ живой колоритъ, которымъ дышетъ природа. Все тайное въ ея лонѣ, весь этотъ нѣмой языкъ пейзажа, подмѣченъ или, лучше сказать, украденъ, вырванъ изъ самой природы, хотя все это украдено отрывками, хотя всѣ произведенія этого вѣка похожи болѣе на опыты или, лучше сказать, записки, матеріалы, свѣжія мысли, которыя наскоро вносятъ путешественникъ въ свою книгу съ тѣмъ, чтобы не позабыть ихъ и чтобы составить изъ нихъ послѣ нѣчто цѣлое. Живопись раздробилась на низшія ограниченныя ступени: гравировка, литографія и многія мелкія явленія были

съ жадностію разрабатываемы въ частяхъ. Этими обязаны мы XIX вѣку. Колоритъ, употребляемый XIX вѣкомъ, показывается великій шагъ въ знаніи природы. Взгляните на эти безпрестанно появляющіеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые рѣшительно въ XIX вѣкѣ опредѣлили сліяніе человека съ окружающею природою, — какъ въ нихъ дѣлится и выходитъ окинутая мракомъ и освѣщенная свѣтомъ перспектива строеній! какъ сквозитъ освѣщенная вода, какъ дышетъ она въ сумракѣ вѣтвей! какъ ярко и знойно уходитъ прекрасное небо и оставляетъ предметы передъ самыми глазами зрителя! какое смѣлое, какое дерзкое употребленіе тѣней тамъ, гдѣ прежде вовсе ихъ не подозрѣвали! и вмѣстѣ, при всей этой рѣзкости, какая роскошная нѣжность, какая подмѣчена тайная музыка въ предметахъ обыкновенныхъ, безчувственныхъ! Но что сильнѣе постигнуто въ наше время, такъ это освѣщеніе. Освѣщеніе придаетъ такую силу и, можно сказать, единство всѣмъ нашимъ твореніямъ, что они, не имѣя слишкомъ глубокаго достоинства, показывающаго геній, необыкновенно пріятны для глазъ. Они общимъ выраженіемъ своимъ не могутъ не поразить, хотя, внимательно разсматривая, иногда увидишь въ творцѣ ихъ необширное познаніе искусства.

Возьмите всѣ безпрестанно являющіяся гравюры, эти отпрыски яркаго таланта, въ которыхъ дышетъ и вѣетъ природа такъ, что они кажутся какъ будто оцвѣчены колоритомъ: въ нихъ заря такъ тонко свѣтлѣетъ на небѣ, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблескъ вечера; деревья, облитыя сіяніемъ солнца, какъ будто покрыты тонкою пылью; въ нихъ яркая бѣлизна сладострастно сверкаетъ въ самомъ глубокомъ мракѣ тѣни. Разсматривая ихъ, кажется, боишься дохнуть на нихъ. Весь этотъ эффектъ, который разлитъ въ природѣ, который происходитъ отъ сраженія свѣта съ тѣнью, весь этотъ эффектъ сдѣлался цѣлю и стремленіемъ всѣхъ нашихъ артистовъ. Можно сказать, что XIX вѣкъ есть вѣкъ эффектовъ. Всякой отъ перваго до послѣдняго торопится произвести эффектъ, начиная отъ поэта до кандитера, такъ что эти эффекты, право, уже надоѣдаютъ и, можетъ-быть, XIX вѣкъ, по странной причудѣ своей, наконецъ обратится ко всему безъэффектному. Впрочемъ можно сказать,

что эффекты болѣе всего выгодны въ живописи и вообще во всемъ томъ, что видимъ нашими глазами. Тамъ, если они будутъ ложны и неумѣстны, ихъ ложность и неумѣстность тотчасъ видна всякому. Но въ произведеніяхъ, подверженныхъ духовному оку, совершенно другое дѣло. Тамъ они если ложны, то вредны тѣмъ, что распространяють ложь, потому что простодушная толпа безъ разсужденія кидается на блестящее. Въ рукахъ истиннаго таланта они вѣрны и превращають человѣка въ исполина; но когда они въ рукахъ поддѣльнаго таланта, то для истиннаго понятеля они отвратительны, какъ отвратителенъ карло, одѣтый въ платье великана, какъ отвратителенъ подлый человѣкъ, пользующійся незаслуженнымъ знакомъ отличія. Но все это, однакожь, не относится къ нынѣшнему дѣлу. Должно признаться, что въ общей массѣ стремленіе къ эффектамъ болѣе полезно, нежели вредно: оно болѣе двигаетъ впередъ, нежели назадъ, и даже въ послѣднее время подвинуло все къ усовершенствованію. Желая произвести эффектъ, многіе болѣе стали разсматривать предметъ свой, сильнѣе напрягать умственные способности. И если вѣрный эффектъ оказывался болѣею частію только въ мелкомъ, то этому виною безлюдіе крупныхъ гениевъ, а не огромное раздробленіе жизни и познаній, которымъ обыкновенно ее приписываютъ. Притомъ, стремленіе къ эффектамъ обдѣлало многія части чрезвычайно удовлетворительно и рѣзкою своею очевидностью сдѣлало ихъ доступными для всѣхъ. Не помню, кто-то сказалъ, что въ XIX вѣкѣ невозможно появленіе генія всемірнаго, обнявшаго бы въ себѣ всю жизнь XIX вѣка. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается какимъ-то малодушіемъ. Напротивъ, никогда полетъ генія не будетъ такъ ярокъ, какъ въ нынѣшнія времена; никогда не были для него такъ хорошо приготовлены матеріалы, какъ въ XIX вѣкѣ, и его шаги уже, вѣрно, будутъ исполински и видны всѣми отъ мала до велика.

Картина Брюлова можетъ назваться полнымъ, всемірнымъ созданіемъ. Въ ней все заключилось. По крайней мѣрѣ она захватила въ область свою столько разнороднаго, сколько до него никто не захватывалъ. Мысль ея принадлежитъ совершенно вкусу

нашего вѣка, который вообще, какъ бы самъ чувствуя свое страшное раздробленіе, стремится совокуплять всѣ явленія въ общія группы и выбираетъ сильныя кризисы, чувствуемые цѣлою массою. Всякому извѣстны прекрасныя созданія, къ которымъ принадлежитъ: Видѣніе Валтазара, Разрушеніе Ниневіи и нѣсколько другихъ, гдѣ въ страшномъ величій представлены великія катастрофы, которыя составляютъ совершенство освѣщенія; гдѣ молнія въ грозномъ величій озаряетъ ужасный мракъ и скользитъ по верхушкамъ головъ молящагося народа. Общее выраженіе этихъ картинъ поразительно и исполнено необыкновеннаго единства. Но въ нихъ вообще только одна идея этой мысли. Онѣ похожи на отдаленныя виды; въ нихъ только общее выраженіе. Мы чувствуемъ только страшное положеніе всей толпы, но не видимъ человѣка, въ лицѣ котораго былъ бы весь ужасъ имъ самимъ зримаго разрушенія. Ту мысль, которая видѣлась намъ въ такой отдаленной перспективѣ, Брюловъ вдругъ поставилъ передъ самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и какъ будто насъ самихъ захватила въ свой міръ. Созданіе и обстановку своей мысли произвелъ онъ необыкновеннымъ и дерзкимъ образомъ: онъ схватилъ молнію и бросилъ ее цѣлымъ потокомъ на свою картину. Молнія у него залила и потопила все, какъ будто бы съ тѣмъ, чтобы все выказать, чтобы ни одинъ предметъ не укрылся отъ зрителя. Отъ того на всемъ у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры онъ кинулъ сильно такою рукою, какою мечетъ только могущественный геній; эта вся группа, остановившаяся въ минуту удара и выразившая тысячи разныхъ чувствъ; этотъ гордый атлетъ, издавшій крикъ ужаса, силы, гордости и безсилія, закрывшійся плащомъ отъ летящаго вихря каменьевъ; эта грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся въ такой красотѣ руку; этотъ ребенокъ, вонзившій въ зрителя взоръ свой; этотъ несомнѣнный дѣтми старикъ, въ страшномъ тѣлѣ котораго дышетъ уже могила, оглушенный ударомъ, котораго рука окаменѣла въ воздухъ съ распростертыми пальцами; мать, уже не желающая бѣжать и непреклонная на моленія сына, котораго просьбы, кажется, слышитъ зритель; толпа, съ ужасомъ отсту-

пающая отъ строеній и со страхомъ, съ дикимъ забвеніемъ страха взирающая на страшное явленіе, наконецъ знаменующее конецъ міра; жрецъ въ бѣломъ саванѣ, съ безнадежною яростью мечущій взглядъ свой на весь міръ: все это у него такъ мощно, такъ смѣло, такъ гармонически сведено въ одно, какъ только могло это возниенуть въ головѣ генія всеобщаго.

Я не стану изъяснять содержанія картины и приводить толкованія и поясненія на изображенныя событія. Для этого у всякого есть глазъ и мѣрило чувства; притомъ же это слишкомъ очевидно, слишкомъ касается жизни человѣка и той природы, которую онъ видитъ и понимаетъ, потому-то они доступны всѣмъ отъ мала до велика: я замѣчу только тѣ достоинства, тѣ рѣзкія отличія, которыя имѣетъ въ себѣ стиль Брюлова, тѣмъ болѣе, что эти замѣчанія, вѣроятно, сдѣлали не многіе. Брюловъ первый изъ живописцевъ, у котораго пластика достигла верховнаго совершенства. Его фигуры, несмотря на ужасъ всеобщаго событія и своего положенія, не виѣщаютъ въ себѣ того дикаго ужаса, наводящаго содроганіе, какимъ дышутъ суровыя созданія Микеля-Анжело. У него нѣтъ также того высокаго преобладанія небесно-непостижимыхъ и тонкихъ чувствъ, которыми весь исполненъ Рафаэль. Его фигуры прекрасны при всемъ ужасѣ своего положенія. Онѣ заглушаютъ его своею красотою. У него не такъ, какъ у Микеля-Анжело, у котораго тѣло только служило для того, чтобы показать одну силу душевнаго страданія, ея вопль, ея грозныя явленія; у котораго пластика погибала, контура человѣка пріобрѣтала исполинскій размѣръ, потому что служила только одеждою мысли, эмблемою; у котораго являлся не человекъ, но только его страсти. Напротивъ того, у Брюлова является человекъ для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, вѣрныя, огненныя, выражаются на такомъ прекрасномъ обликѣ, въ такомъ прекрасномъ человекѣ, что наслаждаешься до упоенія. Когда я глядѣлъ въ третій, въ четвертый разъ, мнѣ казалось, что скульптура, которая была постигнута въ такомъ пластическомъ совершенствѣ древними, что скульптура эта перешла наконецъ въ живопись и сверхъ того проникнула какой-то тайною

музыкой. Его человекъ исполненъ прекрасно-гордыхъ движеній, женщина его блещетъ, но она не женщина Рафаэля: съ тонкими, незамѣтными, ангельскими чертами, — она женщина страстная, сверкающая, южная, итальянская, во всей красѣ полудня, мощная, крѣпкая, пылающая всею роскошью страсти, всѣмъ могуществомъ красоты, — прекрасная, какъ женщина. Нѣтъ ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотой, гдѣ бы человекъ не былъ прекрасенъ. Всѣ общія движенія группъ его дынутъ мощнымъ размахомъ и въ своемъ общемъ движеніи уже составляютъ красоту. Въ созданіи ихъ онъ такъ же крѣпко и сильно правитъ своимъ воображеніемъ, какъ житель пустыни арабскимъ бѣгуномъ своимъ. Отъ того вся картина упруга и роскошна.

Вообще, во всей картинѣ выказывается отсутствіе идеальности, т. е. идеальности отвлеченной, и въ этомъ-то состоитъ ея первое достоинство. Явись идеальность, явись перевѣсъ мысли, и она бы имѣла совершенно другое выраженіе, она бы не произвела того впечатлѣнія; чувство жалости и страстнаго трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и вѣрной истины, утратилась бы вовсе. Намъ не разрушеніе, не смерть страшны; напротивъ: въ этой минутѣ есть что-то поэтическое, стремящее вихремъ душевное наслажденіе; намъ жалка наша милая чувствительность, намъ жалка прекрасная земля наша. Онъ постигнулъ во всей силѣ эту мысль. Онъ представилъ человека какъ можно прекраснѣе, его женщина дышитъ всѣмъ, что есть лучшаго въ мірѣ. Ея глаза свѣтлы какъ звѣзды, ея дышащая силою и нѣгой грудь, обѣщаютъ роскошь блаженства. И эта прекрасная, этотъ вѣнецъ творенія, идеаль земли, должна погибнуть въ общей гибели, на ряду съ послѣднимъ презрѣннымъ твореніемъ, которое недостойно было и ползати у ногъ ея. Слезы, испугъ, рыданіе — все въ ней прекрасно.

Видимое отличіе или манера Брюлова уже представляетъ тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шагъ. Въ его картинахъ цѣлое море блеска. Это его характеръ. Тѣни его рѣзки, сильны, но въ общей массѣ тонутъ и исчезаютъ въ свѣ-

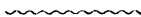
тѣ. Онѣ у него, также какъ въ природѣ, незамѣтны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекраснаго тѣла у него какъ будто просвѣчиваетъ и кажется фарфоровою; свѣтъ, обливая его сіяніемъ, вмѣстѣ проникаетъ его. Свѣтъ у него такъ нѣженъ, что кажется фосфорическимъ. Самая тѣнь кажется у него какъ-будто прозрачною и, при всей крѣпости, дышетъ какою-то чистою, тонкою нѣжностію и поэзіей.

Его кисть остается на вѣки въ памяти. Я прежде видѣлъ одну только его картину — семейство Витгенштейна. Она съ перваго раза, вдругъ, врѣзалась въ мое воображеніе и осталась въ немъ вѣчно въ своемъ яркомъ блескѣ. Когда я шелъ смотрѣть картину — разрушеніе Помпей, у меня прежняя вовсе вышла изъ головы. Я приближался вмѣстѣ съ толпою къ той комнатѣ, гдѣ она стояла, и на минуту, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, я позабылъ вовсе о томъ, что иду смотрѣть картину Брюлова, я даже позабылъ о томъ, есть ли на свѣтѣ Брюловъ. Но когда я взглянулъ на нее, когда она блеснула передо мною, въ мысляхъ моихъ какъ молнія пролетѣло слово: „Брюловъ!“ я узналъ его! Кисть его вмѣщаетъ въ себѣ ту поэзію, которую чувства наши всегда знаютъ и видятъ даже отличительные признаки, но слова ихъ никогда не расскажутъ. Колоритъ его такъ яркъ, какимъ никогда почти не являлся прежде; его краски горятъ и мечутся въ глаза. Они были бы нестерпимы, еслибъ явились у художника градусомъ ниже Брюлова, но у него они облечены въ ту гармонію и дышатъ тою внутреннею музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признакъ и что выше всего въ Брюловѣ — такъ это необыкновенная многосторонность и обширность генія. Онъ ничѣмъ не пренебрегаетъ: все у него, начиная отъ общей мысли и главныхъ фигуръ, до послѣдняго камня на мостовой, живо и свѣжо. Онъ силится обхватить всѣ предметы и на всѣхъ разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художникъ прежнихъ временъ всегда почти избиралъ себѣ какую-нибудь одну сторону и въ нее погружалъ весь талантъ свой, развивавшійся отъ того въ необыкновенномъ и какомъ-то отвлеченномъ величій. Рафаэль обыкновенно писалъ одни только лица, одно

развитіе на нихъ небесныхъ страстей и помышленій; все прочее, даже одежду, бросаль онъ додѣлывать ученикамъ своимъ. Всѣ другіе великіе художники, настроенные высокостью религіозною или высокостью страстей, небрегли объ окружающемъ и второстепенномъ въ ихъ картинахъ. У нихъ небо является всегда бурое; облака похожи болѣе на копны сѣна или на гранитныя массы; дерево или дѣтски-однообразно своею правильностью, или не гармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюлова, напротивъ, всѣ предметы, отъ великихъ до малыхъ, для него драгоценны. Онъ силится схватить природу исполинскими объятіями и сжимаетъ ее съ страстью любовника. Можетъ-быть; въ этомъ ему помогла много раздробленная разработка въ частяхъ, которую приготовилъ для него XIX вѣвъ. Можетъ-быть, Брюловъ, явившійся прежде, не получилъ бы того разносторонняго и вмѣстѣ полного и колоссальнаго стремленія. Отъ того-то его произведенія, можетъ-быть, первыя, которыя живостью, чистымъ зеркаломъ природы доступны всякому. Его произведенія первыя, которыхъ могутъ понимать (хотя неодинаково) и художникъ, имѣющій высшее развитіе вкуса, и незнающій, чтѣ такое искусство. Они первыя, которымъ сужденъ завидный удѣлъ пользоваться всемірною славю, и высшею степенью ихъ есть до сихъ поръ — *Послѣдній день Помпеи*, которую, по необыкновенной обширности и соединенію въ себѣ всего, можно сравнить развѣ съ оперою, если только опера есть дѣйствительно соединеніе тройственнаго міра искусствъ: живописи, поэзіи и музыки.

1834, августа.



ПЛѢННИКЪ.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА.

Въ 1543 году, въ началѣ весны, ночью, тишина маленькаго городка Дѣкомья была смущена отрядомъ реестровыхъ коронныхъ войскъ. Ущербленный мѣсяць, вырѣзываясь блестящимъ рогомъ своимъ съвозъ непрерывно обступавшія его тучи, на мгновеніе освѣщала дно провала, въ которомъ лѣнился этотъ небольшой городокъ. Къ удивленію немногихъ жителей, успѣвшихъ проснуться, отрядъ, котораго одно уже появленіе служило предвѣстіемъ буйства и грабительства, ѣхалъ съ какою-то ужасающею тишиною. Замѣтно было, что всю силу напряженнаго вниманія его останавливалъ тащившійся среди его плѣнникъ, въ самомъ странномъ нарядѣ, какой когда-либо налагало насиліе на чело-вѣка: онъ былъ весь съ ногъ до головы увязанъ ружьями, вѣроятно для сообщенія неподвижности его тѣлу. Пушечный лафетъ былъ укрѣпленъ на спинѣ его. Конь едва ступалъ подъ нимъ. Несчастный плѣнникъ давно бы свалился, если бы толстый канатъ не прирастилъ его къ сѣдлу. Освѣтить бы мѣсячному лучу хоть на минуту его лицо — и онъ бы, вѣрно, блеснулъ въ капляхъ кроваваго пота, катившагося по щекамъ его! Но мѣсяць не могъ видѣть его лица, потому что оно было заковано въ желѣзную рѣшетку. Любопытные жители, съ разинутыми ртами, иногда рѣшались подступить поближе, но, увидя угрожающій кулакъ или саблю одного изъ провожатыхъ, пятились и бѣжали въ свои щедушные домики, закутываясь покрѣпче въ наброшенные на плеча татарскіе тулупы и продрагивая отъ свѣжести ночнаго воздуха.

Отрядъ минулъ городъ и приближался къ уединенному монастырю. Это строеніе, составленное изъ двухъ, совершенно противоположныхъ частей, стояло почти въ концѣ города, на косогорѣ. Нижняя половина церкви была каменная и, можно сказать, вся состояла изъ трещинъ, обожжена, закурена порохоми, почернѣвшая, позеленѣвшая, покрытая крапивою, хмѣлемъ и дикими колокольчиками, носившая на себѣ всю лѣтопись страны, терпѣвшей кровавыя жатвы. Верхъ церкви, съ тѣми изгибистыми деревянными пяты куполами, которые установила испорченная архитектура византійская, еще болѣе изуродованная варваризмомъ подражателей, былъ весь деревянный. Новыя доски, желтѣвшія между почернѣлыми старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не такъ давно она была починена богомольными прихожанами. Блѣдный лучъ серпорогаго мѣсяца, продравшись сквозъ кудрявыя яблони, укрывавшія вѣтвями въ своей гущѣ часть зданія, упалъ на низкія двери и на выдавшійся надъ ними вызубренный (карнизъ), покрытый небольшими, своевольно выросшими желтыми цвѣтами, которые на тотъ разъ блестя и казались огнями или золотой надписью на дикомъ карнизѣ. Одинъ изъ толпы съ неизмѣримыми, когда-либо виданными усами, длиннѣе даже локтей рукъ его, котораго, по замашкамъ и дерзкому, повелительному взгляду, признать можно было начальникомъ отряда, ударилъ дуломъ ружья въ дверь. Дряхлыя монастырскія стѣны отозвались и, казалось, испустили умирающій голось, уныло потерявшійся въ воздухъ. Послѣ сего молчаніе снова заступило свое мѣсто. Брань на разныхъ нарѣчіяхъ посыпалась изъ-подъ огромнѣйшихъ усовъ начальника отряда. „Теремте-те поповство проклятое! А то я знаю, чѣмъ васъ разбудить!“ Раздался пистолетный выстрѣлъ, пуля пробила ворота и шлепнулась въ церковное окно, стекла котораго съ дребезгомъ посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятеніе въ вельяхъ, которыя примывали къ церкви; показались огни; связка ключей загремѣла; ворота со скрипомъ отворились, — и четыре монаха, предшествуемые игуменомъ, предстали блѣдые, съ крестами въ рукахъ.

— Изыдите, нечистые кромѣшники! произнесъ едва слыш-

нымъ, дрожащимъ голосомъ настоятель. — Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, изыди дѣволъ!

— Але-то еще и брешеть, поганый, прогремѣлъ начальникъ языкомъ, которому ни одинъ человѣкъ не могъ бы дать имени, — изъ такихъ разнородныхъ стихій былъ онъ составленъ. — То брешешь, лайдакъ, же говоришь что мы дьяволы, а то мы не дьяволы, мы коронные.

— Чтò вы за люди? я не знаю васъ! зачѣмъ вы пришли смущать православную церковь?

— Я тебѣ, псеха, порохомъ прочищу глаза! Давай намъ ключи отъ монастырскихъ погребовъ.

— На что вамъ ключи отъ нашихъ погребовъ?

— Я, глупый пощъ, не буду съ тобой говорить. А если ты хочешь, басамазенята, поговори съ моимъ конемъ!

— Принеси имъ, антихристамъ, ключи, братъ Касьянъ! простоналъ настоятель, оборотившись къ одному монаху. — Только у меня нѣтъ вина! Какъ Богъ святъ, нѣтъ! ни одной бочки, ни боченка и ничего такого, чтò бы вамъ было нужно.

— А мнѣ какое дѣло! ребята хотятъ пить. Я тебѣ говорю, если ты, глупый пощъ, сѣна, стойла и пшеницы не дашь лошадамъ, то я ихъ въ костель вашъ поставлю и тебя сапогомъ до морды.

Настоятель, неговоря ни слова, возвелъ на нихъ оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали міру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встрѣтились съ злобно устремившимися на него глазами іезуита. Онъ отвортился отъ него и остановилъ ихъ на странномъ плѣнникѣ съ желѣзнымъ наличникомъ. Видъ этотъ, казалось, поразилъ почти безчувственного ко всему, кромѣ церкви, старца.

— За чтò вы схватили этого человѣка? Господи, накажи ихъ трехъипостасною силою своею! Вѣрно, опять какой-нибудь мученикъ за вѣру Христову!

Плѣнникъ испустилъ только слабое стenanіe.

Ключи были принесены, и при свѣтѣ сонно-горѣвшей свѣтильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Какъ только опустились они подъ земляные безобразные своды, могильная сырость обдала вѣхъ. Въ молчаніи

шелъ начальствовавшій отрядомъ, и непостоянный огонь свѣтильни, окруженный туманнымъ кружевомъ, бросалъ въ лицо ему какое-то блѣдное привидѣніе свѣта, тогда какъ тѣнь отъ безконечныхъ усевъ его подымалась вверху и двумя длинными полосами покрывала всѣхъ. Однѣ только грубо закругленныя оконечности лица его были опредѣлительно тронуты свѣтомъ и давали разглядѣть грубо-безчувственное выраженіе его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло въ этой душѣ, что жизнь и смерть — тринь-трава, что величайшее наслажденіе — табакъ и водка, что блаженство тамъ, гдѣ все дребезжитъ и валится отъ пьяной руки. Это было какое-то смѣшеніе пограничныхъ націй: родомъ сербъ, буйно искоренившій изъ себя все чловѣческое въ венгерскихъ попойкахъ и грабительствахъ, по костюму и нѣсколько по языку полякъ, по жадности къ золоту жидъ, по расточительности его козакъ, по жалѣзному равнодушію дьяволь. Во все время казался онъ спокоенъ; по временамъ только нумѣла между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной полъ, часъ отъ часу уходявшій глубже внизъ, заставлялъ его оступаться. Тщательно осматривалъ онъ находившіяся въ земляныхъ стѣнахъ норы, совершенно обсыпавшіяся, служившія когда-то кельями и единственными убѣжищами въ той землѣ, гдѣ въ рѣдкій годъ не проходило по стѣнямъ и полямъ разрушеніе, гдѣ никто не строилъ крѣпкихъ строеній и замковъ, зная, какъ непрочно ихъ существованіе. Наконецъ, показалась деревянная, заросшая мхомъ, зацвѣвшая гнилью, дверь, закиданная тяжелыми бревнами и каменьями. Предъ ней остановился онъ и оглянулъ ее значительно съ низу до верху. „А ну!“ сказалъ онъ, мигнувши бровью на дверь, и отъ его волосистой брови, казалось, пахнулъ вѣтеръ. Нѣсколько чловѣкъ принялись и не безъ труда отвалили бревно.

Дверь отворилась. Боже, какое ужасное обиталище открылось глазамъ! Присутствовавшіе взглянули безмолвно другъ на друга, прежде нежели осмѣлились войти туда. Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Тамъ царствуетъ въ оцѣпенѣломъ величій смерть, распутившая свои костяные члены подъ всѣми цвѣтущими весями и городами, подъ всѣмъ веселящимся,

живущимъ мірозѣ. Но если эта дышащая смертью внутренность земли населена еще живущими, тѣми адскими гномами, которыхъ одинъ видъ уже наводитъ содроганіе, тогда она еще ужаснѣе. Запахъ гнили пахнулъ такъ сильно, что сначала заняло у всѣхъ духъ. Почти исполинскаго роста жаба остановилась, неподвижно выпучивъ свои страшные глаза на нарушителей ея уединенія. Это была четырехугольная, безъ всякаго другого выхода, пещера. Цѣлые доскутья паутины висѣли темными клоками съ землянаго свода, служившаго потолокомъ. Обсыпавшаяся со сводовъ земля лежала кучами на полу. На одной изъ нихъ торчали человѣческія кости; летавшія молніями ящерицы быстро мелькали по нимъ. Сова или летучая мышь были бы здѣсь красавицами.

— А чѣмъ не свѣтлица? Свѣтлица хороша! проревѣлъ предводитель. — Але тебѣ, псяюхѣ, тутъ добре будетъ спать. Самъ ложись на ковадки, а подъ голову подмости ту жабу, али возьми за женку на ночь!

Одинъ изъ коронныхъ вздумалъ было засмѣяться на это, но смѣхъ его такъ страшно-беззвучно отдался подъ сырными сводами, что самъ засмѣявшійся испугался. Цѣвникъ, который стоялъ до того неподвижно, былъ столкнутъ на середину и слышалъ только, какъ захрипѣла за нимъ дверь и глухо застучали заваливаемыя бревна. Свѣтъ пропалъ и иракъ поглотилъ пещеру.

Несчастный вздрогнулъ. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась надъ нимъ, и стукъ бревень, завалившихъ входъ его, показался стукомъ заступа, когда страшная земля валится на послѣдній признакъ существованія человѣка, и могильно-равнодушная толпа говорить какъ сквозь сонъ: „Его нѣтъ уже, но онъ былъ.“ Послѣ перваго ужаса, онъ предался какому-то бессмысленному вниманію, бездушному существованію, которому предается человѣкъ, когда ударъ бываетъ такъ ужасенъ, что онъ даже не собирается съ духомъ подумать о немъ, но вмѣсто того устремляетъ глаза на какую-нибудь бездѣлицу и разсматриваетъ ее. Тогда онъ принадлежитъ къ другому міру и ничего не раздѣляетъ человѣческаго: видитъ безъ мыслей; чувствуетъ, не чувствуя; странно живетъ. Прежде всего вниманіе его впилось въ темноту. Все было на время забыто — и ужасъ ея, и мысль

о погребеніи живаго. Онъ всѣми чувствами вселился въ темноту. И тогда предъ нимъ развернулся совершенно новый, странный міръ: ему начали показываться во мракѣ свѣтлыя струи, — послѣднее воспоминаніе свѣта. Эти струи принимали множество разныхъ узоровъ и цвѣтовъ. Совершеннаго мрака нѣтъ для глаза. Онъ всегда, какъ ни зажмурь его, рисуетъ и представляетъ цвѣты, которые видѣлъ. Эти разноцвѣтные узоры принимали или видъ пестрой шали, или волнистаго мрамора, или, наконецъ, тотъ видъ, который поражаетъ насъ своей чудною необыкновенностью, когда разсматриваемъ въ микроскопѣ часть крылышка или ножки насѣкомаго. Иногда стройный переплетъ окна, котораго, увы, не было въ его темницѣ, проносился передъ нимъ. Лазурь фантастически мелькала въ черной его рамѣ, потомъ измѣнялась въ кофейную, потомъ исчезала совсѣмъ и обращалась въ черную, усѣянную или желтыми, или голубыми, или неопредѣленнаго цвѣта крапинами. Скоро весь этотъ міръ началъ исчезать: плѣнникъ чувствовалъ что-то другое. Сначала чувствованіе это было безотчетное; потомъ начало пріобрѣтать неопредѣленность. Онъ слышалъ на рукѣ своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись къ чему-то слизкому. Мысль о жабѣ вдругъ осѣнила его!... Онъ вскрикнулъ и разомъ переселился въ міръ дѣйствительный. Мысли его окунулись вдругъ во весь ужасъ сущности. Къ тому еще присоединилось изнуреніе силъ, ужасный спертый воздухъ: все это повергло его въ продолжительный обморокъ.

Между тѣмъ отрядъ коронныхъ войскъ разиѣстился въ монастырскихъ кельяхъ какъ дома, высылалъ монаховъ подчищать конюшни и пировалъ, радуясь, что, наконецъ, схватилъ того, кто былъ имъ нуженъ!

1830.

О ДВИЖЕНІИ НАРОДОВЪ ВЪ КОНЦѢ V ВѢКА.

Великое странствіе народовъ, произведшее нынѣшнее население Европы, касается началомъ своимъ глубокой древности. Оно было, можетъ-быть, современно основанію Рима, если еще не прежде. Когда Средиземное море омывало еще возраждающіяся государства, видѣло первые шаги возникающей торговли и развивался духъ народовъ, составившихъ цвѣтъ древняго міра, — во глубинѣ Азіи скрывался другой невѣдомый міръ, которому опредѣлено было уничтожить, убить все древнее величіе, древній духъ, древнія формы прежняго и замѣнить его всѣмъ новымъ. Средняя Азія совершенно противоположна южной, югозападной, африканскимъ и европейскимъ берегамъ Средиземнаго моря, гдѣ цвѣтущее разнообразіе природы, почвы, произведеній, смѣсь земли и моря, куча безчисленныхъ острововъ, мысовъ, заливовъ, казалось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить дѣятельность и умъ человѣка. Природа Средней Азіи совершенно другаго рода: она однообразна и неизмѣрима. Степи ея безбрежны, какъ-то огромно ровны, какъ будто похожи на пустынный океанъ, нигдѣ не останавливаемый островомъ. Неподвижныя озера безпредѣльныхъ равнинъ не могли возбудить никакой дѣятельности. Казалось, сама природа опредѣлила эту землю народамъ пастушескимъ, чтобы по нимъ имѣли мы понятіе о первобытной жизни первоначальныхъ людей. Измѣримость равнинъ не могла внушить человѣку никакой идеи о постоянномъ жилищѣ, которая обыкновенно возраждается у него при видѣ утесистой горы, берега, моря, острова и вообще, гдѣ только есть возможность укрѣпиться. Гдѣ же природа усыплена и недвижима, тамъ

и человекъ безпечень: онъ заботится только о слишкомъ нужномъ. Патріархальныя обитатели степей питались только молокомъ, сыромъ, доставляемыми ихъ полудикими животными, и рѣдко питались мясомъ. Отъ того стада ихъ множились необыкновеннымъ образомъ: владѣльцы ихъ чаще должны были переходить съ мѣста на мѣсто, степей требовалось съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе, — и тѣ земли, которыя ужасаютъ доннѣ своею неизмѣримостью, земли, бывшія вдвое болѣе тогдашняго образованнаго міра, земли, съ которыми бы земледѣльцы всего свѣта не знали что дѣлать, — эти земли сдѣлались тѣсными. Сильнѣйшіе владѣльцы должны были вытѣснить слабѣйшихъ. Народы пастушескіе, не имѣя неподвижной собственности, укрѣпленной давностію владѣнія, легко уступаютъ первому напору и уходятъ съ своими стадами далѣе. И такимъ образомъ Азія сдѣлалась народовержущимъ вулканомъ. Съ каждымъ годомъ выбрасывала она изъ нѣдръ своихъ новыя толпы и стада, которыя, въ свою очередь, сгоняли съ мѣстъ изверженныхъ прежде. Они перешли горы и потянулись въ Европу. Народы, можно сказать, не шли впередъ, а машинально сталкивали другихъ съ мѣстъ. Это не были завоеватели, а какіе-то невольники, дѣйствовавшіе только отъ страха наказанія. Цѣпь народовъ отъ востока и сѣверо-востока протянулась такимъ образомъ по всей Европѣ къ самому югу. На югѣ они встрѣтили первое сопротивленіе, ощутили огромную власть Римлянъ и встрѣтились съ древнѣмъ міромъ. Между тѣмъ, Азія продолжала извергать новыя толпы. Толчокъ отъ cadaго новаго изверженія проходилъ по всей цѣпи; новыя тѣснили прежнихъ, предъидущіе послѣдующихъ. Стремленіе народовъ становилось сильно, но за то и отпоръ со стороны Римлянъ былъ очень силенъ, и потому-то на границахъ Римской имперіи накопилось такое множество народовъ. Послѣ cadaго новаго изверженія это накопленіе становилось сильнѣе, и Римлянамъ труднѣе было сопротивляться имъ. Наконецъ Римляне уступили — и тогда орды стремительнѣе хлынули на югъ Европы. Не имѣй Европа южною границей своею Средиземнаго моря, или имѣй эти толпы народовъ какое-нибудь понятіе о мореплаваніи, это переселеніе долго бы не остановилось, потому что Азія

не переставала извергать новыя толпы, народы перешли бы въ Африку, Европа еще бы нѣсколько лѣтъ не устоялась, хаосъ бы продолжился надолго, государства составились бы гораздо позже, и, вообще, весь ходъ образованія отодвинулся бы на дальнѣйшія времена. Но какъ только народы, овладѣвшіе югомъ Европы, увидѣли позади себя море и невозможность идти далѣе, то рѣшились всѣми силами сопротивляться нападавшимъ на нихъ непріятелямъ, сіи послѣдніе, встрѣтивши неожиданный отпоръ, рѣшились отразить и своихъ непріятелей, которые съ своей стороны употребили тоже съ своими, и такимъ образомъ толчокъ получилъ обратное направленіе, и движеніе вдругъ остановилось. Слѣдствіе этого почувствовалось даже въ Азіи, гдѣ нѣкоторые пастушескіе народы принуждены были заняться земледѣліемъ.

Это переселеніе совершилось бы гораздо быстрѣе, еслибъ Европа состояла изъ такихъ гладкихъ, открытыхъ равнинъ, какими исполнена Азія. Но въ ней, напротивъ того, природа на небольшомъ пространствѣ показала страшную нерегулярность и разнообразіе: со всѣхъ сторонъ она изрыта морями, берега ея всѣ изъ полуострововъ и мысовъ, середина почти нигдѣ не имѣетъ ровной поверхности, — она идетъ то вверхъ, то внизъ, то поднимается безобразными высокими горами, то опускается долинами, какъ будто провалившимися между ними. Къ этому нужно прибавить, что она въ то время вся была облачена дремучимъ, непроходимымъ лѣсомъ и пронята топкими болотами. И потому движеніе народовъ, чѣмъ глубже касалось Европы, тѣмъ происходило медленнѣе: они должны были предираться сквозь лѣса, перелѣзая черезъ горы и обходить болота. Они селились оазами и были такъ скрыты одинъ отъ другаго лѣсами и невѣдомыми мѣстами, что часто долго были безопасны отъ всякихъ нападеній. И когда новое наводненіе толпы, слишкомъ многочисленной, водимой предприимчивымъ повелителемъ, освѣщало Европу великолѣпными иллюминаціями, зажигая вѣковые лѣса ея, и лѣса исчезали; тогда изумленнымъ глазамъ ихъ представлялся народъ, котораго существованія они даже и не подозрѣвали, и который нравами своими, хотя уже отдалившимися, все еще сходствовалъ съ ними. Вся Европа состояла, можно сказать, изъ клочковъ и

отрывковъ, отторженныхъ другъ отъ друга самою природою; отъ того покореніе ея и соединеніе подъ одну власть было вовсе невозможно, и отъ того произошли ея безчисленныя націи, которыя, безъ всякаго сомнѣнія, слились бы и изгладились, еслибы она состояла изъ открытыхъ равнинъ. Это былъ новый, невидимый міръ, о которомъ древніе просвѣщенные народы ничего не знали, и который, можно сказать, самъ мало знаетъ себя.

Основу его составляло множество разныхъ отраслей германскихъ племенъ, простиравшихся по всему западу. Берега Нѣмецкаго моря, Рейна и Дуная и вся середина Европы до Балтійскаго моря были заняты ими. Состояніе ихъ во время перваго знакомства съ ними Римлянъ уже показывало давнюю осѣдлость въ Европѣ и — что переселеніе ихъ совершилось въ глубокой древности. Но что оно истекло изъ Азіи, тому доказательствомъ служить странное сходство нѣкоторыхъ коренныхъ словъ языка германскаго съ персидскимъ *). Выбросила ли Азія въ первоначальной древности за однимъ разомъ племена на югъ, образовавшіяся среди горъ въ народъ персидскій, и на сѣверъ, превратившіяся въ лѣсахъ Европы въ Германцевъ, или позже тяжелое вліяніе Парянъ, ринувшихся изъ середины Азіи, принесло въ языкъ персидскій множество словъ, раздававшихся дотолѣ въ неизмѣримыхъ степяхъ ея и распространившихся уже и въ Европѣ **), — какъ-бы то ни было, но первоначальное происхожденіе Германцевъ было въ Азіи и переселеніе ихъ совершилось въ отдаленныя времена.

Эти народы представляли совершенно противоположный и вовсе отличный міръ отъ римскаго. Физическая и духовная ихъ природа носила рѣзкій отпечатокъ самобытности и особенности. Ихъ организація физическая совершенно спорила съ организаціей народовъ древняго міра. Черные блестящіе глаза, темные волосы, выразительныя, южныя черты лица, казалось, дышавшія потребностью роскоши и пресыщающихъ наслажденій — общемою физиогноміей уже остановившагося древняго міра — встрѣчали

*) Шлегель.

***) Миллеръ.

здѣсь совершенную противоположность: голубоглазые, свѣтло-лосые, рослые, крѣпкіе, съ однимъ только свирѣпымъ выраженіемъ войны на лицѣ, Германцы показали собою совершенно новую природу, которою означился новый міръ. Ихъ религія, ихъ жизнь, ихъ темпераментъ, первообразныя стихіи характера, разлились во всемъ отъ образованныхъ тогдашнихъ народовъ. Религія германскихъ народовъ отличалась особенною оригинальностью. Ихъ божество и предметъ поклоненія была земля. Кажется, какъ будто мрачный видъ тогдашней Европы внушилъ имъ идею этой религіи. Будучи рѣдко освѣщаемы солнцемъ и находясь вѣчно подъ мрачною тѣнью вѣковыхъ дубовъ, роя пещеры для первоначальныхъ своихъ жилищъ или сохраненія сокровищъ, видя одну только землю, могущественно выбрасывавшую на поверхность растенія, приносившія имъ бѣдную пищу, и величественныя высокія деревья, шумѣвшія надъ ними, они почитали ее зиждательницею всего. Отъ ней производили они бога своего Туистона или Тевта, у котораго былъ сынъ Манъ, а отъ него различныя вѣтви германскихъ народовъ, которые, по мнѣнію ихъ, были древнѣйшими обитателями міра. Повидимому, такое понятіе о религіи совершенно отдѣляетъ ихъ отъ Азіи, но мы должны вспомнить, что владычество природы и положенія земли всегда было сильно. Природа деспотически властвуетъ надъ первоначальнымъ человѣкомъ. Развиваясь и зрѣя ужомъ, онъ получаетъ надъ нею верхъ и предписываетъ ей законы, но въ первобытномъ, но въ дикомъ состояніи онъ долженъ самъ исполнять ея законы, — онъ рабъ ея. Въ Средней Азіи небо все открыто передъ глазами. Тамъ оно необозримо и велико. Земля передъ нимъ кажется слишкомъ низменною. Никакое высокое растеніе, никакая остроконечная, высокая, узкая скала не останавливаетъ взора; разстилающаяся по необозримымъ пространствамъ трава представляетъ ее еще низменнѣе. Солнце тамъ течетъ величественно, обливая все своимъ свѣтомъ; звѣзды осыпаютъ густо небесный небосклонъ и одна только могутъ остановить человѣка и препятствовать совратиться съ пути. Отъ того во всей Азіи царствовало всегда поклоненіе солнцу и небеснымъ свѣтиламъ. Передвигаясь въ Европу, народы рѣже видѣлись съ

солнцемъ. Густой и величественный мракъ европейскихъ лѣсовъ сильнѣе поражалъ ихъ дикое воображеніе. Туманы сѣвера и болотныя испаренія скрывали вовсе небо; самая необходимость заниматься иногда земледѣліемъ заставляла ихъ болѣе привязаться къ землѣ. И потому-то у германскихъ народовъ было очень слабо поклоненіе свѣтиламъ; едва у немногихъ сохранилась о немъ память. Во глубинѣ и глуши лѣсовъ, непроницаемыхъ солнцемъ, они приносили свои жертвы богинѣ, матери Гертѣ. Казалось, мракъ считался у нихъ чѣмъ-то священнымъ, и потому-то ихъ религія уже въ самомъ началѣ не сходствовала съ другими. Они вѣрили въ безсмертіе. Но ихъ небеса были мрачны. Они въ своемъ Ваалгалѣ видѣли продолженіе воинственной ихъ жизни: туда переселяли они свои германскіе дубы, пылающіе костры и громъ оружія. Небеса облекали въ свинцовыя тучи и населяли темными тѣнями своихъ великихъ, уже погибшихъ на войнѣ, героевъ. Поклоненіе Гертѣ разошлось между всѣми почти германскими племенами. Къ предметамъ поклоненія ихъ принадлежали также тѣни умершихъ героевъ, которыхъ они представляли въ колоссальномъ видѣ. Такія же почести раздѣляли ихъ товарищи-воины, изъ которыхъ бѣлые почитались, по свидѣтельству Тацита, священными и хранились въ заповѣдныхъ рощахъ. Ихъ впрягали въ священную колесницу, за которою шелъ король, жрецы, и по храпѣнію ихъ узнавали будущее.

Германскіе народы долго сохраняли первобытный образъ жизни. Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звукѣ ея, какъ молодые, исполненные отваги, тигры. Думали о томъ только, чтобы помѣряться силами и повеселиться битвой. Ихъ мало занимала користь или добыча: блеснуть бы только подвигомъ, чтобы послѣ пересказали его дѣло въ пѣсняхъ. Съ именемъ прославившагося въ бояхъ соединялись у нихъ всѣ выгоды и счастье жизни. Его выбирали въ предводители; къ нему чувствовалось у всѣхъ народовъ уваженіе и изумленіе. Онъ былъ посредникъ и судья во всѣхъ спорахъ; на войнѣ полный распорядитель добычи; ему даже чуждыя, отдаленныя племена присылали конныя збруи; ему родныя и подвластныя племена добровольно приносили въ даръ произведенія

полей своихъ — плоды, скоть и лошадей. Храбрость казалась чѣмъ-то божескимъ; подъ его знамена всѣ спѣшили наперерывъ и сражались, не для добычи, но чтобы показаться передъ нимъ и заслужить его одобрительное слово. Его имя долго поминалось въ пѣсняхъ, и по смерти его, въ честь ему, совершались пиршества, и долго племя, имѣвшее его, превозносилось его подвигами передъ другими; тѣнь его становилась божествомъ и служила предметомъ поклоненія. Такой удѣлъ былъ завиденъ, потому что жажда безсмертія уже кипитъ и въ неразвившемся человѣкѣ. Всѣ наперерывъ стремились просумѣть подвигами; битвы были часты, и Германцы, по первому призванію, готовы были летѣть съ своими дикими силами *).

Они сражались почти наги, выказывая во всей простотѣ атлетическую свою силу. Плащъ, застегнутый вмѣсто пряжки терновымъ шипомъ, кожа дикаго звѣря на плечѣ — вотъ ихъ убранство. Они строились густо, кучами, въ видѣ клина; дѣйствовали вблизи и вдали короткими копьями, называемыми фремеями; львиная сила мышцъ ихъ бросала ихъ такъ далеко, сколько нужно было, чтобы достать непріятели; одни щиты ихъ показывали роскошь, испещренные яркими цвѣтами; толпа женъ, дѣтей слѣдовала за ними въ битву, сопровождала ихъ своимъ крикомъ и была причиною новаго мужества; они не мыслили предаться бѣгству при мысли о рабствѣ, ожидающемъ ихъ женъ и дѣтей, усугубляли дикій напоръ свой, и непріятели уступали. Ихъ жены тутъ же, среди битвы, высасывали раны мужей своихъ, залѣчивали ихъ и даже уносили на плечахъ своихъ. Смерть предводителя, вмѣсто того, чтобы разстроить ихъ, связывала желѣзною силою мести и дѣлала ихъ несокрушимыми. Бросить щитъ было верхъ безчестія, и несчастный, жертва всеобщаго презрѣнія, убивалъ самъ себя. Предводитель силою одного уваженія, безъ власти, правилъ самовластно племенами, и воины, съ изумительною покорностью, исполняли его велѣнія. Предводя на войнѣ, они оставляли при себѣ власть эту иногда и среди мира и назывались германами.

*) Тацитъ.

Они были вольны и не хотѣли никакой имѣть надъ собою власти. Правленія у нихъ почти не было. Они собирались на народныя собранія, стекавшіяся при новолуніи и полнолуніи каждаго мѣсяца, а въ случаяхъ чрезвычайныхъ и во всякое время. На эти собранія они приходили лѣниво и медленно, желая показать, что дѣлають это по своей волѣ; нѣсколько дней протекало, покамѣстъ могло составиться нужное число для совѣщанія. Они сидѣли въ полномъ вооруженіи; одни только жрецы могли приказать наблюдать молчаніе; предсѣдательствовали старѣйшины семействъ, сѣдовласые *gawion*, послѣ измѣнившіе это названіе въ графовъ; говорили князья и прославившіеся въ битвахъ; рѣчи ихъ были просты, но исполнены того сильнаго и сжатаго лаконизма, которымъ отличается безхитростное краснорѣчіе народовъ свѣжихъ.

Они были просты, прямодушны; ихъ преступленія были слѣдствіе невѣжества, а не разврата. То, что было безчестіе и низость духа, называлось только преступленіемъ; переметчики, измѣнники, были вѣшаны и предаваемы мучительной казни; за низкіе и безчестные поступки бросали въ болото, забрасывали тиною и фашиинникомъ, какъ бы желая скрыть то, что не должно бы никогда показываться. Жена, измѣнившая мужу, была въ его власти, онъ могъ отрѣзать ей волосы, лишить одѣянія и обнаженную, покрытую стыдомъ, гнать розгами чрезъ веси и деревни, и никто не смѣлъ изъявлять сожалѣнія, несмотря на всю красоту ея; но примѣры эти были рѣдки, потому что Германцы были дикіи и жестоки нравами, и что у нихъ были только обычаи, которые обыкновенно сильнѣе самыхъ законовъ.

Они были безпечны, бездѣйственны въ домашней жизни и представляли совершенную противоположность безпокойному быту воинскому. Они были безчувственно-лѣнивы и лежали въ своихъ хижинахъ, не трогаясь съ мѣста. Чѣмъ болѣе кто почиталъ себя храбрымъ, тѣмъ болѣе считалъ для себя низкимъ всякое занятіе; поля обрабатывали старики, безсильные, малолѣтныя и рабы, которые пользовались совершенною свободою и платили только небольшую подать отъ полей своихъ. Всѣ домашнія заботы лежали на женахъ. Жена не приносила мужу приданого;

напротивъ, онъ долженъ былъ самъ, наканунѣ свадьбы, принести въ даръ быка въ ярмѣ, вооруженную лошадь и копье, какъ бы желая этимъ дать знать, что она должна раздѣлить всѣ его занятія.

Они одѣвались совершенно противоположно римскому міру и всѣмъ народамъ южнымъ, любителямъ вольныхъ, широкихъ одеждъ; они носили платье узкое, которое совершенно обвивалось около ихъ тѣла; звѣриныя кожи, носимыя ими, придавали имъ что-то дикое и звѣрообразное. Одѣянія женъ ихъ мало отличались отъ мужскихъ: у иныхъ платье было льняное алое, доходившее только до пояса, такъ что шея, грудь и руки были открыты. Дѣти были совершенно преданы своей волѣ и росли вѣстѣ съ домашнимъ скотомъ. Когда они достигали совершеннаго возраста, тогда только получали право носить оружіе и засѣдать въ собраніяхъ. Гостепрѣимство, свойственное почти всѣмъ дикарямъ и первобытнымъ нравамъ, было ихъ принадлежностью. Гости дарили подарками; не могшій угостить его отводилъ самъ къ другому.

Но болѣе всего можно было видѣть древняго Германца въ его пиршествахъ, въ которыхъ проводили они напролетъ цѣлыя ночи, гдѣ зажженные дубы величественно освѣщали лѣса, и хлѣбный напитокъ изъ ячменя, можетъ быть, прашуръ нынѣшняго пива, такъ употребительнаго въ Германіи, разрѣшалъ ихъ мысли, рѣчи и намѣренія. Въ этихъ-то пиршествахъ созрѣвали всѣ ихъ предпріятія. Тутъ они задумывали свои смѣлыя и дерзкія дѣла, которыя не всегда и не всѣмъ могли придти въ голову во время медленныхъ народныхъ собраній. Они были стремительны, азартны, и какъ только были разбужены, потрясены и выходили изъ своего хладнокровнаго положенія, то уже не знали предѣловъ своему стремленію. Азартность ихъ болѣе всего оказывалась въ игрѣ, въ которую заигрывался дикій Германецъ до того, что проигрывалъ свой домъ, оружіе, жену, дѣтей, наконецъ самого себя и становился рабомъ, — состояніе нестерпимѣе для него самой смерти! Эта азартность, можетъ-быть, служила основаніемъ дерзкихъ, сильныхъ страстей, которыми исполнены Европейцы.

Таковы были народы германскіе — грубыя стихіи, изъ которыхъ образовалась новая Европа. Они дѣлились на безчислен-

ныя племена и, какъ густыя европейскіе лѣса, усѣвали сѣверную Европу. Чтобы яснѣе обозрѣть ихъ, начнемъ съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ древній міръ уже видѣлъ этихъ первоначальныхъ зиждителей новаго, т. е. отъ рѣки Дуная, служившаго предѣломъ для Римлянъ. Тутъ обитали, уже входившіе въ сношеніе съ древнимъ просвѣщеннымъ Римомъ, все еще вольные, но уже не столь одичавшіе, какъ-то: Гермундуры, Нариски, Маркоманы и Квады. Потомъ великая цѣпь племенъ германскихъ толпилась по Рейну, отъ устья и внизъ до впаденія его въ море: Вангіоны, Трибоки, Нѣметы, Матіаки, Убии; за ними слѣдовали Тенктеры, бывшіе первыми наѣздниками, которыхъ конница славилась и у Римлянъ, которыхъ все имущество были лошади и оставлялись въ наслѣдство только храбрымъ; за ними Узипетры и у самаго впаденія Рейна въ море — сильныя Батавы. Срединѣ Германіи, погруженная въ лѣса, скрывала самыхъ свирѣпыхъ и сильныхъ народовъ. Начиная съ запада и на востокъ, первые встрѣчались Хаты, предки нынѣшнихъ Гессенцевъ, жившіе при рѣкѣ Майнѣ, гдѣ Германія состоитъ изъ частыхъ возвышенностей, — народъ, страшившій своею пѣхотою, регулярнымъ устроившемъ ея, осмотрительностію въ нападеніяхъ и дикимъ выраженіемъ лицъ своихъ. Ихъ обычаи невольно поражали своею оригинальнію. Ни одинъ юноша не смѣлъ отрѣзать волосъ своихъ до тѣхъ поръ, пока не омылъ рукъ своихъ въ крови непріятеля; въ битвахъ они должны были находиться впереди и своими обросшими косматыми лицами наводили робость на врага. Всякій Хатъ носилъ на рукѣ своей желѣзное кольцо, чтд считалось безчестіемъ, потому что напоминало цѣпи; сбросить его онъ могъ тогда только, когда поражалъ собственною рукою непріятеля. На югъ отъ Хатовъ были Херуски, обитатели Гарца; далѣе слѣдовали Фозы, Сигамбры, Бруктеры, Ангруаріи, Хазуаріи, наконецъ Аряне, отличавшіеся совершенно особеннымъ родомъ нападеній, которыя они производили въ глухія, мрачныя ночи, и, желая облечь ихъ страхомъ, выкрашивали тѣло, носили щиты покрытые черною краскою и, въ видѣ погребальной процессіи, представлялись изумленнымъ глазамъ непріятелей, не могшихъ выносить такого зрѣлища. За ними на востокъ, въ пространствахъ нѣсколько болѣе открытыхъ,

обитали Свевы, состоявшіе изъ множества разныхъ племенъ и ведшіе долго еще жизнь пастушескую, несмотря на то, что положеніе земли, еще болотной, мало представляло для нея удобства.

Вообще можно сказать: чѣмъ ближе къ западу и юго-западу, тѣмъ болѣе было занимавшихся земледѣліемъ, или, по крайней мѣрѣ, оно мѣшалось у нихъ съ пастушескою жизнію; чѣмъ ближе къ востоку, къ Венгріи, Дакіи и Польшѣ, тѣмъ болѣе преобладала пастушеская жизнь; чѣмъ глубже въ лѣса Гарца, тѣмъ мрачнѣе и сильнѣе становились германскія племена. Но самыя опасныя, которыхъ Римляне даже вовсе почти не знали и которые были истинные разрушители ихъ владычества, — это были всѣ, населявшіе берега морей и при-балтійскія земли. Сюда никогда не достигали Римляне. Здѣсь жили пираты, самыя предприимчивыя изъ Германцевъ, которыхъ уже положеніе земли и моря заставляло отваживаться на дерзкія дѣла. Такимъ образомъ, по Нѣмецкому морю жили Фризы и Хавки; за ними самыя сильныя корсары сѣвера Саксы, въ Голштиніи Кимвры; по Балтійскому морю: Готы, Варны, Руги, Бургунды, и въ Пруссіи: Ломбарды, Вандалы, Герулы. Кромѣ того, въ срединѣ Германіи находилось еще множество разныхъ отродій, совершенно скрытыхъ болотами и лѣсами, которыя, во время частыхъ битвъ между ея племенами, были вытѣсняемы и видѣли необходимость избирать неприступныя мѣста. Горы Альпъ и Карпата заключали въ себѣ множество клочковъ или остатковъ разныхъ племенъ галльскихъ, германскихъ и венедекскихъ, бандитствовавшихъ въ дикой Европѣ. Сѣверо-востокъ ея, совершенною бѣдностію почвы, уединеніемъ и страшнымъ пространствомъ, не могъ образовать и возростить сильныхъ народовъ. Въ разсѣянныхъ, бездомовныхъ, неприютныхъ его обитателяхъ, Финнахъ, и отрогкахъ народовъ эстскихъ замирала жизнь, какъ и въ самой природѣ того края.

Вотъ каковъ былъ тотъ отдѣльный міръ дикой Европы! Вотъ каковы были тѣ народы, которыхъ мощную силу прежде всего должны были испытать Римляне! И если всемірная имперія не пала гораздо ранѣе, то причиною этого были: чрезвычайное раздробленіе народовъ германскихъ, положеніе Европы, препятствовавшее имъ слиться въ одно, простота нравовъ, заставлявшая

ихъ довольствоваться грубыми произведеніями своей земли, незнаніе корысти, такъ свойственное разрушающимъ дикарямъ, ослѣдность и любовь въ свободѣ, заставлявшая ихъ удалиться въ глубину своихъ лѣсовъ. Римляне чувствовали всю опасность отъ этихъ свѣжихъ силъ европейскихъ народовъ. И отъ того никакая изъ границъ имперіи: ни восточно-азійская, ни южно-африканская, не была такъ защищена, какъ сѣверо-европейская. Сюда, можно сказать, стеклась вся сила ихъ. И должно признаться, что средства защиты, при тогдашнемъ изнемогающемъ состояніи имперіи, были приняты самыя благоразумныя. Имперія отдала опасныя границы свои свѣжимъ воинственнымъ народамъ, которые лучше всего могли защищать ихъ и были довольны вначалѣ немногимъ. Но къ чести народовъ германскихъ нужно сказать, что одна только сильная необходимость заставляла ихъ принимать этотъ даръ Римлянъ. Эта зависимость казалась для нихъ рабствомъ, и они спѣшили въ глубину лѣсовъ своихъ скрыть тамъ свою свободу. Покушенія Римлянъ принуждали ихъ составлять сильныя между собою союзы, но эти союзы никогда не были нападательны; цѣль ихъ была только привести въ безопасность свою волю, бывшую для нихъ дороже всего. Одинъ изъ сихъ союзовъ, извѣстный подъ именемъ союза Франковъ, болѣе другихъ выросъ и усилился, благодаря благопріятному положенію земли и умножившимся натискамъ со стороны всѣхъ народовъ. Разнородныя племена, его составившія, заняли часть Вестфалии и Гессена и такъ тѣсно слились, что составили наконецъ одну націю подъ именемъ Франковъ. Но этотъ союзъ не былъ бы такъ страшенъ для Римлянъ, и вся Германія долѣе пребывала бы неподвижно, если-бы не дѣйствовали на нее постороннія силы входившихъ изъ Азіи народовъ. Восточная часть Европы была очень страшна своими равнинами. Это были широкія ворота въ западную Европу, — большая дорога, черезъ которую переходили попеременно разноцвѣтные народы; лѣса были здѣсь болѣе выжжены, нежели въ другихъ мѣстахъ; болота скорѣе высохли, и съ каждымъ столѣтіемъ она становилась просторнѣе и удобнѣе для переходовъ. Открытыя мѣста ея давали средство народамъ и племенамъ соединяться въ большія массы, представляли удоб-

ность для кочующей жизни, которая дает средства производить великіе набѣги. Народъ вдругъ могъ подняться съ легкихъ жилищъ своихъ и произвести всею массою самое страшное, ничѣмъ неотразимое, разрушительное нападеніе.

Одному изъ народовъ германскихъ опредѣлено было прежде всѣхъ другихъ произвести всеобщее движеніе. Этотъ народъ были Готы *), народъ, надъ которымъ, казалось, тяготѣло какое-то проклятіе, осудившее его на скитаніе. Долго блуждалъ онъ и показывался, то въ Скандинавіи, на противоположныхъ берегахъ Балтійскаго моря, то, наконецъ, на широкомъ востокѣ Европы. По свидѣтельству историка Иорнанда, онъ первобытную жизнь велъ въ Скандинавіи. Можетъ быть даже, что это былъ одинъ изъ первоначальныхъ народовъ Европы. Перебравшись изъ снѣговой своей отчины, онъ устремился на берегъ Пруссіи и произвелъ страшный всемірный переворотъ, вытѣснивъ оттуда Вандаловъ, Ломбардовъ, Геруловъ, Бургундовъ и Саксовъ, и, противъ ихъ собственной воли, заставилъ ихъ быть одними изъ ревностныхъ дѣателей въ разрушеніи западной имперіи. Всеобщее потрясеніе ощутилось во всей Европѣ: вся эта цѣпь сильныхъ при-балтійскихъ народовъ придвинулась ближе къ границамъ римскимъ, потѣснила въ горы и болота множество племенъ, сжала сильнѣе ихъ силу, и Римляне должны были завести новое знакомство — Герулы, Вандалы, Ломбарды уже стали появляться въ войскахъ ихъ.

Между тѣмъ, Готы, прочистивши передъ собою дорогу, отчасти разогнали, отчасти покорили при-дунайскихъ народовъ — Маркомановъ, Квадовъ; соединялись въ южныхъ равнинахъ Дакіи въ многочисленныя массы и, съ приведенными подъ власть свою народами, устремились къ Черному морю. Чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ удобнѣе была имъ дорога и тѣмъ быстрѣе былъ ихъ путь; наконецъ они очутились въ срединѣ Греціи и въ Малой Азіи, выггли берега Чернаго моря. Халцедонъ, Эфесъ были обращены въ пепель; Аѳины были разграблены страшно, безжалостно. Императоръ Децій видѣлъ опасность восточныхъ гра-

*) О Готахъ Прокопій, Иорнандъ, Гиббонъ.

ницъ обширной своей имперіи, и, между тѣмъ какъ на западныхъ границахъ войска его сражались съ Вандалами, Севрами, Герулами, сдвинутыми съ мѣстъ Готами, онъ самъ предводилъ войсками на востокъ и погибъ съ оружіемъ въ рукахъ. Готы съ великою добычею возвратились, заняли нынѣшнюю Россію, приобрѣли трактатомъ отъ Римлянъ всю Дакію и остались здѣсь, владычествуя надъ при-дунайскими народами и тревожа присутствіемъ своимъ безпечную имперію. Тогда всемірные императоры, узнавшіе несчастнымъ опытомъ дивное мужество Готовъ, составили планъ принимать ихъ въ свои войска и выдавать жалованье этимъ неодолимымъ дикарямъ. Сямъ приобрѣли они сильныхъ защитниковъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ приобрѣли и сильныхъ непріятелей, потому что открыли имъ тайну благоустроенной тактики, которая еще болѣе могла придать имъ перевѣса. Но, впрочемъ, тактика Готовъ и безъ того была неодолима. Она соединяла въ себѣ вмѣстѣ и тактику народовъ легкихъ и кочующихъ, и тактику неподвижныхъ народовъ. Они строились густыми, великими массами и сохраняли одинаковую крѣпость въ порывѣ перваго нападенія, въ разгарѣ битвы и въ потухающей силѣ ея окончанія. Какъ бы долго ни длилась битва, ихъ ряды невозможно было сдвинуть съ мѣста. Нападенія свои они сопровождали такъ же, какъ и другія германскія племена, пѣснями. Въ пѣсняхъ провозглашали имена древнихъ героевъ: Фридигера, Видигана, Этесбамера и другихъ. Власть религіозная заключалась въ одномъ лицѣ, который былъ вмѣстѣ и царь, и предводитель войскъ, и верховный жрецъ, и при всемъ томъ — зависѣлъ отъ совѣта храбрыхъ.

У Готовъ съ незапамятныхъ временъ тянулось царственное поколѣніе Бальтовъ, изъ которыхъ только однихъ можно избирать царей. Поклонялись Водану, бывшему въ отдаленные вѣки ихъ предводителемъ вмѣстѣ съ Одиномъ, этимъ сѣвернымъ Улиссомъ *) Изъ всѣхъ народовъ германскихъ Готы болѣе другихъ способны были принять цивилизацію. До середины четвертаго вѣка, власть Готовъ признавалась болѣе или менѣе наро-

*) Шлегель.

дами на Дунаѣ, на западѣ и на востокѣ нынѣшней Россіи. Имя царя ихъ Германриха было уважаемо отъ береговъ Чернаго моря до Ливоніи.... Но владычество Готовъ было смущено великимъ азіатскимъ нашествіемъ Гунновъ.

Гунны или Гюнгну, по свидѣтельству Дегине, были племена сильныя, занимавшія великія степи Татаріи, Манджуріи, потрясшія Китай, но неумѣвшія противиться китайской лукавой политикѣ и обратившіяся впослѣдствіи въ данниковъ китайскихъ монарховъ. Однакоже, многочисленная часть поднялась съ своими кибитками и табунами, направляясь на западъ, заняла за-каспійскія земли и скрывалась такимъ образомъ изъ виду Китая. Поселеніе ихъ на берегахъ каспійскихъ историки римскіе относятъ ко времени Доминиціана. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что образованный тогдашній римско-греческій міръ ничего не зналъ даже о томъ, существуетъ ли на свѣтѣ этотъ народъ, до времени императора Валенса, т. е. до того времени, когда увидѣли вдругъ извергавшіяся изъ горъ Азіи толпы Гунновъ и съ ними Аваровъ, Гуннуюровъ, Ульзингуровъ и другихъ народовъ, которыхъ имена дико звучали для утонченнаго и вмѣстѣ испорченнаго слуха Римлянъ-Грековъ. Набѣгъ этихъ обитателей Азіи разрушительный, неотразимый; обычай ихъ ѣсть сырое мясо, пить изъ непріятельскихъ череповъ и приносить на окровавленномъ кострѣ въ жертву тѣнямъ своихъ предковъ первыхъ попадавшихся плѣнниковъ; самыя ихъ калмыцкія лица, плоскія, неуклюжія, смуглыя, наводившія робость однимъ своимъ свирѣпымъ движеніемъ; ихъ приземистый ростъ, весь состоящій изъ однихъ мускуловъ, — привели въ такой ужасъ азіатско-римскія провинціи, что жители не смѣли производить ихъ отъ человѣческаго племени. Они думали, что маги и волшебники неизмѣримыхъ каспійскихъ пустынь вошли въ нечистое сношеніе съ дьяволами, и отъ этого союза произошли Гунны.

Гунны, по какому-то странному инстинкту, или, можетъ-быть, испугавшись слишкомъ пестрой поверхности римской Азіи, усѣянной садами и городами, которыхъ всегда убѣгаютъ кочевые народы, считающіе ихъ темницами, или не находя вольныхъ пустынныхъ степей, необходимыхъ для ихъ неисчисляемыхъ стадъ, —

какъ бы то ни было, только они двинулись, вмѣсто того, чтобы на югъ, — на сѣверо-западъ, зацѣпили путемъ своимъ Кавказа, сорвали съ его подошвы нѣсколько народовъ кавказскихъ и увлекли съ собою. Вся эта кочевая толпа выспала въ Европу. Великій аванпостъ Европы занятъ былъ, какъ мы уже видѣли, владычествомъ Готовъ. Ихъ многочисленныя племена и покоренные ими народы были передовыми ея стражами и наполняли ея обширныя ворота, къ несчастію, слишкомъ обширныя для такой небольшой части свѣта, какова Европа. И Готы, тѣ Готы, которые считались непобѣдимымъ ея оплотомъ и силою, уступили передъ ними. Это такъ и должно было быть. Тайна азіятскаго многочисленнаго набѣга была совершенно неизвѣстна Готамъ. Еслибъ они знали, что азіятское нападеніе болѣе всего страшно силою перваго порыва, что умѣнье долѣе противостать ему и продлить битву одни только могутъ выиграть; еслибы Готы знали это, то Гунны убралась бы снова за Кавказъ, и Европа не почувствовала бы сильнаго потрясенія, измѣнившаго снова ея видъ. Но эта тайна не была постигнута Готами. Впрочемъ, надобно сказать и то, что нужно было имѣть нечеловѣческую храбрость и крѣпость духа, чтобы выдержать первый напоръ Гунновъ. Нападенія ихъ были производимы съ такимъ ужаснымъ крикомъ; многочисленная масса ихъ летѣла такъ густо и съ такою силою на лошадяхъ бѣшеныхъ, почти дикихъ, какъ будто бы была сброшена съ крутаго утеса, и не въ состояніи была сама удержаться бѣга; узкій, почти пропадавшій между пухлыхъ щекъ, ихъ глазъ былъ такъ быстръ и вѣренъ, въ одно мгновеніе они давали столько измѣненій ходу битвы, такъ быстро могли разсыпаться и исчезнуть изъ виду, такъ скоро собраться въ кучи, такъ мѣтко высылать летящій лѣсъ стрѣлъ, даже убѣгая такъ ловко они умѣли отстрѣливаться, и все это сопровождали такимъ дикимъ, оглушительнымъ крикомъ, что врядъ ли могъ смекаться предводитель, чей глазъ не разбѣжался бы, и голова не закружилась въ битвѣ съ ними.

Погнавши Готовъ, Гунны заняли нынѣшній польскій западъ Россіи, да сѣверныя и дунайскія земли, — географія Европы измѣнилась снова. Занявши такое огромное пространство, Гунны

необходимо должны были произвести сильное потрясеніе и всеобщую перемѣну мѣстъ. Сдвинутые Готы, хотя съ трудомъ, но подались на западъ и югъ: Вандалы и Свевы, съ которыми Римляне, или, лучше сказать, Римскіе Германцы мѣрялись уже на самыхъ границахъ своими силами, ворвались чрезъ Францію и Альпы въ Испанію. И въ Испаніи, ко всеобщему изумленію, столкнулись народы совершенно съ противоположныхъ странъ свѣта: Свевы съ береговъ Балтики и сѣвѣжной Скандинавіи, и Алане, оторванные гуннскимъ порывомъ, съ подошвы Кавказа.

Гунны бродили по степямъ Россіи, переносили свои кибитки и перегоняли табуны въ теченіи цѣлыхъ пятидесяти лѣтъ, не производя дальнихъ завоеваній, потому что западную Европу и на тотъ разъ спасало лѣсистое и неровное положеніе и потому что Гуннамъ не доставало предприимчиваго предводителя. Они производили свои набѣги на сосѣдей, которые обыкновенно состояли въ хищничествѣ женъ, дѣтей и въ угонкѣ стадъ въ свои предѣлы. Эти хищничества болѣе всего должны были испытать Готы, какъ ближайшіе къ нимъ народы. Готы въ это время раздѣлились на двѣ великія вѣтви: на Визиготовъ, которыхъ цари были избираемы изъ прежней царственной линіи Бальтовъ, и Остроготовъ, избравшихъ царей изъ новой царственной вѣтви Амаловъ. Столкнутые Гуннами, они притѣснились къ самому югу нынѣшней Украйны и Молдавіи. Не нашедшая безопасности часть Визиготовъ, подъ начальствомъ Фридигера, Алета, Сефраха, обратилась съ просьбою къ римскому императору о позволеніи перейти чрезъ Дунай и, поселившись на южной сторонѣ его, защищать провинціи отъ нападенія усилившихся варваровъ. Императоръ Валентиніанъ, управлявшій имперіей вмѣстѣ съ братомъ своимъ Валентомъ, принялъ съ радостію неожиданную помощь, — и Визиготы перешли чрезъ Дунай. Между тѣмъ Остроготы и часть Визиготовъ, жившихъ на юго-востокѣ, терпѣли часто голодъ и видѣли безпрестанно увеличивающіяся свои нужды, просили императора Валента, который имѣлъ надзоръ надъ восточными провинціями и жилъ въ Константинополѣ, снабдить ихъ нужными произведеніями и позволить имъ торговать съ тамошними жителями. Императоръ поручилъ удовлетворить ихъ

во всемъ еракіѣскимъ правителямъ, Луципину и Максиму, которые были совершенные Греки время византійскихъ: коварные, готовые оказать злодѣйскіе поступки даже безъ побудительныхъ причинъ и почитавшіе позволительными всѣ поступки съ варварами. Они не торговали, но просто грабили Готовъ и доводили ихъ до крайности продавать женъ и дѣтей; наконецъ, подъ видомъ пріязни, призвали доблестнѣйшихъ Готовъ и рѣшились тайно умертвить ихъ. Это пробудило мщеніе въ дикомъ, но сохранявшемъ первоначальныя человѣческія чувства народѣ. Многочисленныя толпы Готовъ ворвались во Фракію и до самаго Константинополя жгли, грабили и обратили въ пепель всѣ находившіеся по дорогѣ города и окрестности. Императоръ Валентъ находился въ весьма неблагопріятномъ положеніи. Онъ былъ ревностный аріанецъ и потому гналъ безъ милосердія противниковъ секты; потому имѣлъ враговъ, и самъ братъ его Валентиніанъ, императорствовавшій въ Римѣ, отказалъ подать ему помощь. Кромѣ того императоръ Валентъ былъ жестокъ и ужасно подозрителенъ: ему предсказали, что гибель его послѣдуетъ отъ человѣка, котораго имя начинается словомъ *Тео* — и онъ перерѣзалъ и передумилъ всѣхъ Теодориковъ, Теодотовъ и Теодосіевъ, которые только занимали какія нибудь значительныя должности. Само собою разумѣется, что такіе поступки не внушали его подданнымъ излишняго жара защищать своего монарха. При томъ, и самые подданные были жалкій, безхарактерный народъ; войска умѣли только бунтоваться и готовы были бѣжать при первомъ случаѣ; финансы разбрелись по рукамъ евнуховъ, любимцевъ, любовницъ и пронырливаго духовенства. Итакъ, Валенту наконецъ пришлось поплатиться за прежнюю жизнь свою. Оставленный бѣгущими войсками, онъ спрятался въ бѣдную хижину и былъ сожженъ вмѣстѣ съ нею мстительными Готами. Константинополь уцѣлѣлъ, благодаря незнанію Готовъ осаждать города. Готы съ торжествомъ, съ безчисленною добычею, возвратились въ свои жилища, оставивъ Римлянамъ страшную память своего посѣщенія.

Своро послѣ этого произошло совершенное раздѣленіе Римской имперіи. Императоръ Теодосій думалъ спасти ее чрезъ эту

секуляризацію, приписывая слабость ея неизмѣрности и невозможности одному управлять. Восточная имперія, которая очень справедливо стала называться Греческою, а еще справедливѣе могла бы называться имперіей евнуховъ, комедіантовъ, любимцевъ ристалищъ, заговоровъ, низкихъ убійцъ и диспутствующихъ монаховъ, досталась Аркадію, которымъ управлялъ пронырливый опекунъ его Руфимъ; Западная, которая тоже весьма несправедливо называлась Римскою, потому что всѣ административныя значительныя мѣста были заняты выслужившимися варварами изъ Готовъ, Вандаловъ и другихъ Германцевъ, получившихъ только слабый наружный лоскъ римскаго образованія, которая уже въ собственномъ сердцѣ своею видѣла насильно тѣснимыхъ враговъ, которая въ живомъ трупѣ своею видѣла и чувствовала онѣмѣніе жизни, — эта Западная имперія вручена была малолѣтнему Гонорію, которымъ управлялъ Стиликонъ, родомъ Вандалъ, бывшій вѣрнымъ и храбрымъ при Θεодосіи и сдѣлавшійся низкимъ и слабымъ при ничтожномъ его сынѣ. Опекуны, правительствовавшіе въ разныхъ углахъ Европы, ненавидѣли другъ друга. Первый подарокъ, который Руфимъ, хитрый, какъ византійскій Грекъ, препроводилъ къ своему непріятелю Стиликону, состоялъ въ сильныхъ войскахъ Визиготовъ, которыхъ онъ настроилъ воевать Италію, обѣщая съ своей стороны не подавать никакой помощи. Всѣ Визиготы поднялись съ своихъ становищъ въ Дакіи и съ береговъ Дуная и вступили въ Италію. Но Стиликонъ, вмѣсто того, чтобъ утрашиться такого нашествія, втайнѣ былъ радъ ему. Онъ основывалъ на немъ кучу плановъ. Прежде всего онъ думалъ этими свѣжими, многочисленными и сильными варварами истребить другихъ варваровъ, уже втѣснявшихся въ самыя предѣлы Римской имперіи. Тогда Галлія и принадлежала, и не принадлежала Римлянамъ. Сильный Франкскій союзъ стоялъ на границахъ ея вмѣстѣ съ накопленными подъ его эгидою племенами; на востокъ и на югъ, т. е. въ нѣдрѣ самой Франціи, вольно расположились Алеманы и Бургунды. Въ Испаніи Свевы, Аланы и Вандалы захватили всю лучшую часть ея, т. е. югъ. Среди ихъ римскіе префекты и начальники играли самую жалкую роль, имѣли достоинство безъ

власти. Базалось, вмѣсто Римской имперіи лежала надъ полуміромъ одна только величественная длинная тѣнь ея. Имперія была похожа на тысячелѣтній дубъ, который изумляетъ свою страшную толщиною, но котораго середина давно уже обратилась въ гниль и прахъ. Стиликонъ искусно отклонилъ Алариха отъ желанія поселиться въ Италиі и предложилъ ему богатую, цвѣтущую Испанію. Онъ даже замышлялъ обратить этихъ варваровъ противъ врага своего Руфима, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ располагалъ даже, въ случаѣ удачи, объявить себя императоромъ вмѣсто слабаго Гонорія, но черезчуръ перехитрилъ, и собственная голова слетѣла съ плечъ его. Слабый, ничтожный Гонорій, не понявшій ни одного проекта Стиликона, велѣлъ одному изъ своихъ, также неразсудительныхъ полководцевъ, напасть съ тыла на Готовъ, уже выступавшихъ въ Испанію, съ тѣмъ чтобы нанести имъ какой-нибудь вредъ. Аларихъ вдругъ обратился и очутился подъ стѣнами Рима. Гонорій по обыкновенію бѣжалъ. Сенатъ, видѣвши безсиліе свое, умолилъ могущественнаго Гота отступить, обѣщая дѣнь, часть которой ему была выдана тогда же; остальной рѣшился побѣдитель ждать и отступилъ отъ Рима. Какъ только узналъ Гонорій, что опасность миновалась, какъ уже вновь прибылъ въ Римъ и вовсе не думалъ платить дани. На этотъ разъ Аларихъ явился подъ стѣнами уже гнѣвный, грозившій обратить въ пепель вѣчный городъ. 23 августа 409 года стѣны всемірной столицы увидѣли среди себя предводителя Готовъ. Великолѣпные дома и дворцы были разграблены, но грозный Аларихъ запретилъ зажигательство и пролитіе крови. Изъ этого можно видѣть силу воли и власть, какую онъ имѣлъ надъ своими дикарями, удержавъ ихъ отъ того, отъ чего иногда не властенъ удержать и начальники образованныхъ войскъ. Гонорія и слѣда уже не было въ Римѣ, онъ давно умѣлъ скрыться. Но за то побѣдитель показалъ въ величайшей степени презрѣніе, какое чувствовалъ къ Римлянамъ: возвелъ имъ царя ихъ же префекта Атала и заставилъ его ползать у дверей палатъ своихъ. Насытивъ свое мщеніе, оставилъ онъ Римъ и обратился на югъ Италиі. Здѣсь онъ замышлялъ великіе планы, строилъ флотъ и намѣревался перенести свои побѣдительныя знамена на

берега Африки, но смерть остановила его подвиги. Для гробницы его Визиготы отвели течение рѣки Везанто, вырыли на бывшемъ днѣ ея глубокую могилу, въ которую зарыли трупъ, и потомъ снова возвратили ее на прежнее лоно, чтобы никто не могъ осквернить и поругаться надъ могилою великаго Гота. Избранный послѣ него Астольфъ наконецъ вывелъ Готовъ въ Испанію, гдѣ они быстро утвердились и составили сильное Готское королевство, изгнавъ неизмѣннихъ значенія римскихъ начальниковъ.

Вторженіе Визиготовъ было сильно почувствовано во всѣхъ концахъ Испаніи. Алане и Сवेвы были крѣпко стѣснены, и большая часть ихъ должна была признать власть Готовъ. Даже Вандамы, бывшіе сильнѣйшими въ Испаніи, были сильно притѣснены и придвинуты къ Средиземному морю. Уже король ихъ, Гензерихъ, помышлялъ о переправѣ въ Африку. Но одно происшествіе какъ будто нарочно ускорило исполненіе его мысли. Въ Римѣ управлялъ, именемъ малолѣтняго Валентиніана и его матери, знаменитый Аэцій, предприимчивый, честолюбивый, хитрый, не слишкомъ разборчивый на средства къ-достиженію желаемого. Онъ имѣлъ сильнаго противника въ Бонифаціи, правителѣ Африки, и рѣшился его погубить; для этого призывалъ его именемъ императора въ Римъ. Бонифацій, проникнувши умыселъ, рѣшился остаться въ Африкѣ и призвать на помощь Гензериха. Въ 427 году Гензерихъ съ Вандалами и частию Алановъ высадился на берегъ Африки и означилъ путь свой пожарами и опустошеніями. Бонифацій увидѣлъ наконецъ свою ошибку, что призывалъ такого гостя. Онъ успѣлъ уже примириться съ императоромъ и рѣшился поставить преграду безпокойному своему союзнику. Но съ Гензерихомъ не такъ было легко управиться; Бонифацій былъ разбитъ. Гензерихъ зажегъ Карсагену, ограбилъ дома, рубилъ жителей и извлекъ, гдѣ только могли скрываться, сокровища.

Быстрые успѣхи разожгли его хищное честолюбіе. Скоро весь сѣверный берегъ Африки подвергнулся его вандалскому владычеству. Огнемъ и мечомъ окрестилъ онъ его въ аріанство и составилъ сильнѣйшее въ этотъ мятежный и темный вѣкъ государство. Съ этого времени разгулялся Гензерихъ. Страшный

флотъ его рассыпался по Средиземному морю и прекратилъ своимъ корсарствомъ всякое плаваніе. Каждый годъ этотъ нумидійскій левъ появлялся у всѣхъ береговъ Средиземнаго моря, отъ Греціи и Иллиріи до Гибралтара, собирая, какъ жатву на собственномъ полѣ, все, что могла только произвести цвѣтущая населенность ихъ. Испанія, Сицилія, Сардинія, Далмація — попеременно чувствовали ужасную разрушительную руку этого вѣнчаннаго пирата, который такъ быстро воздвигнулъ первое государство христіанскихъ корсаровъ. Но наконецъ, среди величія и награбленныхъ богатствъ, имъ овладѣло то состояніе духа, та свирѣпая задумчивость, которая сушить, мучить душу и служить близкимъ предвѣстіемъ тиранства, ужасной нравственной болѣзни властителя. Онъ сталъ подозрѣвать всѣхъ окружающихъ и подозрѣніе наконецъ простеръ на жену свою, дочь визиготскаго короля; ему вообразилось, что она имѣетъ умыселъ отравить его. Наполненный этою мыслию, онъ приказалъ отрѣзать ей носъ и уши и въ такомъ видѣ отправить къ ея отцу. Но, испугавшись самъ мщенія Готовъ, пригласилъ Аттилу, предводителя Гунновъ, напасть съ сѣвера на Испанію и Италію.

Аттила имѣлъ свою резиденцію въ Дакіи, гдѣ недалеко отъ Дуная, находилось становище изъ грубыхъ деревянныхъ юртъ, среди которыхъ возвышался неуклюжій дворецъ его. Аттила былъ именно такой предводитель, какого дотолѣ не доставало Гуннамъ. Онъ показалъ, какъ можетъ быть ужасна, стремительна азіятская сила. Весь сѣверо-востокъ Европы признавалъ его владычество. Цѣнь народовъ, несшихъ дань непобѣдиму царю Гунновъ, начиналась у Кавказа и оканчивалась у Рейна. Готы, Гепиды, Алане, Герулы, Аказиры, Туринги и Славяне очутились въ границахъ его быстро раздавшейся кочевой имперіи. Греческій императоръ, испытывавшій его презрѣніе, униженно присылалъ ему дань и ползалъ передъ его могуществомъ. Это былъ маленькій человекъ, почти карло, съ огромною головою, съ небольшими калмыцкими глазами, но такъ быстрыми, что ни одинъ изъ подданныхъ его не могъ выносить ихъ безъ невольнаго трепета. Однимъ этимъ взглядомъ онъ двигалъ всѣми своими племенами, которыя, несмотря на разбросанное свое положеніе,

различіе жизни, нравовъ и обычаевъ, слились его словомъ въ одну душу. Посреди своихъ придворныхъ, блиставшихъ награбленнымъ золотомъ, этотъ необыкновенный человекъ носилъ грубую широкую одежду, лежалъ на простомъ войлокѣ, пилъ почти одну воду изъ деревяннаго котла; ни сѣдло, ни лошадь его не видали на себѣ драгоценныхъ каменьевъ, и самъ себя называлъ бичемъ Божиимъ, посланнымъ для того, чтобъ исправить міръ. Власть его надъ войскомъ была безпредѣльна: оно вѣрило, что у него находится чудесный мечъ, который долженъ завоевать ему весь міръ. Повиновеніе покоренныхъ народовъ было изумительно. Впрочемъ, невозможно было и думать имъ о возмущеніи, потому что Аттила могъ выставить возлѣ своей ставки такую пирамиду изъ отрубленныхъ головъ, глядя на которую немного находилось охотниковъ. Онъ не любилъ заводить напрасно войны, особенно, когда міръ могъ ему доставить то же самое. Справедливость его была ужасна. Онъ показывалъ и великодушіе, но только рабамъ, простертымъ у ногъ его. Мщеніе же Аттилы.... но вызвать его мщеніе никто не имѣлъ духа.

Предложеніе Гензериха, казалось, упредило его собственную мысль. Властительно собралъ онъ безчисленныя племена свои и шель на западъ. Римская имперія почувствовала всю опасность. Всѣ народы, составлявшіе тогда западъ Европы, встревожились. И тогда случилось странное событіе: вся западная дикая Европа сдвинулась въ одинъ союзъ. Римляне соединились съ своими разрушителями, Визиготами, Аланами, Франками. Народы кочующіе и пастушескіе шли на неподвижныхъ и уже отчасти земледѣльцевъ. Стремительная и деспотическая Азія на крѣпкую и вольную Европу. Нужно замѣтить, что германскіе народы, чѣмъ ближе къ западу, тѣмъ болѣе означались вольнымъ духомъ. Альпы были древнимъ хранилищемъ европейской свободы, и вкругъ ихъ, на далекое разстояніе, племена хранятъ еще и доннынѣ черты независимости. Равнинамъ близъ Марны во Франціи опредѣлено было быть театромъ этой единственной битвы. Западная вольная Европа изъ Римлянъ, Визиготовъ, Армориканъ, Бретоневъ, Бургундовъ, Саксоновъ, Алановъ и Франковъ, подъ начальствомъ королей, военныхъ предводителей и подъ высшимъ

распоряженіемъ искуснаго Аэція, и восточная кочевая Европа изъ Остроготовъ, Алановъ, Гепидовъ, Маркомановъ, Венедовъ, Ломбардовъ, Геруловъ, Аказировъ, Аваровъ, Туринговъ, Роксолановъ и нѣкоторыхъ племенъ славянскихъ, подъ начальствомъ своихъ князей, королей и принцевъ, и движимыхъ одною всемогущею волею Аттилы, должны были рѣшить многое важное въ потомствѣ. Вольная Европа устояла. Неотразимая, разрушительная конница Аттилы была опрокинута вмѣстѣ съ союзными народами, и непобѣдимый Гуннь, употребившій все возможное напряженіе своей воли, поворотилъ свои табуны и народы въ равнины Венгріи и Паноніи. Аэцій, не желая дать перевѣса Визиготамъ, дѣйствовавшимъ сильнѣе другихъ въ этой кровопролитной сѣчѣ, облегчилъ ему удаленіе. Великая лига, исполнявшая свое назначеніе, разошлась и обратилась въ прежнія начала, увидя минувшую опасность.

Но ужасный предводитель Гунновъ рвалъ на себѣ благородный клокъ волосъ своихъ отъ гнѣва и черезъ годъ, пополнивши свои войска новыми, вступилъ въ Италію, гдѣ безпечный императоръ Валентиніанъ и даже самъ Аэцій не мыслили объ опасности. Первый городъ, испытавшій его тяжелую руку, былъ Аквилея. Онъ его обратилъ въ пепель и заставилъ горсть спасшихся жителей зародить на Адриатическомъ морѣ Венецію. Отсюда прошелъ онъ всю Италію, дѣйствуя какъ огненный бичъ. Города: Бонкордія, Бреція, Виченца, Падуа, Верона, Мантуа, Миланъ, Модена, Парма — представили однѣ обнаженные стѣны. „Клянусь“ гордо провозгласилъ дикій Гуннь, „что, гдѣ коснется копыто коня моего, тамъ болѣе не выростетъ трава!“ Наконецъ и Римъ увидѣлъ подъ стѣнами своими Аттилу. Испуганный папа, въ облаченіи, со всѣмъ крестнымъ ходомъ, вышелъ на встрѣчу неумолимому Гунну, и великолѣпный ли обрядъ христіанства, или мысль, разсѣянная между дикими, даже языческими народами, о пребываніи чего-то священнаго въ Римѣ, — что бы то ни было, но Аттила отступилъ, взявши великій выкупъ, и вышелъ изъ Италіи.

Теперь предстояла очередь испытать его мщеніе и силу соединенной лигѣ западныхъ народовъ, но внезапная смерть его спас-

ла ее. Аттила умеръ необыкновеннымъ образомъ. Суровый, воздержный, не позволявшій золотымъ украшеніямъ и камнямъ убраться даже рукояти сабли и войлочнаго сѣдла своего, онъ въ одинъ день измѣнилъ свою жизнь. Сочетавшись бракомъ съ дочерью бактрійскаго царя, необыкновенною красавицею, упоенный виномъ и пиршествомъ, онъ съ такимъ неистовствомъ предался сладострастію, что выпилъ за однимъ разомъ всю желѣзную жизнь свою. Кровь у него пошла изъ ушей, изъ носа, изъ рта — и онъ задохнулся.

Въ невѣдомой пустынѣ, среди глубокой ночи, копали могилу Аттилѣ, сопровождая пѣснями о его подвигахъ. Тѣло его было положено въ тройной гробъ — изъ золота, серебра и мѣди; съ ними легли его оружія, его конныя сбруи. На могилѣ его были заколоты всѣ рабы и копавшіе землю, чтобы никто изъ живущихъ не вѣдалъ о мѣстѣ, гдѣ лежатъ кости великаго человѣка *).

По смерти Аттилы Гунны вдругъ разсѣялись и разсыпались, какъ всякій азіатскій народъ, связанный только могуществомъ волею предводителя. Тогда европейскіе народы шире и вольнѣе раздались и болѣе приняли самостоятельности, и на Востокѣ начали виднѣе показываться племена Славянъ, которыя мало-помалу разрослись въ шестьдесятъ разныхъ вѣтвей **), протянулись до Тироля, прошумѣли по уходѣ Остроготовъ на границахъ имперіи Греческой и, углубившись въ великія пространства, наконецъ превратились въ мирныхъ осѣдлыхъ народовъ.

Италія еще дымилась послѣ опустошеній Аттилы, но и среди полуразрушенныхъ развалинъ ея крылись еще происки. И въ этожъ изнеможенномъ государствѣ еще нашлись жалкіе честолюбцы. Сенаторъ Максимъ успѣлъ очернить передъ безсильнымъ императоромъ Валентиніаномъ единственную опору его шаткаго трона — Аэція, и неблагодарный Валентиніанъ убилъ его собственной рукою. Но, лишившись этой опоры, онъ самъ погибъ, умерщвленный Максимомъ, который надѣлъ на свою дѣтски-честолюбивую голову императорскую корону и женился на его

*) О Гуннахъ и объ Аттилѣ: Юрнадъ, Дегне, Фишеръ.

**) Кошрадъ Геснеръ.

вдовѣ Евдовсѣи. Мстительная вдова, раздраженная низкимъ умерщвленіемъ своего супруга и мало заботившаяся объ участи всей Италіи, тайно пригласила Гензериха вступить въ Римъ и отомстить за смерть императора, его союзника и друга.

Гензерихъ не любилъ заставлять долго ждать себя; онъ немедленно поднялся съ береговъ Африки съ толпами своихъ Вандаловъ, на пиратскихъ судахъ, и высадился въ Италію. И что только удѣлѣло отъ меча Атиллы, все то истребилъ по своему обыкновенію Гензерихъ. Онъ не очень разбиралъ, кто правъ, кто виноватъ, и кому онъ долженъ оказать помощь. Все испытало равную участь. Гензерихъ имѣлъ необыкновенное искусство грабить: послѣ него уже никто не могъ ничѣмъ поживиться. Римъ, который доголъ щажень былъ даже язычниками, былъ ограбленъ безъ милосердія этихъ христіанскимъ королямъ; все, что только можно было взять, онъ взялъ. Корабли свои онъ наполнилъ множествомъ плѣнниковъ, съ которыми самъ не зналъ, что дѣлать; вывезъ множество артистовъ и художниковъ, увезъ даже и супругу императора, къ которой пришелъ самъ на помощь, вмѣстѣ съ дочерьми ея, наконецъ даже сорвалъ золотой куполь съ Капитолія и утащилъ его вмѣстѣ съ другими сокровищами въ Африку.

Послѣ всѣхъ этихъ событій, Италія не походила и на тѣнь прежней своей славы. Цвѣтущая, прекрасная, вѣнецъ европейской природы, она представила дикій видъ опустошенной, уничтоженной страны. Титло императора едва слышалось въ опустѣлыхъ городахъ. Римскій императоръ уже не могъ имѣть никакихъ доходовъ. Онъ не былъ въ состояніи даже платить жалованья собственному войску, набранному изъ Геруловъ, Ругіевъ и Турцелинговъ. И тогда предводитель ихъ Одоакръ отрѣшилъ своего императора отъ должности, сдѣлался неограниченнымъ и независимымъ и уже не хотѣлъ принять императорскаго достоинства; но назвался просто королемъ Геруловъ. Еще часть римскаго войска находилась какъ бы отрѣзанною за Альпами въ Галліи; и предводитель ея, Сиагрій, не зная ничего о происшествіяхъ въ Италіи, защищалъ не существующую имперію противъ соединеннаго франкскаго союза, который сдѣлался уже слишкомъ страш-

ныиъ, потому что имѣлъ предприимчиваго короля и полководца Кловиса. Сиагрію, отрѣзанному отъ своего государства, не получавшему никакихъ поддержекъ, трудно было противоборствовать этимъ свѣжимъ силамъ: онъ уступилъ — и Галлія потопилась франкскими народами. Скоро послѣ того Остроготы, предводимые Теодорихомъ, двинулись съ сѣверныхъ границъ имперіи восточной и заняли Италію, подчинивъ ея народы своей власти: Скоро послѣ того Англосаксы, на своихъ неуклюжихъ дерзкихъ корабляхъ, перебрались черезъ море и овладѣли Англіею, — и потомъ великія эмиграціи народовъ большими массами совершенно остановились, но въ частности, и малыми силами, онѣ производились непрерывно. Дикіе охотники, воспитанные этими всеобщими странствіями и непрерывною пережвѣною жвѣсть, получили страсть къ приключеніямъ и путешествіямъ, и вся Европа, несмотря на то, что повидимому уже казалась неподвижною, двигалась и шевелилась подобно огромному рынку. Всѣ націи пережвѣшались между собою такъ, что уже невозможно было отыскать совершенно цѣльной, и только вполнѣдствіи постоянный образъ правленія или занятій сообщилъ главнымъ изъ нихъ нѣкоторую особенность и нѣкоторые признаки отличія. Тогда было четыре первенствующихъ великихъ собраній или массъ народа, четыре главные пункта Европейской силы: въ Испаніи — Визиготы, вторгнувшіеся туда съ частію покоренныхъ народовъ и присоединившіе къ себѣ уже въ Испаніи Алановъ, Свевовъ, Вандаловъ и разныхъ подданныхъ имъ народовъ, зародившіе толпу сильныхъ противъ себя бандитовъ въ горахъ Астурійскихъ. Въ Галліи Франки, уже составившіе націю изъ прежнихъ соседей Римлянъ, дунайскихъ и рейнскихъ Германцевъ: Узинетровъ, Сигамбровъ, Херусковъ, Хатовъ, Бруктеровъ, Ангриваріевъ, Хазуаріевъ и другихъ, соединившіеся съ туземцами римскими Галлами, соединившіеся, но не слившіеся съ покоренными Армориканами, Бретонами, Алеманами, Бургундами, отчасти Бауарами и Фризами, и простершіе владычество за Альпы и Рейнъ. Это было одно изъ сильнѣйшихъ собраній народовъ. Въ сѣверной Германіи Савсоны, страшные своею дивостью и пиратствомъ, менѣе смѣшавшіеся съ другими народами, и въ Ита-

ли — Остроготы, имѣвшіе въ толпахъ своихъ множество отродій народовъ, странствовавшихъ по восточной Европѣ — свевскихъ, аланскихъ, аварскихъ, славянскихъ, гѣпидскихъ — и, подъ расторопнымъ, твердымъ правленіемъ Теодорика, получившіе на время перевѣсъ въ Европѣ. Сверхъ того еще всѣ эти великія массы народовъ распространяли покровительственную власть свою надъ многими отдаленными племенами. Взаимныя границы ихъ часто терялись въ неопредѣленныхъ пространствахъ; въ этихъ промежуткахъ земли иногда черезполосно и независимо сохранялись многіе народы. Такимъ образомъ, въ средней Германіи — Ломбарды, потомъ блеснувшіе въ Италіи, часть Бауаровъ, всѣ народы жившіе въ неизмѣримыхъ прежде лѣсахъ Гарца и въ гористыхъ уклоненіяхъ Альпъ. Востокъ Европы занимали совершенно разбросанныя племена славянскія, которыя, находясь подъ вѣчнымъ угнетеніемъ всѣхъ стремившихся изъ Азіи народовъ, еще не успѣли явиться дѣятелями всемірной исторіи. За означеннымъ кругомъ, на сѣверъ и на востокъ, разсѣвались народы, еще покрытые темною недѣятельностью.

Такова была Европа въ это шумное окончаніе V вѣка, когда непостижимой волею Провидѣнія величественный хаосъ, носившій темныя начала новаго свѣта, опустился на Европу, когда разрушающіе народы безобразными массами текли на народы, колоссально совершались мрачныя событія, когда имена Алариха, Гензериха и Атилы пронеслись безпокойными кометами, когда между тѣмъ древній міръ долго дотлѣвалъ на востокѣ, робкое римское просвѣщеніе прижалось къ берегамъ Сиріи, Александріи, Цареграда, и ереси Несторія и Евтихія раздирали дряхлыя, старческія его силы.

ЗАПИСКИ СУМАСНѢДШАГО.

Октября 3.

Сегодняшняго дня случилось необыкновенное приключеніе. Я всталъ поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мнѣ вычищенные сапоги, я спросилъ, который часъ. Услышавши, что уже давно било десять, я поспѣшилъ поскорѣе одѣться. Признаюсь, я бы совсѣмъ не пошелъ въ департаментъ, зная заранее, какую кислую мину сдѣлаетъ нашъ начальникъ отдѣленія. Онъ уже давно мнѣ говоритъ: „Что это у тебя, братецъ, въ головѣ всегда ералапъ такой? Ты иной разъ метаясь, какъ угорѣлый, дѣло подь-часъ такъ спутаешь, что самъ сатана не разберетъ, въ титулѣ поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни нумера.“ Проклятая цапля! онъ вѣрно завидуетъ, что я сижу въ директорскомъ кабинетѣ и очиниваю перья для его пр-ва. Словомъ, я не пошелъ бы въ департаментъ, еслибы не надежда видѣться съ казначеемъ и, авось-либо, выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь изъ жалованья впередъ. Вотъ еще созданіе! Чтобъ онъ выдалъ когда-нибудь впередъ за мѣсяцъ деньги — Господи Боже мой, да скорѣе страшный судъ придетъ! Проси, хоть тресни, хоть будь въ разнуздѣ, — не выдастъ, сѣдой чортъ. А на квартирѣ собственная кухарка бьетъ его по щекамъ. Это всему свѣту извѣстно. Я не понимаю выгоды служить въ департаментѣ. Никакихъ совершенно ресурсовъ. Вотъ въ губернскомъ правленіи, гражданскихъ и казенныхъ палатахъ совсѣмъ другое дѣло: тамъ, смотришь, иной прижался въ самый уголокъ и пописываетъ, фрачишко на немъ гадкій, рожа такая,

что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую онъ дачу нанимаетъ! Фарфоровой вызолоченной чашки и не носи къ нему: „Это,“ говоритъ, „докторскій подарокъ,“ а ему давай пару рыжаковъ, или дрожки, или боберь рублей въ триста. Съ виду такой тихенькій, говоритъ такъ деликатно: „одолжите ножичка починить перышко,“ а тамъ обчистить такъ, что только одну рубашку оставить на просителѣ. Правда, у насъ за то служба благородная, чистота во всемъ такая, какой во вѣки не видѣтъ губернскому правленію, столы изъ краснаго дерева, и всѣ начальники на *сы*. Да, признаюсь, еслибы не благородство службы, я бы давно оставилъ департаментъ.

Я надѣлъ старую шинель и взялъ зонтикъ, потому что шель проливной дождикъ. На улицахъ не было никого; однѣ только бабы, накрывшись полами, да русскіе купцы подъ зонтиками, да кучера попадались мнѣ на глаза. Изъ благородныхъ только нашъ братъ чиновникъ плелся. Я увидѣлъ его на перекресткѣ. Я какъ увидѣлъ его, тотчасъ сказалъ себѣ: „Эге! нѣтъ, голубчикъ, ты не въ департаментъ идешь, ты спѣшишь вонъ за тою, что бѣжить впереди, и глядишь на ея ножки.“ Чтò это за бестія нашъ братъ чиновникъ! Ей Богу не уступить никакому офицеру: пройди какая-нибудь въ шляпкѣ, непременно зацѣпить. Когда я думалъ это, увидѣлъ подъѣхавшую карету къ магазину, мимо котораго я проходилъ. Я сейчасъ узналъ ее. Это была карета нашего директора. „Но ему не зачѣмъ въ магазинъ,“ я подумалъ, „вѣрно это его дочка.“ Я прижался къ стѣнкѣ. Лакей отворилъ дверцы и она выпорхнула изъ кареты какъ птичка. Какъ взглянула она направо и налево, какъ мелькнула своими бровями и глазами... Господи, Боже мой, пропалъ я, пропалъ совсѣмъ! И зачѣмъ ей выѣзжать въ такую дождевую пору! Утверждай теперь, что у женщинъ не велика страсть до всѣхъ этихъ тряпокъ. Она не узнала меня, да я и самъ нарочно старался закутаться какъ можно болѣе, потому что на мнѣ была шинель очень запачканная и притомъ стараго фасона. Теперь плащи носятъ съ длинными воротниками, а на мнѣ были коротенькіе, одинъ на другомъ; да сукно совсѣмъ не дигатированное. Собачонка ея, не успѣвши вскочить въ дверь магазина, осталась на улицѣ. Я знаю

эту собачонку. Ее зовутъ — Меджи. Не успѣлъ и пробыть мину, какъ вдругъ слышу тоненькій голосокъ: „Здравствуй, Меджи!“ Вотъ тебѣ на! кто это говоритъ? Я обсмотрѣлся и увидѣлъ подъ зонтикомъ шедшихъ двухъ дамъ: одну старушку, другую молоденькую; но онѣ уже прошли; а возлѣ меня опять раздалось: „Грѣхъ тебѣ, Меджи!“ Чтѣ за чортъ! я увидѣлъ, что Меджи обнюхивалась съ собачонкою, шедшею за дамами „Эге!“ сказалъ я самъ себѣ: „да полно, не пьянъ ли я! Только это кажется, со мною рѣдко случается.“ — „Нѣтъ, Фидель ты напрасно думаешь,“ я видѣлъ самъ, что произнесла Меджи: „я была, авъ, авъ! я была, авъ, авъ, авъ! очень больна!“ Ахъ ты-жъ собачонка! признаюсь, я очень удивился, услышавъ ее говорящую по-человѣчески. Но послѣ, когда я сообразилъ все это хорошенько, то тогда же пересталъ удивляться. Дѣйствительно, на свѣтѣ уже случилось множество подобныхъ примѣровъ. Говорятъ, въ Англіи выплыла рыба, которая сказала два слова на такомъ странномъ языкѣ, что ученые уже три года стараются опредѣлить и еще до сихъ поръ ничего не открыли. Я читалъ тоже въ газетахъ о двухъ коровахъ, которыя пришли въ лавку и спросили себѣ фунтъ чаю. Но, признаюсь, я гораздо болѣе удивился, когда Меджи сказала: „Я писала къ тебѣ, Фидель; вѣрно Полканъ не принесъ письма моего!“ Да чтобъ я не получилъ жалованья — я еще въ жизни не слыхивалъ, чтобы собака могла писать! Это меня удивило. Признаюсь, съ недавняго времени я начинаю иногда слышать и видѣть такія вещи, которыхъ никто еще не видывалъ и не слыхивалъ. „Пойду-ка я,“ сказала я самъ себѣ, „за этой собачонкою и узнаю, чтѣ она и чтѣ такое думаетъ.“ Я развернулъ свой зонтикъ и отправился за двумя дамами. Перешли въ Гороковую, поворотили въ Мѣщанскую, оттуда въ Столярную, наконецъ, къ Кокушкину мосту и остановились передъ большимъ домомъ. „Этотъ домъ я знаю,“ сказалъ я самъ въ себѣ: „это домъ Звѣркова.“ Эка машина! Какого въ немъ народа не живетъ: сколько кухарокъ, сколько пріѣзжихъ! а нашей братьи — чиновниковъ какъ собакъ, одинъ на другомъ сидитъ. Тамъ есть и у меня одинъ пріятель, который хорошо играетъ на трубѣ. Дамы взошли на пятый этажъ. „Хорошо,“

подумалъ я, теперь не пойду, а замѣчу мѣсто и при первомъ случаѣ не премину воспользоваться!“

Октября 4.

Сегодня среда, и потому я былъ у нашего начальника въ кабинетѣ. Я нарочно пришелъ пораньше и, засѣвши, перечинилъ всѣ перья. Нашъ директоръ долженъ быть очень умный человекъ. Весь кабинетъ его былъ уставленъ шкафами съ книгами. Я читалъ названія нѣкоторыхъ: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нѣтъ, — все или на французскомъ, или на нѣмецкомъ. А посмотрѣть въ лицо ему: фу, какая важность сіяетъ въ глазахъ! Я еще никогда не слышалъ, чтобы онъ сказалъ лишнее слово. Только развѣ, когда подашь бумаги, спросить: „Каково на дворѣ?“ — „Сыро, ваше превосходительство!“ Да, не нашему брату чета! Государственный человекъ. Я замѣчаю однакоже, что онъ меня особенно любитъ. Еслибы и дочка... эхъ канальство!... Ничего, ничего, молчаніе! — Читалъ Пчелку. Эка глушій народъ Французы! Взялъ бы, ей Богу, ихъ всѣхъ да и перепоролъ розгами! Тамъ же читалъ очень пріятное изображеніе бала, описанное курскимъ помѣщикомъ. Курскіе помѣщички хорошо пишутъ. Послѣ этого замѣтилъ я, что уже было половину перваго, а нашъ не выходилъ изъ своей спальни. Но около половины второго случилось происшествіе, котораго никакое перо не опишетъ. Отворилась дверь, я думалъ, что директоръ, и вскочилъ со стула съ бумагами; но это была она, она сама! Святители, какъ она была одѣта! платьѣ на ней было бѣлое, какъ лебедь, — фу, какое пышное! а какъ глянула — солнце! ей Богу, солнце! Она поклонилась и сказала! „Папа здѣсь не было?“ Ай, ай, ай! какой голосъ! канарейка, право канарейка! „Ваше превосходительство,“ хотѣлъ я было сказать: „не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою;“ да чортъ возьми, какъ-то языкъ не воротился, и я сказалъ только: „никакъ нѣтъ-съ.“ Она поглядѣла на меня, на книги, и уронила платокъ. Я кинулся со всѣхъ

ногъ, поскользнулся на проклятомъ паркетѣ и чуть-чуть не расклеилъ носа, однакожь удержался и досталъ платокъ. Святые, какой платокъ! тончайшій, батистовый — амбра, совершенная амбра! такъ и дышетъ отъ него генеральствомъ. Она поблагодарила и чуть-чуть усмѣхнулась, такъ что сахарныя губки ея почти не тронулись, и послѣ этого ушла. Я еще часъ сидѣлъ, какъ вдругъ пришелъ лакей и сказалъ: „Ступайте, Аксентій Ивановичъ, домой, баринъ уже уѣхалъ изъ дому.“ Я терпѣть не могу лакейскаго круга: всегда развалится въ передней и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: одинъ разъ одна изъ этихъ бестій вздумала меня, не вставая съ мѣста, подбивать табачкомъ. Да знаешь ли ты, глупый холопъ, что я чиновникъ, я благороднаго происхожденія! Однакожь я взялъ шляпу и надѣлъ самъ на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадутъ, и вышелъ. Дома большею частью лежалъ на кровати. Потомъ переписалъ очень хорошіе стишки: „Душеньки часокъ не видя, думалъ, годъ ужъ не видалъ; жизнь мою возненавидя, лзя ли жить мнѣ, я сказалъ.“ Должно-быть Пушкина сочиненіе. Въ вечеру, закутавшись въ шинель, ходилъ къ подъѣзду ея пр—ва и поджидалъ долго, не выйдеть ли съестъ въ карету, чтобы посмотреѣть еще разикъ; но нѣтъ, не выходила.

Ноября 6.

Разбѣсилъ начальникъ отдѣленія. Когда я пришелъ въ департаментъ, онъ подозвалъ меня къ себѣ и началъ мнѣ говорить такъ: „Ну, скажи пожалуйста, чтò ты дѣлаешь?“ — „Какъ, чтò? Я ничего не дѣлаю,“ отвѣчалъ я. — „Ну, размысли хорошенько! вѣдь тебѣ уже за сорокъ лѣтъ — пора бы ума набратъся! Чтò ты воображаешь себѣ? Ты думаешь, я не знаю всѣхъ твоихъ проказъ? Вѣдь ты волочишься за директорской дочерью! Ну, посмотри на себя, подумай только, чтò ты! Вѣдь ты нуль, болѣе ничего. Вѣдь у тебя нѣтъ ни гроша за душою. Взгляни хоть въ зеркало на свое лицо, — куды тебѣ думать о томъ!“ Чортъ возьми, что у него лицо похоже нѣсколько на аптекарскій пузырекъ, да

на головѣ влочокъ волосъ, завитый хохолкомъ, да держать ее въ верху, да примазываетъ ее какою-то розеткою, такъ уже думаетъ, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отъ чего онъ злится на меня. Ему завидно: онъ увидѣлъ, можетъ-быть, предпочтительно мнѣ оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный совѣтникъ! вывѣсилъ золотую цѣпочку въ часамъ, заказываетъ сапоги по тридцати рублей, — да чортъ его побери! Я развѣ изъ какихъ-нибудь разночинцевъ, изъ портныхъ, или изъ унтеръ-офицерскихъ дѣтей? Я дворянинъ! Что-жь, и я могу дослужиться. Мнѣ еще сорокъ два года — время такое, въ которое по настоящему только-что начинается служба. Погоди, пріятель! будемъ и мы полковникомъ, а можетъ-быть, если Богъ дастъ, то чѣмъ-нибудь и побольше. Заведешь и мы себѣ репутацію еще и получше твоей. Что-жь-жь ты себѣ забралъ въ голову, что кромѣ тебя уже нѣтъ во все порядочнаго человѣка? Дай-ка мнѣ ручевскій фракъ, сшитый по модѣ, да повяжи я себѣ такой же, какъ ты, галстукъ, — тебѣ тогда не стать мнѣ и въ подметки. Достатковъ нѣтъ — вотъ бѣда!

Ноября 8.

Былъ въ театрѣ. Играли русскаго дурака Филатку. Очень смѣялся. Былъ еще какой-то водевиль съ забавными стинками на стряпчихъ, особенно на одного коллежскаго регистратора, весьма вольно написанные, такъ что я дивился, какъ пропустила цензура; а о купцахъ прямо говорятъ, что они обманываютъ народъ, и что сынки ихъ дебошничаютъ и лѣзутъ въ дворяне. Про журналистовъ тоже очень забавный куплетъ: что они любить все бранить, и что авторъ просить отъ публики защиты. Очень забавныя пьесы пишутъ нынче сочинители. Я люблю бывать въ театрѣ. Какъ только грошъ заведется въ карманѣ — никакъ не утерпишь не пойти. А вотъ изъ нашей братьи чиновниковъ есть такія свиньи, рѣшительно не пойдеть, мужикъ, въ театръ; развѣ уже дашь ему билетъ даромъ. Пѣла одна актриса очень хорошо. Я вспомнилъ о той.... эхъ канальство!... ничего... молчаніе.

Ноября 9.

Въ восемь часовъ отправился въ департаментъ. Начальникъ отдѣленія показалъ таковой видъ, какъ будто бы онъ не замѣтилъ моего прихода. Я тоже съ своей стороны, какъ будто бы между нами ничего не было. Пересматривалъ и свѣрялъ бумаги. Вышелъ въ четыре часа. Проходилъ мимо директорской квартиры, но никого не было видно. Послѣ обѣда большею частью лежалъ на кровати.

Ноября 11.

Сегодня сидѣлъ въ кабинетѣ нашего директора, починилъ для него 23 пера, и для нея, ай! ай... для ея превосходительства четыре пера. Онъ очень любитъ, чтобы стояло побольше перьевъ. У, долженъ быть голова! Все молчить, а въ головѣ, я думаю, все обсуживаетъ. Желалось бы мнѣ узнать, о чемъ онъ больше всего думаетъ, что такое затѣвается въ этой головѣ. Хотѣлось бы мнѣ разсмотрѣть поближе жизнь этихъ господъ, всѣ эти эквивоки и придворныя штуки, какъ они, что они дѣлаютъ въ своемъ кругу — вотъ что бы мнѣ хотѣлось узнать! Я думалъ нѣсколько разъ завести разговоръ съ его пр—вомъ, только, чертъ возьми, никакъ не слушается языкъ: скажешь только, холодно или тепло на дворѣ, а больше рѣшительно ничего не выговоришь. Хотѣлось бы мнѣ заглянуть въ гостинную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостинною еще въ одну комнату. Эхъ, какое богатое убранство! какія зеркала и фарфоры! Хотѣлось бы заглянуть туда, на ту половину, гдѣ ея пр—во, вотъ куда хотѣлось бы мнѣ! въ будуаръ, какъ тамъ стоятъ всѣ эти баночки, стекляночки, цвѣты тавіе, что и дохнуть на нихъ страшно, какъ лежитъ тамъ разбросанное ея платье, больше похожее на воздухъ, чѣмъ на платье. Хотѣлось бы заглянуть въ спальню... тамъ-то, я думаю, чудеса, тамъ то, я думаю, рай! Посмотрѣть бы ту скамеечку, на которую она становится, вставая съ постели, свою ножку, какъ надвѣвается на эту ножку бѣлѣй какъ снѣгъ чулочекъ... ай! ай! ай! ничего, ничего... молчаніе.

Сегодня, однакожь, меня какъ бы свѣтомъ озарило: я вспомнилъ тотъ разговоръ двухъ собачонокъ, который слышалъ я на Невскомъ проспектѣ. „Хорошо“, подумалъ я самъ въ себѣ: „я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянныя собачонки. Тамъ я вѣрно кое-что узнаю.“ Признаюсь, я даже подозвалъ было къ себѣ одинъ разъ Меджи и сказалъ: „Послушай, Меджи, вотъ мы теперь одни, я, когда хочешь, и дверь запру, такъ что никто не будетъ видѣть, — расскажи мнѣ все, что знаешь про барышню, чтд она и какъ? я тебѣ побожусь, что никому не открою.“ Но хитрая собачонка поджала хвостъ, съезжилась вдвое и вышла тихо въ дверь, такъ, какъ будто бы ничего не слышала. Я давно подозрѣвалъ, что собака гораздо умнѣе человѣка; я даже былъ увѣренъ, что она можетъ говорить, но что въ ней есть только какое-то упрямство. Она, чрезвычайный политикъ: все замѣчаетъ, всѣ шаги человѣка. Нѣтъ, во чтд бы то ни стало, я завтра же отправляюсь въ домъ Звѣркова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу всѣ письма, которыя писала къ ней Меджи.

Ноября 12.

Въ два часа по полудни отправился съ тѣмъ, чтобы непременно увидѣть Фидель и допросить ее. Я терпѣть не люблю капусты, запахъ которой валить изъ всѣхъ мелочныхъ лавокъ въ Мѣщанской; еъ тому же изъ-подъ воротъ каждаго дома несетъ такой адъ, что я, заткнувъ носъ, бѣжалъ во всю прыть. Да и подлне ремесленники напускаютъ копоти и дыму изъ своихъ мастерскихъ такое множество, что рѣшительно невозможно здѣсь прогуливаться. Когда я пробрался въ шестой этажъ и зазвонилъ въ колокольчикъ, вышла дѣвчонка не совсѣмъ дурная собою, съ маленькими веснушками. Я узналъ ее. Это была та самая, которая шла виѣсетъ со старушкою. Она немножко покраснѣлась, и я тотчасъ сжегнулъ — ты, голубушка, жениха хочешь. „Чтд вамъ угодно?“ сказала она. „Мнѣ нужно поговорить съ вашею собачонкой.“ Дѣвчонка была глупа! я сейчасъ узналъ, что глупа!

Собачонка въ это время прибѣжала съ лаемъ; я хотѣлъ ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за носъ. Я увидалъ, однакоже, въ углу ея лукошко. Э, вотъ этого мнѣ и нужно! Я подошелъ къ нему, перерылъ солому въ деревянной коробкѣ и, къ необыкновенному удовольствію своему, вытащилъ небольшую связку маленькихъ бумажекъ. Скверная собачонка, увидѣвши это, сначала укусила меня за икру, а потомъ, когда пронюхала, что я взялъ бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказалъ: „Нѣтъ, голубушка, прощай!“ и бросился бѣжать. Я думаю, что дѣвчонка приняла меня за сумасшедшаго, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотѣлъ было тотъ же часъ приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свѣчахъ нѣсколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть полъ. Эти глупыя чухонки всегда невстаети чистооплотны. И потому я пошелъ прохаживаться и обдумывать это происшествіе. Теперь-то наконецъ я узнаю всѣ дѣла, помышленія, всѣ эти пружины, и доберусь наконецъ до всего. Эти письма мнѣ все откроютъ. Собаки народъ умный, онѣ знаютъ всѣ политическія отношенія и потому, вѣрно, тамъ будетъ все: портретъ и всѣ дѣла этого мужа. Тамъ будетъ что-нибудь и о той, которая... ничего, молчаніе! Къ вечеру я пришелъ домой. Большею частію лежалъ на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотримъ! Письмо довольно четкое; однакоже въ черкѣ всѣ есть какъ будто что-то собачье. Прочитаемъ!

Милая Фидель! я все не могу привыкнуть къ твоему мѣщанскому имени. Какъ будто бы уже не могли дать тебѣ лучшаго? Фидель, Роза — какой пошлый тонъ! Однакожъ, все это въ сторону. Я очень рада, что вздумали писать другъ къ другу.

Письмо писано очень правильно. Пунктуація и даже буква *ъ* вездѣ на своемъ мѣстѣ. Да этакъ просто не напишетъ и нашъ начальникъ отдѣленія, хоть онъ и толкуетъ, что гдѣ-то учился въ университетѣ. Посмотримъ далѣе:

Мнѣ кажется, что раздѣлять мысли, чувства и впечатлѣнія съ другомъ есть одно изъ первыхъ благъ на свѣтѣ.

Гм... мысль почерпнута изъ одного сочиненія, переведеннаго съ нѣмецкаго. Названіе не припомню.

Я говорю это по опыту, хотя и не бѣгала по свѣту далѣе воротъ нашего дома. Моя ли жизнь не протекаетъ въ удовольствіи? Моя барышня, котору папа называетъ Софи, любить меня безъ памяти.

Ай, ай!... ничего, ничего. Молчаніе.

Папа тоже очень часто ласкаетъ. Я пью чай и кофе со сливками. Ахъ та сѣге, я должна тебѣ сказать, что я вовсе не вижу удовольствія въ большихъ обглоданныхъ костяхъ, которыя жретъ на кухнѣ нашъ Полканъ. Кости хороши только изъ дичи и притомъ тогда, когда еще никто не высосалъ изъ нихъ мозга. Очень хорошо мѣшать нѣсколько соусовъ вмѣстѣ, но только безъ каперсовъ и безъ зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновенія давать собакамъ скатанные изъ хлѣба шарики. Какой-нибудь сидящій за столомъ господинъ, который въ рукахъ своихъ держалъ всякую дрянь, начнетъ жать этими руками хлѣбъ, подзоветъ тебя и сунетъ тебѣ въ зубы шарикъ. Отказаться какъ-то неучтиво,—ну, и ѣшь, съ отвращеніемъ, а ѣшь...

Чортъ знаетъ, что такое! Экой вздоръ! Какъ будто бы не было предмета получше, о чемъ писать. Посмотримъ на другой страницѣ, не будетъ ли чего подѣльнѣе.

...Я съ большою охотою готова тебя увѣдомлять о всѣхъ бывающихъ у насъ происшествіяхъ. Я же тебѣ кое-что говорила о главномъ господнѣ, котораго Софи называетъ папа. Это очень странный человѣкъ...

А, вотъ наконецъ! Да, я зналъ: у нихъ политическій взглядъ на всѣ предметы. Посмотримъ, что папа:

...странный человѣкъ. Онъ больше молчитъ. Говорить очень рѣдко, но недѣлю назадъ безпрестанно говорилъ самъ съ собою: „Получу, или не получу?“ Возьметъ въ одну руку бумажку, другую сложитъ пустую и говорить: „Получу, или не получу?“ Одинъ разъ онъ обратился и ко мнѣ съ вопросомъ: „Какъ ты думаешь, Меджи, получу, или не получу?“ Я ровно ничего не могла понять, поняла его сапогъ и ушла прочь. Потомъ, та сѣге, черезъ недѣлю папа пришелъ въ большой радости. Все утро ходили къ нему господа въ мундирахъ и съ чѣмъ-то поздравляли. За столомъ онъ былъ такъ веселъ, какъ я еще никогда не видала.

А, такъ онъ честолюбецъ! Это нужно взять къ свѣдѣнію.

...Прощай, та сѣге! я бѣгу и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо. Ну, здравствуй! я теперь снова съ тобою. Сегодня барышня моя Софи...

А! ну, посмотримъ, что Софи. Эхъ, канальство!... Ничего, ничего... будемъ продолжать.

...барышня моя Софи была въ чрезвычайной суматохѣ. Она собиралась на балъ и я обрадовалась, что въ отсутствие ея могу писать къ тебѣ. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ѣхать на балъ, хотя при одѣваньи всегда почти сердится. Я никакъ не понимаю, та сѣге, удовольствія ѣхать на балъ. Софи призъжаетъ съ балу домой въ 6 часовъ утра, и я всегда почти угадываю по ея блѣдному и тощему виду, что ей бѣдняжкѣ не давали тамъ ѣсть. Я, признаюсь, никогда бы не могла такъ жить. Еслибы мнѣ не дали соуса съ рябчикомъ, или жаркого куринныхъ крылышекъ, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорошо также соусъ съ кашкою. А морковь, или рѣпа, или артишоки — никогда не будутъ хороши.

Чрезвычайно неровный слогъ! Тотчасъ видно, что не человѣкъ писалъ. Начнетъ такъ, какъ слѣдуетъ, а кончитъ собачиною. Посмотримъ-ка еще въ одно письмоце. Что-то длинновато. Гм! и числа не выставлено.

Ахъ, милая, какъ опутительно приближеніе весны! сердце мое бьется, какъ будто все чего-то ожидаетъ. Въ ушахъ у меня вѣчный шумъ, такъ что я часто, поднявши ножку, стою нѣсколько минутъ, прислушиваясь къ дверямъ. Я тебѣ открою, что у меня много куртизановъ. Я часто, сидя на окнѣ, разсматриваю ихъ. Ахъ, еслибы ты знала, какіе между ними есть уроды! Иной, преаляповатый, дворяга, глупъ страшно, на лицѣ написана глупость, преважно идетъ на улицѣ и воображаетъ, что онъ пренатная особа, думаетъ, что такъ на него и заглядятся всѣ. Ничуть! Я даже и вниманія не обратила такъ какъ бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается передъ моимъ окномъ! Еслибы онъ сталъ на заднія лапы, чего грубиянъ онъ, вѣрно, не умѣетъ, то онъ былъ бы цѣлою головою выше папа моей Софи, который тоже довольно высокаго роста и толстъ собою. Этотъ болванъ, должно-быть, наглець преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало: хотя бы поморщился! высунулъ свой языкъ, повѣсилъ огромныя уши и глядитъ въ окно — такой мужикъ! но ужели ты думаешь, та сѣге, что сердце мое равнодушно ко всѣмъ исканіямъ? Ахъ, нѣтъ... Еслибы ты видѣла одного кавалера, переѣзжающаго черезъ заборъ сосѣдняго дома, именемъ Трезора, — ахъ, та сѣге, какая у него мордочка!..

Тьфу, къ чорту!... Экая дрянь! И какъ можно наполнять эдакими глупостями! Мнѣ подавайте человѣка! Я хочу видѣть человѣка, я требую пищи той, которая бы питала и услаждала мою душу: а вмѣсто того этакіе пустяки... Перевернемъ черезъ страницу, не будетъ ли лучше?

...Софи сидѣла за столомъ и что-то шила. Я глядѣла въ окно, потому что я люблю разсматривать прохожихъ. Какъ вдругъ вошелъ лакей и сказалъ: „Тепловъ!“ — „Проси!“ закричала Софи и бросилась обнимать меня. „Ахъ, Меджи, Меджи! Еслибы ты знала, кто это: брютень, камеръ-юнкеръ, а глаза какіе! черные и свѣтлые, какъ огонь!“ и Софи убѣжала къ себѣ. Минуту спустя, вошелъ молодой камеръ-юнкеръ, съ черными бакенбардами; подошелъ къ зеркалу, поправилъ волосы и осмотрѣлъ комнату. Я поворчала и сѣла на свое мѣсто. Софи скоро вышла и весело поклонилась

на его шарканье; а я себя такъ, какъ будто не замѣчая ничего, продолжала глядѣть въ окошко; однакожъ голову наклонила нѣсколько на бокъ и старалась услышать, о чемъ они говорятъ. Ахъ, та сѣге, о какомъ вѣдорѣ они говорили! Они говорили о томъ, какъ одна дама въ танцахъ, вмѣсто одной какой-то фигуры, сдѣлала другую. Также, что какой-то Бобовъ былъ очень похожъ въ своемъ жабо на анста, и чуть было не упалъ. Что какая-то Лидия воображаетъ, что у ней голубые глаза, между тѣмъ какъ они зеленые — и тому подобное. Я не знаю, та сѣге, что она нашла въ своемъ Тепловѣ. Отчего она такъ имъ восхищается?...

Мнѣ самому кажется, здѣсь что-нибудь да не такъ. Не можетъ быть, чтобъ ее могъ такъ обворожить Тепловъ. Посмотримъ далѣе:

Мнѣ кажется, если этотъ камеръ-юнкеръ нравится, то скоро будетъ нравиться и тотъ чиновникъ, который сидитъ у папа въ кабинетѣ. Ахъ, та сѣге, еслибъ ты знала, какой это уродъ. Совершенная черепаха въ мѣшкѣ!...

Какой же бы это чиновникъ?

Фамилія его престранная. Онъ всегда сидитъ и чинитъ перья. Волосы на головѣ его очень похожи на сѣно. Папа всегда посылаетъ его вмѣсто слуги....

Мнѣ кажется, что эта мерзкая собачонка мѣтитъ на меня. Гдѣ-жъ у меня волоса какъ сѣно?

Софи никакъ не можетъ удержаться отъ смѣха, когда глядитъ на него.

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкій языкъ! Какъ будто я не знаю, что это дѣло зависти, какъ будто я не знаю, чьи здѣсь штуки. Это штуки начальника отдѣленія. Вѣдь поклялся же человѣкъ непримиримую ненавистью — и вотъ вредитъ да и вредитъ, на каждомъ шагу вредитъ. Посмотримъ, однакоже, еще одно письмо. Тамъ, можетъ-быть, дѣло раскроется само собою.

Ма сѣге Фидель, ты извини меня, что я такъ давно не писала. Я была въ совершенномъ упоеніи. Подлинно справедливо сказалъ какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. При томъ же у насъ въ домѣ теперь большія переменны. Камеръ-юнкеръ теперь у насъ каждый день. Софи влюблена въ него до безумія. Папа очень веселъ. Я даже слышала отъ нашего Григорія, который мететъ полъ и всегда почти разговариваетъ самъ съ собою, что скоро будетъ свадьба, потому что папа хочетъ непременно видѣть Софи или за генераломъ, или за камеръ-юнкеромъ, или за военнымъ полковникомъ....

Чортъ возьми! я не могу болѣе читать... Все или камеръ-юнкеръ, или генералъ. Желалъ бы я самъ сдѣлаться генераломъ,

не для того, чтобы получить руку и прочее, — нѣтъ, хотѣлъ бы быть генераломъ для того только, чтобы увидѣть, какъ они будутъ увиваться и дѣлать всѣ эти разныя придворныя штуки и экивоки, и потомъ сказать имъ, что я плюю на васъ обоихъ. Чортъ побери, досадно! Я изорвалъ въ клочки письма глупой собачонки.

Декабря 3.

Не можетъ быть, враки, свадьбѣ не бывать! Чтѣ-жь изъ того, что онъ камеръ-юнкеръ! Вѣдь это больше ничего, кромѣ достоинства: не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять въ руки. Вѣдь черезъ то, что камеръ-юнкеръ, не прибавится третій глазъ на лбу. Вѣдь у него же носъ не изъ золота сдѣланъ, а такъ же, какъ и у меня, какъ и у всякого; вѣдь онъ имъ нюхаетъ, а не ѣстъ, чихаетъ, а не кашляетъ. Я нѣсколько разъ уже хотѣлъ добратся, отъ чего происходятъ всѣ эти разности. Отъ чего я титулярный совѣтникъ и съ какой стати я титулярный совѣтникъ? Можетъ-быть, я какойнибудь графъ или генералъ, а только такъ кажусь титулярнымъ совѣтникомъ. Можетъ-быть, я самъ не знаю, кто я таковъ. Вѣдь сколько примѣровъ по исторіи: какой-нибудь простой, не то уже, чтобы дворянинъ, а просто какой-нибудь жѣщанинъ или даже крестьянинъ — и вдругъ открывается, что онъ какойнибудь вельможа или баронъ, или какъ его. Когда изъ мужика да иногда выходитъ этакое, чтѣ же изъ дворянина можетъ выдти? Вдругъ, напримеръ, я вхожу въ генеральскомъ мундирѣ: у меня и на правомъ плечѣ эполета, и на лѣвомъ плечѣ эполета, черезъ плечо голубая лента — что? какъ тогда запоетъ красавица моя? чтѣ скажетъ и самъ папа, директоръ нашъ? О, это большой честолюбецъ! это масонъ, непременно масонъ, хотя онъ и прикидывается такимъ и этакимъ, но я тотчасъ замѣтилъ, что онъ масонъ: онъ если дастъ вамъ руку, то высовываетъ только два пальца. Да развѣ я не могу быть сію же минуту пожалованъ генераль-губернаторомъ или интендантомъ, или тамъ другимъ какимъ-нибудь?

Мнѣ бы хотѣлось знать, отъ чего я титулярный совѣтникъ? Почему именно титулярный совѣтникъ?

Декабря 5.

Я сегодня все утро читалъ газеты. Странныя дѣла дѣлаются въ Испаніи. Я даже не могъ хорошенько разобрать ихъ. Пишутъ, что престолъ упраздненъ, и что чины находятся въ затруднительномъ положеніи объ избраніи наслѣдника, и отъ того происходятъ возмущенія. Мнѣ кажется это чрезвычайно страннымъ. Какъ же можетъ быть престолъ упраздненъ? Говорятъ, какая-то донна должна взойти на престолъ. Не можетъ взойти донна на престолъ. Никакъ не можетъ. На престолѣ долженъ быть король. Да говорятъ, нѣтъ короля, — не можетъ статья, чтобы не было короля. Государство не можетъ быть безъ короля. Король есть, да только онъ гдѣ-нибудь находится въ неизвѣстности. Онъ, статья-можетъ, находится тамъ же, но какія-нибудь или фамиліи причины, или опасенія со стороны сосѣдственныхъ державъ, какъ-то: Франціи и другихъ земель, заставляютъ его скрываться, или есть какія-нибудь другія причины.

Декабря 8.

Я было уже совсѣмъ хотѣлъ идти въ департаментъ, но разныя причины и размышленія меня удержали. У меня все не могли выйти изъ головы испанскія дѣла. Какъ же можетъ это быть, чтобы донна сдѣлалась королевою? Не позволять этого. И во-первыхъ Англія не позволить. Да притомъ и дѣла политическія всей Европы, австрійскій императоръ.... Признаюсь, эти происшествія такъ меня убили и потрясли, что я рѣшительно ничѣмъ не могъ заняться во весь день. Мавра замѣчала мнѣ, что я за столомъ былъ чрезвычайно развлеченъ. И точно, я двѣ тарелки, кажется, въ разсѣянности бросилъ на полъ, которыя тутъ же расшиблись. Послѣ обѣда ходилъ подъ горы. Ничего поучи-

тельно не могъ извлечь. Большою частію лежалъ на кровати и разсуждалъ о дѣлахъ Испаніи.

Годъ 2000 апрѣля 48 числа.

Сегодняшній день есть день величайшаго торжества! Въ Испаніи есть король. Онъ отыскался. Этотъ король я. Именно только сегодня объ этомъ узналъ я. Признаюсь, меня вдругъ какъ будто молніей освѣтило. Я не понимаю, какъ я могъ думать и воображать себѣ, что я титулярный совѣтникъ! Какъ могла взойти мнѣ въ голову эта сумазбродная мысль! Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда въ сумасшедшій домъ. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все, какъ на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною въ какомъ-то туманѣ. И это все происходитъ, думаю, отъ того, что люди воображаютъ будто человѣческій мозгъ находится въ головѣ; совсѣмъ нѣтъ; онъ приносится вѣтромъ со стороны Каспійскаго моря. Сначала я объявилъ Маврѣ, кто я. Когда она услышала, что передъ нею испанскій король, то всплеснула руками и чуть не умерла отъ страха. Она, глухая, еще никогда не видала испанскаго короля. Я, однакоже, старался ее успокоить, сказавши, что я вовсе не сержусь за то, что она мнѣ иногда дурно чистила сапоги. Вѣдь это черный народъ. Имъ нельзя говорить о высшихъ матеріяхъ. Она испугалась отъ того, что находится въ увѣренности, будто всѣ короли въ Испаніи похожи на Филиппа II. Но я растолковалъ ей, что между мною и Филиппомъ нѣтъ никакого сходства. Въ департаментъ не ходилъ. Чортъ съ нимъ! Нѣтъ, пріятели, теперь не заманите меня: я не стану переписывать гадкихъ бумагъ вашихъ!

Мартобря 86 числа. Между днемъ и ночью.

Сегодня приходилъ нашъ эзекуторъ съ тѣмъ, чтобъ я шелъ въ департаментъ, что уже болѣе трехъ недѣль, какъ я не хожу

на должность. Я для штуки пошелъ въ департаментъ. Начальникъ отдѣленія думалъ, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрѣлъ на него равнодушно, не слишкомъ гнѣвно и не слишкомъ благосклонно, сѣлъ на свое мѣсто, какъ будто никого не замѣчая. Я глядѣлъ на всю канцелярскую сволочь и думалъ, что еслибы вы знали, кто между вами сидитъ... Господи Боже, какой бы вы ералашь подняли! да и самъ начальникъ отдѣленія началъ бы мнѣ такъ же кланяться въ поясъ, какъ онъ теперь кланяется передъ директоромъ. Передо мною положили какія-то бумаги, чтобы я сдѣлалъ изъ нихъ экстратъ. Но я и пальцемъ не притронулся. Черезъ нѣсколько минутъ все засуетилось. Сказали, что директоръ идетъ. Многіе чиновники побѣжали на-перерывъ, чтобы показать себя передъ нимъ. Но я ни съ мѣста. Когда онъ проходилъ чрезъ наше отдѣленіе, всѣ застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директоръ! Чтобы я всталъ передъ нимъ — никогда! Какой онъ директоръ? Онъ пробка, а не директоръ. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего — вотъ, которою закупориваютъ бутылки. Мнѣ больше всего было забавно, когда подсунули мнѣ бумагу, чтобы я подписалъ. Они думали, что я напишу на самомъ кончикѣ листа: столоначальникъ такой-то — какъ бы не такъ! А я на самомъ главномъ мѣстѣ, гдѣ подписывается директоръ департамента, черкнулъ: „Фердинандъ VIII.“ Нужно было видѣть, какое благоговѣйное молчаніе воцарилось! но я кивнулъ только рукою, сказавъ: „Не нужно никакихъ знаковъ подданничества!“ и вышелъ. Оттуда я пошелъ прямо въ директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотѣлъ меня не впустить, но я ему такое сказалъ, что онъ и руки опустилъ. Я прямо пробрался въ уборную. Она сидѣла передъ зеркаломъ, вскочила и отступила отъ меня. Я, однакоже, не сказалъ ей, что я испанскій король. Я сказалъ только, что счастье ее ожидаетъ такое, какого она и вообразить себѣ не можетъ, и что, несмотря на козни непріятелей, мы будемъ вмѣстѣ. Я больше ничего не хотѣлъ говорить и вышелъ. О, это коварное существо женщины! Я теперь только постигнулъ, что такое женщина. До сихъ поръ никто еще не узналъ, въ кого она влюблена: я

первый открылъ это. Женщина влюблена въ чорта. Да, не шутя. Физики пишутъ глупости, что она то и то, — она любитъ только одного чорта. Вонъ видите, изъ ложи перваго яруса она наводитъ лорнетъ. Вы думаете, что она глядитъ на этого толстяка со звѣздою? Совсѣмъ нѣтъ: она глядитъ на чорта, что у него стоять за спиною. Вонъ онъ спрятался къ нему во фракъ. Вонъ онъ киваетъ оттуда къ ней пальцемъ! И она выйдетъ за него, выйдетъ. Все это честолюбіе, и честолюбіе отъ того, что подъ язычкомъ находится маленькій пузырекъ и въ немъ небольшой червячокъ, величиною съ булавочную головку, и это все дѣлаетъ какой-то цирюльникъ, который живетъ въ Гороховой. Я не помню, какъ его зовутъ; но достовѣрно извѣстно, что онъ, вмѣстѣ съ одною повивальной бабкою, хочетъ по всему свѣту распространить магометанство, и отъ того, уже говорить, во Франціи большая часть народа признаетъ вѣру Магомета.

*Никотораго числа. День былъ
безъ числа.*

Ходилъ инкогнито по Невскому проспекту; однакоже не подалъ никакого вида, что испанскій король. Почелъ неприличнымъ открыться тутъ же при всѣхъ, потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сихъ поръ не имѣю испанскаго національнаго костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотѣлъ было заказать портному, но это совершенные ослы; при томъ же они совсѣмъ небрегутъ своей работою, ударились въ аферу и большею частію мостятъ камни на улицѣ. Я рѣшился сдѣлать мантию изъ новаго виць-мундира, который надѣвалъ всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я самъ рѣшился шить, заперши дверь, чтобы никто не видалъ. Я изрѣзалъ ножницами его весь, потому что покрой долженъ быть совершенно другой.

*Числа не помню. Мыслия тоже
не было. Было чортъ знаетъ что
такое.*

Мантія совершенно готова и спита. Мавра вскрикнула, когда я надѣлъ ее. Однакоже я еще не рѣшаюсь представляться ко двору. До сихъ поръ нѣтъ депутаціи изъ Испаніи. Безъ депутатовъ неприлично. Никакого не будетъ вѣса моему достоинству. Я ожидаю ихъ съ часа на часъ.

Число 1.

Удивляетъ меня чрезвычайно медленность депутатовъ. Какія бы причины могли ихъ остановить? Неужели Франція? Да, это самая неблагопріятствующая держава. Ходилъ справляться на почту, не прибыли ли испанскіе депутаты; но почтмейстеръ чрезвычайно глупъ, ничего не знаетъ: „Нѣтъ“, говоритъ, „здѣсь нѣтъ никакихъ испанскихъ депутатовъ, а письма если угодно написать, то мы примемъ по установленному курсу.“ Чортъ возьми! что письмо? Письмо — вздоръ. Письма пишутъ аптевари....

Мадридъ. Февруарій тридцатый.

Итакъ, я въ Испаніи, и это случилось такъ скоро, что я едва могъ очнуться. Сегодня поутру явились ко мнѣ депутаты испанскіе, и я вмѣстѣ съ ними сѣлъ въ карету. Мнѣ показалась странною необыкновенная скорость. Мы ѣхали такъ шибко, что черезъ полчаса достигли испанскихъ границъ. Впрочемъ, вѣдь теперь по всей Европѣ чугунныя дороги, и пароходы ѣздить чрезвычайно скоро. Странная земля Испанія! Когда мы вошли въ первую комнату, то я увидѣлъ множество людей съ выбритыми головами. Я однакоже догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они брѣютъ головы. Мнѣ показалось чрезвычайно страннымъ обхожденіе государственнаго канцлера, который велъ меня за руку: онъ толкнулъ меня въ небольшую комнату и сказалъ: „Сиди тутъ, и если ты будешь называть себя королемъ Фердинандомъ, то я изъ тебя выбью эту

охоту.“ Но я, зная, что это было больше ничего кромѣ искушенія, отвѣчала отрицательно, за что канцлеръ ударилъ меня два раза палкою по спинѣ такъ больно, что я чуть было не вскрикнулъ, но удержался, вспомнивши, что это рыцарскій обычай при вступленіи въ высокое званіе, потому что въ Испаніи еще и донынѣ ведутся рыцарскіе обычаи. Оставшись одинъ, я рѣшился заняться дѣлами государственными. Я открылъ, что Китай и Испанія совершенно одна и та же земля, и только по невѣжеству считаютъ ихъ за разныя государства. Я совѣтую всѣмъ нарочно написать на бумагѣ Испанія, то и выйдетъ Китай. Но меня, однакоже, чрезвычайно огорчало событіе, имѣющеее быть завтра. Завтра въ 7 часовъ совершится странное явленіе: земля сядетъ на луну. Объ этомъ и знаменитый англійскій химикъ Веллингтонъ пишетъ. Признаюсь, я ощутилъ сердечное безпокойство, когда вообразилъ себѣ необыкновенную нѣжность и непрочность луны. Луна вѣдь обыкновенно дѣлается въ Гамбургѣ, и прескверно дѣлается. Я удивляюсь, какъ не обратить на это вниманіе Англія. Дѣлаетъ ее хромою бочарь, и видно, что дуракъ, — ни какого понятія не имѣетъ о лунѣ. Онъ положилъ смоляной канатъ и часть деревяннаго масла; и отъ того по всей землѣ вонь страшная, такъ что нужно заткнуть носъ. И отъ того самая луна такой нѣжный шаръ, что люди никакъ не могутъ жить, и тамъ теперь живутъ только одни носы. И потому-то самому мы не можемъ видѣть носовъ своихъ, ибо они всѣ находятся въ лунѣ. И когда я вообразилъ, что земля вещество тяжелое и можетъ, насѣвши, размолоть въ муку носы наши, то мною овладѣло такое безпокойство, что я, надѣвши чулки и башмаки, поспѣшилъ въ залу государственнаго совѣта, съ тѣмъ чтобы дать приказъ полиціи не допустить земли сѣсть на луну. Бритые гранды, которыхъ я засталъ въ залѣ государственнаго совѣта великое множество, были народъ очень умный, и когда я сказалъ: „Господа, спасемъ луну, потому что земля хочетъ сѣсть на нее!“ то всѣ въ ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желаніе и многіе полѣзли на стѣну съ тѣмъ, чтобы достать луну; но въ это время вошелъ великій канцлеръ. Увидѣвши его, всѣ разбѣжались. Я, какъ король, остался одинъ. Но канцлеръ, въ удивленію мо-

ему, ударилъ меня палкой и прогналъ въ мою комнату. Такую ижъють власть въ Испаніи народные обычаи!

*Январь того же года, случив-
шійся послѣ февраля.*

До сихъ поръ не могу понять, что это за земля Испанія. Народные обычаи и этикетъ двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, рѣшительно не понимаю ничего. Сегодня выбрали мнѣ голову, несмотря на то, что я кричалъ изо всей силы о нежеланіи быть монахомъ. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мнѣ на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствовалъ. Я готовъ былъ впасть въ бѣшенство, такъ что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значенія этого страннаго обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для меня непостижима безразсудность королей, которые до сихъ поръ не уничтожаютъ его. Судя по всѣмъ вѣроятіямъ, догадываюсь, не попался ли я въ руки инквизиціи, и тотъ, котораго я принялъ за канцлера, не есть ли самъ великій инквизиторъ. Только я все не могу понять, какъ же могъ король подвергнуться инквизиціи. Оно, правда, могло со стороны Франціи и особенно Полиньякъ. О, это бестія Полиньякъ! Поклялся вредить мнѣ по смерти. И вотъ гонить да гонить; но я знаю, пріятель, что тебя водить Англичанинъ. Англичанинъ большой политикъ. Онъ вездѣ юлитъ. Это уже извѣстно всему свѣту, что когда Англія нюхаетъ табакъ, то Франція чихаетъ.

Число 25.

Сегодня великій инквизиторъ пришелъ въ мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался подъ стулъ. Онъ, увидѣвши, что нѣтъ меня, началъ звать. Сначала закричалъ: „Поприщинъ!“ — Я ни слова. Потомъ: „Аксентій Ивановъ! титулярный совѣтникъ! дворянинъ!“ — Я все молчу. —

„Фердинандъ VIII, король испанскій!“ — Я хотѣлъ было высунуть голову, но послѣ подумалъ: „Нѣтъ, братъ, не надуешь! знаемъ мы тебя: онять будешь лить холодную воду мнѣ на голову.“ Однакоже онъ увидѣлъ меня и выгналъ палкою изъ-подъ стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка! Впрочемъ, за все вознаградило меня нынѣшнее открытіе: я узналъ, что у всякого пѣтуха есть Испанія, что она у него находится подъ перьями. Великій инквизиторъ однакоже ушелъ отъ меня разгнѣванный и грозя мнѣ какимъ-то наказаніемъ. Но я совершенно пренебрегъ его бессильную злобу, зная, что онъ дѣйствуетъ какъ машина, какъ орудіе Англичанина.

Чи 34 сло Мч. ідао. вродѣѣѣ 349.

Нѣтъ, я больше не имѣю силъ терпѣть. Боже! что они дѣлають со мною! Они льютъ мнѣ на голову холодную воду! Они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ меня. Что я сдѣлалъ имъ? За что они мучатъ меня? Чего хотятъ они отъ меня бѣднаго? Что могу дать я имъ? Я ничего не имѣю. Я не въ силахъ, я не могу вынести всѣхъ мукъ ихъ, голова горитъ моя и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мнѣ тройку быстрыхъ какъ вихорь коней! садись мой ящикъ, звени мой колокольчикъ, взвейтеса кони и несите меня съ этого свѣта! Далѣе, далѣе, чтобы не видно было ничего, ничего. Вонъ небо клубится передо мною, звѣздочка сверкаетъ вдали; лѣсъ несется съ темными деревьями и мѣсяцемъ; сизый туманъ стелется подъ ногами; струна звенить въ туманѣ; съ одной стороны море, съ другой Италія; вонъ и русскія избы виднѣются. Домъ ли то мой синѣтъ вдали? Мать ли моя сидитъ передъ окномъ? Матушка, спаси твоего бѣднаго сына. Урони слезинку на его больную головушку! посмотри, какъ мучатъ они его! прижми ко груди своей бѣднаго сиротку! ему нѣтъ мѣста на свѣтѣ! его гонять! — Матушка, пожалѣй о своемъ больномъ дитяткѣ!... А знаете ли, что у Алжирскаго деа подъ самымъ носомъ шишка?

КОНЕЦЪ АРАВЕСОЕЪ.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ.

I

О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

въ 1834 и 1835 годахъ.

(Изъ „Современника“ 1836 года).

Журнальная литература, эта живая, свѣжая, говорливая, чуткая литература, такъ же необходима въ области науки и художествъ, какъ пути сообщенія для государства, какъ ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочаетъ вкусомъ толпы, обращаетъ и пускаетъ въ ходъ все выходящее наружу въ книжномъ мѣрѣ и которое безъ того было бы, въ обоихъ смыслахъ, мертвымъ капиталомъ. Она — быстрый, своенравный размѣнъ всеобщихъ мнѣній, живой разговоръ всего тиснимаго типографскими станками; ея голосъ есть вѣрный представитель мнѣній цѣлой эпохи и вѣка, — мнѣній, безъ нея бы исчезнувшихъ безгласно. Она волею и неволею захватываетъ и увлекаетъ въ свою область девять десятыхъ всего, что дѣлается принадлежностію литературы. Сколько есть людей, которые судятъ, говорятъ и толкуютъ потому, что всѣ сужденія поднесены имъ почти готовыя, и которые сами отъ себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили! Итакъ, журнальная литература во всякомъ случаѣ имѣетъ право требовать самаго пристального вниманія.

Можетъ-быть, давно у насъ не было такъ рѣзко замѣтно отсутствія журнальной дѣятельности и живаго современнаго движенія, какъ въ послѣдніе два года. Безцвѣтность была выраженіемъ большой части новременныхъ изданій. Многіе старые

журналы прекратились, другіе тянулись медленно и вяло; новыхъ, кромѣ „Библіотеки для чтенія“ и въ послѣдствіи „Московского Наблюдателя,“ не показалось, между тѣмъ какъ именно въ это время была замѣтна всеобщая потребность умственной пищи и значительно возросло число читающихъ. Какъ ни бѣдна эта эпоха, но она такое же имѣетъ право на наше вниманіе, какъ и та, которая бы кипѣла движеніемъ, ибо такъ же принадлежитъ исторіи нашей словесности. Читатели имѣли полное право жаловаться на скудость и постный видъ нашихъ журналовъ: „Телеграфъ“ давно потерялъ тотъ рѣзкій тонъ, который давало ему воинственное его положеніе въ отношеніи журналовъ петербургскихъ. „Телескопъ“ наполнялся статьями, въ которыхъ не было ничего свѣжаго, животрепещущаго. Въ это время книгопродавецъ Смирдинъ, давно уже извѣстный своею дѣятельностію и добросовѣстностію, который одинъ только, къ стыду прочихъ недалеозоркихъ своихъ товарищей, показалъ предприимчивость и своими оборотами далъ движеніе книжной торговлѣ, — книгопродавецъ Смирдинъ рѣшился издавать журналъ обширный, энциклопедическій, завоевать всѣхъ литераторовъ, сколько ни есть ихъ въ Россіи, и заставить ихъ участвовать въ своемъ предпріятіи. Въ программѣ были выставлены имена почти всѣхъ нашихъ писателей. Профессоръ арабской словесности, г. Сенюковскій, взялся быть распорядителемъ журнала; къ нему былъ присоединенъ редакторомъ г. Гречъ, извѣстный уже постояннымъ изданіемъ двухъ журналовъ: „Сѣверной Пчелы“ и „Сына Отечества.“ Не знаемъ, сами ли они взяли за сіе дѣло, или упрошены были г. Смирдинымъ, но въ томъ и другомъ случаѣ книгопродавецъ, по общему мнѣнію, поступилъ нѣсколько неосмотрительно. Успѣвши соединить для своего изданія такое множество литераторовъ, онъ долженъ былъ предоставить ихъ суду избраніе редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важномъ вопросѣ: долженъ ли журналъ имѣть одинъ опредѣленный тонъ, одно уполномоченное мнѣніе, или быть складочнымъ мѣстомъ всѣхъ мнѣній и толковъ? Журналъ на сей счетъ отозвался глухо, обыкновеннымъ объявленіемъ, что критика будетъ самая благонамѣренная и безпристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, —

объщаніе, которое даетъ всякій журналистъ. Съ выходомъ первой книжки публика ясно увидѣла, что въ журналѣ господствуетъ тонъ, мнѣнія и мысли *одного*, что имена писателей, которыхъ блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавнаго листа, взята была только на-прокатъ, для привлеченія бѣльшаго числа подписчиковъ.

Книгопродавецъ Смирдинъ исполнилъ съ своей стороны все, чего публика въ правѣ была *отъ него* требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показалъ онъ и въ изданіи журнала. Журналъ выходитъ съ необыкновенною исправностію: подписчики, вмѣстѣ съ первымъ числомъ каждаго мѣсяца, встрѣчали толстую книгу, какой у насъ въ прежнее время ни одна типографія не могла бы поставить въ два мѣсяца. Вмѣсто обѣщаннаго числа осемнадцати листовъ въ мѣсяцъ, выходило иногда вдвое болѣе. Теперь разсмотримъ, исполнили ли долгъ тѣ, которымъ онъ ввѣрилъ внутреннее распоряженіе журнала. Главнымъ дѣятелемъ и движущею пружиною всего журнала былъ г. Сенковскій. Имя г. Греча выставлено было только для формы, — по крайней мѣрѣ никакого дѣйствія не было замѣтно съ его стороны. Г. Гречъ давно уже сдѣлался почетнымъ и необходимымъ редакторомъ всякого предпринимаемаго періодическаго изданія: такъ обыкновенно почтеннаго пожилого человѣка приглашаютъ въ посаженные отцы на всѣ свадьбы. Но какаѣ цѣль была редакціи этого журнала, какою задачу предположила она рѣшить? Здѣсь по-неволѣ должны мы задуматься, чтѣ, безъ сомнѣнія, сдѣлаетъ и читатель. Въ программѣ ничего не сказалъ г. Сенковскій о томъ, какой начерталъ для себя путь, какую выбралъ себѣ цѣль; всѣ увидѣли только, что онъ возопелъ незамѣтно въ первый номеръ и въ концѣ его развернулся какъ новый хозяинъ.

Впрочемъ нельзя жаловаться и на это: положимъ, для журналиста необходимъ рѣзкій тонъ и нѣкоторая даже дерзость (чего, однакожъ, мы не одобряемъ, хотя намъ извѣстно, что съ подобными качествами журналисты всегда выигрываютъ въ мнѣніи толпы); но на чтѣ преимущественно было обращено вниманіе сего хозяина, какаѣ мысль его пересиливала всѣ прочія, къ чему направлено было его пристрастіе, были ли гдѣ замѣтны тѣ непо-

движныя правила, безъ коихъ человекъ дѣлается безхарактернымъ, которыя даютъ ему оригинальность и опредѣляютъ его физиономію?

Прочитавши все, помѣщенное имъ въ этомъ журналѣ, слѣдуя за всѣми словами, сказанными имъ, невольно остановимся въ изумленіи: что это такое? что заставляло писать этого человека? Мы видимъ человека, который беретъ деньги вовсе не даромъ, который трудится до поту лица, не только заботится о своихъ статьяхъ, но даже переправляетъ чужія, — однимъ словомъ, является неутомимымъ. Для чего же вся эта дѣятельность? Послѣдую за распорядителемъ во всѣхъ родахъ его сочиненій и скажемъ нѣсколько словъ о главныхъ качествахъ его. Это во всѣхъ отношеніяхъ необходимо.

Г. Сенковскій является въ журналѣ своимъ какъ критикъ, какъ повѣствователь, какъ ученый, какъ сатирикъ, какъ глашатай новостей и проч. и проч., является въ видѣ Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу Оглу, А. Вѣлкина, наконецъ въ собственномъ видѣ. Какъ ученый, г. Сенковскій помѣстилъ довольно большую статью о сагахъ, — статью, исполненную ипотезъ, не собственныхъ, но схваченныхъ на-удачу изъ разныхъ бѣгло прочитанныхъ книгъ, — ипотезъ, вовсе не принадлежащихъ русской исторіи. Эти саги, которыя проникательный Шлецеръ, не имѣющій донинѣ равнаго по строгому и глубокому критическому взгляду, призналъ за басни, недостойныя никакого вниманія, — эти саги онъ ставитъ краеугольнымъ камнемъ русской исторіи и не приводитъ ни одного доказательства, повѣреннаго критикомъ: онъ вовсе не опредѣлилъ ихъ истиннаго и единственнаго достоинства. Саги суть поэтическое созданіе народа, игравшаго великую въ исторіи роль. Эта статья, испещренная риторическими фигурами, понравилась добрымъ, но ограниченнымъ людямъ, а г. Булгаринъ даже написалъ рецензію, въ которой поставилъ г. Сенковскаго выше Шлецера, Гумбольдта и всѣхъ когда-либо существовавшихъ ученыхъ. Другое весьма важное притязаніе г. Сенковскаго и настоящій конекъ его есть Востокъ. Здѣсь онъ возвышалъ голосъ, и какъ только выходило какое-нибудь сочиненіе о Востокѣ, или упоминалось гдѣ-нибудь о Востокѣ, хотя

бы даже это было въ стихотвореніи, онъ гнѣвался и утверждалъ, что авторъ не можетъ судить и не долженъ судить о Востокаѣ, что онъ не знаетъ Востока. Слово, сказанное съ сердцемъ, очень пзвинительно въ человѣкѣ, влюбленномъ въ свой предметъ и который между тѣмъ видитъ, какъ мало понимаютъ его другіе; но этотъ человѣкъ уже долженъ, по крайней мѣрѣ, утвердить за собою авторитетъ. Г. Сенковскому точно слѣдовало бы пздать что-нибудь о Востокаѣ. Человѣку, ничего не сдѣлавшему, трудно вѣрить на-слово, особливо когда его сужденія такъ легковѣсны и проникнуты духомъ нетерпимости, а изъ нѣкоторыхъ его отрывковъ о Востокаѣ видны тѣ же самые недостатки, которые онъ безпрестанно порицаетъ у другихъ. Ничего новаго не сказалъ онъ въ нихъ о Востокаѣ, — ни одной яркой черты, сильной мысли, гениальнаго предположенія! Нельзя отвергать, чтобы г. Сенковскій не имѣлъ свѣдѣній; напротивъ, очень видно, что онъ много читалъ; но у него нигдѣ не замѣтно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его къ какой-нибудь цѣли. Всѣ эти свѣдѣнія находятся у него въ какомъ-то броженіи, другъ другу противорѣчатъ, между собой не уживаются. Разсмотримъ его мнѣнія, относящіяся собственно въ текущей изящной литературѣ. Въ критикѣ г. Сенковскій показалъ отсутствіе всякаго мнѣнія, такъ что ни одинъ изъ читателей не можетъ сказать навѣрное, что болѣе нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствамъ: въ его рецензіяхъ нѣтъ *ни положительнаго, ни отрицательнаго вкуса*, — *вовсе никакого*. То, что ему нравится сегодня, завтра дѣлается предметомъ его насмѣшекъ. Онъ первый поставилъ г. Кукольника на ряду съ Гёте и самъ же объявилъ, что это сдѣлано имъ потому только, что такъ ему вздумалось. Стало-быть, у него рецензія не есть дѣло убѣжденія и чувства, а просто — слѣдствіе расположенія духа и обстоятельствъ. Вальтеръ Скоттъ, этотъ великій гений, коего безсмертныя созданія объемлютъ жизнь съ такою полнотою, Вальтеръ Скоттъ названъ шарлатаномъ. И это читала Россія, это говорилось людямъ уже образованнымъ, уже читавшимъ Вальтера Скотта. Можно быть увѣрену, что г. Сенковскій сказалъ это безъ всякаго намѣренія, изъ одной опрометчивости,

потому что онъ никогда не заботился о томъ, что говорить; и въ слѣдующей статьѣ уже не помнитъ вовсе написаннаго въ предыдущей.

Въ разборахъ и критикахъ г. Сенковскій тоже никогда не говорилъ о внутреннемъ характерѣ разбираемаго сочиненія, не опредѣлялъ вѣрными и точными чертами его достоинства: критика его была или безусловная похвала, въ которой рецензентъ отъ всей души тѣшился собственными фразами, или хула, въ которой отзывалось какое-то странное ожесточеніе. Она состояла въ мелочахъ, ограничивалась выпискою двухъ-трехъ фразъ и насмѣшкою. Ничего не было сказано о томъ, что предполагалъ себѣ цѣлью авторъ разбираемаго сочиненія, какъ оно выполнилъ, и если не выполнилъ, какъ долженъ былъ выполнить. Больше всего г. Сенковскій занимался разборомъ разнаго литературнаго сора, множествомъ всякаго рода пустыхъ книгъ, надъ ними шутилъ, трюнилъ и показывалъ то остроуміе, которое такъ нравится нѣкоторымъ читателямъ. Наконецъ даже завязалъ цѣлое дѣло о двухъ мѣстоименіяхъ, *сей* и *онъ*, которыя показались ему, неизвѣстно почему, неумѣстными въ русскомъ слогѣ. Объ этихъ мѣстоименіяхъ писаны имъ были цѣлые трактаты, и статьи его, разсуждавшія о какомъ бы то ни было предметѣ, всегда оканчивались тѣмъ, что мѣстоименія *сей* и *онъ* совершенно неприличны. Это напомнило старинъ процессъ Тредьяковскаго за букву ижицу и десятеричное *і*, который въ послѣдствіи еще не такъ давно поддерживалъ одинъ профессоръ. Книга, въ которой г. Сенковскій встрѣчалъ эти двѣ частицы, была торжественно признаваема написанною дурнымъ слогомъ.

Его собственныя сочиненія, повѣсти и тому подобное, являлись подъ фирмою Брамбеуса. Это повѣсти и статьи въ родѣ повѣстей, своимъ близкимъ, неумѣреннымъ подражаніемъ нынѣшнимъ писателямъ французскимъ, произвели всеобщее изумленіе, потому что г. Сенковскій осуждалъ гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, какъ въ этомъ случаѣ онъ имѣлъ такъ мало смѣтливости и до такой степени считалъ простоватыми своихъ читателей. Неизвѣстно тоже, почему называлъ онъ нѣкоторыя статьи свои фантастическими. Отсутствіе всякой

истины, естественности и вѣроятности еще нельзя считать фантастическимъ. Фантастическія сочиненія В. Брамбеуса напоминаютъ книги, какихъ нѣкогда было очень много, какъ-то: „Не люблю не слушай, а лгать не мѣшай“, и тому подобныя. Та же безотчетность и еще менѣе устремленія къ доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели замѣтили въ нихъ чрезвычайно много похищеній, сдѣланныхъ наскоро, на всемъ бѣгу; авторъ мало заботился о ихъ связи. То, что въ оригиналахъ имѣло смыслъ, то въ копіи было безъ всякаго значенія.

Таковы были труды и дѣйствія распорядителя В. для Ч. Мы почли нужнымъ упомянуть о нихъ нѣсколько обстоятельнѣе потому, что онъ одинъ законодательствовалъ въ „Библиотекѣ для Чтенія“, и что мнѣнія его разносились чрезвычайно быстро, вмѣстѣ съ четырьмя тысячами экземпляровъ журнала, по всему лицу Россіи.

Невозможно, чтобы журналъ, издаваемый при средствахъ, доставленныхъ книгопродавцемъ Смирдинымъ, былъ плохъ. Онъ уже выигрывалъ тѣмъ, что издавался въ большемъ объемѣ, толстыми книгами. Это для подписчиковъ была пріятная новость, особливо для жителей нашихъ городовъ и сельскихъ помѣщиковъ. Въ „Библиотекѣ“ находились переводы иногда любопытныхъ статей изъ иностранныхъ журналовъ, въ отдѣлѣ стихотворномъ попадались имена свѣтилъ русскаго Парнаса. Но постоянно лучшимъ отдѣленіемъ ея была *смѣсь*, вмѣщавшая въ себѣ очень много разнообразныхъ свѣжихъ новостей, отдѣленіе живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная, повѣсти и прочее оказывали очень мало вкуса и выбора. Въ „Библиотекѣ для Чтенія“ случилось еще одно, дотошѣ неслыханное на Руси явленіе. Распорядитель ея сталъ переправлять и передѣлывать всѣ почти статьи, въ ней печатаемыя, и любопытно то, что онъ объявлялъ объ этомъ самъ довольно смѣло и открыто. „У насъ, говоритъ онъ, въ „Библиотекѣ для Чтенія“, не такъ, какъ въ другихъ журналахъ: мы никакой повѣсти не оставляемъ въ прежнемъ видѣ, всякую передѣлываемъ; иногда составляемъ изъ двухъ одну, иногда изъ трехъ, и статья значительно улучшается нашими передѣлками.“ Такой странной опеки до сихъ поръ на Руси еще не бывало.

Многіе писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помѣщаемыхъ безъ подписи, или подъ вымышленными именами, за ихъ собственныя, и потому начали отказываться отъ участія въ изданіи сего журнала. Число сотрудниковъ такъ уменьшилось, что на другой годъ издатели уже не выставили длиннаго списка именъ и упомянули глухо, что участвуютъ лучшіе литераторы, не означая какіе. Журналъ, хотя не измѣнился въ величинѣ и планѣ, но статьи замѣтно начали быть хуже; видно было менѣе старанія. „Библіотеку“ уже менѣе читали въ столицахъ, но все такъ же много въ провинціяхъ, и мнѣнія ея такъ же обращались быстро. Обратился къ другимъ журналамъ. — „Сѣверная Пчела“ заключала въ себѣ официальные извѣстія и въ этомъ отношеніи выполнила свое дѣло. Она помѣщала извѣстія политическія, заграничныя и отечественныя новости. Редакторъ, г. Гречь, довель ее до строгой исправности: она всегда выходила въ положенное время; но въ литературномъ смыслѣ она не имѣла никакого опредѣленнаго тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ея мнѣнія. Она была какая-то корзина, въ которую сбрасывалъ всякой все, что ему хотѣлось. Разборы книгъ, всегда почти благосклонные, писались пріятелями, а иногда самими авторами. Въ „Сѣверной Пчелѣ“ пробовали остроуту пера разные незнакомцы, скрывавшіеся подъ разными буквами, — безъ сомнѣнія, люди молодые, потому что въ статьяхъ выказывалось довольно удалства. Они нападали развѣ уже на самаго беззащитнаго и круглаго сироту. На счетъ неопытныхъ изданій являлись остроумныя колкости, нѣсколько похожія одна на другую. Сущность рецензій состояла въ томъ, чтобы расхвалить книгу и при концѣ сложить съ себя весь грѣхъ такою оговоркою: „Впрочемъ, желательно, чтобы почтенный авторъ исправилъ небольшія погрѣшности относительно языка и слога,“ или: „Хорошая книга требуетъ хорошаго изданія“ и тому подобное, за что авторъ разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастіе рецензента. Книги часто были разбираемы тѣми же самими рецензентами, которые писали извѣстія о новыхъ табачныхъ фабрикахъ, открывавшихся въ столицѣ, о помадѣ и проч.; сіи извѣстія иногда довольно остроумны и въ шуткахъ

своих показывали ловких и хорошо воспитанных людей, без сомнѣнія, имѣвшихъ основательныя причины быть довольными фабрикантами. Впрочемъ отъ „Сѣверной Пчелы“ больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ея дѣломъ было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публикѣ.

Журналъ, носившій названіе „Сына Отечества и Сѣвернаго Архива,“ былъ почти невидимкою во все время. О немъ никто не говорилъ, на него никто не ссылался, несмотря на то, что онъ выходилъ исправно еженедѣльно и что печаталъ такую огромную программу на своей оберткѣ, какую врядъ ли гдѣ можно было встрѣтить. Въ „Сынѣ Отечества“ (говорила программа) будетъ археологія, медицина, правовѣдѣніе, статистика, русская исторія, всеобщая исторія, русская словесность, иностранная словесность, наконецъ просто словесность, географія, этнографія, историческая галерея, и прочее. Иной ахнетъ, прочитавши такую ужасную программу и подумаетъ, что это огромнѣйшее энциклопедическое изданіе, когда-либо существовавшее на свѣтѣ. Ни чуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка въ три листа, начинавшаяся статьею о какихъ-нибудь болѣзняхъ, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тѣмъ еще болѣе живая и современная, не была въ немъ постоянною. Новости политическія были тѣ же сухіе факты, взятые изъ „Сѣверной Пчелы“, слѣдственно уже всѣмъ извѣстные. Помѣщаемыя какія-то оригинальныя повѣсти были довольно странны, чрезвычайно коротенькія и совершенно безцвѣтны. Если попадалось что-нибудь достойное замѣчанія, то оно оставалось незамѣтнымъ. Имена редакторовъ, гг. Булгарина и Греча, стояли только на заглавномъ листѣ; но съ ихъ стороны рѣшительно не было видно никакого участія. Однакожъ журналъ существовалъ; стало-быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущіе въ провинціяхъ, которымъ что-нибудь почитать такъ же необходимо, какъ заснуть часикъ послѣ обѣда, или выбраться два раза въ недѣлю.

Издавалась еще въ Петербургѣ, въ продолженіи всего этого времени, газета чисто-литературная, освобожденная отъ всякихъ

вторженій наукъ и важныхъ свѣдѣній, — не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница стараго, но при всемъ томъ имѣвшая особенный характеръ. Названіе этой газеты: „Литературныя прибавленія къ Инвалиду.“ Въ ней помѣщались легенькія повѣсти, бесѣды деревенскихъ помѣщиковъ о литературѣ, бесѣды часто довольно обыкновенныя, но иногда мѣстами проникнутыя колкостями, близкими къ истинѣ; читатель, въ изумленію своему, видѣлъ, что помѣщики въ концу статьи дѣлались совершенными литераторами, принимали къ сердцу текущую литературу и приправляли свои мнѣнія ѣдкою насмѣшкою. Этотъ журналъ всегда оказывалъ оппозицію противу всякаго счастливаго наѣздника, хотя его вся тактика часто состояла только въ томъ, что онъ выписывалъ одно какое-нибудь мѣсто, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокуплялъ отъ себя довольно злое замѣчаніе, не длиннѣе строчки, съ восклицательнымъ знакомъ. Г. Воейковъ былъ чрезвычайно дѣятельный ловецъ и, какъ рыбакъ, сидѣлъ съ удой на берегу, не теряя терпѣнія, хотя на его уду попадалась большею частію мелкая рыба, а большая обрывалась. Въ редакторѣ была замѣтна чисто-литературная жизнь, и онъ съ неохладеннымъ вниманіемъ не сводилъ глазъ съ журнальнаго поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стояла того, чтобы иногда въ нее заглянуть.

Въ Москвѣ издавался одинъ только „Телескопъ“, съ небольшими листками прибавленія, подъ именемъ „Молвы“, — журналъ, вначалѣ отозвавшійся живостью, но вскорѣ простывшій, наполнявшійся статьями безъ всякаго разбора, лишенный всякаго литературнаго движенія. Видно было, что издатели не прилагали о немъ никакого старанія и выдавали книжки какъ-нибудь.

Монополія, захваченная „Библіотекою для Чтенія“, не могла не задѣть за живое другихъ журналовъ. Но „Сѣверная Пчела“ была издаваема тѣмъ же самымъ г. Гречемъ, котораго имя нѣкоторое время стояло на заглавномъ листѣ въ „Библіотекѣ“, какъ главнаго ея редактора, хотя это званіе, какъ мы уже видѣли, было только почетное, и потому очень естественно, что „Сѣверная Пчела“ должна была хвалить все, помѣщаемое въ

„Библиотекъ“, и настоящаго ея двигателя, являвшагося подъ множествомъ разныхъ именъ, называть русскимъ Гумбольдтомъ. Но и безъ того она врядъ ли бы могла явиться сильною противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. „Сынъ Отечества“ долженъ былъ повторять слова „Пчелы.“ Итакъ, всего только два журнала могли возстать противъ его мнѣній. Г. Воейковъ показалъ въ „Литературныхъ Прибавленіяхъ“ что-то похожее на оппозицію; но оппозиція его состояла въ легкихъ замѣткахъ журнальныхъ промаховъ, иногда удачной остроутѣ, выраженныхъ отрывисто, въ немногихъ словахъ, съ насмѣшкою, очень понятною для немногихъ литераторовъ, но незамѣтною для непосвященныхъ. Нигдѣ не помѣстилъ онъ обстоятельной и основательной критики, которая опредѣляла бы сколько-нибудь направленіе новаго журнала. „Телескопъ“ въ соединеніи съ „Молвою“ дѣйствовалъ противъ „Библиотеки для Чтенія“, но дѣйствовалъ слабо, безъ постоянства, терпѣнія и необходимаго хладнокровія. Въ статьяхъ критическихъ онъ былъ часто исполненъ негодованія противъ новаго счастливца, шутилъ надъ баронствомъ г. Сенковскаго, сдѣлалъ нѣсколько справедливыхъ замѣчаній относительно его страннаго подражанія французскимъ писателямъ, но не видѣлъ дѣла во всей ясности. Въ „Молвѣ“ повторялись тѣ же намеки на Брамбеуса, часто по поводу разбора совершенно посторонняго сочиненія. Кромѣ того „Телескопъ“ много вредилъ себѣ опаздываніемъ книжекъ, неаккуратностію изданія и критическія статьи его чрезъ то еще менѣе были въ оборотѣ.

Очевидно, что силы и средства этихъ журналовъ были слишкомъ слабы въ отношеніи къ „Библиотекѣ для Чтенія“, которая была между ними, какъ слонъ между мелкими четвероногими. Ихъ бой былъ слишкомъ неравенъ и они, кажется, не приняли въ соображеніе, что „Библиотека для Чтенія“ имѣла около пяти тысячъ подписчиковъ, что мнѣнія „Библиотеки для Чтенія“ разносились въ такихъ слояхъ общества, гдѣ даже не слышали, существуютъ ли „Телескопъ“ и „Литературныя Прибавленія“, что мнѣнія и сочиненія, помѣщаемыя въ „Библио-

текъ для Чтенія“, были расхвалены издателями той же „Библиотеки для Чтенія“, скрывавшимися подъ разными именами, расхвалены съ энтузіазмомъ, всегда имѣющимъ вліяніе на большую часть публики; ибо то, что смѣшно для читателей просвѣщенныхъ, тому вѣрятъ со всемія простодушіемъ читатели ограниченные, какихъ, по количеству подписчиковъ, можно предполагать болѣе между читателями „Библиотеки,“ и къ тому же большая часть подписчиковъ были люди новые, дотолѣ не знавшіе журналовъ, слѣдственно принимавшіе все за чистую истину; что, наконецъ, „Библиотека для Чтенія“ имѣла сильное для себя подкрѣпленіе въ 4.000 экземплярахъ „Сѣверной Пчелы.“

Ропотъ на такую неслыханную монополію сдѣлался силенъ. Въ Москвѣ, наконецъ, нѣсколько литераторовъ рѣшились издавать какой нибудь свой журналъ. Новый журналъ нуженъ былъ не для публики, то-есть для большого числа читателей, но собственно для литераторовъ, различно притѣсняемыхъ „Библиотекою.“ Онъ былъ нуженъ: 1) для тѣхъ, которые желали имѣть пріютъ для своихъ мнѣній, ибо Б. для Ч. не принимала никакихъ критическихъ статей, если не были онѣ по вкусу главнаго распорядителя; 2) для тѣхъ, которые видѣли съ изумленіемъ, какъ на ихъ собственныя сочиненія наложена была рука распорядителя, ибо г. Сенковскій началъ уже переправлять, безо всякаго разбора лицъ, всѣ статьи, отдаваемыя въ „Библиотеку.“ Онъ переправлялъ статьи военныя, историческія, литературныя, относящіяся къ политической экономіи и проч., и все это дѣлалъ безъ всякаго дурнаго намѣренія, даже безъ всякаго отчета, не руководствуясь никакимъ чувствомъ надобности или приличія. Онъ даже придѣлалъ свой конецъ къ комедіи Фонвизина, не разсмотрѣвши, что она и безъ того была съ концомъ.

Все это было очень досадно для писателей, рѣшительно не имѣвшихъ мѣста, куда бы могли подать жалобу свѣту и читателямъ.

Но уже одинъ слухъ о новомъ журналѣ возбудилъ негодованіе „Библиотеки для Чтенія“ и подвинулъ ее къ неожиданному поступку; она увѣряла своихъ читателей и подписчиковъ съ необыкновеннымъ жаромъ, что новый журналъ будетъ бранчивый

и неблагонамѣренный. Статья, помѣщенная по этому же случаю въ „Сѣверной Пчелѣ“, казалось, была писана человекомъ, въ отчаяніи предвидѣвшимъ свою конечную гибель. Въ ней увѣдомляли публику, что новый журналъ хотѣлъ уронить „Библиотеку для Чтенія“, потому только, что издатели онаго объявили, что будутъ выпускать таковое же число листовъ, какъ и „В. для Чтенія.“ Поступокъ чрезвычайно неосмотрительный! Въ подобномъ дѣлѣ необходимо скрыть свои мелкія чувства искусно и потому, выждавъ удобный случай, нанести обдуманнѣйшій ударъ. Если я издаю журналъ, зачѣмъ же не издавать его и другому? И какъ гнѣваться, если другой скажетъ, что онъ будетъ брать меня въ образецъ? Не долженъ ли я, напротивъ, его благодарить? Не показывается ли онъ тѣмъ степень уваженія, мною заслуженнаго въ публикѣ? Чѣмъ больше соревнованія, тѣмъ больше выигрыша для читателей и для литераторовъ.

Но рассмотримъ, въ какой степени „Москов. Наблюдатель“ выполнилъ ожиданія публики, жадной до новизны, ожиданіе читателей образованныхъ, ожиданіе литераторовъ и опасеніе „Библиотеки для Чтенія.“

Новый журналъ, несмотря на ревностное стараніе привести себя во всеобщую извѣстность, не имѣлъ средствъ огласить во все углы Россіи о своемъ появленіи, потому что единственные глашатаи вѣстей были его противники, „Сѣверная Пчела“ и „Библиотека для Чтенія“, которые, конечно, не помѣстили бы благоприятныхъ о немъ объявленій; онъ начался довольно поздно, не съ новымъ годомъ, слѣдственно не въ то время, когда обыкновенно начинаются подписки; наконецъ, онъ пренебрегъ быстрымъ выходомъ книжекъ и срочною ихъ поставкою. Но важнѣйшія причины неуспѣха заключались въ характерѣ самого журнала. По первымъ вышедшимъ книжкамъ уже можно было видѣть, что предположеніе журнала было слѣдствіемъ одного горячаго мгновенія. Въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходомъ всего журнала. Редакторъ его видѣнъ былъ только на заглавномъ листѣ. Имя его было почти неизвѣстно. Онъ написалъ доселѣ нѣсколько сочиненій статистическихъ, имѣющихъ

много достоинства, но которыхъ публика чисто литературная не знала вовсе. Литературныя мнѣнія его были неизвѣстны. Въ этомъ состояла большая ошибка издателей „Московского Наблюдателя.“ Они позабыли, что редакторъ всегда долженъ быть виднымъ лицомъ. На немъ, на оригинальности его мнѣній, на живости его слога, на общепонятности и общезанимательности языка его, на постоянной свѣжей дѣятельности его основывается весь кредитъ журнала. Но г. Андросовъ явился въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ вовсе незамѣтнымъ лицомъ. Если желаніе издателей было постановить только почетнаго редактора, какъ вошло въ обычай у насъ на лѣнливой Руси, то въ такомъ случаѣ они должны были труды редакціи разложить на себя: но они оставили всю отвѣтственность на редакторѣ, и „Московскій Наблюдатель“ сталъ похожъ на тѣ ученые общества, гдѣ члены ничего не дѣлаютъ и даже не бывають въ присутствіи, между тѣмъ какъ президентъ является каждый день, садится въ свои кресла и велитъ записывать протоколъ уединеннаго засѣданія. Въ журналѣ было нѣсколько очень хорошихъ статей; его украсили стихи Языкова и Баратынскаго, эти перлы русской поэзіи; но при всемъ томъ въ журналѣ не было замѣтно никакой современной живости, никакого хлопотливаго движенія, не было въ немъ разнообразія, необходимаго для изданія періодическаго. Замѣчательныя статьи, поступавшія въ этотъ журналъ, были похожи на оазисы, зеленѣющіе посреди цѣлаго моря песчаныхъ степей. Притомъ издатели, какъ кажется, мало имѣли свѣдѣнія о томъ, что нравится и что не нравится публикѣ. Статьи часто хорошия дѣлались скучными, потому только, что онѣ тянулись изъ одного номера въ другой съ несносною подписью: *Продолженіе отредь.* Вотъ каковъ былъ журналъ, долженствовавшій бороться съ „Библиотекой для чтенія.“

„Наблюдатель“ начался оппозиціонною статьею г. Шевырева о торговлѣ, зародившейся въ нашей литературѣ. Въ ней авторъ нападаетъ на торговлю въ ученомъ мірѣ, на всеобщее стремленіе составить себѣ доходъ изъ литературныхъ занятій. Первая ошибка была здѣсь та, что авторъ статьи обратилъ вниманіе не на главный предметъ. Во-вторыхъ, онъ гремѣлъ противъ пишу-

щихъ за деньги, но не разрушилъ никакого мнѣнія въ публикѣ касательно внутренней цѣнности товара. Статья сія была понятна однимъ литераторамъ, нанесла досаду „Библиотекѣ для чтенія,“ но ничего не дала знать публикѣ, не понимавшей даже, въ чемъ состояло дѣло. Притомъ сіи нападенія были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный законъ всякого дѣйствія. Литература должна была обратиться въ торговлю, потому что читатели и потребность чтенія увеличились. Естественное дѣло, что при этомъ случаѣ всегда больше выигрываютъ люди предприимчивые, безъ большого таланта, ибо во всякой торговлѣ, гдѣ покупщики еще простоваты, выигрываютъ больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, въ чемъ состоятъ обманъ, а не пересчитывать ихъ барыши. Что литераторъ купилъ себѣ доходный домъ, или пару лошадей, это еще не бѣда; дурно то, что часть бѣднаго народа купила худой таваръ, и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить вниманіе г. Шевыреву на бѣдныхъ покупщиковъ, а не на продавцовъ. Продавцы обыкновенно бываютъ люди наѣздные: сегодня здѣсь, а завтра Богъ знаетъ гдѣ. При этомъ случаѣ сдѣланъ былъ несправедливый упрекъ книгопродавцу Смирдину, который вовсе не виноватъ, который за предприимчивость и честную дѣятельность заслуживаетъ одну только благодарность. Нѣтъ спора, что онъ далъ, можетъ-быть, много воли людямъ, которымъ приличнѣе было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талантъ не искателевъ, но корыстолюбіе искательно. На это также смѣшно жаловаться, какъ было бы странно жаловаться на правительство, встрѣтивши недальновиднаго чиновника. Для таланта есть потомство, этотъ неподеушный ювелиръ, который оправляетъ одни чистые брилліанты. Г. Шевыревъ показалъ въ статьѣ своей благородный порывъ негодованія на прозаическое, униженное направленіе литературы, но на большинство публики эта статья рѣшительно не сдѣлала никакого впечатлѣнія. „Библиотека“ отвѣчала коротко, въ духѣ обыкновенной своей тактики: обратившись къ зрителямъ, то-есть къ подписчикамъ, она говорила: вотъ какое неблагородство духа показалъ г. Шевыревъ, неприличіе и неимѣніе высшихъ чувствъ, упрекая насъ

въ томъ, что мы трудимся для денегъ, тогда какъ, и проч... Это обыкновенная политика петербургскихъ журналовъ и газетъ. Какъ только кто-нибудь сдѣлаетъ имъ упрекъ въ корыстолюбіи и въ бездѣйствіи, они всегда жалуются публикѣ на неприличіе выраженій и неблагородство духа своихъ противниковъ, говорить, что статья эта писана съ цѣлю только поддѣть публику и забрать отъ читателей деньги, что они почитаютъ съ своей стороны священнымъ долгомъ предупредить публику.

Итакъ, выходка „Московского Наблюдателя“ скользнула по „Библиотекѣ для чтенія“, какъ нуля по толстой кожѣ носорога, отъ которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, „Московский Наблюдатель“ замолчалъ: доказательство, что онъ не начерталъ для себя обдуманнаго плана дѣйствій и что рѣшительно не зналъ, какъ и съ чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постояннымъ дѣйствіемъ могъ „Наблюдатель“ дать себѣ ходъ и сдѣлать имя свое известнымъ публикѣ, какъ сдѣлалъ его известнымъ „Телеграфъ“, дѣйствуя такимъ же образомъ и почти при такихъ же обстоятельствахъ. „Наблюдатель“ выпустилъ вслѣдъ за тѣмъ нѣсколько нумеровъ, но ни въ одномъ изъ нихъ не сказалъ ничего въ защиту и подкрѣпленіе своихъ мнѣній. Черезъ нѣсколько нумеровъ показалась наконецъ статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной въ „Библиотекѣ“ статьи, подъ именемъ: „Брамбеусъ и юная словесность“, въ которой Брамбеусъ назвалъ самъ себя законодателемъ какой-то новой школы и вводителемъ новой эпохи въ русской литературѣ.

Это въ самомъ дѣлѣ было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самихъ себя, или подъ именемъ друзей своихъ, или даже сами отъ себя, но все же съ нѣкоторою застѣнчивостію, и послѣ сами старались все это какъ-нибудь загрести собственными руками, чувствуя, что нѣсколько провинились. Но никогда еще авторъ не хвалилъ себя такъ свободно и непринужденно, какъ баронъ Брамбеусъ. Эта оригинальная статья слишкомъ была ярка, чтобы не быть замѣченною. Ею занялся и „Телескопъ“ и потрунилъ надъ нею довольно забав-

но, только вскользь; съ обыкновенною смѣтливостію о ней наметнулъ и г. Воейковъ; она возродила статью и въ „Московскомъ Наблюдателѣ“. Цѣль этой статьи была доказать, откуда баронъ Брамбеусъ почерпнулъ талантъ свой и знаменитость, какими твореніями чужихъ хозяевъ пользовался, какъ свои; другими словами: изъ какихъ доскутковъ баронъ Брамбеусъ сплелъ себѣ халатъ. Нѣсколько безгласныхъ книжекъ, выходявшихъ вслѣдъ за тѣмъ, совершенно погрузили „М. Наблюдателя“ въ забвеніе. Даже самая „Библіотека для Чтенія“ перестала наконецъ упоминать о немъ, какъ о безсильномъ противникѣ, продолжала шутить надъ важнымъ и неважнымъ и говорить все то, что первое попадалось подъ перо ея.

Вотъ каковы были дѣйствія нашихъ журналовъ. Изложивъ ихъ, разсмотримъ теперь, что сдѣлали они въ эти два года такого, которое должно вписаться въ исторію нашей литературы, оставить въ ней свою оригинальную черту, — какія мнѣнія, какіе толки они утвердили, что опредѣлили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значить. Извѣщеніе о томъ, что критика будетъ благонамѣренная, чуждая личностей и партій, тоже не показываетъ цѣли. Она должна быть необходимымъ условіемъ всякаго журнала. Даже множество помѣщенныхъ въ журналъ статей ничего не значить, если журналъ не имѣетъ своего мнѣнія и не оказывается въ немъ направленія, хотя даже односторонняго, къ какой-нибудь цѣли. „Телеграфъ“ издавался, кажется, съ тѣмъ, чтобы ниспровергнуть обветшалыя, заматорѣлыя, почти машинальныя мысли тогдашнихъ нашихъ старожилловъ, классиковъ; „Московскій Вѣстникъ“, одинъ изъ лучшихъ журналовъ, несмотря на то, что въ немъ не много было современнаго движенія, издавался съ тѣмъ, чтобы познакомить публику съ замѣчательнѣйшими созданіями Европы, раздвинуть кругъ нашей литературы, доставить намъ свѣжія идеи о писателяхъ всѣхъ временъ и народовъ. Здѣсь не мѣсто говорить, въ какой степени оба сін журнала выполнили цѣль свою; по крайней мѣрѣ стремленіе къ ней было чувствуемо въ нихъ читателями. Но разсмотрите вни-

мательно издававшіеся въ послѣдніе два года журналы; уловите главную нить каждаго изъ нихъ: сей-то нити и не сыщите. Развернувши ихъ, будете поражены мелкостью предметовъ, вызвавшихъ толки ихъ. Подумаете, что рѣшительно ни одного важнаго событія не произошло въ литературномъ мірѣ. А между тѣмъ:

1) Умеръ знаменитый Шотландецъ, великій дѣписатель сердца, природы и жизни, полнѣйшій, обширнѣйшій геній XIX вѣка.

2) Въ литературѣ всей Европы распространился безпокойный волнующійся вкусъ. Являлись опрометчивыя, безсвязныя, младенческія творенія, но часто восторженныя, пламенныя: слѣдствіе политическихъ волненій той страны, гдѣ рождались. Странная, мятежная какъ комета, неорганизованная какъ она, эта литература волновала Европу, быстро облетѣла всѣ углы читающаго міра. Пусть эти явленія будутъ всемірно-европейскія, хотя они отражались и въ Россіи; рассмотримъ литературныя событія чисторусскія.

3) Распространилось въ большей степени чтеніе романовъ, холодныхъ, скучныхъ повѣстей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушіе къ поэзіи.

4) Вышли новыми изданіями Державинъ, Карамзинъ, гласно требовавшіе своего опредѣленія и настоящей вѣрной оцѣнки, такъ какъ и всѣ прочіе старыя писатели наши, ибо въ литературномъ мірѣ нѣтъ смерти, и мертвецы такъ же вѣщиваются въ дѣла наши и дѣйствуютъ вмѣстѣ съ нами, какъ и живые. Они требовали возвращенія того, что дѣйствительно имъ слѣдуетъ; они требовали уничтоженія неправаго обвиненія, неправаго опредѣленія, бессмысленно повтореннаго въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ и повторяемаго донинѣ.

Но сказали ли журналы наши, руководимыя строгимъ размышленіемъ, что такое былъ Вальтеръ Скоттъ, въ чемъ состояло вліяніе его, что такое французская современная литература, откуда она произошла, что было поводомъ неправаго уклоненія вкуса и въ чемъ состоялъ ея характеръ, отчего поэзія замѣнилась прозаическими сочиненіями, на какой степени образованія стоитъ русская публика и что такое русская публика, въ чемъ состоитъ оригинальность и свойство нашихъ писателей?

Напрасно въ этомъ отношеніи читатель станетъ искать въ нихъ новыхъ мыслей, или какихъ-нибудь слѣдовъ глубокаго, добросовѣстнаго изученія. Вальтера Скотта у насъ только побрали. Французскую литературу одни приняли съ дѣтскимъ энтузіазмомъ, утверждали, что модные писатели проникли тайны сердца человѣческаго, дотолѣ сокровенныя для Сервантеса, для Шекспира.... другіе безотчетно поносили ее, а между тѣмъ сами писали во вкусѣ той же школы еще съ большими несообразностями. Вопросомъ: отчего у насъ въ большомъ ходу водяные романы и повѣсти — вовсе не занялись, а вмѣсто того въ добавокъ напустили и своихъ еще собственныхъ. О нашей публикѣ сказали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на всѣ журналы и разныя изданія, ибо ихъ можетъ читать и отецъ семейства, и купецъ, и воинъ, и литераторъ; о Державинѣ, Карамзинѣ и Крыловѣ ничего не сказали или сказали то, что говорить уѣздный учитель своему ученику, и отдѣлались пошлыми фразами.

О чемъ же говорили наши журналы? — Они говорили о ближайшихъ и любимѣйшихъ предметахъ: они говорили о себѣ, они хвалили въ своихъ журналахъ собственныя свои сочиненія, они рѣшительно были заняты только собою; на все другое они обращали какое-то холодное, безстрастное вниманіе. Великое и замѣчательное было какъ будто невидимо. Ихъ равнодушная критика обращена была на тѣ предметы, которые почти не заслуживали вниманія.

Въ чемъ же состоялъ главный характеръ этой критики? — Въ ней очень явственно было замѣтно:

1) Пренебреженіе къ собственному мнѣнію. Почти никогда не было замѣтно, что критикъ считалъ свое дѣло важнымъ и принимался за него съ благоговѣніемъ и предварительнымъ размышленіемъ, чтобы, вода перомъ своимъ, думалъ о небольшомъ числѣ возвышенно-образованныхъ современниковъ, предъ которыми онъ долженъ дать отвѣтъ въ каждомъ своемъ словѣ. Журнальная критика по большей части была какимъ-то гаерствомъ. Какъ хвалили книгу покровительствуемаго автора? — Не говорили просто, что такая-то книга хороша, или достойна вниманія въ

такимъ-то и въ такомъ-то отношеніи, совсѣмъ нѣтъ. „Это книга,“ говорили рецензенты, „удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси; продается по пятнадцати рублей; авторъ выше Вальтера Скотта, Гумбольдта, Гёте, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте въ бібліотеку вашу; также и второе изданіе купите и поставьте въ бібліотеку: хорошаго не мѣшаетъ имѣть и по два экземпляра.“

Большая часть книгъ была расхвалена безъ всякаго разбора и совершенно безотчетно. Если счесть всѣ тѣ, которыя попали въ первоклассныя, то иной подумаетъ, что нѣтъ въ мірѣ богаче русской литературы, и только чрезъ нѣсколько времени противоположныя толки тѣхъ же самыхъ рецензентовъ, о тѣхъ же самыхъ книгахъ, заставятъ его задуматься и приведутъ въ недоумѣніе. Та же самая неумѣренность являлась въ упрекахъ сочиненіямъ писателей, противъ которыхъ рецензентъ питалъ ненависть, или неблагоприятное расположеніе. Такъ же безотчетно изливалъ онъ гнѣвъ свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безвѣріе и литературное невѣжество. Эти два свойства особенно распространились въ послѣднее время у насъ въ литературѣ. Нигдѣ не встрѣтишь, чтобъ упоминались имена уже окончившихъ поприще писателей нашихъ, которые глядятъ на насъ въ лучахъ славы, съ вышины своей. Ни одинъ изъ критиковъ не поднялъ благоговѣнно глазъ своихъ, чтобъ ихъ примѣтить. Никогда почти не стоятъ на журнальныхъ страницахъ имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о вліяніи ихъ, еще остающемся, еще замѣтно. Никогда они даже не брались въ сравненіе съ нынѣшней эпохой, такъ что наша эпоха кажется какъ будто отрублена отъ своего корня, какъ будто у насъ вовсе нѣтъ начала, какъ будто исторія прошедшаго для насъ не существуетъ. Это литературное невѣжество распространяется особенно между молодыми рецензентами, такъ что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успѣетъ пройти годъ, другой, какъ толки, въ началѣ довольно громкіе — уже безгласные, неслышныя какъ звукъ безъ отголоска, какъ фразы, сказанныя на вчерашнемъ балѣ. Имена писателей, уже упорочившихъ свою

славу, и писателей, еще требующихъ ея, сдѣлались совершенною игрушкою. Одинъ рецензентъ роиаетъ тѣхъ, которыхъ поднялъ его противникъ, и все это дѣлается безъ всякаго разбора, безъ всякой идеи; иное имя бываетъ обязано славою своею ссорѣ двухъ рецензентовъ. Не говоря о писателяхъ отечественныхъ, рецензентъ, о какой бы пустѣйшей книгѣ ни говорилъ, непременно начнетъ Шекспиромъ, котораго онъ вовсе не читалъ. Но о Шекспирѣ пошло въ моду говорить — и такъ подавай намъ Шекспира. Говорить онъ: „Съ сей точки начнемъ мы теперь разбирать открытую предъ нами книгу. Посмотримъ, какъ авторъ нашъ соотвѣтствовалъ Шекспиру,“ а между тѣмъ разбираемая книга чепуха, писанная вовсе безъ всякихъ притязаній на соперничество съ Шекспиромъ, и сходствуетъ развѣ только съ духомъ и образомъ выраженій самого рецензента.

3) Отсутствие чистаго эстетическаго наслажденія и вкуса. Еще въ московскихъ журналахъ видишь иногда какой-нибудь вкусъ, что-нибудь похожее на любовь къ искусству; напротивъ того критики журналовъ петербургскихъ, особенно такъ называемые благопристойныя, чрезвычайно ничтожны. Разбираемыя сочиненія превозносятся выше Байрона, Гете и проч. Но нигдѣ не видитъ читатель, чтобъ это было признакомъ чувства, признакомъ пониманія, истекало изъ глубины признательной, растроганной души. Слогъ ихъ, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышетъ мертвящею холодностію. Въ ней видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензентъ задѣтъ за живое и когда дѣло относится къ его собственному достоинству. Справедливость требуетъ упомянуть о критикахъ Шевырева, какъ объ утѣшительномъ исключеніи. Онъ передаетъ намъ впечатлѣнія въ томъ видѣ, какъ приняла ихъ душа его. Въ статьяхъ его вездѣ замѣтенъ мыслящій человекъ, иногда увлекающійся первымъ впечатлѣніемъ.

4) Мелочное въ мысляхъ и мелочное щегольство. Мы уже видѣли, что критика не занималась вопросомъ важнымъ. Вниманіе рецензій было устремлено на цѣлую шеренгу пустыхъ книгъ и вовсе не съ тѣмъ, чтобы разбирать ихъ, но чтобы блеснуть любовью, заставить читателя разсмѣяться. До какой степени

критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видѣли изъ знаменитаго процесса о двухъ бѣдныхъ мѣстоименіяхъ *сей* и *онимъ*. Вотъ до чего дошла наконецъ русская критика!

Кто же были тѣ, которые у насъ говорили о литературѣ? Въ это время не сказалъ своихъ мнѣній ни Жуковский, ни Брыловъ, ни князь Вяземскій, ни даже тѣ, которые еще не такъ давно издавали журналы, имѣвшіе свой голосъ и показавшіе въ статьяхъ своихъ вкусъ и знаніе: нужно ли послѣ этого удивляться такому состоянію нашей литературы?

Отчего же не говорили сіи писатели, показавшіе въ твореніяхъ своихъ глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низкимъ спуститься на журнальную сферу, гдѣ обыкновенно бойцы всякаго рода заводятъ свой шумный бой? Мы не имѣемъ права рѣшить этого. Мы должны только замѣтить, что критика, основанная на глубокомъ вкусѣ и умѣ, критика высокаго таланта имѣетъ равное достоинство со всякимъ оригинальнымъ твореніемъ: въ ней видѣнъ разбираемый писатель, въ ней видѣнъ еще болѣе самъ разбирающій. Критика, начертанная талантомъ, переживаетъ эфемерность журнальнаго существованія. Для исторіи литературы она неопѣнима. Наша словесность молода. Корифеевъ ея было немного; но для критика мыслящаго она представляетъ цѣлое поле, работы на цѣлые годы. Писатели наши отличились совершенно въ особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражанія, они заключаютъ въ себѣ чисто-русскіе элементы: и подражаніе наше носитъ совершенно сѣверообразный характеръ, представляетъ явленіе, замѣчательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заклучимъ искреннимъ желаніемъ, чтобы съ текущимъ годомъ болѣе показалось дѣятельности и, и при болшемъ количествѣ журналовъ, явилось бы болѣе независимости отъ монополіи, а черезъ то болѣе соревнованія у всѣхъ соотвѣтствовать своей цѣли. По крайней мѣрѣ замѣтно какое-то утѣшительное стремленіе уже и въ томъ, что нѣкоторые журналы съ будущимъ годомъ общають издаваться съ болшимъ противу прежняго раченіемъ. Издатели „Сына Отечества“, издатель „Те-

лескопа“ заговорили объ улучшеніяхъ. Нельзя и сомнѣваться, чтобы при большемъ стараніи невозможно было сдѣлать большаго. По крайней мѣрѣ со всеѣмъ чистосердечіемъ и теплою молитвою излагаемъ желаніе наше: да наградятся старанія всеѣхъ и каждаго сторицею; и чѣмъ безкорыстнѣе и добросовѣстнѣе будутъ труды его, тѣмъ болѣе да будетъ онъ почтенъ заслуженнымъ вниманіемъ и благодарностію.

II

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗАПИСКИ

1836 года.

(Изъ Современника 1837 года).

I.

...Въ самомъ дѣлѣ, куда забросило русскую столицу — на край свѣта! Странный народъ русскій: была столица въ Кіевѣ — здѣсь слишкомъ тепло, мало холода; переѣхала русская столица въ Москву — нѣтъ, и тутъ мало холода; подавай Богъ Петербургъ! Затѣ какая дичь между матушкою и сыномъ! Что это за виды, что за природа! Воздухъ прoderнуть туманомъ; на блѣдной, сѣрозеленой землѣ обгорѣлые пни, сосны, ельникъ, кочки... Хорошо еще, что стрѣлою летящее шоссе, да русскія поющія и звенящія тройки духомъ пронесутъ мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще и до сихъ поръ русская борода, а онъ — ужъ ловкій Европеецъ. Какъ раскинулась, какъ расширилась старая Москва! Какъ сдвинулся, какъ вытянулся въ струнку щеголь-Петербургъ! Передъ нимъ со всеѣхъ сторонъ зеркала: тамъ Нева, тамъ Финскій заливъ. Ему есть куда поглядѣться. Какъ только замѣтитъ онъ на себѣ перышко или пушокъ, ту-жъ минуту его прочь. Москва — старая домосѣдка, печетъ блины, глядитъ издали и слушаетъ рассказъ, не подымаясь съ кресель, о томъ, что дѣлается въ свѣтѣ. Петербургъ—

разбитной малый, никогда не сидитъ дома, всегда одѣтъ и, охорашиваясь передъ Европой, раскланивается съ заморскимъ людомъ.

Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака; съ полночи начинается печь французскіе хлѣбы, которые назавтра всѣ съѣстъ разноплеменный народъ, и во всю ночь, то одинъ глазъ его свѣтится, то другой; Москва ночью вся спитъ, а на другой день, перекрестившись и поклонившись на всѣ четыре стороны, выѣзжаетъ съ калачами на рынокъ. Москва женскаго рода; Петербургъ мужскаго. Въ Москвѣ все невѣсты, въ Петербургѣ все женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличіе въ своей одеждѣ, не любитъ пестрыхъ цвѣтовъ и никакихъ рѣзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды, за то Москва требуетъ, если ужъ пошло на моду, то чтобы во всей формѣ была мода: если талія длинна, то она пускаетъ ее еще длиннѣе; если отвороты фрака велики, то у ней — какъ сарайныя двери. Петербургъ — аккуратный человѣкъ, совершенный Нѣмецъ, на все глядитъ съ расчетомъ и, прежде нежели задумаетъ дать вечеринку, посмотреть въ карманъ; Москва — русскій дворянинъ и если уже веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманѣ: она не любитъ середины. Въ Петербургѣ всѣ журналы, какъ бы учены ни были, но всегда къ концу книжки оканчиваются картинкою модъ; московскіе рѣдко прилагаютъ картинки, если же приложить, то съ непривычки взглянувшій можетъ перепугаться. Московскіе журналы говорятъ о Кантѣ, Шеллингѣ и проч., и проч.; въ петербургскихъ журналахъ говорятъ только о публикѣ и благонамѣренности... Въ Москвѣ журналы идутъ на ряду съ вѣкомъ, но опаздываютъ книжками; въ Петербургѣ журналы нейдутъ наравнѣ съ вѣкомъ, но выходятъ аккуратно, въ положенное время. Въ Москвѣ литераторы проживаются, въ Петербургѣ наживаются. Москва всегда ѣдетъ завернувшись въ медвѣжью шубу и большею частію на обѣдъ; Петербургъ въ байковомъ сюртукѣ, заложивъ обѣ руки въ карманъ, летитъ во всю прыть на биржу, или „въ должность.“ Москва гуляетъ до четырехъ часовъ ночи и на другой день не подымется съ постели раньше втораго часу; Петербургъ тоже гуляетъ до четырехъ часовъ, но

на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, въ девять часовъ спѣшить, въ своемъ байковомъ сюртукѣ, въ присутствіе. Въ Москву тащится Русь съ деньгами въ карманѣ и возвращается на-легкѣ; въ Петербургъ ѣдутъ люди безденежные и развѣзжаются во всѣ стороны свѣта съ изряднымъ капиталомъ. Въ Москву тащится Русь въ зимнихъ кибиткахъ по зимнимъ ухабамъ сбывать и закупать; въ Петербургъ идетъ русскій народъ пѣшкомъ лѣтнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливается тюки да вѣйки, а на маленькаго продавца и смотрѣть не хочетъ; Петербургъ весь расточился по кусочкамъ, раздѣлился, разложился на лавочки и магазины, и ловить мелкихъ покупателей. Москва говоритъ: „коли нужно покупщику, същеть;“ Петербургъ суетъ вывѣску подъ самый носъ, подкапывается подъ вашъ полъ съ *Ренскимъ погребомъ* и ставитъ извошачью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядитъ на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ продаетъ галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ. Москва — большой гостинный дворъ; Петербургъ — свѣтлый магазинъ. Москва нужна для Россіи; для Петербурга нужна Россія. Въ Москвѣ рѣдко встрѣтишь гербовую пуговицу на фракѣ; въ Петербургѣ нѣтъ фрака безъ гербовыхъ пуговицъ. Петербургъ любитъ подтрунить надъ Москвою, надъ ея неловкостью и безвкусіемъ; Москва кольнетъ Петербургъ тѣмъ, что онъ не умѣетъ говорить по-русски. Въ Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, гуляютъ въ два часа люди, какъ-будто сошедшіе съ журнальных модныхъ картинокъ, выставляемыхъ въ окна, даже старухи съ такими узенькими таліями, что дѣлается смѣшно; на гуляньяхъ въ Москвѣ всегда попадается, въ самой серединѣ модной толпы, какая-нибудь матушка съ платкомъ на головѣ и уже совершенно безъ всякой таліи. Сказалъ бы еще кое-что, но —

„Дистанція огромнаго размѣра!...“

II.

Трудно схватить общее выраженіе Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонію: такъ же мало ко-

ренной національности и такъ же много иностраннаго смѣшенія, еще не слившагося въ плотную массу. Сколько въ немъ разныхъ націй, столько и разныхъ слоевъ обществъ. Эти общества совершенно отдѣльны: аристократы, служащіе чиновники, ремесленники, англичане, нѣмцы, купцы — всё составляютъ совершенно отдѣльные круги, рѣдко сливающіеся между собою, больше живущіе, веселящіеся невидимо для другихъ.

И каждый изъ этихъ классовъ, если присмотрѣться ближе, составленъ изъ множества другихъ маленькихъ кружковъ, тоже неслитыхъ между собою. Напримѣръ, возьмите чиновниковъ. Молоденькіе помощники столоначальниковъ составляютъ свой кругъ, въ который ни за что не опустится начальникъ отдѣленія. Столоначальникъ, съ своей стороны, подымаетъ свою прическу нѣсколько повыше въ присутствіи канцелярскаго чиновника. Нѣмцы-мастеровые и нѣмцы служащіе тоже составляютъ два отдѣльные круга. Учителя составляютъ свой кругъ, актеры свой кругъ; даже литераторъ, являющійся до сихъ поръ двусмысленнымъ и сомнительнымъ лицомъ, стоитъ совершенно отдѣльно. Словомъ, какъ будто бы пріѣхалъ въ трактиръ огромный дилижансъ, въ которомъ каждый пассажиръ сидѣлъ во всю дорогу закрывшись и вошелъ въ общую залу потому только, что не было другого мѣста. Попытка на заведеніе публичныхъ обществъ доселѣ не имѣетъ успѣха. Въ клубъ петербургскій житель идетъ для того только, чтобы пообѣдать, а не провести время. Что Петербургъ не сдѣлался до сихъ поръ гостинницею, этому виною какая-то внутренняя стихія русскаго человѣка, до сихъ поръ глядящая оригинальностію даже въ вѣчной шлифовкѣ съ иностранцами. Чтобы говорить о каждомъ изъ этихъ круговъ и замѣтить жизнь, текущую между нихъ съ ея веселостями, наслажденіями, надеждами, печалами, нужно быть однимъ изъ тѣхъ, которые вовсе ничего не пишутъ, потому что у этихъ господъ, въ награду за ихъ дѣятельность, рѣшительно нѣтъ времени. Итакъ, мимо балы и вечеринки! Обращусь къ тѣмъ увеселеніямъ, послѣ которыхъ долѣе остается воспоминаніе и которыя приемяются всѣми классами. Театръ, концертъ — вотъ тѣ пункты, гдѣ сталкиваются классы петербургскихъ обществъ и имѣютъ

время вдоволь насмотрѣться другъ на друга. Балетъ и опера — царь и царица петербургскаго театра. Они явились блестяще, шумѣе, восторженѣе прежнихъ годовъ, и упоенные зрители позабыли, что существуетъ величавая трагедія, вдыхающая невольно высокія ощущенія въ согласныя сердца сей безмолвно слушающей толпы; что есть — комедія, вѣрный списокъ общества, движущагося предъ ними, комедія, строго обдуманная, производящая глубиностью своей ироніи смѣхъ, не тотъ смѣхъ, который порождается легкими впечатлѣніями, бѣглою острою, каламбуромъ, не тотъ также смѣхъ, который движетъ грубою толпою общества, для котораго нужны конвульси и карикатурныя гримасы природы, но тотъ электрической, живительный смѣхъ, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо отъ души, пораженной ослѣпительнымъ блескомъ ума, рождается изъ спокойнаго наслажденія и производится только высокимъ умомъ. Зрители правы, что были упоены балетомъ и оперой... На драматической сценѣ являлись мелодрама и водевиль, заѣзжіе гости, которые были хозяевами во французскомъ театрѣ, а на русскомъ играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русскіе актеры нѣсколько странны, когда представляютъ маркизовъ, виконтовъ и бароновъ, какъ, вѣроятно, были бы смѣшны Французы, вздумавъ поддѣлаться подъ русскихъ мужиковъ; а сцены баловъ, вечеровъ и модныхъ раутовъ, являющихся въ русскихъ пѣсахъ, — каковы онѣ? А водевили?... Давно уже пролѣзли водевили на русскую сцену, тѣшатъ народъ средней руки, благо смѣшливъ. Кто бы могъ думать, что водевиль будетъ не только переводный на русской сценѣ, но даже и оригинальный? Русский водевиль! право, немножко странно — странно потому, что эта легкая, безцвѣтная игрушка могла родиться только у Французовъ, нации, не имѣющей въ характерѣ своемъ глубокой, неподвижной фізіономіи; но когда русскій, еще нѣсколько суровый, тяжелый характеръ заставляютъ вертѣться петиметромъ... и нѣ такъ и представляется, что нашъ тучный и смѣтливый купецъ съ широкою бородою, не знавши на ногѣ своей ничего другого, кромѣ тяжелаго сапога, надѣлъ вмѣсто него узенькій башмачокъ и чулки à jour, а другую ногу свою оставилъ просто въ

сапогѣ, и сталъ такимъ образомъ въ первую пару во французскомъ кадрилѣ.

Уже лѣтъ пять, какъ мелодрамы и водевили завладѣли театрами всего свѣта. Какое обезьянство! Даже Нѣмцы... ну, кто бы могъ подумать, что Нѣмцы, этотъ основательный, этотъ склонный къ глубокому эстетическому наслажденію народъ, — Нѣмцы теперь играютъ и пишутъ водевили, передѣлываютъ и клеятъ надутыя и холодныя мелодрамы! И пусть бы еще повѣтріе это занесено было могуществомъ мановенія генія! Когда весь міръ ладилъ подъ лиру Байрона, это не было смѣшно; въ этомъ стремленіи было даже что-то утѣшительное. Но Дюма, Дюканжъ и другіе стали всемірными законодателями!... Клянуса, XIX вѣкъ будетъ стыдиться за эти пять лѣтъ! О, Мольеръ! великій Мольеръ! ты, который такъ обширно и въ такой полнотѣ развивалъ свои характеры, такъ глубоко слѣдилъ всѣ тѣни ихъ, ты строгій, осмотрительный Лессингъ, и ты, благородный, пламенный Шиллеръ, въ такомъ поэтическомъ свѣтѣ выказавшіи достоинства человѣка! взгляните, что дѣлается послѣ васъ на нашей сценѣ; посмотрите, какое странное чудовище, подъ видомъ мелодрамы, забралось между насъ! Гдѣ же жизнь наша? гдѣ мы со всѣми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отраженіе ея видѣли мы въ нашей мелодрамѣ! Но лжетъ самымъ безсовѣтнымъ образомъ наша мелодрама....

Непостижимое явленіе: то, что вседневно окружаетъ насъ, что неразлучно съ нами, что обыкновенно, то можетъ замѣчать одинъ только глубокой, великой, необыкновенный талантъ. Но то, что случается рѣдко, что составляетъ исключенія, что останавливаетъ насъ своимъ безобразіемъ, нестройностію среди стройности, за то схватывается обѣими руками посредственность. И вотъ жизнь глубокаго таланта течетъ во всемъ своемъ разливѣ, со всею стройностію, чистая какъ зеркало, отражая съ одинаковою ясностію и темныя, и свѣтлыя облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни яснаго, ни темнаго.

Странное сдѣлалось сюжетомъ нынѣшней драмы. Все дѣло въ томъ, чтобы рассказать какое-нибудь произшествіе, непременно новое, непременно странное, дотолѣ неслыханное и невиданное:

убійство, пожары, самыя дикія страсти, которыхъ нѣтъ и въ поминѣ въ теперешнихъ обществахъ! Какъ будто въ наши европейскіе фраки переодѣлись сыны палящей Африки; палачи, яды, эффектъ, вѣчный эффектъ, и ни одно лицо не возбуждаетъ никакого участія! Никогда еще не выходилъ изъ театра зритель растроганный, въ слезахъ; напротивъ того, въ какомъ-то тревожномъ состояніи торопливо садился онъ въ карету и долго не могъ собрать и сообразить своихъ мыслей. И среди нашего утонченнаго, образованнаго общества такой родъ зрѣлища! Невольно передвигаются передъ глазами тѣ кровавыя ристалища, на которыя собирался смотрѣть весь Римъ въ эпоху величайшаго владычества своего и притупленнаго пресмыщенія. Но, слава Богу, мы еще не римляне и не на закатѣ существованія, но только на зарѣ его! Если собрать всѣ мелодрамы, какія были даны въ наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, въ которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы, или лучше — календарь, въ которомъ записаны, съ календарною холодностію, всѣ странныя происшествія, гдѣ противъ каждаго числа выставлено: сегодня было въ такомъ-то мѣстѣ такое-то мошенничество; сегодня отрубили головы такимъ-то разбойникамъ и зажигателямъ; такой-то ремесленникъ зарѣзалъ тогда-то жену свою... и тому подобное. Я воображаю, въ какомъ странномъ недоумѣніи будетъ потомокъ нашъ, вздумавшій искать нашего общества въ нашихъ мелодрамахъ.

Не удивительно, что балетъ и опера утѣшительнѣе и служатъ отдохновеніемъ; въ нихъ наслажденіе спокойно. Опера принимается у насъ очень жадно. До сихъ поръ не прошелъ тотъ энтузіазмъ, съ какимъ бросился весь Петербургъ на живую, яркую музыку „Фенеллы“, на дикую, пронизанную адскимъ наслажденіемъ музыку „Роберта.“ — „Семирамида“, на которую за пять лѣтъ предъ симъ равнодушно глядѣла публика, „Семирамида“ въ нынѣшнее время, когда музыка Россини почти анахронизмъ, приводитъ въ совершенный восторгъ ту же самую публику. Объ энтузіазмѣ, произведенномъ оперою „Жизнь за Царя“, и говорить нечего: онъ понятенъ и извѣстенъ уже цѣлой Россіи. Объ этой оперѣ надобно говорить много, или ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыкѣ, ни о пѣннн. Мнѣ кажется, что всѣ музыкальные трактаты и рецензіи должны быть скучны для самихъ музыкантовъ: въ музыкѣ огромнѣйшая часть ея невыразима и безотчетна. Музыкальныя страсти — не житейскія страсти; музыка иногда только выражаетъ, или лучше сказать — поддѣлывается подъ голосъ нашихъ страстей, для того, чтобъ, опершись на нихъ, устремиться брызжущимъ и поющимъ фонтаномъ другихъ страстей въ другую сферу. Загвчу только, что меломанія болѣе и болѣе распространяется. Люди такіе, которыхъ никто не подозрѣвалъ въ музыкальномъ образѣ мыслей, сидятъ не отлучно въ „Жизни за Царя“, „Робертъ“, „Нормъ“, „Фенелль“ и „Семирамидъ“. Оперы даются почти два раза каждую недѣлю, выдерживаютъ несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билетъ. Ужъ не наша ли славянская пѣвучая природа такъ дѣйствуетъ? И не есть ли это возвратъ къ нашей старинѣ послѣ путешествія по чужой землѣ европейскаго просвѣщенія, гдѣ около насъ говорили все не понятнымъ языкомъ и мелькали все незнакомые люди, — возвратъ на русской тройкѣ, съ заливающимся колокольчикомъ, съ которымъ мнѣ, привставъ на бѣгу и помахивая шляпой, говоримъ: „Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше!“

Какую оперу можно составить изъ нашихъ національных мотивовъ! Покажите мнѣ народъ, у котораго бы больше было пѣсенъ. Наша Украина звенитъ пѣснями. По Волгѣ, отъ верховья до моря, на всей вереницѣ влекущихся барокъ заливаются бурлацкія пѣсни. Подъ пѣсни рубятся изъ сосновыхъ бревенъ избы по всей Руси. Подъ пѣсни мечутся изъ рукъ въ руки кирпичи, и какъ грибы вырастаютъ города. Подъ пѣсни бабъ пеленается, женится и хоронится русскій человекъ. Все дорожное, дворянство и недворянство, летитъ подъ пѣсни ямщиковъ. У Чернаго моря безбородый, смуглый, съ смолистыми усами, заряжая пицаль свою, поетъ старинную пѣсню; а тамъ, на другомъ концѣ, верхомъ на плывущей льдинѣ, русскій промышленникъ бьетъ острогой кита, затягивая пѣсню. У насъ ли не изъ чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Онъ счастливо умѣлъ слить въ своемъ твореніи двѣ сла-

вянскія музыки; слышишь, гдѣ говорятъ Русскій и гдѣ Полякъ; у одного дышетъ раздольный мотивъ русской пѣсни, у другаго опрометчивый мотивъ польской мазурки.

Петербургскіе балеты блестятъ. Кстати о балетахъ вообще. Постановка балетовъ въ Парижѣ, Петербургѣ и Берлинѣ ушла очень далеко; но надо замѣтить, что совершенствуется въ нихъ только богатство костюмовъ и богатство декорацій; самая же сущность балета, изобрѣтеніе его, неидетъ въ рядъ съ его постановкой; балетные композиторы очень мало новаго показываютъ въ танцахъ. До сихъ поръ мало характерности. Посмотрите, народныя танцы являются въ разныхъ углахъ міра; Испанецъ пляшетъ не такъ, какъ Швейцарецъ, Шотландецъ, какъ теньеровской Нѣмецъ, Русскій не такъ, какъ Французъ, какъ Азіятецъ. Даже въ провинціяхъ одного и того же государства измѣняется танецъ. Сѣверный Руссъ не такъ пляшетъ, какъ Малороссіянинъ, какъ Славянинъ южный, какъ Полякъ, какъ Финнъ: у одного танецъ говорящій, у другаго безчувственный; у одного бѣшенный, разгульный, у другаго спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другаго легкій, воздушный. Откуда родилось такое разнообразіе танцевъ? — Оно родилось изъ характера народа, его жизни и образа занятій. Народъ, прошедшій горделивую и бранную жизнь, выражаетъ ту же гордость въ своемъ танцѣ; у народа безпечнаго и вольнаго та же безграничная воля и поэтическое самозабвеніе отражаются въ танцахъ; народъ климата пламеннаго оставилъ въ своемъ національномъ танцѣ ту же нѣгу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостію, творецъ балета можетъ брать изъ нихъ, сколько хочетъ, для опредѣленія характеровъ пляшущихъ своихъ героевъ. Само собою разумѣется, что, схвативши въ нихъ первую стихію, онъ можетъ развить ее и улетѣть несравненно выше своего оригинала, какъ музыкальный гений изъ простой, услышанной на улицѣ пѣсни создаетъ цѣлую поэму. По крайней мѣрѣ танцы будутъ имѣть тогда болѣе смысла, и такимъ образомъ можетъ болѣе разнообразиться этотъ легкій воздушный и пламенный языкъ, доселѣ еще нѣсколько стѣсненный и сжатый.

Петербургъ — большой охотникъ до театра. Если вы будете

гулять по Невскому проспекту въ свѣжее морозное утро, во время котораго небо золотисто-розоваго цвѣта пережегается сквозными облаками подымающагося изъ трубъ дыма, зайдите въ это время въ сѣни Александринскаго театра: вы будете поражены упорнымъ терпѣніемъ, съ которымъ собравшійся народъ осаждаетъ грудью раздавателя билетовъ, высовывающаго одну руку свою изъ окошка. Сколько толпится тамъ лакеевъ всякаго рода, начиная отъ того, который пришелъ въ сѣрой шинели и въ шелковомъ цвѣтномъ галстукѣ, но безъ шапки, до того, у котораго трехэтажный воротникъ ливрейной шинели похожъ на пеструю суконную бабочку для вытиранія перьевъ. Тутъ протираются и тѣ чиновники, которымъ чистятъ сапоги кухарки и которымъ неволя послать за билетомъ. Тутъ увидите, какъ прямо русскій герой, потерявъ наконецъ терпѣніе, доходитъ, къ необыкновенному изумленію, по плечамъ всей толпы къ окошку и получаетъ билетъ. Тогда только вы узнаете, въ какой степени видна у насъ любовь къ театру. И что же дается на нашихъ театрахъ? — какія-нибудь мелодрамы и водевили!... Сердить я на мелодрамы и водевили.

Положеніе русскихъ актеровъ жалко. Предъ ними трепещетъ и кипитъ свѣжее народонаселеніе, а имъ даютъ лица, которыхъ они и въ глаза не видали. Что имъ дѣлать съ этими странными героями, которые ни Французы, ни Нѣмцы, но какіе-то взбалмошные люди, не имѣющіе рѣшительно никакой опредѣленной страсти и рѣзкой фізіономіи? гдѣ выказаться? на чемъ развиться таланту? Ради Бога, дайте намъ русскихъ характеровъ, насъ самихъ дайте намъ, нашихъ плутовъ, нашихъ чудаковъ! на сцену ихъ, на сцѣхъ всѣмъ! Сцѣхъ — великое дѣло: онъ не отнимаетъ ни жизни, ни имѣнія, но передъ нимъ виновный — какъ связанный заяць.... Мы такъ приглядѣлись къ французскимъ безцвѣтнымъ піесамъ, что намъ уже болязливо видѣть свое. Если намъ представлять какой-нибудь живой характеръ, то мы уже думаемъ, не личность ли это, потому что представляемое лицо совсѣмъ непохоже на какого-нибудь пейзажа, театральнаго тирана, риэмоплета, судью и тому подобныя обношенныя лица, которыхъ таскаютъ беззубые авторы въ свои піесы, какъ таскаютъ на сцену вѣчныхъ фигурантовъ, отплясывающихъ предъ зрителями съ такою же улыбкою свое

лихо вытверженное, въ продолженіе сорока лѣтъ, па. Если, на-
 примѣръ, сказать, что въ одномъ городѣ одинъ надворный со-
 вѣтникъ нетрезваго поведенія, то всѣ надворные совѣтники оби-
 дятся, а иной совершенно другой совѣтникъ, даже скажетъ:
 „Какъ же это? у меня есть родственникъ надворный совѣтникъ,
 прекрасный человѣкъ! какъ же можно сказать, что есть надвор-
 ный совѣтникъ нетрезваго поведенія!“ Какъ будто одинъ можетъ
 порочить все сословіе! И такая раздражительность у насъ рѣ-
 шительно распространена на всѣ классы. Нужны ли примѣры?
 Вспомните „Ревизора“...

Досадно. Право пора знать уже, что одно только вѣрное изо-
 браженіе характеровъ, не въ общихъ вытверженныхъ чертахъ,
 но въ ихъ національно-вылившейся формѣ, поражающей насъ
 живостью, такъ что мы говоримъ: „Да это, кажется, знакомый
 человѣкъ,“ — только такое изображеніе приноситъ существенную
 пользу. Изъ театра мы сдѣлали игрушку въ родѣ тѣхъ побряку-
 шекъ, которыми заманиваютъ дѣтей, забывши, что это такая
 каеэдра, съ которой читается разомъ цѣлой толпѣ живой урокъ,
 гдѣ, при торжественномъ блескѣ освѣщенія, при громѣ музыки,
 при единодушномъ смѣхѣ, показывается знакомый, прячущійся
 порокъ и, при тайномъ голосѣ всеобщаго участія, выставляется
 знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство....

Но довольно о театрѣ. Я заговорился о немъ. Его зимній кар-
 навалъ замыкаетъ шумная недѣля Петербурга, когда онъ одною
 половиною своего народонаселенія летаетъ на качеляхъ, мчится
 какъ вихоръ съ ледяныхъ горъ, а другою превращается въ длин-
 ную цѣпь каретъ и едва движется, ровняемый жандармами, когда
 спектакли даются и днемъ, и вечеромъ, и вся Адмиралтейская
 площадь засѣяна скорлупами орѣховъ.

Спокоенъ и грозенъ Великій постъ. Кажется, слышенъ голосъ:
 „Стой, христіанинъ; оглянись на жизнь свою.“ На улицахъ пусто.
 Каретъ нѣтъ. Въ лицѣ прохожаго видно размышленіе. Я люблю
 тебя, время думы и молитвы! Свободнѣе, обдуманнѣе потекутъ мои
 мысли. Весь пустой и ничтожный народъ, вѣрно, пролежитъ за-
 спанный и утомленный и позабудетъ зайти потревожить меня пош-
 лымъ разговоромъ о вистѣ, о литературѣ, о наградахъ, о театрѣ.

Постъ въ Петербургѣ есть праздникъ музыкантовъ. Въ это время они съѣзжаются изъ разныхъ сторонъ Европы. Огромный концертъ въ пользу инвалидовъ всегда бываетъ величествененъ: четыреста музыкантовъ! это что-то могущественное. Когда согласный ропотъ четырехъ-сотъ звуковъ раздается подъ дрожащими сводами, тогда, мнѣ кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновеннымъ содроганіемъ.

Въ продолженіе поста въ петербургскую атмосферу заглядываетъ солнце. Западная сторона съ моря дѣлается яснѣе. Съ-верь глядитъ съ меньшею суровостью изъ своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улицѣ и высаживаютъ на тротуаръ гуляющихъ. Съ 1836 года Невскій проспектъ, этотъ шумный, вѣчно шевелящійся, хлопотливый и толкающій Невскій проспектъ упалъ совершенно: гулянье перенесено на Англійскую набережную. Покойный Императоръ любилъ Англійскую набережную. Она точно прекрасна. Но тогда только, когда начались гулянья, замѣтилъ я, она немного коротка. Но гуляющіе все въ выигрышѣ, потому что половину Невского проспекта всегда почти занималъ народъ мастеровой и должностной, и оттого на немъ можно было получить толчковъ цѣлою третью больше, нежели гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ...

Къ чему такъ быстро летитъ ничѣмъ незамѣнимое наше время? кто его кличетъ къ себѣ? Великій постъ... какой спокойный, какой уединенный его отрывокъ? Чего нельзя сдѣлать въ эти семь недѣль? Теперь наконецъ займусь я основательно трудомъ своимъ. Теперь совершу я наконецъ то, чего не дали совершить мнѣ шумъ и всеобщее волненіе. Но вотъ уже на исходѣ первая недѣля! не успѣлъ начать я, уже летитъ за нею вторая, уже середина третьей, уже четвертая, уже ярмарка въ Гостинномъ дворѣ, и цѣлая галерея вербъ съ восковыми фруктами и цвѣтами зацвѣла подъ темными его арками. Когда я проходилъ мимо этой пестрой аллеи, подъ тѣнью которой были навалены топорныя дѣтскія игрушки, мнѣ сдѣлалось досадно. Я сердился и на краснощекыхъ нянекъ, шатавшихся толпами, и на дѣтей, радостно останавливавшихся передъ бучами пріятнаго для нихъ сора, и на черномазаго, приземистаго и усатаго грека, титуловавшего себя мол-

даванскимъ кондитеромъ, съ его сомнительными и неопредѣленными вареньями. Лежавшія на столикахъ саложныя щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькія зеркальца мнѣ казались противны. Народъ все такъ же пестрится, тѣснится; тѣ же чувства выражаются на лицѣ его; съ тѣмъ же любопытствомъ глядитъ онъ, съ какимъ глядѣлъ и годъ тому назадъ, два и три, и нѣсколько лѣтъ; а я и каждый человѣкъ изъ этого народа уже не тотъ, уже другія въ немъ чувства, нежели были за годъ предъ симъ, уже суровѣ мысли его, менѣе улыбается на устахъ душа его, и что-нибудь да отпадетъ съ каждымъ днемъ отъ прежней его живости.

Нева вскрылась рано. Лды, не тревоженные вѣтрами, успѣли истаять почти до вскрытія, неслись уже рыхлые и развалились сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти въ одно время. Столица вдругъ измѣнилась. И шпицъ Петропавловской колокольни, и крѣпость, и Васильевскій островъ, и Выборгская сторона, и Англійская набережная — все получило картинный видъ. Дымясь влетѣлъ первый пароходъ. Первые лодки съ чиновниками, солдатами, старухами-няньками, англійскими конторщиками понеслись съ Васильевского и на Васильевскій. Давно не помню я такой тихой и свѣтлой погоды. Когда взошелъ я на Адмиралтейскій бульваръ — это было наканунѣ Свѣтлаго Воскресенія вечеромъ — когда Адмиралтейскимъ бульваромъ достигъ я пристани, передъ которою блестятъ двѣ яшмовныя вазы, когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвѣтъ неба дымился съ Выборгской стороны голубымъ туманомъ, строенія стороны Петербургской одѣлись почти лиловымъ цвѣтомъ, скрывшимъ ихъ неказистую наружность, когда церкви, у которыхъ туманъ одноцвѣтнымъ покровомъ своимъ скрылъ всѣ выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой матеріи, и въ этой лилово-голубой мглѣ блестялъ одинъ только шпицъ Петропавловской колокольни, отражаясь въ безконечномъ зеркалѣ Невы, — мнѣ казалось, будто я былъ не въ Петербургѣ: мнѣ казалось, будто я переѣхалъ въ какой-нибудь другой городъ, гдѣ ужъ я бывалъ, гдѣ все знаю, и гдѣ тѣ, чего нѣтъ въ Петербургѣ... Вонъ и знакомый гребецъ, съ которымъ я не видался болѣе полу-

года, болтается съ своимъ яликомъ у берега, и знакомыя раздаются рѣчи, и вода, и лѣто, которыхъ не было въ Петербургѣ.

Сильно люблю весну. Даже здѣсь, на этомъ дикомъ сѣверѣ, она моя. Мнѣ кажется, никто въ мірѣ не любитъ ее такъ, какъ я. Съ нею приходитъ ко мнѣ моя юность; съ ней мое прошедшее — болѣе чѣмъ воспоминаніе: оно передъ моими глазами и готово брызнуть слезою изъ моихъ глазъ. Я такъ былъ упоенъ ясными, свѣтлыми днями Христова Воскресенія, что не замѣчалъ вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видѣлъ только издали, какъ качели уносили на воздухъ какого-то молодца, сидѣвшаго объ руку съ какою-то дамой въ щегольской шляпкѣ; мелькнула въ глаза вывѣска на угльномъ балаганѣ, на которомъ нарисованъ былъ пребольшой рыжій чортъ съ топоромъ въ рукѣ. Больше я ничего не видѣлъ.

Свѣтлымъ Воскресеніемъ, кажется, какъ будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видимъ на улицѣ, укладывается въ дорогу. Спектакли, балы, послѣ Свѣтлаго Воскресенья — больше ничего, какъ оставшіеся хвосты отъ тѣхъ, которые были передъ Великимъ постомъ или, лучше сказать, — гости, которые расходятся позже другихъ и проговариваютъ у камина еще нѣсколько словъ, прикрывая одною рукою зѣвающій ротъ свой. Городъ весь высушился, тротуары сухи. Петербургскіе джентльмены, въ однихъ сюртучкахъ, съ разными палками; вмѣсто громоздкой кареты, несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаетоны. Книги читаются лѣнивѣе. Уже въ окна магазиновъ, вмѣсто шерстяныхъ чулковъ, глядятъ кое-гдѣ лѣтніе фуражки и хлыстики. Словомъ, Петербургъ, во весь апрѣль мѣсяць, кажется на подлетѣ. Весело презрѣть сидячую жизнь и постоянство и помышлять о дальней дорогѣ подъ другія небеса, въ южныя зеленныя рощи, въ страны новаго и свѣжаго воздуха. Весело тому, у кого въ концѣ петербургской улицы рисуются подоблачныя горы Кавказа, или озера Швейцаріи, или увѣчанная анемономъ и лавромъ Италія, или прекрасная и въ пустынности своей Греція.... Но стой мысль моя: еще съ обѣихъ сторонъ около меня громоздятся петербургскіе дома....



ТАРАСЪ БУЛЬБА.

(Въ первоначальномъ видѣ).

I.

— А поверотись, сынку! цурь тебѣ, какой ты смѣшной! Что это на васъ за поповскіе подрясники? И эдакъ всѣ ходятъ въ академіи?

Таковыми словами встрѣтилъ старый Бѹльба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кievской бурсѣ и пріѣхавшихъ уже на домъ въ отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе изъ-подлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень сконфужены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потушивъ глаза въ землю.

— Постоите, постоите, дѣти, продолжалъ онъ, поворачивая ихъ, — какіе же длинныя на васъ свитки *)! Вотъ это свитки! Ну, ну, ну! такихъ свитокъ еще никогда на свѣтѣ не было! А ну, побѣгите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?

— Не смѣйся, не смѣйся, батьку! сказалъ наконецъ старшій изъ нихъ.

— Фу, ты какой пышной! а отчего-жъ бы не смѣяться?

— Да такъ. Хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, то, ей Богу, поколочу!

*) Свиткой называется верхняя одежда у Малороссіянъ.

— Ахъ, ты слявой, такой сынъ! Какъ! батька? сказалъ Тарасъ Бѣльба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько назадъ.

— Да хоть и батька. За обиду — не посмотрю и не уважу никого.

— Какъ же ты хочешь со мною биться? развѣ на кулаки?

— Да ужъ на чемъ бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! говорилъ Бѣльба, засучивъ рукава. И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки, начали преусердно колотить другъ друга.

— Вотъ это сдурѣлъ старый! говорила блѣдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не успѣвшая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей своихъ. — Ей Богу, сдурѣлъ! Дѣти пріѣхали домой, больше года не видѣли ихъ, а онъ задумалъ Богъ знаетъ что: биться на-кулачки!

— Да онъ славно бьется! говорилъ Бѣльба остановившись. — Ей Богу, хорошо!... такъ-таки, продолжалъ онъ, немного оправляясь, — хоть бы и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здоровъ, сынку! почелдѣваемся! — И отецъ съ сыномъ начали цѣловаться. — Добре, сынку! Вотъ такъ колоти и всякого, какъ меня тузилъ; никому не спускай! А все-таки на тебѣ смѣшное убранство. Что это за веревка висить? А ты, бѣйбась, что стоишь и руки опустил? говорилъ онъ, обращаясь къ младшему. — Что же ты, собачій сынъ, не колотишь меня?

— Вотъ еще выдумалъ что! говорила мать, обнимавшая между тѣмъ младшаго. — И придетъ же въ голову! Какъ можно, чтобы дитя било роднаго отца? Притомъ будто до того теперь: дитя малое, проѣхало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати слишкомъ лѣтъ и ровно въ сажень ростомъ); ему бы теперь нужно опочить и поѣсть чего-нибудь, а онъ заставляетъ биться!

— Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу! говорилъ Бѣльба. — Не слушай, сынку, матери: она — баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣжба — чистое поле да добрый конь; вотъ ваша нѣжба! А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша матеръ! Это все дрянъ, чѣмъ набиваютъ васъ: и академія, и всѣ тѣ книжки, буквари и философія, все это *ка зна що*, а плевать на все

это! — Бўльба присовокупилъ еще одно слово, которое въ печати нѣсколько выразительно, и потому его можно пропустить. — Я васъ на той же недѣлѣ отправлю на Запорожье. Вотъ тамъ ваша школа! вотъ тамъ только наберетесь разуму!

— И только всего одну недѣлю быть имъ дома? говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худошавая старуха-мать. — И погулять имъ, бѣднымъ, не удастся, и дому родного некогда будетъ узнать имъ, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!

— Полно, полно, старуха! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ступай скорѣй да носи намъ все, что ни есть, на столъ. Пампүшекъ, маковниковъ, медовиковъ и другихъ пундиковъ не нужно, а прямо такъ и тащи намъ цѣлаго барана на столъ. Да горѣлки, чтобы горилки было побольше! Не этой разной, что съ выдумками: съ изюмомъ, родзинками и другими вытребѣньками, а чистой горѣлки, настоящей, такой, чтобы шипѣла какъ бѣсъ!

Бўльба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, изъ которой пугливо выбѣжали двѣ здоровыя дѣвки въ красныхъ монистахъ, увидѣвши прїѣхавшихъ паничей, которые не любили спускаться никому. Все въ свѣтлицѣ было убрано во вкусъ того времени; а время это касалось XVI вѣка, когда еще только-что начинала рождаться мысль объ уни. Все было чисто, вымазано глиною. Вся стѣна была убрана саблями и ружьями. Окна въ свѣтлицѣ были маленькія, съ круглыми матовыми стеклами, какія встрѣчаются нынѣ только въ старинныхъ церквахъ. На полкахъ, занимавшихъ углы комнаты и сдѣланныхъ угольниками, стояли глиняные кувшины, синія и зеленыя фляжки, серебряные кубки, позолоченныя чары венеціанской, турецкой и черкесской работы, зашедшіе въ свѣтлицу Бўльбы разными путями, чрезъ третьи и четвертыя руки, что было очень обыкновенно въ эти удалыя времена. Лицовыя скамьи вокругъ всей комнаты и огромный столъ посреди ея, печь, разлѣхавшаяся на полкомнаты, какъ толстая русская купчиха, съ какими-то нарисованными пѣтухами на изразцахъ — всѣ эти предметы были довольно знакомы нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ почти каждый годъ домой на канікулярное время, — приходившимъ потому, что у нихъ не

было еще коней, и потому, что не было въ обычаѣ позволять шволярамъ ѣздить верхомъ. У нихъ были только длинныя чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба, только при выпускѣ ихъ, послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

— Ну, сынки, прежде всего выпьемъ горилки! Воже, благоволье! Будьте здоровы, сынки, и ты, Остапъ, и ты, Андрій! Дай же Воже, чтобъ вы на войнѣ всегда были удачливы! чтобъ бурменовъ били, и турковъ били, и татарву били бы; когда и ляхи начнутъ что противъ вѣры нашей чинить, то и ляховъ бы били! Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горилка? А какъ по-латыни горилка? То-то сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свѣтѣ горилка. Какъ бишь того звали, что латинскія вирши писалъ? Я грамоты-то не слишкомъ разумѣю, то и не помню; Горацій, кажется?

— Вишь какой батько! подумалъ про-себя старшій сынъ, Остапъ; — все, собака, знаетъ, а еще и прикидывается.

— Я думаю, архимандрить, продолжалъ Бульба, — не давалъ вамъ и понюхать горилки. А что, сынки, признайтесь, порядочно васъ стегали березовыми да вишневыми по спинѣ и по всему? а можетъ, такъ какъ вы уже слишкомъ разумные, то и плетюгами? Я думаю, кромѣ субботки, драли васъ и по середкамъ, и по четвергамъ!

— Нечего, батько, вспоминать, говорилъ Остапъ съ обыкновеннымъ своимъ флегматическимъ видомъ; — что было, то уже прошло.

— Теперь мы можемъ росписать всякого, говорилъ Андрій, — саблями да списами. Вотъ пусть только попадетъ татарва.

— Добре, сынку! ей Богу, добре! да когда такъ, то и я съ вами ѣду! ей Богу, ѣду! Какого дьявола мнѣ здѣсь ожидать? Что? я долженъ развѣ смотрѣть за хлѣбомъ да за свинарjami? или бабиться съ женою? Чтобъ она пропала! Чтобъ я для ней оставался дома? Я козакъ! я не хочу! Такъ что же, что нѣтъ войны? я такъ поѣду съ вами на Запорожье, погулять. Ей Богу, ѣду! — И старшій Бульба мало по-малу горячился и наконецъ рассердился совсѣмъ, всталъ изъ-за стола и, пріосанившись, топнулъ ногою. —

Завтра же ѣдемъ! Зачѣмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здѣсь высидѣть? На что намъ эта хата? къ чему намъ все это? на что эти горшки? — При этомъ Бульба началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка-жена, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, сидя на лавкѣ. Она не смѣла ничего говорить; но, услышавши о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дѣтей своихъ, съ которыми угрожала такая скорая разлука, и никто бы не могъ описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно сжатыхъ губахъ.

Бульба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли только возникнуть въ грубой XVI вѣкъ, и притомъ на полуочующемъ Востоку Европы, во время праваго и неправаго понятія о земляхъ, сдѣлавшихся какимъ-то спорнымъ, нерѣшеннымъ владѣніемъ, къ какому принадлежала тогда Украина. Вѣчная необходимость пограничной защиты противъ трехъ разнохарактерныхъ націй — все это придавало какой-то вольный, широкій размахъ сыновъ ея и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силѣ на Тарасѣ Бульбѣ. Когда Баторій устроилъ полки въ Малороссіи и облекъ ее въ ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели Пороговъ, онъ былъ изъ числа первыхъ полковниковъ; но при первомъ случаѣ перессорился со всѣми другими за то, что добыча, приобрѣтенная отъ Татаръ соединенными польскими и козацкими войсками, была раздѣлена между ними не поровну и польскія войска получили болѣе преимуществва. Онъ, въ собраніи всѣхъ, сложилъ съ себя достоинство и сказалъ: „Когда вы, господа полковники, сами не знаете правъ своихъ, то пусть же васъ чортъ водить за носъ! А я наберу себѣ собственный полкъ, и кто у меня вырветъ мое, тому я буду знать, какъ утереть губы!“

Дѣйствительно, онъ въ непродолжительное время изъ своего же отцовскаго имѣнія составилъ довольно значительный отрядъ, который состоялъ вмѣстѣ изъ хлѣбопашцевъ и воиновъ и совер-

шенно покорствовался его желанію. Вообще онъ былъ охотникъ до набѣговъ и бунтовъ; онъ носомъ слышалъ, гдѣ и въ какомъ мѣстѣ вспыхивало возмущеніе, и уже, какъ сибѣгъ на голову, являлся на конѣ своемъ. „Ну, дѣти! чтѣ и какъ? кого и за чтѣ нужно бить?“ обыкновенно говорилъ онъ и виѣшивался въ дѣло. Однакожъ, прежде всего, онъ строго разбиралъ обстоятельства, и въ такомъ только случаѣ приставалъ, когда видѣлъ, что поднявшіе оружіе дѣйствительно имѣли право поднять его, хотя это право было, по его мнѣнію, только въ слѣдующихъ случаяхъ: если сосѣдняя нація угоняла скотъ, или отрѣзывала часть земли, или комиссары налагали большую повинность, или не уважали старшинъ и говорили передъ ними въ шапкахъ, или посмѣивались надъ православною вѣрою: въ этихъ случаяхъ непременно нужно было браться за саблю; противъ бусурмановъ же, Татаръ и Турокъ, онъ почиталъ во всякое время справедливымъ поднять оружіе, во славу Божию, христіанства и козачества. Тогдашнее положеніе Малороссіи, еще не сведенное ни въ какую систему, даже не приведенное въ извѣстность, способствовало существованію многихъ совершенно отдѣльныхъ партизановъ. Жизнь велъ онъ самую простую, и его нельзя было вовсе отличить отъ рядоваго козака, еслибы лицо его не сохраняло какой-то повелительности и даже величія, особливо, когда онъ рѣшался защищать что-нибудь.

Бульба заранѣе утѣшалъ себя мыслию о томъ, какъ онъ явится теперь съ двумя сыновьями и скажетъ: „Вотъ посмотрите, какихъ я къ вамъ молодцовъ привелъ!“ Онъ думалъ о томъ, какъ повезетъ ихъ на Запорожье — эту военную школу тогдашней Украйны — представить своимъ сотоварищамъ и поглядить, какъ при его глазахъ они будутъ подвизаться въ ратной наукѣ и бражничествѣ, которое онъ почиталъ тоже однимъ изъ первыхъ достоинствъ рыцаря. Онъ вначалѣ хотѣлъ отправить ихъ однихъ, потому что считалъ необходимостію заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствія; но при видѣ своихъ сыновей, рослыхъ и здоровыхъ, въ немъ вдругъ вспыхнулъ весь воинскій духъ его, и онъ рѣшился самъ съ ними ѣхать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, онъ уже началъ отдавать приказанія своему осаулу, котораго называлъ Товкачемъ, потому что тотъ дѣйствительно похожъ былъ на какую-то хладнокровную машину: во время битвы онъ равнодушно шелъ по непріятельскимъ рядамъ, расчищая своею саблею, какъ будто бы мѣсиль тѣсто, — какъ кулачный боецъ, прочищающій себѣ дорогу. Приказанія состояли въ томъ, чтобъ оставаться ему въ хуторѣ, покажеться онъ дастъ знать ему выступить въ походъ. Послѣ этого пошелъ онъ самъ по куренямъ своимъ, раздавая приказанія нѣкоторымъ ѣхать съ собою, напоить лошадей, накормить ихъ пшеницею и подать себѣ коня, котораго онъ обыкновенно называлъ чортомъ.

— Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! Намъ не нужна постель: мы будемъ спать на дворѣ.

Ночь еще только-что обняла небо; но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба любилъ укрываться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь дворъ. Все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапѣло и зашѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.

Одна бѣдная мать не спала. Она прикинула къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ. Она расчесывала гребнемъ ихъ молодя, небрежно включенныя кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядѣться; она вскормила ихъ собственною грудью, она возрастила, взлелѣвала ихъ — и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою. „Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ? Хотя бы недѣльку мнѣ поглядѣть на васъ!“ говорила она и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ ея когда-то прекрасное лицо.

Въ самоѣ дѣлѣ она была жалка, какъ всякая женщина того удалого вѣка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суро-

внй прельститель ея покидалъ ея для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видѣла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не бывало слуха. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпѣла оскорбленія, даже побой; она видѣла изъ милости только оказываемыя ласки; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всѣ чувства, все, что есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ, все обратилось у ней въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, съ слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, берутъ для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда. Кто знаетъ? можетъ-быть, при первой битвѣ, Татаринъ срубить имъ головы, и она не будетъ знать, гдѣ лежатъ брошенные тѣла ихъ, которыя расклевуетъ хищная подорожная птица и за каждый кусочекъ которыхъ, за каждую каплю крови она отдала бы все! Рыдая глядѣла она имъ въ очи, которыя всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать, и думала: „Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочить денька на два отъѣздъ! Можетъ-быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много выпилъ.“

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоволь, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ; ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ своихъ и не думала о снѣ. Уже кони, зачуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и перестали ѣсть; верхнія листья вербъ начали лепетать, и мало-по-малу лепечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидѣла до самаго свѣта, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка. Красныя полосы ясно свергнули на небѣ.

Бѹльба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! пора! пора! Напойте коней! А гдѣ старѣ? (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою). Живѣе, старѣ, готовь намъ ѣсть, потому что путь великій лежитъ!

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло пошла въ хату. Между тѣмъ какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку, Бѣмба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранства. Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячею складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуромъ; къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки съ кистями и прочими побрякушками для трубки; козакинѣ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясаны узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе пистолеты были задвинуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ ихъ. Ихъ лица, еще мало загорѣвшія, казались, похорошѣли и побѣлѣли: молодые черные усы теперь какъ-то ярче отбѣивали бѣлизну и ихъ здоровнѣй, мощный цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками съ золотымъ верхомъ. Бѣдная мать! она, какъ увидѣла ихъ, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

— Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать! произнесъ наконецъ Бѣмба. — Теперь, по обычаю христіанскому, нужно передъ дорогою всѣмъ присѣсть.

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почти тельно у дверей.

— Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ! сказалъ Бѣмба. — Моли Бога, чтобъ они воевали храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую *), чтобы стояли всегда за вѣру Христову; а не то — пусть лучше пропадутъ, чтобъ и духу ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери. Молитва материнская и на водѣ и на землѣ спасаетъ.

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. „Пусть хранитъ васъ....

*) Рыцарскую.

Божья Матерь.... не забывайте, сынки, мать вашу.... пришли-те хоть вѣсточку о себѣ....“ далѣе она не могла продолжать.

— Ну, пойдѣмъ, дѣти! сказалъ Вѹльба.

У крыльца стояли осѣдланные кони. Вѹльба вскочилъ на своего чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовавъ на себѣ двадцати-пудовое бремя, потому что Вѹльба былъ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выразалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за стремя, она прилипнула къ сѣдлу его и, съ отчаяніемъ во всѣхъ чертахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда выѣхали они за ворота, она, со всею легкостію дикой козы, несообразною ея лѣтамъ, выбѣжала за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ нихъ съ какою-то помѣшанною, безчувственной горячестію. Ее опять увели.

Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однакоже, съ своей стороны тоже былъ нѣсколько смущенъ, хотя не старался этого показывать. День былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, проѣхавши, оглянулись назадъ. Хуторъ ихъ какъ-будто ушелъ въ землю; только стояли на землѣ двѣ трубы отъ ихъ скромнаго домика; однѣ только вершины деревъ, деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазили какъ бѣлки; одинъ только дальній лугъ еще стлался передъ ними, — тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію жизни, отъ лѣтъ, когда качались по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо летѣвшую чрезъ него съ помощію своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ножекъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодезѣмъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ на небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горюю и все собою закрыла. Прощайте и дѣтство, и игры, и все, и все!

II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думаль о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда почти плачетъ возакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думаль о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Свѣтѣ изъ своихъ прежнихъ со-товарищей; онъ вычисляль, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая го-лова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьяхъ его.

Они были отданы по двѣнадцатому году въ кievскую акаде-мію, потому что всѣ почетные сановники тогдашняго времени считали необходимою дать воспитаніе своимъ дѣтямъ, хотя это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всѣ, поступившіе въ бурсу: дики, воспитаны на свободѣ, и тамъ уже они обыкновенно нѣсколько шлифовались и получали что-то общее, дѣлавшее ихъ похожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый годъ еще бѣжалъ. Его возвратили, высѣкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапываль онъ свой букварь въ землю и четыре раза, отодравши его безчеловѣчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнѣнія, онъ повторилъ бы и въ пятый, еслибы отецъ не далъ ему торжественнаго обѣщанія продержать его въ монастырскихъ службахъ цѣлые двадцать лѣтъ и что онъ не увидитъ Запорожья во-вѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Вѣльба, который браниль всю ученость и совѣтоваль, какъ мы уже видѣли, дѣтямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни. Эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тон-кости рѣшительно не прикасались къ времени, никогда не при-мѣнялись и не повторялись въ жизни. Ни къ чему не могли при-

вязать они своихъ познаній, хотя бы даже менѣ схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болѣе другихъ были невѣжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. При томъ же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было имѣть внушить дѣятельность совершенно внѣ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, пробуждающіяся въ свѣжестѣ, здоровестѣ, крѣпкомъ юношѣ, все это, соединившись, рождало въ нихъ ту предприимчивость, которая послѣ развивалась на Запорожьѣ. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всѣхъ быть осторожными. Торговки, сидѣвшія на базарѣ, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, сѣмячки изъ тыквы, какъ орлицы дѣтей своихъ, если только видѣли проходившаго бурсака. Консулъ, долженствовавшій, по обязанности своей, наблюдать надъ подвѣдомственными ему сотоварищами, имѣлъ такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помѣстить туда всю лавку зазѣвавшейся торговки. Эта бурса составляла совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ выспій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академіи, не вводилъ ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ построже. Впрочемъ это наставленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жалѣли дозъ и плетей, и часто ликторы, по ихъ приказанію, пороли своихъ консуловъ такъ жестоко, что тѣ нѣсколько недѣль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чѣмъ крѣпче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надоѣдали такія безпрестанныя припарки, и они бѣжали на Запорожье, если умѣли найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остапъ Бўльба, несмотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословіе, но никакъ не избавлялся неумолимыхъ розгъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко предводи-

тельствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ — обобратъ чужой садъ, или огородъ, но зато онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпринчиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случаѣ не выдавалъ своихъ товарищей. Никакія плети и розги не могли заставить его это сдѣлать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной пирушки; по крайней мѣрѣ никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ былъ прамодушень съ равными. Онъ имѣлъ доброту въ такомъ видѣ, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характерѣ и въ тогдaшнее время. Онъ душевно былъ тронутъ слезами бѣдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства нѣсколько живѣе и какъ-то болѣе развитыя. Онъ учился охотнѣе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ болѣе изобрѣтателемъ, нежели его братъ; чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощію изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кипѣлъ жаждою подвига, но, вмѣстѣ съ нею, душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за 18 лѣтъ. Женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его. Онъ, слушая философическіе диспуты, видѣлъ ее поминутно, свѣжую, чернооую, нѣжную. Передъ нимъ непрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея свѣжихъ, дѣвственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдaшній вѣкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы. Вообще въ послѣдніе годы онъ рѣже являлся предводителемъ какой нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдѣ-нибудь въ уединенномъ закоулкѣ Кіева,

потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядѣвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынѣшнемъ старомъ Киевѣ, гдѣ жили малороссійскіе и польскіе дворяне и дома были выстроены съ нѣкоторою прихотливостію.

Одинъ разъ, когда онъ зазѣвался, наѣхала почти на него колымага какого-то польскаго пана, и сидѣвшій на козлахъ возница, съ престаашными усами, хлыстнулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипѣлъ; съ безумною смѣлостію схватилъ онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздѣлки, ударилъ по лошадамъ, онѣ рванули — и Андрій, къ счастью, успѣвши отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ стоявшую у окна брUNETTE, прекрасную, какъ незнаю что, черноглазую и бѣлую, какъ смѣгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она смѣялась отъ всей души, и смѣхъ придавалъ какою-то сверкающую силу ея ослѣпительной красотѣ. Онъ оторопѣлъ: онъ глядѣлъ на нее, совсѣмъ потерявшись, разсѣянно обтирая съ лица своего грязь, которою еще болѣе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотѣлъ-было узнать отъ дворни, которая кучею, въ богатомъ убранствѣ, стояла за воротами, окруживши играваго молодого бандуриста; но дворня подняла смѣхъ, увидѣвши его запачканную рожу, и не удостоила его отвѣтомъ. Наконецъ онъ узналъ, что это была дочь пріѣхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостію, онъ пролѣзъ черезъ частоколь въ садъ, взлѣзъ на дерево, раскинувшееся вѣтвями, упиравшимися въ самую крышу дома; съ дерева перелѣзъ на крышу и черезъ трубу камня пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидѣла передъ свѣчою и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги.

Прекрасная Полячка такъ испугалась увидѣвши вдругъ передъ собою незнакомаго человѣка, что не могла произнести ни одного слова; но когда увидала, что бурсакъ стоялъ, потушивъ глаза и не смѣя отъ робости поворотить рукою, когда узнала въ

несть того же самого, который хлопнулся предъ ея глазами на улицѣ, смѣхъ вновь овладѣлъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смѣялась и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вѣтрена, какъ Полячка, но глаза ея, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ поворотить рукою и былъ связанъ, какъ въ мѣшкѣ, когда дочь воеводы смѣло подошла къ нему, надѣла ему на голову свою блистательную діадему, повѣсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дѣлала съ нимъ тысячи разныхъ глупостей, съ развязностію дитяти, которою отличаются вѣтренныя Полячки, и которая повергла бѣднаго бурсака въ еще большее смущеніе. Онъ представлялъ смѣшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя неподвижно въ ея ослѣпительныя очи.

Раздавшійся у дверей стукъ пробудилъ въ ней испугъ. Она велѣла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, она кликнула свою горничную, плѣнную Татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывести его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицѣ, покажѣсть быстрыя ноги не спасли его.

Послѣ этого проходить возлѣ дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Онъ увидѣлъ ее еще разъ въ костелѣ. Она замѣтила его и очень пріятно усмѣхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видѣлъ ее вскользь еще одинъ разъ, и послѣ этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ, и, вмѣсто прекрасной, обольстительной брUNETКИ, выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо.

Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повѣсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тѣмъ степь уже давно приняла ихъ всѣхъ въ свои зеленныя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только козачьи черныя шапки однѣ мелькали между ея колосьями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, такъ притихли? сказалъ

наконецъ Бўльба, очнувшисьъ отъ своей задумчивости: — какъ будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ, разомъ! Всѣ думки къ нечистому! Берите въ зубы люльки да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобъ и птица не угналась за нами!

И козаки, прилегши нѣсколько къ конямъ, пропали въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только быстрая молнія сжимаемой травы показывала бѣгъ ихъ.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небѣ и живительнымъ теплотворнымъ свѣтомъ своимъ облило степь. Все, что смутно и сонно было въ душѣ у козаковъ, въ мигъ слетѣло; сердца ихъ встрепенулись, какъ птицы.

Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекраснѣе. Тогда весь югъ, все то пространство, которое составляетъ нынѣшнюю Новороссію, до самаго Чернаго моря, было зеленою дѣвственною пустынею. Нивогда плугъ не проходилъ по неизмѣримымъ волнамъ дикихъ растений. Одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытаптывали ихъ. Ничто въ природѣ не могло быть лучше ихъ. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызнули миллионы разныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубые, синіе и лиловые волошки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бѣлая кашка зонтико-образными шапками пестрѣла на поверхности; занесенный Богъ знаетъ откуда колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячею разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли цѣлую тучею ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонѣ тучи дикихъ гусей отдавался Богъ знаетъ въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы подымалась мѣрными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ одною черною точкой. Вонъ она перевернулась крылами и блеснула предъ солнцемъ. Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!

Наши путешественники нѣсколько минутъ только останавливались для обѣда: при чемъ ѣхавшій съ ними отрядъ, изъ 10

козаконъ, слѣзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянныя баклажки съ горилкою, и тыквы, употребляемыя вмѣсто сосудовъ. Ъли только хлѣбъ съ саломъ, или коржи; пили только по одной чаркѣ, единственно для подерѣвленія, потому что Тарасъ Бульба не позволялъ никогда наливаться въ дорогѣ, — и продолжали путь до вечера.

Вечеромъ вся степь совершенно перемѣнялась. Все пестрое пространство ея охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнѣло, такъ что видно было, какъ тѣнь перебѣгала по нимъ и они становились темно-зелеными; испаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, каждая трава испускала амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По небу, изголуба-темному, какъ будто исполинскою кистью наляпаны были широкія полосы изъ розоваго золота, изрѣдка бѣлѣли клокками легкія прозрачныя облака, и самый свѣжій, обольстительный, какъ морскія волны, вѣтерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался къ щекамъ. Вся музыка, наполнявшая день, утихла и смѣнялась другою. Пестрые овражки выползвали изъ норъ своихъ, становились на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышнѣе. Иногда слышался изъ какого-нибудь-уединеннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухѣ. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлегъ, раскладывали огонь и ставили на него котелъ, въ которомъ варили себѣ кулишъ; паръ отдѣлялся и косвенно дымился на воздухѣ. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши по травѣ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядѣли ночныя звѣзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву; весь ихъ трескъ, свистъ, карканье — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свѣжемъ ночномъ воздухѣ и доходило до слуха гармоническимъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то ему представлялась степь усѣянною блестящими искрами свѣтящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и рѣкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей, летѣвшихъ на

сѣверъ, вдругъ освѣщалась серебряно-розовымъ цвѣтомъ, и тогда казалось, что красныя платки летали по темному небу.

Путешественники ѣхали безъ всякихъ приключеній. Нигдѣ не попадались имъ деревья; все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонѣ синѣли верхушки отдаленнаго лѣса, тянувшагося по берегамъ Днѣпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую, чернѣющую въ дальней травѣ, точку, сказавши: „Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ Татаринъ.“

Маленькая головка съ усами устала издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидѣвши, что козаковъ было тринадцать человѣкъ.

— А ну, дѣти, попробуйте догнать Татарина!... И не пробуйте; во-вѣки не поймаете: у него конь быстрѣ моего чорта.

Однакожь Бѣльба взялъ предосторожность, опасаясь гдѣ-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впадающею въ Днѣпръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть слѣды свой, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали дальнѣе путь.

Черезъ три дня послѣ этого они были уже недалеко отъ мѣста, служившаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ заохлодѣло; они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полосой отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался ближе, ближе, и наконецъ обхватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ наконецъ свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ; гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны его стлались по самой землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и черезъ три часа плаванія были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣча, такъ часто пережвнявшая свое жилище.

Куча народа бранилась на берегу съ перевозчиками. Козаки

оправили коней; Тарасъ пріосанился, стянулъ на себѣ покрѣпче поясъ и гордо провель рукою по усамъ; молодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы съ какимъ-то страхомъ и неопредѣленнымъ удовольствіемъ, и всѣ вмѣстѣ вѣхали въ предмѣстѣе, находившееся за полверсты отъ Сѣчи. При вѣздѣ, ихъ оглушили пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ 25 кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожевники сидѣли подъ навѣсомъ крылецъ на улицѣ и мiali своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари подъ ятками сидѣли съ кучами кремней, огнивами и порохоми. Армянинъ развѣсилъ дорогіе платки. Татаринъ ворочалъ на рожнахъ бараньи ватки съ тѣстомъ. Жидъ, выставивъ впередъ свою голову, точилъ изъ бочки горилку. Но первый, кто попался имъ навстрѣчу, это былъ запорожець, спавшій на самой срединѣ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бўльба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эхъ, какъ важно развернулся! Фу, ты, какая пышная фигура! говорилъ онъ, остановивши коня.

Въ самомъ дѣлѣ, это была картина довольно смѣлая. Запорожець, какъ левъ, растянулся на дорогѣ. Закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъ-аршина земли. Шаровары алаго дорогаго сукна были запачканы дегтемъ, для показанія полного къ нимъ презрѣнія.

Полюбовавшись, Бўльба пробрался далѣе севозъ тѣсную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тутъ же отправлявшими ремесло свое, и людьми всѣхъ націй, наполнявшихъ это предмѣстіе Сѣчи, которое было похоже на ярмарку и которое одѣвало и кормило Сѣчь, умѣвшую только гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ они минули предмѣстіе и увидѣли нѣсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные установлены были пушками. Нигдѣ не видно было забора или тѣхъ низенькихъ домиковъ, съ навѣсами, на низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе были въ предмѣстїи. Небольшой валъ и засѣка, не хранимые рѣшительно никѣмъ, показывали страшную безпечность. Нѣсколько дюжихъ запорож-

цевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мѣста. Тарасъ осторожно проѣхалъ съ сыновьями между нихъ, сказавши: „Здравствуйте, панове!“ — „Здравствуйте и вы!“ отвѣчали запорожцы. На пространствѣ пяти верстъ были разбросаны толпы народа. Онѣ всё собирались въ небольшія кучи. Такъ вотъ Сѣчь! вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всё тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы! вотъ откуда разливается воля и бо-зачество на всю Украину!

Путники выѣхали на обширную площадь, гдѣ обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкѣ сидѣлъ запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ въ рукахъ ее и медленно зашивалъ на ней дыры. Ииъ опять перегородила дорогу цѣлая толпа музыкантовъ, въ серединѣ которыхъ отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши чортомъ свою шапку и вскинувши рука-ми. Онъ кричалъ только: „Живѣ играйте, музыканты! Не жа-лѣй, Ома, горилки православнымъ христіанамъ!“ И Ома, съ подбитымъ глазомъ, шѣрлялъ безъ счета каждому пристававшему по огромнѣйшей кружкѣ. Около молодого запорожца четыре ста-рыхъ выработывали довольно мелко своими ногами, всеидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслися въ присядку и били круто и крѣпко сво-ими серебряными подковами тѣсно убитую землю. Земля глухо гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та! Толпа, чѣмъ далѣе, росла: къ танцующимъ при-ставали другіе, и вся почти площадь покрылась присѣдающими запорожцами. Это имѣло въ себѣ что-то разительно-увлекатель-ное. Нельзя было безъ движенія всей души видѣть, какъ вся толпа отдирала танецъ, самый вольный, самый бѣшеннѣй, какой только видѣлъ когда-либо міръ и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, носитъ названіе козачка.

Тарасъ Вульба крикнулъ отъ нетерпѣнія, и досадуя, что конь, на которомъ сидѣлъ онъ, шѣшалъ ему пуститься самому. Ииые были чрезвычайно смѣшны своею важностью, съ какою они ра-ботали ногами. Чрезчуръ дряхлые, прислонившись къ столбу, къ которому обыкновенно на Сѣчѣ привязывали преступника, топа-

ли и переминали ногами. Крики и пѣсни, какіе только могли придти въ голову человѣку въ разгульномъ весельи, раздавались свободно.

Тарасъ скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія: „А это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуцъ! Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ? Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здравствуй, Застежка! Думалъ ли я видѣть тебя, Ремень!“ И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: „А чтѣ Касьянъ? чтѣ Бородавка? чтѣ Колоперъ? чтѣ Пидсытокъ?“ и слышалъ только въ отвѣтъ Тарасъ Бѣльба, что Бородавка повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсыткова голова посолена въ бочкѣ и отправлена въ самый Царь-Градъ. Понурилъ голову старый Бѣльба и раздумчиво говорилъ: „Добрые были козаки!“

III.

Уже около недѣли Тарасъ Бѣльба жилъ съ сыновьями своими на Сѣчѣ. Остапъ и Андрій мало могли заниматься военною школою, несмотря на то, что отецъ ихъ особенно просилъ опытныхъ и искусныхъ наѣздниковъ быть имъ руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожьѣ не было никакого теоретическаго изученія или какихъ-нибудь общихъ правилъ; все юношество воспитывалось и образовывалось въ немъ однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвы, которыя отъ того были почти непрерывны. Промежутки же между ними козаки почитали скучнымъ занимать изученіемъ какой-нибудь дисциплины. Очень рѣдко имѣли примѣрные турниры. Они все время отдавали гульбѣ — признаку широкаго размета душевной воли. Вся Сѣчъ представляла необыкновенное явленіе. Это было какое-то непрерывное пиршество, — балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще

въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражниковъ, напивавшихся съ горя: это было, просто, какое-то бѣшеное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на все прошедшее и съ жаромъ фанатика предавался волѣ и товариществу такихъ же, какъ самъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это производило ту бѣшеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Разказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лежавшей на землѣ, такъ были смѣшны и дышали такимъ глубокимъ юморомъ, что нужно было имѣть только флегматическую наружность запорожца, чтобы не смѣяться отъ всей души. Это не былъ какой-нибудь пьяный кабакъ, гдѣ безмысленно, мрачно-искаженными чертами веселья забывается человекъ; это былъ тѣсный кругъ школьныхъ товарищей. Вся разница была только въ томъ, что, вмѣсто сидѣнія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набѣгъ, на пяти тысячахъ коней, — вмѣсто луга, на которомъ производилась игра въ мячикъ, у нихъ были не охраняемыя, безопасныя границы, въ виду которыхъ Татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядѣлъ Турокъ, въ зеленой чалмѣ своей; разница та, что вмѣсто насильной воли, соединявшей ихъ въ школѣ, они сами собою винули отцовъ и матерей и бѣжали изъ родительскихъ домовъ своихъ; что здѣсь были тѣ, у которыхъ уже моталась около шеи веревка и которые, вмѣсто блѣдной смерти, увидѣли жизнь, и жизнь во всемъ разгулѣ; что здѣсь были тѣ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманѣ своемъ копейки; что здѣсь были тѣ, которые дотолѣ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выверотить безъ всякаго опасенія что-нибудь уронить. Здѣсь были все бурсаки, которые не вынесли академическихъ лозъ и которые не вынесли изъ школы ни одной буквы, но вмѣстѣ съ этими здѣсь были и тѣ, которые знали, что такое Горацій. Цицеронъ и Римская республика.

Тутъ было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имѣли благородное убѣжденіе мыслить: что все равно, гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человѣку быть безъ битвы. Здѣсь было много офицеровъ изъ польскихъ войскъ. Впрочемъ, изъ какой націи здѣсь не было народа? Эта странная республика была именно потребностью того вѣка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реалевъ во всякое время могли найти здѣсь себѣ работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здѣсь ничего, потому что даже въ предмѣстьи Сѣчи не смѣла показаться ни одна женщина.

Остапу и Андрію показалось чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчу гибель народа и хоть бы кто-нибудь спросилъ ихъ, откуда они, кто они и какъ ихъ зовутъ. Они приходили сюда, какъ будто бы возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: „Здравствуй! Чтò, во Христа вѣруешь?“ — „Вѣрую“, отвѣчала приходившій. — „И въ Троицу Святую вѣруешь?“ — „Вѣрую.“ — „И въ церковь ходишь?“ — „Хожу.“ — „А ну, перекрестись!“ — Пришедшій крестился. — „Ну, хорошо“, отвѣчала кошевой; „ступай же въ который самъ знаешь курень.“ Этими оканчивалась вся церемонія. И вся Сѣчь молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послѣдней капли крови, хотя и слышать не хотѣла о постѣ и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстью Жиды, Армяне и Татары осмѣливались жить и торговать въ предмѣстьи, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ, участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка. Они были похожи на тѣхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что, какъ только у запорожцевъ не стало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Такова была та Сѣчь, имѣвшая столько примановъ для молодыхъ людей.

Остась и Андрій кинулись, со всею пылкостью юношей, въ это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и

домъ отцовскій, и все, что тайно волнуетъ еще свѣжую душу. Они гуляли, братались съ беззаботными бездомовниками и, казлось, не желали никакого измѣненія такой жизни.

Между тѣмъ Тарасъ Бульба начиналъ думать о томъ, какъ бы скорѣе затѣять какое-нибудь дѣло: онъ не могъ долго оставаться въ недѣятельности.

— Что, кошевой? сказалъ онъ разъ, пришедши къ отаману, — можетъ-быть; пора бы погулять запорожцамъ?

— Негдѣ погулять, отвѣчалъ кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнувъ въ сторону.

— Какъ негдѣ? Можно пойти въ турещину или на татарву.

— Не можно ни въ турещину, ни на татарву, отвѣчалъ кошевой, взявши опять въ ротъ трубку.

— Какъ не можно?

— Такъ: мы общали султану миръ.

— Да онъ вѣдь бусурманъ: и Богъ и Священное Писаніе велеть бить бусурмановъ.

— Не имѣемъ права. Еслибъ мы не вклялись нашею вѣрою, то, можетъ-быть, какъ-нибудь еще и можно бы было.

— Какъ же это, кошевой? какъ же ты говоришь, что права не имѣемъ? Вотъ у меня два сына, молодые люди: имъ нужно приучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцамъ не нужно на войну идти.

— Что-жь дѣлать? отвѣчалъ кошевой съ такимъ же хладнокровіемъ, — нужно подождать.

Но этимъ Бульба не былъ доволенъ. Онъ собралъ кое-какихъ старшинъ и куренныхъ отамановъ и задалъ имъ пирушку на всю ночь. Загулявшись до послѣдняго разгула, они вмѣстѣ отправились на площадь, гдѣ обыкновенно собиралась рада и стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полѣну и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довбишъ, высокій человекъ, съ однимъ только глазомъ, несмотря на то, страшно заспаннымъ.

— Кто смѣетъ бить въ литавры? закричалъ онъ.

— Молчи! возьми свои палки и колоти, когда тебѣ велятъ! отвѣчали подгулявшіе старшины.

Довбишь вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ произшествій. Литавры грянули — и скоро на площадь, какъ шмели, начали собираться черныя кучи запорожцевъ.

За кошевымъ отправились нѣсколько человѣкъ и привели его на площадь.

— Не бойся ничего! сказали вышедшіе въ нему на встрѣчу старшины. — Говори міру рѣчь, когда хочешь, чтобы не было худого, — говори рѣчь о томъ, чтобы идти запорожцамъ на войну противъ бусурмановъ!

Кошевой, увидѣвши, что дѣло идетъ не на шутку, вышелъ на середину площади, раскланялся на всѣ четыре стороны и произнесъ: „Панѣве запорожцы, добрые молодцы! позволить ли господарство ваше рѣчь держать?“

— Говори, говори! зашумѣли запорожцы.

— „Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь, панѣве добродѣйство, да вы, можетъ-быть, и сами лучше это знаете, что многіе запорожцы позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры неиметь. Притомъ же, въ разсужденіи того, есть очень много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, что такое война, тогда какъ молодому человѣку, и сами знаете, панѣве, безъ войны не можно пробыть. Какой и запорожець изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?“

— Вишь, онъ хорошо говоритъ, сказалъ писарь, толкнувъ локтемъ Бульбу. Бульба кивнулъ головою.

— „Не думайте, панѣве, чтобы я, впрочемъ, говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ. Сохрани Богъ! я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій — грѣхъ сказать, что такое. Вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, по милости Божіей, стоятъ Сѣчь, а до сихъ поръ, не то уже, чтобы наружность церкви, но даже внутренніе образа безъ всякаго убранства. Хотя бы серебряную расу кто догадался имъ выковать. Они только то и получили, что отказали въ духовной инне козаки. Да даяніе ихъ

было бѣдное, потому что они почти все еще прошли при жизни своей. Такъ я все веду рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами, ибо мы общались султану миръ и намъ бы великой былъ грѣхъ, потому что мы клялись по закону нашему.“

— Вишь проклятой! что это онъ путаетъ такое? сказалъ Бѹльба писарю.

— „Да, такъ видите, панове, что войны не можно начать: честь лыцарская не велить. А по своему бѣдному разуму вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ; пусть немного пошарпають берега Анатолиі. Какъ думаете, панове?“

— Веди, веди всѣхъ! закричала со всѣхъ сторонъ толпа: — за вѣру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался. Онъ ни мало не желалъ тревожить всего Запорожья. Притомъ ему казалось неправымъ дѣломъ разорвать миръ. — „Позвольте, панове, рѣчь держать?“

— Довольно! кричали запорожцы: — лучшаго не скажешь.

— „Когда такъ, то нусть по-вашему, только для насъ будетъ еще большее раздолье. Вамъ извѣстно, панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потѣшатся молодцы. А мы, вотъ видите, будемъ на-готовѣ, и силы у насъ будутъ свѣжія. Притомъ же и татарскія можетъ напасть во время нашей отлучки. Да если сказать правду, то у насъ и челновъ нѣтъ въ запасѣ, чтобы можно было всѣмъ отправиться. А я пожалуй, я радъ, я слуга вашей воли.“

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные отаманы совѣщаться, и рѣшили на томъ, чтобы отправить нѣсколько молодыхъ людей, подъ руководствомъ опытныхъ и старыхъ.

Такимъ образомъ всѣ были увѣрены, что они совершенно по справедливости предпринимаютъ свое предпріятіе. Такое понятіе о правѣ весьма было извинительно народу, занимавшему опасныя границы среди буйныхъ сосѣдей. И странно, еслибъ они поступили иначе. Татары разъ десять перерывали свое шаткое перемиріе и служили обольстительнымъ примѣромъ. Притомъ, какъ можно было такимъ гулливымъ рыцарямъ и въ такой гулливыи вѣкъ пробыть нѣсколько недѣль безъ войны!

Молодежь бросилась къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Нѣсколько плотниковъ явились въ мигъ съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣлые, широкочленистые запорожцы, съ просѣдью въ усахъ, засучивъ шаровары, стояли по волѣни въ водѣ и стягивали ихъ съ берега крѣпкимъ канатомъ. Нѣсколько человекъ было отправлено въ скарбницу на противоположный утесистый берегъ Днѣпра, гдѣ въ неприступномъ тайникѣ они скрывали часть пріобрѣтенныхъ орудій и добычу. Бывалые поучали другихъ съ какимъ-то наслажденіемъ, сохраняя при всемъ томъ степенный, суровый видъ. Весь берегъ получилъ движущійся видъ, и хлопотливость овладѣла дотолѣ безпечнымъ народомъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Куча состояла изъ козаковъ въ оборванныхъ свиткахъ. Беспорядочный костюмъ (у нихъ ничего не было, кромѣ рубашки и трубки) показывалъ, что они были слишкомъ угнетены бѣдою, или уже черезчуръ гуляли и прогуляли все, что ни было на тѣлѣ. Между ними отдѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый, дѣтъ пятидесяти человекъ. Онъ кричалъ сильнѣе другихъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ.

— Богъ въ помощь вамъ, панове запорожцы!

— Здравствуйте! отвѣчали работавшіе въ лодкахъ, пріостановивъ свое занятіе.

— Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать!

— Говори!

И толпа уѣяла и обступила весь берегъ.

— Слышали ли вы, что дѣлается на гетманщинѣ?

— А что? произнесъ одинъ изъ куренныхъ отамановъ.

— Такія дѣла дѣлаются, что и рассказывать нечего.

— Какія же дѣла?

— Что и говорить! И родились и крестились, еще не видали такого, отвѣчалъ приземистый козакъ, поглядывая съ гордостію владѣющаго важною тайной.

— Ну, ну, рассказывай, что такое! кричала въ одинъ голосъ толпа.

— А развѣ вы, панове, до сихъ поръ не слыхали? Нѣтъ, не слыхали. Какъ же это? что-жь, вы развѣ за горами живете, или Татаринъ заткнулъ клеитухомъ уши ваши?

— Разсказывай! полно толковать! сказали нѣсколько старшинъ, стоявшихъ впереди.

— Такъ вы не слышали ничего про то, что Жиды уже взяли церкви святыхъ, какъ шинки, на аренды?

— Нѣтъ!

— Такъ вы не слышали и про то, что уже христіанину и пасхи не можно ѣсть, покамѣстъ разсобачій Жидъ не положить значка нечистою своею рукою?

— Ничего не слышали! кричала толпа, подвигаясь ближе.

— И что ксензы ѣздить изъ села въ село въ таратайкахъ, въ которыхъ запряжены — пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то просто православные христіане! Такъ вы, можетъ-быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочетъ, чтобъ мы кинули и вѣру нашу христіанскую? Вы, можетъ-быть, не слышали и объ томъ, что уже изъ поновскихъ ризъ Жидовекъ шьютъ себѣ юбки?

— Стой, стой! прервалъ кошевой, дотолѣ стоявшій, углубивши глаза въ землю, какъ и всѣ запорожцы, которые въ важныхъ дѣлахъ никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли въ себѣ всю желѣзную силу негодованія. — Стой, и я скажу слово. А что-жь вы, врагъ бы поколотилъ вашего батька, что-жь вы? развѣ у васъ сабель не было что ли? Какъ же вы пустили такому беззаконію?

— Э, какъ пустили такому беззаконію! отвѣчалъ приземистый козакъ. — А попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ Ляховъ, да еще къ тому и часть гетманцовъ приняли ихъ вѣру!

— А гетманъ вашъ, а полковники что дѣлали?

— Э, гетманъ и полковники! А знаете, гдѣ теперь гетманъ и полковники?

— Гдѣ?

— Полковниковъ головы и руки развозятъ по ярмаркамъ, а гетманъ, зажаренный въ мѣдномъ бычкѣ, и до сихъ поръ лежитъ еще въ Варшавѣ.

Содроганіе пробѣжало по всей толпѣ; молчаніе, какое обыкновенно предшествуетъ бурѣ, остановилось на устахъ всѣхъ, и, мигъ послѣ того, чувства, подавляемыя дотолѣ въ душѣ силою дужаго характера, брызнули цѣлымъ потокомъ рвѣчей.

— Какъ, чтобы нашу Христову вѣру гнала проклятая жи-дова! чтобы эдакое дѣлать съ православными христіанами! чтобы такъ замучить нашихъ! да еще кого? полковниковъ и самого гетмана! да чтобы мы стерпѣли все это! Нѣтъ, этого не будетъ! Такія слова перелетали во всѣхъ концахъ обширной толпы народа.

Зашумѣли запорожцы и разомъ почувствовали свои силы. Это не было похоже на волненіе народа легкомысленнаго. Тутъ волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе. Они раскалялись медленно, упорно, но за то раскалялись, чтобы уже долго не остыть.

— Какъ, чтобы жидовство надъ нами пановало! А ну, панни братья, перевѣшаемъ всю жидову! чтобы и духу ея не было! произнесъ кто-то изъ толпы. Эти слова пролетѣли молніей, и толпа ринулась на предмѣстье, съ сильнымъ желаніемъ перерѣзывать всѣхъ Жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того желкаго духа, прятались въ пустыхъ горилочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже заползвали подъ юбки своихъ Жидовокъ, но неумолимые, беспощадные мстители вездѣ ихъ находили.

— Ясневельможные панни! кричалъ одинъ высокій и тощій Жидъ, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ, — ясневельможные панни! мы такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать какое важное!

— Ну, пусть скажутъ! сказалъ Вульба, который всегда любилъ выслушать обвиняемаго.

— Ясные панни! произнесъ Жидъ. — Такихъ пановъ еще никогда не видывано, — ей Богу, никогда! Такихъ, добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ... Голосъ его умиралъ и дрожалъ отъ страха. — Какъ можно, чтобы мы думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее. Тѣ совѣмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украинѣ! ей Богу, не наши! то совѣмъ

не Жиды: то чортъ знаетъ что; то такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей Богу, правда! отвѣчали изъ толпы Шлема и Шмуль въ изодранныхъ еломкахъ, оба бѣлые, какъ глина.

— Мы никогда еще, продолжалъ высокій Жидъ, — не соглашались съ непріятелями. А католиковъ мы и знать не хотимъ. Пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами — какъ братья родные.

— Какъ! чтобъ запорожцы были съ вами братья! произнесъ одинъ изъ толпы. — Не дождетесь, проклятые Жиды! Въ Днѣпрѣ ихъ, панове! всѣхъ потопить поганцевъ!

Эти слова были сигналомъ: Жидовъ расхватили по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалкій крикъ раздался со всѣхъ сторонъ; но суровые запорожцы только смѣялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухѣ. Бѣдный высокій ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бѣду, схватилъ за ноги Бұлбу и жалкимъ голосомъ молилъ: — Великій господинъ, ясне-вельможный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша. Какой былъ славный воинъ! Я ему восемь-сотъ цѣхиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ плѣна у Турковъ,

— Ты зналъ брата? спросилъ Тарасъ.

— Ей Богу, зналъ! Великодушный былъ панъ!

— А какъ тебя зовутъ?

— Янкель.

— Хорошо, я тебя проведу. — Сказавши это, Тарасъ провелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его. — Ну, полѣзай подъ телѣгу, лежи тамъ и не пошевелись, а вы, братцы, не выпускайте Жида.

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что раздавшійся бой литавровъ возвѣстилъ собраніе рады. Несмотря на свою печаль и сокрушеніе о случившихся на Украинѣ несчастіяхъ, онъ былъ нѣсколько доволенъ представлявшимся широкимъ раздольемъ для подвиговъ, и притомъ для подвиговъ такихъ, которые представляли ему мученическій вѣнецъ по смерти.

Вся Сѣчь, все, что было на Запорожьи, собралось на площадь, Старшины, куренные отаманы, по короткомъ совѣщаніи, рѣшили на томъ, чтобъ идти съ войсками прямо на Польшу, такъ какъ оттуда произошло все зло, — желая внести опустошеніе въ землю непріятельскую и предвидя себѣ при этомъ добычу.

И вся Сѣчь вдругъ преобразилась. Вездѣ были только слышны: пробная стрѣльба изъ ружей, бряканье саблей, скрипъ телегъ; все подпоевывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человѣка не было пьянаго. Необыкновенная дѣятельность смѣнила вдругъ необыкновенную безпечность. Кошевой выросъ на цѣлый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій исполнитель вѣтрёныхъ желаній вольнаго народа; это былъ неограниченный повелитель. Это былъ почти деспотъ, умѣвшій только повелѣвать. Всѣ своевольные и гуливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смѣя поднять глазъ, когда онъ раздавалъ повелѣнія тихо, съ разстановкою, какъ глубоко знающій свое дѣло, и уже не въ первый разъ приводившій его въ исполненіе. Въ деревянной небольшой церкви служилъ священникъ молебенъ, окропилъ всѣхъ святою водою; всѣ цѣловали крестъ.

Когда все запорожское войско вышло изъ Сѣчи, головы всѣхъ обратились назадъ. „Прощай, наша мать!“ сказали почти всѣ въ одно слово. „Пусть же тебя хранитъ Богъ отъ всякаго несчастія!

Проходя предмѣстіе, Тарасъ Бѣльба увидѣлъ съ изумленіемъ, что жидокъ его уже раскинулъ свою лавочку и продавалъ какіе-то кремешки и всякую дрянъ. — Дурень, что ты здѣсь сидишь? сказалъ онъ ему: — развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили, какъ воробья?

— Молчите, отвѣчалъ жидъ: — я пойду за вами и за войскомъ и буду продавать провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще никогда никто не продавалъ. Ей Богу, такъ! вотъ увидите.

Бѣльба пожалъ плечами и отвѣхалъ къ своему отряду.

IV.

Скоро весь польскій юго-западъ сдѣлался добычею страха; вездѣ только и слышно было про запорожцевъ. Скучальныя южные города и села были совершенно стираемы съ лица земли. Арендаторы-жиды были вѣнаны кучами, вмѣстѣ съ католическимъ духовенствомъ. Запорожцы, какъ бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустыя пространства. Нигдѣ не смѣлъ остановить ихъ отрядъ польскихъ войскъ: онъ былъ разсѣваемъ при первой схваткѣ. Ничто не могло противиться азійской атакѣ ихъ. Прелать, находившійся тогда въ Радзивилловскомъ монастырѣ, прислалъ отъ себя двухъ монаховъ съ предствленіемъ, что между запорожцами и правительствомъ существуетъ согласіе и что они явно нарушаютъ свою обязанность къ королю, а вмѣстѣ съ тѣмъ и народныя права. „Скажи епископу отъ лица всѣхъ запорожцевъ, сказалъ кошевой, — чтобъ онъ ничего не боялся: это козаки еще только люльки раскуриваютъ.“ И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія окна его сурово глядѣли сквозь раздѣлившіяся волны огня. Бѣгущія толпы монаховъ, солдатъ, жидовъ, наводнили многлюдные города и деревни, почти оставленные на произволъ непріятеля.

Одинъ только городъ Дубно не сдавался. Этими были раздражены всѣ чины, въ числѣ которыхъ занималъ не послѣднее мѣсто Тарасъ Вульба. Они положили взять его голодомъ. Толпы вольныхъ наѣздниковъ облегли со всѣхъ сторонъ его стѣны, расположились вмѣстѣ съ своими обовами, которые всегда почти за ними слѣдовали. Жители съ небольшимъ числомъ войскъ рѣшились вытерпѣть возможную степень бѣдствія и не сдаваться ни въ какомъ случаѣ. Запорожцы удвоили наблюденіе, чтобы никакое вспомошествованіе не могло придти въ городъ, играли въ четъ и нечетъ, курили люльки и съ убійственнымъ хладнокровіемъ смотрѣли на городскія стѣны. Прошло двѣ недѣли и, несмотря на то, что они свои вольные набѣги гораздо болѣе предпочитали осадамъ городовъ, однакожь ничто не могло преодолѣть

ихъ терпѣнія. Молодые, попробовавшіе битвъ и опасностей, старали нетерпѣніемъ, и въ числѣ ихъ были наши герои Остапъ и Андрій, вдругъ приобрѣвшіе опытность въ военномъ дѣлѣ, пылкіе, исполненные отваги, желавшіе новыхъ встрѣчъ, жадные узнать новыя эволюціи и варіаціи войны и показать свое умѣнье играть опасностями. Остапъ, казалось, только на то и созданъ былъ, чтобы гулять въ вѣчномъ пирѣ войны. Онъ теперь уже казался чѣмъ-то атлетическимъ, колоссальнымъ. Его движенія приобрѣли крѣпкую увѣренность, и всѣ качества его, прежде незамѣтныя, получили размѣръ шире и казались качествами мощнаго льва. Андрій также погрузился весь въ очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигдѣ воля, забвеніе, смерть, наслажденіе не соединяются въ таковой обольстительной, страшной прелести, какъ въ битвѣ.

Этотъ долгій роздыхъ, который они имѣли предъ стѣнами города, имъ не нравился. Андрій сидѣлъ долго возлѣ обоза своего, тогда какъ уже всѣ спали, кромѣ нѣкоторыхъ, стоявшихъ на-сторожѣ. Ночь, июньская прекрасная ночь, съ безчисленными звѣздами, обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрѣлище: вблизи и вдали были видны зарева горѣвшихъ деревень. Въ одномъ мѣстѣ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ мѣстѣ оно, встрѣтивъ что-то-горючее, вдругъ вырвавшись вихремъ свистѣло и летѣло вверхъ подъ самыя звѣзды и оторванныя хлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами. Въ одномъ мѣстѣ обгорѣлый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескѣ мрачное свое величіе. Въ другомъ мѣстѣ горѣло новое зданіе, потопленное въ садахъ. Деревья шипѣли и покрывались дымомъ; иногда сквозь нихъ просвѣчивалась лава огня, и гроздія грушъ, обвѣсившихъ вѣтви, принимали цвѣтъ червоннаго золота; даже видны были издали сливы, получившія фосфорическій, лилово-огненный цвѣтъ; и среди этого иногда чернѣло висѣвшее на стѣнѣ зданія тѣло бѣднаго жида, или монаха, погибавшее вмѣстѣ съ строеніемъ въ огнѣ. Надъ нимъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крапинокъ, въ видѣ едва замѣтныхъ крес-

тиковъ на огненномъ полѣ. Среди тишины одни только спутанные кони производили шумъ, и звонкое ихъ ржаніе отдавалось съ раскатами, нѣсколько разъ повторявшимися, дребезжащимъ эхомъ.

Онъ глядѣлъ безмолвно на эту страшную и чудную картину и вдругъ почувствовалъ какъ будто присутствіе чего-то; ему казалось, какъ будто возлѣ него кто-то стоялъ. Онъ оглянулся и въ самомъ дѣлѣ увидѣлъ стоявшую подлѣ себя женщину. Смуглая черта лица ея и азіятская фізіономія показались ему какъ-то знакомыми. Онъ сталъ глядѣть пристальнѣе: такъ, это была Татарка, та самая Татарка, которая служила горничною при дочери ковенскаго воеводы. Онъ встрепенулся. Сердце сильнымъ ударомъ стукнуло въ его мощную грудь, и все минувшее, что было въ глубинѣ, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящимъ вольнымъ бытомъ, — все это всплыло разомъ на поверхность, потопивши въ свою очередь настоящее; вся гордая сила юности зажглась вдругъ самымъ томительнымъ приливомъ безпокойства нестерпимаго и страстнаго. Вопросы потовомъ излились изъ его груди: „Откуда? какъ? гдѣ твоя панна? какъ ты явилась здѣсь? что это значитъ? говори, не мучь меня!“

— Тихе, ради Бога тихе! говорила Татарка и закуталась въ козацкій вобенякъ, который было сбросила съ себя. — Панна узнала васъ между запорожцами. Она въ городѣ.

— Милосердный Іисусъ! она здѣсь? что ты говоришь? она въ городѣ?

Татарка кивнула утвердительно головою.

— Что-жь она? говори, говори! что-жь ты молчишь?

— Она другой день уже ничего не ѣла.

— Какъ!

— Ни у одного изъ жителей въ городѣ нѣтъ куска хлѣба. Всѣ давно уже ѣдятъ одну землю.

— Спаситель Іисусъ! И вы до сихъ поръ не сдѣлали ни одной вылазки!

— Нелзя: запорожцы кругомъ облегли стѣны. Одинъ только потаенный ходъ и есть; но на томъ самомъ мѣстѣ стоятъ ваши боозы, и если только узнаютъ этотъ ходъ, то городъ уже взять.

Панна приказала мнѣ все объявить вамъ, потому что вы не захотите измѣнить ей.

— Боже, измѣнить ей! И я ее увижу! О, когда бы мнѣ не умереть только до того часу! — Вся грудь его была пронзенута самымъ пронзительнымъ остріемъ радости. Онъ со всѣмъ пыломъ поспѣшности бросился изъ шатра своего, началъ отыскивать все, что только могъ найти съѣстнаго, и скоро два небольшіе мѣшка были нагружены шпеномъ и сухарями. Онъ далъ ихъ въ руки Татаркѣ, закуталъ ее плащомъ и приказалъ сказать паннѣ, что онъ скоро будетъ самъ. Онъ велѣлъ Татаркѣ, отнесши припасы, ожидать его прихода. Онъ теперь думалъ только, какъ бы безопасно провести ее до мѣста, гдѣ былъ скрытъ подземный ходъ. Этотъ ходъ былъ подъ самымъ возомъ, наполненнымъ военными снарядами. Къ счастью его, запорожцы, по обыкновенной своей безопасности, всѣ спали мертвецки. Тихо шель онъ съ нею рука объ руку и, желая обойти спящихъ, толкнулъ ее нечаянно локтемъ, кобеньякъ слетѣлъ, и зарево яркимъ блескомъ освѣтило ея бѣлое платье. Спаситель, она открыта! все пропало. Онъ со страхомъ и мертвою, убитою душою повелъ глазами вокругъ. Боже, какое счастье! даже зоркій сторожъ, стоявшій на самомъ опасномъ постѣ, спалъ, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крѣпче въ кобеньякъ, ползала подъ телѣгу; небольшой четвероугольникъ дерну приподнялся — и она ушла въ землю.

Торопливо онъ воротился къ своему мѣсту, желая обсмотрѣть, всѣ ли спятъ и все ли спокойно.

— Андрій! сказалъ въ это время, поднявши голову, старшій Бульба, — какая это къ тебѣ Татарка приходила?

Еслибы кто-нибудь въ то время посмотрѣлъ на Андрія, то бы почелъ его за мертвеца, вставшаго изъ могилы.

— Ей, смотри, сынъ! ей Богу, отдѣлаю тебя батагомъ такъ, что до представленія свѣта будетъ болѣть спина! Бабы не доведутъ тебя къ добру.

Сказавши это, Бульба или былъ утружденъ заботами, или занятъ какимъ-нибудь важнымъ деломъ, вовсе не полагая, чтобы эта Татарка была изъ города, а признавъ ее за какую-нибудь бѣглицу изъ села, съ второю сынъ его евелъ интригу;

какъ бы то ни было, только онъ поворотился на другую сторону и заснулъ.

Андрій отдохнулъ. Съ трепещущимъ сердцемъ бросился онъ къ обозамъ, обшарилъ, гдѣ только было съѣстное, нагрузилъ мѣшочки и неизмѣримыя шаровары свои, и, во все продолженіе этого, сердце его млѣло, духъ занимался и, казалось, улеталъ при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще разъ обсмотрѣлся онъ вокругъ, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни міра, и поползъ подъ тѣлѣгу. Небольшое отверстіе вдругъ открылось передъ нимъ и снова за нимъ захлопнулось.

Онъ вдругъ очутился въ совершенной темнотѣ. Онъ чувствовалъ подъ ногами своими ступени, идущія внизъ; кто-то схватилъ его за руку. Они шли долго; наконецъ ступени прекратились, подъ нимъ была гладкая земля. Свѣтъ фонаря блеснулъ въ подземномъ мракѣ.

— Теперь идите прямо, говорилъ ему голосъ: это была Татарка.

Корридоръ шелъ подъ городскою стѣною и оканчивался такою же лѣстницею вверхъ. Наконецъ онъ очутился среди города, когда уже занялась заря и перепархивалъ утренній вѣтеръ. Ни одна труба не дышалась. Мертвый видъ города прерывался слабыми болѣзненными стенами, которые не могли не поразить его. На стражѣ стояли часовые, блѣдные, какъ смерть; это были больше привидѣнія, нежели люди. Среди самой дороги попался имъ самый ужасный, поразительный предметъ: это была женщина, страшная жертва голода, лежавшая при послѣднемъ издыханіи, стиснувшая зубами изсохшую свою руку. Содрогнувшись, спѣшилъ онъ велѣть за Татаркою; онъ летѣлъ всѣми чувствами видѣть ту, за счастье которой онъ готовъ былъ отдать всю жизнь. Онъ взбѣжалъ на крыльцо; онъ взшелъ въ комнату. Вездѣ была тишина: все или спало, утомленное страданіемъ, или безмолвно мучилось. Онъ вступилъ на порогъ спальни. О, какъ замерло его сердце! какъ замлѣлъ онъ весь, когда оно ему сказала, что черезъ секунду, чрезъ молнію мига, онъ ее увидитъ!

И онъ ее увидѣлъ, увидѣлъ ту, которая когда-то была беззаботна, весела, вѣтрона, шаловлива, которая когда то надѣвала

на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, как крылья мотыльковъ, убранствами. Онъ опять увидѣлъ ее. Она сидѣла на диванѣ, подвернувши подъ себя оборозительную, стройную ножку. Она была томна, она была блѣдна, но бѣлизна ея была пронзительна, какъ свержающая одежда серафима. Губенныя брови, тонкія, прекрасныя, придавали что-то стремительное ея лицу, обдающее священнымъ трепетомъ сладкой боязни въ первый разъ взглянувшаго на нее. Рѣсницы ея, длинныя какъ мечтанія, были опущены и темными тонкими иглами видѣлись рѣзко на ея небесномъ лицѣ. Что это было за созданіе! И это созданіе, которое, казалось, для чуда было рождено среди міра, къ ногамъ котораго повергнуть весь міръ, всё сокровища казалось малою жертвою, это небесное созданіе терпѣло голодъ, и все, что есть горькаго для жителей земли. Заплѣсневѣлая корка хлѣба, лежавшая на золотомъ блюдѣ, какъ драгоценность, показывала, что еще недавно здѣсь было чувствуемо все свирѣпство голода. Услышавши шумъ, она приподняла свою голову и обратила къ нему взглядъ долгій, сокрушительный. Онъ опять, казалось, исчезнулъ и потерялся. Лицо ея съ перваго раза ему показалось какъ будто другимъ: въ немъ были прежнія черты, но въ немъ же заключалась бездна новыхъ, прекрасныхъ, какъ небеса. Этотъ признакъ безмолвнаго страданія, этотъ болѣзненный видъ.... о, какъ она была лучше прежняго! Онъ бросился къ ногамъ ея, приникъ и глядѣлъ въ ея могучія очи. Улыбка какой-то радости свернула на ея устахъ, и въ то же время слеза, какъ брилліантъ, повисла на рѣсницѣ.

— Царица! сказалъ онъ, — что для тебя сдѣлать? чего ты хочешь?

Она смотрѣла на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. Съ пожирающимъ пламенемъ страсти открылъ онъ ее поцѣлуями.

— Нѣтъ, я не пойду отъ тебя! я умру возлѣ тебя! Пусть же у ногъ твоихъ, пожираемый голодомъ, я умру, какъ и ты, моя панна! и за смерть, за сладкую смерть у твоихъ ногъ, ничего не хочу!

— А твои товарищи, а твой отецъ? ты долженъ идти къ нимъ,

говорила она тихо. Уста ея еще долго шевелились безъ словъ, и глаза ея, полные слезъ, не сводились съ него.

— Что ты говоришь! произнесъ Андрій со всею силою и крѣпостью воли. — Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросилъ для тебя только то, что легко бросить! Нѣтъ, моя панна, нѣтъ, моя прекрасная! Я не такъ люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на землѣ, все отдаю за тебя, все прощай! я теперь вашъ! я твой! чего еще хочешь?

Она склонилась къ нему головою. Огъ почувствовалъ, какъ электрически-пламенная щека ея коснулась его щеки, и лобзаніе, у, какое лобзаніе! слило уста ихъ, прикипѣвшія другъ къ другу.

V.

— Пань! сказалъ жидъ Янкель, высунувъ свой еломокъ въ шатерь, гдѣ сидѣлъ Бульба. Это былъ тотъ самый Янкель, котораго онъ избавилъ отъ смерти и который теперь маркиганствовалъ и шпіонничалъ при запорожскомъ войскѣ. — Пане, знаете ли, что дѣлается?

— А что?

— Идетъ пятнадцать тысячъ войска польскаго и пушки везутъ.

— Били двадцатерыхъ, побьемъ и пятнадцать! отвѣчалъ Бульба.

— А знаете ли еще что дѣлается?

— А что?

— Вашъ сынъ Андрій, ой вей миръ, что это за-славной рыцарь!...

— Ну?

— Онъ теперь держитъ сторону Польши.

— Какъ! подхватилъ Бульба, вскочивши:—чтобы дитя мое... чтобы мой сынъ... да я тебя убью, проклятой жидъ! врешь ты, чортово племя!

— Ай, ай! какъ можно, чтобы я вралъ! Пусть отцу моему не будетъ счастья на томъ свѣтѣ, если я вру!

— Какъ! чтобы сынъ Тараса Бульбы да посягнулъ на такое дѣло!

— Далибугъ, ей же Богу, такъ!

— Чтобы онъ продалъ Христову вѣру и отчизну!

— Далибугъ, такъ. Я его видѣлъ самъ собственными глазами. Фай, какой важной рыцарь! Сто восемьдесятъ червонныхъ стоять однѣ латы... богатые латы: всѣ въ золотѣ. А если-бы вы увидѣли, какъ онъ славно муштруетъ солдатами!

Тарасъ Бульба былъ пораженъ, какъ будто громомъ. — Ты путаешь, проклятой Иуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало вѣру. Если-бы онъ былъ турокъ, или нечистый жидъ... Нѣтъ, не можетъ онъ такъ сдѣлать! ей Богу, не можетъ!

Но однако же онъ вспомнилъ, что уже два дни, какъ его не видалъ; онъ вспомнилъ про Татарку, появившуюся въ его ставкѣ, и глаза его сверкнули. Ярость, ярость желѣзная, могучая, ярость тигра вспыхнула въ его лицѣ. „Вишь чортова дѣдина, ты таки свое взяла! Породилъ же тебя чортъ, на позоръ всему роду.“

Съ лицомъ, разгорѣвшимся отъ гнѣва, онъ вышелъ изъ ставки и далъ приказъ сдѣлать коней.

Между тѣмъ кошевой раздавалъ повелѣнія отъ себя быть всѣмъ въ готовности и не позволять никакимъ образомъ осажденнымъ соединиться съ приближавшимися польскими войсками. Непрiятельскихъ войскъ было, однакоже, болѣе нежели пятнадцать тысячъ. Кошевой вмѣстѣ съ совѣтомъ старшинъ рѣшили на томъ, чтобы усилить болѣе ту линiю, которая обращена къ непрiятелю. Черезъ это цѣпь съ противоположной стороны города ослабѣла, и хотя польскiя войска были отбиты съ перваго раза, и притомъ съ большимъ урономъ, но отрядъ, оставшiйся въ городѣ, рѣшился воспользоваться малочисленностью прикрытiя, и дѣйствительно, сдѣлавши вылазку, прорвался черезъ цѣпь и успѣлъ соединиться почти въ виду запорожцевъ. Бульба рвалъ на себѣ волосы съ досады, что уже невозможно было умерить ихъ всѣхъ голодомъ. Запорожцы сдвинулись въ густую непроломную стѣну: маневръ, всегда доставлявшiй имъ существенную выгоду, потому что тактика ихъ соединяла азиатскую стремительность

съ европейскою крѣпостію. Непріятель, несмотря на то, что былъ вдвое сильнѣе, не былъ въ силахъ удержать превосходства. Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарасъ Бульба занималъ одно изъ главныхъ начальствъ, и три коронные полка, не въ состояніи будучи удержать его стремительной атаки, готовы были отступить и предаться бѣгству, какъ вдругъ онъ обратилъ всѣ силы свои совершенно въ другую сторону.

Онъ завидѣлъ въ сторонѣ отрядъ, стоявшій, повидимому, въ засадѣ. Онъ узналъ среди его сына своего Андрія. Онъ отдалъ кое-какія наставленія Остапу, какъ продолжать дѣло, а самъ, съ небольшимъ числомъ, бросился, какъ бѣшеный, на этотъ отрядъ. Андрій узналъ его издали, и видно было издали, какъ онъ весь затрещалъ. Онъ, какъ подлый трусъ, спрятался за ряды своихъ солдатъ и командовалъ оттуда своимъ войскомъ. Силы Тараса были немногочисленны: съ нимъ было только восемнадцать чловѣкъ; но онъ ринулся съ такимъ свирѣпствомъ, съ такимъ сверхъестественнымъ стремленіемъ, что ряды уступали со страхомъ передъ этимъ разгнѣваннымъ вепремъ. Врядъ ли тогда его можно было съ чѣмъ-нибудь сравнить. Шапка давно не было на его головѣ; волосы его развѣвались, какъ пламя, и чубъ, какъ змѣя, раскидывался по воздуху; бѣшеный конь его грызъ и кусалъ коней непріятельскихъ; дорогой акнаметъ былъ на немъ разорванъ; онъ уже бросилъ саблю и ружье и размахивалъ только одной ужасной и непомѣрной тяжести булавою, усѣянной жѣдкими иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобъ увидѣть олицетворенное свирѣпство, чтобъ извинить трусость Андрія, чувствовавшаго свою душу не совсѣмъ чистою. Блѣдный, онъ видѣлъ, какъ гибли и разсѣвались его Поляки; онъ видѣлъ, какъ послѣдніе, окружавшіе его, уже готовы были бѣжать; онъ видѣлъ, какъ уже нѣкоторые, поворотивши коней своихъ, бросали ружья: „Спасите! кричалъ онъ, отчаянно простирая руки, — куда бѣжите вы! глядите — онъ одинъ!“

Опомнившіеся воины на минуту остановились и въ самомъ дѣлѣ ободрились, увидѣвши, что ихъ гонитъ только одинъ съ тремя утомленными козаками. Но напрасно силились бы они устоять противъ такой отчаянной воли.

— Нѣтъ, ты не уйдешь отъ меня! кричалъ Тарасъ, поражая бѣгущихъ, начинавшихъ думать, что они имѣютъ дѣло съ самимъ дьяволомъ.

Отчаянный Андрій сдѣлалъ усиліе бѣжать, но поздно: ужасный отецъ уже былъ предъ нимъ. Безнадежно онъ остановился на одномъ мѣстѣ. Тарасъ оглянулся: уже никого не было позади его, всѣ сотоварищи его полегли въ разныхъ мѣстахъ поля. Ихъ только было двое.

— Чтò сынку? сказалъ Бульба, глянувши ему въ очи.

Андрій былъ безответенъ.

— Чтò сынку? повторилъ Тарасъ, — помогли тебѣ твои Ляхи? Андрій не произнесъ ни слова; онъ стоялъ какъ осужденный.

— Такъ продать, продать вѣру! Проклять тотъ день и часъ, въ который ты родился на свѣтъ!

Сказавъ это, онъ глянулъ съ какимъ-то изумительно-сверкающимъ взглядомъ по сторонамъ.

— Ты думалъ, что я отдамъ кому-нибудь дитя свое? Нѣтъ, я тебя породилъ, я тебя и убью! Стой и не шевелись, и не проси у Господа Бога отпущенія; за такое дѣло не прощаютъ на томъ свѣтѣ!

Андрій, блѣдный какъ полотно, прошепталъ губами одно только имя; но это не было имя родины, или отца, или матери; это было имя прекрасной Полячки.

Тарасъ отступилъ на нѣсколько шаговъ, снялъ съ плеча ружье, прицѣлился.... выстрѣлъ грянулъ....

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почувствовавшій смертельное желѣзо, повисъ онъ головою на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и думалъ: предать ли тѣло измѣнника на расхищеніе и поруганіе, чтобы хищныя птицы растрепали его и сиромахи волки разшарпали и разнесли его желтыя кости, или честно погребсти въ землѣ?

Въ это время подѣхалъ Остапъ. „Батько!“ сказалъ онъ.

Тарасъ не слышалъ.

— Батько, это ты убилъ его?

— Я, сынку!

Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрекъ. Онъ бро-

сился обнимать своего товарища и спутника, съ которыми двадцать лѣтъ росли вмѣстѣ, жили пополамъ.

— Полно, сынку, довольно! Понесемъ мертвое тѣло, похоронимъ! сказалъ Тарасъ, который въ то время сжалъ въ груди своей подступавшее ѣдкое чувство.

Они взяли тѣло и понесли на плечахъ въ обгорѣлый лѣсъ, стоявшій въ тылу запорожскихъ войскъ, и вырыли саблями и копьями яму.

Тарасъ оставилъ копьё и взглянулъ на трупъ сына. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобѣдимаго для женъ очарованія, еще сохранило въ себѣ слѣды ихъ; черныя брови, какъ траурный бархатъ, оттѣняли его поблѣднѣвшія черты.

— Чѣмъ бы не козакъ былъ? сказалъ Тарасъ: — и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою, — пропалъ! пропалъ безъ славы!...

Трупъ опустили, засыпали землею, и чрезъ минуту уже Тарасъ размахивалъ саблею въ рядахъ непріятельскихъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Разница въ томъ только, что онъ бился съ большимъ изступленіемъ, старая желаніемъ отмстить смерть сына. Прибывшій въ то время его собственный полкъ, подъ начальствомъ Товкача, доставилъ ему значительный перевѣсъ. Онъ наконецъ узналъ, кто былъ виною отступничества его сына, и положилъ, во что бы то ни стало, взять городъ. И онъ бы исполнилъ это: свирѣпый, онъ бы протекъ, какъ смерть, по его улицамъ, онъ бы вытащилъ ее своею желѣзною рукою, ее, обворожительную, нѣжную, блистающую; свирѣпо повлекъ бы ее, схвативши за длинныя оболъстительныя волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ея голубиного горла... Но одно непредвидѣнное происшествіе остановило его на пути непримиримой мести.

VI.

Въ запорожское войско пришло извѣстіе, что Овчъ взята, раззорена Татарами и большая часть оставшихся запорожцевъ забрана въ плѣнъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими пушками. Въ подоб-

ныхъ случаяхъ обыкновенно козаки старались, не теряя времени, настичь хищниковъ на возвратной ихъ дорогѣ и перехватить добычу, потому что, тремя недѣлями позже, уже этого сдѣлать было невозможно, и плѣнные козаки могли вдругъ очутиться на рынкахъ великой Азіи. Кошевой положилъ, и мнѣніе его подкрѣпили прочіе чины, идти на помощь немедленно, разсуждая, что уже довольно они отместили за измѣну Полякамъ и смерть гетмановъ, и что опустошенныя поля будутъ помнить, какъ гостили на нихъ запорожцы.

На это изъявилъ согласіе и Бѣльба, хотя ему чрезвычайно хотѣлось взять городъ. Уже онъ отправился, чтобъ отдать приказъ выючить коней и мазать телѣги, какъ вдругъ остановился и сказалъ: „Я хотѣлъ спросить еще объ одномъ у тебя, отъманъ! Вѣдь, кажется, въ непріятельскомъ войскѣ есть нашихъ человѣкъ тридцать въ плѣну?“

— Я посылаю просить развѣна, — не соглашаются.

— Такъ мы, стало-быть, ихъ и оставимъ такъ?

— Что-жъ дѣлать?

— Какъ! чтобъ они опять замучили ихъ?

— А что-жъ дѣлать? отвѣчала кошевой: — вѣдь помочь нельзя; хоть и останемся, то неодолимъ, а между тѣмъ и свое прогуляемъ: татарва не станеть ожидать насъ.

— Такъ, стало-быть, пусть еретичное поганство какъ захочетъ, такъ и ругается надъ христіанскою вѣрою?

Кошевой пожалъ плечами.

— А мнѣ кажется, отъманъ, такъ не бывать этому.

— А отчего же не бывать?

— Да такъ: я уже знаю.

— Ова, какъ важно! сказалъ кошевой, прижавши пальцемъ золу въ своей люлькѣ.

— Слышали ли, вы, панове, что кошевой захотѣлъ сдѣлать? сказалъ Бѣльба, выходя отъ кошеваго и обращаясь къ запорожцамъ. — Онъ захотѣлъ, чтобы мы теперь же отправились на Сѣчу, а товарищей, тѣхъ, что попались въ плѣнъ непріятелю, такъ бы и оставили, чтобъ ихъ замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?

— Не послушаемъ мы кошеваго! сказала въ одинъ голосъ часть запорожцевъ, отдѣлилась и стала на сторонѣ. Ихъ было около тысячи человекъ.

Кошевой вышелъ. Онъ уже слышалъ волненіе, которое произвелъ неутомимый Бѹльба.

— Чего вы хотите? Изъ чего подняли вы такой гвалтъ? закричалъ онъ грозно.

— Мы не хотимъ идти на Сѣчу! Мы остаемся здѣсь! кричала толпа.

— Чтѣ вы? сдурѣли? я васъ, чортовы дѣти, перевязу всѣхъ!

— Какую онъ можетъ имѣть власть? сказалъ Тарасъ, обращаясь къ запорожцамъ. — Мы — вольные козаки!

— А что-жъ? мы вольные козаки! говорили запорожцы.

— Дамъ я вамъ вольныхъ! Вы гдѣ вольные? — на Сѣчѣ; вотъ тамъ вы вольные! Тамъ вы можете снять съ меня достоинство, связать меня и убить, и все, чтѣ хотите; а тутъ вы ни слова. Знаете ли вы, чтѣ такое военное право? — А ты чтѣ тутъ заводишь бунтъ? сказала онъ, обращаясь къ Бѹльбѣ.

— Нѣтъ, я не бунтъ чиню, а исполняю долгъ христіанскій! хладнокровно отвѣчалъ Тарасъ. — Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христіанскую кровь.

— Я тебя, старый чортъ, приемыкну къ обозу.

— А ну, попробуй!

— Слушайте, пане-браты! сказалъ кошевой, нѣсколько смягчивши рѣчь. — За чтѣ же вы оставляете тѣхъ своихъ товарищей, которыхъ на Сѣчѣ забрала татарва въ полонъ? Или вы думаете, что Татары поступать лучше, чѣмъ Ляхи?

— То татарва, а то Ляхи — другое дѣло, отвѣчалъ Бѹльба. — Еще у бусурмана есть совѣсть и страхъ Божій, а у католичества и не было и не будетъ. Пойдите, хлопцы, и я скажу: чтѣ, еслибы вы попались въ плѣнъ да начали бы съ всѣхъ живыхъ драть кожу, или жарить на сковородахъ, — чтѣ бы вы тогда сказали? А изъ вашихъ земляковъ, изъ товарищей, изъ тѣхъ, чтѣ должны до послѣдней крови защищать, изъ тѣхъ товарищей ни одинъ бы не захотѣлъ подать руку помощи, — чтѣ бы вы тогда сказали?

— А что бы сказали? произнесли нѣкоторые, — сказали бы: „вы помой, а не запорожцы!“ Замѣтно было, что слова Тараса сильно потрясли ихъ.

— Стойте, хлопята, и я скажу! кричалъ отаманъ. — Ну, скажите, панове-браты, куда вашъ умъ дѣлся? Посудите сами, гдѣ вамъ управиться съ такими непріятелями? Ихъ больше десяти тысячъ, а васъ, можетъ-быть двѣ. Вѣдь пропадете всѣ на мѣстѣ!

— Пропадать, такъ пропадать, сказалъ Бѹльба.

— Оставайтесь же тутъ, если уже такъ захотѣли своей погубели, а тѣ, которые разумнѣе васъ, гайда, въ дорогу!

— Вы дѣлайте свое, а мы будемъ дѣлать свое! сказалъ Бѹльба.

Обѣ стороны неподвижно стали одна противъ другой и минуту сохраняли мертвое молчаніе.

Наконецъ стоявшіе въ первыхъ рядахъ посѣдѣвшіе запорожцы, утупивъ глаза въ землю, начали говорить: „Оно, конечно, если разсудить по справедливости, то и вы исполняете честь рыцарскую, и мы поступаемъ по рыцарскому обычаю. На то и живеть человѣкъ, чтобы защищать вѣру и обычай. Притомъ жизнь такое дѣло, что если о ней сожалѣть, то уже не знаемъ, о чемъ не жалѣть. Скоро будемъ жалѣть, что бросили женъ своихъ. Нужно же попробовать, что такое смерть. Вѣдь пробовали всякія невзгоды въ жизни. Въ томъ и другомъ случаѣ мы не должны питать другъ противъ друга никакой непріязни. Мы всѣ запорожцы, всѣ изъ одного гнѣзда, всѣхъ насъ вспоила Сѣчь, всѣ мы братья родные.... Спрашиваемъ каждаго: не имѣетъ ли противъ насъ какого неудовольствія?

— Никакого! всегда были довольны! закричали всѣ въ одинъ голосъ.

— Ну, такъ пусть же на разставаньи... что будетъ впредь, то Богъ одинъ знаетъ; можетъ-быть, ни одинъ изъ насъ уже не увидитъ друга дружку; такъ поцѣлуемся всѣ.

И двѣ тысячи войска перецѣловались съ двумя тысячами. Кошевой обнялъ Тараса.

— Ну, прощайте же, паны-браты, молодцы! Дай же, Боже, что бы все было такъ, какъ Богу угодно! Если мы положимъ головы, то вы расскажете про насъ, что такіе-то гуляки не да-

ромъ жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы повѣдуемъ, чтобы знала вся Украина, да и другія земли, что были такіе молодцы, которые и вѣру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте! пусть благословеніе Божіе будетъ и съ вами, и съ нами!

Обѣ половины войска соединились вмѣстѣ, чтобы не дать узнать непріятелю о своемъ раздѣленіи, и отступили къ обгорѣлому монастырю, у подонивы котораго былъ глубокій яръ. Удалявшаяся половина съ кошевымъ отаманомъ опустилась по скату горы и яромъ, и невидимая непріятелемъ, пробиралась въ тишинѣ и молчаніи.

Стоявшій на высотѣ отрядъ польскаго войска не могъ не замѣтить нѣкотораго движенія въ войскахъ запорожскихъ и уже рѣшился-было въ тотъ же часъ сдѣлать нападеніе, но французскій артиллеристъ и инженеръ, служившій въ польскихъ войскахъ, большой знатокъ военнаго дѣла, остановилъ, ихъ, сказавши: „Нѣтъ, нѣтъ, госпеда! это не то, что вы думаете: это больше ничего, какъ самая дьявольская засада. О, этотъ народъ запороги! сказалъ онъ, положивши палецъ на свой ястребинный носъ, при чемъ голосъ его, дотолѣ хриплый, пискнулъ дискантомъ, — этотъ народъ запороги хитеръ, какъ самъ чортъ, или какъ капитанъ-дьяволь!“

— Ну, панове молодцы! сказалъ Бѣльба по удаленіи войска, — теперь пришла намъ пора показать честь запорожскую. Смотрите же: если придется до того, что уже не можно будетъ стоять противъ бусурмановъ, то, панове, чтобы всѣ полегли на мѣстѣ, чтобы ни одинъ не остался вживѣ, чтобы всѣ, какъ добрые товарищи, пѣботомъ улеглись въ одной могилѣ. Теперь, передъ великимъ часомъ, выпьемъ, паны-браты, горилки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой долженъ поселиться всякій человекъ.

Пятьдесятъ козаковъ отправились къ обозамъ и вынули баклажки, готовясь отправлять должность виночерпьевъ. Двѣ тысячи козаковъ подставили свои руковицы.

— Прежде всего, пане-браты, сказалъ Бѣльба, поднявши вверхъ свою рукавицу, — долгъ велить выпить за вѣру Христову!

Чтобы пришло наконецъ такое время, чтобы по всему свѣту разошлась она и всѣ бусурмены подѣлались бы наконецъ христіанами! Да за одинъ уже разомъ и за Сѣчь, чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурменству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы одинъ другого лучше, одинъ другого лучше! Да уже вмѣстѣ вышьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе, что не постыдили товарищества и не выдали своихъ! Итакъ, пацове-братья, чтобы, какъ эта горилка играетъ и шибаетъ пузырями, такъ бы и мы шли на смерть. Ну-те разомъ за вѣру!

— За вѣру! повторили ближніе ряды, поднявъ вверхъ рукавицы. — За вѣру! подхватили дальніе.

— За Сѣчь! сказалъ Бѣльба, поднявъ снова рукавицу.

— За Сѣчь! грянули ближніе. — За Сѣчь! отозвалось въ дальнихъ.

— За славу и за всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на Божьемъ свѣтѣ!

— За славу и христіанъ! повторили ближніе. — За славу и христіанъ! повторили дальніе.

— Теперь на коней, хлопьята!

Всѣ очутились на коняхъ и выѣхали вмѣстѣ стройною кучею. Всѣ дышали силою, свыше естественной. Это не былъ дикій энтузіазмъ, порожденный отчаяніемъ: это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновеніе веселости, какой-то трепеть величія ощущался въ сердцахъ этой гулливой и храброй толпы. Ихъ черные и сѣдые усы величаво опускались внизъ; ихъ лица были исполнены увѣренности. Каждое движеніе ихъ было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на непріятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но какъ будто веселясь и играя своимъ положеніемъ. Подъ свистъ пуль выстунали они, какъ подъ свадебную музыку. Безъ всякаго теоретическаго понятія о регулярности, они шли съ изумительною регулярностію, какъ будто бы происходившею оттого, что сердца ихъ и страсти били въ одинъ тактъ единствомъ всеобщей мысли. Ни одинъ не отдѣлялся; нигдѣ не разрывалась эта масса. Польскія войска, кото-

рыя было приняли ихъ стремительнымъ упорствомъ, начали отступать, пораженныя робостію и думая, не сверхъ-естественная ли какая сила начала помогать козакамъ. Лучшія распоряженія арміи были совершенно уничтожены этою разрушительною силою. Вся эта конная толпа неслась какъ-то вдохновенно, не измѣняясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее. Французскій инженеръ, который былъ истинный въ душѣ артистъ, бросилъ фитиль, которымъ готовился зажигать пушки, и, забывшись, билъ въ ладони, крича громко: „Браво, месье запороги!“

Около двухъ тысячъ челоувѣкъ непріятеля было убито и столько же разсыпалось и обратилось въ бѣгство. Свѣжее новоприбывшее войско остановилось какъ бы въ недоумѣніи. Запорожцы, съ своей стороны, не рѣшались идти далѣе. Въ виду самого непріятеля, взяли они оставленныя пушки, часть обоза съ провіантомъ и отступили такъ же страшно, въ такомъ же точно порядкѣ, къ обгорѣвшему монастырю, котораго положеніе чрезвычайно благоприятствовало укрытію. Бульба пироваль вмѣстѣ съ запорожцами послѣ такой славной битвы; но когда осмотрѣлъ и перечелъ ряды свои, ихъ оставалось всего только не больше тысячи. Между тѣмъ новыя войска приходили безпрестанно на помощь, и если чтѣ спасло его отъ непріятельскаго нападенія, такъ это глубокая догадка французскаго инженера, заставлявшая опасаться скрытаго множества запорожцевъ.

Между тѣмъ Бульба узналъ, что запорожскіе плѣнники отправлены съ конвоемъ по варшавской дорогѣ. Въ головѣ его тотчасъ родилась мысль перехватить ихъ. Объяснивши объ этомъ войску, онъ началъ тайно готовиться къ отступленію. Цѣлый день козаки мазали дегтемъ свои телѣги, чтобы не скрипѣли; большую половину пушекъ закопали въ землю, чтобы онѣ не могли достаться непріятелю, и продолжали безпрестанную перестрѣлку. Часть запорожцевъ скинула съ себя верхнюю одежду; изъ нея подѣлали чучель и разставили на стѣнахъ монастырскихъ, вездѣ, гдѣ была стража. За монастыремъ они нашли дорогу, о которой, по всѣмъ вѣроятностямъ ничего не знали непріятели. Она продиралась между двумя рывтинами и была совершенно завалена изруб-

ленными лѣсомъ и пепломъ. Пользуясь глубокими мракомъ ночи, они тронулись, потянулись гужомъ со всѣмъ обозомъ, продираясь около пяти верстъ и наконецъ пробрались на чистое поле, гдѣ совершенно уже не было видно непріятеля. Запорожцы приударили коней и понеслись. Еще полчаса времени — и они бы, вѣрно, встрѣтили своихъ закованныхъ земляковъ, они бы имѣли еще достаточное время броситься на проселочную дорогу и, благодаря быстротѣ татарскихъ коней, можетъ-быть, Свѣчь увидѣла бы вновь своихъ главныхъ защитниковъ.

Но, какъ нарочно, польскія войска вздумали сдѣлать нападеніе на монастырь. Дальновидный инженеръ искусно зажегъ лѣсъ, къ нему примыкавшій, увѣряя, что всѣ будутъ имѣть славное жаркое изъ козацкой дичи. Но глубокая тишина изумила ихъ. Изумленіе еще болѣе увеличилось, когда они увидѣли, вмѣсто замѣченныхъ ими издали запорожцевъ, одни чучела. По всѣмъ признакамъ, они видѣли, что запорожцевъ было небольшое число. Это увеличило ихъ досаду, и начальствовавшій войсками, человѣкъ занальчивый, въ ту же минуту отдалъ приказъ устремиться на преслѣдованіе.

Еслибы Бульба не выбрался такъ громоздко, то онъ могъ бы быть до сихъ поръ гораздо далѣе и тѣмъ, можетъ-быть, ускользнуть отъ преслѣдованія. Но онъ пожалѣлъ оставить нѣсколько пушекъ, а чрезъ нѣсколько минутъ увидѣлъ онъ поднимающуюся пыль отъ многочисленнаго, съ двухъ сторонъ идущаго войска. „Видишь, чертъ побери! Дяхи пропыхали“, сказалъ онъ, выпустивъ изъ рта люльку, которую уже началъ было курить съ величайшимъ спокойствіемъ.

Видя невозможность дальнѣйшаго отступленія отъ такого множества, онъ, съ обыкновеннымъ своимъ хладнокровіемъ, далъ повелѣніе сдвинуть обозъ въ кучу и окружить его нѣсколькими рядами запорожцевъ. Этотъ маневръ считался совершенствомъ козацкой атаки и возбуждалъ всегда удивленіе даже въ самыхъ глубокихъ теоретикахъ тогдашняго военнаго искусства. Его цѣль состояла въ томъ, чтобы скрыть тылъ. Тутъ козаки никогда не были побѣждаемы: окружая обозъ непроломною стѣною, они со всѣхъ сторонъ были обращены лицомъ къ непріятелю. Пушки

доставили имъ большую выгоду, не допуская ихъ къ близкой схваткѣ и не утомляя чрезъ это ихъ рядовъ, — тѣмъ болѣе, что непріятель, желая скорѣе настигнуть, отправился налегкѣ. Войска польскія, всегда отличавшіяся нетерпѣливостію, уже готовы были бросить, еслибъ одна оплошность со стороны запорожцевъ не облегчила ихъ.

Въ это время Остапъ, выстрѣлившій на своей сторонѣ всѣ пушечные заряды, увлекаемый пылкостью и негодуя на бездѣйственное положеніе, отдѣлился нешиного подалѣе отъ обоза, вступилъ въ мелкую перестрѣлку, а потомъ и въ рукопашную битву. Его свирѣпое мужество разсѣяло часть рядовъ непріятельскихъ, но скоро онъ былъ схваченъ стиснувшими его множествомъ, и старшій Тарасъ видѣлъ собственными глазами, какъ онъ поднятъ нѣсколькими руками, связанъ толстыми веревками и уведенъ въ толпу. Желаніе подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Онъ отдѣлился вмѣстѣ съ большою частію запорожцевъ отъ обоза и ударилъ въ середину непріятеля, гдѣ полагалъ находившіяся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись въ толпѣ, раздѣленные толпою. Каждый долженъ былъ дѣйствовать отдѣльно, и нужно было видѣть, какъ каждый изъ нихъ ворочался, какъ молнія, на всѣ стороны, дѣйствуя и саблей, и ружейнымъ прикладомъ, и нагайкою, и кіемъ. Каждый видѣлъ передъ собою смерть и старался только по дорожке продать свою жизнь. Бѣльба, какъ гигантъ какой-нибудь, отличался въ общемъ хаосѣ. Свирѣпо наносилъ онъ свои крѣпкіе удары, воспламеняясь болѣе и болѣе отъ сыпавшихся на него. Онъ сопровождалъ все это дикимъ и страшнымъ крикомъ, и голосъ его, какъ отдаленное ржаніе жеребца, перемосили звонкія поля. Наконецъ, сабельные удары посыпались на него кучею; онъ гранулся, лишенный чувствъ. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, накрытаго прахомъ. Ни одинъ изъ запорожцевъ не остался въ живыхъ: всѣ полегли на мѣстѣ, и ни одинъ живой трофей не былъ свидѣтелемъ побѣды, одержанной польскими войсками.

VII.

— Долго же я спалъ! говорилъ Вульба, осматривая углы избенки, въ которой онъ лежалъ, весь израненный и избитый. — Спалъ ли я это или на яву видѣлъ?

— Да чуть было ты на вѣки не заснулъ! отвѣчалъ сидѣвшій возлѣ него Товкачъ, лицо котораго одну минуту только блеснуло живостью и окаять погрузилось въ обыкновенное свое хладнокровіе.

— Добрая была сѣча! Какъ же это я спасся? Вѣдь, кажется, совсѣмъ былъ подъ сабельными ударами, и что было далѣе, я уже ничего не помню....

— О томъ нечего толковать, какъ спасся; хорошо, что спасся.

Товкачъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые дѣлаютъ дѣла молча и никогда не говорятъ о нихъ.

На блѣдномъ и перевязанномъ лицѣ Вульбы видно было усиленіе припомнить обстоятельства. — А что же сынъ мой?... что Остапъ? И онъ легъ также вмѣстѣ съ другими и заслужилъ честную могилу?

Товкачъ молчалъ.

— Что-жъ ты не говоришь? Постои, помню, помню: я видѣлъ, какъ скрутили назадъ ему руки и взяли въ плѣнъ нечестивые католики.... И я не высвободилъ тебя, сынъ мой, Остапъ мой! измѣнила, наконецъ, сила!

Морщины сжались на лбу его, и раздумье крѣпко осѣнило лицо, покрытое рубцами.

— Молчи, панъ Тарасъ. Чему быть, тому быть. Молчи да крѣпись: еще намъ больше ста верстъ нужно проѣхать.

— Зачѣмъ?

— За тѣмъ, что тебя теперь ищеть всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесетъ ее, тому дадутъ 2,000 червошцевъ?

Но Тарасъ не слышалъ рѣчей Товкача. — Сынъ мой, Остапъ мой! говорилъ онъ, — я не высвободилъ тебя!

И приливъ тоски повергнулъ его въ безпамятство. Товкачъ оставался цѣлый день въ избѣ; но съ наступленіемъ ночи онъ

увезъ безчувственнаго Тараса. Увернувъ его въ воловью кожу, уложилъ въ ящикъ на подобіе койки, укрѣпилъ поперегъ сѣда и пустился во всю прыть на татарскомъ бѣгунѣ. Пустынные овраги и непроходимыя мѣста видѣли его, летѣвшаго съ тяжелою своею ношею. Товкачъ боялся встрѣчь и преслѣдованій, и хотя уже онъ былъ на степи, которой козьями болѣе другихъ могли считаться запорожцы, но тогдашнія границы были такъ неопредѣленны, что каждый могъ прогуляться на нехранимой землѣ, какъ на своей собственности. Онъ не хотѣлъ везти Тараса въ его хуторъ, почитая тамъ его менѣе въ безопасности, нежели на Запорожьѣ, куда онъ держалъ теперь путь свой. Онъ былъ увѣренъ, что встрѣча съ прежними товарищами, пирушка и новыя битвы оживятъ его скорѣе и развлекутъ его.

Онъ дѣйствительно не обманулся. Желѣзная сила Тараса взяла верхъ, несмотря на то, что ему было шестьдесятъ лѣтъ; черезъ двѣ недѣли онъ уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. Повидимому, самыя иршества запорожцевъ казались ему чѣмъ-то ѣдкимъ. Съ нимъ неразлучно было то время, которому еще и двухъ мѣсяцевъ не прошло, — то время, когда онъ гулялъ съ своими сыновьями, еще крѣпкими, свѣжими, исполненными силъ — и на этомъ, дотолѣ ничѣмъ не колеблемомъ лицѣ, прорывалась раздирающая горестъ, и онъ тихо, понуривъ голову, говорилъ: „Сынъ мой! Остапъ мой!“

Запорожцы собрались на морскую экспедицію. Двѣсти челоковъ спущены были въ Днѣпръ, и Малая Азія видѣла ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цвѣтушіе берега ея, видѣла чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвѣтамъ, на смоченныхъ кровію поляхъ и плававшими у береговъ; она видѣла не мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы переѣли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цѣлыя кучи навоза; персидскія дорогія шали употребляли вмѣсто очкуровъ и опоясывали ими запачканныя свои свитки. Долго еще послѣ находили въ тѣхъ мѣстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десяти-пушечный турецкій

корабль и залпомъ изъ всѣхъ орудій своихъ разогналъ, какъ птиць, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова собрались вмѣстѣ и прибыли къ устью Днѣпра съ двѣнадцатью бочками, набитыми цѣхлинами. Но все это уже не занимало Тараса. Неподвижно сидѣлъ онъ на берегу, шевеля губами и произнося: „Остапъ мой, Остапъ мой!“ Передъ нимъ сверкало и разстидалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усь его серебрился, и слеза капала одна за другою.

Когда Жидъ Янкель, который въ то время очутился въ городѣ Умани и занимался какими-то подрядами и сношеніями съ тамошними арендаторами, — когда Жидъ Янкель молился, накрывшись своимъ довольно запачканнымъ саваномъ и оборотился, чтобы въ послѣдній разъ плюнуть, по обычаю своей вѣры, какъ вдругъ глаза его встрѣтили стоявшаго назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились въ глаза 2.000 червонныхъ, которые были обѣщаны за его голову, но онъ тутъ же устыдился своей корысти и сдѣлался подавить въ себѣ эту вѣчную мысль о золотѣ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу Жида.

— Слушай, Янкель! сказалъ Тарасъ Жиду, который началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видѣли. — Я спасъ твою жизнь, теперь ты сдѣлай мнѣ услугу!

Лицо Жида нѣсколько поморщилось. „Какую услугу? если такая услуга, что можно сдѣлать, то для чего не сдѣлать?“

— Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву!

— Въ Варшаву? какъ! въ Варшаву? сказалъ Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ изумленія.

— Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ Варшаву! Что бы ни было, а я хочу еще разъ увидѣть его, сказать ему хоть одно слово.

— Какъ можно такое говорить? говорилъ Жидъ, разставивъ пальцы обѣихъ рукъ своихъ. — Развѣ панъ не слышалъ, что уже...

— Знаю, знаю все: за мою голову даютъ 2.000 червонныхъ. Знаютъ же они, дурни, цѣну ей. Я тебѣ двѣнадцать дамъ. Вотъ

тебѣ 2.000 сейчасъ! — при этомъ Бульба высыпалъ изъ кожаннаго гаманѣ 2.000 червонныхъ, — а остальные, какъ вочуюсь.

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы. „Славная монета!“ сказалъ онъ, вертя одинъ изъ нихъ въ своихъ пальцахъ и пробуя на зубахъ.

— Я бы не просилъ тебя, я бы самъ, можетъ-быть, нашель дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ-нибудь узнать и захватить проклятые Ляхи, ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, Жиды, на то уже и созданы; вы хоть чорта проведете; вы знаете всѣ штуки. Вотъ для чего я пришелъ къ тебѣ! Да и въ Варшавѣ я бы самъ собою ничего не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!

— А какъ же вы думаете мнѣ спрятать пана?

— Да ужъ вы, Жиды, знаете, какъ: въ порожнюю бочку, или тамъ во что-нибудь другое.

— Какъ можно въ бочку! Всякъ подумаетъ, что горилка!

— Ну что-жь! То и хорошо.

— Какъ хорошо? Ахъ, Боже мой! какъ можно такое говорить! Развѣ панъ не знаетъ, что Богъ на то создалъ горилку, чтобъ ее всякой пробовалъ? Тамъ все такіе ласуны, что Боже упаси! А особливо военный народъ: будетъ бѣжать вереть пять за бочкою, продолбить какъ разъ дырочку, тотчасъ увидить, что не течетъ, и скажетъ: — Жидъ не повезетъ порожнюю бочку: вѣрно тутъ есть что-нибудь.

— Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою.

— Охъ вей миръ! не можно, ей Богу, не можно! Тамъ вездѣ по дорогѣ люди голодные, какъ собаки; раскрадуть, какъ ни береги, а пана нащупаютъ.

— Такъ вези меня хоть на чортъ, только вези!

— Стойте, стойте! теперь возять по дорогамъ много кирпича. Тамъ строятъ какія-то крѣпости. Панъ пусть ляжетъ на днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду, и потому ему ничего, что будетъ тяжеленько, а я сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Дѣлай какъ хочешь, только вези!

И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выѣхалъ изъ Уманя, запряженный въ двѣ бѣячи. На одной изъ нихъ сидѣлъ высокій Янкель, и длинныя, курчавыя пейсики его развивались изъ-подъ слома, по мѣрѣ того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади.

VIII.

Въ то время, когда происходило описываемое событіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣзчиковъ, этой страшной грома предпримчивыхъ людей, и потому всякой могъ везти, что ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дѣлалъ это большею частію для своего собственного удовольствія, особливо если на возу находились заманчивыя для глазъ предметы и если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ и въѣхалъ безпрепятственно въ главныя городскія ворота.

Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ только слышать шумъ, крики возницъ и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ пылью рысаки, поворотилъ, сдѣлавши нѣсколько круговъ, въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и вмѣстѣ жидовской, потому что здѣсь дѣйствительно находились Жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора.

Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернѣвшіе деревянныя домы со множествомъ протянутыхъ изъ оконъ жердей увеличивали еще болѣе мракъ. Изрѣдка краснѣла между ними кирпичная стѣна, но и та уже во многихъ мѣстахъ превращалась совершенно въ черную. Иногда только вверху опутатуренный кусокъ стѣны, обхваченный солнцемъ, блисталъ вестерникою для глазъ бѣлизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ рѣзкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитыя чаны. Всякой что было только у него негоднаго швырлялъ на улицу, доставляя прохожимъ возможныя удобства питать всѣ чувства свои этою дрянью. Сидящій на конѣ всадникъ чуть-чуть

не доставалъ рукою жардей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висѣли жидовскіе чулки, коротенькіе панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико Еврейки, убранное потемнѣвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій Жидъ съ веснушками по всему лицу, дѣлавшими его похожимъ на воробьиное яйцо, выглянувъ изъ окна, тотчасъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчїи, и Янкель тотчасъ вѣхалъ въ одинъ дворъ. По улицѣ шелъ другой Жидъ, остановился, вступилъ тоже въ разговоръ, и когда Бульба выкарабкался наконецъ изъ-подъ кирпича, онъ увидѣлъ трехъ Жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ сдѣлано, что его Остапъ сидитъ въ городской темницѣ, и хотя трудно уговорить стражей, но однакожь онъ надѣется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ вмѣстѣ съ тремя Жидами въ комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкѣ. Тарасъ поглядывалъ на каждого изъ нихъ. Что то, казалось, сильно потрясло его. На грубомъ и равнодушномъ лицѣ его вскинуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посѣщаетъ иногда человѣка въ послѣднемъ градусѣ отчаянія. Старое сердце его начало сильно биться какъ будто у юности.

— Слушайте, Жиды! сказалъ онъ, и въ словахъ его было что-то восторженное. — Вы все на свѣтѣ можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морскаго, и пословица давно уже говоритъ, что Жидъ самого себя украдетъ, когда только захочетъ украсть. Освободите мнѣ моего Остапа! дайте случай убѣждать его отъ дьявольскихъ рукъ! Вотъ я этому человѣку обѣщаль двѣнадцать тысячъ червонныхъ, — я прибавлю еще двѣнадцать. Всѣ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и закопанное въ землѣ золото, хату и послѣднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тѣмъ чтобы все, что ни добуду на войнѣ, дѣлить съ вами пополамъ!

— О, не можно, любезный панъ! не можно! сказала со вздохомъ Янкель.

— Нѣтъ, не можно! сказала другой Жидъ.

Воѣ три Жиды взглянули одинъ на другого.

— А попробовать, сказала третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ. — Можетъ быть, Богъ дастъ.

Воѣ три Жиды заговорили по-нѣмецки. Бульба, какъ ни наостралъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать. Онъ слышалъ только часто произносимое слово *Мардохай*, и больше ничего.

— Слушай, панъ! сказала Янкель: — нужно посоветоваться съ такимъ человѣкомъ, какого еще никогда не было на свѣтѣ. У, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдѣлаетъ, то уже никто на свѣтѣ не сдѣлаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ и не впускай никого. — Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое окошечко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. Три Жиды остановились посрединѣ улицы и стали говорить довольно азартно. Къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ и пятый. Онъ слышалъ опять повторяемое: *Мардохай, Мардохай*. Жиды безпрестанно поглядывали въ одну сторону улицы. Наконецъ въ концѣ ея, изъ-за одного дрянного дома показалась нога въ жидовскомъ башмакѣ, и замелькали фалды полукафтаныя. „А, Мардохай! Мардохай!“ закричали воѣ Жиды въ одинъ голосъ.

Тошій Жидъ, нѣсколько короче Янкеля, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ преогромною верхнею губою, приблизился къ нетерпливой толпѣ, и воѣ Жиды наперерывъ слѣшили рассказывать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ рѣчь, часто плевалъ на сторону и, поднимая фалды полукафтаныя, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ какіе-то побрякушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталоны. Наконецъ воѣ Жиды подняли такой крикъ, что Жидъ, стоявшій на-сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность; но, вспомнивши,

что Жиды не могут иначе рассуждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, Жиды вмѣстѣ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу и сказалъ: „Когда мы, да Богъ захочетъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ нужно.“

Тарасъ поглядѣлъ на этого Соломона, какого еще не было на свѣтѣ, и получилъ нѣкоторую надежду. Дѣйствительно, видъ его могъ внушить нѣкоторое довѣріе: верхняя губа у него была, просто, страшилище. Толщина ея, безъ сомнѣнія, увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бородѣ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удаление, что онъ, безъ сомнѣнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна.

Мардохай ушелъ вмѣстѣ съ товарищами, исполненными удивленія въ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ въ жизни безпокойство; душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, непреклонный, непоколебимый, крѣпкій, какъ дубъ: онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ порохѣ, при каждой новой жидовской фигурѣ, показывавшейся въ концѣ улицы. Въ такомъ состояніи пробылъ онъ наконецъ весь день; не ѣлъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? спросилъ онъ ихъ съ нетерпѣніемъ диваго коня.

Но прежде еще, нежели Жиды собрались съ духомъ отвѣчать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже не было послѣдняго локна, который, хотя довольно неопратно, но все же висѣлъ кольцами изъ-подъ еломка его. Замѣтно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ ничего не понималъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ будто страдалъ простудою.

— О, любезный панъ! сказала Янкель: — теперь совсѣмъ невозможно! ей Богу, невозможно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ человекъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоять, и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить.

Тарасъ глянулъ въ глаза Жидамъ, но уже безъ нетерпѣнія и гнѣва.

— А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно рано, такъ, чтобы еще и солнце не встало. Часовые соглашаются, и одинъ лейбъ-гвардіею обѣщанъ. Только пусть икъ не будетъ на томъ свѣтѣ счастья, о вой миръ, что это за корыстный народъ! и между нами такихъ нѣтъ. 50 червонцевъ я дамъ каждому, а лейбъ-гвардіею...

— Хорошо. Веди меня къ нему! произнесъ Тарасъ рѣшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложеніе Янкеля переодѣться иностраннымъ графомъ, пріѣхавшимъ изъ нѣмецкой земли, для чего платье уже успѣлъ припасти дальновидный Жидъ.

Была уже ночь. Хозяинъ дома, известный рыжій Жидъ съ веснушками, вытащилъ толщій тюфякъ, накрытый какою-то рогожей, и разостлалъ его на лавкѣ, для Бульбы. Янкель легъ на полу на такое же тюфякъ. Рыжій Жидъ выпилъ небольшую чарочку какой-то настойки, скинулъ полукафтаны и, сдѣлавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нѣсколько похожимъ на цыпленка, отправился съ своею Жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двѣ домашнія собачки, легли на полу возлѣ шкафа.

Но Тарасъ не спалъ. Онъ сидѣлъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по столу. Онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ котораго Жидъ съ пресонья чихалъ и заворачивалъ въ одѣяло свой носъ. Едва небо успѣло тронуться блѣдными предвѣстіями зари, онъ уже толкнулъ ногою Янкеля.

— Вставай, Жидъ, и давай твою графскую одежду!

Въ минуту одѣлся онъ; вычернилъ усы, брови, надѣлъ на себя маленькую темную шапочку — и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду ему казалось не

болѣе тридцати-пяти лѣтъ. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ, и самыя рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ, очень шла въ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось въ городѣ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строенію, имѣвшему видъ сидящей цапли: оно было низкое, широкое, огромное, почернѣвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей. Тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы, или крытаго двора. Оболоты тысячи человѣкъ спали вмѣстѣ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидѣвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другаго билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обратили вниманія на примеднихъ и повертели головы только тогда, когда Янкель сказалъ: — Это мы... слышите, паны? это мы!

— Ступайте, говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ узкій и темный, который опять привелъ ихъ въ такую же залу, съ маленькими оконками вверху.

— Кто идетъ? закричало нѣсколько голосовъ, и Тарасъ увидѣлъ порядочное количество въ полномъ вооруженіи. — Намъ никого не велѣно пускать.

— Это мы! кричалъ Янкель, — ей Богу, мы, ясные паны!

Но никто не хотѣлъ слушать. Къ счастью, въ это время подошелъ какой-то толстякъ, который, не весть примѣтамъ, казался начальникомъ, потому что ругался сильнѣе всѣхъ.

— Панъ, это-жъ мы! Вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарить.

— Пропустите, сто дьябловъ чертовой матѣ! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидалъ и не собачился на полу.

Продолженіе краснорѣчиваго приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы, это я, это свои! говорилъ Янкель, встрѣчаясь со всякимъ.

— А что, можно теперь? спросилъ онъ одного изъ стражей, когда они набѣнецъ подошли къ тому мѣсту, гдѣ коридоръ уже оканчивался.

— Можно, только не знаю, пропустить ли васъ въ самую тюрьму. Теперь нѣтъ Яна; вмѣсто его стоитъ другой, отвѣчалъ часовой.

— Ай, ай! промвнесь тихо Жидъ. — Это северно, любезный панъ!

— Веди! промвнесь упрямо Тарась. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся къ верху остріемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шель назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ, что дѣлало его очень похожимъ на бота.

Жидъ съежился въ три потибели и почти бокомъ подошелъ къ нему. — Ваша яневельможность! яневельможный панъ!

— Ты, Жидъ, это мнѣ говоришь?

— Вамъ, яневельможный панъ.

— Гм... а я просто гайдукъ! сказалъ трекъ-ярусный усачъ съ повеселѣвшими глазами.

— А я, ей Богу, думалъ, что это самъ воевода. Ай, ай, ай!.. при этомъ Жидъ покрутилъ головою и разставилъ пальцы. — Ай, какой важный видъ! Ей Богу, полковникъ! совсѣмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорога, какъ муха, да и пусть муштруеть полки!

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ; глаза его совершенно развеселились.

— Что за народъ военный! продолжалъ Жидъ, — охъ весь миръ, что за народъ хорошій! Шнурѣчки, бляшечки... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ отъ солнца; а цурки, гдѣ только увидать военныхъ... ай, ай! — Жидъ опять повернулъ головою.

Гайдуць завилъ рукою верхніе усы и пропустилъ сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржаніе.

— Прощу пана оказати услугу! промѣнись Жидъ. — Вотъ князь пріѣхалъ изъ чужаго края, хочеть посмотрѣть на козаковъ. Онъ еще съ роду не видѣлъ, что это за народъ козаки.

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они часто были завлечены единственно любопытствомъ посмотрѣть этотъ почти полу-азиатскій уголь Европы (Московію и Украину они почитали уже находящимися въ Азіи); и потому гайдуць, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нѣсколько словъ отъ себя.

— Я не знаю, ваша ясневельможность, говорилъ онъ, — зачѣмъ вамъ хочеть смотрѣть ихъ. Это собаки, а не люди. И вѣра у нихъ такая, что никто не уважаетъ.

— Врешь ты чортовъ сынь! сказала Бѣльба: — Самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нану вѣру не уважають? Это вашу еретическую вѣру не уважають!

— Эге, ге! сказалъ гайдуць, — а я знаю, пріятель, кто ты: ты самъ изъ тѣхъ, которые уже сидятъ у меня! Постой же, я позову сюда нашихъ!

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность, но упрямство и досада помѣшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастью, Янкель въ ту же минуту успѣлъ подвернуться.

— Ясневельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А еслибъ онъ былъ козакъ, то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій?

— Разсказывай себѣ! и гайдуць уже растворилъ-было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите! Молчите ради Бога! закричалъ Янкель. — Молчите! мы ужъ вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видали: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца.

— Эге, два червонца! Два червонца мнѣ ни по чемъ. Я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, Жидъ! — Тутъ гайдуць

закрутилъ верхніе усы. — А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу!

— И на что бы такъ много? горестно сказалъ поблѣднѣвшій Жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ свой. Но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькѣ не было болѣе и что гайдукъ далѣе ста не умѣлъ считать. — Панъ! панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, какой тутъ нехорошій народъ! сказалъ Янкель, замѣтивши, что гайдукъ перебиралъ на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ, что не запросилъ болѣе.

— Что-жъ ты, чортовъ гайдукъ? сказалъ Бѹльба, — деньги взялъ, а показать и не думаешь? Нѣтъ, ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получилъ, то ты не въ правѣ теперь отказать.

— Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я сію минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите ноги, говорю я вамъ, скорѣе!

— Панъ! панъ! пойдемъ, ей Богу, пойдемъ! Цуръ имъ! Пусть имъ приснится такое, что плевать нужно! кричалъ бѣднѣйшій Янкель.

Бѹльба медленно, потупивъ голову, оборотился и шель назадъ, преслѣдуемый укорами Янкеля, котораго ѣла грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

— И на что бы трогать? Пусть бы собака бранился! То уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ вей міръ, какое счастье посылаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналъ насъ! А нашъ братъ: ему и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдѣлаютъ такое, что и глядѣть не можно, а нѣкто не дастъ ста червонныхъ. О, Боже мой! Боже милосердый!

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія на Бѹльбу. Она выражалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

— Пойдемъ! сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись, — пойдемъ на площадь! Я хочу посмотрѣть, какъ его будутъ мучить.

— Ой, панъ, зачѣмъ ходить? Вѣдь намъ этимъ не помочь уже.

— Пойдемъ! упрямо сказалъ Бѹльба, и Жидъ, какъ нянька, вздыхая, побрелъ вслѣдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всѣхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно изъ заниматель-

нѣйшихъ зрѣлищъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю ночь грезидись окровавленные трупы, которыя кричали съ просонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусарь, не пропускали однакоже случая полюбопытствовать. „Ахъ, какое мученье!“ кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однакоже проставали иногда довольное время. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ впередъ, желалъ бы вскочить всѣмъ на головы, чтобъ оттуда посмотрѣть повиднѣе. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкѣ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари, но бѣльшая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается въ свѣтѣ, смотреть, выверя пальцемъ въ своемъ носу.

На первомъ планѣ, возлѣ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шляхтичъ, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, что у него не было, такъ что на его квартирѣ оставалась только изодранная рубашка да старыя сапоги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висѣли у него на шеѣ съ какими-то дукатами. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзсею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ что уже рѣшительно не можно было ничего прибавить. „Вотъ это, душечка Юзсея, говорилъ онъ, — весь народъ, что вы видите, пришелъ за тѣмъ, чтобы посмотрѣть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ, тотъ, душечка, что вы видите, держитъ въ рукахъ сѣкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ колесовать и другія дѣлать мучи, то преступникъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и

двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни ѣсть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будетъ головы.“ И Юзыя все это слушала со страхомъ и любопытствомъ.

Крыши домовъ были уѣяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидѣло аристократство. Хорошенькая ручка смѣющейся, блистающей какъ бѣлый сахаръ, панны держалась за перилы. Ясновельможныя паны, довольно плотныя, глядѣли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствѣ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ тутъ же разные напитки и съѣстное. Часто шалуныя съ черными глазами, схвативши свѣтлою ручкой своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ рыцарей подставляла на-подхватъ свои шапки, и какой нибудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ толпы своею головою, въ полиняломъ красномъ кунтушѣ, съ почернѣвшими золотыми шнурами, хваталъ первый, съ помощію длинныхъ рукъ, цѣловалъ полученную добычу, прижималъ ее къ сердцу и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висѣвшій въ золотой клѣткѣ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ; перегнувши набокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ.

Но толпа вдругъ замужала, и со всѣхъ сторонъ раздались голоса: „Ведуть! ведуть!.... Козаки!“

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами. Бороды у нихъ были отпущены; они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостью; ихъ платья, изъ дорогого сукна, изнасились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядѣли и не кланялись народу. Впереди всѣхъ шелъ Остапъ.

Что почувствовалъ старый Тарасъ, когда увидѣлъ своего Остапа? Что было тогда въ его сердцѣ? Онъ глядѣлъ на него изъ толпы и не проронилъ ни одного движенія его. Они приблизились уже къ лобному мѣсту. Остапъ остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и произнесъ громко: „Дай же, Боже,

чтобы всё, какіе тутъ ни стоятъ еретикъ, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова!“ Послѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

— Добре, сѣнку, добре! сказалъ тихо Бѹльба и уставилъ въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно сдѣланныя станки и... Я не стану смущать читателей картиною адекихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волосы. Онѣ были порожденіе тогдашняго грубаго, свирѣпаго вѣка, когда человѣкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душой до такой степени, что сдѣлался глухъ для человѣколюбія. Должно, однакожь, сказать, что король всегда почти являлся первымъ противникомъ этихъ ужасныхъ мѣръ. Онъ очень хорошо видѣлъ, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козачьей націи. Но король не могъ сдѣлать ничего противъ дерзкой воли государственныхъ магнатовъ, которые непостижимою недалководностью, дѣтскимъ самолюбіемъ, гордостью и неосновательностью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе.

Осталъ выносить терзанія, какъ исполинъ, съ невообразимою твердостью, и когда начали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, такъ что ужасный хряскъ ихъ слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отвертели глаза свои, — ничто, похожее на стонъ, не вырвалось изъ устъ его; лицо его не дрогнулось.

Тарасъ стоялъ въ толпѣ съ потушенной головой и съ поднятими, однакоже, глазами, и одобрительно только говорилъ: „Добре, сѣнку, добре!“

Наконецъ сила его, казалось, начала подаваться. Когда онъ увидѣлъ новыя орудія казни, которыми готовились вытягивать изъ него жилы, губы его начали шевелиться. „Батько!“ произнесъ онъ все еще твердымъ голосомъ, показывавшимъ желаніе пересилить муки, — „батько! гдѣ ты? слышишь ли ты?“

„Слышу!“ раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллионъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадни-

ковъ бросилась заботливо разсматривать толпы народа. Янкель поблѣднѣлъ, какъ смерть, и когда они немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ; но Тараса уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простылъ.

IX.

Слѣдъ Тарасовъ отыскался! тридцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не былъ какой-нибудь отрядъ, выступавшій для добычи, или своей отдѣльной цѣли; это было дѣло общее. Это цѣлая нація, которой терпѣніе уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленныя права свои, за униженную религію свою и обычаи, за вѣроломныя убійства гетмановъ своихъ и полковниковъ, за насиліе жидовскихъ арендаторовъ и за все, въ чемъ считалъ себя оскорбленнымъ угнетенный народъ.

Верховнымъ начальникомъ войска былъ гетманъ Острица, еще молодой, кипѣвшій желаніемъ скорѣе сбросить утѣснительный деспотизмъ, наложенный самоуправіемъ государственныхъ магнатовъ, и очистить Украйну отъ жидовства и уни и посторонняго сброда. Возлѣ него былъ видѣнъ престарѣлый и опытный товарищъ и совѣтникъ его Гуня. Сорокъ тысячъ лошадей нетерпѣливо ржали подъ сѣдоками и безъ сѣдочковъ. Восемь полковъ, изъ которыхъ половина конныхъ и половина пѣшихъ, въ суконныхъ алыхъ, синихъ и желтыхъ кафтанахъ, выступали браво и горделиво. Восемь опытныхъ полеовниковъ правили ими и хладнокровнымъ движеніемъ бровей своихъ ускоряли, или оставляли нетерпѣливый походъ ихъ.

Однимъ изъ нихъ начальствовалъ Вульба. Преклонныя лѣта, слава и опытность давали ему значительный перевѣсъ въ совѣтъ; но неумолимая и свирѣпая жестокость его казалась ужасною даже для глубоко оскорбленныхъ защитниковъ. Его совѣтъ дышалъ только однимъ истребленіемъ, и сѣдая голова его опредѣляла только огонь и висѣлицу.

Не буду описывать тѣхъ битвъ, гдѣ отличались козаки, ни

постепеннаго хода всей великой кампаніи: это принадлежит исторіи. Тамъ изображено подробно, какъ бѣжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ, какъ были перевѣшаны безсовѣстные арендаторы-Жиды, какъ слабъ былъ коронный гетманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой силы, какъ, разбитый, преслѣдуемый, перетопилъ онъ въ небольшой рѣчкѣ лучшую часть своего войска, какъ облегли его въ небольшомъ мѣстечкѣ Полонномъ грозныя козацкіе полки, и какъ приведенный въ крайность польскій гетманъ клятвенно обѣщаль полное удовлетвореніе во всемъ со стороны короля и государственныхъ чиновъ, и возвращеніе всѣхъ прежнихъ правъ и преимуществъ; но козаки, наученные прежнимъ вѣроломствомъ, были неумолимы, и Потоцкій не красовался бы болѣе на шести-тысячномъ своемъ аргамакѣ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, еслибы не снагло его находившееся въ мѣстечкѣ русское духовенство. Торжественная процессія съ образами и крестами и мольбы священника-старца тронули козаковъ, еще чувствовавшихъ узы, привязывавшія ихъ къ королю. Гетманъ и полковники рѣшились отпустить Потоцкаго не прежде, какъ заключивши трактатъ, обезпечившій бы во всемъ козаковъ.

Но непреклонный Тарасъ вырвалъ изъ бѣлой головы своей клокъ волосъ, когда увидѣлъ такое, по словамъ его, бабье малодушіе полковниковъ. „Не поущу, полковники, чтобы вы учинили такое дѣло!“ вскричалъ онъ твердо. Но на этотъ разъ совѣтъ его былъ отвергнутъ. „Эй, не вѣрьте, паны, Ляхамъ!“ повторилъ онъ опять тѣмъ же голосомъ, помахивая нагайкой и хлеснувъ ею по пушкѣ. Когда же полковой писарь подаль уже написанное условіе подписать гетману, онъ махнулъ рукой и сказалъ. „Оставляйте же себѣ, паны! меня вы больше не увидите. Смотрите, паны, вы вспомните меня!“ и голосъ его имѣлъ въ себѣ что-то пророческое. „Вы думаете, что купили этимъ спокойствіе и будете теперь пановать! Увидите, что не будетъ сего! Сдерутъ съ твоей головы, гетманъ, кожу, набьютъ ее гречановъ половую, и долго будутъ видѣть ее по ярмаркамъ! Да и у васъ, паны, у рѣдкаго уцѣлѣетъ голова! пропадете вы въ сырыхъ по-

гребяхъ, замурованные въ каменные стѣны, если не сварятъ васъ живыхъ въ котлахъ, какъ барановъ!“

— А вы, хлопцы, хотите умирать? продолжалъ онъ, обращаясь къ своему полку: — умирать такъ, какъ умирають честные козаки? А можетъ-быть вы думаете еще пожить да залечь дома на печь, да и лежать тамъ покажѣтъ не прибереть врагъ? Что-жь лучше? спрашиваю я васъ, молодцы: воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила васъ жинка, и напившись пропасть гдѣ-нибудь подъ тыномъ, какъ собака; или всѣмъ, какъ вѣрнымъ лыцарямъ, какъ братьямъ роднымъ, лечь вмѣстѣ на полѣ и оставить по себѣ славу на-вѣки?

— За тобою, пане полковнику! за тобою всѣ! отвѣчали передніе въ полку. — Веди! ей Богу, веди!

— Добре, паны молодцы! сказалъ Тарасъ, взявши свою шапку въ руки и потомъ опять надѣвши ее на голову. Глаза его сверкнули. — Вырѣжемъ все католичество! чтобы его и духу не было! Пусть пропадутъ нечестивые! Гайда, хлопцы!

Сказавши это, иступленный сѣдой фанатикъ отправился съ полкомъ своимъ въ путь. Другіе козаки съ завистью глядѣли на удалившихся сотоварищей, и только одно строгое повиновение къ полковникамъ, бывшее всегдашнюю ихъ добродѣтелью, препятствовало многимъ охотникамъ къ нимъ присоединиться.

Гетманъ и полковники не остановили удалявшагося полка. Казалось, предсказаніе Тараса нѣсколько смутило ихъ, — покрайней мѣрѣ они сидѣли нѣсколько времени молча и не глядя другъ на друга. Скоро, однакоже, пророческія слова Бульбы исполнились. Не много времени спустя, послѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневою, голова гетмана вздернута была на колъ вмѣстѣ со многими сановниками.

Но обратимся къ нашей исторіи. Что-жь дѣлалъ Тарасъ съ своимъ полкомъ? — А Тарасъ выжегъ восемнадцать мѣстечекъ, около сорока костеловъ и уже доходилъ до Бракова. Напрасно небольшіе отряды войскъ посылаемы были схватить его: онъ всегда почти разминался съ ними. Онъ поступалъ неожиданно, скрывая свои намѣренія, и когда одно селеніе, или небольшой городокъ, ожидалъ съ ужасомъ его прибытія, онъ вдругъ пере-

и́няли дорогу и несли гибель туда, гдѣ его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмѣлилась бы изобразить всѣхъ тѣхъ свирѣпствъ, которыми были означены разрушительныя его опустошенія. Ничто похожее на жалость не проникало въ это старое сердце, кипѣвшее только отмщеніемъ. Никому не оказывалъ онъ пощады. Напрасно несчастныя матери и молодыя жены и дѣвицы, изъ которыхъ инныя были прекрасны и невинны, какъ ландышъ, думали спастись у алтарей: Тарасъ зажиталъ ихъ вмѣстѣ съ костеломъ; и когда бѣлыя руки, сопровождаемыя крикомъ отчаянія, подымались изъ ужаснаго потопа огня и дыма къ небу и растрепанные волосы сквозъ дымъ разсыпались по плечамъ ихъ, а свирѣпыя козаки подымали копьями съ улицъ плачущихъ младенцевъ и бросали ихъ къ нимъ въ пламя, — онъ глядѣлъ съ какииъ-то ужаснымъ чувствомъ наслажденія и говорилъ: „Это вамъ, вражьи Ляхи, поминки по Остапѣ!“ И такія поминки по Остапѣ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи. Наконецъ польское правительство увидѣло, что поступки Тараса были нѣсколько болѣе, нежели обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать непременно Тараса.

Тарасъ понялъ опасность и поворотилъ назадъ. Проселочными дорогами, ночью, скакалъ онъ съ своими козаками во всю мочь, и одни только татарскіе кони, которыхъ онъ имѣлъ обычай держать цѣлый табунъ при своемъ войскѣ, могли вынести необыкновенную быстроту его бѣгства. Но на этотъ разъ Потоцкій былъ достоинъ возложеннаго на него порученія: онъ преслѣдовалъ его съ удивительною неутомимостью и наконецъ настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Вульба занялъ для небольшого роздыха оставленную, полуразвалившуюся крѣпость.

Крѣпость была на возвышенномъ мѣстѣ и оканчивалась къ рѣкѣ такою страшною, почти наклоненною стремниною, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться въ волны. Почти на двадцать сажень внизъ шумѣлъ Днѣстръ. Здѣсь-то облегалъ его Потоцкій своими войсками съ трехъ сторонъ, обращенныхъ къ полю и оврагамъ неровныхъ береговъ. Тарасъ, съ помощью своей храбрости и упрямой воли, могъ сдѣлать тщетными всѣ усилія осаждающихъ; но онъ не имѣлъ въ опустѣлой крѣпости никакихъ

средствъ для прокормленія, а козаки менѣе всего могли сносить голодь, особливо когда видѣли, что онъ долженъ наконецъ окончиться медленною смертью. Съ рѣкою невозможно было имѣть сообщенія: одна только половина узкой дорожки висѣла вверху, остальная упала въ волны съ недавно отколовшейся глыбою скалы, и вмѣсто нея осталась стремнина.

Тарасъ рѣшился оставить крѣпость, попробовать удачи прорваться сквозъ ряды непріятелей и по берегу достигнуть такого мѣста, съ котораго бы можно было кинуться на лошадяхъ и пуститься съ ними вплавь. Онъ стремительно вышелъ изъ крѣпости и уже козаки пробрались сквозъ непріятельскіе ряды, какъ вдругъ Тарасъ, остановившись и нагнувшись въ землю, сказалъ: „Стой, братцы! уронилъ люльку!“ Въ это самое время онъ почувствовалъ себя въ дюжихъ рукахъ, былъ схваченъ набѣжавшимъ съ тыла отрядомъ и отрѣзанъ отъ своихъ. Онъ двинулъ своими членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. „Эхъ старость, старость!“ сказалъ онъ, почти-что не заплакавъ.

Ему прикрутили руки, увязали веревками и цѣпями, привязали его къ огромному бревну: правую руку, для большей безопасности прибили гвоздемъ и поставили это бревно рубомъ въ разсѣлину стѣны, такъ что онъ стоялъ выше всѣхъ и былъ видѣнъ всѣмъ войскамъ, какъ побѣдный трофей удачи. Вѣтеръ развѣвалъ его бѣлые волосы. Казалось, онъ стоялъ на воздухѣ, и это, вмѣстѣ съ выраженіемъ сильнаго безсилія, дѣлало его чѣмъ-то похожимъ на духа, представшаго воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественною своею властью и увидѣвшаго ея ничтожность. Въ лицѣ его не было замѣтно никакой заботы о себѣ. Онъ вперилъ глаза въ ту сторону, гдѣ отстрѣливались козаки. Ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. „Занимайте, хлопцы“, кричалъ онъ, „занимайте, вражьи дѣти, говорю вамъ, скорѣе горку, что за лѣсомъ: туда не подступать они!“ Но вѣтеръ не донесъ его словъ. „Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за что!“ говорилъ онъ съ бѣшенствомъ и взглянулъ внизъ, гдѣ блестялъ Днѣстръ. Чувство радости сверкнуло въ его глазахъ. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника три кормы.

Онъ собралъ всѣ усилія и закричалъ такъ, что едва не оглушилъ стоявшихъ близь него: „Хлопцы, къ берегу! къ берегу! Подъ кручею, гдѣ крѣпость, стоять челны! а за вами въ двадцати шагахъ спускъ къ берегу! Да забирайте всѣ челны, чтобы не было погони!“

На этотъ разъ вѣтеръ дунулъ съ другой стороны, и всѣ слова были услышаны козаками. Но ударъ обухомъ по головѣ за такой совѣтъ переверотилъ въ его глазахъ все. Его опустили вмѣстѣ съ бревномъ ниже, чтобы онъ не могъ болѣе подавать своихъ наставленій.

Козаки поворотили коней и бросились бѣжать во всю прыть; но берегъ все еще состоялъ изъ стремнинъ. Они бы достигнули пониженія его, еслибы дорогу не преграждала пропасть сажени въ четыре шириною: однѣ только сваи разрушеннаго моста торчали на обоихъ концахъ; изъ недосыгаемой глубины ея едва доходило до слуха умиравшее журчаніе какого-то потока, низвергавшагося въ Днѣстръ. Эту пропасть можно было объѣхать, взявши вправо; но войска непріятельскія были уже почти на плечахъ ихъ. Козаки только одинъ мигъ ока остановились, подняли свои нагайки, свиснули — и татарскіе ихъ кони, отдѣлившись отъ земли, распластались въ воздухъ, какъ змѣи, и перелетѣли черезъ пропасть. Подъ однимъ только конь оступился, но зацѣпился копытомъ и, привыкшій къ крымскимъ стремнинамъ, выкарабкался съ своимъ сѣдокомъ.

Отрядъ непріятельскихъ войскъ съ изумленіемъ остановился на краю пропасти. Начальствовавшій ими полковникъ, молодой, неустрашимый до безразсудности (онъ былъ братъ прекрасной Полячки, обворожившей бѣднаго Андрія), безъ дальняго размышленія рѣшился повторить и себѣ то же, и, желая подать примѣръ своему отряду, бросился впередъ съ конемъ своимъ; но острые камни изорвали его, пропавшаго среди пропасти, въ клочки, и мозгъ его, смѣшанный съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты.

Когда Бульба очнулся немного отъ своего удара и глянулъ на Днѣстръ, онъ увидѣлъ подъ ногами своими козаковъ, садившихся въ лодки. Глаза его сверкнули радостью. Градъ пулъ сыпался

сверху на казаковъ, но они не обращали никакого вниманія и отчаливали отъ береговъ. „Прощайте паны-братья товарищи!“ говорилъ онъ имъ сверху; „вспоминайте иной часъ обо мнѣ; объ участи же моей не заботьтесь! я знаю свою участь: я знаю, что меня заживо разнимуть по кускамъ, и что кусочка моего тѣла не останется на землѣ; да то уже мое дѣло.... Будьте здоровы, паны-братья товарищи! да глядите, прибывайте на слѣдующее мѣсто опять! да погуляйте хорошенько!...“ Ударъ обухомъ по головѣ пресѣкъ его рѣчи.

Чортъ побери! да есть ли что на свѣтѣ, чего бы побоялся козакъ? Не малая рѣка Днѣстръ; а какъ погонить вѣтеръ съ моря, то валъ дохлестываетъ до самого мѣсяца. Козаки плыли подъ пулями и выстрѣлами, осторожно миновали зеленые острова; хорошенько выправляли парусъ, дружно и мѣрно ударили веслами и говорили про своего отамана.



ОСТРАНИЦА.

НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА.

Глава I.

Быль апрѣль 1645 года, время, когда природа въ Малоросіи похожа на первый день своего творенія; самая нѣжная зелень убирала очнувшіяся деревья и степи. Этотъ день былъ передъ самымъ Воскресеньемъ Христовымъ. Онъ уже прошелъ, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый дѣвственный воздухъ, разносившій дыханіе весны, вѣялъ сильнѣе. Сквозь жидкую сѣть вишневыхъ листьевъ мелькали въ огнѣ окна деревянной церкви села Комышны. Старая, истерзанная временемъ, покрытая мохомъ церковь будто обновилась; вокругъ ея, какъ рои пчель, толпились козаки изъ ближнихъ и дальнихъ хуторовъ, изъ которыхъ едва десятая часть помѣстилась въ церкви. Было душно; но что-то говорило свѣтлымъ торжествомъ. Авторъ просить читателей вообразить себѣ эту картину XVII столѣтія. Мужественныя, худощавыя, съ рѣзкими чертами, лица и бритыя головы, опустившіеся внизъ усы, падавшіе на грудь, широкія плечи, атлетическая сила, при каждомъ почти заткнутый за поясъ пистолеть и сабля показывали уже, въ какую эпоху собрались козаки. Странно было глядѣть на это море головъ, почти не волновавшееся. Благоговѣйное чувство обнимало зрителя. Все здѣсь собравшееся было характеръ и воля, но и то и другое было тихо и безмолвно. Свѣтъ паникадила, отбрасываясь на всѣхъ, придавалъ еще сильнѣе выраженіе лицамъ. Это была картина великаго художника, вся полная движенія, жизни, дѣйствія и между тѣмъ неподвижная. Почти незамѣтно прибавилось одно

новое лицо къ молящимся. Оно возвышалось надъ другими почти цѣлою головою; какой-то крѣпкій, смѣлый окладъ, какая-то легкая безпечность выказывалась на немъ. Оно было спокойно и вмѣстѣ такъ живо, что, взглянувши, ожидалъ бы непремѣнно услышать отъ него слово, чтобъ увидѣть его измѣнившимся, какъ будто бы оно непремѣнно должно было все заговорить конвульсіями. Но между тѣмъ какъ всѣ мало-по-малу начали обращаться на него, вся масса двинулась изъ храма, для торжественнаго хода вокругъ церкви, и замѣчательная фізіономія смѣшалась съ другими. У выхода по церковной лѣстницѣ, у самаго крыльца, стояли нѣсколько Жидовъ, содержавшіе, по волѣ польскаго правительства, откупъ, и спорили между собою, намѣчая мѣломъ пасхи, приносимыя для освященія христіанами. Нужно было видѣть, какъ на лицѣ каждаго выходившаго дрогнули скулы. Это постановленіе правительства было уже давно объявлено; народъ съ ропотомъ, но покорился силѣ. Оппозиціонисты были испровержены. Къ этому, кажется, всѣ уже привыкли, зная, что это такъ (постановлено), но, несмотря на это, при видѣ этого постановленія, приводимаго въ исполненіе, онъ такъ изумился, какъ будто бы это была новость. Такъ преступникъ, знающій о своемъ осужденіи на смерть, еще движется, еще думаетъ о своихъ дѣлахъ; но прочитанный приговоръ разомъ разрушаетъ въ немъ жизнь. Послѣ перемѣнъ въ лицѣ, рука каждаго невольно опустилась къ кинжалу, или къ пистолетамъ. Но ходъ окончился; всѣ спокойно вошли въ церковь, при пѣніи *Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ*. Между тѣмъ совершенно наступило утро. Выстрѣлы изъ пистолетовъ и мушкетовъ потрясали деревянныя стѣны церкви. На всѣхъ лицахъ просіяла радость: у однихъ при мысли о пасхѣ, у дѣвушекъ при цѣлованьи съ козаками, (у тѣхъ) при попойкѣ, какъ вдругъ страшный шумъ извнѣ заставилъ многихъ выйти. Передъ разрушившеюся церковью собрались въ кучу, изъ которой раздавались брань и крикъ Жидовъ. Три Жида отбирали у дряхлаго, посѣдѣвшаго, какъ лунь, козака, пасху, яйца и барана, утверждая, что онъ не вносилъ за нихъ денегъ. За старика вступились двое, стоявшихъ около него; къ нимъ пристали еще, и, наконецъ, цѣлая толпа готовилась задавить Жи-

довъ, еслибы тотъ же самый широкоплечій, высокаго росту, чья фізіономія такъ поразила находившихся въ церкви, не остано- вилъ однимъ своимъ мощнымъ взглядомъ. „Чего вы, хлопцы, съ-дуру бѣснуетесь? У васъ, видно, нѣтъ ни на волосъ Божьяго страха. Люди стоятъ въ церкви и молятся, а вы тутъ чортъ знаетъ что дѣлаете. Гайда по мѣстамъ!“ Послушно всѣ, какъ овцы, разбрелись по своимъ мѣстамъ, разсуждая: что это за чудо такое, откудова оно взялось и съ какой стати ввязывается онъ, куда его не просить, и отъ чего онъ хочетъ, чтобы слушались? Но это каждый только подумалъ, а не сказалъ вслухъ. Взглядъ и голосъ незнакомца какъ будто имѣли волшебство: такъ были по- велительны. Одинъ Жидъ стоялъ только не отходя, и какъ скоро оправился отъ перваго страха незванною помощію, началъ было снова приступать, какъ тотъ же самый (козакъ) подошелъ и схватилъ его могучею рукою за воротъ такъ, что бѣдный пото- мокъ Израилевъ съежился и присѣлъ на колѣни. „Ты чего хо- чешь, свиное ухо? Такъ тебѣ еще мало, что душа осталась въ галданцахъ? Ступай же, тебѣ говорю, поганая жидовина, нока не оборвалъ тебѣ пейсики!“ Послѣ того толкнулъ онъ его, и Жидъ разостлался на землѣ, какъ лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бѣжать и, спустя нѣсколько времени, возвратился съ начальникомъ польскихъ уланъ. Это былъ довольно рослый По- лякъ, съ глупо-дерзкою фізіономіей, которая всегда почти от- личаетъ полицейскихъ служителей. — „Что это? Какъ это?... Гунство, теремтете? Зачѣмъ драка, холопство проклятое? Лысый бѣсъ въ вашу съ пальцомъ! Развѣ? Что вы? Что тутъ драка? Порвалъ бы васъ собака!...“ Блюститель порядка не зналъ бы куда обратиться и на кого излить потокъ своихъ наставленій, приправляемыхъ бранью, еслибы Жидъ не подвелъ его въ ста- рому козаку, котораго волосы, вздуваемые вѣтромъ, какъ сѣж- ный иней серебрились. „Что ты, глупый холопъ, вздумалъ? Что ты драку, началъ драку? Пасе мазепято, гунство! Знаешь ты, что Жидъ? Гунство проклятое!... Знаешь, что борода поповская не сто- ить подошвы?... Чортъ бы тебя схватилъ въ банѣ за пупъ!... У него оломецъ враше, чѣмъ ваша *холопская вяра*....“ Тутъ онъ схватилъ за волосы старца и выдернулъ клокъ серебряныхъ волосъ его....

Глухое стenanіe испустилъ старнй козакъ.

— Бей еще! Самъ я виноватъ, что дожилъ до такихъ лѣтъ, что и счетъ уже имъ потерялъ. Сто лѣтъ, а можетъ и больше, тому назадъ, меня драли за чубъ, когда я былъ хлопцемъ у батька. Теперь опять бьютъ. Видно, снова воротились лѣта мои. Только нѣтъ, не то, не въ силахъ теперь и руки поднять. Бей же меня!... При сихъ словахъ сто-двадцати-лѣтнй старецъ наклонилъ свою бѣдую голову на руки, сложенныя крестомъ на пальцѣ, и, подпершись ею, долго стоялъ въ живописномъ положеніи. Въ словахъ старца было невѣроятнo трогательное. Замѣтно было, что многіе хватились рукою за сабли и пистолеты, но видъ столькихъ усатыхъ улановъ на лошадяхъ и нѣсколько словъ, сказанныхъ незнакомцемъ, заставили всѣхъ принять положеніе молещичковъ и креститься.

— Чтo ты врешь, глупой мужикъ, теремтете! Чтo (бы) я на тебѣ руки поганилъ, гунство проклятое! Лыснй бѣсъ рогатнй тебѣ въ кашу! Гершко! возьми отъ него пасху! Пусть его однимъ овсянымъ сухаремъ разговѣется! Вишь, гунство проклятое! говорилъ блюститель правосудія, подвигаясь къ ряду дѣвичьему и ущипнувъ одну изъ нихъ за руку. — Чтo за драка? Охъ, славная дѣвка! Вишь драку!... Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь глупой мужикъ.... порвалъ бы его собака!... Ай, ай, ай! Сколько тутъ жиру!... Блюститель порядка, вѣрно, себѣ позволилъ нескромность, потому что одна изъ дѣвушекъ вскрикнула во все горло. Въ это время пасхи были освящены, и обѣдня кончилась, и многіе уже стали расходиться. Нѣсколько только народу обступило козака, такъ заинтересовавшаго толпу, которнй между тѣмъ подходилъ къ исправлявшему званіе адъвазила.

— Славннй у тебя усъ, панъ! проговорилъ онъ, подступивъ къ нему близко.

— Хорошій! У тебя, холопа, не будетъ такого, произнесъ онъ, расправляя его рукою.

— Славннй! Только не туда ты, панъ, крутишь его. Вотъ куда нужно крутить! — Мощннй козакъ дернулъ сильно рукою такъ, что половина уса осталась у него.

Старнй волокита закрихтѣлъ и заревѣлъ отъ боли. Лицо его

сдѣлалось цвѣта вареной свеклы. „Рубите его, рубите, лайдака!“ кричалъ онъ, но почувствовалъ себя въ рукахъ высокаго козака, и увидя насмѣшливыя лица всѣхъ, сталъ искать глазами своихъ воиновъ. Малеванный шутъ струсиль....

— Какъ же тебѣ, панъ, не совѣстно бить такого старика! А еслибы твоего стараго отца кто-нибудь сталъ безчестить такъ поносно при всѣхъ, какъ ты обезчестилъ старѣйшаго изъ всѣхъ насъ, — чтò тогда? весело тебѣ было бы терпѣть это? Ступай, панъ! Еслибы ты не у короля въ службѣ былъ, я бы тебя не выпустилъ живаго.

Выпущенный плѣнникъ побѣжалъ, отряхиваясь. За нимъ слѣдомъ повалилъ народъ. Между тѣмъ козакъ, отвязавши коня, привязаннаго къ церковной оградѣ, готовился сѣсть, какъ былъ остановленъ средняго роста воиномъ, посѣдѣвшимъ челобѣкомъ, который долго не отводилъ отъ него вниманія и заглядывалъ ему въ глаза съ такимъ любопытствомъ, какъ иногда собака, когда видитъ ядущаго хлѣбъ. „Добродію! Вѣдь я васъ знаю. Можетъ-быть, и правда? Ей-Богу, знаю. Не скажу — таки точно знаю. Ей Богу знаю! Чи вы Острица, чи вы Омельченко?“ — „Можетъ и онъ“. — „Ну, такъ! Я стою въ церкви и говорю: вотъ то, чтò стоитъ возлѣ его, то Острица. Ей, ей, Острица. Да можетъ-быть, и нѣтъ. Можетъ-быть, и не Острица. Нѣтъ, Острица. Ей, тебѣ такъ показалось! Ну, какъ нѣтъ? Острица да и Острица. Какъ только послушалъ голосъ, ну тогда и рукою махнулъ. Вотъ такъ точнехонько покойный батюшка — пусть ему легко икнется на томъ свѣтѣ! Также разумно бывало каждое слово отвѣтить.“

Острица внимательно началъ въ него всматриваться и нашелъ точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Носъ, загнутый внизъ, придавалъ ему нѣсколько горбатое сложеніе и неподвижность членамъ, но за то узенькіе сѣрые глаза продирались довольно увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей, которыя, вѣрно, придали бы лицу суровый видъ, еслибы нижняя часть лица, что-то простое и веселое въ губахъ, не давали ему противнаго выраженія. Подъ кобелякомъ, надѣтымъ въ рукава, видѣнъ былъ овчин-

ный козухъ, хотя воздухъ былъ довольно тепель и день былъ жарокъ.

— Я вѣрю и невѣрю, что вижу опять васъ. А чтѣ, добродію? не во гнѣвъ будь сказано. Прошу извинить, только хотѣлъ бы узнать, чтѣ сдѣлалось съ тѣми, которые пошли съ вами? Чтѣ Дигтай, Кузубія? воротились ли они съ вами, или тамъ остались, или воронъ, можетъ, гдѣ-нибудь добѣдаетъ козацки косточки?

— Дигтай твой сидитъ на колу у турецкаго султана, а Кузубія гуляетъ съ рыбами на днѣ Сиваша и тянетъ гнилую воду вмѣсто горилки... Но... ну, послѣ объ этомъ поговоримъ. Я тебя тоже узналъ. Здравствуй, старый Пудько! Христось воскресе!...

— Воистину воскресе! говорилъ цѣлуясь Пудько. — Какъ на то, и крашанки нѣтъ! Жинька давала, побоялся взять: народу такое множество... передавилъ бы на кисель. Такъ, добродію, какъ-будто сердце знало...

— Ты по-прежнему торгуешь всякою дрянью?

— А чтѣ-жъ дѣлать? Нужно торговать. Еще слава Богу, что продалъ табакъ. Прошлаго года отецъ съ полвоза накупилъ кремней, дробн, пороху, сѣры, ну и всего, чтѣ до мизеріи относится. Напросился на дорогѣ жидокъ одинъ. „Свези, человиче, на Хняквевску ярмарку; дамъ три рубля!“ Свезъ его какъ добраго, и надулъ проклятой жидокъ, ей Богу, надулъ! Хоть бы четвертку горилки далъ, гаспидъ лысый. Знаете, что у меня чуть было Ляхи не отняли всего скота? Кобылу взяли подъ верхъ вербуна. Теперь у меня только и конины, что гнѣдео, примолвилъ онъ, садясь на гнѣдого коня и видя, что Острианица поворотилъ коня ѣхать. Эхъ, добродію! Еслибы теперь кто сказалъ: „А ну, старый, гайда на войну бить Ляховъ!“ — все бы продалъ, и жинку, и дѣтей бы покинулъ, пошелъ бы въ компанейство. — При этомъ Пудько выпрямился и поскакалъ за Острианицею, который пришпорилъ сильнѣе коня своего. — Скажите, добродію, пане сотнику, говорилъ онъ, поровнявшись съ нимъ, — можетъ, вы теперь уже и не сотникъ, въ другой ротѣ какой значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы Божіи взяло на откупъ жидовство? Какъ же это, добродію, не обидно? каково было снести всякому христіанину, что горилка находится у враговъ христі-

анства? А теперь и храмы Божіи! Тутъ, добродію, нужно намъ взять вправо, ибо мимо валу нѣтъ уже проѣзду. Да и забылъ, что онъ при васъ былъ подкопанъ. Говорятъ, какъ свѣчка полетѣлъ подъ самое небо. Боже ты мой! сколько народу перемерло! Такъ и Дигтай, вы говорите, теперь сидитъ на колу? И Кузубія потонулъ? А какой важный, какой сильный народъ былъ. Сколько, подумаешь, пропадаетъ козачества! Вы слышите, какъ постукиваютъ хлопцы изъ мушкетовъ, что земля дрожитъ? Мы сейчасъ будемъ ѣхать мимо площади, гдѣ веселится народъ. Если вы въ хуторъ свой ѣдете, добродію, то и я съ вами. Лучше тамъ разговѣюсь святою пасхою, чѣмъ дома съ бабами. Пусть жинка и дочка остаются сами. Вѣрно, добродію, чтó произошло межъ народомъ, потому что всѣ столпились въ кучу и бросили всякое гулянье.

Въ самомъ дѣлѣ, на открывшейся въ это время изъ-за хатъ площади народъ сросся въ одну кучу. Качели, стрѣльба и игры были оставлены. Острианица, взглянувши, тотчасъ увидѣлъ причину: на шестѣ былъ повѣшенъ, вверхъ ногами, Жидъ, тотъ самый, котораго онъ освободилъ изъ рукъ разгнѣваннаго народа. На ту же самую висѣлицу тащили храбреца съ оборванными усомъ. Острианица ужаснулся, увидѣвъ это. „Нужно послѣшить“, говорилъ онъ, пришпоривъ коня. „Народъ не знаетъ самъ, чтó дѣлаетъ. Дурни! Это на ихъ же головы рушится.“ — Стойте, козаки, рыцарство и посполитый народъ! Развѣ этакъ по-козацки дѣлается? произнесъ онъ, возвыся голосъ.

— Что смотрѣть его! слышался говоръ между молодежью. — Въ другой разъ хочеть у насъ вытащить изъ рукъ.

— Послушайте, у кого есть свой разумъ.

— Онъ правду говорить... говорило нѣсколько умѣренныхъ.

— Молоды вы еще, я вамъ разскажу, какъ дѣлаютъ по-козацки. Когда одинъ да выйдетъ противъ трехъ, то бравый козакъ; противъ десяти — еще лучше; одинъ противъ одного — не штука; когда-жъ три на одного нападутъ, то всѣ не козаки. Бабы они тогда, то, что... плюнуть хочеть; для святого праздника не скажу срамнаго слова. Какъ же хотите теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитнаго, какъ будто на какую крѣпость

страшную? Спрашиваю васъ, братцы, продолжалъ Острица, замѣтивъ вниманіе, — какъ назвать тѣхъ?...

— А чѣмъ назвать его? заговорили многіе вполголоса. — Что же есть хуже бабы, или того, что онъ постыдился сказать? мы не знаемъ.

— Э, не къ тому рѣчь, паноча, своротилъ, произнесло въ голосъ нѣсколько паробковъ. — Чтожъ? Развѣ мы должны позволить, чтобы всякая падала топтала насъ ногами?

— Глупы вы еще: не великъ, видно, усь у васъ, продолжалъ Острица. При этомъ многіе ухватились за усы и стали покрывать ихъ, какъ бы въ опроверженіе сказаннаго имъ. — Слушайте, я расскажу вамъ одну присказку. Одинъ школяръ учился у одного дьяка. Тому школяру не далось Слово Божье. Вѣрно, онъ былъ придурковать, а можетъ-быть и лѣнь тому мѣшала. Дьякъ его поколотилъ дубинкою разъ, а послѣ въ другой, а тамъ и въ третій. „Крѣпко бьется, проклятая дубина,“ сказалъ школяръ, принесъ сѣкиру и изрубилъ ее въ куски. „Постой же ты!“ сказалъ дьякъ, да и вырубилъ дубину, толщиною въ оглоблю, и такъ погладилъ ему бока, что и теперь еще болятъ. Кто-жъ тутъ виноватъ: дубина развѣ?

— Нѣтъ, нѣтъ, кричала толпа: — тутъ виноватъ, виноватъ король!

Радуюсь, что наконецъ удалось успокоить народъ и спасти шляхтича, Острица выѣхалъ изъ мѣстечка и пришпорилъ коня сильнѣе, и услышалъ, что его нагоняетъ Пудько. Какъ-то тягостно ему было видѣть возлѣ себя другого. Множество скопившихся чувствъ нудило его къ раздумью. Свѣжій, тихій весенній воздухъ и притомъ нѣжно одѣвающіяся деревья какъ-то располагали въ такое состояніе, когда всякой товарищъ бываетъ скученъ въ глазахъ вѣчно упительной природы. И потому Острица выдумалъ предлогъ отослать впередъ Пудька въ хуторъ и ожидать его тамъ, а самъ, сказавъ, что ему еще нужно ѣхать къ одному пану, новоротилъ съ дороги.

Этимъ распоряженіемъ Пудько, кажется, не былъ недоволенъ, или можетъ, только принялъ на себя такой видъ, потому что черезъ это ни мало не измѣнялъ любимой привычекъ своей тово-

рить. Вся разница, что вмѣсто Острицы, онъ все это пересказывалъ своему гнѣдкѣ... „О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, гнѣдко! Онъ тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на Ляховъ, онъ славную имъ далъ перепойку. Дали-бъ и они ему перцу, когда бы не улизнулъ на Запорожье. А правда? не важно Жидъ болтается на висѣлицѣ? а пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него не достаетъ одной клепки въ головѣ. Ну да что-жь дѣлать? Онъ отъ короля поставленъ. Можетъ, ты еще спросишь, за что-жь Жидъ повѣсили? вѣдь и онъ отъ короля поставленъ? Гм!... вѣдь ты дуракъ, гнѣдко! Онъ за то врагъ Христовъ, нашего Бога святого.“ Тутъ онъ ударилъ хлыстомъ своего скромнаго слушателя: убаюкиваемый его росказнями, (онъ) развѣсилъ уши и началъ ступать уже шагомъ. „Оно не такъ далеко и хуторъ, а все лучше раньше поспѣть. Уже давно-пора, хочется разговѣться святою пасхою. Говори жоль, мнѣ не пасхи, мнѣ овса подавай. Потерпи немножко: у пана славный овесъ, и пшеницы дамъ въ волю, и сивухою попотчиваютъ. Я давно хотѣлъ у тебя спросить, гнѣдко, что лучше для тебя, пшеница или овесъ? Молчишь? Ну, и будешь же вѣкъ молчать, потому что Богъ повелѣлъ только человѣку, да еще маленькой пташкѣ...“

При этомъ онъ опять хлеснулъ гнѣдка, замѣтивъ, что онъ вслушался и сталъ выступать по-прежнему.... Но, вмѣсто того, чтобы слушать разсужденія нашихъ путешественниковъ на сѣдлѣ и подъ сѣдломъ, обратится къ Острицѣ, давно скакавшему по проселочной дорогѣ.

Глава II.

Какъ только рыцарь потерялъ изъ виду своего сотоварища, тотчасъ остановилъ рысь коня своего и поѣхалъ шагомъ. Солнце показывало полдень. День былъ ясный, какъ душа младенца. Изрѣдка два, или три небольшихъ облака, повиснувъ, еще болѣе увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечныя были осязательно-живительны; вѣтра не было, но щеки чув-

ствовали какое-то тонкое вліяніе свѣжести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытымъ нивамъ, на которыхъ стройно, какъ будто лѣсъ житныхъ иголь, восходилъ молодой посѣвъ. Дорога входила въ рытвины и была съ обѣихъ сторонъ сжата крутыми глинистыми стѣнами. Безъ сомнѣнія, очень давно была прорыта эта дорога въ горѣ, потому что по обѣимъ сторонамъ обрыва поросла орѣшникомъ; на самой же горѣ подымались по обѣимъ сторонамъ высокіе, какъ стрѣла, осокори. Иногда перемеживала ихъ лоза, вся въ отпрыскахъ, иногда дубъ толстый, которому сто лѣтъ, и, весь убранный павеликой, плющомъ, величаво расширялъ свою (верхушку) надъ ними и казался еще выше отъ обросшаго кустами подмостка. Мѣстами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми вѣтвями на противоположную сторону и образовала надъ головою сводъ, и сыпала на голову путешественника серебряно-розовые цвѣты свои, между тѣмъ какъ изъ деревъ часто выглядывалъ обрывъ, весь въ цвѣтахъ и самыхъ нѣжныхъ первенцахъ весны. Уже дорога становилась шире, и наконецъ открылась равнина раздольная, ограниченная, какъ рамами, синеватыми вдали горами и лѣсами, сквозь которыя искрами серебра блестя прерванная нить рѣки и подъ нею стлались хутора. Здѣсь путешественникъ нашъ остановился, всталъ съ коня и, какъ будто въ усталости или въ желаніи собраться съ мыслями, сталъ поваживаться по лбу. Долго стоялъ онъ въ такомъ положеніи, наконецъ, какъ бы рѣшившись на что, сѣлъ на коня и уже не останавливаясь болѣе, поѣхалъ въ ту сторону, гдѣ на косогорѣ синѣли сады и, по мѣрѣ приближенія, становились болѣе разбросанныя хаты. Посреди хутора, надъ прудомъ, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, свѣтлица. Очеретяная ея крыша, мѣстами поросшая зеленью, на которой ярко отливалась желтая свѣжая заплата, съ бѣлою трубой, покрытою китайскою черною крышей, была очень хороша. Въ ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерніе, и тогда нѣжный серебряно-розовый колеръ цвѣтущихъ деревъ становился пурпурнымъ. Путешественникъ слѣзъ съ коня и, держа его за поводъ, пошелъ пѣшкомъ черезъ плотину, стараясь идти какъ можно тише. Полощущаяся

утки покрывали прудъ; чрезъ плотину дѣвочка лѣтъ семи гнала гусей.

— Дома панъ? спросилъ путешественникъ.

— Дома, отвѣчала дѣвочка, разинувъ ротъ и ставъ совершенно въ машинальное положеніе.

— А пани?

И пани дома.

— А панночка? Это слово произнесъ путешественникъ какъ-то тише и съ какимъ-то страхомъ.

И панночка дома.

— Умная дѣвочка! Я дамъ тебѣ пряникъ. А какъ сдѣлаешь то, что я скажу, дамъ и другой, еще и золотой.

— Дай! говорила простодушно дѣвочка, протягивая руку.

— Дамъ, только поди напередъ къ панночкѣ и скажи, чтобъ она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ея. Слышишь? Ну, скажешь ли ты такъ?

— Скажу.

— Какъ же ты скажешь ей?

— Не знаю.

Рыцарь засмѣялся и повторилъ ей снова тѣ самыя слова, и, наконецъ, увѣрившись, что она совершенно поняла, отпустилъ ее впередъ, а самъ, въ ожиданіи, сѣлъ подъ вербою.

Не прошло нѣсколько минутъ, какъ мелькнула между деревьями бѣлая сорочка, и дѣвушка лѣтъ осьмнадцати стала спускаться къ греблѣ. Шедковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали станъ ея, такъ что формы ея были какъ будто отлиты. Стройная роскошь совершенно нѣжныхъ (членовъ) не была скрыта. Широкіе рукава, шитые краснымъ шелкомъ и всѣ въ мерзкахъ, спускались съ плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, какъ спѣющее яблоко, тогда какъ на груди подъ сорочкою упруго трепетали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотолѣ опущенную голову, и черныя очи и брови мелькнули какъ молнія. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся къ греческому; ничего въ ней не было законо, прекрасно-правильно. Ни одна черта лица, ничто не

соотвѣтствовало съ положенными правилами красоты. Но въ этомъ своенравномъ, нѣсколько смугловатомъ лицѣ что-то было такое, что вдругъ поражало. Всякой взглядъ ея полонилъ сердце, душа занималась, и дыханіе отрывисто становилось.

— Откудава ты, человекъ добрый? спросила она, увидѣвъ козака.

— А изъ Запорожья, панночка; зашелъ сюда по просьбѣ одного пана, коли милости вашей извѣстно, Острилицы.

Дѣвушка вспыхнула. А ты видѣлъ его?

— Видѣлъ. Слушай....

— Нѣтъ, говори по правдѣ! Еще разъ: видѣлъ?

— Видѣлъ.

— Забожись!

— Ей Богу!

— Ну, теперь я вѣрю, повторила она немного успокоившись. Гдѣ-жъ его видѣлъ? Что, онъ не позабылъ меня?

— Тебя позабыть, моя Ганночка, мое серденько, дорогой ты кристаль мой, голубочка моя! Развѣ хочется мнѣ быть растоптану татарскимъ конемъ?... Тутъ онъ схватилъ ее за руки и посадилъ подлѣ себя. Удивленіе дѣвушки такъ было велико, что она краснѣла и блѣднѣла, не произнося ни одного слова.

— Какъ ты сюда прилетѣлъ? говорила она шепотомъ. — Тебя поймають. Еще никто не позабылъ про тебя. Ляхи еще не вышли изъ Украйны.

— Не бойся, моя голубочка, я не одинъ, не поймають. Со мною соберется кой-кто изъ нашихъ. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?

— Люблю, отвѣчала она и склонила къ нему на грудь разгорѣвшееся лицо.

— Когда любишь, слушай же, что я скажу тебѣ: убѣжимъ отсюда! Мы поѣдемъ въ Польшу къ королю. Онъ, вѣрно, дастъ мнѣ землю. Не то, поѣдемъ хоть въ Галицію, или хоть къ султану; и онъ дастъ мнѣ землю. Мы съ тобою не разлучимся тогда и живемъ такъ же хорошо, еще лучше, чѣмъ тутъ на хуторахъ нашихъ. Золота у меня много, ходить есть въ чемъ, — субонъ, епанечекъ, чего захочешь только.

— Нѣтъ, нѣтъ, козакъ, говорила она, кивая головою съ грустнымъ выраженіемъ въ лицѣ, — не пойду съ тобою. Пусть у тебя и золото, и сукно, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чѣмъ всѣ сокровища, но не пойду. Какъ я оставлю престарѣлую бѣдную мать мою? Кто приглядитъ за нею? „Глядите, люди,“ скажетъ она, „какъ бросила меня родная дочка моя!“ — Слезы покатались по ея щекамъ.

— Мы не надолго ее оставимъ, говорилъ Острица:— только годъ одинъ пробудемъ на Перекопѣ, или на Запорожьѣ, а тогда я выхлопочу грамоту отъ короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажетъ ничего и отецъ твой.

Галя *) качала головою все съ тою же грустью и слезами на глазахъ.

— Тогда мы оба станемъ присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старѣе твоей. Но я не сижу съ ней вмѣстѣ. Придетъ время, женюсь, тогда и не то будетъ со мною.

— Нѣтъ, полно. Ты не то, ты — козакъ; тебѣ подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чемъ тебѣ не думать. Еслибъ я была козакомъ, и я бы закурила люльку, сѣла на коня — и все мнѣ (при этомъ она махнула граціозно рукой) — тринь трава! Но чтò будешь дѣлать? я козачка. У Бога не вымолишь, чтобъ пережѣнялъ долю.... Еще бы я кинула, можетъ быть, когда бы она была на рукахъ у добрыхъ людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каковъ отецъ мой. Онъ приберетъ ее; жизнь ея, бѣдненькой моей матери, будетъ горше полни. Она и то говорить: „Видно, скоро поставятъ надо мною крестъ, потому что мнѣ все снится — то, что она за мужъ выходитъ, то, что рядятъ ее въ богатое платьѣ, но все съ черными пятнами.

— Можетъ-быть, тебѣ оттого такъ жаль своей матери, что ты не любишь меня, говорилъ Острица, поворотивъ голову на сторону.

— Я не люблю тебя? Гляди: я, какъ хмѣлинонька около ду-

*) Въ подлинникѣ *Прися*; но какъ авторъ въ другихъ мѣстахъ всегда называетъ ее Галей и т. п. уменьшительными отъ *Ганна*, то мы и здѣсь сохраняемъ это названіе. Подобное измѣненіе иметъ, въ черновыхъ рукописяхъ, у Гоголя встрѣчается весьма часто.

ба, вьюсь къ тебѣ, говорила она, обвивая его руками. — Я безъ тебя не живу.

— Можетъ-быть, вмѣсто меня, кто-нибудь другой со шпорами, съ золотою кистью.... что добраго? можетъ быть и Ляхъ?

— Тарась, Тарась! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебѣ? Зачѣмъ ты укоряешь меня такъ? сказала она, почти упавъ на колѣнахъ и въ слезахъ.

— О, вашъ родъ таковъ, продолжалъ все такъ же Острица. — Вы, когда захотите, подымете такой вой, какъ десять волчицъ, и слезъ, когда захотите, напускаете въ волю, хоть ведра подставляй, а какъ на дѣлѣ....

— Ну, чего-жъ тебѣ хочется, скажи, что тебѣ нужно, чтобъ я сдѣлала?

— Ъдешь со мною или нѣтъ?

— Ъду, ъду!

— Ну, вставай, полно плакать, встань моя голубочка, Галочка! говорилъ онъ, принимая ее на руки и осыпая поцѣлуньями. — Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отниметъ. Не плачь, моя.... За это согласенъ я, чтобы ты осталась съ матерью, до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ наше горе. Что дѣлаетъ отецъ твой?

— Онъ спалъ въ саду подъ грушею. Теперь я слышу — вѣдутъ ему коня. Вѣрно онъ проснулся. Прощай! Совѣтую тебѣ ѣхать скорѣе и лучше не попадаться ему теперь: онъ на тебя сердить. — При этомъ Ганна вскочила и побѣжала въ свѣтлицу...

Острица медленно садился на коня и, выѣхавши, оборачивался нѣсколько разъ назадъ, какъ (бы) желая вспомнить, не позабылъ ли онъ чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнулъ онъ своего хутора.

Глава III*).

Небо звѣздилось, но одѣяніе ночи было такъ темно, что ры-

*) Хотя означенія этой главы въ подлинникѣ нѣтъ, но по предыдущимъ и слѣдующимъ означеніямъ главъ, также по ходу разсказа и начала въ красную строку видно, что тутъ должно поставить главу III.

царь едва могъ только примѣтить хаты, почти подѣхавъ къ самому хутору. Въ другое время путешественникъ нашъ, вѣрно бы, досадовалъ на темноту, мѣшавшую взглянуть на знакомыя хаты, сады, огороды, нивы, съ которыми срослось его дѣтство. Но теперь столько его занимали происшествія дня, что онъ не обращалъ вниманія, не чувствовалъ, почти не замѣтилъ, какъ заливавшіяся со всѣхъ сторонъ собаки прыгали передъ лошадыю его такъ высоко, что, казалось, хотѣли ее укусить за морду. Такъ человекъ, котораго будятъ, открываетъ на мгновеніе глаза и тотчасъ ихъ смежить, онъ еще не разлучился со сномъ, лѣнивою рукою беретъ онъ за халатъ, но это движеніе для того только, чтобъ обмануть разбудившаго его, будто онъ хочетъ вставать, а между тѣмъ онъ еще весь въ бреду и во снѣ, щеки его горятъ, можно читать цѣлый водопадъ сновидѣній, и утро дышетъ свѣжестью, и лучи солнца еще такъ живы и прохладны, какъ горный ключъ. Конь самъ собою ускорилъ шагъ, угадавъ родимое стойло, и только однѣ привѣтливныя вѣтви вишень, которыя перекидывались черезъ плетень, стѣснявшій узкую улицу, хлестая его по лицу, заставляли его иногда братья рукою. Но это движеніе было машинально. Тогда только, когда конь остановился подъ воротами, онъ очнулся. Низенькія, рѣшетчатыя ворота открылись *). Кто такой.... **)? Наконецъ ворота открылись. Острица вѣхалъ во дворъ, но, къ изумленію своему, чуть не наѣхалъ на трехъ улановъ, спящихъ въ мундирахъ. Это выгнало всѣ мечты изъ головы его. Онъ терялся въ догадкахъ, откуда взялись польскіе уланы. Неужели успѣли уже узнать о его пріѣздѣ? И кто бы могъ открыть это? Еслибы точно узнали, то какъ можно въ такомъ скоромъ времени совершить эту экспедицію? и гдѣ же дѣлись его запорожцы, которые должны были еще утромъ поспѣть въ его хуторъ? Все это повергло его въ такое недоумѣніе, что не зналъ, на что рѣшиться: ѣхать ли

*) Можетъ-быть къ этому мѣсту относится слѣдующая выписка на полѣ безъ значка: „очень замѣчательная достопамятность въ той странѣ, гдѣ древностей почти не было, гдѣ брани, вѣчныя брани, производили жестокое опустошеніе и обращали въ руины все то, что успѣвали сдѣлать трудолюбіе и общезнательность.“

***) Тутъ очевидно пропускъ.

опрометью назадъ, или остаться и узнать причину такой странности? Онъ былъ тронуть тѣмъ самымъ, который отперъ ему ворота. Первымъ движеніемъ его было схватиться за саблю, но, увидивши, что это запорожець, онъ опустилъ руку....

— Но пойдите, добродію, въ свѣтлицу: здѣсь не въ обычай говорить и слишкомъ многолюдно, отвѣчалъ послѣдній.

Въ сѣняхъ вышла старая ключница, бывшая нянькой нашего героя, съ каганцемъ въ рукахъ. Осмотрѣвши съ головы до ногъ, она начала ворчать: „Чего васъ чортъ носить сюда? Все только пугаютъ меня. Я думала, что нашъ панъ пріѣхалъ. Что вамъ нужно? Еще мало горилки выпили!

— Дурна баба? размотри хорошенько: вѣдь это панъ вашъ.

Горпина начала снова осматривать, съ ногъ до головы, наконецъ вскрикнула; — Да это ты, мой голубчикъ! Да это-жъ ты, моя матусенька! Да это-жъ ты, мой соколь! Какъ ты переи́нился весь! какъ же ты загорѣлъ! какъ же ты обросъ! Да у тебя я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не далъ переи́нить. — Тутъ Горпина рыдала на-взрыдъ и подняла такой вой, что лай собакъ, который было началъ стихать, удвоился.

— Сумасшедшая баба! говорилъ запорожець, отступивши и плюнувши ей прямо въ глаза. — Чего съ дуру ты заревѣла? Народъ весь разбудишь!

— Довольно, Горпина, прервалъ Острица. — Вотъ тебѣ, гляди на меня! Ну, насмотрѣлась?

— Насмотрѣлась, моя матинько родная! Какъ не наглядѣться! Еще когда ты маленькимъ былъ, носила я на рукахъ тебя, и какъ выросталъ, все не спускала глазъ, Боже мой! а теперь вотъ опять вижу тебя! Охо, хо! и старуха принялась рыдать.

— Слушай, Горпино! сказалъ Острица, примѣтивъ, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. — Лучше ты принеси закусить чего-нибудь и напередъ подай святой пасхи, потому что я, грѣшный, цѣлый день сегодня не ѣлъ ничего и даже не пробовалъ пасхи.

— Да ты-жъ вотъ-ото и пасхи не отвѣдывалъ, бѣдная моя головонька! Несчастливая горемыка я на этомъ свѣтѣ! Охо, хо! Тутъ потоки словъ, разрѣшившись, хлынули цѣлымъ водопадомъ,

и подперши щеку рукою, снова была готова завывать, еслибы не увидѣла надъ собою замахнувшейся руки запорожца.

— Добродію! Позволь кіемъ угомонить проклятую бабу! Чтѣ это за сорожннй народъ! Пришла-жь охота Господу Богу породить эдакое племя! Или ему недосугъ тогда былъ, или Богъ его знаетъ, чтѣ тогда было....

Острианица вошелъ между тѣмъ въ свѣтлицу и, снявши съ себя кобенякъ, бросился на коверъ. Дорога, голодъ и встрѣчи привели его въ такую усталость, что онъ растянулся на немъ въ совершенной безчувственности, не обращая ни на чтѣ глазъ своихъ, а потому наше дѣло представить описаніе свѣтлицы, замѣчательной тѣмъ, что постройка ея принадлежала еще дѣду. Это была просторная, болѣе продолговатая, комната и вмѣстѣ съ тѣмъ низенькая, какъ обыкновенно строилось въ тотъ вѣкъ. Ничто въ ней не говорило о прочности, какъ будто кажется, строитель былъ твердо увѣренъ, что ея существованіе должно быть эфемерно; но, однакъ, поправками, придѣлками, ветхое строеніе простояло около 50 лѣтъ. Стѣны были очень тонки, вымазаны глиною и выбѣлены снаружи и внутри такъ ярко, что глаза едва могли выносить этотъ блескъ. Весь полъ въ комнатѣ былъ тоже вымазанъ глиною, но такъ былъ чисто выметенъ, что на немъ можно было лечь, не опасаясь заплянуть платья. Въ углу комнаты, у дверей находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ея, обращенная къ окнамъ, была покрыта бѣлыми изразцами, на которыхъ синею краскою были нарисованы подобія человѣческими лицами, съ желтыми глазами и губами: другая сторона состояла изъ зеленыхъ гладкихъ изразцовъ. Окна были невелики, круглы; матовыя стекла, пропуская свѣтъ, не давали видѣть ничего происходившаго на дворѣ. На стѣнѣ висѣлъ портретъ дѣда Острианицы, воевавшего съ знаменитымъ Баторіемъ. Онъ былъ изображенъ почти во весь ростъ, въ кольчугѣ, съ парю (пистолетовъ), заткнутою за поясъ; нижняя часть ногъ до колѣнъ не была только видна. Потемнѣвшія краски едва позволяли видѣть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвѣстно. Надъ дверьми висѣла тоже небольшая картина, масля-

ними красками, изображающая беззаботнаго запорожца съ боченкомъ водки, съ надписью: *Козакъ душа правдивая, сорочки не мѣе...* которую и донинѣ можно иногда встрѣтить въ Малороссіи. Противъ дверей — нѣсколько иконъ, убранныхъ калиною и зелеными цвѣтами, а подъ ними на длинной деревянной доскѣ нарисованы сцены изъ Священнаго Писанія: тутъ былъ Авраамъ, прицѣливающійся изъ пистолета въ Исаака; Святой Даміанъ, сидящій на колу, и другія подобныя; подалѣе висѣло нѣсколько турецкихъ саблей, ружье и разной величины пистолеты; неподвижный подъ образами столъ, накрытый чистою скатертью, ниткою по краямъ краснымъ шелкомъ и потемнѣвшимъ серебромъ; два страннаго вида складныхъ стула. Въ этомъ состояло убранство комнаты... Острица между тѣмъ теперь только замѣтила, что столъ былъ уставленъ деревянными блюдами съ яйцами, масломъ и бараниною. Первымъ его дѣломъ было приблизиться къ столу и утолить голодь, который теперь началъ сильнѣе докучать ему.

Въ это время вошла старая ключница съ пасхой, съ сметаной, сыромъ.... — Вотъ тебѣ, паноченьку мой, и розговини! вотъ тебѣ и сметанка! говорила (она). — Куда-жъ, какъ онъ проголодался, бѣдная дытны! Вотъ какъ не подавится, бѣднейкій! А я-то думала, а я хлопотала, а я бѣгала, какъ бы ему, моему сердечному... А вотъ Господь сподобилъ, опять вижу тебя. Охо, хо, хо!

Горпина опять было хотѣла вслакнуть, но запорожець Пудько, который началъ было подремывать, сидя возлѣ насыщавшаго свой голодь рыцаря, устремилъ на нее глаза и проговорилъ: „Ну, ну, ну, попробуй только заревѣть!...“

Это остановило намѣреніе Горпины.... — Кушай, кушай, сынку мой, ѣшь на здоровье, ѣшь, я не мѣшаю тебѣ! Голубчикъ мой! Мы съ тобою только разъ христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!...

— Еще и христосоваться! проговорилъ Пудько сквозь сонъ и схватилъ, вмѣсто пуги, Горпинину ногу. — Пошла, проклятая баба!

— Ступай, Горпино! полно тебѣ! проговорилъ, поднявшись, Острица. — А не то я, несмотря на то, что ты стара, и что

нянчила меня, сниму со стѣны вотъ этотъ батогъ; видишь ты этотъ батогъ?

Горпина, которая привыкла бояться повелительнаго голоса своего пана, немедленно повиновалась.

— Ну, Пудько, гдѣ-жъ Тарасъ? Что онъ дѣлаетъ? Что я его не вижу?

— А что-жъ ему дѣлать! Извѣстно, что дѣлаетъ: спитъ гдѣ-нибудь.

— Ну, такъ пойдемъ же и мы спать, только не въ душной хатѣ, а на вольной землѣ, подъ небомъ.

Запорожецъ натянулъ на себя кобенякъ и пошелъ вслѣдъ за Острианицею изъ свѣтлицы, въ которой чуть было не упалъ, зацѣпившись за что-то лежавшее у порога, но голосу которое не дало.... завернувшееся въ кожухъ туловище. Острианица узналъ Курника, но замѣтно было, что онъ хватилъ не меньше другихъ, потому что въ его словахъ была страшная противоположность тому, что онъ говорилъ въ дверяхъ. Даже самый образъ выраженія былъ не тотъ; множество словъ вмѣшивалось такихъ, которыхъ странно и смѣшно было отъ него слышать. Замѣтно было, что на него много сдѣлали вліянія запорожцы. „Эхъ, славная конница у запорожцевъ! Торо, торо, торо, гайда, гопъ, гопъ, гопъ! Эка славная конница у запорожцевъ! Торо, торо, гопъ, гопъ, гопъ! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мнѣ, какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты мужичекъ? Зачѣмъ ты пришелъ? Не могу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо! гопъ, гопъ, гопъ!“ и тому подобное. Острианица попробовалъ было подойти къ атаману, котораго указалъ ему Пудько и который лежалъ, подмостивши себѣ подъ голову боченокъ, но услышалъ отъ него одни совершенно безсвязныя слова, изъ чего онъ заключилъ, что всѣ гуляли какъ слѣдуетъ, и рѣшился оставить ихъ въ покоѣ и присоединиться къ другимъ, которыхъ храпѣніе составляло самую фантастическую музыку. Скоро всѣ уснули.

Глава IV.

Однакожь Острица долго не могъ заснуть; напрасно переворачивался онъ съ боку на бокъ и пробовалъ всѣ положенія: сонъ убѣгалъ его, а думы незванныя приходили и силою ложились въ его мозгу. Итакъ, его пріѣздъ понапрасну, и столько приготовленій, столько заботъ — все по-пустому! Она не хочетъ ѣхать съ нимъ. Такъ это вотъ та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери: для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда можетъ еще думать при ней о другомъ, объ отцѣ или матери? Нѣтъ, нѣтъ! Гдѣ любовь настоящая, такая, какъ слѣдуетъ, тамъ ни брата, ни отца. — „Нѣтъ, я хочу“, говорилъ онъ, разбрасывая руками, „чтобъ она или меня одного, или никого не любила. Цѣлуй, прижимай меня! Пусть жаръ дыханья твоего пахнетъ мнѣ на щеки! Обнимая дрожащія груди твои, прижму тебя къ моимъ грудямъ... И еще при этомъ думать о другомъ!... О, какъ чудно, какъ странно создана женщина! какъ приводитъ она въ бѣшенство! весь горяишь, пламень въ сердцахъ, душно; тоска, агонія.... а сама она, можетъ, и не знаетъ, чтѣ творить въ насъ; она себѣ такъ, какъ ни въ чемъ не бывало; глядитъ безпечно и не знаетъ, чтѣ за муку произвела!“

Но между тѣмъ луна, плывшая среди необозримаго, синяго, роскошнаго неба, и свѣжій воздухъ весенней ночи на время успокоили его мысли. Онъ излился въ длинномъ монологе, изъ котораго, можетъ-быть, узнаютъ (читатели) сколько-нибудь жизнь героя. „И какъ ей, въ самомъ дѣлѣ, оставить бѣдную мать, которая когда-то ее лелѣяла и которую теперь она лелѣетъ, для которой нѣтъ ничего и не будетъ уже ничего въ мірѣ, когда не будетъ ея дочери! Она одна для нея радость, пища, жизнь, защита отъ отца. Нѣтъ, права она. И странная судьба моя! Отца я не видалъ: его убили на войнѣ, когда меня еще на свѣтѣ не было. Матери я видѣлъ только посинѣлый и разрѣзанный трупъ. Она, говорятъ, утонула. Ее вытянули мертвую и изъ утробы ея вырѣзали меня безчувственнаго, неживаго. Какъ

мнѣ спасли жизнь, самъ не знаю. Кто спасъ? Зачѣмъ спасъ? Лучше бы пропалъ, не живши. Чужіе призрѣли. Еще малъ и глупъ — я уже наѣздничалъ съ запорожцами. Опять случай: меня полонили татары. Не годится жить межъ ними христіанину, пить кобылье молоко, ѣсть конину. Однакожъ я былъ веселъ душой; ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вотъ пріѣхалъ я на родину, сирота сиротою. Не встрѣтилъ никого знакомаго. Хотя бы собака была такая, которая знала меня въ дѣтствѣ. Никого, никого! Однакожъ, хотя грустная, а все-таки радость была — и печально, и радостно! Больно было глядѣть, какъ посмѣвался католикъ православному народу, и вѣстѣ весело. Подожди, Ляше, увидишь, какъ растопчетъ тебя вольный рыцарскій народъ! Чтѣ же? Вотъ тебѣ и похвалился! Увидѣлъ хорошую дивчину — и все позабылъ, все къ чорту. Охъ, очи, черныя очи! Захотѣлъ Богъ погубить людей за беззаконья, и послалъ васъ! Собиралось компанейство отмстить за ругательства надъ Христовой вѣрой и за безчестье народу. Я ни о чемъ не думалъ, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. Въ недобрый часъ затѣялась эта битва. Чтѣ-то дѣлають теперь въ Польшѣ, коронный гетманъ, сеймъ и полковники? Грѣхъ лежать на печкѣ. Еще бы можно было поправить; вражья потеря, вѣрно-бъ, была сильнѣе, когда бы ударилъ изъ засады я. Вѣжать всѣ запорожцы, увидавъ, что и Галькинъ отецъ держитъ вражью сторону. А все вы, черныя брови, вы всему виной! И вотъ я снова пріѣхалъ сюда съ ватагою товарищей; но не правда и месть, и жажда искупить себѣ славу силой и кровью завели меня, все вы, все вы, черныя брови! Дивно диво — любовь! Ни объ чемъ не думаешь, ничего на свѣтѣ не хочешь, только сидѣть бы возлѣ ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе къ себѣ, такъ, чтобы пылающія щеки коснулись щеки, и все бы глядѣть. Боже! какъ хороша она была, смѣясь! Вотъ она глядитъ на меня. Серденько мое Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Чтѣ-то теперь дѣлаешь ты? Вѣрно, лежишь и думаешь обо мнѣ! Нѣтъ, не могу, не въ силахъ оставить тебя, не оставляю ни за чтѣ... Какъ же придумать?... Голова моя горитъ, а не знаю, чтѣ дѣлать! Поѣду къ королю, упрошу Ивана Остра-

ницу: онъ добудеть мнѣ грамоту и королевское прощеніе, и тогда, тогда.... Богъ знаетъ, что тогда будетъ! Только все лучше, я буду близъ нея жить....“

Такъ раздумывалъ и почти разговаривалъ самъ съ собою Острианица; уже онъ обнималъ въ мысляхъ и свою Галю виѣсть; уже воображалъ себя съ нею въ одной свѣтлицѣ; они хозяйничаютъ въ этомъ земномъ раѣ.... Но настоящее опять вторгалось въ это обворожительное будущее, и герой нашъ въ досадѣ снова разбрасывалъ руками; кобеньякъ слетѣлъ съ плечъ. Его терзала мысль, какимъ образомъ объявить запорожскому отаману, что теперь уже онъ оставляетъ свое предпріятіе и, стало-быть, помощь его больше не нужна.

Г л а в а V.

Какъ только проснулся Острианица, то увидѣлъ весь дворъ, наполненный народомъ: усы, байбаракы, женскіе парчевые кораблики, бѣлыя наметки, синіе кунтуши; однимъ словомъ, дворъ представлялъ игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкій платокъ. Со всею этою кучею народа (онъ) долженъ былъ переѣловаться и принять неимовѣрное множество яицъ, подносимыхъ въ шапкахъ, въ платкахъ, утокъ, гусей и прочаго — обыкновенную дань, которую подносили поселане своему господину, который, съ своей стороны, долженъ былъ отблагодарить угощеніемъ. Подносимое принято; и такъ какъ яйца, будучи сложены въ кучу, казались пирамидою ядеръ, выставленныхъ на крѣпости, (то) противъ этого хозяинъ выкатилъ двѣ страшныя бочки горилки для всѣхъ гостей, и хуторяны сдѣлали самое страшное вторженіе. Поглаживая усы, толпа нетерпѣливо ждала вступить въ бой съ этимъ драгоценнымъ непріателемъ. И между тѣмъ, какъ одна толпа бросилась на столы, трещавшіе подъ баранами, жареными поросятами съ хрѣномъ, а другая къ пустившему хмѣльный водопадъ, боясь ослушаться власти отамана, который наконецъ гостей принималъ — держа въ рукахъ плеть. Онъ хлесталъ ею одного изъ подчиненныхъ сво-

ихъ, который стоялъ неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стenanія при каждомъ ударѣ. Отѣманъ приговаривалъ такимъ дружескимъ образомъ, что еслибы не было въ рукахъ плети, то можно подумать, что онъ ласкаетъ родного сына. „Вотъ это тебѣ, голубчикъ, за то, чтобъ ты зналъ, какъ почитать старшихъ! Вотъ тебѣ, любезный, еще на придачу! А вотъ еще одинъ разъ! Вотъ тебѣ еще другой! Да, голубчикъ, не дѣлай такъ! А вотъ это какъ тебѣ кажется? А этотъ вкусенъ? Признайся, вкусенъ! Когда по вкусу, такъ вотъ еще! Что за славная плеть! чудная плеть! Что, какъ вотъ это? Нашлись же такіе искусники, что такъ хитро сплели! Что, танцуешь? Тебѣ, видно, весело? То-то, я зналъ, что будетъ весело. Я затѣмъ тебя и благословляю такъ....“ Тутъ отѣманъ наконецъ увидѣлъ, что молодой преступникъ, несмотря на все стараніе устоять на мѣстѣ, готовъ былъ закричать, остановился. „Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись!“ Принявшій удары, съ опущенными глазами, изъ которыхъ ручьемъ полились слезы, приблизился и отвѣсилъ поклонъ въ ноги. „Говори, любезный: благодарю, отѣманъ, за науку!“

— Благодарю, отѣманъ, за науку!

— Теперь ступай! гайда! задай перцу баранамъ и сивухѣ!

— Христось воскресъ, отѣманъ! Мы съ тобою еще не христосовались.

— Воистину воскресъ! отвѣчалъ отѣманъ.

— Нѣтъ ли у тебя въ запасѣ губки? Охота забираетъ люльбу затынуть. При этомъ вложилъ въ зубы, вытянутую изъ кармана, трубку.

— Какъ не быть! Это занятіе, когда матерія не клеится.

— Я хотѣлъ сказать тебѣ дѣло, промолвилъ Острица съ нѣкоторою робостью.

— Гмъ! отвѣчалъ отѣманъ, вырубая огонь.

— Мое дѣло не клеится.

— Не клеится? промолвилъ, раскуривая трубку. — Погано!

— Врядъ ли намъ что-нибудь достанется здѣсь.

— Не достанется?... Погано!

— Придется намъ возвратиться ни съ чѣмъ.

— Гмъ!...

— Чтò-жъ ты скажешь? спросилъ Острица, удивленный такимъ неудовлетворительнымъ отвѣтомъ.

— Когда воротиться, отвѣчалъ запорожець, сплевывая, — такъ и воротиться.

Острицу ободрило такое равнодушiе. — Только я не пойду съ вами; я пойду на время въ Варшаву.

— Гмъ! отвѣчалъ отаманъ.

— Ты, можеть-быть, сердить на меня, что я такъ обманулъ и поддѣлъ васъ? Божусь, что я самъ обманутъ!

При этомъ словѣ грянула музыка, и вмѣстѣ съ нею грянуло топанье танцующихъ. Отаманъ, съ трубкою въ зубахъ, ринулся въ кучу танцующей компанiи, очистилъ около себя кругъ и пустился выбивать ногами и въ присядку.

Глава VI *).

— Чтò онъ себѣ думаетъ, этотъ дурень Острица? говорилъ старый Пудько. — Щенокъ! Еще и родиться задумалъ со мною! Поганый нечестивецъ! Поди къ матери своей, чтобъ доносила напередъ! И достало духу у него сказать это! Дурень, дурень! говорилъ онъ, дергая рукою, какъ будто дралъ кого-нибудь за волоса. — Молодъ козакъ, усъ еще не прошибся! Старой Кузубiя не могъ вынести, когда видѣлъ, что младшiй равняется съ старшими. — Знать долженъ, что кто задумалъ мстить, тотъ у того не жди уже милости. Скорѣе солнце посинѣетъ, вмѣсто дождя посыплются раки съ неба, чѣмъ я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! не хочу! Жинко! жинко! — Этими восклицанiемъ обыкновенно окачивалъ онъ свою рѣчь, когда бывалъ сердить, и Боже сохрани жинкѣ не явиться тотъ же часъ! На эту рѣчь, едва передвигая ноги, пришло или, лучше сказать, приползло изсохнувшее, едва живущее существо. Видъ ея не вдругъ (поражалъ). Нужно было взглядѣться въ этотъ несчаст-

*) Въ подлинникѣ эта глава также не обозначена.

ный остатокъ человѣка, въ это олицетворенное страданіе, чтобы ощутить въ душѣ неизъяснимо-тоскливое чувство. Представьте себѣ длинное, все въ морщинахъ, почти безчувственное лицо; глаза черные какъ уголь, нѣкогда — огонь, буря, страсть, нынѣ неподвижны; губы какого-то мертваго цвѣта, но однакожъ онѣ были когда-то свѣжи, какъ румянецъ на спѣющемъ яблокѣ. И кто бы подумалъ, что эти слившіяся въ сухія руины черты были когда-то чертовски очаровательны, что движеніе этихъ, нѣкогда гордыхъ и величественныхъ бровей дарило счастье, необитаемое на землѣ? И все прошло, прошло незамѣтно, образовалось наконецъ лишь безчувственное терпѣніе и безграничное повиновеніе.

Примѣч. П. А. Кул. Отрывокъ этотъ принадлежитъ къ молодымъ произведеніямъ Гоголя. Онъ сохранился въ числѣ бумагъ, оставленныхъ Гоголемъ у В. А. Жуковскаго. Нѣкоторыя слова остались не разобраны.

НАЧАТЫЯ ПОВѢСТИ *).

I.

— Миѣ нужно видѣть полковника, я къ нему имѣю дѣло говорилъ почти отрокъ 17 лѣтъ.

— Тебѣ полковника! произнесъ съ разстановкою сторожевой козакъ предъ большою ставкою, разсматривая и переминая на своей ладони, съ какой-то недовѣрчивостью, грубо искрошенный табакъ, это странное растеніе, которое съ такою изумительною быстротою разнесла по всѣмъ концамъ міра вновь открытая часть свѣта. Трубка давно была у него въ зубахъ. — На что тебѣ полковникъ?

При этомъ взглянулъ на просителя. Это былъ почти отрокъ, готовившійся быть юношею, уже съ мужественными чертами лица, воспитаннаго солнцемъ и здоровымъ воздухомъ, въ полотняномъ крашенномъ кунтушѣ и шароварахъ.

— Съ тобою не станеть говорить полковникъ (продолжалъ козакъ, поглядѣвши) на него почти презрительно и закинувъ назадъ алый рукавъ съ золотымъ шнуркомъ.

— Отчего же онъ не станеть со мною говорить?

— Кто-жь съ тобою станеть говорить? ты еще недавно молоко сосалъ. Еслибъ у тебя былъ хотя суконный кунтушъ да пицаль, тогда бы.... Вѣдь ты вѣрно поповичъ или школяръ? Знаешь ли ты этотъ инструментъ? промолвилъ (козакъ) съ видомъ самодовольной гордости и указавъ на трубку.

*) Найдены въ бумагахъ Гоголя и списаны П. А. Кулишомъ.

— Ты думаешь....

Но молодой воинъ остановился, увидѣвши, что козакъ вдругъ онѣмѣль, потушилъ глаза въ землю и снялъ шапку, до того заломленную на-бекрень.

Двое пожилыхъ мужчинъ, одинъ въ короткомъ плащѣ съ рукавами, выложенными золотомъ, съ узорно вычеканенными пистолетами, другой, одѣтый въ кафтанъ съ серебряною привязанною къ поясу чернильницею, — прошли мимо и вошли въ ставку. Дрожа и блѣднѣя, шмыгнувъ за ними молодой человекъ и вошелъ (также).

Молодой человекъ ударилъ поклонъ въ самую землю, отъ страха, увидѣвши, какъ вошедшіе предъ нимъ богатые кафтаны поклонились въ поясъ и почтительно потушили глаза въ землю съ тѣмъ безграничнымъ повиновеніемъ, которое такъ странно (совмѣщалось съ необузданностію, чѣмъ особенно славились козацкія войска.

На разостланномъ коврѣ сидѣлъ полковникъ. Ему, казалось, на видъ было лѣтъ 50. Волоса у него стали сѣдѣть; бѣлые усы опускались внизъ. Длинный синій рубецъ на щекѣ и лбу придавалъ почти бронзовому его лицу.... *) нельзя было отыскать никакой рѣзкой характерной черты, но просто выражалась спокойная увѣренность... Глядя на него, можно было узнать, что у него рука желѣзная и.... можетъ управлять.... На немъ были широкіе, синіе, съ серебромъ шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Нѣсколько пистолетовъ и ружей стояло и висѣло по угламъ ставки, съ уздами; (въ) углу кулъ соломы. Полковникъ самъ своей рукой чинилъ свое сѣдло, когда вошли къ нему писарь и осауль.

— Здравствуйте, панове, мои вѣрные, мои добрые товарищи! Вотъ вамъ приказъ: Не пускать далеко на попасъ, потому что татарва теперь рыскаетъ по степямъ.... Да чтобъ козаки не стрѣляли по дорогамъ дрофѣ и гусей, потому что и порохъ избавятъ даромъ... Сухари да вода — то козацкая ѣда.... Да смотрите оба, чтобы все было какъ слѣдуетъ... вчера я видѣлъ, какъ

*) Точки здѣсь означаютъ не прочитанныя мѣста.

взакъ кланялся что-(то) слишкомъ часто (на) конѣ. Я хотѣлъ было протрезвить его, да жаль было заряда: у меня пистолеть былъ заряженъ хорошимъ порохомъ.

II.

ПОВѢСТЬ

изъ книги подъ названіемъ: „Лунный свѣтъ въ разбитомъ окошкѣ чердана на Васильевскомъ Островѣ, въ 16 линіи.“

Было далеко за полночь. Одинъ фонарь только озарялъ неправильную улицу и бросалъ какой-то странный блескъ на каменные дома и оставлялъ во мракѣ деревянные; изъ сѣрыхъ (они) превращались совершенно въ черные.

III.

Я давно уже ничего не рассказывалъ вамъ. Признаться сказать, оно очень пріятно, если кто станетъ что-нибудь рассказывать. Если же выберется человекъ небольшого роста, съ сиповатымъ баскомъ, да и говорить ни слишкомъ громко, ни слишкомъ тихо, а такъ совершенно, какъ котъ мурлычить надъ ухомъ, то это такое наслажденіе, что ни перомъ описать, ни другимъ чѣмъ-нибудь не сдѣлать. Это мнѣ лучше нравится, нежели проливной дождикъ, когда сидишь въ сѣняхъ на полу, передъ дверью, поджавши подъ себя ноги, а онъ, голубчикъ, треплетъ во весь духъ солому на крышѣ, и деревенскія бабы бѣгутъ босыми ногами, (набросивъ) свое рубье на голову и схвативъ подъ руку (черевики). — Вы никогда не слыхали про моего дѣда? Чтѣ это былъ за человекъ! съ какими достоинствами! я вамъ скажу, что такихъ людей я теперь нигдѣ не отыскивалъ.

IV.

Дождь былъ продолжительный, сырой, когда я вышелъ на улицу. Сѣродымное небо предвѣщало его надолго. Ни одной полосы свѣта. Ни въ одномъ мѣстѣ, нигдѣ не разрывалось сѣрое покрывало. Движущаяся сѣть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видѣлъ глазъ, и только одни передніе дома мелькали будто сквозь тонкій газъ; еще тусклѣе надъ ними балконъ, выше его еще этажъ, наконецъ крыша готова была потеряться въ дождевомъ туманѣ, и только мокрый блескъ ея отличался немного отъ воздуха. Вода урчала съ трубъ; на тротуарахъ лужи....

Чортъ возьми, люблю я это время! Ни одного зѣваки на улицѣ. Теперь не найдешь ни одного изъ тѣхъ господъ, которые останавливаются для того, что(бы) посмотреть на сапоги ваши, на штаны, на фракъ, или на шляпу, и потомъ, разинувши ротъ, поворачиваются нѣсколько разъ назадъ для того, чтобъ осмотрѣть задній фасадъ вашъ. Теперь раздолье нѣтъ закутываться крѣпче въ свой плащъ....

Какъ удираетъ этотъ любезный молодой человекъ, съ личкомъ, которое можно упрятать въ дамскій ридикюль. Напрасно: не спасетъ новенькаго сюртучка, красу и заглядѣнье Невскаго проспекта. Крѣпче его, крѣпче, дождикъ! пусть онъ вбѣжитъ, какъ мокрая крыса, домой.

А! вотъ и суровая дама бѣжитъ въ своихъ пестрыхъ тряпкахъ, поднявши платье, далѣе чего нельзя поднять, не нарушивъ послѣдней благопристойности. Куда дѣвался характеръ! и не ворчить, видя, какъ чиновникъ), — — занутивъ свои зеленые, какъ его воротникъ, глаза, наслаждается видомъ полныхъ, на каждомъ шагѣ трепещущихъ ногъ... О, это таковский народъ! Они большія бестія, эти чиновники, ловить рыбу въ мутной водѣ. Въ дождь, свѣтъ, ведро, всегда эта амфибія на улицѣ. Его воротникъ, какъ хамелеонъ, мѣняетъ свой цвѣтъ каждую минуту отъ температуры; но онъ самъ неизмѣненъ, какъ его канцелярскій порядокъ.

На встрѣчу русская борода, купецъ, въ синемъ, нѣмецкой ра-

боты, сюртукѣ, съ таліей на спинѣ или, лучше сказать, на шеѣ. Съ какою купеческою ловкостью держать онѣ зонтикѣ надъ своею половиною! Какъ тяжело пыхтитъ эта масса мяса, обернутая въ капотъ и чепчикъ! Ее скорѣе можно причислить къ моллюскамъ, нежели къ позвоночнымъ животнымъ. Сильнѣе дождикъ, ради Бога, сильнѣе кропи его сюртуку нѣмецкаго покроя и жирное мясо этой обитательницы пуховиковъ и подушекъ! Боже, какую адскую струю они оставили послѣ себя въ воздухѣ изъ капусты и луку! Кропи ихъ, дождикъ, за все: за наглое безстыдство плутоватой бороды, за жадность къ деньгамъ, за бороду, полную насѣкомыхъ, и сыромятную жизнь сожительницы... Какой вздоръ! ихъ не приметъ — — что же можетъ сдѣлать дождь.

Но какъ бы то ни было, только такого дожда давно не было. Онѣ увеличился и перемѣни(въ) косвенное свое направленіе, сдѣлался прямой, (съ) шумомъ хлынулъ въ крыши, мостовую, какъ (бы) желая вдавить еще ниже этотъ болотный городъ. Окна въ (домахъ) захлопнулись. Головы съ усами и трубкою, долѣе всѣхъ глядѣвшія (на улицу), спрятались, даже сѣрый рыцарь съ алебардою и завязанною щекою убѣжалъ въ будку....

V.

Фонарь умиралъ на одной изъ дальнихъ линій Васильевскаго Острова. Одни только бѣлые каменные дома кое-гдѣ вызначивались. Деревянные чернѣли и сливались съ густою массою мрака, тяготѣвшаго надъ ними. Какъ страшно, когда каменный тротуаръ прерывается деревяннымъ, когда деревянный даже пропадаетъ, когда все чувствуетъ 12 часовъ, когда отдаленный будочникъ спитъ, когда кошки, однѣ безмысленныя кошки спѣвываются и бодрствуютъ, но человѣкъ знаетъ, что онѣ не дадутъ сигнала и не поймутъ его несчастья, если внезапно будетъ атакованъ мошенниками, выскочившими изъ этого темнаго переулка, который распростеръ къ нему свои мрачныя объятія!

Но проходившій въ это время пѣшеходъ ничего подобнаго не имѣлъ въ мысляхъ. Это былъ не изъ обыкновенныхъ въ Петер-

бургѣ пѣшеходовѣ. Онъ былъ не чиновникъ, не русская борода, не офицеръ и не нѣмецкій ремесленникъ. Существо видѣ гражданства столицы, это былъ пріѣхавшій изъ Дерпта студентъ, готовый на все должности, но еще покажетъ ничего кромя, студентъ, занявшій полъ-угла въ Мѣщанской, у сапожника нѣмца. Но обо всемъ этомъ послѣ. Студентъ, который въ этомъ чинномъ городѣ былъ тише воды, безъ шпаги и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался подъ домами, отбрасывая отъ себя самую огромную тѣнь, головою теряющуюся во мракѣ.

Все, казалось, умерло ночью (безъ) огня. Ставни были закрыты. Наконецъ, подходя къ Большому проспекту, особенно остановилось его вниманіе на одномъ домѣ. Тонкая щель въ ставнѣ, свѣтившаяся огненною чертою, невольно привлекала (его) и заманила заглянуть. Прильнувъ къ стѣнѣ и приставивъ глазъ къ тому мѣсту, гдѣ щель была пошире, (онъ) засмотрѣлся и задумался.

Лампа блистала въ голубой комнатѣ. Вся она была завалена разбросанными штукаами матерій. Газъ, почти невидимый, безцвѣтный, воздушно висѣлъ на ручкахъ креселъ и тонкими струями, какъ льющійся водопадъ, падалъ на полъ. Палевые цвѣта, на бѣлой шелковой, блиставшей блескомъ серебра матеріи, свѣтились изъ-подъ газа. Около дюжины шалей, легкихъ и мягкихъ какъ пуховыя, съ цвѣтами, совершенно живыми, смятыя, были брошены на полу. Кушаки, золотыя цѣпи висѣли на взбитыхъ до потолка облакахъ батиста. Но болѣе всего занимала студента стоявшая въ углу комнаты стройная женская фигура.... Сколько поэзій для студента въ женскомъ платьи!... Но бѣлый цвѣтъ — (ни) съ чѣмъ нѣтъ сравненія.... Какія искры пролетаютъ по жиламъ, когда блеснетъ среди мрака бѣлое платье! Я говорю — среди мрака, потому что все тогда кажется мракомъ. Все чувства переселяются тогда въ запахъ, несущійся отъ него, и въ едва слышный, но музыкальный шумъ, производимый имъ. Это самое высшее и самое сладострастнѣйшее сладострастіе. И потому студентъ нашъ, котораго всякая горничная, (которая) шла по улицѣ, видала въ ознобъ, который не зналъ прибрать имени женщинѣ, — пожиралъ глазами чудесное видѣніе, которое, стоя

съ наклоненною на сторону головой, охваченною досадною тѣнью, наконецъ поворотило прямо противъ него ослѣпительную бѣлизну лица и шеи съ китайскою прическою. Глаза, неизъяснимые глаза, съ бездною души.... обворожительно бархатныя брови были невыносимы для студента.

Онъ задрожалъ и тогда только увидѣлъ другую фигуру, въ черномъ фракѣ, съ самымъ страннымъ профилемъ. Лицо, въ которомъ нельзя было замѣтить ни одного угла, но вѣсть съ симъ оно назначалось легкими, округленными чертами. Лобъ не спускался прямо къ носу, но былъ совершенно покатъ, какъ ледяная гора для катанья. Носъ былъ продолженіемъ его — великъ и тупъ. Губы.... только верхняя выдвинулась гораздо далѣе. Подбородка совсѣмъ не было. Отъ носа шла діагональная линія до самой шеи. Это былъ треугольникъ, вершина котораго находилась въ носѣ: лица, которыя болѣе всего выражаютъ глупость.

VI.

Я знаю одного чрезвычайно замѣчательнаго человѣка. Фамилія его была Рудокоповъ и дѣйствительно отвѣчала занятіямъ, потому что казалось — къ чему ни притрогивался онъ, все то обращалось въ деньги. Я его еще помню, когда онъ имѣлъ только 20 душъ крестьянъ да сотню десятинъ земли и ничего больше, когда онъ еще принадлежалъ

ПОХОЖДЕНІЯ ЧИЧКОВА

МЕРТВЫЯ ДУШИ.

П О Э М А.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

(ВЪ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМЪ ВИДѢ).

ПРИМѢЧАНІЕ

ПОМѢЩЕННОЕ

ВЪ ИЗДАНИИ „СОЧИНЕНІЙ Н. В. ГОГОЛЯ.“

вышедшемъ въ 1857 году.

Н. П. Трушковскій, въ предисловіи своемъ къ изданному имъ впервые второму тому „Мертвыхъ душъ,“ говоритъ, что сочиненіе это дошло до насъ въ „*черновыхъ*“, давнишнихъ тетрадахъ, нечаяннымъ образомъ уцѣлѣвшихъ отъ сожженія.“ Но тетрадей, заключающихъ въ себѣ продолженіе „Мертвыхъ Душъ,“ нельзя назвать *черновыми* въ собственномъ смыслѣ слова. Онѣ были тщательно списаны самимъ Гоголемъ съ предшествовавшей имъ черновой рукописи *) и потомъ уже испещрены множествомъ разновременныхъ поправокъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ передѣланы цѣлые листы и страницы (рукопись—на почтовой бумагѣ листового формата), въ другихъ прибавлены новыя, или измѣнены старыя строки, фразы и слова; однѣ поправки сдѣланы при перепискѣ текста, другія — по готовой уже рукописи; однѣ — единовременно, другія — въ нѣсколько приѣмовъ и разными чернилами: черными, блѣдными, рыжими, а мѣстами и карандашомъ. Изъ всего этого видно, что Гоголь много разъ принимался исправлять

*) Кромѣ послѣднихъ листовъ, которые переписаны наскоро или написаны начерно.

и передѣлывать свое сочиненіе. Для насъ очень интересно знать, какъ Гоголь поправлялъ у себя то, чѣмъ онъ оставался нѣкоторое время доволенъ, и поэтому я рѣшился напечатать второй томъ „Мертвыхъ Душъ“ въ двойномъ видѣ: сперва такъ, какъ онъ былъ переписанъ набѣло рукою Гоголя, а потомъ (сколько было возможно) въ томъ видѣ, въ какомъ Гоголь желалъ представить его публикѣ.

П. Кулишъ.

Глава I.

Зачѣмъ же выставлать на показъ бѣдность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? Чтѣ-жъ дѣлать, если такого свойства сочинитель и такъ уже заболѣлъ онъ самъ своимъ несовершенствомъ, и такъ уже устроенъ талантъ его, чтобы изображать ему бѣдность нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства! И вотъ опять попали мы въ глушь, опять наткнулись на закоулокъ. За то какая глушь и какой закоулокъ!

На тысячу слишкомъ верстѣ неслись, извиваясь, горныя возвышенія. Точно какъ бы исполинскій валъ какой-то безконечной крѣпости, возвышались они надъ равнинами то желтоватымъ отломомъ, въ видѣ стѣнъ, съ промоинами и рывтинами, то зеленой кругловидною выпуклостію, покрытой, какъ мерлушками, молодымъ кустарникомъ, подымавшимся отъ срубленныхъ деревъ, то, наконецъ, темнымъ лѣсомъ, еще ущѣлѣвшимъ отъ топора. Рѣка, вѣрная своимъ высокимъ берегамъ, давала вмѣстѣ съ ними углы и колѣна по всему пространству; но иногда уходила отъ нихъ прочь, въ дуга, за тѣмъ, чтобъ, извившись тамъ въ нѣсколько извивовъ, блеснуть, какъ огонь, передъ солнцемъ, скрыться въ рощи березъ, осинъ и ольхъ и выбѣжать оттуда въ торжествѣ, въ сопровожденіи мостовъ, мельницъ и плотинъ, какъ бы гонявшихся за нею на всякомъ поворотѣ.

Въ одномъ мѣстѣ крутой бокъ возвышеній воздымался выше прочихъ и весь отъ низу до верху убирался въ зелень столпившихся густо деревъ. Тутъ было все вмѣстѣ: и кленъ, и груша, и низкорослый ракитникъ, и чилига, и березка, и ель, и рябина,

опутанная хмѣлемъ; тутъ мелькали крыши господскихъ строеній, коньки и гребни сзади скрывшихся избъ и верхняя надстройка господскаго дома, а надъ всей этою кучей деревь и крышь старинная церковь возносила свои пять играющихъ верхушекъ. На всѣхъ ихъ были золотые прорѣзные кресты, золотыми прорѣзными цѣпами прикрѣпленные къ куполамъ, такъ что издали сверкало какъ бы на воздухѣ ни къ чему не прикрѣпленное, висѣвшее золото. И вся эта куча деревь, крышь, вмѣстѣ съ церковью, опрокинувшись верхушками внизъ, отдавалась въ рѣкѣ, гдѣ картинно-безобразныя старыя ивы, однѣ стоя у береговъ, другія совѣшъ въ водѣ, опустивши туда и вѣтви, и листья, точно какъ бы разсматривали это изображеніе, которымъ не могли налюбоваться во все продолженіе своей многолѣтней жизни.

Видъ былъ очень недурень, но видъ сверху внизъ, съ надстройки дома на равнины и отдаленія былъ еще лучше. Равнодушно не могъ выстоять на балконѣ никакой гость и посѣтитель: у него захватывало въ груди; онъ могъ только произнести: „Господи, какъ здѣсь просторно!“ Пространства открывались безъ конца. За лугами, усѣянными рощами и водяными мельницами, зеленѣли и синѣли густые лѣса, какъ море, или туманъ, далеко разлившійся. За лѣсами, сквозь мгlistый воздухъ, желтѣли пески. За песками лежали гребнемъ на отдаленномъ небосклонѣ мѣловыя горы, блиставшія ослѣпительно даже и въ ненастное время, какъ бы освѣщало ихъ вѣчное солнце. По ослѣпительной бѣлизнѣ ихъ, у подошвъ, мѣстами мелькали какъ бы дымившіяся туманно-сизыя пятна. Это были отдаленныя деревни; но ихъ уже не могъ разсмотрѣть человѣческій глазъ, — только вспыхивавшая, подобно искрѣ, золотая церковная маковья давала знать, что это было людное, большое селеніе. Все это облечено было въ тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшіе до слуха отголоски воздушныхъ пѣвцовъ, наполнявшихъ воздухъ. Словомъ, не могъ равнодушно выстоять на балконѣ никакой гость и посѣтитель, и послѣ какого-нибудь двухъ-часоваго созерцанія издавалъ онъ то же самое восклицаніе, какъ и въ первую минуту: „Силы небесъ, какъ здѣсь просторно!“

Кто же былъ жилецъ этой деревни, въ которой, какъ къ не-

приступной крѣпости, нельзя было и подѣхать отсюда, и нужно было подѣзжать съ другой стороны — полями, хлѣбами и, наконецъ, рѣдкою дубровою, раскинутой картинно по землѣ, вплоть до самыхъ избъ и господскаго дома, — кто былъ жилецъ, господинъ и владѣтель этой деревни? Какому счастливцу принадлежалъ этотъ закоулокъ?

А помѣщику Тремалаханскаго уѣзда, Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому, тридцати-трехъ-лѣтнему счастливцу, коллежскому секретарю, неженатому-холостому человѣку.

Что же за человѣкъ такой, какого нрава, какихъ свойствъ и какого характера былъ помѣщикъ Андрей Ивановичъ Тентетниковъ?

Разумѣется, слѣдуетъ разспросить у сосѣдей. Сосѣдь, принадлежавшій къ фамиліи отставныхъ штабъ-офицеровъ-брандеровъ, выражался о немъ лаконическимъ выраженіемъ: „Естественнѣйшій скотина!“ Генераль, проживавшій въ десяти верстахъ, говорилъ: Молодой человѣкъ не глупый, но много забралъ себѣ въ голову. Я бы могъ быть ему полезнымъ, потому что у меня и въ Петербургѣ, и даже при....“ Генераль рѣчи не оканчивалъ. Капитанъ-исправникъ замѣчалъ: „Да вѣдь чинишка на немъ — дрянъ; а вотъ я завтра же къ нему за недоимкой!“ Мужикъ его деревни, на вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, ничего не отвѣчалъ. Словомъ, общественное мнѣніе о немъ скорѣй было неблагопріятное, чѣмъ благопріятное.

А между тѣмъ въ существѣ своемъ Андрей Ивановичъ былъ не то доброе, не то дурное существо, а просто — коптитель неба. Такъ какъ уже не мало есть на бѣломъ свѣтѣ людей, которые коптятъ небо, то почему-жъ и Тентетникову не коптитъ его? Впрочемъ, вотъ, въ немногихъ словахъ, весь журналъ его дня, и пусть изъ него судить читатель самъ, какой у него былъ характеръ.

Поутру просыпался онъ очень поздно и, приподнявшись, долго еще сидѣлъ на своей кровати, протирая глаза. Глаза же, какъ на бѣду, были довольно маленькіе, то потому протиранье ихъ производилось необыкновенно долго, и во все это время у дверей стоялъ человѣкъ Михайло, съ рукомыникомъ и полотенцемъ. Стоялъ этотъ бѣдный Михайло часъ, другой, а баринъ все еще

протираля глаза; отпралялся потомъ на кухню, потомъ вновь приходиль, — баринъ все еще протираля глаза и сидѣль на кровати. Наконецъ, подымался онъ съ постели, умывался, надѣвалъ халатъ, выходиль въ гостинную за тѣмъ, чтобы пить чай, кофе, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлѣба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы безсовѣстно. Два часа просиживалъ онъ за чаемъ, и этого мало; онъ бралъ еще холодную чашку и съ ней подвигался къ окну, обращенному на дворъ. У окна же происходила всякой день слѣдующая сцена.

Прежде всего ревлѣ небритый буфетчикъ Григорій, отвошившійся къ Перфильевнѣ, ключницѣ, въ сихъ выраженіяхъ: — Душонка ты мелкопомѣстная! ничтожность ты этакая! Тебѣ бы, гнусной бабѣ, молчать да и только.

— Ужъ тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло! вскрикивала ничтожность или Перфильевна.

— Да вѣдь съ тобой никто не уживется; вѣдь ты и съ прикащикомъ сцѣпишься, мелочь ты анбарная! ревлѣ Григорій.

— Да и приващикъ — воръ такой же, какъ и ты! вскрикивала ничтожность, такъ что было на деревнѣ слышно. — Вы оба пьющіе, губители господскаго, бездонныя бочки! Ты думаешь, баринъ не знаетъ васъ? вѣдь онъ здѣсь, вѣдь онъ все слышитъ!

— Гдѣ баринъ?

— Да вотъ онъ глядитъ у окна; онъ все видѣль.

И точно, баринъ сидѣль у окна и все видѣль.

Къ довершенію этого, кричалъ кричмя дворовый ребятишка, получившій отъ матери затрещину; визжалъ борзой кобель, присѣвъ задомъ къ землѣ, по поводу горячаго кипятка, которыми обкатиль его, выглянувши изъ кухни, поваръ; словомъ, все глосило и верещало невыносимо. Баринъ все видѣль и слышалъ, и только тогда, когда это дѣлалось до такой степени невыносимо, что даже мѣшало барину ничѣмъ не заниматься, высылалъ онъ сказать, чтобы шумѣли потише.

За два часа до обѣда Андрей Ивановичъ уходиль къ себѣ въ кабинетъ за тѣмъ, чтобы заняться серьезно и дѣйствительно. Занятіе было точно серьезно. Оно состояло въ обдумываніи со-

чиненія, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочиненіе это долженствовало объять всю Россію со всѣхъ точекъ — съ гражданской, политической, религіозной, философической, разрѣшить затруднительныя задачи и вопросы, заданныя ей временемъ, и опредѣлить ясно великую ея будущность, — словомъ, большаго объема; но, покуда, оканчивалось однимъ обдумываніемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ рисунки и потомъ все это отдвигалось на сторону, бралась, на мѣсто того, въ руки книга и уже не выпускалась до самаго обѣда. Книга эта читалась вмѣстѣ съ супомъ, соусомъ, жаркимъ и даже съ пирожнымъ, такъ что инья блюда оттого стыли, а другія принимались вовсе нетронутыми. Потомъ слѣдовала прихлебка чашки кофія съ трубкой; потомъ игра въ шахматы съ самимъ собой. Что же дѣлалось потомъ до самаго ужина, право, ужъ и сказать трудно. Кажется, просто, ничего не дѣлалось.

И такъ проводилъ время одинъ-одинешенекъ въ цѣломъ мірѣ молодой тридцати-трехъ-лѣтній человѣкъ, сидень сиднемъ, въ халатѣ и безъ галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотѣлось даже подняться вверху — взглянуть на отдаленности и виды, не хотѣлось растворять окна за тѣмъ, чтобы забрать свѣжаго воздуха въ комнату; и прекрасный видъ деревни, которыми не могъ равнодушно любоваться никакой посѣтитель, точно не существовалъ для самого хозяина.

Изъ этого журнала читатель можетъ видѣть, что Андрей Ивановичъ Тентетниковъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которыхъ на Руси много, которымъ имена — увальни, лежебоки, байбаки и тому подобныя. Родятся ли уже сами собою такіе характеры, или создаются потомъ, это еще вопросъ. Я думаю, что лучше, вмѣсто отвѣта, рассказать исторію дѣтства и воспитанія Андрея Ивановича.

Въ дѣтствѣ былъ онъ остроумный, талантливый мальчикъ, то живой, то задумчивый. Счастливымъ или несчастливымъ случаемъ попалъ онъ въ такое училище, гдѣ былъ директоромъ человѣкъ, въ своемъ родѣ необыкновенный, несмотря на нѣкоторыя причуды. Александръ Петровичъ имѣлъ даръ слышать природу русскаго человѣка и зналъ языкъ, которымъ нужно говорить съ

нимъ. Никто изъ дѣтей не уходилъ отъ него съ повиснувшимъ носомъ; напротивъ, даже послѣ строжайшаго выговора, чувствовалъ онъ какую-то бодрость и желалъ загладить сдѣланную пакость и проступокъ. Толпа его воспитанниковъ съ виду казалась такъ шаловлива, развязна и жива, что иной принялъ бы ее за необузданную вольницу. Но онъ обманулся бы: власть одного слишкомъ была сильна въ этой вольницѣ. Не было проказника и шалуна, который бы не пришелъ къ нему самъ и не рассказалъ всего, чтѣ ни напроказилъ. Малѣйшее движеніе ихъ помысловъ было ему извѣстно. Во всемъ поступалъ онъ необыкновенно. Онъ говорилъ, что прежде всего слѣдуетъ пробудить въ человѣкѣ честолюбіе. Честолюбіе называлъ онъ силою, толкающею впередъ человѣка, безъ котораго не подвигнешь его на дѣятельность. Многихъ рѣзвостей и шалостей онъ не удерживалъ вовсе, и въ первоначальныхъ рѣзвостяхъ видѣлъ онъ начало развитія свойствъ душевныхъ. Онъ были ему нужны за тѣмъ, чтобы видѣть, чтѣ такое именно таится въ ребенкѣ. Такъ умный врачъ глядитъ спойно на появляющіеся временные припадки и сыпи, показывающіяся на тѣлѣ, не истребляетъ ихъ, но вематривается внимательно, желая узнать достовѣрно, чтѣ заключено внутри человѣка.

Учителей у него было немного: большую часть наукъ читалъ онъ самъ, и надо сказать правду, что, безъ всякихъ педантскихъ терминовъ, огромныхъ воззрѣній и взглядовъ, которыми любятъ пощеголять молодые профессора, онъ умѣлъ въ немногихъ словахъ передать самую душу науки, такъ что и малолѣтнему было очевидно, на что именно ему нужна наука. Онъ утверждалъ, что всего нужнѣе человѣку наука жизни, что, узнавъ ее, онъ узнаетъ тогда самъ, чѣмъ долженъ заняться преимущественнѣе.

Эту-то науку жизни сдѣлалъ онъ предметомъ отдѣльнаго курса воспитанія, въ который поступали только одни самые отличные. Малоспособныхъ выпускалъ онъ на службу изъ перваго класса, утверждая, что ихъ не нужно много мучить, что довольно для нихъ, если приучились быть терпѣливыми, работающими исполнителями, не приобрѣтая заносчивости и всякихъ видовъ вдали. „Но съ умниками, но съ даровитыми мнѣ нужно долго повозиться,“ обыкновенно говорилъ онъ. Въ этомъ курсѣ (былъ).

совершенно другой Александръ Петровичъ и съ перваго разу возвѣщаль, что доселѣ онъ требоваль отъ нихъ простаго ума, теперь потребуеть ума высшаго, — не того ума, который умѣеть подтрунивать надъ дуракомъ и посмѣяться, но умѣющаго вынести всякое оскорбленіе. Здѣсь-то сталъ онъ требовать того, что другіе требуютъ отъ дѣтей. — спустить дураку, не раздражаться. Это-то называль онъ высшей степенью ума. Сохранить посреди какихъ бы то ни было огорченій высокой покой, въ которомъ вѣчно долженъ пребывать человѣкъ, — вотъ что называль онъ умомъ. Въ этомъ-то курсѣ Александръ Петровичъ показаль, что знаетъ точно науку жизни. Изъ наукъ были избраны только тѣ, которыя способны образовать изъ человѣка гражданина земли своей. Большая часть лекцій состояла въ разсказахъ о томъ, что ожидаетъ впереди человѣка на всѣхъ поприщахъ и ступеняхъ государственной службы и частныхъ занятій. Всѣ огорченія и преграды, какія только воздвигаются человѣку на пути его, всѣ искушенія и соблазны, ему предстоящіе, собираль онъ предъ ними во всей наготѣ, не скрывая ничего. Все было ему извѣстно, точно какъ бы перебыль онъ самъ во всѣхъ званіяхъ и должностяхъ. Словомъ, чертилъ онъ предъ ними вовсе не радужную будущность. Странное дѣло! оттого ли, что честолюбіе уже такъ сильно было въ нихъ возбуждено; оттого ли, что въ самыхъ глазахъ необыкновеннаго наставника было что то говорящее юношѣ *впередъ* — это чудное словцо, такъ знакомое Руси, производящее такіа чудеса надъ русскимъ человѣкомъ, — то ли, другое ли, но юноша съ самаго начала искаль только трудностей, алча дѣйствовать только тамъ, гдѣ трудно, гдѣ нужно было показать большую силу души. Было что-то трезвое въ ихъ жизни. Александръ Петровичъ дѣлаль съ ними всякіе опыты и пробы, наносилъ имъ то самъ чувствительныя оскорбленія, то посредствомъ ихъ же товарищей; но, проникнувши это, они становились еще осторожнѣй. Изъ этого курса вышло немного, но эти немногіе были крѣпкіе, были обкуренные порокомъ люди. Въ службѣ они удержались на самыхъ шаткихъ мѣстахъ, тогда какъ многіе, гораздо ихъ умнѣйшіе, не вытерпѣвъ, изъ-за мелочныхъ личныхъ неприятностей, бросили все, или же, обезумѣвъ и опустившись, очу-

тились въ рукахъ взяточниковъ и плутовъ. Но воспитанные Александромъ Петровичемъ не только не пошатнулись, но познаніемъ чловѣка и души возымѣли высокое нравственное вліаніе даже на взяточниковъ и дурныхъ людей.

Но этого ученія не удалось попробовать бѣдному Андрею Ивановичу. Только-что онъ былъ удостоенъ перевода въ этотъ высшій курсъ, какъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ, — вдругъ несчастіе: необыкновенный наставникъ, котораго одно одобрительное слово уже бросало его въ сладкій трепеть, скоропостижно заболѣлъ и умеръ. Все пережѣнилось въ училищѣ. На мѣсто Александра Петровича поступилъ какой-то Ѳедоръ Ивановичъ, чловѣкъ добрый и старательный, но совершенно другаго взгляда на вещи. Въ свободной развязности дѣтей перваго курса почувдилось ему что-то необузданное. Началъ онъ заводить между ними какіе-то внѣшніе порядки, требовалъ, чтобы молодой народъ пребывалъ въ какой-то безмолвной тишинѣ, чтобы ни въ какомъ случаѣ иначе вѣ не ходили, какъ попарно; началъ даже самъ аршиномъ размѣрять разстояніе отъ пары до пары. За столомъ, для лучшаго вида, рассадилъ всѣхъ по росту, а не по уму, такъ что ослабѣ доставались лучшіе куски, а умнѣи — оглодки. Все это произвело ропотъ, особенно когда новый начальникъ, точно какъ на-перекоръ своему предшѣстнику, объявилъ, что для него умъ и хорошіе успѣхи въ наукахъ ничего не значатъ, что онъ смотритъ только на поведеніе, что если чловѣкъ и плохо учится, но хорошо ведетъ себя, онъ предпочтетъ его умному. Но именно того-то и не получилъ Ѳедоръ Ивановичъ, чего добивался. Завелись шалости потаенныя, которыя, какъ извѣстно, хуже открытыхъ. Все было въ струнку днемъ, а по ночамъ — кутежи.

Въ большомъ курсѣ онъ тоже переверотилъ все вверхъ дномъ. Съ самыми благими намѣреніями, завелъ онъ всякія нововведенія — и все не въ-попадъ. Выписалъ новыхъ преподавателей, съ новыми взглядами и новыми точками воззрѣній. Читали они учено, забросали слушателей множествомъ новыхъ терминовъ и словъ; была и ученость, и слѣдованіе за новыми открытіями, но, увы, не было только жизни въ самой наукѣ. Мертвечиной стало все это казаться въ глазахъ уже начинавшихъ понимать

слушателей. Все пошло навыворотъ. Но хуже всего было то, что потерялось уваженіе къ начальству и власти: стали насмѣхаться и надъ наставниками, и надъ преподавателями; директора стали называть Оедькой, булкой и другими разными именами; завелись такія дѣла, что нужно было многихъ выгнать.

Андрей Ивановичъ былъ нрава тихаго. Онъ не участвовалъ въ ночныхъ оргіяхъ съ товарищами, которые, несмотря на строжайшій присмотръ, завели на сторонѣ любовницу, одну на восемь человѣкъ. Его не увлекли также и другія шалости, доходившія до кощунства и насмѣшекъ надъ самою религіей изъ-за того только, что директоръ требовалъ частаго хожденія въ церковь и попался плохой священникъ. Но онъ повѣсилъ носъ. Честолюбіе было возбуждено въ немъ сильно, а дѣятельности и поприща ему не было. Лучше-бъ было и не возбуждать его! Онъ слушалъ горячившихся на кафедрѣ профессоровъ и вспоминалъ прежняго наставника, который не горячась умѣлъ говорить понятно. Онъ слушалъ химію и философію и профессоромъ (былъ) углубленъ во всѣ тонкости политическихъ наукъ, (слушалъ) и всеобщую исторію человѣчества въ такомъ огромномъ видѣ, что профессоръ въ три года успѣлъ только прочесть введеніе да развитіе общинъ какихъ-то нѣмецкихъ городовъ; но все это оставалось въ головѣ его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму, онъ чувствовалъ только, что все не такъ должно преподаваться, а какъ — не зналъ. И вспоминалъ онъ часто объ Александрѣ Петровичѣ, и ему бывало такъ грустно, что не зналъ онъ, куда дѣться отъ тоски.

Но у молодости есть будущее. По мѣрѣ того, какъ приближалось время къ выпуску, сердце его билось (сильнѣе). Онъ говорилъ себѣ: „Вѣдь это еще не жизнь; это только приготовленіе къ жизни: настоящая жизнь на службѣ; тамъ подвиги.“ И по обычаю всѣхъ честолюбцевъ, понесся онъ въ Петербургъ, куда, какъ извѣстно, стремится отъ всѣхъ сторонъ Россіи наша пылкая молодежь — служить, блистать, выслуживаться, или же, просто, схватывать верхки безцвѣтнаго, холоднаго, какъ ледь, общественнаго обманчиваго образованія. Честолюбивое стремленіе Андрея Ивановича осадилъ, однакоже, съ самаго начала его

дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ, Онуфрій Ивановичъ. Онъ объявилъ, что главное дѣло — въ хорошемъ почеркѣ, а не въ чемъ-либо другомъ, что ни въ министры, ни въ государственныя совѣты нельзя попасть, не пріобрѣтя прежде хорошаго почерка; а Тентетниковъ писалъ тѣмъ самымъ письмомъ, о которомъ говорятъ: „Писала сорока лапой, а не человѣкъ.“ Съ большимъ трудомъ и съ помощію протекцій, проведя два мѣсяца въ каллиграфическихъ урокахъ, досталъ онъ мѣсто списывателя бумагъ въ какомъ-то департаментѣ. Когда взошелъ онъ въ свѣтлый залъ, гдѣ за письменными лакированными столами сидѣли пишущіе господа, шумя перьями и наклоняя голову на бокъ, и когда посадили его самого, предложивъ ему тутъ же переписать какую-то бумагу, — необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, какъ бы онъ очутился въ какой-то малолѣтней школѣ, за тѣмъ чтобъ съизнова учиться азбукѣ. Сидѣвшіе вокругъ его господа показались ему такъ похожими на учениковъ! Иные изъ нихъ читали романъ, засунувъ его въ большіе листы разбираемаго дѣла, и въ то же время вздрагивая при всякомъ появленіи начальника. Ему вдругъ представилось, какъ невозвратно-потерянный рай, школьное время его: такъ высокими сдѣлались вдругъ занятія ученіемъ передъ этимъ мелкимъ письменнымъ ученіемъ. Какъ это учебное приготовленіе (къ службѣ) казалось ему теперь выше самой службы! И вдругъ предсталъ въ его мысляхъ, какъ живой, его ни съ кѣмъ несравненный чудесный воспитатель, никѣмъ незамѣнимый Александръ Петровичъ, и въ три ручья потекли вдругъ слезы изъ глазъ его, закружилась комната, потемнѣли столы, перемѣшались чиновники, и чуть не упалъ онъ отъ мгновеннаго потемнѣнія. „Нѣтъ“, сказалъ онъ въ себѣ, очнувшись, „примусь за дѣло, какъ бы оно ни казалось вначалѣ мелкимъ!“ Скрѣпясь духомъ сердцемъ, рѣшился онъ служить по примѣру прочихъ.

Гдѣ не бываетъ наслажденій? Живутъ они и въ Петербургѣ, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещать по улицамъ сердитый тридцатиградусный морозъ, визжитъ отчаяннымъ бѣсомъ вѣдьма-вѣюга, нахлобучивая на голову воротники шубъ и шинелей, пудря усы людей и морды скотовъ; но

привѣтливо смотритъ вверху окошко, гдѣ-нибудь даже и въ четвертомъ этажѣ; въ уютной комнатѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчкахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согрѣвающей и сердце и душу разговоръ, читается вдохновенная, свѣтлая страница поэта, какими наградила Богъ свою Россію, и такъ возвышенно-пылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ не случается въ другихъ земляхъ и подъ полуденнымъ роскошнымъ небомъ.

Скоро Тентетниковъ свыкнулся со службою, но только она сдѣлалась у него не первымъ дѣломъ и цѣлю, какъ онъ полагалъ-было вначалѣ, но чѣмъ-то вторымъ. Она служила ему лучшимъ распредѣленіемъ времени, заставивъ его болѣе дорожить остававшимися минутами. Дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ, уже начиналъ-было думать, что въ племянникѣ будетъ прокъ, какъ вдругъ племянникъ подгадилъ. Надобно сказать, что въ числѣ друзей Андрея Ивановича попало два человѣка, которые были то, что называется огорченные люди. Это были тѣ безпокойно странные характеры, которые не могутъ переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью. Добрые по началу, но безпорядочные сами въ своихъ дѣйствіяхъ, они исполнены нетерпимости къ другимъ. Пылкая рѣчь ихъ и благородный образъ негодованія подѣйствовали на него сильно. Разбудивши въ немъ нервы и духъ раздражительности, они заставили замѣчать всѣ тѣ мелочи, на которыя прежде онъ и не думалъ обращать вниманія. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Лѣвницынъ, начальникъ того отдѣленія, въ которомъ онъ числился, человѣкъ наипріятнѣйшей наружности, вдругъ ему не понравился. Онъ сталъ отыскивать въ немъ бездну недостатковъ и возненавидѣлъ его за то, будто бы онъ выражалъ въ лицѣ своемъ черезчуръ много сахара, когда говорилъ съ вышнимъ, и тутъ же, обратившись къ низшему, становился весь укусъ. „Я бы ему простилъ,“ говорилъ Тентетниковъ, „если-бы эта пережѣна происходила не такъ скоро въ его лицѣ; но какъ тутъ же, при моихъ глазахъ, и сахаръ и укусъ въ одно и то же время!“ Съ этихъ поръ онъ сталъ замѣчать всякой шагъ его. Ему казалось, что и важничалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ уже черезъ чуръ, что имѣлъ даже всѣ за-

машки мелкихъ начальниковъ, бралъ на замѣчаніе тѣхъ, которые не являлись къ нему, съ поздравленіемъ въ праздники, даже мстилъ всѣмъ тѣмъ, которыхъ имена не находились у швейцара на листѣ, и множество тѣхъ грѣшныхъ принадлежностей, безъ которыхъ не обходится ни добрый, ни злой человѣкъ. Онъ чувствовалъ къ нему отвращеніе нервическое. Какой-то злой духъ толкалъ его сдѣлать что-нибудь непріятное Федору Федоровичу. Онъ наискивался на это съ какимъ-то наслажденіемъ и въ томъ успѣлъ. Разъ поговорилъ онъ съ нимъ до такой степени крупно, что ему объявлено было отъ начальства — или просить извиненія, или выходить въ отставку. Дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ, пріѣхалъ къ нему перепуганный и умоляющій: „Ради самаго Христа! помилуй, Андрей Ивановичъ! что это ты дѣлаешь? оставять такъ выгодно начатый карьеръ изъ-за того только, что попался начальникъ не того!... Чтѣ-жъ это? Вѣдь если на это глядѣть, тогда и въ службѣ никто бы не остался. Образуясь, образуясь... еще есть время. Отринь гордость, самолюбіе, повѣжай и объяснись съ нимъ!“

— Не въ томъ дѣло, дядюшка, сказала племянникъ. — Мнѣ не трудно попросить у него извиненія; это тѣмъ болѣе, что я точно виноватъ. Онъ мнѣ начальникъ, и мнѣ ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало такъ говорить съ нимъ. Но дѣло вотъ въ чемъ. Вы позабыли, что у меня есть другая служба: у меня триста душъ крестьянъ, нѣтъ въ разстройствѣ, а управляющій — дуракъ. Государству утраты немного, если вмѣсто меня сядетъ въ канцелярію другой переписать бумагу, но большая утрата, если триста человѣкъ не заплатятъ податей. Я помѣщикъ; званіе это также не бездѣлица. Если я позабочусь о сохраненіи, сбереженіи и улучшеніи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству триста трезвыхъ, работающихъ подданныхъ, — чѣмъ моя служба будетъ хуже службы вакого-нибудь начальника отдѣленія Лѣнищина?

Дѣйствительный статскій совѣтникъ остался съ открытымъ ртомъ отъ изумленія: такого потока словъ онъ не ожидалъ. Немного подумавши, началъ онъ было въ такомъ родѣ: „Но все же таки.... но какъ же таки... какъ же запропастить себя въ

деревнѣ? Какое же общество можетъ быть между мужичьемъ? Здѣсь все-таки на улицѣ пройдетъ мимо тебя генераль, или князь. Захочешь—и самъ пройдешь мимо какихъ-нибудь публичныхъ красивыхъ зданій, на Неву пойдешь взглянуть; а вѣдь тамъ, что ни попадетъ, все это или мужикъ, или баба. За что-жь себя осудить на невѣжество на всю жизнь свою?“

Такъ говорилъ дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ. Самъ же онъ во всю жизнь свою не ходилъ по другой улицѣ, кромѣ той, которая вела къ мѣсту его службы, гдѣ не было никакихъ публичныхъ красивыхъ зданій; не замѣчалъ никого изъ встрѣчныхъ, былъ ли онъ генераль, или князь; не вѣдалъ никакихъ прихотей, какія дразнятъ въ столицахъ людей, падкихъ на невоздержаніе, и даже отъ роду не былъ въ театрѣ. Все это онъ говорилъ единственно за тѣмъ, чтобы затереть честолюбіе и подѣйствовать на воображеніе молодого человѣка. Въ этомъ, однакоже, не успѣлъ: Тентетниковъ стоялъ на своемъ упрямо. Департаменты и столица стали ему надоедать. Деревня начинала представляться какимъ-то привольнымъ приютомъ, восполнительницею думъ и помысленій, единственнымъ поприщемъ полезной дѣятельности. Черезъ недѣли двѣ послѣ этого разговора былъ онъ уже въ окрестности тѣхъ мѣстъ, гдѣ пронеслось его дѣтство.

Какъ стало все припоминяться, какъ забилось его сердце, когда почувствовалъ, что онъ уже вблизи отцовской деревни! Онъ уже многія мѣста позабылъ вовсе и смотрѣлъ любопытно, какъ новичекъ, на прекрасные виды. Когда дорога понеслась узкимъ оврагомъ въ чащу огромнаго заглухнушаго лѣса и онъ увидѣлъ сверху, внизу, надъ собой и подъ собой, трехсотлѣтніе дубы, тремъ человѣкамъ въ обхватъ, въ перемежку съ пихтой, вязомъ и осокоремъ, перероставшимъ вершину тополя, и когда на вопросъ: чей лѣсъ, ему сказали: Тентетникова; когда, выбравшись изъ лѣса, понеслась дорога дугами, мимо осиновыхъ рощъ, молодыхъ и старыхъ ивъ и лозъ, въ виду тянувшихся вдаль возвышеній, и перелетѣла мѣстами въ разныхъ мѣстахъ одну и ту же рѣку, оставляя ее то вправо, то влево отъ себя, и когда на вопросъ: чьи дуга и поемныя мѣста, отвѣчали: Тен-

тетникова; когда поднялась потомъ дорога на гору и пошла по ровной возвышенности—съ одной стороны мимо не снятыхъ хлѣбовъ пшеницы, ржи и ячменя, съ другой же стороны мимо всѣхъ прежде проѣханныхъ имъ мѣстъ, которыя всѣ вдругъ и разомъ показались въ картинномъ отдаленіи, и когда, постепенно темнѣя, входила и вошла потомъ дорога подъ тѣнь широкихъ развилыстныхъ деревьевъ, разлѣстившихся въ разсыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали кирпичныя избы мужиковъ и крытыя красными крышами господскія строенія; когда пылко забившееся сердце и безъ вопроса знало, куда пріѣхало, — ощущенія и мысли, непрестанно накоплявшіяся, исторгнулись наконецъ такими словами: „Ну, не дуракъ ли я былъ доселѣ? Судьба назначила мнѣ быть обладателемъ земного рая, принцемъ, а я закабалить себя въ канцелярію писцомъ! Учившись, воспитавшись, сдѣлавши порядочный запасъ тѣхъ именно свѣдѣній, какія требуются для управленія людьми, улучшенія цѣлой области, для исполненія многообразныхъ обязанностей помѣщика, являющагося и судьей, и распорядителемъ, и блюстителемъ порядка, вѣрить это мѣсто невѣждѣ-управителю! И выбрать вмѣсто этого чтò жъ? — переписыванье бумагъ, чтò можетъ, вмѣсто меня, несравненно лучше производить ничему не учившійся кантонистъ!“ И еще разъ далъ себѣ названіе дурака Андрей Ивановичъ Тентетниковъ.

А между тѣмъ ожидало его другое зрѣлище. Узнавши о пріѣздѣ барина, население всей деревни собралось къ крыльцу. Пестрые платки, повязки, повойники, зипуны, бороды всѣхъ сортовъ: заступомъ, лопатой и клиномъ, рыжія, русія и бѣлыя какъ серебро, покрыли всю площадь. Мужики загремѣли: „Кормилецъ, дождались мы тебя!“ Бабы заголосили: „Золото, серебро ты сердечное!“ Стоявшіе подалѣе даже подрались отъ усердья прорваться. Дряблая старушонка, похожая на сушеную грушу, прошмыгнула промежъ ногъ другихъ, подступила къ нему, всплеснула руками и взвизгнула: „Соплунчикъ ты нашъ! да какой же ты жиденькой! изморил тебя окаянная Нѣмчура!“ — „Пошла ты баба!“ закричали ей тутъ же бороды заступомъ, лопатой и клиномъ. „Ишь куда полѣзла, корявая!“ Кто-то приворотилъ

къ этому такое слово, отъ котораго одинъ только русскій мужикъ могъ не засмѣяться. Баринъ не выдержалъ и разсмѣялся, но тѣмъ не менѣе онъ тронуть былъ глубоко въ душѣ своей. „Столько любви! и за что?“ думалъ онъ въ себѣ. „За то, что я никогда не видалъ ихъ, никогда не занимался ими! Отнынѣ же даю слово раздѣлить съ вами трудъ и заняться вами! Употреблю все, чтобы помочь вамъ сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ вы должны быть, чѣмъ вамъ назначила быть ваша добрая, внутри же васъ самихъ заключенная природа ваша, — что бы не даромъ была любовь ваша ко мнѣ, чтобы я точно былъ кормилецъ вашъ!“

И дѣйствительно, Тентетниковъ не шутя принялся хозяйничать и распоряжаться. Онъ увидѣлъ на мѣстѣ, что прикащикъ былъ точно баба и дуракъ со всѣми качествами дрянного прикащика, то-есть велъ аккуратно счетъ куръ и яицъ, пряжи и полотна, приносимыхъ бабами, но не зналъ ни бельмеса въ уборкѣ хлѣба и посѣвахъ, и въ прибавленіе ко всему — подозрѣвалъ всѣхъ мужиковъ въ покушеніи на жизнь свою. Дурака прикащика онъ выгналъ и на мѣсто его выбралъ другого, бойкаго. Оставивъ мелочи, обратилъ вниманіе на главныя части, уменьшилъ барщину, убавилъ дни работъ на себя, прибавилъ времени мужикамъ работать на нихъ самихъ и думалъ, что теперь дѣла пойдутъ наиотличнѣйшимъ порядкомъ. Самъ сталъ входить во все, показываться на поляхъ, на гумнѣ, въ овинахъ, на мельницахъ у пристани, при грузѣхъ и сплавахъ барокъ и плоскодоновъ. „Да онъ, вишь ты, востроногой!“ стали говорить мужики и даже почесывать въ затылкахъ, потому что отъ долговременнаго бабьяго управленія они всѣ порядочно поиздѣнились. Но это продолжалось не долго. Русскій мужикъ смѣтливъ и умень: онъ понялъ скоро, что баринъ хоть и прытокъ, и есть въ немъ охота взяться за многое, но какъ именно, какимъ образомъ взяться, этого еще не смыслить, говорить какъ-то черезчуръ грамотно и затѣйливо, мужику не въ-долбежъ и не въ науку. Вышло то, что баринъ и мужикъ какъ-то не то, чтобы совершенно не поняли другъ друга, но, просто, не спѣлись вмѣстѣ, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетниковъ сталъ замѣчать, что на господской землѣ все выходило какъ-то хуже, чѣмъ на му-

жичей. Сѣялось раньше, всходило позже, а работами, казалось, хорошо. Онъ самъ присутствовалъ и приказалъ выдать даже по чашорухѣ водки за усердные труды. У мужиковъ давно уже колосилась рожь, высыпался овесъ, кустилось просо, а у него едва начиналъ только идти хлѣбъ въ трубку, пятакъ колоса еще не завязалась. Словомъ, сталъ замѣчать баринъ, что мужикъ, просто, плутуетъ, несмотря на всѣ льготы. Попробовалъ онъ укорить, но получилъ такой отвѣтъ: „Какъ можно, баринъ, чтобы мы о господской, то есть, выгодѣ не радѣли? Сами изволили видѣть, какъ старались, когда пахали и сѣяли. По чашорухѣ водки приказали подать.“ Чтѣ было на это возражать? — „Да отчего-жъ теперь вышло скверно?“ допрашивалъ баринъ. — „Кто его знаетъ! видно, червь подѣдалъ внизу! Да и лѣто вишь ты какое: совсѣмъ дождей не было.“ Но баринъ видѣлъ, что у мужиковъ червь не подѣдалъ снизу, да и дождь шелъ какъ-то странно, полосою: мужику угодилъ, а на барскую ниву хоть бы каплю выронилъ. Еще труднѣй ему было ладить съ бабами. То и дѣло отпрашивались онѣ отъ работъ, жалуясь на тягости барщины. Странное дѣло! Онъ уничтожилъ вовсе всякіе приносы холста, ягодъ, грибовъ и орѣховъ, на половину сбавилъ съ нихъ другихъ работъ, думая, что бабы обратятъ это время на домашнее хозяйство, обошьютъ, одѣнутъ своихъ мужьевъ, умножатъ огороды. Не тутъ-то было. Праздность, драка, сплетни и всякія ссоры завелись между прекраснымъ поломъ такіа, что мужья то и дѣло приходили къ нему съ такими словами: „Баринъ, уйми бѣса-бабу! Точно чортъ какой! житья нѣтъ отъ нея!“ Нѣсколько разъ, скрѣпя свое сердце, хотѣлъ онъ приняться за строгость. Но какъ быть строгимъ? Баба приходила такой бабой, такъ развизгивалась, такая была хвора, больная, такихъ гадкихъ наворочивала на себя тряпокъ, — ужъ откуда она ихъ набирала, Богъ ее вѣсть. „Ступай, ступай себѣ только съ глазъ моихъ подальше!“ говорилъ бѣдный Тентетниковъ и вслѣдъ за тѣмъ имѣлъ удовольствіе видѣть, какъ баба, тутъ же вышедъ за ворота, схватывалась съ сосѣдкой за какую-нибудь рѣпу и, несмотря на свою хворость, такъ отламывала ей бока, какъ не съумѣетъ и здоровый мужикъ. Вздумалъ онъ было какую-то школу между

ними завести, но отъ этого вышла такая чепуха, что онъ и голову повѣсилъ, — лучше-бъ было и не задумывать! Все это значительно охладило его рвеніе и къ хозяйству, и къ разбирательному судейскому дѣлу, и вообще къ дѣятельности. При работахъ онъ уже присутствовалъ почти безъ вниманія: мысли были далеко, глаза отыскивали посторонніе предметы. Во время покоевъ не глядѣлъ онъ на быстрое подыманіе шестидесяти разомъ востъ и жѣрное паденіе подъ ними, рядами, высокой травы; онъ глядѣлъ, вмѣсто того, на какой-нибудь въ сторонѣ извивъ рѣки, по берегамъ которой ходилъ красноносый, красноногій мартынь — разумѣется птица, а не человекъ; онъ глядѣлъ, какъ этотъ мартынь, поймавъ рыбу, держалъ ее впоперекъ въ носу, раздумывая, глотать или не глотать, и глядя въ то же время пристально вдоль рѣки, гдѣ видѣнъ былъ другой мартынь, еще не поймавшій рыбы, но глядѣвшій пристально на мартына, уже поймавшаго рыбу. Во время уборки хлѣбовъ не глядѣлъ онъ на то, какъ складывали снопы копнами, крестами, а иногда и просто шишомъ. Ему не было дѣло до того, лѣниво или шибко метали стога и клали клады. Зажмуря глаза и приподнявъ голову кверху, къ пространствамъ небеснымъ, предоставлялъ онъ обонянію впивать запахъ полей, а слуху — поражаться голосами воздушнаго пѣвучаго населенія, когда оно отовсюду, отъ небесъ и отъ земли, соединяется въ одинъ хоръ, не переча другъ друга: бьетъ перепель, дергаетъ въ травѣ дергунъ, урчатъ и чиликаютъ перелетающія коноплянки, по невидимой воздушной лѣстницѣ сыплется трели жаворонковъ, и турлыканье журавлей, несущихся въ сторонѣ вереницею, точно звонъ серебряныхъ трубъ, слышится въ пустотѣ звонко сотрясающейся пустыни воздушной. Вблизи ли производилась работа — онъ былъ вдали отъ нея; была ли она вдали — его глаза отыскивали, чтѣ было поближе. И былъ онъ похожъ на того разсѣяннаго ученика, который глядитъ въ книгу, но въ то же время видитъ и фігу, подставленную ему товарищемъ. Наконецъ и совсѣмъ пересталъ онъ ходить на работы, бросилъ совершенно и судъ, и всякія расправы, засѣлъ въ комнаты и пересталъ принимать къ себѣ, даже съ докладами, прикащика.

Временами изъ сосѣдей завернетъ къ нему бывало отставной

гусарь-поручикъ, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандеръ-полковникъ, мастеръ и охотникъ на разговоры обо всемъ. Но и это стало ему надоѣдать. Разговоры ихъ начали ему казаться какъ-то поверхностными; живое, ловкое обращеніе, потрепки по колѣну и прочія развязности начали ему казаться уже черезчуръ прямыми и открытыми. Онъ рѣшился съ ними разнакомиться и произвелъ это даже довольно рѣзко. Именно, когда представитель всѣхъ полковниковъ-брандеровъ, наимпріятнѣйшій во всѣхъ поверхностныхъ разговорахъ обо всемъ, Варваръ Николаичъ Вишнепокромовъ, пріѣхалъ къ нему за тѣмъ именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философіи, и литературы, и морали, и даже состоянія финансовъ въ Англіи, онъ выслалъ сказать, что его нѣтъ дома, и въ то же время имѣлъ неосторожность показаться предъ окошкомъ. Гость и хозяинъ встрѣтились взорами. Одинъ, разумѣется, проворчалъ сквозь зубы: скотина! а другой послалъ ему тоже нѣчто въ родѣ свиньи. Такъ и кончилось знакомство. Съ тѣхъ поръ не заѣзжалъ къ нему никто. Уединеніе полное водворилось въ домѣ. Хозяинъ залѣзъ въ халатъ безвыходно, предавши тѣло бездѣйствію, а мысль — обдумыванію большого сочиненія о Россіи. Нельзя сказать, однакоже, чтобы не было минутъ, въ которыя какъ будто пробуждался онъ ото сна. Когда привозила почта газеты и журналы и попадалось ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвавшаго на видномъ поприщѣ государственной службы, или приносившаго посильную дань наукамъ и образованію всемірному, тайная, тихая грусть подступала ему подъ сердце, и скорбная, безмолвногрустная, тихая жалоба на бездѣйствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. Съ необыкновенною силой восскресало предъ нимъ школьное минувшее время и представлять вдругъ, какъ живой, Александръ Петровичъ... Градомъ лились изъ глазъ его слезы и рыданія продолжались почти весь день.

Что значили эти рыданія? Обнаруживала ли ими болѣющая душа скорбную тайну своей болѣзни, что не успѣлъ образоваться и укрѣпнуть начинавшій въ немъ строиться высокой внутренней человекъ; что, не испытанный заранѣе въ борьбѣ съ неудачами,

не достигнуть онъ до высокаго состоянья возвышаться и крѣпнуть отъ преградъ и препятствій; что, растопившись, подобно разогрѣтому металлу, богатый запасъ великихъ ощущеній не принялъ послѣдней закалки, и теперь, безъ упругости, безсилна его воля; что слишкомъ для него рано умеръ чудный, необыкновенный наставникъ и что нѣтъ теперь никого во всемъ свѣтѣ, кто бы былъ въ силахъ воздвигнуть и поднять шатаемыя вѣчными колебаніями силы и лишенную упругости, или слабую, немощную волю, — кто бы крикнулъ живымъ, пробуждающимъ голосомъ, крикнулъ душѣ пробуждающее слово: *впередъ*, котораго жаждетъ повсюду, на всѣхъ ступеняхъ стоящій, всѣхъ словій, званій и промысловъ, русскій человѣкъ?

Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души нашей умѣлъ бы намъ сказать всемогущее слово: *впередъ*; кто, зная всѣ силы и свойства и всю глубину нашей природы, однимъ чародѣйскимъ мановеніемъ можетъ устремить на высокую жизнь русскаго человѣка? Какими слезами, какою любовью заплатилъ бы онъ ему! Но вѣки проходятъ за вѣками; полмилліона сидней, увальней и болвановъ дремлетъ непробудно, и рѣдко рождается на Руси мужъ, умѣющій произнести его, это всемогущее слово.

Одно обстоятельство чуть было, однакоже, не разбудило Тентетникова и чуть было не произвело переворота въ его характерѣ. Случилось что-то въ родѣ любви, но и тутъ дѣло какъ-то свелось на ничто. Въ сосѣдствѣ, въ десяти верстахъ отъ его деревни, проживалъ генераль, отзывавшійся, какъ мы уже видѣли, не совсѣмъ благосклонно о Тентетниковѣ. Генераль жилъ генераломъ, хлѣбосоломъ, любилъ, чтобы сосѣди пріѣзжали изъявлять ему почтеніе; самъ, разумѣется, визитовъ не платилъ, говорилъ хрипло, читалъ книги и имѣлъ дочь, существо невиданное, странное, которую скорѣй можно было почесть какимъ-то фантастическимъ видѣніемъ, чѣмъ женщиной. Иногда случается человѣку во снѣ увидѣть что-то подобное, и съ тѣхъ поръ онъ уже во всю жизнь свою грезитъ этимъ сновидѣніемъ, — дѣйствительность для него пропадаетъ навсегда, и онъ рѣшительно ни на что не годится. Имя ей было Улинька. Воспиталась она какъ-то странно. Ея воспитывала англичанка-гувернантка, не знав-

шая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще въ дѣтствѣ. Отцу было некогда. Впрочемъ, любя дочь до безумія, онъ могъ только избаловать ее. Необыкновенно трудно изобразить портретъ ея. Это было что-живое, какъ сама жизнь. Она была миловиднѣй, чѣмъ красавица, — лучше, чѣмъ умна, — стройнѣй, воздушнѣй классической женщины. Никакъ бы нельзя было сказать, какая страна положила на ней свой отпечатокъ, потому что (такого) профиля и очертанья лица трудно было гдѣ-нибудь отыскать, развѣ только на античныхъ каменяхъ. Какъ въ ребенкѣ, воспитанномъ на свободѣ, въ ней все было своеюравно. Еслибы кто увидаль, какъ внезапный гнѣвъ собиралъ вдругъ строгія морщины на прекрасномъ челѣ ея и какъ она спорила пылко съ своимъ отцомъ, онъ бы подумаль, что это было капризнѣйшее созданье. Но гнѣвъ у нея былъ только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости, или жестокомъ поступкѣ съ кѣмъ бы то ни было. Но вдругъ исчезнулъ бы этотъ гнѣвъ, еслибы она увидѣла въ несчастіи того самаго, на кого гнѣвалась. Какъ бы вдругъ бросила она ему свой кошелекъ, не размышляя, умно ли это, или глупо, и разорвала на себѣ платье для перевязки, еслибы онъ былъ раненъ! Было въ ней что-то стремительное. Когда она говорила, у нея, казалось, все стремилось вслѣдъ за мыслью: выраженье лица, выраженье разговора, движенье рукъ; самыя складки платья какъ бы летѣли въ ту же сторону, и, казалось, какъ бы она сама вотъ улетитъ вслѣдъ за собственными словами. Ничего не было въ ней утаеннаго. Ни предъ кѣмъ не побоялась бы она обнаружить своихъ мыслей, и никогда сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотѣлось говорить. Ея очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того безтрепетно-свободна, что все ей уступило бы невольно дорогу. При ней какъ-то смущался недобрый человѣкъ и нѣмѣль, а добрый, даже самый застѣнчивый, могъ разговариваться съ нею вдругъ, какъ съ сестрой, и съ первыхъ минутъ разговора ему уже казалось, что гдѣ-то-то и когда-то онъ зналъ ее, что случилось это во дни незапамятнаго младенчества, въ какомъ-то родномъ домѣ, веселымъ вечеромъ, при радостныхъ играхъ дѣтской толпы, и послѣ того какъ-то становился ему

скучнымъ разумный возрастъ человѣка. Андрей Ивановичъ Тентетниковъ не могъ бы никакъ рассказать, какъ это случилось, что съ перваго же дня онъ сталъ съ ней такъ, какъ бы знакомъ былъ вѣчно. Незъяснимое, новое чувство вошло къ нему въ душу. Его жизнь на мгновеніе озарилась. Халатъ на время былъ оставленъ, не такъ долго копался онъ на кровати, не такъ долго стоялъ Михайло съ рукою на шею въ рукахъ. Растворились окна въ комнатахъ, и часто владѣтель картиннаго помѣстья долго ходилъ по темнымъ излучинамъ своего сада и останавливался по часамъ предъ плѣнительными видами на отдаленія. Генераль принималъ сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно; но совершенно сойтись они не могли. Разговоры у нихъ всегда оканчивались споромъ и какимъ-то неприятнымъ ощущеніемъ съ обѣихъ сторонъ. Генераль не совсѣмъ любилъ противорѣчія и возраженія, хотя въ то же время любилъ поговорить о томъ, чего не зналъ, любилъ даже и о томъ, чего не зналъ вовсе. Тентетниковъ, съ своей стороны, тоже былъ человѣкъ щекотливый. Впрочемъ, ради дочери, прощалось многое отцу, и миръ у нихъ держался до тѣхъ поръ, покуда не пріѣхали гостить къ генералу родственницы, графиня Бордырева и княжна Юзякина: одна — вдова, другая — старая дѣва, обѣ фрейлины прежнихъ временъ, отчасти болтуны, отчасти сплетницы, не весьма обворожительныя любезностію своею, но однако же имѣвшія значительныя связи въ Петербургѣ, и предъ которыми генераль немножко даже подличалъ. Тентетникову показалось, что съ самаго дня пріѣзда ихъ генераль сталъ къ нему какъ-то холоднѣе, почти не замѣчалъ его и обращался какъ съ лицомъ безсловеснымъ, или съ чиновникомъ, употребляемымъ для порученій самыхъ мелкихъ. Онъ говорилъ ему то *братецъ*, то *любезнѣйшій*, и одинъ разъ сказалъ ему даже *ты*. Андрея Ивановича взорвало; кровь бросилась ему въ голову. Скрѣпя сердце и стиснувъ зубы, онъ, однакоже, имѣлъ присутствіе духа сказать необыкновенно учтивымъ и мягкимъ голосомъ, между тѣмъ какъ пятна выступили на лицѣ и все внутри кипѣло: „Я долженъ благодарить васъ, генераль, за ваше расположеніе. Вы приглашаете и вызываете меня словомъ *ты* на самую тѣсную дружбу, обязывая и меня также говорить

вамъ *ты*. Но позвольте вамъ замѣтить, что я помню различіе наше въ лѣтахъ, совершенно препятствующее такому фамилярному между нами обращенію.“ Генераль смутился. Собирая слова и мысли, сталъ онъ говорить, хотя нѣсколько несвязно, что слово *ты* (было имъ сказано) не въ томъ смыслѣ, что старику иной разъ позволительно сказать молодому человѣку *ты* (о чинѣ своемъ онъ не упомянулъ ни слова). Разумѣется, съ этихъ поръ знакомство между ними прекратилось. Любовь кончилась при самомъ началѣ. Потухнулъ свѣтъ, на минуту было предъ нимъ блеснувшій, и послѣдовавшій за тѣмъ сумерки стали еще сумрачнѣе. Байбакъ съизнова залѣзъ въ халатъ свой. Все поворотило съизнова на лежанье и бездѣйствіе. Въ домѣ завелись гадость и безпорядокъ. Половая щетка оставалась по цѣлому дню посреди комнаты вмѣстѣ съ соромъ. Панталоны заходили даже въ гостиную. На щеголеватомъ столѣ, предъ диваномъ, лежали засаленныя подтяжки, точно угощенье гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но чуть не клевали домашнія куры. Безсознательно чертилъ онъ на бумагѣ, по цѣлымъ часамъ, рогульки, домики, избы, телѣги, тройки, или же выписывалъ *Милостивый Государь!* съ восклицательнымъ знакомъ, всѣми почерками и характеристиками. Иногда же, все позабывши, перо чертило само собой, безъ вѣдома хозяина, маленькую головку, съ тонкими, острыми чертами, съ приподнятой легкою прядью волосъ, упавшей изъ-подъ гребня длинными тонкими кудрями, молодыми обнаженными руками, какъ бы летѣвшую, — и въ изумленіи видѣлъ хозяинъ, что выходитъ портретъ той, которой портрета не могъ бы написать никакой живописецъ. И еще грустнѣе становилось ему потомъ, и вѣра тому, что нѣтъ на землѣ счастья, оставался онъ на цѣлый день скучнымъ и безотвѣтнымъ.

Таковы были обстоятельства Андрея Ивановича Тентетникова. Вдругъ въ одинъ день, подходя къ окну обычнымъ порядкомъ, съ трубкой и чашкой въ рукахъ, замѣтилъ онъ въ дворѣ движеніе и суету. Поварченокъ и положойка бѣжали отворять ворота, и въ воротахъ показались кони, точь-въ-точь какъ лѣпятъ или рисуютъ на триумфальныхъ воротахъ: морда на право,

морда на лѣво, морда по срединѣ. Свыше ихъ на козлахъ — ку-черь и лакой въ широкошьюртукъ, подвязанный посовымъ платкомъ. За ними господинъ въ картузѣ и шинели, закутанный въ косынку радужныхъ цвѣтовъ. Когда экипажъ изворотился передъ крыльцошъ, оказалось, что былъ онъ не чтò другое, какъ рес-сорная бричка. Господинъ приличной наружности соскочилъ на крыльцо съ быстротой и ловкостью почти военнаго человѣка.

Андрей Ивановичъ струсилъ. Онъ принялъ его за чиновника отъ правительства. Надобно сказать, что въ молодости своей онъ было замѣшался въ одно не разумное дѣло. Какіе-то философы изъ гусарь, да недоучившійся студентъ, да промотавшійся игрокъ затѣяли какое-то филантропическое общество, подъ верховнымъ распоряженіемъ стараго плута, и масона, и карточного игрока, пьяницы и краснорѣчивѣйшаго человѣка. Общество было устроено съ необыкновенно-обширною цѣлію — доставить счастье всему человѣчеству. Касса денегъ потребовалась огромная, пожертво-ванія собирались съ великодушныхъ членовъ..... Куда это все пошло — зналъ объ этомъ только одинъ верховный рас-порядитель. Въ общество это втянули его два пріятеля, принад-лежавшіе къ классу огорченныхъ людей, добрые люди, но которые отъ частыхъ гостовъ во имя науки, просвѣщенія и прогресса, сдѣлались потомъ горькими пьяницами. Тентетниковъ скоро спохватился и выбылъ изъ этого круга. Но общество успѣло уже запутаться въ какихъ-то другихъ дѣйствіяхъ, даже не совсѣмъ приличныхъ дворянину, такъ что потомъ завязались дѣла и съ полиціей. А потому и не мудрено, что и вышедши, и разорвавши всякія сношенія съ благодѣтелемъ человѣчества, Тентетниковъ не могъ, однакоже, оставаться покоенъ. На совѣсти было у него не совсѣмъ ловко, и теперь не безъ страха глядѣлъ онъ на дол-женствовавшую раствориться дверь.

Страхъ его, однакоже, прошелъ вдругъ, когда гость раскла-нялся съ легкостью неимоверной, сохраняя почтительное поло-женіе головы нѣсколько на бокъ. Въ короткихъ, но опредѣли-тельныхъ словахъ изъяснилъ, что уже издавна ѣздитъ онъ по Россіи, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство наше преизобилуетъ предметами замѣчательными, не

говоря о красотѣ мѣстъ, обилии промысловъ и разнообразіи почвъ; что онъ увлекся картинностію мѣстоположенія его деревни; что несмотря, однакоже, на картинность мѣстоположенія онъ не дерзнулъ бы никакъ беспокоить его неумѣстнымъ заѣздомъ своимъ, если бы не случилось что-то бричкѣ его, требующее искусной руки помощи со стороны кузнецовъ и мастеровъ; что при всемъ томъ, однакоже, еслибы даже и ничего не случилось въ его бричкѣ, онъ бы не могъ отказать себѣ въ удовольствіи засвидѣтельствовать ему личное свое почтеніе. Окончивъ рѣчь, гость, съ обворожительною пріятностію, подшаркнувъ ножкой, отпрыгнулъ тутъ же нѣсколько назадъ съ легкостью резиннаго мячика.

Андрей Ивановичъ подумалъ, что это должно быть какой-нибудь любознательный ученый профессоръ, который ѣздитъ по Россіи за тѣмъ, чтобы собирать какія-нибудь растенія, или даже предметы ископаемые. Онъ изъявилъ ему всякую готовность споспѣшествовать; предложилъ ему своихъ мастеровъ, колесниковъ и кузнецовъ для поправки брички: просилъ расположиться у него какъ въ собственномъ домѣ; усадилъ обходительнаго гостя въ большія вольтеровскія (кресла) и приготовился слушать его рассказъ, безъ сомнѣнія, объ ученыхъ и естественныхъ предметахъ.

Гость, однакоже, коснулся событій внутренняго міра. Заговорилъ о превратностяхъ судьбы; уподобилъ жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду вѣтрами; упомянулъ о томъ, что долженъ былъ пережвѣнить много мѣстъ и должностей, что много потерялъ за правду, что даже самая жизнь его была не разъ въ опасности со стороны враговъ, и много еще рассказалъ онъ такого, изъ чего Тентетниковъ могъ видѣть, что гость его былъ скорѣе практической человѣкъ. Въ заключеніе всего онъ высморкался въ бѣлый батистовый платокъ такъ громко, какъ Андрей Ивановичъ еще и не слыхивалъ. Подъ-часъ попадается въ оркестрѣ такая пройдоха-труба, которая какъ хватить, покажется, что крикнуло не въ оркестрѣ, но въ собственномъ ухѣ. Такой точно звукъ раздавался въ пробужденныхъ покояхъ дремавшаго дома, и немедленно вслѣдъ за нимъ послѣдовало благоуханіе одеколона, невидимо распространенное ловкимъ встряхнутіемъ батистоваго носоваго платка.

Читатель, можетъ-быть, уже догадался, что гость былъ ни другой кто, какъ нашъ почтенный, давно нами оставленный Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Онъ немножко постарѣлъ; какъ видно, не безъ бурь и тревогъ было для него это время. Казалось, какъ бы и самый фракъ на немъ немножко поустарѣлъ и бричка, и кучеръ, и слуга, и лошади, и упряжь какъ бы поистерлись и поизносились. Казалось, какъ бы и самыя финансы не были въ завидномъ состоянїи. Но выраженье лица, приличье, обхожденье остались тѣ же. Даже какъ бы еще прїятнѣе сталъ онъ въ поступкахъ и оборотахъ. Еще ловче подвертывалъ подъ ножку ножку, когда садился въ кресла; еще болѣе было мягкости въ разговорѣ рѣчей, осторожной умѣренности въ словахъ и выраженьяхъ, умѣнья держать себя и болѣе такту во всемъ. Бѣлѣй и чище были на немъ воротнички и манишки, и не смотря на то, что былъ онъ съ дороги, ни пушинки не сѣло къ нему на фракъ,—хоть на именинный обѣдъ. Щеки и подбородокъ выбриты были такъ ровно и гладко, что одинъ развѣ только слѣной могъ не любоваться прїятною выпуклостью и круглотою ихъ.

Въ домѣ произошло преобразование. Половина его, дотолѣ пребывавшая въ слѣпотѣ, съ заколоченными ставнями, вдругъ прозрѣла и озарилась. Изъ брички стали выносить поклажу; все начало размѣщаться въ освѣтившихся комнатахъ и скоро все приняло такой видъ: комната, опредѣленная быть спальней, виѣстила въ себѣ вещи, необходимыя для ночнаго туалета, комната, опредѣленная быть кабинетомъ.... Но прежде необходимо знать, что въ этой комнатѣ было три стола: одинъ письменный—передъ диваномъ, другой ломберный—между окнами у стѣны, третій угольный—въ углу, между дверью въ спальню и дверью въ необитаемый залъ съ инвалидною мебелью. На этомъ угольномъ столѣ помѣстилось вынутое изъ чемодана платье, а именно: панталоны старые и новыя подъ фракъ, панталоны подъ сюртукъ, панталоны сѣренькіе, два бархатныхъ жилета и два атласныхъ, сюртукъ и два фрака (Жилеты же бѣлаго пике и лѣтніе брюки отошли къ бѣлью въ комодъ). Все это размѣстилось одно на другомъ пирамидкой и прикрывлось сверху шелковымъ носовымъ платкомъ. Въ другомъ углу между дверью и окномъ

выстроились рядкомъ сапоги: сапоги не совсѣмъ новыя, сапоги совсѣмъ новыя, сапоги съ новыми головками и лакированныя полусапожки. Они также стыдливо занавѣсились шелковымъ носовымъ платкомъ, — такъ какъ бы ихъ тамъ вовсе не было. На столѣ предъ двумя окнами помѣстилась шкатулка. На письменномъ столѣ передъ диваномъ — портфель, банка съ одеколономъ, сургучъ, зубныя щетки, новый календарь и два какіе-то романа, оба вторые тома. Чистое бѣлье все помѣстилось въ комода, уже находившемся въ спальнѣ; бѣлье же, которое слѣдовало прачкѣ, завязано было въ узелъ и подсунуто подъ кровать. Чегоданъ, по опростаньи его, былъ тоже подсунутъ подъ кровать. Сабля помѣстилась тоже въ спальнѣ, повиснувши на гвоздѣ, недалеко отъ кровати. Та и другая комната приняли видъ чистоты и опрятности необыкновенной. Нигдѣ ни бумажки, ни перушка, ни соринки. Самый воздухъ какъ-то облагородился. Въ немъ утвердился пріятный запахъ здороваго, свѣжаго мужчины, который бѣлья не занашиваетъ, въ баню ходитъ и вытираетъ себя мокрой губкой по воскреснымъ днямъ. Въ вестибульномъ залѣ покушался было утвердиться на время запахъ служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемѣщенъ былъ на кухню, какъ оно и слѣдовало.

Въ первые дни Андрей Ивановичъ опасался за независимость, чтобы какъ-нибудь гость не связалъ его, не стѣснилъ какими-нибудь измѣненьями въ образѣ жизни и не разрушился бы порядокъ дня его, такъ удачно заведенный. Но опасенья были напрасны. Гость показалъ необыкновенно-гибкую готовность приспособиться ко всему. Одобрилъ философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она общааетъ столѣтнюю жизнь. Объ единеніи выразился весьма счастливо, именно, что оно питаетъ великія мысли въ человѣкѣ. Взглянувъ на бібліотеку и отозвавшись съ похвалой о книгахъ вообще, замѣтилъ, что онѣ спасаютъ отъ праздности человѣка. Словомъ, выронилъ словъ немного, но значительныхъ. Въ поступкахъ же своихъ поступалъ еще болѣе вѣсти. Во-время являлся, во-время уходилъ; не затруднялъ хозяина запросами въ часы неразговорчивости его, съ удовольствіемъ игралъ съ нимъ въ шахматы, съ удовольствіемъ молчалъ.

Въ то время, когда одинъ пускалъ кудреватыми облаками трубочный дымъ, другой, не куря трубки, придумывалъ соответствовавшее тому занятіе: вынималъ, напримѣръ, изъ кармана серебряную съ чернью табакерку и, утвердивъ ее между двухъ пальцевъ лѣвой руки, оборачивалъ ее быстро пальцемъ правой, въ подобіе того, какъ земная сфера обращается около своей оси, или же просто по ней барабанилъ пальцами, насвистывая какое-нибудь ни то, ни сѣ. Словомъ, онъ не мѣшалъ хозяину никакъ. „Я въ первый разъ вижу человѣка, съ которымъ можно жить“, говорилъ про себя Тентетниковъ. „Вообще этого искусства у насъ мало. Между нами есть довольно людей и умныхъ, и образованныхъ, и добрыхъ, но людей постоянно пріятныхъ, постоянно ровнаго характера, людей, съ которыми можно бы прожить вѣкъ и не поссориться, — я не знаю, много ли у насъ можно отыскать такихъ людей! Вотъ единственный человѣкъ, котораго я вижу!“ Такъ отзывался Тентетниковъ о своемъ гостѣ.

Чичиковъ, съ своей стороны, былъ очень радъ, что поселился на время у такого мирнаго и смирнаго хозяина. Цыганская жизнь ему надоѣла. Пріотдохнуть, хотя на мѣсяцъ, въ прекрасной деревнѣ, въ виду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и въ геморoidalномъ отношеніи.

Трудно было найти лучший уголокъ для отдохновенія. Весна убрала его красотой несказанной. Чтò яркости въ зелени! чтò свѣжести въ воздухѣ! чтò птичьяго крика въ садахъ! Рай, радость и ликование всего! Деревня звучала и пѣла, какъ бы новорожденная.

Чичиковъ ходилъ много. То направлялъ онъ прогулку свою по плоской вершинѣ возвышеній, въ виду разстилавшихся внизу долинъ, по которымъ вездѣ оставались еще большія озера отъ разлитія воды; или же вступалъ въ овраги, едва начинашіе убираться листьями лѣсовъ, усѣянныхъ вороньими гнѣздами, — деревья и узкая просинь чернѣли, оглушаемыя карканьемъ воронъ, разговорами галокъ, игранями грачей, перекрестными летаньями помрачавшими небо; или же спускался внизъ къ поемнымъ мѣстамъ и разорваннымъ плотинамъ — глядѣтъ, какъ съ оглушительнымъ шумомъ неслась вода повергаться на мельничныя

колеса; или же пробирался далѣе къ пристани, откуда неслись, вмѣстѣ съ теченіемъ воды, первыя суда, нагруженныя горохомъ, овсомъ, ячменемъ и пшеницей; или отправлялся въ поля на первыя весеннія работы — глядѣть, какъ свѣжая орань черною полоскою проходила по землѣ, или же какъ ловкій сѣятель бросалъ изъ горсти сѣмена ровно, мѣтко, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону. Толковалъ и говорилъ съ прикащикомъ — и что, и какъ, и каковыхъ урожаевъ нужно ожидать, и на какой ладъ идетъ у нихъ запашка, и на сколько хлѣба у нихъ продается, и что выбираютъ весной и осенью за умолъ муки, и какъ зовутъ cadaго мужика, и кто съ кѣмъ въ родствѣ, и гдѣ купилъ корову, и чѣмъ кормить свинью, — словомъ, все. Узналъ и то, сколько перемерло мужиковъ. Оказалось немного. Какъ умный человекъ, замѣтилъ онъ вдругъ, что незavidно идетъ хозяйство у Тентетникова. Повсюду опущенія, нерадѣнье, воровство, не мало и пьянства. И мысленно говорилъ онъ себѣ: „Какая, однакоже, скотина Тентетниковъ! Запустить ижвнѣе, которое могло бы приносить по малой мѣрѣ пятьдесятъ тысячъ годового дохода!“ И, не будучи въ силахъ удержать справедливаго негодованья, повторялъ онъ: „Рѣшительная скотина!“ Не разъ, посреди такихъ прогулокъ, приходило ему на мысль сдѣлаться когда-нибудь самому, — т. е., разумѣется, не теперь, но послѣ, когда обдѣляется главное дѣло и будутъ средства въ рукахъ, — сдѣлаться самому мирнымъ владѣльцемъ подобнаго помѣстья. Тутъ обыкновенно представлялась ему молодая хозяйка, свѣжая, бѣлолицая бабенка, можетъ-быть даже изъ купеческаго сословія, впрочемъ, однакоже, образованная и воспитанная такъ, какъ дворянка, — чтобы понимала и музыку, хотя, конечно, музыка и не главное, но почему же, если уже такъ заведено, зачѣмъ уже идти противу общаго мнѣнія? Представлялось ему и молодое поколѣніе, долженствовавшее увѣковѣчить фамилію Чичиковыхъ: рѣзвунчикъ-мальчишка и красавица-дочка, или даже два мальчугана, двѣ и даже три дѣвочки, чтобы было всѣмъ извѣстно, что онъ дѣйствительно жилъ и существовалъ, а не то, что прошелъ по землѣ какой-нибудь тѣнью или призракомъ, — чтобы не было стыдно и передъ отечествомъ. Представлялось ему и то,

что не дурно бы и къ чину нѣкоторое прибавленіе: статскій совѣтникъ, напримѣръ, чинъ почтенный и уважительный... И много приходило ему въ голову того, что такъ часто уносить человѣка отъ скучной настоящей минуты, теревить, дразнить, шевелить его и бываетъ ему любо даже и тогда, когда онъ увѣренъ самъ, что это никогда не сбудется.

Людыя Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они такъ же, какъ и онъ, обжились въ ней. Петрушка сошелся очень хорошо съ буфетчикомъ Григорьемъ, хотя сначала они важничали и надувались другъ передъ другомъ нестерпимо. Петрушка пустилъ Григорью пылъ въ глаза тѣмъ, что онъ бывалъ въ Костромѣ, Ярославлѣ, Нижнемъ и даже въ Москвѣ; Григорій же осадилъ его сразу Петербургомъ, въ которомъ Петрушка не былъ. Послѣдній хотѣлъ было подняться и выѣхать на дальности разстояній тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ онъ бывалъ, но Григорій называлъ ему такое мѣсто, какого ни на какой картѣ нельзя было отыскать, и насчиталъ тридцать тысячъ слишкомъ верстъ, такъ что Петрушка осовѣлъ; разинулъ ротъ и былъ поднять на смѣхъ тутъ же всею дворней. Впрочемъ, кончилось между ними самою тѣсною дружбой. Дядя лысый Пименъ держалъ въ концѣ деревни знаменитый кабакъ, которому имя было „Акулька.“ Въ этомъ заведеніи видѣли ихъ всѣ часы дня. Тамъ стали они свои, или то, что называютъ въ народѣ — кабацкіе завсегдатели.

У Селифана была другаго рода приманка. На деревнѣ, что ни вечеръ, пѣлись пѣсни, заплетались и расплетались хороводы. Породистыя, стройныя дѣвки, какихъ было трудно найти въ другомъ мѣстѣ, заставляли его по нѣсколькимъ часамъ стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше: всѣ бѣлогрудыя, бѣлошейныя; у всѣхъ глаза рѣпой, у всѣхъ глаза съ поволокой, походка павлиномъ и коса до пояса. Когда, взявшись обѣими руками за бѣлыя руки, медленно двигался онъ съ ними въ хороводѣ, или же выходилъ на нихъ стѣной, въ ряду другихъ парней, и погасалъ горячо рдѣющій вечеръ, и тихо померкала вокругъ окольность, и далече за рѣкой отдавался вѣрный отголосокъ неизмѣнно грустнаго напѣва, — не зналъ онъ и самъ тогда, что съ нимъ дѣлалось. Долго потомъ и на-яву, утромъ и въ сумерки,

все мерещилось ему, что въ обѣихъ рукахъ его бѣдня руки и движется онъ въ хороводѣ... Махнувъ рукой, говорилъ онъ: „Проклятыя дѣвки!“

Конямъ Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и пристяжной каурой масти, называемый засѣдателемъ, и самый чубарый, о которомъ выражался Селифанъ: „подлецъ-лошадь“, нашли пребыванье у Тентетникова совсѣмъ нескуднымъ, овесъ отличнымъ, а расположенье конюшенъ необыкновенно удобнымъ. У всякого стойло, хотя отгороженное, но черезъ перегородки можно было видѣть и другихъ лошадей, такъ что, еслибы пришла кому-нибудь изъ нихъ, даже самому дальнему, фантазія вдругъ заржать, можно было ему отвѣтствовать тѣмъ же тотъ же часъ.

Словомъ, всѣ обжились какъ дома. Читатель, можетъ-быть, изумляется, что Чичиковъ доселѣ не заикнулся по части извѣстныхъ душъ. Какъ бы не такъ! Павелъ Ивановичъ сталъ очень остороженъ насчетъ этого предмета. Еслибы даже пришлось вести дѣло съ дураками круглыми, онъ бы и тутъ не вдругъ его началъ. Тентетниковъ же, какъ бы то ни было, читаетъ книги, философствуетъ, старается изъяснить себѣ всякія причины всего, и отчего, и почему.... „Нѣтъ, чортъ его возьми! развѣ начать съ другаго конца.“ Такъ думалъ Чичиковъ; раздабаривая по часту съ дворовыми людьми, онъ, между прочимъ, отъ нихъ развѣдалъ, что баринъ ѣздилъ прежде довольно нерѣдко къ сосѣду генералу, что у генерала барышня, что баринъ было къ барышнѣ, да и барышня тоже къ барину.... Но потомъ вдругъ за что-то не поладили и разошлись. Онъ замѣтилъ и самъ, что Андрей Ивановичъ карандашомъ и перомъ все рисовалъ какія-то головки, одна на другую похожія. Одинъ разъ послѣ обѣда, оборачивая, по обыкновенію, пальцемъ серебряную табакерку вокругъ ея оси, сказалъ онъ такъ: „У васъ все есть, Андрей Ивановичъ; одного только не достааетъ.“ — „Чего?“ спросилъ тотъ, выпуская кудреватый дымъ. — „Подруги жизни“, сказалъ Чичиковъ. Ничего не сказалъ Андрей Ивановичъ. Тѣмъ разговоръ и кончился. Чичиковъ не смутился, выбралъ другое время, уже передъ ужиномъ, и, разговаривая о томъ и о семъ, сказалъ вдругъ: „А право,

Андрей Ивановичъ, вамъ бы очень не мѣшало жениться. “ Хоть бы слово сказалъ на это Тентетниковъ, точно какъ бы и самая рѣчь объ этомъ была ему непріятна. Чичиковъ не смутился. Въ третій разъ выбралъ время, уже послѣ ужина, и сказалъ такъ: „А все-таки, какъ ни переверочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вамъ жениться: впадете въ ипохондрію.“ Слова ли Чичикова были на этотъ разъ такъ убѣдительны, или же расположење духа у Андрея Ивановича было какъ-то особенно настроено къ откровенности, — онъ вздохнулъ и сказалъ, пустивши кверху трубочный дымъ: „На все нужно родиться счастливецемъ, Павелъ Ивановичъ“, и рассказалъ все, какъ было, всю исторію знакомства съ генераломъ и разрыва.

Когда услышалъ Чичиковъ, отъ слова до слова, все дѣло и увидѣлъ, что изъ-за одного слова *ты* произошла такая исторія, онъ оторопѣлъ. Нѣсколько минутъ смотрѣлъ пристально въ глаза Тентетникову и заключилъ: „Да онъ, просто, круглый дуракъ!“

— Андрей Ивановичъ, помилуйте! сказалъ онъ наконецъ, взявши его за обѣ руки, — какое-жъ (тутъ) оскорбленіе? чтѣ-жъ тутъ оскорбительнаго въ словѣ *ты*?

— Въ самомъ словѣ нѣтъ ничего оскорбительнаго, сказалъ Тентетниковъ, — но въ смыслѣ слова, но въ голосѣ, съ которымъ сказано оно, заключается оскорбленіе. *Ты* — это значить: помни, что ты дрянъ, я принимаю тебя потому только, что нѣтъ никого лучше, а пріѣхала какая-нибудь княжна Юзюкина, — ты знай свое мѣсто, стой у порога. Вотъ чтѣ это значить! — Говоря это, смиренный и кроткій Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ голосѣ его слышалось раздраженіе оскорбленнаго чувства.

— Да хоть бы даже и въ этомъ смыслѣ, — чтѣ-жъ тутъ такого? сказалъ Чичиковъ.

— Какъ! сказалъ Тентетниковъ, смотря пристально въ глаза Чичикову, — вы хотите, чтобъ я продолжалъ бывать у него послѣ такого поступка?

— Да какой же это поступокъ? это даже не поступокъ! сказалъ Чичиковъ.

„Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!“ подумалъ про себя Тентетниковъ.

„Какой странный человекъ этотъ Тентетниковъ!“ подумалъ про себя Чичиковъ.

— Это не поступокъ, Андрей Ивановичъ. Это, просто, генеральская привычка: они все́мъ говорятъ *ты*. Да впрочемъ, почему-жъ этого и не позволить заслуженному, почетному человеку?

— Это другое дѣло, сказалъ Тентетниковъ. — Еслибъ онъ былъ старикъ, бѣднякъ, не гордъ, не чванливъ, не генераль, а бы тогда позволилъ ему говорить мнѣ *ты* и принялъ бы даже почтительно.

„Онъ все́мъ дуракъ!“ подумалъ про себя Чичиковъ. „Оборвышу позволить, а генералу не позволить!“ — Хорошо, положимъ онъ васъ оскорбилъ, за то вы и повкитались съ нимъ: онъ вамъ, и вы ему. Но разставаться навсегда изъ пустяка, помидуйте, на что же это похоже? какъ же оставлять дѣло, которое только-что началось? Если избрана цѣль, тутъ нужно идти напроломъ. Что тутъ глядѣть на то, что человекъ плюется! Человекъ всегда плюется; да вы не отыщете теперь ни одного человека въ свѣтѣ, который бы не плевался.

Тентетниковъ совершенно озадачился этими словами, оторопѣлъ, глядѣлъ въ глаза Павлу Ивановичу и думалъ про себя: „Престранный, однакожъ, человекъ этотъ Чичиковъ!“

„Какой, однакоже, чудакъ этотъ Тентетниковъ!“ думалъ между тѣмъ Чичиковъ. — Позвольте мнѣ какъ-нибудь обдѣлать это дѣло, сказалъ онъ вслухъ. — Я могу съѣздить къ его превосходительству и объясню, что случилось это съ вашей стороны по недоразумѣнію, по молодости и незнанію людей и свѣта.

— Подличать передъ нимъ я не намѣренъ! сказалъ сильно Тентетниковъ.

— Сохрани Богъ подличать! сказалъ Чичиковъ и перекрестился. — Поддѣйствовать словомъ увѣщанія, какъ благоразумный посредникъ, но подличать.... извините, Андрей Ивановичъ, за мое доброе желаніе и преданность я даже не ожидалъ, чтобы слова (мои) принимали вы въ такомъ обидномъ смыслѣ!

— Простите, Павелъ Ивановичъ, я виноватъ! сказалъ тронутый Тентетниковъ, схвативши признательно обѣ его руки. —

Ваше доброе участіе мнѣ дорого, клянусь! Но оставимъ этотъ разговоръ, не будемъ больше никогда объ этомъ говорить!

— Въ такомъ случаѣ я поѣду, просто, къ генералу безъ причины, сказалъ Чичиковъ.

— Зачѣмъ? спросилъ Тентетниковъ, въ недоумѣніи смотря на Чичикова.

— Засвидѣтельствовать почтеніе, сказалъ Чичиковъ.

„Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ?“ подумалъ Тентетниковъ.

„Какой странный человѣкъ этотъ Тентетниковъ!“ подумалъ Чичиковъ.

— Такъ какъ моя бричка, сказалъ Чичиковъ, не пришла еще въ надлежащее состояніе, то позвольте мнѣ взять у васъ коляску. Я бы завтра же, едакъ около десяти часовъ, къ нему съѣздить.

— Помилуйте, что за просьба! Вы — полный господинъ, выбирайте какой хотите экипажъ, и все въ вашемъ распоряженіи.

Они простились и разошлись спать, не безъ размышленія о странностяхъ другъ друга.

Чудная, однакоже, вещь! На другой день, когда подали Чичикову лошадей и вскочилъ онъ въ коляску, съ ловкостью почти военнаго человѣка, одѣтый въ новый фракъ, бѣлый галстукъ и жилетъ, и покатился свидѣтельствовать почтеніе генералу, — Тентетниковъ пришелъ въ такое волненіе духа, какого давно не испытывалъ. Весь этотъ ржавый и дремлющій ходъ его мыслей превратился въ дѣятельно-безпокойный. Возмущеніе нервическое обуяло вдругъ всѣми чувствами доселѣ погруженнаго въ безпечную лѣнь байбака. То садился онъ на диванъ, то подходилъ къ окну, то принимался за книгу, то хотѣлъ мыслить. Безуспѣшное стараніе! Отрывки чего-то похожара на мысли, концы и хвостики мыслей лѣзли и отовсюду наклеивались къ нему въ голову. „Странное состояніе!“ сказалъ онъ и придвинулся къ окну — глядѣть на дорогу, прорѣзавшую дуброву, въ концѣ которой еще курилась, не успѣвшая улечься, пыль, поднятая уѣхавшею коляской. Но оставимъ Тентетникова и послѣдуемъ за Чичиковымъ.

Глава II.

Въ полчаса съ небольшимъ кони пронесли Чичикова чрезъ десятиверстное пространство: сначала дубровую, потомъ хлѣбными, начинавшими зеленѣть посреди свѣжей орани, потомъ горной окраиной, съ которой поминутно открывались виды на отдаленья, и наконецъ широкою аллеей раскидистыхъ липъ внесли его въ генеральскую деревню. Аллея липъ превратилась въ аллею тополей, огороженныхъ снизу плетеными коробками, и уперлась въ чугунныя сквозныя ворота, сквозь которыя глядѣлъ кудряво великолѣпный рѣзной фронтономъ генеральскаго дома, опиравшійся на восемь колоннъ съ коринѣскими капителями. Пахло повсюду масляною краской, которою непрерывно обновляли все, ничему не давая состарѣться. Дворъ чистотой подобенъ былъ паркету. Подкативши къ подъѣзду, Чичиковъ съ почтеніемъ соскочилъ на крыльцо, приказалъ о себѣ доложить и былъ введенъ прямо въ кабинетъ къ генералу.

Генераль поразилъ его величественною наружностью. Онъ былъ на ту пору въ атласномъ малиновомъ халатѣ. Открытый взглядъ, лицо мужественное, бакенбарды и большіе усы съ просѣдью, стрижка низкая, а на затылкѣ даже подъ гребенку, шея толстая, широкая, такъ называемая въ три этажа (три складки съ трещиной поперекъ), голосъ — басъ съ нѣкоторою охрипью, движенія генеральскія. Генераль Бетрищевъ, какъ и всѣ мы грѣшныя, былъ одаренъ многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, какъ случается въ русскомъ человѣкѣ, было набросано въ немъ въ какомъ-то картинномъ безпорядкѣ. Самопожертваніе, великодушіе, въ рѣшительныя минуты храбрость, умъ и во всему этому — изрядная подмѣсь себялюбія, честолюбія, самолюбія, мелочной щекотливости личной и многого того, безъ чего уже не обходится человѣкъ. Всѣхъ, которые ушли впередъ его по службѣ, онъ не любилъ, выражался о нихъ ѣдко, въ сардоническихъ, колкихъ эпитиграмахъ. Всего больше доставалось отъ него его прежнему сотоварищу, котораго считалъ онъ ниже себя и умомъ, и способностями, и который, однакоже, обо-

гналъ его и былъ уже генераль-губернаторомъ двухъ губерній, въ одной изъ которыхъ находились его помѣстья, такъ что онъ очутился какъ бы въ зависимости отъ него. Въ отмщеніе, явилъ онъ его при всякомъ случаѣ, критиковалъ всякое распоряженіе и видѣлъ во всѣхъ мѣрахъ и дѣйствіяхъ его верхъ неразумія. Несмотря на доброе сердце, генераль былъ насмѣшливъ. Вообще говоря, онъ любилъ первенствовать, любилъ оміамъ, любилъ блеснуть и похвастаться умомъ, любилъ знать то, чего другіе не знаютъ, и не любилъ тѣхъ людей, которые знаютъ что-нибудь такое, чего онъ не знаетъ. Воспитанный полуиностраннымъ воспитаніемъ, онъ хотѣлъ сыграть въ то же время роль русскаго барина. Съ такою неровностью въ характерѣ, съ такими крупными, яркими противоположностями, онъ долженъ былъ неминуемо встрѣтить по службѣ кучу непріятностей, вслѣдствіе которыхъ и вышелъ въ отставку, обвиняя во всемъ какую-то враждебную партію и не имѣя великодушія обвинить въ чемъ-либо себя самого. Въ отставкѣ сохранилъ онъ ту же картинную, величавую осанку. Въ сюртукѣ ли, во фракѣ ли, въ халатѣ — онъ былъ все тотъ же. Отъ голоса до малѣйшаго тѣлодвиженія въ немъ все было властительное, повелѣвающее, внушавшее въ низшихъ чинахъ если не уваженіе, то по крайней мѣрѣ робость.

Чичиковъ почувствовалъ то и другое: и уваженье и робость. Наклоня почтительно голову на бокъ, началъ онъ такъ: „Счелъ долгомъ представиться вашему превосходительству. Питая уваженье къ доблестямъ мужей, спасавшихъ отечество на бранномъ полѣ, счелъ долгомъ представиться лично вашему превосходительству.“

Генералу, какъ видно, не понравился такой приступъ. Сдѣлавши весьма милостивое движеніе головою, онъ сказалъ: — Весьма радъ познакомиться. Милости просимъ садиться. Вы гдѣ служили?

— Поприще службы моей, сказалъ Чичиковъ, садясь въ кресла не по срединѣ, но наискось, и ухватившись рукою за ручку кресель, — началось въ казенной палатѣ, ваше превосходительство. Дальнѣйшее же теченіе оной продолжалъ въ разныхъ мѣстахъ, былъ и въ надворномъ судѣ, и въ комиссіи построенія,

и въ тамошнѣ. Жизнь мою можно уподобить судну среди волнъ, ваше превосходительство. На терпѣнны, можно сказать, выросъ, терпѣннѣмъ воспоенъ, терпѣннѣмъ спеленанъ, и самъ, такъ сказать, не что другое, какъ одно терпѣннѣ. А ужъ сколько претерпѣлъ отъ враговъ, такъ ни слова, ни висти, ни краски не сжумѣють передать. Теперь же, на вечерѣ, такъ сказать, жизни моей, ищю уголка, гдѣ бы провести остатокъ дней. Приостановился же, покуда, у близкаго сосѣда вашего превосходительства...

— У кого это?

— У Тентетникова, ваше превосходительство.

Генераль поморщился.

— Онъ, ваше превосходительство, весьма раскаявается въ томъ, что не оказалъ должнаго уваженья....

— Къ чему уваженья?

— Къ заслугамъ вашего превосходительства, сказалъ Чичиковъ. — Не находитъ словъ, не знаетъ, какъ загладить проступокъ. Говорить: „Еслибъ я только могъ передъ его превосходительствомъ чѣмъ-нибудь.... потому что точно,“ говорить, „умѣю цѣнить мужей, спасавшихъ отечество,“ говорить....

— Помилуйте, что-жь онъ?... Да вѣдь я не сержусь! сказалъ смягчившійся генераль. — Въ душѣ моей я искренно полюбилъ его и увѣренъ, что со временемъ онъ будетъ преполезный человекъ.

— Совершенно справедливо изволили выразиться, ваше превосходительство. Преполезный человекъ, съ даромъ слова и владетъ перомъ.

— Но пишетъ, я чай, пустяки, какіе-нибудь стишки.

— Нѣтъ, ваше превосходительство, не пустяки....

— Что-жь такое?

— Онъ пишетъ.... исторію, ваше превосходительство.

— Исторію! о чемъ исторію?

— Исторію.... тутъ Чичиковъ остановился, и оттого ли, что передъ нимъ сидѣлъ генераль, или, просто, чтобы придать болѣе важности предмету, прибавилъ: — исторію о генералахъ, ваше превосходительство.

— Какъ о генералахъ? о какихъ генералахъ?

— Вообще о генералахъ, ваше превосходительство, въ общ-

ности. То-есть, говоря собственно, объ отечественныхъ генералахъ, сказалъ Чичиковъ и самъ подумалъ: „Что это я за вздоръ такой несу!“

— Извините, я не очень понимаю.... что-жь это? выходить, исторію какого-нибудь времени, или отдѣльныя біографіи, и притомъ всѣхъ ли, или только участвовавшихъ въ 12-мъ году?

— Точно такъ, ваше превосходительство, участвовавшихъ въ 12-мъ году! сказалъ Чичиковъ.

— Такъ что-жь онъ ко мнѣ не пріѣдетъ? Я бы могъ собрать ему весьма много любопытныхъ матеріаловъ.

— Робѣеть, ваше превосходительство.

— Какой вздоръ! Изъ-за какого-нибудь пустаго слова.... Да я совсѣмъ не такой человѣкъ. Я, пожалуй, къ нему самъ готовъ пріѣхать.

— Онъ къ тому не допуститъ, онъ самъ пріѣдетъ, сказалъ Чичиковъ и въ тоже время подумалъ въ себѣ: „Генералы пришли, однакоже, кстати! между тѣмъ вѣдь языкъ совершенно болтнулъ съ-дуру.“

Въ кабинетѣ послышался шорохъ. Орѣховая дверь рѣзнаго шкафа отворилась сама собой. На обратной половинѣ растворенной двери, ухватившись чудесной рукой за ручку двери, явилась живая фигурка. Еслибы въ темной комнаткѣ вдругъ вспыхнула прозрачная картина, освѣщенная сзади лампою, она бы не поразила такъ, какъ эта сіявшая жизнію фигурка, которая точно предстала за тѣмъ, чтобы освѣтить комнату. Казалось, какъ бы вѣстѣ съ нею влетѣлъ солнечный лучъ въ комнату, озарившій вдругъ и потолокъ, и карнизъ, и темные углы ея. Она казалась блистающаго роста. Это было обольщеніе, происходившее отъ необыкновенной стройности и гармоническаго соотношенія между собою всѣхъ частей тѣла, отъ головы до пальчиковъ. Одноцвѣтное платье, на ней брошенное, было брошено съ такимъ (вкусомъ), что казалось — швей столицъ совѣщались между собою, какъ бы лучше убрать ее. Это былъ обманъ. Одѣлась она кое-какъ, сама собой; въ двухъ, трехъ мѣстахъ схватила неизрѣзанный кусокъ ткани, и онъ прильнулъ и расположился вокругъ нея въ такихъ складкахъ, что ваятель перенесъ бы ихъ тотчасъ

же на мраморъ, и барышни, одѣтыя по модѣ, казались бы передъ ней какими-то пеструшками. Не смотря на то, что Чичикову почти знакомо было лице ея по рисункамъ Андрея Ивановича, онъ смотрѣлъ на нее какъ оторопѣлый, и потомъ уже замѣтилъ, что у нея былъ существенный недостатокъ, именно — недостатокъ толщины.

— Рекомендую вамъ мою баловницу! сказалъ генераль, обращаясь къ Чичикову. — Однакожъ я вашего имени и отчества до сихъ поръ не знаю.

— Впрочемъ, должно ли быть знакомо имя и отчество человѣка, не ознаменовавшаго себя доблестями? сказалъ Чичиковъ.

— Всё же, однакожъ, нужно знать....

— Павелъ Ивановичъ, ваше превосходительство, проговорилъ Чичиковъ, съ легкимъ наклономъ головы на бокъ.

— Улинька! Павелъ Ивановичъ сейчасъ сказалъ преинтересную новость. Сосѣдъ нашъ Тентетниковъ совсѣмъ не такой глупый человѣкъ, какъ мы полагали. Онъ занимается довольно важнымъ дѣломъ: исторіей генераловъ двѣнадцати года.

Улинька вдругъ какъ бы вспыхнула и оживилась. — Да кто же думалъ, что онъ глупый человѣкъ? проговорила она быстро. — Это могъ думать развѣ одинъ только Вишнепокромовъ, которому ты вѣришь, папа, который и пустой, и низкій человѣкъ!

— Зачѣмъ же низкій? Онъ пустовать, это правда, сказалъ генераль.

— Онъ подловать и гадковать, не только-что пустовать, подхватила живо Улинька. — Кто такъ обидѣлъ своихъ братьевъ и выгналъ изъ дому родную сестру, тотъ гадкій человѣкъ!...

— Дѣ въдь это рассказываютъ только.

— Рассказывать не будутъ напрасно. У тебя, отецъ, добрейшая душа и рѣдкое сердце, но ты поступаешь такъ, что иной подумаетъ о тебѣ совсѣмъ другое. Ты будешь принимать человѣка, о которомъ самъ знаешь, что онъ дурень, потому что онъ только краснобай и мастеръ передъ тобой увиваться.

— Душа моя! въдь мнѣ же не прогнать его, сказалъ генераль.

— Зачѣмъ прогонять, зачѣмъ и любить?!

— А вотъ и нѣтъ, ваше превосходительство, сказалъ Чичи-

ковъ Улиньѣ, съ легкимъ наклономъ головы и пріятной улыбкой: — По христіанству, именно такихъ мы и должны любить. И тутъ же, обратясь къ генералу сказалъ съ улыбкой, уже несколько плутоватой: — Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о томъ, что такое „*помоби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякой помобитъ?*“

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— А это преказусный анекдотъ, сказалъ Чичиковъ съ плутоватою улыбкой. — Въ имѣннн, ваше превосходительство, у князя Гукзовскаго, котораго, безъ сомнѣнн, ваше превосходительство, изволите знать....

— Не знаю!

— Былъ управитель, ваше превосходительство, изъ нѣмцевъ, молодой человекъ. По случаю поставки рекрутъ и проч. имѣлъ онъ надобность прїѣзжать въ городъ и, разумѣется, подмазывать судейскихъ. Впрочемъ и они тоже полюбили, угощали его, такъ что одинъ разъ у нихъ на обѣдѣ говоритъ онъ: „Что-жъ, господа! когда-нибудь и ко мнѣ, въ имѣніе къ князю.“ Говорятъ: „Прїѣдемъ?“ Скоро послѣ этого случилось выѣхать суду на слѣдствіе, по дѣлу, случившемуся во владѣнняхъ графа Трехжетьева, котораго, ваше превосходительство, безъ сомнѣнн, тоже изволите знать.

— Не знаю!

— Самого-то слѣдствія они не дѣлали, а всѣмъ судомъ заворотили на экономическій дворъ, къ старому графскому эконому, да три дня и три ночи безъ просыпу въ карты. Самоваръ, пуншъ, разумѣется, со стола не сходятъ. Старику-то они ужъ и надоѣли. Чтобы какъ-нибудь отъ нихъ отдѣлаться, онъ и говоритъ: „Вы бы, господа, заѣхали къ княжескому управителю нѣмцу: онъ недалеко отсюда.“ — „А и въ самомъ дѣлѣ“, говорятъ, и съ-полуцыана, небритые и заспаные, какъ были, на телѣги да и къ нѣмцу.... А нѣмецъ, ваше превосходительство, надобно знать, въ это время только-что женился. Женился на институткѣ, молоденькой, subtilной (Чичиковъ выразилъ въ лицѣ своемъ subtilность). Сидятъ они двое за чаемъ, ни о чемъ не думая, вдругъ отворяются двери — и ввалилось сонмище.

— Воображаю — хороши! сказалъ генераль, смѣясь.

— Управитель такъ и оторопѣлъ. Не нашелся, потерялся и говорить: „Что вамъ угодно?“ — „А!“ говорятъ, „такъ вотъ какъ!“ и вдругъ, съ этимъ словомъ, пережѣна лицъ и физиогномій.... „За дѣломъ! Сколько вина выкуривается по ижѣнію? покажите книги!“ Тотъ сюды-туды. „Эй, понятыхъ!“ Взяли, связали, да въ городъ, да полтора года и просидѣлъ нѣмецъ въ тюрьмѣ.

— Вотъ на! сказалъ генераль.

Улинька всплеснула руками.

— Жена хлопотать! продолжалъ Чичиковъ. — Ну, что-жъ можетъ какая-нибудь неопытная молодая женщина? Спасибо, что случились добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отдѣлался онъ двумя тысячами да угостительнымъ обѣдомъ. И на обѣдѣ, когда всѣ уже развеселились, и онъ также, вотъ и говорятъ они ему: „Не стыдно ли тебѣ такъ поступать съ нами? Ты все бы хотѣлъ насъ видѣть прибранными, да выбритыми, да во фракахъ. Нѣтъ, ты полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякой полюбить.“

Генераль расхохотался; болѣзненно застонала Улинька.

— Я не понимаю, папа, какъ ты можешь смѣяться! сказала она быстро. Гнѣвъ отемнилъ ея прекрасный лобъ... — Безчестнѣйшій поступокъ, за который я не знаю, куда бы ихъ слѣдовало всѣхъ услатъ....

— Другъ мой, я ихъ ни чуть не оправдываю, сказалъ генераль: — но что же дѣлать, если смѣшно! Какъ бишь? „полюби насъ бѣленькими....“

— Черненькими, ваше превосходительство, подхватилъ Чичиковъ.

— Полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякой полюбить. Ха, ха, ха, ха! — И туловище генерала стало колебаться отъ смѣха. Плечи, носившія нѣкогда густые эполеты, тряслись, точно какъ бы носили и понынѣ густые эполеты.

Чичиковъ разрѣшился тоже междометіемъ смѣха, но, изъ уваженія къ генералу, пустилъ его на букву е: хе, хе, хе, хе! и туловище его также стало колебаться отъ смѣха, хотя плечи и не тряслись, ибо не носили густыхъ эполетъ.

— Воображаю, хорошъ былъ небритый судъ! говорилъ генералъ, продолжая смѣяться.

— Да, ваше превосходительство, какъ бы то ни было, трехдневное бдѣніе безъ проемы — тотъ же постъ: поизнурились, поизнурились, говорилъ Чичиковъ, продолжая смѣяться.

Улинька опустила въ кресла и, закрывъ рукой прекрасные глаза, какъ бы досадуя на то, что не съ кѣмъ подѣлиться негодованіемъ, сказала она: „Я не знаю, меня только беретъ досада.“

Въ самомъ дѣлѣ, необыкновенно странны были своею противоположностію тѣ чувства, которыя были въ сердцахъ бесѣдовавшихъ людей. Одному была смѣшна неповоротливая ненаходчивость нѣмца; другому смѣшно было, что смѣшно изворотились плуты; третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступокъ. Не было только четвертаго, который бы задумался именно надъ этими словами, произведшими смѣхъ въ одномъ и грусть въ другомъ. Чтò значить, однакоже, что и въ паденіи своемъ гибнущій грязный человѣкъ требуетъ любви къ себѣ? Животный ли инстинктъ это? или слабый крикъ души, заглушенной гнетомъ подлхъ страстей, еще пробивающійся сквозь деревенящую кору мерзостей, еще вопіющій: „Братъ, спаси!“ Не было четвертаго, которому бы тяжелѣй всего была погибающая душа его брата.

— Я не знаю, говорила Улинька, отнимая отъ лица руку, — меня только досада беретъ.

— Только, пожалуйста, не гнѣвайся на насъ, сказалъ генералъ. — Мы тутъ ни въ чемъ не виноваты. Поцѣлуй меня и уходи къ себѣ, потому что я сейчасъ буду одѣваться къ обѣду. Вѣдь ты обѣдаешь у меня? сказалъ онъ, вдругъ обращаясь къ Чичикову.

— Если только ваше превосходительство....

— Безъ церемоніи. Щи есть!

Чичиковъ пріятно наклонилъ голову, и когда приподнялъ потомъ ее вверхъ, онъ уже не увидалъ Улиньки. Она исчезнула. На мѣсто ея предсталъ, въ густыхъ усахъ и баккенбардахъ, великанъ-каммердинеръ, съ серебряною лоханкой и рукомыникомъ въ рукахъ.

— Ты мнѣ позволишь одѣваться при себѣ? сказалъ генералъ, скидая халатъ и засучивая рукава рубашки на богатырскихъ рукахъ.

— Помилуйте, не только одѣваться, но можете совершать при мнѣ все, что угодно вашему превосходительству, сказалъ Чичиковъ.

Генералъ сталъ умываться, брызгаясь и фыркая, какъ утка. Вода съ мыломъ летѣла во всѣ стороны.

— Какъ бишь? сказалъ онъ, вытирая со всѣхъ сторонъ свою толстую шею. — „полюби насъ бѣленькими....“

— Черненькими, ваше превосходительство.

— Полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякой полюбятъ. Очень, очень хорошо!

Чичиковъ былъ въ духѣ необыкновенномъ. Онъ чувствовалъ какое-то вдохновеніе. — Ваше превосходительство! сказалъ онъ.

— Что? сказалъ генералъ.

— Есть еще одна исторія.

— Какая?

— Исторія тоже смѣшная, но мнѣ-то отъ ней не смѣшно, даже такъ, что если ваше превосходительство....

— Какъ такъ?

— Да вотъ, ваше превосходительство, какъ!... Тутъ Чичиковъ осмотрѣлся и увидя, что камердинеръ съ лоханкою вышелъ, началъ такъ: — Есть у меня дядя, дряхлый старикъ. У него триста душъ и, кромѣ меня, наследниковъ никого. Самъ управлять имѣніемъ, по дряхлости, не можетъ, а мнѣ не передаетъ тоже. И такой странный приводитъ резонъ: „Я, говорить, племянника не знаю; можетъ-быть, онъ мотъ. Пусть онъ докажетъ мнѣ, что онъ надежный человѣкъ, пусть приобрѣтетъ самъ собой триста душъ, тогда я ему отдамъ и свои триста душъ.“

— Какой дуракъ!.

— Справедливо изволили замѣтить, ваше превосходительство. Но представьте же теперь мое положеніе... Тутъ Чичиковъ, понизивши голосъ, сталъ говорить какъ бы по секрету: — У него въ домѣ, ваше превосходительство, есть ключница, а у ключницы дѣти. Того и смотри, все перейдетъ имъ.

— Выжилъ глупый старикъ изъ ума и больше ничего, сказалъ генераль. — Только я не вижу, чѣмъ тутъ я могу пособить.

— Я придумалъ вотъ что. Теперь, покуда новыя ревизскія сказки не поданы, у помѣщиковъ большихъ имѣній наберется не мало, на ряду съ душами живыми, отбывшихъ и умершихъ.... Такъ, если, напримѣръ, ваше превосходительство передадите мнѣ ихъ въ такомъ видѣ, какъ бы онѣ были живыя, съ совершеніемъ купчей крѣпости, я бы тогда эту крѣпость представилъ старику и онъ, какъ ни вертись, а наслѣдство бы мнѣ отдалъ.

Тутъ генераль разразился такимъ смѣхомъ, какимъ врядъ ли когда смѣялся чловѣкъ. Какъ былъ, такъ и повалился онъ въ кресла. Голову забросилъ назадъ и чуть не захлебнулся. Весь домъ встревожился. Предсталъ камердинеръ. Дочь прибѣжала въ испугѣ.

— Папа, что съ тобой случилось?

— Ничего, мой другъ. Ступай къ себѣ, мы сейчасъ явимся обѣдать. Ха, ха, ха, ха!

И нѣсколько разъ, задохнувшись, вырывался съ новою силой генеральскій хохотъ, раздаваясь отъ передней до послѣдней комнаты, въ высокихъ, звонкихъ генеральскихъ покояхъ.

Чичиковъ съ безпокойствомъ ожидалъ конца этому необыкновенному смѣху.

— Ну, братъ, извини: тебя самъ чортъ угораздилъ на такую штуку. Ха, ха, ха, ха! Попотчивать старика, подесунуть ему мертвыхъ! Ха, ха, ха, ха! Дядя-то, дядя! Въ какихъ дуракахъ дядя! Ха, ха, ха, ха!

Чичиковъ находился нѣсколько даже въ конфузномъ положеніи. Тутъ же стоялъ камердинеръ, разинувши ротъ и выпуча глаза.

— Ваше превосходительство, вѣдь смѣхъ этотъ выдумали слезы, сказалъ онъ.

— Извини, братъ! Ну, уморилъ. Да я бы пять-сотъ-тысячъ далъ за то только, чтобы посмотрѣть на твоего дядю въ то время, какъ ты поднесешь ему купчую на мертвыя души. Да что, онъ слишкомъ старъ? Сколько ему лѣтъ?

— Восемьдесятъ лѣтъ, ваше превосходительство. Но это ке-

лейное, я бы.... чтобы... Чичиковъ посмотрѣлъ значительно въ лицо генерала и въ то же время искоса на камердинера.

— Поди вонъ, братецъ. Придешь послѣ, сказалъ генералъ камердинеру. Усачъ удалился.

— Да, ваше превосходительство... это, ваше превосходительство, дѣло такое, что я бы хотѣлъ держать его въ секретѣ.

— Разумѣется, я это очень понимаю. Экой дуракъ старшій! Вѣдь придетъ же въ 80 лѣтъ этакая дурь въ голову! Да что онъ съ виду какъ? бодръ? держится еще на ногахъ?

— Держится, но съ трудомъ.

— Экой дуракъ! И зубы есть?

— Два зуба всего, ваше превосходительство.

— Экой осель! Ты, братецъ, не сердись.... вѣдь онъ осель.

— Точно такъ, ваше превосходительство. Хотя онъ мнѣ и родственникъ, и тяжело сознаться въ этомъ, но дѣйствительно — осель. — Впрочемъ, какъ читатель можетъ смекнуть и самъ, Чичикову не тяжело было въ этомъ сознаться, тѣмъ болѣе, что врядъ ли у него былъ когда-либо какой дядя. — Такъ если, ваше превосходительство, будете уже такъ добры...

— Чтобъ отдать тебѣ мертвыхъ душъ? Да за такую выдумку я ихъ тебѣ съ землей, съ жильемъ! Возьми себѣ все кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старикъ-то, старикъ! Ха, ха, ха, ха! Въ какихъ дуракахъ! Ха, ха, ха, ха! И генеральскій смѣхъ пошелъ отдаваться вновь по генеральскимъ покоямъ *).

Г л а в а III.

„Нѣтъ, я не такъ“, говорилъ Чичиковъ, очутившись опять посреди открытыхъ полей и пространствъ, „нѣтъ, я не такъ распоряжусь. Какъ только, дастъ Богъ, все покончу благополуч-

*) *Примѣчаніе С. П. Шевырева.* Здѣсь пропущено примиреніе генерала Бетрищева съ Тентетниковымъ, обѣдъ у генерала и бесѣда ихъ о двѣнадцатомъ годѣ, помолвка Улиньки за Тентетникова, молитва ея и плачъ на гробѣ матери, бесѣда помолвленныхъ въ саду. Чичиковъ отправляется, по порученію генерала Бетрищева, къ родственникамъ его, для извѣщенія о помолвкѣ дочери, и ѣдетъ къ одному изъ этихъ родственниковъ, полковнику Кошкареву.

но и сдѣлаюсь дѣйствительно состоятельнымъ, зажиточнымъ человекомъ, я поступлю тогда совсѣмъ иначе: будетъ у меня тогда и поварь, и домъ, какъ полная чаша, но будетъ и хозяйственная часть въ порядкѣ. Концы сведутся съ концами, да понеожку всякой годъ будетъ откладываться сумма и для потомства, если только Богъ пошлетъ женѣ плодородіе... „Эй ты — дурочина!“

Селифанъ и Петрушка оглянулись оба съ козелъ.

— А куда ты ѣдешь?

— Да какъ изволили приказывать, Павелъ Ивановичъ, — къ полковнику Кошкареву, сказалъ Селифанъ.

— А дорогу разспросилъ?

— Я, Павелъ Ивановичъ, изволите видѣть, такъ какъ все хлопоталъ около коляски, такъ оно-съ... генеральскаго конюха только видѣлъ... а Петрушка разспрашивалъ у вучера.

— Вотъ и дуракъ! На Петрушку сказано — не полагаться: Петрушка — бревно.

— Вѣдь тутъ не мудрость какая, сказалъ Петрушка, глядя искоса: — окромъ того, что, спускаясь съ горы, взять попрямѣй, ничего больше и нѣтъ.

— А ты, окромъ сивухи, ничего больше, чай, и въ ротъ не бралъ? Чай, и теперъ налимонился?

Увидя, что рѣчь повернула вона въ какую сторону, Петрушка закрутилъ только носомъ. Хотѣлъ онъ было сказать, что да же и не пробовалъ, да ужъ какъ-то и самому стало стыдно.

— Въ коляскѣ-съ хорошо-съ ѣхать, сказалъ Селифанъ, оборотившись.

— Что?

— Говорю, Павелъ Ивановичъ, что въ коляскѣ вашей милости хорошо-съ ѣхать, получше-съ какъ въ бричкѣ, — не трясеть.

— Пошелъ, пошелъ! Тебя вѣдь не спрашиваютъ объ этомъ.

Селифанъ хлестнулъ слегка бичемъ по вртнымъ бокамъ лошадей и поворотилъ рѣчь къ Петрушкѣ: — слышь, баринъ полковникъ Кошкаревъ мужика одѣлъ, говорятъ, какъ нѣмца; по одалъ и не узнаешь, — выступаетъ по-журавлиному, какъ нѣмецъ. И на бабѣ не то, чтобы платокъ, какъ бываетъ, пирогомъ или

кокошникъ на головѣ, а нѣмецкій капоръ такой, какъ нѣмки, знашь, въ капорахъ, — такъ капоръ теперь называется, знашь, капоръ — нѣмецкій такой капоръ.

— А тебя какъ бы нарядить нѣмцемъ да въ капоръ! сказалъ Петрушка, острясь надъ Селифаномъ и ухмыльнувшись. Но что за рожа вышла изъ этой усмѣшки! И подобія не было на усмѣшку. Точно какъ бы человекъ, доставши себѣ въ носъ насморекъ и слясь при насморкѣ чихнуть, не чихнулъ, потому и остался въ положеніи человекъ, собирающагося чихнуть.

Чичиковъ заглянулъ изъ-подъ низа ему въ рожу, желая знать, что тамъ дѣлается, и сказалъ: — Хорошъ! а еще воображаетъ, что красавецъ! Надобно сказать, что Павелъ Ивановичъ серьезно былъ увѣренъ въ томъ, что Петрушка влюбленъ въ красоту свою, тогда какъ послѣдній временами позабывалъ, есть ли у него даже рожа.

— Вотъ какъ бы догадались было, Павелъ Ивановичъ, сказалъ Селифанъ, оборотившись съ козель, — чтобы выпросить у Андрея Ивановича другаго коня, въ обмѣнъ на чубараго; ояъ бы, по дружественному расположенію къ вамъ, не отказалъ бы, а это конь-съ, право, подлець-лошадь и помѣха.

— Пошелъ, пошелъ, не болтай! сказалъ Чичиковъ и про себя подумалъ: „Въ самомъ дѣлѣ, напрасно я не догадался.“

Легкимъ ходомъ неслась тѣмъ временемъ легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверхъ, хотя подчасъ и неровна была дорога; легко опускалась и подъ гору, хотя были спуски и проселочныхъ дорогъ. Съ горы спустились. Дорога шла дугами черезъ извивы рѣки, мимо мельницъ. Вдали выступали картинами одна изъ-за другой осиновыя рощи; вблизи же пролѣтали быстро кусты лозъ, тонкія ольхи и серебристыя тополи, ударявшіе вѣтвями сидѣвшихъ на козлахъ Селифана и Петрушку. Съ послѣдняго ежеминутно сбрасывали они картузь. Суровый служитель соскакивалъ съ козель, бранилъ глупое дерево и хозяина, который насадилъ его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надѣясь на то, что это дальше не случится. Деревья же становились гуще. Къ осинамъ и ольхамъ начала присоединяться береза, и скоро образовалась

лѣсная гущина. Свѣтъ солнца сокрылся. Затемнѣли сосны и ели. Все, казалось, готовилось превратиться въ ночь. Непробудный мракъ безконечнаго лѣса сгущался и, казалось, готовился превратиться въ ночь. И вдругъ промежь деревь свѣтъ, тамъ и тамъ промежь вѣтвей и пней, точно живое серебро или зеркала. Лѣсъ сталъ освѣщаться, деревья рѣдѣть, слышались крики — и вдругъ передъ ними озеро. Водная равнина версты четыре въ поперечникѣ, вокругъ деревъ, позади ихъ избы. Человѣкъ 20, по поясъ, по плеча и по горло въ водѣ, тянули къ супротивному берегу неводъ. Посреди ихъ плавалъ, проворно кричалъ и хлопоталъ за всѣхъ круглый человѣкъ, такой же мѣры въ вышину, какъ и толщину, круглый кругомъ, точный арбузь. По причинѣ толщины, онъ уже не могъ ни въ какомъ случаѣ потонуть и какъ бы ни кубыркался, желая нырнуть, вода бы все его выносила на верхъ, и еслибы сѣло къ нему на спину еще двое человѣкъ, онъ бы, какъ упрямый пузырь, остался съ ними на верхушкѣ воды, слегка только подъ ними покряхтывая, пуская носомъ и ртомъ пузыри.

— Этотъ Павелъ Ивановичъ, сказалъ Селифанъ, оборотаясь съ козель, — долженъ быть баринъ, полковникъ Кошкаревъ.

— Отчего?

— Оттого, что тѣло у него, изволите видѣть, побѣлѣй, чѣмъ у другихъ, и дорожество почтительное, какъ у барина.

Крики между тѣмъ становились явственнѣе. Скороговоркой и звонко выкрикивалъ баринъ-арбузь: „Передавай, передавай, Денисъ, Козьмѣ! Козьма, бери хвостъ у Дениса! Ома Большой, напирай туда же, гдѣ и Ома меньшей! Заходи справа, справа заходи! Стой, стой, чортъ васъ побори обоихъ! Запутали меня самого въ неводъ! Зацѣпили говорю, проклятые, зацѣпили за пупъ!

Влачители праваго крыла остановились, увидя, что дѣйствительно непредвидѣнная оказія: баринъ запутался въ сѣти.

— Вишь ты, сказалъ Селифанъ Петрушкѣ, — потащили барина, какъ рыбу.

Баринъ барахтался и, желая выпутаться, перевернулся на спину, брюхомъ вверхъ и запутался еще (болѣе) въ сѣтку. Боясь оборвать сѣть, плылъ онъ въ мѣстѣ съ пойманною рыбой, при-

казавши себя перехватить только впоперек веревкой. Перевязавши его веревкой, бросили конец ея на берегъ. Человѣкъ съ двадцать рыбаковъ, стоявшихъ на берегу, подхватили конецъ и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкаго мѣста, баринъ сталъ на ноги, покрытый клѣтками сѣти, какъ въ лѣтнее время дамская ручка подъ сквозною перчаткой, — взглянулъ на берегъ вверхъ и увидѣлъ гостя, въ коляскѣ вѣзжавшаго на плотину. Увидя гостя, кивнулъ онъ головой. Чичиковъ снялъ картузь и учтиво раскланялся съ коляски.

— Обѣдали? закричалъ баринъ, подходя съ пойманною рыбой на берегъ, держа одну руку надъ глазами козырькомъ въ защиту отъ солнца, другую же — на манеръ Венеры Медицейской, выходящей изъ бани.

— Нѣтъ, сказалъ Чичиковъ.

— Ну, такъ благодарите же Бога.

— А что? спросилъ Чичиковъ любопытно, держа надъ головою картузь.

— А вотъ что! сказалъ баринъ, очутившійся на берегу вмѣстѣ съ карпами и карасями, которые были у ногъ его и прыгали на аршинъ отъ земли. — Это ничего, на это не смотрите; а вотъ штука, вонъ гдѣ!... А покажи-ка, Ома Большой, осетра. — Два здоровыхъ мужика вытащили изъ кадушки какое-то чудовище. — Каковъ князекъ? изъ рѣки зашелъ!

— Да это цѣлый князь! сказалъ Чичиковъ.

— Вотъ то-то же. Побѣжайте-ка вы теперь впередъ, а я за вами. Кучеръ, ты, братецъ, возьми дорогу пониже, черезъ огородъ. Побѣги, телепень Ома Меньшой, снять перегородку, а я за вами — какъ тутъ, прежде чѣмъ успѣете оглянуться.

„Полковникъ чудаковатъ“, думалъ (Чичиковъ), проѣхавши, наконецъ, безконечную плотину и подвѣзжая къ избамъ, изъ которыхъ однѣ, подобно стаду утокъ, разсыпались по косогору возвышенья, а другія стояли внизу на сваяхъ, какъ цапли. Сѣти, невода, бредни развѣшены были повсюду. Ома Меньшой снялъ перегородку, коляска проѣхала огородами и очутилась на площади воезлѣ устарѣвшей деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господскихъ строеній.

— А вотъ я и здѣсь! раздался голосъ съ боку. Чичиковъ оглянулся и увидѣлъ, что баринъ уже вѣхалъ возлѣ него на дрожкахъ. Травяно-зеленый нанковый скюртукъ, желтые штаны и шея безъ галстука, на манеръ купидона. Боконъ сидѣлъ онъ на дрожкахъ, занявши собою всё дрожки. Чичиковъ хотѣлъ-было что-то сказать ему, но толстакъ уже исчезъ. Дрожки показались на другой сторонѣ и только слышался голосъ: „Щуку и семь карасей отнесите повару-телепню, а осетра подавай сюда: я его свезу самъ на дрожкахъ.“ Раздались снова голоса: „Ома Большой да Ома Меньшой! Кузьма да Денись!“ Когда же подвѣхалъ онъ къ крыльцу дома, къ величайшему изумленью его, толстый баринъ уже былъ на крыльцѣ и принялъ его въ свои объятія. Какъ онъ успѣлъ такъ слетать, было непостижимо. Они поцѣловались троекратно навкрестъ.

— Я привезъ вамъ поклонъ отъ его превосходительства, сказалъ Чичиковъ.

— Отъ какого превосходительства?

— Отъ родственника вашего, отъ генерала Александра Дмитриевича.

— Кто это Александръ Дмитриевичъ?

— Генералъ Бетрищевъ, отвѣчалъ Чичиковъ съ нѣкоторымъ изумленіемъ.

— Не знаю-съ, незнакомъ.

Чичиковъ пришелъ еще въ большее изумленіе.

— Какъ же это?... Я надѣюсь, по крайней мѣрѣ, что имѣю удовольствіе говорить съ полковникомъ Кошкаревымъ?

— Петръ Петровичъ Пѣтухъ, Пѣтухъ Петръ Петровичъ! подхватилъ хозяинъ.

Чичиковъ остолбенѣлъ. — Вотъ тебѣ на! Какъ же вы, дураки, сказалъ онъ, оборотясь къ Селифану и Петрушкѣ, которые оба разинули рты и выпучили глаза, одинъ сидя на козлахъ, другой стоя у дверецъ коляски, — какъ же вы, дураки? Вѣдь вамъ сказано — къ полковнику Кошкареву.... А вѣдь это Петръ Петровичъ Пѣтухъ.....

— Ребята сдѣлали отлично! сказалъ Петръ Петровичъ. —

За это вамъ по чапорухѣ водни и кулебяка въ придачу. Откладывайте коней и ступайте!

— Я совѣщусь, говорилъ Чичиковъ, раскланиваясь: — такая неожиданная ошибка....

— Не ошибка, живо проговорилъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ, — не ошибка. Вы прежде попробуйте, каковъ обѣдъ, да потомъ скажите: ошибка ли это? Покорнѣйше прошу, сказалъ (онъ), взявши Чичикова подъ руку и вводя его во внутренней покой. Чичиковъ, чинясь, проходилъ въ дверь бокомъ, чтобы дать и хозяину пройти съ нимъ вмѣстѣ; но это напрасно: хозяинъ бы не прошелъ, да его уже и не было. Слышно было только, какъ раздавались его рѣчи по двору: „Да что же Оома Большой? зачѣмъ онъ до сихъ поръ не здѣсь? Ротозѣй Емельянъ, бѣги къ повару-телепню, чтобы потрошилъ поскорѣй осетра. Молоки, икру, потроха и лещей въ уху, а карасей — въ соусъ. Да раки, раки, ротозѣй Оома Меньшой! гдѣ же раки? раки, говорю, раки!“ И долго раздавалось все — раки да раки.

— Ну, хозяинъ захлопотался, сказалъ Чичиковъ, садясь въ кресла и осматривая углы и стѣны.

— А вотъ я и здѣсь, сказалъ, входя, хозяинъ и ведя за собой двухъ юношей, въ лѣтнихъ сюртукахъ, — тонкіе, точно ивовые хлысты; выгнало ихъ вверхъ почти на цѣлый аршинъ выше Петра Петровича.

— Сыны мои, гимназисты. Пріѣхали на праздники. — Николаша, ты побудь съ гостемъ, а ты, Алексаша, ступай за мною.

И снова исчезнулъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ.

Чичиковъ занялся съ Николашей. Николаша былъ говорливъ. Онъ разсказалъ, что у нихъ въ гимназіи не очень хорошо учать, что больше благоволятъ къ тѣмъ, которыхъ маменьки шлютъ побогаче подарки, что въ городѣ стоитъ Ингерманландскій гусарскій полкъ, что у ротмистра Вѣтвицаго лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручикъ Взъемцевъ ѣздитъ гораздо его почище.

— А что, въ какомъ состояніи имѣніе вашего батюшки? спросилъ Чичиковъ.

— Заложено, сказалъ на это самъ батюшка, снова очутившійся въ гостиной, — заложено!

Чичикову хотѣлось сдѣлать то же самое движеніе губами, которое дѣлаетъ человекъ, какъ дѣло идетъ на нуль и оканчивается ничѣмъ.

— Зачѣмъ же вы заложили? спросилъ онъ.

— Да такъ. Всѣ пошли закладывать, такъ зачѣмъ же отставать отъ другихъ? Говорятъ, выгодно. Притомъ же все жилось здѣсь, дай-ка еще попробую пожить въ Москвѣ.

„Дуракъ, дуракъ!“ думалъ Чичиковъ: „промоталъ все, да и дѣтей сдѣлаетъ мотыжками. Оставался бы себѣ, кудебьяка, въ деревнѣ.“

— А вѣдь я знаю, что вы думаете, сказалъ Пѣтухъ.

— Что? спросилъ Чичиковъ, смутившись.

— Вы думаете: „Дуракъ, дуракъ этотъ Пѣтухъ! зазвалъ обѣдать, а обѣда до сихъ поръ нѣтъ.“ Будетъ готовъ, почтеннѣйшій. Не успѣетъ стриженная дѣвка косы заплести, какъ онъ поспѣетъ.

— Батюшка! Платонъ Михайлычъ ѣдет! сказалъ Алексаша, глядя въ окно.

— Верхомъ на гнѣдой лошади! подхватилъ Николаша, нагибаясь къ окну. — Ты думаешь, Алексаша, нашъ чагравый хуже его?

— Хуже не хуже, но выstupка не такая.

Между ними завязался споръ о гнѣдомъ и чагравомъ. Между тѣмъ вошелъ въ комнату красавецъ — высокаго, стройнаго роста свѣтлорусыя блестящія кудри и темные глаза. Гремя мѣдныя ошейникомъ, мордатый песъ, собака-страшилище, вошелъ вслѣдъ за нимъ.

— Обѣдали? спросилъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ.

— Обѣдалъ, сказалъ гость.

— Что-жъ, вы смѣяетесь, что ли, надо мной пріѣхали? сказалъ, сердясь, Пѣтухъ. — Что мнѣ въ васъ послѣ обѣда?

— Впрочемъ, Петръ Петровичъ, сказалъ гость усмѣхнувшись, — могу васъ утѣшить тѣмъ, что ничего не ѣлъ за обѣдомъ: совсѣмъ нѣтъ аппетита.

— А каковъ былъ уловъ, еслибы вы видѣли! Какой осетрище пожаловалъ! Карасей и не считали.

— Даже завидно васъ слушать, сказалъ гость. — Научите меня быть такимъ веселымъ, какъ вы.

— Да отчего же скучать? помиложите! сказалъ хозяинъ.

— Какъ отчего скучать? — оттого, что скучно.

— Мало ѣдите, вотъ и все. Попробуйте-ка хорошенько побѣдать. Вѣдь это въ послѣднее время выдумали скуку. Прежде никто не скучалъ.

— Да полно хвастать! Будто ужъ вы никогда не скучали?

— Никогда! Да и не знаю, даже и времени нѣтъ для скуки. Поутру проснешься — вѣдь нужно пить чай; тутъ приващивъ, тамъ на рыбную ловлю, а тутъ и обѣдъ. Послѣ обѣда не успеешь всхрапнуть, а тутъ и ужинъ, а послѣ принялъ поваръ — заказывать нужно на завтра обѣдъ. Когда же скучать?

Во все время разговора Чичиковъ разсматривалъ гостя.

Платонъ Михайлычъ Платоновъ былъ Ахиллесъ и Парисъ вмѣстѣ: стройное сложеніе, картинный ростъ, свѣжесть — все было собрано въ немъ. Пріятная усмѣшка, съ легкимъ выраженіемъ ироніи, какъ бы еще усиливала его красоту. Но, несмотря на все это, было въ немъ что-то неоживленное и сонное. Страсти, печали и потрясеніе не прорѣзали морщинъ на дѣвственномъ, свѣжемъ его лицѣ, но съ тѣмъ вмѣстѣ и не оживили его.

— Признаюсь, я тоже, признаесь Чичиковъ, — не могу понять, если позволите такъ замѣтить, не могу понять, какъ при такой наружности, какъ ваша, скучать. Конечно, могутъ быть причины другія: недостатка денегъ, притѣсненія отъ какихъ-нибудь злоумышленниковъ, какъ есть иногда такіе, которые готовы покуситься даже на самую жизнь.

— Въ томъ-то и дѣло, что ничего этого нѣтъ, сказалъ Платоновъ. — Повѣрите ли, что иной разъ я бы хотѣлъ, чтобъ это было, чтобъ была какая-нибудь тревога и волненія, ну хоть бы просто, разсердилъ меня кто-нибудь. Но нѣтъ! Скучно — да и только.

— Не понимаю. Но, можетъ-быть, игнѣніе у васъ недостаточное, малое количество душъ?

— Ничуть: у насъ съ братомъ земли по десяти тысячь десятинъ и при нихъ тысяча душъ крестьянъ.

— И при этомъ скучать — не понятно! Но, можетъ-быть, ижвнѣ въ безпорядкѣ? былъ неурожай, много людей вымерло?

— Напротивъ, все въ наилучшемъ порядкѣ, и братъ мой отличнѣйшій хозяинъ.

— Не понимаю! сказалъ Чичиковъ и пожалъ плечами.

— А вотъ мы скуку сейчасъ прогонимъ, сказалъ хозяинъ. — Бѣги, Алексаша, проворнѣй на кухню и скажи повару, чтобы поскорѣй прислалъ намъ растогайчиковъ. Да гдѣ ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка? Зачѣмъ не даютъ закуски?

Но дверь растворилась. Ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка явились съ салфетками, накрыли столъ, поставили подносъ съ шестью графинами разноцвѣтныхъ настоекъ. Скоро вокругъ подносовъ и графиновъ обстановилось ожерелье тарелокъ — икра, сыр, соленые грузди, опенки, да новое принесли изъ кухни что-то въ закрытыхъ тарелкахъ, сквозь которыя слышно было ворчавшее масло. Ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка были народъ хорошій и расторопный. Названіе это хозяинъ давалъ только потому, что безъ прозвищъ все какъ-то выходило прѣсно, а онъ прѣснаго не любилъ. Самъ былъ добръ душой, но словцо любилъ прямое. Впрочемъ и люди за это не сердились.

Закуска послѣдовала обѣдъ. Здѣсь добродушный хозяинъ сдѣлался совершеннымъ разбойникомъ. Чуть замѣчалъ у кого одинъ кусокъ, подкладывалъ ему тутъ же другой, приговаривая: „Безъ пары ни человекъ, ни птица не могутъ жить на свѣтѣ.“ Съѣдалъ гость два — подкладывалъ ему третій, приговаривая: „Что-жъ за число два? Богъ любить троицу.“ Съѣдалъ гость три — онъ ему: „Гдѣ-жъ бываетъ телѣга о трехъ колесахъ! Кто-жъ строить избу о трехъ углахъ?“ На четыре у него была опять поговорка, на пять — тоже.

Чичиковъ съѣлъ чего-то чуть ли не двѣнадцать ломтей и думалъ: „Ну, теперъ ничего не приберетъ больше хозяинъ.“ Не тутъ-то было: не говоря ни слова, хозяинъ положилъ ему на тарелку хребтовую часть теленка, жареннаго на вертелѣ, лучшую часть, какая ни была, съ почками, да и какого теленка!

— Два года воспитывалъ на молокѣхъ, сказалъ хозяинъ, — ухаживалъ, какъ за сыномъ!

— Не могу! сказалъ Чичиковъ.

— Да вы попробуйте, да потомъ скажите: *не могу!*

— Не взойдетъ, нѣтъ мѣста.

— Да вѣдь и въ церкви не было мѣста. Вошелъ городничій — нашлось. А вѣдь была такая давка, что и яблоку негдѣ было упасть. Вы только попробуйте: этотъ кусокъ — тотъ же городничій.

Попробовалъ Чичиковъ; дѣйствительно, кусокъ былъ въ родѣ городничаго. Нашлось ему мѣсто, а казалось — ничего нельзя ножѣстить.

Съ винами была та же исторія. Получивши деньги изъ ломбарда, Петръ Петровичъ запасся провизіей на десять лѣтъ впередъ. Онъ то и дѣло подливалъ, да подливалъ; чего-жъ не допивали гости, давалъ допить Алексашѣ и Николашѣ, которые такъ и хлопали рюмку за рюмкой, а встали изъ-за стола — какъ бы ни въ чемъ не бывали, точно выпили по стакану воды. Съ гостями было не то: въ-силу, въ-силу перетащились они на балконъ и въ-силу помѣстились въ креслахъ. Хозяинъ какъ съѣлъ въ свое, какое-то четырехмѣстное, такъ тутъ же и заснулъ. Тучная собственность его превратилась въ кузнечный мѣхъ; черезъ открытый ротъ и носовые продухи началъ онъ издавать звуки, какіе не бываютъ и въ новой музыкѣ. Тутъ было все — и барабанъ, и флейта, и какой-то отрывистый звукъ, точно собачій лай.

— Экъ его насвистываетъ! сказалъ Платоновъ. Чичиковъ разсѣялся.

— Разумѣется, если этакъ пообѣдать, заговорилъ Платоновъ, — какъ тутъ прійти скукѣ! тутъ сонъ прідетъ.

— Да, говорилъ Чичиковъ лѣниво. Глазки стали у него необыкновенно маленькіе. — А все-таки однакожъ, извините, не могу понять, какъ можно скучать. Противъ скуки есть такъ много средствъ.

— Какія же?

— Да мало ли для молодого человѣка! Можно танцовать, играть на какомъ-нибудь инструментѣ.... а не то — жениться.

— На комъ? скажите.

— Да будто въ окружности нѣтъ хорошихъ и богатыхъ невѣстъ?

— Да нѣтъ.

— Ну, поискать въ другихъ мѣстахъ, поѣздить. И богатая мысль сверкнула вдругъ въ головѣ Чичикова. Глаза его стали побольше. — Да вотъ прекрасное средство! сказалъ онъ, глядя въ глаза Платонову.

— Какое?

— Путешествіе.

— Куда-жъ ѣхать?

— Да если вамъ свободно, такъ поѣдьте со мной, сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя, глядя на Платонова: „А это было бы хорошо: тогда бы можно издержки пополамъ, а починку коляски отнести вовсе на его счетъ.“

— А вы куда ѣдете?

— Да какъ сказать — куда? Ёду я, покажѣсть, не столько по своей надобности, сколько по надобности другаго. Генераль Бетрищевъ, близкій пріятель и можно сказать благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ... Конечно, родственники родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя; ибо видѣтъ свѣтъ, коловращеніе людей — кто что ни говори, есть какъ бы живая книга, вторая наука.

Платоновъ задумался.

Чичиковъ тоже между тѣмъ такъ помышлялъ: „Право, было бы хорошо! Можно даже и такъ, что всѣ издержки будутъ на его счетъ. Можно даже сдѣлать и такъ, чтобъ отправиться на его лошадахъ, а мои покормятся у него въ деревнѣ, и въ дорогу взять его коляску.“

„Что-жъ? почему-жъ не проѣздиться?“ думалъ между тѣмъ Платоновъ. „Авось-либо будетъ повеселѣе. Дома же мнѣ дѣлать нечего, хозяйство и безъ того на рукахъ у брата; стало-быть разстройства никакого. Почему-жъ въ самомъ дѣлѣ не проѣздиться?“ — А согласны ли вы, сказалъ онъ вслухъ, — погостить у брата денька два? Безъ того онъ меня не отпустить.

— Съ большимъ удовольствіемъ, хоть три.

— Ну, если такъ — по рукамъ! Ёдемъ! оживясь, сказалъ Платоновъ.

— Bravo! сказалъ Чичиковъ, хлопнувъ по рукѣ его: — ёдемъ! — Куда? куда? сказалъ хозяинъ, проснувшись и вынуча на нихъ глаза. — Нѣтъ, государи, и колеса приказано снять съ вашей коляски, а вашъ жеребецъ, Платонъ Михайлычъ, отсюда за пятнадцать верстъ. Нѣтъ, вотъ сегодня переночуйте, а завтра послѣ ранняго обѣда и поѣзжайте себѣ.

„Вотъ тебѣ на!“ подумалъ Чичиковъ. Платоновъ ничего на это не сказалъ, зная, что Пѣтухъ держался обычаевъ своихъ крѣпко. Нужно было остаться.

Зато награждены они были удивительнымъ весеннимъ вечеромъ. Хозяинъ устроилъ гулянье на рѣкѣ. Двѣнадцать гребцовъ, въ двадцать четыре весла, съ пѣснями, понесли ихъ по гладкому хребту зеркальнаго озера. Изъ озера они пронеслись въ рѣку, безпредѣльную, съ пологими берегами на обѣ стороны. Хоть бы струйкой шевельнулись воды. На катерѣ они пили съ калачами чай, подходя ежеминутно подъ протанутые впоперекъ рѣки канаты для ловли рыбы снастію. Еще до чаю успѣлъ раздѣться и выпрыгнуть въ рѣку (хозяинъ); тамъ барахтался и шумѣлъ съ полчаса съ рыбаками, покрививая на Ому Большаго и Кузьму. Нахлопотавшись, намерзнувшись въ водѣ, очутился на катерѣ, съ аппетитомъ и такъ пилъ чай, что было завидно. Тѣмъ временемъ солнце зашло. Румяный вечеръ разливался въ чистомъ небѣ. Осталась небесная ясность. Крики отдавались звонко. На мѣсто рыбаковъ — повсюду группы купающихся ребятиншекъ. Хлопанье по водѣ, смѣхъ отдавались далече. Гребцы хватали разомъ въ двадцать четыре весла, поднимали вдругъ всѣ весла вверхъ, и катеръ самъ собою, какъ легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Здоровый, свѣжій дѣтина, третій отъ руля, запѣвалъ звонко одинъ, выработывая чистымъ голосомъ; пятеро подхватывали, шестеро выносили — и разливалась безпредѣльная, какъ Русь, пѣсня; и, заслонивши ухо рукой, какъ бы хотѣли пѣвцы потеряться въ ея безпредѣльности. Становилось какъ-то льготно, и думалъ Чичиковъ: „Эхъ, право, заведу себѣ когда-нибудь деревеньку!“ — „Ну что тутъ хорошаго“, думалъ

Платоновъ, „въ этой заунывной пѣснѣ? отъ ней еще ббольшая тоска находить на душу.“

Возвращались назадъ уже сумерками. Весла ударили въ потьмахъ по водамъ, уже не отражавшимъ неба. Едва видны были по берегамъ огоньки. Береговъ не было. Мѣсяцъ подымался, когда они пристали къ берегу. Повсюду на треногахъ варили рыблю уху, все изъ ершей да изъ животренещущихъ рыбъ. Все уже было дома. Гуси, коровы, козы давно уже были пригнаны, и самая пыль отъ нихъ давно уже улеглась, и пастухи, пригнавшіе ихъ, стояли у воротъ, ожидая крынки молока и приглашенья на уху. Тамъ и тамъ слышались говоръ и гомонъ людской, громкое лаянье собакъ своей деревни и отдаленное чужихъ деревень. Мѣсяцъ подымался, стали озаряться потемки; и все наконецъ озарилось — и озеро, и избы; поблѣднѣли огни; сталъ видѣнъ дымъ изъ трубъ, осеребренный лучами. Николаша и Алексаша пронеслись передъ ними на двухъ лихихъ жеребцахъ, въ обгонку другъ друга. Пыль за ними — какъ отъ стада барановъ. „Эхъ, право, заведу когда-нибудь деревеньку!“ думалъ Чичиковъ. Вабенка и маленькіе Чичиковы начали ему снова представляться. Кого-жъ не разогрѣетъ такой вечеръ?

А за ужиномъ опять объѣлись. Когда вошелъ Павелъ Ивановичъ въ отведенную комнату для спанья и, ложась въ постель, пощупалъ животикъ свой: „Варабанъ!“ сказалъ (опъ); „никакой городничій не взойдетъ!“ — Надобно же было (встрѣтиться) такому стеченію обстоятельствъ! За стѣной находился кабинетъ хозяина, стѣна была тонкая, и слышалось все, что тамъ ни говорилось. Хозяинъ заказывалъ повару, подъ видомъ ранцаго завтрака, на завтрашній день, рѣшительный обѣдъ, и какъ заказывалъ! У мертвого родился бы аппетитъ. И губами подсасывалъ, и причвакивалъ. Раздавалось только: „Да поджарь, да дай взопрѣть хорошенько!“ А новаръ приговаривалъ тоненькой фистулой: „Слушаю-сь. Можно-сь. Можно-сь и такой.“

— Да вудобяку сдѣлай на четыре угла. Въ одинъ уголь положи ты нѣ щекы осетра да везити, въ другой запусти гречневой кашицы, да грибочковъ съ лучкомъ, да молоко съ сладкихъ,

да мозговъ, да еще чего знаешь тамъ этакого.... какого-нибудь тамъ того....

— Слушаю-съ. Можно будетъ и такъ.

— Да чтобъ она съ одного боку — понимаешь? подрумянилась бы, а съ другаго пусти ее полегче. Да исподку-то, исподку — понимаешь? пропеки такъ, чтобъ разсыпалась, чтобъ все ее проняло, знаешь, сокомъ, чтобъ и не услышалъ ее во рту, какъ снѣгъ бы растаяла.

„Чортъ побери!“ думалъ Чичиковъ, ворочаясь: „престо, не дасть спать!“

— Да сдѣлай ты мнѣ свиной сичугъ. Положи кусочекъ льду, чтобъ онъ взбухнулъ хорошенько. Да чтобъ къ острю обкладка, гарниръ-то, гарниръ, чтобъ былъ побогаче. Обложи его раками да поджареной маленькой рыбкой, да проложи фаршечемъ изъ снѣточковъ, да подбавь мелкой сѣчки, хрѣнку, да груздикомъ, да рѣпушки, да морковки, да бобкомъ, да нѣтъ ли тамъ еще какого коренья?

— Можно будетъ подпустить брюкву, или свеклу звѣздочкой, сказалъ поваръ.

— Подпусти и брюкву, и свеклу. А къ жарьому ты сдѣлай вотъ какую обкладку....

„Проналъ совершенно сонъ!“ сказалъ Чичиковъ, переворачиваясь на другую сторону, и закрылъ себя всего одѣяломъ, чтобъ не слышать ничего. Но сквозь одѣяло слышалось безпрестанно: „Да поджарь, да подпеки, да дай взорнѣть хорошенько.“ Заснулъ онъ уже на какомъ-то индюкѣ.

На другой день до того объѣлись гости, что Платоновъ уже не могъ вѣхать верхомъ. Жеребецъ былъ отравленъ съ конюхомъ Пѣтуха. Они сѣли въ коляску. Мордатый пестъ лѣниво пошелъ за коляской: онъ тоже объѣлся.

— Нѣтъ, это ужъ слишкомъ, сказалъ Чичиковъ, когда выѣхали они со двора. — Это даже по-свински. Не безпкойно ли вамъ, Платонъ Михайлычъ? Преспкойная была коляска, и вдругъ стало безпкойно. Петрушка, ты, вѣрно, по глупости сталъ перекладывать? отовсюду торчатъ какія-то коробки!“

Платоновъ усмѣхнулся и сказалъ: — Это, я вамъ объясню, Петръ Петровичъ насоваль въ дорогу.

— Точно такъ, сказалъ Петрушка, оборотаясь съ козелъ: — приказано было все поставить въ коляску — пашветы и пироги.

— Точно-съ, Павелъ Ивановичъ, сказалъ Салифанъ, оборотаясь съ козелъ, веселый: — очень почтенный баринъ, угостительный помѣщикъ! По рюмкѣ шампанскаго высалалъ, точно-съ, и приказалъ отъ стола отпустить блюда. Очень хорошія блюда, деликатнаго вкуса. Такого почтительнаго господина еще не было.

— Видите ли? онъ всѣхъ удовлетворилъ, сказалъ Платоновъ. — Есть ли (вамъ) время однакоже, скажите просто, чтобы заѣхать въ одну деревню, отсюда версть десять? Мнѣ бы хотѣлось проститься съ сестрой и затемъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ, сказалъ Чичиковъ.

— Отъ этого вы не будете въ накладъ: зять мой — весьма замѣчательный человѣкъ.

— По какой части? спросилъ Чичиковъ.

— Это первый хозяинъ, какой когда-либо бывалъ на Руси. Онъ въ десять лѣтъ съ небольшимъ, купивши разстроенное имѣніе, едва дававшее двадцать тысячъ, воввелъ его до того, что теперь получаетъ двѣсти тысячъ.

— А почтенный человѣкъ! Вотъ этакого человѣка жизнь стоить того, чтобы быть переданной въ поученіе людямъ! Очень, очень пріятно будетъ познакомиться. А какъ по фамиліи?

— Скудронжогло.

— А имя и отчество?

— Константинъ Ѳедоровичъ.

— Константинъ Ѳедоровичъ Скудронжогло. Очень пріятно познакомиться. Поучительно узнать этакого человѣка. И Чичиковъ пустился въ распросы о Скудронжоглѣ, и все, что онъ узналъ о немъ отъ Платонова, было что-то точно изумительное.

— Вотъ смотрите, въ этомъ мѣстѣ уже начинаются его земли, говорилъ Платоновъ, указывая на поля. — Замѣчайте, вы тотчасъ увидите отличіе отъ другихъ. Кучеръ, здѣсь возьмешь на лѣво. Видите ли этотъ молодякъ-лѣсъ? Это — сѣянный. У другаго въ пятьдесятъ лѣтъ не поднялся бы такъ, а у него въ во-

семя выростъ. Смотрите, вотъ лѣсъ и кончился, начались уже хлѣба; а черезъ пятьдесятъ десятинъ опять будетъ лѣсъ, тоже сѣянный, а тамъ опять. И смотрите на хлѣба, во сколько разъ они гуще, чѣмъ у другихъ.

— Вижу. Да какъ же онъ это дѣлаетъ?

— Ну, спросите у него, вы увидите, что ни гвоздика нѣтъ у него (даромъ). Это тавой всезнай, какого вы нигдѣ не найдете. Онъ мало того, что знаетъ, какую почву что любить, знаетъ, какое сосѣдство для него нужно, по близости какого лѣса нужно сѣять какой хлѣбъ. У насъ у всѣхъ земля трескается отъ засухъ, а у него нѣтъ. Онъ разсчитываетъ, сколько нужно влажности, столько и дерева разведетъ; у него все играетъ двѣ роли: лѣсъ лѣсомъ и полю удобреніе отъ тѣни и отъ листьевъ. И это во всемъ такъ.

— Изумительный человѣкъ! сказалъ Чичиковъ и съ любопытствомъ посмотрѣлъ на поля.

Все было въ порядкѣ. Лѣса были огороженные; попадались скотные дворы, также не безъ причины обстроеныя и завидно содержимыя; хлѣбныя клади росту великанскаго. Обильно и хлѣбно повсюду. Видно было вдругъ, что живетъ тузъ-хозяинъ. Поднявшійся на небольшую возвышенность, (увидѣли) на супротивной сторонѣ деревню, разсыпавшуюся на трехъ горныхъ возвышеніяхъ. Все тутъ было богато: торныя улицы, крѣпкія избы; стояла гдѣ телѣга — телѣга была крѣпкая и новенькая; попался ли конь — какъ бы откормленный и добрый; рогатый скотъ — какъ на отборъ; даже мужичья свинья глядѣла дворяниномъ. Такъ и видно, что здѣсь именно живутъ тѣ мужики, которые гребутъ, какъ поестя въ пѣснѣ, серебро лопатой. Не было тутъ аглицкихъ парковъ, бесѣдокъ и мостовъ съ затѣями и разныхъ проспектовъ передъ домою. Отъ избъ до господскаго двора потянулись рабочіе дворы. На крышѣ большой фонарь, не для видовъ, но для разсматриванья, гдѣ, и въ какомъ мѣстѣ, и какъ производились работы.

Они подѣхали къ дому. Хозяина не было; встрѣтила ихъ жена, родная сестра Платонова, бѣлокурая, бѣлолицая, съ прямо русскимъ выраженіемъ, также красавица, но какъ-то полу-

сонная, какъ будто ее мало заботило то, о чемъ заботятся (другіе), или оттого, что всепоглощающая дѣятельность (мужа) ничего не оставила на ея долю, или оттого, что она принадлежала, по самому сложенію своему, къ тому философическому разряду людей, которые, имѣя и чувства, и мысли, и умъ, живутъ какъ-то въ половину, на жизнь глядятъ въ полглаза и, видя возмутительныя тревоги и борьбы, говорятъ: „Вотъ дураки бѣсятся! Имъ же хуже.“

— Здравствуй, сестра! сказалъ Платоновъ. — Гдѣ же Константинъ?

— Не знаю. Ему уже слѣдовало быть давно здѣсь. Вѣрно, захопотался.

Чичиковъ на хозяйку не обратилъ (вниманія). Ему было интересно разсмотрѣть жилище этого необыкновеннаго человѣка. Онъ оглянулъ въ комнатѣ все, думая отыскать въ ней слѣды свойствъ самого хозяина, — какъ по раковинѣ можно судить, какого рода сидѣла въ ней устрица, или улитка; но этого-то и не было. Комнаты были безхарактерны совершенно — просторны и ничего больше. Ни фресковъ, ни картинъ по стѣнамъ, ни бронзы по столамъ, ни этажерокъ съ фарфорами и чашками, ни вазъ, ни цвѣтовъ, ни статуекъ, — все какъ-то голо. Простая обыкновенная мебель да рояль стоялъ въ сторонѣ, и тотъ покрытъ. Какъ видно, хозяйка рѣдко за него садилась. Изъ гостинной отворена (была дверь въ кабинетъ хозяина); но и тамъ было такъ же просто и голо. Видно было, что хозяинъ приходилъ въ домъ только отдохнуть, а не то, чтобы жить въ немъ; что для обдумыванія своихъ плановъ и мыслей ему не надобно было кабинета съ пружинными креслами и всякими покойными удобствами и что жизнь его заключалась не въ очаровательныхъ грезахъ у пылающаго каминна, но прямо въ дѣлѣ, — мысль исходила вдругъ изъ самихъ обстоятельствъ, въ ту минуту, какъ они представлялись, и обращалась вдругъ въ дѣло, не имѣя никакой надобности въ томъ, чтобы быть записанной.

— А вотъ онъ! Идетъ, идетъ! сказала Платоновъ. Чичиковъ тоже устремился къ окну. Къ крыльцу подходилъ лѣтъ сорока человѣкъ, живой, смуглой наружности. На немъ былъ триковый

картузь. По обѣимъ сторонамъ его, снявъ шапки, шли двое изъ низшаго сословія, разговаривая о чемъ-то съ нимъ и толкуя. Одинъ, казалось, былъ простой мужикъ, другой въ синей сибиркѣ, какой-то заѣзжій кулакъ и пройдоха.

— Такъ ужъ прикажите, батюшка, принять! говорилъ мужикъ кланаясь.

— Да нѣтъ, братецъ, я ужъ двадцать разъ вамъ повторяю: не возите больше. У меня матеріалу столько накопилось, что и дѣвать некуда.

— Да у васъ, батюшка Константинъ Ѳедоровичъ, все пойдетъ въ дѣло. Ужъ эдакаго умнаго человѣка во всемъ свѣтѣ нельзя сыскать. Ваше здоровье всяку вещь въ мѣсто поставить. Такъ ужъ прикажите принять.

— Мнѣ, братецъ, руки нужны, мнѣ работниковъ давай, а не матеріаль.

— Да ужъ въ работахъ не будете имѣть недостатка. У насъ пѣлныя деревни пойдутъ въ работы: безхлѣбье такое, что и не запомнимъ. Ужъ вотъ бѣда-то, что не хотите насъ совсѣмъ взять, а отслужили бы вѣрно вамъ, ей Богу, отслужили. У васъ всякому уму научисься, Константинъ Ѳедоровичъ. Такъ прикажите принять въ послѣдній разъ.

— Да вѣдь ты и тогда говорилъ — *въ послѣдній разъ*, а вѣдь вотъ опять привезъ.

— Ужъ въ послѣдній разъ, Константинъ Ѳедоровичъ. Если вы не возьмете, то у меня никто не возьметъ. Такъ ужъ прикажите, батюшка, принять.

— Ну, слушай, этотъ разъ возьму; но это изъ сожалѣнія только, чтобы не провозился напрасно. Но если ты привезешь въ другой разъ, хоть три недѣли конючь — не возьму.

— Слушаю-съ, Константинъ Ѳедоровичъ; ужъ будьте покойны, въ другой разъ ужъ никакъ не привезу. Поворѣйше благодарю. — Мужикъ отошелъ, довольный. Вретъ однакоже, привезетъ: *авось* — великое словцо.

— Такъ ужъ того-съ, Константинъ Ѳедоровичъ, ужъ сдѣлайте милость.... пособиите, — говорилъ шедшій по другую сторону заѣзжій кулакъ въ синей сибиркѣ.

— Вѣдь я тебѣ на первыхъ порахъ объявилъ. Торговаться я не охотникъ. Я тебѣ говорю опять: я не то, что другой помѣщикъ, къ которому ты подѣдешь подь самый срокъ уплаты въ ломбардъ. Вѣдь я васъ знаю. У васъ есть списки всѣхъ, кому когда слѣдуетъ уплачивать. Чтѣ-жъ тутъ мудренаго! Ему присичить, онъ тебѣ и отдастъ за полцѣны. А мнѣ чтѣ твои деньги? У меня вещь хотъ три года лежи: мнѣ въ ломбардъ не нужно уплачивать.

— Настоящее дѣло, Константинъ Федоровичъ. Да вѣдь я того-съ.... оттого только, чтобъ и впредь имѣть съ вами касательство, а не ради какого корыстѣя. Три тысячи задатка извольте принять. — Кулакъ вынулъ изъ-за пазухи пукъ засаленныхъ ассигнацій. Скудронжогло прехладнокровно взялъ ихъ и, не считая, сунулъ въ задній карманъ своего сюртука.

„Гм,“ подумалъ Чичиковъ, „точно какъ бы носовой платокъ!“

Минуту спустя, Скудронжогло показался въ дверяхъ гостиной.

— Ба, братъ, ты здѣсь! сказалъ онъ, увидѣвъ Платонова. Обнялись и поцѣловались. Платоновъ рекомендовалъ Чичикова. Чичиковъ благоговѣнно подступилъ къ хозяину, лобызнулъ его въ щеку, принявши и отъ него впечатлѣніе поцѣлуя.

Лицо Скудронжогла было очень замѣчательно. Въ немъ было замѣтно южное происхожденіе. Волосы на головѣ и на бровяхъ темные и густые, глаза горящіе, блеску сильнаго. Ушъ сверкалъ во всемъ выраженіи лица, и ужъ ничего не было въ немъ соннаго. Но замѣтна, однакоже, была примѣсь чего-то желчнаго и озлобленнаго. Онъ былъ не совсѣмъ русскаго происхожденія. Есть (впроемъ) много на Руси русскихъ не русскаго происхожденія, но въ душѣ русскихъ. Скудронжогло не занимался своимъ происхожденіемъ, находя, что это не идетъ въ дѣло; притомъ не зналъ другаго языка, кромѣ русскаго.

— Знаешь ли, Константинъ, чтѣ я выдумалъ? — сказалъ Платоновъ.

— А чтѣ?

— Выдумалъ я проѣздитья по разнымъ губерніямъ; авось это вылѣчитъ отъ хандры.

— Чтѣ-жъ? это очень можетъ быть.

— Вотъ вмѣстѣ съ Павломъ Ивановичемъ.

— Прекрасно! Въ какія же мѣста, спросилъ Скудронжогло, привѣтливо обращаясь къ Чичикову, — предполагаете теперь ѣхать?

— Признаюсь, сказалъ Чичиковъ, наклоня голову на бокъ и взявшись рукою за ручку кресель, — вѣдь я, покажѣтесь, не столько по своей нуждѣ, сколько по нуждѣ другаго. Генераль Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благодетель, просилъ навѣстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя; потому что, точно, не говоря уже о пользѣ, которая можетъ быть въ геморондальномъ отношеніи, уже то, чтобъ увидѣть свѣтъ, боловращенье людей.... кто чтò ни говори, есть, такъ сказать, живая книга, та же наука.

— Да, заглянуть въ иные уголки не мѣшаетъ.

— Превосходно изволили замѣтить, отнесся Чичиковъ: — точно не мѣшаетъ. Видишь вещи, которыхъ бы не видѣлъ; встрѣчаешь людей, которыхъ бы не встрѣтилъ. Разговоръ съ инымъ тотъ же червонецъ. Научите, почтеннѣйшій Константинъ Федоровичъ, научите, къ вамъ прибѣгаю. Жду, какъ манны, сладкихъ словъ вашихъ.

Скудронжогло смутился. — Чему же, однако?... чему научить? Я и самъ учился на мѣдныхъ деньги.

— Мудрости, почтеннѣйшій, мудрости! мудрости управлять хозяйствомъ, подобно вамъ, подобно вамъ умѣть извлекать изъ него существенные доходы, приобрести, подобно вамъ, имущество не воображаемое, но существенное, дѣйствительное, и тѣмъ исполнить долгъ гражданина.

— Знаете ли чтò? сказалъ Скудронжогло, — останьтесь денекъ у меня. Я покажу вамъ все управленіе и расскажу обо всемъ. Мудрости тутъ, какъ вы увидите, никакой нѣтъ.

— Братъ, оставайся этотъ день, сказала хозяйка, обращаясь къ Платонову.

— Пожалуй, мнѣ все равно, — произнесъ (тотъ) равнодушно. — Какъ Павелъ Ивановичъ?

— Я съ большимъ удовольствіемъ.... Но вотъ обстоятель-

ство — нужно посѣтить родственника генерала Бетрищева. Есть нѣкто полковникъ Кошкаревъ....

— Да вѣдь онъ.... знаете ли вы это? Вѣдь онъ дуракъ и помѣшанъ.

— Объ этомъ я уже слышалъ. Миѣ къ нему и дѣла нѣтъ. Но такъ какъ генераль Бетрищевъ — близкій пріятель и, такъ сказать, благотворитель.... такъ какъ-то и неловко.

— Въ такомъ случаѣ знаете ли чтѣ, сказалъ (Скудронжоло): — поѣзжайте къ нему теперь же. У меня стоятъ готовныя пролетки. Къ нему и десяти верстъ (нѣтъ), такъ слетаете духомъ. Вы раньше даже ужина возвратитесь назадъ.

Чичиковъ съ радостію воспользовался предложеніемъ. Пролетки были поданы, и онъ поѣхалъ тотъ же часъ къ полковнику, который изумилъ его такъ, какъ еще никогда ему не случалось изумляться. Все было у полковника необыкновенно. Вся деревня была въ разброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревенъ по всѣмъ улицамъ. Выстроены были какіе-то дома, въ родѣ присутственныхъ мѣстъ. На одномъ было написано золотыми буквами: *Депю земледѣльческихъ орудій*, на другомъ: *Главная счетная экспедиція*, на третьемъ: *Комитетъ сельскихъ дѣлъ*; (далѣе); *Школа нормального просвѣщенія поселянъ*; словомъ, чортъ знаетъ чего не было! Онъ думалъ, не вѣхалъ ли въ губернской городъ. Самъ полковникъ былъ какой-то чопорный. Бакенбарды по щекамъ его были протануты въ струнку; волосы, прическа, носъ, губы, подбородокъ — все какъ бы лежало дотолѣ подъ прессомъ. Принялъ онъ Чичикова ласково, ввелъ его совершенно въ довѣренность и разсказалъ съ самоуслажденіемъ, сколько и сколько стоило ему трудовъ возвестъ и мѣнѣе до нынѣшняго благосостоянія, — какъ трудно дать понять мужику, что существуютъ вышнія побужденія, которыя доставляетъ человѣку просвѣщенная роскошь, что есть искусство, — сколько нужно было бороться съ невѣжествомъ русскаго мужика, чтобъ одѣть его въ нѣмецкіе штаны, да заставить почувствовать хотя сколько-нибудь высшее достоинство человѣка, — что бабъ, несмотря на всѣ усилія, онъ не могъ заставить бросить уродливый костюмъ и надѣть корсе-

ты, тогда какъ въ Германіи, гдѣ онъ стоялъ съ полкомъ въ 14 году, дочь мельника умѣла играть даже на фортепьяно, говорила по-французски и дѣлала книксенъ. Съ соболѣзнованіемъ рассказывала онъ, какъ велика необразованность сосѣдей-помѣщиковъ, какъ мало думаютъ они о своихъ подвластныхъ, какъ они даже смѣялись, когда онъ старался изъяснить, какъ необходимо для хозяйства устройство письменныхъ конторъ, комиссій и даже комитетовъ, чтобы тѣмъ предохранить (отъ) всякой попражи и всякая вещь была бы извѣстна, — чтобы писарь, управитель и бухгалтеръ образованы были не какъ-нибудь, но оканчивали бы университетское воспитаніе, — что, несмотря на всѣ убѣжденія, онъ не могъ убѣдить помѣщиковъ въ томъ, что какаѣ бы выгоды была ихъ имѣніямъ, еслибы каждый крестьянинъ былъ воспитанъ такъ, чтобы, идя за плугомъ, могъ читать въ то же время книгу о громовыхъ отводахъ, или тому (подобное).

На это Чичиковъ (подумалъ): „Ну, врядъ ли выберетъ такое время. Вотъ я выучился грамотѣ, а „Графиня Лавальеръ“ до сихъ поръ не прочитана.“

— Ужасное невѣжество! сказала въ заключеніе полковникъ Кошкаревъ, — тьма среднихъ вѣковъ, и нѣтъ средствъ помочь... Позвольте, нѣтъ! я бы могъ всему помочь; я знаю одно средство, вѣрнѣйшее средство.

— Какое?

— Одѣть всѣхъ до одного въ Россіи, какъ ходятъ въ Германіи. Ничего больше, какъ только это, и я вамъ ручаюсь, что все пойдетъ какъ по маслу. Науки возвысатся, торговля поднимется, золотой вѣкъ настанетъ въ Россіи.

Чичиковъ глядѣлъ на него пристально и думалъ: „Что-жъ! съ этимъ чиниться нечего.“ Не отлагая дѣла въ дальній ящикъ, онъ объяснилъ полковнику тутъ же, что такъ и такъ: имѣеть надобность вотъ въ такихъ душахъ, съ совершеніемъ такихъ-то крѣпостей и всѣхъ обрядовъ.

— Сколько могу видѣть изъ словъ вашихъ, это просьба; не такъ ли?

— Такъ точно.

— Въ такомъ случаѣ, изложите ее письменно. Она пойдетъ

въ комиссію всякихъ прошеній. Комиссія всякихъ прошеній, помѣтивши, препроводить ее ко мнѣ. Отъ меня поступить она въ комитетъ сельскихъ дѣлъ, тамъ сдѣлаютъ всякія справки и выправки по этому дѣлу. Главноуправляющій вмѣстѣ съ конторою въ самоскорѣйшемъ времени положить свою резолюцію, и дѣло будетъ сдѣлано.

Чичиковъ оторопѣлъ. — Позвольте, сказалъ (онъ), — этимъ дѣло затянется.

— А! сказалъ съ улыбкой полковникъ; — вотъ тутъ-то и выгода бумажнаго производства! Оно точно нѣсколько затянется, но за то уже ничего не ускользнетъ: всякая мелочь будетъ видна.

— Но позвольте... Какъ же трактовать объ этомъ письменно. Вѣдь это такого рода дѣло! Души вѣдь нѣкоторымъ образомъ... мертвыя.

— Очень хорошо. Вы такъ и напишите, что души нѣкоторымъ образомъ мертвыя.

— Но вѣдь какъ же мертвыя? Вѣдь такъ же нельзя написать. Онѣ хотя и мертвыя, но нужно, чтобы казались какъ бы были живыя.

— Хорошо. Вы такъ и напишите: *но нужно, или требуется, чтобы казались какъ бы живыя.*

Чтобы дѣло сдѣлать съ полковникомъ, Чичиковъ рѣшился отправиться самъ поглядѣть, что это за комиссія и комитетъ, и что нашелъ онъ тамъ, то было не только изумительно, но превышало рѣшительно всякое вѣроятіе. Комиссія всякихъ прошеній существовала только на вывѣскѣ. Предсѣдатель ея, прежній каммердинеръ, былъ переведенъ во вновь образовавшійся комитетъ сельскихъ построекъ. Мѣсто его заступилъ конторщикъ Тимошка, откомандированный на слѣдствіе въ другое село — разбирать пьяницу-прикащика со старостой, мошенникомъ и плутомъ. Чиновника — нигдѣ.

— Да гдѣ же тутъ... да какъ добиться какого-нибудь толку? сказалъ Чичиковъ своему спутнику, чиновнику по особымъ порученіямъ, котораго полковникъ далъ ему въ проводники.

— Да никакого толку не добьетесь, сказалъ проводникъ: — у насъ безтолковщина. У насъ всѣмъ, изволите видѣть, распоря-

жается комиссія построенія, отрываетъ всёхъ отъ дѣла, посылаетъ куда угодно. Только и выгодно у насъ, что въ комиссіи построенія (онъ, какъ видно, былъ недоволенъ на комиссію построенія). У насъ всё водятъ за носъ барина. Онъ думаетъ, что все какъ слѣдуетъ, а вѣдь это (надуванье) только одно.

„Это, однакожъ, нужно ему сказать,“ подумалъ Чичиковъ и, пришедши къ полковнику, объявилъ, что у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссія построеній воруетъ напропалую.

Полковникъ вскипѣлъ благороднымъ негодованіемъ; тутъ же написалъ восемь строжайшихъ запросовъ: на какомъ основаніи комиссія построенія самоуправно распоряжалась съ неподвѣдственными ей чиновниками? какъ могъ допустить главноуправляющій, чтобы правитель дѣлъ, не славши своего поста, отправился на слѣдствіе? и какъ могъ видѣть равнодушно комитетъ сельскихъ дѣлъ, что даже не существуетъ комиссіи прошеній?“

„Ну, пойдетъ кутерьма,“ подумалъ Чичиковъ и началъ раскланиваться.

— Нѣтъ, я васъ не отпущу. Въ два часа, не болѣе, вы будете удовлетворены во всемъ. Ваше дѣло поручу теперь особенному человѣку, которой только-что окончилъ университетскій курсъ. Посидите у меня въ библіотекѣ. Тутъ все, что для васъ нужно — книги, бумага, перья, карандаши — все. Пользуйтесь, пользуйтесь всёмъ, какъ господинъ.

Такъ говорилъ Кошкаревъ, отворяя дверь въ книгохранилище. Это былъ огромный залъ, съ низу до верху установленный книгами. Были тамъ даже чучелы животныхъ. Книги по всёмъ частямъ — по части лѣсоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всякихъ журналовъ, руководствъ и множество журналовъ, представляющихъ самыя позднѣйшія развитія и усовершенствованія по коннозаводству и естественнымъ наукамъ. Были и такія названія: „Свиноводство, какъ Наука.“ Видя, что здѣсь все вещи не для пріятнаго препровожденія (времени), онъ обратился къ другому шкафу. Изъ огня — въ полмя. Тутъ были все книги философскія. На одной было заглавіе: „Философія, въ смыслѣ Науки.“ Шесть томовъ въ рядъ, подъ

названіємъ: „Предуготовительное Вступленіе къ Теоріи Мышленія въ ихъ Общности, Совокупности и въ Примѣненіи въ Уразуи́нію Органическихъ Началь Обоюднаго Раздвѣненія Общества.“ Что ни разворачиваль Чичиковъ книгу, на всякой страницѣ — *проявленіе, развитіе, абстрактъ, замкнутость и сомкнутость*, и чортъ знаетъ, чего тамъ не было. „Нѣтъ, это не по мнѣ,“ сказалъ Чичиковъ, и оборотился къ третьему, гдѣ были все книги по части искусствъ. Тутъ вытащилъ какую-то огромную книгу съ нескромными мнѳологическими картинками и началъ ихъ разсматривать. Это было по его вкусу. Такого рода картинки нравятся холостякамъ среднихъ (лѣтъ). Говорятъ, что въ послѣднее время стали онѣ нравиться даже и старичкамъ, изощрившимъ вкусъ на балетахъ. Чтѣ же дѣлать! пряные корни любить человѣкъ. Окончивши разсматриванье этой книги, Чичиковъ вытащилъ уже было и другую въ томъ же родѣ, какъ вдругъ появился полковникъ Кошкаревъ, съ сіяющимъ видомъ и бумагою.

— Все сдѣлано, и сдѣлано отлично. Человѣкъ этотъ рѣшительно понимаетъ одинъ за всѣхъ. За это я его поставлю выше всѣхъ: заведу особенное, высшее управленіе и поставлю его президентомъ. Вотъ чтѣ онъ пишетъ.

„Ну слава те Господи!“ подумаль Чичиковъ и приготовился слушать.

„Приступая къ обдумыванію возложеннаго на меня Вашимъ Высокородіемъ порученія, честь имѣю симъ донести на оное: 1) Въ самой просьбѣ господина коллежскаго совѣтника и кавалера Павла Ивановича Чичикова есть уже нѣкоторое недоразумѣніе въ изъясненіи того, что требуются ревизскія души, всякими внезапностями вставленныя въ умершія. Подъ симъ, вѣроятно, они изволили разумѣть близкія къ смерти а не умершія; ибо умершія не пріобрѣтаются. Чтѣ-жъ и пріобрѣтать, если ничего нѣтъ? Объ этомъ говорить и самая логика, да и въ словесныхъ наукахъ они, какъ видно, не далеко уходили...“ Тутъ на минуту Кошкаревъ остановился и сказалъ: „Въ этомъ мѣстѣ плуть... онъ немножко кольнулъ васъ. Но судите, однакожъ, что бойкое перо, статсъ-секретарскій слогъ, а вѣдь всего три года побылъ

въ университетѣ, даже не кончилъ курса.“ Кошкаревъ продолжалъ: „...въ словесныхъ наукахъ, какъ видно, не далеко... ибо выразились о душахъ умершихъ, тогда какъ всякому, изучавшему курсъ познаній челоѳческихъ, извѣстно заподлинно, что душа безсмертна. — 2) Онныхъ упомянутыхъ ревизскихъ душъ, пришлыхъ, или прибылыхъ, или, какъ они неправильно изволили выразиться, умершихъ, нѣтъ на-лицо таковыхъ, котормъ бы не были въ залогѣ, ибо всѣ въ совокупности не только заложены безъ изытїя, но и перезаложены, съ прибавкой по полтора ста рублей на душу, кромѣ небольшой деревни Гурмайловки, находящейся въ спорномъ положенїи по случаю тяжбы съ помѣщикомъ Прецищевымъ, и потому ни въ продажу, ни въ залогъ поступить не можетъ.“

— Такъ зачѣмъ же вы мнѣ этого не объяснили прежде? Зачѣмъ изъ пустяковъ держать? сказалъ съ сердцемъ Чичиковъ.

— Да вѣдь какъ же я могъ знать объ этомъ сначала? Въ этомъ-то и выгода бумажнаго производства, что вотъ теперь все какъ на ладони оказалось.

„Дуракъ ты, глупая скотина!“ думалъ про себя Чичиковъ. „Въ книгахъ копался, а чему выучился?“ Мимо всякихъ учтивствъ и приличїй, схватилъ онъ шапку и изъ дома. Кучеръ стоялъ съ пролеткой на-готовѣ и лошадей не откладывалъ: о кормѣ пошла бы письменная просьба, и резолюція — выдать овесъ лошадямъ была бы только на другой день. Какъ ни былъ Чичиковъ грубъ и неучтивъ, но Кошкаревъ, несмотря на все, былъ съ нимъ необыкновенно учтивъ и деликатенъ. Онъ насильно пожалъ Чичикову руку, прижалъ ее къ сердцу и благодарилъ его за то, что онъ далъ ему случай увидѣть на дѣлѣ ходъ производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины сельскаго управленїя могутъ заржавѣть и ослабѣть; что, въ послѣдствїе этого событїя, пришла ему счастливая мысль — устроить новую комиссію, которая будетъ называться комиссіей наблюденїя за комиссіей построенїя, такъ что уже тогда никто не осмѣлится украсть.

„Оселъ! дуракъ!“ думалъ Чичиковъ, сердитый и недовольный во всю дорогу. Ъхалъ онъ уже при звѣздахъ. Ночь обволокла

небо. Въ деревняхъ были огни. Подъѣзжая къ крыльцу, онъ увидѣлъ въ окнахъ, что уже столъ былъ накрытъ для ужина.

— Что это вы такъ запоздали? сказалъ Скудронжогло, когда онъ показался въ дверяхъ.

— О чемъ вы это такъ долго съ нимъ толковали? сказалъ Платоновъ.

— Уморилъ! сказалъ Чичиковъ. — Этакого дурака я еще отъ роду не видывалъ.

— Это еще ничего! сказалъ Скудронжогло. — Кошкаревъ — утѣшительное явленіе. Онъ нуженъ за тѣмъ, что въ немъ отражаются каррикатурно и виднѣй глупости умныхъ людей. Завели конторы и присутствія, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссіи, и чортъ ихъ знаетъ что такое, точно какъ будто бы у нихъ государство какое! Какъ вамъ это нравится? я спрашиваю. Помѣщикъ, у котораго пахатныя земли и не достаетъ крестьянъ обрабатывать, а онъ завелъ свѣчной заводъ, изъ Лондона мастеровъ выписалъ, свѣчнымъ торгашомъ сдѣлался! Вонъ другой дуракъ еще лучше: фабрику шелковыхъ матерій завелъ!

— Да вѣдь и у тебя же есть фабрика, замѣтилъ Платоновъ.

— А кто ихъ заводилъ? — Сами завелись: накопилося шерсти, а дѣтъ некуда, я и началъ твать сукна, да и сукна толстыя, простыя, по дешевой цѣнѣ; ихъ тутъ же на рынкахъ у меня и разбираютъ. Рыбью шелуху, на примѣръ, сбрасывали на мой берегъ шесть лѣтъ сряду; ну, куда ее дѣвать? — я и началъ изъ нея варить клей, да сорокъ тысячъ и взялъ. Вѣдь у меня все такъ.

„Экой чортъ!“ думалъ Чичиковъ, глядя на него въ оба глаза, — „загребистая такая лапа!“

— Да я и строеній для этого не строю; у меня нѣтъ съ колоннами да фронтонами. Мастеровъ я не выписываю изъ-за границы, а ужъ крестьянъ отъ хлѣбопашества ни за что не оторву; на фабрикахъ у меня работаютъ только въ голодный годъ, все пришлые, изъ-за куска хлѣба. Этакихъ фабрикъ у меня, братъ, наберется много. Разсмотри только попристальнѣе свое хозяйство, ты увидишь — всякая тряпка пойдетъ въ дѣло, всякая дрянъ дастъ доходъ, такъ что послѣ отталкиваешь только да говоришь: не нужно!

— Это изумительно, сказалъ Чичиковъ, исполнившись участія, — изумительно, изумительно! Изумительнѣе же всего то, что всякая дрянь даетъ доходъ.

— Гм! да только-то?... Рѣчи Скудронжогло не бончили: желчь въ немъ пробудилась, и ему хотѣлось побранить сосѣдей-помѣщиковъ. — Вонъ опять одинъ умникъ — что вы думаете у себя завелъ? — Богоугодное заведеніе, каменное строеніе въ деревнѣ. Христолюбивое дѣло!... Ужъ хочешь помогать, такъ ты помогай мужику исполнить этотъ долгъ, а не отрывай его отъ христіанскаго долга. Помоги сыну пригрѣть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его съ своихъ плечъ. Дай лучше ему возможность пріютить у себя въ дому ближняго и брата, дай ему на это денегъ, помоги всѣми силами, а не отлучай ихъ: онъ совсѣмъ отстанетъ отъ всякихъ христіанскихъ обязанностей. Донъ-Кишоты просто, по всѣмъ частямъ!... Двѣсти рублей выходитъ на человѣка въ годъ въ богоугодномъ заведеніи!... да я на эти деньги буду у себя въ деревнѣ десять лѣтъ содержать! Скудронжогло разсердился и плюнулъ.

Чичиковъ не интересовался богоугоднымъ заведеніемъ. Онъ хотѣлъ повести рѣчь о томъ, какъ всякая дрянь даетъ доходъ. Но Скудронжогло уже разсердился, желчь въ немъ закипѣла и слова полились.

— А вотъ другой Донъ-Кишотъ просвѣщенья. Завелъ школы! Ну, что, напримѣръ, полезнѣе человѣку, какъ знаніе грамоты? А вѣдь какъ распорядился: вѣдь ко мнѣ приходятъ мужики изъ его деревни. „Что это,“ говорятъ, „батюшка, такое? сыновья наши совсѣмъ отъ рукъ отбились, помогать въ работахъ не хотятъ, всѣ въ писаря хотятъ, а вѣдь писарь нуженъ одинъ.“ Вѣдь вотъ что вышло.

Чичикову тоже не было надобности въ школахъ, но Платоновъ подхватилъ этотъ предметъ: — Да вѣдь этимъ останавливаться не нужно, что теперь не надобно писаря: послѣ будетъ надобность. Работать нужно для потомства.

— Да будь, братецъ, хоть ты умень! Ну, на что вамъ это потомство? Всѣ думаютъ, что они какіе-то Петры Великіе. Да ты смотри себѣ подъ ноги, а не гляди въ потомство; хлопочи о

томъ, чтобы мужика сдѣлать достаточнымъ да богатымъ, да чтобъ у него было время учиться по охотѣ своей, а не то, что съ палкой въ рукѣ говорите: „Учись!“ Чортъ знаетъ, съ котораго конца начинаютъ!... Ну, послушайте: ну, вотъ я (отдаю) вамъ на судъ.... Тутъ Скудронжогло подвинулся ближе къ Чичикову и, чтобы заставить его получше вникнуть въ дѣло, взялъ его на абордажъ, другими словами — засунулъ палецъ въ петлю фрака. — Ну, что можетъ быть яснѣе? У тебя крестьяне за тѣмъ, чтобы ты покровительствовалъ имъ въ ихъ крестьянскомъ быту. Въ чемъ ихъ бытъ? въ чемъ же занятія крестьянина? Въ хлѣбопашествѣ? Такъ старайся, чтобъ онъ былъ хорошимъ хлѣбопашцемъ. Ясно? Нѣтъ, нашлись умники, говорятъ: „Изъ этого состоянія его нужно вывести. Онъ ведетъ ужъ слишкомъ грубую, простую жизнь: нужно познакомить его съ предметами роскоши!“ Что сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди, и болѣзней чортъ знаетъ какихъ понабрались, и ужъ нѣтъ осьмнадцати-лѣтняго мальчишки, который бы не испробовалъ всего: и зубовъ у него нѣтъ, и плѣшивъ, — такъ хотятъ теперь и этихъ заразить. Да слава Богу, что у насъ осталось хоть одно еще здоровое сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями! За это мы, просто, должны благодарить Бога. Да хлѣбопашецъ для меня всѣхъ почтеннѣе. Дай Богъ, чтобы всѣ были какъ хлѣбопашецъ!

— Такъ вы полагаете, что хлѣбопашествомъ всего-выгоднѣе заниматься? спросилъ Чичиковъ.

— Законнѣе, а не то, что выгоднѣе. Воздѣлывай землю въ потѣ лица своего — это намъ всѣмъ сказано; это не даромъ сказано. Опытомъ вѣковъ доказано, что въ земледѣльческомъ званіи человѣкъ чище нравами. Гдѣ хлѣбопашество легло въ основаніе быта общественнаго, тамъ изобиліе и довольство; бѣдности нѣтъ, роскоши нѣтъ, а есть довольство. Воздѣлывай землю — сказано человѣку, трудись... что тутъ хитрить! Я говорю мужику: „Кому бы ты ни трудился, мнѣ ли, себѣ ли, сосѣду ли, только трудись. Въ дѣятельности твоей я твой первый помощникъ. Нѣтъ у тебя скотины, вотъ тебѣ лошадь, вотъ тебѣ корова, вотъ тебѣ телѣга. Все, что нужно, готовъ тебѣ дать, но трудись. Для меня смерть

если хозяйство у тебя не въ устройствѣ и вижу у тебя безпорядокъ и бѣдность. Не потерплю праздности: я за тѣмъ и надъ тобой, чтобы ты трудился. “ Гм! думаютъ увеличить доходъ заведеніями да фабриками! Да ты подумай прежде о томъ, чтобы всякой мужикъ былъ у тебя богатъ, такъ тогда только и самъ будешь богатъ, безъ фабрикъ и безъ заводовъ, и безъ глупыхъ (затѣй).

— Чѣмъ больше слушаешь васъ, почтеннѣйшій Константинъ Ѳедоровичъ, сказалъ Чичиковъ, — тѣмъ больше получаешь желаніе слушать. Скажите, досточтимый мною, еслибы, напримѣръ, я возымѣлъ намѣреніе сдѣлаться помѣщикомъ, положимъ, здѣшней губерніи, на что именно слѣдуетъ обратить вниманіе? какъ быть, какъ поступить, чтобы въ непродолжительное (время) разбогатѣть и тѣмъ исполнить, такъ-сказать, въ виду отечества обязанность гражданина?

— Какъ поступить, чтобы разбогатѣть? А вотъ какъ... сказалъ Скудронжогло.

— Пойдемъ ужинать! сказала хозяйка, поднявшись съ дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая въ шаль молодые, продрогнувшіе свои члены.

Чичиковъ схватился со стула съ ловкостію почти военнаго человѣка, подлетѣлъ къ хозяйкѣ съ мягкимъ выраженіемъ, съ улыбкою деликатнаго штатскаго человѣка, коромысломъ подставилъ ей руку и повелъ ее парадно черезъ двѣ комнаты въ столовую, сохраняя во все время пріятное наклоненіе головы нѣсколько на бокъ. Служитель снялъ крышку съ суповой чашки. Всѣ со стульями придвинулись ближе къ столу и началось хлебаніе супа.

Отдѣлавши супъ и запивши рюмкой наливки (наливка была отличная), Чичиковъ сказалъ такъ Скудронжоглу: — Позвольте, почтеннѣйшій, вновь обратить васъ къ предмету прекращеннаго разговора. Я спрашивалъ васъ о томъ, какъ быть, какъ поступить, какъ лучше приняться....*).

*) *Примѣчаніе С. П. Шевырева.* Здѣсь въ разговорѣ между Скудронжогло и Чичиковымъ пропускъ. Должно полагать, что Скудронжогло предложилъ Чичикову пріобрѣсти покупкою имѣнье сосѣда его, помѣщика Хлобуева.

— Имѣніе, за которое еслибъ онъ запросилъ и 40 тысячъ, я бы ему тутъ же отсчиталъ.

„Гм!“ Чичиковъ задумался. — А отчего же вы сами, проговорилъ онъ съ нѣкоторою робостью, — не покупаете его?

— Да нужно знать наконецъ предѣлы. У меня и безъ того много хлопотъ около своихъ имѣній. Притомъ, у насъ дворяне и безъ того уже кричать на меня, будто я, пользуясь крайностями и раззореннымъ ихъ положеньемъ, скупаю земли за безцѣнокъ. Это мнѣ ужъ наконецъ надоѣло.

— Дворянство способно къ злословью! сказалъ Чичиковъ.

— А ужъ у насъ, въ нашей губерніи.... Не можете себѣ представить, что они говорятъ обо мнѣ. Они меня иначе и не называютъ какъ сквалыгой и скупердяемъ первой степени. Себя они во всемъ извиняютъ. „Я,“ говоритъ, конечно, промотался, но потому, что жилъ высшими потребностями жизни. Мнѣ нужны книги, я долженъ жить роскошно, чтобы промышленность поощрять. А такъ можно пропасть и не раззорившись, еслибы жить такой свиньей, какъ Скудронжогло.“

— Желалъ бы я быть такой свиньей! сказалъ Чичиковъ.

— И вѣдь все это оттого, что я не задаю обѣдовъ да не даю имъ въ займы денегъ. Обѣдовъ я потому не даю, что это меня бы тяготило, я къ этому не привыкъ; а пріѣзжай ко мнѣ ѣсть то, что я ѣмъ, — милости просимъ! Не даю денегъ въ займы — это вздоръ. Пріѣзжай ко мнѣ въ самое дѣлѣ нуждающійся, да расскажи мнѣ обстоятельно, какъ ты распорядишься моими деньгами; я если увижу изъ твоихъ словъ, что ты употребишь ихъ умно и деньги принесутъ тебѣ явную прибыль, — я тебѣ не откажу и не возьму даже процентовъ. Но бросать денегъ на вѣтеръ я не стану. Ужъ пусть меня въ этомъ извинять! Онъ затѣваетъ тамъ какой-нибудь обѣдъ своей любовницѣ, или на сумасшедшую ногу убираетъ мебелими домъ, а ему давай деньги въ-займы!...

Здѣсь Скудронжогло плюнулъ и чуть не выговорилъ нѣскольکو неприличныхъ и бранныхъ словъ въ присутствіи супруги. Суровая тѣнь темной ипохондріи омрачила его живое лицо. Вдоль лба и поперекъ его собрались морщины, обличители гнѣвнаго движенія и взволнованной желчи.

Чичиковъ выпилъ рюмку малиновки и сказалъ такъ: — Позвольте мнѣ, досточтимый мною, обратить васъ вновь къ предмету прекращеннаго разговора. Во сколько времени, еслибы, положимъ, я приобрѣлъ то самое имѣніе, о которомъ вы изволили упомянуть, то во сколько времени, какъ скоро можно разбогатѣть въ такой степени?

— Если вы хотите, подхватилъ сурово и отрывисто Скудронжогло, еще полный нерасположенія въ духѣ, — разбогатѣть скоро, такъ вы никогда не разбогатѣете; если же хотите разбогатѣть, не спрашиваясь о времени, то разбогатѣете скоро.

— Вотъ оно какъ! сказалъ Чичиковъ.

— Да, сказалъ Скудронжогло отрывисто, точно какъ бы онъ сердился на самого Чичикова. — Надобно имѣть любовь къ труду; безъ этого ничего нельзя сдѣлать. Надобно полюбить хозяйство, да! и повѣрьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что въ деревнѣ тоска... да я бы умеръ-отъ тоски, еслибы хотя одинъ день провелъ въ городѣ такъ, какъ проводятъ они! Хозяину нѣтъ времени скучать. Въ жизни его нѣтъ пустоты — все полнота. Нужно только разсмотрѣть весь этотъ многообразный кругъ годовыхъ занятій — и какихъ занятій! занятій, истинно возвышающихъ духъ, не говоря уже о разнообразіи. Тутъ человѣкъ идетъ рядомъ съ природой, съ временами года, соучастникъ и собесѣдникъ всего, чтѣ совершается въ твореніи. Еще не появилась весна, а ужъ зачинаются работы: подвозка дровъ и всего на время распутицы; подготовка сѣмянъ; переборка, перемѣрка по амбарахъ хлѣба и пересушка; установленіе новыхъ тяголъ. Прошли снѣга и рѣвки, — работы такъ вдругъ и закипятъ: тамъ нагрузка на суда, здѣсь расчистка деревъ по лѣсамъ, пересадка деревъ по садамъ, и пошли взрывать повсюду землю. Въ огородахъ работаетъ заступъ, въ поляхъ соха и борона. А начинаются посѣвы — бездѣлица: грядущій урожай сѣютъ! Наступили покосы, первѣйшій праздникъ хлѣбопашца — бездѣлица! Пойдетъ жатва за жатвой: за рожью пшеница, за ячменемъ овесъ, а тутъ и дерганье конопля. Мечутъ стога, кладутъ клады. А тутъ и августъ перевалилъ за половину — пошла свозка всего на гумно. Наступилъ день запашки и посѣва озимыхъ хлѣбовъ, чинка ам-

баровъ, ригъ, скотныхъ дворовъ, хлѣбный опытъ и первый умо-
лоть. Наступить зима — и тутъ не дремлютъ работы: первые
подвозы въ городъ, молотьба по всѣмъ гумнамъ, перевозка пере-
молотаго хлѣба изъ ригъ въ амбары, по лѣсамъ рубка и пиленіе
дровъ, подвозъ кирпичу и матеріалу для весеннихъ построекъ.
Да просто, я и обнять всего не въ состояніи. Какое разнообразіе
работъ! Сюда и туда взглянуть идешь и на мельницу, и на ра-
бочій дворъ, и на фабрики, и на гумна; идешь и къ мужику
взглянуть, какъ онъ на себя работаетъ, — бездѣлица! Да для
меня, просто, если плотникъ хорошо владѣеть топоромъ, я два
часа готовъ передъ нимъ простоять: такъ веселитъ меня работа.
А если видишь еще, съ какой цѣлью все это творится, какъ во-
кругъ тебя все множится да множится, принося плодъ да доходъ,
да я и рассказать вамъ не могу, какое удовольствіе. И не по-
тому, что растутъ деньги, — деньги деньгами, но потому, что
все это дѣло рукъ твоихъ; потому, что видишь, какъ ты всему
причина и творецъ всего и отъ тебя, какъ отъ какого-нибудь
мага, сыплется изобиліе и добро на все. Да гдѣ вы найдете мнѣ
равное наслажденіе? сказалъ Скудронжогло, и лицо его подня-
лось вверхъ, морщины исчезнули. Какъ царь въ день торже-
ственного вѣнчанья своего, сіялъ онъ. — Да, въ цѣломъ мірѣ
не отыщете вы подобнаго наслажденья! Здѣсь, именно здѣсь по-
дражаетъ Богу человѣкъ. Богъ предоставилъ Себѣ дѣло тво-
ренья, какъ высшее наслажденіе, и требуетъ отъ человѣка также,
чтобы онъ былъ творцомъ благоденствія и стройнаго теченія
дѣлъ. И это называютъ скучнымъ дѣломъ!

Какъ пѣнья райской птички, заслушался Чичиковъ хозяйскихъ
рѣчей. Глотали слюнку его уста. Глаза умаслились и выражали
сладость, и все бы онъ слушалъ.

— Константинъ! пора вставать, сказала хозяйка, приподняв-
шись со стула. Платоновъ приподнялся, Скудронжогло припод-
нялся, Чичиковъ приподнялся, хотя ему хотѣлось все сидѣть да
слушать. Подставивъ руку коромысломъ, повелъ Чичиковъ обрат-
но хозяйку. Но голова уже не была склонена привѣтливо на бокъ,
не доставало ловкости въ оборотахъ, въ движеніяхъ. Его мысли
были заняты существенными оборотами и соображеніями.

— Что ни рассказывай, а все, однакоже, скучно, — говорилъ, идя позади ихъ, Платоновъ.

„Гость, кажется, очень неглупый человекъ“, думалъ хозяинъ: „степененъ въ словахъ и не щелкоперъ.“ И, подумавши, сдѣлался еще веселѣе, точно какъ бы самъ разогрѣлся отъ своего разговора, точно какъ бы празднуя, что нашелъ человекъ, готоваго слушать умный совѣтъ.

Когда потомъ помѣстились они всѣ въ маленькой, уютной комнатѣ, озаренной свѣчами, насупротивъ большой стеклянной двери въ садъ, — Чичикову сдѣлалось такъ пріятно, какъ не бывало давно, точно какъ бы послѣ долгихъ странствованій приняла его родная крыша и, по совершенью всего, онъ получилъ желаемое и бросилъ скитальческій посохъ, сказавши: довольно! Такое обаятельное расположеніе навелъ ему на душу разумный разговоръ хозяина. Есть для всякаго сердца такіа рѣчи, которые какъ бы ближе и родственнѣе ему другихъ рѣчей; и часто, неожиданно, въ глухомъ, забытомъ захолустыи, на безлюдьи безлюдномъ, встрѣтишь человекъ, котораго грѣющая бесѣда заставитъ позабыть тебя и бездорожье дороги, и неприютность ночлеговъ, и современный свѣтъ, полный глупостей людскихъ, обмановъ, обманывающихъ человекъ; и живо потомъ, навсегда и на вѣки останется проведенный такимъ образомъ вечеръ, и все, что тогда случилось и было, удержать вѣрная память: и кто соприисутствовалъ, и кто на какомъ мѣстѣ стоялъ, и что даже было въ рукахъ его, — стѣны, углы и всякую бездѣлушку.

Такъ и Чичикову замѣтилось все въ тотъ вечеръ — и эта малая, неприхотливо убранная комната, и добродушное выраженье, воцарившееся на лицѣ умнаго хозяина, и поданная Платонову трубка съ янтарнымъ мундштукомъ, и дымъ, который онъ сталъ пускать въ толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смѣхъ миловидной хозяйки, прерываемый словами: „Полно, не мучь его“, и восковыя свѣчки, и сверчокъ въ углу, и стеклянная дверь, и весенная ночь, глядѣвшая къ нимъ оттолѣ, облокотясь на вершины деревъ, изъ чащи которыхъ высвистывали весенніе соловьи.

— Сладки мнѣ ваши рѣчи, досточтимый мною Константинъ

Федоровичъ, произнесъ Чичиковъ. — Могу сказать, что не встрѣчалъ во всей Россіи человѣка, подобнаго вамъ по уму.

Скудронжогло улыбнулся. — Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, сказалъ онъ, — ужъ если хотите знать умнаго человѣка, такъ у насъ дѣйствительно есть одинъ, о которомъ точно можно сказать — умный человѣкъ, котораго я и подметѣи не стою.

— Кто это? съ изумленіемъ спросилъ Чичиковъ.

— Это нашъ откупщикъ, Муразовъ.

— Въ другой уже разъ про него слышу! вскрикнулъ Чичиковъ.

— Это человѣкъ, который не то, что имѣнѣемъ помѣщика, цѣлымъ государствомъ управлять. Будь у меня государство, я бы его сейчасъ сдѣлалъ министромъ финансовъ.

— Слышалъ. Говорятъ, человѣкъ превосходящій мѣру всякого вѣроятія: десять милліоновъ, говорятъ, нажилъ.

— Какое десять! перевалило за сорокъ. Скоро половина Россіи будетъ въ его рукахъ.

— Чтò вы говорите! вскрикнулъ Чичиковъ, оторопѣвъ.

— Всенепремѣнно. У него теперь приращеніе должно идти съ быстротой невѣроятной. Это ясно. Медленно богатѣетъ тотъ, у кого какія-нибудь сотни тысячъ; а у кого милліоны, у того радіусъ великъ: чтò ни захватить, такъ вдвое и втрое противу самого себя. Поле-то, поприще слишкомъ просторно. Тутъ ужъ и соперниковъ нѣтъ. Съ нимъ некому тягаться. Какую цѣну чему назначить, такая и останется: некому перебить.

Вытаращивъ глаза и разинувши ротъ, какъ вкопанный, смотрѣлъ Чичиковъ въ глаза Скудронжогло. Захватило духъ въ груди ему. — Уму непостижимо! сказалъ онъ, приходя нѣмного въ себя. — Каменѣетъ мысль отъ страха. Изумляются мудрости Промысла въ разсматриваніи букашки; для меня болѣе изумительно, когда въ рукахъ смертнаго могутъ обращаться такія громадныя суммы! Позвольте предложить вамъ вопросъ на-счетъ одного обстоятельства: скажите, вѣдь это, разумѣется, въ началѣ приобрѣтено не безъ грѣха?

— Самыя безукоризненныя путемъ и самыми справедливыми средствами.

— Не повѣрю, почтеннѣйшій, извините, не повѣрю. Еслибъ

это были тысячи, еще бы такъ, но миллионы.... извините, не повѣрю.

— Напротивъ, тысячи трудно безъ грѣха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибѣгать къ кривымъ путямъ. Прямой-таки дорогой такъ и ступай, все бери, что ни лежитъ передъ тобою. Другой не подыметъ: всякому не по силамъ.

— Уму непостижимо! И что всего непостижимѣй, это то, что дѣло вѣдь началось съ копѣйки!

— Да иначе и не бываетъ. Это законный порядокъ вещей, сказалъ Скудронжогло. — Кто воспитывался на тысячахъ, тотъ уже не приобрѣтеть, — у того уже завелись и прихоти и мало ли чего нѣтъ! Начинать нужно съ начала, а не съ середины. Снизу, снизу нужно начинать. Тутъ только узнаешь хорошо людъ и быть, среди которыхъ придется потомъ изворачиваться. Какъ вытерпишь на собственной кожѣ то да другое, да какъ узнаешь, что всякая копѣйка алтыннимъ гвоздемъ прибита, да какъ перейдешь всѣ мытарства, тогда тебя умудритъ и вышколитъ такъ, что ужъ не дашь промаха ни въ какомъ предпріятіи и не оборвешься. Повѣрьте, это правда. Съ начала нужно начинать, а не съ середины. Кто говоритъ мнѣ: „Дайте мнѣ 100 тысячъ, а сейчасъ разбогатѣю,“ я тому не повѣрю: онъ бьетъ на удачу, а не на вѣрняка. Съ копѣйки нужно начинать!

— Въ такомъ случаѣ я разбогатѣю, сказалъ Чичиковъ, — потому что начинаю почти, такъ сказать, съ ничего. — Онъ разумѣлъ мертвыя души.

— Константинъ, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть, сказала хозяйка, — ты все болтаешь.

— И непременно разбогатѣете, сказалъ Скудронжогло, не слушая хозяйки. — Къ вамъ потекутъ рѣки, рѣки золота. Не будете знать, куда дѣвать доходы.

Какъ очарованный, сидѣлъ Павелъ Ивановичъ въ золотой области возрастающихъ грезъ и мечтаній. Кружилися его мысли....

— Право, Константинъ, Павлу Ивановичу пора спать.

— Да что-жь тебѣ? Ну, и ступай, если захотѣлось! сказалъ хозяинъ и остановился, потому что громко, по всей комнатѣ раздавалось храпанье Платонова, а вслѣдъ за нимъ и Ярбъ заты-

нулъ еще громче. Уже давно слышался отдаленный стукъ въ чугунныя доски. Дѣло потянуло за полночь. Скудронжогло заиѣтиль, что въ самомъ дѣлѣ пора на покой. Всѣ разбрелись, пожелавъ спокойнаго сна другъ другу, и не замедлили имъ воспользоваться.

Одному только Чичикову не спалось. Его мысли бодрствовали. Онъ обдумывалъ, какъ сдѣлаться помѣщикомъ не фантастическаго, а существеннаго имѣнія. Послѣ разговора съ хозяиномъ все становилось такъ ясно. Возможность разбогатѣть казалась такъ очевидной. Трудное дѣло хозяйства становилось теперь такъ легко и понятно и такъ казалось свойственно самой его натурѣ. Онъ началъ помышлять о приобрѣтеніи не воображаемаго, но дѣйствительнаго помѣстья; опредѣлилъ тутъ же на деньги, которыя будутъ выданы ему изъ ломбарда за фантастическія души, приобрѣсти помѣстье уже не фантастическое. Уже онъ видѣлъ себя дѣйствующимъ и правящимъ именно такъ, какъ поучалъ Скудронжогло, — расторопно, осмотрительно, ничего не заводя новаго, не узнавши насквозь всего стараго, все высмотрѣвши собственными глазами, всѣхъ мужиковъ узнавши, всѣ излишества отъ себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству.... Уже заранѣе предвкушалъ онъ то удовольствіе, которое будетъ онъ чувствовать, когда заведется стройный порядокъ и бойкимъ ходомъ двинутся всѣ пружины хозяйства, дѣятельно толкая другъ друга. Трудъ закипитъ, и подобно тому, какъ въ ходкой мельницѣ шибко вымалывается изъ зерна мука, пойдетъ вымалываться изъ всякаго дразгу и хламу чистоганъ да чистоганъ. Чудный хозяинъ такъ и стоялъ передъ нимъ ежеминутно. Это былъ первый человѣкъ во всей Россіи, къ которому почувствовалъ онъ уваженіе личное. Доселѣ уважалъ онъ человѣка или за хорошій чинъ, или за большіе достатки. Собственно за умъ онъ не уважалъ еще ни одного человѣка. Скудронжогло былъ первый. Онъ понялъ, что съ такимъ нечего толковать о мертвыхъ душахъ и самая рѣчь объ этомъ будетъ неумѣстна. Его занималъ другой прожектъ — купить имѣніе Хлобуева. Десять тысячъ у него было; другія десять тысячъ предполагалъ онъ признанъ у Скудронжогло, такъ какъ онъ самъ объявилъ уже,

что готовъ помочь всякому желающему разбогатѣть и заняться хозяйствомъ. Остальныя десять тысячъ можно было обязаться (уплатить) потомъ, по заложени душъ. Заложить всѣ накупленныя души нельзя было, потому что еще не было земель, на которыя слѣдовало переселить ихъ. Хотя (увѣрялъ) онъ, что въ Херсонской губерніи есть у него земли, но онѣ существовали больше въ предположеніи. Предполагалось еще закупить ихъ въ Херсонской губерніи, потому что онѣ тамъ продавались за безцѣнокъ и даже отдавались даромъ, лишь бы только на нихъ селились. Думалъ онъ также и о томъ, что надобно торопиться закупать у кого какіе остались бѣглецы и мертвецы, ибо помѣщики другъ передъ другомъ спѣшатъ закладывать имѣнія и скоро во всей Россіи можетъ не остаться и угла, не заложенаго въ казну. Всѣ эти мысли попережънно наполняли его голову и жѣшали ему (спать). Наконецъ сонъ, который уже цѣлые четыре часа держалъ весь домъ, какъ говорится, въ своихъ объятіяхъ, принялъ въ объятія и Чичикова. Онъ заснулъ крѣпко....

Глава IV.

На другой день все обдѣлалось какъ нельзя лучше. Скудронжогло далъ съ радостію десять тысячъ безъ процентовъ, безъ поручительства, — просто, подъ одну росписку: такъ былъ онъ готовъ помогать всякому на пути къ пріобрѣтенію. Этого мало: онъ самъ взялся сопровождать Чичикова къ Хлобуеву, съ тѣмъ, чтобъ осмотрѣть вмѣстѣ съ нимъ имѣніе. Послѣ сытнаго завтрака всѣ они отправились, сѣвши втроемъ въ коляскѣ Павла Ивановича; пролетка хозяина слѣдовала за ними порожнякомъ. Ярбъ бѣжалъ впереди, сгоняя съ дороги птицъ. Въ полтора часа съ небольшимъ сдѣлали они восемнадцать верстъ и увидѣли деревеньку съ двумя домами: одинъ большой и новый, не достроенный и оставшійся вчернѣ нѣсколько лѣтъ; другой маленькій и старенькой. Хозяина нашли они растрепаннаго, заспаннаго, недавно проснувагося; на скуртуекѣ у него была заплатка, на сапогѣ дырка.

Пріѣзду гостей онъ обрадовался, какъ Богъ вѣсть чему: точно какъ бы увидѣлъ онъ братьевъ, съ которыми надолго разставался.

— Константинъ Ѳедоровичъ! Платонъ Михайловичъ! вскрикнулъ онъ, — отцы родные! вотъ одолжили пріѣздомъ! Дайте протереть глаза! А ужъ, право, думалъ, что ко мнѣ никто не заѣдетъ. Всякъ бѣгаетъ меня, какъ чумы: думаетъ — попрошу въ займы. Охъ, трудно, трудно, Константинъ Ѳедоровичъ! вижу — самъ всему виной! Чтò дѣлать? свинья свиньей зажилъ. Извините, господа, что принимаю васъ въ такомъ нарядѣ: сапоги, какъ видите, съ дырами. Да чѣмъ васъ потчивать? скажите.

— Пожалуйста безъ околичностей. Мы къ вамъ пріѣхали за дѣломъ, сказалъ Скудронжогло. — Вотъ вамъ покупицкъ, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ.

— Душевно радъ познакомиться. Дайте прижать мнѣ вашу руку.

Чичиковъ далъ ему обѣ.

— Хотѣлъ бы очень, почтеннѣйшій Павелъ Ивановичъ, показать вамъ иѣвніе, стоящее вниманія.... Да что, господа, позвольте спросить, вы обѣдали?

— Обѣдали, обѣдали, сказалъ Скудронжогло, желая отдѣлаться. — Не будемъ иѣвшвать и пойдемъ теперь же.

— Въ такомъ случаѣ пойдемъ.

Хлобуевъ взялъ въ руки картузь. Гости надѣли на головы картузы, и всѣ отправились пѣшкомъ осматривать деревню.

— Пойдемъ осматривать безпорядки и безпутство мое, говорилъ Хлобуевъ. — Конечно, вы сдѣлали хорошо, что пообѣдали. Повѣрите ли, Константинъ Ѳедоровичъ, курицы нѣтъ въ домѣ, — до того дожилъ. Свиньей себя веду, просто свиньей!

Онъ вздохнулъ и, какъ бы чувствуя, что мало будетъ участія со стороны Константина Ѳедоровича и жестковато его сердце, подхватилъ подъ руку Платонова и пошелъ съ нимъ впередъ, прижимая крѣпко его къ груди своей. Скудронжогло и Чичиковъ остались позади и, взявшись подъ руки, слѣдовали за ними въ отдаленіи.

— Трудно, Платонъ Михайловичъ, трудно! говорилъ Хло-

буевъ Платонову. — Не можете вообразить, какъ трудно! Безденежье, безхлѣбье, безсапожье! Трынть-трава бы это было все, еслибы былъ молодъ и одинъ. Но когда всѣ эти невзгоды станутъ тебя ломать подъ старость, а подъ бокомъ жена, пятеро дѣтей, — сгрустнется, по-неволѣ сгрустнется....

Платонову стало жалко. — Ну, а если вы продадите деревню, это васъ поправить? спросилъ Платоновъ.

— Какое поправить! сказалъ Хлобуевъ, махнувши рукой. — Все пойдетъ науплату необходимѣйшихъ долговъ, а затѣмъ для себя не останется и тысячи.

— Такъ что-жь вы будете дѣлать?

— А Богъ знаетъ, говорилъ Хлобуевъ, пожимая плечами.

Платоновъ удивился. — Какъ же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться изъ такихъ обстоятельствъ?

— Что-жь предпринять?

— Будто нѣтъ уже средствъ?

— Никакихъ.

— Ну, ищите должности, возьмите какое-нибудь мѣсто.

— Вѣдь я губернский секретарь. Какое же мнѣ могутъ дать выгодное мѣсто? Жалованье дадутъ ничтожное, а вѣдь у меня жена, пятеро дѣтей.

— Ну, частную какую-нибудь должность. Подите въ управляющіе.

— Да кто-жь мнѣ повѣритъ имѣніе? я промоталъ свое.

— Ну, да если голодъ и смерть грозятъ, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не можетъ ли братъ мой, черезъ кого-либо въ городѣ, выхлопотать для васъ какую-нибудь должность.

— Нѣтъ, Платонъ Михайловичъ, сказалъ Хлобуевъ, вздохнувши и сжавши крѣпко его руку. — Не гожусь я теперь никуда. Одряхлавъ прежде старости своей, и поясница болитъ отъ прежнихъ грѣховъ, и ревматизмъ въ плечѣ. Куда мнѣ! что разорять казну! и безъ того теперь завелось много служащихъ ради доходныхъ мѣстъ. Храни Богъ, чтобы изъ-за доставки мнѣ жалованья прибавленн были подати на бѣдное сословіе. И безъ того ему трудно при этомъ множествѣ сосущихъ. Нѣтъ, Платонъ Михайловичъ, Богъ съ нимъ.

„Вотъ положеніе!“ думалъ Платоновъ. „Это хуже моей спячки.“

Тѣмъ временемъ Скудронжогло и Чичиковъ, идя позади ихъ на порядочномъ разстояніи, такъ между собою говорили:

— Вотъ запустилъ какъ все! говорилъ Скудронжогло. — Довелъ мужика до какой бѣдности! Когда случился падежъ, такъ ужъ тутъ нечего глядѣть на свое добро. Тутъ все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтобъ онъ не оставался и одного дня безъ средствъ производить работу. Теперь и годами не поправишь; а мужикъ уже излѣнился, и загулялъ, и сталъ пьяница.

— Такъ, стало-быть, теперь не совсѣмъ выгодно и покупать такое имѣніе? спросилъ Чичиковъ.

Тутъ Скудронжогло взглянулъ на Чичикова такъ, какъ бы хотѣлъ ему сказать: „Ты что за невѣжа! съ азбуки, что ли, нужно съ тобой начинать?“ (и сказалъ): Невыгодно! да чрезъ три года я буду получать двадцать тысячъ годового дохода съ этого имѣнія, — вотъ оно какъ невыгодно! Въ пятнадцати верстахъ — бездѣлица! А земля-то какова? разглядите землю! Все поемныя мѣста. Да я засѣю льну, да тысячъ на пять одного льну отпущу; рѣпой засѣю — на рѣпѣ выручу тысячи четыре. А вонъ смотрите — рожь поднялась; вѣдь это все падалъ. Онъ хлѣба не сѣялъ — я это знаю. Да этому имѣнію полтора ста тысячъ цѣна, а не сорокъ.

Чичиковъ сталъ опасаться, чтобъ Хлобуевъ не услышалъ, и потому отсталъ еще подальше.

— Вонъ сколько земли оставилъ въ-пустѣ! говорилъ, начиная сердиться, Скудронжогло. — Хотъ бы повѣстилъ впередъ, такъ набрели бы охотники. Ну, ужъ если нечѣмъ пахать, такъ конай подь огородъ, — огородомъ бы взялъ. Мужика заставилъ пробыть четыре года безъ труда — бездѣлица! Да вѣдь этимъ однимъ ты уже его развратилъ и на вѣки погубилъ; ужъ онъ успѣлъ привыкнуть къ лохмотью и бродяжничеству! — Сказавши это, плюнулъ Скудронжогло, и желчное расположеніе осѣнило сумрачнымъ облакомъ его чело....

— Вона земля какъ вспахана! вскрикнулъ Скудронжогло съ вѣдкимъ чувствомъ прискорбія. — Я не могу здѣсь больше оста-

ваться: мнѣ смерть глядѣть на этотъ беспорядокъ и запустѣнье! Вы теперь можете съ нимъ покончить и безъ меня. Отберите у этого дурака поскорѣ сокровище. Онъ только безчестить Божій даръ! И, сказавши это, Скудронжогло простился съ Чичиковымъ и, нагнавши хозяина, сталъ также прощаться съ нимъ.

— Помилуйте, Константинъ Ѳедоровичъ, говорилъ удивленный хозяинъ: — только-что пріѣхали — и назадъ!

— Не могу. Мнѣ крайняя надобность быть дома, сказалъ Скудронжогло. Простился, сѣлъ и уѣхалъ на своей пролеткѣ.

Казалось, какъ будто Хлобуевъ понялъ причину отъѣзда. — Не выдержалъ Константинъ Ѳедоровичъ, сказалъ онъ. — Чувствую, что не весело такому хозяину, каковъ онъ, глядѣть на такое безпутное управленіе. Вѣрите ли, что не могу, не могу, Павелъ Ивановичъ... что почти вовсе не сѣялъ хлѣба въ этомъ году! Какъ честный человекъ, сѣмянъ не было, не говоря уже о томъ, что нечѣмъ пахать. — Вашъ братецъ, Платонъ Михайловичъ, говорятъ, необыкновенный хозяинъ; а Константинъ Ѳедоровичъ, что ужъ говорить! это Наполеонъ своего рода. Часто, право, думаю: „Ну, зачѣмъ столько ума дается въ одну голову? ну, чтобы хоть каплю его въ мою глупую, хоть бы на то, чтобы сѣумѣлъ домъ свой держать! Ничего не умѣю, ничего не могу.“ Ахъ, Павелъ Ивановичъ, возьмите въ свое распоряженіе! Жаль больше всего мужичковъ бѣдныхъ. Чувствую, что не умѣлъ быть съ ними.... „не могу быть взыскательнымъ и строгимъ. Да и какъ приучить ихъ къ порядку, когда самъ беспорядоченъ! Я бы ихъ отпустилъ сей же часъ на волю всѣхъ, да какъ-то устроенъ русскій человекъ, какъ-то не можетъ безъ покупателя.... Такъ и задремлетъ, такъ и закиснетъ.

— Вѣдь это точно странно, сказалъ Платоновъ: — отчего это у насъ такъ, что если не смотришь во всѣ глаза за человекомъ, сдѣлается и пьяницей, и негодяемъ?

— Отъ недостатка просвѣщенія, замѣтилъ Чичиковъ.

— Ну, Богъ вѣсть отъ чего. Вотъ мы и просвѣтились, а вѣдь какъ живемъ? Я и въ университетѣ былъ, и слушалъ лекціи по всѣмъ частямъ, а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще какъ бы больше выучился искусству побольше

издерживать денегъ на всякія новыя утонченности да комфорты, больше познакомился съ такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я безтолково учился? Только нѣтъ, вѣдь такъ и другіе товарищи. Можетъ-быть, два-три человѣка извлекли себѣ настоящую пользу, да и то потому, можетъ-быть, что и безъ того были умны, а прочіе вѣдь только и стараются узнать то, что портитъ здоровье, да вынимаетъ деньги. Ей Богу! Вѣдь приходили только за тѣмъ, чтобъ аплодировать профессорамъ, раздавать имъ награды, а не самимъ отъ нихъ получать. Такъ изъ просвѣщеня-то мы все-таки выберемъ то, что погаже; наружность его схватимъ, а его самого не возьмемъ. Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, не умѣемъ мы жить отъ чего-то другаго, а отъ чего, ей Богу, я не знаю.

— Причины должны быть, сказалъ Чичиковъ.

Глубоко вздохнулъ бѣдный Хлобуевъ и сказалъ такъ: — Иной разъ, право, мнѣ кажется, что будто русскій человѣкъ — какой-то пропащій человѣкъ. Нѣтъ силы воли, нѣтъ отваги и постоянства. Хочешь сдѣлать — и ничего не можешь. Все думаешь — съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго дня примешься какъ слѣдуетъ, съ завтрашняго дня сядешь на діету; ни чуть не бывало: къ вечеру того же дня такъ объѣшься, что только хлопаешь глазами и языкъ не ворочается. Право, и этакъ всё.

— Нужно въ запасъ держать благоразуміе, сказалъ Чичиковъ, — ежеминутно совѣщаться съ благоразуміемъ, вести съ нимъ дру(жную) бесѣду.

— Да что! сказалъ Хлобуевъ. — Право, мнѣ кажется, мы совсѣмъ не для благоразумія рождены. Я не вѣрю, чтобъ изъ насъ былъ кто-нибудь благоразумнымъ. Если я вижу, что иной даже и порядочно живетъ, собираетъ и копитъ деньги, — не вѣрю я и тому. На старости и его чортъ попутаетъ. Спуститъ потомъ все вдругъ! И всё такъ, право: и благородные, и мужики, и просвѣщенные, и непросвѣщенные. Вонъ какой былъ умный мужикъ: изъ ничего нажилъ сто тысячъ, а какъ нажилъ сто тысячъ, — пришла въ голову дурь сдѣлать ванну изъ шампанскаго и выкупаться въ шампанскомъ. Но вотъ мы, кажется, и все осмотрѣли. Больше ничего нѣтъ. Хотите развѣ взглянуть на

мельницу? Впрочемъ, въ ней нѣтъ колеса, да и строенье никуда не годится.

— Чтò-жь и разсматривать! сказалъ Чичиковъ.

— Въ такомъ случаѣ пойдемъ домой. — И они всѣ направили шаги къ дому.

На возвратномъ пути были виды тѣ же. Неопрятный безпорядокъ такъ и выказывалъ отовсюду безобразную свою наружность. Все было опущено и запущено. Сердитая баба, въ замасляной дерюгѣ, прибила до полусмерти бѣдную дѣвчонку и ругала на всѣ бока... всѣхъ чертей. Два мужика глядѣли съ равнодушіемъ стоическимъ на гнѣвъ пьяной бабы. Одинъ чесалъ у себя пониже спины, другой зѣвалъ. Зѣвота видна была на строеніяхъ, — крыши также зѣвали. Платоновъ, глядя на нихъ, зѣнулъ. „Мое-то будущее достоянье мужики“, подумалъ Чичиковъ, — „дыра на дырѣ и заплата на заплатѣ!“ И точно, на одной избѣ, вмѣсто крыши, лежали цѣликомъ ворота; провалившіяся окна подперты были жердями, стаченными съ господскаго амбара. Словомъ, въ хозяйствѣ введена была система Тришкина кафтана: обрѣзывались обшлага и фалды на заплату локтей.

Они вошли въ комнаты. Чичиковъ нѣсколько былъ пораженъ смѣшеніемъ нищеты съ нѣкоторыми блестящими бездѣлушками позднѣйшей роскоши. Посреди изорванной утвари и мебели — новенькія бронзы. Какой-то Шекспиръ сидѣлъ на чернильницѣ; на столѣ лежала щегольская ручка слоновой кости для почесыванья себѣ самому спины. Хлобуевъ вывелъ къ нимъ молодую жену, отрекомендовалъ имъ хозяйку. Она была хоть куда. Въ Москвѣ не ударила бы лицомъ въ (грязь). Платье на ней было со вкусомъ, по модѣ. Говорить любила больше о городѣ да о театрѣ, который тамъ завелся. По всему было видно, что деревню она любила еще меньше, чѣмъ мужъ, что зѣвала она еще больше Платонова, когда оставалась одна. Скоро комната наполнилась дѣтьми, прелестными дѣвочками и мальчиками. Ихъ было пятеро. Шестое принеслось на рукахъ. Всѣ были прекрасны: мальчики, дѣвочки — заглядѣнье. Они были одѣты мило и со вкусомъ, были рѣзвы и веселы, и отъ этого самаго было еще грустиѣе глядѣть на нихъ. Лучше бы одѣты они было уже дурно,

въ простыхъ пестрядевыхъ юбкахъ и рубашкахъ, бѣгали себѣ по двору и ничѣмъ не отличались отъ простыхъ крестьянскихъ дѣтей! Къ хозяйкѣ пріѣхали гости. Дамы ушли на свою половину. Дѣти убѣжали вслѣдъ за ними. Мушкетеры остались одни.

Чичиковъ приступилъ къ покупкѣ. По обычаю всѣхъ покупателей, сначала онъ охаялъ покупаемое имѣніе и, охаявши его со всѣхъ сторонъ, сказалъ: „Какая же будетъ ваша цѣна?“

— Видите ли что? сказалъ Хлобуевъ. — Запрашивать съ васъ дорого не буду, да и не люблю: это было бы съ моей стороны и безсовѣстно. Я отъ васъ не скрою также и того, что въ деревнѣ моей изъ ста душъ, числящихся по ревизіи, и пятидесяти нѣтъ на-лицо: прочіе или померли отъ эпидемической болѣзни, или въ бѣгахъ, отлучились безпаспортно, такъ что вы почитайте ихъ какъ бы умершими. Поэтому-то я и прошу съ васъ всего только тридцать тысячъ.

— Ну, вотъ — тридцать тысячъ! Имѣніе запущено, люди мертвы, и тридцать тысячъ! Возьмите 25 тысячъ.

— Павелъ Ивановичъ, я могу его заложить въ ломбардъ въ 25 тысячъ; понимаете ли это? Тогда я получаю 25 тысячъ и имѣніе при мнѣ. Продаю я единственно за тѣмъ, что мнѣ нужны скоро деньги, а при закладѣ была бы проволочка, надобно бы платить приказнымъ, а платить нечѣмъ.

— Ну, да все-таки возьмите 25 тысячъ.

Платонову сдѣлалось совѣстно за Чичикова. — Покупайте, Павелъ Ивановичъ, сказалъ (онъ). — За имѣніе можно всегда дать эту (цѣну). Если вы не дадите за него тридцати тысячъ, мы съ братомъ складываемся и покупаемъ.

Чичиковъ испугался... — Хорошо! сказалъ онъ: — даю 30 тысячъ. Вотъ двѣ тысячи задатку дамъ вамъ теперь, 8 тысячъ черезъ недѣлю, а остальные 20 тысячъ черезъ мѣсяць.

— Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, только на томъ условіи, чтобы деньги какъ можно скорѣе. Теперь вы мнѣ дайте пятнадцать тысячъ по крайней мѣрѣ, а остальные никакъ не дальше, какъ черезъ двѣ недѣли.

— Да нѣтъ пятнадцати тысячъ! Десять тысячъ у меня всего

теперь. Дайте соберу. — То-есть, Чичиковъ лгалъ: у него было двадцать тысячъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ! я говорю, что необходимо нужны пятнадцать тысячъ.

— Да, право, недостаетъ пяти тысячъ. Не знаю самъ, откуда взять.

— Я вамъ займу, подхватилъ Платоновъ.

— Развѣ этакъ! сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя: „А это, однакоже, встаетъ, что онъ даетъ въ-займы.“ Ударилъ по рукамъ. Изъ коляски была принесена шкатулка и тутъ же было изъ нея вынуто десять тысячъ Хлобуеву; остальные же пять тысячъ обѣщано было привезти ему завтра: то-есть, обѣщано; предполагалось же привезти три другія тысячи потому, денька черезъ два или три, а если можно, то и еще нѣсколько просрочить. Павелъ Ивановичъ какъ-то особенно не любилъ выпускать изъ рукъ денегъ. Если-жъ настояла крайняя необходимость, то все-таки казалось ему — лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То-есть онъ поступалъ какъ всѣ мы. Вѣдь намъ пріятно же поводить просителя. Пусть его натретъ себѣ спину въ передней! Будто ужъ и нельзя подождать ему! Какое намъ дѣло до того, что, можетъ-быть, всякой часъ ему дорогъ и терпѣть оттого дѣла его! Приходи, братецъ, завтра, а сегодня мнѣ какъ-то некогда.

— Гдѣ-жъ вы послѣ этого будете жить? спросилъ Платоновъ Хлобуева. — Есть у васъ другая деревушка?

— Деревушки нѣтъ, а я переѣду въ городъ. Все же равно это было нужно сдѣлать не для себя, а для дѣтей. Имъ надобно будутъ учителя Закона Божію, музыкѣ, танцованью. Вѣдь этого въ деревнѣ нельзя достать!

„Куска хлѣба нѣтъ, а дѣтей хочеть учить танцованью!“ подумалъ Чичиковъ.

„Странно!“ подумалъ Платоновъ.

— Чтѣ-жъ? нужно намъ чѣмъ-нибудь восприснуть сдѣлку, сказалъ Хлобуевъ. — Эй, Кирюшка! принеси, братъ, бутылку шампанскаго.

„Куска хлѣба нѣтъ, а шампанское есть!“ подумалъ Чичиковъ. Платоновъ не зналъ, чтѣ и думать.

Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуевъ развязался, сталъ милъ и уменъ, остро-ты и анекдоты сыпались у него непрерывно. Въ рѣчахъ его оказа-лось столько познанья людей и свѣта, такъ хорошо и вѣрно видѣлъ онъ многія вещи, такъ мѣтко и ловко очерчивалъ въ немногихъ словахъ сосѣдей-помѣщиковъ, такъ видѣлъ ясно не-достатки и ошибки всѣхъ, такъ хорошо зналъ исторію разо-рившихся баръ — и почему, и какъ, и отчего они раззорились, такъ оригинально и смѣшно умѣлъ передавать малѣйшія ихъ привычки, что они оба были обворожены его рѣчами и готовы были признать его за умнѣйшаго человѣка.

— Послушайте, сказалъ Платоновъ, схвативши его за ру-ку:—какъ вамъ, при такомъ умѣ, опытности и познаніяхъ жи-тейскихъ, не найти средствъ выпутаться изъ вашего затрудни-тельного положенія?

— Средства-то есть, сказалъ Хлобуевъ, и вслѣдъ за тѣмъ выгрузилъ имъ цѣлую кучу прожектовъ. Всѣ они были до того нелѣпы, такъ странны, такъ мало истекали изъ познанья людей и свѣта, что оставалось только пожимать плечами да говорить: Господи Боже! какое необъятное разстоянье между знаньемъ свѣта и умѣньемъ пользоваться этимъ знаньемъ! Почти всѣ прожекты основывались на необходимости достать откуда-нибудь вдругъ сто или двѣсти тысячъ. Тогда, казалось ему, все бы устроилось, какъ слѣдуетъ, и хозяйство бы пошло, и прорѣхи всѣ бы запла-тились, и доходы можно бы учетверить, и себя привести въ воз-можность выплатить всѣ долги, и такъ оканчивалъ онъ рѣчь свою: „Но что приважете дѣлать? Нѣтъ, да и нѣтъ такого благодѣ-теля, который бы рѣшился дать двѣсти или хоть сто тысячъ въ займы! Видно, ужъ Богъ не хочетъ.“

„Да“, подумалъ Чичиковъ, „этакому дураку послалъ бы Богъ двѣсти тысячъ!“

— Есть у меня, пожалуй, трехъ-милліонная тетушка, ска-залъ Хлобуевъ, — старушка богомольная: на церкви и монасты-ри даетъ, но помогать ближнему тугоныка. А старушка очень замѣчательная. Прежнихъ временъ тетушка, на которую бы взгля-нуть стоило. У ней однѣхъ канареекъ сотни четыре; моськи, при-

живалки и слуги, какихъ ужъ теперь нѣтъ. Меньшому изъ слугъ будетъ лѣтъ 60, хотъ она и зоветъ его: Эй, малой! Если гость какъ-нибудь себя не такъ поведетъ, такъ она за обѣдомъ прикажетъ обнести его блюдомъ. И обнесутъ, право.

Платоновъ усмѣхнулся.

— А какъ ея фамилія и гдѣ она проживаетъ? спросилъ Чичиковъ.

— Живетъ она у насъ въ городѣ. Александра Ивановна Ханасарова.

— Отчего-жъ вы не обратитесь къ ней? спросилъ съ участием Платоновъ. — Мнѣ кажется, еслибъ она только поближе вошла въ положеніе вашего семейства, она бы не въ силахъ была отказать вамъ, какъ бы ни была туга.

— Ну, нѣтъ, въ силахъ! У тетушки натура крѣпковата. Это старушка — кремень, Платонъ Михайловичъ! Да къ тому-жъ есть и безъ меня угодники, которые около нея увиваются. Такъ есть одинъ, который мѣтитъ въ губернаторы. Припделся ей въ родню... Богъ съ нимъ! можетъ, и успѣетъ. Богъ съ ними со всѣми! Я подѣвжать и прежде не умѣлъ, а теперъ и подавно: спина ужъ не гнется.

„Дуракъ!“ подумалъ Чичиковъ. „Да я бы за такой тетухой ухаживалъ, какъ нянька за ребенкомъ!“

— Чтò-жъ, вѣдь этакъ разговаривать сухо? сказалъ Хлобуевъ. — Эй, Кирюшка! принеси-ка еще другую бутылку шампанскаго.

— Нѣтъ, нѣтъ, я больше не буду пить, сказалъ Платоновъ.

— Я также, сказалъ Чичиковъ, и оба отказались они рѣшительно.

— Ну, такъ, по крайней мѣрѣ, дайте мнѣ слово побывать у меня въ городѣ. 8-го іюля я даю маленькій обѣдъ нашимъ городскимъ сановникамъ.

— Помилуйте! вскрикнулъ Платоновъ. — Въ такомъ состояніи, раззорившись совершенно — и еще обѣдъ!

— Чтò-жъ дѣлать? нельзя: это долгъ, сказалъ Хлобуевъ. — Они меня также угощали.

„Что съ нимъ дѣлать!“ подумалъ Платоновъ. Онъ еще не

зналъ того, что на Руси, въ Москвѣ и другихъ городахъ водятся такіе мудрецы, которыхъ жизнь — необъяснимая загадка. Все, кажется, прожилъ, кругомъ въ долгахъ, и обѣдъ, который задаетъ, кажется послѣдній, и думаютъ обѣдающіе, что завтра же хозяина потащутъ въ тюрьму. Проходитъ послѣ того 10 лѣтъ — мудрецъ все еще держится на свѣтѣ, еще больше прежняго кругомъ въ долгахъ и такъ же задаетъ обѣдъ, и все думаютъ, что онъ послѣдній, и все увѣрены, что завтра же потащутъ хозяина въ тюрьму.

Почти такой же мудрецъ былъ Хлобуевъ. Только на одной Руси можно было существовать такимъ образомъ. Не имѣя ничего, онъ угощалъ и хлѣбосольствовалъ, и даже оказывалъ покровительство, поощрялъ всякихъ артистовъ, пріѣзжавшихъ въ городъ, давалъ имъ у себя пріютъ и квартиру. Еслибы кто заглянулъ въ домъ его, находившійся въ городѣ, онъ бы никакъ не узналъ, кто въ немъ хозяинъ. Сегодня попъ въ ризахъ служилъ тамъ молебенъ; завтра давали репетицію французскіе актеры; въ иной день какой-нибудь, почти неизвѣстный никому въ домѣ, поселялся въ самой гостиной съ бумагами и заводилъ тамъ кабинетъ, и никого въ домѣ это не смущало и не беспокоило, какъ бы было житейское дѣло. Иногда по цѣлымъ днямъ не бывало крохи въ домѣ, иногда же задавали въ немъ такой обѣдъ, который удовлетворилъ бы вкусу утонченнѣйшаго гастронома, и хозяинъ являлся праздничный, веселый, съ осанкой барина, съ походкой человѣка, котораго жизнь протекаетъ въ избыткѣ и довольствѣ. За то временами бывали такіа тяжелыя минуты, что другой давно бы, на его мѣстѣ, повѣсилъ, или застрѣлился. Но его спасало религіозное настроеніе, которое страннымъ образомъ совмѣщалось въ немъ вмѣстѣ съ безпутною его жизнію. Въ эти горькія, тяжелыя минуты развертывалъ онъ книгу и читалъ житія страдальцевъ и тружениковъ, воспитывавшихъ духъ свой быть превыше страданій и несчастій. Душа его въ это время вся размягчалась, умилялся духъ и слезами наполнялись глаза его. И странное дѣло! почти всегда приходила къ нему въ то время откуда-нибудь неожиданная помощь: или кто-нибудь изъ старыхъ друзей его вспоминалъ о немъ и

присылалъ ему деньги; или кабая-нибудь незнакомая проѣзжая барыня, христоролюбивая душа, нечаянно услышавъ о немъ исторію и тронувшись, съ стремительнымъ великодушіемъ женскаго сердца, присылала ему богатую подачу; или выигрывалось гдѣ-нибудь въ пользу его дѣло, о которомъ онъ никогда и не слыхалъ. Благоговѣнно, благодарно признавалъ онъ тогда необъятное милосердіе Провидѣнія, служилъ благодарственный молебенъ и вновь начиналъ безпутную жизнь свою.

— Жалокъ онъ мнѣ, право, жалокъ! сказала Чичикову Платоновъ, когда они выѣхали отъ него.

— Блудный сынъ! сказалъ Чичиковъ. — О такихъ людяхъ и жалѣть нечего.

И скоро они оба перестали о немъ думать: Платоновъ — потому, что лѣниво и полусонно смотрѣлъ на положенія людей, также какъ и на все въ мірѣ. Сердце его страдало и щемило при видѣ страданія другихъ, но впечатлѣнья не врѣзывались глубоко въ душѣ его. Чичиковъ потому не думалъ о Хлобуевѣ, что и о себѣ самомъ не думалъ, что всѣ мысли были заняты пріобрѣтенною покупкою. Онъ исчислялъ, рассчитывалъ и соображалъ всѣ выгоды купленного имѣнія. И какъ ни разсматривалъ онъ, на какую сторону ни оборачивалъ дѣло, видѣлъ, что во всякомъ случаѣ покупка была выгодна. Можно было поступить и такъ, чтобы заложить имѣніе въ ломбардъ. Можно было поступить и такъ, чтобы заложить однихъ только мертвецовъ и бѣглыхъ. Можно было поступить и такъ, чтобы прежде выпродать по частямъ всѣ лучшія земли, а потомъ уже заложить въ ломбардъ. Можно было распорядиться и такъ, чтобы заняться самому хозяйствомъ и сдѣлаться помѣщикомъ, по образцу Скудронжогло, пользуясь его совѣтами, какъ сосѣда и благодѣтеля. Можно было поступить даже и такъ, чтобы продать въ частныя руки имѣніе (разумѣется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себѣ бѣглыхъ и мертвецовъ. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть изъ этихъ мѣстъ и не заплатить Скудронжогло денегъ, взятыхъ у него займы. Словомъ, всячески, какъ ни оборачивалъ онъ это дѣло, видѣлъ, что во всякомъ случаѣ покупка

была выгодна. Онъ почувствовалъ удовольствіе, удовольствіе отъ того, что сталъ теперь помѣщикомъ, помѣщикомъ не фантастическимъ, но дѣйствительнымъ помѣщикомъ, у котораго есть уже и земли, и уголья, и люди, люди не мечтательные, не въ соображеніи пребывающіе, но существующіе. И понемногу началъ онъ и подпрыгивать, и потирать себѣ руки, и подпѣвать, и приговаривать, и вытрубилъ на кулакѣ, приставивши его себѣ ко рту, какъ бы на трубѣ, какой-то маршъ, и даже выговорилъ въ слухъ нѣсколько поощрительныхъ словъ и названій себѣ самому, въ родѣ мордашки и каплунчика. Но потомъ, вспомнивши, что онъ не одинъ, притихнулъ вдругъ и постарался кое-какъ замѣть неумѣренный порывъ восторга, и когда Платоновъ, принявши кое-какіе изъ этихъ звуковъ за обращенную къ нему рѣчь, спросилъ у него: „Чего?“ онъ отвѣчалъ: „Ничего.“

Тутъ только, оглянувшись вокругъ себя, онъ замѣтилъ, что они ѣхали прекрасною рощей. Миловидная березовая ограда тянулась у нихъ справа и слѣва. Между деревъ показалась бѣлая каменная церковь. Въ концѣ улицы показался господинъ, шедшій къ нимъ на-встрѣчу, въ картузѣ, съ суковатой палкой въ рукѣ. Англійскій песь, на высокихъ, тонкихъ ножкахъ, бѣжалъ передъ нимъ.

— Стой! сказала Платоновъ кучеру и выскочилъ изъ коляски. Чичиковъ вышелъ вслѣдъ за нимъ также изъ коляски. Они пошли пѣшкомъ на-встрѣчу господину. Яръ уже успѣлъ облобызаться съ англійскимъ псомъ, съ которымъ, какъ видно, былъ знакомъ уже давно, потому что принялъ равнодушно въ свою толстую морду лобызаніе Азора (такъ назывался англійскій песь). Проворный песь, именовъ Азоръ, облобызавши Ярба, подбѣжалъ къ Платонову, вскочилъ къ нему съ намѣреніемъ лизнуть его въ губы, но не досталъ и, оттолкнутый имъ, вскочилъ на Чичикова, лизнулъ его въ ухо, снова къ Платонову, пробуя лизнуть его хоть въ ухо.

Платоновъ и господинъ, шедшій на встрѣчу, въ это время сошлись и обнялись.

— Помилуй, Платонъ! что это ты со мною дѣлаешь? живо спросилъ господинъ.

— Какъ что? равнодушно отвѣчалъ Платоновъ.

— Да какъ же въ самомъ дѣлѣ? три дня отъ тебя ни слуху, ни духу! Конюхъ отъ Пѣтуха привелъ твоего жеребца. „Поѣхалъ“, говоритъ, съ какимъ-то бариномъ.“ Ну хоть бы слово сказалъ: куда, зачѣмъ, на сколько времени? Помилуй, братецъ, какъ же можно такъ поступать? А я Богъ знаетъ чего не передумалъ въ эти дни!

— Ну, что-жъ дѣлать? позабылъ, сказалъ Платоновъ. — Мы заѣхали къ Константину Ѳедоровичу.... Онъ тебѣ кланяется, сестра также. Рекомендую тебѣ Павла Ивановича Чичикова. — Павелъ Ивановичъ, братъ Василій! Прошу полюбить его такъ же, какъ и меня.

Братъ Василій и Чичиковъ, снявши картузы, поцѣловались.

„Кто бы такой былъ этотъ Чичиковъ?“ думалъ братъ Василій. „Братъ Платонъ на знакомство не разборчивъ и, вѣрно, не узналъ, что онъ за человѣкъ.“ И оглянулъ онъ, сколько позволяло приличіе, Чичикова. Чичиковъ стоялъ, нѣсколько наклонивши голову и сохранивъ пріятное выраженіе въ лицѣ.

Съ своей стороны Чичиковъ оглянулъ также, на сколько позволяло приличіе, брата Василія. Онъ былъ ростомъ ниже Платона, волосомъ темнѣй его и лицомъ далеко не такъ красивъ; но въ чертахъ его лица было много жизни и одушевленія. Видно было, что онъ не пребывалъ въ дремотѣ и спячкѣ.

— Знаешь ли, Василій, что я придумалъ? сказалъ братъ Платонъ.

— Что? спросилъ Василій.

— Проѣздить по святой Руси, вотъ именно съ Павломъ Ивановичемъ: авось-либо это размычетъ и растеребитъ хандру мою.

— Какъ же такъ вдругъ рѣшиться?... началъ-было говорить Василій, озадаченный не на шутку такимъ рѣшеніемъ, и чуть было не прибавилъ: „И еще замыслилъ ѣхать съ человѣкомъ, котораго видишь въ первый разъ, который, можетъ-быть, и дрянъ, и чортъ знаетъ что!“ И, полный недоверія, сталъ онъ разсматривать искоса Чичикова и увидѣлъ, что онъ держался необыкновенно прилично, сохраняя все то же пріятное накло-

неніе головы нѣсколько на бокъ и почтительно-привѣтливое выраженіе въ лицѣ, такъ что никакъ нельзя было узнать, какого роду (человѣкъ) былъ Чичиковъ.

Въ молчаньи они пошли всѣ трое по дорогѣ, по лѣвую руку которой находилась мелькавшая промежъ деревь бѣлая каменная церковь, по правую — начинавшія показываться, также промежъ деревь, строенія господскаго двора. Наконецъ показали и ворота. Они вступили на дворъ, гдѣ былъ старинный господскій домъ подъ высокою крышей. Двѣ огромныя липы, росшія посреди двора, покрывали почти половину его своею тѣнью. Сквозь опущенныя внизъ развѣсистыя ихъ вѣтви едва сквозили стѣны дома. Подъ липами стояло нѣсколько длинныхъ скамеекъ. Братъ Василій пригласилъ Чичикова садиться. Чичиковъ сѣлъ и Платоновъ сѣлъ. По всему двору разливалось благоуханье сиреней и черемухъ, которыя нависли отовсюду изъ сада въ дворъ черезъ миловидную березовую ограду, кругомъ его обходившую, и казались цвѣтущею цѣпью или нѣжнымъ ожерельемъ, его короновавшимъ.

Ухватливый и ловкій дѣтина лѣтъ 17, въ красивой рубашкѣ розовой ксандрейки, принесъ и поставилъ передъ ними графины съ водкой и разноцвѣтными квасами всѣхъ сортовъ, шипѣвшіе какъ газоны лимонады. Поставивши передъ ними графины, онъ подошелъ къ дереву и, взявши прислоненный къ нему заступъ, отправился въ садъ. У братьевъ Платоновыхъ всѣ слуги были садовники, или, лучше сказать, слугъ не было, но садовники исправляли иногда эту должность. Братъ Василій говорилъ, что безъ слугъ можно даже и обойтись: подать что-нибудь можетъ всякой, и для этого не стѣитъ заводить особаго сословія; что будто русскій человѣкъ до тѣхъ поръ только хорошъ и расторопень, и красивъ, и развязенъ, и много работаетъ, покуда онъ ходитъ въ рубашкѣ и зипунѣ; но что какъ только заберется въ нѣмецкій сюртукъ, — станетъ и неуклюжъ, и некрасивъ, и нерасторопень, и лѣнтяй. Онъ утверждалъ, что и чистоплотность у него содержится до тѣхъ поръ, покуда онъ еще носитъ рубашку, и зипунъ, и что какъ только заберется въ нѣмецкій сюртукъ — и рубашки не перемѣняетъ, и въ баню не ходитъ, и спитъ въ

сюртукѣ, и заведутся у него и клопы, и блохи, и чортъ знаетъ что. Въ этомъ, можетъ-быть, онъ былъ и правъ. Въ деревнѣ ихъ народъ одѣвался какъ-то особенно щеголевато и опрятно, и такихъ красивыхъ рубашекъ и зипуновъ нужно было долго искать.

— Не угодно ли вамъ прохладиться? сказалъ братъ Василій Чичикову, указывая на графинны. — Это квасы нашей фабрики; ими издавна славится дождь нашъ.

Чичиковъ налилъ стаканъ изъ перваго графина — точно лицецъ, который онъ нѣкогда пивалъ въ Польшѣ; игра какъ у шампанскаго, а газъ такъ и шибнулъ приятно изо рта въ носъ. — Нектаръ! сказалъ Чичиковъ. Выпилъ стаканъ изъ другаго графина — еще лучше.

— Въ какую же сторону и въ какія мѣста предполагаете преимущественно ѣхать? спросилъ братъ Василій.

— Ёду я, сказалъ Чичиковъ, потирая себя рукой по колѣну, въ сопровожденіи легкаго покачиванья всего туловища и пріятнаго наклона головы на бокъ, — не столько по своей нуждѣ, сколько по нуждѣ другаго. Генераль Ветрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя, ибо, не говоря уже о пользѣ въ геморидальномъ отношеніи, видѣть свѣтъ и коловращенье людей — есть уже само по себѣ, такъ сказать, живая книга и вторая наука.

Братъ Василій задумался. „Говорить этотъ человекъ нѣсколько витіевато, но въ словахъ его есть правда,“ думалъ онъ. — „Моему Платону не достаетъ познанія людей, свѣта и жизни.“ Нѣсколько помолчавъ, сказалъ такъ вслухъ: — Знаешь ли что, братъ Платонъ? что путешествіе можетъ точно расшевелить тебя. У тебя душевная спячка. Ты, просто, заснулъ, и заснулъ не отъ пресыщенія или усталости, но отъ недостатка живыхъ впечатлѣній и ощущеній. Вотъ я совершенно напротивъ. Я бы очень желалъ не такъ живо чувствовать и не такъ близко принимать къ сердцу все, что ни случается.

— Вольно-жъ принимать все близко къ сердцу! сказалъ Платонъ. — Ты выискиваешь себѣ безпокойства и самъ сочиняешь себѣ тревоги.

— Какъ сочинять, когда и безъ того на всякомъ шагу неприятность? сказалъ Василій. — Слышалъ ты, какую безъ тебя сыгралъ съ нами штуку Лѣвницынъ? — Захватилъ пустошь, гдѣ у насъ празднуется красная горка.

— Не знаетъ, потому и захватилъ, сказалъ Платонъ. — Человѣкъ новый, только-что пріѣхалъ изъ Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать.

— Знаетъ, очень знаетъ. Я посылалъ ему сказать, но онъ отвѣчалъ грубостью.

— Тебѣ нужно было съѣздить самому, растолковать. Переговори съ нимъ самъ.

— Ну, нѣтъ. Онъ черезчуръ уже заважничалъ. Я къ нему не поѣду. Поѣзжай, если хочешь, ты.

— Я бы поѣхалъ, но вѣдь я (въ хозяйство) не мѣшаюсь. Онъ можетъ меня и провести, и обмануть.

— Да если угодно, такъ я поѣду, сказалъ Чичиковъ.

Василій взглянулъ на него и подумалъ: „Экой охотникъ ѣздить!“

— Вы мнѣ дайте только понятіе, какого рода онъ человѣкъ, сказалъ Чичиковъ, — и въ чемъ дѣло.

— Мнѣ совѣстно наложить на васъ такую неприятную комиссію, потому что одно изъясненіе съ такимъ человѣкомъ для меня уже неприятная комиссія. Надобно вамъ сказать, что онъ изъ простыхъ мелкопомѣстныхъ дворянъ нашей губерніи, выслужился въ Петербургѣ, вышелъ кое-какъ въ люди, женившись тамъ на чьей-то побочной дочери, и заважничалъ. Задастъ здѣсь тонъ. Да у насъ въ губерніи, слава Богу, народъ живетъ не-глупый. Мода намъ не указъ, а Парижъ — не церковь.

— Конечно, сказалъ Чичиковъ.

— А дѣло, по-настоящему, вздоръ. У него нѣтъ достаточно земли, — ну, онъ и захватилъ чужую пустошь, т. е. онъ считывалъ, что она не нужна, о ней хозяева (не стануть хлопотать), а у насъ, какъ нарочно, уже споконъ вѣка собираются крестьяне праздновать тамъ красную горку. По этому-то поводу я готовъ пожертвовать лучше другими и лучшими землями, чѣмъ отдать ее. Обычай для меня — святиня.

— Стало-быть, вы готовы уступить ему другія земли?

— То-есть, еслибъ онъ со мной не такъ поступалъ; но онъ хочеть, какъ я вижу, знаться судомъ. Пожалуй, посмотришь, кто выиграеть. Хоть на планѣ и не такъ ясно, но свидѣтели-старики еще живы и помнать.

„Гм!“ подумалъ Чичиковъ. — „Оба-то, какъ вижу, съ душкомъ,“ и сказалъ вслухъ: — А мнѣ кажется, что это дѣло обдѣлать можно миролюбно. Все зависить отъ посредника. Письмен..... *)..... что и для васъ самихъ будетъ очень выгодно перевестъ, напримѣръ, на мое имя всѣхъ умершихъ душъ, какія въ послѣдней ревизіи числятся въ имѣніяхъ вашихъ, такъ чтобъ я за нихъ платилъ подати. А чтобы не подать каваго-нибудь соблазна, то передачу эту совершите посредствомъ купчей крѣпости, какъ бы эти души были живыя.

„Вотъ тебѣ!“ подумалъ Лѣвницынъ. — „Это что-то престранное!“ и нѣсколько даже отодвинулся со стуломъ назадъ, потому что совершенно озадачился.

— Я никакъ въ томъ не сомнѣваюсь, что вы на это дѣло совершенно будете согласны, сказалъ Чичиковъ, — потому что это дѣло совершенно въ томъ родѣ, какъ мы сейчасъ говорили. Совершенно оно будетъ между солидными людьми втайнѣ, и соблазна никому.

Что тутъ дѣлать? Лѣвницынъ очутился въ затруднительномъ положеніи. Онъ никакъ не могъ предвидѣть, чтобы мнѣніе, имъ незадолго изъявленное, привело его къ такому быстрому осуществленію на дѣлѣ. Предложеніе было до крайности неожиданно. Конечно, ничего вредоноснаго ни для кого не могло быть въ этомъ поступкѣ. Помѣщики все равно заложили бы также эти души наравнѣ съ живыми; стало-быть, казнѣ убытку не можетъ быть никакого. Разница въ томъ, что онѣ были бы въ однѣхъ рукахъ, а тогда были бы въ разныхъ. Но тѣмъ не менѣе онъ затруднился. Онъ былъ законникъ и дѣлецъ весь, и дѣлецъ въ хорошую сторону. Неправо не рѣшилъ бы онъ дѣла ни за какіе подкупы. Но

*) *Примѣчаніе С. П. Шевырева.* Здѣсь пропускъ, въ которомъ, вѣроятно, содержался рассказъ о томъ, какъ Чичиковъ отправился къ помѣщику Лѣвницину.

тутъ онъ остановился, не зная, какое имя дать этому дѣйствию, правое ли оно, или неправое. Еслибы кто-нибудь другой обратился къ нему съ такимъ предложеніемъ, онъ могъ сказать: „Это вздоръ, пустяки! Я не хочу играть въ куклы, или дурачиться.“ Но гость уже такъ ему понравился, такъ они сошлись во многомъ насчетъ успѣховъ просвѣщенія и наукъ, — какъ отказать? Лѣвницынъ находился въ презатруднительномъ положеніи.

Въ это время, точно какъ будто затѣвъ, чтобы помочь горю, вошла въ комнату молодая, курносенькая хозяйка, супруга Лѣвницына, и блѣдная, и худенькая, какъ петербургская дама, и одѣтая, какъ всѣ петербургскія дамы. За нею былъ вынесенъ мамкой на рукахъ ребенокъ-первенецъ, плодъ нѣжной любви недавно бракосочетавшихся супруговъ. Чичиковъ подошелъ, разумѣется, тотъ же часъ къ дамѣ и, не говоря уже о приличномъ привѣтствіи, однимъ пріятнымъ наклоненіемъ головы на бокъ много расположилъ ее въ свою пользу. Затѣвъ подбѣжалъ къ ребенку. Тотъ было разревѣлся; но однакоже Чичикову удалось словами: „Агу, агу, душенька!“, прищелкиваньемъ пальцевъ и сердоликовой печаткой отъ часовъ переманить его на руки къ себѣ. Взявши его къ себѣ на руки, началъ приподнимать кверху и тѣмъ возбудилъ въ ребенкѣ пріятную усмѣшку, которая очень обрадовала обоихъ родителей.

Но отъ удовольствія ли, или отъ чего-нибудь другаго, ребенокъ вдругъ повелъ себя нехорошо. Жена Лѣвницына закричала: „Ахъ, Боже мой! онъ вамъ испортилъ весь фракъ.“

Чичиковъ посмотрѣлъ: рукавъ новешенькаго фрака былъ весь испачканъ. „Пострѣлъ бы тебя побралъ, чертенокъ!“ пробормоталъ онъ въ сердцахъ про себя.

Хозяинъ, хозяйка, мамка — всѣ побѣжали за одеколономъ; со всѣхъ сторонъ принялись его вытирать.

— Ничего, ничего, совершенно ничего, говорилъ Чичиковъ. — Можетъ ли что испортить невинный ребенокъ?— И въ то же время думалъ: „Да вѣдь какъ мѣтко обдѣлалъ, канальчонокъ проклятый!“ — Золотой возрастъ! сказалъ онъ, когда уже его совершенно вытерли и пріятное выраженіе возвратилось на его лицо.

— А вѣдь точно, сказалъ хозяинъ, обратившись къ Чичико-

ву, тоже съ пріятной улыбкой: — что можетъ быть завиднѣй ребяческаго возраста? никакихъ заботъ, никакихъ мыслей о будущемъ!

— Состояніе, на которое можно сей же часъ помѣняться, сказалъ Чичиковъ.

— За глаза, сказалъ Лѣницынъ.

Но, кажется, оба соврали. Предложи имъ такой обмѣнъ, они бы тутъ же на понятный дворъ. Да и что за радость сидѣть у мамки на рукахъ и портить фракы!

Молодая хозяйка и первенецъ удалились съ мамкой, потому что и на немъ требовалось кое-что исправить. Наградивъ Чичикова, онъ и себя не позабылъ наградить.

Это, повидимому, незначительное обстоятельство склонило еще болѣе хозяина на сторону Чичикова. Какъ въ самомъ дѣлѣ отказать такому пріятному, обворожительному гостю, который столько ласкъ оказалъ малюткѣ и такъ великодушно заплатилъ за то собственнымъ фракомъ? Лѣницынъ думалъ такъ: „Почему же въ самомъ дѣлѣ не исполнить его просьбы, если ужъ такое его желаніе?“

Г л а в а ?

Въ то самое время, когда Чичиковъ въ персидскомъ новомъ халатѣ изъ золотистой термамы, развалился на диванѣ, торговался съ заѣзжимъ контрабандистомъ-купцомъ жидовскаго происхожденія и нѣмецкаго выговора, и передъ ними уже лежали купленная штука первѣйшаго голландскаго холста на рубашки и двѣ бумажныя коробки съ отличнѣйшимъ мыломъ первостатейнѣйшаго свойства (это мыло было то самое, которое онъ нѣкогда пріобрѣталъ на Радзивиловской таможенѣ; оно имѣло дѣйствительно свойство сообщать нестижимую нѣжность и бѣлизну щекамъ изумительную), — въ то время, когда онъ, какъ знатокъ, покупалъ эти необходимые для воспитаннаго человѣка продукты, раздался громъ подъѣхавшей кареты, отозвавшійся

легкимъ дрожаніемъ комнатныхъ оконъ и стѣнъ, и вошелъ его превосходительство Алексѣй Ивановичъ Лѣницынъ.

— На судъ вашего превосходительства представляю, каково полотно и каково мыло, и какова эта вчерашняго дня купленная вещица! При этомъ Чичиковъ надѣлъ на голову ермолку, вышитую золотомъ и бусами, и очутился, какъ персидскій шахъ, исполненный достоинства и величія.

Но его превосходительство, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

Мнѣ нужно съ вами поговорить о дѣлѣ. — Въ лицѣ его замѣтны были озабоченность и разстройство. Почтенный купецъ нѣмецкаго выговора былъ тотъ же часъ высланъ и они остались (одни).

— Знаете ли вы, какая непріятность? Отыскалось другое завѣщаніе старухи, сдѣланное назадъ тому пять лѣтъ. Половина имѣнія отдается на монастырь, а другая — обѣимъ воспитанницамъ пополамъ, и ничего больше никому.

Чичиковъ оторопѣлъ....

— Но это завѣщанье — вздоръ. Оно ничего не значитъ; оно уничтожено вторымъ.

— Но вѣдь это не сказано въ послѣднемъ завѣщаньи, что имъ уничтожается первое.

— Это само собою разумѣется. Первое уничтожается послѣднимъ. Это вздоръ. Первое завѣщанье никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я былъ при ней. Кто его подписалъ? кто были свидѣтели?

— Засвидѣтельствовано оно, какъ слѣдуетъ, въ судѣ. Свидѣтелемъ былъ бывший совѣстный судья, Бурмиловъ, и Хавановъ.

„Худо,“ подумалъ Чичиковъ: „Хавановъ, говорятъ, честенъ; Бурмиловъ старый ханжа, читаетъ по праздникамъ апостолъ въ церквахъ.“ — Но вздоръ, вздоръ, сказалъ онъ вслухъ и тутъ же почувствовалъ рѣшимость на всѣ штуки. — Я знаю это лучше: я участвовалъ при послѣднихъ минутахъ покойницы. Мнѣ это лучше всѣхъ извѣстно. Я готовъ присягнуть самолично.

Слова эти и рѣшимость на минуту успокоили Лѣницына. Онъ былъ очень взволновалъ и уже начиналъ было подозрѣвать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикаціи отно-

сительно завѣщанія. Онъ укорилъ себя въ подозрѣнїи. Готовность присягнуть была явнымъ доказательствомъ, что Чичиковъ... Не знаемъ мы, точно ли достало бы духу у Павла Ивановича присягнуть на святомъ (Евангелїи), но сказать это достало духу.

— Будьте покойны: я переговорю объ этомъ дѣлѣ съ нѣкоторыми юрисконсультами. Съ вашей стороны тутъ ничего не должно прилагать; вы должны быть совершенно въ сторонѣ. Я же теперь могу жить въ городѣ, сколько мнѣ угодно.

Чичиковъ тотъ же часъ приказалъ подать экипажъ и отправился къ юрисконсульту. Этотъ юрисконсультъ былъ опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лѣтъ, какъ онъ находился подъ судомъ, и такъ умѣлъ распорядиться, что никакимъ образомъ нельзя было отрѣшить его отъ должности. Всѣ знали, что его, за подвиги его, слѣдовало бы шесть разъ послать на поселенье. Кругомъ и со всѣхъ сторонъ былъ онъ въ подозрѣнїяхъ, но никакихъ нельзя было возвести явныхъ и доказательныхъ уликъ. Тутъ было дѣйствительно что-то таинственное, и его бы можно было смѣло признать колдуномъ, еслибъ исторїя, нами описанная, принадлежала временамъ невѣжества.

Юрисконсультъ поразилъ (его) холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшаго совершенную противоположность съ хорошими мебелями красного дерева, съ золотыми часами подъ стекляннѣмъ колпакомъ, съ люстрой, сквозившей сквозь кисейный чехоль, ее сохранявшій, и вообще со всѣмъ, что было вокругъ его и носило ярею печать блистательнаго европейскаго просвѣщенїя.

Не останавливаясь, однакожъ, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиковъ объяснилъ затруднительные пункты дѣла и въ заманчивой перспективѣ изобразилъ необходимо послѣдующую благодарность за добрый совѣтъ и участіе.

Юрисконсультъ отвѣчалъ на это изображенїемъ невѣрности всего земнаго и далъ тоже искусно замѣтить, что журавль въ небѣ ничего не значить, а нужно синицу въ руки.

Нечего дѣлать: нужно было дать синицу въ руки. Скептическая холодность философа вдругъ исчезла. Оказалось, что это

былъ наидобродушнѣйшій человѣкъ, наиразговорчивый и наипрѣятнѣйшій въ разговорахъ, не уступавшій ловкостью оборотовъ самому Чичикову.

— Позвольте вамъ замѣтить, вмѣсто того, чтобы заводить длинное дѣло, — вы, вѣрно, не хорошо разсмотрѣли самое завѣщаніе: тамъ, вѣрно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время къ себѣ. Хотя, конечно, подобныя вещи на дождь брать запрещено, но если хорошенько попросить нѣкоторыхъ чиновниковъ.... Я съ своей стороны употребляю мое участіе.

„Понимаю,“ подумалъ Чичиковъ и сказалъ: — „Въ самомъ дѣлѣ, я точно хорошо не помню, есть ли тамъ приписочка или нѣтъ“, — точно какъ будто и не самъ писалъ это завѣщаніе.

— Лучше всего вы это посмотрите. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, продолжалъ онъ весьма добродушно, — будьте совсѣмъ покойны и не смущайтесь ничѣмъ, даже еслибъ и хуже что произошло. Никогда и ни въ чемъ не отчаявайтесь. Нѣтъ дѣла неисправимаго. Смотрите на меня; я всегда покоенъ. Какіе бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствіе мое непоколебимо. Лицо юриконсультанта-философа пребывало дѣйствительно въ необыкновенномъ спокойствіи, такъ что и Чичиковъ немного (успокоился).

— Конечно, это первая вещь, сказалъ онъ. — Но согласитесь однакожъ, что могутъ быть такіе случаи, и дѣла, и такіе поклепы со стороны враговъ, и такія затруднительныя положенія, что отлетитъ всякое спокойствіе.

— Повѣрьте мнѣ, это малодушіе, отвѣчалъ очень покойно и добродушно философъ-юристъ. — Старайтесь только, чтобы производство дѣла было все основано на бумагахъ, чтобы на словахъ ничего не было. И какъ только увидите, что дѣло идетъ къ развязкѣ и удобно къ рѣшенію, старайтесь не то чтобы оправдывать и защищать себя, — нѣтъ, просто спутать новыми вводными, такими посторонностями.

— То-есть, чтобы....

— Спутать, спутать — и ничего больше! отвѣчалъ философъ, — ввести въ это дѣло постороннія, другія обстоятельства, которыя запутали бы сюда и другихъ; сдѣлать сложнымъ — и

ничего больше! А тамъ пусть прїѣзжій изъ Петербурга чиновникъ разбираетъ, пусть разбираетъ, пусть его разбираетъ! повторилъ онъ, смотря съ необыкновеннымъ удовольствіемъ въ глаза Чичикову, какъ смотритъ учитель ученику, когда объясняетъ ему заманчивое мѣсто изъ русской грамматики.

— Да, хорошо, если подберешь такія обстоятельства, которыя способны пустить въ глаза мглу, сказалъ Чичиковъ, смотря тоже съ удовольствіемъ въ глаза философа, какъ ученикъ, который понялъ заманчивое мѣсто, объясняемое учителемъ.

— Подберутся обстоятельства, подберутся! Повѣрьте: отъ частаго упражненія и голова едѣляется находчивою. Прежде всего помните, что вамъ будутъ помогать. Въ сложности дѣла выигрышь многимъ: и чиновниковъ нужно больше, и жалованья имъ больше.... Словомъ, втянуть въ дѣло побольше лицъ. Нѣтъ нужды, что иные напрасно попадутъ: да вѣдь имъ же нужно оправдаться, имъ нужно отвѣчать на бумагѣ, имъ нужно окупиться.... Вотъ ужъ и хлѣбъ!... Такъ можно спутать, такъ все перепутать, что никто ничего не пойметъ. Я вѣдь почему спокоенъ? — Потому что знаю: пусть только дѣла мои пойдутъ плохо, да я всѣхъ впутаю въ свои дѣла — и губернатора, и вице-губернатора, и полицеймейстера, и казначея, — всѣхъ запутаю. Я знаю всѣ ихъ обстоятельства — и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочетъ упечь. Тамъ, пожалуй, пусть ихъ выпутываются. Да покуда они выпутаются, другіе успѣютъ нажитья. Вѣдь только въ мутной водѣ и ловятся раки. — Здѣсь юристъ-философъ посмотрѣлъ на Чичикова во всѣ глаза, опять съ тѣмъ же наслажденіемъ, съ какимъ учитель объясняетъ ученику еще заманчивѣйшее мѣсто изъ русской грамматики.

„Нѣтъ, этотъ человекъ, точно, мудрецъ,“ подумалъ про себя Чичиковъ и разстался съ юрисконсультомъ въ наипрїятнѣйшемъ и въ наилучшемъ расположеніи духа.

Совершенно успокоившись и укрѣпившись, онъ съ небрежною ловкостью бросился на эластическія подушки коляски и привалялъ Селифану откинуть кузовъ назадъ (къ юрисконсульту онъ вѣхалъ съ поднятымъ кузовомъ и даже застегнутою кожей) и расположился, точь-въ-точь, какъ отставной гусарскій полков-

никъ, или самъ Вишнепокромовъ, ловко подвернувши одну ножку подъ другую и обращая съ пріятностью къ встрѣчному лицу, сіявшее изъ-подъ шелковой новой шляпы, надвинутой нѣсколько на ухо. Селифану было приказано держать направленье къ гостинному двору. Купцы, и пріѣзжіе, и туземцы, стоя у дверей лавокъ, почтительно снимали шляпы, и Чичиковъ, не безъ достоинства, приподнималъ имъ въ отвѣтъ свою. Многіе изъ нихъ уже были ему знакомы; другіе, хотя пріѣзжіе, но очарованные ловкимъ видомъ умѣющаго держать себя господина, привѣтствовали его какъ знакомые. Ярмарка въ городѣ Тыфуславлѣ не прекращалась: отошла конная и земледѣльческая, началась съ красными товарами для господъ просвѣщенья высшаго. Купцы, пріѣхавшіе на колесахъ, располагали назадъ не иначе возвращаться, какъ на саняхъ.

— Пожалуйте-съ, пожалуйста-съ! говорилъ у суконной лавки, учтиво рисуясь, съ открытою головою нѣмецкій сюртукъ московскаго шитья, съ шляпою въ одной рукѣ на отлетѣ, придерживая двумя пальцами другой бритый круглый подбородокъ, съ выраженіемъ тонкаго просвѣщенья въ лицѣ.

Чичиковъ вошелъ въ лавку. — Покажите намъ, любезнѣйшій, суконца.

Благопріятный купецъ тотчасъ приподнялъ вверхъ открывавшуюся доску у стола и, сдѣлавши такимъ образомъ себѣ проходъ, очутился въ лавкѣ, спиною къ товару, лицомъ къ покупателю и, съ обнаженною головою и шляпою на отлетѣ, еще разъ привѣтствовалъ Чичикова. Потомъ надѣлъ шляпу и, пріятно нагнувшись, обѣими же руками упершись въ столъ, сказалъ: — Какого рода сукно-съ? англійскихъ мануфактуръ, или отечественной фабрикаціи предпочитаете?

— Отечественной фабрикаціи, сказалъ Чичиковъ, — только лучшаго сорта, который называется англійскимъ.

— Какихъ цвѣтовъ пожелаете имѣть? спросилъ купецъ, все-таки пріятно колеблясь на двухъ упершихся въ столъ, рукахъ.

— Цвѣтовъ темныхъ оливковыхъ, или бутылочныхъ съ искрою, приближающихся, такъ сказать, къ брусникѣ, сказалъ Чичиковъ.

— Могу сказать, что получите первѣйшаго сорта, лучше котораго можете найти только въ обѣихъ столицахъ, говорилъ купецъ, досталъ сверху штуку, бросилъ ее ловко на столъ, развернулъ съ другого конца и поднесъ къ свѣту. — Каковъ отливъ-съ! Самаго моднаго, послѣдняго вкуса! — Сукно блистало, какъ шелковое. Купецъ чутьемъ пронюхалъ, что передъ нимъ стоитъ знатокъ суконъ, и не захотѣлъ начинать съ десятирублеваго.

— Порядочное, сказалъ Чичиковъ, слегка погладивши. — Но знаете ли, почтеннѣйшій? покажите мнѣ сразу то, что вы на послѣдокъ показываете, да и цвѣту больше того.... больше искры.

— Понимаю-съ: вы истинно желаете такого цвѣта, какой нынче (въ моду) входитъ. Есть у меня сукно отличнѣйшаго свойства. Предувѣдомляю, что высокой цѣны, но и высокаго достоинства.

— Давайте! о цѣнѣ слова (вперед).

Штука упала сверху. Купецъ ее развернулъ еще съ бѣльшимъ искусствомъ, поймалъ другой конецъ, развернулъ точно шелковую матерію, поднесъ Чичикову такъ, что (тотъ) имѣлъ возможность не только рассмотреть, но даже понюхать, и сказалъ только: — Вотъ сукно-съ! цвѣту наваринскаго дыму съ пламенемъ.

О цѣнѣ условились. Желѣзнымъ аршиномъ, подобнымъ жезлу чародѣя, купецъ отхваталъ тутъ же Чичикову на фракъ и панталоны; сдѣлавши ножницами наръзку, произвелъ обѣими руками ловкое дранье сукна во всю ширину его и при окончаніи сего поклонился Чичикову съ наибольшительнѣйшею пріятностью. Сукно тутъ же было свернуто и ловко заворочено въ бумагу; свертокъ завертѣлся подъ легкою бичевкой и Чичиковъ хотѣлъ было лѣзть въ карманъ, но почувствовалъ пріятное окруженіе своей поясицы чьею-то деликатною рукой, и уши его услышали: — Что вы здѣсь покупаете, почтеннѣйшій?

— А, пріятнѣйше-неожиданная встрѣча! сказалъ Чичиковъ.

— Пріятное столкновеніе, сказалъ голосъ того же самаго, который окружилъ его поясицу. Это былъ Вишнепокрововъ. — Готовился-было пройти лавку безъ вниманія, вдругъ вижу знакомое лицо, — какъ отказаться отъ пріятнаго удовольствія! Ничего, сукна въ этомъ году несравненно лучше вѣдь; а то стыдъ, срамъ! Я никакъ не могъ бывало отыскать. Я готовъ сорокъ

рублей... возьми пятьдесят даже, но дай хорошаго. По мнѣ, или имѣть вещь, которая бы точно была уже отличнѣйшая, или лучше вовсе не имѣть. Не такъ ли?

— Совершенно такъ! Зачѣмъ же трудиться, какъ не за тѣмъ, чтобы точно имѣть хорошую вещь?

— Покажите мнѣ сукна среднихъ цѣнъ, раздался позади голосъ, показавшійся Чичикову знакомымъ. Онъ оборотился. Это былъ Хлобуевъ. По всему видно было, что онъ покупалъ сукно не для прихоти, потому что скрутокъ былъ больно протертъ.

— Ахъ, Павелъ Ивановичъ! позвольте мнѣ съ вами наконецъ поговорить. Васъ нигдѣ не встрѣтишь. Я былъ нѣсколько разъ у васъ, — все васъ нѣтъ и нѣтъ.

— Почтеннѣйшій, я такъ былъ занятъ, что, ей-ей, нѣтъ времени. Онъ поглядѣлъ по сторонамъ, какъ бы (желая) улизнуть отъ объясненія, и увидѣлъ входящаго въ лавку Муразова. Ахъ, Боже мой, Аѳанасій Васильевичъ! сказалъ Чичиковъ. — Вотъ пріятное столкновение! И вслѣдъ за нимъ повторилъ Вишнепекромовъ: „Аѳанасій Васильевичъ!“ и наконецъ благовоспитанный купецъ, отнеся шляпу отъ головы на столько, на сколько могла рука, и всѣмъ тѣломъ подавшись впередъ, произнесъ: „Аѳанасію Васильевичу наше низжайшее почтеніе!“ На лицахъ напечатлѣлась та собачья услужливость, какую оказываетъ грѣшный людъ милліонщикамъ.

Старикъ раскланялся со всѣми и обратился прямо къ Хлобуеву: — Извините меня; я, увидѣвши издали, какъ вы вошли въ лавку, рѣшился васъ побеспокоить. Если вамъ будетъ свободно и по дорогѣ мимо моего дома, такъ сдѣлайте милость, зайдите на малость времени. Мнѣ съ вами нужно будетъ переговорить.

Хлобуевъ сказалъ: — очень хорошо, Аѳанасій Васильевичъ!

— Какая прекрасная погода у насъ, Аѳанасій Васильевичъ! сказалъ Чичиковъ.

— Не правда ли, Аѳанасій Васильевичъ? подхватилъ Вишнепекромовъ, — вѣдь это необыкновенно!

— Да-съ, благодаря Бога, недурна. Но нужно бы дождика для посѣва.

— Очень, очень бы нужно, сказалъ Вишнепокромовъ: — да же и для охоты хорошо.

— Да, дожидка бы очень не мѣшало, сказалъ Чичиковъ, которому совсѣмъ не нужно было дожидка; но какъ-то уже пріятно согласиться съ тѣмъ, у кого миллионы.

— У меня, просто, голова кружится, сказалъ Чичиковъ, по выходѣ Муразова, — какъ подумаешь, что у этого человѣка 10 миллионѣвъ. Это, просто, даже невѣроятно.

— Противузаконная, однакожь, вещь, сказалъ Вишнепокромовъ: — капиталы не должны быть въ однѣхъ рукахъ. Это теперь предметъ трактатовъ во всей Европѣ. Имѣешь деньги, — ну, сообщай другимъ: угощай, давай балы, производи благодѣтельную роскошь, которая даетъ хлѣбъ мастерамъ, ремесленникамъ.

— Этого я не могу понять, сказалъ Чичиковъ. — Десять миллионѣвъ — и живетъ какъ простой мужикъ! Вѣдь это съ десятию миллионами чортъ знаетъ что можно сдѣлать. Вѣдь это можно такъ завести, что и общества другаго у тебя не будетъ, какъ генералы да князья.

— Да-съ, прибавилъ купецъ, — у Аванасія Васильевича, при всѣхъ почтенныхъ качествахъ, непроевѣтительности много. Если купецъ почетный, такъ ужъ онъ не купецъ: онъ нѣкоторымъ образомъ есть уже негоціантъ. Я ужъ долженъ тогда взять и ложу въ театрѣ, а дочь ужъ я за простого полковника — нѣтъ-съ, не выдамъ: я за генерала ее выдамъ. Что мнѣ полковникъ? Обѣдъ мнѣ ужъ долженъ кундистеръ поставлять, а не бухарка....

— Да что говорить! помиуйте! сказалъ Вишнепокромовъ: съ десятию миллионами чего не сдѣлаешь? Дайте мнѣ десять миллионѣвъ, — вы посмотрите, что я сдѣлаю!

„Нѣтъ,“ подумалъ Чичиковъ, „ты-то не много сдѣлаешь толку съ десятию миллионами. А вотъ еслибъ мнѣ десять миллионѣвъ, я бы точно кое-что сдѣлалъ.“

„Нѣтъ, еслибы мнѣ теперь, послѣ этихъ страшныхъ опытовъ, десять миллионѣвъ!“ подумалъ Хлобуевъ. „Опытѣвъ узнаешь цѣну всякой копѣйки. Э, теперь бы я не такъ....“ И потомъ,

минуту подумавши, спросилъ себя внутренно: точно ли бы теперь умнѣй распорядился? и, махнувши рукой, прибавилъ: „Кой чортъ! я думаю, такъ же бы растратилъ, какъ и прежде,“ и вышелъ изъ лавки, сгараая желаніемъ знать, что объявить ему Муразовъ.

— Васъ жду, Петръ Петровичъ, сказалъ Муразовъ, увидѣвши входящаго Хлобуева. — Пожалуйте ко мнѣ въ комнату. И онъ повелъ Хлобуева въ комнату, уже знакомую читателю, не прихотливѣе которой нельзя было найти и у чиновника, получающаго семь сотъ рублей въ годъ жалованья.

— Скажите, вѣдь теперь, я полагаю, ваши обстоятельства лучше? Послѣ тетушки все-таки вамъ досталось кое-что.

— Да какъ вамъ сказать, Аѳанасій Васильевичъ? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мнѣ досталось всего пятьдесятъ душъ крестьянъ да тридцать тысячъ денегъ, которыми я долженъ былъ расплатиться съ частью моихъ долговъ, — и у меня вновь ровно ничего. А главное, что дѣло по этому завѣщанью самое нечистое. Тутъ, Аѳанасій Васильевичъ, завелись такія мошенничества! Я вамъ сейчасъ расскажу, и вы подивитесь, что такое дѣлается. Этоъ Чичиковъ....

— Позвольте, Петръ Петровичъ; прежде чѣмъ говорить объ этомъ Чичиковѣ, позвольте поговорить собственно о васъ. Скажите мнѣ: сколько, по вашему заключенью, было бы для васъ удовлетворительно и достаточно для того, чтобы совершенно выпутаться изъ обстоятельствъ?

— Мои обстоятельства трудныя, сказалъ Хлобуевъ. — Да чтобы выпутаться изъ обстоятельствъ, расплатиться совсѣмъ и быть въ возможности жить самымъ умѣреннымъ образомъ, мнѣ нужно по крайней мѣрѣ 100 тысячъ, если не больше.

— Ну, еслибъ это у васъ было, какъ бы вы тогда повели жизнь свою?

— Ну я бы тогда нанялъ себѣ квартирку, занялся бы воспитаніемъ дѣтей. О себѣ нечего уже думать: карьеръ мой конченъ; на службу я ужъ никуда не гожусь.

— А почему же вы никуда не годитесь?

— Да куда-жъ мнѣ? сами посудите: мнѣ нельзя начинать съ

канцелярскаго писца. Вы позабыли, что у меня семейство, мнѣ сорокъ, у меня ужъ и поясница болить, я облѣнился; а должности мнѣ поважнѣе не дадутъ: я вѣдь не на хорошему счету, и признаюсь вамъ, я бы и самъ не взялъ наживной должности. Я человекъ хоть и дрянной, и картежникъ, и все, что хотите, но взяткою брать не стану. Мнѣ не ужиться съ Красноносковымъ, да Самосвистовымъ.

— Но все, извините-съ, я не могу понять, какъ же быть безъ дороги; какъ идти не по дорогѣ; какъ ѣхать, когда нѣтъ земли подъ ногами; какъ плыть, когда не на водѣ? А вѣдь жизнь — путешествіе. Извините, Петръ Петровичъ, господа вѣдь, про которыхъ вы говорите, все же они на какой-нибудь дорогѣ, все же они трудятся. Ну, положимъ, какъ-нибудь своротили, какъ случается со всякимъ грѣшнымъ: да есть надежда, что опять набредутъ. Кто идетъ, — нельзя, чтобы не пришелъ; есть надежда, что и набредетъ. Но какъ тому попасть на какую-нибудь дорогу, кто остается праздно? Вѣдь дорога не придетъ ко мнѣ. Какъ жить на свѣтѣ не прикрѣпленну ни къ чему, когда всякъ какой-нибудь да долженъ исполнять долгъ?... Поденщикъ — вѣдь и тотъ служить. Онъ ѣстъ грошевыи хлѣбъ, да вѣдь онъ его добываетъ и чувствуетъ интересъ своего занятія.

— Повѣрите мнѣ, Аѳанасій Васильевичъ, я чувствую совершенно справедливость (вашихъ словъ); но говорю вамъ, что во мнѣ рѣшительно погибла всякая дѣятельность, не вижу я, что я могу сдѣлать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свѣтѣ; чувствую, что я рѣшительно бесполезное бревно. Прежде, покажѣсь былъ помоложе, такъ мнѣ казалось, что все дѣло въ деньгахъ, что еслибы мнѣ въ руки сотни тысячъ, я бы осчастливилъ множество. Я имѣю вкусъ, помогъ бы бѣднымъ художникамъ, завелъ бы библіотеки, полезныя заведенія, собралъ бы коллекціи. Я человекъ не безъ вкуса и знаю во многомъ (толкъ); могъ бы гораздо лучше распорядиться тѣхъ нашихъ богачей, которые все это дѣлаютъ безтолково. А теперь вижу, что и это суета, и въ этомъ не много толку. Нѣтъ, Аѳанасій Васильевичъ, никуда не гожусь, ровно никуда; говорю вамъ, на малѣйшее дѣло неспособенъ.

— Послушайте, Петръ Петровичъ.... Но вѣдь вы же молитесь, ходите въ церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вамъ хоть и не хочется рано вставать, но вѣдь вы встаете же и идете, — идете въ четыре часа утра, когда никто не поднимался.

— Это — другое дѣло, Аеанасій Васильевичъ. Я знаю, что это дѣлаю не для человѣка, а для Того, Кто приказалъ намъ всѣмъ быть на свѣтѣ. Чтѣ-жъ дѣлать? Я вѣрю, что Онъ милостивъ ко мнѣ, что какъ я ни мерзокъ, ни гадокъ, но Онъ меня можетъ простить и принять, тогда какъ люди оттолкнуть ногою и наилучшій изъ друзей продастъ меня, да еще и скажетъ потому, что онъ продалъ изъ благой цѣли.

Оторченное чувство выразилось въ лицѣ (Хлобуева). Муразовъ минуту помолчалъ, какъ бы съ тѣмъ, чтобы дать ему придти въ себя, (и сказалъ): — Зачѣмъ же вы не возьмете и должность съ мыслию, что вы взяли ее не для человѣка и не для угожденія обществу, а служите Тому, Кто повелѣлъ вамъ быть на свѣтѣ, въ увѣренности, что вы молитесь? У васъ бы появилась дѣятельность и васъ никто изъ людей не въ силахъ (былъ бы) охладить.

— Аеанасій Васильевичъ! вновь скажу вамъ — это другое (дѣло). Въ первомъ случаѣ я вижу, что я все-таки дѣлаю. Говорю вамъ, что я готовъ пойти въ монастырь и самыя тяжкія, какіе на меня ни наложить, труды и подвиги я буду исполнять, потому что тамъ я увѣренъ, что взыщутъ (съ тѣхъ), которые меня заставили дѣлать. Тамъ я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь.

— Зачѣмъ же вы такъ не разсуждаете въ дѣлахъ свѣтскихъ? Вѣдь и въ свѣтѣ мы должны служить Богу. Если и другому служимъ, мы потому только служимъ ему, что увѣрены, что такъ Богъ велитъ, а безъ того мы бы и не служили. Чтѣ-жъ другое всѣ способности и дары, которые разные у всякого? Вѣдь это орудія моленія нашего: то — словами, а это дѣломъ. Вѣдь вамъ же въ монастырь нельзя идти: вы прикрѣплены къ міру, у васъ сеиство.

Здѣсь Муразовъ замолчалъ. Хлобуеть тоже замолчалъ.

— Такъ вы полагаете, что еслибы, напримѣръ, у васъ было двѣсти тысячъ, такъ вы бы могли упрочить жизнь и повести отнынѣ жизнь разсчетливѣе?

— То-есть, по крайней мѣрѣ, я займусь тѣмъ, что можно будетъ сдѣлать, — займусь воспитаніемъ дѣтей, буду имѣть возможность доставить имъ хорошихъ учителей.

— А сказать ли вамъ на это, Петръ Петровичъ, что чрезъ два года вы будете опять въ долгахъ, какъ въ шнуркахъ?

Хлобуевъ нѣсколько помолчалъ и началъ съ разстановкою:

— Однакожъ, послѣ этакихъ опытовъ....

— Да что тутъ толковать! сказалъ Муразовъ. — Вы чловѣкъ съ доброю душой: къ вамъ придетъ пріятель, попроситъ въ займы — вы ему дадите; увидите бѣднаго чловѣка — захотите помочь; пріятный гость придетъ — захотите лучше угостить, да и покоритесь первому доброму движенію, а разсчетъ и позабудете. И позвольте вамъ наконецъ сказать по искренности, что дѣтей-то своихъ вы не въ состояніи воспитать. Дѣтей своихъ воспитать можетъ только тотъ отецъ, который уже самъ выполнилъ долгъ свой. Да и супруга ваша.... она и добрая душа, но совсѣмъ не такъ воспитана, чтобы дѣтей воспитать. Я даже думаю — извините меня, Петръ Петровичъ — не во вредъ ли дѣтямъ будетъ даже и быть съ вами!

Хлобуевъ сильно призадумался. Онъ началъ себя мысленно осматривать со всѣхъ сторонъ и наконецъ почувствовалъ, что Муразовъ былъ правъ отчасти.

— Знаете ли, Петръ Петровичъ? отдайте мнѣ на руки это — дѣтей, дѣла; оставьте и семью, и дѣтей: я ихъ приберегу. Вѣдь обстоятельства ваши таковы, что вы въ моихъ рукахъ; вѣдь дѣло идетъ къ тому, чтобы умирать съ голоду. Тутъ ужъ на все нужно рѣшаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?

— И очень уважаю, даже несмотря на то, что онъ ходитъ въ сибирѣ.

— Иванъ Потапычъ былъ милліонщикъ, выдалъ дочерей своихъ за чиновниковъ, жилъ какъ царь; а какъ обанкрутился — что-жъ дѣлать? пошелъ въ прикащики. Не весело-то было ему съ серебрянаго блюда за простую миску: казалось, что и руки

ни въ чему не подымутся. Теперь Иванъ Потапычъ могъ бы хлебать изъ серебрянаго блюда, да ужъ не хочеть. У него ужъ набралось бы опять, да онъ говоритъ: „Нѣтъ, Аванасій Васильевичъ, служу я теперь не себѣ, а для себя и потому, что Богъ такъ (велѣлъ). По своей волѣ не хочу ничего дѣлать. Слушаю васъ, потому что Бога хочу слушаться, такъ какъ Богъ иначе не говоритъ, какъ устами лучшихъ людей. Вы умнѣ меня, а потому не я отвѣчаю, а вы.“ Вотъ что говоритъ Иванъ Потапычъ; а онъ, если сказать по правдѣ, въ нѣсколько разъ умнѣ меня.

— Аванасій Васильевичъ! вашу власть и я готовъ надъ собою (признать).... вашу слуга и чтѣ хотите; отдаюсь вамъ. Но не давайте работы свыше силъ: я не Потапычъ и говорю вамъ, что ни на чтѣ доброе не гожусь.

— Не я-съ, Петръ Петровичъ, наложу на васъ, а такъ какъ вы хотѣли бы послужить, какъ говорите сами, такъ вотъ вамъ богоугодное дѣло. Строится въ одномъ мѣстѣ церковь добродетельнымъ дательствомъ благочестивыхъ людей. Денегъ не достаетъ, нуженъ сборъ. Надѣньте простую сибиреу... вѣдь вы теперь простой человекъ, раззорившійся дворянинъ и тотъ же нищій: чтѣ-жъ тутъ чиниться? — да съ книгой въ рукахъ, на простой телѣжкѣ и отправляйтесь по городамъ и деревнямъ. Отъ архіерея вы получите благословеніе и шнуровую книгу, да и съ Богомъ.

Петръ Петровичъ былъ изумленъ этой совершенно новою должностію. Ему, все-таки дворянину нѣкогда древняго рода, отправиться съ книгой въ рукахъ просить на церковь! притомъ трястись на телѣжкѣ! А между тѣмъ вывернуться и уклониться нельзя: дѣло богоугодное.

— Приздумались? сказалъ Муразовъ. — Вы здѣсь двѣ службы сослужите: одну службу Богу, а другую — мнѣ.

— Какую же вамъ?

— А вотъ какую! Такъ какъ вы отправитесь по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ я еще не былъ, вы узнаете-съ на мѣстѣ все, какъ тамъ живутъ мужички: гдѣ побогаче, гдѣ терпятъ нужду и въ какомъ состояніи всѣ. Скажу вамъ, что мужичковъ люблю оттого, можетъ-быть, что я самъ изъ мужичковъ. Но дѣло въ томъ, что завелось

межъ ними много всякой мерзости. Раскольники тамъ и всякіе-съ бродяги смущаютъ ихъ, противъ властей и порядковъ ихъ возстаютъ, а если человѣкъ притѣсенъ, такъ онъ легко возстаеъ. Что-жь, будто трудно подстрекнуть человѣка, который точно терпитъ! Да дѣло въ томъ, что не снизу должна начитаться расправа. Дѣло плохо, когда пойдутъ на кулаки: ужъ тутъ никакого толку не будетъ — только ворами жива. Вы — человѣкъ умный, узнаете все это, гдѣ дѣйствительно терпитъ человѣкъ отъ другихъ смущеніе, а гдѣ отъ собственнаго неспокойнаго нрава, да и расскажете мнѣ потомъ все. Я вамъ на всякой случай небольшую сумму дамъ на раздачу тѣмъ, которые уже и дѣйствительно терпятъ безвинно. Съ вашей стороны будетъ также полезно утѣшить ихъ словомъ и лучше истолковать имъ то, что Богъ велитъ переносить безропотно, и молиться въ то время, когда несчастливы, а не буйствовать и расправляться самимъ. Словомъ, говорите имъ, никого не возбуждая ни противъ кого, а всѣхъ примиряя. Если увидите вы въ комъ противу кого бы то ни было ненависть, употребите все усиліе.

— Аванасій Васильевичъ! дѣло, которое вы мнѣ поручаете, сказалъ Хлобуевъ, — святое дѣло; но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человѣку почти святой жизни, который бы и самъ умѣлъ уже прощать другимъ.

— Да я и не говорю, чтобы все это вы исполнили, а по возможности, что можно. Дѣло-то въ томъ, что вы все-таки придете съ познаніемъ тѣхъ мѣстъ и будете имѣть понятіе, въ какомъ положеніи находится тотъ край. Чиновникъ не имѣетъ возможности, да и мужикъ-то съ нимъ не будетъ откровененъ. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому — и къ мѣщанину, и къ кушцу, и будете имѣть случай спросить всякого. Говорю-съ вамъ, что генераль-губернаторъ особенно теперь нуждается въ такихъ людяхъ; и вы, мимо всякихъ канцелярскихъ повышеній, получите такое мѣсто, гдѣ не бесполезна будетъ ваша жизнь.

— Попробую, приложу старанье, сколько хватить силъ, сказалъ Хлобуевъ, и въ голосѣ его было замѣтно ободреніе, спина распрямилась, голова приподнялась, какъ у человѣка, которому

свѣтитъ надежда. — Вижу, что васъ Богъ наградилъ разумнѣею, и вы знаете иное лучше насъ, близорукихъ людей.

— Теперь позвольте васъ спросить, сказалъ Муразовъ, — что-жь Чичиковъ и какого рода (человѣкъ)?

— Про Чичикова я вамъ расскажу вещи неслыханныя. Дѣлаетъ онъ такія дѣла.... Знаете ли, Аѳанасій Васильевичъ, что завѣщаніе вѣдь ложное? Отыскалось настоящее, гдѣ все имѣніе принадлежитъ воспитанницамъ.

— Что вы говорите? Да ложное завѣщаніе кто смастерилъ?

— Въ томъ-то и дѣло, что премерзѣйшее дѣло! Говорятъ: Чичиковъ, и что подписано завѣщаніе уже послѣ смерти: нарядили какую-то бабу, на мѣсто покойницы, и она ужъ подписала. Словомъ дѣло соблазнительнѣйшее. Подозрѣваютъ въ участіи и чиновниковъ. Ужъ говорятъ и генераль-губернаторъ знаетъ. Говорятъ, тысяча просьбъ поступила съ разныхъ сторонъ. Къ Марьѣ Еремѣевнѣ теперь подѣзжаютъ женихи; двое ужъ чиновныхъ лицъ изъ-за нея дерутся. Вотъ какого рода дѣло, Аѳанасій Васильевичъ!

— Не слышалъ я объ этомъ ничего, а дѣло точно не безъ грѣха. Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, признаюсь, для меня презагадочный (человѣкъ), сказалъ Муразовъ.

— Я подалъ отъ себя также просьбу, за тѣмъ, чтобы напомнить, что существуетъ ближайшій наслѣдникъ....

„....А мнѣ.... пусть ихъ всѣ передерутся“ думалъ Хлобуевъ, выходя. — „Аѳанасій Васильевичъ не глупъ. Онъ далъ мнѣ это порученіе, вѣрно, обдумавши.“ Онъ сталъ думать о дорогѣ, въ то время, когда Муразовъ все еще повторялъ въ себѣ: „Презагадочный для меня человѣкъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ! Вѣдь еслибы съ такою волей и настойчивостью да на доброе дѣло!“

А между тѣмъ въ самомъ дѣлѣ по судамъ шла просьба за просьбой. Оказались родственники, о которыхъ и не слыхалъ никто. Какъ птицы слетаются на мертвечину, такъ все налетѣло на несмѣтное имущество, оставшееся послѣ старухи: допросы на Чичикова и на подложность послѣдняго завѣщанія, доносы на подложность и перваго завѣщанія, улики въ покражѣ

и въ утаеніи суммъ. Явились даже улики на Чичикова въ покупкѣ мертвыхъ душъ, въ провозѣ контрабанды во время бытности его еще при таможенѣ. Выкопали все, разузнали его прежнюю исторію. Богъ вѣсть, какъ все это пронюхали и знали! Только были улики даже и въ такихъ дѣлахъ, о которыхъ, думалъ Чичиковъ, кромѣ его и четырехъ стѣнъ, никто не знаетъ. Покажѣть все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя вѣрная записка юрисконсульта, которую онъ вскорѣ получилъ, нѣсколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткаго содержанія: „Спѣшу васъ увѣдомить, что по дѣлу будетъ возня; но помните, что тревожиться никакъ не слѣдуетъ. Главное дѣло — спокойствіе. Обдѣлаемъ все.“ Записка эта успокоила совершенно его. „Точно геній!“ сказалъ Чичиковъ.

Въ довершеніе хорошаго, портной въ это время принесъ платье. Онъ получилъ желанье сильное посмотрѣть на самого себя въ новомъ фракѣ наваринскаго дыму съ пламенемъ. Натянулъ штаны, которые обхватили его чудеснымъ образомъ со всѣхъ сторонъ, такъ что хоть рисуй. Ляжки и икры тоже славно обтянуло сукно, обхватило всѣ малости, сообща имъ еще большую упругость. Какъ затянулъ онъ позади себя пряжку, животь сталъ точно барабанъ. Онъ ударилъ по немъ тутъ щеткой, прибавивъ: „Вѣдь какой дуракъ, а въ цѣломъ онъ составляетъ картину!“ Фракъ, казалось, былъ сшитъ еще лучше штановъ: ни морщины, всѣ бока обтянуты, выгнулся на перехватѣ, показавши весь его перегибъ. На замѣчаніе Чичикова, что подъ правой мышкой немного жало, портной только улыбался: отъ этого еще лучше прихватывало на талии. „Будьте покойны, будьте покойны насчетъ работы,“ повторялъ онъ съ нескрытымъ торжествомъ. — „Кромѣ Петербурга, нигдѣ такъ не сошьютъ.“ Портной былъ самъ изъ Петербурга и на вывѣскѣ выставилъ: *Иностранецъ изъ Лондона и Парижа*. Шутить онъ не любилъ и двумя городами разомъ хотѣлъ заткнуть глотку всѣмъ другимъ портнымъ, такъ чтобы впередъ никто не появился съ такими городами, и пусть себѣ пишетъ изъ какого-нибудь „Карлсору“ или „Копенгара.“

Чичиковъ великодушно расплатился съ портнымъ и, оставшись одинъ, сталъ разсматривать себя на досугъ въ зеркаль, какъ артистъ, съ эстетическимъ чувствомъ и соп апоге. Оказалось, что все какъ-то было еще лучше, чѣмъ прежде: щеки интереснѣе, подбородокъ заманчивѣе, бѣлые воротнички давали тонъ щекъ, атласный синій галстукъ давалъ тонъ воротничкамъ; новомодныя складки манишки давали тонъ галстуку, богатый бархатный (жилетъ) давалъ тонъ (манишкѣ), а фракъ наваринскаго дыму съ пламенемъ давалъ тонъ всему. Поворотился направо — хорошо! поворотился налево — еще лучше! Перегибъ такой, какъ у камергера или у чиновника, служащаго въ иностранной коллегіи, или у такого господина, который такъ чешетъ по-французски, что передъ нимъ самъ французъ — ничто, который, даже разсердясь, не срамитъ себя непристойнымъ словомъ на русскомъ языкѣ, а распечетъ французскимъ діалектомъ. Деликатность такая! Онъ попробовалъ, склоня голову нѣсколько на бокъ, принять позу, какъ бы адресовался къ дамѣ среднихъ лѣтъ и послѣдняго просвѣщенья: выходила, просто, картина! Художникъ, бери кисть и пиши! Въ удовольствіи, онъ совершилъ тутъ же легкой прыжокъ, въ родѣ антраша. Вздрогнулъ комодъ и шлепнулась на землю стеклянка съ одеколономъ. Но это не причинило никакого помѣщательства. Онъ назвалъ, какъ и слѣдовало, глупую стеклянку душой и подумалъ: „Къ кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше....“

Какъ вдругъ въ передней послышалось въ родѣ нѣкотораго бряканья сапоговъ со шпорами, и жандармъ вошелъ въ полномъ вооруженіи.... какъ будто въ лицѣ его было цѣлое войско. „Приказано сей же часъ явиться къ генераль-губернатору!“ Чичиковъ такъ и обомлѣлъ. Передъ нимъ торчало страшилище съ усами, лошадиный хвостъ на головѣ, черезъ плечо перевязъ, черезъ другое перевязъ, огромнѣйшій палашъ привѣшенъ къ боку. Ему показалось, что при другомъ боку висѣло и ружье, и чортъ знаетъ чтѣ. Цѣлое войско въ одномъ лицѣ — да и только! Онъ началъ-было возражать, но грубо заговорило страшилище: „Приказано сейчасъ!“ Взглянувъ сквозь дверь въ переднюю, онъ увидѣлъ, что тамъ мелькало и другое страшилище, взглянулъ

въ окошко — экипажъ. Чтò тутъ дѣлать? Такъ, какъ былъ во фракѣ наваринскаго дыму съ пламенемъ, долженъ былъ съѣсть и, дрожа всѣмъ тѣломъ, отправился къ генераль-губернатору, и жандармъ съ нимъ.

Въ передней не дали даже и опомниться ему. — Ступайте! васъ князь уже ждетъ, сказалъ дежурный чиновникъ. Передъ нимъ, какъ въ туманѣ, мелькнула передняя, съ курьерами, при-
нимавшими пакеты, черезъ которую онъ прошелъ, душая только: „Вотъ какъ схватить, да безъ суда, безъ всего, прямо въ Сибирь!“ Сердце его забилося съ такою силой, съ какою не бьется даже у наиревнивейшаго любовника. Наконецъ, растворилась передъ нимъ дверь: предсталъ кабинетъ, съ портфелями, шкэфами и книгами, и князь гнѣвный, какъ самъ гнѣвъ.

„Губитель, губитель!“ сказалъ Чичиковъ. „Онъ меня зарѣжетъ, какъ волкъ ягненка!“

— Я васъ пощадилъ, я позволилъ вамъ остаться въ городѣ, тогда какъ васъ слѣдовало бы въ острогъ; а вы запятнали себя вновь безчестнѣйшимъ мошенничествомъ, какимъ когда-либо запятналъ себя человекъ. — Губы князя дрожали отъ гнѣва.

— Какимъ же, ваше сіятельство, безчестнѣйшимъ поступкомъ и мошенничествомъ? спросилъ Чичиковъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Женщина, произнесъ князь, подступая нѣсколько ближе и смотря прямо въ глаза Чичикову, — женщина, которая подписывала, по вашей диктовкѣ, завѣщаніе, схвачена и станеть съ вами на очную ставку.

Чичиковъ сдѣлался блѣденъ, какъ полотно. — Ваше сіятельство! Скажу всю истину дѣла. Я не виноватъ, меня обнесли враги.

— Васъ не можетъ никто обнести, потому что въ васъ мерзостей въ нѣсколько разъ больше того, чтò можетъ выдумать послѣдній лжець. Вы во всю жизнь, я думаю, не дѣлали не-безчестнаго дѣла. Всякая копѣйка добытая вами, добыта безчестнѣйшимъ образомъ, есть воровство и безчестнѣйшее дѣло, за которое кнутъ и Сибирь! Нѣтъ, теперь полно! Съ сей же минуты будешь отведенъ въ острогъ и тамъ, съ послѣдними мерзавцами и разбойниками, ты долженъ ждать разрѣшенья участи

своей. И это мало еще, потому что хуже (ты) и въ нѣсколько разъ, (чѣмъ) тѣ, чтò въ армякахъ и тулупахъ, а вѣдь ты.... Онъ взглянулъ на фракъ наваринскаго дыму съ пламенемъ и, взявшись за шнурокъ, позвонилъ.

— Ваше сіятельство! вскрикнулъ Чичиковъ, — умилосердитесь вы хоть надъ семействомъ. Не меня пощадите, старуху мать!

— Врешь! вскрикнулъ гнѣвно князь. — Такъ же ты меня тогда умолялъ дѣтьми и семействомъ, которыхъ у тебя никогда не было.

— Ваше сіятельство! я мерзавецъ и послѣдній негодяй, сказалъ Чичиковъ. — Я дѣйствительно лгалъ, я не имѣлъ ни дѣтей, ни семейства; но, вотъ Богъ свидѣтель, я всегда хотѣлъ имѣть жену, исполнить долгъ человѣка и гражданина, чтобы дѣйствительно потомъ заслужить уваженіе гражданъ и начальства.... Но чтò за бѣдственныя стеченія обстоятельствъ! Ваше сіятельство! кровью нужно было добывать насущное существованіе. На всякомъ шагѣ соблазны и искушенья... враги и губители и похитители. Вся жизнь была — точно судно среди волнъ морскихъ. Я — человѣкъ, ваше сіятельство!

Слезы вдругъ хлынули ручьями изъ глазъ его. Онъ повалился въ ноги князю, такъ, какъ былъ, во фракъ наваринскаго дыму съ пламенемъ, въ бархатномъ жилетѣ, въ атласномъ галстукѣ, въ чудесно-сшитыхъ штанахъ, и ударился лбомъ, головою прической, изливавшей токъ сладкаго дыханья первѣйшаго одеколона.

— Поди прочь отъ меня! Позвать солдатъ, чтобы его взяли! сказалъ князь вошедшему.

— Ваше сіятельство! кричалъ Чичиковъ, обхвативъ обѣими руками сапогъ князя.

Чувство содроганья пробѣжало по всѣмъ жиламъ (князя).

— Подите прочь, говорю вамъ! сказалъ онъ, усиливаясь вырвать свою ногу изъ объятій Чичикова.

— Ваше сіятельство! не сойду съ мѣста, покуда не получу милости! говорилъ (Чичиковъ), не выпуская и прижимая сапогъ князя къ груди и пробѣжавшись, вмѣстѣ съ ногой, по полу во фракъ наваринскаго дыму съ пламенемъ.

— Подите, говорю вамъ! говорилъ онъ съ тѣмъ неизъяснимымъ чувствомъ отвращенья, какое чувствуетъ человѣкъ при видѣ безобразнѣйшаго насѣкомаго, котораго нѣтъ духу раздавить ногой. Онъ встряхнулъ такъ, что Чичиковъ почувствовалъ ударъ сапога въ носъ, губы и округленный подбородокъ, но не выпустилъ сапога и еще съ большею силой держалъ ногу въ своихъ объятіяхъ. Два дюжихъ жандарма насилу оттащили его и, взявши подъ руки, повели черезъ всѣ комнаты. Онъ былъ блѣдный, убитый, въ томъ безчувственно-страшномъ состояніи, въ какомъ бываетъ человѣкъ, видающій передъ собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему....

Въ самыхъ дверяхъ на лѣстницѣ встрѣтилъ его Муразовъ. Лучъ надежды вдругъ скользнулъ. Въ одинъ мигъ, съ силой естественной, вырвался онъ изъ рукъ обоихъ жандармовъ и бросился въ ноги изумленному старику.

— Батюшка, Павелъ Ивановичъ, что съ вами?

— Спасите! ведутъ въ острогъ, на смерть... — Жандармы схватили его и повели, не дали даже дослышать.

Промозглый, сырой чуланъ съ запахомъ сапоговъ и онучъ гарнизонныхъ солдатъ, некрашенный столъ, два скверныхъ стула, съ желѣзною рѣшеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой только дымилъ, а тепла не давало — вотъ обиталище, гдѣ помѣщенъ былъ Чичиковъ, уже не чаявшій вкушать сладость жизни и привлекать вниманіе соотечественниковъ въ тонкомъ повожѣ фракѣ наваринскаго пламени и дыма. Не дали ему даже распорядиться взять съ собой необходимыя вещи, взять шкатулку, гдѣ были деньги... Бумаги, крѣпости на мертвыя души — все было теперь у чиновниковъ. Онъ повалился на землю; безнадежная грусть плотояднымъ червемъ обвилась около его сердца. Съ возрастающею быстротой стала точить она это ничѣмъ не защищенное сердце. Еще день, день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свѣтѣ. Но и надъ Чичиковымъ не дремала чья-то всеспасающая рука. Часъ спустя, двери тюрьмы растворились. Вошелъ старикъ Муразовъ.

Еслибы истерзанному палащей жаждой влилъ кто въ засох-

нувшее горло струю ключевой воды, то онъ не оживился бы такъ какъ оживился бѣдннй Чичиковъ.

— Спаситель мой! сказала Чичиковъ, вдругъ схватившись съ полу, на который бросился въ разрывающей его печали, схватилъ его руку, быстро поцѣловаль ее и прижалъ къ груди. — Богъ да наградить васъ за то, что посѣтили несчастнаго!

Онъ залился слезами.

Старикъ глядѣлъ на него скорбно-болѣзненнымъ взоромъ и говорилъ только: — Ахъ, Павелъ, Павелъ Ивановичъ! Павелъ Ивановичъ, что вы сдѣлали!

— Я виновать и преступилъ, сдѣлалъ все, что свойственно подлѣйшему человѣку. Но посудите, посудите, развѣ можно такъ поступать? Я — дворянинъ. Безъ суда, безъ слѣдствія, бросить въ тюрьму, отобрать все отъ меня: вещи, шкатулку... тамъ деньги, тамъ все мое имущество, Аеанасій Васильевичъ, имущество, которое кровнымъ потомъ приобрѣлъ...

И, не въ силахъ будучи удерживать порывы вновь подступившей къ сердцу грусти, онъ громко зарыдалъ голосомъ, проникнувшимъ толщю стѣнъ острога и глухо отозвавшимся въ отдаленіи, сорвалъ съ себя атласный галстукъ и, схвативши рукою около воротника, разорвалъ на себѣ фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ.

— Павелъ Ивановичъ, все равно, и съ имуществомъ, и со всѣмъ, что ни есть, на вѣкъ вы должны проститься: вы подпали подъ неумолимый законъ, а не подъ власть какого человѣка.

— Самъ погубилъ себя самого, чувствую, что погубилъ — не умѣлъ въ-время остановиться. Но за что же такая страшная (кара), Аеанасій Васильевичъ? Я развѣ разбойникъ? Отъ меня развѣ пострадалъ кто-нибудь? Развѣ я сдѣлалъ несчастнымъ человѣка? Трудомъ и кровнымъ потомъ добывалъ копѣйку. Зачѣмъ добывалъ копѣйку? — Затѣмъ, чтобы въ семействѣ прожить остатокъ дней, оставить что-нибудь женѣ, дѣтямъ, которыхъ нажѣревался приобрести для блага, для службы отечеству. Покривилъ, не скрою, покривилъ... что-жъ дѣлать? но вѣдь покривилъ только тогда, когда увидѣлъ, что прямою дорогой не возьмешь. Но вѣдь я трудился, я изощрялся. А эти мерзавцы,

которые по судамъ берутъ тысячи съ казны, небогатыхъ людей грабятъ, послѣднюю копѣйку сдираютъ съ того, у кого нѣтъ ничего!... Аванасій Васильевичъ, да вѣдь сколько трудовъ, сколько терпѣнія! Да я, можно сказать, вытерпѣлъ всякую добытую копѣйку страданіями, страданіями! Пусть ихъ кто-нибудь выстрадаетъ то, что я! Вѣдь что вся жизнь моя? — Лютая борьба, судно среди волнъ. И лишиться вдругъ всего, что выработалъ!... Аванасій Васильевичъ, то, что приобрѣлъ такою борьбой...

Онъ не договорилъ и громко зарыдалъ отъ нестерпимой боли сердца, и упалъ на стулъ, и оторвалъ совсѣмъ висѣвшую полу фрака и швырнулъ ее прочь отъ себя, и, запустивши обѣ руки себѣ въ волосы, обѣ укрѣпленіи которыхъ прежде старался, безжалостно рвалъ ихъ, услаждаясь болью, которою хотѣлъ заглушить ничѣмъ неугасимую боль сердца.

— Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! говорилъ (Муразовъ), скорбно смотря на него и качая головой, — какой бы изъ васъ былъ человѣкъ, еслибы съ такою же силой и терпѣніемъ да подвигались бы на добромъ пути и для лучшей (цѣли)! Еслибы хотя кто-нибудь изъ тѣхъ людей, которые любятъ добро, да употребилъ бы столько усилій для него, какъ вы для добыванья своей копѣйки! да счумѣлъ бы такъ пожертвовать для добра и собственнымъ самолюбіемъ, и честолюбіемъ, не жалѣя себя, какъ вы не жалѣли для добыванья копѣйки!...

— Аванасій Васильевичъ! сказалъ бѣдный Чичиковъ и схватилъ его обѣими руками за руку. — О, еслибы удалось мнѣ освободиться, возвратить мое имущество! клянусь вамъ, повелъ бы отнынѣ совсѣмъ другую жизнь! Спасите, благодѣтель, спасите.

— Что-жъ могу я сдѣлать? Я долженъ воевать съ закономъ. Положимъ, еслибъ я даже и рѣшился на это; но вѣдь князь сиреведливъ, — онъ ни за что не отступить.

— Благодѣтель! вы все можете сдѣлать. Не законъ меня устрашаетъ, — я передъ закономъ найду средства, но то, что я брошенъ въ тюрьму, что я пропаду здѣсь, какъ собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка... спасите!

Онъ обнялъ ноги старика и облилъ ихъ слезами.

— Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! говорилъ старикъ Муравовъ, качая головою. — Какъ васъ ослѣпило это имущество! Изъ-за него вы и бѣдной души своей не слышите!

— Подумаю и о душѣ, но спасите!

— Павелъ Ивановичъ! сказалъ старикъ Муравовъ и остано-вился. — Спасти васъ не въ моей власти: вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобъ облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сдѣлать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павелъ Ивановичъ, — я попрошу у васъ награды за труды. Бросьте всѣ эти поползновенья на эти приобрѣтенья. Говорю вамъ по чести, что еслибы я и всего лишился моего имущества, — а у меня его больше, чѣмъ у васъ, — я бы не заплакалъ. Ей-ей, (дѣло) не въ этомъ имуществѣ, которое могутъ конфисковать, а въ томъ, котораго никто не можетъ украсть и отнять! Вы ужъ прожили на свѣтѣ довольно. Вы сами называете жизнь свою судномъ среди волнъ. У васъ есть уже чѣмъ прожить остатокъ дней. Поселитесь себѣ въ тихомъ уголкѣ, поближе къ церкви и простымъ, добрымъ людямъ; или, если знобить сильное желаніе оставить по себѣ потомковъ, женитесь на небогатой, доброй дѣвушкѣ, привыкшей къ умѣренности и простому хозяйству; забудьте этотъ шумный міръ и всѣ его обольстительныя прихоти. Пусть и онъ васъ позабудетъ. Въ немъ нѣтъ успокоенья. Вы видите: все въ немъ врагъ, искуситель, или предатель.

Чичиковъ задумался. Что-то странное, какія-то невѣдомыя дотолѣ, незнаемыя, необъяснимыя ему чувства пришли къ нему, какъ будто хотѣло въ немъ что-то пробудиться, что-то подавленное изъ дѣтства суровымъ, мертвымъ поученьемъ, безпривѣтностью скучнаго дѣтства, пустынностью родного жилища, безсмысленнымъ одиночествомъ, нищетой и бѣдностью первоначальныхъ впечатлѣній, суровымъ взглядомъ судьбы, взглянувшей на него скудно, севозъ какое-то мутное стекло, занесенное зимнею вьюгой, — точно хотѣло вырваться на волю.

— Спасите только, Аеанасій Васильевичъ! Вѣрьте, поведу другую жизнь, послѣдую вашему совѣту! Вотъ вамъ мое слово!

— Смотрите же, Павелъ Ивановичъ, отъ слова не отступитесь, сказалъ Муразовъ, держа его руку.

— Отступился бы, можетъ-быть, еслибы не такой страшный урокъ, сказалъ вздохнувши бѣдный Чичиковъ и прибавилъ: — Но урокъ тяжелъ, тяжелъ урокъ, Аванасій Васильевичъ!

— Хорошо, что тяжелъ. Благодарите за это Бога, помолитесь. Я пойду стараться. Сказавши это, старикъ вышелъ.

Чичиковъ уже не плакалъ, не рвалъ на себѣ фрака и волосъ. Онъ успокоился.

— Нѣтъ, полно! сказалъ онъ наконецъ, — другую, другую жизнь! Пора въ самомъ дѣлѣ сдѣлаться порядочнымъ. Еслибы мнѣ какъ-нибудь только выпутаться и ухватить хоть съ небольшимъ капиталомъ, поселюсь вдали отъ.... Если, однакоже, получу назадъ бумаги и купчія?... Онъ подумалъ: „Что же? ужели оставить это дѣло, чтѣ съ такимъ трудомъ приобрѣлъ?... Больше не стану покупать, но заложить тѣ нужно. Вѣдь приобретіе это стоило трудовъ! Это я заложу съ тѣмъ, чтобы на деньги купить помѣстье. Сдѣлаюсь помѣщикомъ, потому что тутъ можно сдѣлать много хорошаго.“ И въ мысляхъ его пробудились тѣ чувства, которыя овладѣли имъ, когда онъ былъ у Скудронжогло, и милая, при грѣющемъ свѣтѣ вечернемъ, умная бесѣда хозяина о томъ, какъ плодотворно и полезно занятіе помѣстьемъ. Деревня такъ вдругъ представилась ему прекрасною, точно какъ бы онъ въ силахъ былъ почувствовать всѣ прелести деревни.

— Глупы мы, за суетой гоняемся! сказалъ онъ наконецъ: — Право, отъ бездѣлья! Все близко, все подъ рукой, а мы бѣжимъ за тридевять земель. Чѣмъ не жизнь, если займешься хоть бы и въ глуши? Вѣдь удовольствіе дѣйствительно въ трудѣ. Скудронжогло правъ! Ничего нѣтъ слаще, какъ плодъ собственныхъ трудовъ.... Нѣтъ, займусь трудомъ, поселюсь въ деревнѣ, и займусь честно, такъ, чтобы имѣть доброе вліянье и на другихъ. Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, будто я уже совсѣмъ негодный? Есть способности къ хозяйству; я имѣю качества и бережливости, и расторопности, и благоразумія, даже постоянства. Стоить только рѣшиться.

Такъ думалъ Чичиковъ и полупробужденными силами души,

казалось, что-то осязалъ. Казалось, природа его темнымъ чуть-есть стала слышать, что есть какой-то долгъ, который нужно исполнять человѣку на землѣ, который можно исполнять всюду, на всякомъ углу, несмотря на всякія обстоятельства, смятенія и движенія, летающія вокругъ человѣка, на всякомъ мѣстѣ, на которомъ онъ поставленъ. И трудолюбивая жизнь, удаленная отъ шума городовъ и тѣхъ обольщеній, которыя отъ праздности выдумалъ человѣкъ, забывши о трудѣ своемъ, такъ сильно передъ нимъ стала рисоваться, что онъ уже почти позабылъ всю непріятность своего положенія и, можетъ-быть, готовъ былъ даже возблагодарить Провидѣніе за этотъ тяжелый ударъ, если только выпустятъ его, отдадутъ хотя часть.... Но одностворчатая дверь его нечистаго чулана растворилась; вошла чиновная особа — Самосвитовъ, лихачъ, въ плечахъ аршинъ, ноги страшныя, отличный товарищъ, кутила и продувная бестія, какъ выражались о немъ сами товарищи. Въ военное время человѣкъ этотъ надѣлалъ бы чудесъ. Еслибы послать его куда нибудь пробраться сквозь непроходимыя, опасныя мѣста, украсть подъ носомъ у самого непріятеля пушку, — это его бы дѣло. Но, за неизвѣніемъ военнаго поприща, на которомъ бы, можетъ-быть, онъ былъ честнымъ человѣкомъ, онъ пакостилъ и, непостижимое дѣло! съ товарищами онъ былъ хорошъ, ни кого не продавалъ и, давши слово, держалъ; но высшее надъ собою начальство онъ считалъ чѣмъ-то въ родѣ непріятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всякимъ слабымъ мѣстомъ, проломомъ, или упущеніемъ....

— Знаемъ все объ вашемъ положеніи, все услышали! сказали онъ, когда увидѣлъ, что дверь за нимъ плотно затворилась. — Ничего, ничего, не робѣйте: все будетъ поправлено. Всѣ стали работать за васъ и — ваши слуги! Тридцать тысячъ на всѣхъ — и ничего больше.

— Будто? вскрикнулъ Чичиковъ, — и я буду совершенно оправданъ?

— Кругомъ! еще и вознагражденіе получите за убытки.

— И за трудъ (сколько)?....

— Тридцать тысячъ. Тутъ уже все вмѣстѣ — и нашими, и генераль-губернаторскими, и секретарю.

— Но позвольте, какъ же я могу? Мои всѣ вещи, шкатулка, все это теперь запечатано, подъ присмотромъ....

— Черезъ часъ получите все. По рукамъ, что-ли?

Чичиковъ далъ руку. Сердце его билось, и онъ не довѣрялъ, чтобъ это было возможно....

— Пока прощайте! Поручилъ вамъ сказать нашъ общій пріятель, что главное дѣло — спокойствіе и присутствіе духа.

„Гм!“ подумалъ Чичиковъ, — „понимаю, юрисконсультъ!“

Самосвитовъ скрылся. Чичиковъ, оставшись, все еще не довѣрялъ словамъ, какъ не прошло часа послѣ этого разговора, какъ была принесена шкатулка, бумаги, и даже все въ наилучшемъ порядкѣ. Самосвитовъ явился въ качествѣ распорядителя: выбралъ поставленныхъ часовыхъ за то, что небдительны, осмотрѣлъ, приказалъ потребовать еще лишнихъ солдатъ для усиленія присмотра, взялъ не только шкатулку, но отобралъ даже всѣ такія бумаги, которыя могли бы чѣмъ-нибудь компрометировать Чичикова. Связавъ все это вмѣстѣ, запечаталъ и повелѣлъ самому солдату отнести немедленно къ самому Чичикову, въ видѣ необходимыхъ ночныхъ и спальныхъ вещей, такъ что Чичиковъ, вмѣстѣ съ бумагами, получилъ даже и все теплое, что нужно было для покрытія брэннаго его тѣла. Это скорое доставленіе обрадовало его несказанно. Онъ возымѣлъ сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какія приманки: вечеромъ театръ, плясунья, за которую онъ волочился. Деревня и тишина стали казаться ему блѣднѣй; городъ и шумъ опять ярче, яснѣй.... О, жизнь!

А между тѣмъ завязалось дѣло размѣра безпредѣльнаго въ судахъ и палатахъ. Работали перья писцовъ, и, понюхивая табакъ, трудились казусныя головы, любуясь, какъ художники, крючквою строкой. Юрисконсультъ, какъ скрытый магъ, незримо ворочалъ всѣхъ механизмомъ; всѣхъ опуталъ рѣшительно, прежде, чѣмъ кто успѣлъ осмотрѣться. Путаница увеличилась. Самосвитовъ превзошелъ самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, гдѣ караулилась схваченная жѣланка,

онъ явился прямо и вошелъ такимъ молодцомъ и начальникомъ, что часовой сдѣлалъ ему честь и вытянулся въ струнку. „Давно ты здѣсь стоишь?“ — „Съ утра, ваше благородіе; до моей смѣны три часа, ваше благородіе.“ — „Ты мнѣ будешь нуженъ. Я скажу офицеру, чтобы на мѣсто тебя отрядилъ другого“, — „Слушаю, ваше благородіе!“ И, уѣхавъ домой на минуту, чтобы не замѣшивать никого и всѣ концы въ воду, самъ нарядился жандармомъ, оказался въ усахъ и баккенбардахъ. Самъ чортъ бы не узналъ его. Явился въ домъ, гдѣ былъ Чичиковъ, и, схвативъ первую бабу, какая попалась, сдалъ ее двумъ чиновнымъ молодцамъ, докажь то же, а самъ прямо явился, въ усахъ и съ ружьемъ, какъ слѣдуетъ, къ часовому: „Ступай! меня прислалъ командиръ выстоять на мѣсто тебя смѣну.“ Обмѣнился и сталъ самъ съ ружьемъ. Только этого было и нужно. Въ это время, на мѣсто прежней бабы, очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куда-то такъ, что и потомъ не узнали, куда она дѣлась. Въ то время, когда Самосвитовъ подвизался въ лицѣ воина, юрисконсультъ произвелъ чудеса на гражданскомъ поприщѣ: губернатору далъ знать стороною, что прокуроръ на него пишетъ донесенія; жандармскому чиновнику далъ знать, что секретно проживающій чиновникъ пишетъ на него доносы; секретно проживающаго чиновника увѣрилъ, что есть еще секретнѣйшій чиновникъ, который на него доноситъ, и всѣхъ привелъ въ такое положеніе, что къ нему должны были обратиться за совѣтами. Произошла такая безтолковщина: доносъ сѣлъ верхомъ на доносѣ и пошли открываться такія дѣла, которыхъ на-лицо не видно, и даже такія, которыхъ и не было. Все пошло въ работу и въ дѣло: и кто незаконно-рожденный сынъ, и какого рода и званья, и у кого любовница, и чья жена за кѣмъ волочится. Скандалы, соблазны и все такъ замѣшалось и сплелось вмѣстѣ съ исторіей Чичикова, съ мертвыми душами, что никакимъ образомъ нельзя было понять, которое изъ этихъ дѣлъ было главнѣйшею чепухою. Оба казались равнаго достоинства. Когда стали наконецъ поступать бумаги къ генераль-губернатору, бѣдный князь ничего не могъ понять. Весьма умный и расторопный чиновникъ, которому поручено было

сдѣлать эстрактъ, чуть не сошелъ съ ума. Никакимъ образомъ нельзя было поймать нити дѣла. Князь былъ въ это время озаченъ множествомъ другихъ дѣлъ, одно другого непріятнѣйшихъ. Въ одной части губерніи оказался голодъ! Чиновники, посланные раздать хлѣбъ, какъ-то не такъ распорядились, какъ слѣдовало. Въ другой части губерніи разшевелились раскольники. Кто-то пропустилъ между ними, что народился антихристъ, который и мертвымъ не даетъ покоя, скупая какія-то мертвыя души. Калялись и грѣшили, и подъ видомъ, какъ изловить бы антихриста, укупили не антихристовъ. Въ другомъ мѣстѣ мужики взбунтовались противъ помѣщиковъ и капитанъ-исправниковъ. Какіе-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступаетъ такое время, что мужики должны быть помѣщиками и нарядиться во фраки, а помѣщики нарядиться въ армяки и будутъ мужиками, и цѣлая волость, не размысливъ того, что слишкомъ много выйдетъ тогда помѣщиковъ, отказалась платить капитанъ-исправникамъ всякую подать. Нужно было прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ. Бѣдный князь былъ въ самомъ разстроенномъ состояніи духа. Въ это время доложили ему, что пришелъ откупщикъ. „Пусть войдетъ“, сказалъ князь. Старикъ вошелъ....

— Вотъ вамъ Чичиковъ! Вы стояли за него и защищали. Теперь онъ попался въ такомъ дѣлѣ, на какое послѣдній воръ не рѣшится.

— Позвольте вамъ доложить, ваше сіятельство, что я не очень понимаю это дѣло.

— Подлогъ завѣщанія, и еще какой!... Публичное наказаніе плетью за этакое дѣло!

— Ваше сіятельство, скажу не съ тѣмъ, чтобы защищать Чичикова... Но вѣдь это дѣло не доказанное. Слѣдствіе еще не сдѣлано.

— Улика! Женщина, которая была наряжена на мѣсто умершей, схвачена! Я ее хочу распросить нарочно при васъ. Князь позвонилъ и далъ приказъ позвать ту женщину.

Муразовъ замолчалъ.

— Безчестнѣйшее дѣло! и, къ стыду, замѣшались первые чи-

новники города, самъ губернаторъ. Онъ не долженъ быть тамъ, гдѣ воры и бездѣльники! сказалъ князь съ жаромъ.

— Вѣдь губернаторъ — наслѣдникъ; онъ имѣлъ право на притязаніе; а что другіе-то со всѣхъ сторонъ прицѣпились, такъ это-сь, ваше сіятельство, человѣческое дѣло. Умерла-сь богатая, распорядженья умнаго и справедливаго не сдѣлала; слетѣлись со всѣхъ сторонъ охотники поживиться — человѣческое дѣло...

— Но вѣдь мерзости зачѣмъ же дѣлать?... Подлецы! сказалъ князь съ чувствомъ негодованья. — Ни одного чиновника нѣтъ у меня хорошаго; всё — мерзавцы!

— Ваше сіятельство! да кто-жь изъ насъ, какъ слѣдуетъ, хорошъ? Всѣ чиновники нашего города — люди, имѣютъ достоинства и многіе очень знающіе въ дѣлѣ, а отъ грѣха всякъ близокъ.

— Послушайте, Аѳанасій Васильевичъ: скажите мнѣ, — я васъ одного знаю за честнаго человѣка, — что у васъ за страсть защищать всякаго рода мерзавцевъ?

— Ваше сіятельство сказалъ Муразовъ, — кто бы ни былъ человѣкъ, котораго вы называете мерзавцемъ, но вѣдь онъ человекъ. Какъ же не защищать человѣка, когда знаю, что онъ половину золь дѣлаетъ отъ грубости и невѣдѣнія? Мы дѣлаемъ несправедливости на всякомъ шагу и всякую минуту бываемъ причиной несчастія другаго, даже и не съ дурнымъ намѣреніемъ. Вѣдь, ваше сіятельство, сдѣлали также большую несправедливость.

— Какъ! воскликнулъ въ изумленіи князь, совершенно пораженный такимъ неожиданнымъ оборотомъ рѣчи.

Муразовъ остановился, помолчалъ, какъ бы соображая что-то, и наконецъ сказалъ: — Да вотъ хоть бы и по дѣлу Дерпенникова.

— Аѳанасій Васильевичъ! преступленье противъ коренныхъ государственныхъ законовъ, равное измѣнѣ землѣ своей...

— Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который, по неопытности своей, былъ обольщенъ и сманенъ другими, осудятъ такъ, какъ и того, который былъ одинъ изъ зачинщиковъ? Вѣдь участь постигла равная и Дерпенникова и

какого-нибудь Вороного-Дрянного, а вѣдь преступленья ихъ не равны.

— Ради Бога.... сказалъ князь съ замѣтнымъ волненьемъ, — вы что-нибудь знаете объ этомъ? скажите. Я именно недавно писалъ еще прямо въ Петербургъ о смягченіи его участи.

— Нѣтъ, ваше сіятельство, я не насчетъ того говорю, что бы я зналъ что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя точно есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило въ его пользу, да онъ самъ не согласится, потому что чрезъ это пострадалъ бы другой. А я думаю только то, что не изволили-ль вы тогда слишкомъ поспѣшить. Извините, ваше сіятельство, я сузу по своему слабому разуму. Вы нѣсколько разъ приказывали мнѣ откровенно говорить. У меня-съ, когда я еще былъ начальникомъ, много было всякихъ работниковъ — и дурныхъ, и хорошихъ; такъ если не примешь во вниманье и прежнюю жизнь чловѣка, если не разспросишь обо всемъ хладнокровно, а накричишь съ перваго разу, запугаешь только его, — да и признанья настоящаго не добьешься; а какъ съ участіемъ его разспросишь, какъ братъ брата, — самъ все выскажетъ и даже не просить о смягченіи, и ожесточенья ни противъ кого нѣтъ, потому что ясно видить, что не я его наказываю, а законъ.

Князь задумался. Въ это время вошелъ молодой чиновникъ и почтительно остановился съ портфелемъ. Забота, трудъ выражались на его лицѣ, молодомъ и еще свѣжемъ. Видно было, что онъ не даромъ служилъ по особымъ порученьямъ. Это былъ одинъ изъ числа тѣхъ немногихъ, которые занимались дѣлопроизводствомъ соп атоге, не старая ни честолюбьемъ, ни желаньемъ прибытковъ, ни подражаньемъ другимъ. Онъ занимался только потому, что былъ убѣжденъ, что ему нужно быть здѣсь, а не на другомъ мѣстѣ, что для этого дана ему жизнь. Слѣдить, разобрать по частямъ и, поймавши всѣ нити запутаннѣйшаго дѣла, разъяснить его — это было его дѣло. И трудн, и старанія, и бессонныя ночи вознаграждались ему изобильно, если дѣло наконецъ начинало передъ нимъ объясняться, сокровенныя причины обнаруживаться и онъ чувствовалъ, что можетъ передать его все въ немногихъ словахъ, отчетливо и ясно, такъ что

всякому будетъ очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученикъ, когда передъ нимъ раскрывалась какая-либо труднѣйшая фраза и обнаруживался настоящій смыслъ мысли великаго писателя, какъ радовался онъ, когда передъ нимъ распутывалось запутаннѣйшее дѣло. Зато.... *).
хлѣбомъ въ мѣстахъ, гдѣ голодъ: я эту часть лучше знаю чиновниковъ, разсмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сіятельство, я поговорю и съ раскольниками. Они-то съ нашимъ братомъ, съ простымъ человекомъ, охотнѣе разговаряются. Такъ, Богъ-вѣсть, можетъ-быть, помогу уладить съ ними миролюбиво. А денегъ-то отъ васъ я не возьму, потому что, ей Богу, стыдно въ такое время думать о своей прибыли, когда умирають съ голоду. У меня есть въ запасъ готовый хлѣбъ; я и теперь еще послалъ въ Сибирь, и къ будущему лѣту вновь подвезуть.

— Васъ можетъ только наградить одинъ Богъ за такую службу, Аеанасій Васильевичъ. А я вамъ не скажу ни одного слова, потому что — вы сами можете чувствовать — всякое слово тутъ бессильно. Но позвольте мнѣ одно сказать на-счетъ той просьбы. Скажите сами: имѣю ли я право оставить это дѣло безъ вниманія, и справедливо ли, честно ли съ моей стороны будетъ простить мерзавцевъ?

— Ваше сіятельство, ей Богу, такъ нельзя назвать, тѣмъ болѣе, что изъ нихъ есть многіе весьма достойные. Затруднительны положенія человека, ваше сіятельство, очень, очень затруднительны. Бываетъ такъ, что, кажется, кругомъ виноватъ человекъ.... а какъ войдешь — даже и не онъ.

— Но что скажутъ они сами, если оставлю? Вѣдь есть изъ нихъ, которые послѣ этого еще больше подымутъ носъ и будутъ даже говорить, что они (меня) напугали. Они первые будутъ не уважать....

— Ваше сіятельство, позвольте мнѣ вамъ дать свое мнѣніе: соберите ихъ всѣхъ, дайте имъ знать, что вамъ все извѣстно, и представьте имъ ваше собственное положеніе точно такимъ

*) Тутъ пропускъ.

самымъ образомъ, какъ вы его изволили изобразить сейчасъ передо мной, и спросите у нихъ совѣта: что бы изъ нихъ каждый сдѣлалъ въ вашемъ положеніи?

— Да, вы думаете, имъ будутъ доступны движенія благороднѣйшія, чѣмъ каверзничать и наживаться? Повѣрьте, они надо мной посмѣются.

— Не думаю-съ, ваше сіятельство. У человѣка, даже и у того, кто похуже другихъ, все-таки чувство справедливо. Развѣ ужъ жидъ какой-нибудь, а не русской. Нѣтъ, ваше сіятельство, вамъ нечего скрываться. Скажите такъ точно, какъ изволили передо мной. Вѣдь они васъ поносятъ, какъ человѣка честолюбиваго, гордаго, который и слышать ничего не хочетъ, увѣренъ въ себѣ, — такъ пусть же увидятъ все, какъ оно есть. Что-жъ вамъ? Вѣдь ваше дѣло правое. Скажите имъ такъ, какъ бы вы не передъ ними, а передъ самимъ Богомъ принесли свою исповѣдь.

— Аеанасій Васильевичъ, сказалъ князь въ раздумьи, — я объ этомъ подумаю, а повуда благодарю васъ очень за совѣтъ.

— А Чичикова, ваше сіятельство, прикажете отпустить?

— Скажите этому Чичикову, чтобъ онъ убирался отсюда какъ можно поскорѣе, и чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. Его-то уже я бы никогда не простилъ.

Муразовъ поклонился и прямо отъ князя отправился къ Чичикову. Онъ нашелъ Чичикова уже въ духѣ, весьма покойно занимавшагося довольно порядочнымъ обѣдомъ, который былъ ему принесенъ въ фаянсовыхъ судкахъ изъ какой-то весьма порядочной кухни. По первымъ фразамъ разговора старикъ замѣтилъ тотчасъ, что Чичиковъ уже успѣлъ переговорить кое съ кѣмъ изъ чиновниковъ-казусниковъ. Онъ даже понялъ, что сюда вмѣшалось невидимое участіе знатока присконсульта.

— Послушайте-съ, Павелъ Ивановичъ, сказалъ онъ: — я привезъ вамъ свободу на такомъ условіи, чтобы сейчасъ васъ не было въ городѣ. Собирайте всѣ пожитки свои — да и съ Богомъ, не откладывая ни минуты, потому что дѣло еще хуже. Я знаю-съ, васъ тутъ одинъ человѣкъ настраиваетъ; такъ объявляю вамъ по секрету, что такое еще дѣло одно открывается, что ужъ ни-

какія силы не спасуть его. Онъ, конечно, радъ другихъ топить, чтобъ одному ему не скучно было, да дѣло къ раздѣлкѣ. Я васъ оставилъ въ расположеніи хорошемъ, лучшемъ, нежели въ какомъ вы теперь. Совѣтую вамъ совсѣмъ не въ шутку. Ей-ей, дѣло не въ этомъ имуществѣ, изъ-за котораго спорять люди и рѣжутъ другъ друга, точно какъ будто можно завести благоустройство въ здѣшней жизни, не помышляя о другой жизни. Повѣрьте-сь, Павелъ Ивановичъ, что покажѣсть, брося все, изъ-за чего грызутъ и ѣдятъ другъ друга на землѣ, не подумаютъ о благоустройствѣ душевнаго имущества, — не установится благоустройство и земнаго имущества. Наступятъ времена голода и бѣдности, какъ во всемъ народѣ, такъ и порознь во всякомъ.... Это-сь ясно. Чтò ни говорите, вѣдь отъ души зависить тѣло. Когда же хотите, чтобы шло какъ слѣдуетъ, подумайте не о мертвыхъ душахъ, а о своей живой душѣ, да и съ Богомъ на другую дорогу! Я тоже выѣзжаю завтрашній день. Поторопитесь! не то — безъ меня бѣда будетъ.

Сказавши это, старикъ вышелъ. Чичиковъ задумался. Значенье жизни опять показалось ему немаловажнымъ. „Муравовъ правъ,“ сказалъ онъ. „Пора на другую дорогу!“ Сказавши это, онъ вышелъ изъ тюрьмы. Часовой потащилъ за нимъ шпатулку. Селифанъ и Петрушка обрадовались, какъ Богъ знаетъ чему, освобожденью барина: „Ну, любезные,“ сказалъ Чичиковъ, обратившись (къ нимъ) милостиво, „нужно укладываться, да ѣхать.“

— Поватимъ, Павелъ Ивановичъ, сказалъ Селифанъ. — Дорога, должно-быть, установилась; снѣгу выпало довольно. Пора ужъ, право, выбраться изъ города. Надоѣлъ онъ такъ, что и глядѣть на него не хотѣлъ бы.

— Ступай къ каретнику, чтобы поставилъ коляску на полозки, сказалъ Чичиковъ и самъ пошелъ въ городъ, но ни къ кому не хотѣлъ заходить отдавать прощальныхъ визитовъ. Послѣ всего этого событія было и неловко, — тѣмъ болѣе, что о немъ много ходило въ городѣ самыхъ неблагопристойныхъ исторій. Онъ избѣгалъ всякихъ встрѣчъ и зашелъ потихоньку только къ тому купцу, у котораго купилъ сукна наваринскаго пламени съ дымомъ, взялъ вновь четыре аршина на фракъ и на штаны и

отправился самъ въ тому же портному. За двойную цѣну мастеръ рѣшилъ усилить рвеніе и засадилъ всю ночь работать при свѣчкахъ портное народонаселеніе; иглами, утюгами и зубами, и фракъ на другой день былъ готовъ, хотя и немножко поздно. Лошади были запряжены. Чичиковъ, однакожь, фракъ примѣрилъ. Онъ былъ хорошъ, точь-въ-точь какъ прежній. Но, увы, онъ замѣтилъ, что въ головѣ уже бѣдѣло что-то гладкое, и промолвилъ грустно: „И зачѣмъ было предаваться такъ сильно сокрушенію? А рвать волосъ не слѣдовало бы и подавно.“ Расплатившись съ портнымъ, онъ выѣхалъ наконецъ изъ города въ какомъ-то странномъ положеніи. Это былъ не прежній Чичиковъ; это была какая-то развалина прежняго Чичикова. Можно было бы сравнить его внутреннее состояніе души съ разобраннымъ строеніемъ, которое разобрано съ тѣмъ, чтобы строить изъ него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришелъ еще отъ архитектора опредѣлительный планъ и работники оставались въ недоумѣніи. Часомъ прежде его отправился старикъ Муравовъ, въ рогожной кибиткѣ, вмѣстѣ съ Потапычемъ; а часомъ послѣ отъѣзда Чичикова пошло (по городу) приказаніе, что князь, по случаю отъѣзда въ Петербургъ, желаетъ видѣть всѣхъ чиновниковъ до одинаго.

Въ большомъ залѣ генераль-губернаторскаго дома собралось все чиновное сословіе города, начиная отъ губернатора до титулярнаго совѣтника: правители канцелярій и дѣль, совѣтники, ассессоры, Кислоѣдовъ, Красноносковъ, Самосвитовъ, не бравшіе, бравшіе, кривившіе душой, полукривившіе и вовсе не кривившіе. Всѣ съ любопытствомъ, не совсѣмъ спокойнымъ, ожидали выхода. Князь вышелъ ни мрачный, ни ясный: взоръ его былъ твердъ такъ же, какъ и шагъ. Все чиновное собраніе поклонилось; многіе въ поясъ. Отвѣтивъ легкимъ поклономъ, князь началъ:

— „Уѣзжая въ Петербургъ, я почелъ приличнымъ повидаться съ вами и даже объяснить вамъ отчасти причину. У насъ завязалось дѣло очень соблазнительное. Я полагаю, что многіе изъ предстоящихъ знаютъ, о какомъ дѣлѣ я говорю. Дѣло это повело за собою открытіе и другихъ не менѣе безчестныхъ дѣлъ,

въ которыхъ замѣшались даже, наконецъ, и такіе люди, которыхъ я доселѣ почиталъ честными. Извѣстна мнѣ даже и сокровенная цѣль спутать такимъ образомъ все, чтобы оказалось полная невозможность рѣшить формальнымъ порядкомъ. Знаю даже, и кто главный, и чье (тутъ) сокровенное (дѣйствіе), хотя онъ и очень искусно скрылъ свое участіе. Но дѣло въ томъ, что я намѣренъ это слѣдить не формальнымъ слѣдованьемъ по бумагамъ, а военнымъ, быстрымъ судомъ, какъ въ военное (время), и надѣюсь, что государь мнѣ дастъ это право, когда я изложу все это дѣло. Въ такомъ случаѣ, когда нѣтъ возможности произвести это гражданскимъ образомъ, когда горятъ шкафы съ бумагами и наконецъ излишествомъ живыхъ постороннихъ показаній и ложными доносами стараются затемнить и безъ того довольно темное дѣло, — я полагаю военный судъ единственнымъ средствомъ и желаю знать мнѣніе ваше.“

Князь остановился, какъ бы ожидая отвѣта.

Все стояло, потупивъ глаза въ землю. Многіе были блѣдны.

— „Извѣстно мнѣ также еще одно дѣло, хотя производившіе его въ полной увѣренности, что оно никому не можетъ быть извѣстно. Производство его уже пойдетъ не по бумагамъ, потому что истцомъ и челобитчикомъ я буду уже самъ и представлю очевидныя доказательства.“

Кто-то вздрогнулъ среди чиновнаго собранія; нѣкоторые изъ боязливѣйшихъ тоже смутились.

— „Само по себѣ, что главнымъ зачинщикамъ должно послѣдовать лишеніе чиновъ и имущества, прочимъ отрѣшеніе отъ мѣстъ. Само собою разумѣется, что въ числѣ ихъ пострадаетъ и множество невинныхъ. Чтѣ-жь дѣлать? дѣло слишкомъ безчестное и вопіетъ о правосудіи. Хотя я знаю, что это будетъ даже и не въ урокъ другимъ, потому что на мѣсто выгнанныхъ явятся другіе, и тѣ самыя, которые дотолѣ были честны, сдѣлаются безчестными, и тѣ самыя, которые удостоены будутъ довѣренности, обманутъ и продадутъ; но, несмотря на все это, я долженъ поступить жестоко, потому что вопіетъ правосудье. Знаю, что будутъ меня обвинять въ суровой жестокости, но знаю, что тѣ будутъ еще менѣе меня обвинять, (для которыхъ) я долженъ

обратиться только въ одно безчувственное орудіе правосудія, которое должно упасть на (ихъ) головы.“

Содроганіе невольно пробѣжало по всѣмъ лицамъ.

Бнязь былъ покоенъ. Ни гнѣва, ни возмущенія душевнаго не выражало лицо.

— „Теперь тотъ самый, у котораго въ рукахъ участь многихъ и котораго никакія просьбы не въ силахъ были умолить, тотъ самый васъ всѣхъ просить. Все будетъ позабыто, изглажено, прощено; я буду самъ ходатаемъ за всѣхъ, если исполните мою просьбу. Вотъ моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими наказаньями нельзя искоренить неправды. Она слишкомъ уже глубоко вкоренилась. Безчестное дѣло брать взятки сдѣлалось необходимою и потребностью даже и для такихъ людей, которые и не рождены быть безчестными. Знаю, что уже даже невозможно многимъ идти противу всеобщаго теченія. Но я теперь долженъ, какъ въ рѣшительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякой гражданинъ несетъ все и жертвуетъ всѣмъ, — я долженъ сдѣлать кличъ хотя къ тѣмъ, у которыхъ еще есть въ груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово *благородство*. Чтò тутъ говорить о томъ, кто болѣе изъ насъ виноватъ! я, можетъ-быть, больше всѣхъ виноватъ; я, можетъ-быть, слишкомъ сурово васъ принялъ вначалѣ; можетъ-быть, излишней подозрительностью я оттолкнулъ изъ васъ тѣхъ, которые искренно хотѣли мнѣ быть полезными. Если они уже дѣйствительно любили справедливость и добро своей земли, не слѣдовало бы имъ оскорбиться надменностью моего обращенія, слѣдовало бы имъ подавить въ себѣ собственное честолюбіе и пожертвовать личностью. Не можетъ быть, чтобъ я не замѣтилъ ихъ самоотверженія и высшей любви къ добру и не принялъ бы наконецъ отъ нихъ полезныхъ и умныхъ совѣтовъ. Все-таки скорѣй подчиненному слѣдуетъ примѣняться къ праву начальника, чѣмъ начальнику къ праву подчиненнаго. Это законнѣй по крайней мѣрѣ и легче, потому что у подчиненныхъ одинъ начальникъ, а у начальника сотня подчиненныхъ. Но оставимъ теперь въ сторонѣ, кто кого больше виноватъ. Дѣло въ томъ, что пришло намъ спасать нашу землю;

что гибнетъ уже земля наша не отъ нашествія двадцати иноплеменныхъ языковъ, а отъ насъ самихъ; что уже мимо законнаго управленья образовалось другое правленье, гораздо сильнѣйшее всякаго законнаго. Установились свои условія, все оцѣнено и цѣны даже приведены во всеобщую извѣстность. И никакой правитель, хотя бы онъ былъ мудрѣе всѣхъ законодателей и правителей, не въ силахъ поправить зла, какъ ни ограничивай онъ дѣйствія дурныхъ чиновниковъ приставленіемъ въ надзиратели къ нимъ другихъ чиновниковъ. Все будетъ безуспѣшно, покуда не почувствуетъ изъ насъ всякъ, что онъ такъ же, какъ въ эпоху возстанія народовъ вооружался, долженъ возстать теперь противу неправды. Какъ Русскій, какъ связанный съ вами единокровнымъ родствомъ, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь къ вамъ. Я обращаюсь къ тѣмъ изъ васъ, кто имѣетъ понятіе какое-нибудь о томъ, чтò такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долгъ, который на всякомъ мѣстѣ предстоитъ человѣку. Я приглашаю разсмотрѣть ближе свой долгъ и обязанность занимаемой должности, потому что это уже намъ всѣмъ темно представляется и мы сдѣ....“



ВЫБРАННЫЯ МѢСТА

ИЗЪ

ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я былъ тяжело боленъ; смерть уже была близка. Собравши остатокъ силъ своихъ и воспользовавшихся первою минутой полной трезвости моего ума, я написалъ духовное завѣщаніе, въ которомъ, между прочимъ, возлагалъ обязанность на друзей моихъ издать, послѣ моей смерти, нѣкоторыя изъ моихъ писемъ. Мнѣ хотѣлось хотя симъ искупить безполезность всего, доселѣ мною напечатаннаго, потому что въ письмахъ моихъ, по признанію тѣхъ, къ которымъ они были писаны, находится болѣе нужнаго для человѣка, нежели въ моихъ сочиненіяхъ. Небесная милость Божія отвела отъ меня руку смерти. Я почти выздоровѣлъ; мнѣ стало легче. Но чувствуя, однако, слабость силъ моихъ, которая возвѣщаетъ мнѣ ежеминутно, что жизнь моя на волосѣхъ, и, приготавлиаясь къ отдаленному путешествію къ Святымъ мѣстамъ, необходимому душѣ моей, во время котораго можетъ все случиться, я захотѣлъ оставить при разставаньи что-нибудь отъ себя моимъ соотечественникамъ. Выбирая самъ изъ моихъ послѣднихъ писемъ, которыя мнѣ удалось получить назадъ, все, что болѣе относится къ вопросамъ, занимающимъ нынѣ общество, отстранивши все, что можетъ получить смыслъ только послѣ моей смерти, съ исключеніемъ всего, что могло имѣть значеніе только для немногихъ, — прибавлю двѣ-три статьи литературныя и, наконецъ, прилагаю самое завѣщаніе, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ моей смерти, еслибъ она застигла меня на пути моемъ, возымѣло оно тотчасъ свою законную силу, какъ засвидѣтельствованное всѣми моими читателями.

Сердце мое говоритъ, что книга моя нужна и что она можетъ быть полезна. Я думаю такъ не потому, чтобъ имѣлъ высокое о

себѣ понятіе и надѣялся на умѣнье свое быть полезнымъ, но потому, что никогда еще доселѣ не питалъ такого сильнаго желанія быть полезнымъ. Отъ насъ уже довольно бываетъ протянуть руку съ тѣмъ, чтобы помочь; помогаемъ же не мы, — помогаетъ Богъ, ниспосылая силу слову безсильному. Итакъ, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себѣ издать ее въ свѣтъ и прошу моихъ соотечественниковъ прочитать ее нѣсколько разъ; въ то же время прошу тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ достатокъ, кунить нѣсколько ея экземпляровъ и раздать тѣмъ, которые сами купить не могутъ, увѣдомля ихъ при этомъ случаѣ, что всѣ деньги, какія перевысятъ издержки на предстоящее мнѣ путешествіе, будутъ обращены, съ одной стороны, въ поддержаніе тѣмъ, которые, подобно мнѣ, почувствуютъ потребность внутреннюю отправиться къ наступающему великому посту во Святую Землю и не будутъ имѣть возможности совершить это одними собственными средствами; съ другой стороны — въ пособіе тѣмъ, которыхъ я встрѣчу на пути уже туда идущихъ и которые всѣ помолятся у гроба Господня за моихъ читателей, своихъ благотворителей.

Путешествіе мое хотѣлъ бы я совершить какъ добрый христіанинъ, и потому испрашиваю здѣсь прощенія у всѣхъ моихъ соотечественниковъ во всемъ, чѣмъ ни случилось мнѣ оскорбить ихъ. Знаю, что моими необдуманными и незрѣлыми сочиненіями нанесъ я огорченіе многимъ, а другихъ даже вооружилъ противъ себя, вообще же во многихъ произвелъ неудовольствіе. Въ оправданіе могу сказать только то, что намѣреніе мое было доброе и что я никого не хотѣлъ ни огорчать, ни вооружать противъ себя; но одно мое собственное неразуміе, одна моя поспѣшность и торопливость были причиною тому, что сочиненія мои предстали въ такомъ несовершенномъ видѣ и почти всѣхъ привели въ заблужденіе насчетъ ихъ настоящаго смысла; за все же, что ни встрѣчается въ нихъ умышленно-оскорбляющаго, прошу простить меня съ тѣмъ великодушіемъ, съ какимъ только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всѣхъ тѣхъ, съ которыми надолго или на короткое время случилось мнѣ встрѣтиться на дорогѣ жизни. Знаю, что мнѣ случилось многимъ на-

носить непріятности, инымъ, быть-можетъ, и умышленно. Вообще въ обхожденіи моемъ съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго. Отчасти это происходило оттого, что я избѣгалъ встрѣчь и знакомствъ, чувствуя, что не могу еще произнести умнаго и нужнаго слова человѣку (пустыхъ же и ненужныхъ словъ произносить мнѣ не хотѣлось), и будучи въ то же время убѣжденъ, что, по причинѣ безчисленнаго множества моихъ недостатковъ, мнѣ было необходимо хотя немного воспитать самого себя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ людей. Отчасти же это происходило и отъ мелочнаго самолюбія, свойственнаго только такимъ изъ насъ, которые изъ грязи пробрались въ люди и считаютъ себя въ правѣ глядѣть сънисиво на другихъ. Какъ бы то ни было, но я прошу прощенія во всѣхъ личныхъ оскорбленіяхъ, которыя мнѣ случилось нанести кому-либо, начиная отъ временъ моего дѣтства до настоящей минуты. Прошу также прощенія у моихъ собратьевъ-литераторовъ за всякое съ моей стороны пренебреженіе, или неуваженіе къ нимъ, оказанное умышленно, или неумышленно; кому же изъ нихъ по чему-либо трудно простить меня, тому напомнимъ, что онъ христіанинъ. Какъ говѣющій передъ исповѣдью, которую готовится отдать Богу, просить прощенія у своего брата, такъ я прошу у него прощенія, и какъ никто въ такую минуту не посмѣетъ не простить своего брата, такъ и онъ не долженъ посмѣть не простить меня. Наконецъ прошу прощенія у моихъ читателей, если и въ этой самой книгѣ встрѣтятся что-нибудь непріятное и кого-нибудь изъ нихъ оскорбляющее. Прошу ихъ не питать противъ меня гнѣва сокровеннаго, но вмѣсто того выставить благородно всѣ недостатки, какіе могутъ быть найдены ими въ этой книгѣ, — какъ недостатки писателя, такъ и недостатки человѣка: мое неразуміе, недомысліе, самонадѣянность, пустую увѣренность въ себѣ, — словомъ, все, что бываетъ у всѣхъ людей, хотя они того и не видятъ, и что, вѣроятно, еще въ большей мѣрѣ находится во мнѣ.

Въ заключеніе прошу всѣхъ въ Россіи помолиться обо мнѣ, начиная отъ святителей, которыхъ уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы какъ у тѣхъ, которые смиренно не вѣрують въ силу молитвъ своихъ, такъ и у тѣхъ, которые не вѣрують

вовсе въ молитву и даже не считаютъ ее нужною; но какъ бы ни была бессильна и черства ихъ молитва, я прошу помолиться обо мнѣ этою самой бессильной и черствою ихъ молитвой. Я же у гроба Господня буду молиться о всѣхъ моихъ соотечественникахъ, не исключая изъ нихъ ни одного; моя молитва будетъ также бессильна и черства, если святая, небесная милость не превратитъ ее въ то, чѣмъ должна быть наша молитва.

1846. Июль.

I.

Завѣщаніе.

Находясь въ полномъ присутствіи памяти и здраваго разсудка, излагаю здѣсь мою послѣднюю волю.

I. Завѣщаю тѣла моего не погребать до тѣхъ поръ, пока не покажутся явные признаки разложенія. Упоминаю объ этомъ потому, что уже во время самой болѣзни находили на меня минуты жизненнаго онѣмѣнія, сердце и пульсъ переставали биться.... Будучи въ жизни своей свидѣтелемъ многихъ печальныхъ событій отъ нашей неразумной торопливости во всѣхъ дѣлахъ, даже и въ такомъ, какъ погребеніе, я завѣщаю это здѣсь въ самомъ началѣ моего завѣщанія, въ надеждѣ, что, можетъ-быть, посмертный голосъ мой напомнитъ вообще объ осмотрительности. Предать же тѣло мое землѣ, не разбирая мѣста, гдѣ лежать ему; ничего не связывать съ оставшимся прахомъ. Стыдно тому, кто привлечется какимъ-нибудь вниманіемъ къ гниющей персти, которая уже не моя: онъ поклонится червямъ, ея грызущимъ. Прошу лучше помолиться покрѣпче о душѣ моей, а вмѣсто всякихъ погребальныхъ почестей угостить отъ меня простымъ ѣдомъ нѣсколькихъ немущихъ насущнаго хлѣба.

II. Завѣщаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о такомъ пустякѣ, христіанина недостойномъ. Кому же изъ близкихъ моихъ я былъ дѣйствительно дорогъ, тотъ воздвигнетъ мой памятникъ иначе: воздвигнетъ онъ его въ самомъ себѣ, своею неколебимою твердостью въ жизненномъ дѣлѣ, бодреньемъ и освѣженъемъ всѣхъ вокругъ себя. Кто послѣ моей смерти выростетъ выше духомъ, нежели какъ былъ при жизни моей, тотъ покажетъ, что онъ точно любилъ меня и былъ мнѣ другомъ, и сию только воздвигнетъ мнѣ памятникъ, потому что

и я, какъ ни былъ самъ по себѣ слабъ и ничтоженъ, всегда ободрялъ друзей моихъ, и никто изъ тѣхъ, кто сходилъ поближе со мною въ послѣднее время, — никто изъ нихъ, въ минуту своей тоски и печали, не видалъ на мнѣ унылаго вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковалъ я не меньше другихъ: пускай же объ этомъ вспомнить всякъ изъ нихъ послѣ моей смерти, сообразя всѣ слова, мной ему сказанныя, и перечтя всѣ письма, къ нему писанныя за годъ передъ симъ.

III. Завѣщаю вообще никому не оплакивать меня, и грѣхъ себѣ возьметъ на душу тотъ, кто станетъ почитать смерть мою какою-нибудь значительною, или всеобщею утратой. Еслибы даже и удалось мнѣ сдѣлать что-нибудь полезнаго и начиналъ бы я уже исполнять свой долгъ дѣйствительно такъ, какъ слѣдуетъ, и смерть унесла бы меня при началѣ дѣла, замышленного не на удовольствіе нѣкоторыхъ, но надобнаго всѣмъ, то и тогда не слѣдуетъ предаваться бесплодному сокрушенію. Еслибы даже вмѣсто меня умеръ въ Россіи мужъ дѣйствительно ей нужный въ теперешнихъ ея обстоятельствахъ, то и отъ того не слѣдуетъ приходить въ уныніе никому изъ живущихъ, хотя и справедливо то, что если одновременно похищаются люди всѣмъ нужные, то это знакъ гнѣва небеснаго, отъземлющаго симъ орудія и средства, которыя помогли бы инымъ подвигнуться ближе къ цѣли, насъ зовущей. Не унынію должны мы предаваться при всякой внезапной утратѣ, но оглянуться строго на самихъ себя, помышляя уже не о чернотѣ другихъ и не о чернотѣ всего міра, но о своей собственной чернотѣ. Страшна душевная чернота; и зачѣмъ это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоитъ предъ глазами?

IV. Завѣщаю всѣмъ моимъ соотечественникамъ (основываясь единственно на томъ, что всякой писатель долженъ оставить послѣ себя какую-нибудь благую мысль въ наслѣдство читателямъ), завѣщаю имъ лучшее изъ всего, что произвело перо мое, завѣщаю имъ мое сочиненіе подъ названіемъ: *Прощальная Поэма*. Оно, какъ увидятъ, относится къ нимъ. Его носилъ я долго въ своемъ сердцѣ, какъ лучшее свое сокровище, какъ знакъ небесной милости ко мнѣ Бога. Оно было источникомъ слезъ, никому незримыхъ, еще отъ временъ дѣтства моего. Его остав-

ляю имъ въ наслѣдство. Но умоляю, да не оскорбится никто изъ моихъ соотечественниковъ, если услышитъ въ немъ что-нибудь похожее на поученіе. Я писатель, а долгъ писателя — не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу; строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространится какая-нибудь польза душѣ и не останется отъ него ничего въ поученіе людямъ. Да вспомнятъ также мои соотечественники, что, и не бывши писателемъ, всякой отходящій отъ міра братъ нашъ имѣетъ право оставить намъ что-нибудь въ видѣ братскаго поученія, и въ этомъ случаѣ нечего глядѣть ни на малость его званія, ни на безсиліе, ни на самое неразуміе его: нужно помнить только то, что человѣкъ, лежащій на смертномъ одрѣ, можетъ иное видѣть лучше тѣхъ, которые кружатся среди міра. Несмотря, однако, на всѣ таковыя права мои, я бы все не дерзнулъ говорить о томъ, о чемъ они услышатъ въ *Прощальной Повѣсти*; ибо не мнѣ, худшему всѣхъ душою, страдающему тяжкими болѣзнями собственнаго несовершенства, произносить такія рѣчи. Но меня побуждаетъ къ тому другая, важнѣйшая причина. Соотечественники! страшно!... Замираетъ отъ ужаса душа при одномъ только предслышаніи загробнаго величія и тѣхъ духовныхъ высшихъ твореній Бога, предъ которыми пыль все величіе его твореній, здѣсь нами зримыхъ и насъ изумляющихъ. Стонетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія возрастанія и плоды, которыхъ сѣмена мы сѣяли въ жизни, не прозрѣвая и не слыша, какія страшилища отъ нихъ подымутся.... Можетъ-быть, *Прощальная Повѣсть* моя подѣйствуетъ сколько-нибудь на тѣхъ, которые до сихъ поръ еще считаютъ жизнь игрушкою, и сердце ихъ услышитъ хотя отчасти строгую тайну ея и сокровеннѣйшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники! не знаю и не умѣю какъ васъ назвать въ эту минуту.... прочь пустое приличіе! Соотечественники! я васъ любилъ, любилъ тою любовью, которую не высказываютъ, которую мнѣ далъ Богъ, за которую благодарю Его, какъ за лучшее благодѣяніе, потому что любовь эта была мнѣ въ радость и утѣшеніе среди наитягчайшихъ моихъ страданій. Во имя этой любви прошу васъ выслушать сердце мое *Прощальную Повѣсть*. Клянусь, я не сочинялъ

и не выдумалъ ея: она выпѣлась сама собою изъ души, которую воспиталъ самъ Богъ испытаніями и горемъ, а звуки ея взялись изъ сокровенныхъ силъ нашей русской породы, намъ общей, по которой я близкій родственникъ вамъ всѣмъ *).

V. Завѣщаю по смерти моей не спѣшить ни хвалою, ни осужденіемъ моихъ произведеній въ публичныхъ листахъ и журналахъ: все будетъ такъ же пристрастно, какъ и при жизни. Въ сочиненіяхъ моихъ гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживаетъ хвалу. Всѣ нападенія на нихъ были въ основаніи болѣе или менѣе справедливы. Передо мною никто не виноватъ; неблагороденъ и несправедливъ будетъ тотъ, кто попрекнетъ мною кого-либо въ какомъ бы то ни было отношеніи. Объявляю также во всеуслышаніе, что, кромѣ доселѣ напечатаннаго, ничего не существуетъ изъ моихъ произведеній: все, что было въ рукописяхъ, мною сожжено, какъ безсильное и мертвое, писанное въ болѣзненномъ и принужденномъ состояніи. А потому, еслибы кто-нибудь сталъ выдавать что-либо подъ моимъ именемъ, прошу считать это презрѣннымъ подлогомъ. Но возлагаю вмѣсто того обязанность на друзей моихъ собрать всѣ мои письма, писанныя къ кому-либо, начиная съ конца 1844 года, и, сдѣлавши изъ нихъ строгій выборъ только того, что можетъ доставить какую-нибудь пользу душѣ, а все прочее, служащее для пустого развлеченія, отвергнувши, издать отдѣльною книгою. Въ этихъ письмахъ было все-что, послуживше въ пользу тѣмъ, къ которымъ они были писаны. Богъ милостивъ, можетъ быть, послужатъ они въ пользу и другимъ, и снимется чрезъ то съ души моей хотя часть суровой отвѣтственности за бесполезность прежде написаннаго.

VI. По кончинѣ моей, никто изъ моихъ уже не имѣетъ права принадлежать себѣ, но всѣмъ тоскующимъ, страдающимъ и претерпѣвающимъ какое-нибудь жизненное горе. Чтобы домъ и деревня ихъ походила скорѣе на гостиницу и страннопріимный домъ, чѣмъ на обиталище помѣщика; чтобы всякой, кто ни при-

*) *Прощальная Поэма* не можетъ явиться въ свѣтъ: что могло имѣть значеніе по смерти, то не имѣетъ смысла при жизни.

ѣхаль, былъ ими принятъ какъ родной и близкій сердцу чело-
вѣкъ; чтобы радушно и родственно разспросили они его обо
всѣхъ обстоятельствахъ его жизни, дабы узнать, не понадобится
ли въ чемъ ему помочь, или же, по крайней мѣрѣ, дабы умѣть
ободрить и освѣжить его, чтобы никто изъ ихъ деревни не уѣз-
жалъ сколько-нибудь не утѣшеннымъ. Если же путникъ простого
званія, привыкнулъ къ нищенской жизни и ему неловко, по-
чему-либо, помѣститься въ помѣщицьемъ домѣ, то чтобы онъ
отведенъ былъ къ зажиточному и лучшему крестьянину по де-
ревнѣ, который былъ бы, при томъ, жизни примѣрной и умѣлъ
бы помогать собрату умнымъ совѣтомъ; чтобы онъ разспросилъ
своего гостя такъ же радушно обо всѣхъ обстоятельствахъ, обо-
дрилъ, освѣжилъ и снабдилъ разумнымъ напутствіемъ, донеся
потомъ обо всемъ владѣльцамъ, дабы и они могли, съ своей сто-
роны, прибавить къ тому свой совѣтъ или вспомошествованіе,
какъ и что найдутъ приличнымъ, чтобы такимъ образомъ никто
изъ ихъ деревни не уѣзжалъ и не уходилъ сколько-нибудь не
утѣшеннымъ *).

VII. Завѣщаю... но я вспомнилъ, что уже не могу этимъ
располагать. Неосмотрительнымъ образомъ похищено у меня пра-
во собственности: безъ моей воли и позволенія опубликованъ
мой портретъ. По многимъ причинамъ, которыя мнѣ объявлять
не нужно, я не хотѣлъ этого, не продавалъ никому права на
его публичное изданіе и отказывалъ всѣмъ книгопродавцамъ,
доселѣ приступавшимъ ко мнѣ съ предложеніемъ, и только въ
такомъ случаѣ предполагалъ себѣ это позволить, еслибы помогъ
мнѣ Богъ совершить тотъ трудъ, которымъ мысль моя была за-
нята во всю жизнь мою, и притомъ такъ совершить его, чтобы
всѣ мои соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно
исполнилъ свое дѣло, и даже пожелали бы узнать черты лица
того человѣка, который до времени работалъ въ тишинѣ и не
хотѣлъ пользоваться незаслуженной извѣстностью. Съ этимъ со-
единялось другое обстоятельство: портретъ мой въ такомъ случаѣ

*) VI статья содержитъ распоряженія по дѣламъ семейственнымъ; мы помѣ-
щаемъ здѣсь часть ея, характеризующую покойнаго Н. В. Гоголя.

могъ распродаться вдругъ во множествѣ экземпляровъ, принесъ значительный доходъ тому художнику, который долженъ былъ гравировать его. Художникъ этотъ уже нѣсколько лѣтъ трудился въ Римѣ надъ гравированіемъ безсмертной картины Рафаэля: Преображеніе Господне. Онъ всею пожертвовалъ для труда своего, труда убійственнаго, пожирающаго годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дѣло подходящее нынѣ къ концу, съ какимъ не исполнялъ еще ни одинъ изъ граверовъ. Но, по причинѣ высокой цѣны и малаго числа знатковъ, эстампъ его не можетъ разойтись въ такомъ количествѣ, чтобы вознаградить его за все; мой портретъ ему помогъ бы. Теперь планъ мой разрушенъ: разъ опубликованное изображение кого бы то ни было дѣлается уже собственностью каждаго, занимающагося изданіями гравюръ и литографій. Но еслибы случилось такъ, что, послѣ моей смерти, письма, послѣ меня изданныя, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже однимъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить), и пожелали бы мои соотечественники увидѣть и портретъ мой, то я прошу всѣхъ таковыхъ издателей благородно отказаться отъ своего права; тѣхъ же моихъ читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется извѣстностію, завели у себя какой-нибудь портретъ мой, прошу уничтожить его тутъ же, по прочтеніи сихъ строкъ, тѣмъ болѣе, что онъ сдѣланъ дурно и безъ сходства, и покупать только тотъ, на которомъ будетъ выставлено: *Гравировалъ Иордановъ*. Сямъ будетъ сдѣлано, по крайней мѣрѣ, справедливое дѣло. А еще будетъ справедливѣе, если тѣ, которые имѣютъ недостатокъ, станутъ, вмѣсто портрета моего, покупать самый эстампъ Преображенія Господня, который, по признанію даже чужеземцевъ, есть вѣнецъ гравировальнаго дѣла и составляетъ славу русскую.

Завѣщаніе мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всѣхъ журналахъ и вѣдомостяхъ, дабы, по случаю невѣдѣнія его, никто не сдѣлался передо мною невинно-виноватымъ и тѣмъ бы не нанесъ упрека на свою душу.

II.

Женщина въ свѣтѣ.

письмо къ.....ой.

Вы думаете, что никакого вліянія на общество имѣть не можете; я думаю напротивъ. Вліяніе женщины можетъ быть очень велико, именно теперь, въ нынѣшнемъ порядкѣ или безпорядкѣ общества, въ которомъ съ одной стороны представляется утомленная образованность гражданская, а съ другой — какое-то охлажденіе душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворенія. Чтобы произвести это оживотвореніе, необходимо сѣдѣйствіе женщины. Эта истина въ видѣ какого-то темнаго предчувствія пронеслась вдругъ по всѣмъ угламъ міра и все чего-то теперь ждетъ отъ женщины. Оставивши все прочее въ сторону, посмотримъ на нашу Россію, и въ особенности на то, что у насъ такъ часто передъ глазами — на множество всякаго рода злоупотребленій. Окажется, что большая часть взятокъ, несправедливостей по службѣ и тому подобнаго, въ чемъ обвиняютъ нашихъ чиновниковъ и нечиновниковъ всѣхъ классовъ, произошла или отъ расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадничаютъ блистать въ свѣтѣ большомъ и маломъ и требуютъ на то денегъ отъ мужей, или же отъ пустоты ихъ домашней жизни, преданной какимъ-то идеальнымъ мечтамъ, а не существу ихъ обязанностей, которыя въ нѣсколько разъ прекраснѣе и возвышеннѣе всякихъ мечтаній. Мужья не позволяли бы себѣ и десятой доли произведенныхъ ими безпорядковъ, если бы ихъ жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долгъ. Душа жены — хранительный талисманъ для мужа, оберегающій его отъ нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дорогѣ, и проводникъ, возвращающій его съ кривой на прямую; и, наоборотъ, душа жены можетъ быть его зломъ и погубить его на вѣки. Вы сами это почувствовали и выразились объ этомъ такъ хорошо, какъ до сихъ поръ еще никогда не выражались никакія женскія строки. Но вы говорите, что всѣмъ

другимъ женщинамъ предстоятъ поприща, а вамъ нѣтъ. Вы ихъ видите работу повсюду: или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, — словомъ, всячески помогать, а себѣ одной только не видите ничего и грустно повторяете: „Зачѣмъ я не на ихъ мѣстѣ!“ Знайте, что это общее ослѣпленіе. Всякому теперь кажется, что онъ могъ бы надѣлать много добра на мѣстѣ и въ должности другого, и только не можетъ сдѣлать его въ своей должности. Это причина всѣхъ золъ. Нужно подумать теперь о томъ всѣмъ намъ, какъ на своемъ собственномъ мѣстѣ сдѣлать добро. Повѣрьте, что Богъ не даромъ повелѣлъ каждому быть на томъ мѣстѣ, на которомъ онъ теперь стоитъ. Нужно только хорошо осмотрѣться вокругъ себя. Вы говорите: зачѣмъ вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которыя вамъ представляются теперь такъ ясно; зачѣмъ не разстроено ваше имѣніе, чтобы заставить васъ ѣхать въ деревню, быть помѣщицей и заняться хозяйствомъ; зачѣмъ вашъ мужъ не занять какую-нибудь общепользую трудную должность, чтобы вамъ хоть здѣсь ему помогать и быть силою, его освѣжающею, и зачѣмъ, вмѣсто всего этого, предстоятъ вамъ одни пустыя выѣзды въ свѣтъ и пустое, выдохшееся свѣтское общество, которое теперь вамъ кажется безлюднѣе самого безлюдья? Но тѣмъ не менѣе свѣтъ все же населенъ; въ немъ люди, и притомъ такіе же, какъ и вездѣ. Они и болѣютъ, и страдаютъ, и нуждаются, и безъ словъ вопіютъ о помощи, — и, увы, даже не знаютъ, какъ попросить о ней. Какому же нищему слѣдуетъ прежде помогать: тому ли, кто еще можетъ выходить на улицу и просить, или тому, который не въ силахъ уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чѣмъ вы можете быть кому-нибудь полезны въ свѣтѣ; что для этого нужно имѣть столько всякаго рода орудій, нужно быть такою и умной, и всезнающей женщиной, что у васъ уже кружится голова при одномъ помышленіи обо всемъ этомъ. А если для этого нужно быть только тѣмъ, что вы уже есть? А если у васъ уже есть именно такія орудія, которыя теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себѣ, совершенная правда: вы точно слишкомъ молоды, не приобрѣли

ни познанія людей, ни познанія жизни, — словомъ, ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другимъ; **можеть-быть**, даже вы и никогда этого не приобрѣтете: но у васъ есть другія орудія, съ которыми вамъ все возможно. Во-первыхъ, вы имѣете уже красоту, во-вторыхъ — не опозоренное, не оклеветанное имя; въ-третьихъ — власть, которой сами въ себѣ не подозреваете, власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Богъ не даромъ повелѣлъ инымъ изъ женщинъ быть красавицами; не даромъ опредѣлено, чтобы всѣхъ равно поражала красота, — даже и такихъ, которые ко всему безчувственны и ни къ чему неспособны. Если уже одинъ бессмысленный капризъ красавицы бывалъ причиною переворотовъ всемирныхъ и заставлялъ дѣлать глупости наинумнѣйшихъ людей, что же было бы тогда, еслибы этотъ капризъ былъ осмысленъ и направленъ къ добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно съ другими женщинами! Стало-быть, это орудіе сильное. Но вы имѣете еще высшую красоту — чистую прелесть какой-то особенной, одной вамъ свойственной невинности, которую я не умѣю опредѣлить словомъ, но въ которой такъ и свѣтится всѣмъ ваша голубиная душа. Знаете ли, что мнѣ признавались наизвратнѣйшіе изъ нашей молодежи, что передъ вами ничто дурное не приходило имъ въ голову, что они не отваживаются сказать въ вашемъ присутствіи не только двусмысленнаго слова, которымъ подчиваютъ другихъ избранницъ, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будетъ передъ вами какъ-то грубо и отзовется чѣмъ-то ухарскимъ и неприличнымъ. Вотъ уже одно вліяніе, которое совершается безъ вашего вѣдома отъ одного вашего присутствія! Кто не смѣетъ себѣ позволить при васъ дурной мысли, тотъ уже ея стыдится; а такое обращеніе на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шагъ человѣка къ тому, чтобы быть лучше. Стало-быть, это орудіе также сильное. Въ прибавленіе ко всему, вы имѣете уже самимъ Богомъ водворенное вамъ въ душу стремленіе, или, какъ называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даромъ внушена вамъ эта жажда, отъ которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замужъ за человѣка благороднаго, умнаго, имѣ-

ющаго всѣ качества, чтобы сдѣлать счастливою жену свою, какъ уже, намѣсто того, чтобы сокрыться въ глубину вашего домашняго счастья, мучитесь мыслию, что вы недостойны такого счастья, что не имѣете права имъ пользоваться въ то время, когда вокругъ васъ такъ много страданій, когда ежеминутно раздаются вѣсти о бѣдствіяхъ всякаго рода: о голодѣ, пожарахъ, тяжелыхъ горестяхъ душевныхъ и страшныхъ болѣзняхъ ума, которыми заражено текущее поколѣніе. Повѣрьте, это не даромъ. Кто заключилъ въ душѣ своей такое небесное безпокойство о людяхъ, такую ангельскую тоску о нихъ среди самыхъ развлекательныхъ увеселеній, тотъ много, много можетъ для нихъ сдѣлать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убѣгайте же свѣта, среди котораго вамъ назначено быть; не спорьте съ Провидѣніемъ. Въ васъ живетъ та невѣдомая сила, которая нужна теперь для свѣта: самый вашъ голосъ, отъ постоянного стремленія вашей мысли летѣть на помощь человѣку, приобрѣлъ уже какіе-то родные звуки всѣмъ, такъ что если вы заговорите въ сопровожденіи чистаго взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей устъ вашихъ, которая одѣмъ только вамъ свойственна, то каждому кажется, будто бы заговорила съ нимъ какая-то небесная родная сестра. Вашъ голосъ сталъ всемогущъ; вы можете повелѣвать и быть такимъ деснотомъ, какъ никто изъ насъ. Повелѣвайте же безъ словъ, однимъ присутствіемъ вашимъ; повелѣвайте самимъ безсиліемъ своимъ, на которое вы такъ негодуете; повелѣвайте именно тою женскою прелестью вашей, которую, увы, уже утратила женщина нынѣшняго свѣта. Съ вашей робкою неопытною, вы теперь въ нѣсколько разъ больше сдѣлаете, нежели женщина умная и все испытывавшая съ своей гордой самонадѣянностію: ея наумнѣйшія убѣжденія, съ которыми она бы захотѣла обратиться на путь нынѣшній свѣтъ, въ видѣ злыхъ эпиграммъ посылаются обратно на ея же голову; но ни у кого не посмѣетъ пошевелиться на губахъ эпиграмма, когда однимъ умоляющимъ взоромъ, безъ словъ, вы попросите кого-нибудь изъ насъ, чтобы онъ сдѣлался лучшимъ. Отчего вы такъ испугались разказовъ о свѣтскомъ развратѣ? Онъ точно есть, и еще даже въ большей мѣрѣ, нежели вы думаете; но вамъ и знать

объ этомъ не должно. Вамъ ли бояться жалкихъ соблазновъ свѣта? Влетайте въ него смѣло, съ тою же сіяющею улыбкою; входите въ него, какъ въ больницу, наполненную страждущими, но не въ качествѣ доктора, приносящаго строгія предписанія и горькія лѣкарства: вамъ не слѣдуетъ и разсматривать, какими болѣзнями кто боленъ. У васъ нѣтъ способности распознавать и ищѣвать болѣзни, и я вамъ не дамъ такого совѣта, какой бы мнѣ слѣдовало дать всякой другой женщинѣ, къ тому способной. Ваше дѣло только приносить страждущему вашу улыбку, да тотъ голосъ, въ которомъ слышится человѣку прилетѣвшая съ небесъ его сестра, — ничего больше. Не останавливайтесь долго надъ одними и спѣшите къ другимъ, потому что вы повсюду нужны. Увы, на всѣхъ углахъ міра ждуть и не дождутся ничего другого, какъ только тѣхъ родныхъ звуковъ, того самаго голоса, который у васъ уже есть. Не болтайте со свѣтомъ о томъ, о чемъ онъ болтаетъ; заставьте его говорить о томъ, о чемъ вы говорите. Храни васъ Богъ отъ всякаго педантства и отъ всѣхъ тѣхъ разговоровъ, которые исходятъ изъ устъ какой-нибудь нынѣшней львицы. Вносите въ свѣтъ тѣ же самые простодушные ваши рассказы, которые такъ говорливо у васъ изливаются, когда вы бываете въ кругу домашнихъ и близкихъ вамъ людей, когда такъ и сіяетъ всякое простое слово вашей рѣчи, а душѣ всякого, кто васъ ни слушаетъ, кажется, какъ будто бы она лепечетъ съ ангелами о какомъ-то небесномъ младенцествѣ человѣка. Эти-то именно рѣчи вносите и въ свѣтъ.

1846.

III.

Значеніе болѣзней.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

....Силы мои слабѣютъ ежеминутно, но не духъ. Никогда еще тѣлесные недуги не были такъ изнурительны. Часто бываетъ такъ тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всемъ составѣ

тѣла, что радъ бываешь, какъ Богъ знаетъ чему, когда наконецъ оканчивается день и доберешься до постели. Часто, въ душевномъ безсиліи, восклицаешь: „Боже! гдѣ же наконецъ берегъ всего?“ Но потомъ, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себѣ внутрь — ничего уже не издаетъ душа кромѣ однѣхъ слезъ и благодаренія. О, какъ нужны намъ недуги! Изъ множества пользы, которыя я уже извлекъ изъ нихъ, укажу вамъ только на одну: нынѣ каковъ я ни есть, но я все же сталъ лучше, нежели былъ прежде; не будь этихъ недуговъ, я бы задумалъ, что сталъ уже такимъ, какимъ слѣдуетъ мнѣ быть. Не говорю уже о томъ, что самое здоровье, которое безпрестанно подталкиваетъ русскаго человѣка на какіе-то прыжки и желаніе порисоваться своими качествами передъ другими, заставило бы меня надѣлать уже тысячу глупостей. Притомъ нынѣ, въ мои свѣжія минуты, которыя даетъ мнѣ милость небесная, и среди самыхъ страданій иногда приходятъ ко мнѣ мысли несравненно лучшія прежнихъ, и я вижу самъ, что теперь все, что ни выйдетъ изъ-подъ пера моего, будетъ значительнѣе прежняго. Не будь тяжкихъ болѣзненныхъ страданій, куда-бъ я теперь не занесся! какимъ бы значительнымъ человѣкомъ вообразилъ себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волосѣхъ, что недугъ можетъ остановить вдругъ тотъ трудъ мой, на которомъ основана вся моя значительность, и та польза, которую такъ желаетъ принести душа моя, останется въ одномъ безсильномъ желаніи, а не въ исполненіи, и не дамъ я никакихъ процентовъ на данные мнѣ Богомъ таланты, и буду осужденъ, какъ послѣдній изъ преступниковъ, — слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу словъ, какъ благодарить небеснаго Покровителя за мою болѣзнь. Принимайте же и вы покорно всякой недугъ, вѣря впередъ, что онъ нуженъ. Молитесь Богу только о томъ, чтобы открылось предъ вами его чудное значеніе и вся глубина его высокаго смысла.

IV.

О томъ, что такое слово.

Пушкинъ, когда прочиталъ слѣдующіе стихи изъ оды Державина къ Храповицкому:

За слова меня пусть гложеть,
За дѣла сатирикъ чтить —

сказалъ такъ: „Державинъ не совсѣмъ правъ: слова поэта суть уже его дѣла.“ Пушкинъ правъ. Поэтъ на поприщѣ слова долженъ быть такъ же безукоризненъ, какъ и всякой другой на своемъ поприщѣ. Если писатель станетъ оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиною неискренности, или необдуманности, или поспѣшной торопливости его слова, тогда и всякой несправедливый судья можетъ оправдаться въ томъ, что бралъ взятки и торговалъ правосудіемъ, складывая вину на свои тѣсныя обстоятельства, на жену, на большое семейство, — словомъ, мало ли на что можно сослаться? У человѣка вдругъ явятся тѣсныя обстоятельства. Потомству нѣтъ дѣла до того, кто былъ виною, что писатель сказалъ глупость, или нелѣпость, или же выразился вообще необдуманно и незрѣло. Оно не станетъ разбирать, кто толкалъ его подъ руку, близорукій ли пріятель, подстрекавшій его на рановременную дѣятельность, журналистъ ли, хлопотавшій только о выгодѣ своего журнала. Потомство не приметъ въ уваженіе ни кумовства, ни журналистовъ, ни собственной его бѣдности и затруднительнаго положенія. Оно сдѣлаетъ упрекъ ему, а не имъ: „Зачѣмъ ты не устоялъ противу всего этого? Вѣдь ты же почувствовалъ самъ честность званія своего; вѣдь ты же умѣлъ предпочесть его другимъ выгоднѣйшимъ должностямъ и сдѣлалъ это не вслѣдствіе какой-нибудь фантазіи, но потому, что въ себѣ услышалъ на то призваніе Божіе; вѣдь ты же получилъ въ добавку къ тому умъ, который видѣлъ подальше, пошире и поглубже дѣла, нежели тѣ, которые тебя подталкивали? Зачѣмъ же ты былъ ребенкомъ, а не мужемъ, получа все, что нужно для мужа?“ Словомъ, еще какой-нибудь обыкновенный писатель могъ бы оправдываться обстоятельствами, но не Державинъ.

винъ. Онъ слишкомъ повредилъ себѣ тѣмъ, что не сжегъ, по крайней мѣрѣ, цѣлой половины одѣ своихъ. Эта половина одѣ представляетъ явленіе поразительное: никто еще доселѣ такъ не посмѣялся надъ самимъ собою, надъ святынею своихъ лучшихъ вѣрованій и чувствъ, какъ сдѣлалъ это Державинъ въ этой несчастной половинѣ своихъ одѣ. Точно какъ бы онъ силился здѣсь намалевать каррикатуру на самого себя: все, что въ другихъ мѣстахъ у него такъ прекрасно, такъ свободно, такъ проникнуто внутреннею силою душевнаго огня, здѣсь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего, здѣсь повторены тѣ же самые обороты, выраженія и даже цѣликомъ фразы, которыя имѣютъ такую орлиную замашку въ его одушевленныхъ одахъ и которыя тутъ, просто, смѣшны и походятъ на то, какъ бы карликъ надѣлъ панцырь великана, да еще и не такъ, какъ слѣдуетъ. Сколько людей теперь произносятъ сужденіе о Державинѣ, основываясь на его пошлыхъ одахъ! сколько усомнилось въ искренности его чувствъ потому только, что нашли ихъ во многихъ мѣстахъ выраженными слабо и бездушно! какіе двусмысленные толки составились о самомъ его характерѣ, душевномъ благородствѣ и даже неподкупности того самаго правосудія, за которое онъ стоялъ! И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Пріятель нашъ П*** имѣетъ обыкновеніе, открывши какія ни пошло строки извѣстнаго писателя, тотъ же часъ ихъ тиснуть въ журналѣ, не взвѣсивъ хорошенько, къ чести ли это, или къ безчестию его. Онъ скрѣпляетъ все дѣло извѣстною оговоркою журналистовъ: „Надѣмся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщеніе сихъ драгоценныхъ строкъ: въ великомъ человѣкѣ все достойно любопытства“, и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкій читатель останется благодаренъ; но потомство плюнетъ на эти драгоценныя строки, если въ нихъ бездушно повторено то, что уже извѣстно, и если не дышетъ отъ нихъ святыня того, что должно быть свято. Чѣмъ истинны выше, тѣмъ нужно быть осторожнѣе съ ними: иначе онѣ вдругъ обратятся въ общія мѣста, а общими мѣстами уже не вѣрятъ. Нестолько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже, просто, не приготовленные пропо-

вѣдыватели Бога, державшіе произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться со словомъ нужно честно. Оно есть высшій подарокъ Бога человѣку. Вѣда произносить его писателю въ тѣ поры, когда онъ находится подъ вліяніемъ страстныхъ увлеченій, досады, или гнѣва, или какого-нибудь личнаго нерасположенія къ кому бы то ни было, — словомъ, въ тѣ поры, когда не пришла еще въ стройность его собственная душа; изъ него такое выйдетъ слово, которое всѣмъ опротивѣетъ; и тогда съ самымъ чистѣйшимъ желаніемъ добра можно произвести зло. Тотъ же нашъ пріятель П*** тому порука: онъ торопился всю свою жизнь, сѣвша дѣлиться всѣмъ съ своими читателями, сообщать имъ все, чего ни набирался самъ, не разбирая, созрѣла ли мысль въ его собственной головѣ такимъ образомъ, дабы стать близкою и доступною всѣмъ, — словомъ, выказывалъ передъ читателемъ себя всего во всемъ своемъ неряшествѣ. И чтѣ-жь? Замѣтили ли читатели тѣ благородныя и прекрасныя порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли отъ него то, чѣмъ онъ хотѣлъ съ ними подѣлиться? — Нѣтъ, они замѣтили въ немъ одно только неряшество и неопрятность, которыя прежде всего замѣчаютъ человѣкъ, и ничего отъ него не приняли. Тридцать лѣтъ работалъ и хлопоталъ, какъ муравей, этотъ человѣкъ, торопясь всю жизнь свою передать поскорѣе въ руки всѣмъ все, чтѣ ни находилось на пользу просвѣщенія и образованія русскаго, — и ни одинъ человѣкъ не сказалъ ему спасибо; ни одного признательнаго юноши я не встрѣтилъ, который бы сказалъ, что онъ обязанъ ему какимъ-нибудь новымъ свѣтомъ или прекраснымъ стремленіемъ къ добру, которое бы внушило его слово. Напротивъ, я долженъ былъ даже спорить и стоять за чистоту самыхъ намѣреній и за искренность словъ его предъ такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мнѣ было трудно даже убѣдить кого-либо, потому что онъ сѣужалъ такъ замаскировать себя предъ всѣми, что рѣшительно нѣтъ возможности показать его въ томъ видѣ, каковъ онъ дѣйствительно есть. Заговорить ли онъ о патріотизмѣ, онъ заговорить о немъ такъ, что патріотизмъ его кажется подкупной; о любви къ Царю, которую питаетъ онъ искренно и свято въ душѣ своей, изъяснится онъ такъ, что это походить на одно

раболѣпство и какое-то корыстное угожденіе. Его искренній, непритворный гнѣвъ противу всякаго направленія, вреднаго Россіи, выразится у него такъ, какъ бы онъ подавалъ доносъ на какихъ-то нѣкоторыхъ, ему одному извѣстныхъ, людей. Словожь, на всякомъ шагу онъ самъ свой клеветникъ. Опасно шутить писателю со словомъ. Слово гнило да не исходить изъ устъ нашихъ! Если это слѣдуетъ примѣнить ко всѣмъ намъ безъ изъятія, то во сколько кратъ болѣе оно должно быть примѣнено къ тѣмъ, у которыхъ поприще — слово и которымъ опредѣлено говорить о прекрасномъ и возвышенномъ. Бѣда, если о предметахъ святыхъ и возвышенныхъ станеть раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилыхъ предметахъ. Всѣ великіе воспитатели людей налагали долгое молчаніе именно на тѣхъ, которые владѣли даромъ слова, именно въ тѣ поры и въ то время, когда больше всего хотѣлось имъ пощеголять словомъ и рвалась душа сказать даже много полезнаго людямъ. Они слышали, какъ можно опозорить то, что стремишься возвысить, и какъ на всякомъ шагу языкъ нашъ есть нашъ предатель. — Наложилъ дверь и замки на уста твои, говоритъ Исусъ Сирахъ, — растопи золото и серебро, какое имѣешь, дабы сдѣлать изъ нихъ вѣсы, которые взвѣшивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста.

1844.

V.

Чтенія русскихъ поэтовъ передъ публикою.

письмо къ л**.

Я радъ, что наконецъ начались у насъ публичныя чтенія произведеній нашихъ писателей. Мнѣ уже писали объ этомъ кое-что изъ Москвы: тамъ читали разныя литературныя современности, а въ томъ числѣ и мои повѣсти. Я думалъ всегда, что публичное чтеніе у насъ необходимо. Мы какъ-то охотнѣе готовы дѣйствовать сообща, даже и читать; поодиначкѣ изъ насъ всякъ лѣнивъ, и

пока видить, что другіе не тронулись, самъ не тронется. Искусные чтецы должны создаться у насъ: среди насъ мало рѣчистыхъ говорунѡвъ, способныхъ щеголять въ палатахъ и парламентахъ, но много есть людей, способныхъ всякому *сочувствовать*. Передать, подѣлиться ощущеніемъ у многихъ обращается даже въ страсть, которая становится еще сильнѣе по мѣрѣ того, какъ живѣе начинаютъ замѣчать они, что не умѣютъ изъясняться словомъ (признакъ природы эстетической). Къ образованію чтецовъ способствуетъ также и языкъ нашъ, который какъ бы созданъ для искуснаго чтенія, заключая въ себѣ всѣ оттѣнки звуковъ и самые смѣлые переходы отъ возвышеннаго до простаго въ одной и той же рѣчи. Я даже думаю, что пбличныя чтенія со-временемъ замѣнятъ у насъ спектакли. Но я бы желалъ, чтобы въ нынѣшнія наши чтенія избиралось что-нибудь истинно-стдйщее публичнаго чтенія, чтобы и самому чтецу не жалъ было потрудиться надъ нимъ предварительно. Въ нашей современной литературѣ нѣтъ ничего такого, да и нѣтъ надобности читать современное: публика его прочтетъ и безъ того, благодаря страсти къ новизнѣ. Всѣ эти новыя повѣсти (въ томъ числѣ и мои) не такъ важны, чтобы сдѣлать изъ нихъ публичное чтеніе. Намъ нужно обратиться къ нашимъ поэтамъ, къ тѣмъ высокимъ произведеніямъ стихотворнымъ, которыя у нихъ долго обдумывались и обрабатывались въ головѣ, надъ которыми и чтець долженъ поработать долго. Наши поэты до сихъ поръ почти неизвѣстны публикѣ. Въ журналахъ о нихъ говорили много, разбирали ихъ даже весьма многословно, но высказывали больше самихъ себя, нежели разбираемыхъ поэтовъ. Журналы достигли только того, что сбили и спутали понятія публики о нашихъ поэтахъ, такъ что въ глазахъ ея личность каждаго поэта теперь двоятся, и никто не можетъ представить себѣ опредѣлительно, что такое изъ нихъ всякъ въ существѣ своемъ. Одно только искусное чтеніе можетъ установить о нихъ ясное понятіе. Но, разумѣется, нужно, чтобы самое чтеніе произведено было такимъ чтецомъ, который способенъ передать всякую неумовимую черту того, что читаетъ. Для этого не нужно быть пламеннымъ юношей, который готовъ сгоряча и не переводя духа прочесть въ одинъ вечеръ и трагедію, и комедію,

и оду, и все, что ни попадо. Прочестъ какъ слѣдуетъ произведеніе лирическое — вовсе не бездѣлица: для этого нужно долго его изучать; нужно раздѣлить искренно съ поэтомъ высокое ощущеніе, наполнявшее его душу; нужно душою и сердцемъ почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтеніе. Чтеніе это будетъ вовсе не крикливое, не въ жару и горячкѣ. Напротивъ, оно можетъ быть даже очень спокойное, но въ голосѣ чтеца послышится невѣдомая сила — свидѣтель истинно растроганнаго внутренняго состоянія. Сила эта сообщится всѣмъ и произведетъ чудо: потрясутся и тѣ, которые не потрясались никогда отъ звуковъ поэзіи. Чтеніе нашихъ поэтовъ можетъ принести много публичнаго добра. У нихъ есть много прекраснаго, которое не только совсѣмъ позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публикѣ въ какомъ-то низкомъ смыслѣ, о которомъ и не помышляли благородные сердцемъ наши поэты. Не знаю, кому принадлежитъ мысль — обратить публичныя чтенія въ пользу бѣднымъ, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда такъ много страждущихъ внутри Россіи отъ голода, пожаровъ, болѣзней и всякаго рода несчастій. Какъ бы утѣшились души отъ насъ удалившихся поэтовъ такимъ употребленіемъ ихъ произведеній!

1845.

 VI.

О помощи бѣднымъ.

изъ письма къ А. О. С. . . . ой

....Обращаюсь къ нападеніямъ вашимъ на глупость петербургской молодежи, которая затѣяла подносить золотые вѣнки и кубки чужеземнымъ пѣвцамъ и актрисамъ въ то самое время, когда въ Россіи голодаютъ цѣлыя губерніи. Это происходитъ не отъ глупости и не отъ ожесточенія сердецъ, даже и не отъ легкомыслія. Это происходитъ отъ человѣческой, всѣмъ намъ общей безпечности. Эти несчастія и ужасы, производимые го-

лодомъ, далеки отъ насъ; они совершаются внутри провинцій, они не передъ нашими глазами, — вотъ разгадка и объясненіе всего! Тотъ же самый, кто заплатилъ, дабы насладиться пѣніемъ Рубини, сто рублей за кресло въ театрѣ, продалъ бы свое послѣднее имущество, еслибы довелось ему быть свидѣтелемъ на дѣлѣ хотя одной изъ тѣхъ ужасныхъ картинъ голода, передъ которыми ничто всякіе страхи и ужасы, выставляемые въ мелодрамахъ. За пожертвованіемъ у насъ не станеть дѣло: мы всѣ готовы жертвовать. Но пожертвованія собственно въ пользу бѣдныхъ у насъ дѣлаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякой увѣренъ, дойдетъ ли, какъ слѣдуетъ, до мѣста назначенія его пожертвованіе, попадетъ ли оно именно въ тѣ руки, въ которыя должно попасть. Большею частію случается такъ, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая въ рукѣ, вся расхлещется по дорогѣ, прежде нежели донесется, — и нуждающемуся приходится посмотрѣть только на одну сухую руку, въ которой нѣтъ ничего. Вотъ о какомъ предметѣ слѣдуетъ подумать прежде, нежели начать собирать пожертвованія. Объ этомъ мы съ вами послѣ потолкуемъ, потому что это дѣло ни чуть не мало-важное и стѣдитъ того, чтобы о немъ толково потолковать. А теперь поговоримъ о томъ, гдѣ скорѣе нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, съ которымъ случилось несчастіе внезапное, которое вдругъ, въ одну минуту, лишило его всего за однимъ разомъ: или пожаръ, сжегшій все до тла, или падежъ, выморившій весь скотъ, или смерть, похитившая единственную подпору, — словомъ, всякое лишеніе внезапное, гдѣ вдругъ является человѣку бѣдность, къ которой онъ еще не успѣлъ привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно-христіанскимъ образомъ; если же она будетъ состоять въ одной только выдачѣ денегъ, она ровно ничего не будетъ значить и не обратится въ добро. Если вы не обдумали прежде въ собственной головѣ всего положенія того человѣка, которому хотите помочь, и не принесли съ собою ему наученія, какъ отнынѣ слѣдуетъ вести ему жизнь, онъ не получитъ большаго добра отъ вашей помощи. Цѣна поданной помощи рѣдко равняется цѣнѣ утраты; вообще, она едва составляетъ

половину того, что человекъ потерялъ, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русскій человекъ способенъ на всѣ крайности: увидя, что съ полученными небольшими деньгами онъ не можетъ вести жизнь, какъ прежде, онъ съ горя можетъ прокутить вдругъ то, что ему дано на долговременное содержаніе. А потому наставьте его, какъ ему изворотиться именно съ тою самою помощію, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значеніе несчастія, чтобы онъ видѣлъ, что оно послано ему за тѣмъ, дабы онъ измѣнилъ прежнее житіе свое, дабы отнынѣ онъ сталъ уже не прежній, но какъ бы другой человекъ и вещественно, и нравственно. Вы съумѣете это сказать умно, если только вникнете хорошенько въ его природу и въ его обстоятельство. Онъ васъ пойметъ: несчастіе умягчаетъ человека; природа его становится тогда болѣе чуткой и доступной къ пониманію предметовъ, превосходящихъ понятіе человека, находящагося въ обыкновенномъ и всеневномъ положеніи; онъ какъ бы весь обращается тогда въ разогрѣтый воскъ, изъ котораго можно лѣпить все, что ни захотите. Всего лучше, однакожь, еслибы всякая помощь производилась чрезъ руки опытныхъ и умныхъ священниковъ. Они одни въ силахъ истолковать человеку святой и глубокой смыслъ несчастія, которое, въ какихъ бы ни являлось образахъ и видахъ кому бы то ни было на землѣ, обитаетъ ли онъ въ избѣ или палатахъ, есть тотъ же крикъ небесный, вопіющій человеку о пережвѣнъ всей его прежней жизни.

1844.

VII.

Объ Одиссеѣ, переводимой Жуковскимъ.

ПИСЬМО КЪ Н. М. ЯЗЫКОВУ.

Появленіе Одиссеи произведетъ эпоху. Одиссея есть рѣшительно совершеннѣйшее произведеніе всѣхъ вѣковъ. Объемъ ея великъ; Иліада — предъ нею эпизодъ. Одиссея захватываетъ весь древній міръ, публичную и домашнюю жизнь, всѣ поприща

тогдашнихъ людей, съ ихъ ремеслами, знаніями, вѣрованіями, — словомъ, трудно даже сказать, чего бы не обняла Одиссея, или что бы въ ней было пропущено. Въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ служила она неизсякаемымъ колодезю для древнихъ, а потомъ и для всѣхъ поэтовъ. Изъ нея черпались предметы для безчисленнаго множества трагедій, комедій; все это разнеслось по всему свѣту, сдѣлалось достояніемъ всѣхъ, а сама Одиссея позабыта. Участь Одиссеи странна: въ Европѣ ея не оцѣнили. Виною этого отчасти недостатокъ перевода, который бы передавалъ художественно-великолѣпнѣйшее произведеніе древности, отчасти недостатокъ языка, въ такой степени богатаго и полнаго, на которомъ отразились бы всѣ безчисленныя неувимыя красоты какъ самого Гомера, такъ и вообще эллинской рѣчи, отчасти же недостатокъ, наконецъ, и самого народа, въ такой степени одареннаго чистотою дѣвственнаго вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь переводъ первѣйшаго поэтическаго творенія производится на языкѣ, полнѣйшемъ и богатѣйшемъ всѣхъ европейскихъ языковъ.

Вся литературная жизнь Жуковского была какъ бы приготовленіемъ къ этому дѣлу. Нужно было его стиху выработаться на сочиненіяхъ и переводахъ съ поэтовъ всѣхъ націй и языковъ, чтобы сдѣлаться потомъ способнымъ передать вѣчный стихъ Гомера, — уху его наслушаться всѣхъ лиръ, дабы сдѣлаться до того чуткимъ, чтобы и оттѣнокъ эллинскаго звука не пропалъ; нужно было мало того, что влюбиться ему самому въ Гомера, — получить еще страстное желаніе заставить всѣхъ соотечественниковъ своихъ влюбиться въ Гомера, на эстетическую пользу души каждаго изъ нихъ; нужно было совершиться внутри самого переводчика многимъ таинимъ событіямъ, которыя привели въ большую стройность и спокойствіе его собственную душу, необходимыя для передачи произведенія, замышленнаго въ такой стройности и спокойствіи; нужно было, наконецъ, сдѣлаться глубже христіаниномъ, дабы пріобрѣсти тотъ прозирающій, углубленный взглядъ на жизнь, котораго никто не можетъ имѣть, кромѣ христіанина, уже постигнувшаго значеніе жизни. Вотъ

своѣмъ условіямъ нужно было выполниться, чтобы переводъ Одиссеи вышелъ не рабская передача, но послышалось бы въ немъ слово живо и вся Россія приняла бы Гомера, какъ родного!

За то вышло что-то чудное. Это не переводъ, но скорѣе возсозданіе, возстановленіе, воскрешеніе Гомера. Переводъ какъ бы еще болѣе вводитъ въ древнюю жизнь, нежели самъ оригиналъ. Переводчикъ незримо сталъ какъ бы истолкователемъ Гомера, сталъ какъ бы какимъ-то зрительнымъ, выясняющимъ стекломъ передъ читателемъ, сквозь которое еще опредѣлительнѣе и яснѣе выказываются всѣ безчисленныя его сокровища.

По моему, всѣ нынѣшнія обстоятельства какъ бы нарочно обстановились такъ, чтобы сдѣлать появленіе Одиссеи почти необходимымъ въ настоящее время. Въ литературѣ, какъ и во всемъ — охлажденіе. Какъ очаровываться, такъ и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожныя, больныя произведенія вѣка, съ примѣсю всякихъ не переварившихся идей, нанесенныхъ политическими и прочими броженіями, стали значительно упадать: только одни задніе чтецы, привыкшіе держаться за хвосты журнальныхъ вождей, еще кое-что перечитываютъ, не замѣчая въ простодушіи, что козлы, ихъ предводившіе, давно уже остановились въ раздумьѣ, не зная сами, куда повести заблудшія стада свои. Словомъ, именно то время, когда слишкомъ важно появленіе произведенія стройнаго во всѣхъ частяхъ своихъ, которое изображало бы жизнь съ отчетливостію изумительною и отъ котораго повѣвало бы спокойствіемъ и простотою почти младенческою.

Одиссея произведетъ у насъ вліяніе какъ *вообще на встѣхъ*, такъ и *отдѣльно на каждого*.

Разсмотримъ то вліяніе, которое она можетъ у насъ произвести *вообще на встѣхъ*. Одиссея есть именно то произведеніе, въ которомъ заключались всѣ нужныя условія, дабы сдѣлать ее чтеніемъ всеобщимъ и народнымъ. Она соединяетъ всю увлекательность сказки и всю простую правду человѣческаго похождения, и гнѣющаго равную заманчивость для всякаго человѣка, кто бы онъ ни былъ. Дворянинъ, мѣщанинъ, купецъ, грамотѣй и неграмотѣй, рядовой солдатъ, лакей, дѣти обоого пола, начиная съ того возраста, когда ребенокъ начинаетъ любить сказку, — ее прочита-

ють и выслушаютъ безъ скуки. Обстоятельство слишкомъ важное, особенно если примемъ въ соображеніе то, что Одиссея есть вмѣстѣ съ тѣмъ самое нравственное произведеніе и что единственно затѣмъ и предпринята древнимъ поэтомъ, чтобы въ живыхъ образахъ начертать законы дѣйствій тогдашнему человѣку.

Греческое многобожіе не соблазнить нашего народа. Народъ нашъ уменъ: онъ растолкуетъ, не ломая головы, даже то, что приводитъ въ тупикъ умниковъ. Онъ здѣсь увидитъ только доказательство того, какъ трудно человѣку самому, безъ пророковъ и безъ откровенія свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога въ истинномъ видѣ, и въ какихъ нелѣпныхъ видахъ станетъ онъ представлять себѣ ликъ Его, раздробивши единство и единосиліе на множество образовъ и силъ. Онъ даже не посмѣется надъ тогдашними язычниками, признавъ ихъ ни въ чемъ не виноватыми: пророки имъ не говорили, Христосъ тогда не родился, апостоловъ не было. Нѣтъ, народъ нашъ скорѣе почешетъ у себя въ затылкѣ, почувствовавъ то, что онъ, зная Бога въ Его истинномъ видѣ, имѣя въ рукахъ уже письменный законъ Его, имѣя даже истолкователей закона въ отцахъ духовныхъ, молится лѣнивѣе и выполняетъ долгъ свой хуже древняго язычника. Народъ смѣкнетъ, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря за то, что онъ по невѣжеству взывалъ къ ней въ образѣ Посейдоновъ, Кроніоновъ, Гефестовъ, Геліосовъ, Кипридь и всей вереницы, которую наплело играющее воображеніе Грековъ. Словомъ, многобожіе отложить онъ въ сторону, а извлечь изъ Одиссеи то, что ему слѣдуетъ изъ нея извлечь, — то, что ощутительно въ ней видимо всѣмъ, что легло въ духъ ея содержанія и для чего написана сама Одиссея, то-есть, что человѣку вездѣ, на всякомъ поприщѣ, предстоитъ много бѣдъ, что нужно съ ними бороться, для того и жизнь дана человѣку, что ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ унывать, какъ не унывалъ и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался къ своему сердцу, не подозрѣвая самъ, что таковымъ внутреннимъ обращеніемъ къ самому себѣ онъ уже творилъ ту внутреннюю молитву Богу, которую въ минуты бѣдствій совершаетъ всякой человѣкъ, даже

не имѣющій никакого понятія о Богѣ. Вотъ то *общее*, тотъ живой духъ ея содержанія, которымъ произведетъ на всѣхъ впечатлѣннѣе Одиссея, прежде нежели они восхитятся ея поэтически-ми достоинствами, вѣрностью картинъ и живостью описаній, прежде нежели другіе поразятся раскрытіемъ сокровищъ древности въ такихъ подробностяхъ, въ какихъ не сохранили ея ни ваeanіе, ни живопись, ни вообще всѣ древніе памятники; прежде нежели третьи останутся изумлены необыкновеннымъ познаніемъ всѣхъ изгибовъ души человѣческой, которые всѣ были вѣдомы всевидѣвшему слѣпцу; прежде нежели четвертые будутъ поражены глубокимъ вѣдѣніемъ государственнымъ, знаніемъ трудной науки править людьми и властвовать ими, чѣмъ обладалъ также божественный старецъ, законодатель и своего, и грядущихъ поколѣній, — словомъ, прежде нежели кто-либо завлечется чѣмъ-нибудь отдѣльно въ Одиссеѣ сообразно своему ремеслу, занятіямъ, склонностямъ и своей личной особенноти. И все потому, что слишкомъ осязательно слышенъ этотъ духъ ея содержанія, эта внутренняя сущность его, что ни въ одномъ твореніи не проступаетъ она такъ сильно наружу, проникая все и преобладая надъ всѣмъ, особенно когда рассмотримъ еще, какъ ярки всѣ эпизоды, изъ которыхъ каждый въ силахъ застѣнуть главное.

Отчего-жъ такъ сильно это слышится всѣмъ? — Оттого, что залегло это глубоко въ самую душу древняго поэта. Видишь на всякомъ шагу, какъ хотѣлъ онъ облечь во всю обворожительную красоту поэзіи то, что хотѣлъ бы утвердить навѣки въ людяхъ, — какъ стремился укрѣпить въ народныхъ обычаяхъ то, что въ нихъ похвально, — напомнить человѣку лучшее и святѣйшее, что есть въ немъ и что онъ способенъ позабыть всякую минуту, — оставить въ каждомъ лицѣ своемъ примѣръ каждому на его отдѣльномъ поприщѣ, а всѣмъ вообще оставить въ своемъ неутомимомъ Одиссеѣ примѣръ на общечеловѣческомъ поприщѣ.

Это строгое почитаніе обычаевъ, это благоговѣнное уваженіе власти и начальниковъ, несмотря на ограниченные предѣлы самой власти, эта дѣвственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгнѣвіе старцевъ, это радушное гостепріимство, это уваженіе и почти благоговѣніе къ человѣку, какъ предста-

вителию образа Божія, это вѣрованіе, что ни одна благая мысль не зарождается въ головѣ его безъ верховной воли высшаго насъ Существа и что ничего не можетъ онъ сдѣлать своими собственными силами, — словомъ, все, всякая малѣйшая черта въ Одиссеѣ говоритъ о внутреннемъ желаніи поэта всѣхъ поэтовъ оставить древнему человѣку живую и полную книгу законодательства въ то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядковъ, когда еще никакими гражданскими и письменными постановленіями не были опредѣлены отношенія людей, когда люди еще многого не вѣдали и даже не предчувствовали, и когда одинъ только божественный старецъ все видѣлъ, слышалъ, соображалъ и предчувствовалъ, слѣпецъ, лишенный зрѣнія, общаго всѣмъ людямъ, и вооруженный тѣмъ внутреннимъ окомъ, котораго не имѣютъ люди.

И какъ искусно сокрытъ весь трудъ многолѣтнихъ обдумываній подъ простотою самаго простодушнѣйшаго повѣствованія! Кажется, какъ бы, собравъ весь людъ въ одну семью и усѣвшись среди нихъ самъ, какъ дѣдъ среди внуковъ, готовый даже съ ними ребячиться, ведетъ онъ добродушный рассказъ свой и только забывается о томъ, чтобы не утомить никого, не запугать неумѣстною длиннотою поученія, но развѣять и разнести его невидимо по всему творенію, чтобы играя набрались всѣ того, что дано не на игрушку человѣку, и незамѣтно бы надышались тѣмъ, что знаетъ онъ и видѣлъ лучшаго на своемъ вѣку и въ своемъ вѣкѣ. Можно бы почесть все за изливающуюся безъ приготовленія сказку, еслибы по внимательномъ разсмотрѣніи уже потомъ не открывалась удивительная постройка всего цѣлаго и порознь каждой пѣсни. Какъ глупы нѣмецкіе умники, выдумавшіе, будто Гомеръ — миѳъ, а всѣ творенія его — народныя пѣсни и рапсодіи!

Но разсмотримъ то вліяніе, которое можетъ произвести у насъ Одиссея *отдѣльно на каждого*. Во-первыхъ, она подвѣствуетъ на пишущую нашу братію, на сочинителей нашихъ. Она возвратитъ многихъ къ свѣту, проведя ихъ, какъ искусный лопманъ, съвозъ сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, не организованными писателями. Она снова напомнитъ намъ всѣмъ, въ какой безхитростной простотѣ нужно воссоздавать природу, какъ

уяснять всякую мысль до ясности почти осязательной, въ какомъ уравновѣшенномъ спокойствіи должна изливаться рѣчь наша. Она вновь дастъ почувствовать всѣмъ нашимъ писателямъ ту старую истину, которую вѣкъ мы должны помнить и которую всегда позабываемъ, а именно: до тѣхъ поръ не приниматься за перо, пока все въ головѣ не установится въ такой ясности и порядкѣ, что даже ребенокъ въ силахъ будетъ понять и удержать все въ памяти. Еще болѣе, нежели на самихъ писателей, Одиссея подѣйствуетъ на тѣхъ, которые еще готовятся въ писатели и, находясь въ гимназіяхъ и университетахъ, видятъ передъ собою еще туманно и неясно свое будущее поприще. Ихъ она можетъ навести съ самаго начала на прямой путь, избавивъ отъ лишняго шатанія по кривымъ закоулкамъ, по которымъ натолкались изрядно ихъ предшественники.

Во-вторыхъ, Одиссея подѣйствуетъ на вкусъ и на развитіе эстетическаго чувства. Она освѣжитъ критику. Критика устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новѣйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь. По поводу Одиссеи можетъ появиться много истинно дѣльныхъ критикъ, тѣмъ болѣе, что врядъ ли есть на свѣтѣ другое произведеніе, на которое можно было бы взглянуть съ такихъ многихъ сторонъ, какъ на Одиссею. Я увѣренъ, что толки, разборы, разсужденія, замѣчанія и мысли, ею возбужденныя, будутъ раздаваться у насъ въ журналахъ въ продолженіе многихъ лѣтъ. Читатели будутъ отъ этого не въ убыткѣ: критики не будутъ ничтожны. Для нихъ потребуется много перечесть, оглянуть вновь, почувствовать и перемыслить; пустой верхоглядъ не найдется даже, что и сказать объ Одиссеѣ.

Въ-третьихъ, Одиссея своею русскою одеждою, въ которую одѣлъ ее Жуковскій, можетъ подѣйствовать значительно на очищеніе языка. Еще ни у кого изъ нашихъ писателей, не только у Жуковскаго, во всемъ, что ни писалъ онъ доселѣ, и даже у Пушкина и Крылова, которые часто точнѣе его на слова и выраженія, не достигла до такой полноты русская рѣчь. Тутъ заключились всѣ ея извороты и обороты во всѣхъ видоизмѣненіяхъ.

Безконечно огромные періоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и періоды сжатые, краткіе, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы рѣчь, у него такъ братски улегаются другъ возлѣ друга, всѣ переходы и встрѣчи противоположностей совершаются въ такомъ благозвучіи, все такъ сливается въ одно, улетучивая тяжелый громоздъ всего цѣлаго, что кажется, какъ бы пропалъ вовсе всякой слогъ и складъ рѣчи: ихъ нѣтъ, какъ пѣтъ и самого переводчика. На мѣсто его стоитъ передъ глазами, во всемъ величіи, старецъ Гомеръ, и слышатся гдѣ величавыя, вѣчныя рѣчи, которыя не принадлежатъ устами какаго-нибудь человѣка, но которыхъ удѣлъ — вѣчно раздаваться въ мірѣ. Здѣсь-то увидятъ наши писатели, съ какою разумною осмотрительностію нужно употреблять слова и выраженія, какъ всякому простому слову можно возратить его возвышенное достоинство умѣнемъ помѣстить его въ надлежащемъ мѣстѣ, и какъ много значитъ для такого сочиненія, которое назначается на всеобщее употребленіе и есть сочиненіе гениальное, это наружное благоприличіе, эта внѣшняя обработка всего: тутъ малѣйшая соринка замѣтна и всѣмъ бросается въ глаза. Жуковскій сравниваетъ весьма справедливо эти соринки съ бумажками, которыя стали бы валяться въ великолѣпно-убранной комнатѣ, гдѣ все сіяетъ ясностью зеркала, начиная отъ потолка до паркета: всякой вошедшій прежде всего увидитъ эти бумажки, именно потому же самому, почему бы онъ ихъ вовсе не примѣтилъ въ неприбранной, нечистой комнатѣ.

Въ-четвертыхъ, Одиссея подѣйствуетъ въ любознательномъ отношеніи какъ на занимающихся науками, такъ и на неучившихся никакой наукѣ, распространяя живое познаніе древняго міра. Ни въ какой исторіи не начитаешь того, что отыщешь въ ней: отъ нея такъ и дышетъ временемъ минувшимъ, древній человѣкъ, какъ живой, такъ и стоитъ передъ глазами, какъ будто бы еще вчера его видѣлъ и говорилъ съ нимъ. Такъ его и видишь во всѣхъ его дѣйствіяхъ, во всѣ часы дня: какъ готовится онъ благоговѣнно къ жертвоприношенію, какъ бесѣдуетъ чинно съ гостемъ за пировою критерой, какъ одѣвается, какъ выходитъ на площадь, какъ слушаетъ старца, какъ поучаетъ юношу; его

домъ, его колесница, его спальная, малѣйшая мебель въ домѣ, отъ подвижныхъ столовъ до ременной закладки у дверей — все передъ глазами, еще свѣжѣе, нежели въ открытой изъ земли Помпей.

Наконецъ, я даже думаю, что появленіе Одиссея произведетъ впечатлѣніе на современный духъ нашего общества вообще. Именно въ нынѣшнее время, когда таинственною волею Провидѣнія сталъ слышаться повсюду болѣзненный ропотъ неудовлетворенія, голось неудовольствія человѣческаго на все, что ни есть на свѣтѣ: на порядокъ вещей, на время, на самого себя; когда всѣмъ, наконецъ, начинаетъ становиться подозрительнымъ то совершенство, на которое возвели насъ наша новѣйшая гражданственность и просвѣщеніе; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тѣмъ, чѣмъ онъ есть, можетъ-быть, происшедшая отъ прекраснаго источника быть лучше; когда сквозь нелѣпные крики и опрометчивыя проповѣдыванія новыхъ, еще темно-услышанныхъ идей, слышно какое-то всеобщее стремленіе стать ближе къ какой-то желанной серединѣ, найти настоящій законъ дѣйствій, какъ въ массахъ, такъ и отдѣльно взятыхъ особахъ; словомъ, въ это именно время Одиссея поразить величавою патріархальностію древняго быта, простою несложностію общественныхъ привычекъ, свѣжестью жизни, непритупленною, младенческою ясностію человѣка. Въ Одиссеѣ услышитъ сильный упрекъ себѣ нашъ девятнадцатый вѣкъ, и упрекамъ не будетъ конца, по мѣрѣ того, какъ станетъ онъ побольше всматриваться въ нее и вчитываться.

Что можетъ быть, на примѣръ, уже сильнѣе того упрека, который раздастся въ душѣ, когда разглядишь, какъ древній человѣкъ съ своими небольшими орудіями, со всѣмъ несовершенствомъ своей религіи, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибѣгать къ коварству для истребленія врага, съ своею непокорною, жестокою, не склонною къ повиновенію природою, съ своими ничтожными законами, умѣлъ, однакоже, однимъ только простымъ исполненіемъ обычаевъ старины и обрядовъ, которые не безъ смысла были установлены древними мудрецами и заповѣданы передаваться въ видѣ святыни отъ отца къ сыну, однимъ только простымъ исполненіемъ этихъ обычаевъ дошелъ до того, что приобрѣлъ какую-то стройность и даже красоту поступковъ, такъ что все въ

нежь сдѣлалось величаво съ ногъ до головы, отъ рѣчи до простого движенія и даже до складки платья, и кажется, какъ бы дѣйствительно слышишь въ немъ богоподобное происхожденіе человека? А мы, со всѣми нашими огромными средствами и орудіями къ совершенствованію, съ опытами всѣхъ вѣковъ, съ гибкою, переимчивою нашею природою, съ религіею, которая именно дана намъ на то, чтобы сдѣлать изъ насъ святыхъ и небесныхъ людей, — со всѣми этими орудіями умѣли дойти до какого-то неурящества и неурядиства, какъ внѣшняго, такъ и внутренняго, умѣли сдѣлаться лоскутными, мелкими, отъ головы до самаго платья нашего, и, ко всему еще въ прибавку, опротивѣли до того другъ другу, что не уважаетъ никто никого, даже не выключая и тѣхъ, которые толкують объ уваженіи ко всѣмъ.

Словомъ, на страждущихъ и болѣющихъ отъ своего европейскаго совершенства Одиссея подѣйствуетъ. Много напомнить она имъ младенчески-прекраснаго, которое (увь!) утрачено, но которое должно возвратить себѣ человѣчество, какъ свое законное наслѣдство. Многіе надъ многимъ призадумаются. А между тѣмъ многое изъ временъ патріархальныхъ, съ которыми есть такое средство въ русской природѣ, разнесется невидимо по лицу Русской земли. Благоухающими устами поэзіи навѣвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакою властію!

VIII.

Нѣсколько словъ о нашей церкви и духовенствѣ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т....МУ.

Напрасно смущаетесь вы нападеніями, которыя теперь раздаются на нашу церковь въ Европѣ. Обвинять въ равнодушіи духовенство наше будетъ также несправедливость. Зачѣмъ хотите вы, чтобы наше духовенство, доселѣ отличавшееся величавымъ спокойствіемъ, столь ему пристойнымъ, стало въ ряды

европейскихъ крикуновъ и начало, подобно имъ, печатать опрометчивыя брошюры? Церковь наша дѣйствовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаемъ плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездѣйствуетъ. Я очень знаю, что въ глубинѣ монастырей и въ тишинѣ велий готовятся неопровержимыя сочиненія въ защиту Церкви нашей. Но дѣла свои они дѣлаютъ лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требуетъ такой предметъ, совершаютъ свой трудъ въ глубокомъ спокойствіи, молясь, воспитывая самихъ себя, изгоняя изъ души своей все страстное, похожее на неумѣстную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту безстрастія небеснаго, на которой ей слѣдуетъ пребывать, дабы быть въ силахъ заговорить о такомъ предметѣ. Но и эти защиты еще не послужатъ къ полному убѣжденію западныхъ католиковъ. Церковь наша должна святиться въ насъ, а не въ словахъ нашихъ. Мы должны быть Церковь наша, и нами же должны возвѣстить ея правду. Они говорятъ, что Церковь наша безжизненна. Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильнымъ выводомъ; мы трупы, а не Церковь наша, и по насъ они назвали и Церковь нашу трупомъ. Какъ намъ защищать нашу Церковь и какой отвѣтъ мы можемъ дать имъ, если они намъ зададутъ такіе вопросы: „А сдѣлала ли ваша Церковь васъ лучшими? Исполняетъ ли всякъ у васъ, какъ слѣдуетъ, свой долгъ?“ Что мы тогда станемъ отвѣчать имъ, почувствовавши вдругъ въ душѣ и совѣсти своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаемъ ее даже и теперь? Владѣемъ сокровищемъ, которому цѣны нѣтъ, и не только не заботимся о томъ, чтобы это почувствовать, но не знаемъ даже, гдѣ положили его. У хозяина спрашиваютъ показать лучшую вещь въ его домѣ, а самъ хозяинъ не знаетъ, гдѣ лежитъ она. Эта Церковь, которая, какъ цѣломудренная дѣва, сохранилась одна только отъ временъ апостольскихъ въ непорочной первоначальной чистотѣ своей, эта Церковь, которая вся съ своими глубокими догматами и малѣйшими обрядами наружными какъ бы снесена прямо съ неба для русскаго народа, которая одна въ силахъ разрѣшить всѣ узлы

недоумѣнія и вопросы наши, которая можетъ произвести неслышанное чудо въ виду всей Европы, заставивъ у насъ всякое словіе, званіе и должность войти въ ихъ законныя границы и предѣлы и, не измѣнивъ ничего въ государствѣ, дать силу Россіи, изумить весь міръ согласною стройностью того же самаго организма, которымъ она доселѣ пугала, — и эта Церковь нами не знаема! и эту Церковь, созданную для жизни, мы до сихъ поръ не ввели въ нашу жизнь!

Нѣтъ, храни насъ Богъ защищать теперь нашу Церковь! Это значить уронить ее. Только и есть для насъ возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашею мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть *жизнь*; благоуханіемъ душъ нашихъ должны мы возвѣстить ея истину. Пусть миссіонеръ католичества западнаго бьетъ себя въ грудь, размахиваетъ руками и краснорѣчіемъ рыданій и словъ исторгаетъ скоро высыхающія слезы. Проповѣдникъ же католичества восточнаго долженъ выступить такъ передъ народъ, чтобъ уже отъ одного его смиреннаго вида, потухнувшихъ очей и тихаго, потрясающаго гласа, исходящаго изъ души, въ которой умерли всѣ желанія міра, все бы подвинулось еще прежде, нежели онъ объяснилъ бы самое дѣло, и въ одинъ голосъ заговорило бы къ нему: „Не произноси словъ: слышимъ и безъ нихъ святую правду твоей Церкви!“

IX.

О томъ же.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

Замѣчаніе, будто власть Церкви отъ того у насъ слаба, что наше духовенство мало имѣетъ свѣтскости и ловкости обращенія въ обществѣ, — есть такая нелѣпость, какъ и утвержденіе, будто духовенство у насъ вовсе отстранено отъ всякаго прикосновенія съ жизнью уставами нашей Церкви и связано въ своихъ дѣйствіяхъ правительствомъ. Духовенству нашему указаны за-

конныя и точныя границы въ его соприкосновеніяхъ со свѣтомъ и людьми. Повѣрьте, что еслибы стало оно встрѣчаться съ нами чаще, участвуя въ нашихъ ежедневныхъ собраніяхъ и гульбищахъ, или входя въ семейныя дѣла, это было бы нехорошо. Духовному предстоитъ много искушеній, гораздо болѣе даже, нежели намъ: какъ разъ завелись бы тѣ интриги въ домахъ, въ которыхъ обвиняють римско-католическихъ поповъ. Римско-католическіе попы именно отъ того сдѣлались дурными, что черезчуръ сдѣлались свѣтскими. У духовенства нашего два законныхъ поприща, на которыхъ они съ нами встрѣчаются: исповѣдь и проповѣдь. На этихъ двухъ поприщахъ, изъ которыхъ первое бываетъ только разъ, или два въ годъ, а второе можетъ быть всякое воскресенье, можно сдѣлать очень много. И если только священникъ, видя многое дурное въ людяхъ, умѣлъ до времени молчать о немъ и долго соображать въ себѣ самомъ, какъ ему сказать такимъ образомъ, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца; то онъ уже скажетъ объ этомъ такъ сильно на исповѣди и проповѣди, какъ никогда ему не сказать на ежедневныхъ съ нами бесѣдахъ. Нужно чтобы онъ говорилъ стоящему среди свѣта человѣку съ какого-то возвышеннаго мѣста, чтобы не его присутствіе слышалъ въ это время человѣкъ, но присутствіе самого Бога, внимающаго равно имъ обоимъ, и слышался бы обоюдный страхъ отъ Его незримаго присутствія. Нѣтъ, это даже хорошо, что духовенство наше находится въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ насъ. Хорошо, что даже самой одеждою своею, неподвластной никакимъ измѣненіямъ и прихотямъ нашихъ глупыхъ модъ, они отдѣлились отъ насъ. Одежда ихъ прекрасна и величественна. Это не бессмысленное, оставшееся отъ осьмнадцатаго вѣка, роково и не лоскутная, ничего не объясняющая, одежда римско-католическихъ священниковъ. Она имѣетъ смыслъ: она по образу и подобію той одежды, которую носилъ самъ Спаситель. Нужно, чтобы и въ самой одеждѣ своей они носили себѣ вѣчное напоминаніе о Томъ, чей образъ они должны представлять намъ, чтобы и на одинъ мигъ не позабылись и не растерялись среди развлеченій и ничтожныхъ нуждъ свѣта, ибо съ нихъ тысячу кратъ болѣе взыщется, нежели съ cadaго изъ насъ; чтобы слы-

шали безпрестанно, что они какъ бы другіе и высшіе люди. Нѣтъ, покажѣтъ священникъ еще молодѣ и жизнь ему неизвѣстна, онъ не долженъ даже и встрѣчаться съ людьми иначе, какъ на исповѣди и проповѣди. Если же и можно ему входить въ бесѣду, то развѣ только съ мудрѣйшими и опытнѣйшими изъ нихъ, которые могли бы познакомить его съ душою и сердцемъ чело-вѣка, изобразить ему жизнь въ ея истинномъ видѣ и свѣтѣ, а не въ томъ, въ какомъ она является неопытному чело-вѣку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и надъ самимъ собою. Онъ долженъ со Спасителя брать примѣръ, который долгое время провель въ пустынѣ и не прежде, какъ послѣ сорокодневнаго предуготовительнаго поста, вышелъ къ людямъ учить ихъ. Нѣкоторые изъ нынѣшнихъ умниковъ выдумали, будто нужно толкаться среди свѣта для того, чтобъ узнать его. Это, просто, вздоръ. Опроверженіемъ такого мнѣнія служатъ всѣ свѣтскіе люди, которые толкаются вѣчно среди свѣта и при всемъ томъ бывають всѣхъ пустѣе. Воспитываются для свѣта не посреди свѣта, но вдали отъ него, въ глубокомъ внутреннемъ созерцаніи, въ изслѣдованіи собственной души своей, ибо тамъ законы всего и всему: найди только прежде ключъ къ своей собственной душѣ; когда же найдешь, тогда этимъ же самымъ ключемъ отпирешъ души всѣхъ.

X.

О лиризмѣ нашихъ поэтовъ.

ПИСЬМО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

Поведемъ рѣчь о статьѣ, надъ которою произнесенъ смертннй приговоръ, то-есть о статьѣ подъ названіемъ: *О лиризмѣ нашихъ поэтовъ*. Прежде всего благодарность за смертннй приговоръ! Вотъ уже во второй разъ я спасенъ тобою, о мой истинннй наставникъ и учитель! Прошлнй годъ твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотѣлъ послать Плетневу въ „Современникъ“ мои сказанія о русскихъ поэтахъ; теперь ты вновь

предалъ уничтоженію новый плодъ моего неразумія. Только одинъ ты меня еще останавливаешь, тогда какъ всѣ другіе торопятъ, неизвѣстно зачѣмъ. Сколько глупостей успѣлъ бы я уже надѣлать, еслибы только послушался другихъ моихъ пріятелей! Итакъ, вотъ тебѣ прежде всего моя благодарственная пѣснь; а затѣмъ обратимся къ самой статьѣ. Мнѣ стыдно, какъ помнѣю, какъ до сихъ поръ еще я глупъ и какъ не умѣю заговорить ни о чемъ, что поумнѣе. Всего нелѣпѣе выходятъ мысли и толки о литературѣ. Тутъ какъ-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и не вразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышать душа многое, а пересказать или написать ничего не умѣю. Основаніе статьи моей справедливо, а между тѣмъ объяснился я такъ, что всякимъ выраженіемъ вызвалъ на противорѣчіе. Вновь повторю то же самое: въ лиризмѣ нашихъ поэтовъ есть что-то такое, чего нѣтъ у поэтовъ другихъ націй, именно — что-то близкое къ библейскому, — то высшее состояніе лиризма, которое чуждо увлеченій страстныхъ и есть твердый взлетъ въ свѣтѣ разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносовѣ и Державинѣ, даже у Пушкина слышится этотъ строгій лиризмъ повсюду, гдѣ ни коснется онъ высокихъ предметовъ. Вспомни только стихотворенія его: „Къ пастырю Церкви,“ „Пророкъ“ и наконецъ этотъ таинственный побѣгъ изъ города, напечатанный уже послѣ его смерти. Перебери стихи Языкова, и увидишь, что онъ всякой разъ становится какъ-то неизмѣримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется къ чему-нибудь высшему. Приведу одно изъ его даже молодыхъ стихотвореній, подъ названіемъ „Геній“; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенѣя,
Пророкъ на небо улеталъ,
Огонь могучій проникалъ
Живую душу Елисея.
Святыми чувствами полна,
Мужала, крѣпла, возвышалась
И вдохновенъемъ озарялась,
И Бога слышала она.

Такъ геній радостно трепещеть,

Свое величье познаетъ,
 Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ
 Иного генія полетъ;
 Его воскреснувшая сила
 Мгновенно зрѣетъ для чудесъ,
 И міру новыя свѣтила —
 Для избранника небесъ.

Какой свѣтъ и какая строгость величія! Я изъяснилъ это тѣмъ, что наши поэты видѣли всякой высокой предметъ въ его законномъ соприосновеніи съ верховнымъ источникомъ лиризма — Богомъ, одни сознательно, другіе бессознательно, потому что русская душа, вслѣдствіе своей русской природы, уже слышитъ это какъ-то сама собой, неизвѣстно почему. Я сказалъ, что два предмета вызывали у нашихъ поэтовъ этотъ лиризмъ, близкій къ библейскому. Первый изъ нихъ — *Россія*. При одномъ этомъ имени какъ-то вдругъ просвѣтляется взглядъ у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозоръ, все становится у него шире, и онъ самъ какъ бы облачается величіемъ, становясь выше обыкновеннаго человѣка. Это что-то болѣе, нежели обыкновенная любовь къ отечеству. Любовь къ отечеству отозвалась бы приторнымъ хвастаньемъ. Доводительствомъ тому наши такъ-называемые квасные патріоты. Послѣ ихъ похвалъ, впрочемъ довольно чистосердечныхъ, только плюнешь на Россію. Между тѣмъ заговорить Державинъ о Россіи, — слышишь въ себѣ неестественную силу и какъ бы самъ дышешь величіемъ Россіи. Одна простая любовь къ отечеству не дала бы силъ не только Державину, но даже и Языкову выражаться такъ широко и торжественно всякой разъ, гдѣ ни коснется онъ Россіи. Напримѣръ, хоть бы въ стихахъ, гдѣ онъ изображаетъ, какъ наступилъ-было на нее Баторій:

...Повелительный Стефанъ
 Въ одинъ могущественный станъ
 Уже собралъ толпы густыя,
 Да ниспровергнетъ Псковитанъ,
 Да уничтожится Россія!
 Но ты къ отечеству любовь,
 Ты, чѣмъ гордились наши дѣды,
 Ты ополчилась: кровь за кровь —
 И онъ не праздновалъ побѣды!

Эта богатырски-трезвая сила, которая временами даже соединяется съ какимъ-то невольнымъ пророчествомъ о Россіи, рож-

дается отъ невольнаго прикосновенія мысли къ верховному Промыслу, который такъ явно слышенъ въ судьбѣ нашего отечества. Сверхъ любви участвуетъ здѣсь сокровенный ужасъ при видѣ тѣхъ событій, которыми повелѣлъ Богъ совершиться въ землѣ, назначенной быть нашимъ отечествомъ, прозрѣніе прекраснаго, новаго зданія, которое покажетъ не для всѣхъ видимо виждется и которое можетъ слышать всеслышающимъ ухомъ поэзіи поэтъ, или же такой духовидецъ, который уже можетъ въ *землѣ* прозрѣвать его *плодъ*. Теперь начинаютъ это слышать понемногу и другіе люди, но выражаются такъ неясно, что слова ихъ похожи на безуміе. Тебѣ напрасно кажется, что нынѣшняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущемъ Россіи, слѣдуетъ какому-то модному повѣтрію. Они не умѣютъ вынашивать въ головѣ мыслей, торопятся ихъ объявлять міру, не замѣчая того, что ихъ мысли еще — глупыя ребята, вотъ и все. И въ еврейскомъ народѣ четыреста пророковъ пророчествовали вдругъ: изъ нихъ одинъ только бывалъ избранникъ Божій, котораго сказанія вносились въ святую книгу еврейскаго народа; всѣ же прочіе, вѣроятно, наговаривали много лишняго, но тѣмъ не менѣе они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умѣли сказать здраво и ясно, иначе народъ побилъ бы ихъ камнями. Зачѣмъ же ни Франція, ни Англія, ни Германія не заражены этимъ повѣтріемъ и не пророчествуютъ о себѣ, а пророчествуетъ только одна Россія? — Затѣмъ, что она сильнѣе другихъ слышитъ Божію руку на всемъ, что ни сбывается въ ней, и чувствуетъ приближеніе инога царствія. Оттого и звуки становятся библейскими у нашихъ поэтовъ. И этого не можетъ быть у поэтовъ другихъ націй, какъ бы ни сильно они любили свою отчизну и какъ бы ни жарко умѣли выражать такую любовь свою. И въ этомъ не спорь со мною, прекрасный другъ мой!

Но перейдемъ къ другому предмету, гдѣ также слышится у нашихъ поэтовъ тотъ высокій лиризмъ, о которомъ идетъ рѣчь, то-есть *любви къ царю*. Отъ множества гимновъ и одъ царямъ, поэзія наша, уже со временъ Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выраженіе. Что чувства въ ней искренни, объ этомъ нечего и говорить. Только тотъ, кто

надѣленъ мелочнымъ остроуміемъ, способнымъ на одни мгновенныя, легкія соображенія, увидить здѣсь лестъ и желаніе получить что-нибудь, и такое соображеніе оснуетъ на какихъ-нибудь ничтожныхъ и плохихъ одахъ тѣхъ же поетовъ. Но тотъ, кто болѣе нежали остроуменъ, кто мудръ, тотъ остановится передъ тѣми одами Державина, гдѣ онъ очертываетъ властелину широкой кругъ его благотворныхъ дѣйствій, гдѣ самъ со слезою на глазахъ говоритъ ему о тѣхъ слезахъ, которыя готовы заструиться изъ глазъ, не только Русскихъ, но даже безчувственныхъ дикарей, обитающихъ на концахъ его имперіи, отъ одного только прикосновенія той милости и той любви, какую можетъ показать народу одна полномощная власть. Тутъ многое такъ сказано сильно, что еслибы даже нашелся такой государь, который позабылъ бы на время долгъ свой, то, прочитавши сіи строки, вспомнить онъ вновь его и умилится самъ передъ святостью званія своего. Только холодные сердцемъ попрекнутъ Державина за излишнія похвалы Екатеринѣ; но кто сердцемъ не камень, тотъ не прочтетъ безъ умиленія тѣхъ замѣчательныхъ строфъ, гдѣ поэтъ говоритъ: если и перейдетъ его мраморный истуканъ въ потомство, такъ это потому только,

Что пѣлъ я Россовъ ту Царицу,
Какой другой намъ не найти
Ни здѣсь, ни впредь въ пространномъ мірѣ.....
Хвались, хвались моя тѣмъ лира!

Не прочтетъ онъ также безъ непритворнаго душевнаго волненія сихъ уже почти предсмертныхъ стиховъ:

Холодна старость духъ, у лиры гласъ отъемлетъ,
Екатерины муза дремлетъ
..... Пѣть
Ужъ не могу. Другимъ пѣвцамъ грежѣтъ
Мои оставлю ветхи струны,
Да черплють вновь изъ нихъ перуны
Тѣхъ чистыхъ, пламенныхъ огней,
Какъ пѣлъ я трехъ Царей.

Старикъ у дверей гроба не будетъ лгать. При жизни своей носилъ онъ какъ святыню эту любовь, унесъ и за гробъ ее какъ святыню. Но не объ этомъ рѣчь. Откуда взялась эта любовь? — вотъ вопросъ. Что весь народъ слышитъ ее какимъ-то сердеч-

нимъ чутье, а потому и поэтъ, какъ чистѣйшее отраженіе того же народа, долженъ былъ ее услышать въ высшей степени — это объяснить только одну половину дѣла. Полный и совершенный поэтъ ничему не предается безотчетливо, не провѣривъ его мудростію полного своего разума. Игнѣя ухо слышать впередъ, заключа въ себѣ стремленіе возсоздавать въ молотѣ ту же вещь, которую другіе видятъ отрывочно, съ одной или двухъ сторонъ а не со всѣхъ четырехъ, — онъ не могъ не прозрѣвать развитію полнѣйшаго этой власти. Какъ умно опредѣлялъ Пушкинъ значеніе полномочнаго монарха! и какъ онъ вообще былъ умнее во всемъ, что ни говорилъ въ послѣднее время своей жизни! „Зачѣмъ нужно,“ говорилъ онъ, „чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всѣхъ и даже выше самого закона? — Затѣмъ, что законъ — дерево; въ законѣ слышитъ человѣкъ что-то жестокое и небратское. Съ однимъ буквальный исполненіемъ закона не далеко уйдешь: нарушить же или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ: для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законъ, которая можетъ явиться людямъ только въ одной полномочной власти. Государство безъ полномочнаго монарха — автоматъ: много, много, если оно достигнетъ того, до чего достигли Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? — Мертвечина. Человѣкъ въ нихъ вывѣтрился до того, что и выѣденнаго яйца не стѣбитъ. Государство безъ полномочнаго монарха то же, что оркестръ безъ капельмейстера: какъ ни хороши будь всѣ музыканты, но если нѣтъ среди нихъ одного такого, который бы движеніемъ палочки всему подавалъ знакъ, — никуда не пойдетъ концертъ. А кажется, онъ самъ ничего не дѣлаетъ, не играетъ ни на какомъ инструментѣ, только слегка помахиваетъ палочкой, да поглядываетъ на всѣхъ, и уже одинъ взглядъ его достаточенъ на то, чтобы умягчить, въ томъ и другомъ мѣстѣ, какой-нибудь шаршавый звукъ, который испустилъ бы иной дуракъ-барабанъ или неуклюжій тулумбасъ. При немъ мастерская скрипка не смѣетъ слишкомъ разгуляться на-счетъ другихъ: блюдетъ онъ общій строй, всего оживитель, верховодецъ верховнаго согласія!“ Какъ мѣтко выражался Пушкинъ! какъ понималъ онъ значеніе великихъ истинъ! Это внутреннее существо — силу самодержав-

наго монарха онъ даже отчасти выразилъ въ одномъ своемъ стихотвореніи, которое между прочимъ ты самъ напечаталъ въ смертномъ собраніи его сочиненій, выправилъ даже въ немъ стихи, а смыслъ не угадалъ. Тайну его теперь открою. Я говорю объ одѣ Императору Николаю, появившейся въ печати подъ скромнымъ именемъ: въ Н***. Вотъ ея происхожденіе. Былъ вечеръ въ Анничковомъ дворцѣ, одинъ изъ тѣхъ вечеровъ, къ которымъ, какъ извѣсто, приглашались одни избранные изъ нашего общества. Между ними былъ тогда и Пушкинъ. Все въ залахъ уже собралось, но государь долго не выходилъ. Отдалившись отъ всѣхъ въ другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей отъ дѣлъ минутой, онъ развернулъ Илиаду и увлекся нечувствительно ея чтеніемъ во все то время, когда въ залахъ давно уже гремѣла музыка и кипѣли танцы. Сошелъ онъ на балъ уже нѣсколько поздно, принесъ на лицѣ своемъ слѣды иныхъ впечатлѣній. Сближеніе этихъ двухъ противоположностей скользнуло незамѣченнымъ для всѣхъ, но въ душѣ Пушкина оно оставило сильное впечатлѣніе и плодомъ ея была слѣдующая величественная ода, которую повторяю здѣсь всю, она же вся въ одной строфѣ:

Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ,
Тебя мы долго ожидали.
И свѣтелъ ты сошелъ съ таинственныхъ вершинъ
И вынесъ намъ свои скрижали.
И что-жь? Ты насъ обрѣлъ въ пустынѣхъ подъ шатромъ
Въ безумствѣхъ суетнаго пира —
Поющихъ буйну пѣснь и скачущихъ кругомъ
Отъ насъ созданнаго кумира.
Смутились мы, твоихъ чуждаясь лучей;
Въ порывѣхъ гнѣва и печали,
Ты проклялъ насъ, бессмысленныхъ дѣтей,
Разбивъ листы своей скрижали....
Нѣтъ, ты не проклялъ насъ. Ты любишь съ высоты
Сходить подъ тѣнь долины малой,
Ты любишь громъ небесъ и также внемлешь ты
Журчащую пчелъ надъ розой алой.

Оставимъ личность Императора Николая и разберемъ, что такое монархъ вообще, какъ Божій помазанникъ, обязанный стремить ввѣренный ему народъ къ тому свѣту, въ которомъ обитаетъ Богъ, и въ правѣ ли былъ Пушкинъ уподобить его

древнему Боговидцу Моисею? Тотъ изъ людей, на рамена котораго обрушилась судьба милліоновъ его собратій, кто страшною отвѣтственностію за нихъ предъ Богомъ освобожденъ уже отъ всякой отвѣтственности предъ людьми, кто болѣетъ ужасомъ этой отвѣтственности и лъетъ, можетъ-быть, незримо такія слезы и страдаетъ такими страданіями, о которыхъ и помыслить не умѣетъ стоящій внизу человѣкъ, кто среди самыхъ развлеченій слышитъ вѣчный, неумолкаемо раздающійся въ ушахъ кликъ Божій, неумолкаемо къ нему вопіющій, — тотъ можетъ быть уподобленъ древнему Боговидцу, можетъ, подобно ему, разбить ласты своей скрижали, проклявши вѣтренно-кружащееся племя, которое на-мѣсто того, чтобы стремиться къ тому, къ чему все должно стремиться на землѣ, суетно скачетъ около своихъ же, отъ себя самихъ созданныхъ кумировъ. Но Пушкина остановило еще высшее значеніе той же власти, которую вымолило у Небесъ немощное безсиліе человѣчества, вымолило ее крикомъ не о правосудіи небесномъ, предъ которымъ не устоялъ бы ни одинъ человѣкъ на землѣ, но крикомъ о небесной любви Вожіей, которая бы все имѣла простить намъ: и забвеніе долга нашего, и самый ропотъ нашъ, все, что не прощаетъ на землѣ человѣкъ, чтобы одинъ за тѣмъ только собралъ всю власть въ себя самого, отдѣлился бы отъ всѣхъ насъ и сталъ выше всего на землѣ, чтобы чрезъ то стать ближе равно ко всѣмъ, снисходить съ вышины ко всему и внимать всему, начиная отъ грома небесъ и лиры поэта до незамѣтныхъ увеселеній нашихъ.

Кажется, какъ бы въ этомъ стихотвореніи Пушкинъ, задавши вопросъ себѣ самому, что такое эта власть, самъ же упалъ въ прахъ предъ величіемъ возникнувшаго въ душѣ его отвѣта. Не жѣшаетъ замѣтить, что это былъ тотъ поэтъ, который былъ слишкомъ гордъ и независимостію своихъ мнѣній, и своимъ личнымъ достоинствомъ. Никто не сказалъ такъ о себѣ, какъ онъ:

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный,
 Къ нему не заростетъ народная тропка:
 Вознесся выше онъ главою непокорной
 Наполеонова столпа.

Хотя въ *Наполеоновомъ столпѣ* виноватъ, конечно, ты, но положимъ, еслибы даже стихъ остался въ своемъ прежнемъ видѣ,

онъ все-таки послужилъ бы доказательствомъ, и даже еще большимъ, какъ Пушкинъ, чувствуя свое личное преимущество, какъ человѣка, передъ многими изъ вѣнценосцевъ, слышалъ въ то же время всю малость званія своего предъ званіемъ вѣнценосца и умѣлъ благоговѣнно поклониться предъ тѣми изъ нихъ, которые показали міру величество своего званія *).

*) Въмѣсто того, что слѣдуетъ, начиная отъ этого мѣста, до 35 строки на страницѣ 605, именно до словъ: *Это слышатъ у насъ и не поэты*, въ первоначальной рукописи автора было слѣдующее, замѣненное самимъ Н. В. Гоголемъ:

Полномощная власть монарха не только не упадетъ, но возрастетъ выше, по мѣрѣ того, какъ возрастетъ выше образованіе всего человѣчества. Чѣмъ болѣе всякое званіе и должность стануть входить въ свои законныя предѣлы, и отношенія между собою всѣхъ стануть опредѣляться точнѣе, тѣмъ болѣе окажется потребность верховодящей силы, которая, собравши въ себѣ всю силу отдѣльныхъ единицъ, показала бы въ себѣ доблести высшія, приближающія человѣка прямо къ Богу, — тѣ верховныя собирательныя качества и свойства, которыхъ не могутъ имѣть отдѣльныя единицы. Полюбить весь милліонъ какъ одного человѣка труднѣе, чѣмъ полюбить немногихъ изъ этого милліона; возскорбѣть болѣзнями всѣхъ людей въ такой силѣ, какъ болѣзней ближайшаго друга и мыслить о спасеніи всѣхъ до единого, какъ бы о спасеніи своей собственной семьи, можетъ вполнѣ только тотъ, которому это постановлено въ непреложный законъ и который слышитъ, что за неисполненіе его онъ подвергнется такому же страшному отвѣту предъ Богомъ, какъ и всякая отдѣльная единица за неисполненіе своего долга на своемъ отдѣльномъ поприщѣ. Не будь этой верховодящей силы, — обнищаетъ духъ человѣчества. Полномощная власть государя потому теперь оспаривается въ Европѣ, что ни государямъ, ни подданнымъ не объяснилось ея полное значеніе. Власть государя — явленіе бессмысленное, если онъ не почувствуетъ, что долженъ быть образомъ Божиимъ на землѣ. При всемъ желаніи блага, онъ спутается въ своихъ дѣйствіяхъ, особливо при нынѣшнемъ порядкѣ вещей въ Европѣ; но какъ только почувствуетъ онъ, что долженъ показать въ себѣ людямъ образъ Бога, все станетъ ему ясно, и его отношенія къ подданнымъ вдругъ объяснятся. Въ образцы себѣ онъ уже не изберетъ ни Наполеона, ни Фридриха, ни Петра, ни Екатерину, ни Людовиковъ и ни одного изъ тѣхъ государей, которымъ придаетъ міръ названіе великаго, и которымъ опредѣлено было, вслѣдствіе обстоятельствъ и времени, сверхъ должности государя, сыграть роль полководца, преобразователя, нововводителя, — словомъ, показать съ блескомъ одну какую-нибудь въ себѣ сторону, вводящую въ такія заблужденія подражателей и такъ соблазнающую многихъ государей. Но возьмемъ въ образецъ своихъ дѣйствій дѣйствія Самого Бога, которыя такъ слышны въ исторіи всего человѣчества и которыя еще виднѣй въ исторіи того народа, который отдѣлилъ Богъ вѣдѣмъ именно, чтобы царствовать въ немъ Самому и показать царямъ, какъ царствовать. И какъ Онъ небесно царствовалъ! Какъ умѣлъ возлюбить свой народъ пуще всѣхъ другихъ народовъ! Съ какою любовью отца училъ его и съ какими долготерпѣніемъ небеснымъ ждалъ его исправленія! Какъ неотхотно подымалъ карающій бичъ Свой! Какъ даже и тогда, когда вопли нечестія и грѣховъ достигали самыхъ небесъ, не спѣшилъ наказаніемъ, но умѣлъ сказать: „Дай союду Самъ на землю и разсмотрю, точно ли такъ велика неправда!“ И кто же это говоритъ? — Всезнающій

Поэты наши прозрѣвали значеніе высшее монарха, слыша, что онъ неминуюемо долженъ наконецъ сдѣлаться весь одна *любовь*, и такимъ образомъ станеть видно всѣмъ, почему государь есть образъ Божій, какъ это признаеть покуда чутьежъ вся земля наша. Значеніе государя въ Европѣ неминуюемо приблизится къ тому же выраженію. Все къ тому ведеть, чтобы вызвать въ государяхъ высшую Божескую любовь къ народамъ. Уже раздаются вопли страданій душевныхъ всего человѣчества, которыми заболѣлъ почти каждый изъ нынѣшнихъ европейскихъ народовъ, и мечется, бѣдный, не зная самъ, какъ и чѣмъ себѣ помочь: всякое постороннее прикосновеніе жестко разболѣвшимся его ранамъ; всякое средство, всякая помощь, придуманная умомъ, ему груба и не приноситъ цѣленія. Эти крики усилятся наконецъ до

и Всепроводящій, напоминающій объ осмотрительности земнымъ царямъ! Какъ и самая казна насылалъ Онъ не за тѣмъ, чтобы уничтожить человѣка, котораго не трудно уничтожить, но за тѣмъ, чтобы спасти его, потому что трудно спасти человѣка; чтобы средствомъ потрясающимъ разбудить его безчувственную природу, и, показавши ему весь ужасъ того, къ чему онъ въ невѣдѣніи стремится, напомнить, что есть еще время спастись ему! Какъ, зная неподкупность ничѣмъ неодолимой правды Своей, употреблялъ Онъ все для того, чтобы не подпалъ подъ нее безсильный и немощный человѣкъ: засылалъ отъ Себя пророковъ, которые, исполнившись любви къ своимъ братьямъ и нашедши языкъ имъ доступный, образумили бы ихъ; и наконецъ, видя, что все уже тщетно, и ничто не въ силахъ образумить ихъ, и нѣтъ средствъ укрыть людей отъ Его неотразимой правды, Самъ рѣшается Самого себя принести въ жертву за всѣхъ, чтобы цѣной такой жертвы побѣдить и самую правду Свою, показавъ людямъ, что такая любовь есть уже выше всего, что ни есть, и сама по себѣ есть уже верховнѣйшее правосудіе небесное! Все сказалъ Богъ, какъ нужно дѣйствовать въ отношеніи къ людямъ тому, кто захочеть показать имъ Его образъ въ себѣ. А чтобы показать въ то же время царю, какъ онъ долженъ дѣйствовать относительно Его Самого, Творца всѣхъ видимыхъ и невидимыхъ, Онъ оставилъ имъ образцы въ помазанныхъ Имъ же царяхъ Давидъ и Соломонъ, которые пребывали всѣмъ существомъ своимъ въ Богѣ, какъ бы въ собственномъ дому своемъ, и которые въ царской власти своей показали мудрое сопрیکосновеніе двухъ властей — и духовной, и свѣтской въ такомъ видѣ, что не только ни одна изъ нихъ не мѣшаетъ другой, но еще взаимно одна другую утверждаетъ и возвышаетъ. Такъ въ книгѣ Божіей содержится полное и совершенное опредѣленіе монарха, этого отдѣленнаго отъ насъ существа, которому достался такой трудный жребій на землѣ: исполнивъ прежде все, что долженъ исполнить всякой человѣкъ, уподобясь Христу въ малѣйшихъ дѣйствіяхъ своей частной жизни, уподобиться сверхъ того еще Богу-Отцу въ верховныхъ дѣйствіяхъ относительно всѣхъ людей. Въ этой книгѣ полное опредѣленіе монарха, а не гдѣ-либо въ иномъ мѣстѣ. Оно еще не приходило въ умъ европейскимъ правовѣдцамъ, но у насъ его слышали поэты, отъ того и звуки ихъ становились библейскими.

того, что разорвется отъ жалости и безчувственное сердце, и сила еще доселѣ небывалаго состраданія вызоветъ силу другой, еще доселѣ небывалой, любви. Загорится человѣкъ любовію ко всему человѣчеству, такую, какую никогда еще не загорался. Изъ насъ, людей частныхъ, возымѣть такую любовь во всей силѣ никто не возможетъ: она останется въ идеяхъ и въ мысляхъ, а не въ дѣлѣ; могутъ проникнуться ею вполнѣ одни только тѣ, которымъ уже постановлено въ непрѣмный законъ любить всѣхъ, какъ одного человѣка. Все полюбивши въ своемъ государствѣ, до единого человѣка всякого сословія и званія, и обративши все, что ни есть въ немъ, какъ бы въ собственное тѣло свое, возболѣвъ духомъ о всѣхъ, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущемъ народѣ своемъ, государь приобрѣтетъ тотъ всемогущій голосъ любви, который одинъ только можетъ быть доступенъ разболѣвшемуся человѣчеству, и котораго прикосновеніе будетъ не жестко его ранамъ, который одинъ можетъ только внести примиреніе во всѣ сословія и обратить въ стройный оркестръ государство. Тамъ только исцѣлится вполнѣ народъ, гдѣ постигнетъ монархъ высшее значеніе свое — быть образомъ Того на землѣ, Который самъ есть любовь. Въ Европѣ не приходило никому въ умъ опредѣлить высшее значеніе монарха. Государственные люди, законо-искусники и правовѣдцы смотрѣли на одну его сторону, именно какъ на вышшаго чиновника въ государствѣ, поставленнаго отъ людей, а потому не знаютъ даже, какъ быть съ этою властію, какъ ей указать настоящія границы, когда, вслѣдствіе ежедневно измѣняющихся обстоятельствъ, бываетъ нужно то расширить ея предѣлы, то ограничить ее; а чрезъ это и государь, и народъ поставлены между собою въ странное положеніе: они глядятъ другъ на друга чуть не такимъ же точно образомъ, какъ на противниковъ, желающихъ воспользоваться властію одинъ на счетъ другого. Высшее значеніе монархіи прозрѣли у насъ поэты, а не законовѣдцы; услышали съ трепетомъ волю Бога создать ее въ Россіи въ ея законномъ видѣ, оттого и звуки ихъ становятся библейскими всякой разъ, какъ только излетаетъ изъ устъ ихъ слово *царь*. Это слышатъ у насъ и не поэты, потому что страницы нашей исторіи слыш-

комъ явно говорятъ о волѣ Промысла; да образуется въ Россіи эта власть въ ея полномъ и совершенномъ видѣ. Всѣ событія въ нашемъ отечествѣ, начиная отъ порабощенія татарскаго, видимо клонятся къ тому, чтобы собрать могущество въ руки одного, дабы одинъ былъ въ силахъ произвести этотъ знаменитый переворотъ всего въ государствѣ, все потрясти и, всѣхъ разбудивши, вооружить каждаго изъ насъ тѣмъ высшимъ взглядомъ на самого себя, безъ котораго невозможно человѣку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть въ себѣ самомъ ту же брань всему невѣжественному и темному, какую воздвигнулъ царь въ своемъ государствѣ; чтобы потомъ, когда загорится уже каждый этою святою бранью, и все придетъ въ сознаніе силъ своихъ, могъ бы также одинъ, всѣхъ впереди, съ свѣтильникомъ въ рукѣ, устрѣлить, какъ одну душу, весь народъ свой къ тому верховному свѣту, къ которому просится Россія. Смотри также, какимъ чуднымъ средствомъ, еще прежде, нежели могло объясниться полное значеніе этой власти, какъ самому государю, такъ и его подданнымъ уже брошены были сѣмена взаимной любви въ сердца. Ни одинъ царскій домъ не начинался такъ необыкновенно, какъ начался домъ Романовыхъ. Его начало было уже подвигъ любви. Послѣдній и низшій подданный въ государствѣ принесъ и положилъ свою жизнь для того, чтобы дать намъ царя, и сею чистою жертвою связалъ уже неразрывно государя съ подданнымъ. Любовь вошла въ нашу кровь, и завязалось у насъ всѣхъ кровное родство съ царемъ. И такъ слился и сталъ одноедино съ подвластнымъ повелитель, что намъ всѣмъ теперь видится всеобщая бѣда — государь ли позабудетъ своего подданнаго и отрѣшится отъ него, или подданный позабудетъ своего государя и отъ него отрѣшится. Какъ явно тожѣ оказывается воля Бога — избрать для этого фамилію Романовыхъ, а не другую! Какъ непостижимо это возведеніе на престолъ никому неизвѣстнаго отрока? Тутъ же рядомъ стояли древнѣйшіе родомъ, и при томъ мужи доблести, которые только-что спасли свое отечество: Пожарскій, Трубецкой, наконецъ князя, по прямой линіи происходившіе отъ Рюрика. Всѣхъ ихъ мимо произошло избраніе, и ни одного голоса не было противъ: никто не посмѣлъ предъяв-

лять правъ своихъ. И случилось это въ то смутное время, когда всякой могъ вздорить, оспаривать и набирать шайки приверженцевъ. И кого же выбрали? — Того, кто приходился по женской линіи родственникомъ царю, отъ котораго недавній ужасъ ходилъ по всей землѣ, такъ что не только имъ притѣсняемые и казнимые бояре, но даже и самый народъ, который почти ничего не потерпѣлъ отъ него, долго повторялъ поговорку: „добра была голова, да слава Богу, что земля прибрала.“ И при всемъ томъ все единогласно, отъ бояръ до послѣдняго бобыля, положило, чтобъ онъ былъ на престолѣ. Вотъ какія у насъ дѣлаются дѣла! Какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ, которые слышали полное опредѣленіе царя въ книгахъ Ветхаго Завета и которые въ то же время такъ близко видѣли волю Бога на всѣхъ событіяхъ въ нашемъ отечествѣ, — какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ не былъ исполненъ библейскихъ отголосковъ? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобъ облечь такую суровою трезвостью ихъ звуки: для этого потребно полное и твердое убѣжденіе разума, а не одно безотчетное чувство любви, иначе звуки ихъ вышли бы мягкими, какъ у тебя въ прежнихъ твоихъ молодыхъ сочиненіяхъ, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нѣтъ, есть что-то крѣпкое, слишкомъ крѣпкое у нашихъ поэтовъ, чего нѣтъ у поэтовъ другихъ націй. Если тебѣ этого не видится, то еще не доказываетъ, чтобы его вовсе не было. Вспомни самъ, что въ тебѣ не всѣ стороны русской природы; напротивъ, нѣкоторыя изъ нихъ вошли въ тебѣ на такую высокую степень и такъ развились просторно, что чрезъ это не дали мѣста другимъ, и ты уже сталъ исключеніемъ изъ обще-русскихъ характеровъ. Въ тебѣ заключились вполнѣ всѣ мягкія и нѣжныя струны нашей славянской природы; но тѣ густыя и крѣпкія ея струны, отъ которыхъ проходитъ тайный ужасъ и содроганіе по всему составу человѣка, тебѣ не такъ извѣстны. А онѣ-то и есть родники того лиризма, о которомъ идетъ рѣчь. Этотъ лиризмъ уже ни къ чему не можетъ возноситься, какъ только къ одному верховному источнику своему — Богу. Онъ суровъ, онъ пугливъ, онъ не любитъ многословія, ему приторно все, что ни есть на землѣ, если

только онъ не видитъ на немъ напечатлѣнія Божьяго. Въ комъ хотя одна крупница этого лиризма, тотъ, не смотря на всѣ несовершенства и недостатки, заключаетъ въ себѣ суровое, высшее благородство душевное, передъ которымъ дрожить самъ и которое заставляетъ его бѣжать отъ всего, похожаго на выраженіе признательности со стороны людской. Собственный лучшій его подвигъ ему вдругъ опротивѣетъ, если за него послѣдуетъ ему какая-нибудь награда: онъ слишкомъ чувствуетъ, что все высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружались его истинныя отношенія къ государю и тайни двухъ его лучшихъ сочиненій. Никому не говорилъ онъ при жизни о чувствахъ, его наполнявшихъ, и поступалъ умно. Послѣ того, какъ, вслѣдствіе всякаго рода холодныхъ газетныхъ возгласовъ, писанныхъ слогомъ помадныхъ объявленій, и всякихъ сердитыхъ, неопратно запальчивыхъ выходовъ, производимыхъ всякими квасными и не квасными патриотами, перестали вѣрить у насъ на Руси искренности всѣхъ печатныхъ изліяній, — Пушкину было опасно выходить. Его бы какъ разъ назвали подкупнымъ, или чего-то ищущимъ человѣкомъ. Но теперь, когда появились только послѣ его смерти эти сочиненія, вѣрно не отыщется во всей Россіи такой человѣкъ, который посмѣлъ бы назвать Пушкина льстецомъ или угодливымъ кому бы то ни было. Черезъ то святня высокая чувства сохранена. И теперь всякъ, кто даже и не въ силахъ постигнуть дѣло собственнымъ умомъ, приметъ его на вѣру, сказавши: если самъ Пушкинъ думалъ такъ, то уже вѣрно это сущая истина. Царственные гимны нашихъ поэтовъ изумляли самихъ чужеземцевъ своимъ величественнымъ складомъ и слогомъ. Еще недавно Мицкевичъ сказалъ объ этомъ на лекціяхъ Парижу, и сказалъ въ такое время, когда и самъ онъ былъ раздраженъ противу насъ, и все въ Парижѣ на насъ негодовало. Несмотря, однакожъ, на то, онъ объявилъ торжественно, что въ одахъ и гимнахъ нашихъ поэтовъ ничего нѣтъ рабскаго, или низкаго, но, напротивъ, что-то свободно величественное, и тутъ же, хотя это не понравилось никому изъ земляковъ его, отдалъ честь благородству характеровъ нашихъ писателей. Мицкевичъ правъ. Наши писатели точно за-

ключили въ себѣ черты какой-то высшей природы. Въ минуты сознанія своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвалствомъ, если бы ихъ жизнь не была тому поддержаніемъ. Вотъ что говорить о себѣ Пушкинъ, помышляя о будущей судьбѣ своей:

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
 Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
 Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ
 И милость къ падшимъ призывалъ.

Стѣитъ только вспомнить Пушкина, чтобы видѣть, какъ вѣренъ этотъ портретъ. Какъ онъ весь оживлялся и вспыхивалъ, когда дѣло шло къ тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника, или подать руку падшему! Какъ выжидалъ онъ первой минуты царскаго благоволенія къ нему, чтобы заикнуться не о себѣ, а о другомъ несчастномъ, упавшемъ! Черта истинно-русская. Вспомни только то умиленное зрѣлище, какое представляетъ посѣщеніе всѣмъ народомъ ссыльныхъ, отправляющихся въ Сибирь, когда всякъ несетъ отъ себя — кто пищу, кто деньги, кто христіански утѣшительное слово. Ненависти нѣтъ къ преступнику, нѣтъ также донкишотскаго порыва сдѣлать изъ него героя, собирать его факсимиле, портреты, или смотрѣть на него изъ любопытства, какъ дѣлается въ просвѣщенной Европѣ. Здѣсь что-то болѣе: не желаніе оправдать его, или вырвать изъ рукъ правосудія, но воздвигнуть упавшій духъ его, утѣшить, какъ братъ утѣшаетъ брата, какъ повелѣлъ Христосъ намъ утѣшать другъ друга. Пушкинъ высоко слишкомъ цѣнилъ всякое стремленіе воздвигнуть падшаго. Вотъ отъ чего такъ гордо затрепетало его сердце, когда услышалъ онъ о пріѣздѣ государя въ Москву во время ужасовъ холеры. Черта, которую едва ли показалъ кто-либо изъ вѣнценосцевъ и которая вызвала у него эти замѣчательные стихи:

Небесаки

Клянусь, кто жизнью своей
 Игралъ предъ сумрачнымъ недугомъ,
 Чтобъ ободрить угасшій взоръ, —
 Клянусь, тотъ будетъ Небу другомъ,
 Какой бы ни былъ приговоръ
 Земли слѣпой.

Онъ умѣлъ также оцѣнить и другую черту въ жизни другаго вѣнценосца, Петра. Вспомни стихотвореніе „Петръ на Невѣ“, въ которомъ онъ съ изумленіемъ спрашиваетъ о причинѣ необыкновеннаго торжества въ царскомъ домѣ, раздающагося кликами по всему Петербургу и по Невѣ, потрясенной пальбой пушекъ. Онъ перебираетъ всѣ случаи, радостные царю, которые могли быть причиною такого пировапія: родился ли государю наслѣдникъ его престола, именинница-ль жена его, побѣжденъ ли непобѣдимый врагъ, прибылъ ли флотъ, составлявшій любимую страсть государя, и на все это отвѣчаетъ:

Нѣтъ, онъ съ подданнымъ мирится,
 Виноватому вину
 Отпуская, веселится,
 Чарку пѣвннть съ нимъ одну.
 Оттого-то пиръ веселый,
 Рѣчь гостей хмѣльна, шумна,
 И Нева пальбой тяжелой
 Далеко потрясена.

Только одинъ Пушкинъ могъ почувствовать всю красоту такого поступка. Умѣть не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощеніе, какъ побѣду надъ врагомъ — это истинно-божеская черта. Только на небесахъ умѣютъ поступать такъ. Тамъ только радуются обращенію грѣшника еще болѣе, нежели самому праведнику, и всѣ сонми невидимыхъ силъ участвуютъ въ небесномъ пиршествѣ Бога. Пушкинъ былъ знатокъ и оцѣнщикъ вѣрный всего великаго въ человѣкѣ. Да и какъ могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всѣхъ нашихъ писателей? Замѣчательно, что во всѣхъ другихъ земляхъ писатель находится въ какомъ-то неуваженіи отъ общества относительно своего личнаго характера. У насъ напротивъ. У насъ даже и тотъ, кто, просто, кропатель, а не писатель, и не только не красавецъ душою, но даже временами и вовсе подленекъ, во глубинѣ Россіи отнюдь не почитается такимъ. Напротивъ, у всѣхъ вообще, даже и у тѣхъ, которые едва слышать о писателяхъ, живетъ уже какое-то убѣжденіе, что писатель есть что-то высшее, что онъ непремѣнно долженъ быть благороденъ, что ему многое неприлично, что онъ не долженъ и

позволить себѣ того, что прощается другимъ. Въ одной изъ нашихъ губерній, во время дворянскихъ выборовъ, одинъ дворянинъ, который съ тѣмъ вѣстѣ былъ и литераторъ, подалъ было свой голосъ въ пользу человѣка совѣсти нѣсколько запятанной, — всѣ дворяне обратились къ нему тутъ же и его попрекнули, сказавши съ укоризною: „А еще и писатель!“

1846.

ХІ.

С п о р ы.

изъ письма къ Л**.

Споры о нашихъ европейскихъ и славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показываютъ только то, что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудрено, что съ обѣихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всѣ эти славянисты и европисты — или же старовѣры и нововѣры, или же восточники и западники, а что они въ самомъ дѣлѣ, не умѣю сказать, потому что покажѣсть они мнѣ кажутся только каррикатурами на то, чѣмъ хотять быть. Всѣ они говорятъ о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорятъ и не перечатъ другъ другу. Одинъ подошелъ слишкомъ близко къ строенію, такъ что видитъ одну часть его; другой отошелъ отъ него слишкомъ далеко, такъ что видитъ весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Разумѣется, правды больше на сторонѣ славянистовъ и восточниковъ, потому что они все-таки видятъ весь фасадъ и, стало-быть, все-таки говорятъ о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонѣ европистовъ и западниковъ тоже есть правда, потому что они говорятъ довольно подробно и отчетливо о той стѣнѣ, которая стоитъ передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карниза, вѣнчающаго эту стѣну, не видится имъ верхушка всего строенія, то есть глава, куполь и все, что ни есть въ вышинѣ. Можно бы

посовѣтовать обонимъ — одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалѣе. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обонии. Всякой изъ нихъ увѣренъ, что онъ окончательно и положительно правъ, а что другой окончательно и положительно лжетъ. Бячливости больше на сторонѣ славянистовъ: они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаетъ о себѣ, что онъ открылъ Америку, и найденное имъ зернышко раздуваетъ въ рѣпу. Разумѣется, что такимъ строптивымъ хвастовствомъ вооружаютъ они еще болѣе противу себя европистовъ, которые давно бы готовы были отъ многого отступиться, потому что и сами начинаютъ слышать многое, прежде не слышанное, но упорствуютъ, не желая уступить слишкомъ разкозырявшемуся человѣку. Всѣ эти споры еще ничего, еслибы только они оставались въ гостинныхъ да въ журналахъ. Но дурно то, что два противоположныя мнѣнія, находясь въ такомъ незрѣломъ и неопредѣленномъ видѣ, переходятъ уже въ головы многихъ должностныхъ людей. Мнѣ сказывали, что случается (особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должность и власть раздѣлена въ рукахъ двухъ) такимъ образомъ, что въ одно и то же время одинъ дѣйствуетъ совершенно въ европейскомъ духѣ, а другой старается подвизаться рѣшительно въ древне-русскомъ, укрѣпляя всѣ прежніе порядки, противоположныя тѣмъ, которые замышляетъ собрать его. И оттого, какъ дѣламъ, такъ и самымъ подчиненнымъ чиновникамъ приходитъ бѣда: они не знаютъ, кого слушаться. А такъ какъ оба мнѣнія, несмотря на всю свою рѣзкость, окончательно всѣмъ не опредѣлились, то, говорятъ, этимъ пользуются всякаго рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, подъ маскою славяниста или европиста, смотря потому, чего хочется начальнику, получить выгодное мѣсто и производить на немъ плутни въ качествѣ какъ поборника старины, такъ и поборника новизны. Вообще споры суть вещи такого рода, къ которымъ люди умные и пожилые покажутся не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ея дѣло. Повѣрь, уже такъ заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались за тѣмъ именно, дабы умные могли въ это время надуматься вдоволь. Къ спорамъ при-

слушивайся, но въ нихъ не вмѣшивайся. Мысль твоего сочиненія, которымъ хочешь заняться, очень умна, и я даже увѣренъ, что ты исполнишь это дѣло лучше всякаго литератора. Но объ одномъ тебя прошу: производи его въ минуты, сколько возможно, хладнокровныя и спокойныя. Храни тебя Богъ отъ запальчивости и горячки, хотя бы даже въ малѣйшемъ выраженіи. Гнѣвъ вездѣ не уместенъ, а больше всего въ дѣлѣ правомъ, потому что затемняетъ и мутитъ его. Вспомни, что ты человѣкъ не только не молодой, но даже и весьма въ лѣтахъ. Молодому человѣку еще какъ-нибудь присталь гнѣвъ; по крайней мѣрѣ въ глазахъ нѣкоторыхъ онъ придаетъ ему какую-то картинную наружность. Но если старикъ начнетъ горячиться, онъ дѣлается, просто, гадою; молодежь какъ разъ подыметъ его на зубки и выставитъ смѣшнымъ. Смотри же, чтобы не сказали о тебѣ: „Экъ, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не дѣлая, а теперь выступилъ укорять другихъ, зачѣмъ они не такъ дѣлаютъ!“ Изъ устъ старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Духъ чистѣйшаго незлобія и кротости долженъ проникать величавыя рѣчи старца, такъ чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему въ возраженіе, почувствовать, что неприличны будутъ ея рѣчи и что сѣдина есть уже святыня.

1844.

ХІІ.

Христіанинъ идетъ впередъ.

письмо къ ш.ву.

Другъ мой! считай себя не иначе, какъ школьникомъ и ученикомъ. Не думай, чтобы ты уже былъ старъ для того, чтобы учиться, чтобы силы твои достигли настоящей зрѣлости и развитія и что характеръ и душа твоя получили уже настоящую форму и не могутъ быть лучшими. Для христіанина нѣтъ оконченаго курса: онъ вѣчно ученикъ, и до самаго гроба ученикъ.

По обыкновенному, естественному ходу, человекъ достигаетъ полнаго развитія ума своего въ тридцать лѣтъ. Отъ тридцати до сорока еще кое-какъ идутъ впередъ его силы; дальнѣе же этого срока въ немъ ничто не подвигается, и все имъ производимое не только не лучше прежняго, но даже слабѣе и холоднѣе прежняго. Но для христіанина этого не существуетъ, и гдѣ для другихъ предѣлъ совершенства, тамъ для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые изъ людей, переваливъ за сороколѣтній возрастъ, тупѣютъ, устаютъ и слабѣютъ. Перебери всѣхъ философовъ и первѣйшихъ всесвѣтныхъ геніевъ: лучшая пора ихъ была только во время ихъ полнаго мужества; потомъ они уже понемногу выживали изъ своего ума, а въ старости впадали даже въ младенчество. Вспомни о Кантѣ, который въ послѣдніе годы обезпамятѣлъ вовсе и умеръ какъ ребенокъ. Но пересмотри жизнь всѣхъ святыхъ: ты увидишь, что они крѣпли въ разумѣ и силахъ духовныхъ по мѣрѣ того, какъ приближались къ дряхлости и смерти. Даже и тѣ изъ нихъ, которые отъ природы не получили никакихъ блестящихъ даровъ и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потомъ разумомъ рѣчей своихъ. Отчего-жъ это? — Оттого, что у нихъ пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бываетъ у всякаго человека только въ лѣта его юности, когда онъ видитъ передъ собою подвиги, за которые наградою всеобщее рукоплесканіе, когда ему мерещится радужная даль, имѣющая такую заманку для юноши. Угаснула предъ нимъ даль и подвиги, — угаснула и сила стремящая. Но передъ христіаниномъ сіяетъ вѣчно даль, и видятся вѣчные подвиги. Онъ, какъ юноша, алчетъ жизненной битвы; ему есть съ чѣмъ воевать и гдѣ подвизаться, потому что взгляды его на самого себя, безпрестанно просвѣтляющійся, открываетъ ему новые недостатки въ себѣ самомъ, съ которыми нужно производить новыя битвы. Оттого и всѣ его силы не только не могутъ въ немъ заснуть, или ослабѣть, но еще возбуждаются безпрестанно; а желаніе быть лучшимъ и заслужить рукоплесканія на небесахъ придаетъ ему такіа шпоры, какихъ не можетъ дать наисильнѣйшему честолюбцу его ненастимѣйшее честолюбіе. Вотъ причина, почему христіанинъ тогда идетъ впередъ,

когда другіе назадъ, и отчего становится онъ, чѣмъ дальше, умнѣе.

Умъ не есть высшая въ насъ способность. Его должность не больше, какъ полицейская: онъ можетъ только привести въ порядокъ и разставить по мѣстамъ все то, что у насъ уже есть. Онъ самъ не двинется впередъ, покуда не двинутся въ насъ двѣ другія способности, отъ которыхъ онъ умнѣетъ. Отвлеченными чтеніями, размышленіями и безпрестанными слушаніями всѣхъ курсовъ наукъ его заставишь только слишкомъ немного уйти впередъ; иногда это даже подавляетъ его, мѣшая его самобитному развитію. Онъ несравненно въ большей зависимости находится отъ душевныхъ состояній: какъ только забушуетъ страсть, онъ уже вдругъ поступаетъ слѣпо и глупо; если же покойна душа и не кипитъ никакая страсть, онъ и самъ проясняется и поступаетъ умно. Разумъ есть несравнено высшая способность; но она приобретается не иначе, какъ побѣдою надъ страстями. Его имѣли въ себѣ только тѣ люди, которые не пренебрегли своимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Но и разумъ не даетъ полной возможности человѣку стремиться впередъ. Есть высшая еще способность: имя ей — мудрость, и ее можетъ дать намъ одинъ Христосъ. Она не надѣляется никому изъ насъ при рожденіи, никому изъ насъ не есть природная, но есть дѣло высшей благодати небесной. Тотъ, кто уже имѣетъ и умъ и разумъ, можетъ не иначе получить мудрость, какъ молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубинаго незлобія и убирая все внутри себя до возможнѣйшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищъ, гдѣ не пришло въ порядокъ душевное хозяйство и нѣтъ полного согласія во всемъ. Если же она вступить въ домъ, тогда начинается для человѣка небесная жизнь и онъ постигаетъ всю чудную сладость быть ученикомъ. Все становится для него учителемъ: весь міръ для него учитель; ничтожнѣйшій изъ людей можетъ быть для него учитель. Изъ совѣта самаго простаго извлечетъ онъ мудрость совѣта; глупѣйшій предметъ станетъ къ нему своею мудрою стороною, и вся вселенная передъ нимъ станетъ какъ одна открытая книга ученія: больше всѣхъ будетъ онъ черпать изъ нея сокровищъ,

потому что больше всѣхъ будетъ слышать, что онъ ученикъ. Но если только возмнитъ онъ хотя на мигъ, что ученіе его кончено, и онъ уже не ученикъ, и оскорбится онъ чьимъ бы то ни было урокомъ или поученіемъ, — мудрость вдругъ отъ него отнимается и останется онъ въ-потьмахъ, какъ царь Соломонъ въ свои послѣдніе дни.

1846.

ХІІІ.

К а р а м з и н ъ.

изъ письма къ н. м. языкову.

Я прочелъ съ большимъ удовольствіемъ похвальное слово Карамзину, написанное Погодинымъ. Это лучшее изъ сочиненій Погодина въ отношеніи къ благопристойности, какъ внутренней, такъ и внѣшней: въ немъ нѣтъ его обычныхъ грубо-неуклюжихъ замашекъ и топорнаго неряшества слога, такъ много ему вредящаго. Все здѣсь, напротивъ того, стройно, обдуманно и расположено въ большомъ порядкѣ. Всѣ мѣста изъ Карамзина прибраны такъ умно, что Карамзинъ какъ бы весь очерчивается самимъ собою и, своими же словами взвѣсивъ и оцѣнивъ самого себя, становится какъ живой передъ глазами читателя. Карамзинъ представляетъ, точно, явленіе необыкновенное. Вотъ о комъ изъ нашихъ писателей можно сказать, что онъ весь исполнилъ долгъ, ничего не зарылъ въ землю и на данные ему пять талантовъ истинно принесъ другіе пять. Карамзинъ первый показалъ, что писатель можетъ быть у насъ независимъ и почтенъ всѣми равно, какъ именитѣйшій гражданинъ въ государствѣ. Онъ первый возвѣстилъ торжественно, что писателя не можетъ стѣснить цензура, и если уже онъ исполнился чистѣйшимъ желаніемъ блага въ такой мѣрѣ, что желаніе это, занявши всю его душу, стало его плотію и пищею, тогда никакая цензура для него не строга, и ему вездѣ проторно. Онъ это сказалъ и доказалъ. Никто, кромѣ Карамзина, не говорилъ такъ смѣло и благородно, не скрн-

вая никакихъ своихъ мнѣній и мыслей, хотя они и не соотвѣтствовали во всемъ тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что онъ одинъ имѣлъ на то право. Какой урокъ нашему брату-писателю! И какъ смѣшны послѣ этого изъ насъ тѣ, которые утверждаютъ, что въ Россіи нельзя сказать полной правды и что она у насъ колеть глаза! Самъ же выразился такъ нелѣпо и грубо, что болѣе нежели самую правдою уколетъ тѣми заносчивыми словами, которыми скажетъ свою правду, — словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей, — и потомъ самъ и изумляется, и негодуетъ, что отъ него никто не принялъ и не выслушалъ правды! Нѣтъ, имѣй такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имѣлъ Карамзинъ, и тогда возвѣщай свою правду: все тебя выслушаетъ, начиная отъ царя до послѣдняго нищаго въ государствѣ, и выслушаетъ съ такою любовію, съ какою не выслушивается ни въ какой землѣ ни парламентскій защитникъ правъ, ни лучшій нынѣшній проповѣдникъ, собирающій вокругъ себя верхушку моднаго общества, и съ такою любовію можетъ выслушать только одна чудная наша Россія, о которой идетъ слухъ, будто она вовсе не любитъ правды.

1846.

XIV.

О театрѣ, объ одностороннемъ взглядѣ на театръ и вообще объ односторонности.

ПИСЬМО КЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

Вы очень односторонни, и стали недавно такъ односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точкѣ состоянія душевнаго, на которой теперь стоите вы, нельзя не сдѣлаться одностороннимъ всякому человѣку. Вы помышляете только объ одномъ душевномъ спасеніи вашемъ и, не найдя еще той именно дороги, которою вамъ предназначено достигнуть его, почитаете все, что ни есть въ мірѣ, соблазномъ и препятствіемъ къ спасенію. Монахъ не строже васъ. Такъ и ваши нападенія на театръ

односторонни и несправедливы. Вы подкрѣпляете себя тѣмъ, что нѣкоторые вашъ извѣстныя духовныя лица возстають противъ театра; но они правы, а вы неправы. Разберите лучше: точно ли они возстають противъ театра, или только противу того вида, въ которомъ онъ тамъ теперь является. Церковь начала возставать противу театра въ первые вѣки всеобщаго водворенія христіанства, когда театры одни оставались приближенъ уже повсюду изгнаннаго язычества и притомъ безчинныхъ его вакханалій. Вотъ почему такъ сильно гремѣлъ противу нихъ Златоустъ. Но времена измѣнились. Миръ весь перечистился съязова поклѣбками свѣжихъ народовъ Европы, которыхъ образованіе началось уже на христіанскомъ грунтѣ, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовныхъ академіяхъ. Нашъ Дмитрій Ростовскій, справедливо поставляемый въ рядъ Св. Отцовъ Церкви, слагалъ у насъ пьесы для представленія въ лицахъ. Стало-быть, не театръ виноватъ. Все можно извратить и всему можно дать дурной смыслъ, — человекъ же на это способенъ. Но надобно смотрѣть на вещь въ ея основаніи и на то, чѣмъ она должна быть, а не судить о ней по каррикатурѣ, которую на нее сдѣлали. Театръ ничуть не бездѣлица и вовсе не пустая вещь, если примешь въ соображеніе то, что въ немъ можетъ помѣститься вдругъ толпа изъ пяти-шести тысячъ человекъ и что вся эта толпа, ни въ чемъ не сходная между собою, разбирая ее по единицамъ, можетъ вдругъ потрясти однимъ потрясеніемъ, зарыдать однимъ слезами и засмѣяться однимъ всеобщимъ смѣхомъ. Это такая каедрa, съ которой можно много сказать міру добра. Отдѣлите только собственно называемый высшій театръ отъ всякихъ балетныхъ скаканій, водевилей, мелодрамъ и тѣхъ мишурно-великолѣпныхъ зрѣлищъ для глазъ, угождающихъ разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театръ. Театръ, на которомъ представляются высокая трагедія и комедія, долженъ быть въ совершенной независимости отъ всего. Странно соединять Шекспира съ плясуньями или плясунами въ лайвовыхъ штанахъ. Чтѣ за сближеніе? Ноги — ногами, а голова — головой. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Европы это поняли: театръ высшихъ драматическихъ представленій тамъ

отдѣленъ и пользуется одинъ поддержкою правительствъ; но поняли это въ отношеніи порядка вишняго. Слѣдовало подумать не шута о томъ, какъ поставить всѣ лучшія произведенія драматическихъ писателей такимъ образомъ, чтобы публика привлекалась къ нимъ вниманіемъ, и открылось бы ихъ нравственное, благотворное вліяніе, которое есть у всѣхъ великихъ писателей. Шекспиръ, Шериданъ, Мольеръ, Гете, Шиллеръ, Вольтеръ, даже Лессингъ, Реньяръ и многіе изъ второстепенныхъ писателей прошедшаго вѣка ничего не произвели такого, что бы отвлекло отъ уваженія къ высокимъ предметамъ; къ нимъ даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипѣло у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ, занимавшихся вопросами политическими и разносившихъ неуваженіе къ святнѣ. У нихъ если и попадаются насмѣшки, то надъ лицемѣріемъ, надъ кощунствомъ, надъ кривымъ толкованіемъ праваго, и никогда надъ тѣмъ, что составляетъ корень человѣческихъ доблестей; напротивъ, чувство добра слышится строго даже и тамъ, гдѣ брызжутъ эпиграммы. Частое повтореніе высоко-драматическихъ сочиненій, то-есть тѣхъ истинно-классическихъ пиесъ, гдѣ обращено вниманіе на природу и душу человѣка, станетъ необходимо укрѣплять общество въ правилахъ болѣе недвижныхъ, заставитъ нечувствительно характеры болѣе устояваться въ самихъ себѣ, тогда какъ все это наводненіе пустыхъ и легкихъ пиесъ, начиная съ водевилей и недодуманныхъ драмъ до блестящихъ балетовъ и даже оперъ, ихъ только разбрасываетъ, разсѣваетъ, становится общество легкимъ и вѣтреннымъ. Развлеченный милліонами блестящихъ предметовъ, раскидывающихъ мысли на всѣ стороны, свѣтъ не въ силахъ встрѣтиться прямо со Христомъ. Ему далеко до небесныхъ истинъ христіанства. Онъ ихъ испугается, какъ мрачнаго монастыря, если не подставишь ему незримыя ступени къ христіанству, если не возведешь его на нѣкоторое высшее мѣсто, откуда ему станетъ виднѣ весь необъятный кругозоръ христіанства, и понятнѣе то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Среди свѣта есть много такого, что для всѣхъ отдалившихся отъ христіанства служитъ незримою ступенью къ христіанству. Въ томъ числѣ можетъ быть и театръ, если будетъ обращенъ къ

своему высшему назначенію. Нужно ввести на сцену во всемія блескъ всѣ совершеннѣйшія драматическія произведенія всѣхъ вѣковъ и народовъ. Нужно давать ихъ чаще, какъ можно чаще, повторяя непрерывно одну и ту же піесу. И это можно сдѣлать. Можно всѣ піесы сдѣлать вновь свѣжими, новыми, любопытными для всѣхъ отъ мала до велика, если только съумѣешь ихъ поставить, какъ слѣдуетъ, на сцену. Это вздоръ, будто онѣ устарѣли и публика потеряла къ нимъ вкусъ. Публика не имѣетъ своего каприза; она пойдетъ, куда поведутъ ее. Не попотчивай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала къ нимъ вкуса и не потребовала бы ихъ. Возьми самую заграничнѣйшую піесу и поставь ее какъ нужно, та же публика повалитъ толпою. Мольеръ ей будетъ въ новостъ, Шекспиръ станетъ заманчивѣе наисовременнѣйшаго водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была дѣйствительно и вполне художественно, чтобы дѣло это поручено было не кому другому, какъ первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется въ труппѣ, и не мѣшать уже сюда никакого прилепша съ боку, секретаря-чиновника; пусть тотъ одинъ распоряжается во всемія. Нужно даже особенно позаботиться о томъ, чтобы вся отвѣтственность легла на него одного, чтобы онъ рѣшился публично, передъ глазами всей публики, сыграть самъ по порядку одну за другою всѣ второстепенныя роли, дабы оставить живые образцы второстепеннымъ актерамъ, которые заучиваютъ свои роли по мертвымъ образцамъ, дошедшимъ до нихъ по какому-то темному преданію, которые образовались книжнымъ наученіемъ и не видятъ себѣ никакого живаго интереса въ своихъ роляхъ. Одно это исполненіе первымъ актеромъ второстепенныхъ ролей можетъ привлечь публику видѣть двадцать разъ сряду ту же піесу. Кому не любопытно видѣть, какъ Щепкинъ или Каратыгинъ станутъ играть тѣ роли, которыхъ никогда дотогѣ не играли! Потому же, когда первоклассный актеръ, разыгравши всѣ роли, возвратится вновь на свою прежнюю, онъ получитъ взглядъ еще полнѣйшій, какъ на собственную свою роль, такъ и на всю піесу; а піеса получитъ вновь еще сильнѣйшую занимательность для зрителей этою полнотою своего исполненія —

вещію, доселѣ неслыханною. Нѣтъ выше того потрясенія, которое производитъ на человѣка совершенно согласованное согласіе всѣхъ частей между собою, которое доселѣ могъ только слышать онъ въ одномъ музыкальномъ оркестрѣ и которое въ силахъ сдѣлать то, что драматическое произведеніе можетъ быть дано болѣе разовъ сряду, нежели налюбимѣйшая опера. Чтѣ ни говори, а звуки души и сердца, выражаемые словомъ, въ нѣсколько разъ разнообразнѣе музыкальныхъ звуковъ. Но, повторяю, все это возможно только въ такомъ случаѣ, когда дѣло будетъ сдѣлано истинно такъ, какъ слѣдуетъ, и полная отвѣтственность всего, по части репертуарной, возляжетъ на первокласснаго актера, то-есть трагедіей будетъ завѣдывать первый трагическій актеръ, а комедіей — первый комическій актеръ, когда одни они будутъ исключительные хороважди такого дѣла. Говорю, исключительно, потому что знаю, какъ много у насъ есть охотниковъ прикомандироваться съ боку во всякомъ дѣлѣ. Чуть только явится какое мѣсто и при немъ какія-нибудь денежные выгоды, какъ уже вмигъ пристегнется съ боку секретарь. Откуда онъ возьмется, Богъ вѣсть: точно какъ изъ воды выйдетъ, докажетъ тутъ же свою необходимость ясно какъ дважды два. Заведетъ вначалѣ бумажную кропотню только по экономическимъ дѣламъ, потомъ станетъ понемногу впутываться во все, и дѣло пойдетъ изъ рукъ вонъ. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточили всѣ должности, сбили и спутали отношенія подчиненныхъ къ начальникамъ и обратно начальниковъ къ подчиненнымъ. Мы съ вами еще не такъ давно разсуждали о всѣхъ должностяхъ, какія ни есть въ нашемъ государствѣ. Разсматривая каждую въ ея законныхъ предѣлахъ, мы находили, что онѣ именно то, чтѣ имъ слѣдуетъ быть, всѣ до единой какъ бы свыше созданы для насъ, съ тѣмъ, чтобъ отвѣчать на всѣ потребности нашего государственнаго быта, а всѣ сдѣлались не тѣмъ отъ того, что всякъ, какъ бы на перерывѣ, старался или разрушить предѣлы своей должности, или даже вовсе выступить изъ ея предѣловъ. Всякой, даже честный и умный человѣкъ, старался хотя на одинъ вершокъ быть полномочнѣй и выше своего мѣста, полагая, что онъ этимъ-то именно облагородитъ и

себя и свою должность. Мы перебрали тогда всѣхъ чиновниковъ отъ верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно больше всѣхъ стремятся выступить изъ предѣловъ своей должности. Гдѣ секретарь заведенъ только въ качествѣ писца, тамъ онъ хочетъ сыграть роль посредника между начальникомъ и подчиненнымъ. Гдѣ же онъ поставленъ дѣйствительно какъ нужный посредникъ между начальникомъ и подчиненнымъ, тамъ онъ начинаетъ важничать: корчить передъ этимъ подчиненнымъ роль его начальника, заводить у себя переднюю, заставить ждать себя по цѣлымъ часамъ, — словомъ, вмѣсто того, чтобъ облегчить доступъ подчиненнаго къ начальнику, только затруднить его. И все это иногда дѣлается не съ другимъ какииъ умисломъ, какъ только за тѣмъ, чтобъ облагородить свое секретарское мѣсто. Я зналъ даже нѣкоторыхъ совсѣмъ не дурныхъ и не глупыхъ людей, которые передъ моими же глазами такъ поступали съ подчиненными своего начальника, что я краснѣлъ за нихъ же. Мой Хлестаковъ былъ въ эту минуту ничто передъ ними. Все это конечно еще бы ничего, еслибы отъ этого не происходило слишкомъ много печальныхъ слѣдствій. Много истинно-полезныхъ и нужныхъ людей иногда бросали службу единственно изъ-за скотинства секретаря, требовавшаго къ себѣ того же самаго уваженія, которымъ они были обязаны только одному начальнику, и за неисполненіе того мстившаго имъ оговорами, внушеніями о нихъ дурнаго мнѣнія, — словомъ, всѣми тѣми мерзостями, на которыя способенъ только безчестный человѣкъ. Конечно въ управленіяхъ по части искусствъ, художествъ и тому подобнаго править или комитетъ, или одинъ непосредственный начальникъ, и не бываетъ мѣста секретарю-посреднику, — тамъ онъ опредѣленъ только записывать опредѣленія другихъ, или вести хозяйственную часть; но иногда случается и тамъ, отъ лѣности членовъ или чего другаго, что онъ, мало-по-малу втираясь, становится посредникомъ и даже вершителемъ въ дѣлѣ искусства. И тогда выходитъ просто чортъ знаетъ что: пирожникъ принимается за сапоги, а къ сапожнику поступаетъ печенье пироговъ. Выходитъ инструкция для художника, писанная вовсе не художникомъ; является предписаніе, котораго даже и понятъ

нельзя, зачѣмъ оно предписано. Часто удивляются, какъ такой-то человѣкъ, будучи всегда умнымъ человѣкомъ, могъ выпустить преглупую бумагу; а въ ней онъ и душой не виноватъ: бумага вышла изъ такого угла, откуда и подозрѣвать никто не могъ, по пословицѣ: „писалъ писачка, а имя ему собачка.“

Нужно, чтобы въ дѣлѣ какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главнымъ мастерѣ того мастерства, а отнюдь не на какомъ-нибудь пристегнувшемся съ боку чиновникѣ, который можетъ быть только употребленъ для однихъ хозяйственныхъ расчетовъ да для письменнаго дѣла. Только самъ мастеръ можетъ учить своей наукѣ, слыша вполне ея потребности, и никто другой. Одинъ только первоклассный актеръ-художникъ можетъ сдѣлать хорошій выборъ пьесъ, дать имъ строгую сортировку; одинъ онъ знаетъ тайну, какъ производить репетиціи, понимаетъ, какъ важны частныя считовки и полныя предуготовительныя повторенія пьесы. Онъ даже не позволитъ актеру выучить роль на дому, но сдѣлаетъ такъ, чтобы все выучилось имъ сообща и роль вошла сама собою въ голову каждаго во время репетицій, такъ чтобы всякой, окруженный тутъ же обстановками его обстоятельствами, уже невольно отъ одного соприкосновенія съ ними слышалъ вѣрный тонъ своей роли. Тогда и дурной актеръ можетъ нечувствительно набраться хорошаго. Покуда актеры еще не заучили наизусть своихъ ролей, имъ возможно перенять многое у лучшаго актера. Тутъ всякой, не зная даже самъ, какимъ образомъ, набирается правды и естественности какъ въ рѣчахъ, такъ и въ тѣлодвиженіяхъ. Тонъ вопроса даетъ тонъ отвѣту. Сдѣлай вопросъ напыщенный, получишь и отвѣтъ напыщенный; сдѣлай простой вопросъ, простой и отвѣтъ получишь. Всякой наипростѣйшій человѣкъ уже способенъ отвѣчать въ тактъ. Но если только актеръ заучилъ у себя на дому свою роль, отъ него изойдетъ напыщенный, заученный отвѣтъ, и этотъ отвѣтъ уже останется въ немъ навѣкъ: его ничѣмъ не переломишь; ни одного слова не перейметъ онъ тогда отъ лучшаго актера; для него станетъ глухо все окруженіе обстоятельствъ и характеровъ, обступающихъ его роль, также какъ и вся пьеса станетъ ему глуха и чужда, и онъ какъ мертвецъ бу-

дети двигаться среди мертвецовъ. Только одинъ истинный актеръ-художникъ можетъ слышать жизнь, заключенную въ шіесъ, и сдѣлать такъ, что жизнь эта сдѣлается видною и живою для всѣхъ актеровъ; одинъ онъ можетъ слышать законную ибру репетицій, какъ ихъ производить, когда прекратить и сколько ихъ достаточно для того, дабы возмогла шіеса явиться въ полномъ совершенствѣ своемъ передъ публикою. Умѣй только заставить актера-художника взяться за это дѣло, какъ за его собственное, родное дѣло, докажи ему, что это его долгъ и что честь его же искусства того требуетъ отъ него, и онъ это сдѣлаетъ, онъ это исполнитъ, потому что любить свое искусство. Онъ сдѣлаетъ даже больше, позаботясь, чтобъ и послѣдній изъ актеровъ сыгралъ хорошо, сдѣлавъ строгое исполненіе всего цѣлаго какъ бы своею собственною ролюю. Онъ не допуститъ на сцену никакой пошлой и ничтожной шіесы, какую допустилъ бы иной чиновникъ, заботящійся только о приращеніи сборной денежной кассы, — потому не допуститъ, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнетъ ее. Ему невозможно также, еслибы онъ даже и вздумалъ оказать какіе-нибудь притѣснительные поступки или прижимки относительно ввѣренныхъ ему актеровъ, какія дѣлаются людьми чиновными: его не допуститъ къ тому его собственная извѣстность. Какой-нибудь чиновникъ-секретарь производитъ отважно свою пакость въ увѣренности, что какъ онъ ни напакости, о томъ никто не узнаетъ, потому что и самъ онъ — незамѣтная пѣшика. Но сдѣлай что-нибудь несправедливое Щепкинъ или Каратыгинъ, о томъ заговоритъ вдругъ весь городъ. Вотъ почему особенно важно, чтобы главная отвѣтственность во всякомъ дѣлѣ падала на человека уже извѣстнаго всѣмъ до единого въ обществѣ. Наконецъ, живя весь въ своемъ искусствѣ, которое стало уже его высшею жизнію, котораго чистоту блюдетъ онъ какъ святыню, художникъ-актеръ не попуститъ никогда, чтобы театръ сталъ проповѣдникомъ разврата. Итакъ, не театръ виноватъ. Прежде очистите театръ отъ хлама, его загромождившаго, и потомъ уже разбирайте и судите, что такое театръ. Я заговорилъ здѣсь о театрѣ не потому, чтобы хотѣлъ говорить собственно о немъ, но потому, что сказанное о театрѣ можно примѣнить почти

во всему. Много есть такихъ предметовъ, которые страдаютъ изъ-за того, что извратили смыслъ ихъ; а такъ какъ вообще на свѣтѣ есть много охотниковъ дѣйствовать сгоряча по пословицѣ: *разсердясь на вши, да шубу въ печь*, то чрезъ это уничтожается много того, что послужило бы всеѣмъ на пользу. Односторонніе люди и притомъ фанатики — язва для общества; бѣда той землѣ и государству, гдѣ въ рукахъ такихъ людей очутится какая-либо власть. У нихъ нѣтъ никакого смиренія христіанскаго и сомнѣнія въ себѣ; они увѣрены, что весь свѣтъ вретъ и одни они только говорятъ правду. Другъ мой! смотрите за собою покрѣпче: вы теперь именно находитесь въ этомъ опасномъ состояніи. Хорошо, что, покуда, вы въ всякой должности, и вамъ не ввѣрено никакого управленія; иначе вы, котораго я знаю какъ неиспособнѣйшаго къ отправленію самыхъ трудныхъ и сложныхъ должностей, могли бы надѣлать больше зла и беспорядковъ, нежели самый неспособный изъ неспособнѣйшихъ. Берегитесь и въ самыхъ сужденіяхъ своихъ обо всеѣмъ. Не будьте похожи на тѣхъ святошей, которые желали бы разомъ уничтожить все, что ни есть въ свѣтѣ, видя во всеѣмъ одно бѣсовское. Ихъ удѣлъ — впадать въ самыя грубыя ошибки. Нѣчто тому подобное случилось недавно въ литературѣ. Нѣкоторые стали печатно объявлять, что Пушкинъ былъ дикстъ, а не христіанинъ; точно какъ будто бы они побывали въ душѣ Пушкина, точно какъ будто бы Пушкинъ непремѣнно обязанъ былъ въ стихахъ своихъ говорить о высшихъ догматахъ христіанскихъ, за которые и самъ святитель Церкви принимается не иначе, какъ съ великимъ страхомъ, приготова себя къ тому глубочайшею святостію своей жизни. По ихъ понятіямъ, слѣдовало бы все высшее въ христіанствѣ облекать въ риемы и сдѣлать изъ того какія-то стихотворныя игрушки. Пушкинъ слишкомъ разумно поступалъ, что, не дерзая переносить въ стихи того, чѣмъ еще не прониклась вся насквозь его душа, предпочиталъ лучше остаться нечувствительною ступенью къ высшему для всѣхъ тѣхъ, которые слишкомъ отдалились отъ Христа, нежели оттолкнуть ихъ вовсе отъ христіанства такими же бездушными стихотвореніями, какія пишутся тѣми, которые выставляютъ себя христіанами. Я не могу даже понять, какъ могло придти

въ умъ критику печатно, въ виду всѣхъ, взводитъ на Пушкина такое обвиненіе, что сочиненія его служатъ къ развращенію свѣта, тогда какъ самой цензурѣ предписано, въ случаѣ, еслибы смыслъ какого сочиненія не былъ вполне ясенъ, толковать его въ прямую и выгодную для автора сторону, а не въ кривую и вредящую ему. Если это постановлено въ законъ цензурѣ, безмолвной и безгласной, не имѣющей даже возможности оговориться передъ публикою, то во сколько разъ больше должна это поставить себя въ законъ критика, которая можетъ изъясниться и оговориться въ малѣйшемъ дѣйствіи своемъ! Публично выставлять нехристіаниномъ человѣка и даже противникомъ Христа, основываясь на нѣкоторыхъ несовершенствахъ его души и на томъ, что онъ увлекался свѣтомъ такъ же, какъ и всякъ изъ насъ увлекался, — развѣ это христіанское дѣло? Да и кто же изъ насъ христіанинъ? Этакъ я могу обвинить самого критика въ его нехристіанствѣ. Я могу сказать, что христіанинъ не возымѣетъ такой увѣренности въ умъ своемъ, чтобы рѣшить такое темное дѣло, которое извѣстно одному Богу, зная, что умъ нашъ вполне проясняется и можетъ обнимать со всѣхъ сторонъ предметъ только отъ святости нашей жизни, а жизнь его еще не такъ, можетъ быть, свята. Христіанинъ передъ тѣмъ, чтобы обвинить кого-либо въ такомъ уголовномъ преступленіи, каково есть непризнаніе Бога въ томъ видѣ, въ какомъ повелѣлъ призывать Его самъ Божій Сынъ, сходявшій на землю, задумается, потому что дѣло это страшное. Онъ скажетъ и то: въ поэзіи многое есть еще тайна, да и вся поэзія есть тайна; трудно и надъ простымъ человѣкомъ произнести судъ свой; произнести же судъ окончательный и полный надъ поэтомъ можетъ одинъ тотъ, кто заключилъ въ себя самое поэтическое существо и есть самъ уже почти равный ему поэтъ, — какъ и во всякомъ даже простомъ мастерствѣ понемногу можетъ судить всякъ, но вполне судить можетъ только самъ мастеръ того мастерства. Словомъ, христіанинъ покажетъ прежде всего смиреніе, свое зная, по которому можно узнать, что онъ христіанинъ. Христіанинъ намѣсто того, чтобы говорить о тѣхъ мѣстахъ въ Пушкинѣ, которыхъ смыслъ еще темень и можетъ быть истолкованъ на двѣ стороны, станетъ говорить о томъ, что

лено, что было имъ произведено въ лѣта разумнаго мужества, а не увлекающей юности. Онъ приведетъ его величественные стихи пастырю Церевн, гдѣ Пушкинъ самъ говоритъ о себѣ, что даже и въ тѣ годы, когда онъ увлекался суетою и прелестію свѣта, его поражалъ даже одинъ видъ служителя Христова:

Но и тогда струны лукавой
 Мгновенно звонъ я прерывалъ,
 Когда твой голосъ величавый
 Меня внезапно поражалъ.
 Я лилъ потоки слезъ неожиданныхъ,
 И равнамъ совѣсти моей
 Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
 Отраденъ чистый былъ елей.
 И нынѣ, съ высоты духовной,
 Мнѣ руку простраешь ты
 И силой кроткой и любовной
 Смиряешь буйныя мечты.
 Твоимъ огнемъ душа палима
 Отвергла прахъ земныхъ суетъ,
 И внимлетъ арфѣ серафима
 Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Вотъ на какое стихотвореніе Пушкина укажетъ критикъ-христіанинъ! Тогда критика его получить смыслъ и сдѣлаетъ добро: она еще сильнѣй укрѣпитъ самое дѣло, показавши, какъ даже и тотъ человѣкъ, который заключалъ въ себѣ всѣ разнородныя вѣрованія и вопросы своего времени, такъ сбивчивые, такъ отдаляющіе насъ отъ Христа, — какъ даже и тотъ человѣкъ, въ лучшія и свѣтлѣйшія минуты своего поэтическаго ясновидѣнія, исповѣдалъ выше всего высоту христіанскую. Но какой теперь смыслъ критики? спрашиваю я. Какая польза — смутить людей, поселивши въ нихъ сомнѣніе и подозрѣніе въ Пушкинѣ? — Бездѣлица: выставить наимнѣйшаго человѣка своего времени не признающимъ христіанства, — человѣка, на котораго умственное поколѣніе смотритъ какъ на вождя и на передоваго, сравнительно передъ другими людьми! Хорошо еще, что критикъ былъ безталантливъ и не могъ пустить въ ходъ подобную ложь, и что самъ Пушкинъ оставилъ тому опроверженіе въ своихъ же стихахъ; но будь иначе, что другое, кромѣ безвѣрья намѣсто вѣры, могъ бы распространить онъ? Вотъ что можно сдѣлать, будучи одностороннимъ! Другъ мой, храни васъ Богъ отъ односторон-

ности: съ нею всюду человекъ произведеть зло: въ литературѣ, на службѣ, въ семьѣ, на свѣтѣ, — словомъ, вездѣ. Односторонній человекъ самоувѣренъ, односторонній человекъ дерзокъ, односторонній человекъ всѣхъ вооружить противъ себя. Односторонній человекъ ни въ чемъ не можетъ найти середины. Односторонній человекъ не можетъ быть истиннымъ христианиномъ: онъ можетъ быть только фанатикомъ. Односторонность въ искусствахъ показываетъ только то, что человекъ еще на дорогѣ къ христианству, но не достигнулъ его, потому что христианство даетъ уже многосторонность уму. Словомъ, храни васъ Богъ отъ односторонности! Смотрите разумно на всякую вещь и помните, что въ ней могутъ быть двѣ совершенно противоположныя стороны, изъ которыхъ одна до времени вамъ не открыта. Театръ и театръ — двѣ разныя вещи, равно какъ и восторгъ самой публики бываетъ двухъ родовъ: иное дѣло восторгъ отъ того, когда какая-нибудь балетная танцовщица подниметь ногу повыше, и опять иное дѣло восторгъ отъ того, когда могущественный лицедѣй потрясающимъ словомъ подниметь выше всѣхъ высокія чувства въ человекѣ. Иное дѣло — слезы отъ того, что какой-нибудь завѣзшій пѣвецъ расщекотитъ музыкальное ухо человекъ, — слезы, которыя, какъ я слышу, проливаютъ теперь въ Петербургѣ и не музыканты; и опять иное дѣло — слезы отъ того, когда живымъ представленіемъ высокаго подвига человекъ весь насквозь просвѣщается зритель и по выходѣ изъ театра принимается съ новою силою за долгъ свой, видя подвигъ геройскій въ такомъ его исполненіи. Другъ мой! мы призваны въ міръ не за тѣмъ, чтобъ истреблять и разрушать, но, подобно самому Богу, все направлять къ добру, даже и то, что уже испортилъ человекъ и обратилъ во зло. Нѣтъ такого орудія въ мірѣ, которое не было бы предназначено на службу Бога. Тѣ же самыя трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идоловъ своихъ, по одержаніи надъ ними царемъ Давидомъ побѣды, обратились на восхваленіе истиннаго Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышавъ хвалу Ему на тѣхъ инструментахъ, на которыхъ она дотолѣ не раздавалась.

XV.

Предметы для лирическаго поэта въ нынѣшнее время.

два письма къ н. м. языкову.

1.

Твое стихотвореніе „Землетрясеніе“ меня восхитило. Жуковскій также былъ отъ него въ восторгѣ. Это, по его мнѣнію, лучшее не только изъ твоихъ, но даже изъ всѣхъ русскихъ стихотвореній. Взять событіе изъ минувшаго и обратить его къ настоящему — какая умная и богатая мысль! А примѣненіе къ поэту; довершающее оду, таково, что его слѣдуетъ всякому изъ насъ, каково бы ни было его поприще, примѣнить къ самому себѣ въ эту тяжелую годину всемірнаго землетрясенія, когда все помутилось отъ страха за будущее. Другъ! передъ тобою разверзается живоносный источникъ. Въ словахъ твоихъ поэту:

И приноси дрожащимъ людямъ
Молитвы съ горней вышины —

заключаются слова тебѣ самому. Тайна твоей музы тебѣ открыта. Нынѣшнее время есть именно поприще для лирическаго поэта. Сатирую ничего не возьмешь; простою картиной дѣйствительности, оглянutoй глазомъ современнаго свѣтскаго человѣка, никого не разбудить: богатырски задремалъ нынѣшній вѣкъ. Нѣтъ, отыщи въ минувшемъ событіе, подобное настоящему, поставь его выступить ярко и порази его въ виду всѣхъ, какъ поражено было оно гнѣвомъ Божиимъ въ свое время: бей въ прошедшемъ настоящее, и въ двойную силу облечется твое слово: живѣе черезъ то выступить прошедшее и крикомъ закричить настоящее. Разогни книгу Ветхаго Завета: ты найдешь тамъ каждое изъ нынѣшнихъ событій, увидишь ясное дня, въ чемъ оно преступило предъ Богомъ, и такъ очевидно изображенъ надъ нимъ совершившійся страшный судъ Божій, что встрепенется настоящее. У тебя есть на то орудія и средства: въ стихѣ твоёмъ есть сила и упрекающая, и подъемяющая. То и другое теперь

именно нужно. Однихъ нужно поднять, другихъ попрекнуть: поднять тѣхъ, которые смутились отъ страховъ и безчинствъ, ихъ окружающихъ; попрекнуть тѣхъ, которые въ святыхъ минуты небеснаго гнѣва и страданій повсюдныхъ дерзаютъ предаваться буйству всякихъ сказаній и позорнаго ликованія. Нужно, чтобы твои стихи стали такъ въ глазахъ всѣхъ, какъ начертанныя на воздухѣ буквы, явившіяся на пиру Валтасара, отъ которыхъ все пришло въ ужасъ, еще прежде нежели могло проникнуть самый ихъ смыслъ. А если хочешь быть еще понятнѣе всѣмъ, то, набравшись духа библейскаго, опустишь съ нимъ, какъ со свѣточемъ, во глубину русской старины и въ ней порази позоръ нынѣшняго времени, и углуби въ то же время глубже въ насъ то, передъ чѣмъ еще позорище станетъ позоръ нашъ. Стихъ твой не будетъ вялъ, — не бойся: старина дастъ тебѣ краски и уже одною собою вдохновитъ тебя. Она такъ живьемъ и шевелится въ нашихъ лѣтописяхъ. На дняхъ попала въ мои руки книга: „Царскіе выходы.“ Тутъ уже одни слова и названія царскихъ убранствъ, дорогихъ тканей и каменьевъ — сущія сокровища для поэта; всякое слово такъ и ложится въ стихъ. Дивись драгоцѣности нашего языка: что ни звукъ, то и подарокъ; все зернисто, крупно, какъ самъ жемчугъ, и, право, иное названіе еще драгоцѣннѣе самой вещи. Да если только уберешь такими словами стихъ свой, — цѣлкомъ унесешь читателя въ минувшее. Мои, послѣ прочтенія трехъ страницъ изъ этой книги, такъ и видѣлся вездѣ царь старинныхъ, прежнихъ временъ, благоговѣнно идущій къ вечернѣ въ старинномъ царскомъ своемъ убранствѣ.

2.

Пишу къ тебѣ подъ вліяніемъ того-жъ стихотворенія твоего: „Землетрясеніе.“ Ради Бога, не оставляй начатаго дѣла! Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и, при свѣтѣ ихъ, приглядывайся къ нынѣшнему времени. Много, много предстоитъ тебѣ предметовъ, и грѣхъ тебѣ ихъ не видѣть. Жуковскій не даромъ доселѣ называлъ твою поэзію восторгомъ, никуда не обращеннымъ. Стыдно тратить лирическую силу въ видѣ

холостныхъ выстрѣловъ на воздухъ, тогда какъ она дана тебѣ на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокругъ: все теперь предметы для лирическаго поэта: всякъ человѣкъ требуетъ лирическаго воззванія къ нему; куда ни поворотиться, видишь, что нужно или попрекнуть, или освѣжить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего сильными лирическими упрекомъ уминыхъ, но унывшихъ людей. Проймешь ихъ, если покажешь имъ дѣло въ настоящемъ видѣ, то-есть, что человѣкъ, предавшійся унынію, есть дрянъ во всѣхъ отношеніяхъ, каковы бы ни были причины унынія, потому что уныніе проклято Богомъ. Истинно-русскаго человѣка поведешь на брань даже и противъ унынія, поднимешь его выше страха и колебаній земли, какъ поднялъ поэта въ своемъ „Землетрясеніи.“

Воззови, въ видѣ лирическаго сильнаго воззванія, къ прекрасному, но дремлющему человѣку. Брось ему съ берега доску и закричи во весь голосъ, чтобы спасалъ свою бѣдную душу. Уже онъ далеко отъ берега, уже несетъ и несетъ его ничтожная верхушка свѣта, несуть обѣды, ноги плясавицъ, ежедневное сонное опьяненіе; нечувствительно облекается онъ плотію и сталь уже весь плотъ, и уже почти нѣтъ въ немъ души. Завопи воплемъ и выставь ему вѣдьму-старость, къ нему идущую, которая вся изъ желѣза, передъ которою желѣзо есть милосердіе, которая ни крохи чувства не отдаетъ назадъ и обратно. О, если-бъ ты могъ сказать ему то, что долженъ сказать мой Плюшкинъ, если доберусь до третьяго тома „Мертвыхъ душъ!“

Опозорь, въ гнѣвномъ диеирамбѣ, новѣйшаго лихоимца нынѣшнихъ временъ и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя и мужа, и презрѣнный порогъ ихъ богатаго дома, и гнусный воздухъ, которымъ тамъ дышать, чтобы, какъ отъ чумы, отъ нихъ побѣжало все бѣгомъ и безъ оглядки.

Возвеличь, въ торжественномъ гимнѣ, незамѣтнаго труженика, какой, къ чести высокой породы русскаго, находится посреди отважнѣйшихъ взяточниковъ, который не беретъ даже и тогда, какъ все беретъ вокругъ него. Возвеличь и его, и семью его, благородную жену его, которая лучше захотѣла носить старо-

модный чепецъ и стать предметомъ насмѣшекъ другихъ, нежели допустить своего мужа сдѣлать несправедливость и подлость. Выставь ихъ прекрасную бѣдность такъ, чтобы, какъ святыня, она засіяла у всѣхъ въ глазахъ, и каждому изъ нихъ захотѣлось бы самому быть бѣднымъ.

Ублажи гимномъ того исполина, какой выходитъ только изъ Русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ, — плюнувши въ виду всѣхъ на свою мерзость и гнуснѣйшіе пороки, становится первымъ ратникомъ добра. Покажи, какъ совершается это богатырское дѣло въ истинно-русской душѣ; но покажи такъ, чтобы невольно затрепетала въ каждомъ русская природа и чтобы все, даже въ грубомъ и низшемъ сословіи, вскрикнуло: „Эхъ, молодецъ!“ почувствовавши, что и для него самого возможно такое дѣло.

Много, много предметовъ для лирическаго поэта, — въ книгѣ не вмѣстишь, не только въ письмѣ. Всякое истинное русское чувство гложетъ, и некому его вызвать! Дремлетъ наша удаля, дремлетъ рѣшимость и отвага на дѣло, дремлетъ наша крѣпость и сила, дремлетъ умъ нашъ среди вялой и бабьей свѣтской жизни, которую привили къ намъ, подъ именамъ просвѣщенія, пустыя и мелкія нововведенія. Страхни же сонъ съ очей своихъ и порази сонъ другихъ. На колѣна передъ Богомъ, и проси у него гнѣва и любви: гнѣва — противу того, что губить человѣка, любви — къ бѣдной душѣ человѣка, которую губятъ со всѣхъ сторонъ и которую губить онъ самъ. Найдешь слова, найдутся выраженія; огни, а не слова, излетятъ отъ тебя, какъ отъ древнихъ пророковъ, если только, подобно имъ, сдѣлаешь это дѣло роднымъ и кровнымъ своимъ дѣломъ, если только, подобно имъ, посыпавъ пепломъ главу, разодравши ризы, рыданіемъ вымолишь себѣ у Бога на то силу, и такъ возлюбишь спасеніе земли своей, какъ возлюбили они спасеніе Богоизбраннаго своего народа.

1844.

XVI.

С О В Ъ Т Ы.

ПИСЬМО КЪ С. П. ШЕВЫРЕВУ.

Уча другихъ, также учишься. Посреди моего болѣзненнаго и труднаго бремени, къ которому присоединились еще и тяжелыя страданія душевныя, я долженъ былъ вести такую дѣятельную переписку, какой никогда у меня не было дотолѣ. Какъ нарочно, почти со всѣми близкими моей душѣ случились въ это время внутреннія событія и потрясенія. Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мнѣ, требуя помощи и совѣта. Тутъ только узналъ я близкое родство человѣческихъ душъ между собою. Стоить только хорошенъко выстрадаться самому, какъ уже всѣ страдающіе становятся тебѣ понятны и почти знаешь, что нужно сказать имъ. Этого мало; самый умъ проясняется: дотолѣ сокрытыя положенія и поприща людей становятся тебѣ извѣстны, и дѣлается видно, что кому изъ нихъ необходимо. Въ послѣднее время мнѣ случалось даже получать письма отъ людей, мнѣ почти вовсе незнакомыхъ, и давать на нихъ отвѣты такіе, какихъ бы я не сумѣлъ дать прежде. А между прочимъ я ни чуть не умнѣе никого. Я знаю людей, которые въ нѣсколько разъ умнѣе и образованнѣе меня и могли бы дать совѣты въ нѣсколько разъ полезнѣйшіе моихъ; но они этого не дѣлаютъ и даже не знаютъ, какъ это сдѣлать. Великъ Богъ, насъ умудряющій! и чѣмъ же умудряющій? — тѣмъ самымъ горемъ, отъ котораго мы бѣжимъ и хотимъ скрыться. Страданіями и горемъ опредѣлено намъ добывать крупицы мудрости, не приобретаемой въ книгахъ. Но кто уже приобрѣлъ одну изъ этихъ крупицъ, тотъ уже не имѣетъ права скрывать ее въ себѣ отъ другихъ. Она не твое, но Божіе достояніе. Богъ ее выработалъ въ тебѣ: всѣ же дары Божіи даются намъ за тѣмъ, чтобы мы служили ими собратіямъ нашимъ: Онъ повелѣлъ, чтобы ежеминутно учили мы другъ друга. Итакъ, не останавливайся, учи и давай совѣты! Но если хочешь, чтобы это принесло въ то же время тебѣ самому пользу, дѣлай такъ, какъ думаю я, и какъ положилъ себѣ отнынѣ дѣ-

латъ всегда. Всякой совѣтъ и наставленіе, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человѣку стоящему на самой низкой степени образованія, съ которымъ у тебя ничего не можетъ быть общаго, обрати въ то же время къ самому себѣ, и то же самое, что посовѣтовалъ другому, посовѣтуй себѣ самому; тотъ же самый упрекъ, который сдѣлалъ другому, сдѣлай тутъ же себѣ самому. Повѣрь, все придется къ тебѣ самому, и даже не знаю, есть ли такой упрекъ, которымъ бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Дѣйствуй оружіемъ обоюдоострымъ. Если даже тебѣ случится разсердиться на кого бы то ни было, разсердись въ то же время и на себя самого, хотя за то, что съумѣлъ разсердиться на другого. И это дѣлай непремѣнно! ни въ какомъ случаѣ не своди глазъ съ самого себя. Имѣй всегда въ предметъ себя прежде всѣхъ. Будь эгоистъ въ этомъ случаѣ. Эгоизмъ — тоже не дурное свойство: вольно было людямъ дать ему такое скверное толкованіе, а въ основаніе эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себѣ, а потомъ о другихъ: стань прежде самъ почище душой, а потомъ уже старайся, чтобы другіе были чище.

1846.

XVII.

Просвѣщеніе.

ПИСЬМО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

Еще разъ пишу къ тебѣ съ дороги. Братъ, благодарю за все! У гроба Господа испрошу, да поможетъ мнѣ отдать тебѣ хотя часть того умнаго добра, которымъ надѣлалъ меня ты. Вѣруй, и да не смущается твое сердце! Въ Москву ты пріѣдешь какъ въ родную свою семью. Она предстанетъ тебѣ желанною пристаніемъ и въ ней покойницѣ будетъ тебѣ, нежели здѣсь. Ни пустой шумъ суеты, ни громъ экипажа не смутятъ тебя; объѣдутъ бережкіе и улицу, въ которой ты будешь жить. Если кто и пріѣдетъ тебѣ навѣстить, старый ли другъ твой, или же дотогѣ незнакомый че-

ловѣкъ, онъ станетъ впередъ просить не отдавать ему визита, боясь, чтобъ и минута твоего времени не пропала. У насъ умѣютъ и даже знаютъ, какъ почитать того, кто сдѣлалъ цѣлькомъ свое дѣло. Кто такъ безукоризненно, такъ тщательно употреблялъ всѣ дары свои, не давая задремать своимъ способностямъ, не лѣнясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранилъ свѣжую старость свою, какъ бы молодость, въ то время, какъ всѣ вокругъ изтравили ее на пустые добланы, и когда молодые превратились въ хилыхъ стариковъ, тотъ имѣетъ право на вниманіе благоговѣнное. Какъ патріархъ ты будешь въ Москвѣ, и на вѣсь золота примуть отъ тебя юноши старческія слова твои. Твоя Одиссея принесетъ много общаго добра: это тебѣ предрекаю. Она возвратитъ къ свѣжести современнаго человѣка, усталаго отъ безпорядка жизни и мыслей; она обновитъ въ глазахъ его много того, что брошено имъ, какъ ветхое и ненужное для быта; она возвратитъ его къ простотѣ. Но не меньше добра, если еще не больше, принесутъ тѣ груды, на которые навелъ тебя самъ Богъ и которые ты держишь, покуда, разумно подъ спудомъ. Въ нихъ охватывается также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди впередъ! Да не испугаетъ тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встрѣтилъ. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который, покуда, еще не всѣми видимъ, — наша Церковь. Уже готовится она вдругъ вступить въ полныя права свои и засіяетъ свѣтомъ на всю землю. Въ ней заключено все, что нужно для жизни истинно-русской, во всѣхъ ея отношеніяхъ, начиная отъ государственнаго до простаго семейственнаго, всему настрой, всему направленіе, всему законная и вѣрная дорога. По мнѣ, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведеніе въ Россію, минуя нашу Церковь, не испросивъ у нея на то благословенія. Нелѣпо даже и къ мыслямъ нашимъ прививать какія бы то ни было европейскія идеи, покуда не окреститъ ихъ она свѣтомъ Христовымъ. Увидишь, какъ это вдругъ и въ твоихъ же глазахъ будетъ признано всѣми въ Россіи, какъ вѣрующими, такъ и невѣрующими, какъ вдругъ выступитъ всѣми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слѣпота пала на глаза многихъ. Разбирая пристально нить событій

міра, вижу всю мудрость Божію, попустившую временному раздѣленію Церкви, повелѣвшую одной стоять неподвижно и какъ бы вдали отъ людей, а другой — волноваться вмѣстѣ съ людьми; одной — не принимать въ себя никакихъ нововведеній, кромѣ тѣхъ, которыя были внесены святыми людьми лучшихъ временъ христіанства и первоначальными Отцами Церкви, другой — ивѣняясь и примѣняясь ко всѣмъ обстоятельствамъ времени, духу и привычекъ людей, вносить всѣ нововведенія, сдѣланныя даже порочными и несвятыми епископами; одной — на время какъ бы умереть для міра, другой — на время какъ бы овладѣть всѣмъ міромъ; одной, подобно скромной Маріи, отложивши всѣ пожеланія о земномъ, — помѣститься у ногъ самого Господа, затѣмъ чтобы лучше послушаться словъ Его, прежде нежели примѣнять и передавать ихъ людямъ; другой же, подобно заботливой хозяйкѣ Марѣѣ, — гостепріимно хлопотать около людей, передавая имъ еще не взвѣшенные всѣмъ разумомъ слова Господни. Благоудачь избрала первая, что такъ долго прислушивалась къ словамъ Господа, вынося упреки недалководной сестры своей, которая уже было осмѣлилась называть ее *мертвымъ* трупомъ и даже заблудшею и отступившею отъ Господа. Не легко примѣнить слово Христово къ людямъ, и слѣдовало ей прежде сильно проникнуться имъ самой. Зато въ нашей Церкви сохранилось все, что нужно для проснпающагося нынѣ общества. Въ ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чѣмъ больше вхожу въ нее сердцемъ, умомъ и помышленіемъ, тѣмъ больше изумляюсь чудной возможности примиренія тѣхъ противорѣчій, которыя не въ силахъ примирить теперь Церковь западная. Западная церковь была еще достаточна для прежняго несложнаго порядка, еще могла кое-какъ управлять міромъ и мирить его со Христомъ во имя односторонняго и неполнаго развитія чело-вѣчества. Теперь же, когда чело-вѣчество стало достигать развитія полнѣйшаго во всѣхъ своихъ силахъ, во всѣхъ свойствахъ, какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ, она его только отталкиваетъ отъ Христа: чѣмъ больше хлопочетъ о примиреніи, тѣмъ больше вноситъ раздоръ, будучи не въ силахъ освѣтить узкимъ свѣтомъ своимъ всякой нынѣшній предметъ со всѣхъ его сторонъ. Всѣ

сознаются въ томъ, что этимъ самымъ введеніемъ въ себя множества постановленій человѣческихъ, сдѣланныхъ такими епископами, которые еще не достигнули святости жизни своей до полной и многосторонней христіанской мудрости, она съуздила взглядъ свой на жизнь и міръ, и не можетъ обхватить ихъ. Полный и всесторонній взглядъ на жизнь остался на ея восточной половинѣ, видимо сбереженной для позднѣйшаго и полнѣйшаго образованія человѣка. Въ ней просторъ не только дунѣ и сердцу человѣка, но и разуму, во всѣхъ его верховныхъ силахъ. Въ ней дорога и путь, какъ устремить все въ человѣкѣ въ одинъ согласный гимнъ верховному Существому. Другъ! не смущайся ничѣмъ. Если бы седмерицею кратъ были запутаннѣе нынѣшнія обстоятельства — все примирить и распухать наша Церковь. Уже, какимъ-то невѣдомымъ чутьемъ, даже наши свѣтскіе люди, толкаящіеся среди насъ, начинаютъ слышать, что есть какое-то сокровище, отъ котораго спасеніе, которое среди насъ и котораго не видимъ. Блеснетъ сокровище, и на всемъ отсвѣтится блескъ его. И время уже недалеко. Мы повторяемъ теперь еще безсмысленно слово *просвѣщеніе*. Даже и не задумались надъ тѣмъ, откуда пришло это слово и что оно значить. Слова этого нѣтъ ни на какомъ языкѣ; оно только у насъ. Просвѣтить не значить научить, или наставить, или образовывать, или даже освѣтить, но всего насъ высквозъ высвѣтлить человѣка во всѣхъ его силахъ, а не одномъ умѣ, пронести всю природу его сквозъ какой-то очистительный огонь. Слово это взято изъ нашей Церкви, которая уже почти тысячу лѣтъ его произносить, несмотря на всѣ мраки и невѣжественныя тьмы, отъсюду ее окружавшія, и знаетъ, зачѣмъ произносить. Недаромъ архіерей, въ торжественномъ служеніи своемъ, подъявля въ обѣихъ рукахъ и троесвѣщникъ, знаменующій Троицу Бога, и двусвѣщникъ, знаменующій Его сходящее на землю Слово въ двойномъ естествѣ Его, и Божескомъ и человѣческомъ, всѣхъ ими освѣщаетъ, произнося: „Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ!“ Не даромъ также въ другомъ мѣстѣ служенія гремѣть отрывочно, какъ бы съ неба, вслухъ всѣмъ слова: „Свѣтъ просвѣщенія!“ и ничего къ нимъ не прибавляется больше.

XVIII.

Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу „Мертвыхъ душъ.“

1.

Вы напрасно негодуете на неумѣренный тонъ нѣкоторыхъ нападеній на „Мертвыя души.“ Это имѣеть свою хорошую сторону. Иногда нужно имѣть противу себя озлобленныхъ. Кто увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостатковъ и прощаетъ все; но кто озлобленъ, тотъ постарается выкопать въ насъ всю дрянь и выставить ее такъ ярко наружу, что по-неволѣ ее увидишь. Истину такъ рѣдко приходится слышать, что уже за одну крупицу ея можно простить всякой оскорбительный голосъ, съ какимъ бы она ни произносилась. Въ критикахъ Булгарина, Сеньковского и Полеваго есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго мнѣ совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а потомъ уже писать. Въ самомъ дѣлѣ, еслибъ я не торопился печатаніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, я бы увидѣлъ потомъ и самъ, что въ такомъ неопрятномъ видѣ ей никакъ нельзя было явиться въ свѣтъ. Самыя эпиграммы и насмѣшки надо мною были мнѣ нужны, несмотря на то, что съ перваго разу пришлось очень не по-сердцу. О, какъ намъ нужны безпрестанные щелчки, и этотъ оскорбительный тонъ, и эти ѣдкія, пронимающія насквозь, насмѣшки! На днѣ души нашей столько таятся всякаго мелкаго, ничтожнаго самолюбія, щекотливаго, свернаго честолюбія, что насъ ежеминутно слѣдуетъ колоть, поражать, бить всѣми возможными орудіями, и мы должны благодарить ежеминутно насъ поражающую руку.

Я бы желалъ, однакожь, побольше критикъ, не со стороны литераторовъ, но со стороны людей, занятыхъ дѣломъ самой жизни. Со стороны практическихъ людей, какъ на бѣду, кромѣ литераторовъ, не отоваялся никто. А между тѣмъ „Мертвыя души“ произвели много шума, много ропота; задѣли за-живое многихъ и насмѣшкою, и правдою, и карриатурою; коснулись порядка вещей, который у всѣхъ ежедневно передъ глазами,

хоть исполнены промаховъ, анахронизмовъ, явнаго незнанія многихъ предметовъ; мѣстами даже съ умысломъ помѣщено обидное и задѣвающее, — авось кто-нибудь меня выберитъ хорошенько и въ брани, въ гнѣвѣ выскажетъ мнѣ правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голосъ! А могъ всякъ. И какъ бы еще умно! Служащій чиновникъ могъ бы мнѣ явно доказать, въ виду всѣхъ, неправдоподобность мною изображеннаго событія, приведеніемъ двухъ-трехъ дѣйствительно случившихся дѣлъ, и тѣмъ бы опровергъ меня лучше всякихъ словъ, или тѣмъ же самымъ образомъ могъ бы защитить и оправдать справедливость мною описаннаго. Приведеніемъ событія случившагося лучше доказывается дѣло, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованіями. Могъ бы то же сдѣлать и купецъ, и помѣщикъ, — словомъ, всякой грамотей, сидитъ ли онъ сиднемъ на мѣстѣ, или рыскаетъ вдоль и поперекъ по всему лицу Русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякой человѣкъ, съ того мѣста, или ступеньки въ обществѣ, на которую поставили его должность, званіе и образованіе, имѣетъ случай видѣть тотъ же предметъ съ такой стороны, съ которой, кромѣ его, никто другой не можетъ видѣть. По поводу „Мертвыхъ душъ“ могла бы написаться сею толпою читателей другая книга, несравненно любопытнѣйшая „Мертвыхъ душъ“, которая могла бы научить не только меня, но и самихъ читателей, потому что — нечего таить грѣха — всѣ мы очень плохо знаемъ Россію.

И хотя бы одна душа заговорила во всеуслышаніе! Точно какъ бы вымерло все, какъ бы въ самомъ дѣлѣ обитаютъ въ Россіи не живыя, а какія-то мертвыя души. И меня же упрекаютъ въ плохомъ знаніи Россіи! Какъ будто непремѣнно силою Святаго Духа долженъ узнать я все, чтѣ ни дѣлается во всѣхъ углахъ ея, — безъ наученія научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самимъ званіемъ писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притомъ еще больной, и притомъ еще принужденный жить вдали отъ Россіи, — какими путями могу я научиться? Меня же не научать этому литераторы и журналисты, которые сами — затворники и люди

кабинетные. У писателя только и есть одинъ учитель — сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвѣтъ Богу за то, что не исполнялъ, какъ слѣдуетъ, своего дѣла; но знаю, что дадутъ за меня отвѣтъ и другіе, и говорю это не даромъ; видитъ Богъ, говорю не даромъ!

1843.

2.

Я предчувствовалъ, что всѣ лирическія отступленія въ поэмѣ будутъ приняты въ превратномъ смыслѣ. Они такъ неясны, такъ мало вьжуются съ предметами проходящими предъ глазами читателя, такъ невольно складу и замашкѣ всего сочиненія, что ввели въ равное заблужденіе какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Всѣ мѣста, гдѣ ни заикнулся я неопредѣленно о писателѣ, были отнесены на мой счетъ; я краснѣлъ даже отъ изъясненій ихъ въ мою пользу. И по-дѣломъ мнѣ! Ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало выдавать сочиненія, которое хотя выкровенно было не дурно, но шито кое-какъ, бѣлыми нитками, подобно платью, приносимому портнымъ только для пригѣрки. Дивлюсь только тому, что мало было сдѣлано упрековъ въ отношеніи къ искусству и творческой наукѣ. Этому помѣшало какъ гнѣвное расположеніе моихъ критиковъ, такъ и непривычка всматриваться въ постройку сочиненія. Слѣдовало показать, какія части чудовищно-длинны въ отношеніи къ другимъ, гдѣ писатель измѣнилъ самому себѣ, не выдержавъ своего собственнаго, уже разъ принятаго, тона. Никто не замѣтилъ даже, что послѣдняя половина книги обработана меньше первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокращены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаетъ внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его. Словомъ, можно было сдѣлать нападеній несравненно дѣльнѣйшихъ, избранить меня гораздо больше, нежели теперь бранять, и избранить за дѣло. Но рѣчь не о томъ. Рѣчь о лирическомъ отступленіи, на которое больше всего напали журналисты, видя въ немъ

признаки самонадѣянности, самохвальства и гордости, доселѣ еще не слыханной ни въ одномъ писателѣ. Разумѣю то мѣсто въ послѣдней главѣ, когда, изобразивъ выѣздъ Чичикова изъ города, писатель на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится самъ на его мѣсто и, пораженный скучнымъ однообразиемъ предметовъ, пустынною безпріятностію пространствъ и грустною пѣсней, несущеюся по всему лицу земли Русской, отъ моря до моря, обращается въ лирическомъ воззвнаніи къ самой Россіи, спрашивая у нея самой объясненій непонятнаго чувства, его объявшаго, то-есть зачѣмъ и почему ему кажется, что будто все, чтò ни есть въ ней, отъ предмета одушевленнаго до бездушнаго, вперило на него глаза свои и чего-то ждетъ отъ него. Слова эти были приняты за гордость и доселѣ неслыханное хвастовство, между тѣмъ какъ они ни то, ни другое. Это, просто, нескладное выраженіе истиннаго чувства. Мнѣ и донинѣ кажется то же. Я до сихъ поръ не могу выносить тѣхъ заунывныхъ, раздражающихъ звуковъ нашей пѣсни, которая стремится по всемъ безпредѣльнымъ русскимъ пространствамъ. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущаетъ въ себѣ того же. Кому, при взглядѣ на эти пустынные, доселѣ не заселенныя и безпріютныя пространства, не чувствуется тоска, кому въ заунывныхъ звукахъ нашей пѣсни не слышатся болѣзненные упреки ему самому, именно ему самому, тотъ или уже весь исполнилъ свой долгъ, какъ слѣдуетъ, или же онъ не Русскій въ душѣ. Разберемъ дѣло, какъ оно есть. Вотъ уже почти полтора ста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла, и до сихъ поръ остаются такъ же пустынины, грустны и безлюдны наши пространства, такъ же безпріютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдѣ-то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышетъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ приемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною вьюгой, почтовою станціей, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный

смотрясь съ черствымъ отвѣтомъ: „Нѣтъ лошадей!“ ... Отчего это? Кто виновать? Мы, или правительство? Но правительство во все время дѣйствовало безъ усталы. Свидѣтелемъ тому цѣлыя томы постановленій, узаконеній и учреждений, множество настроенныхъ домовъ, множество изданныхъ книгъ, множество заведенныхъ заведеній всякаго рода, учебныхъ, человѣколюбивыхъ, богоугодныхъ и, словомъ, даже такихъ, какихъ нигдѣ въ другихъ государствахъ не заводятъ правительства. Сверху раздаются вопросы, отвѣты снизу. Сверху раздавались иногда такіе вопросы, которые свидѣлствуютъ о рыцарски-великодушномъ движеніи многихъ государей, дѣйствовавшихъ даже въ ущербъ собственнымъ выгодамъ. А какъ было на это отвѣствовано снизу?... Дѣло вѣдь въ примѣненіи, въ умѣнны приложить данную мысль такимъ образомъ, чтобы она принялась и поселилась въ насъ. Указъ, какъ бы онъ обдуманъ и опредѣлительнъ ни былъ, есть не болѣе какъ бланковый листъ, если не будетъ снизу такого же чистаго желанія примѣнить его къ дѣлу тою именно стороною, какою нужно, какою слѣдуетъ, и какую можетъ прозрѣть только тотъ, кто просвѣтленъ понятіемъ о справедливости Божеской, а не человѣческой. Безъ того все обратится во зло. Доказательство тому — всѣ наши тонкіе плуты и взяточники, которые умѣютъ обойти всякой указъ, для которыхъ новый указъ есть только новая пожива, новое средство загромоздить болшею сложностію всякое отправленіе дѣлъ, бросить новое бревно подъ ноги человѣку. Словомъ вездѣ, куда ни обращусь, вижу, что виновать примѣнитель, стало-быть, нашъ же братъ: или виновать тѣмъ, что поторопился, желая слишкомъ скоро прославиться и схватить орденишку; или виновать тѣмъ, что слишкомъ сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованіе; не спросясь разума, не разсмотрѣвъ въ жару самого дѣла, сталъ имъ ворочать, какъ знатокъ, и потомъ вдругъ, также по русскому обычаю, простылъ, увидѣвши неудачу; или же виновать, наконецъ, тѣмъ, что, изъ-за какого-нибудь оскорбленнаго мелкаго честолюбія, все бросилъ, и то мѣсто, на которомъ было началъ такъ благородно подвизаться, сдалъ первому плуту: пусть пограбятъ людей. Словомъ, у

рѣдкаго изъ насъ доставало столько любви къ добру, чтобъ онъ рѣшился пожертвовать изъ-за него и честолюбіемъ, и всѣми мелочами легко раздражающагося своего эгоизма, и положилъ самому себѣ въ непремѣнный законъ — служить землѣ своей, а не себѣ, помня ежеминутно, что взялъ онъ мѣсто для счастья другихъ, а не для своего. Напротивъ, въ послѣднее время, какъ бы еще нарочно, старался Русскій человѣкъ выставить всѣмъ на видъ свою щекотливость во всѣхъ родахъ и мелочь раздражительнаго самолюбія своего на всѣхъ путяхъ. Не знаю, много ли изъ насъ такихъ, которые сдѣлали все, что имъ слѣдовало сдѣлать, и которые могутъ сказать открыто передъ цѣлымъ свѣтомъ, что ихъ не можетъ попрекнуть ни въ чемъ Россія, что не глядить на нихъ укоризненно всякой бездушный предметъ ея пустынныхъ пространствъ, что все ими довольно и ничего отъ нихъ не ждеть. Знаю только то, что я слышалъ себѣ упрекъ. Слышу его и теперь. И на моемъ поприщѣ писателя, какъ оно ни скромно, можно было кое-что сдѣлать на пользу болѣе прочную. Что изъ того, что въ моемъ сердцѣ обитало всегда желаніе добра и что единственно изъ-за него я взялся за перо? Какъ исполнилъ его? Ну, хоть бы и это мое сочиненіе, которое теперь вышло и которому названіе „Мертвыя души,“ — произвело ли оно то впечатлѣніе, какое должно было произвести, еслибы только было написано такъ, какъ слѣдуетъ? Своихъ же собственныхъ мыслей, простыхъ, неголоволомныхъ мыслей, я не сумѣлъ передать, и самъ же подаль поводъ къ истолкованію ихъ въ превратную и скорѣе вредную, нежели полезную сторону. Кто виноватъ? Неужели мнѣ говорить, что меня подталкивали просьбы пріятелей, или нетерпѣливыя желанія любителей изящнаго, улаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мнѣ говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимыя для моего прожитія деньги, я долженъ былъ поторопиться безвременнымъ выпускомъ моей книги? Нѣтъ, кто рѣшился исполнять свое дѣло честно, того не могутъ поколебать никакія обстоятельства, тотъ протянетъ руку и попроситъ милостыню, если ужъ до того дойдетъ дѣло, тотъ не посмотритъ ни на какія временныя нареканія, ниже пустыя приличія свѣта. Кто изъ пустыхъ при-

личій свѣта портить дѣло, нужное своей землѣ, тотъ ее не любить. Я почувствовалъ презрѣнную слабость моего характера, мое подлое молодухіе, безсиліе любви моей, а потому и услышалъ болѣзненный упрекъ себѣ во всемъ, что ни есть въ Россіи. Но высшая сила меня подняла; проступковъ нѣтъ неисправимыхъ, и тѣ же пустынные пространства, нанесшія тоску мнѣ на душу, меня восторгнули великимъ просторомъ своего пространства, широкимъ поприщемъ для дѣлъ. Отъ души было произнесено это обращеніе къ Россіи: „Въ тебѣ ли не быть богатирю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться ему!“ Оно было сказано не для картины, или похвалы, — я это чувствовалъ; я это чувствую и теперь. Въ Россіи теперь на всякомъ шагу можно сдѣлаться богатыремъ. Всякое званіе и мѣсто требуетъ богатырства. Каждый изъ насъ опозорилъ до того святиню своего званія и мѣста (всѣ мѣста святы), что нужно богатырскихъ силъ на то, чтобы вознести ихъ на законную высоту. Я слышалъ то великое поприще, которое никому изъ другихъ народовъ теперь невозможно и только одному Русскому возможно, потому что передъ нимъ только такой просторъ и только его душѣ знакомо богатырство, — вотъ отчего у меня исторгнулось то восклицаніе, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадѣянность!

1843.

3.

Охота же тебѣ, будучи такимъ знаткомъ и вѣдателемъ челоуѣка, задавать мнѣ тѣ же пустые запросы, которые умѣютъ задать и другіе! Половина ихъ относится къ тому, что еще впереди. Ну, что толку въ подобномъ любопытствѣ? Одинъ только запросъ умнѣ и достоинъ тебя, и я бы желалъ, чтобы его мнѣ сдѣлали и другіе, хотя не знаю, съумѣлъ ли бы на него отвѣчать умно, — именно запросъ: отчего герои моихъ послѣднихъ произведеній, и въ особенности „Мертвыхъ душъ,“ будучи далеки отъ того, чтобы быть портретами дѣйствительныхъ людей, будучи сами по себѣ свойства совсѣмъ непривлекательнаго, неизвѣстно почему близки душѣ, точно какъ бы въ сочиненіи ихъ

участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мнѣ было бы неловко отвѣчать на это даже и тебѣ. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душѣ, что они изъ души; всѣ мои послѣднія сочиненія — исторія моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, опредѣляю тебѣ себя самого, какъ писателя. Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышала одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей. Оно впоследствии углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда и Пушкину.

Это свойство выступило съ бѣльшей силою въ „Мертвыхъ душахъ.“ „Мертвыя души“ не потому такъ испугали Россію и произвели такой шумъ внутри ея, чтобы онѣ раскрыли какія-нибудь ея раны или внутреннія болѣзни, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности. Ни чуть не бывало. Герои мои вовсе не злодѣи; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирится бы съ ними всѣми. Но пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои одинъ пошлѣе другаго, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть или духъ перевести бѣдному читателю и что, по прочтеніи всей книги, кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погребца на Божій свѣтъ. Мнѣ бы скорѣе простили, еслибы я выставилъ картинныхъ изверговъ; но пошлости не простили мнѣ. Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки. Явленіе замѣчательное! испугъ прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращеніе отъ ничтожнаго, въ томъ, вѣрно, заключено все то, что противоположно ничтож-

ному. Итакъ, вотъ въ чемъ мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мнѣ въ такой силѣ, еслибы съ нимъ не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей моихъ не зналъ того, что, смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною.

Во мнѣ не было какого-нибудь одного слишкомъ сильнаго порока, который бы высунулся виднѣе всѣхъ моихъ прочихъ пороковъ, все равно, какъ не было также никакой картинной добродѣтели, которая могла бы придать мнѣ какую-нибудь картинную наружность: но за то, вмѣсто того, во мнѣ заключалось собраніе всѣхъ возможныхъ гадостей, каждой понемногу, и притомъ въ такомъ множествѣ, въ какомъ я еще не встрѣчалъ доселѣ ни въ одномъ человѣкѣ. Богъ далъ мнѣ многостороннюю природу. Онъ поселилъ мнѣ также въ душу, уже отъ рожденія моего, нѣсколько хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ, за которое не умѣю какъ возблагодарить Его, было *желаніе быть лучшимъ*. Я не любилъ никогда моихъ дурныхъ качествъ, и если-бы небесная любовь Божія не распорядила такъ, чтобы они открылись передо мною постепенно и понемногу, на мѣсто того, чтобы открылись вдругъ и разомъ передъ моими глазами, въ то время, какъ я не имѣлъ еще никакого понятія о всей неизмѣримости Его безконечнаго милосердія, я бы повѣсился. По мѣрѣ того, какъ они стали открываться, чуднымъ высшимъ внушеніемъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ; необыкновеннымъ душевнымъ событіемъ я былъ наведенъ на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ. Какого рода было это событіе, знать тебѣ не слѣдуетъ: еслибъ я видѣлъ въ этомъ пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявилъ. Съ этихъ поръ я сталъ надѣлать своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: взявши дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Еслибы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили

изъ-подъ пера моего въ началѣ, для меня самого, онъ бы точно содрогнулся. Довольно сказать тебѣ только то, что когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ „Мертвыхъ душъ“, въ томъ видѣ, какъ онъ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ по немногу становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, и наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: „Боже, какъ грустна наша Россія!“ Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это карриатура и моя собственная выдумка! Тутъ-то я увидѣлъ, что значить дѣло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человѣка видѣ можетъ быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствіе свѣта*. Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатлѣніе, которое могли произвести „Мертвыя души“. Я увидѣлъ, что многія изъ гадостей не стоятъ злости: лучше показать всю ничтожность ихъ, которая должна быть навѣки ихъ удѣломъ. Притомъ мнѣ хотѣлось попробовать, что скажетъ вообще русскій человѣкъ, если его попотчешь его же собственною пошlostію. Вслѣдствіе уже давно принятаго плана „Мертвыхъ душъ“, для первой части поэмы требовались именно люди ничтожныя. Эти ничтожныя люди, однакожъ, ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумѣется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты. Тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты многихъ моихъ пріятелей, есть и твои. Я тебѣ это покажу послѣ, когда будетъ тебѣ нужно; до времени это моя тайна. Мнѣ потребно было отобрать отъ всѣхъ прекрасныхъ людей, которыхъ я зналъ, все пошлое и гадкое, что они захватили нечаянно, и возвратить ихъ владѣльцамъ. Не спрашивай, зачѣмъ первая часть вся — *пошлость*, и зачѣмъ въ ней всѣ лица до единаго должны быть пошлы: на это дадутъ тебѣ отвѣтъ другіе томы — вотъ и все! Первая часть, несмотря на всѣ свои несовершенства, главное дѣло сдѣлала. Она поселила во всѣхъ отвращеніе отъ моихъ героевъ и отъ ихъ ничтожности; она разнесла

нѣкоторую, мнѣ нужную, тоску и особенное наше неудовольствіе на самихъ насъ. Покажѣть для меня того довольно; за другихъ я и не гонюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительнѣе, если-бы я, не торопясь выдачею въ свѣтъ, обработалъ книгу лучше. Герои мои еще не отдѣлились вполнѣ отъ меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселилъ я ихъ твердо на той землѣ, на которой имъ быть долженствовало, и не вошли они въ кругъ нашихъ обычаевъ, оставаясь всѣми обстоятельствами дѣйствительно русской жизни. Еще вся книга не болѣе какъ недостатокъ, но духъ ея разнесся уже отъ нея незримо, и самое ея раннее появленіе можетъ быть полезно мнѣ тѣмъ, что подвигнетъ моихъ читателей указать всѣ промахи относительно общественныхъ и частныхъ порядковъ внутри Россіи. Вотъ, еслибы ты, вмѣсто того, чтобы предлагать мнѣ пустые запросы (которыми напичкалъ половину письма своего и которые ни къ чему не ведутъ, кромѣ удовлетворенія какаго-то празднаго любопытства), собралъ всѣ дѣльныя замѣчанія на мою книгу, какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, занятыхъ, подобно тебѣ, жизнію опытною и дѣльною, да присоединилъ бы къ этому множество событій и анекдотовъ, какіе ни случались въ овладѣніи вашемъ и во всей губерніи, въ подтвержденіе или въ опроверженіе всякаго дѣла въ моей книгѣ, какихъ можно бы десятками прибрать на всякую страницу; тогда бы ты сдѣлалъ доброе дѣло, и я бы сказалъ тебѣ мое крѣпкое спасибо. Какъ бы отъ этого раздвинулся мой кругозоръ! Какъ бы освѣжилась моя голова и какъ бы успѣшнѣе пошло мое дѣло! Но того, о чемъ я прошу, никто не исполняетъ; моихъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ свои: а иной даже требуетъ отъ меня какой-то искренности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуетъ. И къ чему это пустое любопытство знать впередъ и эта пустая, ни къ чему не ведущая торопливость, которою, какъ я замѣчаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, какъ въ природѣ совершается все чинно и мудро, въ какомъ стройномъ законѣ и какъ все разумно исходитъ одно изъ другого! Одни мы, Богъ вѣсть изъ чего, мечемся. Все торопится, все въ какой-то горячкѣ. Ну, взвѣсилъ ли ты хоро-

шенько слова свои: „Второй томъ нуженъ теперь необходимо!“
 Чтобъ я изъ-за того только, что есть противъ меня всеобщее не-
 удовольствіе, сталъ торопиться вторымъ томомъ, такъ же глупо,
 какъ и то, что я поторопился первымъ. Да развѣ ужъ я совсѣмъ
 выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мнѣ нужно: въ неудоволь-
 ствіи человѣкъ хоть что-нибудь мнѣ выскажетъ. И откуда вы-
 вель ты заключеніе, что второй томъ именно теперь нуженъ?
 Залѣвъ ты развѣ въ мою голову? почувствовалъ существо второго
 тома? По-твоему онъ нуженъ теперь, а по-моему не раньше, какъ
 черезъ два-три года, да и то еще принимая въ соображеніе по-
 путный ходъ обстоятельствъ и времени. Кто-жъ изъ насъ правъ:
 тотъ ли, у кого второй томъ уже сидитъ въ головѣ, или тотъ, кто
 даже и не знаетъ, изъ чего состоитъ второй томъ? Какая стран-
 ная мода теперь завелась на Руси! Самъ человѣкъ лежитъ на
 боку, въ дѣлу настоящему лѣнивъ, а другого торопить, точно
 какъ будто непремѣнно другой долженъ изо всѣхъ силъ тянуть,
 отъ радости, что его пріятель лежитъ на боку. Чуть замѣтять,
 что хотя одинъ человѣкъ занялся серьезно какимъ-нибудь дѣломъ,
 ужъ его торопятъ со всѣхъ сторонъ, и потому его же выбра-
 нять, если сдѣлаетъ глупо, — скажутъ: зачѣмъ поторопился?
 Но оканчиваю тебѣ поученіе. На твой умный вопросъ я отвѣ-
 чалъ и даже сказалъ тебѣ то, чего доселѣ не говорилъ еще ни-
 кому. Не думай, однакоже, послѣ этой исповѣди, чтобъ я самъ
 былъ такой же уродъ, каковы мои герои. Нѣтъ, я не похожъ на
 нихъ. Я люблю добро, я ищу его и стараю имъ; но я не люблю
 моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои; я не
 люблю тѣхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ
 добра. Я воюю съ ними и буду воевать, и изгоню ихъ, и мнѣ
 въ этомъ поможетъ Богъ, и это вздоръ, что выпустили глупые
 свѣтскіе умники, будто человѣку только и возможно воспитать
 себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ ужъ и черты нельзя из-
 мѣнить въ себѣ. Только въ глупой свѣтской башкѣ могла об-
 разоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ га-
 достей избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ
 осмѣялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ ними посмѣ-
 яться. Я оторвался уже отъ многого тѣмъ, что, лишивши кар-

тиннаго вида и рыцарской маски, подъ которою выѣзжаетъ козыремъ всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ той гадостію, которая всеѣмъ видна, и, когда повѣряю себя на исповѣди предъ Тѣмъ, Кто повелѣлъ мнѣ быть въ мѣрѣ и освободиться отъ многихъ недостатковъ, вижу много въ себѣ пороковъ, но они уже не тѣ, которые были въ прошломъ году: святая сила помогла мнѣ отъ тѣхъ оторваться. А тебѣ совѣтую не пропустить мимо ушей этихъ словъ, но, по прочтеніи моего письма, остаться одному на нѣсколько минутъ и, отъ всего отдѣляясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши передъ собою всю свою жизнь, чтобы провѣрить на дѣлѣ истину словъ моихъ. Въ этомъ же моемъ отвѣтѣ найдешь отвѣтъ и на другіе запросы, если попристальнѣе взглядишься. Тебѣ объяснится также и то, почему не выставлялъ я до сихъ поръ читателю явленій утѣшительныхъ и не избиралъ въ мои герои добродѣтельныхъ людей. Ихъ въ головѣ не выдумашь, пока не станешь самъ хотя сколько-нибудь на нихъ походить; пока не добудешь постоянствомъ и не завоеуешь силою въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ, мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое, и какъ земля отъ неба будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошмаровъ — я также не выдумывалъ; кошмары эти давили мою собственную душу: что было въ душѣ, то изъ нея и вышло.

1848.

4.

Затѣмъ сожженъ второй томъ „Мертвыхъ душъ“, что такъ было нужно. *Не оживетъ, аще не умретъ*, говоритъ Апостолъ. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятнадцатилѣтній трудъ, производимый съ такими бодренными напряженіями, гдѣ всякая строка досталась потрясеніемъ, гдѣ было много такого, что составляло мои лучшія помысленія и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притомъ въ ту минуту, когда, видя передъ собою смерть, мнѣ очень хотѣлось оставить послѣ себя хоть что-нибудь, обо мнѣ лучше напоминающее. Благодарю Бога, что далъ мнѣ силу это сдѣлать. Какъ

только пламя унесло послѣдніе листы моей книги, ея содержаніе вдругъ воскреснуло въ очищенномъ и свѣтломъ видѣ, подобно фениксу изъ костра, и я вдругъ увидѣлъ, въ какомъ еще безпорядкѣ было то, что я считалъ уже порядочнымъ и стройнымъ. Появленіе второго тома въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ былъ, произвело бы скорѣе вредъ, нежели пользу. Нужно принимать въ соображеніе не наслажденіе какихъ-нибудь любителей искусствъ и литературы, но всѣхъ читателей, для которыхъ писались „Мертвыя души“. Вывести нѣсколько прекрасныхъ характеровъ, обнаруживающихъ высокое благородство нашей породы, ни къ чему не поведетъ. Оно возбудитъ только одну пустую гордость и хвастовство. Многіе у насъ уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мѣру русскими доблестями, и думаютъ вовсе не о томъ, чтобы ихъ углубить и воспитать въ себѣ, но чтобы выставить ихъ на показъ и сказать Европѣ: „Смотрите, нѣмцы: мы лучше васъ!“ Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражаетъ другихъ и наноситъ вредъ самому хвастуну. Наилучшее дѣло можно превратить въ грязь, если только имъ похвалишься и похвастаешь. А у насъ, еще не сдѣлавши дѣла, имъ хвастаются! хвастаются будущимъ! Нѣтъ, по мнѣ, уже лучше временное униніе и тоска отъ самого себя, нежели самонадѣянность въ себѣ. Въ первомъ случаѣ человѣкъ, по крайней мѣрѣ, увидитъ свою презрѣнность, подлое ничтожество свое и вспомнить невольно о Богѣ, возносящемъ и выводящемъ все изъ глубины ничтожества; въ послѣднемъ же случаѣ онъ убѣжитъ отъ самого себя прямо въ руки къ чорту, отцу самонадѣянности, дымнымъ надмѣиємъ своихъ доблестей надмѣвающему человѣка. Нѣтъ, бываетъ время, когда нельзя иначе устремить общество, или даже все поколѣніе къ прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей жерзости; бываетъ время, что даже вовсе не слѣдуетъ говорить о высокомъ и прекрасномъ, не показавши тутъ же, ясно какъ день, путей и дорогъ къ нему для всякого. Послѣднее обстоятельство было мало и слабо развито во второмъ томѣ „Мертвыхъ душъ“, а оно должно было быть едва ли не главное; а потому онъ и сожженъ. Не судите обо мнѣ и не выводите своихъ заключеній: вы ошибетесь подобно тѣмъ изъ моихъ пріятелей, которые,

создавши изъ меня свой собственный идеаль писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателѣ, начали было отъ меня требовать, чтобъ я отвѣчалъ ими же созданному идеалу. Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не за тѣмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной. Дѣло мое проще и ближе: дѣло мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякой человѣкъ, не только одинъ я. Дѣло мое — *душа и прочное дѣло жизни*. А потому и образъ дѣйствій моихъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно. Миѣ незачѣмъ торопиться; пусть ихъ торопятъ другіе. Жгу, когда нужно жечь, и, вѣрно, поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ни къ чему. Опасенія же ваши на счетъ хилаго моего здоровья, которое, можетъ-быть, не позволить миѣ написать втораго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бываетъ миѣ такъ тяжело, что безъ Бога и не перенесъ бы. Къ изнуренію силъ прибавилась еще и зябкость въ такой мѣрѣ, что не знаю, какъ и чѣмъ согрѣться: нужно дѣлать движеніе, а дѣлать движеніе — нѣтъ силъ. Едва часъ въ день выберется для труда, и тотъ не всегда свѣжій. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тотъ, Кто горемъ, недугами и препятствіями ускорилъ развитіе силъ и мыслей моихъ, безъ которыхъ я бы и не замыслилъ своего труда, Кто выработалъ большую половину его въ головѣ моей, — Тотъ дастъ силу совершить и остальную, положить на бумагу. Драхлѣю тѣломъ, но не духомъ. Въ духѣ, напротивъ, все крѣпнеть и становится тверже; будетъ крѣпость и въ тѣлѣ. Вѣрю, что если придетъ урочное время, въ нѣсколько недѣль совершится то, надъ чѣмъ провелъ пять болѣзненныхъ лѣтъ.

1846.

XIX.

Нужно любить Россію.

изъ письма къ гр. А. П. Т.....му.

Безъ любви къ Богу никому не спастись, а любви къ Богу у васъ нѣтъ. Въ монастырѣ ея не найдется; въ монастырѣ идутъ

одни тѣ, которыхъ уже позвалъ туда самъ Богъ. Безъ воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и какъ полюбить Того, котораго никто не видалъ? Какими молитвами и усиліями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свѣтѣ добрыхъ и прекрасныхъ людей, которые добиваются жарко этой любви, и слышать одну только черствость да холодную пустоту въ душахъ. Трудно полюбить того, кого никто не видалъ. Одинъ Христосъ принесъ и возвѣстилъ намъ тайну, что въ любви къ братьямъ получаемъ любовь къ Богу. Стѣдуетъ только полюбить ихъ такъ, какъ приказалъ Христосъ, и сама собой выйдетъ въ итогъ любовь къ Богу самому. Идите же въ міръ и приобрѣтите прежде любовь къ братьямъ.

Но какъ полюбить братьевъ? Какъ полюбить людей? Душа хочетъ любить одно прекрасное, а бѣдные люди такъ несовершенны и такъ въ нихъ мало прекраснаго! Какъ же сдѣлать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы Русскій. Для Русскаго теперь открывается этотъ путь, и этотъ путь есть сама Россія. Если только возлюбить Русскій Россію, возлюбить и все, что ни есть въ Россіи. Къ этой любви насъ ведетъ теперь самъ Богъ. Безъ болѣзней и страданій, которыя въ такомъ множествѣ накопились внутри ея и которыхъ виною мы сами, не почувствовалъ бы никто изъ насъ къ ней состраданія. А состраданіе есть уже начало любви. Уже крики на безчинства, неправды и вѣзтки — не просто негодованіе благородныхъ на безчестныхъ, но вопль всей земли, слышавшей, что чужеземные враги вторнулись въ безчисленномъ множествѣ, разсыпались по домамъ и наложили тяжелое ярмо на cadaго человѣка; уже и тѣ, которые приняли добровольно къ себѣ въ дома этихъ враговъ душевныхъ, хотя отъ нихъ освободиться сами, и не знаютъ какъ это сдѣлать, и все сливается въ одинъ потрясающій вопль, уже и безчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни въ комъ, — ея нѣтъ-таки и у васъ. Вы еще не любите Россію: вы умѣете только печалиться, да раздражаться слухами обо всемъ дурномъ, что въ ней ни дѣлается; въ васъ все это производитъ только одну черствую досаду да уныніе. Нѣтъ, это еще не любовь, далеко вамъ до любви, — это развѣ только одно слишкомъ от-

даленное еще ея предвѣстіе. Нѣтъ, если вы дѣйствительно полюбите Россію, у васъ пропадетъ тогда сама собою та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многихъ честныхъ и даже умныхъ людей, то-есть будто въ теперешнее время они уже ничего не могутъ сдѣлать для Россіи, и будто они ей уже не нужны совсѣмъ; напротивъ, тогда только во всей силѣ вы почувствуете, что любовь всемогуща и что съ нею можно все сдѣлать. Нѣтъ, если вы дѣйствительно полюбите Россію, вы будете рваться служить ей; не въ губернаторы, но въ капитанъ-исправники пойдете, — послѣднее мѣсто, какое ни отыщется въ ней, возьмете, предпочитая одну крупичу дѣятельности на немъ всей вашей нынѣшней бездѣйственной и празднои жизни. Нѣтъ, вы еще не любите Россіи. А не полюбивши Россіи, не полюбите вамъ своихъ братьевъ; а не полюбивши своихъ братьевъ, не возгорѣтся вамъ любовью къ Богу; а не возгорѣвшись любовью къ Богу, не спасетесь вамъ.

1844.

XX.

Нужно проѣздитья по Россіи.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

Нѣтъ выше званія, какъ монашеское, и да сподобить насъ Богъ когда-нибудь надѣть простую рясу чернеца, такъ желанную душѣ моей, о которой уже и помышленіе мнѣ въ радость. Но безъ зова Божія этого не сдѣлать. Чтобъ имѣть право удалиться отъ міра, нужно умѣть распроститься съ міромъ: „Раздай все имущество свое нищимъ и тогда ступай въ монастырь“, такъ говорится всѣмъ туда идущимъ. У васъ есть богатство, вы его можете раздать нищимъ; но что же мнѣ раздать? — Имущество мое не въ деньгахъ. Богъ мнѣ помогъ накопить нѣсколько умнаго и душевнаго добра и далъ нѣкоторыя способности, полезныя и нужныя другимъ, — стало-быть, я долженъ раздать это имущество неимущимъ его, а потомъ уже идти въ монастырь. Но и

вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны къ вашему богатству и вамъ было бы тяжело съ нимъ разстаться, тогда другое дѣло; но вы къ нему охладѣли, для васъ оно теперь ничто, — гдѣ-жѣ вашъ подвигъ и ваше пожертвованіе? Или выбросивши за окошко ненужную вещь значить сдѣлать добро своему брату, разумѣя добро въ высокомъ смыслѣ христіанскомъ? Нѣтъ, для васъ, также какъ и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь вашъ — Россія! Облеките же себя умственно рясою чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нея, ступайте подвизаться въ ней. Она теперь зоветъ сыновъ своихъ еще крѣпче, нежели когда-либо прежде. Уже душа въ ней болитъ и раздается крикъ ея душевной болѣзни. Другъ мой! или у васъ безчувственно сердце, или вы не знаете, чтѣ такое для Русскаго Россія. Вспомните, что когда приходила бѣда ей, тогда изъ монастырей выходили монахи и становились въ ряды съ другими спасать ее. Чернецы, Ослабя и Пересвѣтъ, съ благословенія самого настоятеля, взяли въ руки мечъ, противный христіанину, и легли на кровавомъ полѣ битвы, а вы не хотите взять поприще мирнаго гражданина, и гдѣ же? — въ самомъ сердцѣ Россіи. Не отговаривайтесь вашею неспособностью, — у васъ есть много того, чтѣ теперь для Россіи потребно и нужно. Бывши губернаторомъ въ двухъ совершенно противоположныхъ губерніяхъ, исполнивши это дѣло, несмотря на всѣ ваши тогдашніе недостатки, получше многихъ, вы набрались прямыхъ и положительныхъ свѣдѣній о дѣлахъ, внутри происходящихъ, и узнали въ истинномъ видѣ Россію. Но не это главное, и я бы васъ не склонялъ такъ служить, несмотря на всѣ свѣдѣнія ваши, если бы не видѣлъ въ васъ одно то свойство, которое, по моему мнѣнію, значительнѣе всѣхъ другихъ прочихъ, — свойство, не хлопотавъ ничего, не работая самому, почти лѣнясь, умѣвъ заставить всѣхъ другихъ работать. У васъ все двигалось быстро и ходко, и когда, изумляясь, спрашивали у васъ самихъ: отчего это, вы отвѣчали: „Все отъ чиновниковъ: попались хорошіе чиновники, которые не даютъ ничего мнѣ дѣлать самому“, и когда шло дѣло до представленія къ наградамъ, вы всегда выводили впередъ вашихъ чиновниковъ, приписывая все имъ, а себѣ ни-

чего. Вотъ ваше главное достоинство, не говоря уже объ умѣньи выбрать самихъ чиновниковъ. Не мудроно, что у васъ чиновники рвались изъ всѣхъ силъ, и одинъ записался до того, что нажилъ чахотку и умеръ, какъ ни старались вы оттащить его отъ дѣла. Чего не сдѣлаеть русскій человѣкъ, если станетъ такимъ образомъ поступать съ нимъ начальникъ! Это ваше свойство слишкомъ теперь нужно, именно теперь, въ это время себялюбія, когда всякъ начальникъ думаетъ о томъ, какъ бы выставить впередъ себя и приписать все одному себѣ. Говорю вамъ, что съ этимъ вашимъ свойствомъ вы теперь слишкомъ нужны Россіи... и грѣхъ вамъ, что вы даже не слышите этого! Грѣхъ было бы и мнѣ, еслибъ я не выставилъ вамъ этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его отъ васъ просятъ немущіе, а вы какъ скряга заперли его подъ замокъ и еще прикидываетесь глухимъ. Положимъ, вамъ теперь неприлично занять то же самое мѣсто, какое занимали назадъ тому десять лѣтъ, не потому, чтобъ оно было нужно для васъ, — слава Богу, честолюбія вы не имѣете и въ вашихъ глазахъ никакая служба не низка, — но потому, что ваши способности, развившись, требуютъ уже для собственной пищи другого, просторнѣйшаго поприща. Что-жъ, развѣ мало мѣсть и поприщъ въ Россіи? Оглянитесь и осмотритесь хорошенько, и вы его отыщете. Вамъ нужно проѣздить по Россіи. Вы знали ее назадъ тому десять лѣтъ: это теперь недостаточно. Въ десять лѣтъ внутри Россіи столько совершается событій, сколько въ другомъ государствѣ не совершается въ полвѣка. Вы сами замѣтили, живя здѣсь, за границей, что въ послѣдніе два-три года даже начали выходить изъ нея и люди совершенно другіе, не схожіе ни въ чемъ съ тѣми, которыхъ вы знали еще не такъ давно. Чтобъ узнать, что такое *Россія нынѣшняя*, нужно непременно по ней проѣздиться самому. Слухамъ не вѣрьте никакимъ. Вѣрно только то, что еще никогда не бывало въ Россіи такого необыкновеннаго разнообразія и несходства въ мнѣніяхъ и вѣрованіяхъ всѣхъ людей, никогда еще различіе образованій и воспитанія не оттолкнуло такъ другъ отъ друга всѣхъ и не произвело такого разлада во всемъ. Сквозь все это пронесся духъ сплетней, пустыхъ ново-

заносныхъ выводовъ, глупѣйшихъ слуховъ, одностороннихъ и ничтожныхъ заключеній, — все это сбило и спутало до того у каждаго его мнѣнія о Россіи, что рѣшительно нельзя вѣрить никому. Нужно самому узнавать, нужно проѣздить по Россіи. Это особенно хорошо для того, кто побылъ нѣкоторое время отъ нея вдали и пріѣхалъ съ неутманенной и свѣжею головою. Онъ увидитъ много того, чего не увидитъ человѣкъ, находящійся въ самомъ омутѣ, раздражительный и чувствительный къ животрепещущимъ интересамъ минуты. Сдѣлайте ваше путешествіе вотъ какимъ образомъ: прежде всего выбросьте изъ вашей головы всѣ до одного ваши мнѣнія о Россіи, какія у васъ ни есть, откажитесь отъ собственныхъ своихъ выводовъ, какіе уже успѣли сдѣлать, представьте себя ровно незнающимъ ничего и поѣзжайте какъ въ новую, дотолѣ вамъ неизвѣстную, землю. Такимъ же самымъ образомъ, какъ русскій путешественникъ, пріѣзжая въ каждый значительный европейскій городъ, спѣшитъ увидѣть всѣ его древности и примѣчательности, такимъ же точно образомъ и еще съ большимъ любопытствомъ, пріѣхавши въ первый уѣздный или губернской городъ, старайтесь узнать его достопримѣчательности. Онъ не въ архитектурныхъ строеніяхъ и древностяхъ, но въ людяхъ. Клянусь, человѣкъ стѣбитъ того, чтобъ его разсматривали съ большимъ любопытствомъ, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружась одною каплей истинно-братской любви къ нему и вы отъ него уже не оторветесь, — такъ онъ станетъ для васъ занимателенъ. Познакомьтесь прежде всего съ тѣми изъ нихъ, которые составляютъ соль каждаго города или округа; такихъ бываетъ человѣка два или три въ каждомъ городѣ. Они вамъ въ немногихъ чертахъ очертятъ весь городъ, такъ что вамъ будетъ видно уже самому, гдѣ и въ какихъ мѣстахъ производить наиболѣе наблюденіе надъ нынѣшними вещами. Въ разговорѣ съ человѣкомъ передовымъ изъ каждаго сословія (съ вами же всѣ такъ охотно разговариваются и развертываются чуть не на распашку) вы отъ него узнаете, чтѣ такое всякое сословіе въ нынѣшнемъ его видѣ. Расторопный и бойкій купецъ вдругъ вамъ объяснитъ, чтѣ такое въ ихъ городѣ купечество; порядочный и

трезвый мѣщанинъ дастъ понятіе о мѣщанствѣ. Отъ чиновника-дѣльца узнаете должностное производство, а общій цвѣтъ и дух общества услышите сами. На передовныхъ людей однакожь не весьма полагайтесь, — лучше постарайтесь разспросить двухъ или трехъ человѣкъ изъ каждаго сословія. Не позабывайте того, что теперь всѣ между собою въ ссорѣ и всякъ другъ на друга лжетъ и клевететь безошадно. Съ духовенствомъ вы сойдетесь вдругъ, потому что съ нимъ вообще вы знакомитесь скоро; отъ нихъ узнаете остальное. И если вы такимъ образомъ проѣздите только по главнымъ городамъ и пунктамъ Россіи, то уже увидите ясно, какъ день, гдѣ и на какомъ мѣстѣ вы можете быть полезны и о какой должности слѣдуетъ вамъ просить. А покуда вы уже одною поѣздкою вашей можете сдѣлать много добра, если только захотите. Въ самомъ путешествіи этомъ предстанутъ вамъ такіе христіанскіе подвиги, какихъ въ самомъ монастырѣ не встрѣтите. Во-первыхъ, будучи пріятны въ разговорѣ, нравясь каждому, вы можете, какъ посторонній и свѣжій человѣкъ, стать третьимъ, примиряющимъ лицомъ. Знаете ли, какъ это важно, какъ это теперь нужно Россіи, и какой въ этомъ высокій подвигъ! Спаситель оцѣнилъ его едва ли не выше всѣхъ другихъ: Онъ прямо называетъ миротворцевъ сынами Божиими. А миротворцу у насъ поприще повсюду. Все перессорилось: дворяне у насъ между собою — какъ кошки съ собаками; купцы между собою — какъ кошки съ собаками; мѣщане между собою — какъ кошки съ собаками; крестьяне если только не устремлены побуждающею силою на дружескую работу, между собою — какъ кошки съ собаками; даже честные и добрые люди между собою въ разладѣ; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединеніе, въ то время, когда кого-нибудь изъ нихъ сильно стануть преслѣдовать. Вездѣ поприще примирителю. Не бойтесь, примирять не трудно. Людямъ трудно самимъ умириться между собою, но какъ только станеть между ними третій, онъ ихъ вдругъ примирить. Отъ того-то у насъ всегда имѣлъ такую силу третейскій судъ, истое произведение земли нашей, усгѣвавшій доселѣ болѣе всѣхъ другихъ судовъ. Въ природѣ человѣка, а особенно русскаго, есть чудное свойство: какъ только замѣтитъ

онъ, что другой сколько-нибудь къ нему наклоняется или показываетъ снисхожденіе, онъ самъ уже готовъ чуть не просить прощенья. Уступить никто не хочетъ первый; но какъ только одинъ рѣшился на великодушное дѣло, другой уже рвется какъ бы перещеголять его великодушіемъ. Вотъ почему у насъ скорѣй, чѣмъ гдѣ-либо, могутъ быть прекращены самыя застарѣлыя ссоры и тяжбы, если только станетъ среди тяжущихся человѣкъ истинно-благородный, уважаемый всѣми, и притомъ еще знатокъ человѣческаго сердца. А примиреніе, повторяю вновь, теперь нужно: еслибы только нѣсколько частныхъ людей, которые изъза несогласія во мнѣніи насчетъ одного какого-нибудь предмета, перечашихъ другъ другу въ дѣйствіяхъ, согласились подать другъ другу руку, — плутамъ было бы уже худо. Итакъ, вотъ вамъ одна часть подвиговъ, какіе вамъ могутъ представиться на каждомъ шагу вашей поѣздки по Россіи. Есть и другая не меньше вашихъ. Вы можете оказать большую услугу духовенству тѣхъ городовъ, чрезъ которые будете проѣзжать, познакомивъ ихъ лучше съ обществомъ, среди котораго они живутъ, введя ихъ въ познаніе тѣхъ вещей и продѣлокъ, о которыхъ не говоритъ вовсе на исповѣди нынѣшній человѣкъ, считая ихъ должностными быть внѣ христіанской жизни. Это очень нужно, потому что многіе изъ духовныхъ, какъ я знаю, уныли отъ множества безчинствъ, возникнувшихъ въ послѣднее время, почти увѣрились, что ихъ никто теперь не слушаетъ, что слова и проповѣди роняются на воздухъ, и зло пустило такъ глубоко свои корни, что нельзя уже и думать объ его искорененіи. Это несправедливо. Грѣшитъ нынѣшній человѣкъ точно несравненно больше, нежели когда-либо прежде, — но грѣшитъ не отъ пріизобилія своего собственнаго разврата, не отъ безчувственности и не отъ того, чтобы хотѣлъ грѣшить, но отъ того что не видитъ грѣховъ своихъ. Еще не ясно и не всѣмъ открылась страшная истина нынѣшняго вѣка, что теперь всѣ грѣшатъ до одинаго, но грѣшатъ не прямо, а косвенно. Этому еще не слышалъ хорошо и самъ проповѣдникъ; отътого и проповѣдь его роняется на воздухъ и люди глухи къ словамъ его. Сказать: не крадите, не роскошничайте, не берите взятокъ, молитесь и давайте милостыню немущимъ — теперь ничто

и ничего не сдѣлаетъ. Кромѣ того, что всякой скажетъ: „да вѣдь уже это извѣстно,“ но еще оправдается передъ самимъ собой и найдетъ себя чуть не святымъ. Онъ скажетъ: красть я не краду; положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь, я ее не трону, я даже прогналъ за веровство своего собственнаго человека; живу я конечно роскошно, но у меня нѣтъ ни дѣтей, ни родственниковъ, мнѣ не для кого копить, роскошью я доставляю за то пользу, хлѣбъ мастеровымъ, ремесленникамъ, кушцамъ, фабрикантамъ; взятку я беру только съ богатаго, который самъ проситъ объ этомъ, которому это не разоренье; молиться — я молюсь, вотъ и теперь стою въ церкви, крещусь и бью поклонн; помогать — помогаю, ни одинъ нищій не уходитъ отъ меня безъ мѣднаго гроша, ни отъ одного пожертвованія на какое-нибудь благотворительное заведеніе еще не отказывался.“ Словомъ, онъ увидитъ себя не только правымъ послѣ такой проповѣди, но еще возгордится своею безгрѣшностью.

Но если поднять передъ нимъ завѣсу и показать ему хотя часть тѣхъ ужасовъ, которые онъ производитъ косвенно, а не прямо, тогда онъ заговоритъ другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что онъ, убирая свой домъ и заводя у себя все на барскую ногу, вредитъ соблазнамъ, поселяя въ другомъ, менѣе богатомъ, такое же желаніе, который изъ-за того, чтобы не отстать отъ него, разоряетъ не только собственное, но и чужое имущество, грабитъ и пускаетъ по-міру людей, — да вслѣдъ за этимъ и представить ему одну изъ тѣхъ ужасныхъ картинъ голода внутри Россіи, отъ которыхъ дыбомъ поднимется у него волосъ, и которыхъ, можетъ-быть, не случилось бы, еслибы не сталъ онъ жить на барскую ногу, да задавать тонъ обществу и кружить головы другимъ. Показать такимъ же самимъ образомъ всѣмъ модницамъ, которыя не любятъ никуда появляться въ однихъ и тѣхъ же платьяхъ и, не донашивая ничего, нашиваютъ кучи новаго, слѣдуя за малѣйшимъ уклоненіемъ моды; показать имъ, что онѣ вовсе не тѣмъ грѣшатъ, что занимаются этой суетностью и тратятъ деньги, но тѣмъ, что сдѣлали таковой образъ жизни необходимою для другихъ, что мужъ иной жены схватилъ уже изъ-за этого взятку съ своего же брата-чиновника;

положимъ, этотъ чиновникъ былъ богатъ, но чтобы доставить взятку, онъ долженъ былъ насѣсть на менѣе богатаго, а тотъ съ своей стороны насѣлъ на какого-нибудь засѣдателя или становаго пристава, а становой приставъ уже невольно былъ принужденъ грабить нищихъ и неимущихъ. Да вслѣдъ за этимъ и выставить всѣмъ модницамъ картину голода. Тогда имъ не пойдетъ на умъ какая-нибудь шляпка или модное платье. Увидятъ онѣ, что не спасетъ ихъ отъ страшнаго отвѣта передъ Богомъ и деньга, выброшенная нищему, даже и тѣмъ челоуѣколюбивымъ заведеніямъ, которыя заводятъ онѣ въ городахъ на счетъ ограбленныхъ провинцій. Нѣтъ, челоуѣкъ не безчувственъ, челоуѣкъ подвигнется, если только ему покажешь дѣло какъ есть. Онъ теперь подвигнется еще болѣе, чѣмъ когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грѣховъ его — отъ невѣдѣнія, а не отъ разврата. Онъ, какъ спасителя, обლობызаетъ того, который заставитъ его обратить взглядъ на самого себя. Только слегка приподыми проповѣдникъ завѣсу и укажи ему хотя одно изъ тѣхъ ежеминутныхъ преступленій, которыя онъ совершаетъ, у него уже отнимается духъ хвастать безгрѣшностью своей, не станетъ онъ оправдывать свою роскошь подлыми, жалкими софизмами, будто бы нужна она за тѣмъ, чтобы доставить хлѣбъ мастеровымъ, — онъ и самъ тогда смекнетъ, что раззориться полъ-деревни или полъ-уѣзда затѣмъ, чтобы доставить хлѣбъ столяру Гамбсу, есть выводъ, который могъ образоваться только въ пустой головѣ эконома XIX вѣка, а не въ здоровой головѣ умнаго челоуѣка. А что же, если проповѣдникъ подниметъ всю цѣпь того множества косвенныхъ преступленій, которыя совершаетъ челоуѣкъ своею неосмотрительностью, гордостью и самоувѣренностью въ себѣ, и покажетъ всю опасность нынѣшняго времени, среди котораго всякъ можетъ погубить разомъ нѣсколько душъ, не только одну свою, среди котораго, даже не будучи безчестнымъ, можно заставить другихъ быть безчестными и подлецами одною только своею неосмотрительностью, — словошь, если только сколько-нибудь покажетъ, какъ всѣ опасно ходятъ. Нѣтъ, люди не будутъ глухи къ словамъ его, не уронится на воздухъ ни одно слово его проповѣди. А вы можете на

это навести многихъ священниковъ, сообщая свѣдѣнія о всѣхъ продѣлкахъ нынѣшняго люда, которыя вы наберете въ дорогѣ. Но не однимъ священникамъ, вы можете и другимъ людямъ сдѣлать этимъ пользу. Всѣмъ теперь нужны эти свѣдѣнія.

Жизнь нужно показать челоуѣку, — жизнь, взятую подъ угломъ ея нынѣшнихъ запутанностей, а не прежнихъ; жизнь, оглянутую не поверхностнымъ взглядомъ свѣтскаго челоуѣка, но взвѣшенную и оцѣненную такимъ оцѣнщикомъ, который взглянулъ на нее высшимъ взглядомъ христіанина. Велико незнаніе Россіи посреди Россіи. Все живетъ въ иностранныхъ журналахъ и газетахъ, а не въ землѣ своей. Городъ не знаетъ города, челоуѣкъ челоуѣка; люди, живущіе за одной стѣной, кажется, какъ бы живутъ за морями. Вы можете во время вашей поѣздки ихъ познакомить между собою и произвести взаимный благодѣтельный размѣнъ, — какъ расторопный купецъ, забравши свѣдѣнія въ одномъ городѣ, продать ихъ съ барышомъ въ другомъ, всѣхъ обогатить и въ то же время разбогатѣть самому больше всѣхъ. Подобный подвигъ предстоить вамъ на всякомъ шагу, и вы того не видите. Очнитесь! куриная слѣпота на глазахъ вашихъ! не залучить вамъ любви къ себѣ въ душу. Не полюбите вамъ людей по тѣхъ поръ, пока не послужите имъ. Какой слуга можетъ привязаться къ своему господину, который отъ него вдали и на котораго еще не поработалъ онъ лично? Потому и любимо такъ сильно дитя матерью, что она долго его носила въ себѣ, все употребила на него и вся изъ него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь вашъ — Россія.

1845.

XXI.

Что такое губернаторша.

ПИСЬМО КЪ А. О. С.....ОЙ.

Я радъ, что здоровье ваше лучше, мое же здоровье.... но въ сторону наши здоровья: мы должны позабыть о нихъ такъ же, какъ и о себѣ. И такъ, вы возвращаетесь вновь въ вашъ губер-

скій городъ. Вы должны съ новыми силами возлюбить его, — онъ вашъ, онъ ввѣренъ вамъ, онъ долженъ быть вашимъ роднымъ. Вы напрасно начинаете думать вновь, что ваше присутствіе относительно дѣятельности общественной въ немъ совершенно бесполезно, что общество испорчено въ корнѣ. Вы просто устали — вотъ и все. Дѣятельность губернаторшѣ предстоитъ всюду, на всякомъ шагу. Она даже и тогда производитъ вліяніе, когда ничего не дѣлаетъ. Вы сами уже знаете, что дѣло не въ суетахъ и въ опрометчивыхъ бросаніяхъ на все. Передъ вами два живые примѣра, которыхъ вы сами назвали. Предшественница ваша Ж*** завела кучу благотворительныхъ заведеній, а съ ними вмѣстѣ и кучи бумажной переписки и возни, экономовъ, секретарей, кражу, безтолковщину, и прославилась благотворительностью въ Петербургѣ, и надѣлала кутерьму въ К***; княгиня же О***, бывшая до нея губернаторшей въ томъ же вашемъ городѣ К***, не завела никакихъ заведеній, ни приутовъ, не прошумѣла нигдѣ дальше своего города, не имѣла даже никакого вліянія на своего мужа и не входила ни во чтò, собственно правительственное и официальное, а между тѣмъ донинѣ никто въ городѣ не можетъ о ней вспомнить безъ слезъ и всякъ, начиная отъ купца до послѣдняго бобыля, до сихъ поръ еще повторяетъ: „нѣтъ, не будетъ другой никогда княгини О..!“ А кто это повторяетъ? — Тотъ же самый городъ, для котораго, вы полагаете, ничего невозможно сдѣлать, — то же самое общество, которое вы считаете испорченнымъ на вѣки. Итакъ, будто бы ужъ ничего нельзя сдѣлать? Вы устали — вотъ и все! Устали отъ того, что принялись слишкомъ сторяча, слишкомъ понадѣялись на собственныя силы, — женская прыть васъ увлекла..... Повторяю вамъ вновь то же самое, чтò прежде: ваше вліяніе сильно. Вы первое лицо въ городѣ, съ васъ будутъ перенимать все до послѣдней бездѣлушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во всемъ. Если вы только собственныя ваши дѣла станете обдѣлывать хорошо, то и симъ уже сдѣлаете вліяніе, потому что заставите другихъ заняться получше собственными дѣлами. Гоните роскошь (покажѣтъ нѣтъ другаго дѣла), уже

и это благородное дѣло, оно же притомъ не требуетъ ни суеты, ни издержекъ; не пропускайте ни одного собранія и бала, пріѣзжайте именно за тѣмъ, чтобы показаться въ одномъ и томъ же платьѣ; три, четыре, пять, шесть разъ надѣвайте одно и то же платье. Хвалите на всѣхъ только то, что дешево, просто. Словомъ, гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву Рес-зіи, источницу взятокъ, несправедливостей и всѣхъ мерзостей, какія у насъ есть. Если вамъ только одно это удастся сдѣлать, то вы уже болѣе принесете существенной пользы, чѣмъ сама книга О.... А это, какъ вы сами видите, даже не требуетъ никакихъ пожертвованій, даже и времени не отнимаетъ. Другъ мой! вы устали. Изъ вашихъ же прежнихъ писемъ я вижу, что для начала вы уже успѣли сдѣлать много хорошаго (еслибы не слишкомъ торопились, вышло бы еще больше), о васъ уже распространились слухи внѣ К***; кое-что изъ нихъ дошло и до меня. Но вы еще очень поспѣшны, вы еще слишкомъ увлекаетесь, васъ еще слишкомъ шевелитъ и сражаетъ всякая непріятность и гадость. Другъ мой! вспомните вновь мои слова, въ справедливости которыхъ, говорите, что сами убѣдились. Смотрите на весь городъ, какъ лѣварь глядитъ на лазаретъ. Смотрите же такъ, но прибавьте къ этому еще кое-что, а именно: увѣрьте самую себя, что всѣ больные, находящіеся въ лазаретахъ, суть ваши родные и близкіе къ сердцу вашему люди, тогда все передъ вами измѣнится: вы съ людьми примиритесь и будете враждовать только съ ихъ болѣзнями. Кто вамъ сказалъ, что болѣзни эти неизлѣчимы? Это вы сами себѣ сказали, потому что не нашли въ рукахъ у себя средства. Что-жь, развѣ вы всезнающій докторъ? А зачѣмъ вы не обратились съ просьбой о помощи къ другимъ? Развѣ я даромъ просилъ васъ сообщить все, что ни есть въ нашемъ городѣ, ввести меня въ познаніе вашего города, чтобы я имѣлъ полное понятіе о вашемъ городѣ? Зачѣмъ же вы этого не сдѣлали, тѣмъ болѣе, что сами увѣрены, будто я могу на многое произвести больше вліянія, чѣмъ вы, — тѣмъ болѣе, что сами же приписываете мнѣ нѣкоторое не всѣмъ общее познаніе людей; тѣмъ болѣе наконецъ, что сами говорите, будто я вамъ помогъ въ вашемъ душевномъ дѣлѣ болѣе, чѣмъ кто-либо дру-

гой? Неужели вы думаете, что я не съумѣлъ бы также помочь и вашимъ неизлѣчимымъ больнымъ? Вѣдь вы позабыли, что я могу помолиться, молитва моя можетъ достигнуть и до Бога, Богъ можетъ послать уму моему вразумленіе, а умъ, вразумленный Богомъ, можетъ сдѣлать кое-что получше того ума, который не вразумленъ имъ.

До сихъ поръ въ вашихъ письмахъ вы мнѣ давали только общія понятія о вашемъ городѣ, въ чертахъ общихъ, которыя могутъ принадлежать всякому губернскому городу. Но и общія ваши не полны. Вы понадѣялись на то, что я знаю Россію какъ пять моихъ пальцевъ. А я въ ней ровно не знаю ничего. Если я и зналъ кое-что, то и это со времени моего отъѣзда уже измѣнилось. Въ самомъ составѣ управленія губерній произошли значительныя перемѣны: многія мѣста и чиновники отошли отъ зависимости губернатора и поступили въ вѣдомство и управленіе другихъ министерствъ; завелись новые чиновники и мѣста, — словомъ губернія и губернской городъ являются относительно многихъ сторонъ въ другомъ видѣ, а я просилъ васъ ввести меня совершенно въ ваше положеніе, не какое-нибудь *идеальное*, но *существенное*, чтобъ я видѣлъ отъ мала до велика все, что васъ окружаетъ.

Вы сами говорите, что въ небольшое время пребыванія вашего въ К*** узнали Россію болѣе, чѣмъ во всю свою прежнюю жизнь. Зачѣмъ же вы не подѣлились со мною вашими знаніями? Говорите, что не знаете даже, съ котораго конца начать, что куча свѣдѣній, вами набранныхъ въ голову, еще въ беспорядкѣ (NB. причина неудачъ). Я вамъ помогу ихъ привести въ порядокъ, но только вы помните слѣдующую за сими просьбу: добросовѣстно, какъ только можно, не такъ, какъ привыкли исполнять вашъ братъ — страстная женщина, которая изъ 10 словъ восемь пропустить и отвѣтить только на два, за тѣмъ, что они пришлись ей какъ-нибудь по сердцу, но такъ, какъ нашъ братъ — холодный, безстрастный мужчина, или лучше какъ дѣловой, толковый чиновникъ, который, ничего не принимая особенно къ своему сердцу, отвѣчаетъ ровно на всѣ пункты.

Вы должны ради меня начать вновь разсмотрѣніе вашего гу-

бернского города. Во-первыхъ, вы мнѣ должны назвать всѣ главныя лица въ городѣ по именамъ, отчествамъ и фамиліямъ, всѣхъ чиновниковъ до одинаго. Мнѣ это нужно. Я долженъ быть имъ также другомъ, какъ вы сами должны быть другомъ имъ всѣмъ безъ исключенія. Во-вторыхъ, вы должны мнѣ написать, въ чемъ именно должность каждаго. Все это вы должны узнать лично отъ нихъ самихъ, а не кого-либо другого. Разговорившись со всякимъ, вы должны спросить его, въ чемъ состоитъ его должность, чтобъ онъ назвалъ вамъ всѣ ея *предметы* и означилъ ея *предѣлы*. Это будетъ первый вопросъ. Потомъ попросите его, чтобы онъ изъяснилъ вамъ, чѣмъ именно и сколько въ этой должности, подъ условіемъ нынѣшнихъ обстоятельствъ, можно сдѣлать добра. Это будетъ второй вопросъ. Потомъ, чѣмъ именно и сколько въ этой же самой должности можно надѣлать зла. Это будетъ третій вопросъ. Узнавши, отправляйтесь къ себѣ въ комнату и тотъ же часъ все это на бумагу для меня. Вы уже сямъ два дѣла сдѣлаете разомъ: кромѣ того, что дадите мнѣ средство впослѣдствіи вамъ пригодиться, вы узнаете сами изъ собственныхъ отвѣтовъ чиновника, какъ понимаетъ онъ свою должность, чего ему не достаетъ, — словомъ, своимъ отвѣтомъ онъ обрисуетъ самого себя. Онъ васъ можетъ даже навести на кое-что сдѣлать теперь же.... Но не въ этомъ дѣло: до времени лучше не торопитесь; не дѣлайте ничего даже и тогда, если вамъ показалось, что можете кое-что сдѣлать и что въ силахъ чему-нибудь помочь. Лучше пока еще попристальнѣй всмотрѣться; довольствуйтесь покажѣсть тѣмъ, чтобы передать мнѣ. Потомъ на этой же страничкѣ, насупротивъ того же мѣста или на другомъ лоскуткѣ бумаги, ваши собственные замѣчанія, что вы замѣтили о каждомъ господинѣ въ особенности, что говорить о немъ другіе, — словомъ, все, что можно прибавить о немъ со стороны.

Потомъ такія же свѣдѣнія доставьте мнѣ обо всей женской половинѣ вашего города. Вы же были такъ умны, что сдѣлали имъ всѣмъ визиты и почти ихъ всѣхъ узнали. Впрочемъ узнали несовершенно, — я въ этомъ увѣренъ. Относительно женщинъ вы руководствуетесь первыми впечатлѣніями: которая вамъ не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищете все избранныхъ и

лучшихъ. Другъ мой! за это я вамъ дѣлаю упрекъ. Вы должны всѣхъ любить, особенно тѣхъ, въ которыхъ побольше дрянца, по крайней мѣрѣ побольше узнать ихъ, потому что отъ этого зависить многое и онѣ могутъ имѣть большое вліяніе на мужей. Не торопитесь, не спѣшите ихъ наставлять, но просто только спрашивайте; вы же имѣете даръ выспрашивать. Узнайте не только дѣла и занятія каждой, но даже образъ мыслей, вкусы, что кто любить, что кому изъ нихъ нравится, на чемъ конекъ каждой; мнѣ все это нужно.

По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а безъ того я даже не понимаю, какъ можно кому-либо дать какой-либо совѣтъ. Всякой совѣтъ, какой ему ни дашь, будетъ обращенъ къ нему своей трудной стороною, будетъ нелегокъ, неудобно-исполнимъ. — Словомъ, женщинъ — всѣхъ насквозь, чтобы я имѣлъ совершенное понятіе о вашемъ городѣ.

Сверхъ характеровъ и лицъ обоого пола, запишите всякое случившееся происшествіе, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще духъ губерніи, запишите безхитростно, въ такомъ видѣ, какъ было, или какъ, въ какомъ его передали вамъ вѣрные люди. Запишите также двѣ-три сплетни на выдержку, какія первыя вамъ попадутся, чтобы я зналъ, какого рода сплетни у васъ пишутся. Сдѣлайте, чтобы это записыванье сдѣлалось постояннымъ вашимъ занятіемъ, чтобы на это былъ опредѣленъ положенный часъ въ днѣ. Представляйте себѣ въ мысляхъ, систематически и во всей полнотѣ, весь объемъ города, чтобы видѣть вдругъ, не пропустили ли вы мнѣ чего-либо записать, чтобы я получилъ наконецъ полное понятіе о вашемъ городѣ.

И если вы меня такимъ образомъ познакомите со всѣми лицами, съ ихъ должностями, и какъ онѣ ими понимаются, и наконецъ даже съ характеромъ самихъ событій, у васъ случающихся, тогда я вамъ кое-что скажу и вы увидите, что многое невозможное возможно и неисправимое исправимо. До тѣхъ же поръ ничего не скажу именно потому, что могу ошибиться, а мнѣ бы этого не хотѣлось. Мнѣ бы хотѣлось говорить такія слова, которыя попали бы прямо куда слѣдуетъ, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены, — такой дать совѣтъ,

чтобы вы въ ту же минуту сказали: „онъ легокъ; его можно привести въ исполненіе.“

Вотъ однакоже кое-что впередъ, и то не для васъ, а для вашего супруга; попросите его прежде всего обратить вниманіе на то, чтобы совѣтники губернскаго правленія были честные люди. Это главное. Какъ только будутъ честные совѣтники, тотъ же часъ будутъ честные капитанъ-исправники, засѣдатели, — словомъ, все станетъ честно. Надобно вамъ знать (если вы этого еще не знаете, что самая безопасная взятка, которая ускользаетъ отъ всякаго преслѣдованія, есть та, которую чиновникъ беретъ съ чиновника по командѣ сверху внизъ; это идетъ иногда безконечною лѣстницей. Капитанъ-исправникъ и засѣдатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что съ нихъ берутъ и что имъ нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое мѣсто. Эта купля и продажа можетъ производиться передъ глазами и въ то же время никѣмъ не быть замѣчена. Храни васъ Богъ даже и преслѣдовать. Старайтесь только, чтобы сверху было все честно, снизу будетъ все честно само собою. До времени, пока не вырѣло зло, не преслѣдуйте никого; лучше дѣйствуйте тѣмъ временемъ нравственно. Мысль ваша, что губернаторъ всегда имѣетъ возможность сдѣлать много зла и мало добра и что на поприщѣ добра онъ обрѣзанъ въ дѣйствіяхъ, не совсѣмъ справедлива. Губернаторъ можетъ всегда имѣть вліяніе *нравственное*, даже очень большое, подобно какъ и вы можете имѣть большое *нравственное* вліяніе, хотя и не имѣете власти, установленной закономъ. Повѣрьте, что не сдѣлай онъ визита какому-нибудь господину, объ этомъ будетъ весь городъ говорить, стануть разспрашивать, за что и почему, и этотъ самый господинъ изъ-за этой единственной боязни струсить сдѣлать подлость, которую онъ не струсилъ бы совершить предъ лицомъ власти и закона. Вашъ поступокъ, т. е. вашъ и вашего супруга, съ уѣзднымъ судьей N** уѣзда, котораго вы нарочно вызвали въ городъ съ тѣмъ, чтобы примирить его съ прокуроромъ, почтить его радушнымъ угощеніемъ и дружескимъ приѣмомъ за прямоту, благородство и честность, — повѣрьте, сдѣлавъ уже свое дѣйствіе. Мнѣ нравится при этомъ случаѣ то, что судья (который, какъ

оказалось, былъ просвѣщеннѣйшій человекъ) одѣтъ былъ такимъ образомъ, что его, какъ вы говорите, не приняли бы въ переднюю петербургскихъ гостинныхъ. Хотѣлъ бы я въ эту минуту поцѣловать полу его заношеннаго фрака. Повѣрьте, что наилучшій образъ дѣйствій, въ нынѣшнее время, — не вооружаться жестоко и жарко противу взяточниковъ и дурныхъ людей, и не преслѣдовать ихъ, но стараться вмѣсто того выставлять на видъ всякую честную черту, дружески, въ виду всѣхъ, пожимать руку прямого, честнаго человека. Повѣрьте, какъ только будетъ узнано во всей губерніи, что губернаторъ поступаетъ дѣйствительно такъ, все дворянство уже будетъ на его сторонѣ. Въ дворянствѣ нашемъ есть удивительная черта, которая меня всегда изумляла, — это чувство благородства, не того благородства, которымъ заражено дворянство другихъ земель, то-есть не благородства рожденія или происхожденія и не европейскаго *point d'honneur*, но настоящаго, нравственнаго благородства. Даже въ такихъ губерніяхъ и такихъ мѣстахъ, гдѣ, если разобрать порознь много дворянина, выйдетъ просто дрянь, а вызови только на какой-нибудь дѣйствительно благородный подвигъ, — все вдругъ подниметъ точно какимъ-то электричествомъ, и люди, которые дѣлаютъ пакости, сдѣлаютъ вдругъ благороднѣйшее дѣло. И потому всякой благородный поступокъ губернатора прежде всего найдетъ откликъ въ дворянствѣ, а это важно. Губернаторъ долженъ непремѣнно имѣть нравственное вліяніе на дворянъ, — только симъ однимъ онъ можетъ подвигнуть ихъ на поднятіе невидныхъ должностей и неприманчивыхъ мѣстъ. А это нужно потому, что если дворянинъ изъ той же губерніи возьметъ какое-нибудь мѣсто съ тѣмъ, чтобы показать, какъ надобно служить, то каковъ бы онъ ни былъ самъ, хотя и лѣнтій и многимъ нехорошъ, но исполнитъ такъ свое дѣло, какъ никогда не исполнитъ присланный чиновникъ, хотя бы онъ исштался вѣкъ въ канцеляріяхъ. — Словомъ, ни въ какомъ случаѣ не должно упускать изъ виду того, что это — тѣ же самые дворяне, которые въ двѣнадцатомъ году несли все на жертву, — все, что ни было у кого за душой.

Когда случится, по причинѣ совершенныхъ гадостей, предать много чиновника суду, то въ такомъ случаѣ нужно, чтобы онъ

преданъ былъ съ отрѣшеніемъ отъ дѣлъ. Это очень важно. Ибо если онъ будетъ преданъ суду безъ отрѣшенія отъ дѣлъ, то все служащее будетъ еще долго держать его сторону, онъ еще долго станетъ юлить и найдетъ средства такъ все запутать, что никогда не добьются до истины. Но какъ только онъ будетъ преданъ суду съ отрѣшеніемъ отъ дѣлъ, онъ повѣситъ вдругъ носъ, сдѣлается никому не страшенъ, на него пойдутъ со всѣхъ сторонъ улики, все выйдетъ на чистую воду и вдругъ узнается дѣло. Но, другъ, ради Христа, не оставляйте вовсе спихнутаго съ мѣста чиновника, какъ бы онъ дуренъ ни былъ: онъ несчастенъ. Онъ долженъ съ рукъ вашего мужа перейти на ваши руки; не объясняйтесь съ нимъ сами и не принимайте его, но слѣдуйте за нимъ издали. Вы хорошо сдѣлали, что выгнали надзирательницу при домѣ умалишенныхъ за то, что она вздумала продавать булки, назначенныя этимъ несчастнымъ. Преступленіе вдвойнѣ гадкое, пріемля въ соображеніе то, что сумасшедшіе не могутъ даже и пожаловаться, а потому изгнаніе ея нужно было сдѣлать публично и гласно. Но не бросайте никакого человѣка, не отрѣзывайте возврата никому, слѣдуйте за отрѣвленнымъ; иногда съ горя, съ отчаянія, со стыда впадаетъ онъ еще въ большія преступленія. Дѣйствуйте или черезъ вашего духовника, или вообще черезъ какого-нибудь умнаго священника, который бы навѣщалъ его и давалъ бы вамъ отчетъ о немъ безпрестанно, а главное — старайтесь, чтобъ онъ не оставался безъ какого-нибудь труда и дѣла. Не подобаетъ въ этомъ случаѣ мертвому закону, но живому Богу, который всѣми бичами несчастій поражаетъ человѣка, но не оставляетъ его до самаго конца его жизни. Каковъ бы ни былъ преступникъ, но если земля его еще носить и громъ Божій не поразилъ его, — это значитъ, что онъ держится на свѣтѣ для того, чтобы кто-нибудь, тронувшись его участію, помогъ ему и спасъ его. Если же васъ — во время ли описаній, которыя вы станете дѣлать для меня, или же во время вашихъ собственныхъ изслѣдованій всякихъ недуговъ — будутъ слишкомъ поражать наши печальныя стороны и возмутится ваше сердце, въ такомъ случаѣ совѣтую вамъ бесѣдовать объ этомъ почаще съ архіереемъ; онъ же, какъ видно изъ словъ ва-

шихъ, умный человекъ и добрый пастырь. Покажите ему весь лазаретъ вашъ и обнаружьте предъ нимъ всѣ болѣзни больныхъ вашихъ. Хотя бы даже онъ былъ небольшой знатокъ въ наукѣ лѣчить, то и тогда вы должны ввести его непременно во всѣ припадки, признаки и явленія болѣзней. Старайтесь ему очертить все до послѣдняго такъ живо, чтобъ оно такъ и носилось у него передъ глазами, чтобы городъ вашъ какъ живой пребывалъ въ мысляхъ его, какъ онъ долженъ безпрестанно пребывать въ вашихъ мысляхъ, чтобы черезъ то самое его мысли стремились сами собой на безпрестанную о немъ молитву. Повѣрьте, что отъ этого самая проповѣдь его, съ каждымъ воскресеньемъ, будетъ направляться болѣе и болѣе къ сердцамъ слушателей, и онъ сдумѣетъ потомъ выставить многое на чистоту и, не указывая лично ни на кого, сдумѣетъ поставить каждого лицомъ къ лицу къ его собственной мерзости такъ, что самъ хозяинъ плюнетъ на свое же добро. Обратите также вниманіе на городскихъ священниковъ, узнайте ихъ всѣхъ непременно; отъ нихъ зависить все, и дѣло улучшенія нашего въ ихъ рукахъ, а не въ рукахъ кого-либо другого. Не пренебрегайте никѣмъ изъ нихъ, несмотря на простоту и невѣжество многихъ. Ихъ скорѣе можно возвратить къ своему долгу, чѣмъ кого-либо изъ насъ. У насъ, свѣтскихъ, есть гордость, честолюбіе, самолюбіе, самоувѣренность въ своемъ совершенствѣ, вслѣдствіе которыхъ никто у насъ не послушается словъ и увѣщаній своего брата, какъ бы справедливы ни были, наконецъ, самыя развлеченія.... Духовный же, каковъ бы онъ ни былъ, онъ все-таки болѣе или менѣе чувствуетъ, что ему должно быть всѣхъ смиреннѣе и всѣхъ ниже, при томъ уже въ самомъ ежедневно отправляемомъ имъ служеніи онъ слышитъ себѣ напоминаніе, — словомъ, онъ ближе всѣхъ насъ къ возврату на путь свой, а возвратясь на него самъ, можетъ возвратить и всѣхъ насъ. И потому, хотя бы вы встрѣтили изъ нихъ вовсе неспособнаго, не пренебрегайте, но поговорите съ нимъ хорошенько. Разспросите у каждого, что такое его приходъ, чтобы онъ далъ вамъ полное понятіе, каковы у него въ приходѣ люди, и какъ онъ самъ понимаетъ и знаетъ ихъ. Не позабудьте, что я до сихъ поръ не знаю, что такое въ

вашемъ городѣ — мѣщанство и купечество; что они также начинаютъ жодничать и курить ситарки — это дѣло повсюдное; мнѣ нужно взять изъ среды ихъ *жизельмъ* котораго-нибудь, чтобъ я видѣлъ его съ ногъ до головы во всѣхъ подробностяхъ. Итакъ, узнайте объ нихъ обо всѣхъ въ подробности.... Одну сторону этого дѣла вы узнаете отъ священниковъ, другую отъ полицмейстера, если потрудитесь съ нимъ хорошенько разговориться объ этомъ предметѣ, третью сторону узнаете отъ нихъ самихъ, если не побрезгуете разговориться съ которыми-нибудь изъ нихъ, хотя при выходѣ изъ церкви въ воскресный день. Всѣ забранныя свѣдѣнія послужатъ къ тому, что очертятъ передъ вами примѣрный образъ мѣщанина и купца, чѣмъ онъ долженъ быть на самомъ дѣлѣ; въ уродѣ вы почувствуете идеалъ того, чего карриатурой сталъ уродъ. Если-жъ вы это почувствуете, тогда призывайте священниковъ и толкуйте съ ними: вы имъ скажите именно то, что имъ нужно: самое существо всякаго званія, то-есть чѣмъ должно быть оно у насъ, и карриатуру на это званіе, то-есть чѣмъ оно стало вслѣдствіе злоупотребленія нашего. Больше ни прибавляйте ничего. Онъ будетъ самъ наведенъ на умъ, если только станетъ исправлять свою собственную жизнь. Священникамъ нашимъ особенно нужна бесѣда съ такими уже готовыми людьми, которые умѣли бы въ немногихъ, но яркихъ и мѣткихъ чертахъ очертить имъ предѣлы и обязанности всякаго званія и должности. Часто, единственно изъ-за этого, иной изъ нихъ не знаетъ, какъ ему быть съ прихожанами и слушателями, изъясняется общими мѣстами, не обращенными нивакою стороною непосредственно къ предмету. Войдите также въ его собственное положеніе, помогите его женѣ и дѣтямъ, если приходъ у него сбѣденъ. Кто поглубжѣ и позадористѣй, погрозите тому *архиепископу*; но вообще старайтесь лучше дѣйствовать нравственно. Напоминайте имъ, что обязанность ихъ слишкомъ страшна, что отвѣтъ они дадутъ больше, чѣмъ кто-нибудь изъ людей всякаго другаго званія, что теперь и синодъ и самъ государь обращаютъ особенное вниманіе на жизнь священника, что всѣмъ готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже всѣ до одинаго въ государствѣ частные люди начинаютъ замѣ-

чать, что причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять свои должности.... Объявляйте имъ почаще тѣ страшныя истины, отъ которыхъ по-неволѣ содрогнется ихъ душа. Словомъ, не пренебрегайте никакъ городскими священниками; съ помощію ихъ губернаторша можетъ произвести много нравственнаго вліянія на купечество, мѣщанство и всякое простое сословіе, обитающее въ городѣ, — такъ много вліянія, какъ даже вы представить теперь себѣ не можете. Я назову вамъ только немного изъ того, что она можетъ сдѣлать, и укажу на средство, какъ она можетъ это сдѣлать: во-первыхъ.... но я вспомнилъ, что я совершенно не имѣю никакого понятія о томъ, какого рода въ вашемъ городѣ мѣщанство и купечество, слова мои могутъ придтись несовсѣмъ кстати, лучше не произносить ихъ вовсе; скажу вамъ только то, что вы изумитесь потомъ, когда увидите, сколько на этомъ поприщѣ предстоитъ вамъ такихъ подвиговъ, отъ которыхъ въ нѣсколько разъ больше пользы, чѣмъ отъ пріютовъ и всякихъ благотворительныхъ заведеній, которые не только не сопряжены ни съ какими пожертвованіями и трудами, но обратятся въ удовольствіе, въ отдохновеніе и развлеченіе духа.

Старайтесь всѣхъ избранныхъ и лучшихъ въ городѣ подвигнуть также на дѣятельность общественную: всякой изъ нихъ можетъ сдѣлать много почти подобнаго вамъ. Ихъ можно подвигнуть: если вы имъ дадите только полное понятіе объ ихъ характерахъ, образѣ жизни и занятіяхъ, я вамъ скажу, чѣмъ и какъ ихъ можно подстрекнуть: есть въ русскомъ человѣкѣ сокровенныя струны, которыхъ онъ самъ не знаетъ, по которымъ можно такъ ударить, что онъ весь вострепетаетъ! Вы имъ уже назвали нѣкоторыхъ въ вашемъ городѣ, какъ людей умныхъ и благородныхъ. Я увѣренъ, что ихъ отыщется даже и болѣе. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на непріятныя замашки, грубость, черствость, неловкость обращенія, ни даже на фанфаронство, шелкоперность поступковъ и всякія черезъ чуръ ловкія развязности. Мы всѣ въ послѣднее время обзавелись чѣмъ-то заносчиво-непріятнымъ въ обращеніи, но при всемъ томъ въ глубинѣ душъ нашихъ пребываетъ болѣе чѣмъ когда-либо добрыхъ чувствъ, несмотря на то, что мы загромодили ихъ

всякимъ хламомъ и даже просто заплевали ихъ сами. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше насъ, мужчинъ. Въ нихъ больше великодушiя, больше отважности на все благородное; не глядите на то, что онѣ закружились въ вихрѣ моды и пустоты. Если только съумѣете заговорить съ ними языкомъ самой души, если только сколько-нибудь вы умѣете очертить передъ женщиной ея высое поприще, котораго ждетъ теперь отъ нея миръ, ея небесное поприще быть воздвижницей насъ на все прямое, благородное и честное, кликнуть кличь человѣку на благородное стремленiе, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вснхнется вся вдругъ, взглянетъ на самую себя, на свои брошенные обязанности, подвигнетъ себя самую на все честное, подвигнетъ своего мужа на исполненъе честнаго долга и, швырнувши далеко въ сторону свои тряпки, всѣхъ поворотитъ къ дѣлу. Клянусь, женщины у насъ очнутя прежде мужчинъ, благородно попрекнутъ насъ, благородно хлеснуть и погонять насъ бичемъ стыда и совѣсти, какъ глупое стадо барановъ, прежде чѣмъ каждыи изъ насъ успѣеть очнутя и почувствовать, что ему слѣдовало давно побѣжать самому, не дожидаясь бича. Васъ полюбятъ, и полюбятъ сильно, да нельзя имъ не полюбить васъ, если узнаютъ вашу душу; но до того времени вы всѣхъ ихъ любите до одинаго, никакъ не взирая на то, еслибы кто-нибудь васъ и не любилъ....

Но письмо мое становится длинно; чувствую, что начинаю говорить вещи, можетъ-быть, не совѣмъ приходящiяся встатн ни вашему городу, ни вамъ въ настоящую вашу минуту; но вы сами тому виной, не сообщивши мнѣ подробныхъ свѣдѣнiй ни о чемъ. До сихъ поръ я точно какъ въ лѣсу. Слышу только о какихъ-то неизлѣчимыхъ болѣзняхъ и не знаю, чѣмъ кто боленъ. А у меня обычай не вѣрить по слухамъ никакимъ неизлѣчимостямъ, и никогда не назову я никакую болѣзнь неизлѣчимою по тѣхъ поръ, пока не пощупаю ее моею собственной рукою. Итакъ, рассмотрите же вновь, ради меня, весь городъ, опишите все и всѣхъ, не избавляя никого отъ трехъ неизбѣжныхъ вопросовъ: въ чемъ состоитъ его должность, сколько на ней можно сдѣлать добра и сколько зла. Поступите какъ прилежная ученица: сдѣ-

лайте для этого тетрадку и не забывайте быть въ вашихъ объясненіяхъ со мной какъ можно обстоятельнѣй, не забывайте, что я глупъ, рѣшительно глупъ, по тѣхъ поръ, пока не введутъ меня въ самое подробнѣйшее познаніе. Лучше воображайте, что передъ вами стоитъ ребенокъ или такой невѣжда, которому до послѣдней бездѣлушки нужно все истолковать, тогда только письмо ваше будетъ такъ-какъ слѣдуетъ. Я не знаю, отъ чего вы меня почитаете, какимъ-то всезнайкой. Что мнѣ случилось вамъ кое-что предсказать и предсказанное сбылось, — это произошло единственно отъ того, что вы меня ввели въ тогдашнее положеніе души вашей. Велика важность такъ угадать! Стоить только попристальнѣе взглядѣться въ настоящее, — будущее вдругъ выступить само собою. Дуракъ тотъ, кто думаетъ о будущемъ мимо настоящаго. Онъ или совретъ, или скажетъ загадку. Я васъ между прочимъ еще побраню за слѣдующія ваши строки, которыя здѣсь выставлю вамъ передъ глазами: *„Грустно и даже горестно видѣть вблизи состояніе Россіи, но впрочемъ не слѣдуетъ объ этомъ говорить. Мы должны съ надеждой и свѣтлымъ взоромъ смотрѣть въ будущее; которое въ рукахъ Милосердаго Бога.“* Въ рукахъ Милосердаго Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Отъ того и вся бѣда наша, что мы не глядимъ въ настоящее, а глядимъ въ будущее. Отъ того и бѣда вся, что иное въ немъ горестно и грустно, другое просто гадко; если же дѣлается не такъ, какъ бы намъ хотѣлось, мы махнемъ на все рукой и давай паялить глаза въ будущее. Отъ того Богъ и уши намъ не даетъ, отъ того и будущее виситъ у насъ у всѣхъ точно на воздухѣ: слышатъ нѣкоторые, что оно хорошо, благодаря нѣкоторымъ передовымъ людямъ, которые тоже услышали его чутьемъ и еще не провѣрили законнымъ ариаретическимъ выводомъ; но какъ достигнуть до этого будущаго — никто не знаетъ. Оно точно кислый виноградъ. Бездѣлицу позабыли. Позабыли, что пути и дорога къ этому *свѣтлому* будущему сокрыты именно въ этомъ *темномъ* и *закутанномъ* настоящемъ, котораго никто не хочетъ узнавать: всякъ считаетъ его низкимъ и недостойнымъ своего вниманія и даже сердится, если выставляютъ его на видъ всѣмъ. Введите

же хотя меня въ познаніе настоящаго. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мнѣ всякую мерзость. Для меня мерзости не въ диковинку: я самъ довольно мерзокъ. Пока я еще мало входилъ въ мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходилъ отъ многого въ уныніе, и мнѣ становилось странно за Россію; съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ побольше всматриваться въ мерзости, я просвѣтлѣлъ духомъ, передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблагодаривъ еще болѣе предъ Провидѣніемъ. И теперь больше всего благодарю Бога за то, что сподобилъ Онъ меня хотя отчасти узнать мерзости, какъ мои собственныя, такъ и бѣдныхъ моихъ братьевъ. И если есть во мнѣ какая-нибудь капля ума, свойственнаго не всѣмъ людямъ, такъ это отъ того, что всматривался я побольше въ эти мерзости. И если мнѣ удалось оказать помощь душевную нѣкоторымъ близкимъ моему сердцу, а въ томъ числѣ и вамъ, такъ это отъ того, что всматривался я побольше въ эти мерзости. И если я приобрѣлъ наконецъ любовь къ людямъ не мечтательную, но существенную, такъ это все же наконецъ отъ того же самаго, что всматривался я побольше во всякія мерзости.

Не пугайтесь же мерзостію, и особенно не отвращайтесь отъ тѣхъ людей, которые вамъ кажутся почему-либо мерзкими. Увѣряю васъ, что придетъ время, когда многіе у насъ на Руси изъ *чистенькихъ* горько заплачутъ, закрывъ руками лицо свое, именно отъ того, что считали себя слишкомъ чистыми, что хвалились чистотой своею и всякимъ возвышеннымъ стремленьемъ куда-то, считая себя чрезъ это лучшими другихъ; — помните же все это и, помолясь, примитесь снова за свои дѣла, бодрѣй, свѣжѣй, чѣмъ когда-либо прежде. Перечтите разъ пять-шесть мое письмо, именно изъ-за того, что въ немъ все разбросано и нѣтъ строгаго логическаго порядка, чему впрочемъ виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось все въ васъ, вопросы бы мои сдѣлались бы вашими вопросами, а желанье мое вашимъ желаньемъ, чтобы всякое слово и буква преслѣдовали васъ и мучили по тѣхъ поръ, пока не исполнили моей просьбы такимъ именно образомъ, какъ я хочу.

1846.

XXII.

Русскій помѣщикъ.

ПИСЬМО КЪ Е. И. В.....МУ.

Главное то, что ты уже пріѣхалъ въ деревню и положилъ себѣ непрежѣнно быть помѣщикомъ; прочее все придетъ само собою. Не смущайся мыслями, будто прежнія узы, связывавшія помѣщика съ крестьянами, исчезли навѣки. Что они исчезли, это правда; что виноваты тому сами помѣщики, это тоже правда; но чтобы навсегда или навѣки онѣ исчезли, — плюнь ты на такія слова; сказать ихъ можетъ только тотъ, кто далѣе своего носа ничего не видитъ. Русскаго ли человѣка, котораго такъ умѣетъ быть благодарнымъ за всякое добро, какому его ни надоумишь, — русскаго ли человѣка трудно привязать къ себѣ? Такъ можно привязать, что послѣ будешь думать только о томъ, какъ бы его отвязать отъ себя. Если только исполнишь въ точности все то, что теперь тебѣ скажу, то въ концу же года увидишь, что я правъ. Возмись за дѣло помѣщика, какъ слѣдуетъ за него взяться въ настоящемъ и законномъ смыслѣ. Собери прежде всего мужиковъ и объясни имъ, что такое ты, что такое они. Что помѣщикъ ты надъ ними не потому, чтобы тебѣ хотѣлось повелѣвать и быть помѣщикомъ, но потому, что ты уже есть помѣщикъ, что ты родился помѣщикомъ, что взмещетъ съ тебя Богъ, если бы ты промѣнялъ это званіе на другое, потому что всякой долженъ служить Богу на своемъ мѣстѣ, а не на чужомъ, равно какъ и они также, родясь подъ властію, должны покоряться той самой власти, подъ которою родились, потому что нѣтъ власти, которая бы не была отъ Бога, и покажи это имъ тутъ же въ Евангелии, чтобъ они всѣ это видѣли до единого. Потомъ скажи имъ, что заставляешь ихъ трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебѣ деньги на твои удовольствія, и въ доказательство тутъ же сожги предъ ними ассигнаціи; и чтобы они видѣли дѣйствительно, что деньги тебѣ нуль, но что потому ты заставляешь ихъ трудиться, что Богомъ повелѣно человѣку трудомъ

и потому снискивать себѣ хлѣбъ, и прочти имъ тутъ же это въ Св. Писаніи, чтобы они это видѣли. Скажи имъ всю правду: что съ тебя взыщетъ Богъ за послѣдняго негодяя въ селѣ и что по этому самому ты еще болѣе будешь смотрѣть за тѣмъ, чтобы они работали честно не только тебѣ, но и себѣ самимъ; ибо знаешь, да и они знаютъ, что, залѣнившись, мужикъ на все способенъ — сдѣлается и воръ, и пьяница, погубить свою душу, да и тебя поставить въ отвѣтъ передъ Богомъ. И все, что имъ ни скажешь, подкрѣпи тутъ же словами Св. Писанія; покажи имъ пальцемъ и самыя буквы, которыми это написано; заставь каждого передъ тѣмъ перекреститься, ударить поклонъ и поцѣловать самую книгу, въ которой это написано. Словомъ, чтобы они видѣли ясно, что ты во всемъ, что до нихъ клонится, сообразуешься съ волею Божіею, а не съ своими какими-нибудь европейскими или иными затѣями. Мужикъ это пойметъ; ему не нужно много словъ. Объясни имъ всю правду, что душа человѣка дороже всего на свѣтѣ, и что прежде всего ты будешь глядѣть за тѣмъ, чтобы не погубилъ изъ нихъ кто-нибудь своей души и не предалъ бы ее на вѣчную муку. Во всѣхъ упрекахъ и выговорахъ, которые станешь дѣлать уличенному въ воровствѣ, лѣности или пьянствѣ, ставь его передъ лицомъ Бога, а не передъ своимъ лицомъ; покажи ему, чѣмъ онъ грѣшитъ противъ Бога, а не противъ тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери сосѣдей. Попрекни бабу, зачѣмъ не отваживала отъ зла своего мужа и не грозила ему страхомъ Божиимъ; попрекни сосѣдей, зачѣмъ допустили, что ихъ же братъ, среди ихъ же, зажилъ собакою и губить ни про что свою душу; докажи имъ, что дадутъ за то отвѣтъ Богу. Устрой такъ, чтобы на всѣхъ легла отвѣтственность и чтобы все, что ни окружаетъ человѣка, упрекало бы и не давало бы ему слишкомъ разстегнуться. Собери силу вліянія, а съ нею и отвѣтственность на головы примѣрныхъ хозяевъ и лучшихъ мужиковъ. Растолкуй имъ ясно, что они не за тѣмъ, чтобы только самимъ хорошо жить, но чтобы и другихъ учить хорошему житью, что пьяница не можетъ учить пьяницу и что это ихъ долгъ. Негодяямъ же и пьяницамъ поведи, чтобы они оказывали добрымъ мужикамъ такое же уваженіе, какъ бы старостѣ, прикащику,

попу или даже самому тебѣ; чтобы, когда еще они завидятъ издали примѣрнаго мужика и хозяина, летѣли бы шапки съ головы у всѣхъ мужиковъ и все бы ему давало дорогу; а который посмѣлъ бы оказать ему какое-нибудь неуваженіе или не послушаться умныхъ словъ его, того распеки тутъ же при всѣхъ; скажи ему: „Ахъ, ты, невымытое рыло! самъ весь зажилъ въ сажѣ, такъ что и глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему въ ноги и попроси, чтобы навелъ тебя на разумъ; не наведетъ на разумъ — собакой пропадешь.“ А примѣрныхъ мужиковъ, призвавши къ себѣ и, если они старики, посадивши ихъ предъ собою, потолкуй съ ними о томъ, какъ они могутъ наставлять и учить добру другихъ, исполняя такимъ образомъ именно то, что повелѣлъ намъ Богъ. Такъ поступи только въ теченіе одного года, и увидишь самъ, какъ все пойдетъ на-ладъ; даже и хозяйство отъ этого сдѣлается лучше. О главномъ только позаботься, прочее все приползетъ само собою. Христосъ не даромъ сказалъ: *сія вся вамъ приложится*. Въ крестьянскомъ быту эта истина еще виднѣе, нежели въ нашемъ: у нихъ богатый хозяинъ и хороший человекъ — синонимы. И въ которую деревню заглянула только христіанская жизнь, тамъ мужики лопатами гребутъ серебро.

Но вотъ, однакоже, тебѣ совѣтъ и въ хозяйствѣ. Только раскуси его хорошенько, и не будешь въ накладѣ. Два человека уже благодарятъ меня; одинъ изъ нихъ тебѣ знакомый К**. Собственно о томъ, какими отраслями хозяйства слѣдуетъ заниматься, и какъ заниматься, я тебѣ не скажу, — это знаешь ты лучше меня; притомъ и деревня твоя мнѣ неизвѣстна такъ, какъ моя собственная ладонь; а относительно всякихъ нововведеній ты умненъ и смекнулъ самъ, что не только слѣдуетъ придерживаться всего стараго, но всмотрѣться въ него насковозь, чтобъ изъ него же извлечь для него улучшеніе. Но я тебѣ дамъ совѣтъ насчетъ соприкосновенія помѣщика съ крестьяниномъ въ хозяйственныхъ дѣлахъ и работахъ, что покажеть нужнѣе всего прочаго. Припомни отношенія прежнихъ помѣщиковъ-хозяевъ къ ихъ мужикамъ: будь патріархомъ, самъ начинателемъ всего и передовымъ во всѣхъ дѣлахъ. Заведи, чтобы при началѣ

всякого общаго дѣла, какъ-то: посѣва, покосовъ и уборки хлѣба. Былъ пиръ на всю деревню, чтобы въ эти дни былъ общій столъ для всѣхъ мужиковъ на твоёмъ дворѣ, какъ бы въ день самого Свѣтлаго Воскресенія, и обѣдалъ бы ты самъ вмѣстѣ съ ними, и вмѣстѣ съ ними вышелъ бы на работу, и въ работѣ былъ бы передовымъ, подстрекая всѣхъ работать молодцами, похвалявая тутъ же удалца и укоряя тутъ же лѣнница. Когда же наступитъ осень и кончатся полевныя работы, воспрямудной такимъ же образомъ и еще бѣльшимъ пиршествомъ окончаніе работъ, въ сопровожденіи торжественнаго и благодарственнаго молебна. Мужика не бей: съзидить его въ рожу еще не большое искусство; это сьумѣеть сдѣлать и становой, и засѣдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ и только-что почешетъ слеза у себя въ затылкѣ. Но умѣй пронять его хорошенько словомъ; ты же на мѣткія слова мастеръ. Ругни его при всемъ народѣ, но такъ, чтобы тутъ же осмѣялъ его весь народъ; это будетъ для него въ нѣсколько разъ полезнѣе всякихъ подзатыльниковъ и зуботычекъ. Держи у себя въ запасѣ всѣ синонимы *молодца* для того, кого нужно подстрекнуть, и всѣ синонимы *бабы* для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лѣнтяй и пьяница есть баба и дрянъ. Выкопай слово еще похуже, — словомъ, назови всѣмъ, чѣмъ только не хочеть быть русскій человѣкъ. Въ комнатѣ не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянскихъ работахъ, и, гдѣ ни появляйся, появляйся такъ, чтобы отъ твоего прихода глядѣло все живѣе и веселѣе, изворачиваясь молодцомъ и щеголемъ въ работѣ. Поддай и отъ себя силы словами: „Подхватимъ-ка разомъ, ребята, всѣ вмѣстѣ!“ Возьми самъ въ руки топоръ или косу; это будетъ тебѣ въ добро и полезнѣе для твоего здоровья всякихъ Маріенбадовъ, медицинскихъ моціоновъ и вялыхъ прогулокъ.

Замѣчанія твои о школахъ совершенно справедливы. Учить мужика грамотѣ за тѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которыя издають для народа европейскіе человѣколюбцы, есть дѣйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика нѣтъ вовсе для этого времени. Послѣ столькихъ работъ никакая книжонка не полѣзетъ въ голову, и, пришедши

домой, онъ заснетъ, какъ убитый, богатырскимъ сномъ. Ты и самъ будешь дѣлать то же, когда станешь почаще выходить на работы. Деревенскій священникъ можетъ сказать гораздо больше истинно-нужнаго для мужика, нежели всё эти книжонки. Если въ комъ истинно уже зародится охота къ грамотѣ, и притомъ вовсе не за тѣмъ, чтобы сдѣлаться плутомъ-конторщикомъ, но за тѣмъ, чтобы прочесть тѣ книги, въ которыхъ начертанъ Божій законъ человѣку, тогда другое дѣло. Воспитай его какъ сына и на него одного употреби все, что употребилъ бы ты на всю школу. Народъ нашъ не глупъ, что бѣжить, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги; онъ знаетъ, что тамъ притонъ всей человѣческой путаницы, крючкотворства и каверничества. По-настоящему, ему не слѣдуетъ и знать, есть ли какія-нибудь другія книги, кромѣ святыхъ.

Кстати о священникѣ. Ты напрасно хлопочешь объ его переживаніи и затѣваешь просить архіерея, чтобы онъ далъ тебѣ болѣе знающаго и опытнаго. Такого священника онъ тебѣ не дастъ, потому что такой священникъ повсюду нуженъ. Выбрось даже изъ головы, чтобы могъ отыскаться священникъ, вполне отвѣчающій твоему идеалу. Никакая семинарія и никакая школа не можетъ такъ воспитать священника. Въ семинаріи онъ получаетъ только начальное основаніе своего воспитанія, образуется же вполне въ дѣлѣ жизнью. Будь самъ ему наставникомъ, ты же понялъ такъ хорошо обязанности сельскаго священника. Если священникъ дурень, то этому почти всегда виноваты сами помѣщики. Они, на-мѣсто того, чтобы призвать его у себя въ домъ какъ родного, поселить въ немъ желаніе бесѣды лучшей, которая могла бы его чему-нибудь поучить, бросаютъ его среди мужиковъ молодого и неопытнаго, когда онъ еще и не знаетъ что такое мужикъ; поставятъ его въ такое положеніе, что онъ еще долженъ потворствовать и угождать имъ, на-мѣсто того, чтобы уже съ самаго начала имѣть надъ ними нѣкоторую власть, и послѣ этого вопіють, что у нихъ священники дурные, что они приобрѣли мужицкія хватки и ничѣмъ не отличаются отъ простыхъ мужиковъ. Да я спрашиваю, кто не огрубѣетъ даже изъ приготовленныхъ и воспитанныхъ? А ты сдѣлай вотъ какъ. За-

веди, чтобы священникъ обѣдалъ съ тобою всякой день. Читай съ нимъ вмѣстѣ духовныя книги: тебя же это чтеніе теперь занимаетъ и питаетъ болѣе всего. А самое главное — бери съ собою священника повсюду, гдѣ ни бываешь на работахъ, чтобы сначала онъ былъ при тебѣ въ качествѣ помощника, чтобы онъ видѣлъ самолично всю продѣлку твою съ мужиками. Тутъ онъ увидитъ ясно, что такое помѣщикъ, что такое мужикъ, и каковы должны быть ихъ отношенія между собою. А между тѣмъ и къ нему будетъ больше уваженія со стороны мужиковъ, когда они увидятъ, что онъ идетъ съ тобою объ руку. Сдѣлай такъ, чтобы онъ не нуждался въ домѣ своемъ, чтобы былъ обезпеченъ относительно собственнаго своего хозяйства и черезъ то имѣлъ бы возможность быть съ тобою безпрестанно. Повѣрь, что онъ такъ привыкнетъ къ тебѣ, что ему будетъ скучно безъ тебя. А привыкнувши къ тебѣ, онъ отъ тебя нечувствительно наберется и познанія вещей, и познанія человѣка, и много всякаго добра, потому что въ тебѣ, слава Богу, всего этого довольно, и ты умѣешь такъ ясно и хорошо выражаться, что всякъ невольно усвоетъ себѣ не только твои мысли, но даже и образъ ихъ выраженія и самыя слова твои.

Что же до проповѣди, которую ты полагаешь нужною, то на это я тебѣ скажу вотъ что. Я скорѣе того мнѣнія, что священнику, не вполне наставленному въ своемъ дѣлѣ и не ознакомленному съ людьми, его окружающими, лучше вовсе не произносить проповѣди. Подумалъ ли ты о томъ, какое трудное дѣло сказать умную проповѣдь и особенно мужикамъ? Нѣтъ, лучше немного потерпи, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока и священникъ побольше осмотрится, да и ты также; а до того времени посоветую тебѣ то, что одному уже посоветовалъ и что, кажется, пошло ему въ прокъ. Возьми святыхъ Отцовъ и особенно Златоуста, говорю потому Златоуста, что Златоустъ, имѣя дѣло съ народомъ-невѣжею, принявшимъ только наружное христіанство, но въ сердцахъ оставшимся грубыми язычниками, старался быть особенно доступнымъ къ понятіямъ человѣка простаго и грубаго, и говорилъ такимъ живымъ языкомъ о предметахъ нужныхъ, а даже часто очень высокихъ, что цѣликомъ можно обратить

мѣста изъ проповѣдей его къ нашему мужику, и онъ пойметъ. Возьми Златоуста и читай его вмѣстѣ съ твоимъ священникомъ, и притомъ съ карандашомъ въ рукѣ, чтобы отмѣчать тутъ же всѣ такія мѣста, а такихъ мѣстъ у Златоуста десятками во всякой проповѣди. И эти самыя мѣста пусть онъ скажетъ народу; не нужно, чтобы они были длинны: страничка или даже полстранички; чѣмъ меньше, тѣмъ лучше. Но нужно, чтобы передъ тѣмъ, какъ произносить ихъ народу, священникъ прочиталъ ихъ нѣсколько разъ съ тобою вмѣстѣ, за тѣмъ, чтобы умѣть ихъ произнести ему не только съ одушевленіемъ, но такимъ убѣдительнымъ голосомъ, какъ бы онъ хлопоталъ о какой-нибудь собственной выгодѣ своей, отъ которой зависитъ благополучіе его жизни. Увидишь, что это будетъ дѣйствительнѣе, нежели его собственная проповѣдь. Народу нужно мало говорить, но мѣтко. Не то онъ можетъ привыкнутьъ къ проповѣди такъ же, какъ привыкнулъ къ ней высшій кругъ, который ѣздитъ слушать знаменитыхъ европейскихъ проповѣдниковъ такимъ же самымъ образомъ, какъ ѣздитъ въ оперу или въ спектакль. У К. К* священникъ не говоритъ никакой проповѣди, но, зная насквозь всѣхъ мужиковъ, поджидаетъ только исповѣди. И на исповѣди такъ приметъ изъ нихъ всякого, что онъ какъ изъ бани выходитъ изъ церкви. З** послалъ къ нему нарочно исповѣдывать 30 человекъ рабочихъ съ своей фабрики, пьяницъ и мошенниковъ первѣйшаго разбора, а самъ сталъ на паперти церковной, чтобы посмотреть имъ въ лица въ то время, какъ они будутъ выходить изъ церкви. Всѣ вышли красные, какъ раки. А кажется и немного держалъ ихъ на исповѣди: по 4 и по 5 человекъ исповѣдывалъ вдругъ. И послѣ того, по сказанію самого З**, въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ не показывался ни одинъ изъ нихъ въ кабакъ, такъ что окружныя цѣловальники не могли приложить ума, отъ чего это случилось.

Но довольно. Поработай усердно только годъ, а тамъ дѣло уже само собою пойдетъ работаться такъ, что не нужно будетъ тебѣ и рукъ прилагать. Разбогатѣешь ты какъ Крезъ, въ противность тѣмъ подслѣповатымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды помѣщика идутъ врознь съ выгодами мужиковъ. Ты

имъ докажешь дѣломъ, а не словами, что они врутъ, и что если только помѣщикъ взглянулъ глазомъ христіанина на свою обязанность, то не только онъ можетъ укрѣпить старыя связи, о которыхъ толкуютъ, будто онѣ исчезли на вѣки, но и связать ихъ новыми, еще сильнѣйшими связями — связями во Христѣ, которыхъ уже ничто не можетъ быть сильнѣе. И ты, не служа доселѣ ревностно ни на какомъ поприщѣ, сослужишь такую службу государю въ званіи помѣщика, какъ не сослужитъ иной великочинный человѣкъ. Чтѣ ни говори, но поставить 800 подданныхъ, которые всѣ какъ одинъ и могутъ быть примѣромъ всѣмъ окружающимъ своею истинно-примѣрною жизнію, — это дѣло не бездѣльное и служба истинно законная и великая.

1846.

XXIII.

Историческій живописецъ Ивановъ.

письмо къ м. ю. велоогорскому.

Пишу къ вамъ объ Ивановѣ. Чтѣ за непостижная судьба этого человѣка! Ужъ дѣло его стало наконецъ всѣмъ объясняться: всѣ увѣрили, что картина, которую онъ работаетъ — явленіе небывалое, приняли участіе въ художникѣ, хлопчутъ со всѣхъ сторонъ о томъ, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умеръ надъ ней съ голоду художникъ, — говорю буквально — не умеръ съ голоду. И до сихъ поръ ни слуху, ни духу изъ Петербурга. Ради Христа разберите, чтѣ это все значитъ? Сюда принеслись нелѣпыя слухи, будто художники и всѣ профессора нашей академіи художествъ, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, чтѣ было доселѣ произведено нашимъ художествомъ, изъ зависти стараются о томъ, чтобы ему не были даны средства на окончаніе. Это ложь, я въ этомъ увѣренъ. Художники наши благородны, и еслибъ они узнали все то, чтѣ вытерпѣлъ бѣдный Ивановъ изъ-за своего безпримѣрнаго самоотверженія и любви къ труду, рискуя дѣйствительно умереть съ голоду, они

бы съ нимъ подѣлились братски своими собственными деньгами, а не то, чтобы внушать другимъ такое жестокое дѣло. Да и чего имъ опасаться Иванова? Онъ идетъ своею собственною дорогою и никому не помѣха. Онъ не только не ищетъ профессорскаго мѣста и житейскихъ выгодъ, но даже просто ничего не ищетъ, потому что давно умеръ для всего въ мѣрѣ, кромѣ своей работы. Онъ молить о нищенскомъ содержаніи, — о томъ содержаніи, которое дается только начинающему работать ученику, а не о томъ, которое слѣдуетъ ему какъ мастеру, сидящему надъ такимъ колоссальнымъ дѣломъ, какого не затѣвалъ доселѣ никто, и этого нищенскаго содержанія, о которомъ всѣ стараются и хлопочутъ, не можетъ онъ допроситься, несмотря на хлопоты всѣхъ. Воля ваша, я вижу во всемъ этомъ волю Провидѣнія, уже такъ опредѣлившую, чтобъ Ивановъ вытерпѣлъ, выстрадалъ и вынесъ все: другому ничему не могу приписать.

Доселѣ раздавался ему упрекъ въ медленности. Говорили всѣ: „Какъ восемь лѣтъ сидѣлъ надъ картиною, и до сихъ поръ картинѣ нѣтъ конца.“ Но теперь этотъ упрекъ затихнулъ, когда увидѣли, что и капли времени у художника не пропала даромъ, что однихъ этюдовъ, приготовленныхъ имъ для картины, наберется на цѣлый залъ и можетъ составить отдѣльную выставку, что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картинъ Брюлова и Бруни), требовала слишкомъ много времени для работы, особенно при тѣхъ малыхъ денежныхъ средствахъ, которыя не давали ему возможности имѣть нѣсколько моделей вдругъ, и при томъ такихъ, какихъ бы онъ хотѣлъ. — Словомъ, теперь всѣ чувствуютъ нелѣпность упрека въ медленности и лѣни такому художнику, который, какъ труженикъ, сидѣлъ всю жизнь свою надъ работою и позабылъ даже, существуетъ ли на свѣтѣ какое-нибудь наслажденіе, кромѣ работы. Еще болѣе будетъ стыдно тѣмъ, которые упрекали его въ медленности, когда узнаютъ и другую сокровенную причину медленности. Съ производствомъ этой картины связалось собственное, душевное дѣло художника: явленіе слишкомъ рѣдкое въ мѣрѣ, — явленіе, въ которомъ вовсе не участвуетъ произволъ человѣка, но воля Того, Кто выше человѣка. Такъ уже было

опредѣлено, чтобы надъ этою картиною совершилось воспитаніе собственно художника, какъ въ рукотворномъ дѣлѣ искусства, такъ и въ мысляхъ, направляющихъ искусство къ законному и высшему назначенію. Предметъ картины, какъ вы уже знаете, слишкомъ значителенъ. Изъ евангельскихъ мѣстъ взято самое труднѣйшее для исполненія, доселѣ еще не бранное никѣмъ изъ художниковъ, даже прежнихъ богомольно-художественныхъ вѣковъ, а именно — первое появленіе Христа народу. Картина изображаетъ пустыню на берегу Иордана. Всѣхъ виднѣе Іоаннъ Креститель, проповѣдующій и крестящій во имя Того, Котораго еще никто не видалъ изъ народа; Его обступаетъ толпа нагихъ и раздѣвающихся, одѣвающихся и одѣтыхъ, выходящихъ изъ водъ и готовыхъ погрузиться въ воды; въ толпѣ этой стоятъ и будущіе ученики самого Спасителя. Все, отправляя свои различныя тѣлесныя движенія, устремляется внутреннимъ ухомъ къ рѣчамъ пророка, какъ бы схватывая изъ устъ его каждое слово и выражая на лицахъ различныя чувства: на однихъ — уже полная вѣра, на другихъ — еще сомнѣніе, третьи уже колеблются, четвертые понурили головы въ сокрушеніи и покаяніи; есть и такіе, на которыхъ видна еще кора и безчувственность сердечная. Въ это самое время, когда все движется такими различными движеніями, показывается Тотъ самый, во имя Котораго уже совершилось крещеніе, и здѣсь настоящая минута картины. Предтеча беретъ именно въ тотъ мигъ, когда, указавши на Спасителя перстомъ, произнесъ: *Се Агнецъ, вземляй грѣхи міра!* И вся толпа, не оставляя выраженія лицъ своихъ, устремляется или глазомъ, или мыслию къ Тому, на котораго указалъ пророкъ. Сверхъ прежнихъ, не успѣвшихъ сбѣжать съ лицъ, впечатлѣній пробѣгаютъ по всѣмъ лицамъ новыя впечатлѣнія. Чуднымъ свѣтомъ освѣтились лица передовыхъ избранныхъ, тогда какъ другіе стараются еще войти въ смыслъ непонятныхъ словъ, недоумѣвая, какъ можетъ одинъ взять на себя грѣхъ всего міра, а третьи сомнительно колеблютъ головой, говоря: „отъ Назарета пророкъ не приходитъ.“ А Онъ, въ небесномъ спокойствіи и чудномъ отдаленіи, тихою и твердою стопою уже приближается къ людямъ.

Бездѣлица изобразить на лицахъ весь этотъ ходъ *обращенія* *человѣка ко Христу!* Есть люди, которые увѣрены, что великому художнику все доступно: земля, море, человѣкъ, лягушка, драва и пирушка людей, игра въ карты и моленіе Богу, — словомъ, все можетъ достаться ему легко, будь только онъ талантливый художникъ да поучись въ академіи. Художникъ можетъ изобразить только то, что онъ *почувствовалъ* и о чемъ въ головѣ его составила уже полная идея; иначе картина будетъ мертвая, академическая картина. Ивановъ сдѣлалъ все, что другой художникъ почелъ бы достаточнымъ для окончанія картины. Вся матеріальная часть, все, что относится до умнаго и строгаго размѣщенія группы въ картинѣ, исполнено въ совершенствѣ. Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелію, сходство и съ тѣмъ вмѣстѣ сходство еврейское. Вдругъ слышишь по лицамъ, въ какой землѣ происходитъ дѣло. Ивановъ повсюду ѣздилъ нарочно изучать для того еврейскія лица. Все, что ни касается до гармоническаго размѣщенія цвѣтовъ, одежды человѣка и до обдуманной ея наброски на тѣло, изучено въ такой степени, что всякая складка привлекаетъ вниманіе знатока. Наконецъ, вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно немного смотритъ историческій живописецъ, видъ всей живописной пустыни, окружающей группу, исполненъ такъ, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущіе въ Римѣ. Ивановъ для этого просиживалъ по нѣсколькимъ мѣсяцамъ въ нездоровыхъ Понтійскихъ болотахъ и пустынныхъ мѣстахъ Италіи, перенесъ въ свои этюды всѣ дикія захолустья, находящіяся вокругъ Рима, изучилъ всякой камешекъ и древесный листокъ, — словомъ, сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать, все изобразилъ, чему только нашель образецъ. Но какъ изобразить то, чему еще не нашель художникъ образца? Гдѣ могъ найти онъ образецъ для того, чтобъ изобразить главное, составляющее задачу всей картины, — представить въ лицахъ весь ходъ человѣческаго обращенія ко Христу? Откуда могъ онъ взять его? Изъ головы? создать воображеніемъ? постигнуть мыслью? — Нѣтъ, пустяки! холодна для этого мысль и ничтожно воображеніе. Ивановъ напрягалъ воображеніе, елико могъ, старался на лицахъ всѣхъ людей, съ какими ни встрѣчался, ло-

вить высокія движенія душевныя, оставался въ церквахъ слѣдить за молитвою человѣка — и видѣлъ, что все безсильно, недостаточно и не утверждаетъ въ его душѣ полной идеи о томъ, что нужно. И это было предметомъ сильныхъ страданій его душевныхъ и виною того, что картина такъ долго затянулась. Нѣтъ, пока въ самомъ художникѣ не произошло истиннаго обращенія ко Христу, не изобразить ему того на полотнѣ. Ивановъ молилъ Бога о ниспосланіи ему такого полного обращенія, лилъ слезы въ тишинѣ, прося у Него же силъ исполнить Имъ же внушенную мысль; а въ это время упрекали его въ медленности и торопили его! Ивановъ просилъ Бога, чтобъ огнемъ благодати испепелилъ въ немъ ту холодную черствость, которою теперь страдаютъ многіе наилучшіе и найдобрѣйшіе люди, и вдохновилъ бы его такъ изобразить это обращеніе, чтобъ умилился и не христіанинъ, взглянувши на его картину; а его въ это время укоряли даже знавшіе люди, даже пріатели, думая что онъ просто лѣвится, и помышляли серьезно о томъ, нельзя ли голодомъ и отнятіемъ всѣхъ средствъ заставить его кончить картину. Со-страдательнѣйшіе изъ нихъ говорили: „самъ же виноватъ; пусть бы большая картина шла своимъ чередомъ, въ промежуткахъ могъ бы онъ работать малыя картины, брать за нихъ деньги и не умереть съ голода,“ — говорили, не вѣдая того, что художнику, которому трудъ его, по волѣ Бога, обратился въ его душевное дѣло, уже не возможно заняться никакимъ другимъ трудомъ и нѣтъ у него промежутковъ; не устремится и мысль его ни къ чему другому, какъ онъ ее ни принуждай и ни насильуй. Такъ вѣрная жена, полюбившая истинно своего мужа, не любитъ уже никого другого, никому не продастъ за деньги своихъ ласкъ, хотя бы этимъ средствомъ и могла спасти отъ бѣдности и себя и мужа. Вотъ каковы были обстоятельства душевныя Иванова! Вы скажете: „Да зачѣмъ же онъ не изложилъ всего этого на бумагѣ? тогда бы ему вдругъ были высланы деньги.“ Да, какъ бы не такъ! попробуй кто-нибудь изъ насъ, еще не доказавшіи силъ, еще не умѣющій самому себѣ высказать себя, объясняться съ людьми, стоящими на другихъ поприщахъ, вторые не могутъ, весьма естественно, даже постигнуть, что можетъ существо-

вать въ искусствѣ его высшая степень, свыше той, на которой онъ стоитъ въ нынѣшнемъ модномъ вѣкѣ! Неужели ему сказать: „Я произведу одно такое дѣло, которое васъ потомъ изумитъ, но котораго вамъ не могу теперь разказать, потому что многое покуда, и мнѣ самому еще не совсѣмъ понятно, а вы, во все то время, какъ я буду сидѣть надъ работою, ждите терпѣливо и давайте мнѣ деньги на содержаніе?“ Тогда, пожалуй, явится много такихъ охотниковъ, которые заговорятъ такимъ же образомъ: да имъ развѣ безумецъ дать деньги! Положимъ даже, что Ивановъ могъ бы въ это неясное время выразиться ясно и сказать такъ: „Мнѣ внушена вѣмъ-то свыше преслѣдующая меня мысль — изобразить кистью обращеніе человѣка ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сдѣлать, не обратившись истинно самъ. А потому ждите, покуда во мнѣ самомъ не произойдетъ этого обращенія, и давайте до того времени мнѣ деньги на мое содержаніе и на мою работу.“ Да ему тогда въ одинъ голосъ закричимъ мы всѣ: „Что ты, братъ, за нескладницу городишь? за дураковъ, что-ли, насъ принялъ? Что за связь у души съ картиною? Душа — сама по себѣ, а картина — сама по себѣ. Что намъ ждать твоего обращенія! Ты долженъ быть и безъ того христіанинъ; вѣдь вотъ мы же всѣ истинные христіане.“ Вотъ что мы скажемъ всѣ Иванову, и каждый изъ насъ почти правъ. Не будъ этихъ же самыхъ тяжелыхъ его обстоятельствъ и внутреннихъ терзаній душевныхъ, которыя силою заставили его обратиться жарче другихъ къ Богу и дали ему способность къ Нему прибѣгать и жить въ Немъ такъ, какъ не живетъ въ немъ нынѣшній свѣтскій художникъ, и выплакать слезами тѣ чувства, которыхъ онъ силился добыть прежде одними размышленіями, — не изобразитъ бы ему никогда того, что начинаетъ онъ уже изображать на полотнѣ, и онъ дѣйствительно бы обманулъ и себя, и другихъ, несмотря на все желаніе не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться съ людьми во время переходнаго состоянія душевнаго, когда, по волѣ Бога, начнется переработка въ собственной природѣ человѣка. Я это знаю и отчасти даже испыталъ самъ. Мои сочиненія тоже связались чуднымъ образомъ съ моею душою и моимъ внутреннимъ воспи-

таніемъ. Въ продолженіи болѣе шести лѣтъ я ничего не могъ работать для свѣта. Вся работа производилась во мнѣ и собственно для меня. А существовалъ я дотолѣ, не позабудете, единственно доходами съ моихъ сочиненій. Всѣ почти знали, что я нуждался, но были увѣрены, что это происходитъ отъ собственного моего упрямства, что мнѣ стѣдуетъ только присѣсть да написать небольшую вещь, чтобы получить большія деньги; а я не въ силахъ былъ произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совѣта одного неразумнаго человѣка, вздумалъ было заставить себя насильно написать кое-какія статейки для журнала, это было мнѣ въ такой степени трудно, что ныла моя голова, болѣли всѣ чувства, я маралъ и раздиралъ страницы, и послѣ двухъ-трехъ мѣсяцевъ такой пытки такъ разстроилъ здоровье, которое и безъ того было плохо, что слегъ въ постель, а присоединившіеся къ тому недуги нервическіе и наконецъ недуги отъ неумѣнья никому въ свѣтѣ изъяснить состояніе своего положенія до того меня изнурили, что былъ я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Одинъ разъ, въ прибавленіе ко всему этому, я очутился въ городѣ, гдѣ не было почти ни души мнѣ близкой, безъ всякихъ средствъ, рискуя умереть не только отъ болѣзни и страданій душевныхъ, но даже отъ голода. Это было уже давно тому. Спасенъ я былъ государемъ. Нежданно къ мнѣ пришла отъ него помощь. Услышалъ ли онъ сердцемъ, что бѣдный подданный его на своемъ неслужащемъ и незамѣтномъ поприщѣ помышлялъ сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другіе на своихъ служащихъ и замѣтныхъ поприщахъ, или это было просто обычное движеніе милости его. Но эта помощь меня подняла вдругъ. Мнѣ было пріятно въ эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. Къ причинамъ, побудившимъ взяться съ новою силою за трудъ, присоединилась еще и мысль — если удостоитъ меня Богъ сдѣлаться точно человѣкомъ близкимъ для многихъ людей и достойнымъ точно любви всѣхъ тѣхъ, которыхъ люблю, — связать имъ: „не забывайте же, меня бы не было, можетъ-быть, на свѣтѣ, еслибы не государь.“ Вотъ каковы бывають положенія! Въ прибавленіе скажу вамъ, что въ это же самое время я дол-

женъ былъ слышать обвиненія въ эгоизмѣ: многіе не могли мнѣ простить моего неучастія въ разныхъ дѣлахъ, которыя они затѣвали, по ихъ мнѣнію, для блага общаго. Слова мои, что я не могу писать и не долженъ работать ни для какихъ журналовъ и альманаховъ, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я велъ въ чужихъ краяхъ, приписана была сибаритскому желанію наслаждаться красотами Италіи. Я не могъ даже объяснить никому изъ самыхъ близкихъ моихъ друзей, что, кромѣ нездоровья, мнѣ нужно было временное отдаленіе отъ нихъ самихъ, затѣмъ именно, чтобы не попасть въ фальшивыя отношенія съ ними и не нанести имъ же непріятностей; я даже этого не могъ объяснить. Я слышалъ самъ, что мое душевное состояніе до того сдѣлалось странно, что ни одному человѣку въ мірѣ не могъ бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя одну часть себя, я видѣлъ тутъ же передъ моими глазами, какъ моими же словами туманилъ и кружилъ голову слушавшему меня человѣку, и горько раскаивался за одно даже желаніе быть откровеннымъ. Клянусь, бываютъ такъ трудны положенія, что ихъ можно уподобить только положенію того человѣка, который находится въ летаргическомъ снѣ, который видитъ самъ, какъ его погребаютъ живого — и не можетъ даже пошевелить пальцемъ и подать знака, что онъ еще живъ. Нѣтъ, храни Богъ въ эти минуты переходнаго состоянія душевнаго пробовать объяснять себя какому-нибудь человѣку; нужно бѣжать къ одному Богу и не къ кому болѣе. Противъ меня стали несправедливы многіе, даже близкіе мнѣ люди, и были въ то же время совсѣмъ виноваты; я бы самъ сдѣлалъ то же, находясь на ихъ мѣстѣ.

То же самое и въ дѣлѣ Иванова; еслибы случилось, чтобы онъ умеръ отъ бѣдности и недостатка средствъ, вдругъ бы все исполнилось негодованія противу тѣхъ, которые допустили это. Пошли бы обвиненія въ безчувственности и зависти къ нему другихъ художниковъ. Иной драматическій поэтъ составилъ бы изъ этого чувствительную драму, которою растрогалъ бы слушателей и подвигнулъ бы гнѣвомъ противу враговъ его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не былъ бы истинно виновенъ въ его смерти. Одинъ только человѣкъ былъ бы безчестенъ и

виновать, и этотъ человѣкъ былъ бы — я: я испробовалъ почти то же состояніе, испробовалъ его на собственномъ тѣлѣ, и не объяснилъ того другимъ! И вотъ почему я теперь пишу къ вамъ. Устройте же это дѣло; не то — грѣхъ будетъ на вашей собственной душѣ. Съ моей души я уже снялъ его этимъ самымъ письмомъ; теперь онъ повиснулъ на васъ. Сдѣлайте такъ, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержаніе, которое онъ проситъ, но еще сверхъ того единовременная награда, именно за то самое, что онъ работалъ долго надъ своею картиною и не хотѣлъ въ это время ничего работать посторонняго, какъ ни заставляли его другіе люди, и какъ ни заставляла его собственная нужда. Не скупитесь: деньги всѣ вознаграждаются. Достоинство картины уже начинаетъ обнаруживаться всѣмъ. Весь Римъ начинаетъ говорить гласно, судя даже по нынѣшнему ея виду, въ которомъ далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобнаго явленія еще не показывалось отъ времени Рафаэля и Леонарда да Винчи. Будетъ окончена картина, — бѣднѣйшій дворъ въ Европѣ заплатитъ за нее охотно тѣ деньги, какія теперь платятъ за вновь находимыя картины прежнихъ великихъ мастеровъ. Такимъ картинамъ не бываетъ цѣна меньше ста или двухъ сотъ тысячъ. Устройте такъ, чтобы награда выдана была не за картину, но за самоотверженіе и безпримѣрную любовь къ искусству, что-бы это послужило въ урокъ художникамъ. Урокъ этотъ нуженъ, чтобы видѣли всѣ другіе, какъ нужно любить искусство. Что нужно, какъ Ивановъ, умереть для всѣхъ приманокъ жизни; какъ Ивановъ, учиться и считать себя вѣкъ ученикомъ; какъ Ивановъ, отказывать себѣ во всемъ, даже и въ лишнемъ блюдѣ въ праздничный день; какъ Ивановъ, надѣтъ простую плисовую куртку, когда оборвались всѣ средства, и пренебречь пустыми приличіями; какъ Ивановъ, вытерпѣть все и при высокомъ и нѣжномъ образованіи душевномъ, при большой чувствительности ко всему, вынести всѣ колкія пораженія и даже то, когда угодно было нѣкоторымъ провозгласить его сумасшедшимъ и распустить этотъ слухъ такимъ образомъ, чтобы онъ собственными своими ушами, на всякомъ шагѣ, могъ его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была

выдана награда. Это нужно особенно для художниковъ молодыхъ и выступающихъ на поприще художества, чтобы не думали они о томъ, какъ заводить галстучки да сюртучки, да дѣлать долги для поддержанія какого-то вѣса въ обществѣ; чтобы знали впередъ, что подкрѣпленіе и помощь, со стороны правительства, ожидаетъ только тѣхъ, которые уже не помышляютъ о сюртучкахъ да о пирушкахъ съ товарищами, но отдались своему дѣлу, какъ монахъ монастырю. Хорошо бы даже, еслибы выданная Иванову сумма была слишкомъ велика, чтобы неволью почесали у себя въ затылкѣ всѣ другіе. Не бойтесь, эту сумму онъ не возьметъ себѣ; можетъ-быть изъ нея и копѣйки не возьметъ для себя, — эта сумма будетъ вся употреблена на вспомошествованіе истиннымъ труженикамъ искусства, которыхъ знаетъ художникъ лучше, нежели какой-либо чиновникъ, и распоряженія по этому дѣлу будутъ произведены лучше чиновническихъ. За чиновникомъ мало ли что можетъ водиться: у него можетъ случиться и жена-модница, и пріятели-ѣдоки, которыхъ нужно угощать обѣдомъ; чиновникъ заведетъ и штатъ и блескъ; станетъ даже утверждать, что для поддержанія чести русской націи нужно задать пыли иностранцамъ, и потребуетъ на это деньги. Но тотъ, кто самъ подвизался на томъ поприщѣ, которому потомъ долженъ помочь, кто слышалъ вопль потребности и нужды истинной, а не поддѣльной, кто терпѣлъ самъ и видѣлъ, какъ терпятъ другіе, и соскорбѣлъ имъ, и дѣлился послѣдней рубашкой съ неимущимъ труженикомъ въ то время, когда и самому нечего было ѣсть и не во что одѣться, какъ дѣлалъ это Ивановъ, тотъ — другое дѣло. Тому можно смѣло повѣрить миллионъ и спать спокойно, — не пропадетъ даромъ копѣйки изъ этого миллиона. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите другимъ, какъ моимъ, такъ и вашимъ пріятелямъ, и особенно такимъ, которыхъ управленію ввѣрена какая-нибудь часть, потому что труженики, подобныя Иванову, могутъ случиться на всѣхъ поприщахъ, и все-таки не нужно допускать, чтобы они умерли съ голоду. Если случится, что одинъ, отдѣлившись отъ всѣхъ другихъ, займется крѣпче всѣхъ своимъ дѣломъ, хотя бы даже и своимъ собственнымъ, но если онъ скажетъ, что это повидимому

собственное его дѣло будетъ нужно для всѣхъ, — считайте его какъ бы на службѣ у людей и выдавайте насущное прокормленіе. А чтобы удостовѣриться, нѣтъ ли здѣсь какого обмана, потому что подъ такимъ видомъ можетъ пробраться лѣнивый и ничего не дѣлающій человѣкъ, слѣдите за его собственною жизнію: его собственная жизнь скажетъ все. Если онъ такъ же, какъ Ивановъ, плюнулъ на всѣ приличія и условія свѣтскія, надѣлъ простую куртку и, отогнавши отъ себя мысль не только объ удовольствіяхъ и пирушкахъ, но даже мысль завестись когда-либо женою и семействомъ, или какимъ-либо хозяйствомъ, ведетъ жизнь истинно-монашескую, корпя день и ночь надъ своею работою и молясь ежеминутно, тогда нечего долго разсуждать, а нужно дать ему средства работать; незачѣмъ также торонить и подталкивать его, — оставьте его въ покоѣ, подтолкнетъ его Богъ безъ васъ; ваше дѣло только смотрѣть за тѣмъ, чтобы онъ не умеръ съ голода. Не давайте ему большого содержанія; давайте ему бѣдное и нищенское, даже и не соблазняйте его соблазнами свѣта. Есть люди, которые должны вѣкъ остаться нищими. Нищенство есть блаженство, котораго еще не раскусилъ свѣтъ. Но кого Богъ удостоилъ отвѣдать его сладость и кто уже возлюбилъ истинно свою нищенскую сумку, тотъ не продастъ ея ни за какія сокровища здѣшняго міра.

1846.

XXIV.

Чѣмъ можетъ быть жена для мужа въ простомъ домашнемъ быту, при нынѣшнемъ порядкѣ вещей въ Россіи.

Долго думалъ я, на кого изъ васъ напасть: на васъ, или на вашего мужа. Наконецъ рѣшаюсь напасть на васъ: женщина скорѣе способна очнуться и двинуться. Положеніе васъ обоихъ, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мнѣ, не только не блаженно, но даже хуже положенія тѣхъ, которые считаютъ

себя въ горѣ и несчастіи. У васъ обоихъ есть много хорошихъ качествъ душевныхъ, сердечныхъ и даже умственныхъ, и нѣтъ только того, безъ чего все это ни къ чему не послужитъ: нѣтъ внутри себя управленія собою. Никто изъ васъ не господинъ себѣ. Въ васъ нѣтъ характера, признавая характеромъ *крѣпость воли*. Вашъ мужъ, чувствуя этотъ недостатокъ въ себѣ, женился нарочно за тѣмъ, чтобы найти въ женѣ себѣ возбужденіе на всякое дѣло и подвигъ. Вы за него вышли замужь за тѣмъ, чтобы онъ былъ вашимъ возбуждителемъ во всякомъ дѣлѣ жизни. Оба другъ отъ друга ждутъ того, чего нѣтъ у обоихъ. Говорю вамъ: положеніе ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, какъ мыло въ водѣ. Всѣ ваши достоинства и добрыя качества исчезнутъ въ беспорядкѣ дѣйствій, который одинъ сдѣлается вашимъ характеромъ, и будете вы оба — олицетворенное безсиліе. Молите Бога о *крѣпости*. У Бога можно все вымолить, даже крѣпость, которую, какъ извѣстно, никакими средствами не можетъ достать безсильный и слабый человѣкъ. Поступите только умно. *Молись и къ берегу грѣбись*, говоритъ пословица. Произнесите въ себѣ и поутру, и въ полдень, и ввечеру, и во всѣ часы дня: „Боже, собери меня всю въ самоѣ меня и укрѣпи!“ и дѣйствуйте въ продолженіе цѣлаго года такъ, какъ я вамъ сейчасъ скажу, не разсуждая покуда, зачѣмъ и къ чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приходъ и расходъ чтобы былъ въ вашихъ рукахъ. Не ведите общей расходной книги, но съ самаго начала года сдѣлайте смѣту всему впередъ, обнимите всѣ нужды ваши, сообразите впередъ, сколько можете и сколько вы должны издержать въ годъ, сообразно вашему достатку, и все приведите въ круглыя суммы. Раздѣлите ваши деньги на семь почти равныхъ кучъ. Въ первой кучѣ будутъ деньги на квартиру, съ отопкою, водою, дровами и всѣмъ, что ни относится до стѣнъ дома и чистоты двора; во второй кучѣ — деньги на столъ и на все сѣбствое, съ жалованьемъ повару и продовольствіемъ всего, что ни живетъ въ вашемъ домѣ; въ третьей кучѣ — экипажъ: карета, кучеръ, лошади, сѣно, овесъ, — словомъ, все, что относится къ этой части, въ четвертой кучѣ —

деньги на гардеробъ, то-есть все, что нужно для васъ обоихъ за тѣмъ, чтобы показаться въ свѣтъ, или сидѣть дома; въ пятой кучѣ будутъ ваши карманныя деньги; въ шестой кучѣ — деньги на чрезвычайныя издержки, какія могутъ встрѣтиться: перемѣна мебели, покупка новаго экипажа и даже вспомоствованіе кому-нибудь изъ вашихъ родственниковъ, еслибы онъ возымѣлъ внезапную надобность; седьмая куча — Богу, то-есть деньги на церковь и на бѣдныхъ. Сдѣлайте такъ, чтобы эти семь кучъ пребывали у васъ несмѣшанными, какъ бы семь отдѣльныхъ министерствъ. Ведите расходъ каждой особо и ни подѣ какими предлогахъ не занимайте изъ одной кучи въ другую. Какія ни представлялись бы вамъ въ это время выгодныя покупки и какъ бы ни соблазняли онѣ васъ своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться послѣ, когда побольше укрѣпитесь; а теперь не позабывайте ни на мигъ, что все это вами дѣлается для покупки твердаго характера, а эта покупка покажѣтъ для васъ нужнѣе всякой другой покупки, и потому будьте въ этомъ случаѣ упрямы, просите Бога объ упрямствѣ. Даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бѣдному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится въ определенной на то кучѣ. Еслибы даже вы были свидѣтельницей картины несчастія, раздирающаго сердце, и видѣли бы сами, что денежная помощь можетъ помочь, не смѣйте и тогда дотрогиваться до другихъ кучъ, но поѣзжайте по всему городу, по всѣмъ вашимъ знакомымъ и старайтесь преклонить ихъ на жалость: просите, молитесь, будьте готовы даже на униженіе себя, чтобы вы помнили вѣчно, какъ вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, какъ вы должны были изъ-за этого подвергнуться униженію и даже осмѣянію публичному, чтобы это не выходило у васъ изъ ума, чтобы вы черезъ это пріучились обрѣзывать себя въ расходахъ по каждой кучѣ и заранѣе помышлять о томъ, чтобы къ концу года оставался отъ каждой остатокъ для бѣдныхъ, а не сходились бы только концы съ концами. Если вы будете держать это въ головѣ своей безпрестанно, то вы никогда не заѣдете безъ надобности сильной въ магазинъ и не купите себѣ неожиданно какое-нибудь украше-

нiе для камина, или стола, на что такъ падки у насъ какъ дамы, такъ и мужчины (послѣднiе еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будутъ невольнo и нечувствительнo сжиматься, и дойдетъ наконецъ до того, что вы почувствуете сами, что вамъ не нужно имѣть больше одной кареты и пары лошадей, больше четырехъ блюдъ за столомъ, что званнй обѣдъ можетъ также насытить людей и на простомъ сервизѣ, съ прибавкою одного лишняго блюда да бутылки вина, разнесеннаго безъ всякихъ тонкостей, въ простыхъ рюмкахъ. Вы даже не только не сторите отъ стыда, если пойдетъ по городу слухъ, что у васъ не *comme il faut*, но еще посмѣетесь тому сами, увѣрившись истинно, что настоящее *comme il faut* есть то, какового требуетъ отъ человѣка Тотъ самый, Который создалъ его, а не тотъ, который приводитъ въ систему обѣды, даже и не тотъ, который сочиняетъ всякой день мѣняющiеся этикетки, даже и не сама мадамъ Сихлеръ. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итогъ всякой кучѣ каждый мѣсяцъ и пересчитывайте въ послѣднiй день мѣсяца все вмѣстѣ, сравнивая всякую вещь одну съ другою, чтобъ умѣть узнавать, во сколько разъ одна нужнѣе другой, чтобы видѣть ясно, отъ какой прежде нужно отказаться, въ случаѣ необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что изъ нужнаго есть самое нужнѣйшее.

Держитесь этого строго въ продолженiи цѣлаго года. Крѣпитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрѣпилъ васъ, и вы окрѣпнете непремѣнно. Важно то, чтобы въ человѣкѣ хотя что-нибудь окрѣпнуло и стало непреложнымъ; отъ этого невольнo установится порядокъ и во всемъ прочемъ. Укрѣпясь въ дѣлѣ вещественнаго порядка, вы укрѣпитесь нечувствительнo въ дѣлѣ душевнаго порядка. Распредѣлите ваше время; положите всему непремѣнные часы. Не оставайтесь поутру съ вашимъ мужемъ; гоните его на должность въ его департаментъ, ежеминутно напоминая ему о томъ, что онъ весь долженъ принадлежать общему дѣлу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство — не его забота: оно должно лежать на васъ, а не на немъ), что онъ женился именно за тѣмъ, чтобы, освободя себя отъ мелкихъ заботъ, всего отдать отчизнѣ, и жена

дана ему не на помѣху службѣ, а въ укрѣпленіе его на службѣ. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своемъ поприщѣ, и черезъ то встрѣтились бы весело передъ обѣдомъ и обрадовались бы такъ другъ другу, какъ бы нѣсколько лѣтъ не видались. Чтобы вамъ было что пересказать другъ другу и не поподчивалъ бы одинъ другого зѣвотомъ. Расскажите ему все, что вы дѣлали въ вашемъ домѣ и домашнемъ хозяйствѣ, и пусть онъ расскажетъ вамъ все, что производилъ въ департаментѣ своемъ для общаго хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и въ чемъ состоитъ его часть, и какія дѣла случилось ему вершить въ тотъ день, и въ чемъ именно они состояли. Не пренебрегайте этимъ и помните, что жена должна быть помощницею мужа. Если только въ теченіе одного года вы будете вѣжательно выслушивать отъ него все, то на другой годъ будете въ силахъ подать ему даже совѣтъ, будете знать, какъ ободрить его при встрѣчѣ съ какою-нибудь неприятностію по службѣ, будете знать, какъ заставить его перенести и вытерпѣть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же съ этого дня исполнять все, что я вамъ теперь сказалъ. Крѣпитесь, молитесь и просите Бога безпрерывно, да поможетъ вамъ собрать всю себя въ себѣ и держать себя. Все у насъ теперь расплылось и разшнуровалось. Дрянъ и тряпка стали всякъ чловѣкъ; обратилъ самъ себя въ полное подножіе всего и въ раба самыхъ пустѣйшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нѣтъ теперь нигдѣ свободы въ ея истинномъ смыслѣ. Эту свободу одинъ мой пріятель, который съ вами лично незнакомъ, но котораго, однакоже, знаетъ вся Россія, опредѣляетъ такъ: „Свобода не въ томъ, чтобы говорить произволу своихъ желаній да, но въ томъ, чтобы умѣть сказать нѣтъ *нѣтъ*.“ Онъ правъ, какъ сама правда. Никто теперь въ Россіи не умѣетъ сказать самому себѣ этого твердаго *нѣтъ*. Нигдѣ я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о томъ напомнить! Стало такъ теперь все чудно, что жена же должна повелѣть мужу, дабы онъ былъ ея глава и повелитель.

XXV.

Сельскій судъ и расправа.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ М.

Никакъ не пренебрегайте расправою и судомъ. Не поручайте этого дѣла управителю и никому въ деревнѣ. Эта часть важнѣе самого хозяйства. Судите сами. Этихъ однимъ вы укрѣпите связь помѣщика съ крестьянами. Судъ — Божье дѣло, и я не знаю, что можетъ быть этого выше. Не даромъ такъ чувствуется въ народѣ тотъ, кто умѣетъ произносить правый судъ. Къ вамъ повалить не только ваша деревня, но и всѣ окружные мужики изъ другихъ селеній, какъ только узнаютъ, что вы умѣете давать расправку. Не пренебрегайте никѣмъ изъ проходящихъ и судите всѣхъ, хотя бы даже и въ незначительной ссорѣ или дракѣ. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдетъ въ добро его душѣ, и чего бы вы никакъ не нашли сказать въ другое время, не найдя, къ чему прицѣпиться.

Судите всякаго человѣка двойнымъ судомъ и всякому дѣлу давайте двойную расправу. Одинъ судъ долженъ быть человѣческій. На немъ оправдайте праваго и осудите виновнаго. Старайтесь, чтобъ это было при свидѣтеляхъ, чтобы тутъ стояли и другіе мужики, чтобы всѣ видѣли ясно, какъ день, чѣмъ одинъ правъ и чѣмъ другой виноватъ. Другой же судъ сдѣлайте Божескій. И на немъ осудите и праваго, и виноватаго. Выведите ясно первому, какъ онъ самъ былъ тому виною, что другой его обидѣлъ, а второму — какъ онъ вдвойнѣ виноватъ и предъ Богомъ, и предъ людьми; одного укорите, зачѣмъ не простилъ своему брату, какъ повелѣлъ Христосъ, а другого попрекните, зачѣмъ онъ обидѣлъ самого Христа въ своемъ братѣ; а обоимъ вмѣстѣ дайте выговоръ за то, что не примирились сами собою и пришли на судъ, и возьмите слово съ обоихъ исповѣдаться непременно попу на исповѣди во всемъ. Если такой судъ вы будете производить, вы будете сами полномочны, какъ Богъ, потому что Богъ васъ уполномочилъ. Вы извлечете оттуда для себя самого много

добра и много прямых и правых познаний. Еслибы многие из государственных людей начинали свое поприще не бумажными занятиями, а умною расправой дѣль между простыми людьми, они бы лучше узнали духъ земли, свойство народа и вообще душу человѣка, и не заимствовали бы потомъ изъ чужеземныхъ земель намъ неприличныхъ нововведеній. Правосудіе у насъ могло бы исполняться лучше, нежели во всѣхъ другихъ государствахъ, потому что изъ всѣхъ народовъ только въ одномъ русскомъ заронилась эта вѣрная мысль, что нѣтъ человѣка праваго и что правъ одинъ только Богъ. Эта мысль, какъ непреложное вѣрованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народѣ. Вооруженный ею, даже простой и неумный человѣкъ получаетъ въ народѣ власть и прекращаетъ ссоры. Мы только, люди высшіе, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарски-европейскихъ понятій о правдѣ. Мы только споримъ изъ-за того, кто правъ, кто виноватъ; а если разобрать каждое изъ дѣль нашихъ, придешь къ тому же знаменателю, то-есть — оба виноваты, и видишь, что весьма здраво поступила комендантша въ повѣсти Пушкина „Капитанская дочка“, которая, пославши поручика разсудить городского солдата съ бабою, подравшихся въ банѣ за деревянную шайку, снабдила его такою инструкціею: „разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи.“

1845.

XXVI.

Страхи и ужасы Россіи.

(письмо къ графинѣ.....ой).

На ваше длинное письмо, которое вы писали съ такимъ страхомъ, которое просили сей же часъ истребить послѣ прочтенія и на которое отвѣчать просили не иначе, какъ черезъ вѣрныя руки, и отнюдь не по почтѣ, я отвѣчаю не только не по секрету, но, какъ вы видите, въ печатной книгѣ, которую можетъ быть прочтеть половина грамотной Россіи. Побудило меня къ

тому то, что можетъ-быть мое письмо послужить въ то же время отвѣтомъ и прочимъ, которые, подобно вамъ, смущаются тѣми же страхами. То, что вы мнѣ объявляете по секрету, есть еще не болѣе какъ одна часть всего дѣла. А вотъ еслибы я вамъ рассказалъ то, что я знаю (а знаю я, безъ всякаго сомнѣнія, далеко еще не все), тогда бы точно помutilись ваши мысли, и вы сами подумали бы, какъ бы убѣжать изъ Россіи. Но куда бѣжать? вотъ вопросъ. Европѣ пришлось еще труднѣе, нежели Россіи. Разница въ томъ, что тамъ никто еще этого вполнѣ не видитъ. Все, не исключая даже государственныхъ людей, пребываетъ покуда на верхушкѣ верхнихъ свѣдѣній, то-есть пребываетъ въ томъ заколдованномъ кругѣ познаній, который нанесенъ журналами въ видѣ скороспѣлыхъ выводовъ, опрометчивыхъ показаній, выставленныхъ сквозь живыя призмы всякихъ партій, вовсе не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такіе крики, именно въ тѣхъ съ виду благоустроенныхъ государствахъ, которыхъ наружнымъ блескомъ мы такъ восхищаемся, стремясь отъ нихъ все перенимать и приспособлять къ себѣ, что закружится голова у самыхъ тѣхъ знаменитыхъ государственныхъ людей, которыми вы такъ любовались въ палатахъ и камерахъ. Въ Европѣ завариваются теперь повсюду такія сумятицы, что не поможетъ никакое человѣческое средство, когда онѣ вскроются, и передъ ними будетъ ничтожная вещь тѣ страхи, которые вамъ видятся теперь въ Россіи. Въ Россіи еще брезжетъ свѣтъ, есть еще пути и дорѣги къ спасенію, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: „всѣ падаютъ духомъ, какъ бы въ ожиданіи чего-то неизбежнаго,“ равно какъ и слова: „каждый думаетъ только о спасеніи личныхъ выгодъ, о сохраненіи собственной пользы, точно какъ на полѣ сраженія *saute qui peut*“ — дѣйствительно справедливы; такъ оно теперь дѣйствительно есть. Такъ быть должно. Такъ повелѣлъ Богъ, чтобы оно было. Всякъ долженъ подумать теперь о себѣ, именно о своемъ собственномъ спасеніи. Но насталъ другой родъ спасенія. Не бѣжать на корабль изъ земли своей, спасая свое презрѣнное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вонъ изъ

государства, долженъ всякъ изъ насъ спасать себя самого въ самомъ сердцѣ государства. На кораблѣ своей должности, службы, долженъ теперь всякъ изъ насъ выноситься изъ омута, глядя на Кормщика Небеснаго. Кто даже и не въ службѣ, тотъ долженъ теперь вступить на службу и ухватиться за свою должность, какъ утопающій хватается за доску, безъ чего не спастись никому. Служить же теперь долженъ изъ насъ всякъ, не такъ, какъ бы служилъ онъ прежней Россіи, но въ другомъ небесномъ государствѣ, главой котораго уже самъ Христосъ, а потому и всѣ свои отношенія — ко власти ли высшей надъ нами, къ людямъ ли равнымъ и кружащимся вокругъ насъ, къ тѣмъ ли, которые насъ ниже и находятся подъ нами, должны мы выполнить такъ, какъ повелѣлъ Христосъ, а не кто другой. И ужъ нечего теперь глядѣть на какіе-нибудь щелчки, которые стали бы наноситься отъ кого бы то ни было нашему самолюбію, — нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому и должна быть выполнена такъ, какъ повелѣлъ Христосъ, а не кто другой. Только однимъ этикъ средствомъ и можно всякъ изъ насъ теперь спастись. И плохо будетъ тому, кто объ этомъ не помыслить теперь же. Помутится умъ его, омрачатся мысли, и не найдетъ онъ угла, куда скрыться отъ своихъ страховъ. Вспомните *Египетскія тьмы*, которыя съ такой силой передалъ царь Соломонъ, когда Господь, желая наказать однихъ, послалъ на нихъ невѣдомые, непонятные страхи. Слѣпая ночь обняла ихъ вдругъ, среди бѣла дня; со всѣхъ сторонъ уставились на нихъ ужасающіе образы; дряхлыя страшилища съ печальными лицами стали неотразимо въ глазахъ ихъ; безъ желѣзныхъ цѣпей сковала ихъ всѣхъ боязнь и лишила всего: всѣ чувства, всѣ побужденія, всѣ силы въ нихъ погибли, кромѣ одного страха. И произошло это только въ тѣхъ, которыхъ наказалъ Господь; другіе въ то же время не видали никакихъ ужасовъ, — для нихъ былъ день и свѣтъ.

Смотрите же, чтобы не случилось съ вами чего-нибудь подобнаго. Лучше молитесь и просите Бога о томъ, чтобы вразумилъ васъ, какъ быть вамъ на вашемъ собственномъ мѣстѣ и на немъ исполнить все сообразно съ закономъ Христа. Дѣло идетъ те-

перь не на шутку. Прежде, чѣмъ приходитъ въ смущенье отъ обружающихъ безпорядковъ, не дурно заглянуть всякому изъ насъ въ свою собственную душу. Загляните также и вы въ свою. Богъ вѣсть, можетъ-быть тамъ увидите такой же безпорядокъ, за который браните другихъ; можетъ-быть тамъ обитаетъ разстроенный, неопрятный гнѣвъ, способный всякую минуту овладѣть вашею душою на радость врагу Христа; можетъ быть тамъ поселилась малодушная способность падать на всякомъ шагу въ уныніе — жалкая дочь безвѣрія въ Бога; можетъ быть тамъ еще таится тщеславное желанье гоняться за тѣмъ, что блеститъ и пользуется извѣстностію свѣтской; можетъ-быть тамъ обитаетъ гордость, лучшими свойствами своей души способная превратить въ ничто все доброе, какое имѣетъ. Богъ вѣсть, что можетъ быть въ душѣ нашей. Лучше въ нѣсколько разъ больше смутиться отъ того, что внутри насъ самихъ, нежели отъ того, что внѣ и вокругъ насъ. Что же касается до страховъ и ужасовъ въ Россіи, то они не безъ пользы: посреди ихъ многіе воспитались такимъ воспитаньемъ, котораго не дадутъ никакія школы. Самая затруднительность обстоятельствъ, предоставивши новыя извороты уму, разбудила дремавшія способности многихъ, и въ то время, когда на однихъ концахъ Россіи еще доплясываютъ польку и доигрываютъ преферансъ, уже незримо образуются на разныхъ поприщахъ истинные мудрецы жизненнаго дѣла. Еще пройдетъ десятокъ лѣтъ, и вы увидите, что Европа пріѣдетъ къ намъ не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продадутъ больше на европейскихъ рынкахъ. Я бы вамъ назвалъ многихъ такихъ, которые составятъ когда-нибудь красоту земли Русской и принесутъ ей вѣковѣчное добро! но къ чести вашего пола я долженъ сказать, что женщинъ еще больше. Цѣлое жемчужное ожерелье ихъ хранить моя память. Всѣ онѣ, начиная съ вашихъ дочерей, которыя такъ живо напомнили мнѣ, во сколько разъ родство по душѣ выше всякого кровнаго родства (дай Богъ, чтобы наилучшая сестра съ такой готовностію исполняла просьбу своего брата, съ какою онѣ исполняли малѣйшее желаніе души моей), — начиная съ нихъ и продолжая тѣми, о которыхъ вы, можетъ-быть, и не

услышите никогда, но которыя совершеннѣе всѣхъ тѣхъ, о комъ вы слышали. Всѣ онѣ не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себѣ явленіе необыкновенное. Только одна Россія могла произвести подобное разнообразіе характеровъ, и только въ нынѣшнее время трудныхъ обстоятельствъ, разслабленья и развращенья общаго, повсемѣстной ничтожности общества, могли онѣ образоваться. Но всѣхъ превысила одна, которую я и въ глаза не знаю, и о которой до меня достигнулъ только одинъ темный разсказъ. Не думалъ я, чтобы могло существовать на землѣ подобное совершенство. Произвести такое умное и великодушное дѣло, и произвести его такъ, какъ умѣла сдѣлать она, сдѣлать такъ чтобы склонить отъ себя и подозрѣнья въ ея собственномъ участіи, и разложить весь подвигъ на другихъ такимъ образомъ, что эти другіе стали хвастаться ею сдѣланнымъ дѣломъ, какъ бы собственнымъ своимъ, въ полной увѣренности, что они его сдѣлали! Такъ умно обдумать уже впередъ, какъ убѣжать отъ извѣстности, тогда какъ само дѣло уже необходимо должно бы кричать о себѣ и обнаружить ее; успѣть въ этомъ — и остаться въ неизвѣстности! Нѣтъ, подобной мудрости еще не встрѣчалъ я ни въ комъ изъ нашей братьи мужскаго пола. И передо мною показались въ ту минуту блѣдными всѣ женскіе идеалы, создаваемые поэтами: они то же передъ этой истинной, что бредъ воображенья передъ полнымъ разумомъ. Жалки мнѣ также показались всѣ тѣ женщины, которыя гонятся за блистающей извѣстностью. И гдѣ же явилось такое чудо? — Въ незамѣтномъ захолустьи Россіи, въ то время именно, когда стало труднѣе изворачиваться человѣку, когда запутались обстоятельства всѣхъ и наступили пугающіе васъ страхи и ужасы Россіи.

1846.

 XXVII.

Близорукому пріятелю.

Вооружился взглядомъ современной близорукости и думаешь, что вѣрно судишь о событіяхъ! Выводы твои — гниль: они сдѣ-

ланы безъ Бога. Чтѣ ссылаешься ты на исторію? Исторія для тебя мертва, — только закрытая книга. Безъ Бога не выведешь изъ нея великихъ выводовъ; выведешь одни только ничтожныя и мелкіе. Россія — не Франція: элементы французскіе — не русскіе. Ты позабылъ даже своеобразность каждаго народа и думаешь, что одни и тѣ же событія могутъ дѣйствовать одинакимъ образомъ на каждый народъ. Тотъ же самый молотъ, когда упадаетъ на стекло, раздробляетъ его въ дребезги, а когда упадаетъ на желѣзо, куетъ его. Мысли твои о финансахъ основаны на чтеніи иностранныхъ книгъ да на англійскихъ журналахъ, а потому суть мертвыя мысли. Стыдно тебѣ, будучи умнымъ человѣкомъ, не войти до сихъ поръ въ собственный умъ свой, который могъ бы самобытно развиться, а захламосить его чужеземнымъ навозомъ. Не вижу и въ проектахъ твоихъ участія Божьяго; не слышу въ словахъ письма твоего, несмотря на весь блескъ ума и остроумія, чтобы Богъ присутствовалъ въ твоихъ мысляхъ въ то время, когда ты писалъ его; не вижу я на твоей мысли освѣщенія небснаго. Нѣтъ, не сдѣлаешь ты добра на своей должности, хотя и желаешь того; не принесутъ твои дѣла того плода, котораго ждешь. Съ прекрасными намѣреніями можно сдѣлать зло, какъ уже многіе и сдѣлали его. Въ послѣднее время не столько безпорядковъ произвели глупые люди, сколько умные, а все отъ того, что понадѣялись на свои силы да на умъ свой. Ты гордъ, и чѣмъ же гордъ? хоть бы уже своимъ умомъ; нѣтъ, ты загромодилъ сдромъ свой умъ, дѣйствительно замѣчательный и великій, и сдѣлалъ его чужестранцемъ самому себѣ. Ты гордъ чужимъ, мертвымъ умомъ и выдаешь его за свой. Смотри за собою: ты ходишь опасно. Ты мѣтишь въ государственные люди, и будешь человѣкомъ государственнымъ, потому что у тебя точно есть способности; но тѣмъ строже теперь смотри за собою. Не заводи этихъ улучшеній, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чѣмъ ты вступилъ въ свою должность, и помни, что всякимъ малѣйшимъ неосмотрительнымъ поступкомъ можно проивести теперь большое зло. Уже и въ твоихъ нынѣшнихъ проектахъ видна скорѣе боязнь, нежели предусмотрительность. Всѣ мысли твои направлены къ тому, чтобы избѣгнуть чего-то угро-

жающаго въ будущемъ. Не будущаго, но настоящаго опасайся. О настоящемъ велить намъ заботиться Богъ. Кто омрачается боязнію отъ будущаго, отъ того, значитъ, уже отступилась святая сила. Кто съ Богомъ, тотъ глядитъ свѣтло впередъ и есть уже въ настоящемъ творецъ блистающаго будущаго. А ты гордъ: ты и теперъ уже ничего не хочешь видѣть; ты самоувѣренъ: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что всѣ обстоятельства Россіи тебѣ открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не можетъ; ты стремишься изъ всѣхъ силъ быть похожимъ на тѣхъ государственныхъ людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли; которые имѣли въ себѣ все для того, чтобы сдѣлать множество добра, которые даже пламенѣли желаніемъ сдѣлать добро, даже работали, какъ муравьи, всю свою жизнь, и при всемъ томъ не осталось послѣ нихъ никакого слѣда, и самая память о нихъ позабыта: какъ исчезнувшій кругъ на водѣ, исчезнула жизнь ихъ посреди Россіи. И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указываютъ намъ европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умѣе бывають у насъ иногда и не великіе люди; но тѣ хоть какое-нибудь оставили послѣ себя дѣло *прочное*, а мы производимъ кучи дѣлъ, и всѣ какъ пыль сметаются они съ земли вмѣстѣ съ нами. Ты гордъ, говорю тебѣ и вновь повторяю тебѣ: ты гордъ; сторожи надъ собою и спасай себя отъ гордости заранѣе. Начни съ того, что увѣрь самого себя, что ты всѣхъ глупѣе и что и съ этихъ только поръ слѣдуетъ серьезно поумнѣть тебѣ, и слушай съ такимъ вниманіемъ всякого дѣльца, какъ бы ровно ничего не зналъ и всему отъ него хотѣлъ поучиться. Но тебѣ еще загадка слова мои; они на тебя не по-дѣйствуютъ. Тебѣ нужно или какоз-нибудь несчастіе, или потрясеніе. Моли Бога о томъ, чтобы случилось это потрясеніе, чтобы встрѣтилась тебѣ какая-нибудь невыносимѣйшая неприятность на службѣ, чтобы нашелся такой человѣкъ, который сильно оскорбилъ бы тебя и опозорилъ такъ въ виду всѣхъ, что отъ стыда не зналъ бы ты куда сокрыться, и разорвалъ бы однимъ разомъ всѣ чувствительнѣйшія струны твоего самолюбія. Онъ будетъ твой истинный братъ и избавитель. О, какъ намъ бываетъ нужна публичная, данная въ виду всѣхъ, оплеуха!

XXVIII.

Занимающему важное мѣсто.

Во имя Бога берите великую должность, какая-бъ ни была вамъ предложена, и не смущайтесь ничѣмъ. Придется ли вамъ ѣхать къ Черкесамъ на Кавказъ, или по-прежнему занять мѣсто генераль-губернатора — вы теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которыхъ вы говорите, то все теперь затруднительно: все стало сложно; вездѣ много работы. Чѣмъ больше вхожу умомъ въ существо нынѣшнихъ вещей, тѣмъ менѣе могу рѣшить, какая должность теперь труднѣе и какая легче. Для того, кто не христіанинъ, все стало теперь трудно; для того же, кто внесъ Христа во всѣ дѣла и во всѣ дѣйствія своей жизни, — все легко. Не скажу вамъ, чтобы вы сдѣлались вполнѣ христіаниномъ, но вы близки къ тому. Васъ не шевелитъ уже честолюбіе, васъ не увлекаютъ впередъ уже ни чины, ни награды; вы уже вовсе не думаете о томъ, чтобы порисоваться передъ Европой и сдѣлать изъ себя историческое лицо. Словомъ, вы вошли именно на ту степень состоянья душевнаго, на которой нужно быть тому, кто захотѣлъ бы сдѣлать теперь пользу Россіи. Чего-жъ вамъ бояться? Я даже не понимаю, какъ можетъ чего-либо бояться тотъ, кто уже достигнулъ, что нужно дѣйствовать повсюду какъ христіанинъ. Онъ на всякомъ мѣстѣ мудрецъ, вездѣ знатель дѣла. Поѣдете вы на Кавказъ — вы прежде всего пристально осмѣтритесь. Христіанское смиреніе васъ не допустить ни къ какой быстрой поспѣшности. Вы какъ ученикъ сначала будете узнавать. Вы не пропустите ни одного стараго офицера, не разспросивъ о его собственно личныхъ схваткахъ съ непріателемъ, зная, что только изъ знанья подробностей выводится знанье цѣлаго. Вы заставите всѣхъ рассказать себѣ порознь всѣ подвиги бранной и бивачной жизни; разспросите и циціановцевъ, и ермоловцевъ, и офицеровъ нынѣшней эпохи, и когда заберете все, что нужно, обнимете всѣ частности, соедините всѣ отдѣльныя цифры и подведете имъ итогъ, — выйдетъ въ итогѣ самъ собою планъ полководцу: не нужно будетъ и головы ломать, — ясно

будеть все, какъ день, что вамъ нужно дѣлать. И когда весь планъ будетъ уже въ головѣ вашей, вы и тогда не будете торопиться; христіанское смиреніе васъ къ тому не допуститъ. Не объявляя его никому, вы разспросите всякаго замѣчательнаго офицера, какъ бы онъ поступилъ на вашемъ мѣстѣ; вы не оставите неслышаннымъ ни одного мнѣнія, ни даже совѣта отъ кого бы то ни было, хотя бы отъ стоящаго на низкомъ мѣстѣ, зная, что иногда Богъ можетъ внушить и простому человѣку умное мнѣніе. Для этого вы не станете собирать военныхъ совѣтовъ, зная, что не въ преняхъ и спорахъ дѣло, но по одиночкѣ выслушаете каждаго, кто бы ни захотѣлъ съ вами говорить. Словомъ, вы всѣхъ выслушаете, но сдѣлаете такъ, какъ повелитъ вамъ ваша собственная голова; а ваша собственная голова повелитъ вамъ разумно, потому что всѣхъ выслушаетъ. Вы будете даже не въ состояніи сдѣлать неразумное дѣло, потому что неразумныя дѣла дѣлаются отъ гордости и увѣренности въ себя. Но христіанское смиреніе спасетъ васъ повсюду и отгонитъ то самоослѣпленіе, которое находятъ на многихъ даже очень умныхъ людей, которые, узнавши только одну половину дѣла, уже думаютъ, что узнали все, и летятъ опрометью дѣйствовать; тогда какъ, увы, даже и въ томъ дѣлѣ, которое, повидимому, насквозь намъ извѣстно, можетъ скрываться цѣлая половина неизвѣстная. Нѣтъ, Богъ отъ васъ отгонитъ это грубое ослѣпленіе. Чего-жъ вамъ бояться Кавказа?

Придется ли вамъ по-прежнему быть генералъ-губернаторомъ гдѣ-нибудь внутри Россіи, — та же христіанская мудрость осѣнитъ васъ. Очень знаю, теперь трудно начальствовать внутри Россіи, гораздо труднѣе, чѣмъ когда-либо прежде, и можетъ быть труднѣе, чѣмъ на Кавказѣ. Много злоупотребленій: завелись такія лихоимства, которыя истребить нѣтъ никакихъ средствъ человѣческихъ. Знаю и то, что образовался другой незаконный ходъ дѣйствій мимо законовъ государства и уже обратился почти въ законный, такъ что законы остаются только для вида; и если только выикнешь пристально въ то самое, на что другіе глядятъ поверхностно, не подозрѣвая ничего, то закружится голова у наумнѣйшаго человѣка. Но вы и тутъ по-

ступите умно. Христіанское смиреніе заставитъ васъ и здѣсь не предаваться покуда выводамъ гордаго ума, но терпѣливо обсмотрѣться. Зная, подѣ какимъ множествомъ вліяній постороннихъ находится теперь всякъ человѣкъ, и какъ всѣ они имѣютъ соприкосновеніе съ отправленіемъ его должности, вы прежде полюбощтствуете узнать каждаго изъ занимающихъ главныя должности, узнать его со всѣхъ сторонъ — съ его домашней и семейной жизнью, съ его образомъ мыслей, наклонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпионовъ. Нѣтъ, вы разспросите его самого. Онъ вамъ скажетъ все и съ вами разговорится, потому что въ лицѣ вашемъ есть уже что-то такое, что внушаетъ къ вамъ довѣрчивость во всѣхъ; съ помощью этого вы узнаете то, чего не узнаетъ никогда крикунъ-нахрапъ или такъ-называемый распекагель. Вы не будете преслѣдовать за несправедливость никого отдѣльно по тѣхъ поръ, покуда не выступитъ передъ вами ясно вся цѣпь, необходимымъ звѣномъ которой есть вами замѣченный чиновникъ. Вы уже знаете, что вина такъ теперь разложилась на всѣхъ, что никакимъ образомъ нельзя сказать вначалѣ, кто виноватъ болѣе другихъ. Есть безвинно виноватые и виновно-невинные. По этому-то самому вы теперь будете несравненно осторожнѣй и осмотрительнѣй, чѣмъ когда-либо прежде. Вы станете покрѣпче всматриваться въ душу человѣка, зная, что въ ней ключъ всего. Душу и душу надо знать теперь, а безъ того не сдѣлать ничего. А узнавать душу можетъ одинъ только тотъ, кто началъ уже работать надъ собственной душой своей, какъ начали это дѣлать теперь вы. Если вы узнаете плута не только какъ плута, но и какъ человѣка вмѣстѣ, если вы узнаете всѣ душевныя его силы, данныя ему на добро и которыя онъ поворотилъ во зло или вовсе не употребилъ, тогда вы съумѣете такъ попрекнуть его имъ же самимъ, что онъ не найдетъ себѣ мѣста, куда ему укрыться отъ самого же себя. Дѣло вдругъ приметъ другой оборотъ, если покажешь человѣку, чѣмъ онъ виноватъ передъ самимъ собой, а не предъ другимъ. Тутъ потрясешь такъ его всего, что въ немъ явится вдругъ отвага быть другимъ, и тогда только вы почувствуете, какъ благородна наша русская порода даже и въ плутѣ. Ваше

нынѣшнее генераль-губернаторство будетъ совсѣмъ другое, нежели прежнее. Главная ошибка вашего прежняго управленія, которое однакожь принесло большую пользу, несмотря на то, что вы его осуждаете и порочите, состояла, по моему мнѣнію, въ томъ, что вы не исполнили вѣрно опредѣлили себѣ существо этой должности. Вы приняли генераль-губернатора за постоянного начальника и хозяйственнаго правителя губерніи, котораго благодѣтельное вліяніе можетъ быть ощутительно въ губерніи только отъ долговременнаго его пребыванія на одномъ мѣстѣ. Одинъ государственный нашъ мужъ опредѣлилъ такъ эту должность: „генераль-губернаторъ есть министръ внутреннихъ дѣлъ, оставившійся на дорогѣ.“ Опредѣленіе это точнѣй и болѣе согласно съ тѣмъ, чего требуетъ само правительство отъ этой должности. Должность эта болѣе временная, чѣмъ постоянная. Генераль-губернаторъ посылается за тѣмъ, чтобъ ускорить бѣніе государственнаго пульса внутри губерніи, привести въ быстрѣйшее движеніе все правительственное производство въ губернскихъ мѣстахъ, какъ связанныхъ между собою, такъ и независимыхъ, состоящихъ подъ управленіемъ отдѣльныхъ министерствъ, дать толчокъ всему, своимъ полномочіемъ облегчить затруднительность многихъ мѣстъ въ ихъ сношеніяхъ съ отдаленными министерствами, не внося никакихъ новыхъ элементовъ и ничего не заводя отъ себя, все заставить обращаться быстрѣй въ законахъ и границахъ, уже указанныхъ и опредѣленныхъ. Власть эту, состоящую въ верховномъ блюденіи надъ тѣмъ, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который самъ долженъ изворачиваться въ хозяйствѣ и принять на себя всѣ мелочные расходы; вы захватили себѣ часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генераль-губернатору, и этимъ самымъ уменьшили значеніе высшее вашей должности. Вы сочли ваше мѣсто пожизненнымъ; вы захотѣли вашии собственными учрежденіями оставить по себѣ память вашего пребыванія. Стремленіе прекрасное; но еслибы вы уже тогда были тѣмъ, чѣмъ вы есть теперь, то-есть болѣе христіаниномъ, — вы позаботились бы о другомъ памятникѣ. Устроить дороги, мосты и всякія сообщенія, и устроить ихъ такъ умно, какъ устроили

ихъ вы, есть дѣло истинно-нужное; но уладить многія внутреннія дороги, которыя до сихъ поръ задерживаютъ русскаго челоука въ стремленіи къ полному развитію силъ его и которыя мѣшаютъ ему пользоваться какъ дорогами, такъ и всякими другими виѣшностями образованія, о которыхъ мы такъ усердно хлопочемъ, есть дѣло еще нужнѣйшее. Пушкинъ, когда видѣлъ заботу не о главномъ, но о томъ, что уже исходитъ изъ главнаго, обыкновенно выражался пословицей: „было бы корыто, а свиньи будутъ.“ Мосты, дороги и всѣ эти сообщенія суть свиньи, а не что-либо другое. Были бы города, а они сами собою прибѣгутъ. Въ Европѣ о нихъ не много хлопотали, но какъ только явились города, сами собою явились дороги, — сами же частные люди и завели ихъ безъ всякаго пособія правительства, и теперь развелось ихъ такое множество, что стали уже серьезно задавать другъ другу вопросы: „зачѣмъ эта скорость сообщеній? Что выиграло челоучество черезъ эти желѣзныя и всякія дороги, что приобрѣло оно во всѣхъ родахъ своего развитія, и что пользы въ томъ, что одинъ городъ теперь обѣдѣлъ, а другой сдѣлался толкучимъ рынокомъ, да увеличилось число праздношатающихся по всему міру?“ Въ Россіи давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, съ такими удобствами, какихъ и въ Европѣ нѣтъ, еслибы только многіе изъ насъ позаботились прежде о дѣлѣ внутреннемъ такъ, какъ слѣдуетъ. О семъ помыслите прежде, сказалъ Спаситель, а сія вся вамъ приложится. Ваши подвиги въ отношеніи нравственному были гораздо значительнѣй. Кого я ни слышалъ, всѣ отзываются съ уваженіемъ о вашихъ распоряженіяхъ; всѣ говорятъ, что вы искоренили многія неправды, что постановили многихъ истинноблагородныхъ и прекрасныхъ чиновниковъ. Я это узналъ, хотя вы по скромности мнѣ не сказали. Но вы бы сдѣлали еще болѣе, еслибы вспомнили тогда, что ваша должность на время, и что не о томъ слѣдовало заботиться, чтобы только при васъ все было хорошо, но именно о томъ, чтобы послѣ васъ все было хорошо. Вы должны были безпрестанно представлять себѣ, что послѣ васъ приметъ эту должность слабый и бездарный послѣдователь, который не только не поддержитъ вами введеннаго порядка, но еще испортитъ его, а потому уже съ самаго

начала вы должны были поминать о томъ, чтобы дѣйствовать такъ прочно и закалить сдѣланное такъ крѣпко, чтобы послѣ васъ никто уже не могъ своротить того, что разъ направлено. Вы должны были рубить зло въ корнѣ, а не въ вѣтвяхъ, и дать такой толчокъ всеобщему движенію всего, чтобы послѣ васъ пошла сама собой работать машина такъ, чтобы не зачѣмъ было надъ ней стоять и надсмотрщику, и симъ только воздвигнули бы памятникъ вѣчный вашего генераль-губернаторства. Теперь я знаю, что вы совсѣмъ поступите иначе, а потому не пренебрегайте никакъ этой должности, еслибъ она была вамъ вновь предложена. Никогда не былъ еще такъ важенъ и нуженъ генераль-губернаторъ, какъ въ нынѣшнее время. Я вамъ назову уже нѣсколько подвиговъ такихъ, которыхъ никто теперь не можетъ сдѣлать кромѣ генераль-губернатора.

Во-первыхъ, ввести всякую должность въ ея законныя границы и всякого чиновника губерніи въ полное познаніе его должности. Это дѣло очень не бездѣльное. Въ послѣднее время всѣ почти губернскія должности нечувствительнымъ образомъ выступили изъ предѣловъ и границъ, указанныхъ закономъ. Однѣ слишкомъ стали обрѣзаны и стѣснены, другія раздвинулись въ дѣйствіяхъ въ ущербъ прочимъ; прямыя мѣста обезсилѣли и ослабѣли отъ введенія множества косвенныхъ и временныхъ. Въ послѣднее время стали особенно чувствоваться полномочіе и развязанныя руки тамъ, гдѣ нужно препятствовать въ дѣйствіяхъ, и связанныя руки тамъ, гдѣ нужно споспѣшествовать имъ. Возвратить всякую должность въ ея законный кругъ тѣмъ болѣе стало теперь трудно, что сами чиновники сбились въ своихъ понятіяхъ о ней. Получая ее по наслѣдству отъ предшественника въ томъ видѣ, какой ей далъ послѣдній, они всѣ соображаются болѣе или менѣе съ этимъ видомъ, а не съ первообразомъ ея, который уже почти вышелъ у всѣхъ изъ головы. Отъ этого многіе благонамѣренныя и даже весьма умныя начальники хотѣли уже уничтожить или вовсе преобразовать тѣ должности, которыя слѣдовало только возвратить себѣ. Дѣло это можетъ произвести только высшій и полномочный начальникъ, если онъ не пренебрежетъ вникнуть самъ въ существо всякой должности. Всѣ

наши должности въ ихъ первообразѣ прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Раземотримъ нарочно организмъ губерніи. Первое лицо — губернаторъ; онъ является въ нѣсколькихъ видахъ своей власти.

Онъ — начальникъ и правитель полномочный во всемъ, что ни относится до хозяйственнаго и полицейскаго управленія по всей губерніи, какъ городского, разумѣя здѣсь все, что ни относится ко внутреннему устройству городовъ и содержанію среди ихъ порядка, такъ и земскаго, включая сюда все, что производится въ земляхъ внѣ городовъ: взѣмъ податей, распредѣленіе повинностей, устройство дорогъ, постройки и поправки всѣхъ родовъ. Въ первомъ случаѣ въ его полномъ и непосредственномъ распоряженіи губернской полицмейстеръ и городничіе всѣхъ городовъ; во второмъ случаѣ — капитанъ-исправники и земскіе засѣдатели, которые относятся къ нему посредствомъ губернскаго правленія, образованнаго въ духъ коллегіальныхъ правленій съ совѣтниками, а не въ видѣ собственной канцеляріи съ секретаремъ, такъ что отвѣтственность во всякомъ важномъ злоупотребленіи, если бы его сдѣлалъ губернаторъ, падаетъ цѣпременно на совѣтниковъ и чиновниковъ, и при всемъ полномочіи своемъ онъ уже ограниченъ.

Онъ болѣе нежели присутственный членъ и свидѣтель дѣловыхъ производствъ въ другихъ присутственныхъ мѣстахъ, отъ него вовсе не зависящихъ и состоящихъ подъ управленіемъ своихъ особыхъ министерствъ; если только эти мѣста совершаютъ какія-нибудь сдѣлки и условія относительно ли отдачи въ наймы или на откупа казенныхъ земель, озеръ, или вообще относительно продажъ, закупокъ и совершенія на нихъ условій, — онъ долженъ быть уже тамъ. Никакіе казенные подряды и сдѣлки не могутъ быть произведены безъ его личнаго присутствія. Такимъ образомъ мѣста, вовсе отъ него не зависяція, относительно внутреннихъ своихъ производствъ уже обрѣзаны его присутствіемъ на всѣхъ путяхъ къ злоупотребленіямъ.

Весь снарядъ юстиціи, какъ-то: всѣ суды уѣздные, такъ и высшая ихъ инстанція, гражданская палата, находясь въ полномъ завѣдываніи своего министерста, кажутся въ независимости

отъ губернатора, но на всѣхъ путяхъ несправедливостей они ограничены на всякомъ шагѣ губернаторомъ, который во время объѣздовъ своихъ по всей губерніи, случающихся не менѣе двухъ разъ въ годъ, имѣетъ право, взглянувши въ судъ, потребовать на выдержку два-три рѣшенные дѣла, провѣрить ихъ у себя на дому, вмѣстѣ съ секретаремъ своимъ, и такимъ образомъ держать въ страхѣ ихъ всѣхъ. Словомъ, не имѣя никакого начальства надъ мѣстами, зависящими отъ другихъ начальниковъ, онъ имѣетъ право остановить злоупотребленіе повсюду, гдѣ-бъ оно ни было.

На дворянъ онъ можетъ имѣть только вліяніе нравственное. Въ образѣ же должностныхъ его соприкосновеній съ дворянствомъ устроено такъ, чтобъ имѣлъ съ ними дѣло въ лицѣ ихъ же представителя, губернскаго предводителя, и такимъ образомъ посредствомъ его одного поладить съ ними со всѣми; здѣсь видна особенно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься съ ними со всѣми и ладить, принимая въ соображеніе то различіе воспитаній, нравовъ, образовъ мыслей и то безчисленное разнообразіе характеровъ, какого не представляетъ ни одно изъ европейскихъ дворянствъ и которое заключилось только въ нашемъ. Званіе предводителя дворянства, будучи почти равное чиномъ званію губернатора, имѣя право на первое мѣсто послѣ него въ губерніи, уже самъ самымъ указываетъ имъ на необходимость быть друзьями, иначе имъ обоимъ было бы неловко въ отношеніяхъ свѣтскихъ и непросторно на поприщѣ должностномъ. Самыя мѣста капитанъ-исправника и засѣдателей, которые, будучи избираемы дворянствомъ, находятся потомъ въ полной зависимости отъ губернатора, указываютъ на необходимость взаимнаго подкрѣпленія одного въ другомъ. Грозя именовъ губернатора, предводитель можетъ много сдѣлать тамъ, гдѣ не хватитъ собственной власти; равно какъ и губернаторъ посредствомъ предводителя можетъ успѣшнѣе и сильнѣе дѣйствовать на дворянъ.

Всюду могутъ случиться просмотры, неправда можетъ проскользнуть вездѣ; за самимъ губернаторомъ могутъ завестись грѣхи. И это предсудотрѣно: есть отдѣльное лицо, отъ всѣхъ независимое, долженствующее держать себя отъ всѣхъ въ сторонѣ,

даже отъ самого губернатора, — это прокуроръ, который есть око закона, безъ котораго ни одна бумага не можетъ выйти изъ губерніи. Ни одно производство дѣлъ по всѣмъ губернскимъ мѣстамъ не можетъ его миновать. Оно не рѣшено, если онъ не помѣтилъ на всѣхъ его страницахъ свое слово: „читалъ“. Никому не подлежитъ онъ самъ во всей губерніи; никому не даетъ отчета кромя министра юстиціи, съ которымъ однимъ только въ прямомъ сношеніи, и всегда можетъ подать протестъ на все, что ни свершится въ губерніи.

Словомъ, все полно и вездѣ слышна законодательная мудрость, какъ въ установленіи самыхъ властей, такъ и въ соприкосновеніяхъ ихъ между собою. Я уже и не говорю о тѣхъ учрежденіяхъ, гдѣ еще далѣе простерлось правительственное предвидѣніе; упомяну только о совѣстномъ судѣ, подобнаго которому не знаю въ другихъ государствахъ. По моему мнѣнію, это верхъ человѣколюбія, мудрости и познанія душевнаго. Всѣ тѣ случаи, гдѣ тяжело и жестоко прикосновеніе закона; всѣ дѣла, относящіяся до малолѣтнихъ, умалишенныхъ; все, что можетъ рѣшить одна только совѣсть человѣка, и гдѣ можетъ быть несправедливъ справедливѣйшій законъ; все, что должно быть кончено любовно и миролюбно въ высокомъ христіанскомъ смыслѣ, безъ проволочекъ по высшимъ инстанціямъ — есть уже его предметъ. И какъ умно, что выборъ совѣстнаго судьи зависитъ отъ дворянства, которое избираетъ обыкновенно на это мѣсто того, на кого падаетъ всеобщій голосъ, какъ на человѣколюбиваго и безкорыстнѣйшаго человѣка. Какъ хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалованья, никакихъ наградъ, и что нѣтъ здѣсь никакой мірской приманки человѣку. Одно время мнѣ очень желалось занять это мѣсто. Какъ много можно рѣшить на немъ запутаннѣйшихъ спорныхъ дѣлъ. Сами тяжущіеся, мимо собственныхъ выгодъ своихъ, перенесутъ дѣло въ совѣстный судъ, какъ только пронесется слухъ, что судья судить истинно, по совѣсти, и уже прославился мудростію своего божескаго суда. Кому изъ насъ не хочется примириться?

Однимъ словомъ, тѣмъ больше всматриваешься въ организмъ управленія губерній, тѣмъ болѣе изумляешься мудрости учреди-

телей: слышно, что самъ Богъ строилъ незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно такъ, чтобы споспѣшествовать въ добрыхъ дѣйствіяхъ, подавая руку другъ другу, и останавливать только на пути къ злоупотребленіямъ. Я даже и придумать не могу, для чего тутъ нуженъ какой-нибудь прибавочный чиновникъ: всякое новое лицо тутъ не у мѣста, всякое нововведеніе — ненужная вставка; а между тѣмъ нанлись же такіе правители губерній, какъ вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому множество разныхъ чиновниковъ по особымъ порученіямъ, множество всякихъ временныхъ и слѣдственныхъ комитетовъ, разложили и раздробили дѣйствія всякой должности и сбили чиновниковъ такъ, что они потеряли и послѣднія понятія о предѣлахъ точныхъ своего поприща. Хорошо, что вы этого не сдѣлали, потому что вы и тогда понимали это дѣло лучше другихъ. Вы очень хорошо знаете, что приставить новаго чиновника для того, чтобы ограничить прежняго въ его воровствѣ, значитъ сдѣлать двухъ воровъ на-мѣсто одного. Да и вообще система ограниченія — самая мелочная система. Человѣка нельзя ограничить человѣкомъ; на слѣдующій годъ окажется надобность ограничить и того, который приставленъ для ограниченія, и тогда ограниченія не будетъ конца. Эта пустая и тяжелая система, подобно всѣмъ другимъ системамъ отрицательнымъ, могла образоваться только въ государствахъ колониальныхъ, которыя составились изъ народа всякого сброда, не имѣющаго національной цѣлизны и духа народнаго, гдѣ неизвѣстны ни самоотверженіе, ни благородство, а только однѣ корыстныя личныя выгоды. Нужно оказать довѣріе къ благородству человѣка, а безъ того не будетъ вовсе благородства. Кто знаетъ, что на него глядятъ подозрительно, какъ на мошенника, и приставляютъ къ нему со всѣхъ сторонъ надсмотрщиковъ, у того неволью отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать ихъ; нужно напирать на то, чтобы каждый держалъ самъ себя въ рукахъ, а не на то, чтобы его держали другіе: чтобы онъ былъ строже къ себѣ въ нѣсколько разъ самаго закона, чтобы онъ видѣлъ самъ, чѣмъ онъ подлецъ передъ своею должностію; словомъ, чтобы онъ былъ введенъ въ значеніе высшее

своей должности. А это может сдѣлать только одинъ генералъ-губернаторъ, если онъ не пренебрежетъ постигнуть самъ всякую должность въ ея истинномъ существѣ и мысленно прослужить самъ на мѣстѣ того чиновника, котораго бы захотѣлъ онъ ввести въ полное значеніе по должности. Вслѣдствіе этого всѣ ваши сношенія съ чиновниками будутъ самоличны, безъ всякихъ секретарей и мертвой бумажной переписки, а отъ этого и ваша собственная канцелярія сдѣлается маленькой и вовсе не будетъ походить на тѣ чудовищныя, огромныя канцеляріи, какія заводятъ другіе начальники. Эти же громадныя канцеляріи, какъ вы уже сами знаете, наносятъ много вреда тѣмъ, что отберутъ у всѣхъ чиновниковъ ихъ дѣла, образуютъ собою вдругъ новую инстанцію и, стало-быть, новыя затрудненія, дадутъ нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого незримо, въ видѣ простаго секретаря, но черезъ руки котораго станутъ проходить всѣ дѣла; у секретаря явится какая-нибудь любовница, изъ-за нея — интриги, ссоры, а съ ними вмѣстѣ и самъ чортъ путаницы, который какъ тутъ во всякое время; и дѣло кончится тѣмъ, что, сверхъ понесенія новыхъ беспорядковъ и сложностей, пожрется несмѣтное количество казенныхъ суммъ. Храни васъ Богъ отъ заведенія канцеляріи. Иначе и не объясняйтесь ни съ кѣмъ, какъ лично. Какъ можно пренебречь разговоромъ съ человѣкомъ, особенно если разговоръ близокъ къ нему самому, къ исполненію его обязанностей и долга, стало-быть близокъ къ самой душѣ его! Какъ можно промѣнять такой разговоръ на пустыя газетныя толки и мертвыя рѣчи о всякомъ враньѣ, набираемомъ изъ лживыхъ европейскихъ журналовъ! О долгѣ человѣка можно такъ разговаривать, что обонимъ покажется, какъ бы они бесѣдуютъ съ ангелами въ присутствіи самого Бога. Говорите же такъ съ вашими подчиненными, то-есть наставительно и питательно его душѣ. Не забудьте, что на русскомъ языкѣ, — я разумѣю не тотъ языкъ, который изворачивается теперь въ житейскомъ обиходѣ, и не книжный языкъ, и не языкъ, образовавшійся во время всякихъ злоупотребленій нашихъ, но тотъ истинно-русскій языкъ, который незримо носится по всей Русской землѣ, несмотря на чужеземство-

ваніе наше въ землѣ своей, который еще не прикасается къ дѣлу жизни нашей, но однакоже всѣ слышутъ, что онъ истинно-русскій языкъ, — на этомъ языкѣ начальникъ называется отцомъ. Будьте же съ ними какъ отецъ съ дѣтьми, а отецъ съ дѣтями не заводитъ бумажныхъ переписокъ и напрямикъ изъясняется каждому изъ нихъ. Такъ поступая, введете каждого въ познание его должности и сдѣлаете истинно-великій подвигъ.

А вотъ вамъ другой подвигъ, котораго никто не можетъ совершить кромѣ генераль-губернатора и который въ нынѣшнее время есть дѣло даже необходимое, не только нужное, а и нужное ввести дворянство въ познание истинное своего званія. Знаю его въ ядрѣ своемъ прекрасно, несмотря на безобразную шелуху. Но дворянство этого еще не слышитъ. Многіе едва-едва только догадываются, другіе пребываютъ въ совершенномъ этомъ невѣжествѣ, третьи берутъ себѣ въ идеалъ дворянство государствъ иностранныхъ, четвертые даже не задаютъ себѣ вопроса, нужно ли на свѣтѣ дворянство. Если же и находятъ между ними такіе, которые имѣютъ объ этомъ какія-нибудь свѣтлыя мысли, то мысли эти еще не раздаются въ массамъ, масса ихъ не слышитъ. Въ послѣднее время, кромѣ всего прочаго, возстановился, даже въ дворянствѣ, нѣкоторый духъ довѣрія къ правительству. Во время послѣднихъ европейскихъ возмущеній и всякаго рода смуть нѣкоторые изъ злоумышленниковъ старались особенно распухать въ нашемъ дворянствѣ слухъ, будто правительство ищетъ обезсилить ихъ значеніе, довести ихъ до ничтожества. Бѣглецы, выходя за границы всякаго рода недоброжелатели Россіи писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранныхъ газетъ, съ тѣмъ именно цѣлю, чтобы заронить вражду между дворянствомъ и правительствомъ: съ одной стороны показать государю Россіи на какихъ-то фантастическихъ бояръ, осматривающихъ самую власть съ другой стороны показать дворянству, что государь благоволяетъ къ нимъ и вообще не любитъ этого званія. Если бы только было хотѣлось заварить въ Россіи какую-то кашу и еттицу, среди которой можно было бы и самимъ сыграть какую-нибудь роль; расчетъ былъ на то, что взаимное опа-

и подозрительность есть страшная вещь и может со временем произвести дѣйствительно разрывъ самыхъ священнѣйшихъ связей. Но, слава Богу, уже прошли тѣ времена, чтобы нѣсколь-ко сорванцовъ могли возмутить цѣлое государство. Проектъ такъ и остался фантастическимъ проектомъ, тѣмъ не менѣе однакожь искры недоразумѣній и взаимнаго недовѣрія зародились, и я знаю многихъ дворянъ, которые увѣрены серьезно, что государь не любитъ ихъ сословія, и отъ этого даже тоскуютъ. Дѣло это имъ разрѣшите и объявите всю правду, не крывая ничего. Скажите, что государь любитъ дворянство больше всѣхъ сословія, но любитъ его въ томъ совершенствѣ, въ какомъ оно должно быть по духу самой земли нашей. Да и можетъ быть иначе. Ему ли не любить цвѣтъ своего народа, у насъ дворянство есть цвѣтъ нашего же народа, а не какое-нибудь пришлое чужеземное сословіе. Но слѣдуетъ, чтобы дворянство само себя показало и опредѣлило значеніе своего званія, потому что въ томъ видѣ, въ какомъ оно теперь, при этомъ отсутствіи единства въ общемъ духѣ, при этомъ разнообразіи клей, воспитанья, жизни, привычекъ, при такомъ сбивчивомъ разбѣ понятій о самихъ себѣ, никому не могутъ они подать истинной и полной идеи о томъ, что такое въ нашей землѣ дворянство. А отъ того никакой мудрецъ не можетъ теперь знать, съ ему съ ними быть. Слѣдуетъ, чтобы дворянство само вступило въ свое истинное и полное значеніе. И здѣсь-то вы можете много имъ помочь, потому что, будучи сами русскій дворянинъ и уже понимая высшее значеніе нашего дворянства, лучше всѣхъ будете въ силахъ это объяснить. Не нужно для этого много словъ, потому что начала всего того, что вы имъ объявите, у нихъ въ груди. Дворянство наше представляетъ явленіе точно необыкновенное. Оно образовалось у насъ совсѣмъ иначе, нежели въ другихъ земляхъ. Началось оно не насильственнымъ приходомъ, въ качествѣ вассаловъ съ войсками, всенародныхъ опаривателей верховной власти и вѣчныхъ угнетателей сословія низшаго; началось оно у насъ вѣчными выслугами, сдѣланными на достоинствахъ нравственныхъ, а не на силѣ. Въ этомъ дворянствѣ нѣтъ гордости какими-нибудь преимуще-

ствами своего сословія, какъ въ другихъ земляхъ; нѣтъ снѣси нѣмецкаго дворянства: никто не хвастается у насъ родомъ или древностью происхожденія, хотя наши дворяне всѣхъ древнѣе, — хвастаются развѣ только какіе-нибудь англomanы, которые заразились этимъ на время, во время проѣзда чрезъ Англію; можетъ-быть только изрѣдка похвастается кто-нибудь своимъ предкомъ и то такимъ, который сослужилъ истинно-вѣрную службу царю и землѣ своей; а похвастайся онъ плохимъ предкомъ, на него выпускаютъ тутъ же эпиграмму его же собратья-дворяне. Однимъ только позволяетъ себѣ всякъ изъ нихъ похвастаться — это чувствомъ своего нравственнаго благородства, которое уже Богъ имъ вложилъ въ грудь, и если дойдетъ дѣло до того, чтобы выказать какимъ-нибудь поступкомъ это внутреннее высшее благородство, у насъ ни одинъ не отстанетъ отъ другого, хотя бы самъ былъ всѣхъ хуже и весь зажилъ въ грязи и въ сажѣ. Дворянство у насъ есть какъ бы сосудъ, въ которомъ заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей Русской земли за тѣмъ, чтобы подать понятіе всѣмъ прочимъ сословіямъ, почему сословіе высшее называется цвѣтомъ народа.

И если вы только имъ скажете почти это самое, что я теперь говорю и что есть истинная правда, да развернете передъ ними то поприще, которое теперь всѣмъ предстоитъ имъ на передачу и увѣковѣченіе именъ своихъ въ потомствѣ, если ясно покажете имъ, что вся Русская земля взываетъ о помощи, и что помощь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благородства слѣдуетъ показать тѣмъ, которые уже отъ рожденія получили благородство, — то увидите, что сердца ихъ чокнутся съ вашимъ сердцемъ, какъ рюмки во время пирушки. Не скрывайте отъ нихъ дѣла, объясните имъ всю правду. Зачѣмъ заставлять ихъ узнавать то же самое изъ лживыхъ иностранныхъ газетъ и давать сорванцамъ кружить имъ головы? Обнаружьте имъ всю правду начисто. Скажите имъ, что Россія точно несчастна, что несчастна отъ грабительства и неправды, которыя до такой наглости еще не возносили рогъ свой. Что болитъ сердце у государя такъ, какъ никто изъ нихъ не знаетъ, не слышитъ и не можетъ знать. Да можетъ ли быть иначе при видѣ этого ви-

хря возникнувшихъ запутанностей, которыя застѣнили всѣхъ другъ отъ друга и отняли почти у каждаго просторъ дѣлать добро и пользу истинную своей землѣ, при видѣ повсемѣстнаго помраченія и всеобщаго уклоненія всѣхъ отъ духа земли своей, при видѣ наконецъ этихъ безчестныхъ плутовъ, продавцовъ правосудья и грабителей, которые какъ вороны налетѣли со всѣхъ сторонъ клевать еще живое наше тѣло и въ мутной водѣ ловить свою презрѣнную выгоду. Когда вы это имъ скажете, да во слѣдъ за этимъ покажете, что теперь имъ всѣмъ предстоитъ сослужить истинно-благородную и высокую службу царю, а именно: такъ же великодушно, какъ нѣкогда становились въ рядъ противу непріятели, такъ же великодушно стать теперь на неприманчивыя мѣста и должности, опозоренныя низкими разночинцами, тогда увидите, какъ встрепенется наше дворянство. Отбою не будетъ отъ жалающихъ вступить въ службу и занять самыя невидныя мѣста. И отслуживши, не потребуютъ они себѣ за это ни награды, ни отличій, ни даже привилегій и преимуществъ, довольные тѣмъ, что показали высокое внутреннее преимущество свое. Словомъ, только покажите имъ высоту ихъ званія, и вы увидите, какъ благородна ихъ природа. Вы можете указать имъ также то второе великое дѣло, которое они могутъ сдѣлать, воспитавши ввѣренныхъ имъ крестьянъ такимъ образомъ, чтобы они стали образцомъ этого сословія для всей Европы, потому что теперь не на шутку задумались многіе въ Европѣ надъ древнимъ патріархальнымъ бытомъ, котораго стихіи исчезли повсюду, кромѣ Россіи, и начинаютъ гласно говорить о преимуществахъ нашего крестьянскаго быта, испытавши безсиліе всѣхъ установленій и учреждений нынѣшнихъ для ихъ улучшенія, а потому вамъ слѣдуетъ склонить дворянъ, чтобы они разсмотрѣли попристальнѣй истинно-русскія отношенія помѣщика къ крестьянамъ, а не тѣ фальшивыя и ложныя, которыя образовались во время ихъ позорной беззаботности о своихъ собственныхъ помѣстьяхъ, преданныхъ въ руки наемниковъ и управителей; чтобы позаботились о нихъ истинно, какъ о своихъ кровныхъ и родныхъ, а не какъ о чужихъ людяхъ, и такъ бы взглянули на нихъ, какъ отцы на дѣтей своихъ. Симъ только однимъ могутъ

возвести они это сословіе въ то состояніе, въ какомъ слѣдуетъ ему пребыть, которое, какъ нарочно, не носитъ у насъ названія ни вольныхъ, ни рабовъ, но называется крестьянами отъ имени самого Христа. Все это можетъ вполне объяснить дворянству генераль-губернаторъ, если о томъ помыслить заблаговременно и войдетъ самъ въ полное значеніе нашего дворянства. И это будетъ ващъ второй великій подвигъ.

А вотъ ващъ третій подвигъ, котораго тоже никто не можетъ сдѣлать, кромѣ генераль-губернатора. Всѣ европейскія государства теперь болѣютъ необыкновенной сложностію всякихъ законовъ и постановленій. Повсюду замѣтно одно замѣчательное явленіе, а именно: законы собственно гражданскіе выступили изъ предѣловъ и ворвались въ области, имъ не принадлежащія. Съ одной стороны они вторгнулись въ область, состоявшую долго подъ управленіемъ народныхъ обычаевъ; съ другой стороны они вторгнулись въ область, долженствующую остаться вѣчно подъ управленіемъ Церкви. Случилось это не насильственно: разливъ гражданскихъ законовъ произошелъ самъ собою, встрѣтивши повсюду пустыня, себя не оградившія мѣста. Мода подорвала обычаи; уклоненіе духовенства отъ прямой жизни во Христѣ оставило на произволь всѣ частныя отношенія каждаго человѣка въ его частномъ быту. Законы гражданскіе взяли то и другое, какъ оставленныхъ сиротъ, подъ свою опеку и отъ того только стали такъ сложны. Сами же по себѣ они вовсе не пространны, и если возвратится то, чтѣ законнымъ образомъ должно принадлежать обычаямъ, и то, чтѣ должно поступить въ вѣчное владѣніе Церкви, тогда ихъ можетъ заключить только одна книга, которая обниметъ одни крупныя исключенія отъ общественнаго порядка и отношенія собственно государственныя. Всѣ до единого теперь видятъ, что множество дѣлъ, злоупотребленій и всякихъ кляузъ произошло именно отъ того, что европейскіе философы-законодатели стали заранѣе опредѣлять всѣ возможные случаи уклоненій, домашнихъ подробностей и тѣмъ открыли всякому, даже благородному и доброму, пути къ безконечнымъ и несправедливѣйшимъ тяжбамъ, которыя затѣвать онъ прежде почелъ бы безчестнѣйшимъ дѣломъ, но которыя онъ затѣваетъ теперь

смѣло, увидя въ какомъ-нибудь пунктѣ постановленій возможность и надежду получить когда-то потерянное добро или же только возможность оспаривать владѣнье другого. Онъ уже идетъ горой, какъ герой на приступъ, и не глядитъ вовсе на своего супротивника, хотя бы тотъ лишился черезъ это послѣдней своей рубашки, хотя бы онъ пошелъ по міру со всей семьей своей. Человѣколюбивый производитъ теперь въ виду всѣхъ, безстыднѣйшимъ образомъ, жестокое дѣло и даже имъ хвастается, тогда какъ онъ устыдился бы и самой мысли о томъ, если бы служитель Церкви поставилъ ихъ обоихъ лицомъ ко Христу, а не презрѣннымъ выгодамъ личнымъ, и еслибы завелось такъ, какъ и быть должно, чтобы во всѣхъ дѣлахъ запутанныхъ, казусныхъ, темныхъ, — словомъ, во всѣхъ тѣхъ дѣлахъ, гдѣ угрожаетъ проволочка по инстанціямъ, мирила человѣка съ человѣкомъ Церковь, а не гражданскій законъ. Но вотъ вопросъ: какъ это сдѣлать? Какъ сдѣлать, чтобы гражданскому закону отдано было дѣйствительно только то, что должно принадлежать гражданскому закону; чтобы обычаямъ возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаевъ, и чтобы за Церковь вновь утверждено было то, что должно вѣчно принадлежать Церкви? Словомъ, какъ возвратить все на свое мѣсто? Въ Европѣ сдѣлать этого невозможно. Она обольется кровью, изнеможетъ въ напрасныхъ бореціяхъ и ничего не успѣетъ. Въ Россіи есть возможность; въ Россіи можетъ это нечувствительно совершиться: не какими-нибудь нововведеніями, переворотами и реформами, и даже не засѣданьями, не комитетами, не преніями и не журнальными толками и болтовней, — въ Россіи можетъ этому дать начало всякой генераль-губернаторъ ввѣренной его управленію области, и такъ просто: ничѣмъ другимъ, какъ только собственною жизнью своей. Патріархальностью жизни своей и простымъ образомъ обращенія со всѣми онъ можетъ вывести вонъ моду съ ея пустыми этикетами и укрѣпить тѣ русскіе обычаи, которые въ самомъ дѣлѣ хороши и могутъ быть примѣнены съ пользой къ нынѣшнему быту. Онъ можетъ сильно подѣйствовать на то, что отношенія между собою какъ жителей городовъ, такъ и помѣщиковъ станутъ проще; а уничтоженіе этой сложности свѣт-

скихъ отношеній, какая нынѣ, уменьшить непременно ссорн и неудовольствія, которыя возникнули какъ вихри между обитателями городовъ. Такъ же, какъ на водвореніе обычаевъ, можетъ подѣйствовать генераль-губернаторъ и на законное водвореніе Церкви въ нынѣшнюю жизнь русскаго человѣка: во-первыхъ, примѣромъ собственной жизни, а во-вторыхъ — самими нѣрами, не принудительными и насильственными, но сильнѣйшими въ нѣсколько разъ всякихъ насильственныхъ. Объ этомъ когда-нибудь мы съ вами поговоримъ послѣ, когда вы дѣйствительно возьмете должность, а до того времени скажу вамъ только вотъ что: если уже простой обычай сильнѣе всякого письменнаго закона, а между прочимъ, что такое обычай, если разсмотрѣть его строго? Иногда онъ просто не имѣетъ никакого значенія въ нынѣшнемъ времени, установленъ неизвѣстно зачѣмъ, пришелъ неизвѣстно откуда, не слышимъ даже авторитета, его утвердившаго, иногда онъ тянется отъ временъ язычества, противоположенъ христіанству и всѣмъ элементамъ новой жизни, и если при всемъ этомъ обычай такъ силенъ, что его трудно бываетъ изгладить въ продолженіе многихъ лѣтъ? Что же, если введется такой обычай, который основанъ на разумѣ, единоустно и единодушно будетъ признаванъ всѣми и освященъ свыше самимъ Христомъ и Его Церковью? — такой обычай пойдетъ во вѣки вѣковъ и не сокрушить его никакая сила, какія бы ни наступили всемірныя колебанія. Но это предметъ великъ; о немъ нужно поговорить умно, а я для того глупъ. Послѣ, когда Богъ поможетъ и разумитъ меня, можетъ-быть, что-нибудь скажу. Работъ вамъ будетъ много. Крѣпитесь и берите твердо должность генераль-губернатора, если только она будетъ вамъ предложена. Вы исполните ее именно такъ, какъ слѣдуетъ и сообразно тому, чего требуетъ само правительство, то-есть бодрящею, освѣжающею силою пронестись по всей области, всѣхъ воздвигнуть, всѣхъ освѣжить, всѣхъ настроить, всему дать толчекъ и обратиться потомъ въ другую губернію за тѣмъ, чтобы и тамъ произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непременно должна быть временная, иначе она не имѣла бы смысла, потому что внутренній организмъ губерніи достаточенъ и полонъ, и нѣтъ

надобности въ другомъ управителѣ, кромѣ гражданскаго губер-
 натора. Съ Богомъ же и не бойтесь ничего. Но хотя бы при-
 шлось вамъ занять и другую должность, руководствуйтесь тѣми
 же правилами. Не забывайте нигдѣ, что вы на время. Устрой-
 те такъ дѣла, чтобы они не только при васъ шли хорошо, но и
 послѣ васъ; чтобы не могъ ничего сдвинуть вашъ преемникъ,
 но вступилъ бы невольно уже самъ въ утвержденныя вами гра-
 ницы, держась вами даннаго законнаго направленія. Христосъ
 научить васъ, какъ закалять дѣло на-крѣпко и на вѣки. Будьте
 отецъ истинный всѣмъ, вамъ подвластнымъ, чиновникамъ и
 каждому помогите свято и честно исполнить должность свою.
 Подавайте братски руку всякому освобождаться отъ его соб-
 ственныхъ пороковъ и недостатковъ. Имѣйте на всѣхъ вліяніе,
 но вліяніе единственно за тѣмъ, чтобы заставить каждого имѣть
 на самого себя вліяніе. Смотрите также, чтобы никто не опира-
 лся черезчуръ и слишкомъ на васъ, какъ на собственный посохъ
 свой, подобно тому, какъ римско-католическія дамы опираются
 на духовниковъ своихъ, безъ воли которыхъ они не смѣютъ пе-
 реступить въ другую комнату и ждутъ для этого исповѣди; но
 чтобы помнилъ человѣкъ, что нянька дается ему на время, а не
 навсегда, и что какъ только отступаетъ отъ него наставникъ,
 тутъ-то ему и слѣдуетъ блюсти за собой осторожнѣй, чѣмъ когда-
 либо прежде, помня ежеминутно, что уже некому теперь смотрѣть
 за нимъ, и держа, какъ святыню, въ своей памяти всякое сло-
 во, ему сказанное. Старайтесь также, чтобы не было плача при
 разставаньи съ вами, еслибы случилось вамъ оставлять вашу
 должность, но чтобы бодрѣй и свѣжѣй еще глядѣлъ каждый
 впередъ, а потому ко дню разставанья копите все, что хотѣли
 бы вы сказать въ наставленіе каждому. Въ этотъ день будутъ
 для нихъ святы всѣ слова ваши, и то, чего бы они не приняли
 и не исполнили прежде, то теперь примутъ и послѣ васъ испол-
 нять. Для меня наилучшая минута — время разставанья съ
 моими друзьями; всякъ изъ друзей моихъ, кто теперь ни расста-
 ется со мной, расстается весело и свѣтлѣетъ духомъ. Вамъ под-
 тверждать это всѣ тѣ, которые разставались со мною въ послѣд-
 нее время. Я даже увѣренъ, что когда буду умирать, со мной

простятся весело всё меня любившіе: никто изъ нихъ не заплачетъ и будетъ гораздо свѣтлѣе духомъ послѣ моей смерти, чѣмъ при жизни моей. Еще скажу вамъ слово насчетъ любви и всеобщаго расположенія къ себѣ, за которыми многіе такъ гоняются. Заискивать любви къ себѣ есть незаконное дѣло и не должно занимать человѣка. Смотрите на то — любите ли вы другихъ, но не на то — любятъ ли васъ другіе. Кто требуетъ платежа за любовь свою, тотъ подлѣ и далеко не христіанинъ. О, какъ я благодаренъ за то, что еще отъ дѣтства вселилъ въ меня Богъ непонятное мнѣ самому чувство бѣжать отъ всякихъ неумѣстныхъ изліяній, даже родственныхъ и дружескихъ, какъ отъ чего-то приторнаго и непріятнаго! Какъ это вѣрно, что полная любовь не должна принадлежать никому на землѣ. Она должна быть передаваема по начальству, и всякой начальнигъ, какъ только замѣтитъ ея устремленіе къ себѣ, долженъ въ ту же минуту обращать ее къ постановленному надъ нимъ высшему начальству, чтобы такимъ образомъ добралась она до своего законнаго источника, и передалъ бы ее торжественно, въ виду всѣхъ, всѣмъ любимымъ царь самому Богу.

1845.

XXIX.

Чей удѣлъ на землѣ выше.

изъ письма къ у.....му.

Никакъ не могу сказать вамъ, чей удѣлъ на землѣ выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда былъ поглупѣе, я предпочиталъ одно званіе другому, теперь же вижу, что участь всѣхъ равно завидна. Всѣ получаютъ равное воздаяніе, — какъ тотъ, которому ввѣренъ былъ одинъ талантъ, и онъ принесъ на него другой, такъ и тотъ, которому дано было пять талантовъ, и который принесъ на нихъ другіе пять. Даже, я думаю, участь перваго еще лучше, именно отъ того, что онъ не пользовался на землѣ извѣстностію и не вкушалъ очаровательнаго напитка зем-

ной славы, подобно послѣднему. Чудна милость Божія, опредѣлившая равное воздаяніе всякому, исполнившему честно долгъ свой, царь ли онъ, или послѣдній нищій. Всѣ они тамъ уравняются, потому что всѣ видутъ въ радость Господа своего и будутъ пребывать *равно* въ Богѣ. Конечно, самъ Христосъ сказалъ въ другомъ мѣстѣ: *Въ дому Отца Моего обители многи суть*; но какъ подумаю объ этихъ обителяхъ, какъ подумаю о томъ, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться отъ слезъ и знаю, что никакъ бы не рѣшилъ, какую изъ нихъ выбрать себѣ, еслибы только дѣйствительно былъ удостоенъ небеснаго царствія и вопрошенъ: какую изъ нихъ хочешь? Знаю только то, что сказалъ бы: „Послѣднюю, Господи, но лишь бы она была въ дому Твоемъ!“ Кажется, ничего бы не жалалось больше, какъ только служить тѣмъ избраннымъ, которые уже удостоились созерцать во всемъ величіи Его славу, лежать бы только у ногъ ихъ и цѣловать святныя ихъ ноги!

1845.

XXX.

Н а п у т с т в і е.

На письмо твое теперь не буду отвѣчать; отвѣтъ будетъ послѣ. Все вижу и слышу: страданія твои велики. Съ такою нѣжною душою терпѣть такія грубыя обвиненія, съ такими возвышенными чувствами жить посреди такихъ грубыхъ, неуклюжихъ людей, каковы жители пошлаго городка, въ которомъ ты поселился, которыхъ уже одно безчувственное топорное прикосновеніе въ силахъ разбить, даже безъ ихъ вѣдома, лучшую драгоценность сердечную; медвѣжьею лапой ударить по тончайшимъ струнамъ душевнымъ, даннымъ на то, чтобы издавать небесныя звуки, разстроить и разорвать ихъ; видѣть, въ прибавленіе ко всему этому, ежедневно происходящія мерзости и терпѣть презрѣніе отъ презрѣнныхъ — все это тяжело, знаю. Твои страданія тѣлесныя тяжелы не меньше. Твои нервическіе недуги, твоя тоска и эти страшныя припадки агоніи, которою ты одержимъ теперь — все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебѣ,

какъ только — тяжело! Но вотъ тебѣ утѣшеніе. Это еще начало; оскорбленій тебѣ будетъ еще больше: предстануть тебѣ еще сильнѣйшія борьбы съ взяточниками, подлецами всѣхъ сортовъ и безстыднѣйшими людьми, для которыхъ ничего нѣтъ святаго, которые не только въ силахъ произвести то гнусное дѣло, о которомъ ты пишешь, т. е. подписаться подъ чужую руку, — дерзнуть взвести такое ужасное преступленіе на невинную душу, видѣть своими глазами кару, постигшую оклеветаннаго, и не содрогнуться, — не только подобное гнусное дѣло, но еще въ нѣсколько разъ гнуснѣйшія, о которыхъ одинъ рассказъ можетъ лишить на-вѣки сна человѣка сердобольнаго (О, лучше бы вовсе не родиться этимъ людямъ! весь сонъ небесныхъ силъ содрогнется отъ ужаса загробнаго наказанія, ихъ ждущаго, отъ котораго никто уже ихъ не избавитъ). Встрѣтятся тебѣ безчисленныя новыя пораженія, неожиданныя вовсе. На твою почти беззащитную поприщъ и незамѣтную должность все можетъ случиться. Твои нервическіе припадки и недуги будутъ также еще сильнѣе, тоска будетъ убійственнѣе и печали будутъ сокрушительнѣе. Но вспомни: призваны въ міръ мы вовсе не для праздниковъ и пированій. На битву мы сюда призваны; праздновать же побѣду будемъ *тамъ*. А потому ни на мигъ мы не должны позабыть, что вышли на битву, и нечего тутъ выбирать, гдѣ поменьше опасностей: какъ добрый воинъ, долженъ бросаться изъ насъ всякъ туда, гдѣ пожарче битва. Всѣхъ насъ озираетъ свыше Небесный Полководецъ, и ни малѣйшее наше дѣло не ускользаетъ отъ Его взора. Не уклоняйся же отъ поля сраженія, а выступивши на сраженіе, не ищи непріятеля безсильнаго, но сильнаго. За сраженіе съ небольшимъ горемъ и мелкими бѣдами немного получишь славы. Не велика слава для Русскаго сразиться съ миролюбивымъ Нѣмцемъ, когда знаешь впередъ, что онъ побѣжитъ, — нѣтъ, съ Черкесомъ, котораго все дрожитъ, считая непобѣдимымъ; съ Черкесомъ схватиться и побѣдить его — вотъ слава, которою можно похвалиться! Впередъ же, прекрасный мой воинъ! съ Богомъ, добрый товарищъ! съ Богомъ, прекрасный другъ мой!

XXXI.

Въ чемъ же наконецъ существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность.

Несмотря на внѣшніе признаки подражанія, въ нашей поэзіи есть очень много своего. Самородный ключъ ея уже былъ въ груди народа тогда, какъ самое имя еще не было ни на чьихъ устахъ. Струи его пробиваются въ нашихъ пѣсняхъ, въ которыхъ мало привязанности къ жизни и ея предметамъ, но много привязанности къ какому-то безграничному разгулу, къ стремленію какъ бы унести къ куда-то вѣстѣ съ звуками. Струи его пробиваются въ пословицахъ нашихъ, въ которыхъ видна необыкновенная полнота народнаго ума, умѣвшаго сдѣлать все своимъ орудіемъ: иронию, насмѣшку, наглядность, мѣткость живописнаго соображенія, чтобы составить животрепещущее слово, которое проникаетъ насквозь природу русскаго человѣка, задирая за все ея живое. Струи его пробиваются, наконецъ, въ самомъ словѣ церковныхъ пастырей, словѣ простомъ, не краснорѣчивомъ, но замѣчательномъ по стремленію стать на высоту того святаго безстрастія, на которую опредѣлено взойти христіанину, по стремленію направить человѣка не къ увлеченіямъ сердечнымъ, но къ высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзіи какое-то другимъ народамъ невѣдомое, своеобразное и самобытное развитіе. Но не изъ сихъ трехъ источниковъ, уже въ насъ пребывавшихъ, ведетъ начало наша сладкозвучная поэзія, нынѣ насъ усаждающая, также какъ и строеніе нынѣшняго нашего гражданскаго порядка произошло не изъ началъ, уже пребывавшихъ прежде въ землѣ нашей. Гражданское строеніе наше произошло также не правильнымъ, постепенномъ ходомъ событій, не медленно-разсудительнымъ введеніемъ европейскихъ обычаевъ, которое было бы уже невозможно по той причинѣ, что уже слишкомъ взрѣло европейское просвѣщеніе, слишкомъ великъ былъ наплывъ его, чтобы не ворваться рано или поздно со всѣхъ сторонъ въ Россію и не произвести безъ такого вождя, каковъ былъ Петръ,

гораздо большаго разладу во всея, нежели какой дѣйствительно потомъ наступилъ, — гражданское строеніе наше произошло отъ потрясенія, отъ того богатырскаго потрясенія всего государства, которое произвелъ царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народъ свой въ кругъ европейскихъ государствъ и вдругъ познакомить его со всѣмъ, что онъ добыла себѣ Европа долгими годами кровавыхъ бореній и страданій. Крутой поворотъ былъ нуженъ русскому народу, и европейское просвѣщеніе было огниво, которымъ слѣдовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массѣ. Огниво не сообщаетъ огня крению; но покажѣть иго не ударишь, не издастъ кренишь огня. Огонь залетѣлъ вдругъ изъ народа. Огонь этотъ былъ восторгъ, восторгъ отъ пробужденія, восторгъ вначалѣ безотчетный: никто еще не слышалъ, что онъ пробудился за тѣмъ, чтобы, съ помощію европейскаго свѣта, рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только слышало, что онъ пробудился. Уже самый этотъ крутой поворотъ всего государства, произведенный однимъ человекомъ, и притомъ самимъ царемъ, который великодушно отказался на время отъ царскаго званія своего, рѣшился извѣдать самъ всякое ремесло и, съ тоноромъ въ рукѣ, стать передовымъ во всякомъ дѣлѣ, дабы не произошло никакихъ безпорядковъ, слѣдующихъ при малѣйшемъ измѣненіи государственныхъ формъ, — былъ дѣломъ достойнымъ восторга. Переворотъ, который обыкновенно на нѣсколько лѣтъ обливаешь кровью потрясенное государство, если производится бореіями внутреннихъ партій, былъ произведенъ, въ виду всей Европы, въ такомъ порядкѣ, какъ блистательный маневръ хорошаго вученнаго войска. Россія вдругъ облеклась въ государственное величіе, заговорила громами и блеснула отблескомъ европейскихъ наукъ. Все въ молодомъ государствѣ пришло въ восторгъ, издавши тотъ крикъ изумленія, который издастъ дикарь при видѣ навезенныхъ блестящихъ сокровищъ. Восторгъ этотъ отразился въ нашей поэзіи, или лучше — онъ создалъ ее. Вотъ почему поэзія, съ перваго стихотворенія, появившагося въ печати, приняла у насъ торжествующее выраженіе, стремясь высказать въ одно и то же время восхищеніе отъ свѣта, внесеннаго въ Россію, изу-

мленіе отъ великаго поприща, ей предстоящаго, и благодарность царямъ, того виновникамъ. Съ этихъ поръ стремленіе къ свѣту стало нашимъ элементомъ, шестымъ чувствомъ русскаго человѣка, и оно-то дало ходъ нашей нынѣшней поэзіи, внеся новое, свѣтоносное начало, котораго не видно было ни въ одномъ изъ тѣхъ трехъ источниковъ ея, о которыхъ упомянуто въ началѣ.

Что такое Ломоносовъ, если разсмотрѣть его строго? — Восторженный юноша, котораго манитъ свѣтъ наукъ да поприще, ожидающее впереди. Случаемъ попалъ онъ въ поэты: восторгъ отъ нашей новой побѣды заставилъ его набросать первую оду. Въ попыткахъ занялъ онъ у сосѣдей Нѣмцевъ размѣръ и форму, какіе у нихъ на ту пору случились, не разсмотрѣвъ, приличны ли они русской рѣчи. Нѣтъ и слѣдовъ творчества въ его риторически-составленныхъ одахъ; но восторгъ уже слышенъ въ нихъ повсюду, гдѣ ни прикоснется онъ къ чему-нибудь близкому науколюбивой его душѣ. Коснулся онъ сѣвернаго сіянія, бывшаго предметомъ его ученыхъ изслѣдованій, и плодомъ этого прикосновенія была ода: „Вечернее размышленіе о Божіемъ величествѣ“, вся величественная отъ начала до конца, какой никому не написать кромѣ Ломоносова. Тѣ же причины породили извѣстное посланіе къ Шувалову о пользѣ стекла. Всякое прикосновеніе къ любезной сердцу его Россіи, на которую глядитъ онъ подъ угломъ ея сіяющей будущности, исполняетъ его силы чудотворной. Среди холодныхъ строкъ польются вдругъ у него такія строфы, что не знаешь самъ, гдѣ ты находишься, — точно какъ бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророкъ Давидъ
Священными шумитъ струнами,
И Бога полными устами
Исайя восхощень гремитъ.

Всю Русскую землю озираетъ онъ отъ края до края съ какой то свѣтлой вышины, любуясь и не налюбуясь ея безпредѣльно-стію и дѣвственною природою. Въ описаніяхъ слышенъ взглядъ скорѣе ученаго натуралиста, нежели поэта; но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста въ поэта. Изумительнѣе всего то, что, заключа стихотворную рѣчь свою въ узкія строфы

нѣмецкаго ямба, онъ ничуть не стѣснилъ языка: языкъ у него движется въ узкихъ строфахъ такъ же величественно и свободно, какъ полноводная рѣка не въ стѣсненныхъ берегахъ. Онъ у него свободнѣе и лучше въ стихахъ, нежели въ прозѣ, и не даромъ Ломоносова называютъ отцомъ нашей стихотворной рѣчи. Изумительно то, что начинатель уже явился господиномъ и законодателемъ языка. Ломоносовъ стоитъ впереди нашихъ поэтовъ, какъ вступленіе впереди книги. Его поэзія — начинающійся разсвѣтъ. Она у него, подобно вспыхивающей зарницѣ, освѣщаетъ не все, но только нѣкоторыя строфы. Сама Россія является у него только въ общихъ географическихъ очертаніяхъ. Онъ какъ бы заботился только о томъ, чтобы набросать одинъ очеркъ громаднаго государства, намѣтить точками и линіями его границы, предоставивъ другимъ наложить краски; онъ самъ какъ бы первоначальный, пророческій набросокъ того, чтò впереди.

Съ руки Ломоносова оды вошли въ обычай. Торжество, побѣда, тезоименитство, даже иллюминація и фейерверкъ стали предметомъ оды. Слагатели ихъ выразили только бездарную притъ на-мѣсто восторга. Исключить изъ нихъ можно одного Петрова, не чуждаго силы и стихотворнаго огня: онъ былъ дѣйствительно поэтъ, несмотря на жесткій и черствый стихъ свой. Всѣ прочіе напомнили только риторически-холодный складъ Ломоносовскихъ одъ и показали, на-мѣсто благозвучія Ломоносовскаго языка, трескотню и беспорядокъ словъ, терзающій ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзія уже вспыхнула: еще не успѣлъ отнести руку отъ лиры Ломоносовъ, какъ уже заводилъ первыя пѣсни Державинъ.

Въ эпоху Екатерины, которой царствованіе можно назвать блестящею выставкою первыхъ русскихъ произведеній, когда на всѣхъ поприщахъ стали выказываться русскіе таланты: съ битвами вознеслись полководцы, съ учрежденіями внутренними государственнымъ дѣльцамъ, съ переговорами дипломаты, а съ академіями словесники и ученые, — появился и поэтъ Державинъ съ тою же картинно-величавою наружностію, какъ и всѣ люди времени Екатерины, развернувшіеся въ какой-то еще днѣвой свободѣ, со множествомъ не доконченнаго и не вполне отдѣланнаго

въ частяхъ, какъ случается съ тѣми произведеніями, которыя выставляются нѣсколько торопливо на-показъ. Мысль о сходствѣ Ломоносова съ Державиннымъ, приходящая въ умъ при первомъ взглядѣ на нихъ обоихъ, исчезнетъ вдругъ, какъ только вѣмотришься покрѣпче въ Державина. Всѣмъ, даже самымъ воспитаніемъ, послѣдній представляетъ совершенную противоположность первому. Какъ первый весь предался наукамъ, считая стихотворство свое только развлеченіемъ и дѣломъ отдохновенія, такъ другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образованіе науками лишнимъ и не нужнымъ. То же самодержавное, государственное величіе Россіи слышится и у него; но уже видны не одни только географическіе очерки государства: выступаютъ люди и жизнь. Не отвлеченныя науки, но наука жизни его занимаетъ. Оды его обращаются уже къ людямъ всѣхъ сословій и должностей, и слышно въ нихъ стремленіе начертать законъ правильныхъ дѣйствій человѣка во всемъ, даже въ самыхъ его наслажденіяхъ. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще болѣе исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумѣваетъ умъ рѣшить, откуда взялся въ немъ этотъ гиперболическій размахъ его рѣчи. Остатокъ ли это нашего сказочнаго русскаго богатства, которое, въ видѣ какого-то темнаго пророчества, носится до сихъ поръ надъ нашею землею, прообразуя что-то высшее, насъ ожидающее, или же это навѣялось на него отдаленнымъ татарскимъ его происхожденіемъ, степями, гдѣ бродятъ бѣдные остатки ордъ, распалющіе свое воображеніе разсказами о богатыряхъ въ нѣсколько верстъ вышиною, живущихъ по тысячѣ лѣтъ на свѣтѣ, — что бы то ни было, но это свойство въ Державинѣ изумительно. Иногда, Богъ вѣсть какъ, издалика забираетъ онъ слова и выраженія за тѣмъ именно, чтобы стать ближе къ своему предмету. Дико, громадно все; но гдѣ только помогла ему сила вдохновенія, тамъ весь этотъ громоздъ служить на то, чтобы неестественною силою оживить предметъ, такъ что, кажется, какъ бы тысячью глазами глядитъ онъ. Стоитъ пробѣжать его „Водопадъ“, гдѣ, кажется, какъ бы цѣлая эпопея слилась въ одну стремящуюся оду. Въ „Водопадѣ“ передъ нимъ пигмеи другіе поэты. Природа тамъ какъ

бы высшая нами зримо природы, люди погуще нами знасныхъ людей, а наша обыкновенная жизнь передъ величественною жизнію, тамъ изображенною, точно муравейникъ, который гдѣ-то далеко копышется вдали. О Державинѣ можно сказать, что онъ пѣвецъ величія. Все у него величаво: величавъ образъ Екатерины, величава Россія, созерцающая себя въ осми поряхъ своихъ; его полководцы — орлы; словомъ, все у него величаво. Замѣтно, однакоже, что постояннымъ предметомъ его мыслей, болѣе всего его занимавшимъ, было — начертить образъ какого-то крѣпкаго мужа, закаленного въ дѣлѣ жизни, готоваго на битву не съ однимъ какимъ-нибудь временемъ, но со всѣми вѣками; изобразить его такимъ, какимъ онъ долженъ былъ возникнуть, по его мнѣнію, изъ крѣпкихъ началъ нашей русской породы, воспитавшихся на непоколебимомъ камнѣ нашей Церкви. Часто, бросивши въ сторону то лице, которому надписана ода, онъ ставитъ на его мѣсто того же своего непреклоннаго, правдиваго мужа. Тогда глубокія истины изглашаются голосомъ, который далеко выше обыкновеннаго, возвращается святое, высокое значеніе тому, что привыкли называть мы общими мѣстами, и, какъ изъ устъ самой Церкви, внимаешь вѣчнымъ словамъ его. Сравнительно съ другими поэтами, у него все глядитъ исполнимо: его поэтическіе образы, не имѣя полной окончательности пластической, какъ бы теряются въ какомъ-то духовномъ очертаніи и отъ того приемиютъ еще болѣе величія. Напримѣръ: поэтъ изображаетъ старца Каспія въ то время, когда онъ, разсерженный бурей,

Встаетъ въ упоръ ея волнамъ:
 То скачетъ въ твердь, то, въ адъ стремяся,
 Трезубцемъ бьетъ по кораблямъ;
 Столбомъ власы сѣдые вьются,
 И гласъ его гремитъ въ горахъ....

Тутъ, казалось, хотѣлъ создаться зримо образъ старца Каспія, но потерялся въ какомъ то духовномъ, незримомъ очертаніи; ухо слышитъ одинъ гулъ гремящаго моря, и, вмѣстѣ съ сѣдыми власами старца, подьемлетъ волосъ на головѣ самого читателя, пораженнаго суровымъ величіемъ картины. Все у него крупно. Слогъ у него такъ крупенъ, какъ ни у кого изъ нашихъ поэтовъ. Разъявъ анатомическимъ ножомъ, увидишь, что это

происходить отъ необыкновеннаго соединенія самыхъ высокихъ словъ съ самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кромѣ Державина. Кто бы посмѣлъ, кромѣ его, выразиться такъ, какъ выразился онъ въ одномъ мѣстѣ о томъ же своемъ величественномъ мужѣ, въ ту минуту, когда онъ все уже исполнилъ, что нужно на землѣ:

И смерть какъ гостью ожидаетъ,
Крутя задумавшись усы.

Кто, кромѣ Державина, осмѣлился бы соединить такое дѣло, каково ожиданіе смерти, съ такимъ ничтожнымъ дѣйствіемъ, каково крученіе усовъ? Но какъ черезъ это ощутительнѣе видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается въ душѣ! Но надобно сказать, что какъ это, такъ и всѣ другія исполинскія свойства Державина, дающія ему преимущество надъ прочими поэтами нашими, превращаются вдругъ у него въ неряшество и безобразіе, какъ только оставляетъ его одушевленіе. Тогда все въ беспорядкѣ: рѣчь, языкъ, слогъ — все скрипитъ какъ телѣга съ невымазанными колесами, и стихотвореніе — точно трупъ, оставленный душою. Слѣды собственнаго неконченнаго образованія, какъ въ умственномъ, такъ и въ нравственномъ смыслѣ, отразились очень замѣтно на его твореніяхъ. Мужъ, проповѣдывавшій другимъ о томъ, какъ править собою, не умѣлъ управлять себя, далеко не сталъ самимъ собою и долженъ былъ напряженною силою вдохновенія добираться до себя же, чтобы заговорить о томъ, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай полное воспитаніе такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается онъ какъ невоздѣланная громадная скала, передъ которою никто не можетъ остановиться, не будучи пораженъ, но передъ которою долго не застѣвается никто, спѣша къ другимъ мѣстамъ, болѣе плѣнительнымъ.

Еще Державинъ ударялъ въ струны своей лиры, какъ уже все вокругъ него измѣнилось: вѣкъ Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись какъ сновидѣніе. Наступилъ вѣкъ Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застѣнулось и, какъ бы почувствовавъ,

что уже раскинулось черезчуръ на распашку, стало наперерывъ приобрѣтать наружное благоприличіе и стройность поступковъ. Французы стали вполне образцы всему, и такъ же, какъ щеголи Парижа завладѣли надолго нашимъ обществомъ, ловкіе французскіе поэты завладѣли—было на время нашими поэтами. Къ чести, однакожъ, вѣрнаго поэтическаго чутья нашего нужно сказать то, что въ образецъ пошелъ одинъ Лафонтенъ, за тѣмъ именно, что былъ ближе къ природѣ: Дмитріевъ, Хемницеръ и Богдановичъ стали производить подобныя ему, въ простотѣ, творенія, работывая тѣ же предметы. Русскій языкъ вдругъ получилъ свободу и легкость перелетать отъ предмета къ предмету, — легкость, незнакомую Державину. На-мѣсто оды стали пробовать всѣ роды и формы поэзіи. Дмитріевъ показалъ много таланта, вкуса, простоты и приличія во всемъ, которыми убилъ наипценность и высокопарность, нанесенныя бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатаго содержанія нашей поэзіи: одно общесвѣтское стало ея предметомъ, и она сдѣлалась сама похожею на умнаго и ловкаго свѣтскаго человѣка, когда онъ сидитъ въ гостиной и ведетъ разговоръ совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы повѣдать душевную исповѣдь свою, или подвинуть другихъ на какое-нибудь важное дѣло; но за тѣмъ, чтобы просто повести разговоръ и пощеголять умнѣемъ вести его обо всѣхъ предметахъ. Послѣдніе звуки Державина ушолъ, какъ ушолъ послѣдніе звуки церковнаго органа, и поэзія наша, по выходѣ изъ церкви, очутилась вдругъ на балѣ. Отъ одного только Капниста слышался аромат истинно-душевнаго чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотолѣ незнакомая. Вотъ его „Деревенскій домикъ въ Обуховкѣ.“

Пріятный дождь мой подъ соломой,
 По мѣ, ни низокъ, ни высокъ;
 Для дружбы есть въ немъ уголокъ,
 А къ двери, нищему знакомой,
 Забыла глѣнь прибить замокъ.

Но не могла оставаться долго наша поэзія на этой поверхностной свѣтской верхушкѣ. Уже пробуждена была сильно ея чуткость отъ петровскаго удара европейскимъ огнемъ. Вдругъ

примѣтила она, что отъ Французовъ, кромѣ ловкости, ничего не перейметъ въ свое воспитаніе, и обратилась къ Нѣмцамъ. Въ нѣмецкой литературѣ происходило въ это время явленіе странное. Неясныя грезы, таинственныя преданія, необъяснимыя чудесныя произшествія, темныя призраки невидимаго міра, мечты и страхи, сопровождающіе дѣтство человѣка, стали предметомъ нѣмецкихъ поэтовъ. Можно бы назвать такую поэзію шалостью школьника, еслибы въ ней не слышался тотъ младенческій лепетъ, которымъ подаетъ о себѣ вѣсть безсмертный духъ человѣка, требующій себѣ живой пищи. Чуткая поэзія наша остановилась съ любопытствомъ младенца передъ такимъ явленіемъ. Ея собственныя славянскія начала напомнили ей вдругъ о чемъ-то и у нея похожемъ. Но при всемъ томъ мы сами никакъ бы не столкнулись съ Нѣмцами, еслибы не явился среди насъ такой поэтъ, который показалъ намъ весь этотъ новый, необыкновенный міръ сквозь ясное стекло своей собственной природы, намъ болѣе доступной, нежели нѣмецкая. Этотъ поэтъ — Жуковский, наша замѣчательная оригинальность. Чудною, высшею волею вложено было ему въ душу, отъ дней младенчества, непостижимое ему самому стремленіе къ незримому и таинственному. Въ душѣ его, точно какъ въ героѣ его баллады Вадимъ, раздавался небесный звонокъ, зовущій вдаль. Изъ-за этого зова бросался онъ на все неизъяснимое и таинственное повсюду, гдѣ оно ни встрѣчалось ему, и сталъ облекать его въ звуки, близкіе нашей душѣ. Все въ этомъ родѣ у него взято у чужихъ и больше у Нѣмцевъ, — почти все переводы. Но на переводахъ такъ отпечаталось это внутреннее стремленіе, такъ зажгло и одушевило ихъ своею живостію, что сами Нѣмцы, выучившіеся по-русски, признаются, что передъ нимъ оригиналы кажутся копіями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, какъ назвать его — переводчикомъ, или оригинальнымъ поэтомъ. Переводчикъ теряетъ собственную личность, но Жуковский показалъ ее больше всѣхъ нашихъ поэтовъ. Пробѣжавъ оглавленіе стихотвореній его, видишь: одно взято изъ Шиллера, другое изъ Уланда, третье у Вальтера Скотта, четвертое у Байрона, и все — вѣрнѣйшій сколокъ, слово въ слово, личность каждаго поэта удержана, негдѣ

было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь нѣсколько стихотвореній, вдругъ и спросишь себя: чьи стихотворенія читалъ? Не предстанетъ передъ глаза твои ни Шиллеръ, ни Уландъ, ни Вальтеръ Скоттъ, но — поэтъ, отъ нихъ всѣхъ отдѣльный, достойный помѣститься не у ногъ ихъ, но състь съ ними рядомъ, какъ равный съ равнымъ. Какимъ образомъ сквозъ личности всѣхъ поэтовъ пронеслась его собственная личность — это загадка, но она такъ и видится всѣмъ. Нѣтъ Русскаго, который бы не составилъ себѣ изъ самихъ же произведеній Жуковскаго вѣрнаго портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни въ комъ изъ переведенныхъ имъ поэтовъ не слышно такъ сильно стремленіе уноситься въ заоблачное, чуждое всего видимаго, ни въ какомъ также изъ нихъ не видится это твердое признаніе незримыхъ силъ, хранящихъ повсюду человѣка, такъ что, читая его, чувствуешь на всякомъ шагу, какъ бы самъ, выражаясь стихами Державина,

Подъ надзираніе ты предашь
Невидимыхъ, бессмертныхъ силъ,
И легионамъ заповѣдашь
Всѣхъ ангеловъ, чтобъ цѣль ты былъ.

Переводя, производилъ онъ переводами такое дѣйствіе, какъ самобытный и самоцѣльный поэтъ. Внесъ это новое, дотогѣ незнакомое нашей поэзіи стремленіе въ область незримаго и тайнаго, онъ отрѣшилъ ее самую отъ матеріализма не только въ мысляхъ и образѣ ихъ выраженія, но и въ самомъ стихѣ, который сталъ легокъ и безтѣлесенъ, какъ видѣніе. Переводя, онъ оставилъ переводами початки всему оригинальному, внесъ новыя формы и размѣры, которые стали потомъ употреблять всѣ другіе наши поэты. Лѣнь ума помѣшала ему сдѣлаться преимущественно поэтомъ-изобрѣтателемъ, — лѣнь выдумывать, а не недостатокъ творчества. Признаки творчества показали онъ въ себѣ уже съ самаго начала своего поприща: „Свѣтлана“ и „Людмила“ разнесли въ первый разъ грѣющіе звуки нашей славянской природы, болѣе близкіе нашей душѣ, нежели какіе раздавались у другихъ поэтовъ. Доказательствомъ тому то, что они произвели впечатлѣніе сильное на всѣхъ въ то время, когда

поэтическое чутье у насъ было еще слабо развито. Элегическій родъ нашей поэзіи созданъ имъ. Есть еще первоначальнѣйшая причина, отъ которой произошла и самая лѣнь ума: это — свойство *оцѣнивать*, которое, поселившись властительно въ его умъ, заставляло его останавливаться съ любовію надъ всякимъ готовымъ произведеніемъ. Отсюда — его тонкое, критическое чутье, которое такъ изумляло Пушкина. Пушкинъ сильно на него сердился за то, что онъ не пишетъ критикъ. По его мнѣнію, никто, кромя Жуковского, не могъ такъ разъять и опредѣлить всякое художественное произведеніе. Это свойство разбирать и оцѣнивать отражается въ его живописныхъ описаніяхъ природы, которыя всѣ его собственныя, самобытныя произведенія. Взявши картину, его плѣвившую, онъ не оставляетъ ея до тѣхъ поръ, покуда не исчерпаетъ всей, разъявъ какъ бы анатомическимъ ножомъ ея неувимѣйшую подробность. Кто уже могъ написать стихотвореніе о солнцѣ, гдѣ подстережены всѣ видоизмѣненія солнечныхъ лучей и волшебство картинъ, ими производимыхъ въ разные часы дня, равно какъ съ такою же живописною подробностію изобразить въ „Отчетѣ о лунѣ“ волшебство лунныхъ лучей, съ цѣлымъ рядомъ ночныхъ картинъ, ими производимыхъ, — тотъ, разумѣется, долженъ былъ заключить въ себѣ въ большой степени свойство *оцѣнивать*. Его „Славянка съ видами Павловска“ — точная живопись. Благоговѣнная задумчивость, которая проносится сквозъ всѣ его картины, исполняетъ ихъ того грѣющаго, теплаго свѣта, который наводитъ необыкновенное успокоеніе на читателя. Становишься тише во всѣхъ своихъ порывахъ, и какую-то тайною замыкаются твои собственныя уста.

Въ послѣднее время въ Жуковскомъ сталъ замѣчаться переломъ поэтическаго направленія. По мѣрѣ того, какъ стала нередъ нимъ проясняться чаще та незримо-свѣтлая даль, которую онъ видѣлъ дотолѣ въ неясно-поэтическомъ отдаленіи, — пропала страсть и вкусъ къ призракамъ и привидѣніямъ нѣмецкихъ балладъ. Самая задумчивость уступила мѣсто свѣтлости душевной. Плодомъ этого была „Ундина“, твореніе, принадлежащее вполнѣ Жуковскому: нѣмецкій перескакичикъ того же са-

мага преданія въ прозѣ не могъ служить его образцомъ. Полный создатель свѣтлости этого поэтического созданія есть Жуковскій. Съ этихъ поръ онъ добылъ какой-то прозрачный языкъ, который ту же вещь показываетъ еще виднѣе, нежели какъ она есть у самого хозяина, у котораго онъ взялъ ее. Даже прежняя воздушная неопредѣленность стиха его исчезла: стихъ его сталъ крѣпче и тверже; все приготавливалось въ немъ на то, дабы обратить его къ передачѣ совершеннѣйшаго поэтического произведенія, которое, будучи произведено такимъ образомъ, какъ производится имъ, при такомъ напоеніи всего себя духомъ древности и при такомъ просвѣтленномъ, высшемъ взглядѣ на жизнь, покажетъ непремѣнно первоначальный, патриархальный бытъ древняго міра въ свѣтѣ родномъ и близкомъ всему человѣчеству, — подвигъ, далеко высшій всякаго собственного созданія, который доставитъ Жуковскому значеніе всемірное. Передъ другими нашими поэтами Жуковскій то же, что ювелиръ передъ мастерами, то-есть мастеръ, занимающійся послѣднею отдѣлкою дѣла. Не его дѣло добыть въ горахъ алмазъ, — его дѣло оправить этотъ алмазъ такимъ образомъ, чтобы онъ заигралъ всѣмъ своимъ блескомъ и выказалъ бы вполне свое достоинство всѣмъ. Появленіе такого поэта могло произойти только среди русскаго народа, въ которомъ такъ силенъ гений воспримчивости, данный ему, можетъ-быть, на то, чтобы оправить въ лучшую оправу все, что не оцѣнено, не воздѣлано и пренебрежено другими народами.

Въ то время, когда Жуковскій стоялъ еще въ первой порѣ своего поэтического развитія, отрѣшая нашу поэзію отъ земли и существенности и унося ее въ область безтѣлесныхъ виднѣій, другой поэтъ, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ еще для него самого, идеальномъ, такъ этотъ потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное во всѣхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ бы сидѣлъ превратить въ осязательную нѣгу наслажденія. Онъ слышалъ, выражаясь его же выраженіемъ, „стиховъ и мыслей сладострастье.“ Каза-

лось, какъ бы какая-то внутренняя сила, пребывающая въ лонѣ поэзіи нашей, храня ее отъ крайности какого бы то ни было увлеченія, создала этого поэта именно за тѣмъ, чтобы въ то время, когда одинъ станетъ приносить звуки сѣверныхъ пѣвцовъ Европы, другой обвѣялъ бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши съ Аріостомъ, Тассомъ, Петраркою, Парни и нѣжными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стихъ, начинавшій принимать воздушную неопредѣленность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древнихъ, и той звучащей нѣги, какая слышна у южныхъ поэтовъ новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдругъ два разнородныя начала въ нашу поэзію; изъ двухъ началъ въ мигъ образовалось третье: явился Пушкинъ. Въ немъ середина: ни отвлеченной идеальности перваго, ни преизобилія сладострастной роскоши втораго. Все уравновѣшено, сжато, сосредоточено, какъ въ русскомъ человѣкѣ, который немногословивъ на передачу ощущенія, но хранить и совокупляетъ его долго въ себѣ, такъ что отъ этого долговременнаго ношенія оно имѣетъ уже силу взрыва, если выступить наружу. Приведу примѣръ. Поэта поразили видъ Казбека, одной изъ высочайшихъ Кавказскихъ горъ, на вершкѣ которой увидѣлъ онъ монастырь, показавшійся ему рвущимъ въ небесахъ ковчегомъ. У другаго поэта полились бы пылкіе стихи на нѣсколько страницъ. У Пушкина все въ десяти строкахъ, и стихотвореніе оканчиваетъ онъ симъ внезапнымъ обращеніемъ.

Далекій, вожделѣнный брегъ!
Туда-бъ, сказавъ прости ущелью,
Подняться къ горной вышинѣ!
Туда-бъ, въ заоблачную келью,
Въ сосѣдствѣ Бога скрыться мнѣ!

Именно одно это могъ бы сказать русскій человѣкъ въ то время, какъ и Французъ, и Англичанинъ, и Нѣмецъ пустились бы на подробный отчетъ ощущеній. Никто изъ нашихъ поэтовъ не былъ еще такъ скупъ на слова и выраженія, какъ Пушкинъ, и такъ не смотрѣлъ осторожно за самимъ собою, чтобы не сbazать неумѣреннаго и лишняго, пугаясь приторности того и другаго.

Что же было предметомъ его поэзіи? — Все стало ея предметомъ и ничего въ особенності. Нѣмѣть мысль предъ безчисленностію его предметовъ. Чѣмъ онъ не поразился и предъ чѣмъ онъ не остановился? Отъ заоблачнаго Кавказа и картиннаго Червеса до бѣдной сѣверной деревушки съ балабайкою и тренакомъ у кабака — вездѣ, всюду; на морскомъ балѣ, въ изобѣ, въ степи, въ дорожной кибиткѣ — все становится его предметомъ. На все, что ни есть во внутреннемъ чловѣкѣ, начиная отъ его высокой и великой черты до малѣйшаго вздоха, его слабости и ничтожной примѣты, его смутившей, онъ откликнулся такъ же, какъ откликнулся на все, что ни есть въ природѣ видимой и видѣнной. Все становится у него отдѣльною картиною; все предметъ его; изъ всего, какъ ничтожнаго, такъ и великаго, онъ исторгаетъ одну электрическую искру того поэтическаго огня, который присутствовалъ во всякомъ твореніи Бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту, не дѣлая изъ нея никакого примѣненія къ жизни въ потребность чловѣку, не обнаруживая никому, зачѣмъ исторгнута эта искра, не подставляя къ ней лѣстницы ни для кого изъ тѣхъ, которые глухи къ поэзіи. Ему ни до кого не было дѣла. Онъ заботился только о томъ, чтобы сказать однимъ одареннымъ поэтическимъ чутьемъ: „Смотрите, какъ прекрасно твореніе Бога!“ и, не прибавляя ничего больше, перелетать къ другому предмету, за тѣмъ, чтобы сказать также: „Смотрите, какъ прекрасно Божіе твореніе!“ Отъ этого сочиненія его представляютъ явленіе изумительное противорѣчіемъ тѣхъ впечатлѣній, какія они порождаютъ въ читателяхъ. Въ глазахъ людей весьма умныхъ, но не имѣющихъ поэтическаго чутья, они — отрывки недосказанные, легкіе, мгновенные; въ глазахъ людей, одаренныхъ поэтическимъ чутьемъ, они — полныя поэмы, обдуманныя, оконченныя, все заключающія въ себѣ, что имъ нужно.

На Пушкинѣ оборвались всѣ вопросы, которые дотолѣ не задавались никому изъ нашихъ поэтовъ, и въ которыхъ видѣнъ духъ просыпающагося времени. Зачѣмъ, къ чему была его поэзія? Какое новое направленіе мысленному міру далъ Пушкинъ? что сказалъ онъ нужное своему вѣку? подѣйствовалъ ли на него

если не спасительно, то разрушительно? произвелъ ли вліяніе на другихъ, хотя личностію собственнаго характера, гениальными заблужденіями, какъ Байронъ и какъ даже многіе второстепенные и низшіе поэты? зачѣмъ онъ данъ былъ міру и чтѣ доказалъ собою?... Пушкинъ былъ данъ міру на то, чтобы доказать собою, чтѣ такое самъ поэтъ, и ничего больше, — чтѣ такое поэтъ, взятый не подѣ вліяніемъ какого-нибудь времени, или обстоятельство, и не подѣ условіемъ также собственнаго, личнаго характера, какъ человѣка, но въ независимости отъ всего; чтобы, если захочетъ потомъ какой-нибудь высшій душевный анатомикъ разъять и объяснить себѣ, чтѣ такое въ существѣ своемъ поэтъ, это чуткое созданіе, на все откликающееся въ мірѣ и себѣ одному не имѣющее отклика, то чтобы онъ удовлетворенъ былъ, увидѣвъ это въ Пушкинѣ. Одному Пушкину опредѣлено было показать въ себѣ это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякой отдѣльный звукъ, порождаемый въ воздухѣ. При мысли о всякомъ поэтѣ представляется больше или меньше личность его самого. Кому, при помысленіи о Шиллерѣ, не предстанетъ вдругъ эта свѣтлая, младенческая душа, грезившая о лучшихъ и совершеннѣйшихъ идеалахъ, создавшая изъ нихъ себѣ міръ и доводная тѣмъ, что могла жить въ этомъ поэтическомъ мірѣ? Кому, читающему Байрона, не предстанетъ самъ Байронъ, этотъ гордый человѣкъ, облагодѣтельствованный всѣми дарами Неба и не могшій простить ему своего незначительнаго тѣлеснаго недостатка, отъ котораго ропотъ перенесся и въ поэзію его? Самъ Гёте, этотъ Протей изъ поэтовъ, стремившійся обнять все, какъ въ мірѣ природы, такъ и въ мірѣ наукъ, показалъ уже самъ самымъ наукообразнымъ стремленіемъ своимъ личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-нѣмецкаго притязанія подладиться ко всѣмъ временамъ и вѣкамъ. Всѣ наши русскіе поэты: Державинъ, Жуковский, Батюшковъ — удержали свою личность. У одного Пушкина ея нѣтъ. Чтѣ схватить изъ его сочиненій о немъ самомъ? Поди улови его характеръ, какъ человѣка! На мѣсто его предстанетъ тотъ же чудный образъ, на все откликающійся и одному себѣ только не находящій отклика. Всѣ сочиненія его — полный арсеналъ орудій

поэта. Ступай туда, выбирай себѣ всякъ по рукѣ любое и выходи съ нимъ на битву; но самъ поэтъ на битву съ нимъ не вышелъ. Зачѣмъ не вышелъ — это другой вопросъ. Онъ самъ на него отвѣчаетъ стихами:

Не для житейскаго волненья,
 Не для корысти, не для битвъ,
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Пушкинъ слышалъ значеніе свое лучше тѣхъ, которые задавали ему запросы, и съ любовію исполнялъ его. Даже и въ тѣ поры, когда метался онъ самъ въ чаду страстей, поэзія была для него святыня, — точно какой-то храмъ. Не входилъ онъ туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносилъ онъ туда неодуманнаго, опрометчиваго изъ собственной жизни своей; не вошла туда нагишомъ растрепанная дѣйствительность. А между тѣмъ все тамъ — исторія его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель слышалъ одно только благоуханіе; но какія вещества перегорѣли въ груди поэта, за тѣмъ, чтобъ издать это благоуханіе, того никто не можетъ услышать. И какъ онъ лелѣялъ ихъ въ себѣ, какъ вынашивалъ ихъ! Ни одинъ итальянскій поэтъ не отдѣлывалъ такъ сонетовъ своихъ, какъ обрабатывалъ онъ эти легкія, повидимому мгновенныя, созданія. Какая точность во всякомъ словѣ! какая значительность всякаго выраженія! какъ все округлено, окончено и замкнуто! Всѣ онъ точно перлы; трудно и рѣшить, которая элегія лучше. Словно сверкающіе зубы красавицы, которые уподобляетъ царь Соломонъ овцамъ-юницамъ, только-что вышедшимъ изъ купели, когда онъ всѣ какъ одна и всѣ равно прекрасны.

Какъ ему говорить было о чемъ-нибудь потребномъ современному обществу, въ его современную минуту, когда хотѣлось откликнуться на все, чтò ни есть въ мірѣ, и когда всякой предметъ равно звалъ его? Онъ хотѣлъ было изобразить въ „Онѣгинѣ“ современнаго человѣка и разрѣшить какую-то современную задачу — и не могъ. Столкнувши съ мѣст^а своихъ героевъ, самъ сталъ на ихъ мѣстѣ и, въ лицѣ ихъ, поразился тѣмъ, чѣмъ поражается поэтъ. Поэма вышла — собраніе разрозненныхъ

ощущеній, нѣжныхъ элегій, колкихъ эпиграммъ, картинныхъ идиллій, и, по прочтеніи ея, на мѣсто всего выступаетъ тотъ же чудный образъ на все откликнувшася поэта. Его совершеннѣйшія произведенія: „Борисъ Годуновъ“ и „Полтава“ — тотъ же вѣрный откликъ минувшему! Ничего не хотѣлъ онъ ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникамъ не замышлялъ онъ выборомъ этихъ двухъ сюжетовъ; не видно также, чтобъ онъ исполнился особеннаго участія къ кому-нибудь изъ выведенныхъ здѣсь героевъ и предпринялъ бы изъ-за того эти двѣ поэмы, такъ мастерски и художественно отработанныя. Онъ изумился только необычности двухъ историческихъ событій и хотѣлъ, чтобы, подобно ему, изумились другіе.

Чтеніе поэтовъ всѣхъ народовъ и вѣковъ порождало въ немъ тотъ же откликъ. Герой испанскій Донъ-Жуанъ, этотъ неистощимый предметъ безчисленнаго множества драматическихъ поэмъ, далъ ему вдругъ идею сосредоточить все дѣло въ небольшой собственной драматической картинѣ, гдѣ еще съ большимъ познаніемъ души выставленъ неотразимый соблазнъ развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышнѣе сама Испанія. Гёте въ „Фаустѣ“ навелъ его вдругъ на идею сжать въ двухъ-трехъ страничкахъ главную мысль германскаго поэта, и дивисься, какъ она мѣтко понята и какъ сосредоточена въ одно крѣпкое ядро, несмотря на всю ея неопредѣленную разбросанность у Гёте. Суровыя терцины Данта внушили ему мысль, въ такихъ же терцинахъ и въ духѣ самого Данта, изобразить поэтическое младенчество свое въ Царскомъ Селѣ, олицетворить науку въ видѣ строгой жены, собирающей въ школу дѣтей, и себя въ видѣ школьника, вырвавшася изъ класса въ садъ за тѣмъ, чтобъ остановиться передъ древними статуями, съ лирами и циркулями въ рукахъ, говорившими ему живѣе науки, гдѣ видно, какъ уже рано пробуждалась въ немъ эта чуткость на все откликаться.

И какъ вѣренъ его откликъ, какъ чутко его ухо! Слышишь запахъ, цвѣтъ земли, времени, народа. Въ Испаніи онъ Испанецъ, съ Грекомъ — Грекъ, на Кавказѣ — вольный горецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова; съ отжившимъ человѣкомъ онъ дышетъ стариною времени минувшаго; заглянетъ къ мужику въ

избу — онъ Русскій весь съ головы до ногъ: всѣ черты нашей природы въ немъ отозвались, и все обкинуто иногда однимъ словомъ, однимъ чутко найденнымъ и мѣтко прибраннымъ прилагательнымъ именемъ.

Свойство это въ немъ разрасталось постепенно, и онъ откликнулся бы потомъ цѣликомъ на всю русскую жизнь, такъ же, какъ откликался на всякую отдѣльную ея черту. Мысль о романѣ, который бы повѣдалъ простую, безыскусственную повѣсть прямо-русской жизни, занимала его въ послѣднее время неотступно. Онъ бросилъ стихи единственно за тѣмъ, чтобы не увлечься ничѣмъ по сторонамъ и быть проще въ описаніяхъ, и самую прозу упростилъ онъ до того, что даже не нашли никакого достоинства въ первыхъ повѣстяхъ его. Пушкинъ былъ этому радъ и написалъ „Капитанскую дочку“, рѣшительно лучшее русское произведение въ повѣствовательномъ родѣ. Сравнительно съ „Капитанскою дочкою“ всѣ наши романы и повѣсти кажутся приторною размазней. Чистота и безыскусственность взопли въ ней на такую высокую степень, что сама дѣйствительность кажется передъ нею искусственною и каррикатурною. Въ первый разъ выступили истинно-русскіе характеры: простой комендантъ крѣпости, капитанша, поручикъ; сама крѣпость съ единственною пушкою, безтолковщина времени и простое величіе простыхъ людей, все — не только самая правда, еще какъ бы лучше ея. Такъ оно и быть должно: на то и призваніе поэта, чтобъ изъ насъ же взять насъ и насъ же возвратить намъ въ очищенномъ и лучшемъ видѣ. Все показывало въ Пушкинѣ, что онъ на то былъ рожденъ и къ тому стремился. Почти въ одно время съ „Капитанскою дочкою“ оставилъ онъ мастерскія пробы романовъ: „Рукопись села Горохина“, „Царскій Арабъ“ и сдѣланный карандашомъ набросокъ большого романа: „Дубровскийъ.“ Въ послѣднее время набрался онъ много русской жизни и говорилъ обо всемъ такъ мѣтко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучшихъ стиховъ; но еще замѣчательнѣе было то, что строилось внутри самой души его и готовилось освѣтить передъ нимъ еще больше жизнь. Отголоски этого слышны въ изданномъ уже по смерти его стихотвореніи, въ которомъ

звучающими почти апокалипсическими изображениями побѣгъ изъ города, обреченнаго гибели, и часть его собственнаго душевнаго состоянія. Много готовилось Россіи добра въ этомъ человѣкѣ.... Но, становясь мужемъ, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться съ большими дѣлами, не подумалъ онъ о томъ, какъ управиться съ ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдругъ отъ насъ, и все въ государствѣ услышало вдругъ, что лишилось великаго человѣка. Вліяніе Пушкина, какъ поэта, на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только въ началѣ его поэтическаго поприща, когда онъ первыми молодыми стихами своими напомнилъ-было лиру Байрона; когда же пришелъ онъ въ себя и сталъ наконецъ не Байронъ, а Пушкинъ, общество отъ него отвернулось. Но вліяніе его было сильно на поэтовъ. Не сдѣлалъ того Карамзинъ въ прозѣ, что онъ въ стихахъ. Подражатели Карамзина послужили жалкою каррикатурою на него самого и довели какъ слогъ, такъ и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то онъ былъ для всѣхъ поэтовъ, ему современныхъ, точно сброшенный съ неба поэтический огонь, отъ котораго, какъ свѣчки, зажглись другіе самоцвѣтные поэты. Вокругъ него вдругъ образовалось ихъ цѣлое созвѣздіе: Дельвигъ, поэтъ-сибаритъ, который нѣжилъ всякимъ звукомъ своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпомъ всего напитка поэзіи, глоталъ его по каплѣ, какъ знатокъ винъ, присматриваясь къ цвѣту и обоня самый запахъ; Козловъ, гармоническій поэтъ, отъ котораго раздались какіе-то дотолѣ неслыханные музыкально-сердечные звуки; Баратынскій, строгій и сумрачный поэтъ, который показалъ такъ рано самобытное стремленіе мыслей къ міру внутреннему и сталъ уже заботиться о матеріальной отдѣлкѣ ихъ, тогда какъ онѣ еще не вырѣли въ немъ самогъ, — темный и неразвившійся, сталъ себя выказывать людямъ и сдѣлался черезъ то для всѣхъ чужимъ и никому не близкимъ. Всѣхъ этихъ поэтовъ возбудилъ на дѣятельность Пушкинъ; другихъ же просто создалъ. Я разумѣю здѣсь нашихъ такъ-называемыхъ антологическихъ поэтовъ, которые произвели понемногу, но если изъ этихъ немногихъ душистыхъ цвѣтовъ сдѣлать выборъ, то выйдетъ книга, подъ ко-

торую подпишетъ свое имя лучшей поэтъ. Стоить назвать обоихъ Туманскихъ, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и нѣкоторыхъ другихъ, которые не выказали бы собственного поэтическаго огня и благоуханныхъ движеній душевныхъ, еслибы не были зажжены огнемъ поэзіи Пушкина. Даже прежніе поэты стали перестраивать ладъ лиръ своихъ: извѣстный переводчикъ Иліады Гнѣдичъ, перелазгатель псалмовъ Ѡ. Глинка, партизанъ-поэтъ Давыдовъ; наконецъ самъ Жуковскій, наставникъ и учитель Пушкина въ искусствѣ стихотворномъ, сталъ потожъ учиться самъ у своего ученика. Сдѣлались поэтами даже тѣ, которые не рождены были поэтами, которымъ готовилось поприще не менѣе высокое, судя по тѣмъ духовнымъ силамъ, какія они показали даже въ стихотворныхъ своихъ опытахъ, какъ-то: Веневитиновъ, такъ рано отъ насъ похищенный, и Хомяковъ, слава Богу, еще живущій для какаго-то свѣтлаго будущаго, покуда еще ему самому не разоблачившагося. Сила возбуждательнаго вліянія Пушкина даже повредила многимъ, особенно Баратынскому и еще одному поэту, о которомъ будетъ рѣчь ниже, — повредила именно тѣмъ, что они стали передавать не вызрѣвшія движенія души своей, тогда какъ самая душа не набралась еще поэзіи, доступной и близкой другимъ, и когда опредѣлено было имъ совершить прежде свое внутреннее воспитаніе и до времени умолкнуть. Всѣхъ соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворныхъ созданій, которую показалъ Пушкинъ. Позабывъ и общество, и всякія современныя связи съ нимъ человѣка, и всякія требованія земли своей, все жило въ какой-то поэтической Элладѣ, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейскаго волненья,
 Не для корысти, не для битвъ,
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Изъ поэтовъ времени Пушкина болѣе всѣхъ отдѣлился Языковъ. Съ появленіемъ первыхъ стиховъ его всѣмъ слышалась новая лира, разгулъ и буйство силъ, удалъ всякаго выраженія, свѣтъ молодого восторга и языка, который въ такой силѣ, совершенствѣ и строгой подчиненности господину еще не являлся

дотолѣ ни въ комъ. Имя *Языковъ* пришлось ему не даромъ. Владѣетъ онъ языкомъ, какъ Арабъ дикими конемъ своимъ, и еще какъ бы хвастается своею властію. Откуда ни начнетъ періодъ, съ головы ли, съ хвоста, онъ выведетъ его картинно, заключить и замкнетъ такъ, что остановишься пораженный. Все, что выражаетъ силу молодости, не разслабленной, но могучей, полной будущаго, стало вдругъ предметомъ стиховъ его. Такъ и брызжетъ юношеская свѣжесть отъ всего, къ чему онъ ни прикоснется. Вотъ его купанье въ рѣкѣ:

Покровы прочь! Передъ челою
Протянемъ руки удалыя
И — бухъ!
Блестательнымъ дождемъ
Взлетаютъ брызги водяныя.
Какая сильная волна!
Какая свѣжесть и прохлада!
Какъ сладострастна, какъ нѣжна
Меня обнявшая нажда!

Вотъ у него игра въ свайку, которую онъ называлъ прямо-русскою игрою. Юноши-молдцы стали въ кружокъ:

Тяжкій гвоздь стойкомъ и плотно
Бьетъ въ кольцо — кольцо бречить.
Вешній вечеръ беззаботно
И невидимо летить.

Все, что вызываетъ въ юношѣ отвагу — море, волны, буря, пиры и сдвинутыя чаши, братскій союзъ на дѣло, твердая какъ камень вѣра въ будущее, готовность ратовать за отчизну — выражается у него съ силою неестественною. Когда появились его стихи отдѣльно книгою, Пушкинъ сказалъ съ досадою: „Зачѣмъ онъ называлъ ихъ:“ Стихотворенія Языкова? Ихъ бы слѣдовало назвать просто: „хмѣль!“ Человѣкъ съ обыкновенными силами ничего не сдѣлаетъ подобнаго; тутъ потребно буйство силъ.“ Живо помню восторгъ его въ то время, когда прочиталъ онъ стихотвореніе Языкова къ Давыдову, напечатанное въ журналѣ. Въ первый разъ увидѣлъ я тогда слезы на лицѣ Пушкина (Пушкинъ никогда не плакалъ; онъ самъ о себѣ сказалъ въ посланіи къ Овидію: „Суровый Славянинъ, я слезъ не проливалъ, но понимаю ихъ).“ Я помню тѣ строфы, которыя произвели у

него слезы. Первыя, гдѣ поэтъ, обращаясь къ Россіи, которую уже было-признали безсильною и немощною, взываетъ такъ:

Чу! труба продребезжала!
 Русь! тебѣ надменный зовъ!
 Вспомани-жъ, какъ ты встрѣчала
 Всѣ нашествія враговъ!
 Созови отъ странъ далекихъ
 Ты своихъ богатырей,
 Со степей, съ равнинъ широкихъ,
 Съ рѣкъ великихъ, съ горъ высокихъ,
 Отъ осьми твоихъ морей.

И потомъ строфа, гдѣ описывается неслыханное самопожертвованіе — предать огню собственную столицу со всѣмъ, что ни есть въ ней священнаго для всей земли:

Пламень въ небо упирая,
 Лютъ пожаръ Москвы реветъ.
 Златоглабая, святая,
 Ты ли гибнешь? Русь, впередъ!
 Громче бура истребленъ!
 Крѣпче сжѣмый ей отпоръ!
 Это жертвенникъ спасенья,
 Это пламя очищенъя,
 Это фениксовъ востеръ!

У кого не брызнуть слезы послѣ такихъ строфъ? Стихи его точно разнчивый хмѣль; но въ хмѣлѣ слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентскія пирушки не изъ бражничества и пьянства, но отъ радости, что есть мочь въ рукѣ и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье,
 Во славу чести и добра.

Бѣда только, что хмѣль перешелъ мѣру и что самъ поэтъ загулялся черезчуръ на радости отъ своего будущаго, какъ и многіе изъ насъ на Руси, и осталось дѣло только въ одномъ могучемъ порывѣ.

Всѣхъ глаза устремились на Языкова. Всѣ ждали чего-то необыкновеннаго отъ новаго поэта, отъ стиховъ котораго пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дѣло. Но дѣла не дождались. Вышло еще нѣсколько стихотвореній, повторившихъ слабѣе то же самое, потомъ тяжелая болѣзнь по-

сѣтила поэта и отразилась на его духѣ. Въ послѣднихъ стихахъ его уже не было ничего шевелившаго русскую душу. Въ нихъ раздались скучанія среди нѣмецкихъ городовъ, безучастныя записки разъѣздовъ, перечень однообразно-страдальческаго дня. Все это было жертво русскому духу. Не прииѣтили даже необыкновенной отработки позднѣйшихъ стиховъ его. Его языкъ, еще болѣе окрѣпнувшій, ему же послужилъ въ улику: онъ былъ на тощихъ мысляхъ и бѣдномъ содержаніи, что панцырь богатыря на хиломъ тѣлѣ карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нѣтъ вовсе мыслей, а одни пустозвонкіе стихи, и что онъ даже и не поэтъ. Все пришло противу него въ ропотъ. Отголоски этого ропота раздались нелѣпо въ журналахъ, но въ основаніи ихъ была правда. Языковъ не сказалъ же, говоря о поэтѣ, словами Пушкина:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

У него, напротивъ, вотъ что говоритъ поэтъ:

Когда тебѣ на подвигъ все готово,
Въ чемъ на землѣ небесный видѣвъ даръ,
Могучей мысли свѣтъ и жаръ
И огнедышащее слово, —
Иди ты въ мѣръ, да слышитъ онъ поэта.

Положимъ, это говорится объ идеальномъ поэтѣ; но идеаль свой онъ взялъ изъ своей же природы. Еслибы въ немъ самомъ уже не было началъ тому, не могъ бы и представить онъ себѣ такого поэта. Нѣтъ, не силы его оставили, не бѣдность таланта и мыслей виною пустоты содержанія послѣднихъ стиховъ его, какъ самоувѣренно возгласили критики, и даже не болѣзнь (болѣзнь дается только къ ускоренію дѣла, если человекъ проникнетъ смыслъ ея), — нѣтъ, другое его обезсилило: свѣтъ любви погаснулъ въ душѣ его — вотъ почему примеркнулъ и свѣтъ поэзіи. Полюби потребное и нужное душѣ съ такою силою, какъ полюбилъ бы прежде хмѣль юности своей, — и вдругъ подымутся твои мысли наравнѣ со стихомъ, раздастся огнедышащее слово. Изобразишь намъ ту же пошлость болѣзненной жизни своей, но

изобразишь такъ, что содрогнется человѣкъ отъ проснувшихся желѣзныхъ силъ своихъ и возблагодарить Бога за недугъ, давшій ему это почувствовать. Не по стопамъ Пушкина надлежало Языкову обрабатывать и округлять стихъ свой; не для элегій и антологическихъ стихотвореній, но для диамрама и гимна родился онъ; это слышали всѣ. И уже скорѣе отъ Державина, нежели отъ Пушкина долженъ былъ онъ засвѣтить свѣтильникъ свой. Стихъ его только тогда и входитъ въ душу, когда онъ весь въ лирическомъ свѣту; предметъ у него только тогда живъ, когда онъ или движется, или звучитъ, или сіяетъ, а не тогда, когда пребываетъ въ покоѣ. Удѣлы поэтовъ не равны. Одному опредѣлено быть вѣрнымъ зеркаломъ и отголоскомъ жизни; на то и данъ ему многосторонній, описательный талантъ. Другому повелѣно быть передовою, возбуждающею силою общества во всѣхъ его благородныхъ и высшихъ движеніяхъ, и на то данъ ему лирической талантъ. Не попадаетъ талантъ на свою дорогу потому, что не устремляетъ глазъ высшихъ на самого себя. Но Промыслъ лучше печется о человѣкѣ. Бѣдою, зломъ и болѣзнію насильно приводитъ онъ его къ тому; къ чему онъ не пришелъ бы самъ. Уже и въ лирѣ Языкова замѣтно стремленіе къ повороту на его законную дорогу. Отъ него слышали недавно стихотвореніе „Землетрясеніе“, которое, по мнѣнію Жуковского, есть наше лучшее стихотвореніе.

Изъ поэтовъ времени Пушкина отдѣлился князь Вяземскій. Хотя онъ началъ писать гораздо прежде Пушкина, но такъ какъ его полное развитіе было при немъ, то упомянемъ о немъ здѣсь. Въ князѣ Вяземскомъ — противоположность Языкову. Сколько въ томъ поражаетъ ничета мыслей, столько въ этомъ обиліе ихъ. Стихъ употребленъ у него какъ первое попавшееся орудіе: никакой наружной отдѣлки его, никакого также сосредоточенія и округленія мысли, за тѣмъ, чтобы выставить ее читателю какъ драгоценность. Онъ не художникъ и не заботится обо всемъ этомъ. Его стихотворенія — импровизація, хотя для такихъ импровизацій нужно имѣть слишкомъ много всякихъ даровъ и слишкомъ приготовленную голову. Въ немъ собралось обиліе необыкновенное всѣхъ качествъ: наглядка, наблюдательность, не-

ожиданность выводовъ, чувство, умъ, остроуміе, веселость и даже грусть; каждое стихотвореніе его — пестрый фараонъ всего вмѣстѣ. Онъ не поэтъ по призванію: судьба, надѣливши его всѣми дарами, дала ему какъ бы въ придачу талантъ поэта, за тѣмъ, чтобы составить изъ него что-то полное. Въ его книгѣ: „Біографія Фонвизина“ обнаружилось еще виднѣе обиліе всѣхъ даровъ, въ немъ заключенныхъ. Тамъ слышенъ въ одно и то же время политикъ, философъ, тонкій оцѣнщикъ и критикъ, положительный государственный человѣкъ и даже опытный вѣдатель практической стороны жизни, — словомъ, всѣ тѣ качества, которыя долженъ заключать въ себѣ глубокой историкъ въ значеніи высшемъ; и еслибы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонвизина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ, то можно сказать почти навѣрное, что подобнаго по достоинству историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа. Но отсутствіе большого и полнаго труда есть болѣзнь князя Вяземскаго, и это слышится въ самыхъ его стихотвореніяхъ. Въ нихъ замѣтно отсутствіе внутренняго гармоническаго согласованія въ частяхъ, слышенъ разладъ: слово не сочеталось со словомъ, стихъ со стихомъ; возлѣ крѣпкаго и твердаго стиха, какого нѣтъ ни у одного поэта, помѣщается другой, ничѣмъ на него непохожий: то вдругъ защемишь онъ чѣмъ-то вырваннымъ живьемъ изъ самого сердца, то вдругъ оттолкнешь отъ себя звукомъ, почти чуждымъ сердцу, раздавшимся совершенно не въ тактъ съ предметомъ; слышна несобранность въ себя, неполная жизнь своими силами; слышится на днѣ всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человѣка, одареннаго способностями разнообразными и очутившагося безъ такого дѣла которое бы заняло всѣ до единой его способности, тяжелѣе участи послѣдняго бѣдняка. Только тотъ трудъ, который заставляетъ цѣликомъ всего человѣка обратиться къ себѣ и уйти въ себя, есть нашъ избавитель. На немъ только, какъ говорить поэтъ,

Душа прямится, крѣпнеть воля,
И наша собственная доля
Опредѣляется видѣй.

Въ то время, когда наша поэзія совершала такъ быстро своеобразный ходъ свой, воспитываясь поэтами всѣхъ вѣковъ и націй, обвѣваясь звуками всѣхъ поэтическихъ странъ, пробуя всѣ тоны и аккорды, одинъ поэтъ оставался въ сторонѣ. Выбравши себѣ самую незамѣтную и узкую тропу, шель онъ по ней почти безъ шума, пока не переросъ другихъ, какъ крѣпкій дубъ перерастаетъ всю рощу, вначалѣ его скрывавшую. Этотъ поэтъ — Крыловъ. Выбралъ онъ себѣ форму басни, всѣми пренебреженную, какъ вещь старую, негодную для употребленія и почти дѣтскую игрушку, и въ сей баснѣ умѣлъ сдѣлаться народнымъ поэтомъ. Это наша крѣпкая русская голова, тотъ самый умъ, который съ родни уму нашихъ пословицъ, тотъ самый умъ, которымъ крѣпокъ русскій человѣкъ, умъ выводовъ такъ-называемый задній умъ. Пословица не есть какое-нибудь впередъ поданное мнѣніе, или предположеніе о дѣлѣ, но уже подведенный итогъ дѣлу, отсѣдъ, отстой уже перебродившихъ и кончившихся событій, окончательное извлеченіе силы дѣла изъ всѣхъ сторонъ его, а не изъ одной. Это выражается и въ поговоркѣ: *одна рѣчь — не пословица*. Вслѣдствіе этого задняго ума, или ума окончательныхъ выводовъ, которымъ преимущественно надѣленъ передъ другими русскій человѣкъ, наши пословицы значительнѣе пословицъ всѣхъ другихъ народовъ. Сверхъ полноты мыслей, уже въ самомъ образѣ выраженія въ нихъ отразилось много народныхъ свойствъ нашихъ; въ нихъ все есть: издѣвка, насмѣшка, попрекъ, — словомъ, все шевелящее и задирающее за живое. Какъ стоглазый Аргусъ, глядитъ изъ нихъ каждая на человѣка. Всѣ великіе люди, отъ Пушкина до Суворова и Петра, благоговѣли передъ нашими пословицами. Уваженіе къ нимъ выразилось многими поговорками: *пословица ж даромъ молвится*, или *во-вѣкъ не сломится*. Извѣстно, что если сумѣешь замкнуть рѣчь ловко-прибранною пословицей, то симиъ объяснишь ее вдругъ народу, какъ бы сама по себѣ ни была она выше его понятія.

Отсюда-то ведетъ свое происхожденіе Крыловъ. Его басни отнюдь не для дѣтей. Тотъ ошибется грубо, кто назоветъ его баснописцемъ въ такомъ смыслѣ, въ какомъ были баснописцы

Лафонтенъ, Дмитріевъ, Хемницеръ и наконецъ Измайловъ. Его притчи — достояніе народное и составляютъ бнигу мудрости самого народа. Звѣри у него мыслятъ и поступаютъ слишкомъ по-русски: въ ихъ продѣлкахъ между собою слышны продѣлки и обряды производствъ внутри Россіи. Кромѣ звѣрнаго сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медвѣдь, волкъ, но даже самъ горшокъ поворачивается какъ живой, они показали въ себѣ еще и русскую природу. Даже осель, который у него до того опредѣлился въ характерѣ своемъ, что стѣитъ ему высунуть только уши изъ какой-нибудь басни, какъ уже читатель вскрикиваетъ впередъ: „Это осель Крылова!“ — даже осель, несмотря на свою принадлежность климату другихъ земель, явился у него русскимъ человекомъ. Нѣсколько лѣтъ производя кражу по чужимъ огородамъ, онъ возгорѣлся вдругъ честолюбіемъ, захотѣлъ ордена и заважничалъ страхъ, когда хозяинъ повѣсидъ ему на шею звонокъ, не размысливъ того, что теперь всякая кража и пакость его будутъ видны всѣмъ и привлекутъ отовсюду побои на его бока. Словомъ, всюду у него Русь и пахнетъ Русью. Всякая басня его имѣетъ, сверхъ того, историческое происхожденіе. Несмотря на свою неторопливость и, повидимому, равнодушіе къ событіямъ современнымъ, поэтъ, однакоже, слѣдилъ всякое событіе внутри государства; на все подавалъ свой голосъ и въ голосѣ этомъ слышалась разумная середина, примиряющій третейскій судъ, которымъ такъ силенъ русскій умъ, когда достигаетъ до своего полного совершенства. Строго взвѣшеннымъ и крѣпкимъ словомъ такъ разомъ онъ и опредѣлитъ дѣло, такъ и означитъ въ чемъ его истинное существо. Когда нѣкоторые черезчуръ военные люди стали-было уже утверждать, что все въ государствахъ должно быть основано на одной военной силѣ и въ ней одной спасеніе, а чиновники штатскіе начали, въ свою очередь, притрунивать надъ всѣмъ, что ни есть военнаго, изъ-за того только, что нѣкоторые обратили военное дѣло въ одни погончики да петлички, онъ написалъ знаменитый споръ пушекъ съ парусами, въ которомъ вводитъ обѣ стороны въ ихъ законныя границы симъ замѣчательнымъ четверостишіемъ:

Держава всякая сильна,
 Когда устроены въ ней мудро части:
 Оружіемъ врагамъ она грозна,
 А парусѣ — гражданскіи въ ней власти.

Такая жѣткость опредѣленія! Безъ пушекъ не защитишься, а безъ парусовъ и вовсе не поплывешь. Когда у нѣкоторыхъ доброжелательныхъ, но недалънозоркихъ начальниковъ утвердилось-было странное мнѣніе, что нужно опасаться бойкихъ, умныхъ людей и обходить ихъ въ должностяхъ изъ-за того единственно, что нѣкоторые изъ нихъ были когда-то шалуны и замѣшались въ безразсудное дѣло, онъ написалъ не меньше замѣчательную басню: „Двѣ Бритвы“, и въ ней справедливо попрекнулъ начальниковъ, которые

Людей съ умомъ боится
 И держать при себѣ охотѣй дураковъ.

Особенно слышно, какъ онъ вездѣ держитъ сторону ума, какъ проситъ не пренебрегать умнаго человѣка, но умѣть съ нимъ обращаться. Это отразилось въ баснѣ „Музыканты“, которую заключилъ онъ словами: „По мнѣ, ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй!“ Не потому онъ это сказалъ, чтобы хотѣлъ похвалить пьянство, но потому, что заболѣла его душа при видѣ, какъ нѣкоторые, набравши къ себѣ, на-мѣсто мастеровъ дѣла, людей Богъ вѣсть какихъ, еще и хвастаются тѣмъ, говоря, что хотъ мастерства они и не смыслятъ, но за то отличнѣйшаго поведенія. Онъ зналъ, что съ умнымъ человѣкомъ все можно сдѣлать и не трудно обратить его къ хорошему поведенію, если съумѣешь умно говорить съ нимъ, но дурака трудно сдѣлать умнымъ, какъ ни говори съ нимъ. *Въ воръ — что въ моръ, а въ дурака — что въ прѣсномъ молоко*, говоритъ наша пословица. Но и умному дѣлаетъ онъ также крѣпкія замѣтки, сильно попрекнувши его въ баснѣ „Прудъ и Рѣка“ за то, что далъ задремать своимъ способностямъ, и строго укоривши въ баснѣ „Сочинитель и Разбойникъ“ за развратное и злое ихъ направленіе. Вообще его занимали вопросы важныя. Въ книгѣ его всѣмъ есть уроки, всѣмъ степенямъ въ государствѣ, начиная отъ главы, которому говорить онъ:

Властитель хочеть ли народы удержать?
 Держи бразды не вкрутъ, но мощною рукою. —

и до послѣдняго труженика, работающаго въ низшихъ рядахъ государственныхъ, которому указываетъ онъ на высокій удѣлъ въ видѣ пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь я тотъ почтень, кто въ низости сокрытой,
 За всѣ труды, за весь потерянный покой,
 Ни славой, ни почестями не льстится
 И мыслью оживленъ одной,
 Что къ пользѣ общей онъ трудится.

Слова эти останутся доказательствомъ вѣчнымъ, какъ благородна была душа самого Крылова. Ни одинъ изъ поэтовъ не умѣлъ сдѣлать свою мысль такъ ощутительною и выражаться такъ доступно всѣмъ, какъ Крыловъ. Поэтъ и мудрецъ слились въ немъ воедино. У него живописно все, начиная отъ изображенія природы плѣнительной, грозной, и даже грязной, до передачи малѣйшихъ оттѣнковъ разговора, выдающихъ живьемъ душевныя свойства. Все такъ сказано мѣтко, такъ найдены и такъ усвоены крѣпко вещи, что даже и опредѣлить нельзя, въ чемъ характеръ пера Крылова. У него не поймашь его слога. Предметъ, какъ бы не имѣя словесной оболочки, выступаетъ самъ собою, натурою передъ глаза. Стиха его также не схватишь. Никакъ не опредѣлишь его свойства: звученъ ли онъ? легокъ ли? тяжелъ ли? Звучитъ онъ тамъ, гдѣ предметъ у него звучитъ; движется, гдѣ предметъ движется; крѣпчаетъ, гдѣ крѣпнеть мысль, и становится вдругъ легкимъ, гдѣ уступаетъ легковѣсной болтовнѣ дурака. Его рѣчь покорна и послушна мысли и летаетъ какъ муха, то являясь вдругъ въ длинномъ, шестистопномъ стихѣ, то въ быстромъ, одностопномъ; разсчитаннымъ числомъ слоговъ выдаетъ она ощутительно самую невыразимую ея духовность. Стоить вспомнить величественное заключеніе басни „Двѣ Бочки:“

Великій человекъ лишь видѣнъ на дѣлахъ,
 И думаетъ свою онъ крѣпкую думу
 Безъ шума.

Тутъ отъ самаго размѣщенія словъ какъ бы слышится величіе ушедшаго въ себя человѣка.

Отъ Крылова вдругъ можно перейти къ другой сторонѣ нашей поэзіи — сатирической. У насъ у всѣхъ много ироніи. Она видна въ нашихъ пословицахъ и пѣсняхъ, и, что всего изуми-

тельнѣе, часто тамъ, гдѣ видимо страдаетъ душа и не расположена вовсе къ веселости. Глубина этой самобытной ироніи еще предъ нами не разоблачилась потому, что, воспитываясь всѣми европейскими воспитаніями, мы и тутъ отделились отъ родного корня. Наклонность къ ироніи, однакожъ, удержалась, хотя и не въ той формѣ. Трудно найти русскаго человѣка, въ котороужъ бы не соединялось, вмѣстѣ съ умъньемъ предъ чѣмъ-нибудь истинно возблаговѣть, свойство — надъ чѣмъ-нибудь истинно посмѣяться. Всѣ наши поэты заключали въ себѣ это свойство. Державинъ крупною солью разсыпалъ его у себя въ большей половинѣ одъ своихъ. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземскаго; оно слышно даже у такихъ поэтовъ, которые въ характерѣ своемъ имѣли нѣжное, меланхолическое расположеніе: у Капниста, у Жуковскаго, у Карамзина, у князя Долгорукова; оно есть что-то сродное намъ всѣмъ. Естественно, что у насъ должны были развиться писатели собственно сатирическіе. Уже въ то время, когда Ломоносовъ настраивалъ свою лиру на высокій лирической лады, князь Кантемиръ находилъ пищу для сатиры и хлесталъ ею глупости едва начинавшагося общества. Въ разныя эпохи появлялось у насъ множество сатиръ, эпиграммъ, насмѣшливыхъ перелицовокъ на изнанку извѣстнѣйшихъ произведеній и всякаго рода пародій ѣдкихъ, злыхъ, которыя останутся, вѣроятно, всегда въ рукописяхъ и въ которыхъ всюду видна большая сила. Стоитъ вспомнить пародіи князя Горчакова, сатиру на литераторовъ Воейкова: „Домъ сумасшедшихъ“ и талантливныя пародіи Михаила Дмитріева, гдѣ желчь Ювенала соединилась съ какимъ-то особеннымъ славянскимъ добродушіемъ. Но сатира скоро попросила себѣ поприща обширнѣйшаго и перешла въ драму. Театръ начался у насъ такъ же, какъ и повсюду, сначала подражаніями; потомъ стали пробивать черты оригинальныя. Въ трагедіи явились нравственная сила и незнаніе человѣка подъ условіемъ взятой эпохи и вѣка; въ комедіи — легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, безъ взгляда на душу человѣка. Имена: Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховскаго, Хмѣльницкаго, Загоскина, А. Писарева — помнятся съ уваженіемъ; но все это поблѣднѣло

передъ двумя яркими произведеніями: передъ комедіями Фонвизина „Недоросль“ и Грибоѣдова „Горе отъ ума“, которыя весьма остроумно назвалъ князь Вяземскій двумя современными трагедіями. Въ нихъ уже не легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, но раны и болѣзни нашего общества, тяжелыя злоупотребленія внутреннія, которыя безпощадною силою ироніи выставлены въ очевидности потрясающей. Обѣ комедіи взяли двѣ разныя эпохи. Одна поразила болѣзни отъ непросвѣщенія, другая — отъ дурно-понятого просвѣщенія.

Комедія Фонвизина поражаетъ огрубѣлое звѣрство человѣка, происшедшее отъ долгаго, безчувственнаго, не потрясаемаго застоя въ отдаленныхъ углахъ и захолустяхъ Россіи. Она выставила такъ страшно эту кору огрубѣнія, что въ ней почти не узнаешь русскаго человѣка. Кто можетъ узнать что-нибудь русское въ этомъ злобномъ существѣ, исполненномъ тиранства, какова Простакова, мучительница крестьянъ, мужа и всего, кромѣ своего сына? А между тѣмъ чувствуешь, что нигдѣ въ другой землѣ, ни во Франціи, ни въ Англіи, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь къ своему дѣтищу есть наша сильная русская любовь, которая въ человѣкѣ, потерявшемъ свое достоинство, выразилась въ такомъ извращенномъ видѣ, въ такомъ чудномъ соединеніи съ тиранствомъ, такъ что, чѣмъ болѣе она любитъ свое дитя, тѣмъ болѣе ненавидитъ все, что не есть ея дитя. Потому характеръ Скотинина — другой типъ огрубѣнія. Его неуклюжая природа, не получивъ на свою долю никакихъ сильныхъ и неистовыхъ страстей, обратилась въ какую-то болѣе спокойную, въ своемъ родѣ художественную любовь къ скотинѣ, на мѣсто человѣка: свиньи сдѣлались для него то же, что для любителя искусствъ картинная галерея. Потому супругъ Простаковой — несчастное, убитое существо, въ которомъ и тѣ слабыя силы, какія держались, забыты понуканіями жены, — полное притупленіе всего! Наконецъ самъ Митрофанъ, который, ничего не заключая злобнаго въ своей природѣ, не имѣя желанія наносить кому-либо несчастіе, становится нечувствительно, съ помощію угожденій и баловства, тираномъ всѣхъ, и всего болѣе тѣхъ, которые его сильнѣе любятъ, то-есть матери и няньки,

такъ что наносить имъ оскорбленіе — сдѣлалось ему уже наслажденіемъ. Словомъ, лица эти какъ бы уже не-русскія; трудно даже и узнать въ нихъ русскія качества, исключая только развѣ одну Еремѣвну да отставного солдата. Съ ужасомъ слышишь, что уже на нихъ не подѣйствуешь ни вліяніемъ Церевы, ни обычаями старины, отъ которыхъ удерживалось въ нихъ одно пошлое, и только одному желѣзному закону здѣсь мѣсто. Все въ этой комедіи кажется чудовищною-карикатурою на русское, а между тѣмъ нѣтъ ничего въ ней каррикатурнаго; все взято живьемъ съ природы и проверено знаніемъ души. Это тѣ неотразимо-страшные идеалы огрубѣнія, до которыхъ можетъ достигнуть только одинъ человѣкъ Русской земли, а не другого народа.

Комедія Грибоѣдова взяла другое время общества, — выставила болѣзни отъ дурно-понятаго просвѣщенія, отъ принятія глупыхъ свѣтскихъ мелочей на мѣсто глупаго, — словомъ, взяла донкишотскую сторону нашего европейскаго образованія, несвязавшуюся смѣсь обычаевъ, сдѣлавшую Русскихъ не русскими, но иностранцами. Типъ Фамусова такъ же глубоко постигнуть, какъ и Простаковой. Такъ же наивно, какъ хвастается Простакова своимъ невѣжествомъ, онъ хвастается полупросвѣщеніемъ, какъ собственнымъ, такъ и всего того сословія, къ которому принадлежитъ: хвастается тѣмъ, что московскія дѣвицы верхнія выводятъ ноты, словечка два не скажутъ, все съ ужимкой; что дверь у него отперта для всѣхъ, какъ званыхъ, такъ и незваныхъ, особенно для иностранныхъ; что канцелярія у него набита ничего не дѣлающею роднею. Онъ благодѣтельный, степенный человѣкъ, и волокита, и читаетъ мораль, и мастеръ такъ пообѣдать, что въ три дня не сварится. Онъ даже вольнодумецъ, если соберется съ подобными себѣ стариками, и въ то же время готовъ не допустить на выстрѣлъ къ столицамъ молодыхъ вольнодумцевъ, которыхъ именемъ честить всѣхъ, кто не подчинился принятымъ свѣтскимъ обычаямъ ихъ общества. Въ существѣ своемъ, это одно изъ тѣхъ вывѣтрившихся лицъ, въ которыхъ, при всемъ ихъ свѣтскомъ *comme il faut*, не осталось ровно ничего, которыя своимъ пребываніемъ въ столицѣ и службою такъ же вредны обществу, какъ другіе ему вредны своею неслужбою

и огрубѣлымъ пребываніемъ въ деревнѣ. Вредны, во-первыхъ, собственнымъ имѣніямъ своимъ — тѣмъ, что, предавши ихъ въ руки наемниковъ и управителей, требуя отъ нихъ только денегъ для своихъ баловъ и обѣдовъ званыхъ и незваныхъ, они разрушили истинно-законныя узы, связавшія помѣщиковъ съ крестьянами; вредны, во-вторыхъ, на служащемъ поприщѣ — тѣмъ, что, доставляя мѣста однимъ только ничего не дѣлающимъ родственникамъ своимъ, отняли у государства истинныхъ дѣльцовъ и отвадили охоту служить у честнаго человѣка; вредны, наконецъ, въ-третьихъ, духу правительства своею двусмысленною жизнію — тѣмъ, что, подѣ личиною усердія къ царю и благонамѣренности, требуя поддѣльной нравственности отъ молодыхъ людей и развратничая въ то же время сами, возбудили негодованіе молодежи, неуваженіе къ старости и заслугамъ и наклонность къ вольнодумству, дѣйствительному у тѣхъ, которые имѣютъ некрѣпкія головы и способны вдаваться въ крайности. Не меньше замѣчательенъ другой типъ: отъявленный мерзавецъ Загорѣцкій, вездѣ ругаемый и, къ изумленію, всюду принимаемый, лгунъ, плутъ, но въ то же время мастеръ угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставленіемъ ему того, къ чему онъ грѣховно падохъ, готовый, въ случаѣ надобности, сдѣлаться патриотомъ и ратоборцемъ нравственности, зажечь костры и на нихъ предать пламени всѣ книги, какія ни есть на свѣтѣ, а въ томъ числѣ и сочинителей даже самыхъ басень за ихъ вѣчныя насмѣшки надъ львами и орлами, и симъ обнаружившій, что, не боясь ничего, даже самой позорнѣйшей брани, боится, однакожь, насмѣшки, какъ чортъ креста. Не меньше замѣчательенъ третій типъ: глухой либераль Репетидовъ, рыцарь пустоты во всѣхъ ея отношеніяхъ, рыскающій по ночнымъ собраніямъ, радующійся, какъ Богъ въстѣ какой находкѣ, когда удастся ему пристегнуться къ какому-нибудь обществу, которое шумитъ о томъ, чего онъ не понимаетъ, чего и разсказать даже не умѣетъ, но котораго бредни слушаетъ онъ съ чувствомъ, въ увѣренности, что попалъ наконецъ на настоящую дорогу и что тутъ кроется дѣйствительно какое-то общественное дѣло, которое хотя еще не созрѣло, но какъ разъ созрѣетъ, если только о

нежь пошумять побольше, стануть почаще собираться по ночамъ да позадористѣ между собою спорить. Не меньше замѣчательнъ четвертый типъ: глупый фрунтовикъ Скалозубъ, появившій службу единственно въ умѣннѣ различать форменныя отлички, но, при всемъ томъ, удержавшій какой-то свой особенный философскій либеральный взглядъ на чины, признающійся откровенно, что онъ ихъ считаетъ какъ необходимые каналы къ тому, чтобы по-пасть въ генералы, а тамъ ему хоть трава не рости; всѣ прочія тревоги ему ни почемъ, а обстоятельства времени и вѣка для него не головоломная наука: онъ искренно увѣренъ, что весь міръ можно успокоить, давши ему въ Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замѣчательный также типъ и старуха Хлѣстова, жалкая смѣсь пошлости двухъ вѣковъ, удержавшая изъ старинныхъ временъ только одно пошлое, съ притязаніями на уваженіе отъ новаго поколѣнія, съ требованіями почтенія къ себѣ отъ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ сама презираетъ, готовая избранить вслухъ и встрѣчнаго, и поперечнаго за то только, что не такъ къ ней сѣлъ, или передъ нею оборотился, ни къ чему не питающая никакой любви и никакого уваженія; но покровительница арапчонковъ, мосекъ и людей въ родѣ Молчалина, — словомъ, старуха-дрянь въ полномъ смыслѣ этого слова. Самъ Молчалинъ — тоже замѣчательный типъ. Мѣтко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамѣстъ тихомолкомъ пробирающееся въ люди, но въ которомъ, по словамъ Чацкаго, готовится будущій Загорѣцкій. Такое скопище уродовъ общества, изъ которыхъ каждый окаррикуриль какое-нибудь мнѣніе, правило, мысль, извративши по-своему законный смыслъ ихъ, должно было вызвать въ отпоръ ему другую крайность, которая обнаружилась ярко въ Чацкомъ. Въ досадѣ и въ справедливомъ негодованіи противу ихъ всѣхъ, Чацкій переходилъ также въ излишество, не замѣчая, что черезъ это самое и черезъ этотъ невоздержанный языкъ свой онъ дѣлается самъ нестерпимъ и даже смѣшонъ. Всѣ лица комедіи Грибоѣдова суть такія же дѣти полупросвѣщенія, какъ Фонвизиновы — дѣти непросвѣщенія, русскіе уроды, временныя, переходяція лица, образовавшіяся среди броженія новой закваски. Прямо-русскаго типа нѣтъ ни въ комъ изъ нихъ: не слышно

русскаго гражданина. Зритель остается въ недоумѣніи насчетъ того, чѣмъ долженъ быть русскій человѣкъ. Даже то лицо, которое взято, повидимому, въ образецъ, то-есть самъ Чацкій, показываетъ только стремленіе чѣмъ-то сдѣлаться, выражаетъ только негодованіе противу того, что презрѣнно и мерзко въ обществѣ, но не даетъ въ себѣ образца обществу.

Объ комедіи исполняютъ плохо сценическія условія; въ семь отношеніи ничтожная французская піеса ихъ лучше. Содержаніе, взятое въ интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о немъ не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержаніе и соображая съ нимъ выходы и уходы лицъ своихъ. Степень потребности побочныхъ характеровъ и ролей измѣрена также не въ отношеніи къ герою піесы, но въ отношеніи къ тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствіемъ своимъ на сценѣ, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. Въ противномъ же случаѣ, то-есть еслибы они выполняли и эти необходимыя условія всякаго драматическаго творенія и заставили каждое изъ лицъ, такъ мѣтко схваченныхъ и постигнутыхъ, изворотиться передъ зрителемъ въ живомъ дѣйствіи, а не въ разговорѣ, — это были бы два высокія произведенія нашего генія. И теперь даже ихъ можно назвать истинно-общественными комедіями, и подобнаго выраженія, сколько мнѣ кажется, не принимала еще комедія ни у одного изъ народовъ. Есть слѣды общественной комедіи у древнихъ грековъ; но Аристофанъ руководился болѣе личнымъ расположеніемъ, нападалъ на злоупотребленія одного какого-нибудь человѣка и не всегда имѣлъ въ виду истину: доказательствомъ тому то, что онъ дерзнулъ осмѣять Сократа. Наши комики двинулись общественною причиною, а не собственною; — возстали не противъ одного лица, но противъ цѣлаго множества злоупотребленій, противъ уклоненія всего общества отъ прямой дороги. Общество сдѣлали они какъ бы собственнымъ своимъ тѣломъ; огнемъ негодованія лирическаго зажглась беспощадная сила ихъ насмѣшки. Это — продолженіе той же брани свѣта со тьмой, внесенной въ Россіи Петромъ, которая всякаго благороднаго Русскаго дѣлаетъ уже невольно

ратнивомъ свѣта. Обѣ комедіи ничуть не созданія художественныя и не принадлежатъ фантазіи сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобъ явились онѣ почти сами собою, въ видѣ какого-то грознаго очищенія. Вотъ почему по слѣдамъ ихъ не появлялось въ нашей литературѣ ничего имъ подобнаго и, вѣроятно, долго не появится.

Со смертію Пушкина остановилось движеніе поэзіи нашей впередъ. Это, однакоже, не значитъ, чтобъ духъ ея угаснулъ; напротивъ, онъ, какъ гроза, невидимо накапливается вдали; самая сухость и духота въ воздухѣ возвѣщаютъ его приближеніе. Уже явились и теперь люди не безъ талантовъ. Но еще все находится подъ сильнымъ вліяніемъ гармоническихъ звуковъ Пушкина; еще никто не можетъ вырваться изъ этого заколдованнаго, имъ очертаннаго круга и показать собственныя силы. Еще даже не слышитъ никто, что вокругъ него настало другое время, образовались стихіи новой жизни и раздаются вопросы, которые дотолѣ не раздавались; а потому ни въ комъ изъ нихъ еще нѣтъ самоцвѣтности. Ихъ даже не слѣдуетъ называть по именамъ, кромѣ одного Лермонтова, который себя выставилъ впередъ больше другихъ и котораго уже нѣтъ на свѣтѣ. Въ немъ слышатся признаки таланта первостепеннаго; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звѣзда, которой управленіе захотѣлось ему надъ собою признать. Попадши съ самаго начала въ кругъ того общества, которое справедливо можно было назвать временнымъ и переходнымъ, которое, какъ бѣдное растеніе, сорвавшееся съ родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степямъ, слыша само, что не прирости ему ни къ какой другой почвѣ, и его жребій — завянуть и пропасть, — онъ уже съ раннихъ поръ сталъ выражать то раздирающее сердце равнодушіе ко всему, которое не слышалось еще ни у одного изъ нашихъ поэтовъ. Безрадостныя встрѣчи, беспечальныя разставанья, странныя, бессмысленныя любовныя узы, неизвѣстно зачѣмъ заключаемыя и неизвѣстно зачѣмъ разрываемыя, стали предметомъ стиховъ его и подали случай Жуковскому весьма вѣрно опредѣлить существо этой поэзіи словомъ *безочарованіе*. Съ помощію таланта Лермонтова, оно сдѣлалось-было на время моднымъ. Какъ нѣкогда, съ

легкой руки Шиллера, пронеслось-было по всему свѣту *очарованіе* и стало моднымъ, какъ потомъ, съ тяжелой руки Байрона, пошло въ ходъ *разочарованіе*, порожденное, можетъ-быть, излишнимъ очарованіемъ, и стало также на время моднымъ, такъ наконецъ пришла очередь и *безочарованію*, родному дѣтищу Байроновскаго разочарованія. Существованіе его, разумѣется, было кратковременнѣе всѣхъ прочихъ, потому что въ безочарованіи ровно нѣтъ никакой приманки ни для кого. Признавши надъ собою власть какого-то обольстительнаго демона, поэтъ покушался не разъ изобразить его образъ, какъ бы желая стихами отъ него отдѣлаться. Образъ этотъ не вызначенъ опредѣлительно, даже не получилъ того обольстительнаго могущества надъ чело-вѣкомъ, которое онъ хотѣлъ ему придать. Видно, что выросъ онъ не отъ собственной силы, но отъ усталости и лѣни чело-вѣка сражаться съ нимъ. Въ неоконченномъ его стихотвореніи, названномъ: „Сказка для дѣтей“, образъ этотъ получаетъ больше опредѣлительности и больше смысла. Можетъ-быть, съ окончаніемъ этой повѣсти, которая есть его лучшее стихотвореніе, отдѣлался бы онъ отъ самого духа и виѣсть съ нимъ и отъ безотраднаго своего состоянія (примѣты тому уже сіяютъ въ стихотвореніяхъ „Ангель“, „Молитва“ и нѣкоторыхъ другихъ), еслибы только сохранилось въ немъ самое побольше уваженія и любви къ своему таланту. Но никто еще не игралъ такъ легкомысленно съ своимъ талантомъ и такъ не старался показать къ нему какое-то даже хвастливое презрѣніе, какъ Лермонтовъ. Не замѣтно въ немъ никакой любви къ дѣтямъ своего же воображенія. Ни одно стихотвореніе не выносилось въ немъ, не воздѣлывалось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось въ себѣ самомъ; самый стихъ не получилъ еще своей собственной твердой личности и блѣдно напоминаетъ то стихъ Жуковскаго, то Пушкина; повсюду излишество и многорѣчіе. Въ его сочиненіяхъ прозаическихъ гораздо больше достоинства. Никто еще не писалъ у насъ такую правильную, прекрасную и благоуханную прозу. Тутъ видно больше углубленія въ дѣйствительность жизни, — готовился будущій великій живописецъ русскаго быта..... Но внезапная смерть вдругъ его отъ насъ унесла. Слышно страшное

въ судьбѣ нашихъ поэтовъ. Какъ только кто-нибудь изъ нихъ, упустивъ изъ виду свое главное поприще и назначеніе, бросался на другое, или же опускался въ тотъ омутъ свѣтскихъ отношеній, гдѣ не слѣдуетъ ему быть и гдѣ нѣтъ мѣста для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдругъ изъ нашей среды. Три первостепенныхъ поэта: Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ, одинъ за другимъ, въ виду всѣхъ, были похищены насильственною смертію, въ теченіе одного десятилѣтія, въ порѣ самаго цвѣтущаго мужества, въ полномъ развитіи силъ своихъ, — и никого это не поразило, даже не содрогнулось вѣтреное племя.

Но пора, однакоже, сказать въ заключеніе, что такое наша поэзія вообще, зачѣмъ она была, къ чему служила, что сдѣлала для всей Русской земли нашей. Имѣла ли она вліяніе на духъ современнаго ей общества, воспитавши и облагородивши каждаго, сообразно его мѣсту, и возвысивши понятія всѣхъ вообще, сообразно духу земли и кореннымъ силамъ народа, которыми должно двигаться государство; или же она была, просто, вѣрною картиною нашего общества — картиною полною и подробною, яснымъ зеркаломъ всего нашего быта? Не была она ни тѣмъ, ни другимъ; ни того, ни другого она не сдѣлала. Она была почти незнаема и невѣдома высшимъ обществомъ, которое въ то время воспитывалось другимъ воспитаніемъ, подъ вліяніемъ гувернеровъ французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, подъ вліяніемъ выходцевъ изъ всѣхъ странъ, всѣхъ возможныхъ сословій, съ различными образами мыслей, правилъ и направленій. Общество наше, чего не случалось еще доселѣ ни съ однимъ народомъ, воспитывалось въ невѣдѣніи земли своей посреди самой земли своей. Даже языкъ былъ позабытъ, такъ что поэзіи нашей были даже отрѣзаны дороги и пути къ тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она къ обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила въ гостиную какое-нибудь стихотворное произведеніе, или же плодъ незрѣлой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведеніе, но отвѣчавшее какимъ-нибудь чужеземно-вольнодумнымъ мыслямъ, занесеннымъ въ голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиною, что общество узнавало о суще-

ствованіи среди него поэта. — Словомъ, поэзія наша ни поучала общества, ни выражала его. Какъ бы слыша, что ея участь не для современнаго общества, неслась она все время свыше общества; если-жъ и опускалась къ нему, то развѣ за тѣмъ только, чтобы хлеснуть его бичомъ сатиры, а не передать его жизнь въ образецъ потомству. Дѣло странное: предметомъ нашей поэзіи все же были мы, но мы въ ней не узнаемъ себя. Когда поэтъ показываетъ намъ наши лучшія стороны, намъ это кажется преувеличеннымъ, и мы почти готовы не вѣрить тому, что говорить намъ о насъ же Державинъ. Когда же выставляетъ писатель наши низкія стороны, мы опять не вѣримъ, и намъ это кажется каррикатурою. Есть точно въ томъ и другомъ какъ бы какая-то преувеличенная сила, хотя въ самомъ дѣлѣ преувеличенія нѣтъ. Причиною перваго то, что наши лирическіе поэты, владѣя тайною прозрѣвать въ зернѣ, почти непримѣтномъ для простыхъ глазъ, будущій великолѣпный плодъ его, выставляли очищеннѣе всякое свойство наше. Причиною втораго то, что сатирическіе наши писатели, нося въ душѣ своей, хотя еще и неясно, идеаль уже лучшаго русскаго человѣка, видѣли яснѣе все дурное и низкое дѣйствительно-русскаго человѣка. Сила негодованія благороднаго давала имъ силу выставлять ярче ту же вещь, нежели какъ ее можетъ увидѣть обыкновенный человѣкъ. Вотъ отчего въ послѣднее время сильнѣе всѣхъ прочихъ свойствъ нашихъ развилась у насъ насмѣшливость. Все смѣется у насъ одно надъ другимъ, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смѣющееся надъ всѣмъ равно, надъ стариною и надъ новизною, и благоговѣющее только предъ однимъ не старѣющимъ и вѣчнымъ. Итакъ, поэзія наша не выразила намъ нигдѣ русскаго человѣка вполне, — ни въ томъ *идеаль*, въ какомъ онъ долженъ быть, ни въ той *дѣйствительности*, въ какой онъ и нынѣ есть. Она собрала только въ кучу безчисленные оттѣнки разнообразныхъ качествъ нашихъ; она совокупила только въ одно казнохранилище отдѣльно взятыхъ стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспѣло еще время живописать себя цѣликомъ и хвастаться собою, что еще нужно намъ самимъ прежде организовать, стать собою и сдѣлаться русскими. Еще

только размягчена и приготовлена наша природа къ тому, чтобы принять ей принадлежащую форму; еще не успѣли мы вывести итоговъ изъ множества всякихъ элементовъ и началъ, нанесенныхъ отвсюду въ нашу землю; еще во всякомъ изъ насъ безтолковая встрѣча чужеземнаго съ своимъ и неразумное извлеченіе того самаго вывода, для котораго повелѣна Богомъ эта встрѣча. Слыша это, поэты какъ бы заботились только о томъ, чтобы не пропало въ этой борьбѣ лучшее изъ нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, гдѣ находили, и спѣшили его выносить на свѣтъ, не заботясь о томъ, гдѣ и какъ его поставить. Такъ бѣдный хозяинъ, изъ охваченнаго пламенемъ дома, старается выхватить только то, что есть въ немъ драгоцѣннѣйшаго, не заботясь о прочемъ. Поэзія наша звучала не для современнаго ей времени, но чтобы, если настанетъ наконецъ то благодатное время, когда мысль о внутреннемъ построеніи человѣка въ такомъ образѣ, въ какомъ повелѣлъ ему соорудиться Богъ изъ самородныхъ началъ земли, сдѣлается наконецъ у насъ общею по всей Россіи и равно желанною всѣмъ, то, чтобы увидѣли мы, что есть дѣйствительно въ насъ лучшаго собственно нашего, и не позабыли бы его вмѣстить въ свое построеніе. Наши собственныя сокровища станутъ намъ открываться больше и больше, по мѣрѣ того, какъ мы станемъ внимательнѣе вчитываться въ нашихъ поэтовъ. По мѣрѣ бѣльшаго и лучшаго ихъ узнанія, намъ откроются и другія ихъ высшія стороны, доселѣ почти никѣмъ не замѣчаемыя: увидимъ, что они были не одними казначеями сокровищъ нашихъ, но отчасти даже и строителями нашими, или дѣйствительно имѣя о томъ мысль, или ея не имѣя, но показавши своею высшею отъ насъ природою которое-нибудь изъ нашихъ народныхъ качествъ, которое въ нихъ развилось виднѣе, за тѣмъ именно, чтобы блеснуть предъ нами во всей красѣ своей. Это стремленіе Державина — начертать образъ непреклоннаго, твердаго мужа въ какомъ-то библейско-исполинскомъ величіи — не было стремленіемъ произвольнымъ; начала ему онъ услышалъ въ нашемъ народѣ. Широкія черты человѣка величаваго носятся и слышатся по всей Русской землѣ такъ сильно, что даже чужеземцы, заглянувшіе во внутрь Россіи, ими поражаются еще прежде, нежели

успѣвають узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно одинъ изъ нихъ, издавшій свои записки съ тѣмъ именно, чтобы показать Европѣ съ дурной стороны Россію *), не могъ скрыть изумленія своего при видѣ простыхъ обитателей деревенскихъ избъ нашихъ. Какъ пораженный, останавливался онъ предъ нашими маститыми, бѣловласыми старцами, сидящими у пороговъ избъ своихъ, которые казались ему величавыми патріархами древнихъ библейскихъ временъ. Но одинъ разъ сознался онъ, что нигдѣ въ другихъ земляхъ Европы, гдѣ ни путешествовалъ онъ, не представлялся ему образъ человѣка въ такомъ величїи, близкомъ къ патріархально-библейскому. И эту мысль повторилъ онъ нѣсколько разъ на страницахъ своей, растворенной ненавистію къ намъ, книги. Это свойство *чуткости*, которое въ такой высокой степени обнаружилось въ Пушкинѣ, есть наше народное свойство. Вспомнимъ только одни названія, которыми народъ самъ характеризуетъ въ себѣ это свойство, напримѣръ названіе *уха*, которое дается такому человѣку, въ которомъ всѣ жилки горятъ и говорятъ, который жнѣ не постоятъ безъ дѣла, *удача* — всюду спѣющій и вездѣ успѣвающій, — и множество есть у насъ другихъ названій, опредѣляющихъ различные оттѣнки и уклоненія этого свойства. Свойство это велико: не полонъ и суровъ выйдетъ русскій мужъ, начертанный Державиннымъ, если не будетъ въ немъ чутья откликаться живо на всякой предметъ въ природѣ, изумляясь на всякомъ шагу красотѣ Божьяго творенія. Тотъ умъ, умѣющій найти законную середину всякой вещи, который обнаружился въ Крыловѣ, есть нашъ *истинно-русскій умъ*. Только въ Крыловѣ отразился тотъ вѣрный тактъ русскаго ума, который, умѣя выразить истинно существо всякаго дѣла, умѣетъ выразить его такъ, что никого не оскорбитъ выраженіемъ и не возстановитъ ни противъ себя, ни противъ мысли своей даже несходныхъ съ нимъ людей, — однимъ словомъ, тотъ вѣрный тактъ, который мы потеряли среди нашего свѣтскаго образованія и который сохранился доселѣ у нашего крестьянина. Крестьянинъ нашъ умѣетъ говорить со

*) Маркизь Кюстинъ.

всѣми себя вышними, даже съ царемъ, такъ свободно, какъ никто изъ насъ, и ни однимъ словомъ не покажетъ неприличія, тогда какъ мы часто не уиѣемъ поговорить даже съ равнымъ себѣ такимъ образомъ, чтобы не оскорбить его какииъ-нибудь выраженіемъ. Зато уже, въ комъ изъ насъ дѣйствительно образовался этотъ сосредоточенный, вѣрный истинно-русскій тактъ ума, — онъ у насъ пользуется уваженіемъ всѣхъ: ему всѣ позволяютъ сказать то, чего никому другому не позволятъ; на него никто ужъ и не сердится. У всѣхъ нашихъ писателей бывали враги, даже у самыхъ незлобнѣйшихъ и прекраснѣйшихъ душою (стѣдуетъ вспомнить Карамзина и Жуковскаго); но у Крылова не было ни одного врага. Эта *молодая удаля* и отвага рвануться на дѣло добра, которая такъ и буйствуетъ въ стихахъ Языкова, есть удаля нашего русскаго народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое даетъ у насъ вдругъ молодость и старцу, и юношѣ, если только предстанетъ случай рвануться всѣмъ на дѣло, невозможное ни для какого другого народа, которое вдругъ сливаетъ у насъ всю разнородную массу, между собою враждующую, въ одно чувство, такъ что и ссоры, и личныя выгоды каждаго — все забыто, и вся Россія — одинъ человекъ. Всѣ эти свойства, обнаруженныя нашими поэтами, суть наши народныя свойства, въ нихъ только виднѣе развѣившіяся; поэты берутся не откуда же нибудь изъ-за моря, но исходятъ изъ своего народа. Это — огни, изъ него же излетѣвшіе, передовые вѣстники силъ его. Сверхъ того поэты наши сдѣлали добро уже тѣмъ, что разнесли благозвучіе, дотолѣ небывалое. Не знаю, въ какой другой литературѣ показали стихотворцы такое безконечное разнообразіе оттѣнковъ звука, чему отчасти, разумѣется, способствовалъ самъ поэтический языкъ нашъ. У каждаго свой стихъ и свой особенный звонъ. Этотъ металлическій, бронзовый стихъ Державина, котораго до сихъ поръ не можетъ еще позабыть наше ухо; этотъ густой, какъ смола, или струя столѣтнаго тока стихъ Пушкина; этотъ сіяющій, праздничный стихъ Языкова, влетающій какъ лучъ въ душу, весь сотканный изъ свѣта; этотъ облитый ароматами полудня стихъ Батюшкова, сладостный, какъ медъ изъ горнаго ущелья; этотъ

легкій, воздушный стихъ Жуковскаго, порхающій, какъ неясный звукъ Эоловой арфы; этотъ тяжелый, какъ бы влачащій по землѣ стихъ Вяземскаго, проникнутый подъ-часъ ѣдкою, щемящею русскою грустью: всѣ они, точно разнозвонные колокола, или безчисленные клавиши одного великолѣпнаго органа, разнесли благозвучіе по Русской землѣ. Благозвучіе не такое пустое дѣло, какъ думаютъ тѣ, которые не знакомы съ поэзію. Подъ благозвучіе, какъ подъ колыбельную прекрасную пѣсню матери, убаюкивается народъ-младенецъ еще прежде, нежели можетъ войти въ значеніе словъ самой пѣсни, и нечувствительно сами собою стихаютъ и умиряются его дикія страсти. Оно такъ же бываетъ нужно, какъ во храмѣ куреніе кадильное, которое уже невидимо настраиваетъ душу къ слышанію чего-то лучшаго еще прежде, нежели началось самое служеніе. Поэзія наша пробовала всѣ аккорды, воспитывалась литературами всѣхъ народовъ, прислушивалась къ лирамъ всѣхъ поэтовъ, добывала какой-то всемірный языкъ, за тѣмъ, чтобы приготовить всѣхъ къ служенію болѣе значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тѣхъ пустякахъ, о которыхъ еще продолжаетъ вѣтрено лепетать молодое, не давшее себѣ отчета, нынѣшнее поколѣніе поэтовъ; нельзя служить и самому искусству, какъ ни прекрасно это служеніе, не уразумѣвъ его цѣли высшей и не опредѣливъ себѣ, зачѣмъ дано намъ и искусство; нельзя повторять Пушкина. Нѣтъ, не Пушкинъ или кто другой долженъ стать теперь въ образецъ намъ: другія уже времена пришли. Теперь уже ничѣмъ не возьмешь — ни своеобразіемъ ума своего, ни картинною личностію характера, ни гордостію движеній своихъ: христіанскимъ, высшимъ воспитаніемъ долженъ воспитаться теперь поэтъ. Другія дѣла наступаютъ для поэзіи. Какъ во время младенчества народовъ служила она къ тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая въ нихъ браннолюбивый духъ, такъ придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человѣка — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегіи, но за нашу душу, которую самъ небесный Творецъ нашъ считаетъ перломъ своихъ созданій. Много предстоитъ теперь для поэзіи — возвращать въ общество то, что есть истинно-прекраснаго и что

изгнано изъ него нынѣшнею безмысленною жизнію. Нѣтъ, не забывать они уже никого изъ нашихъ прежнихъ поэтовъ: самая рѣчь ихъ будетъ другая; она будетъ ближе и родственнѣе нашей русской душѣ. Еще въ ней слышиѣе выступать наши народныя начала. Еще не бьетъ всею силою кверху тотъ самородный ключъ нашей поэзіи, который уже кипѣлъ и билъ въ груди нашей природы тогда, когда и самое слово *поэзія* не было ни на чьихъ устахъ. Еще никто не черпалъ изъ самой глубины тѣхъ трехъ источниковъ, о которыхъ упомянуто въ началѣ этой статьи. Еще доселѣ загадка — этотъ необъяснимый разгулъ, который слышится въ нашихъ пѣсняхъ, несетъ куда-то мимо жизни и самой пѣсни, какъ бы сгарая желаніемъ лучшей отчизны, по которой тоскуетъ со дня созданія своего человѣкъ. Еще ни въ комъ не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена въ нашихъ многоочитыхъ пословицахъ, умѣвшихъ сдѣлать такіе великіе выводы изъ бѣднаго, ничтожнаго своего времени, гдѣ въ такихъ тѣсныхъ предѣлахъ и въ такой мутной лужѣ изворачивался русскій человѣкъ, и которыя говорятъ только о томъ, какіе огромные выводы можетъ сдѣлать нынѣшній русскій человѣкъ изъ нынѣшняго широкаго времени, въ которое нанесены итоги всѣхъ вѣковъ и, какъ не разобранный товаръ, сброшены въ одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многихъ этотъ необыкновенный лиризмъ — рожденіе верховной трезвости ума, который исходитъ отъ нашихъ церковныхъ пѣсней и каноновъ и, покуда, такъ же безотчетно возноситъ духъ поэта, какъ безотчетно поднимають его сердце родныя звуки нашей пѣсни. Наконецъ самъ необыкновенный языкъ нашъ есть еще тайна. Въ немъ всѣ тоны и оттѣнки, всѣ переходы звуковъ отъ самыхъ твердыхъ до самыхъ нѣжныхъ и мягкихъ: онъ безпредѣленъ и можетъ, живой какъ жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая съ одной стороны высокія слова изъ языка церковно-библейскаго, а съ другой стороны выбирая на выборъ мѣткія названія изъ безчисленныхъ своихъ нарѣчій, разсыпанныхъ по нашимъ провинціямъ, имѣя возможность такимъ образомъ въ одной и той же рѣчи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до

простоты ошутительной осязанію непонятливѣйшаго человѣка, — языкъ, который самъ по себѣ уже поэтъ и который не даромъ былъ на время позабытъ нашимъ лучшимъ обществомъ. Нужно было, чтобы выболтали на чужеземныхъ нарѣчіяхъ всю дрянъ, какая ни пристала къ намъ вмѣстѣ съ чужеземнымъ образованіемъ, чтобы всѣ тѣ неясныя звуки, неточныя названія вещей — дѣти мыслей, не выяснившихся и сбивчивыхъ, которыя потемняютъ языки, не посмѣли помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы къ нему, уже готовые мыслить и жить своимъ умомъ, а не чужеземнымъ. Все это еще орудія, еще матеріалы, еще глыбы, еще въ рудѣ дорогіе металлы, изъ которыхъ выкуется иная, сильнѣйшая рѣчь. Пройдетъ эта рѣчь уже насквозь всю душу и не упадетъ на неплодную землю. Скорбію ангела загорится наша поэзія и, ударивши по всѣмъ струнамъ, какія ни есть въ русскомъ человѣкѣ, внесетъ въ самыя огрубѣлыя души святню того, чего никакія силы и орудія не могутъ утвердить въ человѣкѣ; вызоветъ намъ нашу Россію, нашу русскую Россію, — не ту, которую показываютъ намъ грубо какіе-нибудь квасные патріоты, и не ту, которую вынуждаютъ къ намъ изъ-за моря очужеземившіеся русскіе, но ту, которую извлечетъ она изъ насъ же и покажетъ такимъ образомъ, что всѣ до единого, какихъ бы ни были они различныхъ мыслей, образовъ воспитанія и мнѣній, скажутъ въ одинъ голосъ: „Это наша Россія, намъ въ ней пріютно и тепло и мы теперь дѣйствительно у себя дома, подъ своею родною крышею, а не на чужбинѣ!“

XXXII.

Свѣтлое Воскресеніе.

Въ русскомъ человѣкѣ есть особенное участіе къ празднику Свѣтлаго Воскресенія. Онъ это чувствуетъ живѣе, если ему случится быть въ чужой землѣ. Видя, какъ повсюду въ другихъ странахъ день этотъ почти не отличенъ отъ другихъ дней, — тѣ же всегдашнія занятія, та же всеневная жизнь, то же будничнее выраженіе на лицахъ, — онъ чувствуетъ грусть и обра-

щается невольно къ Россіи. Ему кажется, что тамъ какъ-то лучше празднуется этотъ день, и самъ человѣкъ радостнѣе и лучше, нежели въ другіе дни, и самая жизнь какая-то другая, а не всенедельная. Ему вдругъ представляется — эта торжественная полночь, этотъ повсемѣстный колокольный звонъ, который какъ бы всю землю сливаетъ въ одинъ гулъ, это восклицаніе „Христосъ воскресъ!“, которое замѣняетъ въ этотъ день всѣ другія привѣтствія, этотъ поцѣлуй, который только раздается у насъ, — и онъ готовъ почти воскликнуть: „Только въ одной Россіи празднуется этотъ день такъ, какъ ему слѣдуетъ праздноваться!“ Разумѣется, это мечта, она исчезнетъ вдругъ, какъ только онъ перенесется на самомъ дѣлѣ въ Россію, или даже только припомнить, что день этотъ есть день какой-то полусонной бѣготни и суеты, пустыхъ визитовъ, умышленныхъ незаставаній другъ друга, на-мѣсто радостныхъ встрѣчъ, — если-жъ и встрѣчъ, то основанныхъ на самыхъ корыстныхъ расчетахъ; что честолюбіе кипитъ у насъ въ этотъ день еще больше, нежели во всѣ другіе, и говорятъ не о воскресеніи Христа, но о томъ, кому какая награда выйдетъ и кто что получить; что даже и самъ народъ, о которомъ идетъ слава, будто онъ больше всѣхъ радуется, уже пьяный попадаетъ на улицахъ, едва только успѣла кончиться торжественная обѣдня и не успѣла еще заря освѣтить землю. Вздохнетъ бѣдный русскій человѣкъ, если только все это припомнить себѣ и увидить, что это развѣ только карриатура и посмѣяніе надъ праздникомъ, а самого праздника нѣтъ. Для проформы, только какой-нибудь начальникъ чмокнетъ въ щеку инвалида, желая показать подчиненнымъ чиновникамъ, какъ нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патріотъ, въ досадѣ на молодежь, которая бранитъ старинные русскіе наши обычаи, утверждая, что у насъ ничего нѣтъ, прокричитъ гнѣвно: „У насъ все есть — и семейная жизнь, и семейныя добродѣтели; и обычаи у насъ соблюдаются свято; и долгъ свой исполняемъ мы такъ, какъ нигдѣ въ Европѣ; и мы — народъ на удивленіе всѣмъ!“

Нѣтъ, не въ видимыхъ знакахъ дѣло, не въ патріотическихъ возгласахъ и не въ поцѣлуяхъ, данныхъ инвалиду, но въ томъ,

чтобы въ самомъ дѣлѣ взглянуть въ этотъ день на человѣка какъ на лучшую свою драгоценность, такъ обнять и прижать его къ себѣ, какъ наироднѣйшаго своего брата, такъ ему обрадоваться, какъ бы своему наилучшему другу, съ которымъ нѣсколько лѣтъ не видались и который вдругъ неожиданно къ намъ пріѣхалъ. Еще сильнѣе! еще больше! потому что узъ, насъ съ нимъ связывающія, сильнѣе земного, кровнаго нашего родства, и породнились мы съ нимъ по нашему прекрасному небесному Отцу, въ нѣсколько разъ намъ ближайшему нашего земнаго отца, и день этотъ мы — въ своей истинной семьѣ, у Него Самого въ дому. День этотъ есть тотъ святой день, въ который празднуетъ святое, небесное свое братство все челоѣчество до единаго, не исключивъ изъ него ни одного человѣка.

Какъ бы этотъ день пришелся, казалось, встать нашему девятнадцатому вѣку, когда мысли о счастіи челоѣчества сдѣлались почти любимыми мыслями всѣхъ; когда обнять все челоѣчество, какъ братьевъ, сдѣлалось любимую мечтою молодого человѣка; когда многіе только и грезять о томъ, какъ преобразовать все челоѣчество, какъ возвысить внутреннее достоинство человѣка; когда почти половина, уже признала торжественно, что одно только христіанство въ силахъ это произвести; когда стали утверждать, что слѣдуетъ ближе ввести Христовъ законъ какъ въ семейственный, такъ и въ государственный бытъ; когда стали даже поговаривать о томъ, чтобы все было общее — и дома, и земли; когда подвиги сердоболія и помощи несчастнымъ стали разговоромъ даже модныхъ гостинныхъ; когда, наконецъ, стало тѣсно отъ всякихъ челоѣколюбивыхъ заведеній, страннопріимныхъ домовъ и пріютовъ. Какъ бы, казалось, девятнадцатый вѣкъ долженъ былъ радостно воспризнать этотъ день, который такъ по сердцу всѣмъ великодушнымъ и челоѣколюбивымъ его движеніямъ! Но на этомъ-то самомъ днѣ, какъ на пробномъ камнѣ, видишь, какъ блѣдны всѣ его христіанскія стремленія и какъ всѣ они въ однѣхъ только мечтахъ и мысляхъ, а не на дѣлѣ. И если, въ самомъ дѣлѣ, придется ему обнять въ этотъ день своего брата, какъ брата, — онъ его не обниметъ. Все челоѣчество готовъ онъ обнять, какъ брата, а брата не обни-

метъ. Отдѣлись отъ этого человѣчества, которому онъ готовить такое великодушное объятіе, одинъ человѣкъ, его оскорбившій, которому повелѣваетъ Христосъ въ ту же минуту простить, — онъ уже не обниметъ его. Отдѣлись отъ этого человѣчества одинъ, несогласный съ нимъ въ какихъ-нибудь ничтожныхъ человѣческихъ мнѣніяхъ, — онъ уже не обниметъ его. Отдѣлись отъ этого человѣчества одинъ страждущій, виднѣе другихъ, тяжелыми язвами своихъ душевныхъ недостатковъ, больше всѣхъ другихъ требующій состраданія къ себѣ, — онъ оттолкнетъ его и не обниметъ. И достанется его объятіе только тѣмъ, которые ничѣмъ еще не оскорбили его, съ которыми не имѣлъ онъ и случая столкнуться, которыхъ онъ никогда не зналъ и даже не видалъ въ глаза. Вотъ какого рода объятія всему человѣчеству даетъ человѣкъ нынѣшняго вѣка, и часто именно тотъ самый, который думаетъ о себѣ, что онъ истинный человѣколюбецъ и совершенный христіанинъ. Христіанинъ!... Выгнали на улицу Христа, въ лазареты и больницы, на-мѣсто того, чтобы призвать Его къ себѣ въ дома, подъ родную крышу свою, и думаютъ, что они христіане!

Нѣтъ, не воспраздновать нынѣшнему вѣку Свѣтлаго праздника такъ, какъ ему слѣдуетъ праздноваться. Есть страшное пренятствіе: имя ему — *гордость*. Она была извѣстна и въ прежніе вѣки, но то была гордость болѣе ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родомъ и званіемъ; но не доходила она до того страшнаго духовнаго развитія, въ какомъ предстала теперь. Теперь явилась она въ двухъ видахъ. Первый видъ ея — гордость чистотою своею.

Обрадовавшись тому, что стало во многомъ лучше своихъ предковъ, человѣчество нынѣшняго вѣка влюбилось въ чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевною красотою своею и считать себя лучшимъ другихъ. Стѣять только приглядѣться, какимъ рыцаремъ благородства выступаетъ изъ насъ теперь всякъ, какъ безпощадно и рѣзко судить о другомъ. Стѣять только прислушаться къ тѣмъ оправданіямъ, какими онъ оправдываетъ себя въ томъ, что не обнялъ своего брата даже въ день Свѣтлаго Воскресенія. Безъ стыда и не дрогнувъ

душою, говорить онъ: „Я не могу обнять этого человѣка: онъ мерзое, онъ подлѣ душою, онъ запятналъ себя безчестнѣйшимъ поступкомъ! Я не пушу этого человѣка даже въ переднюю свою; я даже не хочу дышать однимъ воздухомъ съ нимъ; я сдѣлаю кругъ для того, чтобъ объѣхать его и не встрѣчаться съ нимъ! Я не могу жить съ подлыми и презрѣнными людьми, — неужели мнѣ обнять такого человѣка, какъ брата?“ Увы! позабылъ бѣднѣйшій человѣкъ девятнадцатаго вѣка, что въ этотъ день нѣтъ ни подлыхъ, ни презрѣнныхъ людей, но всѣ люди — братья той же семьи, и всякому человѣку имя — *братъ*, а не какое-либо другое. Все разомъ и вдругъ имъ позабыто: позабыто, что, можетъ-быть, за тѣмъ именно окружили его презрѣнные и подлые люди, чтобы, взглянувши на нихъ, взглянулъ онъ на себя и поискалъ бы въ себѣ того же самаго, чего такъ испугался въ другихъ. Позабыто, что онъ самъ можетъ на всякомъ шагу, даже не примѣтивъ того самъ, сдѣлать то же подлое дѣло, хотя въ другомъ только видѣ, — въ видѣ, не пораженномъ публичнымъ позоромъ, но которое, однакоже, выражаясь пословицею, есть *тотъ же блинъ, только на другомъ блюдѣ*. Все позабыто! Позабыто имъ то, что, можетъ-быть, оттого развелось такъ много подлыхъ и презрѣнныхъ людей, что сурово и безчеловѣчно ихъ оттолкнули лучшіе и прекраснѣйшіе люди и тѣмъ заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить къ себѣ презрѣніе! Богъ вѣсть, можетъ-быть, иной совсѣмъ былъ не рожденъ безчестнымъ человѣкомъ; можетъ-быть, бѣдная душа его, бессильная сражаться съ соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руку и ноги того, кто, подвигнутый жалостію душевною, поддержалъ бы ее на краю пропасти. Можетъ-быть, одной капли любви къ нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дордою любви было трудно достигнуть къ его сердцу; будто уже до того окаменѣла въ немъ природа, что никакое чувство не могло въ немъ пошевелиться, когда и разбойникъ благодаренъ за любовь, когда и звѣрь помнить ласкавшую его руку! Но все позабыто человѣкомъ девятнадцатаго вѣка, и отталкиваетъ онъ отъ себя брата, какъ богачъ отталкиваетъ покрытаго гноемъ нищаго отъ великолѣпнаго крыльца своего. Ему нѣтъ

дѣла до страданій его; ему бы только не видать гноя ранъ его. Онъ даже не хочетъ услышать исповѣди его, боясь, чтобы не поразилось обоняніе его смраднымъ дыханіемъ устъ несчастнаго, гордый благоуханіемъ чистоты своей. Такому ли человѣку воспринимать праздникъ небесной любви?!

Есть другой видъ гордости, еще сильнѣйшій перваго — гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, какъ въ девятнадцатомъ вѣкѣ. Она слышится въ самой боязни каждаго прослыть дуракомъ. Все вынесетъ человѣкъ вѣка: вынесетъ названіе плута, подлеца; какое хочешь дай ему названіе, онъ снесетъ его, и только не снесетъ названія дурака. Надъ всѣмъ онъ позволить посмѣяться, и только не позволить посмѣяться надъ умомъ своимъ. Умъ его для него — святыня. Изъ-за малѣйшей насмѣшки надъ умомъ своимъ, онъ готовъ сію же минуту поставить своего брата на благородное разстояніе и посадить, не дрогнувши, ему пулю въ лобъ. Ничему и ни во чтò онъ не вѣрять; только вѣрять въ одинъ умъ свой. Чего не видитъ его умъ, того для него нѣтъ. Онъ позабылъ даже, что умъ идетъ впередъ, когда идутъ впередъ всѣ нравственныя силы въ человѣкѣ, и стоитъ безъ движенія, и даже идетъ назадъ, когда не возвышаются нравственныя силы. Онъ позабылъ и то, что нѣтъ всѣхъ сторонъ ума ни въ одномъ человѣкѣ; что другой человѣкъ можетъ видѣть именно ту сторону вещи, которую онъ не можетъ видѣть, и, стало-быть, знать то, чего онъ не можетъ знать. Не вѣрять онъ этому, и все, чего не видитъ онъ самъ, то для него ложь. И тѣнь христіанскаго смиренія не можетъ къ нему прикоснуться изъ-за гордыни его ума. Во всемъ онъ усомнится: въ сердцѣ человѣка, котораго нѣсколько лѣтъ зналъ, въ правдѣ, въ Богѣ усомнится, но не усомнится въ своемъ умѣ. Уже ссоры и брани начались не за какія-нибудь существенныя права, не изъ-за личныхъ ненавистей, — нѣтъ, не чувственныя страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуютъ лично изъ несходства мнѣній, изъ-за противорѣчій въ мірѣ мысленномъ. Уже образовались цѣлыя партіи, другъ друга не видѣвшія, никакихъ личныхъ сношеній еще не имѣвшія — и уже другъ друга ненавидящія. Поразительно: въ то время, когда уже было начали думать

люди, что образованіемъ выгнали злобу изъ міра, злоба другою дорогою, съ другого конца входитъ въ міръ, — дорогою ума, и на крыльяхъ журнальныхъ листовъ, какъ всепогубляющая саранча, нападаетъ на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинаютъ говорить, хоть противу собственнаго своего убѣжденія, изъ-за того только, чтобы не уступить противной партіи, изъ-за того только, что гордость не позволяетъ сознаться передъ всѣми въ ошибкѣ, — уже одна чистая злоба воцарилась на мѣсто ума.

И человѣку ли такого вѣка умѣть полюбить и почувствовать христіанскую любовь къ человѣку? Ему ли исполниться того свѣтлаго простодушія и ангельскаго младенчества, которое собираетъ всѣхъ людей въ одну семью? Ему ли услышать благоуханіе небеснаго братства нашего? Ему ли воспризнать этотъ день? Исчезнуло даже и то наружное добродушное выраженіе прежнихъ простыхъ вѣковъ, которое давало видъ, какъ будто бы человѣкъ былъ ближе къ человѣку. Гордый умъ девятнадцатаго вѣка истребилъ его. Діаволъ выступилъ уже безъ маски въ міръ. Духъ гордости пересталъ уже являться въ разныхъ образахъ и пугать суевѣрныхъ людей: онъ явился въ собственномъ своемъ видѣ. Почуя, что признають его господство, онъ пересталъ уже и чиниться съ людьми. Съ дерзкимъ безстыдствомъ смѣется въ глаза имъ же, его признающимъ; глупѣйшіе законы даетъ міру, какіе доселѣ еще никогда не давались; и міръ это видитъ, и не смѣетъ послушаться! Что значить эта мода, ничтожная, которую допустилъ вначалѣ человѣкъ какъ мелочь, какъ невинное дѣло, и которая теперь, какъ полная хозяйка, уже стала распоряжаться въ домахъ нашихъ, выгоняя все, что есть главнѣйшаго и лучшаго въ человѣкѣ? Никто не боится преступать нѣсколько разъ въ день первѣйшіе и священнѣйшіе законы Христа — и между тѣмъ боится не исполнить ея малѣйшаго приказанія, дрожа передъ нею, какъ робкій мальчишка. Что значить, что даже и тѣ, которые сами надъ нею смѣются, — пляшутъ, какъ легкіе вѣтреники, подъ ея дудку? Что значать эти такъ называемыя безчисленныя приличія, которыя стали сильнѣе всякихъ коренныхъ постановленій? Что значать эти стран-

ныя власти, образовавшіяся мимо законныхъ, — постороннія, побочныя вліянія? Что значить, что уже правятъ міромъ швеи, портные и ремесленники всякаго рода, а Божіи помазанники остались въ сторонѣ, — люди темные, никому неизвѣстные, не имѣющіе мыслей и чистосердечныхъ убѣжденій, правятъ мнѣніями и мыслями умныхъ людей? И газетный листокъ, признаваемый живымъ всѣми, становится нечувствительнымъ законодателемъ его неуважающаго человѣка. Что значать всѣ незаконные эти законы, которые видимо, въ виду всѣхъ, чертитъ исходящая снизу нечистая сила, и міръ это видитъ весь и, какъ очарованный, не смѣетъ шевельнуться? Что за страшная насмѣшка надъ человѣчествомъ! И къ чему при такомъ ходѣ вещей сохранять еще наружные святые обычаи Церкви, небесный Хозяинъ которой не имѣетъ надъ нами власти? Или это еще новая насмѣшка духа тьмы? Но зачѣмъ этотъ утратившій значеніе праздникъ? Зачѣмъ онъ вновь приходитъ глуше и глуше скликать въ одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всѣхъ, уходитъ какъ незнакомый и чужой всѣмъ? Всѣмъ ли точно онъ незнакомъ и чуждъ? Но зачѣмъ же уцѣлѣли кое-гдѣ люди, которымъ кажется, какъ бы они свѣтлѣютъ въ этотъ день и празднуютъ свое младенчество, — то младенчество, отъ котораго небесное лобзаніе, какъ бы лобзаніе вѣчной весны, изливается на душу, — то прекрасное младенчество, которое утратилъ гордый вышній человѣкъ? Зачѣмъ еще не позабылъ человѣкъ на-вѣки это младенчество и, какъ бы видѣнное въ какомъ-то отдаленномъ мѣстѣ, оно еще шевелитъ нашу душу? Зачѣмъ все это, и къ чему это?... Будто не извѣстно, зачѣмъ? Будто не видно, къ чему? — Затѣмъ, чтобы хотя нѣкоторымъ, еще слышащимъ весеннее дыханіе этого праздника, сдѣлалось вдругъ такъ грустно, такъ грустно, какъ грустно ангелу на небѣ, и, завопивъ раздирающимъ сердце воплемъ, упали бы они къ ногамъ своихъ братьевъ, умоляя хотя бы одинъ этотъ день вырвать изъ ряду другихъ дней, одинъ бы день только провести не въ обычаяхъ девятнадцатаго вѣка, но въ обычаяхъ вѣчнаго вѣка, въ одинъ бы день только обнять и обхватить человѣка, какъ виноватый другъ обнимаетъ великодушнаго, все ему простившаго друга, хотя бы только за тѣмъ,

чтобы завтра же оттолкнуть его отъ себя и сказать ему, что онъ намъ чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать такъ, хотя бы только насильно заставить себя это сдѣлать, ухватиться бы за это, какъ утопающій хватается за доску! Богъ вѣсть, можетъ-быть, за одно это желаніе уже готова сброситься съ небесъ намъ лѣстница и протянутся рука, помогающая взлетѣть по ней.

Но и одного дня не хочетъ провести такъ человѣкъ девятнадцатаго вѣка! И непонятною тоскою уже загорѣлась земля; черствѣе и черствѣе становится жизнь; все мельчаетъ и мелѣетъ, и возрастаетъ только въ виду всѣхъ одинъ исполинскій образъ скуки, достигая съ каждымъ днемъ неизмѣримѣйшаго роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится въ Твоемъ мірѣ!

Отчего же одному Русскому еще кажется, что праздникъ этотъ празднуется какъ слѣдуетъ, и празднуется такъ въ одной его землѣ? Мечта ли это? Но зачѣмъ же эта мечта не приходитъ ни къ кому другому, кромѣ Русскаго? Чтò значить въ самомъ дѣлѣ, что самый праздникъ исчезъ, а видимые признаки его такъ ясно носятя по лицу земли нашей: раздаются слова *Христосъ воскресъ!* и поцѣлуй, и всякой разъ такъ же торжественно выступаетъ святая полночь, и гулы всезвонныхъ колоколовъ гудятъ и гудятъ по всей землѣ, точно какъ бы будятъ насъ? Гдѣ носятя такъ очевидно признаки, тамъ не даромъ носятя; гдѣ будятъ, тамъ разбудятъ. Не умираютъ тѣ обычаи, которымъ опредѣлено быть вѣчными. Умираютъ въ буквѣ, но оживаютъ въ духѣ. Померкаютъ временно, умираютъ въ пустыхъ и вывѣтрившихся толпахъ, но воскресаютъ съ новою силою въ избранныхъ, за тѣмъ, чтобы въ сильнѣйшемъ свѣтѣ отъ нихъ разлиться по всему міру. Не умретъ изъ нашей старины ни зерна того, чтò есть въ ней истинно-русскаго и чтò освящено самимъ Христомъ. Разнесется звонкими струнами поетовъ, развозвѣстится благоухающими устами святителей, вспыхнетъ померкнувшее, и праздникъ Свѣтлаго Воскресенія воспряднуется какъ слѣдуетъ, прежде у насъ, нежели у другихъ народовъ! На чемъ же основываясь, на какихъ опираясь данныхъ, заключенныхъ въ сердцахъ нашихъ, можемъ сказать это? Лучше ли мы другихъ

народовъ? Ближе ли жизнию ко Христу, чѣмъ они? — Никого мы не лучше, а жизни еще неустроеннѣй и безпорядочнѣй всѣхъ ихъ. „Хуже мы всѣхъ прочихъ“ — вотъ что мы должны всегда говорить о себѣ. Но есть въ нашей природѣ то, что намъ пророчить это. Уже самое неустройство наше намъ это пророчить. Мы еще растопленный металлъ, не отлившійся въ свою національную форму; еще намъ возможно выбросить, оттолкнуть отъ себя намъ неприличное и внести въ себя все, что уже невозможно другимъ народамъ, получившимъ форму и закалившимся въ ней. Что есть много въ коренной природѣ нашей, нами позабытой, близкаго закону Христа — доказательство тому уже то, что безъ меча пришелъ къ намъ Христосъ и приготовленная земля сердець нашихъ призвала сама собою Его слово; что есть уже начало братства Христова въ самой нашей славянской природѣ, и побратаніе людей было у насъ роднѣе дома и кровнаго братства; что еще нѣтъ у насъ непримиримой ненависти сословія противу сословія и тѣхъ озлобленныхъ партій, какія видятся въ Европѣ и которыя поставляютъ препятствіе непреоборимое къ соединенію людей и братской любви между ними; что есть, наконецъ, у насъ отвага, никому несродная, и если предстанетъ намъ всѣмъ какое-нибудь дѣло, рѣшительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, наприимѣръ, сбросить съ себя вдругъ и разомъ всѣ недостатки наши, все позорящее высокую природу человѣка, — то съ болію собственнаго тѣла, не пожалѣвъ самихъ себя, какъ въ двѣнадцатомъ году, не пожалѣвъ имуществъ, жгли дома свои и земные достатки, такъ рванется у насъ все сбрасывать съ себя позорящее и пятнающее насъ: ни одна душа не отстанетъ отъ другой, и въ такія минуты всякія ссоры, ненависти, вражды — все бываетъ позабыто, братъ повиснетъ на груди у брата, и вся Россія — одинъ человѣкъ. Вотъ на чемъ основывался, можно сказать, что праздникъ Воскресенія Христова восприизднуется прежде у насъ, нежели у другихъ. И твердо говорить мнѣ это душа моя; и это не мысль, выдуманная въ головѣ. Такія мысли не выдумываются. Внушеніемъ Божиимъ порождаются онѣ разомъ въ сердцахъ многихъ людей, другъ друга не видавшихъ, живущихъ на разныхъ концахъ земли, и въ одно

время, какъ бы изъ однихъ устъ, изглашаются. Знаю я твердо, что ни одинъ человѣкъ въ Россіи, хотя я его и не знаю, твердо вѣрить тому и говорить: „У насъ прежде, нежели во всякой другой землѣ, воспряднуется Свѣтлое Воскресеніе Христово!“

ВМѢСТО ПОСЛѢСЛОВІЯ.

Письмо объясняющее причину изданія выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями *).

(письмо къ А. О. Р.....и.)

Не знаю, какъ благодарить васъ, добрѣйшій мой Аркадій Осиповичъ, за ваше письмо и сообщеніе разныхъ мнѣній. Если бы мнѣ почаще случалось получать такія письма даже безъ сопровожденія этого добраго вашего участія и любви ко мнѣ, я бы давно уже поумнѣлъ гораздо больше, чѣмъ я есмь теперь. Но что дѣлать, если ничѣмъ никакъ не могу я до сихъ поръ никого увѣрить, что мнѣ слишкомъ нужны всякіе толки обо мнѣ, что это единственная школа моя, что есть наконецъ одинъ такой человѣкъ, которому слѣдуетъ говорить правду, какъ бы она жестка ни была, и которому нужны даже тѣ грубыя, жесткія слова, которыя умѣютъ произносить только ненависть и нелюбовь. Одна изъ причинъ печатанія моихъ писемъ была и та, чтобы поучиться, а не поучить. А такъ какъ русскаго человѣка по тѣхъ поръ не заставишь говорить, повуда не разсердишь его и не выведешь изъ терпѣнія, то я поставилъ почти нарочно много тѣхъ мѣстъ, которыя заносчивостью способны задрать за живое.

Скажу вамъ не шутя, что я болѣю незнаньемъ многихъ вещей въ Россіи, которыя мнѣ необходимо нужно знать; я болѣю незнаньемъ, что такое нынѣшній русскій человѣкъ на разныхъ степеняхъ своихъ мѣстъ, должностей и образованій. Всѣ свѣдѣнія, которыя я приобрѣлъ доселѣ съ неизмовѣрнымъ трудомъ, мнѣ недостаточны для того, чтобы „Мертвыя души“ мои были тѣмъ,

*) Это письмо не было еще нигдѣ до сихъ поръ напечатано и не назначалось авторомъ для печати. *Изд.*

чѣмъ имъ слѣдуетъ быть. Вотъ почему я съ такою жадностію хочу знать толки всѣхъ людей о моей нынѣшней книгѣ, не включая и лакеевъ. Собственно не ради книги моей, но ради того, что въ сужденіи о ней выказывается самъ человѣкъ, произносящій сужденіе. Мнѣ вдругъ видится въ этихъ сужденіяхъ, что такое онъ самъ, на какой степени своего душевнаго образованья или состоянья стоитъ, какъ проста, добра, или какъ невѣжественна, или какъ развращенна его природа. Книга моя въ нѣкоторомъ отношеніи пробный оселокъ, и повѣрьте, что ни на какой другой книгѣ вы не пощупали бы въ нынѣшнее время такъ удовлетворительно, что такое нынѣшній русскій человѣкъ, какъ на этой. Не скрою, что я хотѣлъ произвести ею вдругъ и скоро благодѣтельное дѣйствіе на нѣкоторыхъ недугующихъ, что я ожидалъ даже большаго количества толковъ въ мою пользу, чѣмъ какъ они теперь, что мнѣ тяжело даже было услышать многое, и даже очень тяжело. Но какъ я благодарю Бога, что случилось такъ, а не иначе! Я заставленъ почти невольно взглянуть гораздо строже на самого себя, я имѣю теперь средство взглянуть гораздо вѣрнѣе и ближе на людей, и я наконецъ приведенъ въ возможность умѣть взглянуть на нихъ лучше. Что же касается до того, что при этомъ дѣлѣ пострадала моя личность (я долженъ вамъ признаться, что донныя горю отъ стыда, вспоминая, какъ заносчиво выразился во многихъ мѣстахъ, почти à la Хлестаковъ), то нужно чѣмъ-нибудь пожертвовать. Мнѣ также нужна публичная оплеуха, и даже можетъ-быть болѣе, чѣмъ кому-либо другому. Но дѣло въ томъ, что обстоятельствами нужно пользоваться: Богъ высыпалъ вдругъ цѣлую груду сокровищъ, — ихъ нужно подбирать обѣими руками. Если вы хотите сдѣлать мнѣ истинно добро, какое способенъ дѣлать христіанинъ, подбирайте для меня эти сокровища, гдѣ найдете. Что вамъ стоитъ понемногу, въ видѣ журнала, записывать всякой день, хотя положимъ въ такихъ словахъ: „Сегодня я услышалъ вотъ какое мнѣніе; говорилъ его вотъ какой человѣкъ; жизни онъ слѣдующей, характера слѣдующаго (словомъ, въ бѣглыхъ чертахъ портретъ его); если-жъ онъ незнакомецъ, то жизни его я не знаю, но думаю, что онъ вотъ что, съ вида же онъ казистъ и приличенъ (или неприличенъ), держать

руку вотъ какъ, сморкается вотъ какъ, нюхаетъ табакъ · вотъ какъ.“ Словожь, не пропуская ничего того, что видитъ глазъ, отъ вещей крупныхъ до мелочей.

Повѣрьте, что это будетъ совсѣмъ не скучно. Тутъ не нужно ни плана, ни порядка: просто двѣ-три строчки передъ тѣмъ, какъ идти умываться. Я даже увѣрю, что это будетъ вамъ приятно, потому что васъ будетъ улаждать постоянно мысль, что вы это дѣлаете для человѣка васъ очень любящаго, которому это будетъ такъ радостно, какъ радостно ребенку получать передъ праздникомъ наибольшую игрушку. Что же дѣлать, если эта, повидимому, игрушка въ глазахъ другихъ, для меня совсѣмъ не игрушка; это въ такой степени не игрушка, что если я не наберусь въ достаточномъ количествѣ этихъ игрушекъ, у меня въ „Мертвыхъ душахъ“ можетъ высунуться на-мѣсто людей мой собственный носъ, и покажется именно все то, что вамъ неприятно было встрѣтить въ моей книгѣ. Повѣрьте, что безъ выхода ни-нѣшней моей книги никакъ бы я не достигнулъ той безыскусственной простоты, которая должна необходимо присутствовать въ другихъ частяхъ „М. д.“, дабы назвалъ ихъ всякой вѣрнымъ зеркаломъ, а не карриатурой. Вы не знаете того, какой большой кривъ нужно сдѣлать для того, чтобы достигнуть этой простоты. Вы не знаете того, какъ высоко стоитъ простота. Объ этомъ предметѣ лучше и не разсуждать, а просто помогите.

Что касается до печатанія писемъ, то мое рѣшеніе вотъ какое. Издавать ради не пропущенныхъ писемъ новый томъ, какъ совѣтуетъ Шлетневъ, мнѣ невозможно. У меня есть занятія, о которыхъ не нужно позабывать, а время у меня все разсчитано; къ тому же появленіе вторично сочиненья въ томъ же родѣ не произведетъ даже и шума. Мнѣ нужно только, чтобы Вяземскій снабдилъ своими замѣчаніями и поправками. Я потомъ пересмотрю и выправлю ихъ такъ, чтобъ и безъ высшихъ разсмотрѣній простой цензоръ ихъ пропустилъ. Повѣрьте, что все можно сказать, если только сужьешь умно сказать. Неуспѣхъ самыхъ великодушныхъ и благодѣтельныхъ дѣйствій происходитъ собственно отъ неразумія нашего, — именно отъ того, что безпрестанно забываемъ умную пословицу: тѣхъ же щей да пожже

влей. Если на мѣсто самоувѣреннаго и гордаго совѣта, произно-
симаго съ тономъ человѣка не думающаго, что онъ можетъ оши-
биться, явится просто скромное мнѣніе, — та же мысль пойдетъ
въ ходъ и даже будетъ принята многими изъ читающихъ. Итакъ,
что просто не у мѣста, то выбросится, что умно, то скажется въ
другомъ видѣ: гдѣ высунулась собственная моя личность, тамъ
не только ей щелчка, но даже вставится такое мѣсто, которое и
прежнему, уже напечатанному, сообщить нѣкоторый тонъ утѣ-
ренности. Но во всякомъ случаѣ эти письма нужно включить въ
книгу, а не издавать отдѣльно. Они все-таки возвысятъ ея зна-
ченіе, напомнивъ Русскому о Россіи, а не обо мнѣ. Не нужно,
чтобъ эта книга была заброшена. Какъ она ни исполнена недо-
статковъ, но она печаталась не для впечатлѣній минутныхъ. Ее
нужно перечитать нѣсколько разъ не только тѣмъ, которые ее
совсѣмъ не поняли, но даже и тѣмъ, которые поняли ее лучше
другихъ. Тамъ есть нѣсколько душевныхъ тайнъ, которыя не
вдругъ постигаются. Много принимается совсѣмъ не въ томъ
смыслѣ, въ какомъ хотѣлъ я сказать, — даже и людьми весьма
умными. Хорошо, еслибъ изданіе въ полномъ видѣ могло быть
отпечатано въ сентябрѣ. Книга разоидется, потому что можно
кое-что впустить, споспѣшествующее къ обращенію надлежащему
(сколько-нибудь) на нее взгляда. Письмо это дайте прочесть
Плетневу. Вы меня благодарите за то, что я вамъ доставилъ
случай (хлопотами о моей книгѣ) узнать получше прекрасную
душу Плетнева. А я васъ благодарю также за сообщеніе нѣко-
торыхъ извѣстій о немъ, которыя заставили меня полюбить его
еще болѣе, чѣмъ когда-либо прежде, и заставили меня дорожить
еще болѣе его дружбой, которую мнѣ послалъ Богъ въ видѣ ка-
кого-то прекраснаго, тихаго утѣшенія, очень нужнаго въ эту
эпоху. Я не знаю, съ какой бы радостью я теперь обнялъ его
и чего бы не далъ за то, чтобъ увидать его, поговорить съ нимъ
и обнять его лично. За тѣмъ обнимая и его и васъ, безцѣнный
мой Ар. Осиповичъ, и нѣсколько разъ благодаря васъ за ваши
милыя строки, остаюсь вашъ Гоголь.

PS. Не могу постигнуть, отчего не пришла ко мнѣ до
сихъ поръ ни одна изъ книгъ, которыя, вы говорите, мнѣ

посланы. Всѣмъ прочимъ привозятъ курьеры все, даже крупу гречневую, и визигу, и икру на кулебяки, а мнѣ ни газетнаго листочка.

Не позабудьте увѣдомить о полученіи этого письма. Адресуйте отнынѣ все во Франкфуртъ на имя Жуковскаго, а ему на имя посольства нашего.



АВТОРСКАЯ ИСПОВѢДЬ.

Всѣ согласны въ томъ, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразныхъ толковъ, какъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, и, что всего замѣчательнѣй, чего не случилось, можетъ-быть, доселѣ еще ни въ какой литературѣ — предметомъ толковъ и критикъ стала не книга, но авторъ. Подозрительно и недовѣрчиво разобрано было всякое слово, и всякъ наперерывъ спѣшилъ объявить источникъ, изъ котораго оно произошло. Надъ живымъ тѣломъ еще живущаго человѣка производилась та страшная анатомія, отъ которой бросаетъ въ холодный потъ даже и того, кто одаренъ крѣпкимъ сложеніемъ. Какъ, однакоже, ни были потрясающи и обидны для человѣка благороднаго и честнаго многія заключенія и выводы, но скрѣпясь, сколько достало небольшихъ силъ моихъ, я рѣшился стерпѣть все и воспользоваться этимъ случаемъ, какъ указаньемъ свыше, разсмотрѣть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегалъ совѣтами, мнѣніями, осужденіями и упреками, увѣряясь, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, что если только истребишь въ себѣ тѣ щекотливыя струны, которыя способны раздражаться и гнѣваться, и приведешь себя въ состояніе все выслушивать спокойно, тогда услышишь тотъ средній голосъ, который получается въ итогъ тогда, когда сложишь всѣ голоса и сообразишь крайности обѣихъ сторонъ, — словомъ, тотъ всеми искомый средній голосъ, который не даромъ называютъ „гласомъ народа“ и „гласомъ Божиимъ.“ Но на этотъ разъ, несмотря на то, что многіе упреки были истинно полезны душѣ моей, я не услышалъ этого средняго голоса и не могу сказать, чѣмъ рѣшилось дѣло и чѣмъ

опредѣлено считать мою книгу. Въ итогѣ мнѣ слышались три разныя мнѣнія: *первое*, что книга есть произведеніе неслышанной гордости человѣка, возмнившаго, что онъ сталъ выше всѣхъ своихъ читателей, имѣть право на вниманье всей Россіи и можетъ преобразовать цѣлое общество; *второе*, что книга эта есть твореніе добраго, но впадшаго въ прелесть и въ оболыщенье человѣка, у котораго закружилась голова отъ похвалъ, отъ самоуслажденія своими достоинетвами, который, велѣдствіе этого, сбился и спутался; *третье*, что книга есть произведеніе христіанина, глядящаго съ вѣрной точки на вещи и ставящаго всякую вещь на ея законное мѣсто. На сторонѣ каждаго изъ этихъ мнѣній находятся равно просвѣщенные и умные люди, а также и равно вѣрующіе христіане. Стало-быть, ни одно изъ этихъ мнѣній, будучи справедливо *отчасти*, никакъ не можетъ быть справедливо *вполнѣ*. Справедливѣе всего слѣдовало бы назвать эту книгу вѣрнымъ зеркаломъ человѣка. Въ ней находится то же, что во всякомъ человѣкѣ: прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живетъ у всякаго человѣка, если только онъ почувствовалъ, что такое добро; сознанье искреннее своихъ недостатковъ и рядомъ съ нимъ высокое мнѣніе о своихъ достоинствахъ; желанье искреннее учиться самому и рядомъ съ нимъ увѣренность, что можешь научить многому и другихъ; смиренье и рядомъ съ нимъ гордость и, можетъ быть, гордость въ самомъ смиреніи; упреки другимъ въ томъ самомъ, на чемъ поскользнулся самъ и за что достоинъ еще большихъ упрековъ. Словомъ, то же, что въ каждомъ человѣкѣ, съ тою только разницею, что здѣсь слетѣли всѣ условія и приличія и все, что таитъ внутри человѣкѣ, выступило наружу; съ тою еще разницею, что завопило это крикливѣй и громче, какъ въ писателѣ, у котораго все, что ни есть въ душѣ, просится на свѣтъ; ударило ярче всѣмъ въ глаза, какъ въ человѣкѣ, получившемъ на долю больше способностей, сравнительно съ другимъ человѣкомъ. Словомъ, книга можетъ послужить только доказательствомъ великой истины словъ апостола Павла, сказавшаго, что всякъ человѣкъ есть ложь *).

*) Посл. къ Римл. гл. 3, ст. 4.

Но въ этому заключенію, можетъ-быть болѣе всѣхъ прочихъ справедливому, никто не пришелъ, потому что торжественный тонъ самой книги и необыкновенный слогъ ея сбиль болѣе или менѣе всѣхъ и не поставилъ никого на надлежащую точку воззрѣнія. Издавая ее подѣ влияніемъ страха смерти своей, который преслѣдовалъ меня во все время болѣзненнаго моего состоянія, даже и тогда, когда я уже былъ внѣ опасности, я нечувствительно перешелъ въ тонъ мнѣ несвойственный и ужь вовсе неприличный еще живущему человѣку. Изъ боязни, что мнѣ не удастся окончить того сочиненія моего, которымъ занята была постоянно жизнь моя въ теченіе десяти лѣтъ, я имѣлъ неосторожность заговорить впередъ кое о чемъ изъ того, что должно было мнѣ доказать въ лицѣ выведенныхъ героев повѣствовательнаго сочиненія. Это обратилось въ неумѣстную проповѣдь, странную въ устахъ автора, въ какія то мистическія, непонятныя мѣста, не вяжущіяся съ остальными письмами. Далѣе, принять надобно въ расчетъ разнообразный тонъ самихъ писемъ, писанныхъ къ людямъ разныхъ характеровъ и свойствъ, писанныхъ въ разные времена моего душевнаго состоянія. Одни были писаны въ то время, когда я, воспитываясь самъ упреками, прося и требуя ихъ отъ другихъ, считалъ въ то-же время надобностью раздавать ихъ и другимъ; другія были писаны въ то время, когда я сталъ чувствовать, что упреки слѣдуетъ приберечь для самого себя, въ рѣчахъ же съ другими слѣдуетъ употреблять одну только братскую любовь: отъ этого и-мягкость, и рѣзкость встрѣтились почти вмѣстѣ. Наконецъ, непомѣщеніе многихъ тѣхъ статей, которыя должны были войти въ книгу, какъ связывавшія и объясняющія многое. Тутъ же моя собственная темнота и неумѣнье выразиться — принадлежности не вполне организовавшагося писателя. Все это способствовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести безчисленное множество выводовъ и заключеній не въ-попадѣ. Гордость отыскали въ тѣхъ словахъ, которыя подвигнуты были, можетъ-быть, совершенно противоположною причиною; гдѣ же была дѣйствительно гордость, тамъ ея не замѣтили; назвали уничиженьемъ то, что было вовсе не уничиженьемъ. А что главнѣе всего: не было двухъ человѣкъ.

совершенно сходныхъ между собою въ мысляхъ, когда только доходило дѣло до разбора книги по частямъ, что весьма справедливо дало замѣтить нѣкоторымъ, что въ сужденіяхъ своихъ о моей книгѣ всякой выражалъ болѣе самого себя, чѣмъ меня или мою книгу. Разумѣется, всему виною — я. А потому во всѣхъ нападеніяхъ на мои личныя нравственныя качества, какъ ни оскорбительны они для человѣка, въ комъ еще не умерло благородство, я не имѣю права обвинить никого.

Сдѣлаю вскользь замѣчанья два на то, что не относится до моихъ нравственныхъ качествъ. Меня изумило, когда люди умные стали дѣлать придирки къ словамъ, совершенно яснымъ, и, остановившись надъ двумя-тремя мѣстами, стали выводить заключенія, совершенно противоположныя духу всего сочиненія. Изъ двухъ-трехъ словъ, сказанныхъ такому помѣщику, у котораго всѣ крестьяне — земледѣльцы, озабоченные круглый годъ работою, вывести заключеніе, что я воюю противъ просвѣщенія народнаго, — это показалось мнѣ странно, тѣмъ болѣе, что я полжизни думалъ самъ о томъ, какъ бы написать истинно-полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нѣтъ такихъ умныхъ книгъ, мнѣ казалось, что слово устное пастырей Церкви полезнѣе и нужнѣе для мужиковъ всего того, что можетъ сказать ему нашъ братъ-писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоялъ за просвѣщеніе народное; но мнѣ казалось, что еще прежде, чѣмъ просвѣщеніе самого народа, полезнѣе просвѣщеніе тѣхъ, которые имѣютъ ближайшія столкновенья съ народомъ, отъ которыхъ часто терпитъ народъ. Мнѣ казалось, наконецъ, гораздо болѣе требовавшимъ вниманія къ себѣ не сословіе земледѣльцевъ, но то мелкое сословіе, нынѣ увеличивающееся, которое вышло изъ земледѣльцевъ, которое занимаетъ разныя мелкія мѣста и, не имѣя никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредитъ всѣмъ, за тѣмъ, чтобы жить на счетъ бѣдныхъ. Для этого-то сословія мнѣ казались наиболѣе необходимыми книги умныхъ писателей, которые, почувствовавши сами ихъ долгъ, сьумѣли имъ бы ихъ объяснить. А зем-

лепашецъ нашъ мнѣ всегда казался нравственнѣе всѣхъ другихъ и менѣе другихъ нуждающимся въ наставленіяхъ писателя. Тоже не менѣе страннымъ показалось мнѣ, когда изъ одного мѣста моей книги, гдѣ я говорю, что въ критикахъ, на меня нападавшихъ, есть много справедливаго, вывели заключеніе, что я отвергаю всѣ достоинства моихъ сочиненій и не согласенъ съ тѣми критиками, которые говорили въ мою пользу *). Я очень помню и совсѣмъ не позабылъ, что по поводу небольшихъ моихъ достоинствъ явились у насъ очень замѣчательныя критики, которые навсегда останутся памятниками любви къ искусству, которые возвысили въ глазахъ общества значеніе поэтическихъ созданій. Но не ловко же мнѣ говорить самому о своихъ достоинствахъ да и съ какой стати? О недостаткахъ моихъ литературныхъ я заговорилъ потому, что пришлось встать, по поводу психологическаго вопроса, который есть главный предметъ всей моей книги. Какъ же не соображать этихъ вещей! Не менѣе странно также — изъ того, что я выставилъ ярко на видъ наши русскіе элементы, дѣлать выводъ, будто я отвергаю потребность просвѣщенія европейскаго и считаю не нужнымъ для Русскаго знать весь трудный путь совершенства человѣческаго. И прежде, и теперь мнѣ казалось, что русскій гражданинъ долженъ знать дѣла Европы. Но я былъ убѣжденъ всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь изъ виду свои русскія начала, то знанья эти не принесутъ добра, собьютъ, спутаютъ и разбросаютъ мысли, на-мѣсто того, чтобы сосредоточить и собрать ихъ. И прежде, и теперь я былъ увѣренъ въ томъ, что нужно очень хорошо и глубоко узнать свою русскую природу, и что только съ помощью этого знанья можно почувствовать, что именно слѣдуетъ намъ брать и заимствовать изъ Европы, которая сама этого не говоритъ. Мнѣ казалось всегда, что прежде, чѣмъ вводить что-либо новое, нужно не какъ-нибудь, но въ корни узнать старое, иначе примѣненіе самого благодѣлительнѣй-

*) На завѣщанье не слѣдовало опираться: въ немъ судишь себя строго, потому что готовишься предстать на судъ предъ Того, предъ Которымъ ни одинъ человекъ не бываетъ правъ.

шаго въ наукѣ открытія не будетъ успѣшно. Съ этою цѣлью я заговорилъ преимущественно о старомъ.

Словомъ, всѣ эти односторонніе выводы людей умныхъ и притомъ такихъ, которыхъ я вовсе не считалъ односторонними, всѣ эти придирки къ словамъ, а не къ смыслу и духу сочиненія, показываютъ мнѣ то, что никто не былъ въ спокойномъ расположеніи, когда читалъ мою книгу; что уже впередъ установилось какое-то предубѣжденье, прежде, чѣмъ она явилась въ свѣтъ, и всякой глядѣлъ на нее вслѣдствіе уже заготовленнаго впередъ взгляда, останавливаясь только надъ тѣмъ, что укрѣпляло его въ его предубѣжденіи, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубѣжденья, а самого читателя успокоить. Сила этого страннаго раздраженія была такъ велика, что даже разрушила всѣ тѣ приличія, которыя доселѣ еще сохранялись относительно писателя. Почти въ глаза автору стали говорить, что онъ сошелъ съ ума, и прописывали ему рецепты отъ умственнаго расстройства. Не могу скрыть, что меня еще болѣе опечалило, когда люди также умные, и притомъ не раздраженные, провозгласили печатно, что въ моей книгѣ нѣтъ ничего новаго, что же и ново въ ней, то ложь, а не истина. Это показалось мнѣ жестоко. Какъ бы то ни было, но въ ней есть моя собственная исповѣдь; въ ней есть изліяніе и души, и сердца моего. Я еще не признавъ публично безчестнымъ человѣкомъ, которому бы никакого довѣрія нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть въ заблужденіе, какъ и всякой человѣкъ, могу сказать ложь въ томъ смыслѣ, какъ и всякъ человѣкъ есть ложь; но назвать все, что излилось изъ души и сердца моего, ложью—это жестоко. Это несправедливо такъ же, какъ несправедливо и то, что въ книгѣ моей ничего нѣтъ новаго. Исповѣдь человѣка, который провелъ нѣсколько лѣтъ внутри себя, который воспитывалъ себя какъ ученикъ, желая вознаграждать, хотя поздно, за время, потерянное въ юности, и который притомъ не во всемъ похожъ на другихъ, и имѣетъ нѣкоторыя свойства, ему одному принадлежащія, — исповѣдь такого человѣка не можетъ не представлять чего-нибудь новаго. Какъ бы то ни было, но въ такомъ дѣлѣ, гдѣ замѣшалась душа, нельзя такъ рѣшительно возвѣщать

приговоръ. Тутъ наиглубокомысленнѣйшій душевѣдецъ признается. Въ душевномъ дѣлѣ трудно и надъ человѣкомъ обыкновеннымъ произнести судъ свой. Есть такія вещи, которыя не подвластны холодному разсужденію, какъ бы умѣнь ни былъ разсуждающій, которыя постигаются только въ минуты тѣхъ душевныхъ настроеній, когда собственная душа наша расположена къ исповѣди, къ обращенію на себя, къ охуденью себя, а не другихъ. Словомъ, въ этой рѣшительности, съ какою былъ произнесенъ этотъ приговоръ, мнѣ показалась большая собственная самоувѣренность судившаго — въ умѣ своемъ и въ верховности своей точки воззрѣнія. Не съ тѣмъ я здѣсь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но съ тѣмъ, чтобы показать только, какъ на всякомъ шагу мы близки къ тому, чтобы впасть въ тотъ порокъ, въ которомъ только-что попрекнули своего брата; какъ, укоривши въ самоувѣренности другого, мы тутъ же бываемъ не снисходительны и придирчивы сами. Благороденъ по крайней мѣрѣ тотъ, кто имѣетъ духу въ этомъ сознаться и не стыдится, хотя бы въ глазахъ всего свѣта, сказать, что онъ ошибся. Но довольно. Вовсе не за тѣмъ, чтобы защищать себя съ нравственныхъ сторонъ моихъ, я подаю теперь голосъ. Нѣтъ, я считаю обязанностью отвѣчать только на тотъ запросъ, который сдѣланъ мнѣ почти единоустно отъ лица читателей всѣхъ моихъ прежнихъ сочиненій, — запросъ: зачѣмъ я оставилъ тотъ родъ и то поприще, которое за собою уже утвердилъ, гдѣ былъ почти господинъ, и принялся за другое, мнѣ чуждое?

Чтобъ отвѣчать на этотъ запросъ, я рѣшаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повѣсть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливѣе осудить меня, чтобъ увидалъ читатель, пережѣнялъ ли я поприще свое, умничалъ ли самъ отъ себя, желая дать себѣ другое направленіе, или и въ моей судьбѣ, также какъ и во всемъ, слѣдуетъ признать участіе Того, Кто располагаетъ міромъ не всегда сообразно тому, какъ намъ хочется, и съ Которымъ трудно бороться человѣку. Можетъ-быть, эта чистосердечная повѣсть моя послужитъ объясненіемъ хотя нѣкоторой части того, что кажется такой необъяснимою загадкой для многихъ въ недавно вышед-

шей моей книгѣ. Еслибы случилось такъ, я былъ бы этому истинно радъ, потому что вся эта странная исторія меня утомила сильно, и мнѣ не легко самому отъ этого вихря недоразумѣній.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ ту пору, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писательствѣ никогда не всходила на умъ, хотя мнѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человѣкомъ извѣстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій и что я сдѣлаю даже что-то для общаго добра. Я думалъ, просто, что я выслужусь и все это доставить служба государственная. Оттого страсть служить была у меня въ юности очень сильна. Она пребывала неотлучно въ моей головѣ впереди всѣхъ моихъ дѣлъ и занятій. Первые мои опыты, первыя упражненія въ сочиненіяхъ, къ которымъ я получилъ навыкъ въ послѣднее время пребыванія моего въ школѣ, были почти всѣ въ лирическомъ и серьезномъ родѣ. Ни я самъ, ни сотоварищи мои, упражнявшіеся вмѣстѣ со мной въ сочиненіяхъ, не думали, что мнѣ придется быть писателемъ комическимъ и сатирическимъ, хотя, несмотря на мой меланхолическій отъ природы характеръ, на меня часто находила охота шутить и даже надоѣдать другимъ моими шутками; хотя въ самыхъ раннихъ сужденіяхъ моихъ о людяхъ находили умѣнье замѣчать тѣ особенности, которыя ускользаютъ отъ вниманія другихъ людей, какъ крупныя, такъ мелкія и смѣшныя. Говорили, что я умѣю не то что передразнить, но *угадать* человѣка, то-есть угадать, что онъ долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержаньемъ самаго склада и образа его мыслей и рѣчей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думалъ о томъ, что сдѣлаю со временемъ изъ этого употребленіе.

Причина той веселости, которую замѣтили въ первыхъ сочиненіяхъ моихъ, показавшихся въ печати, заключалась въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнѣ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ-быть, отъ моего болѣзненного состоянія. Чтобы развлекать себя самого,

я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшныя лица и характеры, поставляя ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Молодость, во время которой не приходять на умъ никакіе вопросы, подтаивала. Вотъ происхожденіе тѣхъ первыхъ моихъ произведеній, которыя однихъ заставили смѣяться такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумѣніе рѣшить, какъ могли человѣку умному приходиться въ голову такія глупости. Можетъ-быть, съ лѣтами и съ потребностью развлекать себя, веселость эта исчезнула бы, а съ нею вмѣстѣ и мое писательство. Но Пушкинъ заставилъ меня взглянуть на дѣло серьезно. Онъ уже давно склонялъ меня, приняться за большое сочиненіе и, наконецъ, одинъ разъ, послѣ того, какъ я ему прочелъ одно небольшое изображеніе небольшой сцены, но которое, однакожь, поразило его больше всего мной прежде читаннаго, онъ мнѣ сказалъ: „Какъ съ этой способностью угадывать человѣка и нѣсколькими чертами выставить его вдругъ всего, какъ живого, — съ этой способностью не приняться за большое сочиненіе! это, просто, грѣхъ!“ Вслѣдъ за этимъ началъ онъ представлять мнѣ слабое мое сложеніе, мои недуги, которые могутъ прекратить мою жизнь рано, привелъ мнѣ въ примѣръ Сервантеса, который хотя и написалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ и хорошихъ повѣстей, но еслибы не принялся за „Донкишота“, никогда бы не зналъ того мѣста, которое занимаетъ теперь между писателями, и, въ заключеніе всего отдалъ мнѣ свой собственный сюжетъ, изъ котораго онъ хотѣлъ сдѣлать самъ что-то въ родѣ поэмы и котораго, по словамъ его, онъ бы не отдалъ другому никому. Это былъ сюжетъ „Мертвыхъ душъ“ (мысль „Ревизора“ принадлежитъ также ему). На этотъ разъ я и самъ уже задумался серьезно, — тѣмъ болѣе, что стали приближаться такіе года, когда самъ собой приходитъ запросъ всякому поступку: зачѣмъ и для чего дѣлаешь? Я увидѣлъ, что въ сочиненіяхъ моихъ смѣюся даромъ, напрасно, самъ не зная, зачѣмъ. Если смѣяться, такъ уже лучше смѣяться сильно и надъ тѣмъ, что дѣйствительно достойно осмѣянья всеобщаго. Въ „Ре-

визорѣ“ я рѣшился собрать въ кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ, всё несправедливости, какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, и за одинъ разъ посмѣяться надъ всѣмъ. Но это, какъ извѣстно, произвело потрясающее дѣйствіе. Сквозь смѣхъ, который никогда еще во мнѣ не появлялся въ такой силѣ, читатель услышалъ грусть. Я самъ почувствовалъ, что уже смѣхъ мой не тотъ, какой былъ прежде, что уже не могу быть въ сочиненьяхъ моихъ тѣмъ, чѣмъ былъ дотодѣ, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вмѣстѣ съ молодыми моими лѣтами. Послѣ „Ревизора“ я почувствовалъ болѣе, нежели когда-либо прежде, потребность сочиненія полнаго, гдѣ было бы уже не одно то, надъ чѣмъ слѣдуетъ смѣяться. Пушкинъ находилъ, что сюжетъ „Мертвыхъ душъ“ хорошъ для меня тѣмъ, что даетъ полную свободу извѣздить вмѣстѣ съ героемъ всю Россію и вывести множество самыхъ разнообразныхъ характеровъ. Я началъ-было писать, не опредѣливши себѣ обстоятельнаго плана, не давши себѣ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой. Я думалъ, просто, что смѣшной проектъ, исполненіемъ котораго занять Чичиковъ, наведетъ меня самъ на разнообразныя лица и характеры; что родившаяся во мнѣ самою охота смѣяться создать сама собою множество смѣшныхъ явленій, которыя я намѣренъ былъ перемѣшать съ трогательными. Но на всякомъ шагу я былъ оставленъ вопросами: зачѣмъ? къ чему это? что долженъ сказать собою такой-то характеръ? что должно выразить собою такое-то явленіе? Спрашивается: что нужно дѣлать, когда приходятъ такіе вопросы? Прогонять ихъ? Я пробовалъ, но неотразимые вопросы стояли предо мною. Не чувствуя существенной надобности въ томъ или другомъ героѣ, я не могъ почувствовать и любви къ дѣлу — изобразить его. Напротивъ, я чувствовалъ что-то въ родѣ отвращенія: все у меня выходило натянуто, насильственно, и даже то, надъ чѣмъ я смѣялся, становилось печально.

Я увидѣлъ ясно, что больше не могу писать безъ плана, вполне опредѣлительнаго и яснаго, что слѣдуетъ хорошо объяснить себѣ цѣль сочиненія своего, его существенную полезность и необхо-

димось, вслѣдствіе чего самъ авторъ возгорѣлся бы любовью истинной и сильной къ труду своему, которая животворить все и безъ которой неидетъ работа. Словомъ, чтобы почувствовалъ и убѣдился самъ авторъ, что, творя творенье свое, онъ исполняетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, онъ служитъ въ то же самое время такъ же государству своему, какъ бы онъ дѣйствительно находился въ государственной службѣ. Мысль о службѣ у меня никогда не пропала. Прежде, чѣмъ вступить на поприще писателя, я перебралъ множество разныхъ мѣстъ и должностей, чтобы узнать, къ которой изъ нихъ я былъ больше способенъ; но не былъ доволенъ ни службой, ни собой, ни тѣми, которые надо мной были поставлены. Я еще не зналъ тогда, какъ много мнѣ не доставало за тѣмъ, чтобы служить такъ, какъ я хотѣлъ служить. Я не зналъ тогда, что нужно для этого побѣдить въ себѣ всѣ щекотливыя струны самолюбія личнаго и гордости личной, не забывать ни на минуту, что взялъ мѣсто не для своего счастья, но для счастья многихъ тѣхъ, которые будутъ несчастны, если благородный человѣкъ броситъ свое мѣсто; что позабыть нужно обо всѣхъ огорченіяхъ собственныхъ. Я не зналъ еще тогда, что тому, кто пожелаетъ истинно-честно служить Россіи, нужно имѣть очень много любви къ ней, которая бы поглотила уже всѣ другія чувства, — нужно имѣть много любви къ человѣку вообще и сдѣлаться истиннымъ христіаниномъ во всемъ смыслѣ этого слова. А потому и не мудрено, что, не имѣя этого въ себѣ, я не могъ служить такъ, какъ хотѣлъ, несмотря на то, что старалъ дѣйствительно желаньемъ служить честно. Но какъ только я почувствовалъ, что на поприщѣ писателя могу сослужить также службу государственную, я бросилъ все — и прежнія свои должности и Петербургъ, и общество близкихъ душъ моей людей, и самую Россію, за тѣмъ, чтобы вдали и въ уединеніи отъ всѣхъ обсудить, какъ это сдѣлать, какъ произвести такимъ образомъ свое творенье, чтобы доказать, что я былъ также гражданинъ земли своей и хотѣлъ служить ей. Чѣмъ болѣе обдумывалъ я свое сочиненіе, тѣмъ болѣе чувствовалъ, что оно можетъ дѣйствительно

принести пользу. Чѣмъ болѣе я обдумывалъ мое сочиненіе, тѣмъ болѣе видѣлъ, что не случайно слѣдуетъ мнѣ взять характеры, какіе попадутся, но избрать одни тѣ, на которыхъ замѣтнѣй и глубже отпечатлѣлись истинно-русскія, коренныя свойства наши. Мнѣ хотѣлось въ сочиненіи моемъ выставить преимущественно тѣ высшія свойства русской природы, которыя еще не всѣми цѣнятся справедливо, и преимущественно тѣ низкія, которыя еще недостаточно всѣми осмѣяны и поражены. Мнѣ хотѣлось сюда собрать одни яркія психологическія явленія, помѣстить тѣ наблюденія, которыя я дѣлалъ издавна сокровенно надъ человѣкомъ, которыхъ не довѣрялъ дотолѣ перу, чувствуя самъ незрѣлость его, которыя, бывъ изображены вѣрно, послужили бы разгадкой многого въ нашей жизни. Словомъ хотѣлось, чтобы, по прочтеніи моего сочиненія, предсталъ какъ бы невольно весь русскій человѣкъ, со всѣмъ разнообразіемъ богатствъ и даровъ, доставшихся на его долю, преимущественно передъ другими народами, и со всѣмъ множествомъ тѣхъ недостатковъ, которые находятся въ немъ, также преимущественно предъ всѣми другими народами. Я думалъ, что лирическая сила, которой у меня былъ запасъ, поможетъ мнѣ изобразить такъ эти достоинства, что къ нимъ возгорится любовью русскій человѣкъ, а сила смѣха, котораго у меня также былъ запасъ, поможетъ мнѣ такъ ярко изобразить недостатки, что ихъ возненавидитъ читатель, еслибы даже нашелъ ихъ въ себѣ самомъ. Но я почувствовалъ въ то же время, что все это возможно будетъ сдѣлать мнѣ только въ такомъ случаѣ, когда узнаю очень хорошо самъ, что дѣйствительно въ нашей природѣ есть достоинство и что въ ней дѣйствительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвѣсить и оцѣнить то и другое и объяснить себѣ самому ясно, чтобы не возвести въ достоинство того, что есть грѣхъ нашъ, и не поразить смѣхомъ вмѣстѣ съ недостатками нашими и того, что есть въ насъ достоинство. Мнѣ не хотѣлось даромъ тратить силу. Съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ начали говорить, что я смѣюсь не только надъ недостаткомъ, но даже цѣликомъ и надъ самимъ человѣкомъ, въ которомъ заключенъ недостатокъ, и не только надъ всѣмъ человѣкомъ, но и надъ мѣстомъ, надъ самою должностію, которую онъ занимаетъ (чего

никогда я даже не имѣлъ и въ мысляхъ), я увидалъ, что нужно съ смѣхомъ быть очень осторожнымъ, — тѣмъ болѣе, что онъ заразителенъ, и стѣитъ только тому, кто поостроумнѣй, посмѣяться надъ одною стороною дѣла, какъ уже вслѣдъ за нимъ, тотъ, кто потупѣе и поглупѣй, будетъ смѣяться надъ всѣми сторонами дѣла. Словомъ, я видѣлъ ясно, какъ дважды два — четыре, что показаться не опредѣлю самому себѣ ясно высокое и низкое природы нашей, достоинства и недостатки наши, ни въ нельзя приступить къ дѣлу; а чтобы опредѣлить себѣ природу русскаго человѣка, слѣдуетъ узнать получше природу человѣка вообще и душу человѣка вообще. Безъ этого не станешь на ту точку воззрѣнія, съ которой увидятся ясно недостатки и достоинства всякаго народа.

Съ этихъ поръ человѣкъ и душа человѣка сдѣлались больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ моихъ наблюденій. Я оставилъ на время все современное; я обратилъ вниманіе на узнанье тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ. Все, гдѣ только выражалось познанье людей и души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не вѣдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидѣвши, что въ немъ ключъ къ душѣ человѣка, и что еще никто изъ душезнателей не всходилъ на ту высоту познанья душевнаго, на которой стоялъ Онъ. Повѣркой разума повѣрилъ я то, что другіе понимаютъ ясною вѣрой, и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и неясно. Къ этому привелъ меня и анализъ надъ моею собственной душою: я увидѣлъ тоже математически-ясно, что говорить и писать о высшихъ чувствахъ и движеняхъ человѣка нельзя по воображенью. Нужно заключить въ себѣ самомъ хотя небольшую крупицу этого, — словомъ, нужно сдѣлаться лучшимъ. Это можетъ показаться довольно страннымъ, особенно для тѣхъ, которые получили въ юности совершенно оконченное и полное воспитаніе. Но надобно сказать что я получилъ въ школѣ воспитаніе довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ ученьи пришла

ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ всё свои занятія. Я наблюдалъ надъ собой, какъ учитель надъ ученикомъ не въ книжномъ ученїи, но и въ простомъ нравственномъ, глядя на себя самого какъ на школьника. Я помѣстилъ кое-что изъ этихъ предѣловъ надъ самимъ собою въ книгѣ моихъ писемъ вовсе не за тѣмъ, чтобы пощеголять чѣмъ-нибудь (да и не знаю, чѣмъ тутъ щеголять!), но изъ желанья добра: авось кому-нибудь принесетъ это пользу. Я былъ увѣренъ, что многіе, подобно мнѣ, воспитались въ школѣ плохо и потому, подобно мнѣ, спохватились; желая искренно себя поправить. Я часто слышалъ, какъ многіе жаловались, что не могутъ отстать отъ дурныхъ привычекъ, при всемъ желаньи своемъ отстать отъ нихъ. Я и помѣстилъ это, кое-какъ приспособивши къ другому, и помѣстилъ это я не иначе, какъ увидѣвши на опытѣ, что многое изъ этого уже принесло пользу нѣкоторымъ людямъ, мнѣ знакомымъ. Въ отвѣтъ же тѣмъ, которые попрекаютъ мнѣ, зачѣмъ я выставилъ свою внутреннюю клятву, могу сказать то, что все-таки я еще не монахъ, а писатель. Я поступилъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ всё тѣ писатели, которые говорили, что было на душѣ. Еслибы и съ Карамзинимъ случилась эта внутренняя исторія во время его писательства, онъ бы ее также выразилъ. Но Карамзинъ воспитался въ юности. Онъ образовался уже какъ человекъ и гражданинъ прежде, чѣмъ выступилъ на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считалъ ни для кого соблазнительнымъ открытъ публично, что я стараюсь быть лучшимъ, чѣмъ я есмь. Я не нахожу соблазнительнымъ томиться и старать явно, въ виду всѣхъ, желаньемъ совершенства, если сходилъ за тѣмъ самъ Сынъ Божій, чтобы сказать намъ всѣмъ: „Будьте совершенны такъ, какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный.“ Что же касается до обвиненія, будто я, изъ желанья похвастаться смиреньемъ, въ книгѣ моей показалъ уничиженье паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здѣсь нѣтъ. Пришедшіе къ этому заключенію обманулись сходствомъ признаковъ. Противнымъ дѣйствительно я казался себѣ самому вовсе не отъ смиренья, но потому что въ мысляхъ моихъ

чѣмъ далѣе, тѣмъ яснѣе представлялся идеаль прекрасный чело-
вѣка, тотъ благостный образъ, вакимъ долженъ быть на землѣ
человѣкъ, и мнѣ становилось всякой разъ послѣ этого противно
глядѣть на себя: это не смиреніе, но скорѣе то чувство, которое
бываетъ у завистливаго челоѣка, который, увидѣвши въ чужихъ
рукахъ вещь лучшую, бросаетъ свою и не хочетъ уже глядѣть
на нее. Притомъ мнѣ посчастливилось встрѣтить на вѣку своею,
и особенно въ послѣднее время, нѣсколько такихъ людей, передъ
душевными качествами которыхъ показали мнѣ мелкими мои
качества, и всякой разъ я негодовалъ на себя за то, что не имѣю
того, что имѣютъ другіе. Тутъ нужно обвинять развѣ завистли-
вую вообще натуру.

Но возвращаюсь къ исторіи. Итакъ, на нѣкоторое время за-
нятіемъ моимъ сталъ не русскій челоѣкъ и Россія, но челоѣкъ
и душа челоѣка вообще. Все меня приводило въ это время къ
изслѣдованію общихъ законовъ души нашей: мои собственныя
душевыя обстоятельства, наконецъ обстоятельства внѣшнія,
надъ которыми мы не властны и которыя всякой разъ обращали
меня противовольно вновь къ тому же предмету, какъ только я
отъ него отдалялся. Нѣсколько разъ, упрекаемый въ недѣятель-
ности, я принимался за перо, хотѣлъ насильно заставить себя
написать хоть что-нибудь въ родѣ небольшой повѣсти, или
какого-нибудь литературнаго сочиненія, и не могъ произвести
ничего. Усилія мои оканчивались почти всегда болѣзнію, стра-
даніями и наконецъ такими припадками, вслѣдствіе которыхъ
нужно было надолго отложить всякое занятіе. Что мнѣ было
дѣлать? Винавать я развѣ былъ въ томъ, что не въ силахъ былъ
повторять то же, что говорилъ или писалъ въ мои юношескіе
годы? Какъ будто двѣ весны бываютъ въ возрастѣ челоѣче-
скомъ! И если всякъ челоѣкъ подверженъ этимъ необходимымъ
перемѣнамъ при переходѣ изъ возраста въ возрастъ, почему же
одинъ писатель долженъ быть исключенъ? Развѣ писатель
также не челоѣкъ? Я не совращался съ своего пути. Я шелъ
тою же дорогою. Предметъ у меня былъ всегда одинъ и тотъ
же: предметъ у меня былъ — жизнь, а не что другое. Жизнь я
преслѣдовалъ въ ея дѣйствительности, а не въ мечтахъ вообра-

женія, и пришелъ къ Тому, Кто есть источникъ жизни. Отъ малыхъ лѣтъ была во мнѣ страсть замѣчать за человѣкомъ, ловить душу его въ малѣйшихъ чертахъ и движеніяхъ его, которыя пропускаются безъ вниманія людьми, — и я пришелъ къ Тому, Который одинъ полный вѣдатель души и отъ Кого одного я могъ только узнать полнѣе душу. Я не успокоился до тѣхъ поръ, покуда не разрѣшились мнѣ нѣкоторые собственные мои вопросы относительно меня самого, и только тогда, когда нашелъ удовлетвореніе въ нѣкоторыхъ главныхъ вопросахъ, могъ приступить вновь къ моему сочиненію, первая часть котораго составляетъ еще понынѣ загадку, потому что заключаетъ въ себѣ нѣкоторую часть переходнаго состоянія моей собственной души, тогда какъ еще не вполне отдѣлилось во мнѣ то, чему слѣдовало отдѣлиться.

Какъ только кончилось во мнѣ это состояніе и жажда знать человѣка вообще удовлетворилась, во мнѣ родилось желаніе сильное знать Россію. Я сталъ знакомиться съ людьми, отъ которыхъ могъ чему-нибудь научиться и разузнать, что дѣлается на Руси; старался наиболѣе знакомиться съ такими опытными практическими людьми всѣхъ сословій, которые обращены были лицомъ во всякімъ продѣлкахъ внутри Россіи. Мнѣ хотѣлось сойтись съ людьми всѣхъ сословій и отъ cadaго что-нибудь узнать. Всякой должностной и чѣмъ-нибудь занятый человѣкъ сталъ въ глазахъ моихъ интересенъ. Прежде всего я хотѣлъ опредѣлить себѣ всякую должность, всякое сословіе, всякое мѣсто и всякое званіе въ государствѣ. Мнѣ казалось это необходимымъ для писателя, который беретъ людей на разныхъ прищахъ. Не содержа въ собственной головѣ своей всего долга и всей обязанности того человѣка, котораго описываешь, не выступишь его какъ слѣдуетъ, вѣрно, и притомъ такъ, чтобы онъ дѣйствительно былъ въ урокъ и въ поученіе живущему. Изъ-за этого я старался завести переписку съ такими людьми, которые могли мнѣ что-нибудь сообщать. Прочихъ я просилъ набрасывать легкіе портреты и характеры, первыя, какіе имъ попадутся. Все это было мнѣ нужно не за тѣмъ, чтобы въ головѣ моей не было ни характеровъ, ни героевъ: ихъ было у меня уже много; они выработались изъ познанія природы человѣческой гораздо

полнѣйшаго, чѣмъ какое было во мнѣ прежде; но свѣдѣнія эти мнѣ, просто, нужны были, какъ нужны этюды съ натуры художнику, который пишетъ большую картину своего собственнаго сочиненія. Онъ не переводитъ этихъ рисунковъ къ себѣ на картину, но развѣшиваетъ ихъ вокругъ, по стѣнамъ, за тѣмъ, чтобы держать передъ собою неотлучно, чтобы не погрѣшить ни въ чемъ противъ дѣйствительности, противу времени, или эпохи, какая имъ взята. Я никогда ничего не создавалъ въ воображеніи и не имѣлъ этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной изъ дѣйствительности, изъ данныхъ, мнѣ извѣстныхъ. Угадывать человѣка я могъ только тогда, когда мнѣ представлялись самыя мельчайшія подробности его внѣшности. Я никогда не *писалъ* портрета, въ смыслѣ простой копіи. Я *создавалъ* портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенія, а не воображенія. Чѣмъ болѣе вещей принималъ я въ соображеніе, тѣмъ у меня вѣрнѣе выходило созданье. Мнѣ нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всякимъ другимъ писателемъ, потому что стоило мнѣ нѣсколько подробностей пропустить, не принять въ соображеніе — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никакъ не могъ объяснить никому, а потому и никогда почти не получалъ такихъ писемъ, какихъ я желалъ. Всѣ только удивлялись, какъ могъ я требовать такихъ мелочей и пустяковъ, тогда какъ имѣю такое воображеніе, которое можетъ само творить и производить. Но воображеніе мое до сихъ поръ не подарило меня ни однимъ замѣчательнымъ характеромъ и не создало ни одной такой вещи, которую гдѣ-нибудь подмѣтилъ мой взглядъ въ натурѣ. Я помѣстилъ въ книгѣ моей: „Переписка съ друзьями“ нѣсколько писемъ къ помѣщикамъ и къ разнымъ должностнымъ лицамъ (изъ нихъ большая часть не напечатана) вовсе не за тѣмъ, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньемъ анекдотическихъ фактовъ. Возраженія такого рода отъ людей практическихъ и опытныхъ для меня важны тѣмъ, что поставляютъ меня ближе къ дѣлу, раскрывая мнѣ глубже внутренность Россіи. Вмѣсто дѣлъ интересныхъ для всякаго русскаго человѣка и нашихъ русскихъ вопросовъ, занялись моею собственною лич-

ностью, исписали цѣлыя листы о томъ, имѣю ли я право жѣшать-ся въ подобныя дѣла. Я сдѣлалъ въ то же время воззванье ко всѣмъ читателямъ „Мертвыхъ душъ“, — воззванье нѣсколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень зналъ, что надъ нимъ многіе посмѣются; но я готовъ былъ выдержать всякое осмѣяніе, лишь бы только добиться своего. Я думалъ, что, можетъ, хотъ пять-шесть человѣкъ захотятъ исполнить мою просьбу такъ, какъ я желалъ. Я не требовалъ собственно поправокъ на „Мертвыя души“: мнѣ хотѣлось, подъ этимъ предлогомъ, добыть частныхъ записокъ, воспоминаній о тѣхъ характерахъ и лицахъ, съ которыми случилось кому встрѣтиться на вѣву, изображенія тѣхъ случаевъ, гдѣ пахнетъ Русью. Зная, что у всѣхъ насъ есть какая-то лѣнь на подъемъ, на работу, вслѣдствіе которыхъ почти всякому изъ насъ трудно что-нибудь доставать изъ своей памяти, я думалъ, что чтенье „Мертвыхъ душъ“ можетъ расшевелить, особенно если и карандашъ, и бумага будутъ при этомъ подъ рукой. Я выставилъ свой адресъ и просилъ прислать мнѣ въ письмѣ только тѣхъ, которые не захотѣли бы печатать, но вообще я считалъ гораздо полезнѣе сдѣлать ихъ всеобщею извѣстностью. Мнѣ казалось даже необходимымъ и въ нынѣшнее время это распространеніе извѣстій о Россіи посредствомъ живыхъ фактовъ, потому что въ это время, которое не даромъ называютъ переходнымъ, почти у всякаго человѣка, на всѣхъ поприщахъ, замѣтно стремленье преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякаго зла. Я думалъ, что теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, нужно намъ вывести наружу все, чтд ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, изъ какого множества разнородныхъ началъ состоитъ наша почва, на которой мы всѣ стремимся сѣять, и лучше бы осмотрѣлись прежде, чѣмъ произносить что-либо такъ рѣшительно, какъ нынѣ все произносятся. Я питалъ втайнѣ надежду, что чтенье „Мертвыхъ душъ“ наведетъ нѣкоторыхъ на мысль писать свои собственныя записки, что многіе почувствуютъ даже нѣкоторое обращеніе на самихъ себя, потому что и въ самомъ авторѣ, въ то время, когда писаны были „Мертвыя души“, произошло нѣкоторое обращеніе на самого себя. Я думалъ, что тотъ, кто уже находится

на склонѣ дней своихъ и тревожить мыслью, что жизнь его протекла безъ пользы, и онъ сдѣлалъ мало для общаго добра земли своей, почувствуетъ сильнѣй, что онъ, вѣрнымъ и живымъ изображеніемъ людей, характеровъ и случаевъ своего времени, можетъ познакомить съ Русью другихъ людей, молодыхъ и начинающихъ дѣйствовать, и такимъ образомъ больше чѣмъ вознаграждать прекрасно за свою недѣятельность. Молодой же, тотъ, кто вступаетъ еще на поприще, кто еще ни къ чему не охладѣлъ и потому имѣетъ живость взгляда, кого любопытно занимаетъ все, можетъ изобразить эпоху современную, какъ она представляется молодымъ глазамъ юноши. — Словомъ, я думалъ какъ дитя; я обманулся нѣкоторыми: я думалъ, что въ нѣкоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не зналъ еще тогда, что мое ния въ ходу только за тѣмъ, чтобы попрекнуть другъ друга и посмѣяться другъ надъ другомъ. Я думалъ, что многіе сквозь самый смѣхъ слышатъ мою добрую натуру, которая смѣялась вовсе не изъ злобнаго желанья. Но на мое приглашеніе я не получилъ записокъ; въ журналахъ мнѣ отвѣчали насмѣшками. Привожу все это за тѣмъ, чтобы показать, какъ я употреблялъ всѣ силы держаться на своемъ поприщѣ и придумывалъ всѣ средства, которыя могли двинуть мою работу, не имѣя и въ мысляхъ оставлять званіе писателя. Не могу не замѣтить при этомъ случаѣ, что многіе изъявили изумленіе тому, что я такъ желаю извѣстій о Россіи и въ то же время самъ остаюсь внѣ Россіи, не соображая того, что, кромѣ болѣзненнаго состоянія моего здоровья, потребовавшего теплаго климата, мнѣ нужно было это удаленіе отъ Россіи за тѣмъ, чтобы пребывать живѣе мыслию въ Россіи. Для тѣхъ, которые не могутъ этого почувствовать, объяснюсь, хотя мнѣ нѣсколько трудно объясняться во всемъ томъ, что составляетъ свойства, собственно мнѣ принадлежація. Почти у всѣхъ писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображеніемъ, — способность представлять предметы отсутствующіе такъ живо, какъ бы они были передъ нашими глазами. Способность эта дѣйствуетъ въ насъ только тогда, когда мы отдалимся отъ предметовъ, которые описываемъ. Вотъ почему поэты большею частію избирали эпоху, отъ насъ

отдалившуюся, и погружались въ прошедшее. Прошедшее, отрывая насъ отъ всего, что ни есть вокругъ насъ, приводитъ душу въ то тихое, спокойное настроеніе, которое необходимо для труда. У меня не было влеченія къ прошлому. Предметъ мой была современность и жизнь въ ея нынѣшнемъ быту, можетъ-быть, отъ того, что умъ мой былъ всегда наклоненъ къ существенности и къ пользѣ болѣе осязательной. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе усиливалось во мнѣ желаніе быть писателемъ современнымъ. Но я видѣлъ въ то же время, что, изображая современность, нельзя находиться въ томъ высокомъ настроенномъ и спокойномъ состояніи, какое необходимо для произведенія большого и стройнаго труда. Настоящее слишкомъ живо, слишкомъ шевелить, слишкомъ раздражаетъ; перо писателя нечувствительно и незамѣтно переходитъ въ сатиру. Притомъ, находясь самъ въ ряду другихъ и болѣе или менѣе дѣйствуя съ ними, видишь передъ собою только тѣхъ людей, которые стоятъ близко отъ тебя: всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я сталъ думать о томъ, какъ бы выбраться изъ ряду другихъ и стать на такое мѣсто, откуда бы я могъ увидать всю массу, а не людей, только возлѣ меня стоящихъ, какъ бы, отдалившись отъ настоящаго, обратить его нѣкоторымъ образомъ для себя въ прошедшее. Мое разстроившееся здоровье и вмѣстѣ съ нимъ маленькія непріятности, которыя я бы теперь перенесъ легко, но которыхъ тогда не умѣлъ еще переносить, заставили меня подняться въ чужіе края. Я никогда не имѣлъ влеченія и страсти къ чужимъ краямъ. Я не имѣлъ также того безотчетнаго любопытства, которымъ бываетъ снѣдаемъ юноша, жадный впечатлѣній. Но, странное дѣло, даже въ дѣтствѣ, даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда я помышлялъ только объ одной службѣ, а не о писательствѣ, мнѣ всегда казалось, что въ жизни моей мнѣ предстоитъ какое-то большое самопожертвованіе и что именно для службы моей отчизнѣ я долженъ буду воспитаться гдѣ-то вдали отъ нея. Я не зналъ, ни какъ это будетъ, ни почему это нужно, я даже не задумывался объ этомъ, но видѣлъ самого себя такъ живо, въ какой-то чужой землѣ тоскующимъ по своей отчизнѣ; картина эта такъ часто меня преслѣдовала, что я чувствовалъ

отъ нея грусть. Можетъ-быть, это было, просто, то непонятное поэтическое влеченіе, которое тревожило иногда и Пушкина, ѣхать въ чужіе края, единственно за тѣмъ, чтобы, по выраженію его.

„Подъ небомъ Африки моею
Валыхать о сумрачной Россіи.“

Какъ бы то ни было, но это противовольное мнѣ самому влеченіе было такъ сильно, что не прошло пяти мѣсяцевъ, по прибытіи моемъ въ Петербургъ, какъ я сѣлъ уже на корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мнѣ самому непонятному. Проектъ и цѣль моего путешествія были очень не ясны. Я зналъ только то, что ѣду вовсе не за тѣмъ, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорѣй, чтобы натерпѣться, точно какъ бы предчувствовалъ, что узнаю цѣну Россіи только внѣ Россіи и добуду любовь къ ней вдали отъ нея. Едва только я очутился въ морѣ, на чужомъ кораблѣ, среди чужихъ людей (пароходъ былъ англійскій, и на немъ ни души русской), мнѣ стало грустно; мнѣ сдѣлалось такъ жалко друзей и товарищей моего дѣтства, которыхъ я оставилъ и которыхъ я всегда любилъ, что прежде, чѣмъ вступить на твердую землю, я уже подумалъ о возвратѣ. Три дня только я пробылъ въ чужихъ краяхъ и, не смотря на то, что новостъ предметовъ начала меня завлекать, я поспѣшилъ на томъ же самомъ пароходѣ возвратиться, боясь, что иначе мнѣ не удастся возвратиться. Съ тѣхъ поръ я далъ себѣ слово не питать и мысли о чужихъ краяхъ, — и точно, во все время пребыванія моего въ Петербургъ, въ продолженіе цѣлыхъ семи лѣтъ, не приходили мнѣ никогда на мысли чужіе края, покажѣсть обстоятельства моего здоровья, нѣкоторыя огорченія и наконецъ потребность бдльшаго уединенія не заставили меня оставить Россію.

Два раза я возвращался потомъ въ Россію, одинъ разъ даже съ тѣмъ, чтобы въ ней остаться навсегда. Я думалъ, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я въ силахъ буду узнать многое. Но, странное дѣло! среди Россіи я почти не увидалъ Россіи. Всѣ люди, съ которыми я встрѣчался, большею частію любили поговорить о томъ, что дѣлается въ Европѣ, а не въ Россіи. Я узнавалъ только то, что дѣлается въ англійскомъ клубѣ, да кое-что изъ того, что я и самъ уже зналъ. Извѣстно,

что всякой из насъ окруженъ своимъ кругомъ близкихъ знакомыхъ, изъ-за котораго трудно ему увидать людей постороннихъ: во-первыхъ, уже потому, что съ близкими обязанъ быть чаще, а во-вторыхъ, потому, что кругъ друзей таеъ уже самъ по себѣ пріятель, что нужно имѣть слишкомъ много самоотверженія, чтобы изъ него вырваться. Всѣ, съ которыми мнѣ случилось познакомиться, надѣляли меня уже готовыми выводами, заключеніями, а не просто фактами, которыхъ я искалъ. Я замѣтилъ вообще нѣкоторую переимѣну въ мысляхъ и умахъ. Всякъ глядѣлъ на вещи взглядомъ болѣе философическимъ, чѣмъ когда-либо прежде, во всякой вещи хотѣлъ увидать ея глубокой смыслъ и сильнѣйшее значеніе: движеніе, вообще показывающее большой шагъ общества впередъ. Но, съ другой стороны, отъ этого произошла торопливость дѣлать выводы изъ двухъ-трехъ фактовъ обо всемъ цѣломъ и безпрестанная позабывчивость того, что не всѣ вещи и не всѣ стороны соображены и взвѣшены. Я замѣтилъ, что почти у всякаго образовывалась въ головѣ своя собственная Россія, и отъ того безконечные споры. Мнѣ нужно было не того: мнѣ нужно было, просто, такихъ бесѣдъ, какъ бывали встарину, когда всякой разсказывалъ только то, что видѣлъ, слышалъ на своемъ вѣку, и разговоръ казался собраньемъ анекдотовъ, а не разсужденіемъ. Это мнѣ нужно было уже и потому, что я и самъ начиналъ заражаться этой торопливостью заключать и выводить — всеобщимъ повѣтріемъ нынѣшняго времени.

Провинціи наши меня еще болѣе изумили. Тамъ даже имя *Россія* не раздается на устахъ. Раздавалось, какъ мнѣ показалось, на устахъ только то, что было прочитано въ новѣйшихъ романахъ, переведенныхъ съ французскаго. Словомъ, во все пребываніе мое въ Россіи, Россія у меня въ головѣ разсѣивалась и разлеталась. Я не могъ никакъ ее собрать въ одно цѣлое: духъ мой упадалъ, и самое желаніе знать ее ослабѣвало. Но какъ только я выѣзжалъ изъ нея, она совокуплялась въ мысли моей вновь въ одно цѣлое, желаніе знать ее пробуждалось во мнѣ вновь и охота знакомиться со всякимъ свѣжимъ человекомъ, недавно выѣхавшимъ изъ Россіи, становилась вновь сильна. Во мнѣ рождалось даже умѣнье выспрашивать, и часто въ одинъ

часть разговора я узнавалъ то, чего не могъ, живя въ Россіи, узнать въ продолженіе недѣли. Всякій знаетъ, что за границей знакомства дѣлаются гораздо легче, что на водахъ въ Германіи и на зимовьяхъ въ Италіи сходятся люди, которые, можетъ-быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы вѣкъ незнакомыми. Вотъ что заставило меня предпочесть пребыванье внѣ Россіи, даже и въ отношеніи къ тому, чтобы больше слышать о Россіи. Я очень долго думалъ о томъ, какинъ бы образомъ узнать многое, дѣлающееся въ Россіи, живя въ Россіи. Разъѣздами по государству не много возмешь: останутся въ головѣ только станціи да трактиры. Знакомства въ городахъ и деревняхъ тоже довольно трудны для разъѣзжающаго не по казенной надобности: могутъ принять за какого-нибудь шпіона и приобрѣтешь развѣ только сюжетъ для комедіи, которой имя — *безтошовщина*. Если же узнаютъ, что разъѣзжающій есть вмѣстѣ и писатель, тогда положенье еще смѣшнѣе: половина читающей Россіи увѣрена серьезно, что я живу единственно для осмѣянья всего, что ни есть въ человѣкѣ отъ головы до ногъ. А между тѣмъ никогда еще до сихъ поръ не чувствовалъ я такъ сильно потребности знать современное состояніе русскаго человѣка, — тѣмъ болѣе, что теперь такъ разошлись всѣ въ образѣ мыслей, такъ вихорь недоразумѣній обуялъ всѣхъ, что никто не въ силахъ судить вѣрно другъ друга, и нужно какъ бы шупать собственною рукою всякую вещь, не довѣряя никому. Я не могъ быть безъ этихъ свѣдѣній. Нынѣ избранные характеры и лица моего сочиненія крупнѣе прежнихъ. Чѣмъ выше достоинство взятаго лица, тѣмъ ошутительнѣе, тѣмъ осязательнѣе нужно выставить его передъ читателемъ. Для этого нужны всѣ тѣ безчисленные мелочи и подробности, которыя говорятъ, что взятое лицо дѣйствительно жило на свѣтѣ, иначе оно станетъ идеальнымъ: будетъ блѣдно и, сколько ни навязи ему добродѣтелей, будетъ все ничтожно. Нужно, чтобы русскій читатель дѣйствительно почувствовалъ, что выведенное лицо взято именно изъ того самаго тѣла, изъ котораго созданъ и онъ самъ, что это живое и какъ бы его собственное тѣло. Тогда только сливается онъ самъ съ своимъ героемъ и нечувствительно принимаетъ отъ него тѣ внушенія,

которыхъ никакимъ разсужденъемъ и никакою проповѣдью не внушишь. Это полное воплощенъе въ плоть, это полное округленъе характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу въ умъ своемъ весь этотъ прозаическій существенный дразгъ жизни, когда, держа въ головѣ всѣ крупныя черты характера, соберу въ тоже время вокругъ его все тряпье до малѣйшей булавки, которое кружится ежедневно вокругъ человѣка, — словомъ, когда соображу все отъ мала до велика, ничего не пропустивши. У меня въ этомъ отношеніи умъ тотъ самый, какой бываетъ у большей части русскихъ людей, то-есть способный больше выводить, чѣмъ выдумывать. Мнѣ всегда нужно было выслушать слишкомъ много людей, чтобы образовалось во мнѣ собственное мое мнѣніе, и тогда только мое мнѣніе находили здравымъ и умнымъ. Когда же я не всѣхъ выслушаю и потороплюсь выводомъ, оно выходило только рѣзко и необыкновенно. Даже въ нынѣшней моей книгѣ: „Переписка съ друзьями“, въ которой многое походитъ на одни предположенія, собственно предположеній нѣтъ. Въ ней все выводы; но дѣло въ томъ, что одни выводы взяты изъ всѣхъ сторонъ дѣла и потому всѣмъ ясны, другіе изъ нѣкоторыхъ, не всѣмъ извѣстныхъ, и потому темны, а для многихъ кажутся даже и вовсе нелѣпницей. Вотъ отчего въ рѣдкомъ моемъ сочиненіи не встрѣчается рядомъ и зрѣлость и незрѣлость, и мужъ и ребенокъ, и учитель и ученикъ.

Итакъ, всего того, что мнѣ нужно, я не могъ достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не могъ работать? Какъ воевать съ собою, если сдѣлался требователемъ къ самому себѣ? Какъ полетѣть воображенъемъ, еслибъ оно и было, когда разсудокъ, на всякомъ шагу задаетъ вопросы: зачѣмъ? — Зачѣмъ случились многія такія обстоятельства, которыхъ я не призывалъ? Зачѣмъ мнѣ опредѣлено было не иначе пріобрѣсти познанъе души человѣка, какъ произведя строгій анализъ надъ собственной душой? Зачѣмъ желанъемъ изобразить русскаго человѣка я возгорѣлся не прежде, какъ узналъ получше общіе законы дѣйствій человеческихъ, а узналъ ихъ не прежде, какъ пришелъ въ Тому, Кто одинъ вѣдатель и дѣйствій человеческихъ, и всѣхъ малѣйшихъ нашихъ душевныхъ тайнъ? Зачѣмъ жажда знать душу

чел овѣзатакъ томила меня? Зачѣмъ надобны были такія обстоятельства, о которыхъ я не могу даже сказать, но которыя заставляли меня, противъ воли моей собственной, входить глубже въ душу человѣка? Зачѣмъ вѣнцомъ всѣхъ эстетическихъ наслажденій во мнѣ осталось свойство восхищаться красотой души человѣка вездѣ, гдѣ бы я ее ни встрѣтилъ? Зачѣмъ жажда знать душу человѣка такъ томила меня постоянно отъ дней моей юности? Опредѣлите мнѣ прежде, зачѣмъ все это произошло, и тогда спрашивайте: зачѣмъ я не могу писать того, что писалъ? Я старался дѣйствовать на-перекорь обстоятельствамъ и этому порядку, не отъ меня начертанному. Я пробовалъ нѣсколько разъ писать по-прежнему, какъ писалось въ молодости, то-есть какъ попало, куда ни поведетъ перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что росписался кое-какъ въ письмахъ къ своимъ знакомымъ и друзьямъ, я захотѣлъ тотчасъ же изъ этого сдѣлать употребленіе, и едва только оправился отъ тяжелой болѣзни моей, какъ составилъ изъ нихъ книгу, постаравшись дать ей какой-нибудь порядокъ и послѣдовательность, чтобы она походила на дѣльную книгу, не размысливъ того, что многое, обращенное къ нѣкоторымъ, общество приметъ на свой счетъ, особенно послѣ завѣщанья, обращеннаго къ лицу всѣхъ соотечественниковъ. Я боялся самъ разсматривать ея недостатки и почти закрылъ глаза на нее, зная, что если разсмотрю я построже мою книгу, можетъ-быть, она будетъ такъ же уничтожена какъ я уничтожилъ и „Мертвыя души“ и какъ уничтожалъ все, что ни писалъ въ послѣднее время. Я думалъ, что этою книгой я хотя сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчаніе, введу и объясню мое трудное положеніе, почему я не могъ писать въ это время, обращаю вниманіе на практическое и на дѣло жизни. Я думалъ вслѣдъ ея заговорить о томъ, что раскроетъ предо мною побольше Русь, освѣжить, оживить меня и заставить меня взяться за перо. Не тутъ-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышалъ только толки о томъ, что не рѣшается толками. Руки мои опустились. Порывъ, который, какъ мнѣ показалось, началъ-было во мнѣ пробуждаться, погасъ, и я нечувствительно самъ собою пришелъ теперь къ тому вопросу,

который я до сихъ поръ и не думалъ еще задавать себѣ: долженъ ли я въ самомъ дѣлѣ писать? долженъ ли я оставаться на этомъ поприщѣ, отъ котораго въ послѣднее время такъ явно меня все отвлекало? Положимъ, еслибы даже и въ силахъ былъ какъ-нибудь побѣдить (себя), перо мое получило бы бѣглость и странницы полились непринужденно одна за другою, — таково ли душевное состоянѣе мое, чтобы сочиненья мои были дѣйствительно въ это время полезны и нужны нынѣшнему обществу? Бросимъ взглядъ на нынѣшнее состоянѣе общества: благопріятно ли нынѣшнее время для писателя вообще и вслѣдъ за тѣмъ для такого писателя, какъ я?

Всѣ болѣе или менѣе согласились называть нынѣшнее время переходнымъ. Всѣ, болѣе чѣмъ когда-либо прежде, нынѣ чувствуютъ, что міръ въ дорогѣ, а не у пристани, даже и не на ночлегѣ, не на временной станціи, или отдохнѣ. Все чего-то ищетъ, — ищетъ уже не внѣ, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевѣсъ и надъ политическими, и надъ учеными, и надъ всякими другими вопросами. И мечъ, и громъ пушекъ не въ силахъ занимать міръ. Вездѣ обнаруживается болѣе или менѣе мысль о внутреннемъ строеніи: все ждетъ какого-то болѣе стройнаго порядка. Мысль о строеніи какъ себя, такъ и другихъ дѣлается общею. Со всѣми замѣчательными, стоящими впереди другихъ, людьми случились какіе-нибудь душевные внутренніе перевороты, съ иными даже въ такіе годы, въ какіе никогда невозможны были доселѣ перемѣны въ человѣкѣ и улучшенія. Всякъ болѣе или менѣе чувствуетъ, что онъ не находится въ томъ именно состояніи своемъ, въ какомъ долженъ быть, хотя и не знаетъ, въ чемъ именно должно состоять это желанное состоянѣе. Но это желанное состоянѣе ищется всѣми; уши всѣхъ чутко обращены въ ту сторону, гдѣ думаютъ услышать хоть что-нибудь о вопросахъ, всѣхъ занимающихъ. Никто не хочетъ читать другой книги, кромѣ той, гдѣ можетъ содержаться хоть намекъ на эти вопросы. Надобны ли въ это время сочиненія такого писателя, который одаренъ способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь въ томъ видѣ, какъ она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Опре-

дѣлимъ себѣ прежде, что такое тотъ писатель, котораго главный талантъ состоитъ въ творчествѣ.

Всѣ болѣе или менѣе согласны въ томъ, что писатель-творецъ творить творенье свое въ поученье людей. Требования отъ него слишкомъ велики — и справедливо. Для того, чтобы передавать одну вѣрную копію съ того, что видишь передъ глазами, есть также другіе писатели, одаренные иногда въ высшей степени способностью живо писать, но лишены способности *творить*. Но кто создаетъ, кто трудится надъ этимъ долго, кому приходится дорого его созданіе, тотъ долженъ уже потрудиться не даромъ. Нужно, чтобы въ созданіи его жизнь сдѣлала какой-нибудь шагъ впередъ и чтобы онъ, постигнувши современность, ставши въ уровень съ вѣкомъ, умѣлъ обратно воздать ему за наученье себя, наученьемъ его. Такъ, по крайней мѣрѣ, опредѣляютъ поэтовъ и вообще писателей, надѣленныхъ творчествомъ, эстетики, какъ нынѣшняго времени, такъ и прежнихъ временъ. Возвратить людей въ томъ же видѣ, въ какомъ ихъ взялъ, для писателя-творца даже невозможно: это дѣло сдѣлаетъ лучше его тотъ, кто владѣя бѣглою кистью, можетъ рисовать всякую минуту все, что проходитъ передъ его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничѣмъ.

Стало-быть, въ нынѣшнее время, когда всѣ такъ заняты вопросомъ жизни, такой писатель можетъ, болѣе чѣмъ кто-либо другой, быть разрѣшителемъ современныхъ вопросовъ; но когда и въ какомъ случаѣ? — Въ такомъ случаѣ и тогда, когда уже онъ все разрѣшилъ себѣ, что ни тревожитъ его самого. Если онъ, при всѣхъ великихъ дарахъ, при картинной живописи въ словѣ, при орлиной силѣ взгляда, при возносящей силѣ лиризма и поражающей силѣ сарказма, приобрѣтетъ полное познаніе земли своей и своего народа въ корнѣхъ и вѣтвяхъ, воспитается, какъ гражданинъ своей земли и какъ гражданинъ всего человѣчества, и какъ камень станетъ во всемъ томъ, въ чемъ повелѣно быть крѣпкою скалой человѣку, тогда онъ выступай на поприще. Владѣя такими средствами, станетъ подавать онъ обществу людей, потребныхъ ему въ нынѣшнее время, въ современную эпоху, и одѣнетъ ихъ портретною живостью, которая дѣлаетъ то,

что изображенный образ преслѣдуетъ насъ повсюду, такъ что нельзя оторваться. Разумѣется, съ такими средствами ему ничего не будетъ стоить выгнать изъ головы всѣхъ тѣхъ героевъ, которыхъ напустили туда модные писатели. Заговори только съ обществомъ, на мѣсто самыхъ жаркихъ разсужденій, этими живыми образами, которые, какъ полные хозяева, входятъ въ души людей и двери сердець растворяются сами на-встрѣчу которымъ; если притомъ хотя каплю чувствуютъ читатели, что они взяты изъ нашей природы, изъ того же тѣла, — тогда, разумѣется, кто можетъ нынѣ подѣйствовать сильнѣй такого писателя, и кто можетъ быть болѣе его нужнымъ нынѣшнему времени и нынѣшней эпохѣ? Но если онъ, имѣя дѣйствительно нѣкоторыя изъ тѣхъ орудій, самъ еще не воспитался, какъ гражданинъ земли своей и гражданинъ всемірный; если онъ, покорный общему нынѣшнему влеченію всѣхъ, самъ еще строится и создается, — тогда ему даже опасно выходить на попріще: его вліянье можетъ быть скорѣе вредно, чѣмъ полезно. Это строенье себя самого непременно обнаружится во всемъ, что ни будетъ выходить изъ-подъ пера его. Чѣмъ онъ самъ менѣе похожъ на другихъ людей, чѣмъ онъ необыкновеннѣе, чѣмъ отличнѣе отъ другихъ, чѣмъ своеобразнѣе, тѣмъ больше можетъ произвести всеобщихъ заблужденій и недоразумѣній. То, что въ немъ есть не болѣе какъ естественное проявленіе, законный ходъ его необыкновеннаго организма, состояніе духа времени, можетъ показаться другимъ людямъ верховною точкою, до которой слѣдуетъ всѣмъ дойти. Чѣмъ больше одушевится онъ любовью къ героямъ и лицамъ своимъ, чѣмъ больше отдѣляетъ ихъ, чѣмъ съ большею живостью выставитъ ихъ, тѣмъ больше вреда. Примѣръ тому въ глазахъ нашихъ. Извѣстная французская писательница, больше всѣхъ другихъ надѣленная талантами, въ немного лѣтъ произвела сильнѣйшее измѣненіе въ нравахъ, чѣмъ всѣ писатели, заботившіеся о развращеніи людей. Она, можетъ-быть, и въ помысленіи не имѣла проповѣдывать развратъ, а обнаружила только временное заблужденіе свое, отъ котораго потомъ, можетъ-быть, и отказалась, переступивши въ другую эпоху своего состоянія душевнаго. А слово уже брошено. *Слово какъ воробей*, гово-

рить наша пословица: *выпустивши его, не схватимъ потомъ.*

Я самъ писатель, не лишенный творчества; я владѣю нѣкоторыми изъ тѣхъ даровъ, которые способны увлекать. Покорный общему стремленію, которое не отъ насъ, но совершается по волѣ высшей, я помышляю о своемъ собственномъ строеніи, какъ помышляютъ и другіе, но чувствую, что и теперь нахожусь далеко отъ того, къ чему стремлюсь, а потому не долженъ выступать. Самая вышедшая книга: „Переписка съ друзьями“ служить тому доказательствомъ. Если и эта книга неопредѣлительностью своею производитъ заблужденія, распространяетъ даже ложныя мысли, если и изъ этихъ писемъ, говорятъ, остаются въ головѣ, какъ живыя картины, цѣликомъ фразы и страницы, — что-жъ бы было, еслибы я выступилъ съ живыми образами повѣствовательнаго сочиненія на-мѣсто этихъ писемъ? Я самъ слышу, что я тутъ гораздо сильнѣй, чѣмъ въ разсужденіяхъ. Теперь еще можетъ меня оспаривать критика, а тогда врядъ ли бы въ силахъ былъ меня кто опровергнуть. Образы мои были бы соблазнительны и такъ засѣли бы крѣпко въ головѣ, что и критикамъ ихъ оттуда бы не вытащить. Не нужно упускать того изъ виду, что всѣ выставленныя лица и характеры должны были доказать истину моихъ собственныхъ убѣжденій, а мои убѣжденія.... Какъ сравню эту книгу съ уничтоженными мною „Мертвыми душами“, не могу не возблагодарить за насланное мнѣ внушеніе ихъ уничтожить. Въ книгѣ моихъ писемъ я все-таки стою на высшей точкѣ, нежели въ уничтоженныхъ „Мертвыхъ душахъ.“ Темнота выраженія во многихъ мѣстахъ сбиваетъ только читателя; но еслибы пояснѣе выразилъ ту же самую мысль, со мною бы многіе перестали спорить. Въ уничтоженныхъ „Мертвыхъ душахъ“ гораздо больше выразалось моего переходнаго состоянія, гораздо меньшая опредѣлительность въ главныхъ основаніяхъ и мысль двигательнѣй, а уже много увлекательности въ частяхъ, и герои были соблазнительны. Словомъ, какъ честный человѣкъ, я долженъ былъ оставить перо даже и тогда, еслибы дѣйствительно почувствовалъ позывъ къ нему. На это дѣло слѣдуетъ взглянуть благоразумно. Всѣ тѣ, которые легкомысленно требуютъ отъ меня

продолженія писать и въ то же время бранять мою нынѣшнюю книгу), должны, по крайней мѣрѣ, разсмотрѣть поближе все это дѣло и не пропустить всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыхъ не пропускаетъ никакой судья, если только произносить надъ кѣмъ-либо судъ свой. Мнѣ кажется, что теперь не только тотъ, кто пишетъ, но всякой умъ вообще, если только наклоненъ къ тому, чтобы дѣлать выводы и заключенья, долженъ удержаться отъ дѣятельности. Изъ людей умнѣйшихъ должны выступать на поприще только тѣ, которые кончили свое воспитанье и создались какъ граждане земли своей, а изъ писателей только такіе, которые, любя Россію такъ же пламенно, какъ тотъ, который далъ себѣ названіе козака Луганскаго, умѣютъ по слѣдамъ его живописать природу, какъ она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошаго въ русскоиъ и руководствуясь единственно желаніемъ ввести всѣхъ въ дѣйствительное положеніе русскаго человѣка.

Мнѣ, вѣрно, потяжалѣи, чѣмъ кому-либо другому, отказаться отъ писательства, когда это составляло единственный предметъ всѣхъ моихъ помышленій, когда я все прочее оставилъ, всѣ лучшія приманки жизни и, какъ монахъ, разорвалъ связи со всѣмъ тѣмъ, что мило человѣку на землѣ, за тѣмъ, чтобы ни о чемъ другомъ не помышлять, кромѣ труда своего. Мнѣ не легко отказаться отъ писательства. Однѣ изъ лучшихъ минутъ въ жизни моей были тѣ, когда я наконецъ клалъ на бумагу то, что выносилось долговременно въ моихъ мысляхъ; когда я и до сихъ поръ увѣренъ, что едва ли есть высшее изъ наслажденій, какъ наслажденіе *творить*. Но, повторяю вновь, какъ честный человѣкъ, я долженъ положить перо даже и тогда, еслибы почувствовалъ позывъ къ нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сдѣлать, если бы не отнялась у меня способность писать, потому что — скажу откровенно — жизнь потеряла бы для меня тогда вдругъ всю цѣну, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нѣтъ лишеній, вслѣдъ которымъ не посылалась бы намъ ихъ замѣна, во свидѣтельство того, что ни на малое время не оставляетъ человѣка Тотъ, Кто его создалъ. Сердце ни на минуту не остается пусто и не можетъ быть безъ какого-нибудь

желанья. Какъ земля, на время освобожденная отъ пашни, износить другія травы, повуда вновь не обратится подъ пашню, оплодотворенная и удобренная ими, такъ и во мнѣ, какъ только способность писать меня оставила, мысли какъ бы сами возвратились къ тому, о чемъ я помышлялъ въ самомъ дѣствѣ. Мнѣ захотѣлось служить — въ какой бы то ни было, самой мелкой и незамѣтной, должности, но служить землѣ своей, такъ служить, какъ я хотѣлъ нѣкогда, и даже гораздо лучше, нежели я нѣкогда хотѣлъ. Мысль о службѣ меня никогда не оставляла. Я примирился и съ писательствомъ своимъ только тогда, когда почувствовалъ, что на этомъ поприщѣ могу также служить землѣ своей. Но и тогда, однакоже, я помышлялъ, какъ только окончу большое мое сочиненіе, вступить, по примѣру другихъ, въ службу и взять мѣсто. Планы-то и виды были, только горды и заносчивы. Мнѣ казалось, что если только доказать, что я точно знаю русскаго человѣка въ корнѣ и въ существенныхъ его началахъ, какъ въ тѣхъ, которыя обнаружены всѣмъ, такъ равно и въ тѣхъ, которыя въ немъ покуда скрыты и видны не для всѣхъ; что знаю душу человѣка не по книгамъ и рассказамъ, но по опыту, влекомый отъ младенчества желаньемъ знать человѣка; то мнѣ дадутъ такое мѣсто, гдѣ я буду въ сопрیکосновеніи съ людьми разныхъ сословіи, со многими людьми въ сопрیکосновеніи личномъ, а не посредствомъ бумагъ и канцелярій, — гдѣ я могу употребить съ дѣйствительною пользою мое знанье человѣка и гдѣ могу быть полезнымъ многимъ людямъ, а для себя самого приобрѣсти еще большее познаніе человѣка. Мнѣ казалось, что больше всего страждетъ все на Руси отъ взаимныхъ недоразумѣній, и что больше всякого намъ нуженъ среди насъ такой человѣкъ, который бы, при нѣкоторомъ познаньи души и при нѣкоторомъ знаньи сердца, вообще проникнуть былъ желаньемъ истиннымъ мирить. Я видѣлъ и уже испыталъ, какъ личнымъ приговоромъ и объясненьемъ прекращать можно было много такихъ дѣлъ, которыя никогда не оканчиваются на бумагѣ. Я думалъ, что хотя теперь и нѣтъ такихъ мѣстъ, но что я получу послѣ того, какъ выйдетъ вполнѣ мое сочиненіе, и приготовлялъ ужъ въ мысляхъ и самый проектъ, въ которомъ намѣревался изъ-

яснить, какъ, вслѣдствіе тѣхъ способностей, какія у меня есть, я могу быть нуженъ и полезенъ Россіи. Замыслы мои были горды; но такъ какъ они были основаны только на успѣхѣ моего сочиненія, то и упали вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ оставила меня способность производить созданья поэтическія. Теперь въ глазахъ моихъ всѣ должности равны, всѣ мѣста равнозначительны, отъ малаго до великаго, если только на нихъ взглянешь значительно, и мнѣ кажется, что если только хотя сколько-нибудь умѣешь цѣнить человѣка и понимать его достоинство, которое въ немъ бываетъ даже и среди множества недостатковъ, и если только при этомъ хотя сколько-нибудь имѣешь истинной христіанской любви къ человѣку и, въ заключеніе, проникнуть точно любовью къ Россіи, — то на всякомъ мѣстѣ можно сдѣлать много добра. Сила вліянія нравственнаго выше всякихъ силъ. Мѣсто и должность сдѣлались для меня, какъ для плывущаго по морю, пристань и твердая земля. Я убѣжденъ, что теперь всякому, кто пламенѣетъ желаньемъ добра, кто Русскій и кому дорога честь земли Русской, должно спѣшить также брать многія мѣста и должности въ государствѣ, съ такою же ревностью, какъ становился нѣкогда изъ насъ всякой въ ряды противъ непріятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила. Съ другой стороны, я убѣжденъ, что мѣсто и должность нужны для самого себя.... Какъ ни бурно нынѣшнее время, какъ ни мятутся и ни волнуются вокругъ умы, какъ ни возмущаетъ тебя собственный умъ твой, но можно остаться среди всего этого въ тишинѣ, если съ тѣмъ именно возьмешь свое мѣсто, чтобы на немъ исполнить долгъ такимъ образомъ, чтобы не стыдно было на землѣ и готовъ бы былъ отдать за него отвѣтъ Небу. Какъ бы то ни было, но жизнь для насъ уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнѣйшіе изъ людей, (отъ мыслителей до поэтовъ, надъ ней задумывались и приходили только къ сознанию, что не знаютъ, что такое жизнь. Но когда Одинъ, всѣхъ наимнѣйшій, сказалъ твердо, не колеблясь никакимъ сомнѣніемъ, что Онъ знаетъ, что такое жизнь, когда этотъ Одинъ признанъ всѣми за величайшаго изъ всѣхъ доселѣ бывшихъ, даже и тѣми, которые не признаютъ въ Немъ Его божественности, тогда слѣ-

дуетъ повѣрить Ему на слово, даже и въ такомъ случаѣ, еслибъ Онъ былъ просто человѣкъ. Стало-быть, вопросъ рѣшенъ, что такое жизнь.

Этого мало. Намъ данъ полнѣйшій законъ всѣхъ дѣйствій нашихъ, — тотъ законъ, котораго не можетъ стѣснить или остановить никакая власть, который можно внести даже въ тюремныя стѣны, но котораго, однакожь, нельзя исполнять на воздухѣ: нужно для того стоять хоть на какомъ-нибудь земномъ грунтѣ. Находясь въ должности и на мѣстѣ, все-таки идешь по дорогѣ; не имѣя опредѣленнаго мѣста и должности, идешь черезъ кусты и овраги, какъ попало, хотя и та же цѣль. По дорогѣ идти легче, нежели безъ дороги. Если взглянешь на мѣсто и должность какъ на средство къ достиженью не цѣли земной, но цѣли небесной, въ спасеніе своей души, — увидишь, что законъ, данный Христомъ, данъ какъ бы для тебя самого, какъ бы устремленъ лично къ тебѣ самому, за тѣмъ, чтобъ ясно показать тебѣ, какъ быть на своемъ мѣстѣ во взятой тобою должности. Христіанину сказано ясно, какъ ему быть съ высшими, такъ что, если хотя немного онъ изъ того исполнить, всѣ высшіе его любятъ. Христіанину сказано ясно, какъ ему быть съ тѣми, которые его пониже, такъ что, если хотя отчасти онъ это исполнить, всѣ низшіе ему предадутся всею душою своею. Всю эту всемірность чловѣколюбиваго закона Христова, все это отношеніе чловѣка къ чловѣчеству можетъ изъ насъ перенести всякъ на свое небольшое поприще. Стѣдитъ только всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми происходятъ у тебя частыя, наищекотливѣйшія непріятности, обратитъ именно въ тѣхъ самыхъ ближнихъ и братьевъ, которыхъ повелѣваетъ больше всего прощать и любить Христосъ. Стѣдитъ только не смотрѣть на то, какъ другіе съ тобою поступаютъ, а смотрѣть на то, какъ самъ поступаешь съ другими. Стѣдитъ только не смотрѣть на то, какъ тебя любятъ другіе, а смотрѣть только на то, любишь ли самъ ихъ. Стѣдитъ только, не оскорбляя никого, быть готову подавать первому руку на примиреніе. Стѣдитъ поступать такъ въ продолженіе небольшого времени, и увидишь, что и тебѣ легче съ другими, и другимъ легче съ тобою, и въ силахъ будешь точно произвести много полезныхъ дѣлъ почти на

незамѣтною мѣстѣ. Труднѣй всего на свѣтѣ тому, кто не прикрѣпилъ себя къ мѣсту, не опредѣлилъ себѣ, въ чемъ его должность. Ему труднѣй всего примѣнить къ себѣ законъ Христовъ, который на то, чтобъ исполнять на землѣ, а не на воздухѣ; а потому и жизнь должна быть для него вѣчно загадкой. Предъ нимъ узникъ въ тюрьмѣ имѣеть преимущество: онъ знаетъ, что онъ узникъ, а потому и знаетъ, что братъ изъ закона. Предъ нимъ нищій имѣеть преимущество: онъ тоже при должности, онъ нищій, а потому и знаетъ, что братъ изъ закона Христова. Но человекъ, не знающій, въ чемъ его должность, гдѣ его мѣсто, не опредѣлившій себѣ ничего и не остановившійся ни на чемъ, пребываетъ ни въ мірѣ, ни внѣ міра, не узнаетъ, кто ближній его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь міръ не полюбишь, если не начнешь прежде любить тѣхъ, которые стоятъ поближе къ тебѣ и имѣютъ случай огорчить тебя. Онъ ближе всѣхъ къ холодной черствости душевной.

Итакъ, послѣ долгихъ лѣтъ, и трудовъ, и опытовъ, и размышлений, идя видимо впередъ, я пришелъ къ тому, о чемъ уже помышлялъ во время моего дѣтства: что назначенье человека — служить и что вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято мѣсто въ земномъ государствѣ за тѣмъ, чтобы служить на немъ Государю небесному, и потому имѣть въ виду Его законъ. Только такъ служа, можно угодить всѣмъ: и государю, и народу, и землѣ своей.

Увѣрившись въ этомъ, я уже готовъ былъ также взять всякую должность, хотя, соображаясь съ своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить съ русскимъ человекомъ, чтобы, если возвратится мнѣ способность писать, набрались у меня матеріалы. Одной изъ главныхъ причинъ моего путешествія къ Святымъ Мѣстамъ было желаніе искреннее помолиться и испросить благословенія на честное исполненіе должности, на вступленіе въ жизнь, у самого Того, Кто открылъ намъ тайну жизни, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда проходили стопы Его; поблагодарить за все, что случилось въ моей жизни; испросить дѣятельности и напутственнаго освѣщенія на дѣло, для котораго я себя воспитывалъ и къ ко-

тому приготовлялъ себя. Тутъ я не нахожу ничего страннаго. Если и ученикъ, по окончаніи своего ученья, спѣшитъ сказать благодарственное слово учителю, если сынъ спѣшитъ на могилу отца предъ тѣмъ, какъ предстоить ему поприще; почему же и мнѣ не поклониться той могилѣ, которой поклоняются всѣ, на которой всѣ получаютъ себѣ какое-нибудь напутствіе, гдѣ вдохновляются всѣ, даже и не поэты? Странно, можетъ-быть, то, что я объ этомъ сказалъ въ печатной книгѣ. Но я въ то время только-что оправился отъ тяжелой болѣзни. Я былъ слабъ; я не думалъ, что буду въ силахъ совершить это путешествіе. Мнѣ хотѣлось, чтобы помоллились обо мнѣ тѣ, которыхъ вся жизнь стала одною молитвою. Я не зналъ, какъ сдѣлать, чтобы голосъ мой достигнулъ въ глубину келій и стѣнъ затворниковъ, въ мысли, что авось кто-либо изъ прочитавшихъ донесетъ имъ мое слово. Я просилъ обо мнѣ и другихъ молиться, потому что не зналъ, чья молитва изъ насъ угоднѣе Тому, Кому мы всѣ молимся. Знаю только то, что наипрезрѣннѣйшій изъ насъ можетъ завтра же сдѣлаться лучше всѣхъ насъ, и его молитва будетъ всѣхъ ближе къ Богу. За это не слѣдовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: *просящему дай*.

Какъ случилось, что я долженъ обо всемъ входить въ объясненія съ читателемъ, этого я самъ не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже съ наискреннѣйшими пріятелями, я не хотѣлъ изъясняться на-счетъ сокровеннѣйшихъ моихъ помысловъ. Я рѣшился твердо не открывать ничего изъ душевной своей исторіи, выносить всякія заключенія о себѣ, какія бы ни раздавались, въ увѣренности, что когда выйдеть второй и третій томъ „Мертвыхъ душъ,“ все будетъ объяснено ими и никто не будетъ дѣлать запроса: чтѣ такое самъ авторъ, хотя авторъ и долженъ былъ весь спрятаться за своихъ героевъ. Но, начавши нѣкоторыя объясненія по поводу моихъ сочиненій, я долженъ былъ неминуемо заговорить о себѣ самомъ, потому что сочиненія связаны тѣсно съ дѣломъ моей души. Богъ вѣсть, можетъ-быть, и въ этомъ была также воля Того, безъ воли Котораго ничто не дѣлается на свѣтѣ; можетъ-быть, произошло это за тѣмъ, чтобы дать мнѣ возможность взглянуть на себя самого. Мнѣ легко было

почувствовать нѣкоторую гордость, особенно послѣ того, какъ удалось мнѣ дѣйствительно избавиться отъ многихъ недостатковъ. Эта гордость во мнѣ бы жила безпрестанно, и ея бы мнѣ никто не указалъ. Извѣстно, что достаточно приобрѣсти въ обращеніи съ людьми нѣкоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить ихъ уже не замѣчать въ насъ нашихъ недостатковъ. Но когда выставишься передъ лицо незнакомыхъ людей, передъ лицо всего свѣта, и разберутъ по ниткѣ всякое твое дѣйствіе, всякой поступокъ, и люди всѣхъ возможныхъ убѣжденій, предубѣжденій, образовъ мыслей, взглянуть на тебя каждый по своему, и посыплются со всѣхъ сторонъ упреки въ-попадъ и не въ-попадъ, ударятъ и съ умысломъ, и невзначай по всѣмъ чувствительнымъ струнамъ твоимъ, — тутъ по-неволѣ взглянешь на себя съ такихъ сторонъ, съ какихъ бы никогда на себя не взглянулъ; станешь въ себѣ отыскивать тѣхъ недостатковъ, которыхъ никогда бы не вздумалъ прежде отыскивать. Это та страшная школа, отъ которой или точно свихнешь съ ума, или поумнѣешь больше, чѣмъ когда-либо. Не безъ стыда и краски въ лицѣ я перечитываю самъ многое въ моей книгѣ, но при всемъ томъ благодарю Бога, давшаго мнѣ силы издать ее въ свѣтъ. Мнѣ нужно было имѣть зеркало, въ которое бы я могъ глядѣться и видѣть получше себя, а безъ этой книги врядъ ли бы я имѣлъ это зеркало. Итакъ, замышленная отъ искренняго желанія принести пользу другимъ, книга моя принесла прежде всего пользу мнѣ самому.

Но да позволено мнѣ будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ относительно полезности ея другимъ. Точно ли бесполезна моя книга другимъ, и собственно обществу въ его нынѣшнемъ, современномъ видѣ? Мнѣ кажется, всѣ судившіе ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, какъ-то уже слишкомъ строго. Нужно было судить о ней похладнокровнѣе. вмѣсто того, чтобы выступить ратниками за все общество и вызывать меня на судъ передъ всею Россією, нужно было рассмотреть дѣло проще, рассмотреть книгу, чтѣ такое она въ своемъ основаніи, а не останавливаться надъ частями и подробностями прежде, чѣмъ объяснился вполнѣ внутренній смыслъ ея. Отъ этого вышли

пустыя придирки къ словамъ и приписанье многому такого смысла, который мнѣ нивогда и въ умъ не могъ придти.

Начать съ того, что я всегда имѣлъ право сказать о томъ, о чемъ говорилъ въ моей книгѣ, еслибы только выразился попроще и попримичнѣе. Учить общество въ томъ смыслѣ, какой нѣкоторые мнѣ приписали, я вовсе не думалъ. *Учить* я принималъ въ томъ простомъ значеніи, въ какомъ повелѣваетъ намъ Церковь учить другъ друга и безпрестанно, умѣя съ такою же охотой принимать и отъ другихъ совѣты, съ какою подавать ихъ самому. А я былъ готовъ въ то время принимать и отъ другихъ совѣты. Я не представлялъ себѣ общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителемъ. Я не всходилъ съ моей книгой на кафедру, требуя, чтобы всѣ по ней учились. Я пришелъ къ своимъ братьямъ, соученикамъ, какъ равный имъ соученикъ; принесъ нѣсколько тетрадей, которыя успѣлъ записать со словъ Того же Учителя, у котораго мы всѣ учимся; принесъ на выборъ, чтобы всякой зналъ, что кому придется. Тутъ были письма, писанныя къ людямъ разныхъ характеровъ, разныхъ склонностей, и притомъ находившіяся на разныхъ степеняхъ своего собственнаго душевнаго состоянія, которыя никакъ не могли прійтяться равно всѣмъ. Я думалъ, что каждый схватитъ только что нужно ему, а на другое не обратитъ вниманія. Я не думалъ, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будетъ кричать: „Это мнѣ не нужно!“ и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповѣдывать. Какъ ученикъ, кое въ чемъ успѣвшій больше другого, я хотѣлъ только открыть другимъ, какъ полегче выучивать уроки, которые даются намъ наилучшимъ Учителемъ. Я думалъ, что, по прочтеніи книги, будетъ мнѣ сказано: „Благодарю тебя, братъ“, а не: „Благодарю тебя, учитель.“ Еслибы не завѣщаніе, которое я помѣстилъ довольно неосторожно, въ которомъ намекалъ о поученіи, которое обязанъ дать всякой авторъ поэтическими созданьями своими, — никто бы и не вздумалъ мнѣ приписывать этого апостольства, несмотря даже на рѣшительный слогъ и нѣкоторую лирическую торжественность рѣчи. Но въ книгѣ моей отыщеть много себѣ полезнаго всякой, кто уже глядитъ въ собственную душу свою.

Что же касается до мнѣнія, будто книга моя должна произвести вредъ, съ этимъ не могу согласиться ни въ какомъ случаѣ. Въ книгѣ, несмотря на всѣ ея недостатки, слишкомъ явно выступило желанье добра. Несмотря на многія неопредѣлительныя и темныя мѣста, главное видно въ ней ясно, и послѣ чтенія ея приходишь къ тому же заключенію что верховная инстанція всего есть Церковь и разрѣшенье вопросовъ жизни — въ ней. Стало-быть, во всякомъ случаѣ, послѣ книги моей читатель обратится къ Церкви, а въ Церкви встрѣтитъ и учителей Церкви, которые укажутъ, что слѣдуетъ ему взять изъ моей книги для себя, а можетъ-быть дадутъ ему, на-мѣсто моей книги, другія позначительнѣе, полезнѣе, для которыхъ онъ оставитъ мою книгу, какъ ученикъ бросаетъ склады, когда выучится читать по-верхамъ.

Въ заключенье всего я долженъ замѣтить: сужденья большею частію были слишкомъ уже рѣшительны, слишкомъ рѣзки, и всякъ, укорявшій меня въ недостаткѣ смиренья истиннаго, не показалъ смиренья относительно себя самого. Положимъ, я въ гордости своей, основавшись на многихъ достоинствахъ, мнѣ приписанныхъ всѣми, могъ подумать, что я стою выше всѣхъ и имѣю право произносить судъ надъ другимъ. Но на чемъ основываясь могъ судить меня рѣшительно тотъ, кто не почувствовалъ, что онъ стоитъ выше меня? Какъ бы то ни было, но чтобы произнести полный судъ надъ кѣмъ бы то ни было, нужно быть выше того, котораго судишь. Можно дѣлать замѣчанья по частямъ на то и на другое, можно давать и мнѣнья, и совѣты, но выводы основывать на этихъ мнѣньяхъ обо всемъ человѣкѣ, объявлять его рѣшительно помѣшавшимся, сошедшимъ съ ума, называть лжецомъ и обманщикомъ, надѣвшимъ личину набожности, приписывать подлыя и низкія цѣли — это такого рода обвиненія, которыхъ я бы не въ силахъ былъ взвести даже на отъявленнаго мерзавца, заклеяннаго клеймомъ всеобщаго презрѣнія. Мнѣ кажется, что, прежде чѣмъ произносить такія обвиненія, слѣдовало бы хотя сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о томъ, каково было бы намъ самимъ, если бы такія обвиненія обрушились на насъ публично, въ виду всего свѣта. Не мѣшало бы подумать прежде, чѣмъ произносить такое обви-

неніе: „Не ошибаюсь ли я самъ? вѣдь я тоже человѣкъ. Дѣло тутъ душевное. Душа человѣка — кладязь, не для всѣхъ доступный, и на видимомъ сходствѣ нѣкоторыхъ признаковъ нельзя основываться. Часто и наискуснѣйшіе врачи принимали одну болѣзнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрѣзывали уже мертвый трупъ.“ Нѣтъ, въ книгѣ: „Переписка съ друзьями“, какъ ни много недостатковъ во всѣхъ отношеніяхъ, но есть также въ ней много того, что не скоро можетъ быть доступно всѣмъ. Нечего утверждаться на томъ, что прочелъ два или три раза книгу: иной и десять разъ прочтетъ — и ничего изъ этого не выйдетъ. Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно имѣть или очень простую и добрую душу, или быть слишкомъ многостороннимъ человѣкомъ, который, при умѣ, обнимающемъ со всѣхъ сторонъ, заключалъ бы высокій поэтическій талантъ и душу, умѣющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумѣніе были для меня очень тяжелы, — тѣмъ болѣе, что я думалъ, что въ книгѣ моей скорѣй зерно примиренія, а не раздора. Душа моя изнемогла бы отъ множества упрековъ: изъ нихъ многіе были такъ страшны, что не дай ихъ Богъ никому получать! Не могу не изъявить также и благодарности тѣмъ, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовавъ, что ихъ уже слишкомъ много для немощной натуры человѣка, рукой скорбящаго брата приподымали меня, повелѣвая ободриться. Богъ да вознаграждаетъ ихъ! Я не знаю выше подвига, какъ подать руку изнемогшему духомъ.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

АРАБЕСКИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

	Стран.
Скульптура, живопись и музыка	5
О средних вѣкахъ	10
Глава изъ историческаго романа	23
О преподаваніи всеобщей исторіи	35
Портретъ, повѣсть (въ первоначальномъ видѣ)	50
Взглядъ на составленіе Малороссіи	94
Нѣсколько словъ о Пушкинѣ	105
Объ архитектурѣ нынѣшняго времени	112
Ал-Мамунъ, историческая характеристика	133

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Жизнь	143
Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ	146
Невскій проспектъ, повѣсть	152
О малороссійскихъ пѣсняхъ	189
Мысли о географіи	197
Послѣдній день Помпей	206
Плѣнникъ, отрывокъ изъ историческаго романа	214
О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка	220
Записки сумасшедшаго	248

ЖУРНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ.

I. О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 годахъ	271
II. Петербургскія записки 1836 года	293
Тарась Вульба (въ первоначальномъ видѣ)	307
Острица, начало историческаго романа	381
Начатая повѣсти	406
Похожденіе Чичикова или Мертвыя души, поэма, томъ второй (въ первоначальномъ видѣ)	413

ВЫБРАННЫЯ МѢСТА ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ.

	Стран.
Предисловіе	559
I. Завѣщаніе	563
II. Женщина въ свѣтѣ	569
III. Значеніе болѣзней	573
IV. О томъ, что такое слово	575
V. Чтеніе русскихъ поэтовъ передъ публикою	578
VI. О помощи бѣднымъ	580
VII. Объ „Одиссеѣ“, переводимой Жуковскимъ	582
VIII. Нѣсколько словъ о нашей Церкви и духовенствѣ	591
IX. О томъ же	593
X. О лиризмѣ нашихъ поэтовъ	595
XI. Споры	611
XII. Христианнѣ идти впередъ	613
XIII. Карамзинъ	616
XIV. О театрѣ, объ одностороннемъ взглядѣ на театръ и вообще объ односторонности	617
XV. Предметы для лирическаго поэта въ нынѣшнее время	629
XVI. Совѣты	633
XVII. Просвѣщеніе	634
XVIII. Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу „Мертвыхъ душъ.“	638
XIX. Нужно любить Россію	652
XX. Нужно провѣдаться по Россіи	654
XXI. Что такое губернаторша	662
XXII. Русскій помѣщикъ	677
XXIII. Историческій живописецъ Ивановъ	684
XXIV. Чѣмъ можетъ быть жена для мужа въ простомъ домашнемъ быту	694
XXV. Сельскій судъ и расправа	699
XXVI. Страхи и ужасы Россіи	700
XXVII. Влизорукому пріятелю	704
XXVIII. Занимающему важное мѣсто	707
XXIX. Чей удѣлъ на землѣ выше	726
XXX. Напутствіе	727
XXXI. Въ чемъ же наконецъ существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность	729
XXXII. Свѣтлое Воскресеніе	773
Вмѣсто послѣсловія. Письмо, объясняющее причину изданія выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями	783
АВТОРСКАЯ ИСПОВѢДЬ	788

3-



